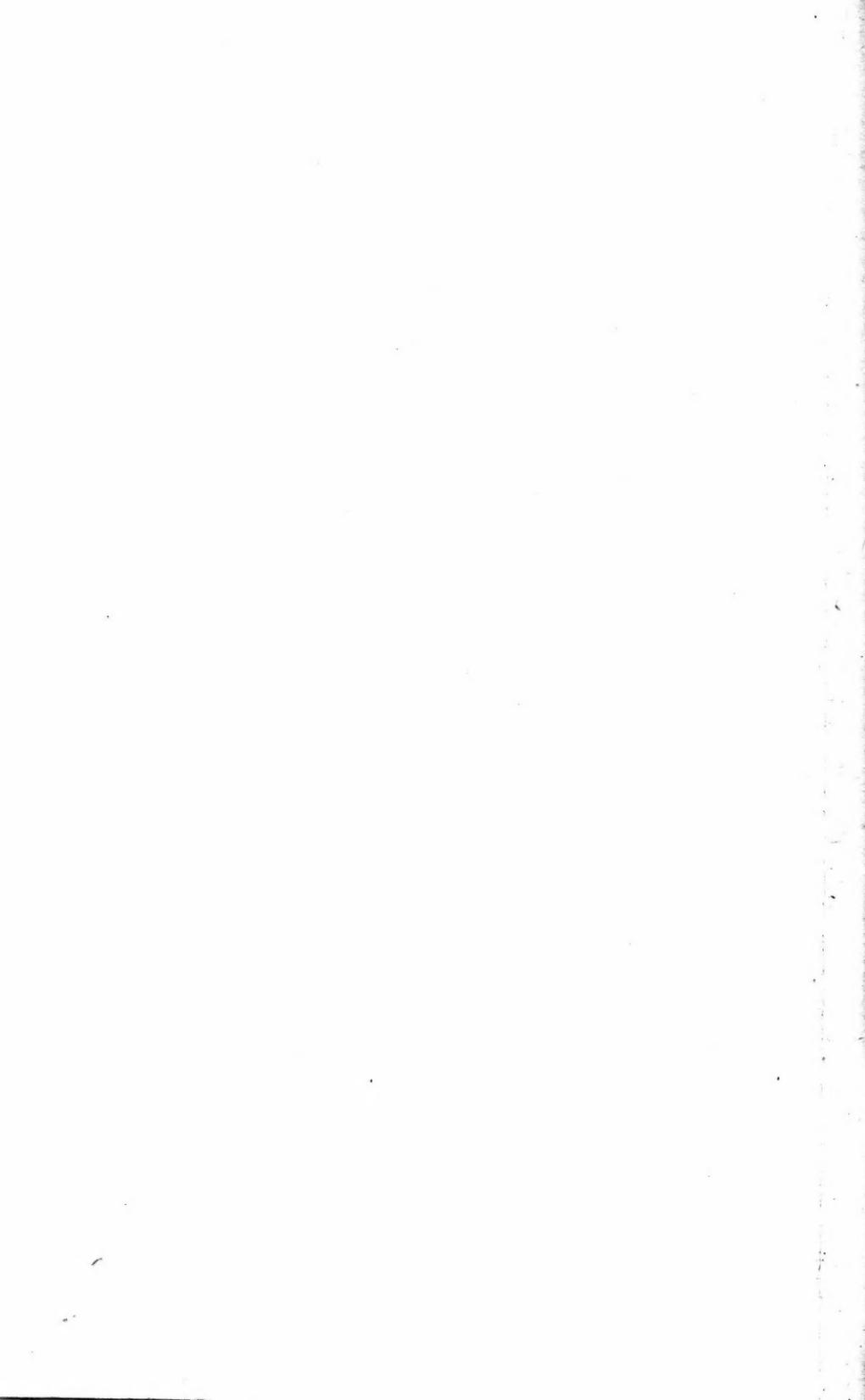


Ронсе  
Мартен  
дю Гар

Семья ТИБО







Роже  
Мартен дю Тар

---

Семья  
Тибо

---

Том 2

Государственное Издательство  
Художественной Литературы  
Москва 1957

*Перевод с французского  
под редакцией  
А. А. СМИРНОВА и Ю. Б. КОРНЕЕВА*

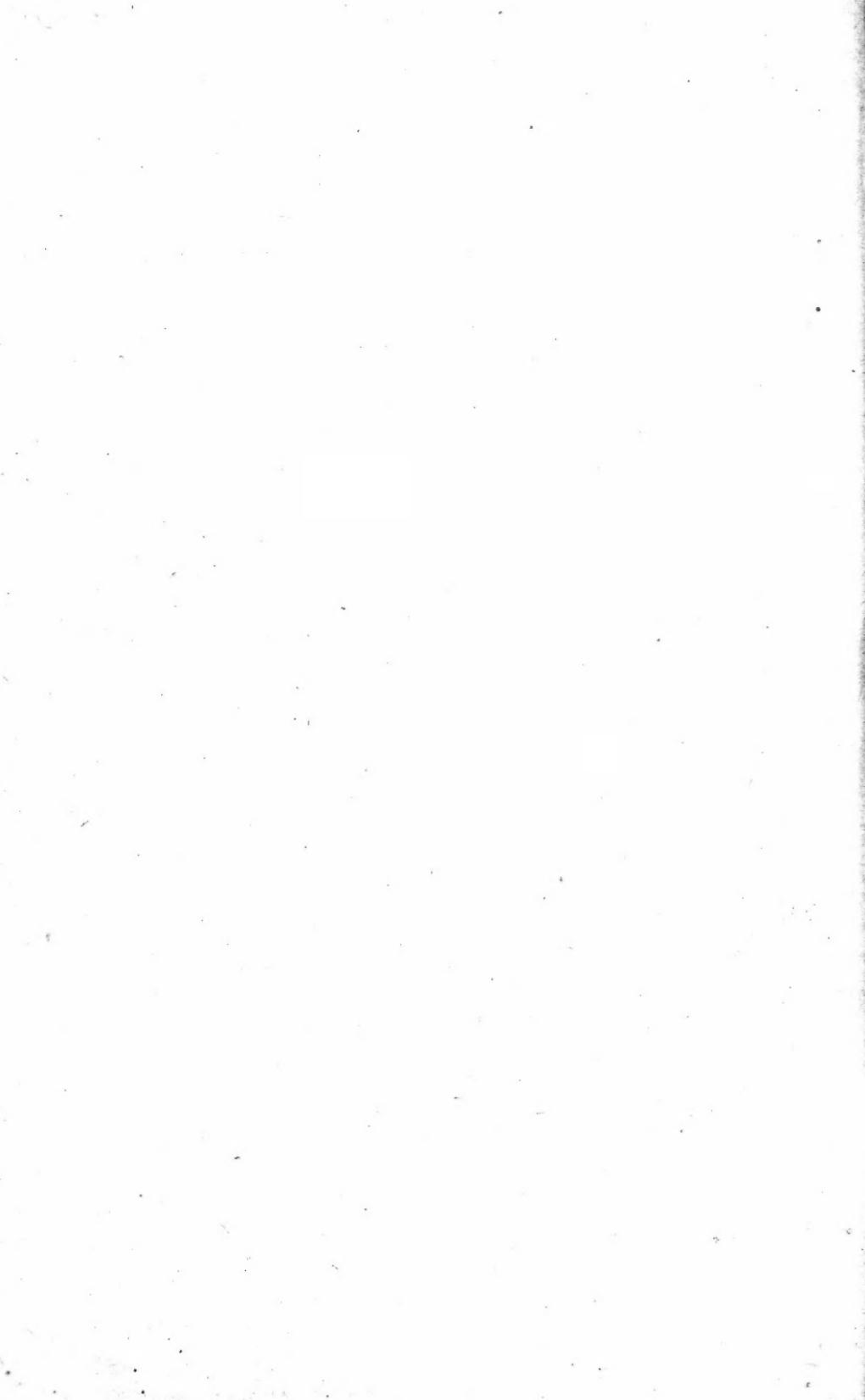
Часть седьмая

---

Лето

1914 года

6



## 1

Изнемогая от усталости, Жак напрягал мускулы шеи, чтобы не нарушить позы, не смел пошевелиться и только мигал глазами. Он скинул своего палача неприязненным взглядом.

Патерсон двумя прыжками отступил к стене. С палитрой в руке, подняв кисть, он наклонил голову сначала вправо, затем влево и прилежно созерцал свое полотно, натянутое на подрамнике в трех метрах от него. Жак подумал: «Как он счастлив, что у него есть его искусство». Его взгляд на часы-брраслет. «Мне нужно еще до вечера закончить статью. А ему, скотине, на это плевать».

Жара стояла удручающая. Безжалостный свет падал сквозь оконные стекла. Хотя эта бывшая кухня находилась на самом верхнем этаже большого дома, по соседству с собором, высоко над городом, в окна не было видно ни озера, ни Альп. Одно лишь ослепительно-синее июньское небо.

В глубине комнаты, под сводчатым потолком, два соломенных матраца лежали рядом прямо на каменном полу. Какое-то тряпье висело на гвоздях. На заржавленной плите, на вытяжном колпаке, на раковине были разбросаны вперемежку самые разнообразные предметы: эмалированный тазик, пара ботинок, коробка из-под сигар, наполненная пустыми тюбиками от красок, бритвенная кисточка, затвердевшая от высохшей пены, посуда, две увядшие розы в стакане, трубка. На полу стояли полотна, прислоненные лицом к стене.

Англичанин был обнажен до пояса. Он стискивал зубы и дышал через нос, очень энергично, словно только что пробежал большое расстояние.

— Нелегко... — пробормотал он, не поворачивая головы. Его белый торс северянина блестел от пота. Мускулы вздрагивали под тонкой кожей. Теневой треугольник в нижней части грудной клетки подчеркивал его худобу. Под изношенной тканью старых брюк сухожилия ног вздрогивали от судорожного напряжения.

— И больше ни крошки табаку, — вздохнул он вполголоса.

Три папиросы, которые Жак, прия, вынул из кармана, художник выкурил одну за другой глубокими затяжками, как только начался сеанс. Его желудок, пустой еще со вчерашнего дня, давал о себе знать, но это было ему привычно. «Какой свет на этом лбу! — подумал он. — Хватит ли у меня белил?» Он бросил взгляд на тюбик, валявшийся на полу, плоский, как металлическая лента. Он уже задолжал сотню франков Герену, торговцу красками; к счастью, Герен, бывший анархист, недавно приобщенный к социалистическому учению, был хорошим товарищем...

Не отрывая глаз от портрета, Патерсон строил гримасы, словно был наедине с собой. Его кисть начертала в воздухе арабеску. Внезапно его синие глаза повернулись к Жаку: он кинул на лоб своего друга взгляд сороки-воровки, почти нечеловеческий по напряженности.

«Он глядит на меня, точно на яблоко в вазе, — подумал Жак, развеселившись. — Если бы только мне не надо было кончать эту статью...»

Когда Патерсон робко предложил ему начать этот портрет, Жак не решился отказать. Уже в течение месяца художник, слишком бедный, чтобы платить натурщикам, и в то же время неспособный прожить сутки, не взявшись за кисть, расходовал свой талант на изображение всегда готовых к его услугам натюрмортов. Патерсон сказал Жаку: «Четыре-пять сеансов, самое большое...» Но это воскресенье было уже девятым днем с тех пор, как Жак, изнывая от досады, вынужден был регулярно около полудня тащиться в верхнюю часть старого города ради сеансов, которые никогда не занимали менее двух часов.

Патерсон начал лихорадочно водить кистью по палитре. Еще с секунду, присев подобно пловцу, испытывающему эластичность трамплина, он неподвижно смотрел на Жака. И, внезапно вытянув руку словно фехтовальщик, он бросился к полотну, чтобы положить в одной определенной точке один-единственный световой блик; после этого он снова отступил к стене, прищурив глаза, покачивая головой и фыркая, как рассерженный кот. Затем он обернулся к своей жертве и, наконец, улыбнулся:

— Столько моши, мой дорогой, в этих бровях, в этом виске, в волосах, спадающих на лоб! Это, нелегко...

Он поставил палитру и кисти на кухонный стол и, повернувшись на каблуках, растянулся во весь рост на одном из матрацев.

— На сегодня хватит!

Отпущеный на свободу, Жак облегченно вздохнул.

— Можно взглянуть?.. Ого! Однако сегодня ты здорово подвинулся вперед!

Жак был изображен сидящим, в три четверти оборота. Портрет заканчивался на уровне колен. Левое плечо убегало в даль, в перспективу; правое плечо, правая рука и локоть мощно выдвигались на передний план. Широко раскрытая мускулистая ладонь, лежав-

шая на бедре, создавала внизу полотна живое светлое пятно. Голова, хотя и была приподнята и ярко освещена, слегка склонялась к левому плечу, словно увлекаемая тяжестью волос и лба. Свет падал слева. Половина лица оставалась в тени; но из-за наклона головы весь лоб оказывался освещенным. Темная челка с рыжим отливом, пересекавшая лоб слева направо, по контрасту еще более усиливала блеск кожи. Патерсон особенно хорошо передал волосы, набегающие на лоб, жесткие и густые словно трава. Мощный подбородок упирался в полурастянутый белый воротник. Горькая складка, придававшая лицу суровую жесткость, облагораживала большой рот с плохо очерченными губами. Глаза под беспокойной линией бровей, спрятанные в полумраке, казались искренними и исполненными воли, но выражение их было слишком смелым, дерзким, что уже не соответствовало натуре. Патерсон только что заметил это. В целом он хорошо выразил большую силу, излучавшуюся от плеч, лба и подбородка, но он отчаялся в возможности передать все оттенки мысли, печали и дерзновения, которые все время сменялись, не смешиваясь, в этом подвижном взгляде.

— Ты завтра опять придешь, не правда ли?

— Если надо, — сказал Жак без энтузиазма.

Патерсон приподнялся, чтобы пошарить в карманах макинтоша, висевшего над постелью. Он разразился звонким смехом:

— Митхерг мне не доверяет: он больше не оставляет табака в своих карманах.

Когда Патерсон смеялся, он тотчас становился вновь тем лукавым «боу», каким он, должно быть, был пять-шесть лет назад, когда он порвал со своей пуританской семьей, бежал из Оксфорда и поселился в Швейцарии.

— Жаль, — пробормотал он с досадой, — за потерянное тобой воскресенье я охотно угостил бы тебя папиросой, дружище!..

Он легче обходился без пищи, чем без табака, и без табака легче, чем без красок. Впрочем, ему никогда не приходилось долго отказывать себе ни в красках, ни в табаке, ни даже в пище.

В Женеве образовалась большая группа молодых революционеров без средств, более или менее тесно связанная с существующими организациями. На что они жили? Так или иначе — они жили. Некоторые из них, привилегированные интеллигенты, подобно Жаку, сотрудничали в газетах и журналах. Другие, квалифицированные рабочие со всех концов света — наборщики, чертежники, часовщики — кое как перебивались и при случае делились куском хлеба со своими безработными товарищами. Но большая часть из них не имела постоянного занятия. Они занимались на случайную работу, неверную и плохо оплачиваемую, и оставляли ее, как только у них заводилось немногих денег в кармане. Среди них было много студентов, ходивших в изношенном белье, перебивавшихся уроками, библиотечными изысканиями, мелкой лабораторной работой. К счастью, они никогда не терпели нужды все одновременно. Достаточно было чьего-либо кошелька, чтобы обеспечить

немного хлеба и колбасы, горячего кофе и папиросы для тех, у кого в данный момент карманы были пусты. Взаимопомощь налаживалась сама собой. Можно привыкнуть питаться лишь один раз в день и чем угодно, когда люди молоды и живут в тесном содружестве, с одними и теми же стремлениями, убеждениями, социальными страстями и надеждами. Некоторые, как, например, Патерсон, в шутку утверждали, что раздражение абсолютно пустого желудка сообщает мозгу необходимое для работы опьянение. И это было не только шуткой. Умеренность их питания способствовала постоянному умственному возбуждению, проявлявшемуся на бесконечных сборищах, которые они устраивали в любое время в скверах, в кафе, в меблированных комнатах, особенно в «Локале», где они собирались, чтобы поделиться между собою новостями, услышанными от революционеров-иностранцев, чтобы обменяться опытом и знаниями, чтобы работать всем совместно, дружно и пылко над построением будущего общества.

Жак, стоя перед зеркальцем для бритья, приводил в порядок свой воротничок и галстук.

— Зачем тебе торопиться, друг?.. Куда ты так спешишь? — пробормотал Патерсон.

Он лежал, полуобнаженный, с раскинутыми руками, поперек матраца. У него были худощавые, почти девические запястья и мужские руки; ноги — как у настоящего англичанина, хотя и тонкие в лодыжках. Голова была небольшая; пепельные волосы, слипшиеся от пота, сверкали в свете цветных стекол окна медным отблеском старинной позолоты. В его глазах, слишком блестящих для того, чтобы быть выразительными, казалось, постоянно отражалась борьба между простодушием и тоской.

— Мне столько надо было тебе сказать, — небрежно заметил он. — Ведь вчера вечером ты слишком рано ушел из «Локала»...

— Я устал. Все вертятся вокруг своей оси, повторяют одно и то же...

— Да... Впрочем, дискуссия в конце концов стала по-настоящему интересной, дорогой мой... Я жалел, что тебя не было. Пилот все-таки нашел, что ответить Буассони. О, всего лишь несколько слов; но это были такие слова, от которых — как это у вас говорится? — прямо в дрожь бросает.

Его тон выдавал глухую антипатию. Жак не раз замечал то своеобразное восхищение, смешанное с ненавистью, которое англичанин проявлял по отношению к Мейнестрелю — «Пилоту», как его называли. Он никогда не говорил об этом с художником. Сам Жак был глубоко привязан к Мейнестрелю; он не только любил его как друга, но и чтил как учителя.

Жак порывисто обернулся:

— Какие слова? Что же он сказал?

Патерсон ответил не сразу. Он созерцал потолок и странно улыбался.

— Это было в конце спора, неожиданно... Многие, как и ты, уже ушли... Он предоставил Буассони говорить, а сам, знаешь, делал вид, что не слушает... Вдруг он наклонился к Альфреде, которая, как всегда, сидела у его ног, и сказал очень быстро, ни на кого не глядя... Постой, я сейчас вспомню... Он сказал примерно так: «Ницше упразднил понятие о боже. На место его он поставил понятие человека. Но этого еще мало, это лишь первый этап. Атеизм должен теперь пойти значительно дальше: он должен упразднить также и понятие человека».

— Ну и что же? — сказал Жак, слегка пожимая плечами.

— Постой... Тогда Буассони спросил: «Чтобы заменить его — чем?» Пилот улыбнулся, знаешь, по-своему, страшной улыбкой... и объявил очень громко: «Ничем!»

Жак в свою очередь улыбнулся, чтобы уклониться от ответа. Ему было жарко, он устал позировать, он спешил вернуться к своей работе; а главное — у него не было никакого желания вступать в метафизические прения с этим добряком Патерсоном. Перестав улыбаться, он сказал только:

— У него благородная душа, Пат. Это неоспоримо!

Англичанин приподнялся на локте и посмотрел Жаку в лицо.

— Ничем! Да ведь это... absolutely monstrous!.. Don't you think so?<sup>1</sup>

И так как Жак молчал, он снова опустился на матрац.

— Дорогой мой, какой жизнью жил Пилот? Я постоянно задаю себе этот вопрос. Чтобы дойти до такого... опустошения, какими ужасными дорогами надо было ему пройти, каким отравленным воздухом дышать?.. Скажи мне, Тибо, — продолжал он почти тотчас же, не меняя тона, но вновь повернувшись лицом к Жаку, — я давно хотел спросить у тебя кое-что; ведь ты хорошо знаешь их обоих. Как ты думаешь, счастлива ли Альфреда со своим Пилотом?

Жак обнаружил, что никогда не ставил себе такого вопроса. Так или иначе, его нельзя было счесть неосновательным. Но он был слишком деликатным для быстрого разрешения, и смутная интуиция подсказала Жаку, что не надо затрагивать эту тему в разговоре с англичанином. Он кончил завязывать галстук и сделал уклончиво-осторожное движение плечами.

К тому же Патерсон, по-видимому, и не был обижен его молчанием. Он снова растянулся на постели и спросил:

— Ты будешь сегодня вечером на докладе Жанота?

Жак воспользовался случаем переменить тему:

— Не уверен... Мне надо сначала закончить работу для «Fanal»... Если успею, то приду в «Локаль» часам к шести. — Он надел шляпу. — Итак, быть может, до вечера, Пат!

<sup>1</sup> Совершенно чудовищно! Ты не находишь? (англ.).

— Ты мне не ответил насчет Альфреды, — сказал Патерсон, приподнимаясь на своем ложе.

Жак уже открыл дверь. Он обернулся к Патерсону.

— Не знаю, — сказал он после неуловимого колебания. — А почему бы ей и не быть счастливой?

## II

Было уже больше половины второго. Женева приступала к позднему воскресному завтраку... Солнце освещало площадь Бур-дю-Фур прямыми лучами, и тени сузились до лиловатой каймы у подножий домов.

Жак наискось пересек пустынную площадь. Одно лишь журчание фонтана нарушало тишину. Жак шел быстро, опустив голову, солнце жгло ему затылок, а сверкающий асфальт слепил глаза. Хотя он и не слишком опасался жары женевского лета — этой белой и голубой жары, неумолимой и здорсвой, никогда не мягкой, но редко засушливой, — он был приятно удивлен, найдя немного тени около магазинов, расположенных вдоль узкой улицы Фонтана.

Он думал о своей статье — рецензии в несколько страниц на последнюю книгу Фритча для книжного обозрения «Fanal suisse».<sup>1</sup> Две трети были уже написаны, но начало надо было полностью переделать. Быть может, ему следовало бы начать статью цитатой из Ламартина, которую он накануне списал в библиотеке: «Есть два патриотизма. Один из них слагается из всяческой ненависти, из всех предрассудков, из всех грубых антипатий, питаемых друг к другу народами, одичавшими под властью правительств, стремящихся разъединить их... Существует и другой патриотизм, состоящий, наоборот, из всех истин и прав, равно общих для всех народов...»

Мысль была несомненно правильной и смелой, но форма... «Что ж, — подумал он, улыбаясь, — пожалуй, это лексикон сорок восьмого года... Но разве он не является до сих пор примерно и нашим языком?.. Не считая исключений, — добавил он тотчас же. — Это совсем не похоже, например, на словарь Пилота». Воспоминание о Мейнестреле заставило его подумать о вопросе Пата. Была ли счастлива Альфреда? Он не решился бы ответить ни да, ни нет. Женщины... Можно ли в чем-либо быть уверенными с женщинами?.. Воспоминание о его собственном опыте с Софией Каммерцинн промелькнуло у него в голове. Он совершенно не думал о ней с тех пор, как покинул Лозанну и пансион папации Каммерцинна. Вначале она несколько раз приезжала к нему в Женеву. Потом прекратила эти посещения. Между тем он всегда радостно встречал ее. Поняла ли она в конце концов, что он не чувствовал к ней никакой привязанности? Смутное сожаление шевельнулось в нем. Странное создание... Он никем не заменил ее.

Он ускорил шаг. Ему надо было спуститься к набережной Роны.

<sup>1</sup> «Швейцарский маяк» (франц.).

Он жил на другом берегу, на площади Греню, в бедном квартале, состоящем из переулков и лачуг. В одном из углов этой площади, центр которой был занят общественной уборной, трехэтажный меблированный отель «Глобус» тщетно пытался скрыть свой облупленный фасад. Стеклянный глобус над низким подъездом светился по вечерам, заменяя вывеску. В противоположность другим отелям квартала, сюда не пускали проституток. Гостиница содержалась двумя холостяками, братьями Верчеллини, в течение многих лет состоявшими в социалистической партии. Все или почти все комнаты были заняты активными социалистами, которые платили мало, и то если могли; но братья Верчеллини никогда не выгнали ни одного жильца за невзнос платы; зато им приходилось иногда изгонять подозрительных людей, ибо эта мятежная среда привлекала к себе наравне с лучшими и худших.

Комната Жака, бедная, но чистая, находилась на верхнем этаже. К несчастью, единственное окно открывалось на площадку лестницы; шумы и запахи втягивались лестничной клеткой и назойливо врывались в комнату. Для того чтобы спокойно работать, надо было закрыть окно и зажечь плафон на потолке. Мебели в комнате было достаточно: узкая кровать, зеркальный шкаф, стол и стул; у стены — умывальник. Стол маленький и всегда загроможденный. Для того чтобы писать, Жак обычно усаживался на кровати, держа на коленях атлас вместо пюпитра.

Он работал уже полчаса, когда раздался троекратный раздельный стук в дверь.

— Войди, — крикнул он.

Взъерошенная голова показалась в приоткрытой двери. Это был маленький Ванхеде, альбинос. Он, так же как и Жак, в прошлом году покинул Лозанию ради Женевы и поселился в «Глобусе».

— Простите... Я помешал вам, Боти? — Он был из тех, кто продолжал называть Жака его прежним литературным псевдонимом, несмотря на то, что Жак после смерти отца подписывал статьи своей настоящей фамилией. — Я видел Монье в кафе «Ландольт». Пилот дал ему два поручения к вам. Первое — что Пилоту необходимо вас видеть и он будет ждать вас у себя до пяти часов. Второе — что ваша статья не пойдет в «Fanal» на этой неделе и, значит, вам не нужно сдавать ее сегодня вечером.

Жак прижал обеими ладонями разбросанные перед ним листки и прислонился головой к стене.

— Недурно! — сказал он с облегчением. Но тотчас же подумал: «Это значит, что я не получу свои двадцать пять франков на этой неделе...» С деньгами у него было скверно.

Ванхеде, улыбаясь, подошел к кровати.

— Дело подвигалось плохо? А о чем она, ваша статья?

— О книге Фритча «Интернационализм».

— Ну и как же?

— В сущности, видишь ли, я не очень-то уяснил себе, что следует думать...

— О книге?

— О книге... да и об интернационализме.

Брови Ванхеде, едва заметные, чуть сдвинулись.

— Фритч — сектант, — сказал Жак. — А кроме того, мне кажется, что он смешивает некоторые очень неравнозначные понятия: идею нации, идею государства и идею отечества. Поэтому у меня такое впечатление, что его мысль на ложном пути, даже когда он говорит вещи, по-видимому правильные.

Ванхеде слушал, прищурив глаза. Бесцветные ресницы скрывали его взгляд; в уголках губ кривилась гримаса. Он отошел к столу и сел на него, немного сдвинув в сторону папки с бумагами, предметы туалета и книги.

Жак продолжал неуверенным тоном:

— Для Фритча и ему подобных интернационалистический идеал требует прежде всего отказа от идеи отечества. Но необходимо ли это? Разве это неизбежно?.. Я совсем в этом не уверен!

Ванхеде поднял свою кукольную ручку.

— Подавление чувства патриотизма — во всяком случае! Как можно представить себе революцию в узких рамках одной страны? Революция — подлинная, наша революция — это интернациональное дело. И оно должно быть выполнено рабочими всего мира одновременно и всюду, где они составляют большинство населения.

— Да. Но, видишь ли, ты сам проводишь различие между патриотизмом и идеей отечества.

Ванхеде упрямо покачивал своей маленькой головой, покрытой шапкой курчавых, почти белых волос.

— Это одно и то же, Боти. Посмотрите, что сделал девятнадцатый век. Возбуждая повсюду патриотизм, чувство любви к отечеству, он укрепил принцип национальных государств и посеял вражду между народами, подготовив почву для новых войн!

— Согласен. Однако не патриоты, а националисты девятнадцатого века извратили в каждой стране понятие отечества. Привязанность, идущую от сердца, законную и безобидную, они подменили культом, агрессивным фанатизмом. Этот национализм, несомненно, достоин всяческого осуждения! Но разве надо, как делает Фритч, отбрасывать в то же время и чувство любви к отечеству? Ведь это же реальность, такая очевидная для человека, реальность, так сказать, физическая, плотская!

— Да! Чтобы стать подлинным революционером, надо прежде всего порвать все привязанности, вырвать из себя...

— Берегись, — прервал его Жак. — Ты думаешь о революционере, о типе революционера, каким ты хочешь быть, и ты теряешь из виду человека, человека вообще, каким его создает природа, действительность, жизнь... К тому же, можно ли в самом деле уничтожить тот патриотизм сердца, о котором я говорю? Я в этом не уверен. Что бы ни делал человек, он живет в определенном климате. У него свой темперамент, своя этническая конституция. Он

привязан к обычаям, к особым формам той цивилизации, которая его обработала. Где бы он ни находился, он сохраняет свой язык. Подожди! Это очень важно: проблема отечества — в сущности, быть может, не что иное, как проблема языка. Где бы он ни был, куда бы он ни отправился, человек продолжает всюду мыслить словами и синтаксисом своей страны... Посмотри вокруг нас! На наших женевских друзей, на всех этих добровольных изгнаников, которые верят в то, что они отреклись от родной земли и образовали подлинную интернациональную колонию! Посмотри, как они инстинктивно тянутся друг к другу и объединяются в нескольких маленьких землячествах — итальянских, австрийских, русских. Туземные братские патриотические землячества. Да и ты сам, Ванхеде, со своими бельгийцами!

Альбинос вздрогнул. Его зрачки, большие, как у ночной птицы, в которых засветился упрек, остановились на Жаке, затем вновь исчезли под завесой ресниц. Его застенчивость еще больше подчеркивалась некрасивой наружностью. Но молчание служило ему прежде всего для того, чтобы защитить его веру, более твердую, чем мысль, и при всей его робости необычайно убежденную в своей правоте. Никто, даже Жак, даже Пилот, не имел подлинного влияния на Ванхеде.

— Нет, нет, — продолжал Жак. — Человек может отказаться от родины, но он не может искоренить ее в себе. И этот патриотизм не имеет, в сущности, ничего несовместимого с нашим идеалом революционных интернационалистов!.. И потому я спрашиваю: разве не неосторожно поступать подобно Фритчу, объявляющему войну тем факторам, которые свойственны человеческой природе и являются ее силой? Я готов даже задать вопрос, не повредит ли человеку завтрашнего дня, если он их лишится. — Он помолчал несколько секунд, потом заговорил другим, нерешительным тоном, словно охваченный сомнениями: — Я мыслю так, а между тем я не решаюсь это написать. В особенности в рецензии на нескольких страницах. Надо было бы написать целую книгу, чтобы избегнуть недоразумений. — Он снова замолчал и вдруг добавил: — Впрочем, я-то не напишу этой книги... Ибо в конце концов я ни в чем твердо не уверен. Что мы знаем? Пожалуй, можно представить себе человека без родины. Человек ведь привыкает ко всему. Быть может, он в конце концов приспособится и к такому неполноценному существованию...

Ванхеде отошел от стола и сделал внезапно шаг по направлению к Жаку. На его лице слепца светилась ангельская радость:

— Он сторицей будет вознагражден за это!

Жак улыбнулся. Вот за такие порывы ему, и был дорог маленький Ванхеде.

— А теперь я вас оставлю, — сказал альбинос.

Жак продолжал улыбаться. Он смотрел, как Ванхеде подошел к двери, словно подпрыгивая на ходу, сделал прощальный жест и бесшумно покинул комнату.

Хотя ничто более не заставляло его закончить статью, — а может быть, именно поэтому, — он с увлечением принялся за работу.

Он еще писал, когда услышал, как часы в вестибюле пробили четыре. Мейнестрель ждал его. Он вскочил с кровати. Как только он встал, он сразу же почувствовал, что голоден. Но ему некогда было задерживаться по дороге. В ящике стола у него еще хранились два пакета с шоколадом в порошке, который можно было быстро развести в горячей воде. К тому же, и спиртовка была еще накануне заправлена. Пока он мыл себе лицо и руки, в маленькой кастрильке уже закипела вода. Он выпил, обжигаясь, чашку шоколада и торопливо отправился в путь.

### III

Мейнестрель жил довольно далеко от площади Греню, в квартале Каруж, излюбленном многими революционерами, преимущественно русскими эмигрантами. Это был ничем не замечательный квартал на берегу Арвы, по ту сторону площади Пленпала. Предприниматели, нуждавшиеся в свободном пространстве, торговцы дровами и углем, плавильщики, каретники, паркетчики, орнаментщики расположили там свои склады и мастерские; эти строения вдоль широких, полных воздуха улиц чередовались с островками старых домов, запущенных садов и незастроенных участков.

Дом, в котором жил Пилот, возвышался на углу набережной Шарль-Паж и улицы Каруж, близ Нового моста, — длинное трехэтажное здание, желтоватое, плоское, без балконов, принимавшее, однако, под летним солнцем приятную окраску цвета итальянской штукатурки. Стai чаек пролетали под окнами и носились над высоким берегом Арвы, быстрое, хотя и неглубокое течение которой принимало вид горного потока, покрывающего пеной прибрежные скалы.

Мейнестрель и Альфреда занимали в глубине коридора помещение из двух комнат, разделенных узкой передней. Одна из комнат, поменьше, служила кухней, вторая — спальней и кабинетом.

Возле залитого солнцем окна с закрытыми решетчатыми ставнями Мейнестрель, склонившись над раскладным столиком, работал в ожидании прихода Жака. Мелким, лихорадочно быстрым почерком, часто сокращая слова, он набрасывал на бумагу какие-то заметки, которые Альфреда тут же расшифровывала, а затем переписывала на старой пишущей машинке.

В эту минуту Пилот был один в комнате. Альфреда только что встала со стула, на котором она всегда сидела, низенького стула, стоявшего вплотную рядом со столом Мейнестреля. Пользуясь пепельницей в работе своего повелителя, она пошла на кухню, открыла кран и наполнила графин холодной водой. Кисловатый запах компота из персиков, варившегося на легком огне газовой плитки,

плавал в теплом воздухе. Они питались почти исключительно молочными продуктами и вареными овощами и плодами.

— Фреда!

Она кончила полоскать кофейное ситечко, которое держала в руках, повесила его сушиться и быстро вытерла руки.

— Фреда!

— Да...

Она поспешила к нему и быстро села на свой низенький стул.

— Где ты была, девочка? — пробормотал Мейнестрель, проводя рукой по ее склоненной шее, обрамленной темными волосами. Ответа на этот вопрос не требовалось. Он задал его мечтательным голосом, не прерывая работы.

Подняв голову, она улыбалась. Взгляд у нее был теплый, преланный и спокойный. Ее сильно расширенные зрачки выражали желание все видеть, все понять, все полюбить; но в них никогда не пробегало ни малейшего проблеска настойчивости или любопытства. Казалось, она была создана для того, чтобы созерцать и ждать. Как только Мейнестрель начинал в ее присутствии думать вслух (что он делал беспрестанно), она поворачивалась к нему и, казалось, слушала его глазами. Иногда, если мысль была меткой, она высказывала одобрение легким движением ресниц. Ее присутствие — близкое, молчаливое и внимательное — вот и все, в чем нуждался Мейнестрель; теперь оно было ему не менее необходимо в жизни, чем воздух.

Ей было всего двадцать два года; она была на пятнадцать лет моложе его. Никто не мог бы точно сказать, каким образом они нашли друг друга и какой именно союз соединяет их под внешней формой их совместной жизни. В прошлом году они вместе приехали в Женеву. Мейнестрель был швейцарцем. О ней было известно, что она южноамериканского происхождения, хотя сама она никогда не говорила ни о своей семье, ни о своем детстве.

Мейнестрель продолжал писать. Его лицо, казавшееся еще более худым из-за черной бородки, остроконечной и коротко подстриженной, наклонялось вперед. Узкий и словно сдавленный в висках лоб на свету казался особенно выпуклым. Левая рука Мейнестреля лежала на шее Альфреды. Неподвижно согнувшись, молодая женщина отдавалась этой ласке с трепетной сонливостью кошки.

Не меняя положения руки, Мейнестрель перестал писать, посмотрел куда-то вдаль и отрицательно покачал головой.

— Дантон говорил: «Мы хотим поднять все то, что находится внизу, и спустить вниз все то, что наверху». Это, девочка, слова политика. Это не слова революционера-социалиста. Луи Блан, Прудон, Фурье, Маркс никогда не сказали бы так.

Она взглянула на него. Но он на нее не смотрел. Его лицо, устремленное теперь к верху окна, где ставни пропускали полоску солнечного света, оставалось бесстрастным. Черты были правильны, но странно безжизненны. Цвет лица, хотя и не болезненный, казался сероватым, словно кровь под кожей была бесцветна; такими

же были и губы под коротко подстриженными черными усами. Вся жизненная сила была сконцентрирована в глазах, маленьких, расположенных странно близко один к другому; зрачки, черные-черные, занимали все свободное место в разрезе век, где едва был виден белок; блеск их был почти невыносим, а между тем в нем не было заметно теплоты. Этот взгляд без оттенков, только блестящий и, казалось, постоянно до предела напряженный и внимательный, был не вполне человеческим. Он подавлял, и возбуждал, и заставлял думать о проницательном, диком и таинственном взгляде некоторых человекообразных обезьян.

— ...Силлогизмы индивидуалистической идеологии, — пробормотал он разом, словно заканчивая какую-то скрытую мысль.

Голос его звучал глухо и монотонно. Он почти всегда говорил короткими фразами, словно изрекал пророчества, выталкивая их из себя слабым, хотя и неистощимым дыханием. Способ, которым он произносил единым духом целую серию трудных слов, как, например, «силлогизмы индивидуалистической идеологии», — впрочем разделяя их четко по слогам, — напоминал искусство скрипача-виртуоза, рассыпающего одним движением струн смычка целый каскад звуков.

— Классовый социализм не есть социализм, — продолжал он. — Поставить на место одного класса другой — это значит лишь заменить одно зло другим, одно принуждение другим принуждением. Все классы в современном обществе страдают. Строй, основанный на наживе, тирания конкуренции, ожесточенный индивидуализм порабощают также и господствующий класс. Он лишь не отдает себе отчета в этом. — Он дважды потер грудь, покашливая, и очень быстро произнес: — Широко растворить в бесклассовом обществе путем новой организации труда все без различия здоровые элементы — вот что необходимо, девочка...

Затем он снова принялся писать.

Имя Мейнестреля было связано с первыми шагами авиации. Будучи одновременно летчиком и инженером-механиком, он принадлежал к тем людям, которых пригласила Ш.А.К.,<sup>1</sup> строя завод в Цюрихе; и некоторые машины, до сих пор находившиеся в употреблении, носили его имя. В то время его упорные попытки перелететь через Альпы привлекли к нему внимание широкой публики. Однако, раненный в ногу при аварии, не давшей ему завершить перелет Цюрих — Турин (и чуть не стоившей ему жизни), он оставил профессию летчика. Затем в результате стачек на заводе Ш.А.К., во время которых он смело покинул свое конструкторское бюро, чтобы принять участие в рабочем движении, он внезапно уехал из Швейцарии. Что стало с ним? Не в Восточной ли Европе провел он эти годы своего безвестного отсутствия? Он был пол-

<sup>1</sup> Швейцарская авиационная компания.

ностью в курсе русских вопросов и несколько раз имел случай показать, что неплохо разбирается в славянских языках; но он знал также и дела Малой Азии и Испании. Он, несомненно, имел личные отношения с большинством влиятельных лиц революционного мира Европы; со многими из них он даже находился в постоянной переписке; но при каких обстоятельствах, с какой целью он сблизился с ними? Он говорил о них с вводящей в заблуждение смесью точности и неопределенности, всегда в связи с посторонними вещами, как бы для того, чтобы дополнить этой информацией разговор на общие темы; и когда он цитировал какое-нибудь характерное слово, по-видимому слышанное им, или рассказывал о событии, свидетелем которого он, по-видимому, был, он никогда не давал себе труда разъяснить степень своего участия в данном деле. Его намеки были всегда неожиданны; тон его, когда речь шла о фактах, доктринах, личностях, был серьезен и обоснован, но уклончив и даже явно насмешлив, как только дело касалось его самого.

Тем не менее создавалось впечатление, что он всегда присутствовал там, где происходили какие-либо события, или по крайней мере что он лучше, чем кто-либо, знал о том, как в действительности развивались эти события в известный день в известном месте, и имел на них свою особую точку зрения, которая позволяла ему делать неожиданные и неопровергимые выводы.

Зачем он приехал в Женеву? «Чтобы найти покой», — сказал он однажды. В течение первых месяцев он жил, чуждаясь всех, избегая эмигрантов, равно как и членов швейцарской социалистической партии, проводя все дни вместе с Альфредой в библиотеках за чтением и изучением произведений учителей революции, не имея, по-видимому, другой цели, кроме повышения своей политической культуры.

Затем однажды Ричардли, молодому женевскому социалисту, удалось привести его в «Локаль», где каждый вечер собиралась довольно пестрая группа революционеров — швейцарских и иностранных. Нравилась ли ему эта среда? Он там ни разу не раскрыл рта; но на следующий день он снова пришел туда уже без приглашения. И очень скоро его сильная индивидуальность была там признана. В этом собрании теоретиков, осужденных в данный момент на бездействие и бесплодные споры, мощь этого критического ума, никогда не изменявшая ему эрудиция, казавшаяся результатом не столько чтения и компиляций, сколько опыта, его инстинктивное умение придавать конкретность любому вопросу, постоянное стремление указывать революционной мысли практические цели, искусство, с которым он вскрывал самое существенное в наиболее сложных социальных проблемах, резюмируя эту суть в нескольких запоминающихся формулах, — все это обеспечило ему исключительное влияние на кружок. За несколько месяцев он стал его центром и душой, кое-кто сказал бы — главой. Он появлялся там ежедневно, но тайна, окружавшая его, не разъяснялась, — тайна человека, который намеренно отступает в тень, бережет себя, готовится к чему-то.

— Иди сюда, — сказала Альфреда, пропуская Жака в кухню. — Он работает.

Жак вытирая лоб.

— Не хочешь ли? — предложила она, показывая на графин, в который текла струя воды из крана.

— Еще бы!

Стакан, который она наполнила, тотчас запотел. Она стояла перед ним с графином в руках, в скромной и услужливой позе, которая была ей свойственна. Ее матовое лицо, едва припудренное, вздернутый нос, детский рот, набухавший, как спелая земляника, когда она складывала губы, чуть-чуть раскосые глаза, наконец черная бахрома жестких лоснящихся волос, закрывавшая ей лоб до бровей, делали ее похожей на японскую куклу, сфабрикованную в Европе. «Может быть, также из-за ее синего кимоно», — подумал Жак. Пока он пил, ему пришел в голову вопрос Пата: «Как ты полагаешь, счастлива ли Альфреда со своим Пилотом?» Он должен был признаться себе, что он ее совсем не знает, хотя она и присутствовала всегда при его разговорах с Мейнестрелем. Он привык смотреть на нее не как на живое существо, а скорее как на необходимую домашнюю принадлежность, точнее говоря — как на частицу Мейнестреля. Сегодня он впервые обнаружил в себе легкое стеснение, оказавшись наедине с Альфредой.

— Еще стакан?

— Пожалуйста.

Его томила жажда после выпитого шоколада. Он подумал о том, что не завтракал и что вообще питается он нелепо. Внезапно ему пришла в голову странная мысль: «Да потушил ли я спиртовку?» Он напряг память. Но точно вспомнить не смог.

Из-за перегородки раздался голос Пилота:

— Фреда!

— Да...

Она улыбнулась и весело подмигнула Жаку с видом сообщницы, словно хотела сказать: «Какой у меня тут большой капризный ребенок!»

— Иди сюда, — сказала она.

Мейнестрель поднялся. Он приоткрыл ставни и встал в тени, сбоку от окна. Луч солнца, проникший в комнату, освещал широкую низкую кровать, голые стены и стол, на котором лежали только автоматическая ручка и тоненькая стопка листков.

В серой шерстяной пижаме Мейнестрель казался высоким. У него было гибкое тело, довольно узкая грудь; к тому же спина начинала сутулиться. Его острый взгляд остановился на Жаке, которому он протянул руку.

— Я побеспокоил тебя, но здесь нам будет удобнее, чем в «говорильне»... Вот, девочка, тебе работа, — добавил он, вручая Альфреде книгу с вложенной в нее закладкой.

Она послушно взяла машинку, устроилась на полу, спиной к кровати, и начала стучать по клавишам.

Мейнестрель и Жак уселись за стол. Лицо Пилота приняло озабоченное выражение, он откинулся на спинку стула и вытянул вперед ногу. (После того несчастного случая у него стало плохо сгибаться правое колено; из-за этого он иногда слегка прихрамывал.)

— Досадная история, — сказал он вместо вступления. — Один человек пишет мне, что есть двое, которым мы как будто не должны доверять. Во-первых — Гитберг.

— Гитберг? — воскликнул Жак.

— Во-вторых — Тоблер.

Жак молчал.

— Это тебя поразило?

— Гитберг? — повторил Жак.

— Вот письмо, — продолжал Мейнестрель, доставая конверт из кармана пижамы. — Читай.

— Да, — прошептал Жак, медленно прочитав письмо, содержавшее длинный и холодный обвинительный акт без подписи автора.

— Ты знаешь, какую роль играли Гитберг и Тоблер в хорватском движении. Они приедут в Вену на съезд. Необходимо, значит, выяснить, насколько можно им доверять. Дело серьезное. Я не хочу поднимать шум, прежде чем сам не буду убежден.

— Да, — повторил Жак. Он едва удержался, чтобы не добавить: «Как же вы намерены поступить?» Но он не сказал этого. Хотя на его отношениях с Мейнестрелем лежал отпечаток некоторой товарищеской близости, он все же инстинктивно соблюдал известную дистанцию, разделявшую их.

Словно предвидя этот вопрос, Мейнестрель заговорил сам:

— Во-первых... (Забота о ясности и точности доходила у него почти до мании, и он нередко начинал фразу с резкого «во-первых», за которым, однако, не всегда следовало «во-вторых».) Во-первых, чтобы убедиться, есть только одно средство: расследование на месте. В Вене. Расследование, произведенное без лишнего шума. Кем-нибудь, кто не привлекает к себе внимания. Предпочтительно кем-нибудь, кто не состоит ни в какой партии... Однако, — продолжал он, настойчиво глядя на Жака, — кем-нибудь надежным. Я хочу сказать — таким, на суд которого можно было бы положиться.

— Да, — сказал Жак, удивленный и втайне польщенный. И тотчас же подумал не без удовольствия: «Кончено с позированием... Тем хуже для Пата». Затем снова, уже во второй раз, мысль о спиртовке пришла ему на ум.

Несколько секунд прошло в молчании, и слышно было лишь постукивание машинки да удаленное журчание воды, льющейся из крана.

— Ты согласен? — сказал Мейнестрель,

Жак утвердительно кивнул головой,

— Надо отправиться дня через два, — продолжал Мейнестрель. — Только успеть собрать вещи. И надо пробыть в Вене столько, сколько понадобится. Две недели, если необходимо.

Альфреда на мгновение подняла свой взор на Жака, который, не отвечая, снова кивнул головой; потом она опять принялась за работу.

Мейнестрель продолжал:

— В Вене у тебя есть Госмер, он тебе поможет...

Он остановился: послышался стук в дверь.

— Пойди открай, девочка... Если Тоблер действительно получил деньги, — сказал он, обернувшись лицом к Жаку, — Госмер должен об этом знать.

Госмер был другом Мейнестреля. Он был австриец и жил в Вене. Жак познакомился с ним год назад в Лозанне, куда Госмер приезжал на несколько дней. Эта встреча произвела на Жака глубокое впечатление. Впервые он столкнулся тогда с одним из тех революционеров — циников и оппортунистов, безразлично относящихся к средствам, для которых конечная цель служит действительно единственным оправданием и которые не стыдятся в случае надобности принимать временные обличия, лишь бы только их компромиссы послужили — хоть в самой малой степени — делу революции.

Альфреда вернулась и объявила:

— Это Митхерг.

Мейнестрель повернулся к Жаку и пробурчал:

— Побеседуем еще в «говорильне»... Входи, Митхерг, — сказал он, повысив голос.

Митхерг носил большие круглые очки под полукружьями бровей, что придавало его лицу выражение постоянной тревоги. Лицо у него было мясистое, черты — мягкие, несколько расплывшиеся, словно у невыспавшегося ночного гуляки.

Мейнестрель встал.

— В чем дело, Митхерг?

Взгляд Митхерга обошел комнату, затем остановился на Пилоте, на Жаке и, наконец, на Альфреде.

— Дело в том, что Жанот только что пришел в «Локаль», — объяснил он.

«Нет, — сказал себе Жак, — я далеко не уверен в том, что погасил спиртовку. После того как я налил себе чашку, очень возможно, что я опять поставил кастрюльку на огонь, не потушив его... Потом я выпил чашку и отправился... Фитиль, может быть, еще горел...»

Он молча, упорно глядел в одну точку.

— Жанот очень хотел видеть вас до своего доклада, еще до вечера, — продолжал Митхерг. — Но он так измучился в дороге... Он плохо переносит жару...

— У него слишком густая шевелюра... — пробормотала Альфреда.

— Поэтому он пошел спать... Но он хотел, чтобы я передал вам его самый горячий привет.

— Прекрасно, прекрасно, — сказал Мейнестрель совершенно неожиданным для него фальцетом. — Митхерг, милый, нам в высшей степени наплевать на Жанота... Не правда ли, девочка? — Говоря, он положил руку на полное плечо Альфреды и, лаская, перебирал волосы молодой женщины.

— Ты его знаешь? — спросила Альфреда, лукаво взглянув на Жака.

Жак не слушал. Он тщетно искал в памяти какую-нибудь деталь, которая могла бы его успокоить. Он был уверен, что поставил кастрюльку на пол. Затем, несомненно, он должен был потушить огонь и закрыть спиртовку колпачком. И, однако...

— У него шевелюра старого облезлого льва, — продолжала Альфреда, смеясь. — Этот чемпион антиклерикализма устроил себе прическу соборного органиста!

— Тс-с, девочка, — ласково проворчал Мейнестрель.

Обескураженный Митхерг кисло улыбался. Взъерошенные волосы придавали ему вид человека, готового прийти в ярость. Впрочем, он и в самом деле легко выходил из себя.

Митхерг был уроженец Австрии. Пять лет назад он, чтобы избежать военной службы, покинул Зальцбург, где начинал учиться на фармацевта. Переехав в Швейцарию, — сначала в Лозанну, потом в Женеву, — он закончил там свое профессиональное образование и теперь регулярно работал в лаборатории четыре дня в неделю. Но он больше был занят социологией, чем химией. Одаренный изумительной памятью, он все читал, все запоминал, все укладывалось в порядок в его квадратной голове. К нему можно было обращаться как к справочнику. Его товарищи, и в первую очередь Мейнестрель, делали это очень часто. Он был теоретиком революционного насилия. И в то же время чувствительным, сентиментальным, робким и несчастным человеком.

— Жанот уже разъезжал со своим докладом, можно сказать, везде, — продолжал он с важностью. — Он отлично осведомлен в европейских делах. Он приехал из Милана. В Австрии он прожил два дня у Троцкого. Рассказывает любопытные вещи. У нас есть план — после доклада свести его в кафе «Ландольт», чтобы заставить его порассказать. Вы приедете, не правда ли? — сказал он, взглянув на Мейнестреля, потом на Альфреду. И, повернувшись к Жаку, добавил: — А ты?

— В «Ландольт», может быть, да, — ответил Жак, — но на доклад — нет! — Навязчивая мысль привела его в нервное состояние; кроме того, хотя он уже давно был свободен от всяких религиозных пережитков, антиклерикализм в других людях раздражал его почти всегда. — Уже в самом названии доклада есть нечто мальчишески вызывающее: «Доказательства несуществования

бога». — Он вынул из кармана зеленую бумажку, напоминавшую проспект. — А его декларация-программа! — воскликнул он, пожимая плечами. Он прочел высокопарным тоном: — «Я предлагаю вам принять такую систему Мира, которая делает абсолютно бесполезным всякое обращение к гипотезе о Духовном Начале...»

— Легко издеваться над стилем, — прервал его Митхерг, вращая круглыми глазами. (Когда он воодушевлялся, его слюнные железы начинали усиленно работать, и его слова сопровождались булькающим звуком.) Я согласен, что эти вещи могли бы быть лучше изложены на языке рациональной философии. Но и не считаю бесполезным говорить и повторять эти вещи. Ведь именно благодаря предрассудкам церковники господствовали над людьми в течение веков. Без религии люди не мирились бы так долго с нищетой. Они давно уже восстали бы. И были бы свободны!

— Возможно, — согласился Жак, смяв программу и бросая ее с мальчишеским задором в щель между ставнями. — Возможно также, что проповедь такого рода вызовет сегодня гром аплодисментов, как в Вене, как в Милане... И я готов согласиться, что есть нечто трогательное в этой потребности все понять и тем самым освободиться, собирающей, несмотря на жару и накуренную, душную комнату, несколько сот мужчин и женщин, которым было бы куда лучше сидеть на берегу озера и любоваться ночью и звездами. Но посвятить целый вечер выслушиванию подобных вещей — нет, это свыше моих сил!

На последних словах его голос внезапно задрожал. Он только что представил себе, как пламя скручивает бумаги, разбросанные на столе, и охватывает оконную занавеску, причем увидел это с такой ясностью, что у него перехватило дыхание. Мейнестрель, Альфреда и даже Митхерг, который не отличался наблюдательностью, взглянули на него с удивлением.

— А теперь до свидания, — сказал он отрывисто.

— Ты не пойдешь с нами в «Локаль»? — спросил Мейнестрель.

Жак уже взялся за дверную ручку.

— Мне нужно сначала зайти домой, — бросил он им.

Дойдя до улицы Каруж, он пустился бегом. На площади Плен-пала он увидел отходящий трамвай и вскочил на площадку. Но на остановке у набережной, охваченный нетерпением, он выпрыгнул из вагона и побежал через мост.

И только когда он выбрался из улицы Этюв и увидел знакомые дома на площади Греню, общественную уборную и мирный фасад «Глобуса», весь его панический страх испарился, словно по волшебству.

«Ну и дурак же я!» — подумал он.

Теперь он вспомнил, что закрыл фитиль медным колпачком, и даже то, что при этом он обжег себе кончики пальцев. Он чувство-

вал еще боль в мякоти большого пальца и осмотрел его, чтобы найти следы ожога. Воспоминание на этот раз было настолько определенным и бесспорным, что он даже не потрудился подняться на четвертый этаж, чтобы проверить точность своей памяти. Повернув обратно, он снова спустился к Роне.

С моста он увидел на голубом фоне Альп весь старинный, расположенный уступами город — от зеленых, купающихся в воде склонов до башен собора св. Петра. Жак продолжал повторять: «Ну, не глупо ли?..» Несоответствие между незначительностью приключения и волнением, которое он пережил, оставалось для него загадкой. Он вспоминал другие подобные примеры. Уже не впервые он становился игрушкой своего воображения. «Почему я в такие минуты способен полностью терять контроль над собой? — спросил он себя. — Какая странная и болезненная склонность заставляет меня уступать беспокойству? И не только беспокойству — подозрению...»

Запыхавшись и обливаясь потом, он поднялся мелкими шажками в гору, не замечая привычных для него переулков, сумрачных и дышавших свежестью, пересеченных площадками и подъездами, которые поднимались, словно идя брать приступом город, среди старинных домов с деревянными балконами.

Незаметно для себя он оказался на улице Кальвина. Она поднималась прямо вверх; торжественная и печальная улица вполне соответствовала своему имени.<sup>1</sup> Отсутствие магазинов, ровная линия фасадов из серого камня, суровых и исполненных достоинства, строгая жизнь, которая невольно представлялась воображению за этими высокими окнами, — все это вызывало мысль о крепком, зажиточном пуританстве. В конце этой мрачной улицы возникала залитая солнцем площадь св. Петра с Фронтоном собора, его колоннадой и старыми липами, встречая путника, словно награда.

#### IV

«Воскресенье, — подумал Жак, увидев женщин и детей на паперти собора. — Воскресенье, и уже двадцать восьмое июня... Мое расследование в Австрии продлится по крайней мере десять — пятнадцать дней... А все остальное, что нужно успеть сделать до конгресса!»

Как и все его товарищи, летом 1914 года он ждал многоного от тех постановлений по основным проблемам Интернационала, которые должен был принять социалистический конгресс в Вене, назначенный на 23 августа.

Не без удовольствия думал он о миссии, возложенной на него Пилотом. Он любил деятельность: для него это было средством

<sup>1</sup> Религиозная доктрина кальвинизма носит суровый, фаталистический характер.

возвыситься в собственном мнении, избегнув при этом угрызений совести. А кроме того, он рад был уехать на несколько дней, чтобы избегнуть бесконечных собраний и споров в тесной комнате.

Живя в Женеве, он почти никогда не мог удержаться от того, чтобы не закончить день в «Локале». Иногда он только входил туда, пожимал руки двум-трем приятелям и тотчас же уходил. В иные вечера, обойдя один кружок за другим, он уединялся вместе с Мейнестрелем в отдельной комнате; это были его лучшие дни. (Драгоценные минуты дружеской близости, создававшие ему столько завистников: ибо те, у кого за плечами были годы борьбы, те, кто принимал участие в «революционном действии», не могли понять, как мог Пилот предпочесть им общество Жака.) Чаще всего он задерживался в «Локале» среди своих товарищей. Молчаливый и державшийся от них немного в стороне, он обычно не участвовал в спорах. Когда же он вмешивался в спор, то обнаруживал широкий кругозор, стремление все понять и примирить — качества ума, которые тотчас же придавали беседе необычайный поворот.

В этом космополитическом кружке, как и во всех подобных группировках, он встречал два типа революционеров — «апостолов» и «техников».

Природная склонность влекла его к «апостолам» — будь они социалисты, коммунисты или анархисты. Сам того не сознавая, он чувствовал себя непринужденно в обществе великолдуших мистиков, революционность которых исходила из того же источника, что и у него: из врожденной ненависти ко всякой несправедливости. Все они мечтали, подобно ему, о том, чтобы на развалинах существующего мира построить новое, справедливое общество. Их видение будущего могло различаться в деталях, но надежды их были одни и те же: новый социальный порядок, мир и братство. Подобно Жаку, — и именно в этом он чувствовал свою близость с ними, — они ревниво охраняли свое внутреннее благородство; тайный инстинкт, ощущение величия своего дела заставляли их подниматься над самими собой, превосходить самих себя. В сущности, их привязанность к революционному делу происходила оттого, что они находили в нем мощный стимул, возбуждающий волю к жизни. В этом отношении «апостолы» невольно оставались индивидуалистами: хотя они и посвятили свое существование борьбе за торжество коллективного дела, но бессознательно чувствовали, что в этой хмельной атмосфере боев и надежд их личные силы и возможности словно удесятерялись; их темперамент обретал свободу, потому что они посвятили себя огромному делу, которое превосходило их.

Но предпочтение, которое Жак оказывал идеалистам, не мешало ему признавать, что, будучи предоставлены их собственной страсти, они, несомненно, предавались бы лишь бесконечному и напрасному возбуждению. Истинный фермент, дрожжи революционного теста выделялись лишь меньшинством — «техниками». Они-то и выставляли точные требования и готовили их конкрет-

ное осуществление. Их революционные познания были обширны и беспрестанно питались новыми элементами. Их фанатизм ставил себе ограниченные цели, распределенные по степени важности и отнюдь не химерические. В атмосфере экзальтации, которую поддерживали «апостолы», «техники» являлись воплощением деятельной веры.

Жак не относил самого себя определенно ни к одной из этих категорий. Те, от кого он наименее отличался, были, очевидно, «апостолы»; однако ясность его ума или по крайней мере его тяга к точным определениям, стремление к конкретной цели, верное чутье данной ситуации, понимание личностей и отношений могли бы сделать из него, при некотором старании с его стороны, довольно хорошего «техника». И кто знает, может быть даже, при удачном стечении обстоятельств, он мог бы стать одним из «вождей»? Не было ли отличительной чертой «вождей» — соединение политических качеств «техников» с мистическим пылом «апостолов»? Некоторые революционные вожди, с которыми Жак сблизился, обладали этим двойным преимуществом: знанием дела (точнее — чувством действительности, настолько всеобъемлющим и вместе с тем проницательным, что они при любых обстоятельствах были способны тотчас же указать, что следует предпринять в связи с данными событиями и как изменить их ход) и авторитетом (притягательной силой, которая немедленно обеспечивала им непосредственное влияние и на людей и, по-видимому, даже на факты и явления). Между тем Жак не был лишен ни проницательности, ни авторитета; он обладал также довольно редко встречающейся способностью внушать к себе симпатию и увлекать за собой людей; и если он никогда не стремился развить в себе эти черты, то лишь потому, что он, за редкими исключениями, испытывал инстинктивное отвращение к мысли о влиянии на развитие и характер деятельности других существ.

Жак часто размышлял о своем странном положении в этом женевском мире. Оно казалось ему различным в зависимости от того, рассматривал ли он его по отношению к коллективу или к отдельным личностям.

По отношению ко всей группе он держался, в общем, пассивно. Значило ли это, что он не проявлял никакой активности? Конечно, нет. И именно это его самого больше всего удивляло. Оказывалось, что он в силу хода вещей взял на себя известную роль, при том довольно-таки неблагодарную: объяснять и оправдывать некоторые ценности и достижения гуманизма, формы искусства и жизни, которые все вокруг него называли «буржуазными» и которые всеми огульно осуждались. Он же сам, хотя, так же как и его товарищи, был убежден, что в области цивилизации буржуазия уже свершила свою историческую миссию, — сам он не доходил до признания необходимости систематического и радикального уничтожения той буржуазной культуры, которая, как он чувствовал, все еще пропитывала его насквозь. И он выступал защитником

того, что было ею создано лучшего и вечного, вкладывая в свои выступления известный интеллигентский аристократизм, в высшей степени французский, что глубоко раздражало его противников, но вместе с тем заставляло их иногда если не пересматривать свои суждения, то во всяком случае смягчать безапелляционную форму своих приговоров. Быть может, поэтому они более или менее сознательно испытывали тайное удовлетворение от того, что в их рядах находился этот перебежчик, который, как они знали, был глубоко предан тому же общественному идеалу, что и они, и присутствие которого среди них как бы освящало идею неизбежной и необходимой революции благословением из того мира, разрушению которого они отдавали себя.

По отношению к отдельным людям — с глазу на глаз — его личное участие принимало совершенно иной размах. Возбудив вначале некоторое недоверие к себе, он приобрел затем громадное влияние — разумеется, на лучших. Под его сдержанностью и изысканностью чувств и манер они встречали человеческое тепло, которое смягчало их жесткость и подогревало их доверие. Они обращались с Жаком совсем не так, как обходились друг с другом, с товарищами по коллективу. В свои отношения с ним они вносили оттенок интимности и сердечности. Они делились с ним своими сомнениями и колебаниями. В иные вечера дело доходило до того, что они поверяли ему самое затаенное — свой эгоизм, свои человеческие недостатки и слабости. Возле него они яснее осознавали самих себя и черпали в этом новые силы. Они спрашивали у него совета, как если бы он обладал в области внутренней жизни той истиной, которую он искал для себя везде и всегда. Поступая таким образом, они, не подозревая о том, мучительно связывали его, придавая его личности и его словам большее значение, нежели он хотел; они обязывали его беспрестанно держать себя в руках, молчать, не показывать другим своих ошибок, сомнений, разочарований; они возлагали на него ответственность, которая создавала вокруг него изолирующую зону и безжалостно обрекала его на одиночество. Порою это доводило его до отчаяния. «Откуда у меня этот незаслуженный престиж?» — спрашивал он себя. И тогда он вспоминал об излюбленной фразе Антуана: «Мы — Тибо... В нас есть нечто такое, что вызывает уважение...» Однако он легко избегал этих ловушек гордости, слишком ясно, увы, сознавая свою слабость, чтобы допустить, что какая-то таинственная сила могла излучаться от него.

## V

Кафе «Локаль», которое близкие к Мейнстрелю люди называли обычно «говорильней», было укромно расположено в самом центре верхней части города, на старинной улице Барьер, против собора.

Снаружи здание казалось непривлекательным. Это была одна из тех старых, обветшальных построек, которые еще встречались кое-где в этом чинном квартале. Четырехэтажный фасад был отделан розоватого цвета штукатуркой, потрескавшейся и изъеденной селитрой, и прорезан откидными окнами без ставен, запыленные стекла которых вызывали представление о покинутом жилище. От улицы дом был отделен узким двором, окруженным стенами и заваленным кучами мусора и железного лома, среди которых росла густая бузина. Входных ворот более не существовало. Оставшиеся от них каменные столбы были соединены между собой куском цинка, образующим вывеску, на которой еще можно было прочесть: «Медеплавильня». Плавильня давно уже выехала, но сохранила за собой дом в качестве товарного склада.

За этим-то необитаемым помещением и скрывался «Локаль». Кафе занимало двухэтажный флигель во втором дворе, невидимый с улицы; туда можно было пройти по сводчатому коридору, пересекавшему из одного конца в другой бывшую плавильню. В нижнем этаже флигеля помещался в свое время каретный сарай. Там жил Монье, человек на все руки. Верхний этаж состоял из четырех комнат, расположенных анфиладой, вдоль которой шел темный коридор. Самая дальняя из них представляла собой узкий кабинет, ставший благодаря Альфреде чем-то вроде личной приемной Пилота. Остальные три комнаты, довольно обширные, служили местом для собраний. В каждой из них стояло по дюжине стульев, несколько скамеек и столов, на которых были разложены газеты и журналы: в «Локале» можно было найти не только социалистическую печать всей Европы, но и значительную часть нерегулярных революционных изданий; иногда выходили один за другим несколько пропагандистских номеров, а затем издание приостанавливалось на срок от полугода до двух лет, потому что касса была пуста или редакторы оказывались в тюрьме.

Как только Жак миновал сводчатый коридор и достиг заднего двора, гул оживленных споров, долетавший из открытых окон верхнего этажа, возвестил ему о том, что сегодня «говорильня» полна народа.

Внизу на лестнице три собеседника с воодушевлением разговаривали на каком-то языке — не то испанском, не то итальянском. Это были три убежденных эсперантиста. Один из них, Шарпантье, педагог, приехавший в этот же день из Лозанны, чтобы послушать доклад Жанота, редактировал довольно распространенный в революционных кругах журнал: «Леманский эсперантист». <sup>1</sup> Он не упускал случая заявить, что одной из первых потребностей основанного на интернационализме мира явится универсальный язык, что введение эсперанто как вспомогательного средства общения для всех национальностей облегчит людям духовный и материальный обмен; при этом он любил ссылаться на священный

<sup>1</sup> Лозанна и Женева расположены на берегу озера Леман (Женевского).

авторитет Декарта, который в одном частном письме совершенно точно выразил пожелание об изобретении «универсального языка, крайне легкого для изучения, произношения и письма и — что самое главное — способствующего ясности суждений...»

Жак подал руку всем троим и поднялся наверх.

На площадке лестницы, стоя на четвереньках, Монье приводил в порядок комплект «Vorwärts».<sup>1</sup> По профессии он был официантом. Сказать правду, хотя он в любое время года и в любой час носил жилет с широким вырезом и целлулоидную манишку, он редко занимался своим ремеслом; он довольствовался тем, что каждый месяц одну неделю сверхурочно работал в пивной, что обеспечивало его на остальное время, которое он посвящал исключительно служению революции. Он отдавался с одинаковым пылом всем обязанностям: занимался по хозяйству, был курьером, размножал листовки, разбирал периодические издания.

В первой комнате, дверь из которой на лестницу была широко открыта, Альфреда и Патерсон разговаривали между собой одни, стоя у окна. В обществе англичанина — Жак еще раньше заметил это — молодая женщина охотно отказывалась от своей обычной роли молчаливой помощницы; казалось, что при нем она находила себя, свое лицо, которое в других случаях она скрывала — быть может, из робости. Альфреда держала под мышкой портфель Мейнестреля, а в руке — брошюру, из которой она что-то вполголоса читала Патерсону, слушавшему рассеянно, с трубкой в зубах. Он созерцал склоненное над книжкой лицо, черную баxому волос, тень, которую ресницы отбрасывали на ее щеки, удивительно матовый цвет ее кожи и, несомненно, думал: «Вот бы написать это тело...» Ни тот, ни другая не заметили, что Жак прошел мимо них.

Во второй комнате было многочисленное общество. Возле двери сидел папаша Буассони, живот которого покоился на его ляжках. Вокруг него стояли Митхерг, Герен и букинист Харьковский.

Буассони пожал руку Жака, не прерывая своей речи:

— Однако... однако... Что же это доказывает? Все одно и то же: недостаточность революционного динамиза... Почему? Слабость мышления! — Он откинулся назад, положив руки на колени, и улыбнулся.

Каждый день он приходил одним из первых. Он обожал споры. Это был француз, бывший профессор естественно-научного факультета в Бордо; занятия антропологией привели его к антропосоциологии, а смелость его лекций в конце концов сделала его подозрительным в глазах университетского начальства, и он нашел себе пристанище в Женеве. В его наружности была странная особенность, заключавшаяся в огромной голове и совсем маленьком лице. Широкий лоб, переходящий в лысину, отвислые щеки и несколько подбородков один над другим образовывали вокруг его физиономии

<sup>1</sup> «Вперед» (нем.) — с 1890 г. центральный орган Германской социал-демократической партии.

целую зону ненужной плоти, а в центре этой зоны, на маленьком пространстве, было сосредоточено все характерное для его лица: глаза, сверкавшие хитростью и добротой, короткий нос с широкими ноздрями, словно чующими добычу, толстые губы, постоянно готовые улыбнуться. Казалось, вся жизнь этого толстяка была сконцентрирована в этой миниатюрной живой маске, затерянной, словно оазис, в пустыне бледного жира.

— Я сказал это и вновь повторяю, — продолжал он, проводя с выражением лакомки языком по губам, — борьбу надо вести прежде всего на философском фронте!

Митхерг неодобрительно сверкнул глазами из-за очков. Он покачал взъерошенной головой:

— Действие и мысль должны быть едины!

— Вспомните о том, что произошло в Германии в девятнадцатом веке... — начал Харьковский.

Папаша Буассони хлопнул себя по ляжкам.

— Вот, вот именно! — сказал он, громко смеясь и заранее радуясь, что ему удастся доказать свою правоту. — Пример немцев...

Жак знал заранее все, что каждый из них скажет: менялся только порядок возражений и аргументов, как расположение пешек на шахматной доске.

В центре комнаты стояли Желявский, Перине, Сафрио и Скада, образуя оживленный квартет. Жак подошел к ним.

— В капиталистической системе все тесно переплетено, все так прочно держится! — заявил Желявский, русский с длинными усами цвета пеньки.

— Вот потому-то и надо только ждать, дорогой Сергей Павлович, — прошептал еврей Скада, произнося слова с упрямой мягкостью. — Крушение буржуазного мира совершиется само собой...

Скада был еврей из Малой Азии, лет пятидесяти. Крайне близорукий, он носил на крючковатом оливковом носу очки с толстыми, как линзы телескопа, стеклами. Он был очень уродлив: курчавые короткие волосы, словно приклеенные к яйцевидному черепу, огромные уши, но при этом теплый задумчивый взгляд, полный неистощимой нежности. Он вел аскетический образ жизни. Мейнестрель называл Скаду — «мечтательный азиат».

— Как дела? — произнес глубокий бас, и в то же мгновение тяжелая рука опустилась на плечо Жака. — Жарковато, а?

Это вошел Кийёф. Он обходил собравшихся, расточая рукопожатия и возгласы: «Как дела?» Он никогда не дожидался традиционного ответа: «А как у тебя?» Зимой и летом он отвечал авансом: «Жарковато, а?» (Чтобы заставить его изменить эту формулу, потребовались бы по крайней мере сугробы снега на улицах.)

— Крушение, быть может, еще далеко, но оно не-из-беж-но, — повторил Скада. — Время работает на нас. И это позволит нам умереть без сожаления... — Его дряблые веки опустились, и улыбка,

ни к кому не обращенная, но выражавшая уверенность, медленно проползла по его широким, зашевелившимся как змеи, губам.

Жан Перине выражал ему одобрение короткими и решительными кивками головы:

— Да, время работает!.. Везде! Даже во Франции.

Он говорил быстро и громко, ясным голосом. Он простодушно высказывал все, что приходило на ум. Его парижское произношение вносило забавный оттенок в это космополитическое собрание. Ему можно было дать лет двадцать восемь — тридцать. Тип молодого рабочего из провинции Иль-де-Франс: оживленный взгляд, пробивающиеся усыки, тонкий и выразительный нос, опрятный и здоровый вид. Он был сыном мебельного фабриканта из Сент-Антуанского предместья. Совсем молодым он из-за романтической истории покинул свою семью, узнал нищету, посещал анархистские кружки, сидел в тюрьме. Преследуемый лионской полицией после столкновения с ней, он бежал за границу. Жак очень любил его. Иностранцы держались от него на известном расстоянии: их смущала его постоянная готовность смеяться и его выходки; в особенности оскорбительной казалась его неприятная привычка называть их в разговоре «макаронщик», «колбасник»... Он же не видел в этом ничего обидного: разве сам он не называл себя «парижской штучкой»?

Он повернулся к Жаку, словно призывая его в свидетели:

— Во Франции, даже в среде фабрикантов и заводчиков, новое поколение уже чует, куда дует ветер. Оно чувствует, что, в сущности, все уже кончено, что масленица не может продолжаться вечно, что вскоре земля, рудники, заводы, акционерные общества, средства транспорта — все должно неизбежно отойти к массам, к обществу трудящихся... Молодые знают это. Не правда ли, Тибо?

Желявский и Скада быстро повернулись к Жаку и бросили на него испытующий взгляд, словно вопрос надо было выяснить срочно и они ожидали мнения Жака, чтобы принять решение исключительной важности. Жак улыбнулся. Конечно, он не менее, чем они, придавал значение этим признакам социального переворота; но он был менее проникнут сознанием полезности подобных разговоров.

— Это верно, — согласился он. — Я думаю, что у многих молодых французских буржуа вера в будущее капитализма втайне пошатнулась. Они еще пользуются благами, которые дает им эта система, они даже надеются, что ее хватит на их век, но у них уже нет «спокойной совести»... Но и только. Не будем слишком спешить с выводом о том, что они готовы разоружиться. Я думаю, наоборот, что они будут отчаянно защищать свои привилегии. Они еще дьявольски сильны! К тому же они располагают еще одним печальным преимуществом: молчаливой покорностью множества тех несчастных, которых они эксплуатируют!

— А кроме того, — сказал Перине, — они еще держат в своих лапах все командные посты.

— Они не только их фактически держат, — продолжал Жак, — но в настоящий момент они почти что имеют известное право их занимать... Ведь, в конце концов, где удалось бы найти...

— «Воспоминания пролетария!» — заревел внезапно Кийёф. Он остановился в глубине комнаты перед столом, где букинист Харьковский, исполнявший обязанности библиотекаря, каждый вечер раскладывал поступавшие с почты газеты, журналы, книги. Видны были только его склоненная голова и массивные плечи, трясящиеся от смеха.

Жак закончил фразу:

— ...где удалось бы найти в один день достаточное количество образованных людей, специалистов, способных занять их места? Почему ты улыбаешься, Сергей?

Желявский с минуту смотрел на Жака смеющимся и сердечным взглядом.

— В каждом французе, — сказал он, покачивая головой, — сидит скептик, который спит всегда только вполглаза...

Кийёф повернулся на каблуках. Он окинул взглядом группы собравшихся и направился прямо к Жаку, потрясая новенькой брошюрой.

— «Эмиль Пушар. Детские воспоминания пролетария»... Что это такое, скажите, а?

Он смеялся, таращил глаза, выставляя вперед свою добродушную физиономию, и заглядывал по очереди всем в лицо с комическим негодованием, которое он шутки ради немного преувеличивал.

— Еще один незадачливый товарищ, а?.. Олух, решающий «проблемы»! Писака, который возлагает свою книжонку к подноожию пролетариата!

Кийёфа называли то «Трибуном», то «Сапожником». Он был родом из Прованса. После многих лет плавания в торговом флоте, после того как он перепробовал двадцать профессий во всех средиземноморских портах, он осел в Женеве. В его сапожной мастерской вечно толпились безработные активисты, находившие там, в те часы, когда «Локаль» был закрыт, зимой — жарко натопленную печь, летом — прохладительные напитки и во всякое время года — табак и оживленные споры.

Его певучий голос южанина обладал способностью увлекать людей, и он, не отдавая себе в этом отчета, удивительно пользовался этим. Нередко на массовых собраниях он, просидев два часа скорчившись на скамейке, вдруг в конце собрания вскакивал на трибуну и, не высказывая ничего нового, просто лишь сообщая чужим идеям магию своего красноречия, несколькими фразами вызывал всеобщий подъем и заставлял принимать решения, для которых самые искусные ораторы не могли собрать большинства. В таких случаях трудно было остановить это щедрое словоизвержение, потому что его патетический порыв, звучность голоса, флюиды, которые, как он чувствовал, исходили от него и распространялись

в зале, — все это доставляло ему физическое наслаждение столь интенсивное, что он никак не мог им насытиться.

Он перелистывал книжку, пробегая глазами названия глав и вводя своим толстым указательным пальцем по строкам, словно ребенок, читающий по складам:

— «Семейные радости»... «Теплота домашнего очага»... Ах, мерзавец!

Он закрыл книгу и вдруг размежеванным движением игрока в кегли, согнув колени и раскачивая руку, швырнул ее на стол.

— Слушай, — сказал он, снова обращаясь к Жаку, — я тоже хочу написать свои воспоминания. Почему бы нет? У меня ведь тоже были свои семейные радости! Есть они у меня, воспоминания детства! Хватит даже одолжить тем, у кого их нет!

Другие группы, привлеченные раскатами его голоса, уже приближались к нему; выходки Трибуна имели свойство время от времени разряжать атмосферу этих дискуссий в тесном кругу.

Он оглядел свою аудиторию, прищурив глаза, и начал очень искусно, приглушенным голосом, конфиденциально:

— Квартал Эстак в Марселе все знают, не правда ли? Ну, так вот, мы жили в шестером в конце переулка на Эстаке. Две комнаты, которые обе уместились бы в половине этой. А одна из них была без окна... Отец поднимался при свечах, на холодном рассвете, и вытаскивал меня из груды тряпок, в которой я спал вместе с братьями, потому что он не любил, чтобы храпели, когда он уже встал. Вечером, очень поздно, он возвращался полуපъянный. Бедняга, он был измучен катаньем бочек по набережной порта. Мать, постоянно больная, тряслась над каждым грошом. Она боялась отца не меньше, чем мы. Ее тоже целый день не было дома, — не знаю точно, кажется, она работала поденно по хозяйству в городе... Я имел честь быть сфабрикованным первым по счету и потому нес ответственность за троих малышей. И раздавал же я им тумаков, любо было посмотреть, когда они меня выводили из себя своим хныканьем, сопливыми носами, своими ссорами... И ни ложки горячего супа за весь день! Ломоть хлеба, луковица, дюжина оливок, иногда кусочек сала. Ни вкусной еды, ни доброго слова, ни развлечений — ничего. С утра до вечера шлялся по улице, дерясь друг с другом из-за каждого гнилого апельсина, найденного в канаве... Мы облизывали раковины от устриц, брошенные бездельниками, которые наслаждались за стаканом белого вина на тротуаре... В тринадцать лет мы уже путались с девчонками за заборами пустырей... Ах, мерзавец! Мои семейные радости!.. Холод, голод, несправедливость, зависть, возмущение... Меня отдали в ученики к кузнецу, который платил мне пинками в зад. Пальцы постоянно обожжены раскаленным железом, в голове жар от кузнецких углей, а руки разламываются от кузнецких мехов!..

Он повысил тон, его голос стал вызывающим и дрожал от удовольствия. Быстрым взглядом окинул он своих слушателей, как бы говоря: «Мне тоже есть что порассказать из воспоминаний детства!»

Жак поймал смеющийся взгляд Желявского. Русский тихо поднял руку по направлению к Кийёфу и спросил:

— Как ты пришел в партию?

— Это было давно, — сказал Кийёф. — Службу я проходил во флоте. Мне посчастливилось жить в одной каюте с двумя парнями, которые знали, они занимались пропагандой. Я начал читать, учиться. Другие тоже. Мы давали друг другу книжонки, спорили... Грызлись порядком, еще как... Через полгода у нас составилась целая группа... Когда я расстался с ними, я уже понял: я стал человеком...

Он замолчал, потом, глядя прямо перед собою в пространство, продолжал:

— Мы составляли целую группу... Целую банду «твердых». Что стало с ними? Они не пишут своих воспоминаний, эти ребята! Как поживаете, красавицы? — закричал он, галантно повернувшись к двум подошедшем молодым женщинам. — Жарковато, а?

Круг расширился, чтобы дать место вновь пришедшим швейцаркам — Анаис Жюлиан и Эмилии Картье. Одна из них была учительницей, другая — сестрой милосердия Красного Креста. Они жили в одной квартире и обычно приходили вместе на собрания. Анаис, учительница, говорила на нескольких языках и печатала в газетах переводы иностранных революционных статей.

Они были совершенно не похожи друг на друга. Младшая, Эмилия, была маленькая, полная брюнетка; ее лицо, обрамленное голубой вуалью, которая ей очень шла и с которой она никогда не расставалась, было молочно-розовым — как у английского беби. Всегда веселая, слегка кокетливая; оживленные движения, быстрая на язык, но без колкостей. Больные обожали ее. Кийёф тоже. Он преследовал ее полуотеческими подразниваниями. С неподражаемой серьезностью он объяснял: «Она не то чтобы красива, но, черт возьми, умеет себя подать!»

У другой, Анаис, тоже брюнетки, было смуглое лицо, костиные скулы, лошадиная голова несколько нескладного вида. Но и та и другая производили впечатление какого-то равновесия, какой-то словно излучавшейся от них внутренней силы, того благородства, которое свойственно людям, не знающим никакой дисгармонии между тем, что они думают и что они представляют собой и делают.

Разговор возобновился.

Мечтательный Скада говорил о справедливости:

— Вносить как можно больше справедливости во все свои отношения, — проповедовал он со свойственной ему вкрадчивой мягкостью. — Это и есть то самое, что необходимо для умиротворения человечества.

— Как раз! — вмешался Кийёф. — Твоя справедливость — я голосую за нее целиком! Но не в этом дело! Для того чтобы установить мир во всем мире, чрезмерно рассчитывать на нее не при-

ходится: не бывает большего кляузника и ябедника, чем какой-нибудь вредный тип, помешанный на справедливости!

— Нет ничего прочного без любви, — прошептал маленький Ванхеде, остановившийся возле Жака. — Мир — это дело веры... веры и милосердия... — Несколько секунд он стоял неподвижно, потом удалился с загадочной улыбкой на губах.

Жак заметил Патерсона и Альфреду, которые шли через комнату, продолжая вполголоса свою беседу. Они неторопливо направлялись в другой зал, где должен был находиться Мейнестрель. Молодая женщина казалась рядом с англичанином совсем хрупкой. Длинный и гибкий, с трубкой во рту, он наклонялся к ней на ходу. Тонкие черты его гладко выбритого лица, покрой его костюма, как бы он ни был изношен, делали его внешность более изысканной, чем у его товарищей. Альфреда, проходя мимо группы Жака, обратила к ним свой глубокий взгляд, в котором иногда, как и в эту минуту, сверкали неожиданные искры, словно от тайного огня, обрекавшего ее на какую-то героическую судьбу.

Патерсон улыбнулся Жаку. У него был воодушевленный и счастливый вид, что еще более молодило его.

— Ричардли дал мне все это, — воскликнул он с мальчишеской живостью, протягивая Жаку начатую пачку табака. — Сделай себе папиросу, Тибо!.. Не хочешь?.. Напрасно... — Он вдохнул в себя дым и с наслаждением выпустил его через ноздри. — Уверяю тебя, дорогой, табак — вещь действительно восхитительная.

Жак с улыбкой следил за ними. Затем в свою очередь машинально направился к двери, за которой они только что скрылись, но остановился на пороге и оперся о косяк.

К Жаку доносился голос Мейнестреля, сухой и резкий, с саркастической интонацией на концах фраз.

— Конечно, я не собираюсь принципиально отказываться от реформ! Борьба за реформы может в некоторых странах стать боевой программой. Благосостояние, достигнутое пролетариатом, может, поднимая его уровень, в известной мере содействовать его революционному воспитанию. Но ваши реформисты воображают, что реформы есть основное средство достижения цели. Между тем это лишь одно из средств среди множества других! Ваши реформисты воображают, что социальное законодательство и экономические завоевания с неизбежностью повышают динамизм пролетариата, так же как и его благосостояние... Но это еще вопрос! Они воображают, что одних реформ достаточно, чтобы приблизить час, когда пролетариату нужно будет лишь захотеть, чтобы политическая власть свалилась ему прямо в руки. Но это еще вопрос!.. Никакие роды не обходятся без великих мук!

— Не бывает революции без бурного кризиса, без *Wirbelsturm*<sup>1</sup>! — сказал чей-то голос. (Жак узнал немецкий выговор Митхерга.)

<sup>1</sup> Циклон (нем.).

— Ваши реформисты жестоко ошибаются, — продолжал Мейнестрель. — Ошибаются вдвойне, во-первых, потому, что переоценивают силы пролетариата: во-вторых, потому, что переоценивают возможности капитала. Пролетариат еще очень далек от той степени зрелости, которую они ему приписывают. У него нет ни достаточной спайки, ни в достаточной мере классового сознания, ни... и так далее — для того, чтобы перейти в наступление и завоевать власть! Что же касается капитала — ваши реформисты воображают, что если он идет на уступки, то он даст себя проглотить по кускам, от реформы к реформе. Это абсурд! Его контрреволюционность, решимость, сопротивляемость не ослабели. Его макиавелизм беспрестанно готовит контрнаступление. Неужели вы думаете, будто он не знает, что делает, соглашаясь на реформы, которые подсказывают ему официальные партийные вожди, дифференцирующие трудящихся и тем разрушающие единство рабочего класса? И так далее. Конечно, я знаю, что капитал глубоко расколот изнутри своими противоречиями; я знаю, что несмотря на некоторые внешние признаки, капиталистические противоречия все возрастают. Но тем больше оснований полагать, что прежде чем дать себя сбросить, капитал пустит в ход козыри, имеющиеся в его распоряжении. Все! И один из тех, на которые он, правильно или нет, рассчитывает больше всего, — это война! Война, которая разом должна возвратить ему позиции, потерянные благодаря социальным завоеваниям! Война, которая должна позволить ему разъединить и парализовать пролетариат!.. Во-первых, разъединить, потому что пролетариат еще не весь единодушно недоступен шовинистическим чувствам; война противопоставит значительные массы националистически настроенного пролетариата массам, сохранившим верность Интернационалу... Во-вторых, парализовать, потому что с обеих сторон фронта наиболее сознательная часть трудящихся будет уничтожена на полях сражений; а оставшаяся часть будет либо деморализована — в победенной стране, либо легко парализована и усыпана — в стране победившей...

## VI

— Уж этот Кийёф! — сказал возле Жака Сергей Желявский. Заметив, что Жак отошел от собравшихся, он последовал за ним.

— Смешно видеть, как глубоко сидит в нас все, что происходило в детстве... Не правда ли? — Он казался еще более задумчивым, чем обычно. — А ты, Тибо, — спросил он, — как ты стал (он поколебался назвать Жака революционером)... как ты пришел к нам?

— О, я!.. — произнес Жак, чуть улыбнувшись и легким уклончивым движением избегая ответа.

— Я, — продолжал Желявский с порывом робкого человека, счастливого, что он может, наконец, уступить искущению поговорить о себе, — я хорошо помню, как все это шло одно за другим, с самого моего бегства из гимназии... Однако мне кажется, что я уже тогда был хорошо подготовлен... Первый толчок был у меня гораздо раньше... В раннем детстве...

Он наклонил голову и рассматривал свои руки, которые он сжимал и разжимал, пока говорил: две белые, немного пухлые руки с короткими, квадратными на кончиках пальцами. Близи кожи его лица оказалась покрытой мелкими морщинками на висках и вокруг глаз. У него был длинный нос с ровными ноздрями, похожий на кривые ножницы, и этот резкий выступ еще более подчеркивался косой линией бровей и убегающим профилем лба. Его светлые усы необычных размеров, казалось, были сделаны из пушистого неизвестного и невесомого вещества; они развевались по ветру с легкостью вуали, с гибкостью той облакоподобной бороды, которую можно видеть у некоторых дальневосточных рыб.

Он легонько подтолкнул Жака в угол комнаты, за газетный стол, где они оказались одни.

— У меня, — продолжал он, не глядя на Жака, — отец был директором большого завода, который он построил в родовом поместье, в шести верстах от Городни.<sup>1</sup> Я прекрасно помню все... Но, знаешь, я об этом никогда не думаю, — сказал он, поднимая голову и уставив на Жака свой ласковый взгляд. — Почему же именно сегодня вечером?..

У Жака была способность слушать внимательно, серьезно идержанно, что постоянно вызывало других на откровенность. Желявский улыбнулся:

— Все это забавно, не правда ли? Я вспоминаю наш большой дом, и садовника Фому, и маленький рабочий поселок на опушке леса... Я прекрасно помню себя ребенком, с матерью, на церемонии, которая повторялась каждый год, — кажется, в именины отца. Это было на заводском дворе; мой отец стоял один за столом, на котором лежала куча серебряных рублей на блюде. И все рабочие проходили мимо него один за другим, молчаливые, с согнутой спиной. И каждому отец давал монету. А они один за другим брали его руку и целовали... Да, в те времена так водилось у нас в России; и я уверен, что в некоторых губерниях так делается и теперь, в тысяча девятьсот четырнадцатом году... Мой отец был очень высок ростом и широк в плечах, он всегда держался прямо, и я боялся его. Может быть, и рабочие тоже... Вспоминаю, что после завтрака, в десять часов, когда отец уходил на завод и в передней надевал свою шубу и шапку, я видел, как он всегда вынимал из ящика пистолет и разом, вот так, вкладывал его в карман! Он не выходил никогда без трости, большой свинцовой трости, очень тяжелой, которую мне было трудно поднять, а он —

<sup>1</sup> Ныне районный центр Черниговской области.

Фюйть — вертел ее между двумя пальцами, посвистывая... — Увлеченный воспроизведением этих подробностей, Желявский улыбнулся. — Мой отец был очень сильный человек, — продолжал он после краткой паузы. — Из-за этого он внушал мне страх, но я и любил его за это же. И все рабочие были подобны мне. Они боялись его, потому что он был тверд, деспотичен, даже жесток, если нужно было. Но они и любили его, потому что он был силен. И, кроме того, он был справедлив, безжалостен, но очень справедлив!

Он снова остановился, словно взволнованный запоздалым соожалением; но, успокоенный вниманием Жака, возобновил свой рассказ:

— Затем однажды все в доме расстроилось. Люди в форме входили и выходили... Отец не пришел к обеду. Мать не хотела садиться за стол. Хлопали двери. Слуги бегали по галереям. Мать не отходила от окна... Я слышал слова: «стачка», «бунт», «полицейский наряд»... И вдруг внизу закричали. Тогда я просунул голову сквозь перила лестницы и увидел длинные носилки, покрытые грязью и снегом, и на них — что я увидел? — отца, лежавшего в разодранной шубе, с обнаженной головой, отца, ставшего вдруг совсем маленьким, — он лежал какой-то скрюченный, и рука у него свисала... Я закричал. Но мне накинули салфетку на голову и вытолкали меня на другую половину дома к горничным, которые читали молитвы перед иконами и болтали, как сороки... В конце концов я тоже понял... Это было дело рабочих, тех, которых я видел, когда они, сгибая спины, проходили перед отцом и целовали ему руку; это были рабочие, те самые, которые в этот день больше не захотели целовать руку и получать рубли... И они сломали машины и стали сами сильнее всех! Да, рабочие! Сильнее отца!

Он больше не улыбался. Он крутил кончики своих длинных усов и смотрел на Жака свысока, с торжественным видом.

— В этот день, дорогой мой, все переменилось во мне: я перестал быть сторонником отца, я стал на сторону рабочих... Да, в тот самый день... Впервые я понял, как это огромно, как прекрасно — целый народ, масса принженных людей, которые вдруг выпрямляют спину!

— Они убили твоего отца? — спросил Жак.

Желявский разразился мальчишеским смехом:

— Нет, нет... Только синяки от побоев, знаешь, ничего, почти ничего... Только после этого отец уже не был больше директором. Он так и не вернулся на завод. Жил с нами, пил водку и беспрестанно мучил мою мать, слуг, крестьян. Меня отдали в гимназию, в город. Я уже не возвращался домой. А два или три года спустя мать написала мне однажды, что надо молиться и горевать, потому что отец умер...

Он стал снова серьезен. И очень быстро, словно для себя самого, добавил:

— Однако я уж больше не молился... И вскоре затем я бежал...

Несколько минут оба молчали.

Жак, опустив глаза, внезапно вспомнил свое детство. Он как бы вновь увидел дом на Университетской улице; он ощущал затхлый запах ковров и обоев, специфический теплый запах отцовского кабинета, как тогда, когда он вечером возвращался из школы... Он снова видел старую мадмуазель де Без, семенящую в коридоре, и Жиз, шалунью Жиз, с круглым лицом и прекрасными, дышащими верностью глазами... Он снова видел класс, уроки, перемены... Он вспоминал дружбу с Даниэлем, подозрения учителей, безрассудный побег в Марсель, и возвращение домой вместе с Антуаном, и отца, который ожидал их тогда, стоя в передней под люстрой в своем сюртуке... А потом — проклятое заточение в исправительной колонии, камера, ежедневные прогулки под надзором сторожа... Невольная дрожь пробежала у него по спине. Он поднял веки, глубоко вздохнул и огляделся вокруг себя.

— Смотри, — сказал он, покидая угол, где они находились, и отряхиваясь, словно собака, выходящая из воды, — смотри, вот Прецель!

Людвиг Прецель и его сестра Цецилия только что вошли. Они пытались ориентироваться среди различных групп, как вновь прибывшие, еще плохо знакомые с обстановкой; заметив Жака, они оба разом подняли руки и спокойно направились к нему.

Они были одинакового роста, оба брюнеты и до странности похожи друг на друга. И у брата и у сестры на круглой, несколько массивной шее красовалась античная голова с чертами неподвижными, но мощными; стилизованная голова, казавшаяся не столько созданной природой, сколько изваянной согласно канону: переносица продолжала вертикальную линию лба без какого-либо изгиба на высоте орбит.

Взгляд еле оживлял эту скульптурную маску; глаза Людвига светились чуть живее, чем глаза сестры, в которых никогда не отражалось никакое человеческое чувство.

— Мы вернулись вчера, — заявила Цецилия.

— Из Мюнхена? — спросил Жак, пожимая протянутые ему руки.

— Из Мюнхена, из Гамбурга, из Берлина.

— А прошлый месяц мы провели в Италии, в Милане, — добавил Прецель.

Маленький брюнет с неровными плечами, проходивший в эту минуту мимо них, остановился с просиявшим лицом.

— В Милане? — сказал он с широкой улыбкой, обнажившей прекрасные лошадиные зубы. — Ты видел товарищей из «Avanti»?<sup>1</sup>

<sup>1</sup> «Вперед» (итал.) — с 1906 г. центральный орган Итальянской социалистической партии.

— Ну, конечно...

Цецилия повернула голову:

— Ты оттуда?

Итальянец сделал утвердительный жест и повторил его несколько раз, смеясь:

Жак представил его:

— Товарищ Сафрио.

Сафрио было по крайней мере лет сорок. Он был мал ростом, коренаст, довольно безобразен. Превосходные глаза — черные, бархатные, сверкающие — освещали его лицо.

— Я знал твою итальянскую партию до тысяча девятьсот десятого года, — заявил Прецель. — Она была, правду сказать, одна из самых жалких. А теперь мы видели стачки Красной недели!<sup>1</sup> Невероятный прогресс!

— Да! Какая мощь! Какое мужество! — воскликнул Сафрио.

— Италия, — продолжал Прецель поучительным тоном, — конечно, много извлекла из примера организационных методов германской социал-демократии. Поэтому итальянский рабочий класс теперь сплочен и даже хорошо дисциплинирован, он действительно готов идти во главе! В особенности сельский пролетариат там сильнее, чем в любой другой стране.

Сафрио смеялся от удовольствия.

— Пятьдесят девять наших депутатов в палате! А наша печать! Наша «Avanti»! Тираж — более сорока пяти тысяч каждый номер! Когда же ты был у нас?

— В апреле и мае. На Анконском конгрессе.

— Ты их знаешь — Серрати, Веллу?

— Серрати, Веллу, Баччи, Москаллегро, Малатесту...

— А нашего великого Турати?<sup>2</sup>

— Ах! Он же реформист, этот...

— А Муссолини?<sup>3</sup> Он-то не реформист, нет! Настоящий! Ты знаешь его?

— Да, — отвечал лаконически Прецель с неуловимой гримасой, которой Сафрио не заметил.

Итальянец продолжал:

— Мы жили вместе в Лозанне — Бенито и я. Он ждал амнистии, чтобы получить возможность вернуться к нам... И каждый раз, когда он приезжает в Швейцарию, он навещает меня. Вот и этой зимой...

<sup>1</sup> Имеются в виду события начала июня 1914 г., когда, в связи с казнью двух солдат в г. Анконе, произошли вооруженные столкновения рабочих с войсками, переросшие затем во всеобщую забастовку итальянских трудящихся, сорванную реформистским руководством социалистической партии.

<sup>2</sup> Тура́ти, Филиппо (1857—1932) — вождь правого реформистского крыла Итальянской социалистической партии, чья политика способствовала впоследствии приходу фашизма к власти.

<sup>3</sup> Муссолини начал свою политическую карьеру в рядах социалистической партии, из которой был в конце 1914 г. исключен как ренегат и шовинист. В 1912—1914 гг. был редактором «Avanti».

— Abenteurer,<sup>1</sup> — прошептала Цецилия.

— Он из Романьи, как и я, — продолжал Сафрио, обводя всех смеющимся взглядом, в котором мерцала искра гордости. — Романец, друг и брат по детским забавам... Его отец содержал таверну в шести километрах от меня... Я хорошо знал его... Один из первых романских интернационалистов! Надо было его послушать, когда он в своей таверне произносил речи против попов, против «патриотов»! А как он гордился сыном! Он говорил: «Если мы, Бенито и я, в один прекрасный день захотим — этого будет достаточно, чтобы раздавить всех правительственные каналий!» И глаза у него сверкали точь-в-точку как у Бенито... Какая сила у него в глазах, у Бенито! Не правда ли?

— Ja, er aber gibt ein wenig an, — прошептала Цецилия, повернувшись к Жаку, который улыбнулся.

Лицо Сафрио помрачнело:

— Что это она говорит о Бенито?

— Она сказала: «Er gibt an...» Любит пускать пыль в глаза, — объяснил Жак.

— Муссолини? — воскликнул Сафрио. Он кинул в сторону девушки гневный взгляд. — Нет! Муссолини — настоящий, чистый! Всегда антироялист, антипатриот, антиклерикал. И даже великий condottiere!<sup>2</sup> Настоящий революционный вожак!.. И при этом всегда трезвый реалист... Сначала действие, а теория — потом!.. В Форли<sup>3</sup> во время стачек он как дьявол носился по улицам, по митингам, везде! И уж он-то умеет говорить! Никаких пустых рассуждений! «Сделайте это, делайте то!» Ах, как он был доволен, когда развинтили рельсы, чтобы остановить поезд! Все действительно энергичные выступления против триполитанского похода<sup>4</sup> — все это было сделано благодаря его газете, благодаря ему! Он в Италии — душа нашей борьбы! А на страницах «Avanti» он каждый день вдохновляет массы революционной furia!<sup>5</sup> У королевского правительства нет врага сильнее, чем он! Если социализм приобрел у нас внезапно такую мощь, то это может быть principalmente<sup>6</sup> заслуга Бенито! Да! Его немало видели в этот месяц! Красная неделя! Как он взялся за дело! Ах, рег Вассо,<sup>7</sup> если бы только послушали его газету! Еще несколько дней — и вся Италия запылала бы! Если бы Конфедерация труда не испугалась и не прервала стачку, это было бы началом гражданской войны, крушением монархии! Это была бы итальянская революция!.. У нас, Тибо, в Романье, товарищи однажды вечером провозгласили рес-

<sup>1</sup> Авантюрист (нем.).

<sup>2</sup> Предводитель, вожак (итал.).

<sup>3</sup> Город в области Эмилия-Романья.

<sup>4</sup> Имеется в виду итало-турецкая война 1911—1912 гг., закончившаяся захватом Италией Триполитании и Ливии.

<sup>5</sup> Ярость (итал.).

<sup>6</sup> Главным образом (итал.).

<sup>7</sup> Клянусь Бахусом (итальянское ругательство).

публику! Si, si!<sup>1</sup> — Он намеренно повернулся спиной к Цецилии и Прецелю и обращался только к Жаку. Он вновь улыбнулся и придал своему голосу оттенок ласковой суворости: — Берегись, Тибо, верить всему, что ты слышишь!

Затем он слегка пожал плечами и удалился, не поклонившись обоим немцам.

Наступило короткое молчание.

Альфреда и Патерсон оставили открытой дверь комнаты, где находился Мейнестрель. Его не было видно, но временами доносился его голос, хотя он и не повышал его.

— А у вас, — спросил Желявский у Прецеля, — дела идут хорошо?

— В Германии? Все лучше и лучше!

— У нас, — заявила Цецилия, — двадцать пять лет назад был всего один миллион социалистов. Десять лет назад их было два миллиона. А сегодня — четыре миллиона!

Она говорила не спеша, почти не шевеля губами, но вызывающим тоном, и ее тяжелый взгляд переходил попеременно с Жака на русского и обратно. Глядя на нее, Жак вспоминал всегда о Юноне Гомера, о Гере волоокой.<sup>2</sup>

— Несомненно, — сказал он примирительным тоном. — За двадцать лет социал-демократия накопила огромный созидательный опыт. Организационный талант, который проявили ее вожди, прямо удивителен... Быть может, остается только задать вопрос, не стал ли революционный дух — как бы это сказать? — мало-помалу слабеть в немецкой партии... Как раз из-за этих усилий, направленных единственно лишь на организационную сторону дела...

Прецель взял слово:

— Революционный дух?.. Нет, нет, на этот счет будь спокоен! Надо сначала организоваться, чтобы стать силой!.. У нас не только идеология, но и реализм. И это лучше всего!.. Если мир был сохранен в Европе в последние годы, — я имею в виду особенно тысяча девятьсот одиннадцатый и двенадцатый годы, — то благодаря кому? И если сегодня можно надеяться, что мы надолго избежали опасности великой европейской войны, то благодаря тому же немецкому пролетариату! Весь мир знает об этом. Ты говоришь: созидательный опыт социал-демократии. Это еще больше, чем ты думаешь. Это — монументальное сооружение. Оно стало действительно государством в государстве. Каким же образом? В значительной мере благодаря могуществу нашей парламентской фракции. Наше влияние в рейхстаге непрерывно растет. Если завтра пан-

<sup>1</sup> Да, да (итал.).

<sup>2</sup> Гера — древнегреческая богиня, у римлян именовавшаяся Юноной. Волоокая (с большими и красивыми, как у вола, глазами) — эпитет, который применяется к Гере у Гомера.

германнцы позволяют себе вылазку вроде Агадира,<sup>1</sup> то будут протестовать уже не только двести тысяч манифестантов, но и все социалистические депутаты рейхстага! А с ними — все левые элементы нашей страны!

Сергей Желявский внимательно слушал.

— Однако ваши депутаты, когда проходил новый закон о вооружениях, голосовали за!

— Простите, — сказала Цецилия, поднимая кверху указательный палец.

Брат прервал ее:

— Ах! Надо же понимать тактику, Желявский, — сказал он, высокомерно улыбаясь. — Тут две вещи совершенно различные: есть die Militärvorlage, закон о военных вооружениях, и есть die Wehrsteuer, закон, отпускающий кредиты, чтобы реализовать этот военный закон. Социал-демократы сначала голосовали против военного закона; а затем, когда военный закон был, несмотря на это, принят рейхстагом, они голосовали за закон о кредитах. И в этом-то и состояла хорошая тактика... Почему?.. Потому, что в этом законе были вещи абсолютно новые в нашем Reich,<sup>2</sup> вещи чрезвычайно важные для нас: прямой общепрерский налог на крупные состояния! Нельзя было упустить такой случай! Потому, что в этом заключалась новая социальная победа пролетариата!.. Теперь ты понимаешь? А доказательством того, что наши депутаты остаются непреклонны по отношению к милитаризму, служит то, что каждый раз, когда они имеют возможность голосовать против внешней политики канцлера, они ее отвергают единодушно!

— Это верно, — согласился Жак. — Однако...

Наступила пауза.

— Однако? — спросил с интересом Желявский.

— Однако? — сказала Цецилия.

— Ну... как вам сказать?.. Я имел возможность в Берлине познакомиться с вашими социалистическими депутатами рейхстага, и у меня создалось впечатление, что их борьба против милитаризма является в общем довольно платонической... Я говорю не о Либкнхте, конечно, а о других. Большая часть из них явно не хочет стремиться к тому, чтобы вырвать корень зла, чтобы открыто подорвать дух подчинения немецких масс военщины... У меня создалось впечатление — как бы это сказать? — что, несмотря ни на что, они все до ужаса немцы... Убежденные в исторической миссии пролетариата, само собой разумеется, но убежденные прежде всего в исторической миссии немецкого пролетариата. И они далеко не доходят в своем интернационализме и антимилитаризме до тех пределов, до которых мы доходим во Франции.

<sup>1</sup> В июле 1911 г. в знак протesta против оккупации французами столицы Марокко Феса Германия послала в марокканский порт Агадир канонерскую лодку «Пантера», что привело к серьезному обострению международной обстановки.

<sup>2</sup> Империя (нем.).

— Конечно, — сказала Цецилия, и веки ее на мгновение опустились, скрывая взгляд.

— Конечно, — повторил Прецель тоном вызывающего превосходства.

Желявский поспешил вмешаться.

— Ваши буржуазные демократии, — заметил он, лукаво улыбаясь, — терпят социалистов в своих парламентах именно потому, что они прекрасно знают, что социалист в правительстве никогда не является по-настоящему опасным социалистом...

Митхерг, Харьковский и папаша Буассони на другом конце комнаты встали и подошли к говорившим.

Прецель и Цецилия пожали им руки.

Желявский тихо покачивал головой, по-прежнему улыбаясь.

— Знаешь ли, что я думаю? — сказал он, поворачиваясь на этот раз к Жаку. — Я думаю, что для порабощения масс ваши демократические режимы — ну вот ваши республики и парламентские монархии — все это орудия, может быть столь же ужасные и еще более коварные, чем наш постыдный царизм...

— Поэтому, — резко заявил Митхерг, который все слышал, — Пилот был прав, когда однажды вечером сказал: «Борьба против демократии всеми средствами, вплоть до оружия — вот первостепенная задача революционного действия!»

— Простите, — возразил Жак. — Прежде всего Пилот имел в виду только Россию, русскую революцию; и говорил он, что русская революция должна была не начинать с буржуазной демократии, а сразу стать пролетарской... Затем, не будем преувеличивать: можно все-таки с пользой работать и в рамках демократического строя... Например, Жорес... Все, что социалисты уже завоевали во Франции и еще более в Германии...

— Нет, — сказал Митхерг, — революция или эманципация в рамках демократического строя — это две разные вещи! Во Франции вожди стали наполовину буржуа. Они потеряли чистоту революционного духа!

— Послушаем немножко, что говорят рядом, — прервал Буассони, лукаво подмигивая в сторону открытой двери.

— Мейнестрель там? — спросил Прецель.

— Разве ты не слышишь его? — сказал Митхерг.

Они замолчали и прислушались. Голос Мейнестреля звучал однообразно и четко.

Желявский взял Жака под руку.

— Пойдем, послушаем и мы тоже...

## VII

Жак выбрал себе место рядом с Ванхеде, который, скрестив руки и полузакрыв глаза, прислонился к пыльной полке, куда Монье складывал старые брошюры.

— А я, — говорил Траутенбах, немецкий еврей, светло-рыжий

и курчазый, живший обычно в Берлине, но часто наезжавший в Женеву, — я не верю, что можно добиться толку легальными средствами! Это робкие методы, интеллигентские!

Он повернулся к Мейнестрелю, ожидая от него знака одобрения. Но Пилот, сидевший в центре группы рядом с Альфредой, раскачивался на стуле, устремив в пространство пристальный взгляд.

— Уточним! — сказал Ричардли, высокий парень с черными волосами, подстриженными ежиком. (Три года назад этот космополитический кружок объединился вокруг него, и до появления Мейнестреля он был душой группы. Впрочем, он сам стушевался перед авторитетом Пилота, которому он тактично и преданно уступил первое место.) — Сколько стран, столько и решений вопроса... Можно допустить, что в некоторых демократических странах, как, например, во Франции и в Англии, революционное движение идет вперед благодаря легальным методам... До поры до времени! — Говоря, он выдвигал вперед свой подбородок — острый и волевой. Его бритое лицо с белым лбом, обрамленным черными волосами, казалось на первый взгляд довольно приятным, однако его агатовым зрачкам недоставало мягкости, углы тонких губ оканчивались острой чертой, подобной разрезу, а в голосе была неприятная сухость.

— Трудность, — заговорил Харьковский, — заключается в том, чтобы знать, в какой момент следует перейти от легальных средств к насилию и восстанию.

Скада поднял свой горбатый нос.

— Когда давление пара слишком сильно, крышка сама собой слетает с самовара!

Раздался смех — жестокий смех, то, что Ванхеде называл «каннибалским смехом».

— Браво, азиат! — закричал Кийёф.

— До тех пор, пока капиталистическая экономика располагает государственной властью, — заметил Буассони, проводя своим маленьким язычком по розовым губам, — борьба народа за демократические свободы не может содействовать развитию подлинной револю...

— Конечно! — бросил Мейнестрель, даже не взглянув на старого педагога.

Наступило молчание.

Буассони хотел продолжить:

— История учит... Посмотрите, что произошло из-за...

На этот раз Ричардли прервал его:

— Ну да, история! Позволяет ли нам история думать, что можно предвидеть, что можно заранее назначить срок для наступления революции? Нет! В один прекрасный день самовар взрывается... Но движение народных сил не поддается прогнозам.

— Это еще вопрос! — заявил Мейнестрель не допускающим возражений тоном.

Он замолчал, но все, знакомые с его привычками, поняли, что он собирается говорить.

На собраниях он обычно молча продумывал свою мысль, долго не вмешиваясь в спор. Он удовлетворялся тем, что время от времени прерывал споривших короткими восклицаниями вроде загадочного: «Это еще вопрос!» или уклончивого и обезоруживающего: «Конечно!» Такие фразы в других устах производили бы комический эффект. Но острота его взгляда, твердость голоса, напряженная воля и мысль, которые угадывались в нем, вовсе не располагали к улыбке и привлекали внимание даже тех, кого отталкивала резкость его манер.

— Не следует смешивать понятий... — отчеканил он внезапно. — «Предвидеть!» Можно ли предвидеть революцию? И что это значит?

Все слушали. Он вытянул вперед большую ногу и откашлялся. Рука его, напоминавшая клещи, пальцы которой были часто полусогнуты, словно держали невидимый меч, — поднялась, погладила бороду и прижалась к груди.

— Не следует смешивать революцию с восстанием. Не следует смешивать революцию и революционную ситуацию... Не обязательно всякая революционная ситуация порождает революцию. Даже если она порождает восстание... Пример — тысяча девятьсот пятый год в России: в начале революционная ситуация, затем восстание, но не революция. — Он остановился на несколько секунд. — Ричардли говорит: «прогнозы». Что это значит? Точно предсказать момент, когда ситуация станет революционной, трудно. Тем не менее движение пролетариата, опираясь на предреволюционную ситуацию, может благоприятствовать, может ускорить развитие революционной ситуации. Но то, что ее развязывает, — это почти всегда внешнее для нее событие, неожиданное и более или менее непредвиденное; я хочу сказать — такое, срок которого не может быть заранее точно установлен.

Он положил локоть на спинку стула, занятого Альфредой, и прижался лицом к своей руке. В течение нескольких мгновений его взгляд ясновидящего пристально созерцал какую-то отдаленную точку.

— Дело в том, что нужно смотреть на вещи так, как они есть. В их реальности. В практике. (У него была особенная манера произносить это слово — «практика»: пронзительно, как звон литавр.) Пример — Россия... Надо всегда обращаться к примерам, к фактам! Только так мы можем чему-либо научиться. Мы имеем дело не с математикой. По части революции — это как в медицине: есть теория и затем есть практика. И даже есть еще другое: искусство... Но оставим это... (Прежде чем продолжать, он взглянул на Альфреду с беглой улыбкой, словно лишь ее он считал способной оценить его отступление.) В тысяча девятьсот четвертом году в России,

перед войной в Маньчжурии, была предреволюционная ситуация. Предреволюционная ситуация, которая могла и должна была привести к ситуации революционной. Но как? Можно ли было предвидеть, каким образом это произойдет? Нет. Могли вскрыться многие нарывы... Был аграрный вопрос. Был еврейский вопрос. Были проблемы Финляндии, Польши. Был русско-японский антагонизм на Востоке. Невозможно было предугадать, какой именно неожиданный фактор превратит предреволюционную ситуацию в революционную. И внезапно это произошло. Камарилье авантюристов и спекулянтов удалось приобрести на царя достаточное влияние, чтобы втянуть его в войну на Дальнем Востоке без ведома и вопреки политике его министра иностранных дел. Кто мог бы это предвидеть?

— Можно было предвидеть, что русско-японское соперничество в Маньчжурии неминуемо вызовет конфликт, — тихо заметил Желяевский.

— Но кто мог бы сказать, что этот конфликт разразится в тысяча девятьсот пятом году? И что он разразится не по поводу Маньчжурии, а по поводу Кореи?.. Вот пример того нового фактора, который превращает предреволюционную ситуацию в революционную... В России понадобилась эта война, эти поражения... И только тогда увидели, что ситуация становится революционной и развивается в вооруженное восстание... Восстание, но не революция! Еще не пролетарская революция! Почему? Потому, что переход от революционной ситуации к восстанию — это одно, а переход от восстания к революции — другое... Не правда ли, девочка? — добавил Мейнестрель вполголоса.

Говоря, он несколько раз быстрым движением наклонял голову, чтобы видеть выражение лица Альфреды. Он замолчал, не глядя ни на кого. Казалось, что он не столько думал о том, что только что сказал, сколько созерцал абсолютную истину тех доктрин, в кругу которых он любил вращаться, никогда не теряя из виду соотношения между теорией и практикой, между революционным идеалом и той или иной данной ситуацией. Его глаза были пристально устремлены куда-то. В такие мгновения, казалось, вся его жизненная сила была сосредоточена в сумрачном пламени его взгляда; и этот взгляд, столь мало человеческий, вызывал мысль о скрытом огне, беспрестанно горевшем внутри него, пожирая его существо, питаясь его субстанцией.

Папаша Буассони, которого революционные теории интересовали больше, чем революция, нарушил молчание:

— Да! Прекрасно! Согласен! Трудно предвидеть переход предреволюционной ситуации в революционную... Однако, однако... Когда эта революционная ситуация уже создалась, разве невозможно предвидеть наступление революции?

— Предвидеть! — перебил раздраженно Мейнестрель. — Предвидеть... Главное не столько в том, чтобы предвидеть... Главное в том, чтобы подготовлять и ускорять переход революцион-

ной ситуации в революцию! Тут все зависит от субъективных факторов: от степени готовности вождей и революционного класса к революционному действию. И эту готовность надлежит нам всем, авангарду, развивать максимально, всеми средствами. Когда эта готовность станет достаточной, тогда можно ускорить переход к революции! Тогда можно управлять событиями! Тогда, если вам угодно, да, можно предвидеть!

Последние фразы он произнес одним духом, понизив голос и с такой быстротой, что они были плохо понятны для многих слушателей-иностранных. Он замолчал, слегка откинув голову, коротко улыбнулся и закрыл глаза.

Жак, все время стоявший, заметил возле окна свободный стул и занял его. (Принимать участие в коллективной жизни для него было лучше всего вот так, когда он мог, не порывая контакта, избегнуть тесного соприкосновения и где-нибудь в стороне вернуть себе самообладание, — тогда он испытывал не только чувство солидарности с товарищами, но и чувство братства.) Удобно устроившись на стуле, скрестив руки и прислонившись головой к стене, он на мгновение окинул взглядом весь кружок, который после минутной передышки снова был весь устремлен к Мейнестрелю. Позы были различны, но свидетельствовали о напряженном внимании... Как он любил их, этих людей, отдавших все свое существо служению революционному идеалу, людей, жизнь которых, бурную и изломанную, он знал в подробностях! Он мог в идейном плане выступать против некоторых из них, мог страдать от взаимного непонимания, от некоторых грубостей, но он любил их всех, потому что все они были «чистые». И он был горд их любовью к себе, ибо они любили его, несмотря на все различия между ними, потому что они чувствовали, что он тоже «чистый»... Внезапное волнение затуманило его взгляд. Он перестал видеть их, различать одного от другого; и на один миг этот круг людей, стоявших вне закона, собравшихся сюда со всех концов Европы, стал в его глазах образом угнетенного человечества, которое осознавало свое порабощение и, наконец восстав, собирало все свои силы, чтобы перестроить мир.

В тишине раздался голос Пилота:

— Возвратимся к русскому примеру, к великому опыту. Следует всегда к нему обращаться... Можно ли было предвидеть в тысяча девятьсот четвертом году, что предреволюционная ситуация станет революционной уже на следующий год после поражений на Востоке? Нет!.. А разве в тысяча девятьсот пятом году, когда эта революционная ситуация была создана обстоятельствами, можно было знать, совершился ли революция, пролетарская революция? Нет! И еще меньше можно было знать, победит ли она... Объективные факторы были превосходные, ярко выраженные. Но субъективные факторы были недостаточны... Припомните факты. Объективные условия — великолепные! Военный разгром, политический кризис. Экономический кризис: кризис снабжения, голод... И так далее... А температура поднималась очень быстро: все-

общая забастовка, крестьянские волнения, бунты, «Потемкин», декабрьское восстание в Москве... Почему же, однако, не удалось революционной ситуации разгореться в революцию? Из-за недостаточности субъективных факторов, Буассони! Потому, что ничего не было готово! Ни подлинной революционной воли! Ни точных директив в уме вождей! Ни согласия между ними! Ни иерархии, ни дисциплины! Ни достаточной связи между вождями и массами! А в особенности — не было никакого союза между массами рабочими и крестьянскими, никакой серьезной революционной подготовки у крестьян!

— Однако мужики... — отважился заметить Желявский.

— Мужики? Они действительно немного поволновались в своих деревнях, занимали поместья; кое-где пожгли барские усадьбы. Верно! Но кто же согласился выступить против рабочих? Мужики! Из кого вербовались полки, которые на московских улицах зверски расстреливали революционный пролетариат? Из мужиков, только из мужиков... Отсутствие субъективных факторов! — сурвю повторил Мейнестрель. — Когда знаешь о том, что происходило в декабре тысяча девятьсот пятого года; когда думаешь о времени, потерянном социал-демократией на теоретические дискуссии; когда констатируешь, что вожди даже не договорились между собой о целях, к которым надо было стремиться, даже не пришли к соглашению о тактике совместных действий, вплоть до того, что забастовка в Петербурге самым глупым образом прекратилась как раз тогда, когда начинался подъем в Москве, вплоть до того, что забастовка связистов и железнодорожников закончилась в декабре, как раз в тот момент, когда прекращение работы транспорта могло парализовать правительство и помешать ему бросить на Москву полки, которые раздавили восстание, — тогда понимаешь, почему в России тысяча девятьсот пятого года революция... — он на какую-то долю секунды остановился, наклонил голову к Альфреде и очень быстро прошептал: — ...революция была заранее обречена!

Ричардли, который сидел наклонившись и, опершись локтями о колени, играл пальцами, поднял изумленные глаза.

— Заранее обречена?

— Конечно! — ответил Мейнестрель.

Наступило молчание.

Жак осмелился заговорить с места:

— Но в таком случае, вместо того чтобы доводить дело до такого конца, не лучше ли было бы...

Мейнестрель смотрел на Альфреду; он улыбался, не обращая взгляда к Жаку. Скада, Буассони, Траутенбах, Желявский, Прецель молчаливо выражали одобрение.

Жак продолжал:

— Поскольку царь даровал конституцию, не лучше ли было бы...

— ...достигнуть предварительного соглашения с буржуазными партиями, — докончил Буассони.

— ...воспользоваться конституцией, чтобы лучше и методически организовать русскую социал-демократию, — добавил Прецель.

— Нет, я не думаю так, — тихо заметил Желявский. — Россия — это не Германия. И я думаю, что Ленин был прав.

— Нисколько! — воскликнул Жак. — Это Плеханов был прав! После октябряской конституции не надо было «браться за оружие». Надо было остановить движение! Закрепить достигнутое!

— Они обескуражили массы, — сказал Скада. — Убивали неизвестно ради чего.

— Это правда, — горячо продолжал Жак. — Они могли бы избегнуть многих страданий... Сколько крови было пролито напрасно!..

— Это еще вопрос! — резко заявил Мейнстрель.

Он уже не улыбался.

Все смолкли и стали прислушиваться.

— Выступление было заранее обречено? — продолжал он после краткой паузы. — Да! И с октября!.. Но кровь лилась напрасно? Конечно, нет!

Он встал, чего не делал еще почти ни разу с тех пор, как начал говорить. Пошел к окну, рассеянно поглядел в него и быстро возвратился к Альфреде.

— Декабрьское восстание не могло привести к завоеванию власти. Пусть так! Было ли это доводом против того, чтобы действовать так, как если бы это завоевание было возможно? Конечно, нет! Прежде всего потому, что мощь революционных сил познается только при их испытании, когда делают революцию. Плеханов неправ. Надо было «браться за оружие» после октября. Надо было, чтобы пролилась кровь!.. Тысяча девятьсот пятый год — этап. Этап необходимый, исторически необходимый. Это после Коммуны — и на более высокой ступени — вторая попытка превратить империалистическую войну в социальную революцию. Кровь, которая пролилась, пролилась не напрасно! До тысяча девятьсот пятого года русский народ — народ и даже пролетариат — верил в царя. Крестились, когда присносили его имя. Но с тех пор как царь велел стрелять в народ, пролетариат и даже многие среди крестьян начали понимать, что от царя нечего больше ждать, так же как и от правящих классов. В стране, столь мистически настроенной и отсталой, необходима была кровь, чтобы развить классовое сознание... И это еще не все. С другой точки зрения, с точки зрения революционной техники, опыт был исключительной важности. Вожди могли пройти здесь школу, не имевшую precedента. Быть может, завтра все убедятся в этом!

Он по-прежнему стоял, блестя глазами, подчеркивая жестами каждую фразу. Кисти его рук обладали женственной гибкостью; и его жестикуляция благодаря незаметным змеиным движениям, которыми он сгибал пальцы, напоминала Восток, танцовщиц Камбоджи, индийских укротителей змей.

Он погладил плечо Альфреды и сел.

— Быть может, завтра все убедятся в этом, — повторил он. — Сегоднишняя Европа, как и Россия в тысяча девятьсот пятом году, находится как раз в предреволюционной ситуации. Противоречия капиталистического мира раздирают Европу. Процветание — лишь иллюзия... Но когда и как возникнет новый фактор? И каков будет он? Экономический кризис? Кризис политический? Война? Революция в каком-либо государстве? Когда и как создастся революционная ситуация?.. Вряд ли кто-нибудь может это предвидеть. Да к тому же это и не так важно. Новый фактор возникнет. Важно уже сегодня быть *готовыми*! В России тысяча девятьсот пятого года пролетариат не был готов! Потому-то все и рухнуло. Готов ли европейский пролетариат? Готовы ли его вожди?.. Нет!.. Крепка ли солидарность между фракциями Интернационала? Нет! Достаточно ли прочен союз вождей пролетариата, чтобы быть действенным? Нет!.. Разве можно думать, что торжество революции будет когда-либо возможно без тесного объединения революционных сил всех стран?.. Правда, они создали «Интернациональное бюро». Но что это такое? Не более, как информационный орган. Это даже не зародыш того *единого пролетарского центра*, без которого никакое одновременное и решительное выступление никогда не будет возможно!.. Интернационал? Свидетельство духовного единства пролетариата. Это не пустяк... Но свою реальную организацию пролетариат еще должен создать. Еще все дело впереди! Активность пролетариата — в чем она выражается? В конгрессах!.. Я не хочу плохо говорить о конгрессах, я сам буду в Вене двадцать третьего августа... Но, в сущности, нечего ждать и от конгрессов!.. Пример — Базель, тысяча девятьсот двенадцатый год. Грандиозная манифестация против балканской войны — конечно! Посмотрим, однако, на результат. Они с энтузиазмом приняли замечательные резолюции. В особенности замечательна ловкость, с которой они обошли молчанием проблему, вплоть до слов «всеобщая забастовка» в их резолюциях! Припомните прения: изучали ли когда-нибудь проблему забастовки по существу, как проблему практическую, которая ставится различно в зависимости от ситуации, от страны? Какова должна быть позиция того или иного пролетариата в случае той или иной войны?.. Война? Это одно целое. Пролетариат? Это другое целое. На эти темы наши лидеры разводят ораторские вариации, как проповедник на кафедре о добре и зле. Вот каково положение! Интернационал передается размышлениям на досуге. Слияния теории, с одной стороны, и сознательности, силы, революционного порыва масс, с другой стороны, — еще даже не начиналось!

Несколько мгновений он молчал.

— Все дело еще впереди! — произнес он тихо и задумчиво. — Все. Подготовка пролетариата предполагает громадные и координированные усилия, которые до сих пор едва лишь наметились. Я буду говорить об этом в Вене. Все еще впереди, — повторил он еще раз очень тихо, — Не правда ли, девочка?

Он бегло улыбнулся, затем его взгляд пробежал по кругу слушателей, и на его лице появились складки.

— Пример: почему получается так, что у Интернационала нет своего ежемесячного журнала или даже еженедельного? Какого-нибудь «Европейского бюллетеня», издаваемого на всех языках, общего органа всех рабочих организаций всех стран? Я буду говорить об этом на конгрессе... Это лучший способ для вождей давать одновременно единый ответ миллионам пролетариев, которые во всех странах задают себе примерно одни и те же вопросы. Это лучший способ дать возможность всем трудящимся, состоящим в партии или нет, быть с точностью в курсе мирового политического и экономического положения. Это в современных условиях один из лучших способов еще более развить у рабочего интернациональные рефлексы: следует добиться, чтобы металллист Моталы<sup>1</sup> или ливерпульский докер ощущали как событие своей жизни любую стачку, безразлично, где бы она ни вспыхнула,— в Гамбурге, в Сан-Франциско, в Тифлисе! Надо, чтобы каждый рабочий, каждый крестьянин, возвращаясь в субботу вечером к себе домой после работы, находил на своем столе и брал в руки журнал, который, как он знал бы, в тот же час находится в руках пролетариев всего мира; дело в том, чтобы он мог прочесть новости, статистические данные, указания, очередные инструкции, которые, как он знал бы, читаются в тот же самый час во всем мире всеми теми, кто, подобно ему, сознает права масс,— уже одно это обладало бы исключительной воспитательной силой! Не говоря уже о том, что на правительства это произвело бы впечатление...

Последние фразы последовали одна за другою с такой быстрой, что их трудно было разобрать. Он прервал свою речь, заметив Жанота, докладчика, который входил в комнату, окруженный нескользкими друзьями.

И все завсегдатаи «Локала» поняли, что Пилот в этот вечер больше ничего не скажет.

### VIII

Жак не знал Жанота. Он был именно такой, каким его описывала Альфреда. Коренастый, немного натянутый, в старомодном черном костюме, он пересек на цыпочках комнату. Его полуприседания и жесты церковного служки плохо гармонировали с его полным торжественности лицом, увенчанным копною волос какой-то баснословной белизны, волос, подобных грибе геральдического зверя.

Жак встал. Воспользовавшись сутолокой представлений и приветствий, чтобы незаметно исчезнуть, он прокралялся в самую дальнюю комнатку и стал дожидаться Мейнестреля.

<sup>1</sup> Город в южной Швеции, крупный центр металлургической промышленности.

Тот в самом деле не замедлил появиться. Как всегда — в сопровождении Альфреды.

Беседа была краткой. Мейнестрель в несколько минут извлек из папки дела «Гитберг — Тоблер» пять-шесть документов, на которых основывалось обвинение. Он передал их Жаку и прибавил записку к Госмеру. Затем он дал несколько общих советов относительно фактической стороны расследования.

После этого он поднялся.

— А теперь, девочка, обедать!

Альфреда быстро собрала разбросанные бумаги и уложила в портфель.

Мейнестрель подошел к Жаку. Он разглядывал его секунду-другую. Дружеским тоном, совершенно отличным от того тона, который был у него во время их беседы, он спросил вполголоса:

— Что у тебя сегодня не ладится?

Жак, немного смущаясь, удивленно улыбнулся:

— Да все в порядке!

— Тебе не хочется ехать в Вену?

— Наоборот. Откуда вы взяли?..

— Только что мне показалось, будто ты озабочен.

— Да нет...

— Немного... словно бесприютный...

Жак еще шире улыбнулся.

— Бесприютный, — повторил он. По его плечам пробежала легкая дрожь усталости, и улыбка погасла. — Бывают дни, когда неизвестно почему чувствуешь себя больше чем когда-либо... бесприютным... Вы, должно быть, тоже это знаете, Пилот?

Мейнестрель, не отвечая, сделал два шага, отделявшие его от двери, и обернулся, чтобы убедиться в том, что Альфреда уже готова. Он открыл дверь и пропустил Альфреду вперед.

— Конечно, — сказал он затем очень быстро, бегло улыбнувшись Жаку. — Это нам знакомо... Это нам знакомо.

«Локаль» опустел. Монье расставлял стулья и наводил некоторый порядок. (По субботам и воскресеньям собрания обычно затягивались до поздней ночи. Но в этот вечер большинство завсегдатаев условилось о встрече после обеда в зале Феррер, на докладе Жанота.)

Мейнестрель дал Альфреде немного опередить их. Он взял Жака под руку и спускался по лестнице, слегка волоча больную ногу.

— Мы одиноки, дружок... Надо смириться с этим раз навсегда. — Он говорил быстро и тихо; он сделал паузу, его взгляд скользнул вслед Альфреде, и он повторил еще тише: — Всегда одиноки. — Это было сказано тоном самого объективного констатирования, без оттенка меланхолии или сожаления. Однако у Жака появилась уверенность, что Пилот в этот вечер думал о чем-то личном.

— Да, я знаю это, — вздохнул Жак, замедляя шаг и, наконец, совсем остановившись, словно он влажил за собой целый груз смутных мыслей, мешавший его движениям.— Это проклятие Вавилона!<sup>1</sup> Люди одних лет, одного образа жизни, одних убеждений могут проводить целый день в разговорах, в самой свободной и искренней беседе, не понимая друг друга ни на минуту, даже не соприкасаясь ни на секунду!.. Один возле другого, мы непроницаемы... Словно камни на берегу озера... И я спрашиваю себя: разве наши слова, которые дают нам иллюзию соединения, не разделяют нас больше, чемближают?

Он поднял глаза. Мейнестрель, тоже остановившийся внизу лестницы, молчаливо слушал этот печальный голос, разносившийся под каменным сводом.

— Ах, если бы вы знали, как мне порою противны слова! — продолжал Жак с внезапным жаром.— Как мне наскучили наши словопрения! Как я сът по горло всей этой... идеологией!

При последнем слове Мейнестрель порывисто махнул рукой.

— Ясно. Слова тоже должны быть каким-то действием... Но поскольку невозможно действовать, то говорить — это уже значит делать кое-что... — Он бросил взгляд на двор, где Патерсон и Митхерг, несомненно продолжая «дискуссию», начатую наверху, прогуливались, жестикулируя. Затем он устремил острый взгляд на Жака. — Терпение!.. Идеологическая фаза... это всего лишь фаза... фаза подготовительная, необходимая! Непреложность учения укрепляется контрверзами. Без революционной теории нет революционного движения. Без революционной теории нет авангарда. Нет вождей... Наша «идеология» раздражает тебя... Да, она, несомненно, покажется нашим наследникам смехотворным расточением сил... Но наша ли это вина? — Он очень быстро прошептал: — Время для действия еще не настало.

Жак своим внимательным видом, казалось, требовал объяснения.

Мейнестрель продолжал:

— Капиталистическая экономика еще крепка. Машина проявляет признаки изношенности, но — плохо ли, хорошо ли — еще функционирует. Пролетариат страдает и волнуется, но, в общем, еще не подыхает с голода. В этом мире — хромающем и задыхающемся, живущем накопленным жиром, — что ты хочешь, чтобы они творили, все эти предтечи, ожидающие своего часа? Они говорят! Они опьяняются идеологией! Их активность не может найти другого приложения, кроме области идей. У нас еще нет власти над ходом вещей...

— Ах! — сказал Жак. — Власть над ходом вещей!

— Терпение, малыш. Всему свой срок! Противоречия капиталистического строя проявляются все ярче и ярче. Соперничество

<sup>1</sup> Согласно библии, первые люди стали строить башню до неба, за что разгневанный бог наделил их всех разными языками и лишил возможности понимать друг друга. Место строительства было названо Вавилоном (древнеевр. «смешение языков»).

между нациями все растет. Конкуренция и борьба за рынки все обостряются. Вопрос жизни и смерти: вся их система рассчитана на беспрестанное расширение рынков! Как будто рынки могут расширяться до бесконечности!.. И они слетят сломя голову с обрыва! Мир идет прямо к кризису, к неизбежной катастрофе. И она будет всеобщей... Подожди только! Подожди, пока все хорошенко расстроится в мировой экономике... Пока машины еще больше сократят число рабочих рук... Пока крахи и банкротства участятся, пока безработица распространится всюду, пока капиталистическая экономика окажется в положении страхового общества, все клиенты которого вдруг потерпели бедствие в один и тот же день... И тогда...

— Тогда?..

— Тогда мы выйдем за пределы идеологии! Тогда время слово-прений останется позади! И мы засучим рукава, потому что настанет час действия, потому что у нас будет, наконец, она, власть над ходом вещей! — Какой-то свет озарил его лицо и померк. Он повторил: — Терпение... терпение! — Затем повернул голову, чтобы найти взглядом Альфреду. И машинально, хотя она была слишком далеко, чтобы его услышать, он пробормотал: — Не правда ли, девочка?

Альфреда приблизилась к Патерсону и Митхергу.

— Идемте с нами в «Погребок» чего-нибудь поесть, — предложила она Митхергу, не глядя на Патерсона. — Не правда ли, Пилот? — весело крикнула она Мейнестрелью (что должно было для Патерсона и Митхерга означать: «Пилот заплатит за всех»).

Мейнестрель в знак согласия опустил веки. Она добавила:

— А потом мы пойдем в зал Феррер.

— Только не я, — сказал Жак, — не я!

«Погребок» был маленький вегетарианский ресторан, помещавшийся в подвале на улице Сент-Урс, позади бульвара Бастионов, в центре университетского квартала, и посещавшийся преимущественно студентами-социалистами. Пилот и Альфреда часто ходили туда обедать — в те вечера, когда они не возвращались для работы на улицу Каруж.

Мейнестрель и Жак пошли вперед. Альфреда с двумя молодыми людьми следовала за ними на расстоянии нескольких метров.

Пилот снова заговорил со свойственной ему порывистостью:

— Нам еще сильно повезло, знаешь, в том, что мы переживаем эту идеологическую fazu... Родиться на пороге чего-то нового, что только начинается... Ты слишком строг к товарищам! А я прощаю им все, даже их болтовню, ради их жизнеспособности... ради их молодости!

Тень меланхолии, ускользнувшая от его спутника, пробежала у него по лицу. Он отвернулся, чтобы проверить, идет ли за ними Альфреда.

Жак, не соглашаясь, упрямо покачивал головой. Случалось действительно, что в часы отчаяния он сурово осуждал молодых людей, которые его окружали. Ему казалось, что большинство из них обладает образом мыслей слишком суммарным, узким, прихотливо нетерпимым и ненавистническим по отношению к другим мнениям; что они систематически упражняют свой ум в укреплении своих концепций, а не в их расширении и обновлении; что большинство из них скорее бунтари, чем революционеры, и что они любили свое бунтарство больше, чем человечество.

Между тем он воздерживался от критики своих товарищ в присутствии Пилота. Он сказал только:

— Их молодости! Но я как раз ставлю им в вину, что они недостаточно... молоды!

— Недостаточно?

— Нет! Их ненависть, в частности, — это старческая реакция. Маленький Ванхеде прав: подлинная молодость — не в ненависти, а в любви.

— Мечтатель! — серьезно произнес Митхерг, догнавший их. Он бросил сквозь очки косой взгляд на Мейнестреля. — Чтобы действительно хотеть, надо ненавидеть, — объявил он после паузы, глядя теперь перед собой вдали. И почти тотчас же он добавил вызывающим тоном: — Подобно тому, как всегда необходимо убивать, чтобы победить. Так-то!

— Нет, — сказал Жак твердо. — Не надо ненависти, не надо насилия. Нет! В этом я никогда не буду вместе с вами!

Митхерг окинул его взглядом, лишенным и тени снисхождения.

Жак слегка наклонился в сторону Мейнестреля и подождал секунду, прежде чем продолжать. Но так как Мейнестрель не вмешивался в спор, он решился и заговорил почти грубо:

— Надо ненавидеть? Надо убивать? Надо, надо!.. Что ты знаешь об этом, Митхерг? Стоит великому революционеру достигнуть победы без убийств, одной силой ума — и все ваши концепции насильтвенной революции изменятся.

Австриец тяжело шагал немного в стороне. В лице его была жесткость. Он не отвечал.

— Если на протяжении истории все революции пролили слишком много крови, — продолжал Жак, бросив новый взгляд в сторону Мейнестреля, — то это, должно быть, потому, что те, кто их делал, недостаточно их подготовляли и продумывали. Они все осуществлялись более или менее неожиданно, от случая к случаю, в обстановке паники, руками сектантов вроде нас, возводивших насилие в догму. Они верили, что делают революцию, а довольствовались гражданской войной... Я охотно допускаю, что насилие является необходимостью в таких непредвиденных обстоятельствах, но я не вижу ничего абсурдного в допущении в условиях нашей цивилизации, возможности революции другого типа, революции медленной, терпеливо направляемой умами вроде Жореса; людьми, сформировавшимися в школе гуманизма, имевшими время, чтобы дать созреть

своему учению, чтобы установить план постепенных действий; оппортунистами в хорошем смысле слова, подготавлившими захват власти рядом методических маневров, играющими на всех досках зараз — парламенты, муниципалитеты, профсоюзы, рабочее движение, стачки; революционерами, которые в то же время являлись бы государственными людьми и проводили бы в исполнение свой план с размахом, авторитетом и спокойной энергией, возникающими в результате ясной мысли и понимания своего времени в определенном порядке. И никогда не выпуская из своих рук управления событиями.

— «Управление событиями!» — проворчал Митхерг, беспорядочно жестикулируя. — Dummkopf!<sup>1</sup> Установление нового строя мыслимо только под давлением катастрофы, в момент спазматического коллективного Krampr,<sup>2</sup> когда все страсти накалены... (Он довольно бегло говорил по-французски, но с подчеркнутым и шероховатым германским акцентом.) Ничто подлинно новое не может совершиться без того порыва, который рождается из ненависти. И для того, чтобы строить, необходимо сначала, чтобы циклон, Wirbelsturm, все разрушил, все сровнял с землей, вплоть до последних обломков! — Эти слова он произнес, опустив голову, с выражением какой-то отрешенности, которое делало их ужасными. Он поднял голову: — Tabula rasa! Tabula rasa!<sup>3</sup> — Резким движением руки он, казалось, сметал с пути препятствия, создавал пустоту вокруг себя.

Жак, прежде чем ответить, сделал несколько шагов.

— Да, — вздохнул он, силясь сохранить спокойствие. — Ты живешь, да и все мы живем аксиомой, что идея революции несовместима с идеей порядка. Мы все отправлены этим романтизмом — героическим, жестоким... Однако, знаешь, что я скажу тебе, Митхерг? Бывают дни, когда я спрашиваю сам себя об этом, ищу ответа, на что в самом деле опирается эта всеобщая склонность к теории насилия... Единственно ли только на то, что насилие необходимо нам, чтобы действовать с успехом? Нет... Также и на то, что эти теории потворствуют нашим самым низменным инстинктам, самым древним, глубже всего скрытым в человеке!.. Посмотримся в зеркало... С какими кровожадными глазами, с какой дикарской гримасой, с какой жестокой, варварской радостью притворно принимаем мы это насилие как необходимость! Истина в том, что мы придерживаемся этой теории по мотивам значительно более личным, мотивам, в которых не так легко признаться: потому что у всех нас в глубине души есть мысль о реванше, который нужно взять, об обиде, которую нужно возместить... А для того чтобы без угрызений совести смаковать эту страсть к реваншу, что может быть лучше, чем возможность оправдаться подчинением роковому закону?

Задетый за живое, Митхерг резким движением повернулся голову.

<sup>1</sup> Дурак (нем.).

<sup>2</sup> Судорога (нем.).

<sup>3</sup> Все до чиста (лат.).

— Я, — запротестовал он, — я...

Жак не дал прервать себя.

— Подожди... Я никого не обвиczę... Я говорю «мы». Я констатирую. Потребность в разрушении еще более могущественна, чем надежда на созидание... Разве для многих из нас революция, прежде чем стать делом социального преобразования, не является в первую очередь всего возможностью утолить жажду мести, которая найдет себе опьяняющее удовлетворение в сутолоке мятежа, в гражданской войне, в насильственном захвате власти? Как будем мы упиваться репрессиями в тот день, когда после кровопролитной победы сможем в свою очередь утвердить нашу тиранию — тиранию *нашего* правосудия!.. *Пособник смуты*, Митхерг, — вот что гнездится сверх всего прочего в глубине души у каждого революционера. Не отрицай... Кто из нас осмелится утверждать, что он полностью избежал этой хмельной заразы разрушения? Иногда я вижу, как в лучших, самых великодушных и наиболее способных к самоотречению среди нас беснуется этот фанатик...

— Конечно! — прервал его Мейнестрель. — Но разве вопрос заключается в этом?

Жак быстро обернулся, чтобы встретить его взгляд. Но напрасно. Ему показалось, что Мейнестрель улыбнулся, но он не был в этом уверен. Он тоже улыбнулся, но по другому, личному поводу: он только что вспомнил, как несколько минут назад сказал: «Наскучили мне все эти словопрения!»

Брови Митхерга были высоко подняты над очками, и он, казалось, не хотел больше говорить.

Они достигли площади Бур-дю-Фур, которую и пересекли молча. Багрянец заката окрашивал черепицы старинных крыш. Узкая улица Сен-Леже открылась подобно сумрачному коридору. Патерсон и Альфреда, шедшие позади, громко разговаривали. Был слышен их смех, но слов нельзя было разобрать. Мейнестрель несколько раз оглянулся через плечо в их направлении.

Жак, не объясняя ассоциации своих мыслей, прошептал:

— ...как будто личность не могла бы объединиться с другими, участвовать в группе, в жизни коллектива, не отрекаясь прежде всего от своей ценности...

— Какой ценности? — спросил австриец, по лицу которого было ясно, что он действительно не находил никакой связи между этими словами Жака и предшествовавшими.

Жак помедлил.

— Ценности человеческой личности, — сказал он, наконец, тихо и уклончиво, словно опасался, чтобы спор не разгорелся на этой новой почве.

Наступило минутное молчание. И внезапно прозвучал пронзительный голос Мейнестреля:

— Ценность человеческой личности?

Почти веселый тон этого вопроса был загадочен, и Жаку почувствовался в нем след скрытого волнения. Уже несколько раз ему

казалось, что в сухости Мейнестреля есть оттенок, позволявший думать, что сухость эта — напускная и что за ней скрывается тоска чувствительного сердца, которому нечего больше открывать в человеческой природе, но которое втайне неутешно тоскует об утраченных иллюзиях.

Митхерг не заметил ничего, кроме веселости Пилота; он засмеялся и постучал ногтем большого пальца по зубам.

— У тебя, Тибо, ни на столько нет политического чутья! — объявил он, словно для того, чтобы закончить спор.

Жак не мог сдержать своего возмущения.

— Если обладать политическим чутьем означает...

На этот раз его прервал Мейнестрель:

— Обладать политическим чутьем — что это такое, Митхерг?.. Не значит ли это — соглашаться на применение в социальной борьбе таких методов, которые в частной жизни внушают отвращение каждому из нас, как низости или преступления? Не правда ли?

Он начал фразу как насмешливый выпад, а закончил ее серьезным тоном, сдержанно, но с силой. И теперь он смеялся тихим смехом, с закрытым ртом, часто дыша носом.

Жак был готов возразить Мейнестрелю. Но Пилот всегда подавлял его. И он обратился к Митхергу:

— Подлинная революция...

— Доподлинно подлинная революция, — проворчал Митхерг, — революция ради освобождения народов, как бы жестока она ни была, не нуждается в оправданиях!

— Да? Средства не имеют значения?

— Именно так, — подтвердил Митхерг, не дав ему закончить. — Революционная борьба идет другим путем, чем теории твоего воображения. Борьба, камрад, она берет человека за горло. В борьбе, да, там дело сводится только к одному — восторжествовать!.. По мне, что бы ты ни думал, цель заключается вовсе не в реванше! Нет, цель — это освобождение человека. Вопреки его воле, если это необходимо. Ружейными залпами, гильотиной, если необходимо. Когда ты хочешь спасти утопающего в реке, ты начинаешь с того, что крепко бьешь его по голове, чтобы он дал тебе возможность спокойно осуществить его спасение... В тот день, когда игра начнется по-настоящему, для меня не будет никакой другой цели, кроме как сбросить, смеши капиталистическую тиранию. Чтобы опрокинуть Голиафа подобных размеров, который сам считал, что все средства хороши, когда он стремился подчинить себе народы, я не буду столь наивен, чтобы остановливаться перед выбором средств. Чтобы подавить глупость и зло, все хорошо, что может их подавить, даже глупость и зло. Если понадобится несправедливость, если понадобится жестокость, — ну что ж, я буду несправедлив, я буду жесток. Какое угодно оружие годится мне, если оно сделает меня сильнее, чтобы добиться победы. В этой борьбе, я говорю, все позволено! Все, абсолютно все, — кроме поражения!

— Нет! — сказал Жак пылко. — Нет!

Он стремился встретить взгляд Мейнестреля. Но Пилот, заложив руки за спину и опустив плечи, шел немного в стороне, вдоль домов, не глядя вокруг себя.

— Нет, — заговорил Жак. (Он едва удержался, чтобы не сказать: «Такая революция меня не устраивает. Человек, способный на подобную кровавую жестокость, которую он прикрывает именем правосудия, такой человек, если он достигает победы, никогда не обретет ни чистоты, ни достоинства, ни уважения к человечеству, к равенству людей, к свободе мысли. Я стремлюсь к революции не для того, чтобы поднять такого безумца к власти...») Но он сказал только: — Нет! Ибо я слишком хорошо чувствую, что насилие, которое ты проповедуешь, угрожает вместе с тем области духа.

— Тем хуже для тебя. Мы не должны парализовать свою волю из-за интеллигентских шатаний. Если то, что ты называешь областью духа, должно быть уничтожено, если духовная жизнь должна быть задушена на полвека — тем хуже для нее! Я жалею об этом так же, как и ты. Но я говорю: тем хуже! И если мне, для того чтобы действовать, надо ослепнуть, ну что ж, я скажу: выколи мне глаза!

У Жака вырвался жест возмущения.

— Ну нет! «Тем хуже» — так не пойдет... Пойми меня, Митхерг... (Он обращался к австрийцу, но стремился уточнить свою мысль для Мейнестреля.) Дело не в том, что я меньше, чем ты, сознаю важность конечной цели. Если я восстаю, то именно в интересах этой цели! Революция, совершаясь в несправедливости, в жестокости и лжи, будет для человечества лишь ложной удачей. Такая революция несет в себе зародыш своего разложения. То, чего она достигнет подобными средствами, не будет прочно. Раньше или позже она в свою очередь погибнет... Насилие — это оружие угнетателей! Никогда оно не принесет народам подлинного освобождения. Оно лишь приведет к торжеству нового угнетения... Дай мне сказать! — закричал он с внезапным раздражением, заметив, что Митхерг хочет его перебить. — Сила, которую вы все черпаете в этом теоретическом цинизме, мне понятна; и возможно, что я мог бы поступиться моим личным отвращением к нему и даже разделить с вами этот цинизм, если бы только я верил в его плодотворность. Но именно в это я не верю! Я уверен, что никакой истинный прогресс не может осуществляться грязными средствами. Разжигать насилие и ненависть, чтобы построить царство справедливости и братства, — это бессмыслица; это значит с самого начала предать справедливость и братство, которые мы хотим установить в мире... Нет! Думай об этом все, что хочешь. Но, по-моему, подлинная революция, та революция, которая стоит того, чтобы отдать ей все наши силы, не совершится никогда, если отказаться от всех моральных ценностей!

Митхерг хотел возразить.

— Неисправимый маленький Жак! — произнес Мейнестрель тем фальцетом, который появлялся у него иногда и который всех обескураживал.

Он присутствовал при этом споре как зритель. Столкновение двух темпераментов всегда его интересовало. Эти ученические дискуссии о различии между духовным и материальным, между насилием и ненасилием как таковыми, казались ему нелепыми и тщетными — типичной псевдопроблемой, образцом неверной постановки вопроса. Но к чему говорить об этом?

Жак и Митхерг смущенно замолчали.

Австриец повернулся к Пилоту и несколько секунд испытующе смотрел на его непроницаемое лицо; сообщническая улыбка, которую Митхерг приготовил, застыла на его губах; лицо его помрачнело. Он был недоволен оборотом, который получил спор благодаря Жаку, и досадовал на Жака, на Пилота, на самого себя.

После нескольких минут молчания он намеренно замедлил шаг, отдалился от двух мужчин и присоединился к Патерсону и Альфреде.

Мейнестрель воспользовался отсутствием Митхерга и приблизился к Жаку.

— Тебе хотелось бы, — сказал он, — очистить революцию заранее, прежде чем она совершится. Слишком рано! Это значило бы помешать ей родиться.

Он сделал паузу и, словно угадав, насколько его слова задевали Жака, быстро добавил, бросив проницательный взгляд:

— Однако... я очень хорошо понимаю тебя.

Они продолжали молча идти по улице.

Жак пытался как следуёт разобраться в себе. Он думал о своем образовании. «Классическая культура... Буржуазная закваска... Это придает мышлению черты, которые не стираются... Мне долго казалось, что я рожден, чтобы стать романистом, и только совсем недавно я перестал думать об этом. Я всегда был гораздо больше склонен созерцать, чем судить и принимать решения... А в революционере это, несомненно, слабость!» — подумал он не без тревоги. Он вовсе не обманывал сам себя, по крайней мере сознательно. Он не чувствовал себя ни ниже, ни выше своих товарищ: он ощущал себя другим и, принимая все во внимание, — менее пригодным «орудием революции», чем они. Сможет ли он когда-нибудь, как его товарищи, отречься от своего сознания, растворить свою мысль и волю в абстрактном учении, в коллективном деле партии?

Внезапно он сказал вполголоса:

— Сохранить и защищать независимость своего ума — значит ли это быть неизбежно непригодными для коллективной борьбы? А что же в таком случае делаете вы, Пилот?

Мейнестрель, казалось, не слышал его. Однако немного погодя он тихо произнес:

— Индивидуалистические ценности... Ценности человеческой личности... Ты думаешь, что за этими терминами скрыто одно и то же?

Жак продолжал смотреть на него; его вопросительное молчание, казалось, побуждало Пилота к дальнейшим объяснениям.

Мейнестрель опять заговорил, словно нехотя:

— Человечество, поднимающееся вместе с нами, начинает чудесное превращение, которое изменит на века не только взаимоотношения людей, но также и самих людей — изменит даже то, что они считают своими инстинктами, хотя мы еще не знаем, каким путем это произойдет!

Затем он снова замолчал и, казалось, погрузился в размышления,

## IX

В нескольких метрах позади, рядом с Патерсоном и Альфредой, шел Митхерг, не принимая участия в разговоре.

Альфреда семенила рядом с англичанином, длинные ноги которого делали лишь один шаг, в то время как она — два. Она оживленно болтала и держалась так близко к спутнику, что локоть Патерсона ежеминутно касался ее плеча.

— В первый раз я увидела его, — говорила она, — во время стачки. Я пришла на митинг по приглашению моих цюрихских друзей. Он взял слово. Мы были в первых рядах. Я смотрела на него. Его глаза, руки... В конце митинга произошла драка. Я бросила друзей и побежала к нему на помощь... (Она, казалось, сама была удивлена воспоминаниями, возникшими в ее уме.) И с тех пор я с ним не расставалась. Ни на один день; даже ни на один час как будто.

Патерсон взглянул на Митхерга, помедлил и сказал вполголоса странным тоном:

— Ты — его амулет...

Она засмеялась:

— Пилот гораздо любезнее, чем ты, Пат... Он не называет меня «амuletом». Он говорит: «ангел-хранитель».

Митхерг слушал рассеянно. Он мысленно вновь переживал свой спор с Жаком. Он был уверен, что правда на его стороне. Жака он ценил как товарища и пытался даже приобрести себе в нем друга, но сурово осуждал его партизанские выходки. Сейчас он испытывал к Жаку глухую неприязнь: «Я должен был бы бросить ему в лицо всю правду раз навсегда!.. И именно в присутствии Пилота!» Митхерг был из числа тех, кому особенно не по душе была близость Жака с Мейнестрелем. Не потому, что он был мелочно ревнив; он страдал от этого скорее словно от какой-то несправедливости. Он не сомневался в том, что безмолвное сочувствие Пилота было только что на его стороне. Двусмысленное молчание Мейнестреля вызвало у него острую досаду. Он хотел найти повод, для того чтобы все это выяснить, и к этому желанию примешивались раздражение и жажда реванша.

Мейнестрель и Жак, опередившие остальных, остановились у входа на бульвар Бастионов. (Пересекая сад, можно было выйти прямо к улице Сент-Урс.)

Солнце садилось. За решеткой сада, над лужайками еще плавала золотистая дымка. Этот летний воскресный вечер привлек много гуляющих на бульвар, который был своего рода Люксембургским садом для Женевского университета. Все скамейки были заняты, и оживленные группы студентов прогуливались по прямым, как под линейку, аллеям, где тенистые деревья давали некоторую прохладу.

Оставив позади себя Альфреду и англичанина, Митхерг ускорил шаг и нагнал двух мужчин.

— ...все же несколько грубая концепция жизни, — говорил Жак. — Фетишизм материального процветания!

Митхерг пренебрежительно смерил его взглядом и, не зная, о чем идет речь, развязно вмешался в разговор.

— Ну, что еще? Я уверен, что он поносит «материалистические аппетиты» революционных деятелей, — проворчал он с легкой усмешкой, не предвещавшей ничего хорошего.

Удивленный Жак тепло взглянул на него. Приступы дурного настроения у австрийца всегда встречали со стороны Жака полнейшее снисхождение. Он считал Митхерга испытанным товарищем, несколько скрытным, но исключительно честным в дружбе. Жак понимал, что его резкость ведет свое начало от одиночества, от несчастного детства и болезненного самолюбия, за которым у Митхерга скрывалась, несомненно, какая-то внутренняя борьба или слабость. (Жак не ошибался. Этот сентиментальный немец таил в себе безнадежную тоску: зная, что он некрасив, он болезненно преувеличивал свое безобразие, вплоть до того, что иногда отчаялся во всем.)

Жак с готовностью объяснил:

— Я говорил Пилоту, что еще у многих из нас сохранился такой способ мыслить, чувствовать, стремиться к счастью, который является совершенно буржуазным... Ты не согласен с этим? Что означает — быть революционером, как не пересмотреть прежде всего свою личную, внутреннюю позицию? Как произвести в первую очередь революцию в самом себе, очистить свой дух от привычек, унаследованных от старого порядка?

Мейнестрель кинул на Жака быстрый взгляд. «Очистить! — подумал он весело. — Забавный этот маленький Жак... Он основательно обезбуржуазился, это верно... Очистить свой дух от привычек... Да! За исключением одной, самой глубоко-буржуазной из всех привычек, — ставить «дух» превыше всего!»

Жак продолжал:

— Меня часто поражало, что большинство придает такое значение и, не сознавая того, воздает такое уважение материальным благам...

Митхерг, упорствуя, прервал его:

— Это несколько легкомысленно — упрекать в материализме бедняков, которые подыхают от голода и восстают прежде всего потому, что хотят есть!

— Конечно, — отрезал Мейнестрель.

Жак тотчас же пошел на уступки:

— Нет ничего более законного, чем такое восстание, Митхерг... Однако многие из нас, по-видимому, думают, что революция будет завершена в тот день, когда капитализм подвергнется экспроприации и пролетариат займет его место... Поставить других хозяев на место изгнанных — это еще не значит разрушить капитализм, это значит лишь переменить правящий класс. А революция должна быть чем-то другим, а не просто торжеством класса, хотя бы самого многочисленного, самого обездоленного. Я хочу торжества всеобщего... широко человеческого, когда бы все, без различия...

— Конечно, — вставил Мейнестрель.

Митхерг проворчал:

— Зло заключается в личной выгоде... Сейчас это единственный двигатель человеческой деятельности. Пока мы не вырвем его с корнем из мира...

— Вот к этому-то я и хотел прийти, — продолжал Жак. — Вырвать с корнем... Ты думаешь, что это будет легко? Если ясно, что даже мы не можем искоренить это зло в себе самих? Даже мы, революционеры!..

Митхерг, несомненно, думал то же самое. Тем не менее у него недоставало искренности, чтобы признаться в этом; он не мог больше сопротивляться искушению оскорбить своего друга. И он отвел вопрос Жака насмешкой:

— «*Мы, революционеры!*»? Но ведь ты-то никогда не был революционером!

Жак, ошеломленный этим нападением, машинально повернулся к Мейнестрелю. Но Пилот удовольствовался лишь улыбкой, и эта улыбка не заключала в себе той поддержки, которой искал Жак.

— Какая муха тебя укусила? — пролепетал он.

— Революционер, — заговорил Митхерг с едкостью, которую он более не труdiлся скрывать, — это верующий! Вот! А ты из тех, кто размышляет сегодня — так, а завтра — иначе... Ты из тех, у кого есть мнения, но не из тех, у кого есть вера!.. Вера — это благодать! И она не для тебя, камрад! У тебя нет ее и никогда не будет!.. Нет, нет! Я тебя знаю прекрасно! Ведь тебе нравится качаться то в одну сторону, то в другую... Подобно буржуа, который, развалившись на диване с трубкой, спокойно играет за и против! И он очень доволен своим остроумием и раскачивается на своем диване. Ты в точности как он, камрад! Ты ищешь, сомневаешься, рассуждаешь, вертишь носом то вправо, то влево, размышляя о противоречиях, которые фабрикуешь с утра до вечера. И ты доволен своим остроумием!.. А веры у тебя нет никакой!.. — кричал Митхерг. Он приблизился к Мейнестрелю: — Не правда ли, Пилот? Ведь он не имеет права говорить: «*Мы, революционеры!*»?

Мейнестрель снова улыбнулся — беглой и непроницаемой улыбкой.

— Что? В чем ты меня упрекаешь, Митхерг? — рискнул возвратить Жак, все более и более недоумевая. — В том, что я не сектант? Нет! (Его замешательство понемногу переходило в гнев, и этот переход доставлял ему самому известное удовольствие.) — Он добавил сухо: — Мне очень жаль. Я как раз только что объяснялся на эту тему с Пилотом. Признаюсь тебе, что у меня нет никакого желания опять начинать все с начала.

— Ты дилетант, вот кто ты такой, камрад! — продолжал Митхерг яростно. (Как всегда, когда он увлекался, усиленное выделение слоны некстати заставляло его заикаться.) — Дилетант-рационалист! Я хочу сказать — протестант! Настоящий протестант! Свободный дух исследования, свобода совести и так далее... Ты с нами из симпатии к нам, да; но ты не устремлен вместе с нами к единой цели! И я считаю: партия слишком отравлена такими, как ты! Робкими, которые все колеблются и которые хотят быть критиками нашей теории, вместо того чтобы быть честными солдатами партии! Вам предоставляют возможность идти вместе с нами. Быть может, это ошибка! Ваша мания — рационалистические рассуждения обо всем, она пристает, как болезнь. И вскоре все начнут сомневаться и качаться вправо и влево, вместо того чтобы идти прямым путем к революции!.. Вы способны, может быть, однажды совершить индивидуальный героический акт. Но что такое этот индивидуальный акт? Ничто! Настоящий революционер должен согласиться с тем, что он не какой-нибудь особенный герой. Он должен согласиться быть одним из многих, затерянных в общей массе. Он должен согласиться быть ничем! Он должен терпеливо ждать сигнала, который будет подан всем, и лишь тогда он встанет, для того чтобы идти вместе со всеми... Ах, ты — философ, ты, может быть, считаешь это послушание достойным презрения для такого ума, как твой. Но я говорю тебе: для такого послушания надо обладать душой более цельной, да, более верной, более высокой, чем для того, чтобы быть дилетантом-рационалистом. А эту силу дает лишь вера! И подлинный революционер силен потому, что он верит, потому что он весь полностью — вера, чуждая рассуждений. Да, камрад! И ты можешь смотреть на Пилота сколько хочешь, он не говорит ничего, но я знаю, что он думает так же, как и я...

В этот миг Патерсон пролетел, подобно стреле, между Митхергом и Жаком:

— Послушайте же! Что это такое кричат?

— В чем дело? — спросил Мейнестрель, обернувшись к Альфреде.

Они уже пересекли бульвар и входили в улицу Кандоль. Трое газетчиков, приближаясь к ним, перебегали с одного тротуара на другой, выкрикивая во всю глотку:

— Экстренный выпуск! «Политическое убийство в Австрии!»

Митхерг встрепенулся:

— В Австрии?

Патерсон опрометчиво бросился по направлению к ближайшему

из крикунов. Но он лишь описал полукруг и возвратился, держа с небрежным видом руку в кармане.

— У меня не хватает денег... — жалобно сказал он, сам улыбаясь своему эвфемизму.

Митхерг тем временем уже купил газету и пробегал ее глазами. Все окружили его.

— Unglaublich!<sup>1</sup> — бормотал он, пораженный.

Он протянул газетный лист Пилоту.

Мейнестрель взял и быстро, спокойным голосом, не выдававшим никакого волнения, прочел напечатанное крупным шрифтом:

Сегодня утром в Сараеве, главном городе Боснии, провинции, недавно аннексированной Австрией, эрцгерцог Франц-Фердинанд, наследник австро-венгерского престола, и эрцгерцогиня, его жена, во время официальной церемонии были убиты револьверными выстрелами. Стрелял молодой боснийский революционер...

— Unglaublich!.. — повторял Митхерг.

## X

Две недели спустя Жак, в сопровождении австрийца по имени Бем, возвращался из Вены дневным скорым поездом.

Серьезные и тревожные известия, доверительно сообщенные ему накануне Госмером, заставили Жака прервать расследование и поспешно возвратиться в Швейцарию, чтобы уведомить обо всем Мейнестреля.

В этот воскресный день 12 июля Митхерг, которого торопил Жак, опасавшийся нескромных расспросов товарищей, входил около шести часов вечера в «Локаль». Он быстро поднялся по лестнице, ответил торопливой улыбкой на приветствия друзей и, пробираясь среди людей, толпившихся в первых двух комнатах, прошел прямо в третью, в которой, как он знал, находился Пилот.

В самом деле, на своем привычном месте, сидя рядом с Альфредой, Мейнестрель говорил перед десятком внимательных слушателей. Казалось, что его речь в особенности была обращена к Прецелю, стоявшему в первом ряду.

— Антиклерикализм? — говорил Мейнестрель. — Жалкая тактика! Возьмите хотя бы вашего Бисмарка с его пресловутым Kulturkampf.<sup>2</sup> Эти преследования послужили только к укреплению немецкого клерикализма...

<sup>1</sup> Невероятно! (нем.).

<sup>2</sup> Культуркампф (нем.; борьба за культуру) — собирательное наименование ряда антикатолических законов, изданных в Пруссии в 70-х гг. XIX в. правительством Бисмарка, но затем по большей части отмененных.

Митхерг с озабоченным видом настойчиво следил за взглядом Альфреды. Наконец он смог подать ей знак и, отделясь от группы, отшел к окну.

Прецель сделал какое-то возражение Пилоту, которого Митхерг не рассышал. Посыпались различные реплики. Споры по частным вопросам вызвали перемещения в группе слушателей. Альфреда воспользовалась этим, чтобы встать и подойти к австрийцу.

Сухой голос Мейнестреля зазвучал снова:

— Я думаю, что не этот идиотский антиклерикализм, столь дорогой для свободомыслящей буржуазии девятнадцатого века, избавит массы от ига религии. И здесь проблема остается социальной. Религиозные учреждения — социальны. Во все времена религии черпали свою основную силу в страданиях порабощенного человека. Религии всегда играли на нищете. В тот день, когда у них исчезнет эта точка опоры, религии потеряют свою жизнеспособность. Над более счастливым человечеством современные религии не будут иметь власти...

— В чем дело, Митхерг? — прошептала Альфреда.

— Тибо вернулся... Он хочет видеть Пилота.

— Почему он не пришел сюда?

— Похоже, что там творятся нехорошие дела, — сказал Митхерг вместо ответа.

— Нехорошие дела?

Она пытливо вглядывалась в лицо австрийца, думая о миссии Жака в Вене.

Митхерг развел руками, чтобы показать, что он ничего точно не знает; и в течение нескольких секунд он раскачивался, словно молодой медведь, приподняв брови и выкатив глаза за стеклами очков.

— Тибо приехал с Бемом, одним из моих соотечественников, который завтра отправляется в Париж. Совершенно необходимо, чтоб Пилот принял их сегодня же.

— Сегодня?.. — Альфреда размышляла. — Ну что ж, приходите к нам, это лучше всего.

— Хорошо... Позови также Ричардли.

— И Пата тоже, — торопливо сказала она.

Митхерг, не любивший англичанина, уже готов был возразить: «Почему Пата?»; тем не менее он выразил согласие легким движением век.

— В девять часов?

— В девять.

Альфреда бесшумно возвратилась на свое место.

Мейнестрель только что оборвал Прецеля своим безапелляционным «конечно!» и добавил:

— Преобразование не совершится в один день. Даже на протяжении целого поколения. Религиозные потребности нового человека найдут себе выход — социальный выход. Религиозная мистика будет заменена мистикой социальной. Это проблема социального порядка.

Снова переглянувшись с Альфредой, Митхерг исчез.

Три часа спустя Жак в сопровождении Бема и Митхерга сошел с трамвая на улице Каруж и входил в дом Мейнестреля.

Почти смеркалось, и на маленькой лестнице было темно.

Альфреда впустила гостей.

Силуэт Мейнестреля, словно китайская тень, вырисовывался в дверях освещенной комнаты. Он быстро подошел к Жаку и спросил вполголоса:

— Есть новости?

— Да.

— Обвинения были обоснованы?

— Серьезно обоснованы, — прошептал Жак. — В особенности в отношении Тоблера.... Я объясню вам все это... Но сейчас дело идет совсем о другом... Мы накануне больших событий... — Он обернулся к австрийцу, которого привел с собой, и представил его: — Товарищ Бем.

Мейнестрель протянул ему руку.

— Итак, товарищ, — сказал Мейнестрель со скептической ноткой в голосе, — правда, что ты нам привез новости?

Бем с важностью посмотрел на него:

— Да.

Это был тиролец, низкорослый горец лет тридцати, с энергичным лицом. На голове у него была фуражка, и, несмотря на жару, старый желтый макинтош покрывал его крепкие плечи.

— Входите, — сказал Мейнестрель, пропуская прибывших в комнату, в глубине которой ждали Патерсон и Ричардли.

Мейнестрель представил обоих мужчин Бему. Тот заметил, что остался в фуражке, и, смутившись на секунду, снял ее. Он был обут в подбитые гвоздями башмаки, которые скользили на натертом паркете.

Альфреда отправилась вместе с Патом на кухню за стульями. Она расставила их вокруг кровати, на которую села сама, чинно держа на коленях блокнот и карандаш.

Патерсон устроился рядом с нею. Полулежа, облокотившись на изголовье, он наклонился к молодой женщине:

— Ты знаешь, о чем будет речь?

Альфреда сделала уклончивый жест. Она на основании опыта чуждалась конспиративных замашек, которые у этих людей действия, осужденных на бездеятельность, выдавали прежде всего их страстное, сотни раз обманутое желание, наконец, проявить себя, испытать свои силы.

— Подвинься немножко, — фамильярно сказал Ричардли, садясь рядом с Альфредой. Его взгляд светился всегда радостным, почти воинственным блеском, но в этой самоуверенности было нечто искусственное, некое преднамеренное стремление казаться сильным и довольным, несмотря ни на что, ради принципа, ради гигиены.

Жак вынул из кармана два запечатанных конверта, большой и маленький, и передал их Мейнестрелю.

— Здесь копии документов. А это письмо от Госмера,

Пилот подошел к единственной лампе, стоявшей на столе и скучно освещавшей комнату. Он распечатал письмо, прочел его и машинально стал искать глазами Альфреду; затем, метнув на Жака острый вопросительный взгляд, положил оба конверта на стол и, чтобы показать пример, сел.

Когда все семеро устроились на своих местах, Мейнестрель обратился к Жаку:

— Итак?

Жак посмотрел на Бема, резким движением откинул волосы со лба и заговорил, отвечая Пилоту:

— Вы читали письмо Госмера... Сараево, убийство эрцгерцога... Это было как раз две недели назад... Ну вот, за эти две недели в Европе, особенно в Австрии, произошло втайне много событий... Событий такой важности, что Госмер счел необходимым поднять тревогу во всех европейских социалистических центрах. Он срочно направил товарищей в Петербург, в Рим... Бульман поехал в Берлин... Морелли отправился на свидание с Плехановым... а также с Лениным...

— Ленин — диссидент, — проворчал Ричардли.

— Бем будет завтра в Париже. В среду он будет в Брюсселе, в пятницу — в Лондоне. А я уполномочен ввести вас в курс событий... Потому что, как видно, события развиваются очень быстро... Госмер, расставаясь со мной, сказал мне буквально так: «Объясни им как следует, что если предоставить событиям идти своим ходом, то в два-три месяца Европа может быть охвачена всеобщей войной...»

— Из-за убийства какого-то эрцгерцога? — заметил опять Ричардли.

— Эрцгерцога, убитого сербами... то есть славянами, — возразил Жак, обернувшись к нему. — Я, так же как и ты, был далек от таких предположений... Но там я понял... По крайней мере я оценил важность проблемы... Все это адски сложно...

Он замолчал, обвел всех взглядом, остановился на Мейнестреле и спросил его после некоторого колебания:

— Должен ли я изложить все, с самого начала так, как мне рассказал Госмер?

— Конечно.

И Жак тотчас же начал:

— Вы знаете о попытках Австрии создать новую Балканскую лигу?.. Что? — сказал он, заметив, что Бем заерзal на стуле.

— Мне кажется, — отчеканил Бем, — для того чтобы объяснить причины явлений, лучшим методом было бы начать с более ранних событий...

При слове «метод» Жак улыбнулся. Он взглянул на Пилота, как бы спрашивая у него совета.

— В нашем распоряжении целая ночь, — заявил Мейнестрель. Он бегло улыбнулся и вытянул свою больную ногу.

— В таком случае, — заговорил Жак, обращаясь к Бему, — валий... Этот исторический обзор ты сделаешь, конечно, лучше, чем я.

— Да, — сказал серьезно Бем (что вызвало лукавый огонек в глазах Альфреды).

Он снял макинтош, заботливо положил его на пол рядом с фурштаком и, присев на кончик стула, словно застыл и сдвинул ноги. Его коротко остриженная голова казалась совсем круглой.

— Простите, — сказал он. — Для начала я должен изложить точку зрения империалистической идеологии. Это для того, чтобы объяснить, что скрывается за нашей, австрийской политикой... Во-первых, — продолжал он после нескольких секунд внутренней подготовки, — надо знать, чего хотят южные славяне...

— Южные славяне, — прервал Митхерг, — это значит: Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина. А также венгерские славяне.

Мейнестрель, слушавший с величайшим вниманием, сделал утвердительный жест.

Бем возобновил свою речь:

— Эти южные славяне уже в течение полу века стремятся объединиться против нас. Основное их ядро — сербы. Они хотят сгруппироваться вокруг Сербии, чтобы создать самостоятельное государство — Югославию. В этом им помогает Россия. С тысяча восемьсот семьдесят восьмого года, с Берлинского конгресса,<sup>1</sup> начался спор, борьба не на жизнь, а на смерть между русским панславизмом и Австро-Венгрией. А панслависты — всесильны в русском правительстве. Но что касается тайных русских намерений и ответственности России за осложнения, которые скоро наступят, то об этом я недостаточно осведомлен и не смею говорить. Я хочу только сказать о моей стране. Будет правильным сказать, что для Австрии — тут я становлюсь на правительенную империалистическую точку зрения — коалиция южных славян — это действительно большая жизненная проблема. Если бы югославское государство расположилось возле нашей границы, Австрия утратила бы господство над многочисленными славянами, являющимися сейчас подданными империи.

— Конечно, — машинально пробормотал Мейнестрель. Он, по-видимому, пожалел об этом невольном вмешательстве и закашлялся.

— До тысяча девятьсот третьего года, — продолжал Бем, — Сербия фактически находилась под властью Австрии. Но в тысяча девятьсот третьем году в Сербии произошла национальная революция; на трон сели Карагеоргиевичи, и Сербия стала независимой. Австрия воспользовалась тем, что Япония разбила Россию, и мы беззастенчиво захватили Боснию и Герцеговину — провинции, управление которыми было доверено нам. Германия и Италия отнеслись

<sup>1</sup> Международный конгресс, созванный в 1878 г. Австро-Венгрией и Англией при поддержке Германии с целью лишить Россию плодов ее победы в русско-турецкой войне 1877—1878 гг. Конгресс разрешил Австро-Венгрии временно (но без установленного срока) оккупировать Боснию и Герцеговину, которые в 1908 г. были ею аннексированы.

к этому сочувственно. Сербия была в ярости. Но Европа не захотела осложнений. Австрия выиграла благодаря своей дерзости...

Она захотела повторить свою дерзость во время первой Балканской войны, в тысяча девятьсот двенадцатом году. И Австрия еще раз выиграла благодаря своей наглости. Она помешала Сербии получить порт на Адриатике. Она создала между Сербией и морем независимое государство Албанию. И вследствие этого Сербия была разъярена еще больше... Затем началась вторая Балканская война. В прошлом году. Вы помните? Сербия завоевала новую территорию — в Македонии. Австрия хотела сказать «нет». Дважды она выигрывала дело с помощью своей наглости. Но в этот раз Италия и Германия не одобрили ее действий и Сербия смогла не уступить и удержать все, что захватила... Однако Австрия затаила обиду. Она ждет повода для реванша. Национальная гордость у нас очень развита. Наш генеральный штаб готовит этот реванш. И наша дипломатия тоже... Тибо говорил о новой Балканской лиге. Это у нас в Австрии большой политический план на этот год. Вот в чем дело: предполагается союз между Австрией, Болгарией и Румынией, чтобы основать новую Балкансскую лигу, которая будет направлена против славян. Не только против южных славян, — против всех славян. Понимаете? Это значит — также против России!

Несколько секунд он собирался с мыслями, проверяя, не упустил ли что-нибудь существенное. Затем с вопросительным видом наклонился в сторону Жака.

Альфреда, прислонившись к плечу Патерсона, нагнулась, чтобы скрыть зевок. Она находила австрийца очень добросовестным, а его исторический обзор — крайне скучным.

— Конечно, — добавил Жак, — всякий раз, когда думаешь об Австрии, следует не терять из виду австро-германский блок... Германию и ее «будущее на морях»,<sup>1</sup> которое противопоставлено Англии... Германию, окруженнную торговой блокадой, ищущей путей для новой экспансии... Германию с ее «Drang nach Osten»,<sup>2</sup> Германию и ее виды на Турцию... Отрезать России путь к проливам... Железнодорожная линия к Багдаду, к Персидскому заливу, к английской нефти, путь в Индию и так далее... Все это связано между собой... А на заднем плане не надо забывать доминирующих над всем этим двух мощных группировок капиталистических держав, ищущих столкновения!

— Конечно, — сказал Мейнестрель.

Бем кивнул в знак согласия.

Наступило молчание.

Австриец повернулся к Пилоту и спросил серьезным тоном:

— Правильно?

<sup>1</sup> В 1898 г. на открытии гавани в Штеттине германский император Вильгельм II произнес речь, в которой, пропагандируя идею строительства большого военно-морского флота, выдвинул лозунг: «Будущее Германии — на морях».

<sup>2</sup> Стремление на восток (нем.).

— Необычайно ясно! — заявил Мейнестрель решительным тоном.

Пилот редко хвалил кого-либо, и все, за исключением Бема, были удивлены. Альфреда внезапно изменила свое мнение и стала смотреть на австрийца с большим вниманием.

— А теперь, — сказал Мейнестрель, глядя на Жака и немного откинувшись назад, — послушаем, что говорит Госмер и каковы новые факты.

— Новые факты? — начал Жак. — Сказать правду, их нет... Нет еще... Лишь предвестия...

Он выпрямился быстрым движением, и лоб его скрылся в тени; желтый свет лампы озарял нижнюю часть лица, выступающей вперед подбородок и большой рот с горькой складкой.

— Предвестия очень серьезные, которые позволяют предусмотреть, быть может, в скором времени новые события... Я резюмирую: со стороны Сербии — глубокое народное возмущение в результате непрекращающихся выпадов против ее национальных стремлений... со стороны России — явная тенденция к поддержке славянских притязаний, настолько очевидная, что после убийства эрцгерцога русское правительство, полностью подчиняясь влиянию генерального штаба и националистических кругов, заявило через своих послов, что сно решительно выступит на защиту Сербии. Госмер узнал об этом из информации, поступившей из Лондона... Со стороны Австрии — ярость правящих сфер, униженных последним поражением, и серьезное беспокойство за будущее. Как говорит Госмер, с этим взрывчатым грузом взаимной ненависти, обид и домогательств мы летим теперь в неизвестность... Неизвестность началась с неожиданного удара двадцать восьмого июня, с сараевского убийства... Сараево, боснийский город... Сараево, где после шести лет австрийской аннексии население сохранило верность Сербии... Госмер склонен полагать, что некоторые сербские официальные деятели более или менее непосредственно помогали подготовить это преступление. Но доказать это трудно. Для австрийского правительства это убийство, вызвавшее негодование европейского общественного мнения, создает неожиданный шанс. Шанс поймать Сербию на месте преступления! Свести с нею счеты раз навсегда! Поднять престиж Австрии и одним ударом, без промедлений, создать эту новую Балкансскую лигу, которая должна обеспечить австрийскую гегемонию в Центральной Европе. Следует признать, что для государственных людей это довольно соблазнительно. Поэтому венские правители не колеблются. Они тотчас же вырабатывают план действий.

Первый пункт заключается в том, чтобы установить соучастие Сербии в преступлении. Вена приказывает немедленно произвести официальное расследование в Белграде и во всем сербском королевстве. Нужно во что бы то ни стало получить доказательства. Между тем пока что этот первый пункт программы, по-видимому, потерпел фиаско. Удалось установить всего-навсего лишь несколько имен сербских офицеров, замешанных в антиавстрийском движении

в Боснии. Несмотря на настоятельные приказания, расследователи не могли прийти к заключению о виновности сербского правительства. Естественно, что их доклад был положен под сукно. Его тщательно скрыли от журналистов. Но Госмеру удалось раздобыть эти материалы. Они здесь, — добавил он, положив руку на толстый пакет, который лежал на столе и красные печати которого освещались лампой.

Задумчивый взгляд Мейнестреля на мгновение остановился на пакете и снова устремился на Жака, который продолжал:

— Что же сделало австрийское правительство? Оно оставил все это без внимания. И здесь мы имеем явное доказательство того, что оно преследовало тайную цель. При его попустительстве стали думать и писать, что соучастие Сербии — установленный факт. Официальная печать не переставала обрабатывать общественное мнение. К тому же было легко сыграть на убийстве. Митхерг и Бем могут подтвердить, что личность наследника была там священна в глазах народа. В настоящее время нет ни одного австрийца или венгра, который не был бы убежден, что сараевское убийство есть результат заговора, поощряемого сербским правительством, а может быть и русским, и имеющего целью протест против аннексии Боснии; нет ни одного, кто не считал бы себя оскорблённым и не стремился к мести. Именно этого и хотели в высоких сферах. На следующий же день после убийства было сделано все, чтобы раскаличить это национальное самолюбие.

— Кем сделано? — спросил Мейнестрель.

— Людьми, стоящими у власти. Главным образом министром иностранных дел Берхтольдом.

Бем вмешался:

— Берхтольд! — сказал он с многозначительной гримасой. — Чтобы все понять, надо знать этого честолюбивого господина, как знаем мы! Подумайте: раздавив Сербию, он мог бы стать австрийским Бисмарком! Уже дважды ему казалось, что это удастся. И два раза случай ускользнул у него из рук. На этот раз он чувствует, что у него есть шансы. И не хочет их упустить.

— Однако Берхтольд все же еще не вся Австрия, — заметил Ричардли.

Его лицо с острым носом было обращено прямо к Бему. Он улыбался. В малейших его интонациях чувствовалась полная внутренняя уверенность, свойственная молодым людям, овладевшим стройной доктриной, в истинности которой они не сомневаются.

— Ах! — возразил Бем. — Вся Австрия у него в руках. Во-первых, генеральный штаб, а затем император...

Ричардли покачал головой:

— Франц-Иосиф? С трудом верится... Сколько ему лет?

— Восемьдесят четыре года, — сказал Бем.

— Восьмидесятилетний старик! У которого за плечами две неудачные войны! Чтобы он с легким сердцем согласился закончить свое царствование такой...

— Однако, — воскликнул Митхерг, — он прекрасно знает, что монархия находится под смертельной угрозой! Несмотря на свои годы, император далеко не уверен, что сохранит корону на голове до того момента, когда ему придется лечь в гроб!

Жак встал.

— Австрия, Ричардли, едва справляется с невероятными внутренними затруднениями... Вот чего не надо забывать... Это — государство, состоящее из восьми или девяти отдельных национальностей, враждующих между собою. Авторитет центральной власти падает с каждым днем. Распад страны почти неизбежен. Все эти противостоящие друг другу народности, эти сербы, румыны, итальянцы, насиливо включенные в состав империи, все они кипят и ждут лишь благоприятного часа, чтобы сбросить иго!.. Я вернулся оттуда. В политических кругах, как правых, так и левых, без колебаний говорят, что есть лишь одно средство, чтобы избежать расчленения государства, — война! Это мнение Берхтольда и его клики. Конечно, таково же и мнение генералов.

— Вот уже восемь лет, — сказал Бем, — как у нас начальником генерального штаба является Конрад фон Гетцендорф... <sup>1</sup> Злой гений армии... Самый ярый враг славян... В течение восьми лет он открыто ведет дело к войне!

Ричардли, казалось, не был убежден. Скрестив руки и сверкая — слишком ярко сверкая — глазами, он смотрел по очереди на всех говоривших с тем же проникновенным и самодовольно недоверчивым видом.

Жак перестал обращаться к нему и, повернувшись к Мейнестрелю, сел.

— Итак, — продолжал Жак, — по мнению тамошних правителей, лишь превентивная война могла бы спасти империю. Конец разни между партиями. Конец недовольству враждующих между собой национальностей. Война возвратит Австрии экономическое процветание, она обеспечит стране весь балканский рынок, которым стремятся завладеть славяне... И так как эти господа считают себя достаточно сильными, чтобы за две-три недели войны принудить Сербию к капитуляции, то чем они рискуют?

— Это еще вопрос! — отчеканил Мейнестрель.

Все посмотрели на него. С рассеянной торжественностью он устремил свой взгляд туда, где сидела Альфреда.

— Погодите! — сказал Жак.

— Ведь существует Россия! — прервал Ричардли. — А затем, есть Германия. Предположим на минуту, что Австрия нападает на Сербию; и предположим, — что маловероятно, но в пределах возможности, — что вмешается Россия. Русская мобилизация повлечет за собой мобилизацию в Германии, за которой автоматически

<sup>1</sup> Конрад фон Гетцендорф, Франц (1852—1925) — австрийский фельдмаршал; фактический главнокомандующий австро-венгерской армией в 1914—1917 гг.

последует мобилизация во Франции. Вся прелестная система их союзов заработка сама по себе... А это означает, что австро-сербская война способна вызвать всеобщий конфликт. — Он посмотрел на Жака и улыбнулся. — Однако, старина, Германия знает это лучше, чем мы. По-твоему, предоставляемая австрийскому правительству свободу действий, Германия согласится рисковать европейской войной? Нет! Подумайте... Риск таков, что Германия должна помешать Австрии действовать.

Мускулы на лице Жака напряглись.

— Постойте, — повторил он. — Это как раз то самое, что объясняет поднятую Госмером тревогу. Есть, оказывается, все основания думать, что Германия уже оказала поддержку Австрии.

Мейнестрель вздрогнул. Он не переставал смотреть на Жака.

— Вот каким образом, — продолжал Жак, — происходили события, по Госмеру... По-видимому, вначале в Вене, на первых заседаниях после убийства, Берхтольд натолкнулся на сопротивление с двух сторон: со стороны венгерского министра Тиссы, человека осторожного, врага насилистических методов, и со стороны императора. Да, как будто Франц-Иосиф не решался дать согласие; он хотел прежде всего узнать, что думает Вильгельм Второй. Между тем кайзер собирался отправиться в плавание. Нельзя было терять время на переговоры. И потому представляется вероятным, что Берхтольд между четвертым и седьмым июля получил возможность посоветоваться с кайзером и его канцлером и добился согласия Германии.

— Все это лишь предположения... — произнес Ричардли.

— Конечно, — ответил Жак. — Но вероятие этим предположениям придает то, что произошло в Вене за последние пять дней. Подумайте только! За последнюю неделю даже в ближайшем окружении Берхтольда, казалось, еще не было принято определенных решений; не скрывали, что император — и даже Берхтольд — опасаются прямого противодействия со стороны Германии. И вдруг седьмого июля все изменилось. В этот день (это был прошлый вторник) был спешно созван большой государственный совет, настоящий военный совет. Как будто руки вдруг оказались развязанными... Что говорилось в совете — об этом двое суток хранилось молчание. Но позавчера просочились первые слухи: слишком много людей было посвящено в тайну в результате различных распоряжений, последовавших после совета. К тому же, Госмер создал для себя в Вене превосходную агентуру; Госмер в конце концов узнает все!.. На заседании совета Берхтольд занял новую позицию: он вел себя в точности так, словно уже имел в кармане безусловное обязательство Германии поддержать всеми средствами карательную экспедицию против Сербии. И он хладнокровно предложил своим коллегам настоящий план войны, который оспаривал только Тисса. Что план Берхтольда есть действительно план войны, доказывает то, что Тисса призывал своих коллег удовлетвориться лишь унижением Сербии; ему казалось вполне достаточным одержать блестящую дипломатическую победу. Однако весь совет восстал против

него, и в результате он уступил: он присоединился к общему мнению... Еще того чище: Госмер уверяет, что в то самое утро министры цинически рассуждали, не следует ли немедленно объявить мобилизацию. И если они этого не сделали, то лишь потому, что нашли более удобным перед лицом других держав сбросить маску лишь в последний момент... Несомненно же то, что план Берхольда и генерального штаба был принят... Каковы детали этого плана? Конечно, это нелегко узнать... Но все же кое-что уже известно: например, то, что были отданы приказания начать все военные приготовления, какие можно осуществить, не привлекая особого внимания; что на австро-сербской границе войска прикрытия стоят наготове и в течение нескольких часов могут под любым предлогом оккупировать Белград! — Он быстро провел рукой по волосам. — А чтобы закончить, вот вам слова, которые якобы произнес один из сотрудников начальника генерального штаба, пресловутого Гетцендорфа; возможно, что это всего лишь хвастовство старого солдатфона, но такое, которое проливает свет на настроения австрийских правителей. Он, по-видимому, заявил в узком кругу: «Европа в один из ближайших дней станет перед совершившимся фактом».

## XI

Жак замолчал, и тотчас же все взоры устремились на Пилота.

Он застыл, скрестив руки; его неподвижные зрачки блестели. Долгая минута прошла в молчании. Одни и те же опасения и в особенности растерянность искали лица присутствующих.

Наконец Михтерг резко нарушил тишину:

— Unglaublich!..

Наступила новая пауза.

Затем Ричардли пробормотал:

— Если действительно за всем этим стоит Германия...

Пилот обратил на него свой острый взгляд, но тот, казалось, не заметил этого. Губы Пилота разжались и издали невнятный звук. Лишь Альфреда, не перестававшая следить за ним, поняла:

— Преждевременно!

Она вздрогнула и инстинктивно прижалась к плечу Патерсона.

Англичанин окинул молодую женщину быстрым взглядом. Но она опустила голову и, видимо, уклонялась от всяких вопросов.

Она была бы в большом затруднении, если бы Пат попросил ее объяснить свое состояние. В самом деле, в этот вечер впервые война перестала быть для нее абстракцией и представилась ее воображению с такой отчетливостью во всей своей кровавой реальности. Но не разоблачения Жака вызвали дрожь у Альфреды, а произнесенное Мейнестрелем: «Преждевременно». Почему? Эта мысль не могла захватить ее врасплох. Она знала убеждение Пилота: «Революция может возникнуть лишь в результате бурного кризиса; война

при современном положении Европы есть наиболее вероятный повод для кризиса; но если это произойдет, то пролетариат, недостаточно подготовленный, не будет способен превратить империалистическую войну в революцию». Потрясла ли Альфреду именно та мысль, что если в самом деле социализм не подготовлен, то война окажется всего лишь бесплодной бойней? Или причина заключалась в тоне этого слова — «преждевременно»? Но что нового могло быть для нее в этом тоне? Разве она уже с давних пор не привыкла к бесстрастию своего Пилота? (Однажды она с невольным удивлением сказала ему: «Ты относишься к войне так же, как христиане к смерти: у них мысль настолько устремлена к тому, что будет потом, что они забывают обо всех ужасах агонии». Он ответил, смеясь: «Для врача, девочка, муки родов — в порядке вещей».) Она даже — хотя иногда и страдая от этого — восхищалась этой сознательной отрешенностью, достигнутой благодаря непреклонным и постоянным усилиям человека, слишком человеческие слабости которого она знала лучше чем кто-либо; это было словно лишнее доказательство его превосходства. И ее всегда волновала мысль, что за этим чудовищным «обесчеловечением», в сущности, скрывались в высшей степени человеческие мотивы: стремление лучше служить человечеству, лучше работать над разрушением современного общества ради будущего прекрасного мира... Почему же она вздрогнула? Она не могла этого объяснить... Она подняла свои длинные ресницы, и ее взгляд, скользнув поверх Патерсона, упал на Мейнестреля, выражая ему доверие. «Терпение, — подумала она. — Он еще ничего не сказал. Он скажет. И снова все станет ясно, все будет справедливо и хорошо!»

— Что австрийский и германский милитаризм хотят войны, в это я верю, — продолжал Митхерг, покачивая взъерошенной головой. — И что с милитаристами заодно многие германские правители, и тяжелая индустрия, и Крупп, и все сторонники «Drang nach Osten» — да, в это я тоже могу поверить. Но правящие классы в целом — нет! Они испугаются. У них большое влияние. Они не допустят. Они скажут правительствам: «Остановитесь! Это безумие! Если вы подожжете этот динамит, то все взлетите на воздух!»

— Однако, Митхерг, — сказал Жак, — если действительно существует общность взглядов между правителями и военными партиями, то что может сделать оппозиция со стороны твоих правящих классов? А эта общность взглядов, по сведениям Госмера...

— Никто не берет под сомнение эти сведения, — прервал Ричардли. — Но единственная вещь, которую можно сейчас утверждать, — это то, что существует опасность войны. Не больше... А что же в действительности скрывается за этой опасностью? Бесповоротное стремление к войне? Или какие-нибудь новые комбинации германских министерских канцелярий?

— Я не верю в возможность войны, — флегматично заявил Патерсон. — Вы забыли о моей старой Англии. Никогда она не согласится допустить, чтобы Тройственный союз одержал верх в Европе... — Он улыбнулся. — Она сохраняет спокойствие, моя старая

Англия. И потому о ней забывают! Но она смотрит, она слушает и наблюдает; и если дело пойдет не так, как ей нужно, то она внезапно встанет во весь рост!.. У нее еще крепкие мускулы, вы знаете! Она их упражняет каждое утро, эта милая старушка!..

Жак заговорил нетерпеливо и взволнованно:

— Факт налицо! Что бы там ни было, — стремление к войне или желание запугать,— Европа уже завтра встанет перед грозной опасностью! Ну, а мы, что же мы должны делать? Я думаю так же, как и Госмер. Перед этой угрозой мы должны занять определенную позицию. Мы должны как можно скорее подготовить контратаку.

— Да, да, это правильно! — воскликнул Митхерг.

Жак обернулся к Мейнестрелю, но не мог поймать его взгляда. Он вопросительно взглянул на Ричардли, который сделал утвердительный знак:

— Согласен!

Ричардли отказывался верить в опасность войны. Тем не менее он не отрицал, что Европа глубоко потрясена этой внезапной угрозой; и он тотчас же определил, какие выгоды Интернационал может извлечь из этого потрясения, чтобы объединить все оппозиционные силы и внедрить в сознание масс революционные идеи.

Жак продолжал:

— Я повторяю слова Госмера: угроза европейского конфликта ставит перед нами новую и вполне определенную задачу. Нашей обязанностью является возобновить и усилить программу, выдвинутую два года назад в связи с Балканской войной... Прежде всего, надо выяснить, нет ли возможности ускорить созыв конгресса в Вене... Затем, надо немедленно начать всюду одновременно открытую официальную кампанию широкого размаха!.. Запросы в рейхстаге, в палате депутатов, в думе!.. Одновременный нажим на все министерства иностранных дел!.. Выступление в печати!.. Призыв к народам!.. Массовые демонстрации!..

— И поставить перед глазами всех правительств призрак всеобщей забастовки! — сказал Ричардли.

— ...С саботажем на военных заводах! — прохрипел Митхерг. — И взрывать паровозы и отвинчивать гайки у рельс, как в Италии!

Все обменивались лихорадочными взглядами. Не настал ли, наконец, час действия?

Жак снова обернулся к Пилоту. Беглая улыбка, светлая и холодная, которую Жак принял за знак одобрения, скользнула по лицу Мейнестреля и погасла, как луч прожектора. Внезапно осмелев, Жак снова с жаром заговорил:

— Забастовка, да! Всеобщая и одновременная! Наше лучшее оружие!.. Госмер опасается, что на Венском съезде вопрос опять останется в плане теории. Надо его поставить полностью и по-новому! Выйти за пределы теории! Уточнить для каждой страны позицию, которую следует занять в том или ином случае! Не повторять базельских ошибок! Прийти, наконец, к конкретным практическим решениям. Не правда ли, Пилот?.. Госмер даже хотел

уговорить вождей организовать перед конгрессом подготовительные собрания. Чтобы расчистить почву. И чтобы доказать правительству, что весь пролетариат на этот раз твердо решился выступить против их агрессивной политики!

Митхерг насмешливо возразил:

— Ах! Твои вожди! Чего ты хочешь от твоих вождей? Сколько уже лет они говорят о забастовке! И ты веришь, что в Вене за несколько дней они на этот раз решат что-нибудь определенное?

— Новый фактор! — сказал Жак. — Опасность европейского пожара!

— Нет, только не вожди! Не дискуссии! Действие масс, да. Выступление масс, камрад!

— Ну, конечно, выступление масс! — воскликнул Жак. — Однако разве не самое важное для подготовки этого выступления, чтобы вожди прежде всего высказались ясно и категорически? Подумай, Митхерг, как бы это ободрило массы... Ах, Пилот, если бы у нас уже была наша единая международная газета!

— Träumerei!<sup>1</sup> — закричал Митхерг. — А я говорю, оставь в покое вождей и займись массами! Ты думаешь, что, например, немецкие вожди согласятся на забастовку? Нет! Они скажут то же самое, что в Базеле: «Невозможно из-за России».

— Это было бы печально, — заметил Ричардли. — Очень печально... В сущности, все дело в Германии, в социал-демократии...

— Во всяком случае, — сказал Жак, — они ясно показали два года назад, что умеют, когда нужно, выступать против войны! Без их вмешательства балканская история зажгла бы всю Европу!

— Нет, не «без их вмешательства», — проворчал Митхерг, — а «без вмешательства масс»! Они — что сделали они? Только следили за массами!

— А массовые выступления, кто же их организовал? Вожди! — возразил Жак.

Бем покачал головой:

— Пока в России нет даже двух миллионов рабочих на миллионы и миллионы мужиков, русский пролетариат не располагает достаточными силами для борьбы против своего правительства, царский милитаризм есть реальная опасность для Германии, и социал-демократия не может гарантировать забастовку!.. И Митхерг прав: на Венском конгрессе она лишь теоретически даст согласие, так же, как это было в Базеле!

— Ах, оставьте в покое ваши конгрессы! — раздраженно воскликнул Митхерг. — Говорю вам: и в этот раз выступление масс решит все! А вожди последуют за ними... Надо везде — в Австрии, в Германии, во Франции — побуждать рабочих к восстанию, не дожидаясь, пока вожди отдадут приказ! Надо повсюду объединить надежных людей, в каждом уголке, чтобы везде срывать работу — на железных дорогах, на оружейных заводах, в арсеналах! Везде! И на-

<sup>1</sup> Мечты! (нем.).

жимать на вождей, на профсоюзы! А в то же время надо снова воспламенить все революционные организации Европы! Я уверен, что Пилот думает так же, как и я!.. Внести расстройство всюду! В Австрии это легче всего! Nicht wahr, Böhm?<sup>1</sup> Еще больше возбудить все подпольные национальные группировки — мадьяров, поляков, чехов! И венгров! И румын!.. Одно и то же везде!.. Можно разжечь итальянские забастовки! Можно и русские... И если массы будут везде готовы к восстанию, тогда и вожди пойдут за ними! — Он повернулся к Мейнестрелю: — Не правда ли, Пилот?

Мейнестрель в ответ поднял голову. Его острый взгляд остановился сначала на Митхерге, потом на Жаке и затем затерялся в направлении кровати, на которой сидела Альфреда между Ричардли и Патерсоном.

— Ah, Пилот,— воскликнул Жак,— если мы победим на этот раз, как неслыханно возрастет мощь Интернационала!

— Конечно, — сказал Мейнестрель.

Ироническая улыбка, беглая как отблеск, но не укрывшаяся от опытных глаз Альфреды, скользнула по его губам.

Слушая рассказ о разоблачениях Госмера, о тех основательных предпосылках, которые позволяли предполагать, что Германия поддерживала намерения Австрии, он тотчас же подумал: «Вот она, их война! Семьдесят шансов из ста... А мы не готовы... Невозможно надеяться на захват власти ни в одной европейской стране. Итак?..» И немедленно у него созрело решение: «В отношении тактики нет никаких сомнений: играть вовсю на народном пацифизме. Это теперь лучшее средство влияния на массы. Война войне! Если она вспыхнет, то необходимо, чтобы возможно большее количество солдат отправилось на войну с твердым убеждением, что война спущена с цепи капиталом против воли и против интересов пролетариата; что они вопреки их желанию ввергнуты в братоубийственную борьбу ради преступных целей. Такой посев, что бы из него ни выросло, не пропадет... Превосходный прием, чтобы ввести в недра империализма зародыш его гибели! Превосходный также случай для того, чтобы держать на виду наших официальных вождей и полностью скомпрометировать их в глазах властей, заставляя их запутаться вкънец... Итак, валайте, миленькие! Дуйте все в пацифистскую дудку!.. Впрочем, вы только этого и хотите. Стоит только дать вам волю...» Он внутренне улыбался: он заранее представлял себе великолужные объятия пацифистов и социал-патриотов всех мастей; казалось, до него уже доносилисьтеноровые раскаты с официальных трибун... «Что же касается нас... — подумал он, — что касается меня...» Мейнестрель не докончил мысли. Он предоставил себе возможность вернуться к ней позже.

Он пробормотал вполголоса:

— Там будет видно.

<sup>1</sup> Не правда ли, Бем? (нем.).

Мейнестрель уловил настойчивый взгляд Альфреды и заметил, что все молчат, повернувшись к нему и ожидая, когда он, наконец, заговорит. Машинально он повторил несколько громче:

— Там будет видно.

Нервным движением он убрал свою больную ногу под стул и откашлялся.

— Мне нечего прибавить к сказанному... Я думаю так же, как Госмер... Я думаю так же, как Тибо, как Митхерг, как вы все...

Он провел рукой по влажному лбу и неожиданно для всех встал.

В этой низенькой комнатке, заставленной стульями, он казался еще выше ростом. Он сделал наугад несколько шагов, кружка в узком свободном пространстве между столом, кроватью и ногами гостей. Взор, которым он скользнул по каждому из присутствующих, казалось, не был направлен ни на кого из них в отдельности.

Походив с минуту и помолчав, он остановился. Казалось, что его мысль возвращалась откуда-то издалека. Все были убеждены, что он сядет и начнет развивать план действий, что он пустится в те свои страстные, стремительные и несколько пророческие импровизации, к которым он всех приучил. Но он ограничился тем, что опять пробормотал:

— Там будет видно... — И, опустив глаза, он улыбнулся и очень быстро добавил: — Впрочем, все это приближает нас к цели.

Затем он протиснулся позади стола к окну и внезапно распахнул занавески, за которыми открылась ночная мгла. Потом слегка наклонил голову и, переменив тон, бросил через плечо:

— Не дашь ли нам, девочка, выпить чего-нибудь холодного? Альфреда послушно скрылась в кухне.

Несколько мгновений все чувствовали себя неловко.

Патерсон и Ричардли, продолжавшие сидеть на кровати, разговаривали вполголоса.

Посреди комнаты, под лампой, оба австрийца, стоя, спорили на своем языке. Бем вытащил из кармана половину сигары и зажег ее; его выпяченная вперед нижняя губа, яркая и влажная, придавала его плоскому лицу выражение доброты, но также и несколько вульгарной чувственности, что резко отличало его от остальных.

Мейнестрель, стоя и опершись руками на стол, перечитывал письмо Госмера, лежавшее перед ним около лампы. Свет, падавший из-под абажура, резко освещал его коротко остриженную бороду, казавшуюся еще чернее, и лицо, казавшееся еще бледнее; лоб был наморщен, а веки почти совсем прикрывали зрачки.

Жак тронул его локтем:

— Вот, может быть, наконец, Пилот, и раньше, чем вы думали, вот она — власть над ходом вещей?

Мейнестрель покачал головой. Не глядя на Жака и продолжая оставаться бесстрастным, он подтвердил безучастным, лишенным всякого выражения голосом:

— Конечно...

Затем замолчал и продолжал чтение.

Тягостная мысль мелькнула в голове Жака: ему показалось, что в этот вечер что-то изменилось не только в интонации Пилота, но и в его отношении к Жаку.

Бем, которому надо было рано утром спешить на поезд, первый подал сигнал к уходу.

Все последовали за ним, смутно чувствуя облегчение.

Мейнестрель спустился вместе с ними, чтобы открыть дверь на улицу.

## XII

Альфреда, склонившись над перилами лестницы, ждала, пока внизу затихнут голоса. Затем она возвратилась к себе и хотела немного прибрать комнату. Но на сердце у нее было тяжело... Она нашла себе убежище на кухне, где было темно, облокотилась на подоконник и замерла, устремив широко раскрытые глаза в ночной мрак.

— Мечтаешь, девочка?

Рука Мейнестреля, горячая и жесткая, ласково тронула ее плечо. Она вздрогнула и одним дыханием, как-то по-детски внезапно спросила его:

— Ты действительно думаешь, что это война?

Он засмеялся. Она почувствовала, что ее надежды пошатнулись.

— Ведь мы...

— Мы? Мы не готовы!

— Не готовы? — Она неправильно поняла его слова, потому что весь вечер думала лишь о том, что надо бороться против войны. — И ты, ты действительно думаешь, что нет способа помешать...

Он прервал:

— Нет! Конечно! — Мысль о том, что современный пролетариат мог бы стать препятствием для сил, развязывающих войну, казалась Мейнестрелю нелепой.

Она угадала во тьме его улыбку, блеск его глаз и снова содрогнулась. Несколько секунд оба они молчали, прижавшись друг к другу.

— Однако, — сказала она, — Пат, быть может, прав? Если мы не в состоянии ничего сделать, то Англия...

— Все, что она может, ваша Англия, это отдалить час, и то едва ли!

Почувствовал ли в ней Пилот непривычное сопротивление? Его голос стал еще жестче:

— Впрочем, дело не в этом! Не в том суть, чтобы помешать войне!

Она приподнялась.

— Но почему же ты им об этом не сказал?

— Потому что сейчас это никого не касается, девочка! И потому, что сегодня практически нужно действовать так, как если бы!..

Она замолчала. Она чувствовала себя весь вечер оскорблённой больше чем когда-либо, обиженней им до самой глубины души и внутренне восставала против него, сама не зная почему. Она вспомнила, как однажды, в самом начале их связи, он заявил, пожимая плечами, скороговоркой: «Любовь? Для нас — совсем не важно!»

«Что же важно для него? — подумала она. — Ничего! Ничего — кроме революции; это его навязчивая идея... Все остальное он в грош не ставит!.. И меня. Мою жизнь, жизнь женщины!.. Ничто не важно для него, даже то, что он нечто другое, чем люди!..» Впервые вместо «*выше и лучше, чем люди*» она подумала: «*нечто другое, чем люди...*»

Мейнестрель продолжал саркастическим тоном:

— Война — войне, девочка! Предоставь им действовать! Демонстрации, волнения, стачки — все, что им угодно. Вперед, фанфары! Вперед, трубачи! И пусть они сокрушают, если могут, стены Иерихона!<sup>1</sup>

Он внезапно отодвинулся от Альфреды, повернулся на каблуках и прошёдил сквозь зубы:

— Однако эти стены, девочка, полетят к черту не от их труб, а от наших бомб!

И в то время как он, слегка прихрамывая, удалялся в комнату, Альфреда услышала легкий, придушенный смешок, который всегда леденил ей душу.

Она еще долго сидела неподвижно, облокотившись на окно, блуждая взглядом в ночи.

Вдоль пустынной набережной Арва со слабым журчанием несла свои воды среди камней. Один за другим гасли последние огни в прибрежных домах.

Альфреда не шевелилась. О чём она думала? Ни о чём, — так ответила бы она сама. Две слезинки, вытекшие из-под век, повисли на ее ресницах.

### XIII

Шофер переехал через площадь Инвалидов и свернул на Университетскую улицу. Автомобиль несся совершенно бесшумно. Но в этот знойный воскресный полдень улица была такой пустынной,

<sup>1</sup> Согласно библейской легенде, стены неприступного города Иерихона, осажденного евреями, пали от звука труб еврейских священников.

словно погруженной в такой глубокий сон, что шелковистое шуршанье шин по сухому асфальту и робкий гудок на перекрестке казались чем-то нескромным, прямо неприличным.

Как только машина миновала улицу Бак, Анна де Батенкур прижала к себе рыжую китайскую собачонку, спавшую рядом с ней, свернувшись клубочком. Наклонясь вперед, Анна коснулась зонтиком спины мулата, невозмутимо сидевшего за рулем в белом пыльнике.

— Остановите, Джо... Я пройдусь пешком.

Автомобиль подкатил к тротуару, и Джо открыл дверцу. Из-под козырька сверкнули его зрачки, блестевшие сильнее, чем лакированная кожа, и бегавшие то вправо, то влево, как глаза заводной куклы.

Анна была в нерешительности. Могла ли она рассчитывать на то, чтобы сразу найти такси в этом глухом квартале? Как глупо было со стороны Антуана не послушаться ее совета и не перебраться после смерти отца поближе к Булонскому лесу!.. Она взяла собачонку на руки и легко спрыгнула на землю. В ней победило желание не быть связанный.

— Вы мне больше не будете нужны сегодня, Джо... Можете ехать домой.

Даже в тени раскаленный тротуар жег подошвы. Ни малейшего движения в воздухе. Над крышами домов неподвижно стояла легкая дымка, застилавшая солнце. Сощурив глаза, ослепляемые отраженными лучами, Анна шла вдоль молчаливых, как ворота тюрьмы, домов. Феллоу лениво плелся за хозяйствкой. На улице — ни души; не было даже ни одной из тех девочек с косичками, с тоненькими ножками, которые обычно в хорошую погоду по воскресеньям одиноко резвятся на тротуаре перед своим мрачным жилищем и которые вдруг внушали Анне желание удочерить их недельки на три, чтобы увезти в Довиль,<sup>1</sup> напоить свежим воздухом и напичкать всякими лакомствами. Никого. Даже привратники, как сторожевые псы, уснувшие в своих конурах, дожидались сумерек, чтобы подышать немножко прохладой, усевшись верхом на стул перед дверью. Казалось, что в этот воскресный день 19 июля все население Парижа, утомленное целой неделей демократических празднеств,<sup>2</sup> толпой покинуло столицу.

Особняк Тибо был виден издали. Леса все еще возвышались над его крышей. Старый фасад, обезображененный цементными швами, ожидал краски, чтобы вновь помолодеть. Дощатый забор с расклешенными на нем афишами закрывал нижний этаж и делал тротуар в этом месте более узким.

Приподняв юбку и прижимая к себе оборки фулярного платья, Анна — а вслед за ней и собачка — проскользнули между мешками, досками, кучами строительного мусора, загромождавшими

<sup>1</sup> Курорт на побережье Ла-Манша (деп. Кальвадос).

<sup>2</sup> Имеется в виду праздновавшееся 14 июля взятие Бастилии.

вход. В подъезде пахло сыростью от свежевыбеленной штукатурки, что вызывало в затылке неприятное ощущение, точно от прикоснения холодной мокрой губки. Феллоу поднял свою курносую черную мордочку и остановился, принюхиваясь к незнакомым запахам. Анна улыбнулась, одной рукой подняла с земли этот теплый шелковистый клубочек и прижала его к груди.

Стоило переступить через порог застекленной двери, как становилось ясным, что внутренний ремонт почти закончен. Красная ковровая дорожка, которой здесь еще не было в прошлые посещения Анны, вела прямо к лифту.

На площадке третьего этажа Анна остановилась и по привычке, хотя отлично знала, что Антуана нет дома, достала пуховку и пропела ею по лицу, прежде чем позвонить.

Дверь отворилась как бы нехотя: Леон не решился появиться в будничной одежде, в полосатом жилете. Его длинное, безбородое лицо, увенчанное желтоватым, как у цыпленка, пушком, сохраняло то безличное выражение, одновременно простоватое и лукавое (поднятые брови, отвисшая губа, приоткрытые веки и опущенный нос), которое стало для него привычным рефлексом самозащиты. Он искося окинул Анну быстрым взглядом, точно сетью опутывая и ее самое, и отделанную цветами шляпу, и розовато-лиловое платье; затем посторонился, чтобы впустить ее.

— Доктора нет дома...

— Я знаю, — сказала Анна, опуская собачку на пол.

— Он, должно быть, еще внизу, с этими господами...

Анна прикусила губу. Провожая ее на вокзал во вторник, когда она уезжала в Берк, Антуан объявил ей, что уедет в воскресенье на весь день за город, на консультацию. За время их связей, длившейся полгода, ей уже не раз приходилось убеждаться в том, что Антуан утаивает от нее кое-какие мелочи, и эта скрытность создавала вокруг него непроницаемую броню.

— Не беспокойтесь, — сказала Анна, подавая слуге зонтик. — Я зашла только написать записку, которую попрошу вас передать доктору.

И, пройдя мимо слуги, она устремилась по однотонной бежевой ковровой дорожке, которой теперь был устлан пол в бывшей квартире г-на Тибо. Не задумываясь, китайская собачка остановилась перед кабинетом Антуана. Анна вошла туда, впустила собаку и закрыла за собой дверь.

Шторы были спущены; окна закрыты. Пахло новым ковром, свежим лаком с примесью старого и стойкого запаха краски. Анна быстрыми шагами подошла к письменному столу, взялась рукой за спинку кресла и, выпрямившись, с жестким выражением лица, раздувая ноздри и как-то сразу подурнев, стала осматривать комнату жадным и подозрительным взглядом, готовая уловить малейший намек, способный пролить некоторый свет на тот незнакомый ей образ жизни, который Антуан вел вдали от нее.

Но трудно было представить себе что-нибудь более безличное, чем эта огромная комната, роскошная и неуютная. Антуан никогда здесь не работал: он пользовался ею только в приемные дни. Стены были до половины высоты заставлены книжными шкафами, стеклянные дверцы которых, затянутые китайским шелком, скрывали за собой пустые полки. В центре комнаты помещался парадный письменный стол, негостеприимно прикрытый толстым стеклом, на котором был разложен сафьяновый гарнитур: портфель для бумаг, папка, подкладываемая при письме, и бювар с промокательной бумагой, украшенные монограммами. Ни одной деловой бумаги, ни одного письма, ни одной книги, кроме телефонного справочника. И только эбонитовый стетоскоп, водруженный, как безделушка, около хрустальной чернильницы без чернил, свидетельствовал своим присутствием о профессии хозяина; впрочем, создавалось такое впечатление, что этот предмет был поставлен сюда не самим Антуаном для медицинских целей, а помещен рукой неведомого декоратора, заботившегося о внешнем эффекте.

Феллоу, едва войдя в комнату, разлегся на животе, раскинув лапки; его шелковистая светлая шерсть сливалась в один тон с ковром. Анна взглянула на него рассеянным взглядом; затем усилась как амazonка на ручку врачающегося кресла, в котором Антуан три раза в неделю изрекал приговоры. Она на минуту представила себя на его месте и испытала при этом мимолетное удовольствие; это являлось как бы реваншем за то слишком ограниченное место, которое он отводил ей в своей жизни.

Она вытащила из портфеля блокнот с именным штампом на каждой странице, которым Антуан пользовался, выписывая рецепты и, вынув из сумочки вечное перо, стала писать:

Тони, любимый! Я могла выдержать без тебя только пять дней. Сегодня утром вскочила в первый попавшийся поезд и примчалась. Сейчас четыре часа. Отправляюсь в наше гнездышко, где буду ждать, пока кончится твой трудовой день. Приходи повидаться со мной, мой Тони, приходи скорей!

A.

Я захвачу по дороге все, что нам нужно для ужина, чтобы уж больше не выходить.

Анна достала конверт и позвонила.

Появился Леон. Он уже успел облачиться в свою ливрею. Привлекав собачку, он подошел к Анне.

Примостившись на ручке кресла, она болтала ногой, смачивая языком клей на конверте. У нее была красивая форма рта, массивный, но подвижной язык. В комнате пахло духами, которыми была пропитана ее одежда. Анна уловила огонек, вспыхнувший во взгляде слуги, и безмолвно улыбнулась.

— На, — сказала она, резким движением бросая письмо на стол; при этом браслеты на ее руке зазвенели. — Пожалуйста, передай ему это, как только он поднимется наверх. Хорошо?

Она иногда говорила слуге «ты» в отсутствие Антуана: это у нее выходило так естественно, что Леон нисколько не удивлялся. Их связывало тайное и молчаливое соглашение. Когда Анна заезжала за Антуаном, чтобы увезти его обедать, а он заставлял себя ждать, она охотно болтала с Леоном; в его присутствии она словно дышала родным воздухом. Впрочем, он не злоупотреблял этой фамильярностью, разве что иногда позволял себе вольность не называть ее «сударыня» в третьем лице при этих разговорах с глазу на глаз, а когда она давала ему на чай, он был доволен, что мог поблагодарить ее, только подмигнув ей и не тая в сердце ни малейшей классовой ненависти.

Анна вытянула ногу, подняла край юбки, чтобы подправить шелковый чулок, и соскочила с кресла.

— Я удираю, Леон. Куда вы дели мой зонтик?

Для того чтобы найти такси, проще всего было пройти по улице Святых Отцов до бульвара. На улице почти никого не было. Навстречу Анне попался какой-то молодой человек. Они обменялись равнодушным взглядом, не подозревая того, что им уже пришлось однажды встретиться в довольно знаменательный день. Но разве они могли узнать друг друга? Жак за последние четыре года сильно изменился; этот коренастый мужчина с озабоченным лицом ни внешностью, ни походкой не напоминал прежнего юнца, который в свое время ездил в Турень, чтобы присутствовать на свадьбе Анны с Симоном де Батенкур. И несмотря на то, что во время этого странного обряда он с любопытством наблюдал за новобрачной, Жак в свою очередь не мог бы узнать в этой накрашенной парижанке, — лицо которой, кроме того, было наполовину скрыто от него зонтиком, — задорную вдовушку, выходившую когда-то замуж за его приятеля Симона.

— Ваграмская улица, — сказала Анна шоферу.

На Ваграмской улице находилось их «гнездышко»: обставленная на холостую ногу квартира в нижнем этаже, которую Антуан снял в самом начале их связи на углу названной улицы и глухого переулка, куда выходила отдельная парадная, что позволяло избежать пересудов привратницы.

Антуан никогда не соглашался на просьбу Анны посетить ее небольшой особняк, который она занимала недалеко от Булонского леса, на улице Спонтини. А между тем она уже несколько месяцев жила там совершенно одиноко и независимо. (Когда, по совету Антуана, на Гюгету пришлось надеть гипсовый корсет и увезти ее на берег моря, Анна сняла домик в Берке, и было решено, что она поселится там вместе с мужем до полного выздоровления девочки. Героическое решение, которому Анна не смогла долго следовать.

В действительности один только Симон, никогда не любивший Парижа, окончательно обосновался там со своей падчерицей и ее гувернанткой-англичанкой. Он много занимался фотографией, немного живописью и музыкой, а долгими вечерами, вспоминая о своих занятиях богословием, читал книги о протестантизме. Анна всегда находила благовидный предлог, чтобы остаться в Париже: ее пребывание в Берке ограничивалось пяти-шестидневным визитом раз в месяц. Материнский инстинкт никогда у нее не был сильно развит. За последнее время постоянное присутствие в доме этой четырнадцатилетней девочки-подростка раздражало ее, как вечная помеха. Теперь же к этой глухой враждебности стало примешиваться чувство унижения при виде калеки, которую мисс Мери возила в коляске по залитым солнцем пескам прибрежных дюн. Анна, мечтавшая иногда удочерить чужих малокровных девочек, находила, однако, вполне естественным пренебрегать своим собственным ребенком. По крайней мере в Париже она совершенно забывала Гюгету, а также и Симона.)

Автомобиль несся уже по Ваграмской улице, когда Анна подумала об ужине. Магазины были закрыты. Вспомнив, что в квартале Терн есть гастрономический магазин, открытый по воскресеньям, она велела отвезти себя туда, а затем отпустила такси.

Было так занятно делать покупки! Держа под мышкой свою китайскую собачку, Анна ходила взад и вперед по магазину, любуясь аппетитно разложенным товаром. Сначала она выбрала то, что любил Антуан: ржаной хлебец, соленое масло, копченую гусиную грудку, корзиночку земляники. Для Феллоу — как и для Антуана — баночку сгущенных сливок.

— А еще кусочек вот этого! — сказала она, лакомо облизываясь и указывая затянутым в перчатку пальцем на мисочку обыкновенного паштета из гусиной печени. «Вот это» предназначалось для нее самой; паштет был ее слабостью; но ей, конечно, никогда не приходило его есть — разве только случайно, во время путешествия, где-нибудь в железнодорожном буфете или в деревенской гостинице. Порция паштета на несколько су — розового и жирного, окруженного топленым салом, остро приправленного гвоздикой и мускатным орехом и намазанного на ломоть свежеиспеченного хлеба, — в этом заключалось все ее прошлое бедной парижской девушки, которое вдруг всплыло перед ней. Анна вспомнила свои завтраки всухомятку на скамейке Тюильрийского сада, в полном одиночестве среди голубей и воробьев, в те годы, когда она служила продавщицей на авеню Оперы. Никаких напитков; но, чтобы утолить жажду, возбужденную пряным паштетом, — пригоршня испанских вишнен, купленная у разносчика на краю тротуара. И в довершение всего, когда наступало время возвращения на работу, — чашечка черного кофе, сладкого и горячего, пахнувшего жестью и гуталином, которую она выпивала опять-таки в одиночестве у стойки кафе-бара на улице св. Роха.

Анна рассеянно смотрела, как приказчик завертывает покупки и пишет счет.

В одиночестве... Уже в то время верный инстинкт подсказывал ей, что если у нее и были кое-какие шансы на успех, то лишь при условии отчужденного от всех и замкнутого существования, без увлечений, без привязанностей, в полной готовности к любому преображению. Ах, если бы гадалка, бродившая по Тюильрийскому саду со своей заплечной корзинкой и трещоткой и торговавшая трубочками и лимонадом, предсказала бы ей в то время, что она станет г-жой Гуппийо, женой самого патрона!.. А между тем так и случилось. И теперь, оглядываясь назад, она находила это почти совершенно естественным...

— Получите, сударыня! — Приказчик подал ей завернутый пакет.

Анна почувствовала, как взгляд продавца скользнул по ее груди. Ей все больше и больше нравилось возбуждать мимолетное желание мужчин. Этот был еще совсем мальчишка, с легким пушком на щеках, с растрескавшимися губами большого, некрасивого, здорового рта. Анна поддела пальцем веревочку, подняла голову, слегка откинув ее назад, и в знак благодарности окинула юношу обольстительным взглядом своих больших серых глаз.

Пакет был легкий. У Анны оставалось еще много времени впереди: было всего пять часов. Она спустила собачку на землю и пошла пешком по Ваграмской улице.

— Ну-ка, Феллоу, бодрей!..

Анна шла быстрым шагом, выпрямив грудь, с некоторым самодовольствием подняв голову, ибо она не могла подавить в себе чувство невольной гордости всякий раз, как вспоминала о своем прошлом: она ясно сознавала, что ее воля всегда оказывала влияние на судьбу и что достигнутый успех был делом ее собственных рук.

На расстоянии, — не переставая удивляться, как будто речь шла о ком-то другом, — Анна любовалась той настойчивостью, которую она проявляла с самого детства, чтобы выбраться из низов; это был своего рода инстинкт, подобный инстинкту утопающего, который всеми своими непроизвольными движениями стремится выплыть на поверхность. Живя вместе со старшим братом и овдовевшим отцом, она бережно хранила в юности свою чистоту, для того чтобы со временем легче подняться наверх. По воскресеньям, в то время как отец, рабочий-водопроводчик, играл в кегли у старых фортов, Анна и ее брат отправлялись с друзьями бродить по Венсенскому лесу. Как-то вечером, при возвращении с прогулки, товарищ брата, молодой монтер, попытался ее поцеловать. Анне было уже семнадцать лет, и он ей нравился. Но она дала ему пощечину и одна убежала домой; после этого случая она никогда больше не ходила с братом гулять. По воскресным дням она оставалась дома и занималась шитьем. Она любила тряпки и наряды, у нее был вкус. Хозяйка ближайшего галантерейного магазина, знавшая ее мать, взяла к себе Анну продавщицей, но в этой лавочонке, клиентура которой состояла из бедных жителей квартала, было довольно уныло. К счастью, Анне удалось получить место продавщицы в отделении «Универ-

сального магазина XX века», которое открылось в Венсене,<sup>1</sup> на Церковной площади. Перебирать куски шелка и бархата, соприкасаться с непрерывно движущейся толпой покупателей, жить в атмосфере похотливых желаний продавцов, заведующих отделами, не давая им в ответ ничего, кроме товарищеской улыбки, и чинно возвращаться вечером домой, чтобы приготовить семейный ужин, — такова была жизнь Анны в течение двух лет, и в общем она сохранила о ней хорошие воспоминания. Но как только умер отец, Анна бежала из пригорода и устроилась на отличное место, в самом центре Парижа, на авеню Оперы, в главном магазине, управление которым все еще было в руках самого старика Гупийо. И вот тут-то пришлось вести тонкую игру, вплоть до замужества... «Тонкая игра!» Это могло бы стать ее девизом... Еще и теперь... Разве не сама она при первой встрече с Антуаном остановила на нем свой выбор, преодолела его сопротивление и постепенно одержала над ним победу? А он этого и не подозревал; потому что она была достаточно опытна и хитра, чтобы щадить самолюбие самца и оставлять ему приятную иллюзию собственной инициативы. Она была слишком хорошим игроком, чтобы отдать предпочтение тщеславному удовольствию афишировать свою власть перед действительно царственным удовлетворением своих желаний втайне, во всеоружии кажущейся слабости...

Предаваясь своим размышлениям, Анна незаметно добралась до их квартирки. Ей стало жарко от ходьбы. Тишина и прохлада, царившие в квартире, где шторы были спущены, привели ее в восхищение. Стоя посреди комнаты, она сбросила с себя все, что на ней было надето, и побежала в ванную комнату, чтобы приготовить себе ванну.

Ей было приятно чувствовать себя обнаженной среди всех этих зеркал, под этими матовыми стеклами, сквозь которые падал ослабленный свет лампочек, придававший особый блеск ее коже. Наклонясь над кранами, из которых с шумом вырывалась вода, Анна рассеянно проводила ладонью по своим смуглым, все еще стройным бедрам, по своей несколько отяжелевшей груди. Затем, не дожидаясь, пока ванна наполнится доверху, Анна занесла ногу через край. Вода была чуть теплой. Анна погрузилась в нее с приятной дрожью в теле.

Взглянув на белый с синими полосами купальный халат, висевший на стене перед нею, она невольно улыбнулась. В прошлый раз Антуан забавно закутался в него и ужинал в таком виде. Внезапно ей вспомнилась небольшая сцена, разыгравшаяся между ними именно в тот вечер: на какой-то вопрос, который она задала ему по поводу его прежней жизни, его связи с Рашелью, он сказал ей ни с того ни с сего: «Я-то тебе рассказываю все, я-то ничего от тебя не скрываю!»

<sup>1</sup> Один из пригородов Парижа.

Действительно, она очень мало говорила ему о себе. В самом начале их связи, как-то вечером, Антуан, пристально посмотрев ей в глаза, сказал: «У тебя взгляд роковой женщины...» Этим он доставил ей огромное удовольствие. Она запомнила это навсегда. Чтобы сохранить свой престиж, она постаралась окружить тайной свою прошлую жизнь. Может быть, это с ее стороны было ошибкой? Кто знает, может быть Антуану было бы приятно под маской роковой женщины найти гризетку? Она решила это хорошенькозвесьте. Исправить ошибку было нетрудно: ее прежняя жизнь была достаточно богата событиями, чтобы, ничего не выдумывая и не исказяя фактов, извлечь из них необходимое, а именно — воспоминания сентиментальной маленькой продавщицы, какой она была в дни своей юности...

Антуан... Как только она начинала думать о нем, в ней пробуждалось желание. Она любила его таким, каким он был, — за его решительность, за его силу и даже за то, что он был слишком уверен в своей силе... Она любила его за любовный пыл, проявлявшийся у него несколько грубо, почти без нежности... Самое большое через час он должен быть уже здесь...

Анна вытянула ноги, запрокинула голову и закрыла глаза. Вода смела с нее усталость, как пыль. Блаженная истома охватила ее. Над ее головой большой пустынный дом безмолвствовал. Тишину нарушали лишь похрапывание собачки, распластавшейся на прохладном кафельном полу, отдаленное шуршание детских роликов по асфальту соседнего двора да плеск капель, с кристаллическим звуком время от времени падавших из крана.

#### XIV

Жак, остановившись на углу Университетской улицы, разглядел свой родной дом. Покрытый лесами, он был неузнаваем. «Ведь верно! — подумал он. — Антуан предполагал произвести основательный ремонт».

После смерти отца он уже дважды побывал в Париже, но ни разу не заходил на свою прежнюю квартиру и даже не извещал брата о своем приезде. Антуан в течение зимы несколько раз присыпал ему сердечные письма. Жак, со своей стороны, ограничивался приветственными и лаконическими открытками. Он не сделал исключения, даже когда отвечал на длинное деловое письмо, касавшееся наследства: в пяти строках он изложил категорический отказ вступить во владение своей частью отцовского наследства, почти не мотивировав свой поступок и попросив брата никогда больше не затрагивать «этых вопросов».

Жак находился во Франции с прошлого вторника. (На следующий день после встречи с Бемом Майнестрель сказал ему: «Отправляйся-ка в Париж. Возможно, что твое присутствие там будет мне необходимо в ближайшие дни. Больше я ничего не могу тебе

сообщить в данную минуту. Воспользуйся этой поездкой, чтобы разведать, откуда ветер дует, и посмотреть вблизи, что там делается, как реагируют левые круги во Франции, в особенности группа Жореса, эта компания из «Humanité»... Если в воскресенье или в понедельник ты ничего не получишь от меня, можешь вернуться. Если только ты не выяснишь, что можешь быть полезен там».) В течение нескольких дней своего пребывания в Париже Жак не имел времени — или мужества — навестить Антуана. Но события, как ему казалось, приобретали день ото дня все более угрожающий характер, так что он решил не уезжать, не повидавшись с братом.

Устремив свой взгляд на третий этаж дома, где на всех окнах виднелись новые шторы, он пытался отыскать «свое» окно — окно своей детской комнаты... Еще не поздно было отступить. Он колебался... Наконец пересек улицу и вошел в подъезд.

Здесь все было по-новому: на лестнице отделанные под мрамор стены, железные перила, широкие зеркальные стекла заменили прежние обои с геральдическими лилиями, точеные балюстрады деревянных перил и средневековые витражи с разноцветными стеклышками. Только лифт остался без перемен. Тот же короткий щелчок, затем шуршание цепей и масляное урчание, предшествующее движению, которое Жак при каждом своем посещении не мог слышать без внезапного чувства тоски, без мучительного воспоминания об одной из самых тяжелых минут своего полного унижений детства — о своем возвращении в отчий дом после побега... Только здесь, именно здесь, в этой тесной кабинке, куда Антуан втолкнул его, беглец почувствовал себя действительно пойманным, схваченным, бессильным... Отец, исправительная колония... А теперь Женева, Интернационал... Может быть, война...

— Здравствуйте, Леон. Сколько у вас тут перемен!.. Брат дома?

Вместо ответа Леон с изумлением рассматривал это привидение. Наконец он промолвил, часто моргая глазами:

— Доктор? Нет... То есть да... Для господина Жака, конечно! Но он внизу, в амбулатории... Не потрудится ли господин Жак спуститься этажом ниже?.. Дверь открыта, можно войти.

На площадке второго этажа Жак прочел на медной дощечке: «Лаборатория А. Оскар-Тибо».

«Значит, весь дом?... — подумал Жак. — И он присвоил себе даже имя — «Оскар»!»

Дверь открывалась снаружи при помощи никелированной защелки. Жак очутился в передней, куда выходили три одинаковых двери. За одной из них он услышал голоса. Неужели Антуан принимал больных в воскресный день? Озадаченный Жак сделал несколько шагов.

— ...биометрические показания... анкеты в школах по округам...

Это говорил не Антуан. Но вслед за этим Жак узнал голос брата;

— Первый пункт: накоплять данные испытаний... классифицировать их... По истечении нескольких месяцев любой невропатолог, любой специалист по детской патологии, любой педагог даже должен иметь возможность найти здесь, у нас, в наших статистических данных...

Да, без сомнения, это говорил Антуан; это была его решительная и безапелляционная манера выражаться, с несколько насмешливым оттенком на концах фраз... «Со временем у него будет голос точь-в-точь как у *его отца*», — подумал Жак.

С минуту он стоял неподвижно, не прислушиваясь к разговору, опустив глаза на новый линолеум, которым был затянут пол. Он снова почувствовал желание незаметно удалиться... Но Леон видел его... Впрочем, раз уж он зашел сюда... Он выпрямился и, как взрослый, не задумываясь над тем, чтобы спугнуть играющих детей, подошел к двери и отрывисто постучал в нее.

Антуан, прерванный на полуслове, встал и с недовольным лицом приоткрыл дверь.

— В чем дело?.. Как! Это ты? — воскликнул он, неожиданно просияв.

Жак тоже улыбался, охваченный внезапно одним из тех приливов братской любви, который поднимался в нем, несмотря ни на что, каждый раз, как он видел перед собой Антуана живым и здоровым, его энергичное лицо, квадратный лоб, характерный рот...

— Входи же! — сказал Антуан. Он не спускал глаз с брата. Это был Жак! Жак стоял здесь, перед ним, со своей темно-рыжей прядью непослушных волос, со своим живым взглядом, с полуулыбкой на губах, напоминающей его детскую рожицу...

Троє мужчин, в расстегнутых белых халатах, с разгоряченными лицами, без воротничков, сидели за большим столом, где стаканы, лимоны, ведерко со льдом прекрасно уживались с разложенными бумагами и графиками.

— Это мой брат, — объявил Антуан, сияя от удовольствия. И, указывая Жаку на троих мужчин, поднявшихся с места, он представил: — Исаак Штудлер... Рене Жуслен... Манюэль Руа...

— Я, кажется, вам помешал? — пробормотал Жак.

— Конечно, — ответил Антуан, весело поглядывая на своих сотрудников. — Не правда ли? Невозможно отрицать, что он нам помешал, чудовище... Но тем лучше! Вмешательство непреодолимой силы... Садись!..

Жак, ничего не отвечая, рассматривал просторную комнату, всю заставленную стеллажами, на которых были размещены ряды занумерованных совершенно новых папок.

— Ты недоумеваешь — куда это ты попал? — сказал Антуан, забавляясь недоумением брата. — Ты всего-навсего в «архиве»... Хочешь выпить чего-нибудь холодненького? Виски? Нет? Руа приготовит тебе сейчас лимонад, — провозгласил он, обращаясь к младшему из мужчин.

У Руа было умное лицо парижского студента, озаренное вдумчивым взглядом — взглядом прилежного ученика.

В то время как Руа выжимал лимон на толченый лед, Антуан обратился к Штудлеру:

— Мы к этому вернемся в будущее воскресенье, дружище...

Штудлер был значительно старше остальных и казался даже старше Антуана. Имя Исаак как нельзя лучше подходило к его профилю, его бороде арабского шейха, к его лихорадочным глазам восточного мага. Жаку почудилось, будто он с ним уже раньше встречался, в те времена, когда братья жили вместе.

— Жуслен собирает все бумаги, — продолжал Антуан. — Во всяком случае нам не придется систематически заняться делом раньше первого августа, то есть раньше моего отпуска в больнице.

Жак слушал. Август... Время отпуска... По-видимому, какое-то недоумение промелькнуло на его лице, потому что Антуан, смотревший на него, счел нужным пояснить:

— Видишь ли, мы все четверо условились в этом году не брать отпуска... Ввиду сложившихся обстоятельств...

— Понимаю, — одобрил Жак серьезным тоном.

— Подумай только, ведь прошло всего каких-нибудь три недели с тех пор, как закончен ремонт в доме: еще ни одно из наших новых учреждений не функционирует. Впрочем, при работе в больнице и при моей клиентуре мне все равно не удалось бы ничего устроить раньше. Но теперь, имея впереди два свободных месяца до начала занятий...

Жак с удивлением смотрел на него. Человек, который мог так говорить, по-видимому, не улавливал в мировых событиях ничего, что могло бы нарушить спокойное течение его занятий, его уверенность в завтрашнем дне.

— Это тебя удивляет? — продолжал Антуан. — Дело в том, что ты не имеешь никакого понятия о наших планах... Замыслы у нас... великолепные! Не правда ли, Штудлер? Я тебе все это расскажу... Ты ведь пообещаешь со мной, конечно?.. Пей спокойно лимонад. А после этого я покажу тебе весь дом. Ты увидишь все наши нововведения... А потом мы поднимемся наверх, чтобы поболтать...

«Он все такой же, — думал Жак. — Ему вечно нужно что-то организовывать или чем-то руководить». Он послушно выпил свой лимонад и встал. Антуан уже ждал его.

— Сначала давай спустимся в лабораторию, — сказал он.

При жизни г-на Тибо Антуан вел обычное существование молодого врача, подающего большие надежды. Он одно за другим прошел все конкурсные испытания, был принят на учет в Центральном бюро и в ожидании штатной должности в Управлении больницами продолжал заниматься частной практикой.

Внезапно полученное от отца наследство облекло его неожиданной властью — капиталом. А он был не из тех, кто не сумел бы

воспользоваться этой исключительной удачей. У него не было никаких обязательств, никаких расточительных наклонностей. Одна единственная страсть — работа. Одно-единственное честолюбивое желание — стать крупным специалистом. Больница, частная практика были в его глазах лишь подготовительными ступенями. Действительную цену он придавал только своей исследовательской работе в области детских болезней. Поэтому с того дня, когда он почувствовал себя богатым, его жизненная энергия, и без того достаточно большая, внезапно оказалась удешевленной. Отныне у него был лишь один замысел: употребить состояние на то, чтобы ускорить свой профессиональный успех.

План его действий быстро созрел. Сначала обеспечить себе материальные возможности, усовершенствовав организацию дела: оборудование лаборатории, создание библиотеки, надлежащий подбор ассистентов. При наличии капитала все становилось возможным, вполне доступным. Можно было даже купить знания и самоотверженное отношение к работе нескольких молодых врачей, не имеющих средств, которым он обеспечил бы зажиточное существование, используя их способности для того, чтобы двинуть вперед свои исследования и предпринять новые... Он тут же вспомнил о приятеле доктора Эке, своем старом товарище Штудлере, прозванном «Халифом», методичность, интеллектуальная добросовестность и работоспособность которого были ему известны с давних пор. Затем выбор его пал на двух молодых людей: Манюэля Руя, студента-медика, уже несколько лет работавшего в больнице под его руководством, и Рене Жуслена, химика, уже успевшего обратить на себя внимание своими замечательными работами о действии сывороток.

В течение нескольких месяцев под руководством предпримчивого архитектора отцовский дом оказался совершенно преображенными. Прежний нижний этаж, соединенный теперь со вторым этажом внутренней лестницей, был превращен в лабораторию, оборудованную всеми новейшими достижениями техники. Ничто не было упущено. Как только возникали затруднения, Антуан инстинктивно дотрагивался до своего кармана, где он носил чековую книжку, и говорил: «Представьте мне смету». Расходы его не пугали. Он очень мало дорожил деньгами, но зато очень дорожил успешным осуществлением своих замыслов. Его нотариус и биржевой маклер приходили в ужас от того пыла, с каким он тратил свой капитал, столь медленно накоплявшийся и разумно расходовавшийся двумя поколениями крупных буржуа. Но это его ничуть не смущало; он давал распоряжение продавать целые пачки ценных бумаг и потешался над робкими предостережениями своих поверенных. Впрочем, у него был свой собственный финансовый план. Все, что должно остаться от его капитала, после того как в нем будет пробита значительная брешь, он решил вложить в иностранные бумаги, а именно — в акции русских золотых приисков, по совету Рюмеля, своего приятеля-дипломата. Таким образом, даже при основательно растроченном капитале он предполагал получать доходы, по его расчетам не мень-

шие, чем те, какие извлекались в свое время г-ном Тибо из нетронутого состояния, хранившегося им в надежных, но малодоходных бумагах.

Тщательное обследование нижнего этажа длилось около получаса. Антуан не щадил своего гостя... Он потащил его даже в прежние подвалы, которые образовали теперь обширный полуподвальный этаж с выбеленными стенами. Жуслен в последние дни устроил здесь своего рода зверинец, довольно-таки «душистый», где крысы, мыши и морские свинки находились в соседстве с аквариумом для лягушек. Антуан был в восторге. Он громко смеялся молодым, раскатистым смехом, который он долго привык сдерживать и который Рашель навсегда выпустила на волю. «Мальчишка из богатой семьи, хвастающийся своими игрушками», — подумал Жак.

Во втором этаже помещался небольшой операционный зал, кабинеты всех трех сотрудников, большая комната, предназначенная для архива, и библиотека.

— Теперь, когда все устроено, можно приступить к работе, — пояснил Антуан серьезным и довольным тоном, в то время как они с братом поднимались на третий этаж. — Тридцать три года... Пора серьезно приниматься за работу, если есть желание оставить после себя что-нибудь на память потомству!.. Ты знаешь, — продолжал он, останавливаясь и обращаясь к Жаку с той несколько нарочитой резкостью, которую он любил выставлять напоказ, в особенности перед младшим братом, — можно сделать гораздо больше, чем предполагаешь! Когда чего-нибудь хочешь, — я подразумеваю что-нибудь осуществимое, конечно, — впрочем, лично я хочу всегда лишь осуществимых вещей... — ну так вот, когда действительно чего-нибудь хочешь!.. — Он не докончил фразы, снисходительно улыбнулся и пошел дальше.

— Какие конкурсные испытания тебе еще осталось пройти? — спросил Жак, чтобы что-нибудь сказать.

— Я прошел ординатуру этой зимой. Остается защита диссертации, потому что ведь необходимо иметь возможность стать профессором со временем!.. Только видишь ли, — продолжал он, — быть хорошим педиатром, как Филип, — это прекрасно, но меня это уже не может удовлетворить: это не то, что позволило бы мне как следует показать себя... Современная медицина должна сказать свое последнее слово в области психики... Так вот я хочу принять в этом участие, понимаешь? Я не хочу, чтобы это последнее слово было сказано без меня. И не случайно при подготовке к конкурсным испытаниям я занимался «отсталостью речи». Психология детского возраста, с моей точки зрения, только начинает развиваться. Это самый удобный момент... Поэтому мне хотелось бы в будущем году пополнить свои материалы о зависимости между режимом дыхания у детей и их мозговой деятельностью... — Он обернулся. Лицо его внезапно стало похоже на маску великого человека, отделенного

своим знанием от толпы непосвященных. Прежде чем вставить ключ в замочную скважину, Антуан устремил на брата задумчивый взгляд. — Сколько еще придется сделать в этом направлении... — произнес он медленно. — Сколько еще в этом придется разбираться...

Жак молчал. Никогда еще эта манера Антуана доказывать, насколько он умеет пользоваться жизнью, не приводила его в такое отчаяние. Перед своим тридцатилетним братом, слишком хорошо оснащенным к плаванию, не сомневающимся в своем выходе в открытое море, он чувствовал с невольной тревогой всю неустойчивость собственного равновесия и больше того — угрозу надвигавшегося на мир шторма.

При таком враждебном настроении осмотр помещения был для Жака особенно тягостным. Антуан разгуливал среди этой роскошной обстановки с довольным видом, точно петух на птичьем дворе. Он заставил убрать несколько перегородок и совершенно изменил назначение комнат. Расположение, хотя и лишенное простоты, получилось довольно удачное. Высокие лакированные ширмы разделяли обе приемные на небольшие кабины, где пациенты оказывались совершенно изолированными: это нововведение архитектора, которым Антуан очень гордился, создавало впечатление декорации. Антуан, впрочем, утверждал, что он лично не придавал особенного значения этой внешней роскоши.

— Но, — пояснил он, — это дает возможность производить отбор клиентуры, — понимаешь? Сократить ее и этим выгадывать время для работы.

Гардеробная представляла собой чудо изобретательности и комфорта. Антуан, снимая халат, в то же время любезно отворял и затворял полированные створки шкафов.

— Здесь все под рукой, по крайней мере не теряешь зря времени, — повторял он.

Он надел домашнюю куртку. Жак обратил внимание на то, что брат его одевался значительно изысканнее, чем раньше. Ничто не бросалось в глаза, но черный жилет был шелковый, ненакрахмаленная рубашка — из тонкого батиста. Эта скромная элегантность была ему очень к лицу. Он казался помолодевшим, более гибким, не потеряв, однако, своей крепости.

«Как он, по-видимому, хорошо чувствует себя среди всей этой роскоши, — подумал Жак. — Тщеславие отца... Аристократическое тщеславие буржуа!.. Ну и порода!.. Честное слово, можно подумать, что они считают признаком превосходства не только свой капитал, но и привычку хорошо жить и любовь к комфорту, к «доброкачественности». Это становится для них личной заслугой! Заслугой, которая дает им общественные права. И они находят вполне законным то «уважение», которым они пользуются! Законной — свою власть, порабощение других! Да, они находят вполне естественным «владеть»! И они также находят вполне естественным, чтобы то, чем они владеют, было неприкосновенным и защищалось законом от пося-

гательства со стороны тех, кто ничего не имеет!.. Они щедры — о да, несомненно! До тех пор, пока эта щедрость является дополнительной роскошью; щедрость, составляющая часть излишних расходов...» И Жак вызывал в своей памяти полную превратностей жизнь своих швейцарских друзей, которые, будучи лишены избытков, делили между собой необходимое и для которых помочь друг другу грозила опасностью лишиться минимума.

Тем не менее перед ванной, которая была просторна, как небольшой бассейн и вся сверкала, он не мог подавить в себе легкого чувства зависти: у него было так мало удобств в его трехфранковой комнатушке... В такую жару ванна показалась бы ему восхитительной.

— Вот здесь мой кабинет, — сказал Антуан, открывая одну из дверей.

Жак вошел в комнату и приблизился к окну.

— Но ведь это прежняя гостиная? Правда?

Действительно, старая гостиная, где в течение тридцати пяти лет, в торжественном полумраке, г-н Тибо восседал в семейном кругу, среди гардин с ламбрекенами и тяжелых портьер, благодаря изобретательности архитектора была превращена в современную комнату, светлую и просторную, строгую без чопорности, которую теперь заливали лучи света, падающего из трех окон, освобожденных от готических цветных стекол.

Антуан ничего не ответил. На письменном столе он заметил письмо Анны и в недоумении, — так как думал, что Анна в Берке, — поспешил его вскрыть. Как только он пробежал записку, брови его нахмурились. Он увидел Анну в ее белом шелковом пеньюаре, приоткрытом на груди, в обычной обстановке квартирки, где происходили их свидания... Машинально взглянув на часы, он сунул письмо в карман. Это было совсем некстати... Тем хуже! Как раз тогда, когда ему хотелось спокойно провести вечер с братом...

— Что? — переспросил он, не дослушав. — Я никогда здесь не работаю... Эта комната служит только для приема больных... Я обычно сижу в своей прежней комнате. Пойдем туда.

В конце коридора появился Леон, шедший к ним навстречу.

— Сударь нашел письмо?

— Да... Принесите нам что-нибудь выпить, пожалуйста. В мой кабинет.

Этот кабинет был единственным местом во всей квартире, где чувствовалось немного жизни. По правде говоря, здесь отражалось скорее возбуждение многообразной и беспорядочной деятельности, чем серьезной работы, но этот беспорядок показался Жаку привлекательным. Стол был завален целым ворохом бумаг, регистрационных карточек, блокнотов, вырезок из газет, так что на нем едва оставалось место для писания; стеллажи были заставлены старыми книгами, журналами с вложенными закладками; здесь же валялись в беспорядке фотографические карточки, пузырьки и фармацевтические препараты.

— Ну, теперь давай сядем, — сказал Антуан, подталкивая Жака к удобному кожаному креслу. Сам Антуан растянулся на диване среди подушек. (Он всегда любил разговаривать лежа. «Стоя или лежа, — заявлял он. — Сидячее положение годится для чиновников.») Он заметил взгляд Жака, которым тот осматривал комнату и который на минуту задержался на статуэтке будды, украшавшей камин.

— Прекрасная вещь, не правда ли? Это произведение одиннадцатого века, из коллекции Ремси.

Он окинул брата ласковым взглядом, внезапно принявшим испытующее выражение.

— Теперь поговорим о тебе. Хочешь папиросу? Что привело тебя во Францию? Бьюсь об заклад, что это репортаж о деле Кайо!<sup>1</sup>

Жак ничего не ответил. Он упорно смотрел на будду, лицо которого сияло безмятежным спокойствием в глубине большого золотого листка лотоса, изогнутого в виде раковины. Затем перевел на брата свой пристальный взгляд, в котором чувствовался ужас. Черты лица Жака приняли столь серьезное выражение, что Антуан почувствовал себя неловко: он тотчас же решил, что какая-то новая трагедия разрушила жизнь брата.

Леон вошел с подносом, который он поставил на столике около дивана.

— Ты мне не ответил, — продолжал Антуан. — Почему ты в Париже? Надолго ли? Что тебе налить? Я по-прежнему сторонник холодного чая...

Нетерпеливым жестом Жак отказался.

— Послушай, Антуан, — пробормотал он после минутного молчания, — неужели вы здесь не имеете никакого представления о том, что готовится?

Антуан, склонившись на краю дивана, держал обеими руками стакан чаю, который он только что налил, и, прежде чем пригубить его, жадно вдыхал запах ароматического напитка, слегка отдающего лимоном и ромом. Жаку была видна лишь верхняя часть лица брата, его рассеянный равнодушный взгляд. (Антуан думал об Анне, которая его ждала; во всяком случае надо было сейчас же предупредить ее по телефону.)

У Жака явилось желание встать и уйти без объяснений.

— А что же именно готовится? — обратился к нему Антуан, не меняя позы. Затем, как будто нехотя, взглянул на брата.

Несколько секунд они молча смотрели друг на друга.

<sup>1</sup> Кайо, Жозеф (1863—1944) — французский политический деятель, сторонник сближения с Германией. В 1913 г., будучи министром финансов, повел через голову официальных дипломатических инстанций переговоры с немецкими финансальными кругами. Это повлекло за собой ожесточенные нападки на Кайо со стороны французских националистических газет. Одним из вдохновителей кампании был Кальмет, редактор «Figaro». В марте 1914 г., явившись на прием к Кальмету, жена Кайо застрелила его из револьвера.

— Война! — произнес Жак глухим голосом.

Издали, из передней, раздался телефонный звонок.

— Неужели? — заметил Антуан, сощурившись от папиросного дыма, евшего ему глаза. — Всё эти проклятые Балканы?

Каждое утро он просматривал газету и знал, довольно смутно, что в данный момент существовала какая-то непонятная «натянутость дипломатических отношений», которая периодически занимала правительственные круги держав Центральной Европы.

Он улыбнулся.

— Следовало бы установить санитарный кордон вокруг этих балканских государств и предоставить им возможность перегрызться между собой раз и навсегда до полного истребления.

Леон приоткрыл дверь.

— Вас просят к телефону, — объявил он таинственным тоном.

«Просят — это значит: звонит Анна», — подумал Антуан. И хотя телефонный аппарат находился под рукой в этой же комнате, он встал и направился в свою официальную приемную.

Жак уставился неподвижным взглядом на дверь, в которую вышел его брат. Затем решительно, будто вынося безапелляционный приговор, он произнес:

— Между ним и мной — непреодолимая пропасть! (Были минуты, когда он испытывал бешеное удовлетворение от сознания, что пропасть действительно «непреодолима».)

В кабинете Антуан поспешил снять трубку.

— Алло, это вы? — услышал он горячее и нежное контральто. Беспрокойство в голосе еще усиливалось резонансом микрофона.

Антуан улыбнулся в пространство.

— Вы очень кстати позвонили, дорогая... Я только что собирался вам телефонировать... Я очень огорчен. Только что приехал Жак, мой брат... Приехал из Женевы... Ну да, совершенно неожиданно... Сегодня вечером, только что... Поэтому, конечно... Откуда вы звоните?

Голос продолжал, ластясь:

— Из нашего гнездышка, Тони... Я тебя жду...

— Ничего не поделаешь, дорогая... Вы меня понимаете, не правда ли?.. Мне придется остаться с ним...

Так как голос больше не отвечал, Антуан позвал:

— Анна!

Голос продолжал молчать.

— Анна! — повторил Антуан.

Стоя перед великолепным письменным столом, склонив голову над трубкой, он переводил рассеянный и беспокойный взгляд со светло-коричневого ковра на нижние полки книжных шкафов, на ножки кресел...

— Да, — прошептал, наконец, голос. Последовала новая пауза. — А что... а что — он долго у тебя останется?

Голос был такой несчастный, что у Антуана в душе все перевернулось.

— Не думаю, — ответил он. — А что?

— Но, Тони, неужели ты думаешь, что у меня хватит сил вернуться домой, не побыв с тобой... хоть немножко?.. Если бы ты видел, как я тебя жду! Все готово, даже закуска...

Он засмеялся. Она тоже заставила себя рассмеяться.

— Ты представляешь себе наш ужин? Маленький столик перед окном... Большая зеленая ваза, полная лесной земляники... твоей любимой... — Помолчав немного, она продолжала быстро, с гортанными нотками в голосе: — Послушай, мой Тони, неужели это правда? Неужели ты не мог бы прийти сейчас, сию минуту, всего на какой-нибудь часок?

— Нет, нет, моя любимая... Невозможно раньше одиннадцати или двенадцати ночи... Будь благоразумна!

— Только на одну минуточку!

— Неужели ты не понимаешь?..

— Нет, я прекрасно понимаю, — прервала она его поспешно грустным тоном. — Ничего не поделаешь... Какая досада! — Опять молчание и затем легкое покашливание. — Ну так знаешь что? Я буду ждать, — продолжала она с невольным вздохом, в котором Антуан почувствовал всю горечь согласия.

— До вечера, дорогая!

— Да... послушай...

— Ну что?

— Нет, ничего...

— До скорого свидания!

— До скорого свидания, Тони!

Антуан прислушивался еще в течение нескольких секунд. По ту сторону телефона Анна тоже напрягала слух, не решаясь повесить трубку. Тогда, быстро оглянувшись вокруг, Антуан прижал губы к аппарату, подражая звуку поцелуя. Затем, улыбаясь, повесил трубку.

## XV

Когда Антуан вернулся в комнату, Жак, не покидавший своего кресла, с удивлением заметил в лице брата новое выражение — следы переживаний, сокровенный, любовный характер которых он смутно угадывал. Антуан положительно преобразился.

— Прости, пожалуйста... С этим телефоном нет ни минуты покоя...

Антуан подошел к низенькому столику, на котором оставил свой стакан, отпил из него несколько глотков, затем снова растянулся на диване.

— О чём это мы говорили? А, да! Ты говоришь: война...

У Антуана никогда не было времени интересоваться политикой; да не было и желания. Дисциплина научной работы заставила его

свыкнуться с мыслью, что в общественной жизни, как и в жизни органической, все является проблемой, и проблемой нелегкой, что во всех областях познавание истины требует усидчивости, трудолюбия и знаний. Политику он рассматривал как поле действия, чужое его интересам. К этой вполне рассудочной сдержанности присоединялось естественное отвращение. Слишком много скандальных разоблачений на всем протяжении мировой истории утвердили в нем мнение, что известная доля безнравственности присуща всякому проявлению власти, или по меньшей мере — что та сугубая порядочность, которой он, как врач, придавал первостепенное значение, не считалась обязательной в области политики, где она, быть может, и не являлась столь необходимой. Поэтому Антуан следил за ходом политических событий довольно равнодушно, вкладывая в это равнодушие долю недоверия и интересуясь этими вопросами так же хладнокровно, как, скажем, вопросом правильной работы почтового ведомства или ведомства путей сообщения. И если во время чисто мужских разговоров, например в кабинете его приятеля Рюмеля, Антуану, как всякому другому, случалось высказать свое мнение по поводу образа действия одного из министров у власти, он это делал всегда с определенной, прозаической, умышленно ограниченной точки зрения — наподобие того, как если бы пассажир в автобусе, желая выразить одобрение или порицание шоферу, стал интересоваться исключительно тем, как тот действует рулем.

Но поскольку Жак, видимо, к этому стремился, Антуан ничего не имел против того, чтобы начать разговор с общих фраз по поводу политического положения в Европе. И, желая нарушить упорное молчание Жака, он искренним тоном продолжал:

— Ты действительно считаешь, что на Балканах назревает новая война?

Жак пристально посмотрел на брата:

— Неужели же вы здесь, в Париже, не имеете ни малейшего представления о том, что творится последние три недели? Не видите надвигающихся туч?.. Речь идет не о малой войне на Балканах — на сей раз вся Европа будет втянута в войну. А вы продолжаете жить как ни в чем не бывало!

— Ну, уж ты скажешь!.. — скептически возразил Антуан.

И почему-то вдруг подумал о жандарме, который приходил к нему как-то зимой, утром, в тот самый момент, когда Антуан собирался идти к себе в больницу; пришел он с тем, чтобы изменить мобилизационное предписание в его военном билете. Антуан вспомнил теперь, что он даже не полюбопытствовал посмотреть, каково было место его нового назначения. После ухода жандарма он бросил билет в первый попавшийся ящик, — он даже хорошенко не помнил куда.

— Ты как будто все еще не понимаешь, Антуан... Мы подошли к такому моменту, когда катастрофа может оказаться неизбежной, если все будут вести себя как ты, предоставив событиям идти своим ходом. Уже сейчас, в данную минуту, достаточно малейшего

пустяка, какого-нибудь нелепого выстрела на австро-сербской границе, чтобы вызвать войну...

Антуан молчал. Он был слегка ошеломлен. Кровь бросилась ему в голову. Слова Жака внезапно затронули в нем некую сокровенную точку, которая до сих пор не давала себя особенно чувствовать и которую поэтому он не мог нашутать. Антуан, как и многие в это памятное лето 1914 года, смутно ощущал себя охваченным всеобщей заразительной лихорадкой, — может быть, космического характера? — которая носилась в воздухе. И в течение нескольких секунд он испытал весь ужас тяжелого предчувствия, будучи не в силах противиться ему. Вскоре, однако, он преодолел это нелепое недомование и, сопротивляясь до конца, как обычно, стал искать успокоения в том, чтобы возражать брату, хотя и в несколько примирительном тоне.

— Конечно, я в этих делах гораздо менее осведомлен, чем ты, — сказал он. — Однако ты не можешь не признать вместе со мной, что в цивилизованных странах, подобных странам Западной Европы, возможность всеобщего конфликта почти невероятна. Во всяком случае, прежде чем дело дойдет до этого, потребуется очень резкий поворот общественного мнения!.. А на это нужно время... месяцы, может быть, годы... а там возникнут новые проблемы, которые отнимут у сегодняшних проблем всю остроту... — Антуан улыбнулся, успокоенный своими собственными рассуждениями. — Знаешь ли, ведь эти угрозы совсем не так уж новы. Помни, еще в Руане, двенадцать лет назад, когда я отбывал воинскую повинность... Никогда не было недостатка в предсказателях всяческих несчастий, как только речь заходила о войне или о революции. И самое забавное то, что симптомы, на которых эти пессимисты основывают свои прорицания, обычно бывают вполне достоверны и, следовательно, вызывают тревогу. Только вот в чем дело: по причинам, которые либо вовсе не принимаются во внимание, либо просто недооцениваются, обстоятельства складываются иначе, чем это предусматривалось, — и все само собой устраивается... А жизнь течет понемножечку... И всеобщий мир не нарушается!..

Жак, упрямо нагнув голову с упавшей на лоб прядью волос, слушал брата с явным нетерпением.

— На этот раз, Антуан, дело чрезвычайно серьезно...

— Что именно? Эта перебранка между Австрией и Сербией?

— Эта перебранка — лишь повод, необходимый — может быть спровоцированный — инцидент. Но следует иметь в виду все те обстоятельства, которые уже в течение многих лет вызывают глухое брожение в умах за кулисами вооруженной до зубов Европы. Капиталистическое общество, которое, как ты, по-видимому, считаешь, стольочно бросило якорь у мирных берегов, на самом деле плывет по течению, раздираемое когтями жестокого, тайного антагонизма.

— А разве не всегда так было?

— Нет! Или, впрочем, да... может быть... но...

— Я прекрасно знаю, — прервал его Антуан, — что существует этот проклятый прусский милитаризм, побуждающий всю Европу вооружаться с ног до головы.

— Не только прусский! — воскликнул Жак. — Каждая нация имеет свой собственный милитаризм, оправданием которого служит ссылка на затронутые интересы.

Антуан покачал головой.

— Интересы, да, конечно, — сказал он. — Но борьба интересов, как бы ни была она велика, может продолжаться до бесконечности, не приводя к войне! Я не сомневаюсь в возможности сохранения мира, но вместе с тем считаю, что борьба является необходимым условием жизни. К счастью, у народов существуют теперь иные формы борьбы, чем вооруженное взаимоистребление. Такие приемы годны для балканских государств!.. Все правительства, — я подразумеваю правительства великих держав, — даже в странах, имеющих наибольший военный бюджет, явно сходятся в своих мнениях на том, чтобы считать войну наихудшим выходом из положения. Я только повторяю то, что говорят в своих речах ответственные государственные деятели.

— Само собой разумеется! На словах, перед своим народом, все они проповедуют мир! Но большинство из них все еще твердо убеждено в том, что война является политической необходимостью, время от времени неизбежной, из которой, — если на то представится случай, — следует извлечь наибольшую пользу, наибольшую выгоду. Потому что всегда и везде в основе всех бед кроется одна и та же причина — выгода!

Антуан задумался. Он только было собрался пустить в ход новые возражения, как брат уже продолжал:

— Видишь ли, в данный момент Европой верховодят с полдюжины зловещих «великих патриотов», которые под пагубным влиянием военных кругов наперебой толкают свои государства к войне. Вот этого-то и не следует забывать!.. Одни из них — наиболее циничные — прекрасно видят, к чему это поведет; они хотят войны и подготовляют ее, как обычно подготавливаются преступления, потому что эти господа уверены в том, что в известный момент обстоятельства сложатся в их пользу. Очень ярко выраженным представителем этого типа людей является, скажем, Берхтольд в Австрии. А также Извольский, или, скажем, Сазонов в Петербурге...<sup>1</sup> Другие не то чтобы хотели войны, — почти все опасаются ее, — но безропотно принимают войну, потому что верят в ее неизбежность. А такая уверенность — уверенность в неизбежности войны — является самой опасной, которая только может укорениться в мозгу государственного деятеля. И эти люди, вместо того чтобы всеми силами стараться избежать войны, думают лишь

<sup>1</sup> Извольский А. П. (1856—1919) — русский посол во Франции в 1910—1917 гг.; Сазонов С. Д. (1861—1927) — министр иностранных дел России в 1910—1916 гг.

об одном: на всякий случай возможно скорее увеличить свои шансы на победу. И всю свою деятельность, которую они могли бы посвятить укреплению мира, они направляют, как и первые, на подготовление войны. Таковы, по всем вероятностям, кайзер и его министры. Возможно, что примером может служить также и английское правительство... И, несомненно, во Франции это — Пуанкаре!<sup>1</sup>

Антуан возмущенно пожал плечами.

— Ты говоришь — Берхольд, Сазонов... Я ничего не могу тебе возразить, их имена мне почти незнакомы... Но Пуанкаре... Ты с ума сошел!.. Во Франции, за исключением нескольких полоумных вроде Дерулема,<sup>2</sup> кто станет теперь мечтать о военной славе или о реванше? Все социальные слои Франции всем своим существом настроены исключительно пацифистски. И если бы, паче чаяния, мы оказались вовлечеными в общеевропейскую передрягу, одно можно сказать с уверенностью: никто не посмеет предъявить Франции обвинение в том, что она к этому стремилась, или приписать ей хотя бы малейшую долю ответственности за случившееся.

Жак вскочил как ужаленный.

— Возможно ли? И ты до этого дошел? Просто невероятно!..

Антуан окинул брата тем уверенным и проницательным взглядом, каким он обычно смотрел на своих больных (и который всегда внушал им огромное доверие — как будто острота взгляда является признаком безошибочного диагноза).

Жак, стоя перед Антуаном, пристально смотрел на него.

— Твоя наивность просто приводит меня в недоумение! Тебе следовало бы просмотреть снова всю историю Французской Республики!.. Ты считаешь, что можно вполне серьезно утверждать, будто политика Франции за последние сорок лет является политикой пацифистски настроенной нации? И будто она действительно имеет право протестовать против злоупотреблений со стороны других стран? Ты считаешь, что наша ненасытность в колониальных вопросах, в частности наши виды на Африку, не содействуют в значительной мере развитию аппетита у других? Не дают другим постыдного примера аннексий?..

— Не горячись! — остановил его Антуан. — Наше проникновение в Марокко, насколько мне известно, не носило противозаконного характера. Я прекрасно помню конференцию в Алжезирасе.<sup>3</sup> Европейские державы мандатом по всей форме уполномочили нас — нас совместно с Испанией — предпринять усмирение Марокко.

— Этот мандат был вырван силой. И державы, преподнесшие его нам, без сомнения надеялись в свою очередь воспользоваться

<sup>1</sup> Пуанкаре, Ремон (1860—1934) — президент Франции в 1913—1920 гг., один из главных зачинщиков первой мировой войны, за что получил прозвище «Пуанкаре-война».

<sup>2</sup> Дерулема, Поль (1846—1914) — французский поэт и реакционный политический деятель, крайний националист и реваншист.

<sup>3</sup> Состоялась в 1906 г.

этим прецедентом. Как ты думаешь, например: рискнула бы Италия наброситься на Триполитанию или Австрия на Боснию, не будь нашей марокканской экспедиции?

Антуан скрчил недоверчивую гримасу; он не был в достаточной мере осведомлен в этом вопросе, чтобы возражать брату.

Впрочем, последний и не ждал возражений.

— А наши союзы? — продолжал он. — Неужели ты думаешь, что Франция заключила военный договор с Россией, чтобы доказать свои миролюбивые намерения? Вполне ясно, что если царская Россия заключила союз с республиканской Францией, то сделала это лишь в надежде, что в нужный момент она сможет вовлечь нас в свою игру против Австрии, против Германии! Как ты полагаешь: неужели же Делькассе,<sup>1</sup> агент английской дипломатии, способствовал укреплению мира, работая над окружением Германии? В результате — брожение умов, быстрое развитие и усиление моши пресловутого прусского милитаризма, о котором ты говоришь. В результате — во всей Европе рост военных приготовлений, фортификационных работ, военного кораблестроения, строительства стратегических путей сообщения и так далее... Во Франции — десять миллиардов военного бюджета за последние четыре года! В Германии — восемь миллиардов франков. В России — шестьсот миллионов займа у Франции на создание железных дорог, которые позволят ей перебросить свою армию к прусской границе.

— «Позволят»! — пробурчал Антуан. — Когда-нибудь может быть... В далеком будущем...

Жак не дал ему продолжать.

— Весь континент охвачен лихорадочной гонкой вооружений; происходит разорение стран, вынужденных тратить на военный бюджет те миллиарды, которые должны были бы идти на улучшение условий жизни общества... Бешеная скачка, прыжок прямо в пропасть! И за нее мы, французы, должны нести свою долю ответственности. А мы пошли еще дальше! Неужели же Франция с целью убедить мир в своих пацифистских намерениях на нашла ничего лучшего, как ввести в Елисейский дворец патриотически настроенного лотарингца,<sup>2</sup> которого смутьяны-националисты поспешили сделать символом военщины и избрание которого подняло дух фанатиков реванша, оживило в Англии надежды промышленников, радующихся возможности сломить немецкую конкуренцию, и позволило в России разыграться аппетитам империалистов, все еще мечтающих о захвате Константинополя?

Жак был до такой степени бессилен совладать с охватившим его волнением, что Антуан расхохотался. Он твердо решил не поддаваться и сохранить свое бодрое настроение. Ему хотелось, чтобы

<sup>1</sup> Делькассе, Теофиль (1852—1923) — французский дипломат, в 1898—1905 гг. министр иностранных дел, в 1913—1914 гг. посол в Петербурге, ярый сторонник франко-английского сближения.

<sup>2</sup> Имеется в виду Ремон Пуанкаре, уроженец г. Бар-ле-Дюк в департаменте Мезы (Лотарингия).

этот разговор остался в плане спекулятивных рассуждений, в плане некоей шахматной игры, где пешками являлись бы политические гипотезы.

Он с усмешкой указал Жаку на кресло, с которого тот в волнении вскочил:

— Сядь на место...

Жак бросил на него недобрый взгляд. Крепко стиснув глубоко засунутые в карманы кулаки, он опустился в кресло.

Из Женевы, — продолжал он после минутного молчания, — я хочу сказать — из той интернациональной среды, в которой ящаюсь, мы видим, как в перспективе, лишь общие линии европейской политики: оттенки слаживаются. Так вот, издали сразу видно, что Франция катится в объятия войны! И в этом процессе, что там ни говори, избрание Пуанкаре президентом республики является знаменательным моментом.

Антуан продолжал улыбаться.

— Опять Пуанкаре! — заметил он иронически. — Конечно, я знаю его лишь понаслышке... В палате депутатов, где люди очень требовательны, он пользуется всеобщим уважением... В министерстве иностранных дел — также: Рюмель, который служил в его канцелярии, отзывает о нем как о благородном человеке, добросовестном, рачительном министре, честном деятеле, считает его сторонником порядка, противником всяких авантюри. Мне положительно кажется нелепостью предположение, что такой человек...

— Постой! Постой! — прервал его Жак. Он вытащил руку из кармана и лихорадочным движением несколько раз отвел прядь волос, падавшую ему на лоб. Он явно делал над собой усилие, чтобы сдерживаться. Потупившись, он несколько секунд сидел с закрытыми глазами, затем вновь открыл их. — Мне на многое хотелось бы возразить тебе, и я просто не знаю, с чего начать, — признался он. — Пуанкаре... Надо же делать различие между человеком и его политикой. Но для того чтобы понять его политику, нужно, прежде раскусить человека... Всего человека в целом... Не забывая о том, что за этим воинственно настроенным крикуном кроется мускулистый приземистый офицер стрелкового полка, который всегда чувствовал пристрастие к военному делу. «Сторонник порядка»... «Благородный человек»... Допускаю даже, что он добр. Возможно. Он в большинстве своих писем подписывается «преданный вам...» — и это не только условность: он действительно любит оказывать услуги, он всегда готов выступать против несправедливости и брать на себя защиту обиженных.

— Ну что ж, все это крайне симпатично! — заявил Антуан.

— Постой же! — прервал его Жак с нетерпением. — Я имел возможность довольно близко ознакомиться с личностью Пуанкаре в связи с одной статьей, появившейся в «Fanal». Прежде всего он гордец, который ни перед чем не склоняется, который ни в чем не уступает... Умен? Безусловно! Ум трезвый, логичный, без полета, без гениальности... Невероятное упорство!.. Соображает быстро, но

недальновиден; память исключительная, но главным образом на мелочи. Все это характеризует образцового адвоката, каким он, в сущности, и остался: он более ловко владеет словами, чем управляет мыслями.

Антуан возразил:

— Если он не представляет собой ничего особенного, то чем же объясняются его исключительные политические успехи?

— Его трудоспособностью, которая действительно исключительна. Кроме того, компетентностью в области финансов, что редко встречается в парламенте.

— А также, вероятно, его безукоризненной честностью. В правительственные кругах это всегда удивляет и импонирует...

— Что же касается его успехов, — продолжал Жак, — то можно предполагать, что они оказались совершенно неожиданными для него самого и что они мало-помалу возбудили до крайности его честолюбивые замыслы. Ибо он стал честолюбив. И по многим признакам чувствуется, что он не отказался бы сыграть в данный момент историческую роль. Вернее — он не отказался бы стать тем, кто заставит Францию сыграть историческую роль; не отказался бы придать Франции новый престиж, который был бы тесно связан с его именем... Но самым опасным является его концепция национальной чести — тот религиозный смысл, который он влагает в понятие патриотизма. Впрочем, это вполне объясняется его лотарингским происхождением, — молодостью, проведенной на территории, так недавно отторгнутой от нас. Он вышел из той местности и принадлежит к поколению, которое в течение уже многих лет живет надеждой на реванш, мечтая о возвращении потерянных провинций...

— С этим я вполне согласен, — заявил Антуан. — Но можно ли отсюда делать заключение, что он стремился к власти для того, чтобы начать войну?..

— Имей терпение, — возразил Жак. — Дай мне кончить. Несомненно, если бы два с половиной года назад, когда он принял портфель председателя совета министров, или, скажем, полтора года тому назад, когда он был избран президентом республики, кто-нибудь явился к нему и сказал: «Вы хотите вовлечь Францию в войну», он совершенно искренне возмутился бы до глубины души. А между тем вспомни-ка, при каких условиях в январе тысяча девятьсот двадцатого года он стал главой правительства! Кого он сменил? Кайо... Кайо, который только что перед тем помог Франции избежнуть войны с Германией и даже поставил первые вехи прочного франко-германского сближения. Именно за эту политику мира он и был свергнут националистами. И если Пуанкаре удалось стать на его место, то я не скажу — потому, что он хотел начать войну, но все же потому, что от него можно было ожидать, что по отношению к Германии он будет проводить национальную политику, то есть политику, диаметрально противоположную слишком примирительной политике Кайо. Доказательством этого служит

тот факт, что Пуанкаре немедленно «воскресил из мертвых» старика Делькассе, сторонника «окружения» Германии, с тем чтобы назначить его министром иностранных дел! И когда, год спустя, он сделался президентом республики, какому большинству он был обязан своим избранием? Капиталистической буржуазии, которая, как некогда Жозеф де Местр,<sup>1</sup> считает, что война является вполне естественной биологической потребностью, прискорбной, но периодически необходимой... Эти люди, без сомнения, не шевельнули бы пальцем, чтобы спровоцировать реванш, и все же гипотеза войны их подзадоривает; при случае они согласились бы пойти и на этот риск. Мы с тобой в свое время имели возможность достаточно близко присмотреться к этим ископаемым представителям реакционной буржуазии на званых обедах у отца! Не говоря о том, что у этих старых французских партий правого направления, более или менее примирившихся с республикой, существует затаенная мысль, что успешная война дала бы победоносному правительству диктаторские полномочия, благодаря которым удалось бы в корне пресечь подъем социалистического движения и даже очистить страну от республиканской демагогии. Они лелеют мечту о милитаризованной, дисциплинированной Франции, о Франции торжествующей, сверхвооруженной, опирающейся на свои обширные колониальные владения, о Франции, перед мощью которой присмиреет весь мир... Прекрасная мечта для патриотов!

— С тех пор как Пуанкаре находится у власти, — рискнул вставить слово Антуан, — он, однако, не переставал заявлять о своих пацифистских намерениях.

— Ах! — заметил Жак. — Я, пожалуй, готов признать, что он вполне искренен, хотя известные цели, на которые направлена мирная экспансия, становятся быстро причиной войны, если не удается достичь их дипломатическим путем. Но не следует забывать одно обстоятельство, которое может иметь неожиданные последствия: всем известно, что уже в течение многих лет Пуанкаре ослеплен своей уверенностью в двух вещах. Во-первых, что конфликт между Англией и Германией неизбежен...

— Но ты сам как будто только что утверждал то же самое...

— Нет. Я не говорил: неизбежен. Я сказал: угрожает. Во-вторых, что Германия, в особенности после Агадира, имеет намерение напасть на Францию и неустанно к этому готовится. Вот две его навязчивые идеи, и он от них не отступится. А так как, с другой стороны, он убежден в том, что только сила, внушающая страх, может обеспечить мир, то ты представляешь себе, какие выводы он из этого делает: если Франция имеет еще кое-какие шансы предотвратить нападение Германии, то только при условии, что она будет укреплять свою мощь. Следовательно, необходимо вооружаться до крайности... Следовательно, необходимо стать несговорчивым,

<sup>1</sup> Жозеф де Местр (1753—1821) — реакционнейший французский философ и публицист.

агрессивным... Как только это поймешь — все становится вполне ясным; вся деятельность Пуанкаре, начиная с тысяча девятьсот двенадцатого года — как внутри страны, так и за пределами ее — оказывается совершенно логичной!

Антуан, растянувшись на подушках, мирно покуривал свою папиросу. Он удивлялся волнению брата, но слушал его очень внимательно. Впрочем, голос Жака постепенно успокаивался, как бурный поток, возвращающийся в свое ложе. В этой области, в которой он прекрасно разбирался и которая как бы давала ему временное превосходство над братом, Жак чувствовал себя вполне уверенно.

— Да что я, точно лекцию тебе читаю! Смешно! — сказал он вдруг, пытаясь улыбнуться.

Антуан ласково взглянул на него.

— Да нет же, продолжай...

— Так вот, я говорил тебе: как внутри страны, так и за пределами ее. Начнем, пожалуй, с внешней политики. Она провокационно-агрессивна — и в этом есть преднамеренность! Пример: наши отношения с Россией. Германия морчится по поводу франко-русских соглашений? Ну и пусть себе! В той войне, которой опасается Пуанкаре, помочь России необходима нам, чтобы оказать отпор германскому нашествию; поэтому, не щадя чувств Германии, мы открыто укрепляем франко-русский союз! Таким образом мы подвергаемся страшному риску, потому что играем на руку панславизму, воинственные намерения которого в отношении Австрии и Германии ни для кого не являются тайной. А Пуанкаре и в ус не дует! Он, пожалуй, предпочитает подвергнуться риску быть втянутым в авантюру, чем опасности постепенного ослабления уз, связывающих Францию с ее единственной союзницей. И для проведения этой политики он нашел услугливых помощников: Сазонова, русского министра иностранных дел, и Извольского, царского посла в Париже. Послом в Петербург он отправил своего приятеля Делькассе, который с давних пор держится одних с ним взглядов. Директивы: постоянно подогревать воинственные замыслы России и тесно сблизиться с нею для проведения политики силы. Ничто не было упущено из виду. В Женеве у нас есть вполне надежный источник сведений. Со времени своей первой поездки в Петербург, два года назад, в качестве председателя совета министров, Пуанкаре не переставал поддерживать завоевательные планы России. А недавняя его поездка<sup>1</sup> — поездка, которой надвигающиеся события могут придать колоссальное значение, — послужит ему, вероятно, для того, чтобы убедиться на месте, в контакте с главными зачинщиками, насколько все подготовлено и можно ли рассчитывать, что соглашение вступит в действие по первому сигналу!

Антуан приподнялся на локте:

— В сущности, все это лишь предположения, а не факты!

<sup>1</sup> В июле 1914 г. Пуанкаре на броненосце «Республик» прибыл в Петербург.

— Нет, ты неправ; у нас хорошо проверенные сведения... Будет ли Пуанкаре одурчен русскими, или он заодно с ними — это несущественно. Факт тот, что русская политика Пуанкаре может смутить кого угодно. А между тем она вполне логична! Это политика человека, который твердо убежден в возможности войны в Лотарингии и которому необходимо, чтобы русские войска заняли Восточную Пруссию. Ведь надо понимать роль, которую Извольский играет в Париже — если не с одобрения, если без поддержки, то во всяком случае с согласия Пуанкаре! Имеешь ли ты понятие, какие суммы из секретного русского фонда предоставляются нашей прессе для военной пропаганды во Франции? Имеешь ли ты понятие о том, что эти миллионы рублей, служащих для подкупа французского общественного мнения, расходуются не только с циничного согласия французского правительства, но при его фактическом ежедневном участии?

— Так ли это? — скептически заметил Антуан.

— Слушай дальше: известно ли тебе, кому распределяются русские субсидии между крупнейшими французскими газетами? Нашим собственным министерством финансов!.. Мы, живущие в Женеве, имеем тому веские доказательства. Кстати сказать, такой человек, как Госмер, — австриец, хорошо осведомленный в европейских делах, — постоянно повторяет, что со времени последних балканских войн пресса в западноевропейских странах почти всецело содержитя за счет держав, заинтересованных в войне. Вот почему общественное мнение в этих странах держится в полном неведении преступных противоречий, которые за последние два года раздирают страны Центральной Европы и балканские государства и делают войну неизбежной в глазах тех, кто умеет видеть!.. Но оставим в покое прессу... Это еще не все... Посмотрим дальше... Тема «Пуанкаре» неисчерпаема! Я не могу тебе объяснить все сразу, через пятое в десятое... Перейдем к внутренней политике. Она идет параллельно внешней. Это вполне логично. Прежде всего — усиленное вооружение к великому благу металлургических концернов, закулисное могущество которых огромно. Далее — трехлетний срок службы.<sup>1</sup> Следил ли ты за прениями в палате? За выступлениями Жореса?.. Затем — воздействие на умы. Ты говоришь: «Никто во Франции теперь уже не мечтает о военной славе...» Неужели ты не замечаешь того патриотического, воинственного возбуждения, которое за последние месяцы охватило все французское общество и главным образом молодежь. Здесь опять-таки я ничего не преувеличиваю... И это также дело рук Пуанкаре! У него свой план: он знает, что в день всеобщей мобилизации правительству нужно будет опереться на раскаленное добела общественное мнение, которое не только одобрит его действия и последует за ним, но еще будет превозносить его и толкать вперед... Франция тысяча девятисотого года, Франция после дела Дрейфуса была слишком миролюбиво настро-

<sup>1</sup> В 1913 г. Пуанкаре провел закон о трехлетнем сроке военной службы.

ена. Армия была дискредитирована, ею никто не интересовался. Безопасность вошла в привычку. Необходимо было пробудить национальную тревогу. Молодежь, в частности буржуазная молодежь, представляла собой необычайно благодатную почву для шовинистской пропаганды. Результаты не заставили себя ждать!

— Молодые националисты действительно существуют, я этого не отрицаю, — прервал его Антуан, который имел в виду своего сотрудника, Манюэля Руа. — Но ведь их незначительное меньшинство.

— Это меньшинство увеличивается с каждым днем! Очень беспокойное меньшинство, которое только и мечтает о том, как бы поступить в армию, носить знаки различия, потрясать знаменами, участвовать в военных парадах. Сейчас по малейшему поводу устраиваются манифестации перед статуей Жанны д'Арк или перед статуей Страсбурга.<sup>1</sup> А ведь это так заразительно! Человек толпы — мелкий чиновник, торговец — не может до бесконечности относиться безразлично к этим зреющим, к этому фанатическому исступлению... Тем более что пресса, руководимая правительством, обрабатывает умы в том же направлении. Французскому народу исподволь внушается, что он находится под угрозой, что его безопасность зависит от силы его кулаков, что он должен уметь показать свою мощь, примириться с интенсивной военной подготовкой. В стране умышленно создается то, что вы, медики, называете «психозом»: психоз войны... А когда в народе разбужено это всеобщее беспокойство, лихорадочное возбуждение и страх, его без всяких усилий можно толкнуть на любое безумие!..

Вот тебе полный отчет. Я не говорю, что в один из ближайших дней Пуанкаре объявит войну Германии. Нет. Пуанкаре не Берхтельд. Но чтобы сохранить мир, нужно считать войну возможной... Пуанкаре, — исходя из той точки зрения, что конфликт неизбежен, — задумал и осуществил политику, которая не только не устраивает возможность войны, а увеличивает ее! Наше вооружение, осуществляющееся наряду с русской подготовкой, как и следовало ожидать, устрашило Берлин. Немецкая военная партия поспешила воспользоваться случаем, чтобы ускорить свои приготовления. Укрепление франко-русского союза вызвало в Германии безотчетный страх перед «окружением» — настолько сильный, что немецкие генералы поспешили открыто заявить о том, что из создавшегося положения есть только один выход — война; некоторые утверждают даже, что ее необходимо начать как превентивную, чтобы опередить противника. Все это в значительной мере дело рук Пуанкаре! В результате дьявольской политики Извольского — Пуанкаре Германия действительно стала такой, какой Пуанкаре ее себе представлял: агрессивной, хищной нацией... Мы вертимся в заколдованным кругу. И если через три месяца Франция окажется вовлеченою

<sup>1</sup> Аллегорическое изображение города Страсбурга, стоящее на площади Согласия в Париже.

в европейскую войну — войну, которую Россия терпеливо вынашивала, которую Германия, может быть, легкомысленно «допускала», чтобы воспользоваться благоприятными обстоятельствами, — то Пуанкаре сможет воскликнуть с торжеством: «Вот видите, под какой угрозой мы находились! Видите, как я был прав, стремясь иметь возможно более мощную армию и возможно более надежных союзников!», не подозревая того, что благодаря своим психологическим ошибкам, своим русским симпатиям и своей политике пессимистически настроенного пророка он является, вопреки всякой вероятности, одним из виновников этой войны!

Антуан решил дать своему брату выговориться; но в глубине души он находил его выпады довольно-таки непоследовательными. Он улавливал в них некоторые противоречия. Его логический и трезвый ум восставал против аргументации, которая в своей совокупности казалась ему слабой и бессистемной. Антуан был близок к тому, чтобы усомниться в компетентности своего младшего брата, взгляды которого казались ему, как всегда, поверхностными, иногда даже ребяческими. Благородство и некомпетентность... Если действительно в настоящее время над горизонтом нависли неопределенные угрозы, то Пуанкаре, преобладающей чертой которого, даже на президентском посту, оставалась активность, прекрасно сумеет вовремя рассеять надвигающиеся тучи. Ему вполне можно было довериться: он уже проявил задатки крупного политического деятеля. Рюмель преклонялся перед ним. Было бы нелепостью предполагать, что здравомыслящий человек, подобный Пуанкаре, может желать реванша; и еще большей нелепостью было бы думать, что, не желая войны, он старался сделать ее неизбежной только потому, что считал ее возможной или вероятной. Детские фантазии! Достаточно самого элементарного здравого смысла, чтобы уяснить себе, что Пуанкаре, а вместе с ним и все государственные деятели Франции должны, напротив, всеми силами стремиться к тому, чтобы не дать втянуть страну в ненужную ей авантюру. По целому ряду причин. И прежде всего потому, что Пуанкаре лучше чем кто-либо знает, что ни Россия, ни Франция на сегодняшний день еще не готовы к тому, чтобы с успехом сыграть свою партию. Рюмель говорил об этом еще совсем недавно. Впрочем, Жак ведь сам молчаливо признал неудовлетворительным состояние транспорта и стратегических путей сообщения в России, поскольку для устранения этого недостатка Россия сделала шестисотмиллионный заем. Что касается Франции, то закон о трехлетней военной службе, признанный необходимым для доведения численности армии до уровня германской, был только что принят и не дал еще результатов... Однако Антуан не располагал достаточно точными данными, чтобы окончательно опровергнуть все утверждения брата, как ему того хотелось бы. Поэтому он счел за лучшее не возражать. Сами события рано или поздно докажут Жаку всю его неправоту — ему и всем его швей-

царским друзьям, этим лжепророкам, под влиянием которых он находился.

Жак сидел молча. У него внезапно сделался очень утомленный вид. Он вынул носовой платок, обтер себе лицо, шею, затылок.

Он чувствовал, что его пламенная импровизация нисколько не убедила брата. И ему было понятно почему. Он отдавал себе ясный отчет в том, что беспорядочно, без всякой последовательности, глупо пускал в ход аргументы совершенно различного порядка — политические, пацифистские, революционные, — представлявшие собой в большинстве случаев смутные отголоски словоизречений «говорильни». В эту минуту он мучительно ощущал свою некомпетентность, которую Антуан молча ставил ему в вину.

В течение недели, проведенной им в Париже, он потратил время главным образом на то, чтобы собрать сведения о настроениях французских социалистов, и больше интересовался тем, как они реагируют на угрозу войны, чем проблемой ответственности европейских держав.

Его беспокойный взгляд блуждал по комнате, перебегал с предмета на предмет, ни на чем не задерживаясь. Наконец Жак остановил его на лице брата, который, закинув руки за голову и глядя в потолок, лежал совершенно неподвижно.

— По правде говоря, — продолжал Жак срывающимся голосом, — я сам не знаю, почему я... Конечно, многое можно было бы сказать на эту тему — и сказать лучше, чем могу это сделать я... Допустить даже, что я несправедлив к Пуанкаре... что я преувеличиваю долю ответственности Франции... Это все несущественно! А важно то, что война надвигается! И необходимо во что бы то ни стало предотвратить опасность!

Антуан улыбнулся недоверчиво, что привело Жака в бешенство.

— Вы, все вы... преступно беспечны в своем спокойствии!.. — воскликнул Жак. — Когда буржуазные классы решатся, наконец, открыть глаза на вещи и увидеть их в настоящем свете, то, вероятно, будет уже поздно... События назревают. Возьми хотя бы сегодняшнюю газету — «*Matin*» от девятнадцатого июля. В ней пишут о процессе Кайо. В ней пишут о летних каникулах, о морских купаниях, о рыночных ценах. Но в ней также имеется передовица, не случайно помещенная здесь, которая начинается словами, насыщенными динамитом: «*Если вспыхнет война...*» Вот до чего мы дошли!.. Запад — точно пороховой погреб. Стоит где-нибудь вспыхнуть искре! А люди, подобные тебе, говорят еще: «*Война?..*» таким тоном, каким ты только что это сказал... Можно подумать, что в ваших умах это слово звучит так же просто, как и на ваших устах... Вы говорите «война», и никто из вас не думает, что это значит «бояня», миллионы невинных жертв... Ах, если бы только ваш ум на миг вышел из оцепенения, вы все поднялись бы как один — и ты первый! — для того, чтобы что-то предпринять, чтобы бороться, пока еще есть время!

— Нет! — твердо ответил Антуан. В течение нескольких минут он хранил молчание. — Нет! — еще раз повторил он, не поворачивая головы. — Я — никогда!

Как ни был он, помимо своей воли, смущен вопросами, затронутыми его братом, Антуан ни за что не хотел позволить беспокойству овладеть его душой, разрушить упроченное существование, которое он себе создал и на котором было основано его жизненное равновесие.

Он слегка выпрямился и скрестил руки.

— Нет, нет и нет! — твердил он с упрямой улыбкой. — Я не из той породы людей, которые поднимаются для того, чтобы принять участие в мировых событиях... У меня есть свое собственное, вполне спределенное дело. Я человек такого склада, который завтра в восемь часов утра должен быть на месте, у себя в больнице, который должен помнить, что у номера четвертого — флегмона, а у номера девятого — перитонит... Ежедневно мне приходится иметь дело с десятками несчастных малышей, которых необходимо спасти... Так вот, я и говорю «нет!» всему остальному! Человек, у которого есть профессия, не должен отвлекаться от нее и соваться без толку в такие дела, в которых он ровно ничего не смыслит... У меня есть профессия. Мне приходится решать точные, вполне определенные задачи из хорошо знакомой мне области, от которых часто зависит будущность человека, иногда судьба целой семьи. Теперь ты понимаешь? У меня есть дела посерзнее, чем щупать пульс Европе!

В глубине души Антуан считал, что те, кому вверяется управление государством, должны также, в силу самого их призыва, быть знатоками своего дела, специалистами в вопросах международной политики, на которых люди несведущие, вроде него самого, могли бы спокойно положиться. Слепое доверие, которое он питал к французскому правительству, распространялось и на правителей других стран. Антуану было присуще врожденное чувство уважения к специалистам.

Жак внимательно присматривался к брату с каким-то новым чувством. Ему вдруг пришло в голову, что вся пресловутая уравновешенность Антуана, которой он некогда восхищался как великим достижением разума, как победой рассудка над противоречиями мира сего и которая всегда внушала ему смешанное чувство раздражения и зависти, — была просто-напросто самозащитой одного из этих деятельных ленивцев, которые суетятся, так сказать, спортивно, чтобы лучше доказать свою значительность! Или, еще вернее, — не была ли уравновешенность Антуана счастливым результатом того ограниченного поля деятельности, в сущности, довольно узкого, — которому он посвятил свои силы?

— Ты говоришь: «военный психоз», — продолжал Антуан. — Ерунда! Я не придаю, как ты, столько важного значения этим психологическим факторам. Политика, по существу, является об-

ластью вполне конкретных явлений, областью, где благородные порывы чувствительных душ заслуживают еще меньшего внимания, чем где бы то ни было. Таким образом, даже если те опасности, которые ты предрекаешь, окажутся вполне реальными, мы не в силах ничего изменить. Абсолютно ничего. Ни ты, ни я, ни кто бы то ни было!

Жак стремительно вскочил.

— Это неправда! — воскликнул он в порыве искреннего возмущения, который ему на этот раз не удалось обуздить. — Как? Перед лицом такой угрозы остается только склониться и продолжать обделять свои делишки в ожидании катастрофы? Это просто чудовищно! К счастью для народов, к счастью для всех вас, есть люди, которые не дремлют, люди, которые не задумаются завтра же отдать свою жизнь, если это понадобится, для того, чтобы предохранить Европу от...

Антуан наклонился вперед.

— Люди? — спросил он, заинтересованный. — Какие люди? Ты?..

Жак подошел к дивану. Возбуждение его несколько улеглось. Он сверху смотрел на брата. Глаза его сияли гордостью и доверием.

— Известно ли тебе, что на свете существует двенадцать миллионов организованных рабочих? — произнес он медленно, с расстановкой, в то время как лоб его покрылся каплями пота. — Известно ли тебе, что международное социалистическое движение имеет за собой пятнадцать лет борьбы, совместных усилий, солидарности, непрерывных успехов? Что в данное время имеются значительные социалистические фракции во всех европейских парламентах? Что эти двенадцать миллионов приверженцев социализма распределяются примерно на двадцать различных стран? Что более двадцати социалистических партий образуют с одного конца света до другого непрерывную цепь, объединенную братскими чувствами? И что основной идеей, связывающей их, главным пунктом их соглашения является ненависть к милитаризму, непреложное решение бороться против войны, какова бы она ни была, откуда бы она ни возникла, потому что война — это всегда капиталистическое ухищрение, за которое народ...

— Кушать подано, — объявил Леон, появляясь в дверях.

Жак, прерванный на полуслове, вытер пот со лба и снова сел в кресло. Затем, как только слуга исчез, он пробормотал как бы в заключение:

— Теперь, Антуан, тебе, может быть, стало понятно, зачем я приехал во Францию.

В течение нескольких минут Антуан молча смотрел на брата. Изогнутая линия его бровей над глубоко посаженными глазами образовала напряженную складку, выдававшую сосредоточенность мысли.

— Вполне понятно, — произнес он каким-то загадочным тоном.

Наступило молчание. Антуан спустил ноги с дивана и сидел, подперев голову ладонями, уставившись взглядом в пол. Затем слегка пожал плечами и встал.

— Пойдем-ка обедать, — сказал он, улыбаясь.

Жак, ни слова не говоря, последовал за братом.

Он был весь в поту. Посредине коридора он вдруг вспомнил о ванне. Соблазн был слишком велик и победил его колебания.

— Послушай! — внезапно сказал он, покраснев, как мальчишка. — Может быть, это глупо, но мне безумно захотелось принять ванну... Сейчас же... до обеда... Можно?

— Черт возьми! — воскликнул Антуан, развеселившись. (Как это ни нелепо, но у него возникло ощущение, что здесь он берет какой-то реванш.) — Ванна, душ — все к твоим услугам! Пойдем...

В то время как Жак плескался в ванне, Антуан, вернувшись в кабинет, вытащил из кармана записочку Анны. Он перечел ее и тут же разорвал: он никогда не хранил женских писем. Он внутренне улыбался, но улыбка была почти неуловима на его лице. Усевшись на диван, Антуан зажег папиросу и снова растянулся на подушках.

Он размышлял — не о войне, не о Жаке, даже не об Анне, — а о самом себе.

«Я раб своей профессии — вот в чем беда, — рассуждал он. — У меня недостает времени на размышления... Размышлять — это не значит думать о своих больных, даже вообще о медицине; размышлять — это значит задумываться над окружающим миром. На это у меня нет свободного времени... Мне казалось бы, что я отнимаю время у своих обязанностей... Вполне ли я прав? Действительно ли мое профессиональное существование является настоящей жизнью? Является ли это вообще всей моей жизнью? Я ведь в этом далеко не уверен... Я чувствую, что под оболочкой доктора Тибо скрывается еще кто-то, а именно — я сам... И этот «кто-то» отодвинут мною на задний план... с давних пор... быть может, с того самого момента, как я выдержал свой первый экзамен... В этот день — трах! — мышеловка захлопнулась. Человек, которым я был, человек, существовавший во мне до того, как я стал врачом, человек, который и сейчас еще живет во мне, — это как бы зародыш, с давних пор переставший развиваться... Да, пожалуй, со времени первого экзамена... И все мои братья живут так же, как я... Может быть, и все занятые люди? Как раз лучшие из людей... Потому что обычно именно лучшие из людей жертвуют собой, уходят с головой в профессиональную работу, поглощающую все силы. Мы отчасти напоминаем свободных людей, которые вдруг продались бы в рабство...»

Его рука вертела в глубине кармана небольшую записную книжечку, с которой он никогда не расставался. Машинистично он вытащил ее и рассеянным взглядом пробежал страничку записей на завтрашний день, 20 июля, всю испещренную именами и пометками.

«Без глупостей! — резко оборвал он себя. — Завтра я обещал Теривье навестить его дочурку в Со.<sup>1</sup> А в два часа начинается мой прием».

Антуан потушил папиросу в пепельнице и потянулся.

«Доктор Тибо опять появляется на свет божий, — подумал он, улыбаясь. — Ну что же? В конце концов, жить — это значит действовать! А не разводить философию!.. Размышлять над жизнью? К чему? Давно известно, что такая жизнь: нелепая смесь чудеснейших мгновений и жесточайшей скуки. Приговор произнесен раз и навсегда... Жить — это вовсе не значит снова и снова ставить все под вопрос...»

Энергичным движением Антуан поднялся с дивана, вскочил на ноги и быстро подошел к окну.

— Жить — это значит действовать! — повторил он, рассеянно оглядывая пустынную улицу, мертвые фасады домов, покатые поверхности крыш, на которые полосами ложились тени от труб. Антуан продолжал машинально вертеть в руке записную книжечку, спрятанную на дне кармана. «Завтра — понедельник: пожертвуем морской свинкой для малыша номер тринадцать... Много шансов за то, что прививка окажется положительной. Скверная история. Потерять почку в пятнадцать лет... А потом эта несчастная дочурка Теривье. Мне не везет в этом году со стрептококковыми пневмиями. Подождем дня два, а если не будет улучшения — придется делать резекцию ребра. Да что там! — резко оборвал он ход своих мыслей, спуская приподнятую было штору на окне. — Честно исполнять свою работу — разве это уж так мало?.. А жизнь пусть себе бежит своим чередом...»

Антуан вернулся на середину комнаты и закурил новую папиросу. Забавляясь звучанием слов, он стал мурлыкать, точно повторяя припев песенки:

— Пусть будет жизнь бежать... А Жак — рассуждать... Пусть будет жизнь бежать...

## XVI

Обед начался чашкой холодного бульона, который оба брата выпили молча, в то время как Леон в белой официантской куртке сосредоточенно разрезал дыню на мраморной доске закусочного столика.

— У нас будет рыба, немного холодного мяса и салат, — заявил Антуан. — Это тебя устраивает?

Вокруг них заново отделанная столовая со своими гладкими, обшитыми деревянной панелью стенами, с зеркальными окнами и длинным закусочным столиком, занимавшим противоположную окнам стену, казалась пустынной, мрачной и величественной.

<sup>1</sup> Один из южных пригородов Парижа.

Антуан, по-видимому, совершенно освоился с этой торжественной обстановкой. В данную минуту лицо его выражало самую сердечную доброжелательность. Искренне радуясь свиданию с братом, он терпеливо ждал возобновления разговора.

Но Жак упорно молчал, стесненный неуютностью этой комнаты и этими двумя приборами, нелепо разделенными всей длиной стола, за которым с успехом могло бы разместиться человек двенадцать гостей. Присутствие слуги еще усугубляло впечатление неловкости: каждый раз, когда Леон менял тарелку, ему приходилось дважды пересекать половину огромной комнаты, для того чтобы дойти от стола к буфету и обратно, и Жак невольно следил искоса за плавными движениями этого белого призрака, скользившего по ковру. Он надеялся, что Леон, подав дыню, наконец удалится. Но слуга задержался, наливая вино. «Новые замашки», — подумал Жак. (В прежнее время брат его едва ли согласился бы пользоваться чьими-либо услугами и наливал бы себе сам, по своему вкусу.)

— Это «Мёрсо» тысяча девятьсот четвертого года, — пояснил Антуан, подняв свою рюмку, чтобы убедиться в прозрачности янтарного вина. — Оно идет к рыбе... Я нашел штук пятьдесят бутылок в погребе. Но это были последние запасы отца.

Украдкой он теперь более внимательно рассматривал брата. Он чуть было не задал ему один вопрос, но удержался.

Жак рассеянно смотрел на улицу. Окна были открыты. Поверх домов небо казалось розоватым, с перламутровым отливом. Сколько раз в детстве в такие вечера он любовался этими зданиями и крышами, этими окнами с решетчатыми ставнями, с потемневшими от пыли шторами, этими зелеными растениями в горшках, выставленными на балконах!..

— Скажи-ка мне, Жак, — неожиданно обратился к нему Антуан, — ну, как твои дела? Хороши? Ты доволен?

Жак вздрогнул и удивленно посмотрел на брата.

— Что же, — продолжал Антуан ласково, — счастлив ли ты по крайней мере?

Принужденная улыбка промелькнула на губах Жака.

— Ну, знаешь ли... — пробормотал он, — счастье — это не приз, который удается при случае сорвать... По-моему, это прежде всего природное предрасположение. Возможно, что у меня его нет...

Он встретился глазами с братом: тот смотрел на него как врач на пациента. Жак уставился в тарелку и умолк.

Ему не хотелось возобновлять прерванный спор, а между тем мысли его работали в этом направлении.

Отцовское серебро — овальное блюдо, на котором Леон подавал ему рыбу, соусник, изогнутая ручка которого напоминала старинный светильник, — привело ему на память прежние семейные обеды при отце.

— А что Жиз? — внезапно спросил он, как будто вдруг вспомнив о ней после нескольких месяцев полного забвения.

Антуан подхватил мяч на лету:

— Жиз? Она все там же... Как будто бы счастлива. Изредка пишет мне. Она даже приезжала сюда на пасху, провела здесь три дня... Средства, которые ей оставил отец, позволяют ей теперь вести более или менее независимый образ жизни.

Этим намеком на завещательное распоряжение г-на Тибо Антуан смутно надеялся вызвать разговор на тему об отцовском наследстве. Он не хотел придавать серьезного значения отказу брата. При участии нотариуса он прежде всего осуществил раздел всего состояния на две равные доли, затем поручил своему биржевому маклеру вести дела Жака, пока тот не изменит своего нелепого решения.

Но Жак думал совсем о другом.

— Она все еще в монастыре? — спросил он.

— Нет. Она даже уехала из Лондона. Она живет теперь в его пригороде, в Кингсбери, в одном из отделений монастыря; если я верно понял, это своего рода пансионат, где много молодых девушек, таких же, как она.

Жак уже начинал жалеть о том, что так неосмотрительно затронул этот вопрос. Вызванный в памяти образ Жиз не мог не причинить ему болезненного ощущения. У него было слишком много оснований считать, что он один является ответственным за добровольное изгнание девушки, за ее бегство прочь от всего, что могло ей напомнить о прошлом и о ее обманутых надеждах.

Антуан продолжал, снисходительно посмеиваясь:

— Ты ведь ее знаешь... Такая жизнь подходит ей как нельзя лучше... Это своего рода община без строгого устава, где время распределяется между благочестием и спортом. — Он повторил с еле заметной неуверенностью в голосе: — Она как будто счастлива.

Жак поспешил отвлечь брата от этой темы:

— А Мадмуазель?

(В одном из своих писем прошлой зимой Антуан сообщил ему об отъезде мадмуазель де Без в богадельню.)

— Сказать тебе по правде, о Мадмуазель я имею лишь косвенные сведения — через Адриенну и Клотильду,

— Они все еще здесь?

— Да... Я их оставил у себя, потому что они хорошо уживаются с Леоном... Они аккуратно навещают Мадмуазель в первое воскресенье каждого месяца.

— Где именно?

— В Пуэн-дю-Жур. Ты помнишь, «Убежище для престарелых», куда Шаль поместил свою старую тиранку-мать, совершенно при этом разорившись? Нет? Ты не знаешь этой истории? Одна из самых замечательных об этом неподражаемом Шале...

— Ну, а он сам, что с ним стало? — спросил Жак, невольно рассмеявшись.

— Шаль? Он жив и здоров! Содержит на улице Пирамид магазин технических новинок. Уверяет, что у него было с малых лет

призвание к этому делу. Впрочем, кажется, он весьма преуспевает... Если будешь проходить мимо, — по-моему, стоит зайти. У него презабавный компаньон. Оба вместе составляют пару, достойную пера Диккенса!

Оба они дружно расхохотались. На один миг как бы возобновилась их внутренняя, неотъемлемая братская близость.

— Что касается Мадмуазель... — продолжал Антуан после минутного молчания, вдруг почувствовав смущение и желая поскорее объяснить Жаку все обстоятельства дела. — Понимаешь ли, — сказал он тем добродушным тоном, который так непривычно звучал в ушах Жака, — мне никогда не приходила в голову мысль, что Мадмуазель проведет остаток своей жизни вне нашего дома... Знаете что, Леон, — поставьте салатник на стол, мы сами возьмем себе... Это кресс-салат, — пояснил он Жаку, в ожидании ухода слуги, — будешь его есть с холодным мясом или после?

— После.

— Я буду с тобой вполне откровенен, — продолжал Антуан, как только убедился в том, что они остались одни. — Я никогда не шевельнул бы пальцем для того, чтобы расстаться с нашей бедной старушкой. Но признаюсь, что своим упорным желанием уехать она оказала мне огромную услугу. Ее присутствие в доме значительно осложнило бы новый уклад моей жизни... Когда она окончательно убедилась в том, что Жиз серьезно намерена оставаться в Англии, Мадмуазель вбила себе в голову, что она должна переехать в убежище для престарелых. Жиз предлагала тетке увезти ее с собой и поместить где-нибудь поблизости от себя... Так нет же, она затвердила одно: «Убежище для престарелых»... Ежедневно в конце завтрака она скрещивала на столе свои худенькие ручки и начинала разводить свои рацеи, качая крошечной головкой. «Я уже не раз говорила тебе, Антуан... В моем теперешнем состоянии... Я никому не хочу быть в тягость. В шестьдесят восемь лет, при моем состоянии здоровья...» Ты ее себе представляешь? Сидит, согнувшись в три погибели, с подбородком на скатерти, сметает сморщенными ладонями крошки со стола... и повторяет дрожащим голосом: «В моем теперешнем состоянии...» Я отвечал: «Хорошо, хорошо, там видно будет. Потом поговорим...» Сказать по правде — что греха таить? — это так упрощало многие вопросы! В конце концов, я согласился... Как ты считаешь, может, я был неправ?.. Впрочем, я принял меры к тому, чтобы все обошлось как можно лучше... Прежде всего уплатил самую высокую цену, чтобы она могла устроиться с полным комфортом. Сам выбрал для нее две смежные комнаты, велел их заново отремонтировать и перевезти туда всю обстановку ее прежней комнаты, чтобы она не чувствовала себя выбитой из колеи... При таких условиях это ведь не похоже на то, чтобы я вышвырнул ее за борт, как ненужную вещь, поместив в убежище. Не так ли? Она устроилась совсем как старушка, пользующаяся собственными доходами и живущая в семейном пансионате.

Антуан настойчивым взглядом смотрел на брата. По-видимому, он почувствовал облегчение, уловив одобрительное выражение в глазах Жака, ибо тотчас же улыбнулся.

— Вот и все! — уже весело добавил он. — Не следует обманывать самого себя: не скрою, что в тот день, когда Мадмуазель уехала, у меня точно гора с плеч свалилась!

Антуан умолк и снова взялся за вилку. В последние минуты, увлеченный своим повествованием, он забыл о еде.

Теперь, низко нагнувшись, он ловко разнимал утиную заднюю ножку. Он казался погруженным в свое дело; но было ясно, что мысли его заняты не тем, что делают его пальцы.

## XVII

— Я думаю о тех двенадцати миллионах рабочих, о которых ты только что говорил, — неожиданно произнес Антуан. — Что же, значит ты записался в социалистическую партию?

Он сидел, склонясь над тарелкой, и не поднял головы даже тогда, когда вскинул глаза, чтобы взглянуть на брата.

Жак увилинул от этого прямого вопроса, сделав неопределенное движение головой, которое могло быть принято за утвердительный ответ. (В действительности он всего лишь несколько дней тому назад получил свой партийный билет. Только перед угрозой назревающих в Европе событий он отрешился от своей независимости и почувствовал необходимость примкнуть к социалистическому Интернационалу — единственной достаточно активной, достаточно многочисленной организации, способной вести успешную борьбу против войны.)

Антуан передал ему салат и спросил небрежным тоном:

— Вполне ли ты уверен, мой милый, что твоя теперешняя жизнь в этом... политическом окружении... действительно соответствует... твоим запросам, твоим литературным вкусам, наконец, твоему настоящему характеру?

Жак резким движением поставил салатник обратно на стол.

«Несчастный», — подумал он. — Он все больше и больше принимает наставительный тон отца».

Антуан явно стремился говорить непринужденно, беспристрастно. Он помолчал немного, а затем уточнил свою мысль:

— Признайся: ты действительно веришь в то, что рожден быть революционером?

Жак посмотрел на брата. Горько усмехаясь, он медлил с ответом. Лицо его постепенно принимало все более мрачное выражение.

— Если ты хочешь знать, что сделало из меня революционера, — сказал он наконец, и губы его дрогнули, — так это то, что я родился здесь, в этом самом доме... что я вырос в буржуазной семье... что с самых юных лет я ежедневно имел перед глазами картину тех несправедливостей, которыми живет это привилегированное

общество, что с раннего детства я испытывал как бы чувство виновности... соучастия! Да, острое сознание того, что, ненавидя этот порядок вещей, я все же пользуюсь им! — Он жестом остановил готового возразить Антуана. — Задолго до того, как я узнал, что такое капитализм, когда я еще не знал даже самого этого слова, — в двенадцать — тринадцать лет, помнишь? — я уже восставал против того мира, в котором я жил, мира моих товарищей, моих преподавателей... наконец, нашего отца и его благотворительных учреждений!

Антуан в задумчивости перемешивал салат.

— Боже мой! Общество, о котором ты говоришь, имеет свои органические недостатки; я первый готов это признать, — согласился он, снисходительно усмехнувшись. — Но вместе с тем это общество, которое в силу привычки продолжает, несмотря ни на что, вращаться вокруг своей извечной оси... Нельзя же быть таким строгим... Это общество имеет свои хорошие стороны, свои обязанности, свое величие... И свои удобства... — добавил он с тем добродушным видом, который больше, чем его слова, был неприятен брату.

— Нет, нет! — возразил Жак взволнованным голосом. — Капиталистическое общество не имеет о-прав-да-ний! Оно установило между людьми нелепые, возмутительные отношения! Это общество, где все понятия извращены, где уважение к личности не имеет места, где выгода является единственным движущим началом и где мечта каждого — обогащение! Общество, где денежные тузы обладают чудовищной силой, обманывают общественное мнение подкупленной ими прессой и порабощают даже самый государственный аппарат! Общество, в котором индивидуум, трудящийся, сводится к нулю! Общество...

— Так значит, — прервал его Антуан, в котором также начинал закипать гнев, — по твоему мнению, рабочий не пользуется ничем из продукции современного общества?

— Но в какой жалкой пропорции он ею пользуется! Нет, единственно, кто ею пользуется по-настоящему, это хозяева предприятий и их акционеры, эти крупные банкиры, крупные промышленники...

— ...которых ты, конечно, представляешь себе в виде бездельников и жуиров, разжиревших от пота и крови народных масс и лакающих шампанское в обществе публичных женщин?

Жак ни одним жестом не выразил своего возмущения.

— Нет, которых я представляю себе такими, какие они есть, Антуан... По крайней мере такими, какими бывают лучшие из них. Отнюдь не бездельниками, — напротив! Но жуирами — да, конечно! Ведущими жизнь, которая одновременно является и утомительной и роскошной, — радостно утомительной и нагло роскошной! Жизнь, полную до краев, потому что она соединяет в себе все доступные наслаждения, все радости, все развлечения, которые достигаются благодаря умственному труду, спортивной борьбе с конкурентами, а также темными делишками, и азартной игрой, и просто удачей; все удовольствия, которые связаны с успехом, с общественным по-

ложением, с господством над людьми и вещами! Словом — жизнь привилегированного класса! Разве ты станешь все это отрицать?

Антуан молчал. «Краснобайство! — пробурчал он про себя. — Болтает, глупец, прочищает себе глотку общими фразами!» Тем не менее он прекрасно чувствовал, что раздражение мешает ему быть вполне справедливым и что проблемы, затронутые в разглагольствованиях брата, не могут быть оставлены без внимания. «Проблемы, — думал он, — гораздо более трудные, чем Жак или ему подобные любители упрощений могут себе представить... Невероятно сложные проблемы, для решения которых нужны не гуманно настроенные утописты, а крупные ученые, великие хладнокровные умы, вполне овладевшие научными методами...»

Жак закончил, метнув в сторону брата свирепый взгляд:

— Капитализм? Конечно, он в свое время был орудием прогресса... Но в наши дни, в силу неизбежного хода истории, он стал вызовом здравому смыслу, вызовом справедливости, вызовом человеческому достоинству!

— Да неужели? — воскликнул Антуан. — И это все?

Наступило молчание. Вшедший Леон переменил тарелки.

— Подайте сыр и фрукты, — сказал Антуан, — мы сами себе положим... Швейцарского или голландского? — обратился он с вопросом к брату. Он говорил легким, непринужденным тоном.

— Ни того, ни другого; благодарю.

— Может быть, персик?

— Да, персик.

— Постой, я тебе сейчас выберу...

Он умышленно подчеркивал сердечную ноту в своем обращении.

— Теперь поговорим серьезно, — продолжал он после небольшой паузы, примирительным тоном стараясь смягчить оскорбительный смысл своих слов. — Что такое — капитализм? Должен тебе сказать, я отношусь несколько подозрительно к ходким выражениям. А в частности, к словам, оканчивающимся на «изм»...

Он думал смутить брата. Но Жак спокойно поднял голову. Раздражение его мало-помалу углеглось, тень улыбки скользнула по губам. Одно мгновение он смотрел в сторону открытого окна. День постепенно угасал: над серыми фасадами домов небо с каждой минутой становилось все темнее.

— Что касается меня, — пояснил он, — когда я говорю: «капитализм», я определенно имею в виду следующее: известное распределение мировых богатств и способ их использования.

Антуан немного подумал, затем одобрительно кивнул головой. Братья с одинаковым облегчением почувствовали, что их беседа становится менее напряженной.

— Персик у тебя спелый? Может, хочешь сахару? — спросил Антуан.

— Знаешь ли, — продолжал Жак, не отвечая на вопрос, — знаешь ли, что больше всего возмущает меня в капитализме? То, что он отнял у рабочего все, что делало его человеком. Концентрация

оторвала рабочего от родных мест, от семьи, от всего того, что придавало человеческий характер его жизни. У него вырвали почву из-под ног. Его лишили всех тех естественных радостей, которые труд давал ремесленнику. Его превратили в безличное животное-производителя в этом муравейнике, который называется заводом! Представляешь ли ты себе организацию труда в этом аду? Поистине бесчеловечное разделение между ручным, механическим и — как бы это сказать? — умственным трудом! Представляешь ли ты себе, чем стал повседневный труд для заводского рабочего? До какого отупения он доведен в своем порабощении?.. В прежнее время тот же человек был бы искусным ремесленником, любящим свою маленькую мастерскую, заинтересованным в своей работе. Нынче он осужден на то, чтобы ровно ничего не представлять собой. Ничего — кроме механизма, кроме одной из тысячи мелких частей той таинственной машины, тайну которой он даже не обязан знать для выполнения своей работы! Тайну, которая является достоянием меньшинства, опять-таки того же пресловутого меньшинства: хозяина, инженера...

— Потому, что образованные и компетентные люди всегда представляют собой меньшинство, черт возьми!

— Человек стал совершенно обезличен, Антуан! Вот в чем преступление капитализма! Он сделал из рабочего машину! Меньше того — слугу машины!

— Полегче, полегче, — прервал его Антуан. — Прежде всего это вовсе не капитализм — это машинизм; не следует смешивать эти понятия... А затем позволь тебе сказать, что, по моему мнению, ты как-то странно драматизируешь действительность! По правде говоря, я не думаю, чтобы рабочих и инженеров разделяли столь непроницаемые перегородки. Большею частью между ними существует даже известная связь, согласованность действий, сотрудничество. Очень редко можно встретить рабочего, для которого его машина представляла бы «тайну». Он не мог бы ее ни изобрести, ни, может быть, смонтировать, но он прекрасно понимает, как она действует, и часто сам вносит в ее работу технические усовершенствования. Во всяком случае он ее любит, он гордится ею, он ухаживает за ней и заинтересован в том, чтобы она хорошо работала. Штудлер, побывавший в Америке, очень занятно говорит об этом «промышленном энтузиазме», который охватил там рабочий класс.. Мне также приходит на ум моя больница.. Если хорошенько присмотреться, то не так уж она отличается от завода.. Здесь также имеются хозяева и работники, «умственный» и «ручной» труд. Я являюсь своего рода хозяином. Но уверяю тебя, что ни одно лицо, находящееся у меня в подчинении, будь то последний из санитаров, николько не напоминает «слугу» в том смысле, в каком ты употребил это слово. Мы дружно работаем все вместе, имея в виду одну и ту же цель: выздоровление больных. Каждый по мере своих сил и возможностей. Посмотрел бы ты, как они все бывают довольны, когда наши совместные усилия приводят к удачным результатам!

«Он всегда должен быть прав», — раздраженно подумал Жак.

Между тем он сознавал, что крайне глупо положил начало спору, как будто бы основывая свою критику капитализма главным образом на организации и распределении труда.

Стремясь сохранять спокойствие, он снова заговорил:

— При капиталистическом строе возмутительным является не столько характер работы, сколько *условия*, создаваемые для работы. И, конечно, я возмущаюсь не машинизмом как таковым, но тем способом, каким привилегированный класс эксплуатирует машины единственно для своей собственной выгоды... Если бы мы захотели дать упрощенное представление о социальном механизме, то можно было бы сказать следующее: с одной стороны, небольшая кучка богатых людей, цвет буржуазного общества, одни — трудолюбивые и культурные, другие — бездельники и паразиты, но во всяком случае избранныки, обладающие всем, располагающие всеми возможностями, занимающие все руководящие посты и забирающие себе все прибыли, ничего не оставляя для масс; а с другой стороны, эти самые массы, истинные производители, эксплуатируемая сила: огромное стадо рабов...

Антуан весело пожал плечами:

— Рабов?

— Да.

— Нет. Не рабов, — заметил Антуан добродушно, — граждан... Граждан, имеющих перед законом совершенно те же права, что и хозяин предприятия или инженер; граждан, которые имеют одинаковые с ними избирательные права, которых никто ни к чему не может принудить, которые могут работать и не работать, в зависимости от своих аппетитов, которые сами выбирают свое ремесло, свой завод, которые меняют их по собственному желанию... Если они связаны договорами, то эти договоры были ими свободно приняты после совместного обсуждения... Разве таких людей можно назвать рабами? Чьими рабами или рабами чего?

— Рабами своей нищеты! Ты говоришь как настоящий демагог, дорогой мой... Все упомянутые тобой свободы — только кажущиеся. В действительности современный рабочий не пользуется никакой независимостью, потому что за ним гонится по пятам его нищета. У него есть только заработка плата, которая не дает ему умереть с голода. И вот, связанный по рукам и ногам, он вынужден предлагать себя буржуазному меньшинству, которое держит в своих руках работу и устанавливает заработную плату!.. Ты говоришь: образованные люди, техники всюду и везде в меньшинстве... Я это прекрасно знаю. Я совсем не имел в виду интеллигенцию. Но взгляни, как все это получается: хозяин, если ему вздумается, предоставляет работу рабочему, который хочет есть, и за эту работу он платит рабочему жалованье. Однако заработка плата обычно является лишь ничтожной частью прибыли, вырученной от труда рабочего. Хозяин предприятия и его акционеры захватывают все остальное...

— С полным на то правом! Этот остаток представляет собой ту часть, которая принадлежит им как соучастникам в работе.

— Да. Теоретически — действительно, остаток должен представлять собой ту часть, которая принадлежит хозяину за руководство делом или акционеру за то, что он любезно одолжил свои деньги. Мы к этому еще вернемся!.. А сначала сопоставим цифры. Сравним заработную плату с прибылью! В действительности оказывается, что этот «остаток» представляет собой львиную долю, явно несоразмерную участию, принимаемому в работе. И этот остаток служит хозяину для укрепления и увеличения его власти! Из той части доходов, которую он не использует на свое благосостояние, на роскошь, он составляет капиталы, которые он вкладывает в другие предприятия и которые разрастаются, как снежный ком. Именно из этого богатства, капитализованного за счет рабочего, и возросло в течение многих поколений всемогущество буржуазного класса. Всемогущество, опирающееся на жестокую несправедливость... Ибо, — возвращаюсь к сказанному раньше, — наибольшей несправедливостью является не указанная несоразмерность между тем, что капиталист получает как вознаграждение за свой вклад, и заработком человека, отдающего свой труд. Самая явная несправедливость кроется в следующем: деньги работают на того, кто ими владеет! Они работают сами по себе, так что владельцу их не приходится и пальцем пошевелить! Деньги бесконечно порождают новые деньги! Задумывался ли ты когда-нибудь над этим, Антуан? Общество эксплуататоров благодаря дьявольскому измышлению, называемому банком, нашло прекрасный выход из положения, чтобы покупать рабов и заставлять их в поте лица работать на себя — рабов вполне надежных, анонимных и столь далеких, столь безвестных, что если хочешь жить в согласии со своей совестью, можно притвориться, будто ничего не знаешь об их мученической жизни... Вот она, вопиющая несправедливость: этот налог, взимаемый с пота и крови самым лицемерным, самым безнравственным образом!

Антуан отодвинулся от стола, зажег папирус и скрестил руки на груди. Ночь подкралась так незаметно, что Жак уже не мог ясно различить выражение лица брата.

— Ну, что же дальше? — спросил Антуан. — Ваша революция должна все это сразу изменить, как по волшебству?

Тон был насмешливый. Жак отодвинул от себя тарелку, удобно оперся локтем на стол и в полу暗раке дерзко взглянул на брата.

— Да. Потому, что в данное время, пока он совершенно одинок, во власти нужды, рабочий беззащитен. Но первое социальное следствие революции будет заключаться в том, что он, наконец, получит политическую власть. Тогда он изменит базис общества. Тогда он сможет создать новые порядки, новый свод законов... Видишь ли, единственное зло — это эксплуатация человека. Надо построить мир, где такая эксплуатация была бы невозможна. Мир, где все богатства, которые сейчас неправильным образом захвачены паразитическими учреждениями, вроде ваших крупных промышленных

предприятий и ваших огромных банков, будут пущены в обращение для того, чтобы все человечество могло ими пользоваться. В данное время бедняк, работающий на производстве, с таким трудом добывает свой прожиточный минимум, что у него не остается ни времени, ни сил, ни даже желания научиться мыслить, развить свои человеческие способности. Когда мы говорим, что революция упразднит пролетариат, то мы именно это имеем в виду. В представлении настоящих революционеров революция не только должна обеспечить производителю более свободное, более обеспеченное и более счастливое существование — она должна прежде всего изменить положение человека в отношении труда; она должна сделать самый труд более гуманным, с тем, чтобы он перестал быть притупляющим человеческие чувства игом. Рабочий должен пользоваться отдыхом. Он должен перестать быть только орудием производства с утра и до вечера. Он должен иметь время, чтобы задуматься над самим собой, он должен иметь возможность развить до максимума — в зависимости от своих способностей — свое человеческое достоинство; стать, в той мере, в какой это для него возможно, — а эта мера не столь мала, как обычно считается, — настоящей человеческой личностью...

Он произнес: «а эта мера не столь мала, как обычно считается» с убедительностью глубоко уверенного в своих словах человека, но глухим тоном, в котором более опытный наблюдатель, чем его брат, уловил бы, вероятно, нотку сомнения.

Антуан этого не заметил. Он размышлял.

— В конце концов, я согласен с тобой, — пошел он на уступки. — Если предположить, что все это осуществимо... Но каким образом?

— Не иначе, как путем революции.

— Это означает диктатуру пролетариата?

— Диктатура... да... Придется с этого начать, — сказал Жак задумчиво. — Лучше сказать — диктатура производителей. Слово «пролетариат» так избито... Даже в революционных кругах теперь стремятся освободиться от старой гуманистической и либеральной терминологии сорок восьмого года... («Это неправда, — мысленно перебил он себя, вспомнив свою собственную манеру выражаться и словопрения «говорильни». — Но мы к этому, несомненно, придем».)

Антуан сидел молча. Он не дослушал последних фраз, произнесенных братом. «Диктатура...» — размышлял он. А priori диктатура пролетариата не казалась ему непреодолимой сама по себе. Он даже без особого труда представлял себе, что она может возникнуть в некоторых странах, например в Германии. Но она казалась ему совершенно неосуществимой во Франции. «Подобная диктатура, — рассуждал он, — не могла бы установиться просто автоматически; ей понадобилось бы время, чтобы быть вполне уверенной в своей победе, чтобы утвердиться, чтобы добиться экономических результатов, чтобы действительно пустить корни в новых поколениях. На это потребовалось бы не менее восьми или десяти, может быть пятнадцати лет упорной тирании, постоянной борьбы, репрессий,

хищений, нищеты. Франция — страна граждан, склонных критиковать правительство, индивидуалистов, дорожащих своими свободами, страна мелких рабочих, где обычный революционер сохраняет еще, незаметно для себя самого, образ жизни и вкусы мелкого собственника, — в состоянии ли Франция будет вынести в течение десяти лет эту железную дисциплину? Было бы безумием на это рассчитывать».

Между тем Жак, словно закусив удила, продолжал свое обвинение:

— Порабощение, эксплуатация человеческого труда капиталистической системой прекратится лишь вместе с ее существованием. Собственнические аппетиты эксплуататоров никогда не будут знать пределов. Расцвет промышленности за последнее пятидесятилетие лишь усилил их власть. Все богатства мира являются предметом их вожделения. Потребность в завоеваниях и экспансии у них настолько велика, что отдельные фракции мирового капитализма, вместо того чтобы подумать об объединении в целях всеобщего интернационального господства, дошли — вопреки вполне очевидной своей выгоде, до междоусобных раздоров, напоминая собой наследников из знатного рода, оспаривающих друг у друга родовое поместье! Вот истинная, самая глубокая причина угрожающей нам войны... (Он все возвращался к своей навязчивой идеи о войне.) Но как бы им на сей раз не пришлось встретить отпор, которого они даже и не подозревают! Пролетариат, слава богу, далеко не так пассивен, как прежде! Он не допустит, чтобы имущие классы своей ненасытностью и своими распрями вовлекли его в катастрофу, расплачиваться за которую опять придется ему... Революция в данный момент отходит на второй план. В первую очередь следует во что бы то ни стало помешать войне! Затем...

— А затем?

— А затем в задачах не будет недостатка! Самое неотложное, что нужно будет сделать, — это воспользоваться победой народных партий и негодованием общественного мнения против империалистов, чтобы нанести решительный удар и захватить власть в свои руки... Тогда явится возможность ввести во всем мире рациональную организацию производства... Во всем мире, — ты понимаешь?

Антуан внимательно слушал. Он сделал знак, что все прекрасно понимает. Но его неопределенная улыбка указывала на то, что он пока воздерживается от одобрения.

— Я прекрасно знаю, что все это не делается само собой, — продолжал Жак. — Чтобы добиться успеха, придется прибегнуть к революционному насилию: поднять *вооруженное восстание*, — добавил он, пользуясь выражениями Мейнестреля и даже подражая его голосу. — Борьба будет жестока. Но час ее уже близок. Иначе трудящееся человечество будет обречено ждать своего освобождения, может быть, еще в течение нескольких десятков лет...

Наступило молчание.

— А... имеются ли у вас нужные люди для осуществления этой прекрасной программы? — спросил Антуан.

Он всячески старался не дать разгореться спору, ограничить его пределами чисто теоретических рассуждений. Он наивно рассчитывал дать младшему брату доказательства своих добрых намерений, своего либерализма, своего беспристрастия. Но Жак этого совершенно не оценил. Напротив: слишком безучастный тон Антуана раздражал его. Он не был введен в заблуждение. Некоторые иронические оттенки в голосе, некоторая самоуверенность тона, от которых Антуан никогда не мог отрешиться в своих спорах с младшим братом, постоянно напоминали Жаку, что Антуан относится к нему как старший к младшему, подавляя его превосходством своего жизненного опыта и своей прозорливостью.

— Люди? Да, они у нас есть, — ответил Жак с гордостью. — Но часто крупными людьми дела, гениальными вождями оказываются совсем не те, на кого рассчитывал. События выдвигают новых...

Умолкнув, он в течение нескольких мгновений погрузился в свою мечту. Затем медленно продолжал:

— Это не химеры, Антуан... Сдвиг в сторону социализма является общепризнанным фактом. Он бросается в глаза. Окончательная победа будет нелегкой и — увы! — не обойдется, вероятно, без кровопролития. Но сейчас для тех, кто не закрывает глаза, она неизбежна. В конечном итоге можно ожидать, что во всем мире установится единый строй...

— Бесклассовое общество? — иронически заметил Антуан, покачивая головой.

Жак продолжал, будто не слыхал его замечания:

— ...Совершенно новая система, которая в свою очередь, несомненно, поставит бесконечное множество проблем, недоступных сейчас нашему предвидению, но которая по крайней мере разрешит те, что до сих пор гнетут несчастное человечество, а именно — экономические проблемы... Это не химеры, — еще раз повторил он. — Перед такой перспективой все чаяния дозволены!

Горячность Жака, его непоколебимая вера, еще более волнующая в полумраке наступившего вечера, увеличивали, в силу противоречия, скептицизм Антуана.

«Вооруженное восстание, — размышлял он. — Покорно благодарю!.. Этого только недоставало! Благородные порывы в целях создания более гармоничной жизни, по правде говоря, обходятся довольно-таки дорого... И никогда не приводят к улучшениям, которые оказались бы прочными! Люди готовят события, спешат все разрушить, все заменить, а на деле оказывается, что новый строй создает новые злоупотребления, — и в конечном счете... получается как в медицине: всегда чересчур спешат применять новые методы лечения...»

Если он менее строго, чем его брат, относился к современному обществу, если он приспособлялся к нему, в сущности, довольно

хорошо, — отчасти благодаря врожденному умению использовать обстоятельства, отчасти благодаря своему равнодушию (а также потому, что был склонен оказывать доверие специалистам, возглавляющим это общество), — он все же был далек от того, чтобы считать его совершенным.

«Согласен... согласен, — повторял он про себя. — Все может и все должно быть усовершенствовано. Таков закон цивилизации, закон самой жизни... Но только это делается постепенно!»

— Так ты считаешь, — сказал он громко, — что для достижения цели революция необходима?

— Теперь — да; теперь я это считаю, — заявил Жак тоном признания. — Я знаю, что ты думаешь. Я сам долго думал так же, как ты. Я долго старался уверить себя, что было бы достаточно произвести некоторые реформы, реформы в рамках существующего строя... Теперь я в это больше не верю.

— Но твой социализм — разве он не претворяется в жизнь постепенно сам собой, из года в год? Повсеместно! Даже в таких странах, как Германия, где господствует монархия.

— Нет. Именно те опыты, на которые ты намекаешь, очень показательны. Эти реформы могут лишь ослабить некоторые следствия общего зла, но они не могут искоренить его причины. И это вполне естественно: реформисты, какие бы добрые намерения им ни приписывались, по существу солидарны с той политикой, с той экономикой, которую следовало бы как раз опрокинуть и заменить. Нельзя же требовать от капитализма, чтобы он сам себя уничтожил, подкопавшись под собственные основы! Когда он чувствует себя загнанным в тупик вследствие неурядиц, созданных им, он спешит позаимствовать у социализма идеи некоторых реформ, ставших необходимыми. Но это и все!

Антуан стоял на своем:

— Мудрость состоит в том, чтобы принять относительное! Частичные реформы все же постепенно приближают нас к тому общественному идеалу, который ты защищаешь.

— Иллюзорный успех!.. Незначительные уступки, на которые приходится нехотя соглашаться и которые ничего не изменяют в сущности вещей. Какие существенные изменения были внесены благодаря реформам в тех странах, о которых ты говоришь? Денежные магнаты не потеряли своей власти ни в каком отношении: они продолжают распоряжаться трудом и держать массы в своих когтях; они продолжают руководить прессой, подкупать или запугивать представителей государственной власти. Ибо, для того чтобы дойти до сути дела, надо выкорчевать самые основы строя и целиком осуществить социалистическую программу! Чтобы уничтожить трущобы, градостроители сносят все до основания и строят заново... Да, — добавил он со вздохом, — сейчас я глубоко убежден в том, что только революция, всеобщий переворот, исходящий из глубин, полный пересмотр всех вопросов могут очистить мир от капиталистической заразы... Гете считал, что следует делать выбор между

неправедливостью и беспорядком: он предпочитал неправедливость. Я иного мнения! Я считаю, что без справедливости не может быть настоящего порядка. Я считаю так: лучше все что угодно, чем неправедливость. Все... Даже... — закончил он, внезапно понижая голос, — даже жестокий беспорядок революции...

«Если бы Митхерг меня слышал, — подумал Жак, — он остался бы мной доволен».

Некоторое время он сидел в задумчивости.

— Единственная надежда, которая во мне еще теплится, — это что, может быть, не будет необходимости в повсеместной кровавой революции, во всех странах. Ведь не понадобилось же в девяносто третьем году воздвигать гильотину во всех столицах Европы для того, чтобы республиканские принципы восемьдесят девятого года проникли повсюду и все изменили. Франция пробила брешь, через которую удалось пройти всем народам... Вероятно, будет вполне достаточным, если одна страна — ну, скажем, Германия — заплатит своей кровью за установление нового порядка, для того чтобы весь остальной мир, увлеченный этим примером, мог измениться путем медленной эволюции...

— Ничего не имею против переворота, если он произойдет в Германии! — насмешливо заявил Антуан. — Но, — продолжал он серьезно, — я хотел бы посмотреть на вас всех, когда дело коснется созидания вашего нового мира. Ибо, как бы вы там ни старались, вам придется перестраивать его на тех же основах. А главная основа не изменится: это не что иное, как человеческая природа!

Жак внезапно побледнел и отвернулся, чтобы скрыть свое смущение.

Антуан бессознательно коснулся безжалостной рукой самой глубокой раны в душе Жака — раны сокровенной, неизлечимой... Вера в человека грядущего дня, заключающая в себе весь смысл революции, являющаяся стимулом всякого революционного порыва, — эта вера, увы, появлялась у Жака лишь периодически, вспышками, под влиянием минуты; он никогда не смог проникнуться ею по-настоящему. Его жалость к людям была безгранична; он всем сердцем любил человечество; но как он ни старался переубедить себя, повторяя с глубокой уверенностью заученные формулы, он не мог не относиться скептически к моральным возможностям человека. И в тайниках своей души он чувствовал это трагическое сомнение, он не верил, он не мог по-настоящему верить в непреложность догмата о духовном прогрессе человечества. Исправить, перестроить, улучшить состояние человека путем радикального изменения существующего строя, путем построения новой системы — все это возможно! Но надеяться на то, что новый социальный строй обновит также и самого человека, автоматически создав поистине совершенный экземпляр человеческой личности, — он никак не мог. И каждый раз, когда он осознавал это глубоко укоренившееся в нем тяжкое сомнение в основном вопросе, он испытывал острое чувство угрызений совести, стыда и отчаяния.

— Я не строю себе особых иллюзий насчет способности рода человеческого к совершенствованию, — признался он слегка изменившимся голосом. — Но я утверждаю, что современный человек представляет собой изуродованное, униженное господствующим социальным строем существо. Угнетая трудящегося, господствующий строй морально унижает, истощает его, отдает его во власть самых низких инстинктов, душит естественное стремление возвыситься, которое заложено в нем. Я не отрицаю, что и дурные инстинкты заложены в человеке со дня рождения. Но я думаю, — мне хочется думать, — что эти инстинкты не единственные. Я думаю, что экономический строй нашей цивилизации не дает развиваться хорошим инстинктам настолько, чтобы они заглушили собой дурные, и что мы имеем право надеяться на то, что человек станет иным, когда все, что в нем заложено лучшего, будет иметь возможность свободно расцветать.

Леон приоткрыл дверь. Он подождал, пока Жак кончит свою фразу, и объявил равнодушным голосом:

— Кофе подано в кабинете.

Антуан обернулся.

— Нет, принесите его сюда... И будьте добры зажечь свет... Только верхний...

Электричество вспыхнуло. Белизна потолка оказалось вполне достаточно для того, чтобы по комнате разлился мягкий, приятный для глаз свет.

«Ну вот, — подумал Антуан, далекий от мысли, что на этой почве они с братом могли бы почти что сговориться, — здесь мы касаемся центрального пункта... Для этих наивных людей несовершенство человеческой натуры — лишь результат недостатков общественной системы; поэтому совершенно естественно, что они все свои безумные надежды строят на революции. Если бы только они видели вещи такими, каковы они есть... если бы только они захотели понять раз и навсегда, что человек — грязное животное и что тут уж ничего не поделаешь... Всякий социальный строй неизбежно вынужден отражать все самое худшее, что только есть в человеческой натуре... В таком случае — зачем же подвергаться риску всеобщего переворота?»

— Невероятная путаница, существующая в современном обществе, не только материального порядка... — начал было Жак глухо.

Появление Леона с подносом, на котором помещался кофейный прибор, прервало Жака на полуслове.

— Два куска сахара? — спросил Антуан.

— Только один. Благодарю.

Наступило минутное молчание.

— Все это... Все это... — пробурчал Антуан, улыбаясь, — скажу тебе откровенно, мой милый, все это — у-то-пии!..

Жак смерил его взглядом. «Он только что сказал «мой милый» совсем как отец», — подумал он. Чувствуя, как гнев вскипает в нем,

он дал ему выход, потому что это избавляло его от тягостного напряжения.

— Утопии? — вскричал он. — Ты как будто не желаешь считаться с тем, что существуют десятки тысяч серьезнейших умов, для которых эти «утопии» служат программой действий, умело продуманной, точно разработанной, и которые ждут только удобного случая, чтобы применить ее на деле. (Он вспоминал Женеву, Майнестреля, русских социалистов, Жореса.) Быть может, мы с тобой еще оба проживем достаточно долго, чтобы увидеть в одном из уголков земного шара непреложное осуществление этих утопий и присутствовать при зарождении нового общества!

— Человек всегда останется человеком, — проворчал Антуан. — Всегда будут сильные и слабые... Только это будут не те люди, вот и все. Сильные в основу своей власти положат другие учреждения, другой кодекс, чем наш... Они создадут новый класс сильных, новый тип эксплуататоров... Таков закон... А тем временем что станется со всем тем, что еще есть хорошего в нашей культуре?

— Да... — заметил Жак, как бы разговаривая сам с собой, с оттенком глубокой грусти, поразившей его брата. — Таким людям, как вы, можно ответить только огромным, чудесным экспериментом... До тех пор ваша позиция крайне удобна! Это позиция всех, кто чувствует себя прекрасно устроенным в современном обществе и кто хочет во что бы то ни стало сохранить существующий порядок вещей!

Антуан резким движением поставил свою чашку на стол.

— Но ведь я вполне готов признать другой порядок вещей! — воскликнул он с такой живостью, которой Жак не мог не отметить с удовольствием.

«Это уже кое-что, — подумал он, — если убеждения остаются независимыми от образа жизни».

— Ты не представляешь себе, — продолжал Антуан, — насколько я чувствую себя независимым, будучи вне каких-либо социальных условностей! Я едва ли настоящий гражданин!.. У меня есть мое ремесло: это единственное, чем я дорожу. Что касается всего остального — пожалуйста, организуйте мир как вам угодно вокруг моей приемной! Если вы находите возможным устроить общество, где не будет ни нищеты, ни расточительства, ни глупости, ни низких инстинктов, общество без несправедливостей, без продажности, без привилегированного класса, где основным правилом не будет закон джунглей — всеобщее взаимоедание, — тогда смелей, вперед! Я ничуть не отстаиваю капитализм! Он существует; я застал его при моем появлении на свет, я живу при нем уже в течение тридцати лет; вот я и привык к нему и принимаю его как должное и даже, когда могу, стараюсь использовать его... Однако я вполне могу обойтись без него! И если вы действительно нашли что-нибудь лучше, — слава тебе господи!.. Что касается меня, то я не требую ничего, кроме возможности делать то, к чему я призван. Я готов примириться с чем угодно, лишь бы вы не заставляли меня отказы-

ваться от задачи моей жизни. Тем не менее, — добавил он, улыбаясь, — как бы совершенен ни был ваш новый строй, даже если вам удастся идею братства сделать всеобщим законом, я сильно сомневаюсь, чтобы вам удалось сделать то же самое в отношении здоровья: всегда останутся больные, а следовательно, и врачи. Значит, ничего, по существу, не изменится в характере моих отношений с людьми... Лишь бы, — добавил он, подмигнув, — в своем социалистическом обществе ты оставил мне некоторую...

В передней раздался резкий звонок.

Антуан в недоумении прислушался.

Затем продолжал:

— ...некоторую свободу... Да, да! Условие *sine qua non*:<sup>1</sup> некоторую профессиональную свободу... Я подразумеваю: свободу мыслей и свободу действий, — со всем их риском, конечно, и со всей ответственностью, которую это за собой влечет...

Он умолк и снова прислушался.

Донесся звук отворяемой Леоном двери на лестницу, затем женский голос.

Антуан, опершись рукой о стол, готовый встать при первой надобности, уже принял профессиональную осанку.

Леон появился в дверях.

Он не успел еще и слова сказать, как вслед за ним в комнату быстро вошла молодая женщина.

Жак вздрогнул. Лицо его внезапно покрылось мертвенно бледностью: он узнал Женни де Фонтанен.

## XVIII

Женни не узнала Жака. Вероятно, она даже не взглянула на него, не заметила. Она направилась прямо к Антуану; в чертах ее лица была какая-то судорожная напряженность.

— Пойдемте скорей!.. Папа ранен...

— Ранен? — переспросил Антуан. — Опасно? Куда?

Женни подняла руку к виску.

Ее растерянный вид, ее жест, некоторые подробности из жизни Жерома де Фонтанена, известные Антуану, заставили его сразу же предположить драму. Попытка к убийству? К самоубийству?

— Где он?

— В гостинице... У меня есть адрес... Мама там, она вас ждет... Пойдемте!..

— Леон! — крикнул Антуан. — Предупредите Виктора... Скорей машину!

Он обернулся к молодой девушке:

— Вы говорите — в гостинице? Но почему же? Когда он был ранен?

<sup>1</sup> Необходимое условие (лат.).

Женни не отвечала. Она только что обратила внимание на присутствие третьего лица... Это был Жак!

Он потупил глаза. Он почувствовал взгляд Женни, как ожог на своем лице.

Они не встречались со времени памятного лета в Мезон-Лафите: целых четыре года!

— Сейчас! Я только захвачу инструменты! — крикнул Антуан на ходу, исчезая за дверью.

Как только она оказалась одна лицом к лицу с Жаком, Женни начала дрожать мелкой дрожью. Она упорно смотрела на ковер. Углы ее губ незаметно подергивались. Жак затаил дыхание, весь во власти волнения, представить себе которое он счел бы невозможным еще минуту назад. Оба одновременно подняли глаза. Взгляды их встретились: в них отражалось одинаковое недоумение, одинаковая тревога. В глазах Женни мелькнуло выражение ужаса, и она поспешила опустить веки.

Машинально Жак подошел ближе.

— Сядьте по крайней мере, — пробормотал он, подставляя ей стул.

Женни не двинулась с места. Она стояла выпрямившись в лучах света, падавшего с потолка. Тень от ресниц дрожала на ее щеках. На ней был строгий английский костюм, плотно облегавший ее фигуру и делавший ее выше и тоньше.

Влетел Антуан. Он был в визитке и в шляпе. Сзади него Леоннес две сумки с инструментами, которые Антуан раскрыл на столе, сдвинув приборы.

— Объясните же мне в чем дело... Автомобиль сейчас подадут... Как так ранен? Чем? Леон, живо, принеси мне коробку с компрессами...

Разговаривая таким образом, он из одной сумки вынул пинцет и две склянки, которые переложил в другую. Он торопился, но все движения его были рассчитаны и точны.

— Мы ничего не знаем... — пролепетала Женни, бросившаяся к Антуану, как только он вернулся. — Пуля из револьвера...

— Вот оно что! — заметил Антуан, не поворачивая головы.

— Мы даже не знали, что он в Париже... Мама думала, что он все еще в Вене...

Голос у нее был глухой, взъерошенный, но твердый. В своем смятении она все же была полна энергии и мужества.

— Нам дали знать из гостиницы, где он находится. Полчаса тому назад... Мы взяли первую попавшуюся машину... Мама высадила меня здесь, проезжая мимо; она не хотела ждать, боялась, что...

Женни не докончила фразы. Вошел Леон с никелированной коробкой в руках.

— Прекрасно! — сказал Антуан. — Теперь вперед! Где эта гостиница?

— Фридландское авеню, двадцать семь «а».

— Ты поедешь с нами! — произнес Антуан, обращаясь к Жаку. Тон был скорее повелительный, чем просительный. Антуан добавил: — Ты можешь нам быть полезен.

Жак, ничего не отвечая, смотрел на Женни. Она глазом не моргнула, но ему почудилось, что она не протестует против того, чтобы он ехал с ними.

— Проходите вперед, — сказал Антуан.

Автомобиль еще не был выведен из гаража. Фары бросали во двор ослепительные лучи света. Пока Виктор поспешно закрывал крышку мотора, Антуан помог Женни усесться в машину.

— Я сяду впереди, — заявил Жак и занял место рядом с шофером.

До площади Согласия доехали очень быстро. Но на Елисейских полях оживленное движение заставило шофера уменьшить скорость.

Антуан, сидевший в глубине рядом с Женни, уважая ее молчание, не нарушал его. Он без ложного стыда смаковал настоящую минуту — хорошо знакомую ему минуту ожидания, напряжения энергии, подготовляющую к тому, что будет после, когда придется проявлять инициативу, нести ответственность. Рассеянным взглядом он смотрел в окно.

Женни, отодвинувшись в самый дальний угол, избегая малейшего прикосновения, тщетно пыталась удержать охватившую ее дрожь: она вся с ног до головы трепетала, как задетая струна.

С того момента, как грум из гостиницы, совершенно неизвестный, впущенный в дом не без некоторых опасений, объявил зычным голосом, что «господин из номера девять пустил себе пулю в лоб», до самого своего приезда на Университетскую улицу в такси, где они с матерью без слов, без единой слезинки нервно держали друг друга за руку, все мысли Женни были поглощены раненым. Но, внезапно увидев Жака, — а ее это словно громом поразило, — она забыла думать об отце... Прямо перед ней была эта коренастая спина, на которую она старалась не смотреть, — но все равно, он был здесь, и это неоспоримое присутствие словно парализовало все ее силы!.. Стиснув зубы, она прижимала к себе левый локоть, чтобы заглушить биение сердца, и упрямо смотрела под ноги. В эту минуту она была совершенно не способна разобраться в своих чувствах. Но она отдавалась им, в одно мгновение с бешеною силой захваченная драмой всей своей жизни, драмой, от которой она чуть не умерла и от которой она считала себя навсегда избавленной.

Резкое торможение заставило ее поднять голову. Автомобиль внезапно остановился на площади, чтобы пропустить военизированную манифестацию.

— Как раз когда спешишь... — проворчал Антуан, обращаясь к Женни.

Батальон молодых людей сомкнутыми рядами, размахивая фонариками, двигался размежеванным шагом вслед за оркестром и распевал во всю глотку воинственный марш. Справа и слева, сдерживающаяся блюстителями порядка, густая толпа приветствовала горланов и снимала шапки при проходе знамени.

Шофер, убедившись в том, что Жак не снял шляпы, также не дотронулся до своего кепи.

— Конечно, — рискнул он заметить, — в этих кварталах только им и разгуливать. — И, ободренный пренебрежительным жестом Жака, добавил: — В моих краях, в Бельвиле,<sup>1</sup> им пришлось откастаться от такого балагана!.. Каждый раз это кончалось побоищем...

К счастью, шествие, направлявшееся к площади Согласия, повернуло налево, освободив проезд по авеню д'Антен.

Несколько минут спустя автомобиль уже мчался вверх по склонам предместья и въезжал на Фридландское аvenir.

Антуан заранее открыл дверцу. Как только машина остановилась, они выскочили. Женни с трудом оторвалась от сиденья: избегая руки, поданной ей Антуаном, она сама сошла на тротуар. Остановившись на секунду, ослепленная яркой полосой света, падавшего из дверей гостиницы на мостовую, Женни почувствовала, что не в силах двинуться с места; у нее кружилась голова, и она чуть не упала.

— Идите за мной, — сказал Антуан, слегка дотронувшись до ее плеча. — Я пройду вперед.

Она выпрямилась и бросилась вслед за ним. «Где он?» — думала она, не рискуя обернуться назад. (Даже здесь, даже в эту минуту она думала не об отце.)

Отель «Вестминстер» был одним из тех пансионов для иностранцев, какие часто встречаются в районе площади Этуаль. Небольшой вестибюль был ярко освещен. В глубине, за стеклянной перегородкой, помещался салон в виде галереи, где группы людей, усевшихся за столиками, играли в карты и курили под звуки рояля, спрятанного среди зеленых растений.

При первых словах Антуана портье сделал знак дородной особе, затянутой в черное атласное платье, которая тотчас же вышла из-за кассы и, ни слова не говоря, с крайне нелюбезным видом проводила их до лифта. Дверца захлопнулась. Тут только Женни с огромным облегчением заметила, что Жак не поднимается с ними.

Не успев опомниться, она очутилась на площадке одного из этажей, прямо перед своей матерью.

Черты лица г-жи де Фонтанен сильно изменились и точно окаменели. Женни прежде всего заметила, что шляпа у нее совсем

<sup>1</sup> Один из рабочих районов Парижа.

съехала набок; этот необычный беспорядок туалета взволновал ее больше, чем скорбный взгляд матери.

Г-жа де Фонтанен держала в руках распечатанный конверт. Она схватил Антуана под руку.

— Он здесь... Идемте! — говорила она, быстро увлекая его по коридору.

— Полиция только что ушла... Он еще жив... Надо его спасти... Отельный врач говорит, что его нельзя двигать с места.

Г-жа де Фонтанен обернулась к Женни; ей хотелось избавить дочь от мучительного свидания с раненым отцом.

— Подожди нас здесь, милая.

При этом она передала ей конверт, который держала в руке. Это было письмо, найденное на полу, около револьвера; адрес, указанный на нем, дал возможность администрации гостиницы немедленно отправить грума на улицу Обсерватории.

Женни, оставшись одна на площадке лестницы, пыталась при слабом свете лампы разобрать записку, нацарапанную отцом. Ее имя — «Женни», — написанное в последних строках, бросилось ей в глаза:

«Да простит меня моя Женни. Я никогда не умел выказать ей всю мою нежность».

Руки ее дрожали. Чтобы справиться с нервной дрожью, сотрясавшей ее тело до кончиков пальцев, Женни тщетно пыталась напрячь все свои мускулы; ей хотелось прочесть все с начала до конца.

«Тереза! Не судите меня слишком строго. Если бы вы знали, как я страдал, прежде чем дошел до этого! Как мне вас жаль! Друг мой, сколько я причинил вам горя! Вам — такой благородной, такой доброй! Мне стыдно, за добро я всегда платил вам только злом. А между тем я любил вас, друг мой. Если бы вы знали! Я люблю вас, я всегда любил только вас...»

Слова прыгали перед глазами Женни, но глаза оставались сухими, пылающими, и она ежеминутно отрывала их от письма, чтобы метнуть беспокойный взгляд в сторону лифта. Женни не могла ни о чем думать, кроме того, что Жак находится поблизости. Страх перед внезапным его появлением был так велик, что она не могла сосредоточить своего внимания на трагических строках записи, нацарапанных карандашом поперек страницы, в которых ее отец в последнюю минуту перед смертью, прежде чем совершить роковой поступок, оставил след своей последней мысли о ней: «Да простит меня моя Женни...»

Она искала взглядом уголок, где могла бы спрятаться... Поблизости ничего не было... Подальше, в углу, стоял диванчик. Шатаясь,

она добралась до него и села. Она не пыталась разобраться в своих чувствах. Она была слишком утомлена. Ей хотелось умереть здесь, сейчас же, чтобы разом покончить со всем и избавиться от самой себя.

Но она не владела своими мыслями. Прошлое воскресало в памяти, и яркие картины проходили перед ее глазами, как фильм, прокручиваемый со сказочной быстротой... Непонятное начиналось для нее с конца лета 1910 года, проведенного в Мезон-Лафите. В то время, когда Жак, по всей видимости, с каждым днем все больше влюблялся, все более настойчиво стремился покорить ее; в то время, когда она сама с каждым днем все больше пугалась своего возрастающего смятения и своего желания уступить ему, — внезапно, без всякого предупреждения, ни строчки не написав ей, ничем не объяснив оскорблении, наносимого ей такой переменой, Жак перестал бывать у них... А потом, однажды вечером, Антуан вызвал Даниэля к телефону и сообщил, что Жак исчез. С этой минуты начались ее терзания. Что послужило причиной бегства или, может быть, хуже того — самоубийства? Какую тайну этот необузданый юноша унес с собой?.. Изо дня в день в течение всего октября месяца этого памятного 1910 года, полная тревоги, она следила за бесплодными поисками Антуана и Даниэля, пытавшихся напасть на след беглеца, и никто вокруг нее, даже мать, не подозревал о ее страданиях... Так продолжалось в течение многих месяцев... В полном молчании и душевном смятении, не имея даже поддержки в настоящем религиозном чувстве, она билась одна в этой тяжелой атмосфере неразгаданной загадки. Упорно скрывала она не только свое отчаяние, но и физические недомогания, вызванные потрясением всего организма после такого шока... Наконец, после года с лишним молчаливой борьбы, после того как силы то восстанавливались, то снова падали, наступило душевное успокоение. Теперь оставалось только позаботиться о теле. Доктора отправили ее на целое лето в горы, а с наступлением первых холодов — на юг... Именно в Провансе прошлой осенью она узнала из письма Даниэля к матери, что Жак отыскался, что он живет в Швейцарии, что он приезжал в Париж на похороны г-на Тибо. В течение нескольких недель после этого она находилась в сильном возбуждении, но потом оно само собой углеглось, и настолько быстро, что она тогда действительно поверила в свое выздоровление: между нею и Жаком все было кончено, ничего не оставалось... Так она думала. А сегодня вечером, в самый трагический час ее жизни, он вдруг снова предстал перед ней со своими бегающими зрачками, со своим недобрым лицом!..

Она продолжала сидеть, нагнувшись вперед, не спуская испуганного взгляда с пролета лестницы. Мысли ее неслись вихрем... Что ждет ее впереди? Случайная встреча, внезапное столкновение скрестившихся взглядов — было ли этого достаточно, чтобы всколыхнуть весь осадок прошлого, чтобы в один час уничтожить физическое и моральное равновесие, с таким трудом достигнутое ею в течение нескольких лет?

По знаку Антуана Жак остался внизу, в вестибюле.

Особа в черном атласном платье снова заняла свое место за кассой и время от времени бросала на Жака недружелюбные взгляды поверх своего пенсне. Скрытый в глубине оркестр, состоявший из рояля и жалкой скрипки, старательно наигрывал танго для одной единственной пары, танцующих, мелькавшей за стеклянной перегородкой. В столовой запоздалая публика кончала обедать. Из буфетной доносился звон посуды. Лакеи сновали взад и вперед с подносами в руках. Проходя мимо кассирши, они объявляли негромким голосом: «Одну бутылку «Эвиана»<sup>1</sup> в третий номер», «Счет десятому номеру», «Два кофе в двадцать седьмой».

Горничная сбежала с лестницы. Кончиком своего пера особа в черном платье указала ей на Жака.

Горничная подала ему записку от Антуана:

Протелефонируй доктору Эке, чтобы он срочно приехал в Пасси. 09—13.

Жак попросил провести его к телефонной будке. В трубку он услышал голос Николь, но не назвал себя.

Эке был дома. Он подошел к телефону.

— Выезжаю. Через десять минут буду на месте.

Кассирша ждала около дверцы телефонной будки. Все, что имело отношение к «этому дураку из девятого номера», казалось ей подозрительным: даже больной обычно является нежелательным постояльцем в гостинице, а что же говорить о самоубийце?..

— Понимаете, подобные дела в таком почтенном заведении, как наше... Мы не можем... категорически не можем... Необходимо немедленно...

В эту минуту Антуан появился на лестнице. Он был один и без шляпы. Жак бросился к нему.

— Ну, что?

— Он без сознания... Ты звонил по телефону?

— Эке сейчас приедет.

Особа в черном платье решительно набросилась на них:

— Вы, может быть, домашний врач этой семьи?

— Да.

— Мы ни в коем случае не можем держать его здесь, понимаете?.. В такой гостинице, как наша... Необходимо перевезти его в больницу...

Антуан, не обращая на кассиршу никакого внимания, увлек брата в другой конец вестибюля.

— Что же случилось? — расспрашивал Жак. — Почему он решил покончить с собой?

— Понятия не имею.

— Он жил здесь один?

<sup>1</sup> Сорт минеральной воды.

- Кажется.  
— Ты сейчас поднимешься обратно?  
— Нет. Подожду Эке, чтобы переговорить с ним. Давай сядем.  
Но, едва усевшись, Антуан снова вскочил.  
— Где телефон? — Он внезапно вспомнил об Анне. — Следи за входной дверью. Я сейчас вернусь.

Анна лежала на диване в темноте, с открытыми окнами и спущенными шторами. Услышав телефонный звонок, она инстинктивно почувствовала, что Антуан не придет. Она слушала его объяснения, но они как-то не доходили до ее сознания.

— Вы меня поняли? — спросил он, удивленный ее молчанием.  
Она не в состоянии была ответить. Спазма сжимала ей горло, душила ее. Сделав над собой усилие, она прошептала:

— Не может быть, Тони!

Голос был такой глухой, такой изменившийся, что Антуан невольно сдержался на минуту, прежде чем дать волю своему раздражению.

— Что не может быть? Раз я вам говорю... Он без сознания... Я жду хирурга!

Пальцы Анны судорожно сжимали телефонную трубку, и она боялась вымолвить слово, чтобы не разрыдаться.

Антуан терпеливо ждал.

— Где ты находишься? — наконец спросила она.

— В гостинице... Недалеко от плещади Этуаль.

Она повторила, как слабое эхо:

— Плещадь Этуаль!.. — После бесконечно долгих колебаний, она, наконец, вымолвила: — Но ведь это совсем рядом... Совсем близко от меня, Тони!..

Он усмехнулся:

— Да, недалеко...

Она уловила улыбку в тоне его голоса, и надежды ее сразу ожили.

— Я знаю, о чем ты думаешь, — сказал Антуан, продолжая улыбаться. — Но повторяю тебе, что мне придется провести здесь всю ночь... Было бы благоразумнее, если бы ты спокойно вернулась к себе домой.

— Нет, — произнесла она быстро и глухо. — Нет, я не тронусь с места! — И после минутного колебания прошептала: — Я буду ждать тебя...

Она откинулась назад, отстранила трубку от лица и глубоко вздохнула. Издали аппарат прохрипел ей в ответ:

— ...если мне удастся вырваться, — хорошо... но не слишком на это рассчитывай... До свиданья, дорогая.

Она живо приблизила телефон к своему уху. Но Антуан уже повесил трубку.

Тогда она снова растянулась на диване и лежала так, неподвижно, вся напряженная, вытянув ноги, уставившись в одну точку и все еще прижимая к щеке телефонную трубку.

— Г-жа де Фонтанен действительно замечательная женщина, — сказал Антуан задумчиво, усаживаясь рядом с Жаком после телефонного разговора. Он помолчал, затем заговорил снова: — Разве ты не виделся с Женни... с тех пор? — Он живо вспомнил исчезновение брата, появление «Сестренки» и все, что в свое время ему удалось разузнать из этой смутной истории.

Жак, нахмутившись, отрицательно покачал головой.

В эту минуту у подъезда гостиницы остановился автомобиль. Фигура Эке показалась на нижних ступеньках лестницы. За ним шла его жена. Николь так никогда и не могла простить дяде Жерому: она считала его виновником дурного поведения своей матери, и теперь скандальная история казалась ей справедливой карой судьбы. Но в этот час тяжелых испытаний она не хотела покидать свою тетку Терезу и Женни.

Эке на минуту задержался на пороге. Его острый взгляд из-за пенсне быстро оглядел вестибюль. Он увидел Антуана, шедшего к нему навстречу, но не узнал Жака, который умышленно оставался в тени.

Антуан не встречался с Николь с того самого вечера, который предшествовал смерти ее дочурки. (Он знал, что вскоре после этого Николь родила мертвого ребенка, что роды были очень тяжелые и навсегда искалечили ее тело и душу.) Она очень похудела; юношеское, доверчивое выражение лица совершенно исчезло. Она протянула Антуану руку. Взгляды их встретились, и черты лица Николь слегка передернулись: образ Антуана был для нее неразрывно связан с самыми мучительными воспоминаниями... И вот сейчас ей опять пришлось встретиться с ним в трагической атмосфере новой драмы...

Антуан, тихо разговаривая с хирургом, проводил его с женой до лифта. Прежде чем они все исчезли в застекленной кабинке, Жак издали увидел, как его брат прижал палец к виску, у самого корня волос.

Особа в черном платье выскочила из-за своей кассы:

— Это родственник?

— Нет, хирург.

— Надеюсь, они не вздумают оперировать его здесь!

Жак повернулся к ней спиной.

Музыка кончилась. В столовой потушили свет. Автобус привез с вокзала молодую молчаливую парочку: это были, по-видимому, англичане; их прекрасные чемоданы сверкали новизной.

Прошло не более десяти минут, как вдруг снова появилась горничная и передала Жаку вторую записку от Антуана:

Телефонирай в клинику Бодран, Нейи, 54—03, от имени Эке. Пусть немедленно пришлют карету скорой помощи для лежачего больного и готовят операционную.

Жак сейчас же исполнил поручение брата.

Выходя из телефонной будки, он наткнулся на кассиршу, стоявшую у двери. С видимым облегчением она любезно улыбнулась ему.

Жак заметил Антуана и Эке, шедших к выходу через вестибюль. Хирург направился к автомобилю и уехал один.

Антуан вернулся к Жаку.

— Эке хочет попытаться извлечь пулю сегодня же ночью. Это единственный шанс...

Жак вопросительно смотрел на брата. Антуан поморщился.

— Черепная коробка глубоко продавлена. Будет чудо, если он выкарабкается из этой истории... Теперь вот что, — продолжал Антуан, направляясь к письменному столу, находящемуся у входа в галерею. — Госпожа де Фонтанен просит известить Даниэля, находящегося в Люневиле. Тебе нужно будет отнести телеграмму в какое-нибудь почтовое отделение, открытое ночью, например около Биржи.

— Дадут ли ему отпуск? — усомнился Жак.

«При создавшемся положении, — думал он, — да еще из пограничного гарнизона...»

— Конечно! А почему бы нет? — возразил Антуан, не понимая.

Он уже сел за стол и начал составлять текст телеграммы. Но передумал и скомкал исписанный лист.

— Нет... Лучше обратиться прямо к полковнику. Это будет вернее. — Он взял другой лист бумаги и начал писать, повторяя вслух: «Прошу вас... настоятельно... срочно разрешить... отпуск... сержанту Фонтанену... отец которого...» Кончив, он встал.

Жак послушно взял от него телеграмму.

— Мы встретимся в клинике. Где она находится?

— Если хочешь... бульвар Бино, четырнадцать... Но стоит ли? — добавил он, подумав. — Не лучше ли тебе ехать домой, старина, и хорошенько выспаться... (Он чуть было не прибавил: «Где ты остановился? Не хочешь ли перебраться ко мне на Университетскую улицу?», но воздержался.) Позвони мне по телефону завтра утром до восьми часов; я сообщу тебе обо всем, что случилось за ночь.

Жак уже направился к выходу, когда Антуан снова окликнул его:

— Тебе следовало бы дать также телеграмму самому Даниэлю, указав ему адрес клиники.

## XIX

Время близилось к полуночи, когда Жак вышел из почтового отделения у Биржи.

Мысли его были заняты Даниэлем; он представлял себе своего друга распечатывающим телеграмму, только что посланную ему

и подписанную: «Доктор Тибо». Жак в нерешительности остановился посреди тротуара, устремив невидящий взгляд на ярко освещенную пустынную площадь. Все тело его слегка поламывало, как перед началом болезни; у него кружилась голова. «Что это со мной?» — подумал он.

Он заставил себя подтянуться. Выпрямился и перешел улицу. Хотя воздух уже не был так неподвижен, но ночь все же оставалась очень теплой. Жак побрел вперед без определенной цели. «Что со мной? — вторично задал он себе вопрос. — Женни?» Образ девушки, бледной и тоненькой в своем строгом синем костюме — такой, какой он внезапно увидел ее после стольких лет разлуки, — вновь предстал перед ним. Всего лишь на одно мгновение; он тотчас же без особого усилия отогнал его прочь.

По улице Вивьен Жак дошел до бульвара Пуассонье и тут остановился. Бульвары, в течение дня остававшиеся почти совершенно пустынными, в этот воскресный летний вечер начинали понемногу оживляться, но всего лишь на какой-нибудь час: публика покидала театральные залы и заполняла террасы кафе. Открытые такси вихрем неслись к Опере. Поток толпы двигался по тротуарам в сторону западных районов. Девицы легкого поведения, кокетливо-задорные под своими большими шляпами с цветами, направлялись против течения к Сен-Мартенским воротам, откровенно заглядывая в лицо одиноким мужчинам.

Прислонившись к ларьку на углу улицы, Жак наблюдал, как мимо него вереницей проходили все эти ослепленные люди. Заблуждение, в котором находился Антуан, несомненно было всеобщим. Был ли среди этих радостно настроенных прохожих хоть один человек, догадывавшийся о той ловушке, в которую Европа уже попалась? Никогда еще Жак не постигал с такой остротой, что судьба миллионов беспечных людей находится в руках нескольких человек, выбранных совершенно случайно, людей, которым народы по глупости вверяют заботу о своей безопасности.

Газетчик, шлепая старыми туфлями, кричал не слишком убедительно:

— Второй выпуск... «Liberté»... «Presse».<sup>1</sup>

Жак купил газеты, просмотрел их при свете фонаря: «Процесс Кайо... Путешествие г-на Пуанкаре... По Сене вплавь через весь Париж... Соединенные Штаты и Мексика... Драма на почве ревности... Велосипедные гонки вокруг Франции... Финансовый бюллетень...» Больше ничего.

Воспоминание о Женни снова ожило в нем. Внезапно Жак решил ускорить свой отъезд на два дня: «Завтра же уеду в Женеву». Это решение принесло ему неожиданное облегчение.

«А что, если зайти в «Нима»? — подумал он и почти весело направился на улицу Круассан.

<sup>1</sup> «Свобода», «Печать» (франц.).

В квартале, где в этот поздний час фабриковалось большинство утренних газет, кипела жизнь. Жак проник в этот муравейник. Ярко освещенные бары и кафе были переполнены. Царивший в них шум доносился на улицу через открытые окна и двери.

Перед редакцией «*Humanité*» небольшое сбираще людей загораживало вход. Жак обменялся рукопожатиями. Здесь комментировалось сообщение, которое Ларге только что передал патрону:<sup>1</sup> на днях во Французский банк был, по слухам, сделан чрезвычайный вклад в четыре миллиарда золотом (это называлось «военным резервом»).

Вскоре группа разбрелась в разные стороны. Кто-то предложил закончить вечер в кафе «Прогресс», находившемся всего в нескольких шагах на улице Сантье; там социалисты, жаждущие новостей, всегда могли рассчитывать на встречу с редактором газеты. (Те, кто не посещал «Прогресса», отправились в «Круассан», на улицу Монмартр, или в «Кружку пива», на улицу Фейдо.)

Жака пригласили выпить пива в кафе «Прогресс». Он уже имел доступ на эти сбираща и всегда встречал там друзей. Было известно, что он приехал из Швейцарии с поручением. К нему относились с почтительным вниманием, старались осведомлять его обо всем, чтобы облегчить ему задачу; однако, несмотря на свое доверие и товарищеское отношение к нему, многие из этих активных работников партии, вышедшие из рабочего класса, считали Жака «интеллигентом» и «сочувствующим», который по существу не был «своим».

В «Прогрессе» они расположились в довольно обширном зале с низким потолком, на антресолях, куда управляющий кафе, член партии, пускал только постоянных посетителей. В этот вечер здесь собралось человек двадцать различного возраста, сидевших за непрятными мраморными столиками, в атмосфере, насыщенной табачным дымом и кисловатым запахом пива. Обсуждалась статья Жореса, появившаяся утром, о роли Интернационала в случае войны.

Здесь присутствовали Кадьё, Марк Левуар, Стефани, Берте и Рабб. Они окружили бородатого великана, белокурого и краснощекого немца — социалиста Тацлера, которого Жак встречал в Берлине. Тацлер утверждал, что эта статья будет перепечатана и комментирована во всей германской прессе. По его мнению, речь, произнесенная недавно Жоресом в палате, чтобы оправдать отказ французских социалистов отпустить кредиты на поездку президента в Россию, речь, в которой Жорес заявил, что Франция не намерена «быть вовлеченою в авантюру», получила широкую огласку по ту сторону Рейна.

— Во Франции тоже, — сказал Рабб, бывший типографский рабочий, бородатый, с причудливо шишковатым черепом. — Именно эта речь побудила Сенскую Федерацию<sup>2</sup> голосовать за предложение всеобщей забастовки в случае угрозы войны.

<sup>1</sup> Имеется в виду Жорес, редактор «*Humanité*».

<sup>2</sup> Федерация — департаментский комитет партии.

— А как ваши немецкие рабочие? — спросил Кадьё. — Будут ли они готовы, достаточно ли они дисциплинированы, чтобы провести забастовку без рассуждений, если бы ваша социал-демократическая партия в принципе на нее согласилась и отдала бы приказ ее осуществить перед угрозой мобилизации?

— Могу задать тебе тот же самый вопрос, — возразил Тацлер, смеясь своим искренним, простодушным смехом. — В день мобилизации будет ли ваш рабочий класс во Франции достаточно дисциплинирован, чтобы?..

— Я думаю, что это будет в значительной мере зависеть от поведения немецкого пролетариата, — заметил Жак.

— А я отвечу: да! Без малейшего сомнения! — оборвал его Кадьё.

— Неизвестно! — сказал Рабб. — Я склонен скорее сказать: нет!

Кадьё пожал плечами.

(Это был длинный, худой, нескладный малый. Его можно было встретить повсюду — в секциях, в комитетах, на Бирже труда, во Всеобщей конфедерации труда, в редакциях, в приемных министерств, — всегда на бегу, всегда спешащий, неуловимый. Он обычно мелькал где-нибудь в дверях, и когда его начинали искать, он уже исчезал; он был из тех людей, которых обычно узнают в лицо слишком поздно, когда они уже прошли мимо.)

— Да, нет, — заметил Тацлер, смеясь во весь рот. — Ну так вот и у нас — gerade so!<sup>1</sup> А знаете что? — внезапно заявил он, делая страшные глаза. — В Германии очень обеспокоены тем, что ваш Пуанкаре посетил царя.

— Черт возьми! — буркнул Рабб. — Это был действительно не совсем удачный момент. Мы как будто бы хотели показать всему миру, что официально поощряем панславизм!

Жак заметил:

— Это в особенности бросается в глаза при чтении наших газет: вызывающий тон, каким во французской прессе комментируется это путешествие, поистине невыносим!

— А знаете что? — продолжал Тацлер. — Ведь это присутствие Вивани,<sup>2</sup> министра иностранных дел, заставляет думать, что в Петербурге происходит дипломатический сговор против германизма... У нас прекрасно известно, что именно Россия заставила Францию издать закон о трехлетнем сроке военной службы. С какой целью? Панславизм все более и более угрожает Германии и Австрии.

— А между тем дела в России обстоят неважно, — сказал Миланов, который только что вошел и сел рядом с Жаком. — Здешние газеты почти ничего об этом не пишут. А вот Праздновский, только что приехавший оттуда, привез интересные сведения. Забастовка на-

<sup>1</sup> Совершенно то же самое (нем.).

<sup>2</sup> Вивани, Рене (1863—1925) — премьер-министр Франции с июня 1914 по октябрь 1915 г. В июне — августе 1914 г. занимал также пост министра иностранных дел.

чалась на Путиловском заводе и оттуда быстро распространяется. Третьего дня, в пятницу, было уже около шестидесяти пяти тысяч забастовщиков в одном только Петербурге. Шли уличные бои! Полиция стреляла, и было много убитых. Даже женщин и девушек!

Фигурка Женни в синем костюме мелькнула перед мысленным взором Жака и вновь исчезла. Чтобы сказать что-нибудь и отогнать волнующий образ, он спросил у русского:

— Разве Праздновский здесь?

— Ну да, он приехал сегодня утром. Уже целый час сидит, зачерпившись с патроном... Я его жду... Хочешь его подождать со мной?

— Нет, — ответил Жак. И снова его охватил приступ болезненной, лихорадочной тревоги. Сидеть здесь неподвижно, в этой насквозь прокуренной комнате, пережевывая все одни и те же вопросы стало ему вдруг невыносимо. — Уже поздно. Мне пора уходить.

Но на улице ночной мрак и одиночество показались ему еще более тяжелыми, чем общество товарищей. Ускоряя шаг, он направился к своей гостинице. Он жил на углу улицы Бернардинцев и набережной Турнель, по ту сторону Сены, около площади Мобер, в меблированных комнатах, которые содержал социалист-бельгиец, старый приятель Ванхеде. Не обращая ни на что внимания, Жак проbralся сквозь ночную сутолоку Центрального рынка, затем пересек площадь Ратуши, огромную и безмолвную. Часы показывали без четверти два. Это был тот подозрительный час, когда перекрещаются пути запоздавших мужчин и женщин, которые принюхиваются друг к другу в ночи, словно кобели и суки.

Жаку было жарко и хотелось пить. Все бары были закрыты. Помурив голову и волоча отяжелевшие ноги, он шел по набережной, стремясь скорее добраться до постели и найти забвение в сне. Там где-то Женни, должно быть, дежурила у изголовья отца. Жак старался об этом не думать.

— Завтра, — прошептал он, — в это самое время меня уже здесь не будет.

Он ощупью поднялся по лестнице, кое-как отыскал в темноте свою комнату, выпил глоток тепловой воды из кувшина, разделся, не зажигая свечи, и, бросившись на постель, почти мгновенно заснул.

## XX

Операция, сделанная в присутствии Антуана, не могла быть вполне закончена. Эке надрезал края раны, приподнял раздробленные кости, осколки которых глубоко вонзились в мозговую ткань, и даже собирался произвести трепанацию черепа. Но так как состояние больного не позволяло продолжить поиски, оба врача были вынуждены отказаться от мысли найти пулю.

Они решили предупредить об этом г-жу де Фонтанен. Однако из сострадания к ней они утверждали, — что, впрочем, было не так уж далеко от истины, — что операция дала больному некоторые

шансы на сохранение жизни; если положение улучшится, явится возможность вновь предпринять поиски пули и извлечь ее. (Они не признались лишь в том, насколько сомнительным казался им успех.)

Было два часа ночи, когда Эке с женой решились покинуть клинику. Г-жа де Фонтанен настояла на том, чтобы Николь с мужем вернулись домой.

Жерома перенесли в палату на третьем этаже; при нем была сиделка.

Чтобы не покидать обеих женщин в одиночестве, Антуан предложил остаться с ними на ночь в больнице. Все трое расположились в маленькой приемной, смежной с комнатой, где лежал Жером. Двери и окна были раскрыты настежь. Вокруг царила тревожная ночная тишина, присущая больницам: за каждой стенкой угадывалось присутствие измученного тела, которое мечется, вздыхает, отсчитывая час за часом и не получая облегчения.

Женни уселась в стороне, на диване, помещавшемся в глубине комнаты. Скрестив на коленях руки, выпрямившись и опираясь затылком на спинку дивана, она закрыла глаза и казалась спящей.

Г-жа де Фонтанен пододвинула свое кресло поближе к Антуану. Она не виделась с ним больше года. Тем не менее первой ее мыслью при известии о самоубийстве Жерома было обратиться к доктору Тибо. И он откликнулся. По первому зову он пришел сюда, верный себе, энергичный и преданный.

— Я еще не видела вас со времени печального события в вашей семье, — заговорила внезапно г-жа де Фонтанен. — Вам пришлось пережить тяжелые минуты, я знаю... Я много думала о вас. Молилась за вашего отца... — Она умолкла: ей вспомнилась ее единственная встреча с г-ном Тибо во время побега обоих мальчиков. Каким он выказал себя тогда жестоким, несправедливым!.. Она прошептала: — Мир праху его!..

Антуан ничего не ответил. Наступило молчание.

Люстра, вокруг которой носились мушки, заливала безжалостно ярким светом фальшивую роскошь оружающей обстановки: золоченные завитушки стульев, зеленое растение, чахлое и разукрашенное лентами, водруженное посередине стола в голубой фаянсовой вазе, скрывавшей глиняный горшок. Изредка приглушенный звонок слабо дребезжал в конце коридора. Тогда по кафельному полу раздавались шаркающие шаги сиделки и где-то тихо отворялась и затворялась дверь; иногда издали слышался чей-то стон, звон фарфоровой посуды, а затем вновь наступала тишина.

Г-жа де Фонтанен, наклонившись к Антуану, прикрывала своей маленькой пухлой ручкой усталые глаза, которые раздражал яркий свет.

Она принялась шепотом рассказывать Антуану о Жероме, пытаясь объяснить довольно бессвязно то, что ей было известно о запутанных делах мужа. Ей не пришлось делать над собой никаких

усилий для того, чтобы предаваться такому размышлению вслух: она всегда относилась к Антуану с полным доверием.

Антуан, также наклонившись к ней, внимательно слушал. Время от времени он поднимал голову. Тогда они обменивались понимающим, серьезным взглядом. «Как она хорошо держится», — говорил он себе. Он глубоко ценил в ней то спокойствие, то достоинство, с каким она переносила свое горе, а также то естественное обаяние, которое примешивалось к мужественным чертам ее характера. «Отец был только буржуа, — размышлял Антуан, — она — настоящая патрицианка».

Однако он не пропустил ни одного слова из ее рассказа. И постепенно ему удавалось восстановить этапы бурного жизненного пути, приведшего Фонтанена к смерти.

Жером примерно уже около полутора лет состоял на службе в какой-то английской компании, главное управление которой находилось в Лондоне и которая занималась эксплуатацией лесов в Венгрии. Фирма была солидная, и г-жа де Фонтанен в течение нескольких месяцев могла думать, что муж ее, наконец, прочно устроился. По правде говоря, она так и не могла вполне уяснить себе, каковы были обязанности Жерома. Большую часть своего времени он проводил в спальных вагонах между Веной и Лондоном, с короткими остановками в Париже. В таких случаях он заходил провести вечер на улице Обсерватории, таская за собой портфель, набитый какими-то бумагами; он был преисполнен важности, но вместе с тем в прекрасном настроении, весел, игрив и осыпал семью доказательствами своего внимания, которые оставляли всех домашних совершенно очарованными. (Но несчастная женщина не говорила, что по некоторым признакам она убедилась в том, что муж ее содержал двух дорого стоивших ему любовниц — одну в Австрии, другую в Англии.) Во всяком случае создавалось впечатление, что он хорошо зарабатывает. Он даже намекал на то, что его положение должно еще улучшиться и что в скором времени он будет иметь возможность оказывать щедрую материальную поддержку жене и дочери. Ибо за последние годы г-жа де Фонтанен и Женни жили исключительно на средства Даниэля. (Признаваясь в этом, г-жа де Фонтанен испытывала одновременно и стыд за беспечность мужа и гордость за самоотверженность сына.)

Даниэль, по счастью, получал очень приличный гонорар за сотрудничество в художественном журнале Людвигсона. Обстоятельства чуть было не испортились в тот момент, когда Даниэлю пришлось уехать в полк. Но великодушный и предусмотрительный Людвигсон, чтобы обеспечить себе возвращение сотрудника после освобождения от военной службы, обязался выдавать ему во время отсутствия уменьшенное, но регулярное месячное жалованье. Таким образом г-жа де Фонтанен и Женни, несмотря ни на что, имели все самое необходимое. Жером все это прекрасно знал. Он даже немало говорил на эту тему. Со своей обычной моральной невменяемостью он принимал как должное тот факт, что содержание дома целиком

падало на сына, но с непринужденностью вельможи требовал, чтобы ему представляли точные цифры полученных от Даниэля денег, и не упускал случая высказать сыну свою благодарность. Впрочем, он делал вид, что считает эту денежную помошь лишь временною ссудой, выдаваемой ему сыном, которую он возместит при первой возможности. Для окончательного расчета он — по его словам — предпочитал подождать, чтобы эта сумма округлилась, и добросовестно подводил итог этого долга, о чём он время от времени ставил в известность Терезу и Даниэля, вручая им отпечатанную на машинке выписку в двух экземплярах, где сложные проценты были вычислены очень щедро... По той наивной манере и разочарованному тону, каким г-жа де Фонтанен сообщала эти подробности, было невозможно угадать, отдает ли она себе отчет в недобросовестности Жерома или нет.

Антуан, подняв в эту минуту глаза, встретил устремленный на него взгляд Женни. Взгляд этот выдавал такую глубокую внутреннюю жизнь, сосредоточенную в себе и молчаливую в своем одиночестве, что Антуан, сталкиваясь с ним, всегда испытывал некоторую неловкость. Он не мог забыть того дня в далеком прошлом, когда он пришел к малютке Женни, чтобы расспросить ее о побеге брата, и впервые встретил этот взгляд.

Внезапно Женни вскочила с места.

— Мне душно, — сказала она матери и оттерла лоб крошечным носовым платочком, который был скомкан у нее в руке. — Пойду в сад подышать воздухом...

Г-жа де Фонтанен одобрительно кивнула головой и взглядом проводила дочь до дверей. Потом снова обернулась к Антуану. Она ничего не имела против того, что Женни оставит их вдвоем. Все, что было до сих пор ею сказано, никак не оправдывало внезапного покушения Жерома на самоубийство. Теперь ей необходимо было приступить к самой трудной и мучительной части объяснений.

Прошлой зимой Жером, завязавший некоторые связи в Вене, «неосторожно» позволил использовать свое имя и свой титул, — ибо в Австрии он называл себя графом де Фонтанен, — став председателем административного совета одного австрийского предприятия — обойной фабрики, которая, просуществовав всего несколько месяцев, недавно объявила банкротство довольно некрасивым образом. Производилась ликвидация имущества, и австрийское право- судие стремилось отыскать виновных.

Кроме того, дело осложнялось иском, предъявланным администрацией выставки в Триесте, где весной этого года обойная фабрика устроила криклиwy павильон, за аренду которого так и не было уплачено. Выяснилось, что Жерому было специально поручено устройство этого павильона и в июне он даже получил месячный отпуск от английской компании, в которой служил, и провел его очень весело в Триесте. Обойная фирма отпускала ему в различные сроки довольно крупные суммы денег, об использовании которых он как будто не мог представить оправдательных документов; и следо-

ватель обвинял графа де Фонтанен в том, что он вел веселую жизнь в Триесте за счет фирмы, не уплатив за аренду павильона. Как бы там ни было, но Жером привлекался к ответственности как председатель административного совета обанкротившегося предприятия. Его считали держателем довольно крупного количества акций, которые ему будто бы «любезно» были преподнесены, чтобы добиться его согласия занять председательское место.

Каким образом удалось г-же де Фонтанен узнать все эти подробности? До последнего месяца она ничего не подозревала. Затем она получила письмо от Жерома — запутанное и взводнившее письмо, где он умолял ее снова заложить дачу в Мезон-Лафите, которой она владела единолично (и которую она ради него уже вынуждена была частично заложить). Когда она посоветовалась со своим нотариусом, тот быстро навел справки в Австрии, и таким путем г-жа де Фонтанен узнала о судебных исках, предъявленных ее мужу.

Что могло случиться за последние дни? Какие новые события заставили Жерома решиться на этот отчаянный поступок? Г-жа де Фонтанен терялась в догадках. Ей было известно, что некоторые триестские кредиторы ежедневно обливали грязью ее мужа в местной газете. Но были ли их разоблачения на чем-нибудь основаны? Жером не мог не сознавать, что будущее его безвозвратно скомпрометировано. Даже если бы ему удалось избежать суда в Австрии, он не мог надеяться после такого скандала сохранить свое положение в английской компании... Находясь в безвыходном положении, преследуемый со всех сторон, он, видимо, не нашел другого выхода, как покончить с собой...

Г-жа де Фонтанен умолкла. Недоуменный взгляд, который она устремила в пространство, казалось, задавал безмолвный вопрос: «Все ли я сделала для него, что нужно было сделать? Решился ли бы он на этот шаг, если бы я была около него, как прежде?..» Мучительный, неразрешимый вопрос...

Она сделала над собой усилие, чтобы вернуться к действительности.

— Где Женни? — спросила она. — Боюсь, как бы она не пропустидилась... как бы не заснула на воздухе.

Антуан встал.

— Не беспокойтесь. Я сейчас посмотрю.

## XXI

У Женни не хватало мужества сойти в сад. Ей только хотелось выскользнути из маленькой приемной, чтобы избежать присутствия Антуана.

Держась рукой за стену, облицованную плитками, Женни сделала несколько шагов по коридору без определенной цели. Несмотря на то, что все окна были открыты настежь, атмосфера оставалась удушливой. Из операционной, помещавшейся этажом ниже, по лест-

нице поднимался тошнотворный запах эфира, примешиваясь к горячему потоку воздуха, циркулировавшему по всему дому.

Дверь в палату отца была приоткрыта. В темноте разливался слабый свет ночника, спрятанного за ширмой. Сиделка вязала чулок у изголовья больного. Под простыней вырисовывались неясные очертания неподвижного тела. Руки были вытянуты на кровати. Голова низко лежала на подушке. Повязка закрывала лоб. Полуоткрытый рот казался черной дырой, откуда вырывалось глухое и прерывистое дыхание.

Женни в приотворенную дверь глядела на этот рот, слушала этот хрип, но мысли оставались ясными, спокойствие ее граничило с равнодушием и приводило в ужас ее самое. Отец должен был умереть. Она твердо это знала, она повторяла это себе, но ей не удавалось осознать факт, выделив его из хаоса своих смутных мыслей, и рассматривать его как вполне реальное, действительное событие, близко ее касающееся. Она чувствовала себя связанный, окаменевшей. А между тем она обожала отца, несмотря на его недостатки. Ей вспомнился другой период ее юности, когда ей пришлось дежурить у изголовья тяжело больного отца и когда при виде его бледного, искаженного страданием лица, сердце ее мучительно сжималось. Почему же сейчас она оставалась бесчувственной?.. Она приуждала себя стоять здесь, с опущенными руками, с прикованным к кровати взглядом, безвольная и виноватая, возмущенная своей сухостью, борясь с желанием отвести глаза, забыть об этом несчастье... Точно эта неуместная агония именно сегодня лишила ее последней возможности быть счастливой...

Наконец, в поисках свежего воздуха, Женни оторвалась от притолоки двери и подошла к окну в коридоре. Здесь стоял стул. Она села на него, скрестила руки на подлоконнике и тяжело уронила на них голову.

Она ненавидела Жака! Это было подлое, неуравновешенное существо. Может быть, даже безответственный в своих поступках человек... Сумасшедший...

Под окном, внизу, во мраке душной ночи, в полнейшем безмолвии дремал сад. Женни различала темные купы тенистых деревьев, извилистую бледную линию аллей вокруг лужайки. Лаковое дерево отравляло воздух стойким тяжелым запахом восточных снадобий. Из-за деревьев сада сверкали огоньки редких фонарей на улице, по которой медленным шагом двигались тележки зеленщиков. Бесконечной вереницей они со скрипом тарабрали по мостовой, напоминая треск кофейной мельницы. Время от времени гудки автомобиля заглушали стук тележек, и огненный метеор вихрем проносился мимо сада, исчезая во мраке ночи.

— Смотрите не засните здесь, — нежно прошептал Антуан над ухом Женни.

Она вздрогнула и едва сдержала крик, как будто Антуан дотронулся до нее.

— Хотите, я принесу вам кресло?

Она отрицательно покачала головой, нехотя встала и пошла вслед за ним в маленькую приемную.

— Положение не ухудшается, — объяснял Антуан вполголоса на ходу. — Пульс как будто даже улучшился. Некоторые признаки заставляют думать, что коматозное состояние сейчас менее глубоко.

В приемной стояла г-жа де Фонтанен, ожидая их. Она двинулась им навстречу.

— Мне только сейчас пришло в голову, — сказала она с живостью, обращаясь к Антуану, — следовало бы известить Джемса... Пастора Грегори, нашего друга...

С рассеянной нежностью она, продолжая говорить, положила руку на плечи Женни и привлекла к себе дочь. Их лица, охваченные несхожей печалью, касались друг друга.

Антуан кивком головы подтвердил, что он прекрасно помнит пастора. У него появилось внезапное желание воспользоваться этим неожиданным предлогом, чтобы улизнуть... Покинуть клинику хотя бы на один час!.. Может быть, даже заглянуть на Ваграмскую улицу?.. Образ Анны предстал перед ним — Анны, заснувшей на кушетке в белом пеньюаре...

— Нет ничего проще! — предложил он, и его сдавленный голос невольно выдавал внезапное волнение. — Дайте мне адрес... Я съезжу!..

Г-жа де Фонтанен запротестовала.

— Это слишком далеко! Около Аустерлицкого вокзала!

— Но ведь мой автомобиль здесь! Ночью — это один момент... Кстати, — добавил он самым естественным тоном, — я воспользуюсь случаем, чтобы заглянуть домой, узнать, не звонил ли ко мне вечером кто-нибудь из больных... Через час я уже буду здесь.

Он уже направился к дверям, едва дослушивая указания г-жи де Фонтанен и выражения ее признательности.

— Как он нам предан! Какое счастье иметь такого друга, — не в силах сдержать свои чувства, сказала г-жа де Фонтанен, как только Антуан вышел из комнаты.

— Я его терпеть не могу! — прошептала Женни после минутного молчания.

Г-жа де Фонтанен без особого удивления посмотрела на нее и ничего не ответила.

Оставив Женни в маленькой приемной, она отправилась в палату, где лежал Жером.

Хрип прекратился. Дыхание, час от часу слабевшее, бесшумно вылетало из полуоткрытых губ.

Г-жа де Фонтанен знаком попросила сиделку не вставать с места и молча села в ногах кровати.

У нее не было ни малейшей надежды. Она не отрывала глаз от этой бедной забинтованной головы. Слезы, не замечаемые ею, текли по ее щекам.

«Как он красив!» — думала она, не отводя взгляда.

Под чалмой из ваты и бинтов, которая скрывала серебрившиеся пряди волос и подчеркивала восточную красоту профиля, неподвижные черты лица Жерома, одновременно мужественные и тонкие, напоминали слепок с лица какого-нибудь юного фараона. Ибо незаметное вздутие тканей уничтожило все морщины и складки, и в полумраке комнаты лицо казалось чудесным образом помолодевшим. Гладкие щеки закруглялись под выступавшими скулами вплоть до твердой линии подбородка. Повязка слегка натягивала кожу на лбу и удлиняла к вискам линию опущенных век. Губы, слегка запекшиеся от наркоза, казались чувствительно припухлыми. Жером был красив, как в дни их молодости, когда рано утром, проснувшись первой, она склонялась над ним и смотрела на спящего...

Не в силах утолить свое отчаяние и нежность, она созерцала сквозь слезы то, что еще оставалось от Жерома, что оставалось от великой, единственной любви всей ее жизни.

Жером в тридцать лет... Он стоял перед ней, во всей прелести своей по-кошачьи гибкой и стройной фигуры, своей матово-бронзовой кожи, со своей обаятельной улыбкой и нежным взглядом... «Мой индийский принц», — говорила она тогда, гордая его любовью... Ей слышался его смех, эти три раздельные нотки «ха-ха-ха», которые он рассыпал, откинув назад голову... Его веселость, его постоянно хорошее настроение... Его фальшивая веселость!.. Потому что ложь была его естественной стихией — легкомысленная, беспечная, неисправимая ложь...

Жером... Все, что она познала в любви как женщина, находилось здесь, на этой постели... Она, которая так давно сказала себе, что жизнь страстей для нее уже прошла! И вот сейчас она вдруг поняла, что никогда не переставала надеяться... Только теперь, только сегодня ночью все действительно кончится... навсегда...

Она закрывает лицо руками, она взывает к Духу. Тщетно. Сердце ее переполнено чисто земным волнением. Она чувствует себя покинутой богом, предоставленной нечистым сожалениям... Побежденная мысль ее стыдливо воскрешает в памяти последнее любовное свидание в Мезон-Лафите... В той самой вилле, куда она привезла Жерома из Амстердама после смерти Ноэми... Однажды ночью он смириенно прокрался к ней в комнату. Он молил о прощении. Он жаждал ласки, сострадания. Он ластился к ней в темноте. И она обняла его, прижала к себе, как ребенка. Это случилось в летнюю ночь, такую же душную и теплую, как сейчас... Окно в сад было открыто... И до самого утра, охраняя его покой и не в силах будучи уснуть, она прижимала его к себе, баюкала, как ребенка, как своего ребенка... В летнюю ночь, такую же душную и теплую, как сейчас...

Резким движением г-жа де Фонтанен подняла голову. Во взгляде ее была какая-то растерянность. Дикое и безумное желание мелькнуло в уме: прогнать сиделку, улечься здесь, рядом с ним, в последний раз крепко прижать его к себе, согреть собственным теплом; и

если он должен уснуть навсегда, — убаюкать его в самый последний раз. «Как ребенка, как своего ребенка...»

Перед ней на простыне покоилась, как изваяние, нервная, столь прекрасная по своим очертаниям рука, где на четвертом пальце темным пятном выделялся перстень с большим сардониксом. Правая рука, та рука, которая дерзнула... которая подняла оружие... «Почему меня не было около тебя?» — говорила себе Тереза в отчаянии. Может быть, он мысленно звал ее, прежде чем поднести руку к виску? Никогда бы он не сделал этого движения, если бы в эту минуту душевной слабости она была рядом с ним — на том месте, которое было предназначено ей богом на всю жизнь и которое никакое чувство обиды не должно было позволить ей покинуть.

Она закрыла глаза. Прошло несколько минут. Незаметно восстановливалось ее душевное равновесие. Отогнав прочь воспоминание, угрозыния совести вернули ей благочестивое спокойствие. Она почувствовала, что снова вступает в общение со всемогущей силой, которое было для нее постоянным, необходимым утешением. Она уже начинала иначе смотреть на это испытание, ниспосланное ей богом. В несчастье, которое обрушилось на нее и держало ее согбенной под тяжестью удара, она теперь стремилась увидеть высшую и таинственную необходимость, закон божественного прорицания; и она почувствовала, что приближается, наконец, к земле обетованной... к блаженному покою в отречении и покорности судьбе, который является желанным концом всякого страдания для избранных рода человеческого.

«Да будет воля твоя!» — прошептала Тереза, молитвенно сложив руки.

## XXII

Автомобиль с опущенными стеклами мчался по обезлюдевшим гулким улицам города, где краткая летняя ночь уже уступала напору нового дня.

Антуан, развались на заднем сиденье, широко расставив ноги и раскинув руки, с папиросой в зубах, был погружен в размышления. Как обычно с ним бывало, усталость от бессонницы не угнетала его, но, наоборот, приводила в лихорадочно-радостное возбуждение.

— Половина четвертого, — прошептал он, взглянув на башенные часы площади Перейр. — В четыре я разбужу моего бесноватого пастора, отправлю его в клинику и буду свободен... Тот, конечно, может окочуриться за мое отсутствие... Но много шансов, что это протянется еще сутки...

Совесть у него была спокойна. «Все возможное мы испробовали», — сказал он себе, возводивая в памяти различные моменты операции. Затем, увлеченный этим воспоминанием, он представил себе приход Женни, вечер, проведенный вместе с Жаком. Но после нескольких часов врачебной работы эти споры с братом показались ему еще более нелепыми.

«Я же врач, у меня есть свое дело, и я его делаю. Что им еще нужно?»

«Они» — это был Жак, который не делал ничего, никакого дела, не считая того, что возбуждался и говорил в пустоту; кроме того, это была стоявшая за спиной Жака орда революционных агитаторов, чьи мятежные призывы, казалось, послышались Антуану вчера.

— Неравенство, несправедливость?.. Разумеется! Почему им кажется, что они изобрели нечто новое?.. Что можно тут сделать?.. Современная цивилизация — это ведь реальность, черт возьми! Реальность! Итак, будем исходить отсюда. Зачем ставить все под вопрос?.. Их революция! — продолжал он вполголоса. — Хорошенькая переделка, которую они нам готовят! Все опрокинуть к черту для того, чтобы начать все съезнова, подобно малышам, играющим в кубики! Идиоты! Да делайте же ваше дело, наконец!.. Вместо того чтобы сетовать о несовершенствах общества и отказывать ему в вашем сотрудничестве, вы сделаете гораздо лучше, если, наоборот, уцепитесь за то, что уже существует в вашей среде, в ваше время, каково бы оно ни было, и будете честно работать, подобно нам! И вместо того чтобы конспирировать, подготавливая переворот, благотворительность которого остается проблематичной, употребите лучшевашу краткую человеческую жизнь на то, чтобы с относительной пользой выполнять в вашей скромной области наилучшую возможную работу!

Он был удовлетворен этой тирадой и прибавил в заключение, как финальный аккорд: «Так-то, господа!»

«Это вроде вопроса о наследстве, — продолжал он с внезапным приступом гнева. — Теперь иметь состояние значит «строить свою жизнь на эксплуатации других»!.. Глупец!.. Я не защищаю принципа наследственной передачи состояний... Нет, конечно, я его защищаю... Я знаю не хуже, чем ты, все, что можно об этом сказать... Но, черт побери, раз на сегодняшний день это так! Раз таковы условия жизни, которые для нас созданы! Что же тут можно поделать?»

«Против чего, собственно, я ломаю копья? — подумал он, улыбаясь над самим собой. — Кажется, что я почти что восстаю против того, что хочу защитить...»

Но он тотчас же воспрянул, словно ему предстояло убедить какого-то собеседника:

«Впрочем, я считаю, что результаты наследования нередко бывают превосходные... Сотни раз я видел, что именно наследственное состояние обеспечивает — девять раз из десяти — прекрасного человека... я хочу сказать — человека полезного, ценного для общества...»

— Разве не быть бедным теперь будет считаться преступлением? — сказал он, резким движением скрестив руки.

У него возникло смутное впечатление, что он немного плутает. Вопрос, который его совесть задавала сейчас самой себе, звучал скопее так: «Разве преступление — быть богатым, не приобретая состояние своим трудом?..» Но он не остановился на этих оттенках и, пожав плечами, стряхнул с себя эту маленькую вероломную мысль.

«Когда он писал мне зимой: «Я не хочу пользоваться этим наследством...» Глупец! «Пользоваться»! А теперь упрекнут меня, что я им «пользовался», я! Но кто же, в конечном счете, будет «извлекать пользу» из реорганизации моей профессиональной жизни, наших работ? Неужели я?.. Да, я, — честно согласился он. — Однако я хочу сказать: только ли я один буду этим «пользоваться»?.. И кроме того, если принять все во внимание, если я — то, чем я являюсь, разве служить также и своим личным интересам не значит в то же время работать как нельзя лучше на пользу общих интересов?»

Машина пересекала Сену. Река, набережная, перспектива мостов расплывались в розоватой дымке. Он выбросил окурок в окно и зажег новую папиросу.

«Ты больше схож со мною, чем думаешь, негодный, — продолжал он с довольным смешком. — Ты родился буржуа, мой мальчик, так же как ты родился рыжим. Твои волосы потемнели, но у них остался рыжеватый отлив, и ты ничего не можешь поделать... Твои революционные чувства? Я верю в них лишь наполовину... Твоя наследственность, воспитание и даже твои сокровенные вкусы — все это тянет тебя назад... Подожди немного: в сорок лет ты, может быть, будешь больше буржуа, чем я!»

Автомобиль замедлял ход. Виктор нагибал голову, пытаясь разобрать номера домов. Наконец машина остановилась у ворот.

«И, несмотря ни на что, даже такого, как он есть, я его очень люблю», — подумал Антуан, открывая дверцу.

Теперь он упрекал себя в том, что своим приемом не выказал сильнее того удовольствия, которое ему доставило посещение брата.

### XXIII

Пастор Грегори уже год как жил в жалком пансионе в центре квартала Жанны д'Арк, населенного почти исключительно армянскими чернорабочими, которых он просвещал евангелическим учением.

Антуану стоило немалого труда разбудить ночного сторожа, грязного левантинца, спавшего одетым на скамейке в вестибюле.

— Да, мусси... Пастор Григори, да. Пойдем со мной, мусси...

Мансарда, которую занимал святой человек, находилась на пятом этаже. Июльская жара наполняла эту перенаселенную конуру запахом гниющей помойки и пота, напоминавшим терпкие испарения арабских улиц.

На робкий стук сторожа в дверь Грегори соскочил с кровати.

«Сон прямо-таки духовной легкости», — подумал про себя Антуан.

Дверная щеколда отодвинулась, и пастор появился на пороге с коптящим ночником в руке.

Зрелище было неожиданное. Грегори на ночь надевал благоприятную длинную рубашку, ниспадавшую до пят; и так как он мог спать лишь забинтовав себе печень, ему приходилось туто стягивать живот куском коричневой фланели, отчего верх рубашки вздувался подобно блузе, а низ — подобно юбке. Босой, бледный как привидение, тощий, с растрепанными волосами и нечеловеческим выражением глаз, он напоминал волшебника из «Тысячи и одной ночи».

С первых же слов Антуана, которого он сначала не узнал, он понял все. Не отвечая, не теряя ни минуты, пока Антуан, стоя на пороге, заканчивал свой рассказ, он привязал конец своего пояса к перекладине кровати и, чтобы размотать эти четыре метра фланели, начал вращаться вокруг своей оси, как волчок, все более и более быстрым темпом.

Антуан, силясь сохранить серьезность, объяснял подробности хирургического вмешательства и затруднения, связанные с извлечением пули.

— О!.. О!.. — запротестовал задыхающимся голосом вращавшийся дервиш. — Забудьте о пистолете!.. Оставьте, оставьте пулю... Волю к жизни... вот что надо... возродить в нем!

Он жестикулировал и бросал недовольные взгляды. Наконец, разбинтовавшись, он приблизил к лицу Антуана свое угловатое асимметричное лицо, на котором брови беспрестанно подергивались нервным тиком. Затем разразился тихим внутренним смехом.

— Бедный дорогой доктор, когда-то носивший бороду! — восхликал он тоном нежного сострадания. — Ты думаешь, что излечиваешь, а это вы и создаете болезнь, богохульники, потому что прощаете, что болезнь существует!.. Нол!..<sup>1</sup> Говорю вам, дайте войти свету! Христос — единственный врач! Кто исцелил Лазаря? Можешь ли ты исцелить Лазаря, ты, бедный врач, блуждающий в потемках?

Антуану было смешно, хотя он оставался внешне бесстрастным. Несомненно, однако, что пастор заметил невольный лукавый блеск в глазах врача, потому что наморщил брови и резко повернулся к нему спиной. С обнаженным торсом, спустив рубашку, закрутившуюся вокруг бедер, он метался по мансарде из угла в угол в поисках своего белья и платья.

Антуан ждал его, стоя в молчании.

— Человек божествен! — проворчал Грегори, прислонившись к стене и согнувшись, чтобы натянуть носки. — Христос знал в сердце своем, что он божествен! И я также! И все мы тоже! Человек божествен! — Он всунул свои ноги в большие черные башмаки, которые так и оставались зашнурованными. — Но тот, кто сказал: «Закон убивает», тот сам был убит законом! Христос был убит законом. Человек сохранил в своем уме лишь букву закона. Нет ни одной церкви, действительно построенной на истинных заветах Христа. Все церкви построены лишь на притчах Христовых!

<sup>1</sup> Нет!.. (англ.).

Не прерывая монолога, он извивался во все стороны с необычайной быстротой и неловкостью, свойственной очень нервиным людям.

— Бог — все и во всем!.. Бог! Высший источник света и тепла! — Победным жестом он снял свои брюки, висевшие на крючке. Каждое его движение обладало стремительностью электрического разряда. — Бог — все! — повторил он, повысив голос, так как встал лицом к стене, чтобы застегнуть брюки.

Покончив с этим, он повернулся на каблуках и бросил на Антуана мрачный, вызывающий взгляд.

— Бог — все, и нет никакого зла от бога, — сказал он суро-во. — И я говорю, poor dear doctor:<sup>1</sup> ни единого атома зла или лу-кавства нет во вселенском Всё.

Он натянул свой сюртук из черной альпага, надел комичную маленькую фетровую шляпу с закругленными полями, и неожидан-ным тоном, почти игриво, точно радуясь тому, что он, наконец, одет, провозгласил, вежливо дотронувшись до своей шляпы:

— Glory to God!<sup>2</sup>

Затем, остановив на Антуане отсутствующий взгляд, внезапно прошептал:

— Несчастная, несчастная милая госпожа Тереза!.. — Слезы за-блестили на его глазах. Казалось, он только сейчас осознал семей-ную драму, которая привела к нему Антуана. — Несчастный милый Жером! — вздохнул он. — Бедное ленивое сердце, итак, ты побежде-но?.. Итак, ты сдалось? Ты не могло отстранить от себя зла?.. О Христос, дай ему силы отринуть оковы мрака и препоясаться до-спехами света!.. Я иду к тебе, грешник! Я иду к тебе!.. Идемте, — сказал он, подойдя к Антуану, — ведите меня к нему!

Прежде чем погасить лампу, он зажег от нее витую свечу, кото-рую вытащил из-под полы своего сюртука. Затем открыл дверь на лестницу.

— Проходи!

Антуан повиновался. Чтобы осветить ступеньки, Грегори высоко держал свечу в простертой руке.

— Христос сказал: «Ставьте высоко светильник, чтобы он све-тил всем!» Это Христос возжигает светильник в сердца наших!.. Бедный светильник, как часто горит он слабо, и пламя его колеб-лется и дает отвратительный дым!.. Ничтожная, ничтожная мате-рия! Несчастные мы!.. Будем молить Христа, чтобы наше пламя было стойким и ясным, чтобы оно изгнало материю во тьму тем!

И все время, пока Антуан, держась за перила, спускался по узкой лестнице, пастор продолжал бормотать, все менее и менее внятно, фразы, похожие на заклинания, беспрестанно повторяя ворчливым и раздраженным тоном слова «материя» и «мрак».

<sup>1</sup> Бедный дорогой доктор (англ.).

<sup>2</sup> Хвала господу (англ.).

— Я приехал на машине, — объяснил ему Антуан, когда они, наконец, вышли во двор, — она же и отвезет вас в клинику... А я, — добавил он, — приеду тоже туда... через час.

Грегори ничего не возразил. Но прежде чем сесть в автомобиль, пастор вперил в своего спутника взгляд — такой острый и казавшийся таким проницательным, что Антуан почувствовал, как лицо его краснеет.

«Не может же, однако, он знать, куда я направляюсь!» — подумал он.

С невыразимым облегчением Антуан проводил взглядом машину, удалявшуюся в предрассветных сумерках.

На перекрестке дул легкий ветерок; наверное, где-нибудь прошел дождь. Беселый, как школьник, выпущенный из карцера, Антуан почти бегом домчался до площади Валюбер и вскочил в первое попавшееся такси.

— Ваграмская улица!

В машине он вдруг заметил, что устал, — однако той напрягающей нервы усталостью, которая подхлестывает желание.

Он велел шоферу остановиться метров за пятьдесят от дома, быстро выпрыгнул из машины, добрался до переулка и бесшумно открыл дверь.

Уже на пороге его лицо прояснилось: запах Анны... Возбуждающий, скорее смолистый, чем цветочный, стойкий и густой, от которого захватывает дух; больше чем просто запах — какая-то ароматическая волна, которую он так любил.

«Мне суждено опьяняться запахами», — подумал он, и у него внезапно сжалось сердце при мысли об ожерелье из серого янтаря, которое носила Рашиль.

С осторожностью вора он проник в ванную, озаренную молочным светом зарождающегося дня. Там он поспешило разделся и, стоя в ванне, облился прохладной водой, выжимая себе на затылок большую губку. Вода испарялась на его разгоряченном теле, словно на раскаленном металле. Вся его усталость восхитительно стекала с него. Он наклонился и пил ледяную струю прямо из крана. Затем неслышно прошел в спальню.

Мелодичный, очень тихий зевок, звук которого шел откуда-то с пола, напомнил ему о присутствии Феллоу. Он почувствовал у своих ног ласковое прикосновение влажной мордочки и шелковистого ушка.

Полог был задернут. Лампа у изголовья заливала комнату сиянием зари, тем туманно-розовым светом, которым восхищался Антуан час назад, переехав мост. На широкой кровати спала Анна, повернувшись лицом к стене, положив голову на обнаженную руку. Модные журналы были разбросаны на ковре. Пепельница на ночном столике была полна наполовину недокуренными папиросами.

Стоя неподвижно у кровати, Антуан созерцал густые волосы Анны, шею, плечо и стройную линию ног под простыней. «На этот раз она беззащитна», — подумал он. Редко случалось, чтобы Анна пробуждала в нем такое нежное и жалостливое волнение; чаще всего он лишь принимал, словно отдаваясь спортивному увлечению, ту бурную, никогда не утихавшую страсть, которую Анна питала к нему. С минуту он длил это сладострастное ожидание, отдаляя наслаждение, которое ждало его здесь, так близко, и которое теперь ни Жак, ни Жером, ни Грегори — никто на свете не мог у него отнять. А затем стремление погрузить свое лицо в ее волосы, прижать к своей груди эту упругую теплую спину, слиться своим телом с другим телом стало таким властным, что улыбка застыла на его лице. Задерживая дыхание, он осторожно приподнял край простыни и, сильным, но плавным движением скользнув в кровать, медленно улегся рядом с Анной. Она подавила короткий глухой крик и, повернувшись на другой бок, очнулась от сна в объятиях Антуана.

## XXIV

Проснувшись рано утром, Жак, казалось, снова обрел бодрость.

«Если я поеду сегодня с пятичасовым вечерним поездом, то нельзя терять времени», — подумал он, спрыгнув с кровати. Но едва он встал, как почувствовал, что на душе у него было неспокойно, — вчерашние события преследовали его.

Он быстро оделся и сошел вниз, чтобы позвонить по телефону Антуану.

Фонтанен был еще жив; коматозное состояние могло продлиться еще сутки, а может быть, и больше. Никаких оснований для надежды не было.

Жак предупредил брата, что не сможет увидеться с ним, потому что уезжает в Швейцарию в этот же день. Затем возвратился к себе, чтобы расплатиться за комнату, и отправился сдать свой чемодан в камеру хранения на Восточном вокзале.

Целый день он торопился выполнить все дела, которые оставались сделать перед отъездом; с полдюжины визитов к различным «типам», адреса которых дал ему Ричардли.

Во всех левых кругах назревало широкое движение, имевшее целью преградить путь угрозе войны. Союз между различными партиями казался решенным делом. Новости в этом отношении были более чем утешительными.

А между тем тревога не покидала Жака и незаметно овладевала им, как только он оставался один. Он ощущал какой-то необъяснимый упадок духа. Весь в поту, он лихорадочно носился по Парижу, беспрестанно меняя свои планы и маршруты, обрывая разговоры

при встречах, отказываясь в последний момент от какого-либо визита, ради которого он проделал полчасовой путь. Улицы, дома, прохожие, даже его товарищи — все казалось ему безобразным и враждебным. Ему чудилось, что он всюду наталкивается на решетку, словно животное в клетке. И даже несколько раз его неожиданно охватывало чувство физического недомогания: в течение нескольких секунд он, оглушенный, с влажными от пота руками и стеснением в груди, словно сжатой тисками, должен был бороться против внезапного и необъяснимого чувства страха, перебивавшего ему дыхание...

«Что же это со мной?» — думал он.

Тем не менее к четырем часам самое необходимое было сделано. Он мог ехать. Ему не терпелось поскорее попасть в Женеву, и в то же время он испытывал странную боязнь расстаться с Парижем.

«Если я подожду до ночного поезда, — подумал он вдруг, — у меня будет время побывать в «Humanité», в кафе «Круассан» и «Прогресс», сходить на улицу Клиши и собрать кое-какие сведения об этой истории с арсеналами...

(Действительно, в шесть часов в баре на улице Клиши должно было состояться собрание, организованное Федерацией профсоюза моряков, и Жак рассчитывал встретить там агитаторов, которые на следующий день должны были отправиться в некоторые западные порты, где готовились стачки. Жаку небесполезно было бы получить кое-какие сведения по этому вопросу.)

Еще одна мысль мучила его с утра: приезд Даниэля. Конечно, Жак мог уехать, не повидавшись с ним. Но Даниэль, несомненно, узнает, что Жак был в Париже. «Если бы только я мог встретиться с ним не в клинике!..» И внезапно он решился: «Останусь до ночного экспресса. Явившись в Нейи после обеда, я увижу Даниэля, а в этот час будет мало вероятия встретить там ее...»

Верный своему плану, в половине девятого он вышел из «Прогресса». Он зашел туда на всякий случай после собрания на улице Клиши, и ему удалось встретить Бюроб, редактора, который собирал для «Humanité» все сведения, касавшиеся западных арсеналов.

Оставалось еще посетить Нейи. «Завтра я буду в Женеве», — подумал он, чтобы придать себе твердости.

Он спускался по маленькой винтовой лестнице, соединявшей антресоли с залом кафе, как вдруг чья-то рука опустилась ему на плечо:

— Так ты в Париже, малыш?

Мурлана нетрудно было узнать даже в полураке по его басу и произношению жителя парижского предместья. Это был смуглый старик, похожий на Христа, со слишком длинными волосами, зимой и летом одетый в одну и ту же блузу типографского рабочего.

В героические дни дела Дрейфуса Мурлан основал боевой листок, который еженедельно печатался на гектографе и усиленно хо-

дил по рукам. В дальнейшем «Etandard»<sup>1</sup> превратился в небольшой революционный орган, который Мурлан продолжал выпускать с помощью нескольких добровольных сотрудников. Жак время от времени посыпал ему то какой-нибудь отчет, то перевод иностранной статьи. Дух этой газетки отличался твердой принципиальностью, которая привлекала Жака. Во имя подлинного социалистического учения Мурлан нападал на официальных представителей партии, в частности на группу Жореса — «социал-оппортунистов», как он их называл.

Он дружески относился к Жаку. Он любил молодых — «малышей» — за их пыл и твердость. Не обладавший широкой образованностью, но одаренный парадоксальным умом, любивший поболтать с юмором, еще подчеркнутым акцентом старого парижского рабочего, он в течение многих лет боролся — один или почти один — за существование своей газеты. Его побаивались: прочно окопавшись на своих ортодоксальных позициях, он был силен непоколебимостью бедняка-социалиста, полностью преданного революционному делу, и безжалостно нападал на партийных политиков, разоблачая их малейшие ошибки, выводя на чистую воду их компромиссы, причем его стрелы всегда попадали в цель. Те, кого он «чистил», мстили ему, распространяя на его счет самые злостные слухи. Он когда-то содержал книжную лавочку с социалистической литературой в Сент-Антуанском предместье, и враги обвиняли его в том, что он продавал там по преимуществу порнографические книжонки. В сущности, так и могло быть. Его частная жизнь была сомнительной. В маленькой квартирке на улице Рокет, где помещалась редакция незапятнанного «Etandard», постоянно толкались девицы легкого поведения, которые приходили туда, по-видимому, из соседних притонов на улице Лапп. Они приносили ему сладости, на которые он был очень падок. Они громко разговаривали, ссорились между собой, иногда дело доходило до побоев. Тогда Христос вставал, кладя свою трубку, хватал фурий за руку и выкидывал их на лестницу, после чего продолжал беседу с того места, на котором она была прервана.

Сегодня он казался озабоченным. Он проводил Жака до улицы.

— Ни одного су в кассе, — сказал он, выворачивая разом оба кармана своей черной блузы. — Если до четверга я не достану нескольких бумажек, которые мне необходимы, то следующий номер так и останется лежать в столе.

— Однако, — сказал Жак, — я видел, что тираж у вас увеличился.

— Подписчики все призывают, малыш! Дело только в том, что они не платят... Прекратить им высылку газеты? Я не поколебался бы, если бы управлял коммерческим предприятием. Но какие цели я преследую? Пропаганду. Итак, что же делать? Сократить расходы? Я все делаю сам! Вначале я выделил себе сто франков

<sup>1</sup> «Энамя» (франц.).

в месяц из кассы. Я не осмеливался никогда брать больше, чем сто монет... Я питаюсь коркой хлеба, словно какой-нибудь цыган. Я весь в долгах. И это тянется вот уже восемнадцать лет... Но поговорим серьезно, — сказал он. — Что думают в Швейцарии обо всех этих скверных слухах?.. Я-то старый волк, меня не удивишь... Я уже всякое видел... Это мне напоминает восемьдесят третий год... Мне было только двадцать лет, но я уже ходил каждый вечер в редакцию «Révolte».<sup>1</sup> Ты ведь не знал ее, эту «Révolte»?.. Ты, может быть, даже не знаешь, что в восемьдесят третьем году Англия, Германия, Австрия и Румыния, эти четыре ражие шлюхи, захотели разжечь европейскую войну против России?.. И комар носа не подточил бы... Ничего не изменилось с тех пор!.. Опять те же штучки!.. Говорили и тогда: «отчество», «счастье нации»... А что за этим скрывалось? Промышленное соперничество, борьба за рынки, комбинации крупных финансистов... Ничего не изменилось с тех пор, кроме одного: у нас нет больше Кропоткина... В восемьдесят третьюм году Кропоткин неистовствовал, как черт... Он призвал к ответу большие военные заводы — Анзена, Круппа, Армстронга и всю клику, — которые подкупили европейскую печать, чтобы добиться своего... Как он их пробирал!.. Я разыскал его статьи. Ничего не изменилось! Три из них я напечатаю в следующем номере... Кропоткин!.. Ты почитаешь это, малыш; вы все извлечете оттуда пользу!..

У него были блестящие глаза и оскал старого борца. Он уже забыл о том, что для того чтобы напечатать уже подготовленный номер, ему нужны триста восемьдесят франков, из которых у него не было ни сантима. Жак, наконец, расстался с ним.

«Следовало бы включить «Etendard» в план общего выступления против войны», — подумал он. Он решил поговорить об этом в Женеве и, если окажется возможным, послать Мурлану кое-какую субсидию.

Жак еще не обедал. Прежде чем сесть у Биржи в метро, взяв направление на Шамперре, он зашел сесть бутерброд в кафе «Круассан». Многие редакционные работники «Humanité», следуя примеру своего патрона, были постоянными посетителями этого кафе-ресторана на углу улицы Монмартр.

Жорес в своем любимом углу возле окна обедал вместе с тремя своими друзьями. Проходя мимо, Жак поздоровался с ним. Однако патрон, склонившись над тарелкой, не видел ничего; мрачный, вобрав шею до самой бороды в крутые плечи, он предоставил вести разговор своим соседям и с рассеянной жадностью поглощал порцию баранины с фасолью. Его портфель, толстый портфель, набитый бумагами, который он всюду таскал с собой, возвышался возле него на краю стола; а на портфеле были нагромождены газеты, брошюры

<sup>1</sup> «Восстание» (франц.).

и книги. Жак знал, что Жорес был неутомимый читатель. Он вспомнил о случае, рассказанном накануне Стефани, который слышал это от Мариуса Муте. Муте не так давно, будучи в поездке вместе с Жоресом, был удивлен, увидев его погруженным в чтение... русской грамматики! А Жорес ответил ему, как нечто само собой понятное: «Ну да. Надо торопиться изучить русский язык. Россия, быть может, накануне того, чтобы сыграть выдающуюся роль в жизни Европы!»

Жак, сидевший против света, наблюдал за Жоресом издали. «Слушает ли он когда-нибудь то, что говорят другие?» — подумал он. Этот вопрос Жак несколько раз задавал себе при виде Жореса. Когда патрон случайно замолкал, то в этом почти животном молчании он, казалось, внимал только аккордам какой-то внутренней музыки. Внезапно Жак увидел, как Жорес поднял голову, выпятил грудь, быстро провел салфеткой по губам и заговорил. Глаза его, скрытые низким лбом, то вспыхивали, то угасали с необычайной быстротой. Его окаймленный бородою широко раскрытый рот, углы которого были опущены, напоминал раструб рупора, а также черную дыру на античных трагических масках. Казалось, он не обращался ни к кому из сидевших за столом, а думал вслух и направлял свою речь против кого-то отсутствующего, как человек, для которого противоречие и мысль тесно связаны и ум которого только в споре приобретает свой размах. Нельзя было различить отдельных слов, ибо Жорес говорил тихо — по крайней мере настолько тихо, насколько позволял ему его голос оратора, звучный как барабан; но Жак прекрасно различал среди гула, стоявшего в зале, особенный тембр этого голоса: своего рода жужжание, приглушенную вибрацию, подобную звукам, которые доносятся к зрителям из оркестра, и сопровождавшую в качестве аккомпанемента певучее парение фраз. Эти знакомые звуки вызывали у Жака тысячи воспоминаний о митинговой лихорадке, о словесных сражениях, овациях, обезумевшей от восторга толпы. Увлеченный своей импровизацией, Жорес отставил от себя еще наполовину полную тарелку и наклонился вперед, словно буйвол, готовый к нападению. Отбивая ритмическое движение фраз, его руки, сжатые в кулаки, поднимались и вновь опускались на край стола без усилия, но с размеренным звуком молота. И когда Жак, заторопившись в виду позднего часа, вышел из зала, Жорес, отбивая тakt кулаками по мрамору столика, все еще говорил.

Образ Жореса, представший перед глазами Жака, вернул ему бодрость духа, и он все еще ощущал это благотворное влияние, когда подходил к воротам клиники на бульваре Бино.

«Клиника Бертрана» — гласила надпись.

Было уже совсем темно. Жак прошел через сад, не замедляя шага, но не смев взглянуть на фасад здания.

Старая привратница сообщила ему дрожащим голосом, что бедный больной еще жив и что сын его приехал в конце дня. Жак

попросил старушку вызвать к нему Даниэля. Но она не могла отлучиться из привратницкой, где, кроме него, никого больше не было.

— Дежурная сиделка сообщит ему о вашем приходе, — добавила привратница. — Можете подняться прямо на третий этаж.

После короткого размышления Жаку пришлось решиться на этот шаг.

На площадке второго этажа — ни души; длинный белый коридор, слабо освещенный, безмолвный. На третьем этаже — та же тишина, такой же коридор, полный таинственных отблесков, бесконечный и пустынный. Нужно было отыскать сиделку. Жак подождал несолько минут, а затем двинулся по коридору. Он уже больше не испытывал смутной тревоги, напротив — скорее некоторое любопытство, которое толкало его на риск.

Он не заметил скрытой в амбразуре окна сидящей фигурки. Когда он подошел ближе, она обернулась и быстро встала. Это была Женни.

Ожидал ли он этой встречи? «Начинается... — подумал он, не испытывая удивления. И тотчас же мысленно добавил: — Она сегодня без шляпы... Совсем как прежде...»

Инстинктивным движением Женни подняла руку, чтобы поправить волосы, зная, что они в беспорядке. Ее доверчиво открытый лоб создавал впечатление душевной чистоты и даже кротости.

Несколько мгновений они оба с бьющимся сердцем стояли друг против друга. Наконец Жак произнес грубым от волнения голосом:

— Прошу меня извинить... Привратница мне сказала...

Он был поражен ее бледностью, видом побелевших губ и заострившегося носа. Она устремила на него напряженный, ничего не выражавший взгляд, где можно было прочесть одно лишь желание — не ослабеть, не отвести глаз.

— Я пришел справиться о здоровье... — Женни выразительным жестом дала понять, что не оставалось больше никакой надежды. — ...и повидать Даниэля, — добавил Жак.

Она сделала над собой усилие, точно пытаясь проглотить лекарство, пробормотала несколько невнятных слов и быстро направилась к маленькой приемной. Жак пошел за ней, но сделал всего несколько шагов, а затем остановился посреди коридора. Женни открыла дверь. Жак думал, что она вызовет Даниэля. Но она держала дверь широко открытой и, стоя вполоборота к нему с опущенными глазами и суровым выражением, не двигалась с места.

— Мне бы не хотелось... беспокоить... — пробормотал Жак, сделав шаг вперед.

Женни ничего не ответила, не подняла глаз. Она как будто ждала, сдерживая свое раздражение, чтобы он вошел в комнату. И как только он переступил порог, она захлопнула за ним дверь.

Г-жа де Фонтанен сидела на диване в глубине комнаты рядом с молодым человеком в военной форме. На полу лежала каска, портупея, сабля.

— Это ты!

Даниэль вскочил с места. Радостное удивление светилось в его глазах. Застыв на месте, он рассматривал, плохо узнавая, этого коренастого Жака с выдающимся подбородком, который лишь отдаленно напоминал товарища его детских лет. Жак в свою очередь также остановился на мгновение, глядя на высокого унтер-офицера с загорелым лицом и коротко остриженной головой, который, наконец, решился подойти к нему, как-то неловко, неожиданно звякнув шпорами и стуча сапогами.

Даниэль схватил своего друга под руку и потащил к матери. Не выказав ни малейшего удивления или неудовольствия, г-жа де Фонтанен вскинула на Жака утомленный взгляд и протянула ему руку; спокойным голосом, таким же равнодушным, как и ее взгляд, она сказала, как будто рассталась с ним лишь накануне:

— Здравствуйте, Жак.

С той непринужденной и вместе с тем светской приветливостью, которую он унаследовал от отца, Даниэль склонился к г-же де Фонтанен.

— Прости, мама... Мне хотелось бы на минуту спуститься вниз с Жаком... Ты ничего не имеешь против?

Жак вздрогнул. Теперь он узнавал Даниэля — всего целиком — по его голосу, по его смущенной полуулыбке, приподнимавшей левый уголок рта, по его ласковой, почтительной манере произносить слово «ма-ма», растягивая слоги...

Г-жа де Фонтанен приветливо взглянула на обоих юношей и слегка кивнула головой:

— Ну конечно, мой мальчик, иди... Мне сейчас ничего не нужно.

— Пойдем в сад, — предложил Даниэль, положив руку на плечо Жака.

Невольно он повторил этот жест, свойственный ему в детстве и который сейчас, как и прежде, оправдывался разницей их роста, ибо Даниэль всегда был выше Жака, а благодаря военной форме казался особенно высоким. Гибкий торс, затянутый в темный мундир с белым воротником, составлял резкий контраст с ногами, утонувшими в складках широких красных брюк-галифе и казавшимися толстыми из-за кожаных краг. Подбитые гвоздями подошвы скользили по кафельным плиткам коридора. Эти солдатские шаги неподчтительно нарушали тишину уснувшего уже здания. Даниэль отдавал себе в этом отчет и смущенно молчал, опираясь на своего друга, чтобы не поскользнуться.

«А где Женни?» — спрашивал себя Жак. Снова он почувствовал в груди спазму, напоминавшую ощущение, которое испытываешь при страхе. Он шел, направляя шею, опустив глаза. Когда они дошли до лестницы, Жак невольно оглянулся, стараясь проникнуть взглядом в глубь пустынного коридора, и разочарование, смешанное с досадой, тайно овладело им.

Даниэль остановился у верхней ступеньки:

— Так, значит, ты в Париже?

Радостный тон еще резче подчеркивал грустное выражение его лица.

«Женни ничего не сказала ему обо мне», — подумал Жак.

— Мне следовало уже уехать, — ответил он с живостью. — Сейчас отправляюсь на поезд. — Разочарование Даниэля было настолько явным, что Жак поспешил добавить: — Я отложил свой отъезд, только чтобы повидаться с тобой... Мне завтра нужно быть в Женеве.

Даниэль пристально смотрел ему в лицо задумчивым и робким взглядом, полным недоумения. В Женеве? Жизнь Жака оставалась для него таинственной, непонятной, и это его раздражало. Он еще не решался задавать вопросы. Сдержанность друга смущала его. Не желая быть навязчивым, он отдернул свою руку, взялся за перила и начал спускаться вниз. Вся его радость внезапно улетучилась. К чему была эта неожиданная встреча, которая пробудила в нем огромную жажду общения, если Жак так скоро уедет, если приходилось вновь расставаться с ним?

Сад, только что политый и освещенный кое-где между деревьев шарами электрических фонарей, был пуст и дышал свежестью.

— Ты куришь? — спросил Даниэль.

Он вытащил из кармана папиросу и нетерпеливо зажег ее. Пламя спички на минуту осветило его лицо. Его особенно сильно изменило то, что на свежем воздухе, в Вогезах, он утратил тот бледный, матовый цвет кожи, который некогда создавал такой странный контраст с черным цветом глаз, волос и тонкой полоской усов над верхней губой.

Держась рядом, они молча углубились в боковую аллею, в конце которой виднелись расставленные полукругом белые садовые стулья.

— Сядем здесь, хочешь? — предложил Даниэль и, не дожидаясь ответа, тяжело опустился на стул. — Я весь разбит. Жуткая поездка. — На несколько секунд он погрузился в воспоминания о тяжелом дне, проведенном в душном, тряском вагоне, где он сидел, не вставая в места, закуривая одну папиросу за другой, не отрывая глаз от движущегося за окном пейзажа, перебирая в уме ряд возможных и одинаково мучительных предположений, в то время как непредвиденные события развертывались вдали. Он повторил: «Жуткая». Затем, указывая кончиком своей зажженной папиросы на окно комнаты, где отец его лежал в агонии, он мрачно добавил: — Рано или поздно этим должно было кончиться!..

От мокрого чернозема политых клумб поднимались в темноте крепкие испарения, и порой к сидящим в аллее юношам доходило легкое, как вздох, дуновение ветерка, принося с собой горьковатый, обманчиво-сладкий лекарственный запах. Но он исходил не из больничных лабораторий, — это пахло небольшое лаковое деревце, притаившееся где-то среди чащи.

Жак, обуреваемый мыслями о войне и еще острее сознавая ее возможность в присутствии военного, спросил:

— Ты легко получил отпуск?

— Очень легко. А что? — Так как Жак молчал, Даниэль добавил со спокойной уверенностью: — Мне дали четыре дня, обещав продлить срок. Но это не понадобится... Твой брат, который был здесь, когда я приехал, откровенно сказал мне, что не осталось ни малейшей надежды. — Он умолк, затем резко продолжал: — Пожалуй, так оно и лучше. — Он снова вытянул руку в направлении здания. — Это ужасно, но при создавшемся положении вещей никто не может пожелать, чтобы он остался в живых. Я знаю, что смерть его ничего не исправит, — продолжал он жестко. — Во всяком случае она положит конец одной истории... последствия которой были бы ужасны... для мамы... для него самого... для всех нас... — Он слегка повернулся лицом к Жаку. — Моего отца должны были со дня на день арестовать, — произнес он каким-то сухим, сдавленным голосом, похожим на рыдание. Закрыв глаза, Даниэль слегка откинулся назад. Падавший сквозь листву деревьев свет плафона на минуту осветил его прекрасный лоб, верхняя линия которого образовала две правильные четверти круга, разделенные посередине прядью волос.

Жаку хотелось что-нибудь сказать ему, но замкнутая жизнь и товарищеские отношения с политическими деятелями давно отучили его от сердечных излияний. Он придвигнулся к Даниэлю и тронул его за плечо. Под ладонью он ощутил шершавое сукно мундира. Своеобразный запах шерсти, нагретой и промасленной кожи, табака и конюшни исходил от Даниэля и при малейшем его движении привлекался к ночным ароматам уснувшего сада.

Жак не видел своего друга целых четыре года. Несмотря на письма, которыми они обменивались после смерти г-на Тибо, Жак никак не мог решиться на поездку в Люневиль. Он опасался личной встречи. Сердечная, но очень редкая переписка казалась ему единственным подходящим способом общения при теперешнем состоянии их дружбы. Эта глубоко укоренившаяся дружба все еще оставалась очень горячей: Даниэль и Антуан были, в сущности, единственными привязанностями Жака. Но это был кусочек прошлого, того прошлого, от которого Жак добровольно оторвался и всякое возвращение к которому было ему тягостно.

— Неужели в Люневиле не говорят о войне? — спросил Жак, желая нарушить молчание.

Даниэль не выказал особого удивления.

— Конечно, говорят! Офицеры ежедневно говорят о войне... В этом весь смысл существования этих господ... В особенности на востоке! — Он улыбнулся. — А я только и знаю, что отсчитываю дни. Семьдесят три... семьдесят два... уже завтра семьдесят один... До остального мне дела нет. В конце сентября я буду свободен.

Новый луч света скользнул в эту минуту по его лицу. Нет, Даниэль не так уж сильно изменился. На этом правильном овальном лице, которому чистота линий придавала известный оттенок торжественности (в особенности когда усталость и горе омрачали его, как

в этот вечер), улыбка сохранила все свое прежнее очарование: медленная, подступающая откуда-то издалека улыбка, которая вздергивала вкось верхнюю губу, постепенно обнажая блестящий ряд зубов... Улыбка застенчивая — и вместе с тем вызывающая... В прежние годы, еще в детстве, Жак влюбленным взглядом ловил на губах своего друга эту волнующую и неотразимую улыбку; и даже сейчас он почувствовал, как нежная теплота разливалась по всему его существу.

— Представляю себе, как ты должен страдать от этой жизни в казармах! — сказал Жак осторожно.

— Нет... не слишком.

Скупые фразы, которыми они обменивались и которые падали среди окружающей тишины, наводили на мысль о тех канатах, которые моряки бросают с одного судна на другое и которые десять раз падают в воду, прежде чем удастся их схватить на лету...

После довольно длительной паузы Даниэль повторил:

— Не слишком... Вначале — да: меня изводили наряды на уборку навоза, на чистку отхожих мест и плевательниц... Теперь я унтер-офицер, и жизнь стала сноснее... У меня там даже есть друзья: лошади, товарищи... И в конечном счете я доволен, что прошел эту школу.

Жак пристально смотрел на него таким отчужденным, таким презрительным взглядом, что Даниэль едва сдержался, чтобы не дать волю своему раздражению. Неподатливость Жака, его скрытность, даже его вопросы словно подчеркивали какое-то превосходство, которое глубоко оскорбляло Даниэля. Тем не менее его привязанность взяла верх. Он чувствовал, что его отдаляет от Жака не поверхностное разногласие, которое можно было объяснить длительным перерывом дружбы, а все то, чего он не знал о Жаке... все то, что в прошлом беглеца оставалось для него непонятным... Надо было вернуть его доверие. Даниэль внезапно нагнулся и изменившись голосом — нежным, вкрадчивым голосом, который как будто вызывал к их былой привязанности, прошептал:

— Жак...

Конечно, он ожидал ответа, порыва, сердечного слова, хоть какого-нибудь поощряющего жеста... Но Жак инстинктивно откинулся назад, как бы отстраняясь от Даниэля.

Даниэль решил поставить все на карту:

— Объясни же мне наконец! Что произошло четыре года назад?

— Ты сам прекрасно знаешь.

— Нет! Я никогда не мог хорошенько понять! Почему ты уехал? Почему ты меня не предупредил? Хотя бы на условии сохранения тайны... Почему ты долгие годы не давал о себе знать? Как ты мог это сделать?..

Жак втянул голову в плечи. Он с упрямым видом смотрел на Даниэля. Сделав какой-то неопределенный усталый жест, он сказал:

— Стоит ли возвращаться ко всему этому?

Даниэль схватил его за руку.

— Жак!

— Нет.

— Что? Неужели же действительно нет? Неужели я так и не узнаю, что заставило тебя... так поступить?

— Ах, оставь, — сказал Жак, высвобождая руку.

Даниэль умолк и медленно выпрямился.

— Когда-нибудь, со временем... — пробормотал Жак с апатией, которая казалась непреодолимой и от которой еще более неожиданно прозвучал внезапно повышенный тон его голоса, когда он в бешенстве продолжал: — «Так поступить!.. Честное слово, можно подумать, что я совершил преступление! — Он одним духом выпалил: — Да нужно ли объяснять? Неужели ты действительно неспособен понять, как это человек в один прекрасный день может решиться порвать со всем, что его окружает? Уехать, никого не поставив в известность?.. Ты что ж, этого не понимаешь? Не понимаешь, что человек может не позволить до бесконечности держать себя в цепях и калечить? Не может осмелиться хоть раз в жизни быть самим собой, заглянуть к себе в душу, увидеть там все, что до сих пор люди считали в нем самым ничтожным, самым презренным, и сказать наконец: «Вот это и есть я!» Осмелиться крикнуть всем окружающим: «Обойдусь и без вас!..» Как! Ты действительно неспособен это понять?

— Да нет, я понимаю... — пробормотал Даниэль.

Сначала, слыша этот настойчивый, тревожный, несдержаный голос, который так напоминал о прежнем Жаке, Даниэль не мог подавить невольной, хотя и едва уловимой радости. Но вскоре он безошибочно различил в решительном тоне друга что-то сделанное: вспышка Жака была, в сущности, уверткой... Тогда он понял, что Жак ни за что не пойдет на откровенный разговор, который был бы избавлением для них обоих. От выяснения причин бегства Жака приходилось отказаться. А значит, придется отказаться и от их дружбы, той неповторимой дружбы, которой они когда-то так гордились. Даниэль ясно почувствовал это, и сердце его сжалось. Но сегодня у него и без этого было достаточно горя...

Несколько минут они просидели молча, неподвижно, даже не глядя друг на друга. Наконец Даниэль подобрал под себя вытянутые ноги и провел рукой по лбу.

— Мне надо все-таки вернуться наверх, — пробормотал он. Голос его был совершенно беззвучен.

— Да, — согласился Жак, тотчас же встав. — Мне тоже пора идти.

Даниэль в свою очередь поднялся.

— Когда ты едешь?

— В двадцать три пятьдесят.

— П.Л.С.?<sup>1</sup>

— Да.

<sup>1</sup> Экспресс «Париж — Лион — Средиземное море».

— А машину найдешь?

— Зачем?.. Поеду трамваем...

Оба замолчали, стыдясь того, о чем им приходится разговаривать.

— Я провожу тебя до ворот, — сказал Даниэль, углубляясь в аллею.

Они пересекли сад, не обменявшись больше ни словом.

Когда они выходили на бульвар, у ворот остановилась машина. Из нее выпрыгнула молодая женщина без шляпки, за ней — пожилой мужчина. Лица их были взволнованы. Они торопливо прошли мимо юношей, которые с минуту смотрели им вслед, — скорее из желания отвлечься, чем из любопытства.

Стремясь ускорить прощание, Жак протянул руку; Даниэль молча пожал ее. На секунду, пока их руки оставались сплетенными, они взглянули друг на друга. Даниэль даже робко улыбнулся, и у Жака едва достало сил ответить ему улыбкой. Он решительно шагнул за ворота и пересек широкий, залитый электричеством тротуар. Но прежде, чем сойти на мостовую, он обернулся. Даниэль стоял на прежнем месте. Жак увидел, как он поднял руку, повернулся на каблуках и исчез в темноте под деревьями.

Вдали, за листвой, виднелись освещенные окна здания... Женни...

Не дожидаясь трамвая, Жак двинулся к центру Парижа, — к поезду, к Женеве, — почти бегом, словно дело шло о спасении его жизни.

## XXV

В большой гостиной с лакированными ширами (Антуан раз навсегда запретил Леону впускать кого бы то ни было в его маленький кабинет) сидела и скучала г-жа де Батенкур.

Окна были открыты. День склонялся к вечеру, в воздухе не ощущалось ни малейшего дуновения ветра. Анна повела плечами, и ее легкое вечернее манто упало на спинку кресла.

— Придется подождать, бедненький мой Феллоу, — сказала она вполголоса.

Уши собачонки, лениво раскинувшейся на ковре, слегка задрожали. Анна купила этот клубок светлого шелка на выставке тысяча девятисотого года и упорно таскала повсюду свою одряхлевшую диковинку с испорченными зубами и сварливым характером.

Внезапно Феллоу поднял голову, и Анна выпрямилась: оба они узнали быстрые шаги Антуана, его манеру резко открывать и закрывать двери.

Действительно, это был он. Лицо его выражало привычную профессиональную озабоченность.

Легким поцелуем он коснулся волос Анны, затем ее затылка. Она вздрогнула. Подняла руку и медленно провела пальцами по

его красивому квадратному лбу, властным выпуклостям надбровий, вискам, щеке. Затем на одно мгновение задержала в своей ладони его челюсть, крепкую челюсть Тибо, которая ей нравилась и одновременно внушала страх. Наконец подняла голову, встала и улыбнулась:

— Да взгляните же на меня, Тони... Не так: ваши глаза устремлены на меня, но взгляд где-то блуждает... Ненавижу, когда вы напускаете на себя вид великого человека.

Он взял ее за плечи и держал перед собой, сжимая руками выступы лопаток. Затем слегка отодвинулася, не отнимая рук, и оглядел ее сверху донизу взглядом собственника. Сильнее всего привязывало его к Анне не то, что она до сих пор сохранила свою красоту, но то, что она, казалось, была сложена специально для любви.

Она отдавалась его пытливому взору, обратив на него глаза, полные жизни и радости.

— Я только переоденусь и затем поступаю в полное ваше распоряжение, — промолвил он, тихо отстраняя ее и заставляя снова сесть в кресло.

Теперь он по вечерам так часто облачался в смокинг, что ему пришлось потратить не более пяти минут на то, чтобы принять душ, побриться, надеть крахмальную рубашку, белый жилет — все заранее приготовленные вещи, которые Леон протягивал ему одну за другой с невольными жестами церковного служки.

— Соломенную шляпу и автомобильные перчатки, — сказал он вполголоса.

Перед тем как выйти из комнаты, он беглым взглядом осмотрел себя в зеркале с головы до ног и вытянул манжеты. С недавних пор он научился не пренебрегать тем дополнительным чувством удобства и приятным расположением духа, которые доставляют человеку тонкое белье, хорошо приложенный воротничок, отлично скроенный костюм. Ему казалось теперь вполне законным, даже необходимым по соображениям гигиены, разрешать себе после трудового дня провести вечер в безделье и дорогостоящих развлечениях. И он был счастлив, что может разделить свой досуг с Анной, хотя был вполне способен, как это порою случалось, эгоистически наслаждаться им в одиночестве.

— Куда вы поведете меня обедать, Тони? — спросила она, когда Антуан помогал ей надеть манто, мимоходом целуя ее голую шею. — Только не в Париже... Сегодня так жарко... А не отправиться ли нам в Марли, к Пра? Или, лучше, поедем в «Петух». Там будет веселее.

— Это далеко...

— Ну так что ж? Ведь за Версалем дорогу только что отремонтировали.

У нее была особая манера произносить фразы, вроде «А не сделать ли нам то-то?», «А не поехать ли туда-то?», каким-то безмятежным тоном, с нежным и немного усталым взглядом; и она с невинным видом предлагала самые невообразимые затеи, не считаясь с расстоянием, временем, усталостью или вкусами Антуана, не считаясь также с тратами, которые вызывались ее прихотью.

— Ну что ж, пусть будет «Петух», — весело сказал Антуан. — Феллоу, вставай. — Он нагнулся, взял собачонку под мышку, открыл дверь и пропустил Анну вперед.

Она остановилась. От темно-синего манто, кремовых тонов платья, черного лака ширм ее кожа брюнетки светилась особенно темным блеском. Повернувшись к Антуану, она разглядывала его без малейшего стеснения. Потом прошептала: «Мой Тони...» так тихо, что, казалось, слова эти не предназначались для него.

— Ну, идем, — сказал он.

— Идем... — вздохнула она с таким видом, словно, выбрав этот ресторан, находившийся в сорока пяти километрах от Парижа, сделала еще одну уступку капризам деспота. И, шумя оборками своего платья из тафты, она с высоко поднятой головой весело переступила упругим шагом через порог.

— Когда ты идешь, — шепнул ей на ухо Антуан, — ты похожа на красивый фрегат, выходящий в открытое море...

Хотя машина была мощная и ее интересно было вести, Антуану уже не доставляло удовольствия управлять самому; но он знал, что Анна ничего так не любила, как эти прогулки с ним вдвоем, без шофера.

Солнце уже село, но было все еще жарко. Проезжая через лес, Антуан выбирал боковые дороги, которыми мало пользовались, прямо под высокими деревьями. В спущенные окна автомобиля врывался теплый и пахнущий листвой воздух.

Анна болтала. В связи со своей недавней поездкой в Берк она заговорила о муже, что делала довольно редко.

— Представь себе, он не хотел меня отпускать. Он просил, угрожал, он был просто отвратителен. Все же он проводил меня на вокзал, не преминув напустить на себя свой любимый вид мученика. И на перроне, когда поезд отходил, он имел наглость сказать: «Так вы никогда не переменитесь?» Тогда с площадки вагона я бросила ему такое «нет»... Это «нет» означало самые ужасные вещи... И это правда, я не переменюсь: я его не выношу, тут уж ничего не поделаешь.

Антуан улыбался. Он не прочь был видеть ее разгневанной. Иногда он говорил ей: «Люблю, когда ты смотришь злодейским взглядом». Он вспомнил Симона де Батенкура, приятеля Даниэля и Жака, с его мордочкой козленка, бесцветными, как мочала, волосами, кротким, немного унылым видом. В общем, Симон был довольно антипатичен.

— Подумать только, что он мне нравился, этот болван, — продолжала Анна. — И может быть, как раз из-за этого...

— Из-за чего?

— Из-за его глупости... Из-за того, что у него было в жизни так мало любовных приключений... Меня это словно освежало, — все-таки перемена. Мне это казалось подходящим случаем начать жить заново. Да, порою бываешь такой идиоткой!

Она вспомнила о своем решении чаще говорить о себе, о своем прошлом; сейчас представлялся удобный случай, сейчас — или никогда. Она устроилась поудобнее, положила голову на плечо Антуана и, устремив взгляд на дорогу, предалась воспоминаниям.

— Иногда я встречалась с ним в Турени на охоте. Я заметила, что он поглядывает на меня, но заговорить он не решался. Однажды вечером, возвращаясь с прогулки, я встретила его в лесу. Он шел пешком, почему — не знаю. Я была одна. Я велела остановить машину и предложила подвезти его в Тур. Он покраснел как рак. Сел в машину. Все — не говоря ни слова. Наступала ночь. И внезапно, уже почти в черте города...

Антуан слушал рассеянно, его внимание было поглощено дорогой, стуком мотора.

Анна... После него она будет любить других, верная своей судьбе. Он не строил себе иллюзий насчет продолжительности их связи. «Забавно, — думал он, — как это меня всегда влекло к таким эмансипированным темпераментным женщинам...» Часто он задавал себе вопрос, не является ли это смешение товарищеского чувства и влюбленности, которым он удовлетворялся в своих отношениях с любовницами, довольно неполной, недостаточной, может быть даже довольно убогой формой любви. «Ты смешиваешь любовь с вожделением», — сказал ему Штудлер. Полноценная или неполноценная, но эта форма ему подходила и вполне удовлетворяла его. Она оставляла нетронутой его силу хорошего работника, которому нужна полная свобода, чтобы он мог целиком посвятить себя своему призванию. И ему снова пришел на ум недавний разговор со Штудлером. Халиф процитировал ему слова одного своего знакомого, молодого писателя, некоего Пеги: «Любить — значит признавать правоту любимого существа, когда оно неправо». Эта формула сильнейшим образом шокировала Антуана. В такой все попирающей, самозабвенной, одуряющей форме любовь всегда вызывала у него недоумение, ужас и даже нечто вроде отвращения...

Автомобиль проехал по мосту, пересек Сену и начал лихо взбираться на Сюренский холм.

— Здесь есть маленькая харчевня, где можно поесть жареной рыбы, — внезапно промолвила Анна, вытянув руку.

(В свое время именно сюда возил ее Делорм, бывший студент-медик, ставший аптекарем в Булони, который в течение нескольких лет до этой зимы, до тех пор пока Анна не отучилась от наркотика, оплачивал благосклонность этой неожиданно дарованной ему необычайной любовница, поставляя ей морфий.)

Опасаясь, чтобы Антуан не задал неудобного вопроса, она заставила себя засмеяться.

— Туда стоит зайти ради хозяйки. Толстая тетка в бигуди и с постоянно спущенными чулками... Я бы лучше предпочла ходить босой, чем носить чулки штопором. А ты?

— Поедем как-нибудь в воскресенье, — предложил Антуан.

— Нет, не в воскресенье. Ты же отлично знаешь, что я терпеть не могу воскресений. На улицах без конца толпятся люди под предлогом, будто они отдыхают.

— Да, это, в общем, очень удобно, что в течение шести дней из семи другие работают, — насмешливо заметил Антуан.

Она не почувствовала упрека и рассмеялась:

— Бигуди. Обожаю это слово. Его произносишь — и во рту словно раздается звук кастаньет. Когда у меня будет другая собака, я назову ее Бигуди... Но у меня никогда не будет другой собаки, — прибавила она с серьезным видом. — Когда Феллоу со-старится, я отправлю его. И никем не заменю.

Молодой человек улыбнулся, не поворачивая головы.

— У вас хватило бы мужества отправить Феллоу?

— Да, — сказала она решительным тоном. — Но только тогда, когда он станет совсем старым и больным.

Он окинул ее беглым взглядом. Ему припомнились странные слухи, которые распространились после смерти старого Гупийо. Иногда он думал о них. Чаще всего — чтобы посмеяться над ними. Но порою Анна его пугала. «Она на все способна, — думал он. — На все, даже на то, чтобы отправить мужа, ставшего совсем старым и больным...»

Он спросил:

— Можно узнать — чем? Стрихнином? Цианистым кали?

— Нет... Каким-нибудь производным барбитуровой кислоты. Лучше всего диадилл. Но он включен в таблицу Б, для него нужен рецепт... Мы удовольствуемся простым диаллилом. Не правда ли, Феллоу?

Антуан засмеялся несколько неестественно:

— Не так-то легко найти правильную дозу. На один-два грамма больше или меньше — и неудача...

— Один-два грамма? Для собачонки, которая не весит и трех кило? Вы в этом ничего не смыслите, доктор...

Она произвела краткий подсчет в уме и спокойно заявила:

— Нет, для Феллоу будет вполне достаточно двадцати пяти сантigramмов диаллила, самое большое — двадцати восьми...

Она замолчала. Он тоже. Думали ли они об одном и том же? Нет, так как она прошептала:

— Я никогда никем не заменю Феллоу... Никогда... Тебя это удивляет? — Она снова прижалась к нему. — Я ведь могу быть верной, Тони, знаешь... Очень верной...

Машина замедлила ход, повернула и проехала через железнодорожное полотно.

Анна, глядя на дорогу, рассеянно улыбалась.

— В сущности, Тони, я родилась для того, чтобы посвятить себя великой единственной любви... Не моя вина, что мне пришлось жить, как я жила... Но во всяком случае, — произнесла она с силой, — могу сказать одно: я никогда не опускалась... (Она говорила искренне, совсем забыв о Делорме.) И я ни о чем не жалею.

С минуту она молчала, прижавшись виском к плечу Антуана и смотря на потемневший подлесок, на тучи пляшущей мошки, которые на ходу разрезала машина.

— Странно, — продолжала она. — Чем я счастливее, тем чувствую себя добрее... Бывают дни, когда мне так хочется принести себя в жертву чему-нибудь, кому-нибудь!

Он был поражен тоской, звучавшей в ее голосе. Он знал, что она говорит искренне, что роскошь, которая окружала ее, положение в свете — все достигнутое в результате пятнадцати лет расчесов и ловкого маневрирования — не дали ей ни успокоения, ни счастья.

Она вздохнула:

— Ты знаешь, зимио я решила начать новую жизнь... серьезную... полезную... Надо мне помочь, Тони. Обещаешь?

Это был проект, о котором она очень часто заговаривала. Впрочем, Антуан не считал ее неспособной изменить свою жизнь. Она обладала большими достоинствами, несмотря на все свои пороки: она была наделена довольно живым практическим умом и стойкостью, способной выдержать любые испытания. Но для того, чтобы она преуспела и не сбивалась с пути, нужно было, чтобы при ней постоянно находился кто-нибудь, кто мог бы руководить ею и обезвреживать ее недостатки; кто-нибудь вроде него. Этой зимой он имел возможность познать меру своего влияния на нее, когда решил во что бы то ни стало заставить ее отказаться от морфия: он добился того, что она согласилась проделать в течение восьми недель курс очень тягостного лечения в одной сенжерменской клинике, откуда она вернулась совершенно разбитой, но радикально излеченной, и с тех пор уже не делала себе уколов. Нет сомнения, что он смог бы, если бы захотел, направить на какое-нибудь серьезное дело эту неиспользованную энергию. Стоит ему сделать один жест — и все будущее Анны может измениться... И однако он твердо решил не делать этого жеста. Он слишком хорошо представлял себе, какие новые всепоглощающие заботы навалило бы на него подобное «спасение». Все жесты обязывают, особенно — благородные жесты... А ему надо было вести свою собственную жизнь, оберегать свою свободу. На этот счет он был непоколебим. Но всякий раз, размышляя об этом, он проникался волнением и грустью: ему казалось, что он словно отворачивает голову, чтобы не видеть, как по направлению к нему тянется из воды рука утопающей...

В виде исключения «Серебряный петух» был в этот вечер на-  
половину пуст.

Когда машина остановилась, метрдотель, официанты и буфетчики бросились навстречу этим запоздавшим клиентам и торжественно повели их от боксете к боксете. Небольшой струнный оркестр, скрытый в зелени, начал приглушенно играть. Все, казалось, были участниками какой-то хорошо слаженной постановки; и сам Антуан, идя вслед за Анной, двигался с уверенностью и естественностью актера, выходящего на сцену в выигрышной и хорошо заученной роли.

Столики были совсем отделены друг от друга кустами бирючины и жардиньерками с цветами. В конце концов, после долгих колебаний Анна выбрала место и позаботилась прежде всего о том, чтобы устроить свою собачонку на подушке, которую управляющий любезно положил прямо на землю. (Подушка была из розового кретона, ибо в «Петухе» все было розовым — от грядок, усаженных мелкими бегониями, до скатерей, зонтиков и фонариков, висящих на деревьях.)

Анна, стоя, методически просматривала меню. Ей нравилось изображать из себя гурманку. Метрдотель, окруженный официантами, молчал, полный внимания, приложив к губам карандаш. Антуан ждал, пока она сядет. Анна повернулась к нему и рукой, с которой уже успела снять перчатку, указала на меню выбранные ею блюда. Она воображала, — впрочем, это и не было совсем неверно, — что он ревниво относится к своим прерогативам и будет недоволен, если она обратится непосредственно к обслуживающим.

Антуан передал им заказ тоном решительным и фамильярным, к которому он всегда прибегал в подобных случаях. Метрдотель записывал, всячески выражая знаками свое почтительное одобрение. Антуан смотрел, как он пишет. Ему приятна была угодливость персонала. Он был недалек от того, чтобы — ему это казалось так естественно — наивно воображать, что эти люди действительно чувствуют к нему искреннее расположение.

— О, какой очаровательный *pussy*,<sup>1</sup> — воскликнула Анна, протягивая руку к маленькому черному бесенку, который только что вскочил на столик для посуды и которого скандализированные официанты уже старались прогнать салфетками. Это был шестинедельный котенок, совсем черный, невероятной худобы, с раздутым брюшком и странными зелеными глазами, сидящими в его огромной голове, как в оправе.

Анна взяла его обеими руками и, смеясь, прижалась к нему щекой.

Антуан улыбался, хотя и был шокирован.

— Да оставьте вы это блошиное гнездо, Анна... Он вас оцарапает.

---

<sup>1</sup> Котенок (англ.).

— Нет, ты не блошиное гнездо... Ты прелестнейший pussy,— возражала Анна, прижимая к груди маленького грязного зверька и поглаживая ему темечко кончиком подбородка.— А живот-то! Просто комод в стиле Людовика Пятнадцатого! А голова! Он похож на прорастающую луковицу... Вы замечали, Тони, какой забавный вид у прорастающих луковиц?

Антуан почел за благо рассмеяться — немного искусственным смехом. С ним это редко случалось. Он с удивлением прислушался к своему собственному смеху и внезапно ощутил всю его особенность. «Ну вот, — подумал он, и его сердце как-то странно сжалось, — я только что смеялся точь-в-точь как отец...» Никогда в жизни не обращал Антуан внимания на то, как смеялся г-н Тибо, и вот ни с того ни с сего он сегодня вечером услышал этот смех, да еще из своих собственных уст.

Анна во что бы то ни стало хотела заставить ужасного зверька лежать у нее на коленях, как ни страдала от этого ее кремовая тафта.

— Ax, паскудник, — говорила она в полном восторге. — Ну, помурлычте, господин Вельзевул... Вот так... Он все понимает... Я уверена, что у него есть душа, — сказала она совершенно серьезно. — Купите мне его, Тони... Это будет наш амулет. Я чувствую, пока он будет у нас, с нами ничего худого не случится.

— Попались! — насмешливо сказал Антуан. — Посмейте-ка теперь утверждать, что вы не суеверны.

Он уже не раз дразнил ее по этому поводу. Она призналась ему, что зачастую вечером, когда ее одолевали дурные предчувствия, она в полном одиночестве блуждала по комнате, будучи не в состоянии уснуть, и под конец вынимала из ящика, где хранились реликвии ее прошлого, старое руководство для гадания на картах и гадала себе до тех пор, пока не засыпалась.

— Вы правы, — внезапно сказала она. — Я совершенная идиотка.

Она опустила котенка, который несколько раз неуклюже подпрыгнул и исчез в кустах. Затем, убедившись в том, что они совсем одни, она устремила свой взор прямо в глаза Антуана и прошептала:

— Ругай меня, я это обожаю... Увидишь, я буду тебя слушаться... Я исправлюсь... Я стану такой, как ты хочешь...

У него мелькнула мысль, что, может быть, она любит его больше, чем он того желал бы. Он улыбнулся и знаком велел ей есть суп, что она и сделала, опустив глаза как маленькая девочка.

Потом она перевела разговор совсем на другое: на каникулы, которые она решила провести в Париже, чтобы не расставаться с Антуаном; затем на какой-то процесс — это было убийство, наполовину политическое, наполовину из-за страсти, подробностями которого уже в течение многих дней заполнялись столбцы газет.

— Вот молодчина! Как бы я хотела совершить что-либо подобное! Ради тебя. Убить кого-нибудь, кто желал бы тебе зла. —

Вдалеке обе скрипки, виолончель и альт заиграли какой-то менют. Несколько мгновений она словно мечтала о чем-то, затем произнесла ласково и серьезно: — Убить из-за любви...

— У вас такой вид, словно вы на это способны, — улыбнувшись, заметил Антуан.

Она уже собиралась ответить, но в это время метрдотель, собиравшийся разрезать голубей, протянул ей, словно кадильницу, серебряный соусник, из которого поднимался аромат рагу из дичи.

Антуан заметил, что на ресницах ее блестят слезинки. Он вопросительно взглянул на нее. Может быть, он ее невольно обидел?

— Быть может, вы более правы, чем сами думаете, — вздохнула она, не глядя на него, и это было так странно, что он не мог не подумать еще раз о Гуппийо.

— В чем прав? — спросил он с любопытством.

Пораженная его интонацией, она подняла глаза и уловила во взгляде Антуана смущение, которого сперва не сумела себе объяснить. Внезапно ей вспомнился их разговор насчет ядов, распросы Антуана. Ей известны были все обвинения, которые предъявлялись ей в досужих сплетнях после смерти ее мужа; одна газета департамента Уазы позволила себе даже делать довольно прозрачные намеки, которые окончательно утвердили в тех местах легенду о старом архимиллионере, запертом у себя в замке молодой авантюристкой, на которой он женился уже в преклонном возрасте, и однажды ночью скончавшемся при обстоятельствах, так и оставшихся невыясненными.

Антуан снова спросил, уже более твердым голосом:

— В чем же я прав?

— В том, что у меня внешность героини мелодрамы, — холодно ответила она, не желая дать ему заметить, что она угадала его мысли. Вынув из сумочки зеркальце, она рассеянно смотрелась в него. — Взглядите... Разве я похожа на человека, который глупейшим образом умрет в своей постели? Нет. Я кончу жизнь какнибудь трагически. Увидите. Однажды утром меня найдут распростертой посреди комнаты с кинжалом в груди... На ковре, обнаженную... и заколотую кинжалом... Впрочем, я уже заметила: в книгах все героини, которых зовут Анна, всегда кончают жизнь от удара кинжалом... Знаете, — продолжала она, не отводя глаз от зеркальца, — я мучительно боюсь быть безобразной, когда умру... Бледные губы мертвцев — это такая ужасная вещь... Я непременно хочу, чтобы меня нарумянили. Я даже упомянула об этом в моем завещании. — Она говорила быстро, гораздо быстрее, чем обычно, слегка шепелявя при этом, как тогда, когда бывала чем-либо смущена. Кончиком носового платка она стряхнула слезинки, еще оставшиеся у нее между ресницами, затем провела по лицу пуховкой и снова спрятала платок и пуховку в сумочку, звонко щелкнув замком. — В глубине души, — продолжала она (во время этого признания в ее красивом контрапульто внезапно послышались вуль-

гарные нотки), — я ничего не имею против того, чтобы выглядеть как героиня мелодрамы...

В конце концов, она повернула к нему лицо и заметила, что он продолжает внимательно наблюдать за нею. Тогда она медленно улыбнулась и, казалось, приняла решение.

— Моя наружность уже не раз подводила меня, — вздохнула она. — Вы знаете, что меня считали отправительницей?

С четверть секунды Антуан колебался. Его веки дрогнули. Он откровенно заявил:

— Знаю.

Она положила локти на стол и, смотря прямо в глаза своего любовника, произнесла как-то особенно протяжно:

— Ты считаешь, что я на это способна?

Тон ее был вызывающий, но она отвела взгляд, и теперь он был снова устремлен куда-то вдаль.

— Почему бы и нет? — сказал он полуслыша-полусерьезно.

Несколько мгновений она молча глядела на скатерть. У нее мелькнула мысль, что это сомнение, может быть, придает известную остроту тому чувству, которое испытывает к ней Антуан, и на секунду у нее явилось искушение оставить его в неизвестности. Но когда ее взгляд снова упал на него, искушение прошло.

— Нет, — резко сказала она. — Действительность не столь романтична: вышло так, что я была вдвоем с Гупио в ночь, когда он умер; это правда. Но он умер, потому что час его пробил, и моей вины тут нет.

Молчание Антуана, его манера слушать, казалось, говорили о том, что он ожидает более подробного рассказа. Она отодвинула тарелку, даже не притронувшись к ней, и достала из сумочки папиросу. Антуан, не шевелясь, смотрел, как она ее зажигает. Она часто курила эти папиросы из табака, смешанного с чаем, которые она получала из Нью-Йорка и которые распространяли запах жженой травы, упорный и едкий. Она несколько раз затянулась, медленно выпуская дым, и затем прошептала, словно утомленная:

— Вас интересуют все эти старые истории?

— Да, — ответил он несколько более поспешно, чем сам того желал.

Она улыбнулась и пожала плечами, словно с его стороны это был каприз, не имеющий особого значения.

Мысли Антуана блуждали и путались. Разве Анна не сказала ему однажды: «Защищая себя в жизни, я привыкла лгать, и если ты заметишь, что я и тебе лгу, скажи мне это сразу же и не ставь мне этого в вину». Он не знал, как поступить. Внезапно ему вспомнилась странная фамильярность, замеченная им в отношениях между Анной и мисс Мери, гувернанткой маленькой Гюеты. Он был совершенно уверен в том, что не ошибается насчет истинного смысла этой интимности. Однако когда впоследствии он, улыбаясь, задал своей любовнице несколько прямых вопросов на этот счет, Анна не только уклонилась от каких бы то ни было признаний,

но даже запротестовала против подобных подозрений с негодованием и кажущейся искренностью, которые его совершенно смущали.

— Да нет же! Никаких костей! Вы хотите, чтобы он подавился?

Официант только что поставил мисочку с похлебкой перед подушкой Феллоу и, стараясь изо всех сил угодить, намеревался положить туда еще косточки голубей.

Немедленно подбежал метрдотель.

— Что прикажете, сударыня?

— Ничего, ничего, — недовольно сказал Антуан.

Собачонка встала и принялась обнюхивать миску. Она вздрогнула, пошевелила ушами, несколько раз втянула в себя воздух и как бы с мольбой о помощи повернула к хозяйке свой плоский, похожий на трюфелину носик.

— Ну что, ну что такое, мой маленький Феллоу? — спросила Анна.

— Покажите-ка, что вы принесли, — обратилась она к официанту и тыльной частью руки дотронулась до миски. — Ну, конечно, эта ваша похлебка совсем простыла. Я же вам сказала: теплую... И совсем без жира, — добавила она строго, указывая пальцем на жирный кусок. — Рису, морковки и немного медко порезанного мяса. Право, это нехитрое дело.

— Унесите! — сказал метрдотель.

Официант поднял миску, одно мгновение смотрел на похлебку, затем послушно отправился на кухню. Но прежде чем уйти, он на секунду поднял глаза, и взгляд Антуана встретился с его ускользающим взглядом.

Когда они остались одни, Антуан сказал ей с упреком:

— Дорогая, не находите ли вы, что господин Феллоу, пожалуй, слишком уж разборчив?..

— Этот официант просто идиот! — прервала его разгневанная Анна. — Вы видели? Он точно осталбенел перед миской.

Антуан тихо сказал:

— Он, может быть, думал, что в эту самую минуту где-нибудь в предместье, в каком-нибудь убогом чулане, его жена и ребятишки сидят за столом перед...

Горячая и трепетная рука Анны прикоснулась к его руке.

— Милый Тони, вы правы; это ужасно — то, что вы говорите... Но ведь вы же не хотите, чтобы Феллоу заболел? — Казалось, она чувствовала себя растерянной. — Ну вот, теперь вам смешно! Слушайте, Тони, этому бедному малому надо дать на чай... Ему особо... И побольше... От Феллоу...

Несколько секунд она сидела в задумчивости, затем вдруг сказала:

— Представьте себе, мой брат тоже начал с того, что был официантом в ресторане... Да, официантом в одной венсенской кухистерской.

— Я не знал, что у вас есть брат, — заметил Антуан. (Интонация и мимика его, казалось, говорили: «Впрочем, я о вас так мало знаю...»)

— О, он далеко... Если еще жив... Он поступил в колониальные войска и уехал в Индо-Китай... Надо полагать, он там устроился. Я ни разу не получила от него известий... — Постепенно она снижала тон. На минорных нотах голос ее всегда был особенно волнующим. Она добавила еще: — Как глупо! Ведь я же отлично могла ему помочь. — И затем умолкла.

— Так как же? — снова начал Антуан после нескольких секунд молчания. — Он умер, когда вас не было?

— Кто? — спросила она, и ее ресницы дрогнули.

Эта настойчивость удивляла ее. И все же она испытывала удовлетворение оттого, что внимание Антуана было так поглощено ею. И внезапно, совершенно неожиданно, она принялась смеяться каким-то легким и искренним смехом.

— Представь себе, глупее всего то, что меня обвиняли в делах, которых я не делала и которые у меня, может быть, никогда не хватило бы мужества совершить; и никто не узнал того, в чем я действительно виновна. Тебе я все скажу: я опасалась завещания, которое мог составить Гуппийо; и вот в течение тех двух лет, когда он был в состоянии совершенной расслабленности, я, пользуясь доверенностью, которую мне удалось у него выманить с помощью одного нотариуса из Бове, самым спокойным образом присвоила себе значительную часть его состояния. Впрочем, это было бесполезно, ибо завещание было составлено целиком в мою пользу. Гюгета получала только свою законную часть... Но я полагала, что после этих семи лет адской жизни я имею право сама взять все, что захочу. — Перестав смеяться, она добавила с нежностью в голосе: — И ты, мой Тони, первый, кому я это рассказываю.

Внезапно она вздрогнула.

— Ты озябла? — спросил Антуан, ища глазами ее манто.

Ночь становилась прохладной, было уже поздно.

— Нет, пить хочется, — сказала она, протягивая свой бокал к ведерку с шампанским. Она жадно выпила вино, которое он ей налил, снова зажгла одну из своих едких папирос и встала, чтобы накинуть на плечи манто. Усаживаясь на место, она подвинула кресло так, чтобы быть совсем близко от Антуана.

— Слышишь? — сказала она.

Ночные бабочки порхали вокруг фонариков и ударялись о полотно тента. Оркестр замолк... В закрытом помещении ресторана большая часть окон погасла.

— Здесь хорошо, но я знаю одно место, где было бы еще лучше... — снова заговорила она, и взгляд ее был полон обещаний.

Он не отвечал, и она схватила его руку, положив ее на скатерть ладонью вверх. Он подумал, что она хочет ему гадать,

— Не надо, — сказал он, стараясь высвободить руку. (Ничто так не раздражало его, как предсказания: самые замечательные казались ему такими жалкими по сравнению с тем, что он пред назначал себе в будущем!)

— Ну и глупый же ты! — бросила она ему, смеясь и не выпуская его руки. — Вот чего я хочу...

Она внезапно приникла к его ладони, впилась в нее губами и на минуту замерла без движения.

Он свободной рукой ласкал ее склоненный затылок, мысленно сравнивая ее слепую страсть к нему с тем спокойным и размеренным чувством, которое сам он питал к ней.

В этот момент, словно озаренная особым чувством, Анна слегка приподняла голову:

— Я не прошу, чтобы ты любил меня, как я тебя люблю, я только прошу, чтобы ты позволил мне любить тебя...

## XXVI

Собираясь выйти из дома, Ванхеде, как всегда по утрам, готовлял себе чашку кофе на керосиновой плитке, когда Жак, даже не зайдя к себе в комнату, чтобы оставить там вещи, постучался у его двери.

— Что нового в Женеве? — весело спросил он, бросая на пол свой саквояж.

Из глубины комнаты альбинос щурил глаза навстречу гостю, которого он узнал по голосу.

— Боти! Ты уже вернулся?

И он подошел к Жаку, протягивая ему свои маленькие, как у ребенка, руки.

— Ты хорошо выглядишь, — сказал он, пристально разглядывая путешественника.

— Да, — признал Жак. — Все в порядке.

Это была правда. Против всякого ожидания, ночь он провел в дороге более чем хорошо; она даровала ему подлинное избавление. Будучи один в купе, он смог улечься и почти тотчас же уснул; он проснулся только в Кюлозе,<sup>1</sup> отдохнувший, полный сил, даже в состоянии некоего блаженства, словно от чего-то освобожденный. Стоя у окна и вдыхая полной грудью утренний воздух, он смотрел, как первые лучи солнца рассеиваются на дне долин последние клочья ваты, оставленные ночью, и размышлял о себе, стараясь понять, откуда взялась внутренняя радость, которая преисполнила его в это утро. «Кончено, — сказал он самому себе, — довольно путаться в хаосе идей и доктрин. Наконец-то открывается ясная цель: активная борьба против войны». Разумеется, пробил час испытаний, и именно теперь все должно было решиться. Но когда

<sup>1</sup> Городок в департаменте Эн, станция ж.-д. линии Лион — Женева.

Жак подводил итог своим парижским впечатлениям, твердая позиция, занятая французскими социалистами, согласие между вождями, достигнутое благодаря влиянию Жореса и поддерживаемое его боевым оптимизмом, единство, намечавшееся в действиях профессиональных союзов и партий, — все это укрепляло его веру в непобедимую мощь Интернационала.

— Садитесь сюда, — сказал Ванхеде, прибрав до некоторой степени свою постель. (Он никогда не мог решиться говорить Жаку «ты».) — Мы по-братьски разделим мой кофе... Ну что, все сошло хорошо? Рассказывайте. Что там обо всем этом говорят?

— В Париже? Как тебе сказать... Публика вообще ничего не знает, никто ни о чем не беспокоится. Это просто поразительно: газеты занимаются только процессом Кайо, триумфальным путешествием господина Пуанкаре и каникулами... Впрочем, говорят, французской прессе было рекомендовано не привлекать внимания к балканским делам, чтобы не затруднять работы дипломатов... Но в партии волнение ужасное. И, ей-богу же, по-моему, работают здорово. Идея всеобщей забастовки вновь отчетливо выдвигается на первый план. Это будет французская платформа на Венском конгрессе. Конечно, весь вопрос в том, какую позицию займут немецкие социал-демократы: в принципе они согласны на пересмотр вопроса. Но...

— Новости из Австрии есть? — спросил Ванхеде, ставя на стол, заваленный книгами, стакан для чистки зубов, полный кофе.

— Да. В общем, неплохие новости, если они правдивы. Вчера вечером в «Ните» были уверены, что австрийскаяnota Сербии не будет иметь агрессивного характера.

— Боти, — внезапно сказал Ванхеде, — я очень рад, мне приятно вас видеть. — Он улыбнулся, как бы извиняясь за то, что перебил Жака, но тотчас же продолжал: — Сюда приезжал Бульман. Он рассказал одну историю, которая исходит из кабинета имперского канцлера в Вене; судя по ней, наоборот — Австрия питает самые дьявольские намерения, и притом заранее обдуманные... Все там разложилось, — мрачно заключил он.

— Да объясни же в чем дело, мой милый Ванхеде! — воскликнул Жак.

Его тон свидетельствовал не столько о любопытстве, сколько о хорошем настроении и дружеских чувствах. Ванхеде, видимо, почувствовал это, так как, улыбаясь, подсел к Жаку на кровать.

— А дело в том, что этой зимой врачи, приглашенные к Францу-Иосифу, нашли у него болезнь дыхательных органов... Неизлечимую... И настолько опасную, что император не проживет и года.

— Ну что ж, царство ему небесное! — пробормотал Жак, который в настоящий момент не был склонен серьезно смотреть на вещи. Он обернулся стакан носовым платком, чтобы не обжечь пальцы, и пил мелкими глотками мутноватое питье, приготовленное Ванхеде. Поверх стакана он устремлял недоверчивый, но дружеский взгляд на приятеля, бледного, с всплюкоченными волосами.

— Подождите, — продолжал Ванхеде, — сейчас будет самое интересное... Результаты осмотра были будто бы немедленно сообщены канцлеру... Тогда Берхтольд собрал у себя в имении различных государственных деятелей — это было нечто вроде коронного совета.

— Ого, — сказал Жак, который стал находить рассказ забавным.

— Там эти господа, среди которых были Тисса, Форгач и начальник генерального штаба Гетцендорф, будто бы рассудили таким образом: смерть императора, принимая во внимание создавшееся положение, вызовет в Австрии серьезные внутриполитические осложнения. Даже если режим двуединой монархии устоит, Австрия окажется надолго ослабленной; Австрии придется надолго отказаться от мысли разгромить Сербию; а для будущего империи Сербию разгромить необходимо. Что же делать?

— Поторопиться с экспедицией против Сербии, прежде чем старик умрет? — сказал Жак, который теперь слушал внимательнее.

— Да... Но некоторые идут еще дальше...

Жак наблюдал за Ванхеде, пока тот говорил, и, смотря на его лицо склонного ангела, снова и снова удивлялся контрасту между этой хрупкой телесной оболочкой и упрямой силой, которая порою ощущалась как некое твердое ядро, таящееся внутри бесцветной и рыхлой массы... «Крошка Ванхеде», — подумал он с улыбкой. И он вспомнил, что по воскресеньям в деревенских гостиницах на берегу Озера ему часто приходилось видеть, как альбинос внезапно выходил из-за стола, за которым велась страстная политическая дискуссия. «Всюду низость, всюду разложение». И он уходил в полном одиночестве, чтобы, как мальчишка, покачаться на качелях.

— ...некоторые идут еще дальше, — продолжал Ванхеде писклявым голоском. — Они говорят, что сараевское убийство было организовано агентами Берхтольда, чтобы создать долгожданный повод. И они говорят, что таким образом Берхтольд одним выстрелом убил двух зайцев: во-первых, он избавился от ненадежного, слишком миролюбиво настроенного наследника и в то же время сделал возможной войну с сербами до смерти императора.

Жак смеялся.

— Ну и сказку же ты мне рассказываешь!..

— Вы не верите, Боти?

— О, — серьезным тоном заметил Жак, — я думаю, что от честолюбивого и испорченного жизнью политика можно ожидать всего, абсолютно всего с той минуты, когда он почувствовал, что в его лапах сосредоточена вся полнота власти. Вся история человечества сплошная к этому иллюстрация... Но, милый мой Ванхеде, я также верю и в то, что самые макиавеллевские замыслы живо разбираются о всеобщую волю к миру.

— Полагаете вы, что Пилот тоже так думает? — спросил Ванхеде, тряхнув головой.

Жак вопросительно посмотрел на него.

— Я хочу сказать... — продолжал бельгиец словно нехотя, — Пилот не говорит «нет»... Но у него всегда такой вид, будто он не слишком верит в это сопротивление народов, в их волю...

Лицо Жака помрачнело. Он хорошо знал, чем именно позиция Мейнестреля отличалась от его позиции. Но эта мысль была ему неприятна; он ее инстинктивно отстранил.

— Милый мой Ванхеде, эта воля существует, — сказал он с силой. — Я только что вернулся из Парижа и полон надежд. Можно смело сказать, что в настоящее время не только во Франции, но и повсюду в Европе среди людей, подлежащих мобилизации, нет даже десяти, даже пяти из ста, которые примирись бы с мыслью о войне.

— Но и остальные девяносто пять — это пассивные существа, Боти, готовые всему покориться.

— Я знаю. Но предположим, что из этих девяноста пяти найдется хотя бы дюжина, даже полдюжины человек, которые понимают опасность и готовы восстать; перед лицом правительства окажется целая армия непокорных. Вот к этой-то полдюжине на сто и надо обращаться, ее-то и нужно объединить для сопротивления. В этом нет ничего неосуществимого. И над этим-то и работают сейчас все революционеры Европы.

Он поднялся с места.

— Который час? — пробормотал он, взглянув на часы. — Мне надо зайти к Мейнестрелю.

— Сейчас не выйдет, — заметил Ванхеде. — Пилот с Ричардли отправился в автомобиле в Лозанну.

— Вот как... Ты уверен?

— В девять часов у него была назначена одна встреча по делам съезда. Они не вернутся раньше двенадцати.

Жак, казалось, был недоволен.

— Ну ладно! Подожду до двенадцати... А ты что намерен делать сегодня утром?

— Я собирался идти в библиотеку, но...

— Пойдем со мной к Сафрио; по дороге поболтаем. У меня есть для него письмо. В Париже я виделся с Негретто... — Он поднял свой саквояж и направился к двери. — Обожди десять минут, я только побреюсь... Или зайди за мной, когда спустишься вниз.

Сафрио один занимал небольшой трехэтажный домик на улице Пелиссе, недалеко от собора. В нижнем этаже помещалась его лавочка.

О прошлом Сафрио было известно немного. Его любили за хорошее расположение духа, за его легендарную услужливость. Еще до приезда в Швейцарию он был членом Итальянской социалистической партии, а теперь уже в течение семи лет держал в Женеве аптекарский магазин. Он покинул Италию из-за каких-то неудач

в супружеской жизни, о которых упоминал часто, но неопределенно; поговаривали, что они чуть не довели его до убийства.

Когда Жак и Ванхеде зашли в магазин, он был пуст. На звон колокольчика в дверях задней комнаты появился Сафрио. Его красивые черные глаза засветились каким-то теплым светом.

— Buon giorno! <sup>1</sup>

Он улыбался, тряся головой, изгибая свои неровные плечи, разводя руками с заискивающей грацией итальянского трактирщика.

— У меня тут два земляка, — шепнул он на ухо Жаку. — Пойдемте.

Он всегда готов был приютить у себя итальянцев, объявленных вне закона у себя на родине и подлежащих высылке из Швейцарии. (Женевская полиция, обычно весьма покладистая, периодически проникалась «очистительным» рвением, преходящим, но весьма неудобным, и изгоняла со своей территории некоторое количество иностранных революционеров, у которых не устанавливалось с нею нормальных отношений. Чистка продолжалась с неделей, в течение которой непокорные обычно ограничивались тем, что покидали свои меблированные комнаты и переселялись в конуру к кому-нибудь приятелю. Затем снова наступало спокойствие. Сафрио был специалистом по оказанию подобного гостеприимства.)

Жак и Ванхеде последовали за ним.

За лавкой открывалось помещение, ранее служившее подвалом и отделенное от магазина узенькой кухней. Эта комната очень напоминала тюремную камеру: потолок был сводчатый, под ним находилось решетчатое окно, слабо освещавшее комнату. Но расположение ее было такое, что она представляла собою надежное убежище, и так как там могло поместиться много народу, Мейнестрель иногда пользовался ею для небольших приватных собраний. Одну стену сплошь занимали полки, уставленные старой аптекарской утварью, флаконами, пустыми банками, непригодными к делу стулками. На верхней полке красовалась литография с изображением Карла Маркса под стеклом, надтреснутым и серым от пыли.

Действительно, тут находились двое итальянцев. Один из них, оборванный как бродяга, сидел за столом перед тарелкой холодных макарон с томатами, которые он выковыривал кончиком ножа и распластывал на краю хлеба. Он окинул посетителей кратким взглядом раненого зверя и снова принялся за еду.

Другой, постарше и лучше одетый, стоял с какими-то бумагами в руках. Он подошел к вновь прибывшим. Это был Ремо Тутти, которого Жак знал в Берлине как корреспондента итальянских газет. Он был мал ростом, несколько слабого сложения, с живыми глазами и умным взглядом.

Сафрио пальцем указал на Тутти:

— Ремо приехал вчера из Ливорно.

<sup>1</sup> Добрый день! (итал.).

— Я только что вернулся из Парижа, — сказал Жак, обращаясь к Сафрио и вынимая из бумажника письмо. — Там я встретил одного человека, — угадай, кого, — который просил меня передать тебе это письмо.

— Негретто! — воскликнул итальянец, радостно хватая конверт.

Жак сел и повернулся к Тутти:

— Негретто сказал мне, что в Италии уже две недели тому назад под предлогом летних маневров собрали и вооружили восемьдесят тысяч резервистов. Правда ли это?

— Во всяком случае — тысяч пятьдесят пять или шестьдесят... Но Негретто, может быть, не знает, что в армии происходят серьезные волнения. Особенно в северных гарнизонах. Очень много случаев неповиновения. Командиры ничего не могут поделать. Они почти отказались от применения взысканий.

В тишине раздался певучий голос Ванхеде:

— Вот так. Неподчинением. Без насильственных мер. И на земле больше не будет убийств...

Все улыбнулись. Не улыбался только Ванхеде. Он покраснел, скрестил свои ручки и замолк.

— Так что же, — сказал Жак, — у вас в случае мобилизации дело гладко не сойдет?

— Можешь быть спокоен, — с силой сказал Тутти.

Сафрио поднял нос, оторвавшись от своего письма:

— Когда у нас пытаются насаждать милитаризм, весь народ — социалисты и несоциалисты — против.

— Мы имеем перед вами одно преимущество: опыт, — объяснил Тутти, говоривший по-французски очень хорошо. — Для нас триполитанская экспедиция была только вчера. Теперь народ наумен горьким опытом: он знает, что получается, когда власть передается военным... Я говорю не только о страданиях тех несчастных, которые сражаются, но и о заразе, которая тотчас же начинает душить страну: о фальсификации новостей, националистической пропаганде, отмене гражданских свобод, вздорожании жизни, жадности profittori...<sup>1</sup> Италия только что проделала этот путь. Она ничего не забыла. У нас партии легко было бы организовать новую Красную неделю при одной угрозе мобилизации.

Сафрио между тем старательно складывал письмо. Он спрятал конверт у себя на груди под рубашкой и, подмигнув, склонил над Жаком свое красивое смуглое лицо.

— Grazie!<sup>2</sup>

Юноша, сидевший в глубине просторной комнаты, поднялся с места. Схватив со стола бутыль из пористой глины, где вода сохранялась прохладной, он приподнял ее обеими руками и некоторое время пил из нее, делая большие глотки.

<sup>1</sup> Буквально — «пользующиеся», спекулянты, использующие военную конъюнктуру и обогащающиеся благодаря ей (итал.).

<sup>2</sup> Благодарю! (итал.).

— Basta! <sup>1</sup> — сказал, смеясь, Сафрио. Он подошел к молодому человеку и дружески схватил его за шиворот. — Теперь пойдем наверх. Там ты поспишь, товарищ...

Итальянец послушно последовал за ним на кухню. Проходя мимо остальных, он попрощался с ними изящным кивком головы.

Прежде чем выйти, Сафрио повернулся к Жаку:

— Можешь быть уверен, что предупреждения нашего Муссолини в «Avanti» дошли по адресу. Король и правительство теперь отлично поняли, что народ никогда не поддержит никакой агрессивной политики.

Слышно было, как они поднимались по лесенке, ведшей на второй этаж.

Жак размышлял. Он отбросил упавшую на лоб прядь волос и взглянул на Тутти.

— Надо заставить это понять, — я не скажу — правителей, которым все известно лучше даже, чем нам, — но известные националистические круги Германии и Австрии, которые еще рассчитывают на Тройственный союз и толкают свои правительства на авантюры... Ты все еще работаешь в Берлине? — спросил он.

— Нет, — лаконически отрезал Тутти. Его тон, загадочная улыбка, мелькнувшая во взгляде, ясно говорили: «Расспрашивать бесполезно... Секретная работа...»

Вошел Сафрио. Он смеялся, качая головой.

— Ах, эти малыши! — поведал он Ванхеде. — Они до того доверчивы! Этот тоже попался на удочку провокатору... На его счастье, у него ноги профессионального бегуна... И к тому же адрес папаши Сафрио.

Он весело повернулся к Жаку.

— Ну что ж. Тибо, ты вернулся из Парижа, и у тебя осталось от поездки хорошее впечатление?

Жак улыбнулся.

— Более чем хорошее, — произнес он с жаром.

Ванхеде пересел на другой стул, рядом с Жаком и спиной к окну. Когда свет бил ему в лицо, он страдал, как ночная птица.

— Я встречал не только французов, — продолжал Жак, — я также виделся с бельгийцами, немцами, русскими... Революционеры всюду начеку. Все поняли, что опасность серьезна. Всюду объединяются, ищут какой-то общей программы. Сопротивление организуется, начинает облекаться плотью. Движение единодушное, распространилось быстро — меньше чем в неделю; это отличный признак. Видно, какие силы может поднять Интернационал, когда хочет. А ведь то, что было сделано за эти несколько дней по всем столицам, — все эти несогласованные, неполноценные действия, — это еще ничто по сравнению с тем, что предполагается. На будущей неделе в Брюсселе будет созвано Бюро Интернационала...

<sup>1</sup> Довольно! (итал.).

— Si, si...<sup>1</sup> — одновременно подтвердили Тутти и Сафрио, не сводя своих пылких взоров с оживленного лица Жака.

Альбинос в свою очередь, щуря глаза, наклонился грудью вперед, чтобы лучше видеть Жака, сидевшего рядом с ним. Он протянул руку через спинку его стула и положил ее на плечо друга — впрочем, так легко, что тот даже не почувствовал этого.

Жорес и его группа придают этому совещанию огромное значение. Делегаты от двадцати двух стран. И ведь эти делегаты представляют не только двенадцать миллионов рабочих — членов партии, но фактически также миллионы других, всех сочувствующих, всех колеблющихся и даже тех из наших противников, кто перед лицом военной опасности отлично понимает, что один лишь Интернационал может воплотить в себе волю масс к миру и заставить ей подчиниться... В Брюсселе мы переживем неделю, которая войдет в историю. В первый раз в истории человечества сможет быть услышан голос народа, голос подлинного большинства. И он добьется, чтобы ему подчинились.

Сафрио безостановочно ерзал на своем стуле.

— Браво! Браво!

— Надо заглядывать и дальше, — продолжал Жак, который, уступая стремлению укрепить свою собственную веру, выражал ее в словах. — Если мы победим — это будет не только выигрыш великой битвы против войны. Это нечто большее. Это победа, благодаря которой Интернационал... — В этот момент Жак заметил, что Ванхеде опирается на его плечо, так как маленькая рука приятеля начала дрожать. Он повернулся к альбиносу и хлопнул его по колену. — Да, милый мой Ванхеде. Мы, может быть, подготовляем попросту и без ненужного насилия торжество социализма во всем мире... А теперь, — добавил он, поднявшись одним резким движением, — пойдем посмотрим, не возвратился ли Пилот.

Было еще слишком рано, чтобы можно было надеяться наозвращение Мейнестреля.

— Пойдем посидим немножко в «Виноградной беседке», — предложил Жак, беря альбиноса под руку.

Но Ванхеде покачал головой. Он уже достаточно побездельничал.

С тех пор как он поселился в Женеве, чтобы не расставаться с Жаком, он отказался от переписки на машинке и специализировался на исторических изысканиях. Эта работа хуже оплачивалась, но зато он был сам себе хозяином. И уже в течение двух месяцев он занимался тем, что окончательно портил себе зрение, подбирая тексты для издания «Документов о протестантизме», предпринятого одним лейпцигским издательством.

<sup>1</sup> Да, да (итал.).

Жак проводил его до библиотеки. Теперь он был один и так как проходил в это время мимо кафе «Ландольт» (подобно «Грютли», оно было облюбовано социалистической молодежью), то и зашел туда.

С удивлением обнаружил он там Патерсона. Англичанин, одетый в теннисные брюки, развешивал картины для выставки, которую хозяин кафе разрешил ему устроить в своем заведении.

Патерсон был, видимо, в ударе. Только что он отверг одно великолепное предложение. Некий овдовевший американец, мистер Секстон У. Клэгг, восхищенный его натюрмортами, предложил ему пятьдесят долларов за портрет миссис Секстон У. Клэгг, погибшей при извержении Мон-Пеле.<sup>1</sup> Портрет в натуральную величину должен был изображать ее с головы до ног, и писать его надо было с небольшой — размерами в визитную карточку — выцветшей фотографии. Безутешный вдовец оказался требовательным в одном пункте: туалет миссис Секстон У. Клэгг должен был быть видоизменен согласно самым последним требованиям парижской моды. Патерсон всячески острял на эту тему.

«Пат — единственный из нас, у кого есть настоящая веселость, непосредственная, внутренняя», — думал Жак, смотря, как молодой англичанин смеется, показывая все свои зубы.

— Я тебя немного провожу, дорогой, — сказал Патерсон, узнав, что Жак направляется к Мейнестрелю. — На этих днях я получил из Англии довольно интересные письма. В Лондоне говорят, что Холден<sup>2</sup> потихоньку собирает хороший экспедиционный корпус. Он хочет быть готовым ко всему... И флот тоже мобилизован... Кстати, о флоте, — ты читал газеты? Смотр в Спитхеде?<sup>3</sup> Все морские и военные атташе Европы были торжественно приглашены смотреть, как в течение целых шести часов у них под носом проходят военные корабли под британским флагом один за другим, как можно ближе друг к другу, совсем как шествие гусениц весной... Поистине attractive exhibition,<sup>4</sup> не правда ли? Boast, boast!<sup>5</sup> — закончил он, пожимая плечами.

В его сарказмах, несмотря ни на что, сквозила гордость. Жака это позабавило, но он не показал виду: «Англичанин, даже социалист, не может оставаться бесчувственным, когда речь идет о хорошо поставленном морском спектакле».

— А наш портрет? — спросил Патерсон, прощаясь с Жаком. — Над этим портретом, мой дорогой, словно тяготеет злой рок. Еще каких-нибудь два утра. Не больше. Честное слово! Два утра... Но когда?

<sup>1</sup> Вулкан на острове Мартиника, извержение которого в 1902 г. разрушило город Сен-Пьер и повлекло за собой огромные человеческие жертвы.

<sup>2</sup> Х о л д е н, Ричард Берден (1856—1928) — военный министр Англии в 1905—1912 и 1914 гг.

<sup>3</sup> Внешний рейд Портсмута, крупнейшей английской военно-морской базы.

<sup>4</sup> Хорошенькая выставка (англ.).

<sup>5</sup> Хвастовство, хвастовство! (англ.).

Жаку хорошо было известно упорство англичанина. Лучше было уступить и покончить с этим как можно скорее.

— Хочешь — завтра? Завтра, в одиннадцать?

— All right!<sup>1</sup> Ты, Джек, действительно добрый друг.

Альфреда была одна. Ее кимоно в крупных цветах, гладкая черная, словно лакированная, челка и ресницы делали ее слишком похожей на японскую куклу, чтобы это могло считаться непреднамеренным. Вокруг нее, в лучах солнца, проникавших сквозь щели ставен, роем кружились мухи. Квартиру наполнял неприятный запах цветной капусты, которая шумно кипела на кухне.

Она, видимо, была очень рада видеть Жака.

— Да, Пилот вернулся. Но он только что передал мне через Монье, что получены новости и что он заперся в «Локале» с Ричардли. Я должна идти к нему со своей машинкой... Позавтракай со мною, — предложила она, и ее лицо внезапно приняло серьезное выражение. — А потом мы отправимся вместе.

Она смотрела на него красивыми глазами дикарки, и у него возникло впечатление, — правда, очень слабое, — что она решилась сделать ему это предложение не просто из любезности. Намеревалась ли она расспрашивать его? Или хотела поведать что-либо?.. Его совсем не устраивало сидеть здесь вдвоем с этой молодой женщиной, и к тому же он хотел поскорее увидеть Майнестреля.

Он отказался.

Пилот работал с Ричардли в своем маленьком кабинете в «говорильне».

Они были одни. Майнестрель стоял за спиной Ричардли, сидевшего у стола; оба склонились над лежавшими перед ними документами.

Майнестрель заметил Жака, и глаза его засветились дружелюбным удивлением. Затем его острый взгляд стал неподвижным: какая-то мысль возникла в его уме. Он наклонился к Ричардли, словно собираясь о чем-то спросить, и движением подбородка указал ему на Жака:

— Кстати, раз он возвратился, почему бы не его?

— Конечно, — одобрил Ричардли.

— Садись, — сказал Майнестрель. — Сейчас мы кончим. — Он опять обратился к Ричардли: — Пиши... Это к швейцарской партии.

И сухим, беззвучным голосом он стал диктовать:

— «Вопрос поставлен неправильно. Проблема заключается не в этом. Маркс и Энгельс в свое время имели основание становиться

<sup>1</sup> Отлично! (англ.).

на сторону той или иной из наций. Мы этого не можем. В тысяча девятьсот четырнадцатом году мы, социалисты, не имеем права делать какое бы то ни было различие между европейскими державами. Война, которая угрожает разразиться, — это империалистическая война. У нее нет иных целей, кроме тех, к которым стремится финансовый капитал. И в этом смысле все нации находятся в одинаковом положении. Единственной целью пролетариата должно быть поражение всех империалистических правительств без различия. Мое мнение таково: *абсолютный нейтралитет...*» Подчеркни... «В этой войне обе группировки капиталистических держав будут пожирать друг друга. Наша тактика — предоставить им завершить это дело. Помогать им в этом самоуничтожении...» Нет, зачеркни эту фразу. «Использовать обстоятельства. Динамика общественного развития направлена влево. Революционное меньшинство всех стран должно работать над увеличением этих динамических сил в критический период, чтобы в подходящий момент пробить брешь, через которую ворвется революция».

Он замолк. Прошло несколько секунд.

— Почему Фреда не идет? — произнес он очень быстро. Он взял со стола блокнот и начал писать краткие заметки на клочках бумаги, передавая их Ричардли.

— Это — для комитета... Это — в Берн и Базель... Это — в Цюрих.

Наконец он встал и подошел к Жаку.

— Так ты, значит, вернулся?

— Вы мне сказали: «Если в воскресенье или понедельник ты от меня ничего не получишь...»

— Правильно. След, который я имел в виду, никуда нас не привел. Но я как раз собирался писать тебе, чтобы ты оставался в Париже.

Париж... Жака охватило неожиданное волнение, проанализировать которое у него не было времени. В припадке немного малодушной слабости, словно отказываясь от какой-то борьбы, словно перекладывая на кого-то другого тяжесть некоей ответственности, он внезапно подумал: «Они сами этого захотели».

Мейнстрель продолжал:

— В настоящий момент нам удобно будет иметь там человека. Заметки, которые ты посылаешь, небесполезны. Они характеризуют температуру среды, которая мне плохо известна. Наблюдай за тем, что происходит в «Нитте» еще больше, чем за тем, что делается в В.К.Т.<sup>1</sup> Что касается В.К.Т., у нас есть и другие источники информации... Следи за сношениями Жореса с соцдемами,<sup>2</sup> а также с англичанами. За его демаршами на Ке д'Орсе<sup>3</sup> по линии

<sup>1</sup> Всеобщая конфедерация труда.

<sup>2</sup> Германская социал-демократия.

<sup>3</sup> Набережная Орсе в Париже, на которой помещается французское министерство иностранных дел.

отношений между Францией и Россией... Да я тебе уже все это говорил. Ты приехал сегодня утром? Не устал?

- Нет.
- Можешь ты опять ехать?
- Сейчас?
- Сегодня вечером.
- Если это необходимо. В Париж?

Мейнестрель улыбнулся.

— Нет. Придется сделать небольшой крюк: Брюссель... Антверпен... Ричардли тебе растолкует... — Вполголоса он добавил: — Ведь она должна была прийти сейчас же после завтрака!

Ричардли закрыл железнодорожный указатель, который он просматривал, и поднял к Жаку свою острую мордочку:

— Есть подходящий поезд сегодня вечером в девятнадцать часов пятнадцать минут; в Базеле ты будешь в два часа утра, а в Брюсселе — завтра около полудня. Оттуда ты отправишься в Антверпен. Нужно, чтобы ты там был завтра, в среду, не позже трех часов дня... Эта миссия требует кое-каких предосторожностей, ибо речь идет о встрече с Княбровским, а за ним наблюдают... Ты его знаешь?

- Княбровского? Да, отлично знаю.

Жак слышал о нем повсюду в революционных кругах еще до того, как встретился с ним. Владимир Княбровский отбывал тогда последние месяцы заключения в русской тюрьме. Как только его освободили, он возобновил агитационную работу. Этой зимой Жак встретился с ним в Женеве, и с помощью Желявского он даже перевел для швейцарских газет отрывки из книги, которую Княбровский написал во время заключения.

— Смотри, будь осторожен, — сказал Ричардли. — Он теперь начисто выбрит, и говорят, это сильно изменило его внешность.

Он стоял слегка изогнув талию, со своей неизменной улыбкой, и смотрел на Жака умным, слишком уверенным взглядом.

Мейнестрель, заложив руки за спину, с озабоченным видом прохаживался взад и вперед по узкой комнате, чтобы восстановить кровообращение в больной ноге. Внезапно он повернулся к Жаку:

— В Париже все были безрассудно уверены в том, что Австрия проявит умеренность, не правда ли?

— Да. Вчера в «Ните» говорили, что австрийскаяnota даже не требует ответа к определенному сроку.

Мейнестрель подошел к окну, поглядел во двор и, снова приблизившись к Жаку, сказал:

- Ну, это еще вопрос...

— Вот как?.. — пробормотал Жак. Легкая дрожь пробежала по всему его телу, и на лбу выступило несколько капелек пота.

Ричардли холодно констатировал:

— Госмер был совершенно прав. События развиваются очень быстро.

На минуту наступило молчание. Пилот снова принял ходить взад и вперед. Он явно нервничал... «Из-за Австрии? — думал Жак. — Или из-за отсутствия Альфреды?»

— Вайян<sup>1</sup> и Жорес правы, — сказал он. — Надо, чтобы правительства оставили всякую надежду на то, что массы примирятся с их милитаристской политикой. Надо заставить их согласиться на посредничество. Угрозой всеобщей забастовки. Вы сами видели — неделю назад эта резолюция была принята на съезде французской партии огромным большинством голосов. Впрочем, насчет самого принципа разногласий вообще нет. Но в Париже ищут способа убедить немцев и добиться, чтобы они высказались так же категорично, как мы.

Ричардли покачал головой:

— Даром теряют время... Они никогда не согласятся. Их довод — старый довод Плеханова и Либкнехта,<sup>2</sup> довольно веский; когда речь идет о двух странах, из которых в одной социалистическое движение сильнее, чем в другой, первая в случае забастовки будет с головой выдана второй. Это очевидно.

— Немцы находятся под гипнозом русской опасности...

— Понятно. Другое дело, когда Россия разовьется внутриполитически настолько, что забастовка станет возможной одновременно в обеих странах...

Жак не уступал:

— Во-первых, сейчас нельзя говорить с уверенностью, что в России забастовка невозможна, — во всяком случае, частичные забастовки, как, например, те, что были на Путиловском заводе; распространившись и на другие центры, они могли бы очень помешать махинациям военной партии... Но оставим Россию. Есть совершенно ясный аргумент, который можно противопоставить национальным антипатиям немецких социал-демократов. Им надо сказать: «Приказ о всеобщей забастовке, отданный чисто механически в день мобилизации, явился бы для Германии гибельным. Пусть так. Но превентивная забастовка? Которую социалисты могли бы объявить в период, когда отношения между державами только натянуты, в период дипломатического кризиса, задолго до того, как речь зайдет о мобилизации? Так вот, одна угроза подобного потрясения в жизни страны, если бы такая угроза была серьезна, могла бы заставить ваше правительство согласиться на посредничество...» Перед этим аргументом возражения немцев были бы бессильны. А насколько мне известно, такова именно платформа, которую французская партия будет защищать на совещании Бюро в Брюсселе.

Мейнестрель стоял у стола, склонив голову над бумагами, и, казалось, ни на мгновение не заинтересовался спором. Он выпрям-

<sup>1</sup> Вайян, Эдуард (1840—1915) — французский социалист, один из вождей левого крыла II Интернационала, после объявления первой мировой войны склонившийся на позиции оборончества.

<sup>2</sup> Имеется в виду Вильгельм Либкнехт, отец Карла Либкнехта.

мился, подошел к Жаку и Ричардли и встал между ними. На его губах играла лукавая усмешка.

— А теперь, ребята, выкатывайтесь. Мне надо поработать. Потом побеседуем... Возвращайтесь оба в четыре часа. — Он устремил почти тревожный взгляд в сторону окна. — Не понимаю, почему Фреда... — Затем обратился к Ричардли: — Во-первых, дай Жаку самые точные указания, как ему встретиться с Княбровским. Во-вторых, урегулируй с ним денежный вопрос: ведь он будет в отсутствии недели две или три.

Говоря это, он подталкивал их к двери и закрыл ее за ними, когда они вышли.

## XXVII

Под убийственными лучами послеполуденного солнца Антверпен жарился, словно какой-нибудь город в Испании.

Прежде чем выйти на панель, Жак, зажмурив глаза от ослепительного раскаленного света, поглядел на вокзальные часы: десять минут четвертого. Амстердамский поезд должен был прийти в три часа двадцать три минуты; самое лучшее — поменьше маячить у всех на глазах в здании вокзала.

Переходя через улицу, он быстро окидывал взглядом людей, сидевших за столиками на террасе ресторана, находящегося на противоположной стороне. Видимо, успокоенный этим осмотром, он занял свободный столик в стороне от прочих и заказал пива. Несмотря на то что была середина дня, привокзальная площадь казалась почти совсем пустой. Чтобы не оставлять единственного затененного тротуара, все пешеходы делали один и тот же крюк, словно муравьи. Трамваи, подъезжавшие сюда со всех концов города, таща под собою свою черную тень, встречались на перекрестке, и их горячие от солнца колеса скрипели на поворотах.

Три двадцать. Жак встал и взял влево, чтобы войти в здание вокзала с бокового фасада. В зале для ожидающих было не много народа. Какой-то старый, неряшливо одетый бельгиец в форменной фуражке поливал из лейки пол, чертя восемерки на запыленных плитах.

Наверху, на эстакаде, поезд подходил к платформе.

Когда пассажиры стали спускаться вниз, Жак, продолжая читать газету, подошел к подножию большой лестницы и, не разглядывая никого в упор, стал рассеянно смотреть на проходящую публику. Мимо него прошел человек лет пятидесяти; на нем был серый погонянный костюм, под мышкой — пачка газет. Поток пассажиров быстро иссяк. Вскоре не осталось никого, кроме запоздавших, нескольких старух, которые с трудом спускались по ступеням.

Тогда, как будто лицо, которое он поджидал, не приехало, Жак повернулся и неторопливым шагом вышел из вокзала. Только очень ловкий и опытный полицейский агент заметил бы взгляд, который он кинул через плечо, прежде чем сойти на тротуар.

Он снова направился по авеню Кейзер до авеню Франции, поколебался немного, словно турист, размышляющий, куда бы ему двинуться, повернул направо, прошел мимо Оперного театра, на мгновение задержавшись там, чтобы пробежать глазами афишу, и без излишней торопливости зашел в один из сквериков перед Дворцом правосудия. Там, заметив пустую скамью, он почти упал на нее и вытер платком лоб.

В аллее, не обращая внимания на жару, играла в мяч гурьба мальчишек. Жак вынул из кармана несколько сложенных вместе газет и положил их рядом с собой на скамейку. Затем закурил папиросу. И так как мячик подкатился к его ногам, он, смеясь, схватил его. Дети с криком окружили Жака. Он бросил им мяч и принял участие в игре.

Через несколько минут на край скамейки присел другой прохожий. В руке у него было несколько небрежно сложенных газет. С уверенностью можно было сказать, что это иностранец, и почти наверно славянин. Низко надвинутая на лоб кепка скрывала верхнюю половину лица. Солнце бросало два светлых пятна на плоские скулы. Лицо было бритое, лицо уже пожилого человека, изборожденное морщинами, энергичное. Загорелая кожа, цвета поджаренного хлеба, своеобразно гармонировала с глазами; под кепкой настоящий цвет их разобрать было трудно, но они были светлые, голубые или серые, и странно лучистые.

Человек вынул из кармана небольшую сигару и, повернувшись к Жаку, вежливо дотронулся до козырька своей кепки. Чтобы защечь сигару о папиросу Жака, ему пришлось наклониться, опираясь о скамейку рукой, держащей пачку газет. Их взоры скрестились. Человек выпрямился и снова положил газеты к себе на колени. С большой ловкостью взял он газеты своего соседа, оставил свои на скамейке рядом с Жаком, который тотчас же небрежным жестом положил на них руку.

Устремив взгляд куда-то вдаль, не шевеля губами, голосом едва различимым — деревянным голосом чревовещателя, которым научаются говорить в тюрьмах, — человек прошептал:

— Конверт в газетах... Там есть и последние номера «Правды».

Жак даже глазом не моргнул. Он продолжал самым естественным образом забавляться с детьми. Он далеко бросал мяч; дети устремлялись за ним; завязывалась схватка, веселая борьба. Поймавший мяч с торжеством приносил его обратно, и игра возобновлялась.

Человек смеялся и, казалось, тоже забавлялся этими играми. Вскоре дети стали давать мяч ему, потому что он бросал его дальше, чем Жак. И как только оба они оставались вдвоем, Княбровский пользовался этим и говорил, не разжимая зубов, короткими обрывистыми фразами, глухо, но торопливо и пылко.

— В Петербурге... В понедельник сто сорок тысяч забастовщиков... Сто сорок тысяч... Во многих кварталах — осадное положение... Телефонное сообщение прервано, трамваи стояли...

Кавалергарды... Вызывали четыре полка с пулеметами... Казацкие полки, части...

Дети вихрем налетели на них, и конец его фразы превратился в кашель.

— Но полиция, генералы ничего не могут поделать... — продолжал он, забросив мяч на середину лужайки. — Волнения идут одно за другим. Правительство роздало к приезду Пуанкаре французские флаги, — женщины сделали из них красные знамена.<sup>1</sup> Конные атаки, расстрелы... Я видел бой на Выборгской стороне... Ужасно!.. Потом у Варшавского вокзала... Потом в Старой Деревне. Потом, ночью, в...

Он опять замолчал из-за детей. И внезапно с какой-то жадной нежностью схватил самого маленького, бледного, белокурого мальчика четырех-пяти лет, покачал его у себя на коленях и крепко поцеловал прямо в губы; потом опустил ошеломленного мальчугана на землю, взял мяч и бросил его.

— Забастовщики безоружны... Булыжники, бутылки, бидоны с керосином... Чтобы задержать полицию, они поджигают дома... Я видел, как горел Сампсониевский мост... Всю ночь повсюду пожары... Сотни убитых... Сотни и сотни арестованных... Все под подозрением... Наши газеты запрещены уже с воскресенья... Редакторы в тюрьме... Это революция... Да и пора: иначе была бы война... Твой Пуанкаре подгадил нам, здорово подгадил...

Обратив лицо в сторону лужайки, где сутилась детвора, он старался делать вид, что смеется, но ему удавалось только сложить губы в какую-то угрюмую усмешку.

— Теперь я пойду, — мрачно произнес он. — Прощай!

— Да, — сказал Жак. Это слово вырвалось вместе со вздохом. Хотя кругом никого не было, затягивать свидание не имело смысла. Подавленный, он прошептал: — Ты возвращаешься... туда?

Княбрюковский ответил не сразу. Наклонив туловище, упираясь локтями в колени, устало опустив плечи, он созерцал песок дорожки у своих ног. Казалось, его поникшее тело уступило внезапной слабости. Жак заметил по обеим сторонам его рта глубокие складки, проведенные самой жизнью и говорившие о покорности судьбе — или, вернее, о неистощимом терпении.

— Да, туда, — сказал он, поднимая голову. Взгляд его окунул пространство, сад, дальние фасады домов, синее небо и нигде не задержался; в нем было отрешенное и вместе с тем полное решимости выражение человека, готового на любые безумства. — Морем... Из Гамбурга... Я знаю способ перейти границу... Но там, знаешь ли, нам становится трудно... — Не торопясь, он встал со скамейки. — Очень трудно.

И, наконец-то переведя свой взгляд на Жака, он вежливо дотронулся до козырька своей кепки, как случайный сосед, которому

<sup>1</sup> Трехцветный французский флаг состоит из синей, белой и красной полос.

пора уходить. Глаза их встретились, — это было тревожное братское прощание.

— В добный час! <sup>1</sup> — прошептал он перед уходом.

Ребятишки провожали его смехом и криками, пока он не вышел за ограду. Жак следил за ним глазами. Когда русский скрылся из виду, он сунул в карман пачку газет, оставшуюся на скамейке, и, поднявшись в свою очередь, мирно продолжал прогулку.

В тот же вечер, зашив в подкладку своего пиджака конверт, полученный от Княбровского, он сел в Брюсселе на парижский поезд. А на следующий день, в четверг, рано утром, секретные документы были переданы Шенавону, который вечером должен был быть в Женеве.

### XXVIII

В этот же четверг, 23-го, Жак с утра направился в кафе «Прогресс» почитать газеты; он расположился в нижнем зале, чтобы ему не помешала «говорильня» на антресолях.

Отчет о процессе г-жи Кайо целиком заполнял первую страницу почти всех газет.

На второй и третьей странице некоторые газеты решились дать краткое сообщение о том, что в Петербурге забастовало несколько заводов, но что рабочие волнения были тотчас же прекращены благодаря энергичному вмешательству полиции. Зато целые страницы были посвящены описанию празднеств, данных царем в честь г-на Пуанкаре.

Что же касается австро-сербских «разногласий», то на этот счет прессы высказывалась как-то неопределенно. Одна заметка, видимо официозная, потому что она была всюду перепечатана, указывала, будто в русских правительственные кругах полагают, что в ближайшее время будет достигнуто дипломатическим путем некоторое ослабление напряженности. Большая часть газет высказывала в весьма любезной форме полное доверие к Германии, которая во время балканского кризиса всегда умела внушить умеренность своему австрийскому союзнику.

Лишь «Action française» <sup>2</sup> открыто выражала беспокойство. Это был прекрасный случай для того, чтобы более резко чем когда-либо выставить напоказ всю специфическую слабость республиканского правительства в вопросах внешней политики и заклеймить «антипатриотизм» левых партий. Особенно доставалось социалистам. Не

<sup>1</sup> В подлиннике — по-русски.

<sup>2</sup> Крайняя монархическая и националистическая газета, редактором которой с 1908 г. был Шарль Моррас (1868—1952), поэт и публицист, один из лидеров французской реакции.

довольствуясь своими каждодневными — на протяжении ряда лет — утверждениями, что Жорес — предатель, продавшийся Германии, Шарль Моррас, выведенный из себя громкими призывами к интернациональной солидарности и миру, непрерывно исходившими от «Humanité», теперь, казалось, почти открыто взывал к какой-нибудь новой Шарлотте Корде,<sup>1</sup> чей кинжал должен был бы освободить Францию от Жореса. «Мы никого не хотим призывать к политическому убийству, — писал он осторожно и вместе с тем дерзновенно, — но пусть г-н Жорес трепещет. Его статья способна впечатить какому-нибудь безумцу желание разрешить посредством эксперимента вопрос, не изменится ли кое-что в неизбежном порядке вещей, если г-н Жан Жорес испытает судьбу г-на Кальмета»<sup>2</sup>.

Кадьё, спускавшийся вниз, быстро прошел мимо.

— Ты не поднимешься? Там идет жаркая дискуссия... Очень интересно: приехал из Вены один австриец, товарищ Бем, посланный сюда по партийному делу... Он говорит, что австрийскаяnota будет послана в Белград сегодня вечером... Как только Пуанкаре покинет Петербург.

— Бем — в Париже? — спросил Жак, тотчас же вскакивая с места. Он обрадовался при мысли, что может снова увидеться с этим австрийцем.

Он поднялся по маленькой винтовой лестнице, толкнул дверь и действительно увидел товарища Бема, который спокойно сидел перед кружкой пива, положив себе на колени свой сложенный желтый макинтош. Его окружали, забрасывали вопросами человек пятнадцать партийных работников; он методически отвечал, жуя, как всегда, кончик сигары.

Жака он встретил дружеским подмигиванием, словно расстался с ним только вчера.

Привезенные им новости о воинственных намерениях Вены и возбуждении австро-венгерского общественного мнения, казалось, вызывали всеобщее негодование и беспокойство. Возможность того, что Австрия предъявит Сербии агрессивный ультиматум, должна была при создавшемся положении привести к тем более серьезным осложнениям, что председатель сербского совета министров Пашич<sup>3</sup> обратился ко всем европейским правительствам с превентивной нотой, в которой державам сообщалось, чтобы они не рассчитывали на совершенную пассивность Сербии и что Сербия полна решимости отвергнуть любое требование, несовместимое с ее достоинством.

<sup>1</sup> Корде, Шарлотта-Марианна (1768—1793) — фанатическая роялистка, убийца Марата, которую французские реакционеры старались изобразить мученицей, павшей за свободу.

<sup>2</sup> См. прим. на стр. 98.

<sup>3</sup> Пашич, Никола (1846—1926) — премьер и министр иностранных дел Сербии в 1912—1918 гг.

Не желая николько оправдывать авантюристическую политику своего правительства, Бем тем не менее пытался объяснить раздражение Австрии против Сербии (и России) постоянными оскорблениеми, которые этот маленький беспокойный сосед, поддерживающий и подстрекаемый русским колоссом, наносил национальному самолюбию австрийцев.

— Госмер, — сказал он, — прочел мне конфиденциальную дипломатическую ноту, которую уже несколько лет тому назад Сазонов, министр иностранных дел, направил из Петербурга русскому послу в Сербии. Сазонов особо отмечает, что некоторая часть австрийской территории была обещана сербам Россией. Это документ огромной важности, — добавил он, — ибо доказывает, что Сербия, — а за ее спиной Россия, — действительно являются постоянной угрозой для безопасности Австрийской империи.

— Опять гнусности капиталистической политики, — закричал с другого конца стола какой-то старый рабочий в синей блузе. — Все европейские правительства, демократические или недемократические, со своей тайной дипломатией, не знающей народного контроля, являются орудием в руках международного финансового капитала... И если Европа в течение сорока лет избегала всеобщей войны, то лишь потому, что финансовые заправили предпочитают вооруженный мир, при котором государства все больше и больше влезают в долги... Но в тот день, когда банковские воротила найдут для себя выгодным разжечь войну, — вы сами увидите...

Все выразили шумное одобрение. Им было безразлично, что это вмешательство имело лишь самое отдаленное отношение к совершенно конкретным вопросам, которые затрагивал Бем.

Какой-то юноша туберкулезного вида, знакомый Жаку в лицо и привлекший его внимание своим пристальным лихорадочным взглядом, внезапно заговорил, глухим голосом процитировав одно из высказываний Жореса насчет опасности тайной дипломатии.

Воспользовавшись поднявшимся вслед за тем беспорядочным шумом, Жак подошел к Бему и условился встретиться с ним, чтобы вместе позавтракать. После чего он ускользнул, предоставив австрийцу продолжать прерванный доклад с тем же терпеливым упорством, с каким тот жевал свою сигару.

Завтрак в обществе Бема, разговоры в редакции «Humanité», несколько срочных дел, которые Ричардли просил его сделать немедленно же по прибытии в Париж, затем, вечером, собрание, устроенное социалистами в Левалуа<sup>1</sup> в честь Бема, на котором он имел возможность взять слово, чтобы рассказать все, что он знал о волнениях в Петербурге; — все это настолько заняло мысли Жака в течение этого первого дня, что у него не осталось времени вспомнить о Фонтаненах. Все же два или три раза у него мельк-

<sup>1</sup> Северо-западная окраина Парижа, рабочий район.

нула мысль позвонить в клинику на бульваре Бино и спросить, жив ли еще Жером. Но разве для того, чтобы получить какие-либо сведения, ему не пришлось бы сперва назвать себя? Лучше было воздержаться. Он предпочитал не извещать никого о том, что находится в Париже. И тем не менее вечером, когда он вернулся в свою комнатку на набережной Турнель, ему пришлось признать, прежде чем он заснул, что эта неизвестность, на которую он сам себя осудил, вовсе не освободила его от неотвязных мыслей, а наоборот — угнетала его больше, чем какие-либо совершенно точные известия.

В пятницу утром, проснувшись, он почувствовал искушение позвонить Антуану. «К чему? Какое мне дело? — сказал он самому себе, смотря на часы. — Двадцать минут восьмого... Если я хочу застать его до ухода в больницу, надо позвонить сейчас же». И, не размышляя больше, он вскочил с постели.

Антуан был очень удивлен, услышав голос брата. Он сообщил ему, что г-н де Фонтанен наконец-то соблаговолил умереть в эту ночь, после трех суток агонии, не приходя в сознание. «Похороны состоятся завтра, в субботу. Ты еще будешь в Париже?.. Даниэль, — добавил он, — все время находится в клинике: ты можешь застать его в любой момент...» Антуан, видимо, не имел ни малейшего сомнения в том, что его брату хочется повидаться с Даниэлем.

— Может быть, позавтракаешь со мною? — предложил он.

Жак с досадливым жестом отстранился от телефона и повесил трубку.

Двадцать четвертого газеты в нескольких словах сообщали о передаче Сербии австрийской ноты. Большая часть из них — видимо, по приказу свыше — воздерживалась от каких-либо комментариев.

Жорес посвятил свою очередную статью забастовкам в России. Тон ее был исключительно серьезный.

«Какое предупреждение всем европейским правительствам! — писал он. — Всюду зреет революция. Царь поступил бы очень неосторожно, если бы вызвал европейскую войну или допустил, чтобы она началась. Столь же неосторожной оказалась бы австро-венгерская монархия, если бы, уступая слепой ярости своей клерикальной и военной партии, она допустила что-либо непоправимое в своих отношениях с Сербией. Коллекция сувениров, которые г-н Пуанкаре привез из своего путешествия, пополнилась волниющей страницей, отмеченной кровью русских рабочих, трагическим предупреждением».

В редакции «*Humanité*» ни у кого не оставалось сомнений насчет тона австрийской ноты: она действительно имела характер ультиматума, и следовало ожидать самого худшего. С некоторой нервозностью ожидали возвращения Жореса: сегодня утром патрон внезапно решил лично сделать запрос на Ке д'Орсе у Биенвеню-Мартина, заместителя Вивиани на время его отсутствия.

Среди редакторов газеты наблюдалась некоторая растерянность. Все с беспокойством задавали себе вопрос, как будет реагировать общественное мнение Европы. Галло, как всегда пессимистически настроенный, утверждал, будто полученные из Германии и Италии новости заставляют опасаться, что в этих двух странах и общественное мнение, и пресса, и даже некоторые фракции левых партий скорее сочувствуют австрийскому жесту. Стефани, вместе с Жоресом, полагал, что в Берлине негодование социал-демократов проявится в каких-либо энергичных действиях, которые будут иметь сильнейший отклик не только в Германии, но и за ее пределами.

В полдень помещение редакции опустело. Стефани остался дежурить, — была его очередь, — и Жак предложил посидеть с ним за компанию, чтобы просмотреть хотя бы одним глазом бумаги, касающиеся созыва Международного бюро, которое должно было собраться на следующей неделе в Брюсселе. Все возлагали очень большие надежды на это экстраординарное совещание. Стефани знал, что Вайян, Кир-Харди<sup>1</sup> и многие другие вожди партии намеревались поставить в порядок дня вопрос о применении всеобщей забастовки в случае войны. Какую позицию займут иностранные социалисты, в особенности английские и немецкие, в этом основном вопросе?

В час Жореса еще не было. Жак вышел, чтобы перекусить в кафе «Круассан». Может быть, патрон там завтракает?

Его там не оказалось.

Жак искал свободный уголок, когда его окликнул один молодой немец, Кирхенблат, с которым он познакомился в Берлине и несколько раз встречался в Женеве. Кирхенблат завтракал с одним товарищем и настоял, чтобы Жак подсел к их столику. Товарищ был тоже немец, по фамилии Вакс. Жак его не знал.

Оба эти человека любопытным образом отличались друг от друга. «Они довольно хорошо символизируют два характерных для Восточной Германии типа, — подумал Жак, — тип вождя и... противоположный».

Вакс был когда-то рабочим-металлистом. Ему было лет сорок; у него были крупные, грубоватые черты лица, в которых проступало что-то славянское; широкие скулы, честный рот, светлые глаза с выражением настойчивости и некоторой торжественности. Его огромные ладони были раскрыты, словно инструменты, готовые для работы. Он слушал, одобрял кивком головы, но говорил мало. Все в нем, казалось, свидетельствовало о душе, не знакомой с сомнением, о спокойном мужестве, о выносливости, о любви к дисциплине, об инстинкте верности.

<sup>1</sup> Кир-Харди, Джеймс (1856—1915) — английский социалист, один из основателей лейбористской партии.

Кирхенблат был значительно моложе. По форме голова его, маленькая и круглая, на тонкой шее, напоминала череп какой-то птицы. Его скулы, в противоположность скулам Вакса, не выдавались в ширину, но образовывали под глазами два почти острых выступа. Лицо, обычно-серъезное, по временам оживлялось улыбкой, вызывавшей некоторое беспокойство: эта улыбка внезапно раздвигала углы его рта, растягивала веки, собирала складки на висках и обнажала зубы; и какой-то чувственный, немного жестокий огонек загорался тогда в его взгляде. Иногда прирученные волки, играя, обнажают клыки таким же образом. Он был уроженец Восточной Пруссии, сын учителя, один из тех культурных немцев, ницшеанцев, которых Жаку нередко приходилось встречать в передовых политических кругах Германии. Законов для них не существовало. Особое понимание чувства чести, известный рыцарский романтизм, вкус к свободной и полной опасностей жизни объединяли их в своего рода касту, преисполненную сознанием своей аристократичности. Восстающий против социального строя, которому он, однако же, был обязан формированием своего интеллекта, Кирхенблат существовал как бы около международных революционных партий, будучи слишком анархичным по темпераменту, чтобы безоговорочно примкнуть к социализму, и инстинктивно отвергая эгалитарные и демократические теории, так же как и феодальные привилегии, еще существовавшие в императорской Германии.

Беседа — на немецком языке, ибо Вакс с трудом понимал по-французски, — сразу же завязалась вокруг вопроса о позиции Берлина в отношении австрийской политики.

Кирхенблат был, видимо, хорошо осведомлен о настроениях, господствовавших среди высших должностных лиц империи. Он только что узнал, что брат кайзера, принц Генрих, был срочно послан с особой миссией в Лондон к английскому королю: это был официозный шаг, который в данный момент свидетельствовал, казалось, о личном стремлении Вильгельма II заставить Георга V разделить его точку зрения на австро-сербский конфликт.

— Какую точку зрения? — спросил Жак. — В этом весь вопрос... В какой степени поведение имперского правительства носит характер шантажа? Траутенбах, с которым я виделся в Женеве, утверждает, что ему известно из верного источника, будто кайзер лично отказывается признавать неминуемость войны. И, однако, невероятным представляется, чтобы Вена могла действовать с такой дерзостью, не будучи уверенной в поддержке со стороны Германии.

— Да, — сказал Кирхенблат. — По-моему, весьма вероятно, что кайзер принял и одобрил в основном австрийские требования. И даже что он заставляет Вену действовать как можно быстрее, чтобы Европа как можно скорее очутилась перед совершившимся фактом... В сущности, это ведь подлинно пацифистская позиция... — Он лукаво улыбнулся. — Ну да. Ведь это лучший способ избежать русского вмешательства. Ускорить австро-сербскую

войну для спасения европейского мира... — Внезапно он снова стал серьезным. — Но так же очевидно, что кайзер, имея таких советников, как те, кто его окружает, взвесил риск: риск русского вето, риск всеобщей войны. Дело только в том, что он, видимо, расценивает этот риск как пустячный. Прав ли он? В этом все дело. — Черты его лица опять исказились мефистофельской улыбкой. — В настоящий момент я представляю себе кайзера как игрока с прекрасными картами в руках и робкими партнерами перед собою. Конечно, ему приходит в голову, что он может проиграть благодаря внезапной неудаче. Всегда рискуешь проиграть... Но, черт возьми, карты отличные! И как можно опасаться неудачи настолько, чтобы отказаться от крупной игры?

Какая-то особая острота в голосе Кирхенблата и его дерзкая улыбка порождали ощущение, что ему по собственному опыту известно, что значит иметь в руках хорошие карты и смело идти на риск.

## XXIX

Тело Жерома де Фонтанена положили в гроб рано утром, как это всегда делали в клинике. И тотчас же вслед за этим гроб был перенесен в глубь сада, в павильон, где администрация разрешала умершим больным дожидаться похорон, как можно дальше от живых больных.

Г-жа де Фонтанен, почти не покидавшая комнаты мужа все то время, пока длилась его агония, обосновалась теперь в узеньком полуподвальном помещении, куда перенесли тело. Она была одна. Женни только что вышла: мать поручила ей пойти на улицу Обсерватории за траурной одеждой, которая понадобится им обеим для завтрашней церемонии. Даниэль, проводивший сестру до калитки, задержался в саду, чтобы выкурить папиросу.

Сидя в тени на соломенном стуле, под окошечком, освещавшим подвал, г-жа де Фонтанен собиралась провести здесь последний день. Глаза ее были устремлены на гроб, ничем пока не украшенный и установленный на черных козлах посреди комнаты. О личности покойного говорил теперь лишь один внешний признак — медная дощечка с выгравированной на ней надписью:

ЖЕРОМ-ЭЛИ ДЕ ФОНТАНЕН  
11 мая 1857 г. — 23 июля 1914 г.

Она чувствовала себя очень уверенной и спокойной: она была под покровом божиим. Кризис того, первого вечера, момент слабости — вполне извинительный, ибо драма произошла так внезапно, — теперь прошел. Теперь в ее горе не было ни безрассудства, ни остроты. Она привыкла жить в доверчивом контакте с той Сильой, которая регулирует жизнь вселенной, с тем Всё, в котором

каждый из нас должен когда-нибудь растворить свою эфемерную оболочку; и смерть не внушала ей ужаса. Даже будучи молодой девушкой, она не испытала никакого ужаса перед трупом своего отца. Она ни на мгновение не усомнилась, что этот руководитель, которого она так чтила, будет духовно с нею даже после своего физического исчезновения; и действительно, она никогда не лишалась этой поддержки, никогда, — на этой неделе она получила лишнее тому доказательство: пастор не переставал принимать участие в ее интимной жизни, в ее борьбе, помогать ей при разрешении трудных вопросов, вдохновлять все решения, которые она принимала.

Точно так же и теперь она не могла думать о смерти Жерома как о конце. Ничто не умирает: все видоизменяется, обновляется, времена года сменяют одно другое. Перед этим гробом, навеки закрытым над бренной плотью, она ощущала мистическую экзальтацию, аналогичную тому чувству, которое овладевало ею каждую осень, когда она наблюдала в своем саду в Мезон, как листья, распускающиеся у нее на глазах весною, теперь один за другим опадают в свой положенный час, и это опадание никак не отражается на стволе, живущем своими тайными силами, на стволе, где таятся жизненные соки, где неизменно пребывает жизненная субстанция. Смерть оставалась в ее глазах проявлением жизни: созерцать без всякого ужаса это неизбежное возвращение в лоно матери-земли значило для нее смиленно приобщиться к всемогуществу божию.

В этом помещении было прохладно, как в недрах гробницы, и носился нежный, немного приторный запах роз, которые Женни положила на крышку гроба. Г-жа де Фонтане машинально терла ногти на пальцах правой руки о левую ладонь. (Она привыкла каждое утро, закончив свой туалет, присаживаться на несколько минут к окну и, полируя себе ногти, предаваться на пороге нового дня краткому размышлению, которое она называла своей утренней молитвой; эта привычка создала у нее рефлекс — полировка ногтей и обращение к мировой душе находились в некоей неразрывной связи.)

Пока Жером был жив, хотя он и находился далеко от нее, она втайне хранила надежду, что ее великая, испытанная любовь к нему обретет когда-нибудь свою земную награду, что когда-нибудь Жером вернется к ней остеенившийся и полный раскаяния и что, может быть, им обоим будет дано закончить свои дни друг подле друга, в забвении прошлого. Несбыточность этой надежды она осознала лишь в тот час, когда ей пришлось навсегда отказаться от нее. Все же память о перенесенных страданиях была еще слишком жива, чтобы она не ощутила некоторого облегчения при мысли, что теперь навсегда избавлена от подобных испытаний. Благодаря этой смерти иссяк единственный источник горечи, который в течение стольких лет отравлял ей существование. Она как бы выпрямилась инстинктивным движением после длительной неволи. И она, сама о том не подозревая, наслаждалась этим чувством, таким человеческим и законным. Она была бы очень смущена, если бы оно дошло до ее сознания. Но ослепление ее веры мешало ей бросить

в глубины своей совести подлинно проницательный взгляд. Она приписывала духовной благодати то, что было следствием одного лишь инстинктивного эгоизма; она благодарила бога за то, что он даровал ей покорность судьбе и умиротворенность духа, и, таким образом, могла без угрызений совести испытывать это приятное облегчение.

Она отдавалась этому чувству полностью именно потому, что день бдения над телом мужа был только передышкой перед целым рядом дней, которые будут полны утомительных хлопот. Завтра, в субботу, — похороны, возвращение домой, отъезд Даниэля. Затем, с воскресенья, начнется тягостное, но неотложное дело: надо спасать от бесчестия имя ее детей, надо поехать в Триест, в Вену и там, на месте, выяснить все дела мужа. Она еще не предупредила об этом ни Женни, ни Даниэля. Предвидя возражения со стороны сына, она предпочитала отсрочить бесполезный спор, ибо решение было ею принято. План действий был подсказан ей Высшей силой. В этом не могло быть сомнений: ведь при мысли о своем смелом проекте она ощущала в себе какое-то душевное возбуждение, которое было ей так хорошо знакомо, нечто вроде сверхъестественного властного порыва, свидетельствующего о том, что тут замешана божественная воля... В воскресенье, если представится возможность, самое позднее — в понедельник, она отправится в Австрию; она потребует свидания с судебным следователем, она лично переговорит с руководителями обанкротившегося предприятия... Она не сомневалась в успехе: только бы поехать туда, действовать лично, оказывая на все свое личное влияние. (В этом ее инстинкт не обманывался: уже не раз при трудных обстоятельствах она могла убедиться в своей власти. Но, разумеется, ей и в голову не приходило приписать эту власть своему личному обаянию: она видела в ней лишь чудесное вмешательство божества, через нее излучался божественный промысел.)

В Вене ей предстояло предпринять также один щекотливый шаг: ей хотелось познакомиться с этой Вильгельминой, чьи письма, наивные и нежные, которые показались ей трогательными, она нашла в чемоданах Жерома...

Только закрыв ему глаза, она решилась взяться за багаж Жерома. Она приняла решение прошлой ночью, выбрав час, когда наверняка сможет остаться одна, чтобы до конца охранить от детей тайны их отца. Больше всего времени ушло на розыски бумаг: они были беспорядочно рассованы среди вещей. В течение целого часа она прикасалась своими руками к этим интимным вещам, роскошным и жалким, которые Жером оставил после себя, словно обломки крушения: к понощенному шелковому белью, костюмам от хороших портных, тоже заношенным до последней нитки, но еще издававшим приятный, чуть-чуть кисловатый запах лаванды, индийского нарда и лимона, которому Жером оставался верен вот уже тридцать лет и который волновал ее, как ощущение его ласки... Неоплаченные счета валялись даже в ящике для ботинок, даже

в туалетном несессере: старые описи сумм, подлежащих уплате банкам, кондитерским, обувным и цветочным магазинам, ювелирам, врачам, счета на неожиданные расходы — от китайца-педикюра с Нью-Бонд-стрит, от сафьянщика с улицы Мира<sup>1</sup> за несессер с позолотой, за который так и не было заплачено. Квитанция триестского ломбарда на заложенные за смехотворно ничтожную сумму жемчужную булавку для галстука и меховое пальто с воротником из выдры. В бумажнике с графской короной фотографии г-жи де Фонтанен, Даниэля и Женни мирно соседствовали с карточками, подписанными какой-то венской певичкой. Наконец среди немецких брошюрок с эротическими иллюстрациями г-жа де Фонтанен с удивлением обнаружила карманную библию на тонкой бумаге, сильно потрапанную... Она хотела помнить только об этой маленькой библии... Сколько раз во время душераздирающих «объяснений» Жером, стараясь всячески оправдать свое безобразное поведение, воскликнул: «Вы слишком строго судите меня, друг мой... Я не так уж плох, как вы думаете!» Это была правда! Один лишь бог ведает тайну человеческой души, только ему известно, какими извилистыми путями и ради каких необходимых целей человеческие существа движутся к совершенству...

Глаза г-жи де Фонтанен заволокло слезами, но она не спускала их с гроба, на котором уже увядали розы.

«Нет, — говорила она из самой глубины сердца, — нет, ты не был до конца погружен во зло...»

Ее размышления прервало появление Николь Эке, сопровождаемой Даниэлем.

Николь была ослепительна; траурное платье еще резче подчеркивало цвет ее кожи. Блеск глаз, высокие брови, лицо, как-то естественно выдающееся вперед, придавали ей такой вид, будто она все время устремляется куда-то, принося в дар свою юность. Она наклонилась и поцеловала тетку, и г-жа де Фонтанен была благодарна ей за то, что она не нарушила тишины какими-нибудь условными словами сочувствия. Затем Николь подошла к гробу. Несколько минут она стояла совсем прямо, опустив руки вдоль туловища и сложив пальцы. Г-жа де Фонтанен наблюдала за ней. Молилась ли она? Припоминала ли прошлое, прошлое застенчивой девочки, в котором дядя Жером занимал столько места?.. Наконец, после нескольких секунд этого загадочного молчания, молодая женщина вернулась к тетке, снова поцеловала ее в лоб и вышла из комнаты. Даниэль, все это время стоявший за столом матери, последовал за ней.

Когда они были в коридоре, Николь остановилась и спросила:  
— В котором часу завтра?

<sup>1</sup> Нью-Бонд-стрит (Лондон) и улица Мира (Париж) — центры торговли предметами роскоши.

— Отсюда отправимся в одиннадцать. Процессия двинется прямо на кладбище.

Они были одни у входа в павильон, под сводами вестибюля. Перед ними расстился залитый солнцем сад, полный выздоравливающих в светлых халатах, которые лежали в шезлонгах у самых газонов. День был жаркий, чудесный. В этом неподвижном воздухе казалось, что лето будет длиться вечно.

Даниэль объяснил:

— Пастор Грегори прочтет короткую молитву над могилой. Мама не хочет заупокойной службы.

Николь задумчиво слушала.

— Как прекрасно держится тетя Тереза, — прошептала она, — так мужественно, так спокойно... Она, как всегда, совершенство.

Он поблагодарил ее дружеской улыбкой. Ее глаза были уже не детские, но в их синеве была все та же необычайная прозрачность и то выражение ленивой нежности, которое некогда его так волновало.

— Как давно я тебя не видел, — сказал он. — Ну что ж, ты счастлива, Нико?

Взгляд молодой женщины, устремленный куда-то вдаль, к зелени деревьев, проделал целое путешествие, прежде чем вернуться к Даниэлю; черты ее лица приняли страдальческое выражение; ему почудилось, что она вот-вот разрыдается.

— Я знаю, — пробормотал он. — Ты тоже, бедная моя Нико, испытала свою долю горя...

Только тогда он заметил, насколько она изменилась. Нижняя часть лица несколько погрубела. Под легким налетом румян пропступала уже немного потерявшая девическую свежесть, немного усталая маска.

— Но все же, Нико, перед тобой вся жизнь. Ты должна быть счастливой.

— Счастливой? — повторила она, как-то нерешительно передернув плечами.

Он с удивлением смотрел на нее.

— Ну да, счастливой. Почему нет?

Взгляд молодой женщины снова потерялся где-то в залитом солнцем саду. После непродолжительного молчания она, не поворачивая к нему глаз, промолвила:

— Странная штука — жизнь... Ты не находишь? В двадцать пять лет я чувствую себя уже старой... (она запнулась) такой одинокой...

— Одинокой?

— Да, — ответила она, продолжая глядеть вдаль. — Мать, прошлое, молодость — все это так далеко, далеко... Детей у меня нет... И это дело безнадежное — никогда, никогда больше я не смогу иметь детей...

Она говорила тихим и спокойным голосом, без всякого отчаяния.

— У тебя есть муж... — нерешительно произнес Даниэль.

— Муж, да... У нас глубокая, прочная привязанность друг к другу... Он умный, добрый... Он делает все, что может, чтобы только мне было хорошо.

Даниэль молчал.

Она сделала один шаг по направлению к стене, чтобы прислониться к ней, и продолжала, не повышая голоса и слегка подняв голову, словно решилась, наконец, сказать все, не боясь слов:

— Но видишь ли, несмотря на все это, у нас с Феликсом очень мало общего. Он на тринадцать лет старше меня и никогда не обращался со мной как с равной... Впрочем, он ко всем женщинам относится как-то по-отечески, немного снисходительно, как к своим больным...

Внезапно в воображении Даниэля возникла фигура Эке с его седеющими висками, испещренными мелкими морщинками, близорукими глазами, скромностью, точностью и непреклонностью манер. Почему он женился на Николь? Как срывают на ходу соблазнительный плод? Или, скорее, для того, чтобы внести в свою трудовую жизнь немного молодости и естественной грации, которой ему, вероятно, всегда не хватало?

— К тому же, — продолжала Николь, — у него своя жизнь, жизнь хирурга. Ты сам знаешь, что это такое: он принадлежит другим с утра до вечера... Большой частью он даже ест совсем не в те часы, когда я... Впрочем, это даже лучше: когда мы вместе, нам почти не о чем говорить друг с другом, нечем делиться, и вкусы у нас во всем различные, и ни одного общего воспоминания — ничего... О, мы никогда ни о чем не спорим, у нас никогда не бывает разногласий... — Она засмеялась. — Впрочем, стоит ему выsayать малейшее желание, какое бы оно ни было, я говорю: да... Я заранее хочу того, что он хочет. — И странно-медленным тоном она произнесла: — Мне все до такой степени безразлично.

Незаметно она отделилась от стены и стала рассеянно спускаться по ступенькам невысокого крыльца. Даниэль следил за ней, не говоря ни слова. Внезапно она повернулась к нему и промолвила с улыбкой:

— Вот тебе пример. Этой зимой он заказал новые книжные шкафы для маленькой гостиной и решил продать секретер красного дерева, который теперь некуда было поставить. Эта вещь — память моей матери. Но мне было все равно: у меня ничего нет, и я ничем не дорожу. Пришлось вынуть из этого секретера все, что в нем находилось. Он был полон бумаг, которых я никогда не рассматривала: там лежали переписка моих родителей, старые счетные книги, бабушкины письма, разные извещения о семейных событиях, письма от друзей... Все наше прошлое, Рениская улица, Руайя,<sup>1</sup> Биарриц...<sup>2</sup> Целая груда всякого старья, старые позабытые истории,

<sup>1</sup> Курорт в департаменте Пюи-де-Дом.

<sup>2</sup> Приморский курорт в департаменте Нижних Пиринеев.

старые, уже умершие люди... Я все перечитала от первой до последней строки, прежде чем бросить в огонь... И целые две недели плакала над всем этим. — Она опять засмеялась. — Это были чудесные две недели... Феликс даже и не подозревал ни о чем. Он бы и не понял. Он ничего не знает обо мне, о моем детстве, о моих воспоминаниях.

Неторопливо шли они через сад. Проходя мимо больных, она понизила голос:

— Теперь-то еще ничего... Но будущее — вот чего я иногда боюсь... Понимаешь, сейчас каждый из нас занимается своим: у него есть больница, деловые встречи, пациенты; у меня — хождение по магазинам, в гости; кроме того, я снова взялась за скрипку и немного занимаюсь музыкой с приятельницами; несколько раз в неделю мы у кого-нибудь обедаем; при том положении, которое занимает Феликс, приходится вести довольно широкую жизнь... Но что будет потом, когда он бросит практику, когда мы перестанем выезжать?.. Вот чего я боюсь... Что с нами будет, когда мы постареем и придется долгими вечерами сидеть друг против друга у горящего камина?

— То, что ты говоришь, ужасно, бедненький мой Нико, — прошептал Даниэль.

Она громко расхохоталась, и в этом прозвучало какое-то неожиданное пробуждение ее молодости.

— Ты глуп! — сказала она. — Я ведь не жалуюсь. Такова жизнь — вот и все. Другим тоже не лучше. Наоборот. Я еще одна из самых счастливых... Плохо то, что в детстве воображаешь себе бог знает что... какую-то сказочную жизнь.

Они подошли к воротам.

— Я рада, что повидалась с тобой, — сказала она. — В форме ты просто великолепен... Когда ты кончашь службу?

— В октябре.

— Уже?

Он засмеялся.

— Для тебя-то время пролетело быстро.

Она остановилась. Солнечные блики трепетали на ее коже, блестели на зубах и местами придавали ее волосам прозрачные оттенки светлого черепахового гребня.

— До свиданья, — сказала она, братски протянув ему руку. — Передай Женни — я очень жалею, что нам так и не удалось с ней повидаться... А когда зимою я опять переселюсь в Париж, ты время от времени приходи ко мне в гости... Хотя бы из простого великодушия... Будем вместе болтать, изображать двух старых друзей, перебирать воспоминания... Смешно, как это я с возрастом привязываюсь к прошлому... Ты ведь придешь? Обещаешь?

На мгновение он погрузил свой взор в ее красивые глаза, немножко слишком большие, немножко слишком круглые, но полные такого чистого блеска.

— Обещаю, — сказал он почти торжественно.

В этот день, впервые с воскресенья, Женни смогла выбраться из клиники; за это время ей лишь изредка удавалось пройтись вместе с Даниэлем по саду. В столь новом для нее соседстве со смертью она прожила эти четыре бесконечных дня, как тень среди живых: все, что происходило вокруг нее, казалось ей непонятным, чуждым. И потому, как только брат посадил ее в машину, как только она оказалась одна на залитом солнцем бульваре, ее охватило невольное чувство облегчения. Но оно продолжалось лишь краткий миг. Не успела машина доехать до ворот Шамперре, как она почувствовала, что к ней опять возвращается то глубокое и неопределенное смятение духа, которое мучило ее уже в течение четырех дней. И ей даже показалось, что это смятение, свободное от уз, которые налагало на него в клинике присутствие посторонних людей, угрожающее возросло теперь, когда она осталась одна.

В час пополудни такси остановилось у дверей ее дома, и она вышла.

Постаравшись, насколько было возможно, сократить соболезнующие излияния и расспросы привратницы, она быстро поднялась в квартиру.

Там царил полнейший беспорядок. Все двери были широко раскрыты, точно население квартиры спасалось бегством. В комнате г-жи де Фонтанен одежда, валявшаяся на постели, ботинки, разбросанные на полу, открытые ящики наводили на мысль о краже со взломом. На маленьком круглом столике, за которым обе женщины, уже в течение двух лет не имевшие прислуги, совершали обычно свою недолгую трапезу, виднелись остатки прерванного обеда. Все это надо было убрать, чтобы завтра, по возвращении с кладбища, матери не пришли на память при виде этого мрачного хаоса слишком ярко те ужасные минуты, которые она пережила в воскресенье вечером.

Подавленная, не зная, с чего ей начинать, Женни прошла к себе в комнату. По-видимому, она забыла закрыть перед уходом окно: ливень, прошедший накануне, залил паркет; от порыва ветра разлетелись во все стороны письма на ее маленьком бюро, опрокинулась ваза,сыпались цветы.

Стоя и медленно снимая перчатки, она созерцала этот беспорядок. Она старалась собраться с мыслями. Мать дала ей самые подробные инструкции. Надо было взять ключ в секретере, открыть чулан, порыться в гардеробе, в ящиках, в чемоданах, разыскать зеленую картонку, в которой находились два траурных покрывала и креповые вуали. Машинистка сняла она с вешалки блузу, в которой по утрам убирала комнаты, и облачилась в это рабочее платье. Но силы изменили ей, и она вынуждена была присесть на край кровати. Тишина, наполнявшая квартиру, тяжело давила ей на плечи.

«Почему это я так устала?» — задавала она себе лицемерный вопрос.

На прошлой неделе она ходила взад и вперед по этим самим комнатам, и ее легко несло течение жизни. Неужели же достаточно было недели, — даже меньше: четырех дней, — чтобы нарушить равновесие, достигнутое столь дорогой ценой?

Она продолжала сидеть, вся сжавшись, и какая-то тяжесть налегла ей на затылок. Слезы облегчили бы ее, но судьба всегда отказывала ей в этом утешении слабых людей. Даже девочкой она переживала свои горести без слез, замкнуто, жестко... Сухой взгляд ее скользнул по разбросанным бумажкам, по мебели, по безделушкам на камине и остановился на зеркале, привлеченный и словно поглощенный ослепительным отражением яркого, солнечного дня, царившего на дворе. И внезапно в этом мерцающем блеске на мгновение возник образ Жака. Она быстро встала, закрыла наружные ставни, окно, подобрала письма, цветы и вышла из комнаты.

В чулане было невыносимо душно. От жары в нем сгущался и усиливался запах шерсти, пыли, камфары, старых, пожелтевших от солнца газет. Она с усилием вскарабкалась на табуретку и открыла окно. Вместе со свежим воздухом в чулан ворвался ослепляющий свет, подчеркивая печальную уродливость нагроможденных тут вещей: пустых чемоданов, ненужных тюфяков и матрацев, керосиновых ламп, старых школьных учебников, картонок, покрытых серыми комками пыли и мертвыми мухами. Чтобы очистить угол, где один на другом громоздились чемоданы, ей пришлось схватить обеими руками набитый манекен, на котором вместо шляпы красовался старый абажур: покрытые блестками воланы были схвачены по углам букетиками искусственных фиалок; и одно мгновение она с нежностью глядела на это претенциозное сооружение, которое в ее детские годы неизменно царilo на рояле в гостиной. Затем она мужественно принялась за работу, открывая чемоданы, роясь в шкафах, заботливо кладя на место мешочки с нафтalinом, острый запах которого обжигал ей ноздри и вызывал легкую тошноту. Обессиленная, вся в поту и все же борясь с этим унизительным томлением, она упорно продолжала работу, которая по крайней мере освобождала ее от мыслей.

Но вот неожиданно, словно длинный луч света, прорезывающийся сквозь туман, одна мысль, четкая, хотя и неопределенно выраженная, коснулась самого чувствительного места ее души, и она сразу остановилась: «Ничто никогда не бывает потерянно... Все всегда возможно...» Да, несмотря ни на что, она молода, перед ней целая жизнь, — жизнь, неисчерпаемый кладезь возможностей!..

То, что открывалось ей за этими банальными словами, было столь ново, столь опасно, что у нее закружила голова. Она внезапно поняла: после того как Жак ее покинул, ей удалось излечиться и овладеть собой лишь потому, что она сумела отказаться даже от самой слабой надежды.

«Неужели же я снова начинаю надеяться?»

Ответ был настолько утвердительным, что ее охватил трепет, и ей пришлось опереться о косяк гардероба. Несколько минут

она стояла неподвижно, опустив веки, в состоянии какого-то летаргического оцепенения, которое делало ее почти бесчувственной. В мозгу ее проносились одно за другим какие-то видения, словно обрывки снов. Жак в Мезон, после игры в теннис сидящий рядом с нею на скамейке, и она отчетливо видела мелкие капли пота на его висках... Жак с нею вдвоем на лесной дороге, у гаража, где они только что видели, как задавило старого пса, и она слышала его полный страдания голос: «Вы часто думаете о смерти?..» Жак у садовой калитки, когда он поцеловал тень Женни на залитой лунным светом стене; и она слышала сквозь ночь, как шуршали в траве его удаляющиеся шаги...

Она продолжала стоять, прислонившись к гардеробу и дрожа, несмотря на жару. Внутри нее воцарилась какая-то необычайная тишина. Шум города доносился до нее сквозь высокое окно, словно из потустороннего мира. Как затушить теперь эту безрассудную жажду счастья, которую встреча с Жаком снова зажгла в ней четыре дня тому назад? Начинался новый приступ болезни, и он будет длиться, длиться, она это отлично понимала... На этот раз ей не удастся выzdороветь: ведь она и не хочет выzdоровления.

Тяжелее всего быть одной, всегда одной. Даниэль? Он, разумеется, был к ней очень внимателен в течение этих дней совместной жизни в Нейи. Не далее как сегодня утром, в клинике, за табльдотом, пораженный, может быть, отсутствующим видом Женни, он взял ее руку и вполголоса, без улыбки промолвил: «Что с тобой, сестричка?» Она неопределенно покачала головой и отняла руку... Ах, для нее всегда было такой мукой любить этого большого брата и никогда, никогда не находить подходящих слов, ничего, что раз навсегда разрушило бы перегородки, которые воздвигали между ними жизнь, их характеры, даже, пожалуй, их отношения брата и сестры. Нет. Не с кем было ей быть откровенной. Никто никогда не выслушал ее и не понял. Никто никогда и не мог бы понять... Никто? Он, может быть... Когда-нибудь?.. Где-то в глубине ее души нежный и тайный голос прошептал: «Мой Жак...» Краска бросилась ей в лицо.

Она чувствовала себя совершенно обессиленной, разбитой. Надо выпить холодной воды...

Осторожно, как слепая, держась одной рукой за стену, прошла она на кухню. Вода из-под крана показалась ей ледяной. Она смочила руки, лоб, глаза. Силы возвращались к ней. Еще немного терпения... Она открыла окно и оперлась локтями о подоконник. Лучистая дымка, словно сотканная вибрациями молекул, колыхалась над крышами. На Люксембургском вокзале отчаянно загудел паровоз. Сколько раз в последние недели, вот в такие же послеполуденные часы, пока согревалась вода для чая, опиралась она об этот же подоконник, почти веселая, мурлыча себе что-то под нос... И ее с тоскою тянуло к той Женни, какой она была еще этой весной, к той полусестре, умиротворенной, выzdоравливающей. «Откуда взять силы, чтобы прожить завтра, послезавтра, все дальней-

шие дни?» — спрашивала она себя вполголоса. Но эти слова, приходившие ей на ум, выражали только обычную, почти машинально возникшую мысль, не раскрывая тайной правды ее сердца. Она принимала страдание с тех пор, как к ней вернулась надежда. И вдруг она, никогда не улыбавшаяся, ощутила, увидела так ясно, словно сидела перед зеркалом, на своих губах еще несмелую улыбку.

### XXXI

Несколько раз в течение утра и даже во время завтрака с обоими немцами Жак задавал себе вопрос: «Пойти мне повидаться с Даниэлем?» И каждый раз отвечал: «Да нет, зачем мне идти?»

Тем не менее около трех часов, выходя с Кирхенблатом из ресторана и пересекая площадь Биржи, он внезапно подумал, когда проходил мимо метро: «Совещание в Вожираре<sup>1</sup> будет только в пять... Если бы я пожелал поехать в Нейи, было бы как раз время... — Он в раздумье остановился. — По крайней мере тогда я не стану больше думать об этом». И, уже не колеблясь, он покинул немца, и его поглотила лестница метро.

На бульваре Бино, у ворот клиники, он заметил Виктора, шоferа своего брата, который курил папиросу перед машиной, сидя на краю тротуара. «Так даже лучше будет», — сказал он про себя при мысли, что Антуан будет присутствовать во время его беседы с Даниэлем.

Но, входя в сад, он увидел брата, шедшего навстречу ему.

— Если бы ты приехал раньше, я бы подвез тебя в Париж. Но теперь мне надо торопиться... Пообедаешь со мной сегодня вечером? Нет? А когда?

Жак ускользнул от расспросов:

— Как мне сделать, чтобы повидать Даниэля? Повидать... с глазу на глаз?

— Нет ничего проще... Госпожа де Фонтанен не выходит из мертвецкой, а Женни здесь нет.

— Нет?

— Видишь серую крышу там, за деревьями? Это павильон, куда относят покойников. Даниэль там. Сторож его вызовет.

— Женни в клинике нет?

— Нет, мать послала ее за какими-то вещами на улицу Обсерватории... Ты надолго в Париже?.. Так ты мне позвонишь?..

Он вышел за ограду и скрылся в машине.

Жак продолжал свой путь к павильону. Внезапно он замедлил шаг. Безумный план возник в его мозгу... Он резко повернулся, возвратился и подозвал такси.

<sup>1</sup> Один из окраинных районов Парижа.

— Живо! — сказал он хриплым голосом. — Улица Обсерватории.

Он пристально и упорно смотрел на деревья, прохожих, экипажи, с которыми встречалась его машина. Он не хотел думать. Ему было ясно, что, разреши он себе хоть минуту размышления, он никогда не совершил бы этого сумасбродного поступка, который ему приказывала совершить какая-то тайная сила сейчас же, немедленно. Что он будет там делать? Ему самому это было неизвестно. *Оправдаться!* Перестать быть тем, кто один во всем виноват. С этим надо было покончить раз навсегда.

Он велел остановить машину у решетки Люксембургского сада и закончил свой путь пешком, почти бегом, заставляя себя не поднимать глаз к балкону, к окнам, на которые он в былое время столько раз смотрел издалека. Быстро вошел он в дом и как стрела пронесся мимо привратницкой, боясь, что его могут задержать, если Женни дала распоряжение не впускать к ней никого.

Ничто здесь не изменилось. Лестница, по которой он так часто подымался, болтая с Даниэлем... С Даниэлем в коротких штанах и с книжками под мышкой... Площадка, на которой он в первый раз увидел г-жу де Фонтанен, в тот вечер, когда они вернулись из Марселя и она склонилась сверху к беглецам с грустной улыбкой вместо упрека... Ничто, ничто не изменилось, даже звонок в квартире был тот же: его эхо глубоко отдавалось у него в памяти... Сейчас она появится. Что он ей скажет?

Сжимая рукою перила, наклонившись вперед, он прислушался... За дверью не было слышно ни звука, не доносилось ничьих шагов... Что же она там делала?

Он подождал несколько минут и опять позвонил, уже более робко.

Снова молчание.

Тогда он осторожно спустился в привратницкую.

— Скажите, ведь мадмуазель Женни у себя?

— Нет... Вы ведь знаете, бедный господин де Фонтанен...

— Да. И я знаю также, что мадмуазель там, наверху. Мне нужно сказать ей очень важную вещь...

— Мадмуазель действительно приезжала после завтрака, но она опять уехала. Уже по меньшей мере с четверть часа назад.

— А... — сказал он. — Опять уехала?

Ошеломленный, он пристально смотрел на старуху. Ему трудно было сказать, что именно он *ощущал*: огромное облегчение или жестокое разочарование.

Совещание в Вожирае будет только в пять. Но пойдет ли он туда? Теперь ему уж совсем этого не хотелось. В первый раз что-то, сугубо личное, неясно вырастало между ним и его жизнью борца.

Внезапно он решился. Он вернется в Нейи. Женни, наверно, будет заезжать в магазины по каким-нибудь делам, он приедет раньше, чем она, подождет ее у ограды и... Абсурдный, рискованный план... Но все лучше, чем эта неудача.

Случай спутал его расчеты. Когда он выходил из трамвая у клиники, колеблясь, что ему предпринять, кто-то за его спиной воскликнул:

— Жак!

Даниэль, дожидавшийся трамвая на противоположном тротуаре, заметил его и теперь, полный изумления, переходил улицу.

— Ты! Так ты еще в Париже?

— Вчера только вернулся, — пробормотал Жак. — Антуан сообщил мне новость...

— Он умер, не приходя в сознание, — коротко сказал Даниэль.

Казалось, он был смущен еще больше, чем Жак, даже как будто раздосадован.

— У меня назначено одно свидание, которое никак нельзя отложить, — пробормотал он. — Я предложил Людвигсону продать ему несколько картин, так как нам нужны деньги; и сегодня он должен прийти ко мне в мастерскую... Ах, если бы я знал, что ты придешь проводить меня. Как же нам быть? Не поедешь ли со мною? У меня в мастерской мы сможем спокойно поговорить, пока не придет Людвигсон...

— Как хочешь, — сказал Жак, сразу же отказываясь от всех своих проектов.

Даниэль благодарно улыбнулся.

— Мы можем немного пройтись пешком. А у фортов возьмем такси.

Перед ними открывалась широкая, залитая солнцем перспектива бульвара. Теневая сторона располагала к прогулке. Даниэль был великолепен и смешон в своей блестящей каске с развевающейся гривой; сабля была его по ногам, задевала за шпоры, ритмически сопровождала каждый его шаг воинственным позвякиванием. Жак, преследуемый мыслью о войне, рассеянно выслушивал объяснения друга. Следовало перебить его, схватить за руку, крикнуть: «Несчастный! Ты не видишь разве, что тебе готовят?..» Ужасная мысль промелькнула в его мозгу и буквально пригвоздила его к месту: если, паче чаяния, сопротивление Интернационала не поможет сохранить мир, этот красавец драгун, чей полк стоит на самой лотарингской границе, будет убит в первый же день войны... Сердце его сжалось, и слова, которые он хотел произнести, застряли у него в горле.

Даниэль продолжал:

— Людвигсон сказал мне: «К пяти часам». Но мне придется сделать отбор перед тем, как он придет... Ты понимаешь, я должен как-нибудь выпутываться: отец оставил нам только долги.

Он как-то странно засмеялся. Этот смех, это многословие, дрожащий и резкий голос — все свидетельствовало о нервном возбуждении, непривычном для него и вызывавшемся на этот раз целым рядом причин: тут были и удивление при виде Жака, и горькое воспоминание об их первой встрече, и стремление снова найти тон их былых бесед, пробудить этими свободными изъятиями полное до-

верие в своем молчаливом спутнике; было также и удовольствие находиться тут, на вольном воздухе, опьянение этим чудесным днем, этой прогулкой вдвоем после целых четырех дней затворничества в ожидании смерти отца.

Жак настолько не сознавал, что где-то на его имя положен какой-то капитал, так и лежащий без всякого употребления, что ни на одну секунду в голову ему не пришла мысль о возможности оказать другу денежную помощь. Впрочем, и тот не подумал об этом, иначе он не заикнулся бы о своих затруднениях.

— Долги... И опороченное имя, — мрачно продолжал Даниэль. — Он и тут сумел отравить нам жизнь... Сегодня утром я вскрыл письмо, полученное из Англии на его имя, письмо от женщины, которой он обещал денег... Он все время болтался между Лондоном и Веной и содержал по семье на обоих концах линии, как проводник спального вагона... О, — быстро прибавил он, — на эти его шалости мне наплевать. Отвратительно все остальное.

Жак неопределенно покачал головой.

— Тебя удивляет, что я так говорю? — продолжал Даниэль. — Я очень сердит на отца. Но все не из-за этих историй с бабами. Нет. Я сказал бы — наоборот... Странно, не правда ли? Никогда за всю его жизнь между нами не было никакой близости, ни одной задушевной беседы. Но если бы такие близкие отношения и могли завязаться, то лишь на одной этой почве: женщины, любовь... Может быть, потому, что я так на него похож, — продолжал он глухим голосом, — совсем такой же: неспособный противостоять увлечениям, неспособный даже раскаиваться в них. — Поколебавшись, он добавил: — Ну, а ты не такой?

За последние четыре года Жак тоже более или менее поддавался «увлечениям», но это никогда не проходило без угрозений совести. Против воли Жака где-то, может быть в плохо проветренном закоулке его совести, оставалось нечто от детского разграничения «чистого» и «нечистого», разграничения, которое он прежде столь часто проводил в своих спорах с Даниэлем.

— Нет, — сказал он, — у меня никогда не хватало на это смелости... Смелости принимать себя таким, каков я есть.

— Разве это смелость? Скорее, может быть, слабость... Или самомнение... Или все что угодно... Я думаю, что для некоторых натур, как, например, моя, погоня за желаниями — это нормальный, необходимый режим, свойственный им жизненный ритм. Никогда не мешать себе отдаваться тому, что манит, — сформулировал он пылким тоном, словно повторил какую-то внутреннюю клятву.

«Ему повезло: он красавец», — подумал Жак, лаская взглядом мужественный, властный профиль, резко очерченный под козырьком каски. — Чтобы говорить о желании с такой уверенностью, надо быть «неотразимым», надо привыкнуть к тому, что ты сам вызываешь желание... Может быть, также надо иметь несколько иной опыт, чем тот, какой был у меня». И он подумал о том, что первые уроки любви получил в объятиях белокурой Лизбет,

маленькой сентиментальной эльзаски, племянницы мамаши Фрюлинг. Что же касается Даниэля, то он в более молодом возрасте впервые познал наслаждение в постели той опытной особы, которая приютила его на одну ночь в Марселе. Быть может, эти два столь не схожие посвящения в тайны любви навсегда наложили на каждого из них особый отпечаток? «Действительно ли «ориентирует» человека его первое любовное приключение? — размышлял он. — Или же, наоборот, это первое приключение зависит от тех тайных законов, которым подчиняешься всю жизнь?»

Словно угадав, какой оборот приняли мысли Жака, Даниэль воскликнул:

— Мы имеем пагубную тенденцию усложнять эти проблемы. Любовь? Вопрос здоровья, мой дорогой: физического и морального здоровья. Что касается меня, то я безоговорочно принимаю определение Яго, помнишь? «It is merely a lust of the blood and a permission of the will...<sup>1</sup>» Да, любовь — только это, и не следует делать из нее что-либо, кроме этого кипения жизненных соков... Яго очень хорошо сказал: «Жар в крови и послабление воли».

— У тебя все та же мания цитировать английские тексты, — с улыбкой заметил Жак. Ему вовсе не хотелось дискутировать на тему о любви... Он взглянул на часы. Сообщения телеграфных агентств доставлялись в «Humanité» не раньше половины пятого или пяти...

Даниэль заметил его жест.

— О, время еще есть, — сказал он, — но мы гораздо лучше поговорим у меня.

И он подозвал такси.

В машине, чтобы поддержать разговор, Даниэль продолжал болтать о себе, о своих победах в Люневиле, в Нанси и воспевать прелести мимолетных любовных связей. Внезапно он, смущившись, сказал:

— Что ты на меня смотришь?.. Я все болтаю и болтаю... О чем ты думаешь?

Жак вздрогнул. Еще раз охватило его искушение заговорить с Даниэлем о том, что не давало ему покоя. Все же и на этот раз он ответил уклончиво:

— О чём я думаю?.. Да... обо всем этом.

И в наступившем затем молчании каждый из них с тяжелым сердцем задал себе вопрос, соответствует ли хоть сколько-нибудь истине тот образ друга, который он себе создал?

— Поезжайте по улице Сены, — крикнул Даниэль шоферу. Затем обернулся к Жаку. — Да, кстати: ты уже видел, как я устроился?

Мастерская, которую Даниэль снял за год до своего призыва в армию (и за которую платил Людвигсон под тем любезным пред-

<sup>1</sup> «Это только жар в крови и послабление воли» (Шекспир, «Отелло»).

логом, что Даниэль хранит там архив их журнала, посвященного проблемам искусства), помещалась на самом верхнем этаже старого дома с высокими окнами, в глубине мощеного двора.

Каменная лестница была темная, старая, местами осела, и на ней плохо пахло, но в то же время она была широка и украшена узорчатыми железными перилами. Дверь мастерской, в которой имелся глазок, словно в двери тюремной камеры, открывалась тяжелым ключом, который Даниэль взял у привратницы.

Жак вошел вслед за приятелем в просторную комнату-манвару; свет проникал в нее сквозь запыленные стекла огромного окна, выходившего прямо в небо. Пока Даниэль хлопотал, Жак с любопытством рассматривал устройство и обстановку мастерской. Стены ее были сплошь серо-желтого цвета, без малейшей примеси других оттенков; в глубине помещения было два чулана, скрытых полуздернутыми портьерами: один, выбеленный, служил умывальной комнаткой, другой, оклеенный красными обоями цвета помпейских фресок и целиком занятый большой низкой кроватью, представлял собою альков. В одном углу на козлах стоял большой чертежный стол, заваленный грудами книг, альбомов, журналов; над столом висел большой зеленый рефлектор. Под чехлами, которые торопливо срывал Даниэль, находились несколько мольбертов на колесиках и разрозненных стульев и кресел. У стены в глубоких белых ящиках с перегородками теснились подрамники и папки с рисунками; видны были только корешки папок.

Даниэль подкатил к Жаку кресло, обитое потертой кожей.

— Садись. Я только вымою руки.

Жак с размаху опустился на заскрипевшие пружины. Подняв глаза к верхним стеклам окна, он стал рассматривать крыши, залитые горячим солнечным светом. Он узнал купол Французского Института, остряя башен церкви Сен-Жермен-де-Пре, башни семинарии Сен-Сюльпис.

Потом он повернулся, взглянул в сторону умывальной и увидел Даниэля сквозь полуздернутые портьеры. Молодой человек снял мундир и облачился в голубую пижамную куртку. Он сидел перед зеркалом и с внимательной улыбкой приглаживал ладонями волосы. Жак поразился, словно узнал некую тайну. Даниэль был красив, но он, казалось, так мало сознавал это. В его отточенном профиле было столько мужественной простоты, что Жак и представить себе не мог приятеля самодовольно созерцающим свое отражение в зеркале. И внезапно, когда Даниэль снова подошел к нему, он с необычайным волнением подумал о Женни. Брат и сестра не были похожи; тем не менее оба они унаследовали от отца тонкость сложения, стройную гибкость, которая придавала нечто несомненно родственное их походке.

Он, поспешно встал и направился к ящикам, где находились подрамники.

— Нет, — сказал, приблизившись, Даниэль. — Здесь все старье... тысяча девятьсот одиннадцатого... Все, что я написал в тот

год, — подражания. Ты помнишь, наверное, жестокую остроту — кажется, слова Уистлера о Берн-Джонсе:<sup>1</sup> «Это похоже на что-то такое, что могло бы быть неплохим...» Лучше посмотри вот это, — сказал он, потянув к себе несколько полотен, изображавших одно и то же — за исключением нескольких деталей — обнаженное тело.

— Это я писал как раз накануне призыва... Один из тех этюдов, которые больше всего помогли мне понять...

Жаку показалось, что Даниэль не закончил своей фразы.

— Понять что?

— Да вот это самое... Эту спину, эти плечи... Я считаю очень важным наметить нечто прочное, например такое вот плечо, спину — и работать над ними, пока не начнешь видеть подлинную правду... простую правду, которая исходит от вещей прочных, вечных... Мне кажется, что если постараться быть внимательным, углубиться в предмет, то это в конце концов откроет тайну, даст решение всего... нечто вроде ключа к познанию мира... И вот это плечо, эта спина...

«Плечо, спина...» А Жак думал о Европе, о войне.

— Все, чему я научился, — продолжал Даниэль, — я почерпнул в результате упорного изучения все одной и той же модели... Зачем менять? Можно добиться от себя гораздо большего, если упорно возвращаться все к одной и той же отправной точке; если нужно — начинать всякий раз сначала и двигаться дальше все в одном и том же направлении. Мне кажется, если бы я был романристом, то, вместо того чтобы менять персонажей с каждой новой книгой, я бы бесконечно цеплялся все за одних и тех же, углубляя и углубляя...

Жак неодобрительно молчал. Какими искусственными, бесполезными, неактуальными представлялись ему эти эстетические проблемы!.. Он уже не мог понять смысла такой жизни, какую вел Даниэль. Он спрашивал себя: «Что подумали бы о нем в Женеве?» И ему стало стыдно за друга.

Даниэль приподнимал свои полотна одно за другим, поворачивая их к свету, окидывал быстрым взглядом сквозь прищуренные веки, затем ставил на место. Время от времени одно из них откладывал в сторону под ближайший мольберт: для Людвигсона.

Он пожал плечами и процедил сквозь зубы:

— В сущности, дарование — это почти ничто, хотя оно необходимо... Важен труд. Без труда талант — это фейерверк: на мгновение он ослепляет, но потом ничего не остается.

Как бы нехотя отложил он в сторону один за другим три подрамника и вздохнул.

— Хорошо было бы никогда ничего не продавать им. И всю жизнь работать, работать.

Жак, продолжавший наблюдать за ним, промолвил:

<sup>1</sup> Уистлер, Джеймс (1834—1904) — американский художник; Берн-Джонс, Эдуард (1833—1898) — английский художник.

— Ты все так же глубоко любишь свое искусство?

В его тоне слышалось несколько пренебрежительное удивление, и Даниэль это заметил.

— Чего ты хочешь? — сказал он примирительным тоном. — Не все же обладают способностью к действию.

Из осторожности он скрывал свою настоящую мысль. Он полагал, что на свете вполне достаточно людей действия для совершения всех благодеяний, которыми они награждают человечество, и что даже в интересах коллектива те, кто, как он или Жак, могут развивать свои дарования и стать художниками, должны представлять область действия тем, у кого нет ничего другого. В его глазах Жак, без всякого сомнения, изменил своему естественному призванию. И в сдержанном поведении, в некоторой раздражительности своего друга детства он склонен был усматривать подтверждение этого взгляда: свидетельство некоей тайной неудовлетворенности, сожаления, испытываемого теми, кто смутно сознает, что изменил своей судьбе, и горделиво прячет за внешней храбростью и презрительностью невысказанное сознание своего отступничества.

Лицо Жака приняло жесткое выражение.

— Видишь ли, Даниэль, — продолжал он, опустив голову, что приглушало его голос, — ты живешь, замкнувшись в своем творчестве и словно ничего не зная о людях...

Даниэль положил этюд, который держал в руках:

— О людях?

— Люди — это несчастные животные, — продолжал Жак, — животные, которых мучат... Пока отвращаешь взгляд от их страданий, может быть и можно жить, как ты живешь. Но раз войдя в соприкосновение с человеческой нуждой, вести жизнь художника невозможно... Понимаешь?

— Да, — медленно произнес Даниэль. И, подойдя к окну, он несколько мгновений созерцал расстилающееся перед ним море крыши.

«Да, — размышлял он, — разумеется, Жак прав... Нужда... Но что с ней поделаешь? Все на свете безнадежно... Все — за исключением именно искусства». И более чем когда-либо чувствовал он себя привязанным к этому чудесному убежищу, где ему удалось устроить свою жизнь. «Зачем мне взваливать себе на шею грехи и горести мира? Это только парализует мои творческие силы, задушит мое дарование без всякой пользы для кого-либо. Я не родился апостолом... И кроме того, допустим даже, что это чудовищно, — но я всегда твердо желал быть счастливым».

Это была правда. С детства старался он защищать свое счастье вопреки всем и против всех с наивным, быть может, но очень благородным чувством, что в этом состоит его первая обязанность по отношению к самому себе. Обязанность, впрочем, довольно трудная и требовавшая неусыпного внимания: стоит человеку немного распуститься, и он уже готовит себе беду... Первым условием

счастливого существования была для него независимость, а он хорошо знал, что нельзя отдаваться какому-либо общему делу, не пожертвовав предварительно своей свободой... Но он не мог сделать Жаку подобное признание. Он должен был молчать и принять прензительное осуждение, прочитанное им в глазах друга.

Он повернулся и, подойдя к Жаку, несколько секунд смотрел на него внимательно и как бы вопрошая о чем-то.

— Хоть ты и говоришь, что счастлив, — сказал он под конец (Жак ничего подобного не говорил), — какой у тебя все же... печальный... смятенный вид...

Жак встрепенулся и выпрямился. На этот раз он будет говорить. Казалось, он внезапно принял долго откладывавшееся решение, и взгляд его стал таким серьезным, что Даниэль взглянул на него с недоумением.

В этот момент воздух задрожал от резкого эвонка, и они вздрогнули от неожиданности.

— Людвигсон, — щепнул Даниэль.

«Тем лучше, — подумал Жак. — К чему?..»

— Подожди, это не надолго, — прошептал Даниэль. — Потом я тебя провожу...

Жак отрицательно покачал головой.

Даниэль продолжал умолять:

— Неужели ты уходишь?

— Да.

Лицо его как-то одеревенело.

Одну секунду Даниэль смотрел на него в полном отчаянье. Затем, чувствуя, что все настояния будут тщетны, он, безнадежно махнув рукой, побежал открывать дверь.

Людвигсон предстал перед ними в отлично сидевшем на нем летнем костюме из легкой шелковой ткани кремового цвета, на которой ярко выделялась розетка Почетного Легиона. Его массивная голова, словно вылепленная из какого-то бледного студня, сидела на плотной шее, отлично чувствовавшей себя в мягкком воротничке. Череп был заострен; глаза немного раскосые; скулы плоские. Широкий толстогубый рот походил на какую-то западню.

Он явно рассчитывал, что торговаться они будут наедине, и присутствие третьего лица вызвало в нем легкое удивление. Тем не менее он любезно подошел к Жаку, которого сразу же узнал, хотя встречался с ним всего один раз.

— Очень приятно... — сказал он, раскатывая «р». — Я, кажется, имел удовольствие беседовать с вами четыре года тому назад на одном спектакле русского балета, не так ли? Вы готовились к экзаменам в Нормальную школу?

— Правильно, — сказал Жак, — у вас замечательная память.

— Да, это так, — сказал Людвигсон. Он спустил свои жабы веки и, словно радуясь тому, что может тотчас же подкрепить похвалу Жака, обернулся к Даниэлю. — Это ваш друг господин Тибо рассказал мне, что в древней Греции — если не ошибаюсь, в Фи-

вах, те, кто желал добиться государственных должностей, должны были по меньшей мере в течение десяти лет не вести никакой торговли. Странно, не правда ли? Я твердо это запомнил... В тот же вечер вы мне рассказали, — прибавил он, оборачиваясь теперь к Жаку, — что у нас во Франции при старом режиме, для того чтобы иметь право носить титул, необходимо было в течение не менее двадцати лет обладать этими — как они? — дворянскими грамотами, ведь так?.. — И с изящным поклоном он заключил: — Я чрезвычайно люблю разговаривать с образованными людьми...

Жак улыбнулся. Затем, торопясь уйти, он попрощался с Людвигсоном.

— Что ж, — бормотал Даниэль, провожая его до двери, — ты, значит, не подождешь?

— Невозможно. Я и так опоздал...

Он избегал смотреть на своего друга. Ужасное видение снова предстало перед ним, и сердце его сжалось: Даниэль на передовых позициях...

Стесняясь Людвигсона, они только машинально пожали друг другу руки.

Жак сам открыл тяжелую дверь, пробормотал: «До свиданья» и бросился вниз по темной лестнице.

На тротуаре он остановился, глубоко вздохнул и посмотрел на часы. Вожирарское совещание уже давно кончилось.

Ему хотелось есть. Он зашел в булочную, купил две подковки, плитку шоколада и пешком двинулся по направлению к Бирже.

## XXXII

В тот вечер, в пятницу 24 июня, в «*Humanité*» в кабинетах Галло и Стефани велись довольно пессимистические разговоры. Все, кто беседовал с патроном, проявляли беспокойство. На бирже из-за внезапной паники французские трехпроцентные бумаги упали до восьмидесяти и даже — был один такой момент — до семидесяти восьми франков. Никогда с 1871 года рента не котировалась так низко. Телеграммы из Германии сообщали о такой же панике на берлинской бирже.

Днем Жорес опять ездил на Ке д'Орсе и вернулся оттуда очень озабоченный. Он работал, запершись в своем кабинете и никого не принимая. Его передовица для завтрашнего номера была готова; знали, впрочем, только ее заглавие, но оно было очень многозначительно: «Последний шанс на мир». Он сказал Стефани: «Австрийскаяnota ужасающе сурова. Можно подумать, что Вена решила ускорить свое наступление и таким способом сделать невозможным какое бы то ни было предварительное вмешательство держав...»

И действительно, все казалось каким-то дьявольским хитросплетением, имевшим целью вызвать в Европе полнейший развал.

Ответственные руководители французского правительства были до 31 августа в отсутствии. Новость они, видимо, узнали в море, где-нибудь между Россией и Швецией, и им трудно было говориться как с прочими французскими министрами, так и с правительствами союзных стран. (Берхтольд постарался устроить так, чтобы царь узнал содержание ноты лишь после отъезда президента; он, видимо, опасался, что советы Пуанкаре не будут слишком миролюбивыми.) Что касается кайзера, то он тоже находился в море и вследствие этого не мог, даже если бы захотел, дать Францу-Иосифу совет проявить умеренность. С другой стороны, забастовки в России, бывшие в самом разгаре, парализовали свободу действия руководителей русской политики, так же как гражданская война в Ирландии<sup>1</sup> связывала по рукам и ногам англичан. Наконец, сербское правительство было именно в эти дни по горло занято выборами: большинство министров разъезжало по провинции в связи с выборной кампанией. Даже премьер-министр Пашич не находился в Белграде, когда там получена была австрийская нота.

Вскоре стали поступать подробные сведения об этой ноте. Текст, накануне предъявленный сербскому правительству, сегодня был сообщен державам. Несмотря на примирительные заявления, неоднократно делавшиеся Австрией (Берхтольд заверил русского и французского послов, что требования будут выставлены самые приемлемые), нота носила явно выраженный характер ультиматума, поскольку венское правительство настаивало на полном подчинении всем своим требованиям и назначало определенный срок для ответа — срок невероятно короткий: сорок восемь часов, — с целью, вероятно, воспрепятствовать вмешательству держав в пользу Сербии. Одно известие, полученное секретным образом от австрийского министерства иностранных дел и доставленное неким венским социалистом, посланцем Госмера, Жоресу, давало все основания для беспокойства: барон фон Гисль, австрийский посланник в Сербии, получил вместе с приказанием передать ноту также инструкции о разрыве дипломатических сношений и немедленном отъезде из Белграда в случае, — весьма вероятном, — если завтра, в субботу, в шесть часов вечера сербское правительство не примет без колебаний австрийских требований. Эти инструкции наводили на мысль, что форма ультиматума была нарочито оскорбительна и неприемлема, для того чтобы дать Вене возможность ускорить объявление войны. Эти пессимистические гипотезы подтверждались и другой информацией. Начальник генерального штаба Гетцендорф, вызванный телеграммой, прервал свои каникулы, которые он проводил в Тироле, и поспешил вернуться в столицу Австрии. Герман-

<sup>1</sup> В 1914 г. либеральный кабинет Асквита решил предоставить Ирландии ограниченную автономию (гомруль). Группа консерваторов во главе с Карсоном организовала сопротивление гомрулю под предлогом защиты протестантского населения северной Ирландии и начала создавать вооруженные отряды своих сторонников, что едва не привело к гражданской войне в Ирландии.

ский посол во Франции фон Шен, находившийся в отпуске в Берхтесгадене,<sup>1</sup> внезапно возвратился в Париж. Граф Берхтольд после совещания с императором в Ишле<sup>2</sup> сделал на обратном пути крюк, заехав в Зальцбург, чтобы встретиться там с германским канцлером Бетман-Гольвегом.

Таким образом, все создавало впечатление широко и искусно задуманной махинации. Какую роль сыграла в ней Германия? Германофилы обвиняли во всем Россию и объясняли поведение немцев тем, что Германия, мол, внезапно обнаружила опасные замыслы панславизма и всю серьезность военных приготовлений, уже начатых Россией. В Берлине в правительственные сферах неизменно делали вид, будто до последнего дня руководители Германской империи не имели ни малейшего представления об австрийских требованиях и узнали о них только из сообщения, сделанного всем прочим державам. Ягов, государственный секретарь с Вильгельмштрассе,<sup>3</sup> будто бы уверял в этом английского посла. Но, с другой стороны, утверждали, что текст этих требований был сообщен Берлину по крайней мере за два дня до их вручения Сербии.

Следовало ли сделать из этого вывод, что Германия решительно поддерживала Австроию и хотела войны? Траутенбах, который только что прибыл из Берлина и которого Жак в этот вечер встретил в кабинете Стефани, восставал против столь упрощенного рассуждения. Поведение Германии, по его словам, объяснялось тем, что берлинские военные круги все еще верили в неподготовленность России. Если их расчет был правилен и вследствие вынужденной пассивности русских риск всеобщего вооруженного конфликта сводился к нулю, обе германские империи могли позволить себе все: они играли наверняка. Главное — действовать быстро и энергично. Надо было, чтобы австрийские войска оказались в Белграде до того, как державы Тройственного союза смогут вмешаться или хотя бы договориться между собою о совместных действиях. Тогда Германия сможет выступить на сцену: свободная от подозрений в сообщничестве или какой-либо преднамеренности, она предложит свое посредничество для локализации конфликта и его ликвидации путем переговоров, инициативу которых она возьмет на себя. Ради того чтобы спасти мир, Европа радостно согласится на германский арбитраж и без особых споров принесет в жертву интересы Сербии. Таким образом, благодаря Германии все придет в норму, а в выигрыше останутся центральные державы: двуединая монархия на долгое время укрепится, и Тройственный союз одержит беспрецедентную дипломатическую победу. Эти предположения по поводу тайных планов Германии подтверждались и некоторыми конфиден-

<sup>1</sup> Курорт в Баварии.

<sup>2</sup> Курорт в Верхней Австрии.

<sup>3</sup> Улица в Берлине, где находилось германское министерство иностранных дел.

циальными сведениями, почерпнутыми в кругах, близких к итальянскому посольству в Берлине.

Так как Стефани вызвали к патрону, Жак увел Траутенбаха в «Прогресс».

Весь маленький зал кафе волновался. Сообщения вечерних газет, новости, принесенные редакторами «Humanité», сопровождались противоречивыми и страстными комментариями.

Около девяти часов в воздухе повеяло вдруг оптимизмом. Пажес только что в течение нескольких минут беседовал с патроном и нашел его менее встревоженным. Жорес сказал ему: «Не бывать бы счастью, да несчастье поможет... Австрийский жест заставит народы Европы стряхнуть с себя спячку». С другой стороны, последние телеграммы приносили многочисленные доказательства активности Интернационала. Социалистические партии Бельгии, Италии, Германии, Австрии, Англии, России находились в непрерывной связи с французской социалистической партией и подготовлялись к всеобщей демонстрации крупного масштаба. Только что были получены весьма точные и обнадеживающие сведения, присланные германской социал-демократической партией, которая выступала в некотором смысле гарантом мирных намерений своего правительства: ни Бетман, ни Ягов, ни еще менее кайзер — так уверяли социал-демократы — не допустят, чтобы их втянули в войну; следовательно, можно было рассчитывать на энергичное и действенное вмешательство Германии в пользу мира.

Из России тоже поступали успокоительные сведения. Созванное после получения австрийской ноты заседание совета министров, на котором председательствовал сам Царь, решило немедленно же обратиться к австрийскому правительству с настойчивым предложением продлить срок ультиматума, поставленного Сербии. Эту ловкую просьбу, которая не касалась существа спора, упираясь во второстепенный вопрос об отсрочке, Вена вряд ли смогла бы отвергнуть. А отсрочка хотя бы на два-три дня обеспечивала дипломатическим канцеляриям Европы возможность договориться насчет какой-либо общей линии поведения. Впрочем, не теряя времени, русское министерство иностранных дел уже начало с некоторыми из слов, аккредитованных при петербургском дворе, энергичные переговоры, которые не могли не принести определенных результатов. Почти тотчас же телеграмма из Лондона дала новые основания для этих надежд. Сэр Эдуард Грей, министр иностранных дел, взял на себя инициативу поддержать всем своим авторитетом русское предложение об отсрочке. Кроме того, он срочно разрабатывал проект посредничества, к которому хотел привлечь Германию, Италию, Францию и Англию, четыре великие державы, не заинтересованные непосредственно в конфликте. Проект осторожный, который не рисковал потерпеть крах, ибо за столом этого собрания

арбитров соотношение сил должно было быть равным: с одной стороны — Германия и Италия, для защиты интересов Австрии, с другой — Франция и Англия, как представительницы интересов сербских и общеславянских.

Но около одиннадцати часов мрачные предзнаменования снова начали затемнять горизонт. Сперва распространился слух, что Германия хотя и приняла предложение Грея, но в весьма уклончивых выражениях, свидетельствовавших о том, что она не очень охотно примет участие в посредничестве. Затем не без волнения узнали от Марка Левуара, вернувшегося с Ке д'Орсе, что Австрия, вопреки всем ожиданиям, наотрез отказалась России в отсрочке ультимата; это являлось неожиданным признанием ее агрессивных намерений.

Около часа ночи, когда большинство собравшихся в кафе революционеров разошлось, Жак возвратился в редакцию «Humanité». В приемной он встретился с Галло, провожавшим двух депутатов-социалистов, которые только что вышли из кабинета Жореса. Они прнесли конфиденциальное и весьма тревожное сообщение: как раз сегодня, в то время когда все дипломатические канцелярии рассчитывали на умиротворяющее вмешательство Берлина, германский посол г-н фон Шен, только что вернувшийся в Париж, явился на Ке д'Орсе и прочел г-ну Бьянвеню-Мартен, заместителю министра иностранных дел, декларацию своего правительства. Этот неожиданный документ был составлен в очень сухих выражениях, словно предупреждение, если не угроза. Германия цинично заявляла, что «одобряет и форму и содержание австрийской ноты»; она давала понять, что европейской дипломатии совершенно незачем заниматься этим делом; она заявляла, что конфликт должен быть локализован между Австроией и Сербией и что «никакая третья держава не должна вмешиваться в него; в противном случае следует опасаться самых серьезных последствий». Все это означало следующее: «Мы твердо решили поддержать Австроию; если Россия вмешается в пользу Сербии, мы будем вынуждены объявить мобилизацию, и, поскольку система военных союзов автоматически придет в движение, Франция и Россия очутятся перед неизбежностью войны с Тройственным союзом». Этот демарш Шена, казалось, внезапно обнаруживал пристрастность и агрессивность германского империализма, а также стремление запугать, не предвещавшее ничего хорошего. Как будет реагировать Франция на эту полупровокацию?

Галло и Жак остались в приемной, и Жак уже собирался уходить, когда внезапно распахнулась дверь. Появился Жорес: лоб его блестел от пота, круглая соломенная шляпа была сдвинута на затылок, плечи горбились, глаза прятались где-то глубоко под нависшими бровями. Его короткая рука прижимала к боку набитый бумагами портфель. Он окинул обоих мужчин отсутствующим взглядом, машинально ответил на их поклон, тяжелым шагом прошел через комнату и исчез.

### XXXIII

Г-жа де Фонтанен и Даниэль провели ночь у гроба на двух стульях друг подле друга. Женни, по настоянию брата, ушла, чтобы хоть несколько часов спать.

Когда около семи часов утра Женни вернулась, Даниэль подошел к матери и тихонько коснулся ее плеча:

— Пойдем, мама... Женни посидит тут, пока мы попьем чаю.

Он говорил ласково и твердо. Г-жа де Фонтанен повернула к Даниэлю свое утомленное лицо. Она почувствовала, что сопротивление бесполезно. «Воспользуюсь этим, — подумала она, — чтобы поговорить с ним о моей поездке в Австрию». Она бросила последний взгляд на гроб, поднялась и послушно пошла за сыном.

Утренний завтрак подали им в той комнате пристройки, где спала Женни. Окно было широко распахнуто в сад. При виде блестящего чайника, масла и меда в стеклянной посуде лицо г-жи де Фонтанен озарилось невольной, какой-то детской улыбкой. Во все периоды ее жизни в начале дня утренний завтрак вместе с детьми был для нее благословенным часом мира и радости, который заново заряжал ее привычным ей оптимизмом.

— Это правда, я хочу есть, — призналась она, подходя к столу. — А ты, мой мальчик?

Она села и стала машинально делать бутерброды. Даниэль смотрел на это, улыбаясь, растроганный тем, что снова видит в ярком дневном свете, как эти маленькие пухлые ручки деликатно совершают те самые движения, которые он с детства запомнил как некий обряд, творящийся каждое утро.

Перед установленным едою подносом г-жа де Фонтанен под влиянием смутной ассоциации прошептала:

— Я так часто думала о тебе, мой мальчик, пока шли маневры. Вас достаточно кормили?.. По вечерам при мысли, что ты, может быть, лежишь на соломе, мокрой от дождя, мне стыдно становилось, что я в постели, и я не могла уснуть.

Он наклонился и своей рукой сжал руку матери.

— Что за мысль, мама! Наоборот, после стольких месяцев, проведенных в казарме, для нас это просто развлечение — играть в войну. — Склонившись к ней и продолжая говорить, он перебирал золотую цепочку браслета, который она носила на руке. — А кроме того, знаешь, — добавил он, — унтер-офицер на маневрах всегда может найти у местных жителей, где переспать.

Это вырвалось у него немного необдуманно. Ему вспомнились случайные любовные победы, одержанные на постоях, и он на мгновение смутился; г-жа де Фонтанен хоть и неясно, но уловила это с присущей ей чуткостью. Она старалась не смотреть на сына.

Последовало короткое молчание. Потом она робко спросила:

— В котором часу ты должен выехать?

— В восемь часов вечера... Отпуск мой кончается в двенадцать, но все будет в порядке, если я поспею к утренней перекличке.

Она подумала, что похороны не кончатся раньше половины второго, что они не вернутся домой раньше двух, что этот последний день с Даниэлем так быстро пролетит...

Словно подумав о том же самом, он сказал:

— Сегодня среди дня мне придется уйти: есть одно важное дело...

По тону его она почувствовала, что он что-то скрывает, но была введена в заблуждение насчет самого секрета, ибо это был тот неопределенный, немного слишком непринужденный тон, который он принимал в былые дни, когда, проведя с ней вечером у камина какой-нибудь час, он вдруг вставал и говорил: «А теперь, мама, прости, я побегу, у меня назначена встреча с товарищами».

Он смутно ощущал ее подозрение и решил его тотчас же рассеять:

— Надо получить один чек... От Людвигсона.

Это была правда. Он не хотел покидать Париж, не оставив матери этих денег.

Она, казалось, не слышала. Как всегда, она пила чай мелкими, тихими глотками, обжигая себе рот и не выпуская из рук чашки; глаза ее были слегка затуманены. Она думала об отъезде Даниэля, и на сердце ее лежала тяжесть. На мгновение это заставило ее забыть о предстоящей церемонии. А ведь она не имела права жаловаться: разлука с сыном, от которой она так страдала в течение многих месяцев, подходила к концу. В октябре он вернется домой. В октябре возобновится их жизнь втроем. При этой мысли ей рисовалось все их мирное будущее. Она не признавалась себе в этом, но со смертью Жерома горизонт как-то прояснялся. Отныне она будет свободна, она будет одна со своими двумя детьми...

Даниэль смотрел на нее с выражением заботливым и вместе с тем несколько тревожным.

— Что вы обе будете делать в Париже в летние месяцы? — спросил он.

(Г-жа де Фонтанен, которой нужны были деньги, сдала на весь сезон свою дачу в Мезон-Лафите.)

«Сейчас как раз время поговорить с ним о моей поездке», — подумала она.

— Не беспокойся, мой мальчик. Во-первых, я буду очень занята ликвидацией всех этих дел...

Он перебил ее:

— Я беспокоюсь о Женни, мама.

Хотя он давно уже привык к угрюмой замкнутости своей сестры, в эти последние дни его все же поразило измученное выражение лица Женни и ее лихорадочный взгляд.

— У нее совсем больной вид, — заявил он. — Ей надо бы на свежий воздух.

Г-жа де Фонтанен, не отвечая, поставила чашку на поднос. Она тоже заметила в лице дочери что-то необычное: какое-то исступленное выражение, словно ее околдовали, выражение, которое не

могло объясниться только лишь смертью отца. Но у нее был иной, чем у Даниэля, взгляд на Женни.

— У нее несчастная натура, — вздохнула она, добавив с какой-то трогательной наивностью. — Она не умеет доверять...

И затем немного торжественным, благоговейным тоном, которым привыкла говорить о некоторых вещах, она произнесла:

— Видишь ли, всякий человек обречен нести бремя внутренних переживаний, внутренней борьбы...

— Да, — согласился Даниэль, не давая ей продолжать, — но все же, если бы Женни могла нынче летом хоть недолго пожить в горах либо у моря...

— Ни горы, ни море ей не помогут, — сказала г-жа де Фонтанен, покачав головой, упрямая, как все кроткие люди, одержимые непоколебимой уверенностью в чем-либо. — Дело у Женни не в здоровье. Поверь мне, никто ей ничем не может помочь... Каждый человек неизбежно одинок в решительной внутренней борьбе, как одиноким, наедине с собой, будет он и в тот час, когда ему придется принять свою смерть... — Она подумала об одиночестве Жерома в момент его кончины, и глаза ее наполнились слезами. Она сделала короткую паузу и тихо прибавила, словно для себя самой: — Наедине с собой и с духом.

— С этими твоими принципами... — начал Даниэль. Голос его дрожал от легкого раздражения. Он вынул из портсигара папиросу и замолчал.

— С этими моими принципами?.. — удивленно переспросила г-жа де Фонтанен.

Она смотрела, как он резким движением захлопнул портсигар и постучал мундштуком папиросы о тыльную часть руки, прежде чем взять ее в рот. «Совсем отцовские жесты, — подумала она. — Совсем те же руки...» Сходство было особенно отчетливым благодаря тому, что теперь у Даниэля на указательном пальце был перстень, который г-жа де Фонтанен сама сняла с руки Жерома, прежде чем навеки скрестила его руки; и эта большая камея мучительно вызывала в ней представление об этих тонких и мужественных руках, которые жили теперь только в ее памяти. При малейшем воспоминании о физическом облике Жерома — она ничего не могла с собой поделать — сердце ее билось, словно ей было двадцать лет... Но эти черты сходства между отцом и сыном всегда вызывали в ней и сладостное ощущение и вместе с тем ужасный страх.

— С этими моими принципами?.. — повторила она.

— Я только хотел сказать... — начал он. Он колебался, хмурия брови и ища слов. — Именно с этими твоими принципами ты всегда предоставляла... другим... идти в одиночестве и совершенно свободно путями их судьбы, даже когда эти пути были очевидно дурными, даже когда эта судьба не могла внести в их жизнь и твою ничего, кроме горя.

Она вздрогнула, словно от удара. Но все же отказывалась понимать и деланно улыбнулась:

— Теберь ты упрекаешь меня за то, что я давала тебе слишком много свободы?

Даниэль в свою очередь улыбнулся и, наклонившись, положил свою руку на руку матери.

— Я не упрекаю тебя и никогда ни в чем не стану упрекать, ты это прекрасно знаешь, мама, — молвил он, ласково глядя на нее. И затем с невольным упрямством добавил: — И ты так же хорошо знаешь, что я говорил не о себе.

— О мой мальчик, — воскликнула она с внезапным негодованием, — это нехорошо! — Она была задета за живое. — Ты всегда выискивал причины, чтобы обвинить отца.

В это утро, за несколько часов до похорон, подобный спор был особенно неуместен. Даниэль это чувствовал. Он уже жалел, что у него вырвались эти слова. Но само недовольство тем, что они были произнесены, глупейшим образом толкало его на то, чтобы усугублять этот промах.

— А ты, бедная мама, только и думаешь, как бы выискать для него оправдания, и забываешь все, даже то безвыходное положение, в котором мы теперь очутились.

Конечно, у нее были все основания думать так же, как Даниэль. Но она заботилась только об одном: как бы охранить память отца от суровости сына.

— Ах, Даниэль, как ты несправедлив! — воскликнула она, и в голосе ее послышалось рыдание. — Ты никогда не понимал своего отца по-настоящему! — И с пылким упрямством, с каким обычно защищают безнадежные дела, она продолжала: — Твоего отца нельзя упрекнуть ни в чем серьезном! Ни в чем!.. Он был слишком рыцарственной, благородной и доверчивой натурой, чтобы пренепеть в делах! Вот в чем его вина. Он стал жертвой низких людей, которых не сумел выставить за дверь. Вот его вина, его единственная вина. И я это докажу! Он был неосторожен, он, может быть, проявил «прискорбное легкомыслие», как сказал мне мистер Стэллинг. Вот и все! Прискорбное легкомыслие!

Даниэль не глядел на мать, губы его дрожали, плечо подергивалось; но он сдержался и не ответил. Так, несмотря на их взаимную нежность, несмотря на их желание говорить друг с другом чистосердечно, это было неосуществимо. При первом же соприкосновении их тайные мысли восставали друг против друга, а издавна жившие в их душах обиды отправляли даже молчание, когда они были вдвоем... Он опустил голову и сидел неподвижно, уставив глаза в землю.

Г-жа де Фонтанен замолчала. Зачем продолжать разговор, всю фальшивь которой она почувствовала с самого начала? Она намеревалась сообщить сыну о тех судебных преследованиях, которые были возбуждены против ее мужа и которые могли скомпрометировать его имя, для того чтобы Даниэль понял, насколько необходимо ей поехать в Вену. Но, столкнувшись с раздражающей ее жестокостью Даниэля, она стала стремиться лишь к одному: оправдать

Жерома, что ослабляло, разумеется, силу аргументов, которые она могла представить сыну с целью доказать необходимость своего отъезда. «Тем хуже, — подумала она. — Ну что ж, я ему напишу».

Несколько минут длилось тяжелое молчание.

Повернувшись к окну, Даниэль созерцал утреннее небо, макушки деревьев и курил с деланной беспечностью, которая обманывала матер не больше, чем его самого.

— Уже восемь, — прошептала г-жа де Фонтанен, когда из клиники до нее донесся бой часов. Она подобрала крошки хлеба, упавшие ей на платье, рассыпала их на подоконнике для птиц и спокойно сказала: — Я иду туда.

Даниэль встал. Он стыдился самого себя и терзался угрызениями совести. Каждый раз, когда он сталкивался с нежностью и слепотой матери, его негодование на отца только возрастало. Некое чувство, которое он не смог бы определить, всегда заставляло его нарочно оскорблять эту слишком всепрощающую любовь... Он бросил папиросу и, смущенно улыбаясь, подошел к матери. Молча склонился он, чтобы поцеловать, как часто это делал, ее лоб у самых корней преждевременно поседевших волос. Его губы сами находили это место, ноздри узнавали теплый запах кожи. Она слегка откинула голову и ладонями сжала его лицо. Она ничего не сказала, но улыбалась ему и смотрела на него глубоким взглядом, и этот взгляд, эта улыбка, в которых не было даже затаенного упрека, казалось, говорили: «Все забыто. Прости, что я понервничала. И не печалься, что огорчил меня». Он так хорошо понял этот немой язык, что дважды опустил веки в знак согласия. И так как она выпрямилась, помог ей встать.

Не говоря ни слова, она взяла его под руку, и они спустились в подвальный этаж.

Он открыл перед нею дверь, и она вошла, но одна.

В лицо ей пахнуло прохладой подземелья, смешанной с запахом роз, увядавших на гробе.

Женни сидела неподвижно, сложив на коленях руки.

Г-жа де Фонтанен снова заняла свое место рядом с дочерью. Из сумки, висевшей на спинке стула, она достала маленьнюю библию и открыла ее наугад. (Во всяком случае она называла это «наугад»: на самом же деле эта старая книга с изношенным корешком всегда открывалась на одном из тех отрывков, которые особенно усердно читались.) Вот что она прочла на этот раз:

Кто рождается чистым от нечистого? Ни один.

Если дни ему определены, и число месяцев его у Тебя, если Ты положил ему предел, которого он не перейдет,

то уклонись от него: пусть он отдохнет, доколе не окончит, как наемник, дня своего.

Она снова подняла глаза, задумалась на несколько мгновений, затем положила книгу между складками своей юбки. Осторож-

ность, с которой она касалась библии, открывала ее и закрывала, сама по себе уже являлась актом благочестия и благодарности.

Теперь она полностью обрела спокойствие.

#### XXXIV

Накануне вечером, после того как Жорес сел в такси и исчез во мраке, Жак присоединился к группе полуночников — партийных работников, которые зачастую очень поздно засиживались в «Кружке пива». В отдельный зал, который кафе на улице Фейдо предоставляло социалистам, вел особый ход со двора, что позволяло держать его открытым даже после того, как всякая торговля прекращалась. Беседа велась там с таким жаром и так затянулась, что он вышел оттуда лишь в три часа утра. Ему было до того лень в столь поздний час отправляться на площадь Мобер, что он подыскал себе приют в третьюразрядной гостинице в районе Биржи и, едва очутившись в постели, погрузился в глубокий сон, которого не смогли потревожить даже утренние шумы этого густонаселенного квартала.

Когда он проснулся, солнце уже ярко светило.

Совершив свой несложный туалет, он вышел на улицу, купил газеты и побежал читать их на террасе одного из кафе на Бульварах.

На этот раз прессы решилась забить тревогу. Процесс г-жи Кайо оказался оттесненным на вторую страницу, и все газеты жирным шрифтом возглашали о серьезном положении, называя австрийскую ноту «ультиматумом», а мероприятия Австрии «наглой провокацией». Даже «Figaro», который уже в течение целой недели посвящал каждый номер стенографическому отчету о процессе г-жи Кайо, сегодня на первой же странице крупными буквами заявлял об «АВСТРИЙСКОЙ УГРОЗЕ», и целый лист был заполнен сообщениями и рассуждениями о напряженности дипломатических отношений под тревожным заголовком: «БУДЕТ ЛИ ВОЙНА?» Полуофициозный «Matin»<sup>1</sup> принимал воинственный тон: «Австро-сербский конфликт обсуждался во время поездки президента республики в Россию. Франко-русский союз не будет застигнут врасплох...» Клемансо<sup>2</sup> писал в «Homme libre»: «Никогда с 1870 года Европа не была так близка к военному столкновению, масштабы которого измерить невозможно». «Echo de Paris»<sup>3</sup> излагал визит фон Шена на Ке д'Орсе: «За австрийскими требованиями последовали германские угрозы» и заканчивал в «Последних известиях» преду-

<sup>1</sup> «Утро» (франц.).

<sup>2</sup> Клемансо, Жорж-Бенжамен (1841—1929) — видный французский политический деятель, реакционер и шовинист. Накануне первой мировой войны был председателем военной комиссии сената и редактором газеты «Homme libre» («Свободный человек»).

<sup>3</sup> «Эхо Парижа» (франц.).

преждением: «Если Сербия не уступит, война может быть объявлена сегодня же вечером». Речь шла, разумеется, только об австро-сербской войне. Но кто мог поручиться, что удастся локализовать пожар?.. Жорес в своей передовице не скрывал, что «последним шансом на мир» было бы унижение Сербии и постыдное согласие на все австрийские требования. Судя по выдержкам прессы, иностранные газеты проявляли не меньший пессимизм. В это утро, 25 июля, за каких-нибудь двенадцать часов до истечения срока ультиматума, поставленного Сербии, вся Европа (согласно предсказанию австрийского генерала, о котором за две недели до того Жак узнал в Вене) внезапно проснулась в совершенной панике.

Оттолкнув газетные листы, которыми забален был столик, Жак выпил простывший кофе. Из этого чтения он не вынес ничего, что ему не было бы известно, но единодушность тревоги придавала всему уже по-новому драматический оттенок. Он сидел без движения, взгляд его блуждал по толпе рабочих, служащих, которые выходили из автобусов и бежали, как всегда, по своим делам; но только лица их были серьезнее, чем обычно, и все они держали в руках развернутые газеты. На мгновение он впал в отчаяние. Одиночество невыносимо тяготило его. У него промелькнула мысль о Женни, о Даниэле, о похоронах, которые должны были состояться сегодня утром.

Он спешно встал и двинулся по направлению к Монмартру. Ему пришло в голову подняться к площади Данкур и зайти в «Libertaire».<sup>1</sup> Он стремился поскорее очутиться в знакомой атмосфере политической борьбы.

Человек десять ждали уже новостей на улице Орсель. Левые газеты переходили из рук в руки. «Волнет гоцде»<sup>2</sup> посвящал всю первую страницу забастовкам в России. Для большинства революционеров размах рабочего движения в Петербурге являлся одной из вернейших гарантий русского нейтралитета и, следовательно, локализации всего конфликта на Балканах. И все в «Libertaire» единодушно критиковали мягкотелость Интернационала и обвиняли вождей в компромиссе с буржуазными правительствами. Разве не наступил подходящий для решительных действий момент — момент, когда можно было любыми средствами вызвать забастовки в других странах и парализовать одновременно все европейские правительства? Исключительно благоприятный случай для массового выступления, которое могло не только ликвидировать нынешнюю опасность, но и на несколько десятилетий приблизить революцию.

Жак прислушивался к спорам, но не решался высказать определенное мнение. С его точки зрения, забастовки в России были обоюдоострым оружием. Конечно, они могли парализовать воинственный пыл генерального штаба, но могли также натолкнуть пра-

<sup>1</sup> «Борец за свободу» (франц.).

<sup>2</sup> «Красный колпак» (франц.).

вительство, находящееся в трудном положении, на мысль применить силу: объявить осадное положение под предлогом военной угрозы и беспощадными мерами подавить народное возмущение.

Когда Жак вернулся на площадь Пигаль, часы показывали ровно одиннадцать... «Что я должен был делать сегодня утром в одиннадцать?» — подумал он. Он забыл. В субботу, в одиннадцать... Охваченный внезапной тревогой, он старался припомнить. Похороны г-на де Фонтанен? Но он вовсе не собирался на них присутствовать... Он шагал, опустив голову, в полном замешательстве. «Я не могу явиться в таком виде... Небритый... Правда, затерявшись в толпе... Я так близко от Монмартрского кладбища... Если я решусь, парикмахер в какие-нибудь пять минут... Зайду пожать руку Даниэлю; это будет простой любезностью... Любезностью, которая ни к чему не обязывает...»

И глаза его уже искали вывеску парикмахерской.

Когда он явился на кладбище, сторож сказал ему, что процесия уже прошла, и указал, куда надо идти.

Вскоре между могилами он увидел группу людей, собравшихся перед часовенкой с надписью:

### СЕМЬЯ ДЕ ФОНТАНЕН

Со спины он узнал Даниэля и Грегори. В тишине раздавался только хриплый голос пастора:

— Господь сказал Моисею: «Я пребуду с тобою». Итак, грешник, даже когда ты идешь долиною теней, не бойся, ибо господь с тобою.

Жак сделал небольшой крюк, чтобы видеть присутствующих в лицо. Над всеми в ярком солнечном свете выделялась голова Даниэля, стоявшего без каски. Рядом с ним находились три женщины, закутанные в черные вуали. Первая была г-жа де Фонтанен. Но которая из двух других Женни?

Волосы у пастора были всклокочены, взгляд исступленный; стоя с угрожающе поднятой рукой, взывал он к желтому деревянному гробу, поклонившемуся в ярком свете солнца на пороге склепа:

— Бедный, бедный грешник! Солнце твое закатилось еще до конца дня. Но мы не оплакиваем тебя так, как те, у кого нет надежды. Ты скрылся из нашего поля зрения, но то, что исчезло для нашего плотского взора, было лишь иллюзорной формой ненавистной плоти. Ныне ты сияешь в славе, призванный ко Христу для несения великой и торжественной службы. И ты явился раньше нас к радостному пришествию... А вы все, братья, здесь присутствующие, укрепите сердца свои терпением. Ибо пришествие Христа столь же близко для каждого из нас... Отче наш, в руки твои предаю души наши. Аминь.

Затем несколько человек подняли гроб, повернули его и стали осторожно спускать на веревках в могилу. Г-жа де Фонтанен, поддерживаемая Даниэлем, склонилась над зияющей ямой. За ней — это, верно, Женни? А дальше — Николь Эке?.. Затем три женщины, которых провожал служащий похоронного бюро, незаметно уселись в траурную карету, которая тотчас же медленно отъехала.

Даниэль стоял один в конце маленькой аллеи, держа под мышкой свою блестящую каску. У него был какой-то почти величественный вид. Стройный, изящный, держащийся очень непринужденно, хотя и немного слишком торжественно, он принимал соболезнования присутствующих, которые медленным потоком проходили мимо него.

Жак наблюдал за ним; и уже от одного того, что смотрел на него вот так, издалека, он ощущал, как в былые времена, некую сладостную и всепроникающую теплоту.

Даниэль узнал его и, продолжая пожимать протянутые руки, время от времени обращал на него взгляд, полный дружеского удивления.

— Благодарю за то, что пришел, — сказал он. И нерешительно добавил: — Я уезжаю сегодня вечером... Мне бы так хотелось повидаться с тобой еще раз.

Глядя на своего друга, Жак думал о войне, передовых частях, о первых жертвах...

— Ты читал газеты? — спросил он.

Даниэль взглянул на него, не вполне понимая, что он хочет сказать.

— Газеты? Нет, а в чем дело? — Затем голосом, который старался быть не слишком настойчивым, прибавил: — Ты придешь попрощаться со мной вечером на Восточный вокзал?

— В котором часу?

Лицо Даниэля засветилось.

— Поезд отходит в девять тридцать... Хочешь, я буду ждать тебя в девять часов в буфете?

— Ладно, я приду.

Прежде чем распрошаться, они еще раз посмотрели друг на друга.

— Благодарю, — прошептал Даниэль.

Жак ушел, не оборачиваясь.

#### XXXV

Несколько раз в течение этого утра Жак спрашивал себя, как реагирует Антуан на ухудшение политической обстановки. Сам не отдавая себе в этом отчета, он надеялся встретить брата на похоронах.

Он решил поскорее позавтракать и отправиться на Университетскую улицу.

— Господин Антуан еще кушают, — сказал Леон, ведя Жака в столовую. — Но я уже подал фрукты.

Жак с досадой увидел, что вместе с его братом за столом сидят Исаак Штудлер, Жуслен и молодой Руа. Он не знал, что они завтракают тут каждый день. (Так захотел Антуан: для него это был верный способ общаться со своими сотрудниками ежедневно между утренними часами в больнице и послеполуденными, когда он был занят с пациентами; им же — все трое были холостяки — это сберегало и время и деньги.)

— Будешь завтракать? — спросил Антуан.

— Благодарю, я уже завтракал.

Он обошел кругом большой стол, пожал протянутые руки и сказал, ни к кому прямо не обращаясь:

— Газеты читали?

Антуан, прежде чем ответить, несколько мгновений смотрел на брата, и взгляд его, казалось, признавал: «Может быть, ты был прав».

— Да, — задумчиво молвил он. — Мы все читали газеты.

— Пока мы завтракали, ни о чем другом и разговора не было, — признался Штудлер, поглаживая свою черную бороду.

Антуан следил за собой, чтобы его тревога не слишком проявлялась наружу. Все утро он был в состоянии какого-то глухого раздражения. Он нуждался в том, чтобы вокруг него былолично организованное общество, как нуждался в хорошо содержавшемся доме, где все вопросы материального комфорта разрешали бы как следует и помимо него добросовестные слуги. Он готов был терпеть некоторые пороки существующего строя, закрывать глаза на те или иные парламентские скандалы, так же, как он закрывал глаза на мотовство Леона и мелкие кражи Клотильды. Но ни в коем случае судьбы Франции не должны были заботить его больше, чем работа в людской или на кухне. И ему была невыносима мысль, что какие-то политические потрясения могут нарушить течение его жизни, угрожать его планам и его работе.

— Я не думаю, — сказал он, — чтобы следовало слишком сильно беспокоиться. Еще и не то бывало... Но тем не менее ясно, что сегодня утром вся пресса забряцала оружием довольно неожиданно и довольно неприятно...

В ответ на эти последние слова Манюэль Руа поднял к Антуану свое юное лицо с черными глазами.

— Это бряцание, патрон, услышат по ту сторону границы. И, наверное, оно собьет спесь с некоторых наших соседей, у которых разыгрался аппетит.

Жуслен, склонившись над тарелкой, поднял голову и поглядел на Руа. Затем он снова занялся своим делом: тщательно, кончиком ножа и вилкой, он чистил персик.

— Вот уж это совсем неизвестно, — сказал Штудлер.

— Все же это возможно, — заметил Антуан. — И, может быть, такой тон даже необходим.

— Не знаю, — сказал Штудлер. — Политика устрашения всегда губительна. Она выводит противника из себя гораздо чаще, чем парализует. Я считаю особенно серьезной ошибкой правительства то, что оно позволяет вашему... бряцанию оружием разноситься повсюду.

— Очень трудно ставить себя на место людей, ответственных за судьбы страны, — заявил Антуан благородным тоном.

— Я требую от этих ответственных людей, чтобы они были прежде всего осторожными людьми, — возразил Штудлер. — Принимать агрессивный тон — это первая неосторожность. Внушать всем, что этот тон необходим, — вторая. Самая большая опасность для мира — это допустить, чтобы общественное мнение прочно поверило в неизбежную угрозу войны... Или хотя бы в возможность войны.

Жак молчал.

— Я лично, — снова заговорил Антуан, не глядя на брата, — прекрасно понимаю министра, который, осуждая войну с чисто человеческой точки зрения, в то же время вынужден принять некоторые агрессивные меры. Вынужден хотя бы потому, что он находится у власти. Человек, стоящий во главе страны и обязанnyий следить за ее безопасностью, если он обладает чувством реальности, если угрожающая политика соседних государств для него очевидна...

— Не говоря уже о том, — прервал его Руа, — что не может быть такого государственного человека, который решился бы из-за своей личной чувствительности любой ценой избегать войны. Если ты стоишь во главе страны, имеющей определенный международный вес, страны, обладающей немалой территорией и колониальными владениями, это обязывает тебя реально смотреть на вещи. Самый пацифистски настроенный председатель совета министров, раз он находится у власти, должен сразу же понять, что государство не может сохранять свои богатства и защищать свое достояние от посягательств со стороны соседей, если оно не обладает мощной армией, с которой надо считаться и которая должна время от времени бряцать оружием хотя бы для того, чтобы весь остальной мир знал о ее существовании.

«Охранять свои богатства! — думал Жак. — Вот оно. Охранять то, чем владеешь, и присваивать при случае то, чем владеют другие. В этом вся политика капитализма, идет ли речь о частных лицах или о нациях... Частные лица ведут борьбу за прибыли, нации — за выходы к морю, территории, порты. Как будто единственный закон человеческой деятельности — конкуренция...»

— К сожалению, — сказал Штудлер, — какой бы оборот ни приняли события завтра, ваше бряцание оружием рискует иметь самые печальные последствия для французской политики, как внешней, так и внутренней...

Говоря это, он сделал движение в сторону Жака, словно спрашивая его мнения. В зрачках его был какой-то томный, волнующий блеск, который почти заставлял собеседника отворачивать глаза.

Жуслен снова поднял голову и взглянул на Штудлера; затем взгляд его скользнул по лицам всех прочих. У него было лицо блондина, тонкое и нежное: орлиный нос, довольно длинный и какой-то печальный; большой и узкий рот, легко расплывавшийся в улыбку; большие глаза, странные, нежно-серого оттенка.

— Послушайте, — рассеянно пробормотал он, — вы все как-то забываете, что никто ведь не хочет войны! Никто!

— Вы в этом уверены? — спросил Штудлер.

— Разве что несколько стариков, — согласился Антуан.

— Да, несколько опасных стариков, упивающихся красивыми героическими фразами, — продолжал Штудлер, — и отлично знающих, что в случае войны они, сидя в тылу, смогут упиваться ими без малейшего риска...

— Опасность, — вставил Жак с осторожностью, которую хорошо заметил Антуан, — заключается в том, что почти всюду в Европе командные посты заняты такими вот стариками...

Руа со смехом взглянул на Штудлера:

— Вы, Халиф, вы, не боящийся новых идей, могли бы подать этакую профилактическую идею: в случае мобилизации призываются в первую очередь самые старые возрасты. Всех стариков — на передовую линию!

— Что ж, это было бы не так глупо! — пробормотал Штудлер.

Наступило молчание, пока Леон подавал кофе.

— А ведь есть одно средство, единственное, которое даст возможность почти наверняка избежать каких бы то ни было войн, — мрачно заявил Штудлер. — Средство радикальное и вполне осуществимое в Европе.

— Ну?

— Требовать народного референдума.

Один лишь Жак кивком головы одобрил это предложение. Штудлер, ободренный, продолжал:

— Разве это не нелепо, разве это не бессмысленно, — что у нас, при демократическом строе и всеобщем избирательном праве, право объявления войны принадлежит правительствам? Жуслен сказал: «Никто не хочет войны». Так вот, ни одно правительство ни в одной стране не должно было бы иметь право решать вопрос о войне или хотя бы о том, чтобы принять навязываемую ему войну, если на то нет ясно выраженной воли большинства граждан! Когда речь идет о жизни и смерти народов, обращаться к народному волеизъявлению по меньшей мере законно. А должно быть даже обязательно.

Когда он начинал говорить с воодушевлением, ноздри его крючковатого носа раздувались, скулы покрывались пятнами, а белки больших, как у лошади, глаз слегка наливались кровью.

— В этом нет ничего неосуществимого, — продолжал он. — Достаточно было бы каждому народу заставить своих правителей прибавить три строчки в конституции: «Приказ о мобилизации

может быть издан, война может быть объявлена лишь после пленарного заседания и при условии, если за это выскажется семьдесят пять процентов населения». Поразмыслите над этим. Это единственное и почти безошибочное средство законодательным путем помешать возникновению новых войн... В мирное время, — мы это наблюдаем во Франции, — иногда еще можно сколотить большинство, которое выбирает в правительство какого-нибудь человека, ведущего вызывающую политику: всегда находятся неосторожные любители игры с огнем. Но накануне мобилизации такому человеку, если бы он вынужден был запрашивать волю тех, кто поставил его у власти, пришлось бы убедиться, что никто не согласен предоставить ему право объявления войны.

Руа ничего не говорил и только посмеивался.

Антуан встал и дотронулся до его плеча:

— Дайте-ка мне спичку, милый мой Манюэль... Ну, а вы что на этот счет скажете? И что сказала бы на это ваша газета?

Руа поднял на Антуана свой взгляд примерного ученика; он продолжал смеяться с немногого вызывающим видом.

— Манюэль, — объяснил Антуан, повернувшись к брату, — верный читатель «Action française».

— Я тоже читаю ее каждый день, — заявил Жак, внимательно оглядывая молодого врача, который со своей стороны в упор смотрел на него. — Там сотрудничает целая бригада неплохих диалектиков, которые довольно часто строят просто непогрешимые расуждения. К сожалению, — на мной взгляд по крайней мере, — они почти всегда строят их на неверных предпосылках.

— Вы полагаете? — протянул Руа.

Он не переставал улыбаться самоуверенно и заносчиво. Казалось, он не намерен был снисходить до обсуждения с профанами тех вещей, которые были ему дороги. Он напоминал ребенка, желающего сохранить тайну. Тем не менее в глазах его пробегал порою какой-то дерзкий огонек. И, словно высказанное Жаком мнение заставило его решиться против воли покончить со своейдержанностью, он сделал шаг по направлению к Антуану и резко бросил:

— Ну, а я, патрон, должен вам признаться, что мне надоела франко-германская проблема. Вот уже сорок лет, как мы тащим за собой это ядро,<sup>1</sup> — наши отцы и мы сами. Довольно! Если для того, чтобы с этим разделаться, нужно воевать, — что ж, будем воевать! Раз уж все равно иначе нельзя, — зачем ждать? Зачем оттягивать неизбежное?

— Все-таки лучше будем оттягивать, — улыбаясь, сказал Антуан. — Война, которая бесконечно оттягивается, очень похожа на мир.

— А я предпочел бы покончить с этим раз и навсегда. Ибо во всяком случае одно можно сказать с уверенностью: после

<sup>1</sup> На французской катарге к ноге осужденного приковывали короткой цепью ядро.

войны — победим ли мы, что весьма вероятно, или даже в случае нашего поражения — вопрос будет окончательно разрешен в ту или иную сторону. И не останется больше никакой франко-германской проблемы! Не говоря уже о том, — прибавил он, и лицо его приняло серьезное выражение, — какую пользу принесет нам кровопускание при нынешнем положении. Сорок лет гнилого мира не могут поднять моральное состояние страны. Если духовное оздоровление Франции возможно лишь ценою войны, среди нас, слава богу, есть такие, которые, не торгуясь, пожертвуют своей шкурой!

В тоне, которым он произнес эти слова, не было и следа бахвальства. Искренность Руа была очевидна. Это почувствовали все присутствующие. Перед ними был человек убежденный, готовый отдать жизнь за то, что казалось ему истиной.

Антуан слушал его стоя, с папиросой в зубах и сощурив глаза. Не отвечая, он окинул юношу серьезным и сердечным, немного меланхоличным взглядом: смелость ему всегда нравилась. Затем в течение нескольких секунд он пристально разглядывал горящий кончик своей папиросы.

Жуслен подошел к Штудлеру. Указательным пальцем с желтым, изъеденным кислотами ногтем он несколько раз ткнул Халифа в грудь.

— Вот видите — всегда приходится возвращаться к классификации Минковского:<sup>1</sup> синтоны и шизоиды, — те, которые принимают жизнь, и те, которые ее отвергают...

Руа весело расхохотался:

— Так, значит, я синтон?

— Да, а Халиф — шизоид. Вы никогда не изменитесь — ни tot, ни другой.

Антуан повернулся к Жаку и с улыбкой посмотрел на часы:

— Ты не торопишься, шизоид? Зайдем-ка на минутку в мою лачугу...

— Я очень люблю маленького Руа, — сказал он, открывая дверь своего кабинета и пропуская брата вперед. — Это здоровая и благородная натура. Он такой прямодушный... Хотя, правду сказать, ограниченный, — прибавил он, заметив, что Жак неодобрительно молчит. — Ну, садись. Хочешь папиросу?.. Я уверен, он тебя немного рассердил? Надо его знать и понимать. У него темперамент спортсмена. Он любит утверждать. Он всегда радостно и даже как-то бойко принимает реальность, факты. Он не позволяет себе предаваться разрушающему анализу, хотя весьма способен критически мыслить — по крайней мере когда дело касается работы. Но он инстинктивно отвергает парализующее сомнение. Может быть, он и прав... С его точки зрения жизнь не должна сводиться к интеллектуальным дискуссиям. Он никогда не говорит: «Что

<sup>1</sup> Минковский, Оскар (1858—1931) — немецкий врач.

надо думать?» Он говорит: «Что надо делать? Как надо действовать?» Я отлично вижу его недостатки, но это большей частью ошибки молодости. Это пройдет. Ты заметил, какой у него голос? Иногда он ломается, как у подростка; тогда он нарочно понижает его, чтобы говорить, как взрослые...

Жак сел. Он слушал, не высказывая одобрения.

— Мне больше нравятся двое других, — признался он. — Твой Жуслен мне как-то особенно симпатичен.

— Ах, — смеясь, сказал Антуан, — этот тип вечно живет какими-то сказками. У него темперамент изобретателя. Он провел всю жизнь в мечтаниях о вещах, находящихся на грани возможного и невозможного, в том полуerealном мире, где таким, как у него, умам иногда удается делать открытия. И он их делал, чудак этакий. Даже иногда значительные. Я смогу объяснить тебе подробнее, когда у нас будет время... Руа очень забавно говорит о нем: «Жуслен видит только трехногих телят. В тот день, когда он увидит нормального теленка, ему покажется, что перед ним чудо, и он станет всюду кричать: «Знаете, а ведь, оказывается, существуют и четырехногие телята!» — Он во весь рост вытянулся на диване и скрестил руки на затылке. — Как видишь, я подобрал себе довольно удачную бригаду... Все трое очень разные, но замечательно дополняют друг друга... Ты был уже раньше знаком с Халифом? Он оказывает мне огромные услуги. Это человек совершенно исключительной трудоспособности. И притом необычайно одарен, скотина. Я сказал бы даже, что одаренность — его самая характерная черта. В этом и сила его и вместе с тем ограниченность. Он схватывает все без каких-либо усилий. И каждое новое приобретение тотчас же занимает свое место у него в мозгу, место на заранее приготовленной полочке, так что в его башке никогда не бывает беспорядка. Но я всегда ощущал в нем что-то чуждое, чего нельзя определить... Не знаю, как это назвать... Его идеи словно не целиком исходят от него, словно не составляют с ним одного целого. Это крайне любопытно. Он пользуется своим мозгом не как принадлежащим ему органом, а скорее как инструментом... взятым откуда-то извне или от кого-то полученным...

Продолжая говорить, он посмотрел на часы и лениво спустил ноги с дивана.

«А ведь он читал газеты, — думал про себя Жак. — Неужели ему непонятна вся серьезность положения? Или он говорит все это, чтобы избежать откровенного разговора?»

— Ты сейчас куда? — спросил Антуан, вставая. — Хочешь, я тебя подвезу на машине?.. Мне-то нужно в министерство... на Ке д'Орсе.

— Вот как? — сказал заинтересовавшийся Жак, даже не скрывая удивления.

— Мне надо повидаться с Рюмелем, — с готовностью объяснил Антуан. — О, не для разговоров о политике... Каждые два дня я делаю ему впрыскивание. Обычно он приезжает сюда, но сего-

дня позвонил, что перегружен работой и не сможет уйти из своего кабинета.

— А что он думает о событиях? — прямо спросил Жак.

— Не знаю. Я как раз собираюсь порасспросить его... Заходи сегодня вечером, я тебе расскажу... Или, может быть, поедешь со мной? Это продлится не более десяти минут. Ты подождешь в машине.

Соблазненный этим предложением, Жак подумал одну секунду и кивнул утвердительно головой.

Тем временем Антуан перед уходом запирал ящики письменного стола.

— Знаешь, — пробормотал он, — чем я занимался только что, когда пришел домой? Искал свой воинский билет, чтобы посмотреть, куда являться по мобилизации... — Он уже не улыбался и спокойным тоном добавил: — Комп'ень... В первые же сутки.

Братья молча обменивались взглядами. После минутного колебания Жак серьезно сказал:

— Я уверен, что сегодня утром тысячи людей по всей Европе сделали то же самое.

— Бедняга Рюмель, — продолжал Антуан, когда они спускались по лестнице. — Он очень переутомился за зиму и должен был на днях ехать в отпуск. А теперь — по-видимому, из-за всех этих историй — Бертело<sup>1</sup> попросил его отказаться от каникул. Тогда он явился ко мне, чтобы я помог ему выдержать эту нагрузку. Я начал лечение. Надеюсь, что удастся.

Жак не слушал. Только что он убедился, что сегодня, сам не зная почему, снова ощутил к Антуану братскую любовь, горячую, но в то же время требовательную и неудовлетворенную.

— Ах, Антуан, — вырвалось у него, — если бы ты лучше знал людей, массы, трудовой народ, насколько ты был бы... другим! (И в тоне его слышалось: «Насколько ты был бы лучше!.. И ближе ко мне!.. Как хорошо было бы любить тебя по-настоящему!»)

Антуан, шагавший впереди него, обернулся с обиженным видом:

— А ты думаешь, я их не знаю? После пятнадцатилетней работы в больнице? Ты забываешь, что вот уже пятнадцать лет каждое утро я только и делаю, что общаясь с людьми... Людьми из всех слоев общества — заводскими рабочими, населением предместий... И я, врач, вижу людей, каковы они есть: людей, с которых страдание сбросило все маски. И ты воображаешь, что мой опыт не стоит твоего!

«Нет, — подумал Жак с упрямым раздражением. — Нет, это не одно и то же».

Минут через двадцать Антуан, выйдя из министерства с озабоченным лицом, вернулся к машине, в которой его дожидался Жак.

<sup>1</sup> Бертельо, Филипп (1866—1934) — французский дипломат, в 1914 г. директор политического отдела министерства иностранных дел.

— Там у них точно пожар, — пробурчал он. — Люди как ошалевые мечутся из отдела в отдел... Из всех посольств поступают телеграммы... Они с беспокойством ждут ответа на ультиматум; Сербия должна передать его сегодня вечером... — И, не отвечая на немой вопрос брата, он спросил его: — Куда тебе надо?

Жак едва не сказал: «В «Нима». Но ограничился ответом:

— В район Биржи.

— Туда я не смогу тебя завезти: опоздаю. Но если хочешь, доедем вместе до площади Оперы.

Усевшись в машине, Антуан снова заговорил:

— У Рюмеля очень озабоченный вид... Сегодня утром в министерском кабинете придавали большое значение одной официозной ноте германского посольства, в которой заявлялось, что австрийская нота не ультиматум, а только «требование ответа в кратчайший срок». Говорят, на дипломатическом жаргоне это означает очень многое: с одной стороны, что Германия стремится немного смягчить серьезность предпринятых Австрией шагов, с другой — что Австрия не отказывается от переговоров с Сербией...

— Значит, дошло уже до этого? — сказал Жак. — До того, что люди цепляются за подобные словесные тонкости?

— Затем, поскольку Сербия, казалось, готова была капитулировать почти без всяких оговорок, сегодня утром там вообще надеялись.

— Но?.. — нетерпеливо спросил Жак.

— Но только что пришло известие, что Сербия мобилизует триста тысяч человек и что сербское правительство, боясь оставаться в Белграде, находящемся слишком близко от границы, сегодня вечером намеревается покинуть столицу и переехать в центральные районы страны. Из чего заключают, что сербский ответ вовсе не будет капитуляцией, как на это надеялись, и что Сербия имеет основания предвидеть вооруженное нападение...

— А Франция? Собирается она действовать как-либо, что-нибудь предпринять?

— Рюмель, естественно, всего сказать не может. Но насколько я его понял, в настоящий момент мнение членов правительства таково, что следует проявить твердость и в случае необходимости открыто проводить подготовку к войне.

— Опять политика устрашения.

— Рюмель говорит, — и ясно, что именно таковы указания, данные на сегодня: «При создавшемся положении вещей Франция и Россия смогут рассчитывать на то, чтобы удержать центральные державы от выступления, лишь показав, что они решились на все». Он говорит: «Если хоть один из нас отступит — война неизбежна».

— И у них всех, разумеется, есть при этом задняя мысль: «Если, несмотря на нашу угрожающую позицию, война все же разразится, наши приготовления дадут нам преимущество».

— Конечно. И, по-моему, это вполне правильно.

— Но, — воскликнул Жак, — центральные державы, конечно, рассуждают точно так же! Куда же мы в таком случае идем?.. Штудлер прав: опаснее всего эта агрессивная политика.

— Надо полагаться на специалистов этого дела, — нервно отрезал Антуан. — Они, наверное, лучше нас знают, как поступать.

Жак пожал плечами и замолчал.

Машина приближалась к Опере.

— Когда мы с тобой увидимся? — спросил Антуан. — Ты остаешься в Париже?

Жак сделал неопределенный жест.

— Не знаю еще...

Он уже отворял дверцу. Антуан тронул его за рукав.

— Послушай... — Он колебался, ища слов. — Ты знаешь или, может быть, не знаешь, что теперь каждые две недели в воскресенье днем я принимаю у себя друзей... Завтра в три часа приедет Рюмель, чтобы я сделал ему укол, и он обещал мне хоть ненадолго задержаться. Если тебе интересно повидаться с ним, приходи. Принимая во внимание обстоятельства, с ним, пожалуй, имеет смысл побеседовать.

— Завтра в три? — неопределенно протянул Жак. — Может быть... Постараюсь... Спасибо.

### XXXVI

В «Humanité» было известно не больше того, что Жак узнал от Антуана и Рюмеля.

Жорес уехал на сутки в департамент Рона, чтобы поддержать предвыборную агитацию своего друга Мариуса Муте. Хотя из-за отсутствия патрона в столь серьезное время редакторы были несколько растеряны, среди них господствовало скорее оптимистическое настроение. Ответа на ультиматум ждали без особого беспокойства. Говорили с уверенностью, что Сербия под давлением великих держав проявит гговорчивость настолько, чтобы у Австрии больше не было предлога изображать себя оскорбленной. Особенно большую цену придавали тем заверениям, которые германская социал-демократическая партия все время давала французским социалистам; казалось, согласие пред лицом общей опасности было действительно полным. К тому же, все время поступали самые успокоительные сведения о распространившемся везде международном пацифистском движении. Повсюду становились все более и более серьезными выступления, направленные против войны. Различные социалистические партии Европы обменивались мнениями насчет согласованных и энергичных действий; идея превентивной всеобщей забастовки вырисовывалась все отчетливей.

Выходя из кабинета Стефани, Жак столкнулся с Мурланом, который явился за новостями. Поговорив немного о событиях, старый революционер увлек Жака в какой-то угол.

— Где ты живешь, мальчуган? Знаешь, в настоящий момент полиция усиленно обыскивает меблированные комнаты... У Жерве уже были неприятности. И у Краболя тоже.

Жаку было известно, что его хозяин на набережной Турнель находился под подозрением; и хотя документы у него были в порядке, ему вовсе не улыбалось иметь дело с полицией.

— Поверь мне, — посоветовал Мурлан, — не откладывай. Переезжай сегодня же вечером.

— Сегодня вечером?

Что ж, это было возможно. Только что пробило половина восьмого, а свидание с Даниэлем назначено было на девять. Но куда переехать?

Мурлана осенила одна мысль. Один товарищ из «Etandard», коммивояжер, собирался на неделю уехать. Его комната, снятая на год, находилась на верхнем этаже дома на улице Жур, в районе Центрального рынка, против портала церкви св. Евстахия, старого тихого дома, который вряд ли мог быть включен в списки подозрительных.

— Пойдем туда, — сказал Мурлан. — Это в двух шагах.

Товарищ был дома. Вопрос разрешили тотчас же. И менее чем через час Жак переправил в новое помещение свой нехитрый багаж.

Часы показывали девять с минутами, когда он прибыл к Восточному вокзалу.

Даниэль ждал его снаружи, перед входом в буфет. Завидев Жака, он подошел к нему с немного смущенным видом.

— Со мной Женни, — сразу же сказал он.

Жак покраснел. Его губы раскрылись, и он едва слышно воскликнул: «А!» В одну секунду на ум ему пришло сразу несколько противоречивых планов. Он отвернулся, чтобы скрыть свое смятение.

Даниэль решил, что глаза Жака ищут девушку.

— Она на платформе, — объяснил он. Затем, словно извиняясь, прибавил: — Она пожелала проводить меня на поезд... Неудобно было сообщать ей, что мы сговорились встретиться; она не решилась бы поехать. Я предупредил ее только сейчас.

Жак справился со своим волнением.

— Я не буду вам мешать, — быстро сказал он. — Я ведь хотел только пожать тебе руку... — Он улыбнулся. — Это сделано. Я ухожу.

— Ну нет! — воскликнул Даниэль. — Мне нужно столько сказать тебе... — И тотчас же прибавил: — Я прочел газеты...

Жак поднял глаза, но ничего не ответил.

— А ты, — спросил Даниэль, — если будет война, как ты поступишь?

— Я? (Жак покачал головой, словно хотел сказать: «Это было бы слишком долго объяснять».) — Несколько секунд он молчал. —

Войны не будет, — заявил он, вкладывая в эти слова всю силу своей надежды.

Даниэль внимательно смотрел ему в лицо.

— Я не могу посвятить тебя во все, что подготавляется, — продолжал Жак. — Но поверь мне, я знаю, что говорю. Все народные массы Европы так возбуждены, силы социализма так объединились, что ни одно правительство не будет настолько уверено в своей власти, чтобы заставить свой народ боевать.

— Да? — прошептал Даниэль с явным недоверием.

Жак на секунду опустил глаза. Мысленным взором окинул он все положение, и перед ним предстали с какой-то схематической четкостью оба течения, которые во всех странах разделяли социалистов: левое, непримиримое в своей вражде к буржуазным правительствам, все более и более старающееся воздействовать на массы в целях подготовки восстания; и правое, реформистское, верящее в бюрократическую машину и старающееся сотрудничать с правительствами... Внезапно он испугался: его коснулось сомнение. Но в тот же момент он поднял глаза и с уверенностью, которая, несмотря ни на что, поколебала Даниэля, повторил:

— Да... Ты, кажется, и понятия не имеешь о том, насколько силен в настоящее время Интернационал трудящихся. Все предусмотрено. Все подготовлено для упорного сопротивления. Побьяду — во Франции, в Германии, в Бельгии, в Италии... Малейшая попытка связать войну будет сигналом к всеобщему восстанию.

— Может быть, это будет еще ужаснее войны, — робко заметил Даниэль.

Лицо Жака помрачнело.

— Я никогда не был сторонником насилия, — признался он после некоторой паузы. — Но все же, как можно колебаться в выборе между европейской войной и восстанием против нее?.. Если бы нужно было, чтобы несколько тысяч человек умерли на баррикадах и таким образом воспрепятствовали бессмысленному избиению миллионов, в Европе нашлось бы достаточно социалистов, которые колебались бы не более чем я...

«Что делает Женни? — думал он про себя. — Если ее брат задержится, она придет сюда...»

— Жак! — внезапно воскликнул Даниэль. — Обещай мне... — Он замолчал, не решаясь сформулировать свою мысль. — Я боюсь за тебя, — пролепетал он.

«Его положение во сто раз опаснее моего, и ни одну секунду он о себе не беспокоится», — подумал Жак, растроганный до глубины души. И он попытался улыбнуться:

— Повторяю тебе: войны не будет... Но на этот раз положение действительно тревожное, и я надеюсь, что народы поймут сделанное им предостережение... Ну, как-нибудь мы еще поговорим об этом... А теперь я ухожу... До свиданья.

— Нет! Не уходи так скоро. В чем дело?

— Да... тебя же ждут, — с усилием пробормотал Жак, и движением руки он указал на внутренние помещения вокзала.

— Ну, проводи меня до вагона хотя бы, — грустно сказал Даниэль. — Ты поздоровашься с Женни.

Жак вздрогнул. Захваченный врасплох, он бессмысленно смотрел на приятеля.

— Да идем же, — промолвил Даниэль, дружески беря его под руку. Из-за обшлага он вынул билетик. — Я взял для тебя перронный.

«Напрасно я иду на платформу, — думал Жак. — Какое идиотство!.. Надо отказаться, убежать...» И тем не менее некий темный инстинкт заставлял его идти вслед за другом.

Зал для ожидающих был полон солдат, пассажиров, тележек с багажом. Был субботний вечер, и для многих — начало каникул. Радостная и шумная толпа теснилась у касс. Даниэль и Жак подошли к решетке перрона. Под огромной стеклянной крышей воздух, более темный, дымился и гудел. Люди торопливо сновали туда и сюда среди оглушительного шума.

— При Женни — ни слова о войне! — крикнул Даниэль прямо в ухо Жаку.

Девушка увидела обоих издали и тотчас же поспешила отвернуться, делая вид, что не замечает их. С пересохшим горлом, напрягая мускулы шеи, ощущала она их приближение. Наконец брат дотронулся до ее плеча. У нее хватило сил резко повернуться на каблуках и изобразить удивление. Даниэля поразила ее бледность. Усталость, волнение от предстоящей разлуки? А может быть, она только показалась ему бледной по контрасту с траурной одеждой?..

Не глядя на Жака, она кивнула ему головой. Но перед братом не решилась не протянуть руки. И дрожащим голосом сказала:

— Я вас оставлю вдвоем.

— Нет, ни в коем случае, — быстро произнес Жак. — Это я... Впрочем, мне больше нельзя задерживаться... Мне нужно быть к десяти часам... далеко... на левом берегу Сены...

Рядом с ними из-под вагона с резким свистом вырвалась струя пара, оглушив их и окутав облаком пресного дыма.

— Ну ладно, до свиданья, старина, — сказал Жак, тронув Даниэля за рукав.

Даниэль пошевелил губами. Ответил ли он? Полуулыбка, полуgrimаса искривила уголок его рта; глаза под каской ярко блестели; во взгляде было отчаяние. Он сжимал руку Жака в своих руках. Затем, внезапно наклонившись, неловко обнял друга и поцеловал его. Это было в первый раз за всю их жизнь.

— До свиданья, — повторил Жак. Плохо отдавая себе отчет в своих действиях, он высвободился из объятий Даниэля, окинул Женни прощальным взглядом, склонил голову, грустно улыбнулся Даниэлю и исчез.

Но когда он вышел из вокзала, какая-то тайная сила удержала его на краю тротуара.

В сумеречном полусвете простиравлась перед ним площадь, усеянная электрическими фонарями, полная автомобилей и экипажей: демаркационная зона между двумя мирами. По ту сторону была его жизнь борца, готовая снова завладеть им, было также его одиночество. Пока он был на этой стороне, у вокзала, оставалась возможность всяких иных вещей. Чего? Он не знал, не хотел уточнять. Ему казалось только, что перейти через эту площадь значило бы отвергнуть некий дар судьбы, навсегда отказаться от чудесной возможности.

Ноги его отказывались двигаться; он трусливо стоял на месте и старался только отдалить решение. Вдоль стены выстроено было несколько пустых багажных тележек. Он выбрал одну из них и сел. Чтобы обдумать положение? Нет. На это он — слишком апатичный и вместе с тем встревоженный — был неспособен. Согнув спину, свесив руки между коленями, сдвинув шляпу на затылок, он тяжело дышал и ни о чем не думал.

Несомненно, не вмешайся пустячная случайность, он пришел бы в себя и, подчиняясь снова лихорадочному ритму своей жизни, помчался бы в «Humanité», чтобы узнать содержание сербского ответа. Тогда целый мир возможностей навсегда закрылся бы перед ним... Но вмешался случай: одному из грузчиков понадобились тележки. Жак встал, посмотрел на часы и как-то странно улыбнулся.

Почти сожалея об этом и словно повинуясь случайному импульсу, он не торопясь вошел в здание вокзала, взял перронный билет, прошел через зал для пассажиров и снова очутился перед платформой.

### XXXVII

Страсбургский экспресс еще не отошел. В хвосте его неподвижно горели три фонаря багажного вагона. Затерянных в толпе Даниэля и Женни нигде не было видно. Девять двадцать восемь. Девять тридцать. Муравейник на платформе заволновался. Захлопали дверцы вагонов. Засвистел паровоз, в тусклом свете дуговых фонарей к стеклянной крыше поднимались клубы дыма. Вся цепь освещенных вагонов дрогнула. Послышался какой-то лязг, глухие толчки. Жак, стоя на месте, пристально смотрел на багажный вагон, который еще не шевелился; наконец и он двинулся. Удаляясь, три красных огня обнажили рельсы. И поезд, увозивший Даниэля, скрылся во мраке.

«Ну что же?» — сказал себе Жак, искренне полагая, что он еще колеблется.

Он дошел до начала платформы. Смотрел на приближавшуюся к нему толпу, которая после отхода поезда устремилась к выходу. Проплывая под электрическими фонарями, лица на мгновение оживали, затем снова терялись в полумраке.

Женни...

Когда он узнал ее издали, им овладело сперва желание убежать, скрыться. Но стыд все же не победил. И Жак, наоборот, подошел ближе, чтобы очутиться у нее на дороге.

Она шла прямо на него. Ее лицо еще сохраняло то выражение, которое было на нем в момент расставания. Она шагала быстро, ни на что не глядя.

Внезапно, на расстоянии двух метров, она заметила Жака. Он увидел, как неожиданное волнение исказило ее черты и в расшившихся зрачках блеснул ужас, совсем как в тот вечер у Антуана.

Сперва ей не пришло в голову, что у него хватило смелости дожидаться: она подумала, что он задержался здесь случайно. Единственной мыслью ее было отвернуться, избежать встречи. Но, уносимая общим течением, она вынуждена была пройти мимо него. Она почувствовала на себе его пристальный взгляд и поняла, что он стал на этом месте для того, чтобы ее увидеть. Когда она подошла совсем близко, он машинально приподнял шляпу. Она не ответила на поклон и, опустив голову, немного спотыкаясь, скользя между теми, кто шел впереди, устремилась прямо к выходу. Она едва удерживалась, чтобы не побежать. У нее была только одна цель: очутиться как можно скорее вне пределов досягаемости, раствориться в толпе, добежать до метро, спрятаться в вагоне.

Жак обернулся и следил за ней глазами, но продолжал стоять, словно прикованный к месту. «Ну что же?» — снова сказал он себе. Надо было что-нибудь предпринять. Наступила решительная минута... «Прежде всего — не терять ее из виду». И он бросился по ее следу.

Пассажиры, носильщики, тележки загораживали ему путь. Он должен был обойти целое семейство, расположившееся на своем багаже, споткнулся о велосипедное колесо. Когда он стал искать глазами Женни, она уже исчезла. Он бежал, делая зигзаги. Поднимался на цыпочки и исступленным взглядом шарил в этой суете локе движущихся спин. Наконец каким-то чудом среди стада, торопливо устремлявшегося к выходу, узнал черную вуаль, узкие плечи... Только бы не потерять ее!.. Удерживать взглядом, как на конце гарпиона.

Но она все более удалялась. Он топтался на месте, застряв в толпе, и видел, как она вышла за решетку, пересекла зал для пассажиров и повернула направо, в сторону метро. Вне себя от нетерпения, он пустил в ход локти, растолкал каких-то людей, достиг решетки и стал спускаться по лестнице подземного хода. Где же она? Внезапно он увидел ее почти в самом низу. Прыгая через ступени, он сразу же покрыл расстояние, отделявшее его от Женни.

«Ну что же?» — снова задал он себе все тот же вопрос. Он был совсем близко от нее. Подойти? Он сделал еще один шаг и очутился как раз за ее спиной. И тогда прерывающимся голосом произнес ее имя:

— Женни...

Она уже считала себя спасенной. Этот призыв, резкий, как удар в спину, заставил ее зашататься.

Он повторил:

— Женни...

Она сделала вид, что не слышит, и помчалась как стрела. Страх пришпоривал ее. Но сердце так отяжелело, что, казалось, уподобилось тем непереносимым тяжестям, которые тащишь за собой во сне и которые не дают бежать...

В конце галереи перед нею открылась почти пустая лестница вниз. Она бросилась к ней, не заботясь о направлении. Вдоль лестницы шли перила, наполовину уменьшая ширину ступеней. Внизу она заметила дверцу, выходившую на платформу, и железнодорожника, который пробивал билеты. Она стала лихорадочно рыться в сумочке. Жак уловил этот жест. У нее были талоны, у него — нет. Без билета его не пропустят через турникет; если она добежит до дверцы, ему уже ее не догнать. Не колеблясь, он рванулся вперед, настиг ее, обогнал и, повернувшись, резко загородил ей путь.

Она поняла, что попалась. Ноги ее подкосились. Но она смело подняла голову и взглянула ему прямо в лицо.

Он стоял, преграждая ей путь и не снимая шляпы, с красным и опухшим лицом, дерзким и пристальным взглядом: у него был вид преступника или сумасшедшего...

— Мне надо с вами поговорить.

— Нет!

— Да!

Она смотрела на него, ничем не выдавая своего страха; в ее мутных, расширенных зрачках были только ярость и презрение.

— Убирайтесь! — задыхаясь, крикнула она низким, хриплым голосом.

Несколько секунд они стояли неподвижно лицом к лицу, опьянянные неистовством своих чувств, скрещивая полные ненависти взгляды.

Но они загораживали этот узкий проход: торопящиеся пассажиры ворча протискивались между ними и затем, занятившие, оборачивались. Женни заметила это. И тотчас же она потеряла всякую способность к сопротивлению. Лучше уступить, чем продолжать этот скандал... Жак оказался сильнее; она не станет избегать объяснения. Но только не здесь, на глазах у любопытных.

Она резко повернулась и пошла обратно, быстро поднимаясь вверх по ступенькам.

Он следовал за нею.

Вдруг они очтились вне вокзала.

«Если она остановит такси или прыгнет в трамвай, я вскочу вслед за нею», — сказал себе Жак.

Площадь была ярко освещена. Женни стала смело пробираться между автомобилями. Он тоже. Он едва не угодил под автобус и услышал ругань шофера. Не отрывая глаз от ускользающего

сили эста девушки, он продолжал пренебрегать опасностью. Никогда еще не ощущал он такой уверенности в себе.

Наконец она достигла тротуара и обернулась. Он был тут же, в нескольких метрах от нее. Теперь ей уже не убежать; она с этим примирилась. Она даже почти радовалась возможности высказать ему все свое презрение, чтобы покончить с этим раз навсегда. Но где? Не в этой же сутолоке...

Она плохо знала этот квартал. Направо поднимался вверх бульвар, кишащий людьми. Тем не менее она, не разбирая, пошла по бульвару.

«Куда она идет?.. — думал Жак. — Какая нелепость...» Чувства его изменились, недобродорое возбуждение, только что владевшее им, уступило место смущению и жалости.

Внезапно она заколебалась. Слева открывалась узкая пустынная улица, затемненная массивом какого-то большого здания. Она решительно бросилась туда.

Что он теперь сделает? Она почувствовала его приближение. Сейчас он заговорит... Слух ее обострился, нервы напряглись до крайности, она была готова ко всему: при первом же его слове сна повернется и изольет весь свой гнев...

— Женни... Простите меня...

Единственное слово, которого она не ждала... Этот взволнованный и смиренный голос... Она едва не потеряла сознание.

Она остановилась, опираясь рукой о стену, и стояла так около минуты с закрытыми глазами, едва дыша.

Он не приближался к ней, стоял с непокрытой головой.

— Если вы потребуете, я уйду... Сейчас же уйду, без единого слова. Обещаю вам...

Она схватывала смысл его слов лишь спустя несколько секунд после того, как он их произносил.

— Хотите, чтобы я ушел? — продолжал он вполголоса.

Она подумала: «Нет!» — и вдруг сама себе удивилась.

Не ожидая ее ответа, он несколько раз тихонько повторил: «Женни...» И в его интонации было столько кротости, сочувствия, робости, что все это казалось равноценным самому нежному признанию.

Она это прекрасно поняла. Сквозь полумрак она украдкой бросила взгляд на его взволнованное и властное лицо. Горло ее скжались от счастья.

Он снова спросил:

— Хотите, чтобы я ушел?

Но интонация была уже другая: теперь в ней сквозила уверенность, что она не прогонит его, не выслушав.

Она слегка пожала плечами, и черты ее инстинктивно приняли выражение презрительной холода: это была единственная маска, способная еще хоть несколько минут охранять ее гордость...

— Женни, позвольте мне поговорить с вами... Это необходимо... Я вас прошу... Потом я уйду... Пойдемте в тот сквер перед церковью... Там по крайней мере вы сможете сесть... Хорошо?

Она почувствовала, как по ней прошёл его настойчивый взгляд, взволновавший ее еще больше, чем его голос. Казалось, Жак во что бы то ни стало решил проникнуть в ее тайны.

У нее не хватило сил для ответа. Но каким-то скованым движением, как бы уступая насилию, она отделилась от стены и, выпрямившись, устремив взгляд прямо перед собой, снова зашагала походкой лунатика.

Он молчаливо и чуть-чуть поодаль шел рядом с нею. По временам от нее исходил свежий, едва уловимый аромат духов, который он вдыхал вместе с теплым ночным воздухом. От волнения и угрызений совести на глазах его выступили слезы.

Только сегодня вечером решился он признаться самому себе, как сильно стали мучить его в глубине души смиренное раскаяние и потребность в любви и прощении, с тех пор как он снова увидел Женни. Сказать ей об этом? Она ведь не поверит. Он сумел показать ей только неистовство и грубость... Ничто никогда не сможет изгладить оскорбление, которое он ей нанес этим непристойным преследованием.

### XXXVIII

Поднявшись по бульвару, они вошли в маленький, расположенный уступами сквер перед церковью Сен-Венсан де Поль. Внизу, на площади Лафайет, в этот поздний час лишь изредка проезжали экипажи. Место было совсем безлюдное, но озаренное ровным светом фонарей, и это делало его совершенно не похожим на место тайных свиданий.

Жак направился к скамейке, которая была освещена лучше всего. Женни послушно последовала за ним и усилась на скамейку с решительным видом, хотя непринужденность эта была напускная, ибо девушка не чувствовала под собою ног. Несмотря на то, что до них все время доносился шум города, она ощущала вокруг себя тягостную предгрозовую тишину: казалось, в воздухе носилось что-то угрожающее, страшное, что-то не зависящее ни от нее, ни даже, может быть, от него, но что должно было внезапно разразиться...

— Женни...

Этот человеческий голос показался ей избавлением. Он был спокойный, этот голос: кроткий, почти ободряющий.

Жак бросил шляпу на скамейку, продолжая стоять на некотором расстоянии. И говорил. Что он говорил?

— Я никогда не мог вас забыть.

Женни чуть не произнесла: «Ложь». Но сдержалась и сидела потупив взгляд.

Он с силою повторил:

— Никогда. — Затем, после паузы, которая показалась ей очень длинной, прибавил, понизив голос: — И вы тоже.

На этот раз она не смогла удержаться от протестующего жеста. Он с грустью продолжал:

— Нет... Вы ненавидели меня, да, это возможно. И я сам себя ненавижу за то, что сделал... Но мы не забыли: втайне мы не переставали защищаться друг от друга.

Она не издала ни звука. Но чтобы он не истолковал ее молчание неправильно, она со всей оставшейся у нее энергией отрицательно затрясла головой.

Внезапно он подошел ближе.

— Вероятно, вы мне никогда не простите. Я на это и не надеюсь. Я только прошу вас, чтобы вы меня поняли. Чтобы вы мне поверили, если я скажу вам, глядя прямо в глаза: когда четыре года назад я уехал, так было нужно! По отношению к самому себе я не мог поступить иначе.

Против воли он вложил в эти слова весь трепет избавления, всю свою жажду свободы.

Она не двигалась, вперив жесткий взгляд в гравий дорожки.

— Что со мной произошло за все эти годы... — начал он, сделав какое-то неопределенное движение. — О, не подумайте, что я стараюсь скрыть что-либо от вас. Нет. Наоборот. Мое самое глубокое желание — иметь возможность рассказать вам все.

— Я вас ни о чем не спрашиваю! — вскричала она, обретя вместе со словами тот резкий тон, который делал ее недоступной.

За этим последовало молчание.

— Как вы далеки от меня сейчас, — вздохнул он. И после новой паузы признался с обезоруживающей простотой: — А в себе я ощущаю такую близость к вам!

Голос его снова обрел ту же теплую, неотразимую интонацию... Внезапно Женни опять охватил страх. Она здесь одна с Жаком, кругом ночь, никого нет... Она сделала легкое движение, чтобы встать, обратиться в бегство.

— Нет, — сказал он, властно протянув руку. — Нет, выслушайте меня. Никогда не осмелился бы я прийти к вам после всего, что сделал. Но вот вы здесь. Рядом со мной. Вот уже неделя, как случай снова столкнул нас лицом к лицу... Ах, если бы вы могли сегодня вечером читать в моей душе! Сейчас для меня так мало значит все это — и мой отъезд, и эти четыре года, и даже... — как ни чудовищно то, что я скажу, — даже вся та боль, которую я мог вам причинить. Да, все это так мало значит по сравнению с тем, что я сейчас ощущаю... Все это для меня ничто, Женни, ничто, раз вы тут и я, наконец, с вами говорю. Вы даже не догадываетесь, что во мне произошло тогда, у брата, когда я снова увидел вас...

«А во мне!» — подумала она невольно. Но в это мгновение она думала о смятении, охватившем ее в последние дни, лишь для того, чтобы осудить свою слабость и отречься от нее.

— Слушайте, — сказал он. — Я не хочу вам лгать, я говорю с вами как с самим собою: еще с неделю тому назад я не решился бы даже себе самому признаться, что в течение этих четырех лет не переставал думать о вас. Может быть, я и сам этого не знал, но теперь знаю. Теперь я понял, какая боль жила во мне все время, всюду: это была глубокая тоска, какая-то рана... Это была разлука с вами, сожаление об утраченном. Я сам себя искалечил, и рана никак не могла зажить. Но теперь свет внезапно блеснул во мне, я сразу ясно увидел, что вы снова заняли прежнее место в моей жизни.

Она плохо слушала. Она словно одурела. Биение крови в артериях отдавалось в ее голове оглушительным шумом. Все вокруг нее стало зыбким, все качалось — деревья, фасады домов. Но когда она на секунду поднимала голову, когда глаза ее встречались с глазами Жака, ей удавалось, не слабея, выдерживать его взгляд. И ее молчание, выражение лица, самый поворот головы, казалось, говорили: «Когда же вы перестанете причинять мне эту боль?»

А он продолжал свою речь в этой звонкой тишине:

— Вы молчите. Я не могу угадать ваших мыслей. Но мне это безразлично. Да, это правда: мне почти безразлично, что вы обо мне думаете! Настолько уверен я, что смогу убедить вас, если вы меня выслушаете! Можно ли отрицать очевидность? Рано или поздно, но вы поймете. Я чувствую, что у меня хватит силы и терпения завоевать вас вновь... В течение детских лет вы были для меня центром вселенной. Я не мог представить себе свое будущее иначе, как в сочетании с вашим, — хотя бы даже против вашей воли. Против вашей воли, как сегодня вечером. Ибо вы всегда были немного суровы со мною, Женни. Мой характер, мое воспитание, резкость моих манер — все во мне вам не нравилось. В течение стольких лет вы противопоставляли всем моим попыткам к сближению какую-то антипатию, которая делала меня еще более угловатым, антипатичным. Ведь правда?

«Правда», — подумала она.

— Но уже тогда ваша антипатия была мне почти что безразлична... Как нынче вечером... Разве могло это что-либо значить по сравнению с тем, что чувствовал я? По сравнению с моим чувством, таким сильным, упорным... и таким естественным, таким главным, что я очень долгое время не умел, не смел назвать его настоящим именем. — Голос его дрожал, прерывался. — Вспомните... В то прекрасное лето... Наше последнее лето в Мезон. Разве вы не поняли в то лето, что мы под властью некоего рока? И что нам от него не уйти?

Каждое пробужденное воспоминание вызывало к жизни другие и повергало ее в такое глубокое смятение, что внезапно она была опять охвачена искушением обратиться в бегство, чтобы больше не слышать его слов. И все же она продолжала слушать, не упуская ни единого звука. Она задыхалась, как и он, и собирала всю свою энергию, чтобы дышать как можно ровнее, чтобы не выдать себя.

— Когда между двумя людьми было то, что было между нами, Женни, — наше влечение друг к другу, это ожидание, эта безгранична надежда, — пускай пройдут четыре года, десять лет — какое это имеет значение? Такие вещи не стираются... Нет, не стираются, — внезапно повторил он. И затем добавил тише, словно признаваясь в чем-то: — Они только растут, вкореняются в нас так, что мы этого даже не замечаем.

Она почувствовала, что в ней задето самое сокровенное, словно он обнажил больное место, скрытую рану, о существовании которой она сама едва знала. Она немного откинула голову и оперлась о скамейку рукой, вытянутой и напряженной, чтобы помочь себе держаться прямо.

— И вы по-прежнему Женни того самого лета. Я это чувствую, и я не ошибаюсь. Та же самая! Одинокая, как тогда! — Он запнулся. — Несчастливая, как тогда... И я тоже такой, каким был. Одинский, столь же одинокий, как и прежде... Ах, Женни, два одиноких существа! И вот уже четыре года каждое из них безнадежно погружается в мрак! Но вот они внезапно обрели друг друга. И теперь они могли бы так хорошо... — На секунду он остановился. Затем с силой продолжал: — Вспомните тот последний день сентября, когда я собрал все свое мужество, чтобы сказать вам, как нынче вечером: «Мне нужно с вами поговорить»! Вы припомнили? Это было поздним утром, мы стояли на берегу Сены, в траве перед нами лежали наши велосипеды... Говорил я, как сейчас. И, как сейчас, вы ничего не отвечали... Но вы все-таки пришли. И слушали меня, как нынче вечером. Я угадывал, что вы готовы согласиться... Глаза у вас были полны слез... И когда я замолчал, мы расстались тотчас же, не в силах даже взглянуть друг на друга... О, как значительно было это молчание! Сколько в нем было грусти! Но то была светлая грусть, озаренная надеждой!

На этот раз она сделала резкое движение и выпрямилась.

— Да, — вскричала она, — а через три недели...

Подавленное рыдание заглушило конец фразы. Но бессознательно она пользовалась своим гневом лишь для того, чтобы хоть как-нибудь скрыть от себя самой охватывающее ее упоение.

Все те остатки страха и неуверенности, которые еще оставались у Жака, внезапно были сметены этим возгласом упрека, в котором он услышал признание. Могучее чувство радости овладело им.

— Ах, Женни, — продолжал он дрожащим голосом, — мне надо объяснить вам и это — мой внезапный отъезд... О, я не хочу выискивать для себя оправданий. Я поддался припадку безумия. Но я был так несчастен! Ученье, жизнь в семье отца!.. И еще другое...

Он думал о Жиз. Можно ли было уже сегодня вечером?.. Ему казалось, что он ощущал движение вдоль края пропасти.

И он тихо повторил:

— И еще другое... Я вам все объясню. Я хочу быть с вами искренним. Совершенно искренним. Это так трудно! Когда говоришь о себе, то, как ни стараешься, а всей правды никогда не ска-

зать... То, что я постоянно обращался в бегство, это мое стремление освободиться, все разбивая вокруг себя, — это страшная вещь, это словно болезнь... А ведь я всю жизнь только и мечтал, что о ясности духа и о покое! Мне всегда представляется, будто я становлюсь добычей других людей, и если бы я вырвался, если бы я мог начать в другом месте, вдали от них, совсем новую жизнь, я бы, наконец, достиг этой ясности духа! Но выслушайте меня, Женни: теперь я уверен, что если на свете есть существо, способное меня излечить, дать мне какую-то прочную основу в жизни... то это — вы!

Во второй раз она повернулась к нему все с той же бурной стремительностью:

— А разве я четыре года назад сумела вас удержать?

У него возникло такое чувство, словно он наткнулся на что-то жесткое, что было в ней, что в ней все еще оставалось. И прежде, даже в те редкие часы, когда между этими столь различными натурой, казалось, начинало устанавливаться взаимное понимание, он постоянно натыкался на эту скрытую жесткость.

— Это правда... Но... — Он колебался. — Разрешите мне осмелиться высказать все, что я думаю: а раньше вы сделали что-нибудь для того, чтобы меня удержать?

«Ах, — внезапно мелькнула у нее мысль, — уж наверно я постаралась бы что-нибудь сделать, если бы знала, что он хочет уйти!»

— Поймите, я вовсе не пытаюсь смягчить свою вину! Нет. Я только хочу... (Его полуулыбка, робкий голос как бы заранее просили прощения за то, что он намеревался сказать.) Чего я от вас добился? Столь малого!.. Время от времени какого-нибудь менее сурового взгляда, менее отчужденной, менее сдержанной манеры обращения, иногда какого-нибудь слова, в котором сквозила тень доверия. Вот и все... Зато сколько недомолвок, столкновений, отказов! Ведь правда? Разве я хоть когда-нибудь видел от вас поощрение, способное пересилить те болезненные порывы, которые толкали меня к неизведанному?

Она была слишком честна, чтобы не признать справедливость этого упрека. Настолько, что в данную минуту ей доставила бы облегчение возможность обвинить самое себя. Но он усился рядом с нею, и она снова приняла замкнутый вид.

— Я вам не сказал еще всей правды...

Он прошептал эти последние слова совсем другим голосом, взволнованно, так серьезно и в то же время так решительно, что она вся затрепетала.

— Как объяснить вам еще одну вещь?.. И все же я не хочу, чтобы сегодня хоть что-нибудь, хоть что-нибудь оставалось скрытым... Тогда в моей жизни было еще другое существо. Нежное, пленительное... Жиз...

Она почувствовала, как острое лезвие вошло в ее сердце. И все же вся непосредственность этого признания, — которого он

мог бы не делать, — так растрогала ее, что она почти забыла свою боль. Он ничего не скрывал от нее, она могла доверять ему вполне. Ею овладела странная радость. Она инстинктивно ощутила, что избавление близко, что наконец-то она сможет отказаться от этой противоестественной борьбы с собою, которая убивала ее.

А он, когда губы его произнесли имя Жиз, должен был подавить в себе какой-то странный порыв, волну той смутной нежности, которая, как он полагал, давно уже улеглась в нем. Это длилось не более секунды: последняя вспышка огня, тлеющего под пеплом, огня, который, быть может, дожидался именно этого вечера, чтобы окончательно погаснуть.

Он продолжал:

— Как объяснить мое чувство к Жиз? Слова все искажают... Влечение, влечение бессознательное, поверхностное, основанное главным образом на воспоминаниях детства... Нет, этого еще мало, я не хочу ни от чего отрекаться, я не должен быть несправедливым к тому, что было... Ее присутствие — вот единственное, что радовало меня в нашем доме. Она — пленительное существо, высами знаете... Горячее сердечко, готовое любить... Она должна была быть мне как бы сестрой. Но, — продолжал он голосом, прерывающимся на каждой новой фразе, — я должен сказать вам правду, Женни: в моем чувстве к ней уже не было ничего... братского. Больше ничего... чистого. — Он помолчал, потом совсем тихо добавил: — Это вас я любил братской любовью, чистой. Это вас я любил как сестру.

В этот вечер подобные воспоминания были так мучительны, что внезапно нервы его не выдержали. Рыдание, которого он не мог ни предвидеть, ни подавить, поднялось к горлу. Он опустил голову и закрыл лицо руками.

Женни внезапно встала с места и отступила на шаг. Это неожиданное проявление слабости неприятно поразило ее, но в то же время взволновало. И в первый раз задала она себе вопрос — не были ли ошибочны обвинения, которые она предъявляла Жаку.

Он не видел, что она встала. Когда же он заметил, что ее уже нет на скамейке, он подумал, что она ускользает от него, что она хочет уйти. И все же он не сделал ни единого движения: согнувшись, он продолжал плакать. Быть может, в этот момент он словно раздвоился и полубессознательно, полуковарно понял всю выгоду, которую мог извлечь из этих слез.

Она не уходила. Растряянная, стояла она на месте. Застывшая в своей горой стыдливости и в то же время трепещущая от нежности и сострадания, она отчаянно боролась сама с собою. Один шаг отделял его от нее, и, наконец, ей удалось сделать этот шаг. Она различала на уровне своих колен его склоненную, сжатую руками голову. И тогда она неловким движением протянула руку, и пальцы ее слегка коснулись его плеча, которое внезапно дрогнуло. Прежде чем она успела отшатнуться, он схватил ее руку и удерживал девушку прямо перед собою. Он тихонько прижался лбом к ее платью. Это прикосновение обожгло ее. Некий внутренний голос,

еле различимый, предупреждал ее в последний раз, что она погружается в опасную пучину, что напрасно она полюбила, напрасно полюбила именно этого человека... Она вся судорожно сжалась, напряглась, но не отступила. Со страхом и восторгом приняла она неизбежное, приняла свой рок. Теперь ее уже ничто не освободит.

Он потянулся к Женни, словно хотел обнять ее, но удовольствовался тем, что схватил ее руки в черных перчатках. И за эти руки, которые она, наконец, согласилась отдать ему, он притянул ее к скамейке и заставил сесть.

— Только вы... Только вы способны дать мне то внутреннее умиротворение, которого я никогда не знал и которое нахожу сегодня вечером подле вас...

«Я тоже, — подумала она, — я тоже...»

— Может быть, кто-нибудь уже говорил вам, что любит вас, — продолжал он глухим голосом, который, однако же (так показалось Женни), был достаточно звучным для того, чтобы дойти до нее, погрузиться в нее, произвести во всем ее существе неясное и сладостное смятение. — Но я уверен в том, что никто не сможет принести вам чувство, подобное моему, такое глубокое, такое давнее и в то же время живущее, несмотря ни на что!

Она не ответила. Волнение обессилило ее... С каждой секундой она ощущала, что он все больше овладевает ею, но зато и принадлежит ей все больше, и тем безраздельнее, чем полнее уступает она его любви.

Он повторил:

— Может быть, вы любили кого-нибудь другого? Я ведь ничего не знаю о вашей жизни.

Тогда она подняла на него светлые глаза, удивленные и такие прозрачные, что в эту минуту он готов был все на свете отдать, только быстереть даже воспоминание о своем вопросе.

Просто, тоном уверенным и простодушным, каким говорят о вполне очевидном явлении физического мира, он заявил:

— Никогда еще никого не любили так, как я люблю вас... — Затем, после небольшой паузы: — Я чувствую, что вся моя прошлая жизнь была лишь ожиданием этого вечера.

Она ответила не сразу. Наконец прерывающимся голосом, грудным, которого он не узнал, она пробормотала:

— Я тоже, Жак.

Она прислонилась к спинке скамьи и не двигалась, слегка откинув голову, устремив широко открытые глаза в ночной мрак. За один час она изменилась больше, чем за десять лет: уверенность в том, что ее любят, создала ей новую душу.

Каждый из них ощущал плечом, рукой живое тепло другого. Странно подавленные, с трепещущими ресницами, с полным смятения сердцем сидели они молча, испуганные своим одиночеством, тишиною, мраком, испуганные своим счастьем, словно счастье это было не победой, а капитуляцией перед какими-то таинственными силами.

Время словно остановилось; но вот внезапно над ними все пространство наполнилось мерным, настойчивым боем часов на церковной колокольне.

Женни сделала усилие, чтобы встать.

— Одиннадцать часов!

— Вы же не покинете меня, Женни!

— Мама, верно, уже беспокоится, — промолвила она в отчаянье.

Он не пытался удержать ее. Он ощущал даже какое-то странное, дотоле не испытанное удовольствие, отказываясь ради нее от того, чего он больше всего желал, — иметь ее подле себя.

Идя рядом, но не обмениваясь ни словом, спустились они по ступенькам к площади Лафайет. Когда они достигли тротуара, свободное такси остановилось перед ними.

— Но, может быть, — сказал он, — вы позволите мне хотя бы проводить вас?

— Нет...

Это было сказано грустным, нежным и в то же время твердым тоном. И внезапно, словно извиняясь, она улыбнулась ему. В первый раз за столько времени он видел ее улыбку.

— Мне нужно побывать хоть немножко одной, прежде чем я увижуся с мамой...

Он подумал: «Ну, не важно», и сам удивился, что эта разлука оказалась для них не такой уж тяжелой.

Она перестала улыбаться. В тонких чертах ее лица можно было даже прочесть выражение тревоги, словно коготь былого страдания еще не был извлечен из этого слишком недавнего счастья.

Робким тоном она предложила:

— Завтра?

— Где?

Она без колебаний ответила:

— У нас дома. Я никуда не выйду. Буду вас ждать.

Он все же слегка удивился. И сейчас же с чувством гордости подумал, что им незачем таиться.

— Да, у вас... завтра...

Она тихонько высвободила свои пальцы, которые он слишком сильно сжимал. Наклонила голову и скрылась в машине, которая тотчас же отъехала.

И внезапно он подумал: «Война...»

Весь мир сразу переменил освещение, температуру. Стоя с опущенными руками, устремив взгляд на автомобиль, уже исчезавший из виду, он одно мгновение боролся против охватившего его смертельного страха. Чтобы завладеть им, тревога, нависшая в этот вечер над всей Европой, ждала, казалось, мгновенья, когда он будет опять один с спустившей душой.

— Нет, не война! — прошептал он, сжимая кулаки. — Но революция!

Ради этой любви, которая должна была наполнить всю его жизнь, ему более чем когда-либо необходим был новый мир, где царили бы справедливость и чистота.

### XXXIX

Жак проснулся внезапно. Жалкая комната... Ошалелый, он моргал глазами в ярком свете дня, ожидая, пока к нему вернется память.

Женни... Сквер перед церковью... Тюильри... Маленькая гостиница для проезжающих за Орсейским вокзалом, где он остановился на рассвете.

Он зевнул и взглянул на часы: «Уже девять!..» Чувствуя себя утомленным, он все же соскочил с кровати, выпил стакан воды, с минуту посмотрел в зеркало на свое усталое лицо, свои блестящие глаза и улыбнулся.

Ночь он провел на открытом воздухе. Около полуночи он, сам не зная как, очутился возле «Humanité». Он даже зашел внутрь, поднялся на несколько ступенек. Но с первой же площадки повернулся обратно. Телеграммы бечерных газет, которые он пробежал глазами под уличным фонарем, после того как уехала Женни, сообщили ему все новости последнего часа. У него не хватило мужества выслушивать политические комментарии товарищей. Прервать отпуск, который он сам себе дал, допустить, чтобы трагизм наступающих событий разрушил ту радостную уверенность, которая в этот вечер делала жизнь столь прекрасной?.. Нет!.. И вот он пошел куда глаза глядят, в этой теплой ночи, и в голове у него был шум, а в душе ликовение. Мысль о том, что в этом огромном ночном Париже никто, кроме Женни, не знал тайны его счастья, приводила его в восторженное исступление. Быть может, сегодня он впервые почувствовал, как с плеч его свалился тяжелый груз одиночества, который он всю жизнь и всюду таскал за собой. Он шел и шел прямо вперед скорым, легким, танцующим шагом, словно лишь в этом ритмическом быстром движении могла излиться вся его радость. Мысль о Женни не покидала его. Он повторял про себя ее слова, и все его существо выбирало, внимая их отзывку; он еще слышал малейшие модуляции ее голоса. Мало было сказать, что все это не покидало его: оно жило в нем; он был поглощен им — настолько, что как бы утратил власть над собою, настолько, что видимость всех вещей, само содержание мира благодаря этому преобразилось, словно одухотворенное... Много времени спустя он добрался до павильона Марсан, в той части Тюильри, которая остается открытой и ночью. Сад, совершенно безлюдный в этот час, манил к себе, как убежище. Он вытянулся на скамейке. От клумб, от бассейнов поднимался свежий запах, который по временам веял ароматным дыханием петуний и герани. Он боялся заснуть, чтобы не перестать упиваться своей радостью. И он

оставался там долго, до первых лучей зари, и лежал, ни о чем определенном не думая, глядя широко открытыми глазами в небо, где звезды мало-помалу бледнели, проникнутый ощущением величия и покоя, столь чистым, столь огромным, что, казалось ему, он никогда еще не ощущал ничего подобного.

Едва выйдя из гостиницы, он стал искать газетный киоск. В это воскресенье, 26 июля, вся пресса помещала под возмущенными заголовками телеграмму агентства Гавас об ответе Сербии и с единодушием, явно инспирированным правительством, протестовала против угрожающего демарша, предпринятого на Ке д'Орсе фон Шеном.

Один вид этих шапок, запах свежей типографской краски от влажных еще газетных листов пробудил в нем боевой дух. Он вскочил в автобус, чтобы скорее добраться до «*Humanité*».

Несмотря на ранний час, в редакции царило необычное оживление. Галло, Пажес, Стефани уже находились на местах. Только что получены были совершенно обескураживающие подробности о положении на Балканах. Накануне в час, указанный в отсрочке ультиматума, Паич, председатель совета министров, привез сербский ответ барону Гислю, австрийскому послу в Белграде. Ответ был не просто примирительный: это была капитуляция. Сербия соглашалась на все: на публичное осуждение сербской пропаганды против австро-венгерской монархии и на опубликование этого осуждения в своей «*Официальной газете*»; она обещала распустить националистический союз «*Народна обрана*» и даже исключить из рядов армии офицеров, заподозренных в антиавстрийской деятельности. Она просила только дополнительных сведений об австрийской точке зрения на тот текст, который будет помещен в «*Официальной газете*», и возражала против участия австро-венгерских представителей в трибунале, которому поручено будет установить, какие именно офицеры подозреваются в антиавстрийской деятельности. Ничтожнейшие возражения, которые не могли дать ни малейших оснований для неудовольствия. И, однако же, — словно австрийское посольство получило приказ во что бы то ни стало прервать дипломатические отношения и тем самым сделать неизбежным применение военных санкций, — не успел Паич вернуться в свое министерство, как уже получил от Гисля ошеломляющее извещение, что «сербский ответ признан неудовлетворительным» и что австрийское посольство в полном составе в тот же вечер покидает сербскую территорию. Тотчас же сербское правительство, из осторожности еще днем принявшее подготовительные меры для мобилизации, поспешило эвакуировать Белград и переехало в Крагуевац.

Серьезность всех этих фактов была очевидна. Не оставалось никаких сомнений: Австрия желала войны.

Надвигающаяся опасность не только не поколебала уверенности социалистов, собравшихся в редакции «Humanité», — она даже, казалось, укрепила их веру в конечную победу мира. Впрочем, самые точные сведения об активности Интернационала, которые собирали Галло, вполне оправдывали эти надежды. Сопротивление пролетариата продолжало нарастать. Даже анархисты включались в борьбу: через неделю в Лондоне должен был состояться их съезд, и обсуждение европейских событий стояло первым вопросом на повестке дня. В Париже Всеобщая конфедерация труда предполагала назначить на ближайшие дни массовый митинг в зале Ваграм. Ее официальный орган «Bataille syndicaliste»<sup>1</sup> напоминал, печатая их крупным шрифтом, решения, принятые департаментскими конференциями о позиции, которую займет рабочий класс в случае войны: «На всякое объявление войны трудящиеся должны немедленно ответить революционной всеобщей забастовкой». Наконец, продолжая непрерывный обмен мнениями, европейские вожди Интернационала, срочно съехавшиеся на этой неделе в брюссельском Народном доме, деятельно подготовляли совещание своего бюро. Ближайшая цель этого совещания заключалась в объединении антибесенных сил во всех государствах Европы и в коллективном применении достаточно эффективных мер, которые могли бы без промедления дать народам возможность противопоставить свое самое решительное вето губительной политике правительства.

Все это казалось добрым предзнаменованием. Особенно показательным явилось пацифистское сопротивление в германских странах. Последние номера австрийских и немецких оппозиционных газет, которые были доставлены только сегодня утром, переходили из рук в руки, и Галло переводил их с очень утешительными комментариями. Венская «Arbeiterzeitung»<sup>2</sup> приводила текст торжественного манифеста, выпущенного австрийской социал-демократической партией, в котором безоговорочно осуждался ультиматум и выставлялось от имени всех трудящихся требование вести переговоры в примирительном духе. «Мир буквально висит на волоске... Мы не можем принять ответственность за эту войну, которую самым решительным образом отвергаем...»

В Германии левые партии тоже протестовали. Резкие статьи «Leipziger Volkszeitung»<sup>3</sup> и «Vorwärts» требовали от правительства открытого дезавуирования действия Австрии. В Берлине социал-демократическая партия назначила на воскресенье 26-го большой митинг протesta. В своем воззвании ко всем гражданам, отличавшемся весьма твердым тоном, она прямо заявляла, что если даже на Балканах разразится катастрофа, Германия должна соблюдать

<sup>1</sup> «Профсоюзная борьба» (франц.).

<sup>2</sup> «Рабочая газета» (нем.).

<sup>3</sup> «Лейпцигская народная газета» (нем.).

строгий нейтралитет. Галло придавал очень большое значение манифесту, выпущенному накануне центральным комитетом. Он переводил вслух целые отрывки:

Военная горячка, порожденная австрийским империализмом, грозит посеять смерть и разрушение во всей Европе. Если мы осуждаем проникновение пансербских националистов, то, с другой стороны, провокационная политика австро-венгерского правительства вызывает самые решительные протесты. Столы грубых требований никогда еще не предъявляли независимому государству. Они не могли быть составлены иначе, как с расчетом на то, чтобы непосредственно спровоцировать войну. Во имя человечности и цивилизации сознательный пролетариат Германии выражает свой пламенный протест против преступных замыслов поджигателей войны. Он настоятельно требует от правительства, чтобы оно оказалось влияние на Австрию в целях поддержания мира.

Группа слушающих восторженно приветствовала эти слова. Жак не разделял безмерного энтузиазма своих друзей. Даже этот манифест казался ему слишком умеренным. Он сожалел, что немецкие социалисты не решились откровенно намекнуть на сообщничество обоих германских правительств. Он полагал, что, открыто высказывая подозрение в сговоре между канцлерами Берхтольдом и Бетман-Гельвегом, социал-демократия восстановила бы против правительства общественные классы Германии. Он убежденно защищал свою точку зрения и подверг довольно резкой критике слишком, по его мнению, осторожную позицию немецких социалистов. (Не говоря этого прямо, он через немецких социалистов метил также и во французских социалистов и особенно в парламентскую фракцию, в социалистов из «Humanité», позиция которых в течение последних дней часто казалась ему умеренной, слишком правительственной и дипломатичной, слишком национальной.) Галло противопоставил его точке зрения мнение Жореса, который не сомневался в твердости социал-демократов и действенности их сопротивления. Однако, отвечая на один вопрос, заданный ему Жаком, он вынужден был признать, что, судя по полученным из Берлина сведениям, большинство официальных вождей социал-демократии, считая, что военная интервенция Австрии в Сербии стала почти неизбежной, видимо склонны были поддержать точку зрения Вильгельмштрассе: необходимость локализовать войну на австро-сербской границе.

— Принимая во внимание нынешнюю позицию Австрии, — сказал он, — и то, насколько она уже, в сущности, начала действовать, — а ведь с этим все-таки приходится считаться, — тезис локализации и рационален и вполне реалистичен: отдать огню то, чего уже не спасешь, и воспрепятствовать распространению конфликта.

**Жак не разделял этой точки зрения:**

— Ограничиться локализацией конфликта — это значит признать, что примиряешься — чтобы не сказать больше — с фактом австро-сербской войны. И — будем последовательны — это означает также более или менее молчаливый отказ от участия в посредничестве держав. Это одно уже достаточно серьезно. Но это далеко не все. Война, даже локализованная, ставит Россию перед альтернативой: или спустить флаг, согласившись на разгром Сербии, или же воевать за нее с Австрией. Так вот, есть очень много шансов на то, что русский империализм ухватится за этот долгожданный случай утвердить свой престиж и сочтет себя вправе объявить мобилизацию. Вы представляете себе, куда это нас ведет: военные союзы начинают автоматически действовать, и мобилизация в России вызывает всеобщую войну. Итак, сознательно или нет, но, упорствуя в своей идеи локализовать конфликт, Германия толкает Россию к войне. Мне кажется, что единственная возможность сохранить мир, — это, наоборот, стать на точку зрения Англии и не локализовать конфликт, а превратить его во всеевропейскую дипломатическую проблему, в которой были бы прямо заинтересованы все державы и разрешить которую старались бы все министерства иностранных дел...

Его выслушали не перебивая, но как только он замолчал, посыпались возражения. Каждый утверждал тоном, не допускающим возражения: «Германия хочет...», «Россия твердо решила...», словно члены тайных советов при особе монарха поверили им все свои решения.

Спор становился все более хаотичным, когда вдруг появился Кадьё. Он вернулся из департамента Роны; он сопровождал Жореса и Муте в Вез и только что прибыл с вокзала.

Галло встал.

— Патрон возвратился?

— Нет. Он вернется сегодня днем. Он остановился в Лионе, где должен был встретиться с одним шелковиком. — Кадьё улыбнулся. — О, не думаю, что я выдаю секрет... Этот шелковик — фабрикант и в то же время социалист (такие тоже бывают) и пацифист... Говорят, колossalно богатый тип... И он предлагает немедленно перевести часть своего состояния на текущий счет Международного бюро на нужды пропаганды. Об этом стоит подумать...

— Если бы все социалисты с капитальцем поступали так же!.. — проворчал Жюмлен.

**Жак вздрогнул. Его взгляд, устремленный на Жюмлена, застыл.**

Стоя посередине комнаты, Кадьё продолжал говорить. Он пустился в волнующее повествование о своей поездке, о событиях вчерашнего дня. «Патрон превзошел самого себя», — уверял он. Он рассказал, что за полчаса до собрания Жорес получил одно за другим известия о сербской капитуляции, об отказе Австрии, затем о разрыве дипломатических отношений и мобилизации обеих армий.

Он поднялся на трибуну совершенно расстроенный. «Это была единственная пессимистическая речь за всю его жизнь», — говорил Кадье. Жорес, озаренный внезапным вдохновением, нарисовал экс-промтом волнующую картину современной истории. Голосом, полным гнева и угрозы, заклеймил он по очереди все европейские правительства, ответственные за конфликт. Австрия была в ответе, ибо ее постоянное дерзкое поведение уже не раз рисковало вызвать общеевропейский пожар; ибо в данном случае очевидно было, что она действует умышленно и что, ища ссоры с Сербией, она преследует только одну цель — укрепить посредством военной авантюры свою колеблющуюся монархию. Германия была в ответе, ибо в течение последних недель она, видимо, поддерживала воинственную амбицию Австрии, вместо того чтобы умерять ее и сдерживать. Россия была в ответе, ибо она упорно продолжала свою экспансию на юг и уже много лет жаждала войны на Балканах, в которую она, под предлогом поддержки своего престижа, могла бы без особого риска вмешаться, дорваться до Константина Поля и захватить, наконец, проливы. В ответе, наконец, была и Франция, которая благодаря своей колониальной политике и в особенности захвату Марокко оказалась в таком положении, что не имела возможности протестовать против аннексионистской политики других держав и с полным авторитетом защищать дело мира. В ответе были все государственные деятели Европы, все министерские канцелярии, ибо они уже в течение тридцати лет трудились тайком над составлением секретных договоров, от которых зависело существование народов, над заключением губительных союзов, которые нужны были державам лишь для того, чтобы продолжать войны и империалистические захваты. «Против нас, против мира столько грозных шансов!.. — воскликнул он. — И остается лишь один шанс на мир: если пролетариат собирает все свои силы... Я говорю все это просто с отчаянием...»

Жак слушал не слишком внимательно, и как только Кадье кончил говорить, он встал.

В комнату только что вошел какой-то человек, высокий и худой, болезненного вида, с седыми волосами и бородой, с галстуком, завязанным широким бантом, и в широкополой фетровой шляпе. Это был Жюль Гед.

Разговоры прекратились. Присутствие Геда, недоверчивое и даже несколько озлобленное выражение его аскетического лица всегда вселяли в присутствующих некоторое смущение.

Жак еще несколько минут стоял, прислонясь к стене; внезапно, словно приняв решение, он посмотрел на часы, слегка кивнул Галло в знак прощания и направился к выходу.

По лестнице поднимались и спускались небольшими группами партийные работники, занятые своими делами, продолжая шумно спорить на ходу. Внизу в полном одиночестве стоял какой-то старый рабочий в синей спецовке. Прислонясь к наличнику входной двери и засунув руки в карманы, он задумчивым взором следил за

уличным движением и глухим голосом напевал старую песню анархистов (ту, которую Равашоль пел у подножия эшафота):<sup>1</sup>

Счастья не будет тебе,  
Покуда в последней борьбе  
Хозяев своих не повесишь...

Жак, проходя мимо, беглым взглядом окинул неподвижного человека. Это загорелое, изборожденное морщинами лицо, высокий лоб, еще увеличенный благодаря лысине, смесь благородства и неотесанности, энергии и изношенности, не были ему незнакомы. Вспомнил он уже только на улице: он видел его прошлой зимой однажды вечером на улице Рокет, в редакции «Etandard», и Мурлан сказал ему, что старик только что вышел из тюрьмы, где отбывал свой срок за распространение антиимпериалистских листовок у казарм.

Однинадцать часов. Солнце, окруженное легкой дымкой, казалось, давило весь город предгрозовым зноем. Образ Женни, мысль о которой, неотступная как тень, преследовала Жака с момента пробуждения, стал как-то еще отчетливее: стройный силуэт, хрупкие покатые плечи, светлый затылок блондинки под складками вуали... Губы его дрогнули радостной улыбкой. Разумеется, она одобрят решение, которое он только что принял...

На площади Биржи мимо него промчалась веселая компания велосипедистов, нагруженных разнообразной провизией, которые, должно быть, отправлялись завтракать на вольном воздухе куданибудь в лес. Одно мгновение он смотрел им вслед, затем двинулся по направлению к Сене. Он не торопился. Он хотел повидаться с Антуаном, но знал, что брат не возвращается домой раньше полудня. Улицы были тихи и пустынны. Пахло только что политым асфальтом. Он шел опустив голову и машинально напевал:

Счастья не будет тебе,  
Покуда в последней борьбе...

— Доктор еще не возвращался, — сказала ему привратница, когда он добрался до Университетской улицы.

Жак решил ждать на улице, прогуливаясь взад и вперед. Издали он узнал машину. Антуан сидел у руля; он был один и казался озабоченным. Прежде чем остановить машину, он взглянул на брата и несколько раз качнул головой.

— Ну, что ты скажешь насчет утренних новостей? — спросил он, как только Жак подошел ближе. И указал на подушки сиденья, где лежало штук шесть газет.

Жак, не говоря ни слова, состроил гримасу.

<sup>1</sup> Равашоль, Леон-Леже — французский анархист, взорвавший в 1892 г. в Париже кафе «Верн». Казнен 11 июля того же года.

— Пойдем позавтракаем? — предложил Антуан.

— Нет. Мне нужно только сказать тебе два слова.

— Тут, на тротуаре?

— Да.

— Так войди хотя бы в машину.

Жак уселся рядом с братом.

— Я хочу поговорить о деньгах, — заявил он тотчас же немножко сдавленным голосом.

— О деньгах? — Одно мгновение Антуан казался удивленным. Но затем тотчас же воскликнул: — Ну, разумеется! Сколько пожелаешь.

Жак остановил его гневным жестом:

— Не о том речь!.. Я хотел бы с тобой поговорить о письме, ну, знаешь, которое после смерти отца... Насчет...

— Наследства?

— Да.

Его охватило наивное чувство облегчения от того, что ему не пришлось произнести это слово.

— Ты... Ты изменил свою точку зрения? — осторожно спросил Антуан.

— Может быть.

— Хорошо.

Антуан улыбался. У него появилось выражение, всегда раздражавшее Жака: выражение провидца, читающего в мыслях других людей.

— Не подумай, что я хочу упрекнуть тебя в чем-либо, — начал он, — но то, что ты мне тогда ответил...

Жак прервал его:

— Я просто хочу знать...

— Что стало с твоей частью?

— Да.

— Она тебя ждет.

— Если бы я захотел... получить ее, это было бы сложно? Долго?

— Нет ничего проще. Пройдешь в контору к нотариусу Бейно, и он даст тебе полный отчет. Затем к нашему биржевому маклеру Жонкуа, которому поручены ценные бумаги, и сообщишь ему свои инструкции.

— И это можно сделать... завтра?

— Если хочешь... Тебе нужно это спешно?

— Да.

— Что ж, — заметил Антуан, не рискуя расспрашивать подробнее, — нужно будет только предупредить нотариуса о твоем приходе... Ты не зайдешь ко мне нынче днем повидаться с Рюемлем?

— Может быть... Да, пожалуй...

— Ну вот и отлично; я передам тебе письмо, а ты завтра самнесешь его к Бейно.

— Ладно,—сказал Жак, открывая дверцу автомобиля.— Я спешу. Спасибо. Скоро вернусь за письмом.

Антуан, снимая перчатки, глядел ему вслед. «Ну и чудак! Он даже не спросил меня, сколько она составляет, эта его часть».

Он забрал газеты и, оставив машину подле тротуара, задумчиво направился в дом.

— Вам звонили,— сообщил ему Леон, не поднимая глаз.

Такова была уклончивая формула, которую он принял раз на всегда, чтобы не произносить имени г-жи де Батенкур; и Антуан никогда не решался сделать ему на этот счет какое-нибудь замечание.— И очень просили позвонить к ним по возвращении.

Антуан нахмурился. У Анны просто какая-то мания надоедать ему по телефону... Тем не менее он направился прямо в свой кабинет и подошел к аппарату. Несколько секунд он стоял перед трубкой, все еще в соломенной шляпе, сдвинутой на затылок, и с застывшей в воздухе поднятой рукой. Отсутствующим взором глядел он на газеты, которые только что бросил на стол. И внезапно резким движением повернулся на каблуках.

— К черту! — сказал он вполголоса.

Право же, сегодня ему действительно не до того.

Жак, умиротворенный беседой с Антуаном, думал теперь только о том, чтобы увидеться с Женни. Но из-за г-жи де Фонтанен он не решался явиться на улицу Обсерватории раньше половины второго или двух.

«Что она сказала матери? — думал он.— Какой прием меня ожидает?»

Он зашел в студенческий ресторанчик около Одеона и не торопясь позавтракал. Затем, чтобы убить время, направился в Люксембургский сад.

Тяжелые облака наползали с запада, по временам закрывая солнце.

«Прежде всего Англия не стала бы ввязываться,— говорил он себе, думая о воинственной статье, которую прочитал в «Action française». — Англия сохранила бы нейтралитет и стала бы наблюдать за дракой, ожидая часа, когда сможет выступить арбитром... России понадобилось бы месяца два, чтобы развернуть военные действия... Франция очень скоро была бы разбита... Следовательно, даже с точки зрения националиста единственный разумный выход — сохранять мир... Печатать такие статьи — преступление. Что бы там ни говорил Стефани, их воздействия на психику читателя отрицать нельзя... К счастью, массы обладают достаточно сильным инстинктом самосохранения и, несмотря ни на что, удивительным чувством реальности...»

Огромный сад был полон света и тени, зелени, цветов, играющих ребятишек. Пустая скамейка у чаши деревьев манила его к себе. Он опустился на нее. Мучимый нетерпением, неспособный

на чем-либо сосредоточиться, он думал о тысяче вещей сразу — об Европе, о Женни, о Мейнестреле, о Жоресе, об Антуане, об отцовских деньгах. Он услышал, как часы Люксембургского дворца пробили четверть, затем половину. Он принудил себя выждать еще десять минут. Наконец, не в силах терпеть дольше, он поднялся и пошел быстрыми шагами.

Женни не оказалось дома.

Это было единственное, чего он не предвидел. Разве она не сказала: «Я целый день буду дома»?

Совершенно растерявшийся, он заставил несколько раз повторить данные ему объяснения: «Госпожа де Фонтанен на несколько дней уехала. Мадмуазель поехала провожать ее на вокзал и не сказала, в котором часу вернется».

Наконец он решился уйти из привратницкой и, ошеломленный, снова очутился на улице. Он был в таком смятении, что одно мгновение думал, нет ли какой-либо связи между внезапным отъездом г-жи де Фонтанен и признаниями, которые Женни, наверное, сделала матери накануне вечером, когда вернулась домой. Абсурдное предположение... Нет, надо отказаться от попыток разобраться во всем этом, не повидавшись сначала с Женни. Он припомнил слова привратницы: «Госпожа де Фонтанен уехала на несколько дней». Значит, в течение нескольких дней Женни будет одна в Париже? Эта благоприятная перспектива несколько смягчила его разочарование.

Но что ему предпринять в данный момент? В его распоряжении был весь день до четверти девятого, когда Стефани должен был свести его с двумя особенно активными партийными работниками секции Гласье. До этого момента он был свободен.

Ему вспомнилось приглашение Антуана. Он решил отправиться к брату и у него подождать, пока не настанет время возвратиться к Женни.

## XL

В большой гостиной Антуана собралось уже человек шесть.

Войдя, Жак стал искать брата глазами. К нему подошел Манюэль Руа: Антуан сейчас вернется — он у себя в кабинете с доктором Филипом.

Жак пожал руки Штудлеру, Рене Жуслену и доктору Терьи-вье, бородатому и веселому человечку, которого он в свое время встречал у постели больного г-на Гибо.

Какой-то человек высокого роста, еще молодой, с энергичными чертами лица, напоминавшими юного Бонапарта, громко разглагольствовал, стоя перед камином.

— Ну да, — говорил он, — все правительства заявляют с одинаковой твердостью и одинаковой видимостью искренности, что не хотят войны. Почему бы им этого не доказать, проявляя

меньше непримиримости? Они только и говорят, что о национальной чести, престиже, незыблемых правах, законных чаяниях... Все, они словно хотят сказать: «Да, я желаю мира, но мира, для меня выгодного». И это никого не возмущает! Все люди походят на свои правительства: прежде всего они заботятся о том, чтобы устроить дельце... А это все усложняет: ведь для всех выгоды быть не может; сохранить мир можно будет только при условии взаимных уступок...

— Кто это? — спросил Жак у Руя.

— Финиаци, окулист... Корсиканец... Хотите, я вас познакомлю?

— Нет, нет... — поспешил ответил Жак.

Руя улыбнулся и, отведя Жака в сторону, любезно уселся подле него.

Он знал Швейцарию и, в частности, Женеву, так как несколько лет подряд в летние месяцы принимал там участие в гонках парусных судов. Жак на вопрос, чем он занимается, заговорил о журналистике, о своей личной работе. Он решил проявлять сдержанность и в этой среде не афишировать без надобности своих убеждений. Поэтому он поторопился перевести разговор на войну: после того что он слышал в прошлый раз, его заинтересовали взгляды молодого врача.

— Я, — сказал Руя, расчесывая кончиками ногтей свои тонкие черные усики, — думаю о войне с осени тысяча девятьсот пятого года! А ведь тогда мне было всего шестнадцать лет: я только что сдал первый экзамен на степень бакалавра и кончал лицей Станислава... Несмотря на это, я очень хорошо понял в ту осень, что нашему поколению придется иметь дело с германской угрозой. И многие из моих товарищей почувствовали то же самое. Мы не хотим войны; но с того времени мы готовимся к ней, как к чему-то естественному, неизбежному.

Жак поднял брови:

— Естественному?

— Ну да: надо же свести счеты. Рано или поздно придется на это решиться, если мы хотим, чтобы Франция продолжала существовать.

Жак с неудовольствием заметил, что Штудлер быстро обернулся и направился к ним. Он предпочел бы с глазу на глаз продолжать свое маленькое интервью. По отношению к Руя он испытывал некоторую враждебность, но никакой антипатии.

— Если мы хотим, чтобы Франция продолжала существовать? — повторил Штудлер недружелюбным тоном. — Есть ли что-либо более раздражающее, — заметил он, обращаясь на этот раз к Жаку, — чем мания националистов присваивать себе монопольное право на патриотизм и вечно стараться скрывать под маской патриотических чувств свои воинственные поползновения? Как будто влечеие к войне — это в конечном счете какое-то свидетельство о патриотизме!

— Я просто восхищаюсь вами, Халиф, — с иронией заметил Руа. — Люди моего поколения не так трусливы, как вы: они более щекотливы. Нам в конце концов надоело терпеть немецкие провокации.

— Но ведь пока что речь идет все же только об австрийских провокациях... и к тому же направленных не против нас! — заметил Жак.

— Так что же? Вы, значит, согласились бы, в ожидании, пока придет наша очередь, наблюдать в качестве зрителя, как Сербия становится жертвой германизма?

Жак ничего не ответил.

Штудлер саркастически усмехнулся:

— Защита слабых?.. А когда англичане цинично наложили руку на южноафриканские золотые прииски, почему Франция не бросилась на помощь бурам, маленькому народу, еще более слабому и симпатичному, чем сербы? А почему теперь мы не стремимся помочь бедной Ирландии?.. Вы полагаете, что честь, которая выпадет на долю того, кто совершил один из этих благородных жестов, стоит риска бросить друг на друга армии всех европейских держав?

Руа ограничился улыбкой. Он непринужденно обернулся к Жаку:

— Халиф принадлежит к тем славным людям, которых преувеличенная чувствительность заставляет воображать о войне всякие глупости... и совершенно не считаться с тем, что она представляет собою в действительности.

— В действительности? — отрезал Штудлер. — Что же именно?

— Да очень многое... Во-первых, закон природы, инстинкт, глубоко сидящий в человеке, который нельзя выкорчевать, не искалечив человеческую натуру самым унизительным образом. Здоровый человек должен жить своей силой — таков его закон... Во-вторых, возможность для человека развивать в себе целый ряд качеств, очень редких, прекрасных... и очень укрепляющих душу!..

— Каких же? — спросил Жак, стараясь сохранять чисто вопросительную интонацию.

— Ну, — сказал Руа, вскинув свою маленькую круглую голову, — как раз тех, которые я больше всего ценю: мужественную энергию, любовь к риску, сознание долга; и даже больше: самопожертвование, когда ваша частная воля отдается на служение некоему коллективному действию, широкому, героическому... Вы не считаете разве, что человека молодого и сильного духом должно непреодолимо влечь к героизму?

— Да, — лаконически признал Жак.

— Прекрасная это вещь — доблесть! — продолжал Руа с победоносной улыбкой, причем глаза его засияли. — Война для

людей нашего возраста — великолепный спорт: самый благородный спорт.

— Спорт, — возмущенно проворчал Штудлер, — за который расплачиваются человеческими жизнями!

— Ну и что же? — бросил ему Руа. — Ведь человечество размножается достаточно быстро: разве оно не может позволить себе время от времени такую роскошь, раз ему это необходимо?

— Необходимо?

— Гигиена народов периодически требует хорошего кровопускания. Если мирные периоды слишком затягиваются, на земле вырабатывается уйма токсинов, которые отравляют ее и от которых ей надо очиститься, как человеку, ведущему слишком сидячий образ жизни. Мне кажется, что в данный момент хорошее кровопускание было бы особенно необходимо французской душе. И даже европейской. Необходимо, если мы не хотим, чтобы наша западная цивилизация погрязла в низости, пришла в упадок.

— По-моему, низость именно в том, чтобы уступать жестокости и ненависти! — заметил Штудлер.

— А кто говорит о жестокости? Кто говорит о ненависти? — возразил Руа, пожимая плечами. — Вечно одни и те же общие места, один и тот же нелепый трафарет! Уверяю вас, для людей моего поколения война вовсе не означает призыва к жестокости и еще меньше — к ненависти! Война — это нессора двух человек. Она выше индивидуумов: это приключение, в котором участвуют две нации... Чудесное приключение! Спортивный матч в чистом виде! На поле битвы, совсем как на стадионе, сражающиеся люди — это игроки двух соперничающих команд: они не враги, они противники!

У Штудлера вырвалось нечто вроде смеха, похожего на ржание. Неподвижный, созерцал он юного гладиатора темными, расширенными, но невыразительными зрачками, которые, казалось, плавали в глазном белке какого-то молочного оттенка.

— У меня есть брат в Марокко, капитан, — миролюбивым тоном продолжал Руа. — Вы ничего не знаете об армии, Халиф! Вы и не подозреваете, какой дух царит среди молодых офицеров, вы не представляете себе их жизни, полной самоотречения, их морального благородства! Они — живой пример того, что может сделать бескорыстное мужество на службе великой идеи... Вашим социалистам полезно было бы пройти такую школу! Они увидели бы, что такое дисциплинированное общество, члены которого действительно посвящают всю свою жизнь коллективу и ведут почти аскетическое существование, в котором нет места никакому низменному тщеславию!

Руа склонился к Жаку, словно призывая его в свидетели. Он устремил на него открытый и честный взгляд, и Жак почувствовал, что молчать дальше было бы недостойно.

— Я думаю, что все это так, — начал он, взвешивая слова. — По крайней мере среди молодых кадров колониальной армии...

И нет более волнующего зрелища, чем люди, stoически отдающие жизнь за свой идеал, каков бы он ни был. Но я думаю также, что эта мужественная молодежь — жертва чудовищной ошибки: она совершенно искренне считает, что посвятила себя служению благородному делу, а на самом деле она попросту служит капиталу... Вы говорите о колонизации Марокко... Так вот...

— Завоевание Марокко, — отрезал Штудлер, — это не что иное, как «дело», «комбинация» широкого размаха!.. И те, кто идет туда умирать, просто обмануты! Им ни на мгновение не приходит в голову, что они жертвуют своей шкурой ради разбоя!

Руа бросил в сторону Штудлера взгляд, мечущий молнии. Он был бледен.

— В нашу гнилую эпоху, — воскликнул он, — армия остается священным прибежищем, прибежищем величия и...

— А вот и ваш брат, — сказал Штудлер, коснувшись руки Жака.

В комнату только что вошел доктор Филип, а за ним Антуан.

Жак не знал Филипа. Но он столько наслышался о нем от брата, что с любопытством оглядел старого врача с козлиной бороденкой, который приближался своей подпрыгивающей походкой, в пиджачке из альпага, слишком широком и висевшем на его худых плечах, словно лохмотья на чучеле. Его маленькие блестящие глазки, скрытые, как глаза пуделя, под чащей густых бровей, рискали направо и налево, ни на ком не задерживаясь.

Разговоры прекратились. Все по очереди подходили, чтобы поздороваться с учителем, равнодушно протягивавшим для пожатия свою мягкую руку.

Антуан представил ему брата. Жак почувствовал, как его пристально рассматривает испытующий взгляд, дерзкий, но, быть может, скрывающий за этой дерзостью величайшую застенчивость.

— А, ваш брат... Ладно... Ладно... — прогнусавил Филип, пожевывая нижнюю губу и с интересом глядя на Жака, словно он был отлично знаком с малейшими деталями его характера и жизни. И тотчас же, не спуская глаз с молодого человека, он добавил: — Мне говорили, что вы часто бывали в Германии... Я тоже. Это интересно.

Разговаривая, он все время подвигался вперед и подталкивал Жака, так что вскоре они очутились у одного из окон одни.

— Всегда, — продолжал он, — Германия была для меня загадкой... Ведь правда? Страна крайностей... непредвиденного... Есть ли в Европе человеческий тип, более специфически миролюбивый, чем немец? Нет... А с другой стороны, этот милитаризм, который у них в крови...

— Однако немецкие интернационалисты одни из самых активных в Европе, — осмелился вставить Жак.

— Вы полагаете? Да... Все это очень интересно... Тем не менее вопреки всему, что я до сих пор думал, кажется, судя по событиям последних дней... Говорят, на Ке д'Орсе воображали, что можно рассчитывать на примирительную инициативу Германии. Просто удивительно... Вы говорите: немецкие интернационалисты...

— Ну да... В Германии, если не считать военных кругов, вы сразу замечаете почти всеобщую нелюбовь к армии и национализму... Ассоциация защиты международного мира — исключительно деятельностьная организация; членами ее состоят виднейшие представители германской буржуазии, и она несравненно более влиятельна, чем наши французские пацифистские лиги... Нельзя забывать, что именно в Германии такой ярый социалист, как Либкнехт, после того как его бросили в тюрьму за брошюру об антимилитаризме, мог быть избран сначала в прусский ландтаг, а затем и в рейхstag. Вы думаете, у нас какой-нибудь известный антимилитарист мог бы попасть в палату и заставить себя слушать?

Филип посапывал, внимательно прислушиваясь к тому, что говорил Жак:

— Ладно... Ладно... Все это очень интересно... — И без всякого перехода: — Я долгое время считал, что интернационализм капиталов, кредита, крупных предприятий, заставляя все страны участвовать в малейших локальных конфликтах, станет новым и решающим фактором всеобщего мира... — Он улыбнулся и погладил бороду. — Это все теоретические рассуждения, — заключил он загадочно.

Жорес тоже так думал; он и теперь так думает.

Филип сделал гримасу:

— Жорес... Жорес рассчитывает также на влияние масс, которое может предотвратить войну... Теоретические рассуждения... Легко можно представить себе народное движение, воинственное, боевое... Но народное движение, в основе которого были бы рассудительность, воля, чувство меры, необходимые для поддержания мира?..

Затем, помолчав, он прибавил:

— Может быть, те, кто, как я, испытывает отвращение к войне, повинуются, в сущности, своим частным побуждениям, личным, им, так сказать, органически свойственным... Их внутренней конституции противна идея войны... Может быть, с научной точки зрения было бы правильно рассматривать инстинкт разрушения как естественный. Это, по-видимому, находит подтверждение у биологов... Видите ли, — продолжал он, еще раз переменив тему, — комичнее всего то, что среди настоящих и подлинно важных европейских проблем, которые надо внимательно изучить, для того чтобы их разрешить, я не вижу ни одной, буквально ни одной... с которой можно было бы надеяться покончить путем войны, разрубив одним ударом, как гордиев узел... Что же получается?

Он улыбнулся. Казалось, его слова никогда не были связаны с тем, что он только что сам сказал или услышал. Его глаза под густыми бровями сверкали лукаво, у него всегда был такой вид, точно он сам себе рассказывает какую-то забавную историю и с него вполне достаточно, если он один наслаждается ее солью.

— Мой отец был офицер, — продолжал он. — Он проделал все кампании Второй империи. Меня вечно пичкали военной историей. И вот могу сказать, что стоит только разобраться в происхождении конфликта, его истинных причинах — и всегда поражаешься, насколько он лишен элемента необходимости. Это очень интересно. Если взглянуть из некоторого отдаления, то в новое время не найдешь, кажется, ни одной войны, которой нельзя было бы очень легко избегнуть благодаря простому здравому смыслу или воле к миру, проявленной двумя или тремя государственными людьми... Это еще не все. Большой частью оказывается, что обе воюющие стороны поддались ничем не оправданному чувству недоверия и страха, как следствию незнания истинных намерений противника... В девяти случаях из десяти народы бросаются друг на друга исключительно из страха. — Он словно закашлялся, засмеявшись коротким и тотчас оборвавшимся смехом. — Совсем как пугливые прохожие, которые, встречаясь ночью, не решаются поговорить друг с другом и в конце концов бросаются друг на друга... ибо каждый считает, что другой намеревается на него напасть, ибо каждый предпочитает наступление, даже таящее в себе опасность, колебаниям и неуверенности... Это уж совсем смешно... Взглядите-ка сейчас на Европу: она во власти каких-то призраков. Все державы боятся. Австрия боится славян, боится потерять свой престиж. Россия боится германцев, боится, чтобы ее пассивность не сочли признаком слабости. Германия боится нашествия казаков, боится также оказаться в окружении. Франция боится германских вооружений, а Германия вооружается превентивно, и тоже из страха... И все отказываются проявить малейшую уступчивость в интересах мира, потому что им страшно, как бы не подумали, что они боятся...

— А к тому же, — сказал Жак, — империалистические правительства отлично видят, что страх работает на них, и старательно поддерживают его! Политику Пуанкаре, французскую внутреннюю политику последних месяцев, можно охарактеризовать так: методическое использование страха всей нации...

Филип, не слушая его, продолжал:

— А самое отвратительное... (он засмеялся коротким смехом) нет, самое комичное — это то, что все государственные деятели изо всех сил стараются скрыть этот свой страх, выставляя напоказ всевозможные благородные чувства, смелость...

Он прервал свою речь, заметив, что к ним приближается Антуан в сопровождении какого-то человека лет сорока, которого Леон только что ввел в гостиную.

Это был Рюмель.

Благодаря своему представительному виду он, казалось, создан был для официальных церемоний. Массивная, откинутая назад голова, словно оттянутая тяжестью густой пушистой гривы, светлой и уже слегка седеющей. Густые короткие усы с сильно приподнятыми кончиками придавали некоторую рельефность его плоскому жирному лицу. Глаза были довольно маленькие, заплыши, но подвижные зрачки какой-то фаянсовой голубизны озаряли двумя живымиискрами эту по-римски торжественную маску. Все вместе придавало ему довольно характерный облик, и можно было представить себе, как использует его в свое время какой-нибудь фабрикант бюстов для супрефектур.

Антуан представил Рюмеля Филипу, а Жака — Рюмеля. Дипломат склонился перед старым врачом, как перед современной знаменитостью; затем с вежливой предупредительностью пожал руку Жака. Казалось, он сказал себе раз навсегда: «Для человека, находящегося на виду, простота манер — это лишний козырь».

— Бесполезно рассказывать вам, дорогой мой, о чем мы беседовали, — начал атаку Антуан, положив ладонь на рукав Рюмеля, который улыбнулся любезно и снисходительно.

— Вы, сударь, располагаете, разумеется, такими сведениями, которых у нас нет, — произнес Филип. Он внимательно осматривал Рюмеля своими хитрыми глазами. — Что касается нас, профанов, то, надо признаться, чтение газет...

Дипломат сделал неопределенный жест:

— Не думайте, господин профессор, что я осведомлен много лучше вашего... — Он убедился, что его шутка вызвала улыбку, и продолжал: — А вообще я не думаю, что следует представлять себе вещи в особенно мрачном свете: мы вправе — даже обязаны — утверждать, что сейчас имеется гораздо больше оснований для спокойной уверенности, чем для того, чтобы отчаиваться.

— И слава богу, — заметил Антуан.

Он устроил так, что Филип и Рюмель приблизились к другим гостям и оказались посередине комнаты.

— Основания для спокойной уверенности? — с сомнением в голосе произнес Халиф.

Рюмель обвел своими голубыми глазами всех присутствующих, которые окружили его кольцом, и задержал их на Штудлере.

— Положение серьезное, но преувеличивать не следует, — заявил он, немного откинув голову. И тоном государственного мужа, который обязан подбадривать общественное мнение, он с силой произнес: — Запомните, что элементы, благоприятствующие сохранению мира, все же преобладают!

— Например? — продолжал спрашивать Штудлер.

Рюмель слегка нахмурился. Настойчивость этого еврея раздражала его; он ощущал в ней глухое недоброжелательство.

— Например? — повторил он, словно ему оставалось только выбирать. — Ну, во-первых — англичане. Центральные державы

с самого начала встретили в Foreign office<sup>1</sup> энергичное сопротивление...

— Англия? — прервал Штудлер. — Уличные столкновения в Бельфасте! Кровавые мятежи в Дублине! Печальный провал ирландской конференции в Бекингеме! В Ирландии начинается форменная гражданская война... Англия парализована ударом ножа в спину!

— Ну, это не более как заноза в пятке, уверяю вас!

— Господина Антуана просят к телефону, — сказал Леон, появляясь в дверях.

— Скажите, что я занят, — сердито крикнул Антуан.

— Англия еще и не то выдала! — продолжал Рюмель. — Ах, если бы вы знали, как я, все хладнокровие сэра Эдуарда Грея... Это замечательный тип дипломата, — продолжал он, избегая глядеть на Штудлера и обращаясь в сторону Филипа и Антуана. — Старый сельский аристократ, у которого совершенно особое представление о том, каковы должны быть международные отношения. Он разговаривает со своими европейскими коллегами не как официальное лицо, а как джентльмен с людьми своего круга. Я знаю, что он лично был шокирован тоном ультиматума. Вы могли убедиться, что он тотчас же начал действовать с большой твердостью, одновременно увещевая Австрию и рекомендую умеренность Сербии. Судьбы Европы отчасти находятся в его руках, а это самые лучшие, самые честные руки.

— Германия все время отвечала ему отказом... — опять прервал Штудлер.

Рюмель не дал ему договорить:

— Осторожная и вполне понятная позиция нейтралитета, которую заняла Германия, сначала могла служить препятствием для английского посредничества. Но сэр Эдуард Грей не признает себя побежденным. И — я могу говорить, раз это появится в прессе завтра, а может быть, и сегодня вечером, — Foreign office подготовляет совместно с Ке д'Орсе новый проект, который может оказаться решающим для мирной ликвидации конфликта. Сэр Эдуард Грей предполагает немедленно же собрать на совещание в Лондоне германского, итальянского и французского послов для обсуждения всех спорных вопросов.

— А пока будут продолжаться благородные хождения окольными путями, — сказал Штудлер, — австрийские войска займут Белград.

Рюмель внезапно застыл в напряженной позе, словно его укололи булавкой.

— Но, сударь, я полагаю, что и в данном случае вы плохо осведомлены! Несмотря на эту видимость военных демонстраций, ничто не доказывает, что между Австрией и Сербией происходит что-либо более серьезное, чем простые маневры... Не знаю, при-

<sup>1</sup> Английское министерство иностранных дел.

даете ли вы цену капитальнейшему факту: до настоящего времени ни одному европейскому правительству не было передано дипломатическим путем официальное объявление войны! Более того: сегодня в полдень сербский посол в Австрии все еще находился в Вене! Почему? Потому, что он служит посредником для активного обмена мнениями между обоими правительствами. Это очень хороший признак. Раз переговоры продолжаются!.. Впрочем, даже если бы действительно последовал разрыв дипломатических отношений и даже если бы Австрия решилась объявить войну, я имею основание считать, что Сербия, уступая разумным влияниям, отказалась бы от неравной борьбы трехсот тысяч человек против миллиона пятисот тысяч и что ее армия начала бы отступать, не принимая боя... Не забывайте, — добавил он с улыбкой, — пока не заговорили пушки, слово принадлежит дипломатам...

Взгляды Антуана и Жака скрестились, и Антуан заметил в глазах брата весьма непочтительный огонек: очевидно было, что Рюмель не внушал Жаку уважения.

— Вам, наверное, было бы труднее, — вставил с улыбкой Финнацци, — найти основания для оптимизма в поведении Германии?

— Почему же? — возразил Рюмель, окинув окулиста быстрым, пронизывающим взглядом. — В Германии влияние воинственно настроенных элементов, которое отрицать не приходится, уравновешивается другими влияниями, имеющими большое значение. Внезапное возвращение кайзера, который сегодня ночью будет в Киле, по-видимому, изменит политическую ориентацию последних дней. Известно, что кайзер будет до конца возражать против риска, связанного с европейской войной. Все его личные советники — убежденные сторонники мира. А одним из тех его друзей, к мнению которых он особенно охотно прислушивается, является князь Лихновский; я имел в свое время честь познакомиться с ним в Лондоне: это человек рассудительный, осторожный и пользующийся в настоящее время большим влиянием при германском дворе... Имейте в виду: вступая в войну, Германия рискует очень многим! Когда границы ее окажутся блокированными, империя в буквальном смысле слова подожнет с голоду. Раз Германия не сможет получать из России зерно и скот, то не сталью своей, не углем, не машинами же прокормит она свои четыре миллиона мобилизованных и шестьдесят три миллиона всего прочего населения!

— А что им помешает покупать в другом месте? — возразил Штудлер.

— А вот что: им придется платить золотом, ибо немецкие бумажные деньги очень скоро перестали бы приниматься за границей. Ну так вот, расчет сделать очень легко: германский золотой запас всем хорошо известен. Уже через несколько недель Германия не сможет продолжать вывоз золота, который придется производить ежедневно; и тогда наступит голод.

Доктор Филип засмеялся коротким гнусавым смехом.

— Вы с этим не согласны, господин профессор? — спросил Рюмель тоном вежливого удивления.

— Согласен... Согласен... — пробормотал Филип добродушным тоном. — Но я боюсь, не есть ли это чисто теоретическое рассуждение?

Антуан не мог удержаться от улыбки. Он давно уже знал это выражение патрона. «Чисто теоретические рассуждения» в его устах означало: «идиотство».

— Все, что я здесь высказал, — уверенным тоном продолжал Рюмель, — подтверждается всеми экспертами. Даже немецкие экономисты признают, что сырьевая проблема в военное время для их страны неразрешима.

Руа с живостью вмешался в разговор:

— Поэтому германский генеральный штаб и полагает, что единственный шанс Германии — это немедленная и полная победа: если она запоздает хоть на несколько недель, Германия — это всем известно — вынуждена будет капитулировать.

— Если бы еще она была уверена в своих союзниках! — проговорил доктор Теривье, лукаво усмехаясь себе в бороду. — Но Италия!

— По-видимому, Италия действительно приняла твердое решение сохранять нейтралитет, — подтвердил Рюмель.

— А что касается австрийской армии... — добавил Руа с прозрительной гримасой, сделав иронический жест рукой, словно перебрасывал что-то через плечо.

— Нет, нет, господа, — продолжал Рюмель, довольный, что нашел поддержку. — Повторяю вам; не следует преувеличивать опасность... Послушайте: не раскрывая государственной тайны, я могу вам сообщить следующее. Как раз в настоящий момент в Петербурге происходит свидание министра иностранных дел его высокопревосходительства господина Сазонова и австрийского посла, и от этого свидания ожидают очень многое. Так вот, разве один тот факт, что на такой разговор без всяких посредников согласились обе стороны, не указывает на обоюдное желание избежать каких бы то ни было военных демонстраций?.. С другой стороны, нам известно, что предстоят новые попытки посредничества... Со стороны Соединенных Штатов... Со стороны папы...

— Папы? — переспросил Филип с самым серьезным видом.

— Ну да, папы, — подтвердил юный Руа; сидя верхом на стуле и скрестив руки под подбородком, он старался не упустить ни единого слова из того, что говорил Рюмель.

Филип не решался улыбнуться, но его зоркие глазки так и светились насмешкой.

— Вмешательство папы? — повторил он. И затем с кротким видом добавил: — Боюсь, что это тоже чистое теоретизирование.

— Вы ошибаетесь, господин профессор. Вопрос этот стоит в порядке дня. Категорического вето святого отца было бы достаточно, чтобы решительным образом остановить старого Франца-Иосифа и вернуть австрийские войска в пределы Австрии. Все министерства иностранных дел это отлично знают. И в настоящее время в Ватикане происходит отчаяннейшая борьба различных влияний. Кто одолеет? Добываются ли немногие сторонники войны, чтобы папа воздержался от каких бы то ни было увещеваний? Сумеют ли многочисленные друзья мира побудить его к вмешательству?

Штудлер саркастически улыбнулся:

— Жаль, что у нас нет посла в Ватикане! Он бы посоветовал его святейшеству раскрыть евангелие...

На этот раз Филип улыбнулся.

— Господин профессор скептически относится к папскому влиянию, — констатировал Рюмель с оттенком неудовольствия и иронии.

— Патрон всегда скептик, — пошутил Антуан, бросив своему учителю взгляд сообщника, полный уважения и симпатии.

Филип обернулся к нему и лукаво сощурил глаза.

— Друг мой, — сказал он, — признаюсь, — и это, наверное, тяжелый симптом старческого слабоумия, — что мне становится все труднее и труднее составить себе какое-то определенное мнение... Кажется, еще никто никогда не доказывал мне чего-либо так, чтобы совершенно обратное не могло быть доказано кем-либо другим с тою же самой силой и очевидностью. Вероятно, это вы и называете моим скептицизмом? Впрочем, в данном случае вы совершенно ошибаетесь. Я склоняюсь перед компетентностью господина Рюмеля и так же, как любой другой, чувствую всю силу его аргументации.

— Однако... — со смехом начал Антуан.

Филип улыбнулся.

— Но, — продолжал он, с силою потирая руки, — в моем возрасте трудно рассчитывать на торжество разума... Если мир не зависит больше от здравого смысла людей, значит он в очень большой опасности!.. Впрочем, — тотчас же добавил он, — это вовсе не основание для того, чтобы сидеть сложа руки. Я целиком одобряю усилия дипломатов, которые из кожи вон лезут. Нужно всегда из кожи вон лезть, как будто действительно можно что-то сделать. Таков наш принцип в медицине, не правда ли, Тибо?

Манюэль Руа с досадой разглаживал пальцами свои усыки. Ничто так не раздражало его, как обветшальные парадоксы старого учителя.

Рюмель, которому также не нравился этот академический скептицизм, упорно глядел в сторону Антуана. И как только их взгляды встретились, он сделал ему знак, напоминая об истинной цели своего визита: о впрыскивании.

Но в этот момент Манюэль Руа, обратившись к Рюмелью, заявил без всяких обиняков:

— Плохо то, что если дело все же испортится, Франция окажется неподготовленной. Ах, если бы мы располагали сейчас могучей военной силой.. подавляющей...

— Неподготовленной? А кто вам это сказал? — возразил дипломат, выпрямляясь с решительным видом.

— Ну, мне кажется, что разоблачения Эмбера в сенате недели три тому назад довольно четко обрисовали положение.

— Бросьте, бросьте! — воскликнул Рюмель, слегка пожав плечами. — Факты, которые сенатор Эмбер «разоблачил», как вы выразились, ни для кого не были тайной и вовсе не имеют того значения, которое пыталась им придать известная пресса... Наивно было бы думать, что французский пью-пью<sup>1</sup> обречен идти на войну босоногим, как солдат второго года Республики...<sup>2</sup>

— Но я имею в виду не только сапоги... Тяжелая артиллерия, например...

— А знаете ли вы, что многие специалисты, притом из наиболее авторитетных, совершенно отрицают полезность этих дальнобойных орудий, которыми увлекаются в германской армии? Так же обстоит и с пулеметами, которыми у них отягощена пехота...

— А как они устроены, пулеметы? — прервал Антуан.

Рюмель рассмеялся:

— Это нечто среднее между ружьем и адской машиной, которую устроил Фиески, помните, тот самый, что совершил неудачное покушение на Луи-Филиппа...<sup>3</sup> В теории, когда речь идет об учениях на полигоне, — это ужасные орудия. Но на практике!.. Говорят, они портятся от малейшей песчинки. — Затем он продолжал более серьезным тоном, обернувшись к Руа: — По мнению специалистов, самое важное — это полевая артиллерия. Так вот, наша стоит значительно выше немецкой. У нас гораздо больше семидесятипяти миллиметровых орудий, чем у немцев семидесяти-семимиллиметровых, и к тому же их семьдесят семь миллиметров не выдерживают сравнения с нашими семьюдесятью пятью. Не тревожьтесь, молодой человек... Факт тот, что за последние три года Франция сделала значительные успехи. Все проблемы концентрации войск, использования железных дорог, снабжения армии сейчас разрешены. Если бы пришлось воевать, поверьте, Франция была бы в отличном положении. И нашим союзникам это хорошо известно.

— Вот это-то и опасно! — пробормотал Штудлер.

<sup>1</sup> Фамильярное прозвище пехотинцев.

<sup>2</sup> То есть 1793—1794 гг. Отсчет лет по республиканскому календарю велся со дня провозглашения республики — 22 сентября 1792 г.

<sup>3</sup> Джузеппе Фиески (1790—1836) в 1835 г. пытался убить французского короля Луи-Филиппа с помощью «адской машины», состоявшей из тридцати связанных вместе ружейных стволов.

Рюмель надменно поднял брови, словно мысль Халифа представлялась ему совершенно непонятной. Но Жак поддержал Штудлера:

— Это правда. Для нас, может быть, было бы лучше, если бы Россия в данный момент не могла слишком уж рассчитывать на французскую армию.

Верный принятому решению, он до этого времени слушал молча, но буквально грыз удила. Вопрос, с его точки зрения самый важный, — сопротивление масс, — не был даже затронут. Он мысленно проверил себя, убедился, что достаточно владеет собой для того, чтобы в свою очередь принять тот небрежный и чисто отвлеченный тон, который здесь, видимо, был обычным, и затем обратился к дипломату.

— Вы перечислили сейчас все основания для того, чтобы верить в мирный исход конфликта, — начал он размежеванным голосом. — Не кажется ли вам, что среди главных шансов на мир надо учитывать сопротивление пацифистски настроенных партий? — Взгляд его скользнул по лицу Антуана, заметил на нем легкое выражение беспокойства и снова остановился на Рюмеле. — Всегда сейчас в Европе имеется десять или двенадцать миллионов убежденных интернационалистов, твердо решивших в случае усиления военной угрозы воспрепятствовать своим правительствам поддаться соблазну и ввязаться в войну.

Рюмель выслушал, не сделав ни единого жеста. Он внимательно смотрел на Жака.

— Я, может быть, придаю этим манифестациям всякой черни меньшее значение, чем вы, — произнес он, наконец, со спокойствием, которое лишь наполовину скрывало иронию. — Впрочем, заметьте, что проявления патриотического энтузиазма во всех европейских столицах гораздо многочисленнее и внушительнее, чем протесты немногих смутьянов... Вчера вечером в Берлине миллионная манифестация прошла по городу, демонстрировала перед русским посольством, пела «Wacht am Rhein»<sup>1</sup> под окнами королевского дворца и осыпала цветами статую Бисмарка... Я, конечно, не отрицаю, что имеются и оппозиционные проявления, но их действие — чисто негативное.

— Негативное? — вскричал Штудлер. — Никогда еще идея войны не была столь непопулярной в массах.

— Что вы подразумеваете под словом «негативное»? — спокойно спросил Жак.

— Бог ты мой, — ответил Рюмель, делая вид, что ищет подходящее выражение, — я подразумеваю, что эти партии, о которых вы говорите, враждебные всяким помышлениям о войне, ни достаточно многочисленны, ни достаточно дисциплинированы, ни

<sup>1</sup> «Стража на Рейне» — немецкая националистическая песня, написанная Максом Шнекенбургером в 1840 г.

достаточно объединены в международном плане, чтобы представлять в Европе силу, с которой пришлось бы считаться...

— Двенадцать миллионов! — повторил Жак.

— Возможно, что их двенадцать миллионов, но ведь большинство — только сочувствующие, люди просто «платящие членские взносы». Не обманывайтесь на этот счет! Сколько имеется подлинных, активных борцов? Да к тому же многие из этих борцов подвержены патриотическим настроениям... В некоторых странах эти революционные партии, может быть, и способны оказать какое противодействие власти своих правительств, но противодействие чисто теоретическое и во всяком случае временное: ибо подобная оппозиция может существовать лишь до тех пор, пока власти ее терпят. Если бы обстоятельства ухудшились, каждому правительству пришлось бы только немножко туже завинтить гайку либерализма, даже не прибегая к объявлению осадного положения, и оно сразу же избавилось бы от смутянов... Нет... Нигде еще Интернационал не представляет собою силы, способной эффективно противостоять действиям правительства. И не во время серьезного кризиса смогли бы крайне элементы образовать партию,ющую оказать решительное сопротивление... — Он улыбнулся: — Уже поздно... На этот раз...

— Если только, — возразил Жак, — эти силы сопротивления, дремлющие в спокойное время, не поднимутся ввиду надвигающейся опасности и не окажутся внезапно неодолимыми!.. Разве, по-вашему, мощь забастовочного движения в России не парализует сейчас царское правительство?

— Вы ошибаетесь, — холодно сказал Рюмель. — Позвольте мне заявить вам, что вы запаздываете по меньшей мере на сутки... Последние сообщения, к счастью, совершенно недвусмысленны: революционные волнения в Петербурге подавлены. Жестоко, но о-кон-ча-тель-но.

Он еще раз улыбнулся, словно извиняясь за то, что всегда оказывался правым. Затем, переведя взгляд на Антуана, выразительно посмотрел на ручные часы:

— Друг мой... К сожалению, мне некогда...

— Я к вашим услугам, — сказал Антуан, поднимаясь. Он опасался реакции Жака и рад был поскорее прервать этот спор.

Пока Рюмель с безукоризненной любезностью прощался с присутствующими, Антуан вынул из кармана конверт и подошел к брату:

— Вот письмо к нотариусу. Спрячь его... Ну, как ты находишь Рюмеля? — рассеянно добавил он.

Жак только улыбнулся и заметил:

— До какой степени наружность у него соответствует внутреннему содержанию!..

Антуан, казалось, думал о чем-то другом, чего не решался высказать. Он быстро огляделся по сторонам, удостоверился, что никто его не слышит, и, понизив голос, произнес вдруг деланно безразличным тоном:

— Кстати... А как ты, случись война?.. Тебе ведь дали отсрочку, правда? Но... если будет мобилизация?

Жак, прежде чем ответить, одно мгновение смотрел ему прямо в лицо. («Женни наверняка задаст мне тот же вопрос», — подумал он.)

— Я не допущу, чтобы меня мобилизовали, — решительно заявил он.

Антуан, чтобы не выдать себя, глядел в сторону Рюмеля и не показал даже вида, что рассыпал.

Братья разошлись в разные стороны, не добавив ни слова.

## XII

— Уколы ваши действуют замечательно, — заявил Рюмель, как только они оказались вдвоем. — Я чувствую себя уже значительно лучше. Встаю без особых усилий, аппетит улучшился...

— По вечерам не лихорадит? Головокружений нет?

— Нет.

— Можно будет увеличить дозу.

Комната рядом с врачебным кабинетом, в которую они зашли, была облицована белым фаянсом. Посередине стоял операционный стол. Рюмель разделился и покорно растянулся на нем.

Антуан, повернувшись к нему спиной и стоя перед автоклавом, приготовлял раствор.

— То, что вы сказали, утешительно, — задумчиво проговорил он.

Рюмель взглянул на него, недоумевая, — говорит ли он о его здоровье или о политике.

— Но тогда, — продолжал Антуан, — почему же допускают, чтобы прессы тактенциозно подчеркивала двуличие Германии и ее провокационные замыслы?

— Не «допускают», а даже поощряют! Надо же подготовить общественное мнение к любой случайности...

Он говорил очень серьезным тоном. Антуан резко повернулся. Лицо Рюмеля утратило выражение хвастливой уверенности. Он покачивал головой, вперив в пространство неподвижный, задумчивый взгляд.

— Подготовить общественное мнение? — переспросил Антуан. — Оно никогда не допустит, чтобы из-за интересов Сербии мы были втянуты в серьезные осложнения!

— Общественное мнение? — сказал Рюмель с гримасой человека, всему знающего цену. — Друг мой, проявив некоторую твердость и хорошо профильтровав информацию, мы в три дня повер-

чём общественное мнение в любую сторону!.. К тому же большинству французов всегда льстил франко-русский союз. Нетрудно будет лишний раз сыграть на этой струнке.

— Ну, это как сказать! — возразил Антуан, подходя ближе. Пропитанной эфиром ваткой он протер место укола и быстрым движением запустил иглу глубоко в мышцу. Молча наблюдал он за шприцем, где быстро понижался уровень жидкости, затем вынул иглу. — Французы, — продолжал он, — восторженно приняли франко-русский союз. Но сейчас им впервые приходится подумать, к чему он их обязывает... Полежите минутку... О чём, собственно, гласит наш договор с Россией? Никому это не известно.

Он не задал прямого вопроса, но Рюмель охотно дал ответ.

— В тайны богов я не посвящен, — сказал он, приподнимаясь на локте. — Я знаю... то, что знают за министерскими кулисами. Заключено было два предварительных соглашения, в тысяча восемьсот девяносто первом и в тысяча восемьсот девяносто втором году, затем настоящий союзный договор, подписанный Казимир-Перье<sup>1</sup> в тысяча восемьсот девяносто четвертом году. Весь текст мне не известен, но — это ведь не государственная тайна — Франция и Россия обязались оказать друг другу военную помощь в случае, если одной из них станет угрожать Германия... С тех пор был у нас господин Делькассе. Был господин Пуанкаре, ездивший в Россию. Все это, ясное дело, уточнило и углубило наши обязательства.

— Значит, — заметил Антуан, — если сейчас Россия вмешается, противодействуя германской политике, это она станет угрожать Германии! И тогда, по условиям договора, мы не обязаны будем...

У Рюмеля появилась и быстро исчезла полуулыбка-полутри-маса.

— Все это, друг мой, гораздо сложнее... Предположим, что Россия, неизменная покровительница южных славян, порвет завтра с Австроией и объявит мобилизацию, чтобы защитить Сербию. Германия, согласно договору с Австроией от тысяча восемьсот семьдесят девятого года, должна будет мобилизоваться против России... Ну, а эта мобилизация вынудила бы Францию выполнить обязательства, данные России, и немедленно мобилизоваться против Германии, угрожающей нашему союзнику... Это произошло бы автоматически...

Антуан не смог подавить раздражения:

— Таким образом, эта дорогостоящая франко-русская дружба, которая, как хвастались наши дипломаты, нас якобы обезопасила, теперь, оказывается, приводит к совершенно обратному! Она не гарантия мира, а угроза войны!

<sup>1</sup> Казимир-Перье, Жан-Поль-Пьер (1847—1907) — президент Франции в 1894—1895 гг.

— Дипломаты найдут, что вам ответить... Подумайте, каково было положение Франции в Европе в тысяча восемьсот девяностом году. Разве нашим дипломатам можно поставить в вину, что они предпочли лучше снабдить родину обоюдоострым оружием, чем оставить ее вовсе безоружной?

Аргумент этот показался Антуану сомнительным, но он не нашелся, что возразить. Он плохо знал современную историю. Впрочем, все это непосредственного значения не имело.

— Как бы там ни было, — продолжал он, — но, если я вас правильно понимаю, сейчас наша судьба зависит только от России? Или, точнее, — добавил он, поколебавшись одну секунду, — все зависит от нашей верности франко-русскому договору?

У Рюмеля опять появилась судорожная улыбка.

— Нет, дорогой мой, не рассчитывайте на то, что мы сможем отказаться от своих обязательств. В настоящий момент нашей внешней политикой руководит господин Бертело. Пока он остается на этом посту и пока за ним стоит господин Пуанкаре, не сомневайтесь, что верность наша союзному договору не будет поставлена под вопрос. — Он поколебался. — Говорят, это было ясно видно на заседании совета министров, последовавшем за неслыханным предложением Шена...

— Тогда, — вскричал с раздражением Антуан, — раз нет никакой возможности избавиться от русской опеки, надо заставить Россию соблюдать нейтралитет!

— А как это сделать? — Рюмель смотрел на Антуана в упор своими голубыми глазами. — Может быть, теперь уже и поздно... — прошептал он.

Затем, после минутного молчания, он снова заговорил:

— Военная партия в России очень сильна. Поражение в русско-японской войне оставило у русского генерального штаба горький осадок и стремление взять реванш; к тому же, они до сих пор не примирились с камуфлетом, который им устроила Австрия, анексировав Боснию и Герцеговину. Такие люди, как господин Извольский, — между прочим, он сегодня должен прибыть в Париж, — и не скрывают, что хотят европейской войны, чтобы расширить границы России до Константинополя. Они предпочли бы отсрочить войну до кончины Франца-Иосифа и, если возможно, до тысяча девятьсот семнадцатого года, но, что же делать, если случай представится раньше...

Он говорил быстро, задыхаясь, даже вид у него стал вдруг поглощенный. Морщинка озабоченности пролегла между бровями. Казалось, с лица его спала маска.

— Да, дорогой мой, по совести говоря, я начинаю отчаяваться... Сейчас, перед вашими друзьями, мне, конечно, пришлось хорохориться. Но на самом-то деле все идет из рук вон плохо. Так плохо, что министр иностранных дел не стал сопровождать президента в Данию и возвращается во Францию кратчайшим путем... В полдень новости были плохие. Германия, вместо того

чтобы с готовностью согласиться на предложение ээра Эдуарда Грея, виляет, придиается ко всяkim мелочам и, видимо, старается все сделать, чтобы провалить совещание по арбитражу. Но действительно ли она стремится обострить положение? Или же отвергает мысль о совещании четырех, ибо заранее знает, что, принимая во внимание натянутость австро-итальянских отношений, на этом судилище Австрия будет неизбежно осуждена тремя голосами против одного?.. Это еще наименее невыгодное для нее предположение... и, пожалуй, наиболее вероятное. Но тем временем события развиваются... Повсюду принимаются меры военного характера...

— Военного?

— Ничего не поделаешь: все государства, естественно, представляют себе возможность мобилизации и на всякий случай готовятся к этому... В Бельгии уже сегодня состоялось под председательством де Броквиля<sup>1</sup> чрезвычайное совещание, очень похожее на превентивный военный совет: предполагается призвать из запаса на действительную службу три года, чтобы иметь под ружьем на сто тысяч человек больше... У нас то же самое: сегодня утром на Ке д'Орсе было заседание кабинета министров, где пришлось, из осторожности, обсудить вопрос о подготовке к войне. В Тулоне, Бресте корабли сосредоточиваются в портах. В Марокко послано телеграфное распоряжение незамедлительно погрузить на суда пятьдесят батальонов чернокожих войск для отправки во Францию. И так далее... Все правительства одновременно вступают на этот путь, и, таким образом, мало-помалу положение ухудшается само собою. Ибо в генеральном штабе нет ни одного специалиста, который не знал бы, что раз уж приведен в действие дьявольский механизм, именующийся всеобщей мобилизацией, то просто физически невозможно замедлить подготовку и выжидать. И вот, даже самое миролюбивое правительство оказывается перед дилеммой: надо развязывать войну только потому, что к ней готовишься. Или же...

— Или же отменить прежние приказы, дать задний ход, остановить подготовку!

— Вот именно. Но тогда надо иметь полную уверенность в том, что в течение ряда месяцев мобилизоваться не понадобится...

— Почему?

— Потому что — и это тоже аксиома, бесспорная для специалистов, — внезапная остановка разрушает все составные части этого сложного механизма и на долгое время выводит их из строя. Ну, а какое же правительство в настоящий момент может быть уверенным в том, что ему не придется в ближайшее же время снова объявить мобилизацию?

<sup>1</sup> Броквиль, Шарль де (1860—1940) — премьер-министр Бельгии в 1912—1917 гг.

Антуан молчал. Он с волнением смотрел на Рюмеля. Наконец он прошептал:

— Это чудовищно...

— Самое чудовищное, друг мой, то, что за всем этим, может быть, нет ничего, кроме игры! Все происходящее сейчас в Европе есть, может быть, всего-навсего гигантская партия в покер, в которой каждый стремится выиграть, взяв противника на испуг... Пока Австрия втихую душит коварную Сербию, ее партнер, Германия, принимает угрожающий вид, может быть, лишь с целью парализовать действия России и примирительное вмешательство держав. Как в покере: выигрывают те, кто сможет лучше всего и дольше всего блефовать... Но дело в том, что, как и в покере, никто не знает карт соседа. Никому не ведомо, какова доля хитрости и какова доля подлинной агрессивности в поведении той же Германии или в поведении России. До последнего времени русские всегда пасовали перед германской дерзостью. Поэтому понятно, что Германия и Австрия считают себя вправе рассуждать так: «Если мы станем удачно блефовать, если примем такой вид, будто на все готовы, Россия снова капитулирует». Но возможно также и другое: именно потому, что Россия всегда бывала вынуждена уступать, она на этот раз и вправду бросит на стол свой меч.<sup>1</sup>

— Чудовищно!.. — повторил Антуан.

Безнадежным жестом опустил он на поднос автоклава шприц, который все время держал в руках, и сделал несколько шагов по направлению к окну. Слушая, как Рюмель описывает ему европейскую политику, он испытывал мучительную тревогу пассажира на судне, который внезапно, в разгар шторма, обнаружил, что весь командный состав экипажа сошел с ума.

Наступило молчание.

Рюмель поднялся. Он пристегивал подтяжки. Машинально оглядевшись по сторонам, словно для того чтобы убедиться, что его не слышат, он подошел к Антуану.

— Послушайте, Тибо, — сказал он, понизив голос. — Мне бы не следовало разглашать такие вещи, но ведь вы, как врач, умеете хранить тайну?

Он посмотрел Антуану в лицо. Тот молча наклонил голову.

— Так вот... В России происходят невероятные вещи! Его высокопревосходительство господин Сазонов вроде как заранее поставил нас в известность, что его правительство отвергнет всякие примирительные шаги!.. И действительно, мы только что получили из Петербурга в высшей степени тревожные известия. Намерения России, по-видимому, недвусмысленны: там уже вовсю идет мобилизация! Ежегодные маневры прерваны, воинские части спешно

<sup>1</sup> Согласно преданию, так сделал галльский полководец Бренн, когда к нему явились для ведения мирных переговоров римские послы. Этим жестом он показал, что требует безоговорочной капитуляции перед силой его оружия.

возвратились по местам. Четыре главных русских военных округа — Московский, Киевский, Казанский и Одесский — мобилизуются!.. Вчера, двадцать пятого, или даже, возможно, позавчера, во время военного совета, генеральный штаб добился от царя письменного приказа как можно скорее подготовить «в качестве меры предосторожности» демонстрацию силы, направленную против Австрии... Германия это, без сомнения, известно, и этого вполне достаточно, чтобы объяснить ее поведение. Она тоже начала втайне мобилизацию; и, увы, она имеет все основания торопиться... Впрочем, не далее как сегодня она предприняла весьма важный шаг: она открыто предупредила Петербург, что если русские военные приготовления не прекратятся, и тем более — если они усилятся, она вынуждена будет объявить всеобщую мобилизацию, а это, уточняет она, означало бы европейскую войну... Что ответит Россия? Если она не уступит, ответственность ее, и без того тяжелая, окажется подавляющей... А между тем... маловероятно, чтобы она уступила.

— Ну, а мы-то как во всем этом?

— Мы, дорогой друг?.. Мы?.. Что делать? Отречься от России? И тем самым деморализовать общественное мнение нашей страны накануне, быть может, того дня, когда нам понадобятся все наши силы, когда необходим будет единый национальный порыв? Отречься от России? Чтобы оказаться в полнейшей изоляции? Чтобы поссориться с единственным нашим союзником? Чтобы общественное мнение Англии, прияя в негодование, отвернулось от Франции и России и принудило свое правительство стать на сторону германских держав?..

Его прервали два негромких стука в дверь. И из коридора донесся голос Леона:

— Господина Антуана опять зовут к телефону...

Антуан досадливо отмахнулся:

— Скажите, что я... Нет! — закричал он. — Иду! — И, обратившись к Рюмелю, спросил: — Вы позволите?

— Ну, разумеется, дорогой мой. К тому же ужасно поздно, я бегу... До свиданья...

Антуан быстро прошел в свой маленький кабинет и взял трубку:

— В чем дело?

На противоположном конце провода Анна вздрогнула, пораженная сухостью его тона.

— Да, правда, — кротко произнесла она, — сегодня воскресенье!.. У вас, может быть, собрались друзья...

— В чем дело? — повторил он.

— Я только хотела... Но, если я помешала...

Антуан не ответил.

— Я...

Она угадывала его раздражение и не знала теперь, что сказать, какую ложь придумать. И совсем робко, не найдя ничего лучшего, прошептала:

— А как... вечером?

— Невозможно, — отрезал он. Но тотчас же продолжал более ласковым голосом: — Сегодня вечером, дорогая, невозможно...

Ему вдруг стало жаль ее. Анна почувствовала это и ощутила какую-то мучительную сладость.

— Будь же умницей, — сказал он. (Она услышала его вздох.) — Прежде всего сегодня я занят... Да если бы и был свободен, идти куда-нибудь развлекаться в такой момент...

— Какой момент?

— Послушайте, Анна, вы что, газет не читаете? Вы же знаете, что происходит?

Ее так и передернуло. Газеты? Политика? Из-за такой чепухи он отдала ее от себя? «Наверное, лжет», — подумала она.

— А ночью... в нашей комнатке?.. Нет?

— Нет... Я, наверно, приду поздно, усталый... Уверяю тебя, дорогая... Не настаивай... — И нехотя добавил: — Может быть, завтра. Позвоню завтра, если смогу... До свиданья, дорогая.

И, не дожидаясь ответа, он повесил трубку.

## XLI

Жак ушел, не дожидаясь возвращения брата. Он даже пожалел, что задержался у Антуана, когда на улице Обсерватории привратник сказал ему, что мадмуазель Женни возвратилась уже больше часа тому назад.

Он поднялся по лестнице, шагая через две ступеньки, и позвонил. С бьющимся сердцем старался он уловить мгновение, когда за дверью послышатся шаги Женни, но до него дошел ее голос:

— Кто там?

— Жак!

Он услышал щелканье задвижки, лязг цепочки; наконец дверь открылась.

— Мама уехала, — сказала Женни, объясняя, почему она так тщательно заперлась. — Я только что проводила ее на поезд.

Она все еще стояла в дверях, словно в последний момент, перед тем как впустить его, испытывала какую-то неловкость. Но он смотрел ей прямо в лицо таким открытым и радостным взором, что смущение ее тотчас же рассеялось. Он был тут! Вчераший сон продолжался!

Порывисто и нежно протянул он ей обе руки. Таким же доверчивым и решительным движением отдала она ему свои руки; потом, не отнимая их, отступила на два шага и заставила его переступить через порог.

«Где мне его принять?» — думала она, когда дожидалась его прихода. В гостиной мебель стояла в чехлах. У себя в комнате? Это было ее убежище, место, принадлежавшее исключительно ей, и какое-то чувство, похожее на стыдливость, мешало ей впускать туда кого бы то ни было. Даже Даниэль заходил туда очень редко. Оставались комната Даниэля и комната г-жи де Фонтанен, где обычно проводили время они обе. В конце концов, Женни предпочла комнату брата.

— Пойдемте к Даниэлю, — сказала она. — Это единственная в квартире прохладная комната.

Так как легкого черного платья у нее еще не было, дома она надевала старое летнее платье с открытым воротом, придававшее ей какой-то весенний и спортивный вид. Хотя бедра у нее были узкие, а ноги длинные, ее нельзя было назвать очень гибкой, так как она инстинктивно следила за всеми своими движениями и сознательно старалась сделать свою походку твердой. Но, несмотря на всю эту сдержанность, в стройных ногах и нежных руках ее чувствовалась юная упругость.

Жак шел за нею, весь во власти нахлынувших на него воспоминаний: он не мог не смотреть с волнением по сторонам. Он узнавал все: переднюю с голландским шкафом и дельфтскими блюдами над дверьми; серые стены коридора, на которых г-жа де Фонтанен развешивала когда-то первые наброски своего сына; застекленный красным чулан, в котором дети устроили фотолабораторию; и, наконец, комнату Даниэля с книжной полкой, старинными алебастровыми часами и двумя маленькими креслами, обитыми гранатовым бархатом, где столько раз, сидя против своего друга...

— Мама уехала, — объяснила Женни; чтобы скрыть свое смущение, она стала поднимать штору. — Уехала в Вену.

— Куда?

— В Вену, в Австрию... Садитесь, — сказала она, оборачиваясь к Жаку и совершенно не замечая его изумления.

(Накануне вечером, вопреки ожиданию; ей не пришлось отвечать на расспросы по поводу позднего возвращения домой. Г-жа де Фонтанен, поглощенная приготовлениями к завтрашнему отъезду, — в присутствии Даниэля она не могла этим заниматься, — даже не посмотрела на часы, пока дочери не было дома. Не Женни пришлось давать объяснения, а ее матери, которая, немного стыдясь своей скрытности, поспешила объявить, что уезжает дней на десять: устроить все дела там, на месте.)

— В Вену? — повторил Жак, не садясь. — И вы ее отпустили?

Женни вкратце сообщила ему, как все произошло и как, при первых же возражениях, мать решительно прервала ее, утверждая, что только ее личное присутствие в Вене может положить конец всем их затруднениям.

Пока она говорила, Жак нежно смотрел на нее. Она сидела на стуле перед письменным столом Даниэля, подтянувшись, выпрямившись, с серьезным выражением лица. Резкая складка у рта, немного сжатые губы, — «слишком привыкшие к молчанию», подумал он, — все свидетельствовало о натуре вдумчивой, энергичной. Поза была несколько принужденная; взгляд наблюдал за собеседником, ничего не выдавая. Недоверчивость? Гордость? Застенчивость? Нет: Жак достаточно знал ее, чтобы понимать, насколько естественна эта негибкость, которая выражала лишь определенный оттенок характера, нарочитуюдержанность, некую моральную установку.

Он не решался высказать все, что думал о несвоевременности пребывания в Австрии в данный момент. И потому из осторожности спросил:

— А ваш брат знает об этой поездке?

— Нет.

— Ах, вот как, — сказал он, уже не колеблясь. — Даниэль, я уверен, решительно воспротивился бы этому. Разве госпожа де Фонтанен не знает, что в Австрии идет мобилизация? Что ее границы охраняются войсками? Что уже завтра в Вене может быть объявлено осадное положение?

Тут уже для Женни пришла очередь изумляться. В течение целой недели она не имела возможности прочитать газету. В нескольких словах Жак изложил ей главнейшие события.

Он говорил осмотрительно, стараясь быть правдивым и в то же время не слишком взволновать ее. Вопросы, которые она ему задавала и в которых сквозила легкая недоверчивость, ясно показывали, что в жизни Женни интерес к политике не играл никакой роли. Возможность войны — одной из тех войн, о которых пишется в учебниках истории, — не пугала ее. Мысль, что в случае конфликта Даниэль сразу же окажется под угрозой, даже не пришла ей в голову. Она думала только о материальных затруднениях, которые могли возникнуть для ее матери.

— Очень возможно, — поспешил добавить Жак, — что еще в дороге госпожа де Фонтанен откажется от своего намерения. Ожидайте ее скорого возвращения.

— Вы так думаете? — живо спросила она. И тут же покраснела.

Она призналась ему, что отъезд матери, несмотря на все, даже обрадовал ее, ибо неизбежное объяснение тем самым отодвигалось. Не то, чтобы можно было опасаться неудовольствия матери, поспешно добавила она. Но неприятнее всего была для нее необходимость говорить о себе, обнажать свои чувства.

— Вы уж не забывайте об этом, Жак, — добавила она, серьезно глядя на него. — Мне нужно, чтобы меня угадывали...

— Мне тоже, — сказал он со смехом.

Беседа принимала все более непринужденный характер. Он спрашивал Женни о ней самой, заставляя ее многое уточнять,

помогая ей в самоанализе. Она уступала, не слишком принуждая себя. Его вопросы не вызывали в ней никакого протesta; мало-помалу она начала даже испытывать к нему некоторую благодарность за то, что он их задавал, и первая удивлялась тому, что ей даже приятно отказываться ради него от привычной сдержанности. Но ведь еще никогда никто не влекся к ней так страстно, не глядел на нее таким горячим, овладевающим взглядом; никто никогда не говорил с нею, так заботливо стараясь ничем ее не задеть, так явно желая понять ее до конца. Неизведанная дотоле теплота словно окутывала ее. Ей казалось, что раньше она жила как бы в заточении, но вот стены тюрьмы внезапно раздвинулись перед ней, и открылся простор, о котором она и не подозревала.

Жак беспрестанно и беспрчинно улыбался. Улыбался не столько самой Женни, сколько своему счастью. Оно вскружило ему голову. Он забыл о Европе: ничто не существовало, кроме них двоих. Что бы она ни говорила, даже самое незначительное, представлялось ему бесконечно содержательным, доверительным, интимным, рождая в нем исступленные порывы благодарности. Новое убеждение возникало в нем, преисполняя его гордостью: их любовь не только нечто редкое, драгоценное — она событие совершенно исключительное, ни на что не похожее. Уста их все время произносили слово «душа», и каждый раз это неясное, таинственное понятие звучало для них по-особому, как слово магическое, полное тайн, ведомых только им одним.

— Знаете, что меня удивляет? — вскричал он вдруг. — Что я так мало удивлен! Я чувствую, что в глубине души никогда не сомневался в уготованном нам судьбой.

— Я тоже!

И она и он ошибались. Но чем больше они думали об этом, тем очевиднее представлялось им, что ни на один день не утрачивали они надежды.

— И мне кажется вполне естественным, что я нахожусь здесь... — продолжал он. — Подле вас я, наконец, ощущаю себя в родной обстановке.

— Я тоже.

(И он и она ежесекундно уступали сладостному искущению чувствовать себя едиными, заявлять о своем полном тождестве.)

Она перешла на другое место и теперь сидела прямо против него в позе почти небрежной. Казалось, любовь вызвала в ней даже физическую перемену, проявляясь в каждом ее движении, придавая ей необычное изящество и гибкость. Жак восхищенно наблюдал за этим преображением. Любовным взглядом следил он за игрой теней на поднимающейся и опускающейся груди, за переливом мышц под тканью платья, за ритмом ее дыхания. Он не мог насытиться созерцанием двух беспрестанно движущихся рук, которые искали друг друга, соприкасались и расходились и снова встречались, словно влюбленные голубки. У нее были крошечные

ноготки, круглые, выпуклые, белые, «похожие на две половинки лесного орешка», — подумалось ему.

Внезапно он наклонился к ней поближе.

— Знаете, я открываю столько чудесных вещей...

— Каких?

Чтобы внимательнее слушать его, она оперлась локтем о ручку пресла и прижала подбородок к ладони; четыре пальца охватили скруглости щек, а указательный мягко скользил по губам или на мгновение протягивался к виску.

Он сказал, приблизив к ней лицо и глядя на нее в упор:

— На ярком солнце ваши зрачки и вправду сверкают как два синих камешка, как два светлых сапфира...

Она смущенно улыбнулась и, словно в игре, не желая оставаться в долгу, в свою очередь внимательно оглядела его:

— А я нахожу, что вы, Жак, со вчерашнего дня переменились.

— Переменился?

— Да, и даже очень.

Она приняла какой-то загадочный вид. Он забросал ее вопросами. Наконец из всех ее неопределенных выражений, намеков, уточнений он все же понял то, чего она не решалась высказать прямо: после появления Жака у нее возникло ощущение, что им владеет какая-то тайная забота, не имеющая отношения к их любви.

Резким движением откинул он прядь, свисавшую ему на лоб.

— Ну, вот, — сказал он безо всяких предисловий, — вот что я пережил со вчерашнего дня.

И он обстоятельно поведал ей о ночи, проведенной в садах Тюильри, об утре в «Humanité», о посещении Антуана. Он пускался во всевозможные подробности, расписывал, словно романист, обстановку, людей, передавал речи Стефани, Галло, Филипа, Рюмеля, давал им свою оценку, признавался в том, что его тревожило, на что он надеялся, стараясь создать у нее представление о борьбе, которую он вел против военной угрозы.

Она слушала, не пропуская ни одного слова, растерянная, едва дыша. Она оказалась бесцеремонно втянутой не только в самый центр жизни Жака, но и в водоворот европейского кризиса, оказалась лицом к лицу с грозными проблемами, о которых раньше и понятия не имела. Все здание общественного бытия внезапно заколебалось. Она испытывала панический страх, совсем как те, кто во время землетрясения видит, как вокруг рушатся стены, крыши, все, что обеспечивало защиту, безопасность и представлялось незыблемым.

Что касается деятельности Жака в этом мире, о котором она еще вчера ничего не знала, то об этом у нее не создалось вполне ясного представления. Но для того чтобы оправдать свою любовь к Жаку, ей необходимо было возвести его на пьедестал. Она не сомневалась, что цели у него благородные, что люди, которых он ей

назвал — этот Мейнестрель, этот Стефани, этот Жорес — достойны исключительного уважения. Их надежды должны были быть вполне законны, раз их разделял Жак.

Жак уже не знал удержу. Внимание Женни поддерживало, пьянило его.

—...мы, революционеры... — произнес он.

Она подняла глаза, и он прочел в них удивление. Впервые услышала она, как дорогой ей голос произносит с благоговением слово «революционер», вызывавшее в ее уме образы подозрительных личностей, способных поджигать и грабить богатые кварталы для удовлетворения своих низменных страстей, боязков, которые прячут под курткой бомбы и от которых общество может защищаться только ссылкой на каторгу.

Тогда он заговорил о социализме, о своем вступлении в партию рабочего Интернационала.

— Не думайте, что в партию революции бросил меня ребяческий порыв великодушия. Я пришел к ней после долгих сомнений, в великом душевном смятении, в полном моральном одиночестве. Когда вы меня узнали, я хотел верить в братство человечества, в торжество истины, справедливости, но я полагал, что оно может наступить легко, что оно уже близко. Я скоро понял, что это самообман, и все во мне померкло. Тогда именно пережил я самые тяжелые в моей жизни минуты. Я пал духом... Я опустился на дно отчаяния, на самое дно... Так вот, меня спас революционный идеал, — продолжал он, с волнением и благодарностью думая о Мейнестреле. — Революционный идеал внезапно расширил, озарил мой горизонт, указал непокорному и бесполезному существу, которым я был с детских лет, что в жизни есть смысл... Я понял, что нелепо верить, будто торжество справедливости может наступить легко и быстро, но что еще более нелепо и преступно приходить в отчаяние! Я понял прежде всего, что есть способ действительно верить в наступление этого торжества! И что мой инстинктивный бунт может превратиться в действие, если я вместе с другими, такими же бунтарями, отдаю свои силы прогрессивному общественному движению!

Она слушала не перебивая. Впрочем, традиционный протестантизм ее семьи достаточно подготовил ее к принятию той мысли, что общество вовсе не обязательно должно существовать на какой-то совершенно незыблемой основе и что долг человека — утверждать свою личность и последовательно доводить до самого конца действие, продиктованное ему совестью. Жак чувствовал, что она его понимает. В молчании Женни он ощущал пробуждение чуткого ума, уравновешенного и здравого, плохо, разумеется, подготовленного для теоретических рассуждений, но способного обрести свободу и стать выше предрассудков. А за этой никогда не покидавшей ее сдержанностью он ощущал трепет чувствительной души, готовой служить любому великому делу, достойному того, чтобы ему всем пожертвовали.

Все же она не смогла удержаться от недоверчивой и почти небодобрильной гримаски, когда Жак принялся доказывать, что капиталистическое общество, в котором она жила, ничего не подозревая, узаконивает возмутительную несправедливость. Она мало размышляла о неравенстве имущественного положения людей, но принимала его как неизбежное следствие неравенства человеческих натур.

— Ах, — вскричал он, — мир обездоленных, Женни! Я уверен, что вы не представляете его себе таким, каков он в действительности. Иначе вы не стали бы качать головой, как сейчас... Вы не знаете, что тут, рядом с вами, существует необозримое множество несчастных, для которых вся жизнь сводится к тому, чтобы тяжко трудиться день за днем, гнуть спину на работе, без сколько-нибудь приличного вознаграждения, без уверенности в завтрашнем дне, без возможности на что-либо надеяться! Вам известно, что добывают уголь, строят фабрики. Но думаете ли вы хоть изредка о миллионах тех людей, которые всю свою жизнь задыхаются во мраке шахт, о миллионах других, у которых нервы изнашиваются раньше времени в механическом грохоте заводов, или хотя бы о находящихся в чуть лучшем положении тружениках полей, чья доля — ежедневно ковыряться в земле по десять, двенадцать, четырнадцать часов в сутки, в зависимости от времени года, чтобы продавать обкрадывающим их посредникам добытое в поте лица? Вот она, людская страда! Преувеличиваю? Нисколько. Я говорю о том, чему сам был свидетелем... Чтобы не подохнуть с голода, в Гамбурге я вынужден был наняться на поденную работу вместе с сотней других несчастных парней, движимых той же необходимостью, что и я, — раздобыть себе кусок хлеба. В течение трех недель я с утра до вечера подчинялся начальникам рабочих бригад, похожим на надсмотрщиков над галерными рабами, и слушал их команду: «Подымай эти балки! Таскай эти мешки! Кати тачки с песком!» По вечерам мы уходили из порта, унося свой жалкий заработок, и набрасывались на еду, на водку, изнуренные, облепленные грязью, с выпотрошенным телом и опустошенным мозгом, измочаленные до того, что уже даже не возмущались! Может быть, вот что самое ужасное: большинство этих несчастных даже не представляют себе, что являются жертвами социальной несправедливости! Просто понять нельзя, откуда у них берутся силы выносить, как нечто вполне естественное, это страшное, каторжное существование! Я-то смог убежать из этого ада, потому что, на свое счастье, знал несколько языков, потому что умел накропать газетную статейку... Но другие? Они продолжают работать как каторжники!.. Вправе ли мы, Женни, мириться с тем, что все это существует, что оно продолжается, что оно представляет собою обычную долю человека на земле?

Ну, а заводы? Одно время я работал в Фиуме на пуговичной фабрике заправщиком. Я стал рабом машины, которую надо было заправлять без перерыва каждые десять секунд! Невозможно было

хоть на минуту дать отдых мысли или руке... Одно движение, всегда одно и то же, и его приходилось повторять в течение многих часов. Да, согласен — это не была настоящая усталость. Но, клянусь вам, я уходил оттуда более отупевший от этой бессмысленной работы, чем в Гамбурге, после того как в течение двух часов перетаскивал мешки с цементом, пыль от которого разъедала мне глаза и сушила глотку!.. На одном мыловаренном заводе в Италии я видел женщин: их работа состояла в том, что они каждые десять минут поднимали и переносили ящики с мыльным порошком, весом по сорок кило каждый. А остальное время они должны были, стоя, поворачивать рычаг, такой тугой рычаг, что для того чтобы приводить его в движение, им приходилось упираться ногами в стену. И в течение восьми часов в день они делали эту работу... Я ничего не выдумываю. В Пруссии в одной скорняжной мастерской я видел семнадцатилетних девушек, которые с утра до вечера чистили щеткой меха, и этим бедняжкам приходилось глотать столько шерсти, что они не могли продолжать работу, если не выходили по нескольку раз в день извергать всю проглоченную шерсть рвотой... И за какую ничтожную плату! Ибо повсюду принято, чтобы женщина за ту же работу, которую делает мужчина, получала меньше, чем он...

— Почему? — спросила Женни.

— Потому, что предполагается, что у нее есть отец или муж, которые ей помогают...

— Часто это ведь так и есть, — сказала она.

— Вовсе нет. Если этим несчастным приходится работать, то не потому ли, что в нашем обществе мужчина недостаточнорабатывает, чтобы прилично содержать тех, кто находится у него на иждивении? Я привел вам в пример иностранных рабочих. Но пойдите как-нибудь утром в Иви, в Плюто, в Бийянкур...<sup>1</sup> Около семи часов утра вы можете видеть целую вереницу женщин, отдающих своих детей в ясли, чтобы иметь возможность надрываться над работой в цехах. Хозяева, организовавшие эти ясли (за счет завода), воображают, — и, вероятно, вполне искренне, — что они благодетели своих рабочих... Можете себе представить, какую жизнь ведет мать семейства, которая прежде чем идти отрабатывать свои восемь часов физического труда, встала в пять утра, чтобы сварить кофе, помыть и одеть ребятишек, хоть немного прибрать комнату и к семи часам явиться на работу? Ну, разве не чудовищно? И все же это так. И за счет этих загубленных жизней процветает капиталистическое общество... Ну, скажите, Женни, можем ли мы это терпеть? Можем ли мы дольше терпеть, чтобы капиталистическое общество процветало за счет этих жизней, принесенных ему в жертву? Нет!.. Но для того чтобы это и все остальное изменилось, нужно, чтобы власть перешла в другие руки: нужно, чтобы пролетариат завоевал политическое господ-

<sup>1</sup> Рабочие районы Парижа.

ство. Теперь вам понятно? Вот смысл этого слова — «революция», — которое вас, видимо, так пугает... Нужно, чтобы новая и совершенно иная организация общества позволила человеку не прозябать, а жить! Нужно возвратить ему не только причитающуюся ему часть материальной прибыли, но и ту часть свободы, досуга, благополучия, без которых он не сможет развиваться сообразно своему человеческому достоинству.

— «Своему человеческому достоинству»... — задумчиво повторила Женни.

Внезапно она осознала, — и смутилась от этого, — что достигла двадцатилетнего возраста, ничего не зная о труде и нищете, царящих в мире. Между всей массой трудящихся и ею, буржуазной барышней 1914 года, классовые перегородки отличались такой же непроницаемостью, как те, что стояли между различными кастами античной цивилизации... «Однако знакомые мне богачи — совсем не чудовища», — наивно говорила она себе. Она думала о протестантских благотворительных организациях, в которых принимала участие ее мать и которые «оказывали помощь» нуждающимся семьям. Она почувствовала, что краснеет от стыда. Благотворительность! Теперь она поняла, что эти бедняки, просившие милостыню, не имеют ничего общего с эксплуатируемыми трудящимися, которые борются за право жить, за независимость, за свое человеческое достоинство. Эти бедняки вовсе не представляли собою народа, как она глупейшим образом считала: они были только паразитами буржуазного общества, почти столь же чуждыми миру трудящихся, о котором говорил Жак, как и те дамы-патронессы, которые их посещали. Жак открыл ей, что существует пролетариат.

— Достоинство человека, — повторила она еще раз. И ее интонация свидетельствовала о том, что она придает этим словам их истинный смысл.

— О, — заметил он, — первые результаты неизбежно будут ничтожны... Трудящийся, которого освободит революция, бросится прежде всего удовлетворять свои самые эгоистические потребности, даже, пожалуй, самые низменные... С этим придется примириться: желания низшего порядка должны быть удовлетворены в первую очередь, для того чтобы стал возможным истинный прогресс... внутренний... — Он поколебался, прежде чем добавить: — Развитие духовной культуры... — Голос его зазвучал глуше. Знакомая тревога сжала ему горло. Все же он продолжал: — Мы, увы, вынуждены примириться с необходимостью: революция в области общественных установлений намного предшествует революции в области нравов. Но нельзя... нет, мы просто не имеем права сомневаться в человеке... Я хорошо вижу все его пороки! Но я верю, я хочу верить, что они являются в значительной мере следствием существующего общественного строя... Надо бороться с искушением впасть в пессимизм, нужно воспитать в себе веру в человека!.. В человеке есть, должно быть, тайное неистребимое стремление к величию... И надо терпеливо раздувать этот

уголек, тлеющий под пеплом, чтобы он разгорался, чтобы он, может быть, в один прекрасный день вспыхнул ярким пламенем!

Она решительно кивнула головой в знак одобрения. Выражение ее лица было энергичнее чем когда-либо, взгляд полон серьезности.

Он улыбнулся от радости.

— Но перемены в общественном строе — это дело будущего...

Сперва — самое неотложное: сейчас надо помешать войне!

Внезапно он подумал о свидании со Стефани и бегло взглянул на алебастровые часы. Но они стояли. Он взглянул на свои карманные и сразу же вскочил.

— Уже восемь часов? — воскликнул он, словно проснувшись. — А через четверть часа я должен быть у Биржи!

Тут он сразу осознал, какой неожиданный и сорванный оборот принял их беседа. Он испугался, что Женни разочарована, и стал извиняться.

— Нет, нет, — тотчас же прервала его она. — Я хочу знать, что вы думаете обо всем решительно... Хочу узнать вашу жизнь... Понять... — И страсть, звучавшая в ее голосе, казалось, говорила: «Доверяясь мне, показывая себя таким, каков вы есть, вы даете мне лучшее доказательство своей нежности, то доказательство, которое мне всего дороже!»

— Завтра, — продолжал он, идя к двери, — я приду пораньше, можно? Сразу же после завтрака.

Она улыбнулась, и все лицо ее озарилось до самой глубины зрачков. Она хотела бы ответить: «Да, приходите, бывайте со мной как можно больше... Только когда вы здесь, я чувствую, что живу!», но покраснела, замолчала и пошла за ним через всю квартиру.

Перед дверью в гостиную, которая была полуоткрыта, он остановился.

— Можно? У меня связано столько воспоминаний...

Ставни были закрыты. Она вошла первая и открыла окно.

У нее была своя особенная походка, своя манера проходить по комнате, сразу приниматься за то, что она намеревалась сделать, без всякой резкости, но с тихой и непреклонной твердостью.

От сложенных занавесей, свернутых ковров, натертого паркета поднимался запах залежавшейся материи и мастики. Жак, улыбаясь, обозревал все. Он вспоминал свой первый визит в сопровождении Антуана... Женни с надутым видом стояла на балконе, облокотившись на перила. А он оставался тут, в углу, глупо застыв перед этой стеклянной горкой... Ему не нужно было приподнимать чехол, который скрывал ее сейчас, чтобы вновь увидеть бон-боньерки, веера, миниатюры, все безделушки, которые он рассматривал для виду в тот день и которые находил все на том же самом месте в течение ряда лет. Отличные друг от друга облики Женни, какой она была все эти годы, проходили перед его взором, словно кальки, наложенные на подлинный рисунок. Он вспо-

минал ее позы и движения, когда она была девочкой, потом юной девушкой, вспоминал, как изменялось ее настроение, ее неосуществленные порывы, ее манеру внезапно краснеть, ее полупризнания...

Он с улыбкой обернулся к ней. Угадывала ли она его мысли? Быть может. Она не говорила ни слова. Несколько мгновений он молчаливо глядел на нее. Сегодня он вновь обрел ее тут, в этой самой гостиной; как тогда, она в совершенстве владела собой, сдержанная, но без всякой робости, с тем же честным, немного суровым взглядом, с чистым и полным тайны лицом.

— Женни, я бы хотел, чтобы вы мне показали также комнату вашей мамы; можно?

— Пойдемте, — сказала она, не выказав удивления.

Он знал до малейших деталей также и эту комнату, со стенами, увешанными фотографическими карточками, с большой кроватью, застланной зеленым шелковым покрывалом и покрытой гипюром. Даниэль вводил его в эту комнату, предварительно постучав в дверь. Чаще всего г-жа де Фонтанен сидела в одном из двух больших кресел перед камином под розовым отсветом абажура, читая какой-нибудь трактат по вопросам морали или же английский роман. Она клала открытую книгу на колени и встречала обоих молодых людей сияющей улыбкой, как будто ничто не могло обрадовать ее больше, чем это посещение. Она усаживала Жака против себя и, ободряюще глядя на него, расспрашивала о его жизни, об учении. И если Даниэль пытался поправить падающие головешки, мать быстрым движением, словно играя, отбирала у него щипцы. «Нет, нет, — смеясь, говорила она, — оставь, ты не знаешь привычек огня!»

Ему пришлось сделать усилие, чтобы оторваться от этих воспоминаний.

— Пойдемте, — сказал он, направляясь к выходу.

Женни проводила его в переднюю.

Он внезапно поглядел на нее с таким серьезным видом, что ее охватил какой-то беспрчинный страх, и она опустила голову.

— Были вы когда-нибудь счастливы здесь? По-настоящему счастливы?

Прежде чем ответить, она стала добросовестно рыться в своем прошлом, вновь пережила в течение нескольких секунд все ушедшие годы, когда она была ребенком, впечатлительным и скрытым, многое понимающим, сосредоточенным и молчаливым. В сером однообразии этих лет были, правда, просветы: нежность матери, любовь Даниэля... И все же — нет... Счастливой, по-настоящему счастливой? Нет, никогда.

Она подняла глаза и отрицательно покачала головой.

Она увидела, как он глубоко вздохнул, решительным жестом откинул со лба свою прядь и вдруг улыбнулся.

Он ничего не сказал; он не смел обещать ей счастье, но, не переставая улыбаться и смотреть ей в глаза, в самую их глубину, взял обе ее руки, как сделал это, когда пришел, и прижал их к своим губам. Она же не спускала с него глаз, все время чувствуя, как сердце ее бьется, бьется...

Лишь гораздо позже она поняла, с какой отчетливостью образ Жака — такой, каким он стоял здесь, склонившись к ней, — запечатлелся именно в этот момент в ее памяти; с какой резкостью, словно в галлюцинации, должны были в течение всей ее жизни возникать перед нею этот лоб, эта темная прядь, этот пронизывающий взгляд, непокорный и смелый, эта доверчивая улыбка, так и сиявшая обещанием счастья...

### XLIII

Напоминая какую-то далекую провинцию, оглушительный перезвон колоколов церкви св. Евстахия своим гулом наполнил двор большого дома и рано разбудил Жака. Накануне вечером, до того момента, когда им овладел сон, Жак раз двадцать вспоминал свое посещение квартиры на улице Обсерватории, вызывая в памяти все новые и новые подробности. Несколько минут он лежал, вытянувшись на кровати, и равнодушно обозревал обстановку своего нового жилища. На стенах проступали пятна сырости, потолок облупился, на крючках висела чья-то ветхая одежда. На шкафу были нагромождены связки брошюр и листовок. Над цинковой умывальной чашкой поблескивало дешевое зеркальце, покрытое следами брызг. Какую жизнь вел товарищ, которому принадлежала эта комната?

Окно всю ночь оставалось открытым; несмотря на ранний час, со двора поднималась зловонная духота.

«Понедельник, двадцать седьмого, — сказал он про себя, заглянув в свою записную книжку, лежавшую на ночном столике. — В десять утра ребята из В.К.Т... Затем нужно будет заняться вопросом об этих деньгах, повидаться с нотариусом, с биржевым маклером... Но в час я буду у нее, буду с нею!.. Потом в половине пятого собрание в Вожирае в честь Книппердинка... В шесть пойду в «Libertaire»... Вечером — манифестация... Вчера в воздухе так и пахло уличными схватками. Сегодня может завариться каша... Не вечно на бульварах хозяйничать националистической молодежи! Подготовка к вечерней манифестации идет хорошо. Всюду расклеены афиши... Федерация строительных рабочих выпустила возвзвание к профессиональным союзам... Важно, чтобы это профессиональное движение было прочно связано с деятельностью партии...»

Он выбежал в коридор, налил в кувшин воды из-под крана и, обнажившись до пояса, облился прохладной водой.

Внезапно ему припомнился Манюэль Руа, и он мысленно продолжал свой спор с молодым врачом: «По сути дела вы обвиняете в антипатриотизме тех, кто восстает против вашего капитализма! Достаточно выступить против вашего строя, чтобы прослыть плохим французом! Вы говорите: «родина», — ворчал он, обливая голову, — а думаете: «общество», «класс»! Защита родины у вас не что иное, как замаскированная защита вашей социальной системы!» Зажав в руках концы полотенца, он крепко растер себе спину, мечтая о грядущем мире, где различные страны будут существовать в качестве автономных местных федераций, объединенных под эгидой одной пролетарской системы.

Затем мысль его снова вернулась к профессиональному движению: «Чтобы делать настоящее дело, надо работать внутри профессиональных союзов...»

Тут он слегка нахмурился. Зачем он здесь, во Франции? Да, информация; и он старается справиться с этим делом как можно лучше: еще вчера он отоспал в Женеву несколько кратких «донассий», которые Мейнестрель, наверно, сумеет использовать. Но он никак не переоценивал этой роли наблюдателя и осведомителя. «Принести пользу, настоящую пользу... Действовать...» Он приехал в Париж с этой надеждой, и его злило то, что он играет роль простого зрителя, только регистрирует разговоры, новости и ничего не делает, — просто не может ничего сделать! Никакое действие невозможно сейчас в области международных революционных связей, которой он себя силою вещей ограничил. Не может быть никакого реального действия для тех, кто не член настоящего боевого отряда, кто не входит — и уже довольно давно — в какую-нибудь конкретную, вполне оформленную организацию. «Это и есть проблема одиночки перед лицом революции, — подумал он с внезапным чувством уныния. — Я отрекся от буржуазии, охваченный внезапным стремлением бежать... Это было возмущение одиночки, не классовый протест... Я все время занимался самим собою, искал в самом себе... «Никогда ты не станешь настоящим революционером, камрад!» Ему вспомнились упреки Митхерга. И, подумав об австрийце, о Мейнестреле, обо всех тех смелых и реальных политиках, кто раз навсегда примирился с необходимостью революционного кровопролития, он почувствовал, как его снова хватает за горло мучительный вопрос о насилии... «Ах, если бы мне суметь когда-нибудь освободиться... Отдаться целиком... Освободиться, отдавшись без остатка...»

Он кончил одеваться в том состоянии смятения и подавленности, которое часто на него находило, но, к счастью, продолжалось недолго, быстро рассеиваясь при столкновении с кипучей внешней жизнью.

«Ну, пойдем за новостями», — встряхнувшись, сказал он самому себе.

Этой мысли было достаточно, чтобы придать Жаку мужества. Он повернул ключ в замке и быстро вышел на улицу.

Из газет он узнал не слишком много. Правые листки подняли шум вокруг демонстраций, устроенных Лигой патриотов перед статуей Страсбурга. В большинстве же тех органов, которые давали информацию, официальные сообщения щедро обволакивались многословными и противоречивыми комментариями. Казалось, газеты получили директиву осторожно перемежать нотки беспокойства и надежды на благополучный исход. Левая пресса призывала всех сторонников мира прийти вечером демонстрировать на площадь Республики. «Bataille syndicaliste» на первой странице выставляла лозунг: «Сегодня вечером — все на бульвары!».

Прежде чем отправиться на улицу Бонди, где свидание у него назначено было лишь около десяти, Жак забежал в «Humanité».

У кабинета Галло к нему пристала старая партийная активистка, с которой он был знаком, так как встречался с ней на совещаниях в «Прогрессе». Она уже пятнадцать лет была членом партии и в настоящее время работала редактором в «Femme libre».<sup>1</sup> Ее называли «тетка Юри». Она пользовалась всеобщей симпатией, хотя все старательно избегали попадаться ей на глаза, спасаясь от ее невероятной болтливости. Бесконечно услужливая, готовая, не щадя себя, целиком отдаваться любому благородному делу, она ужасно любила рекомендовать людей друг другу и проявляла совершенную неутомимость, несмотря на свой возраст и болезнь (у нее было расширение вен), когда речь шла о том, чтобы найти занятие для безработного или вообще выручить товарища. Она мужественно укрывала у себя Перине, когда у него были неприятности с полицией. Это было странное создание. Седые растрепанные пряди волос придавали ей на митингах вид «керосиницы».<sup>2</sup> Голова ее до сих пор оставалась красивой. «Фасад у нее сохранился, — говорил Перине на своем жаргоне жителя предместий, — но выставку на витрине подмочило дождем». Убежденная вегетарианка, она основала кооператив, ставивший себе целью устроить в каждом парижском квартале социалистическую вегетарианскую столовую. Несмотря на все происходящие вокруг нее события, она не теряла ни одной возможности завербовать новых адептов и теперь, вцепившись в руку Жака, начала читать ему проповедь:

— Спроси у авторитетных людей, мой мальчик! Посоветуйся со специалистами... Твой организм не может гармонично функционировать, твой мозг не в состоянии работать с максимальным напряжением, пока ты упорно кормишь свое тело гнилью, питаешься как стервятник...

Жаку с большим трудом удалось избавиться от нее и одному проникнуть в кабинет Галло.

<sup>1</sup> «Свободная женщина» (франц.).

<sup>2</sup> Так называли женщин-коммунарок 1871 г. реакционные газеты, обвиняя их в поджогах.

Галло был не один. Пажес, его секретарь, подавал ему списки фамилий, которые тот просматривал, делая пометки красным карандашом. Он поднял свою острую мордочку над папками, нагроможденными на столе, и, не прерывая своей работы, указал Жаку на стул.

Он сидел к нему в профиль, и этот профиль грызуна ничем почти не напоминал человеческий. Все лицо его составляла в конце концов одна лишь косая и словно ускользающая линия лба и носа. Линия эта терялась наверху во всклокченной щетине седоватых волос, а внизу — в бороде, которая торчала как вытирашка для перьев и в которой прятались глубоко запавший рот и тупой подбородок. Жак всегда с удивлением и любопытством рассматривал Галло, как рассматривают ежа, когда выпадает исключительный случай застать его в тот момент, пока он еще не свернулся в шар.

Внезапно дверь распахнулась, точно от сильного ветра, и появился Стефани без пиджака; рукава его были засучены до локтя и обнажали узловатые руки; на носу, похожем на птичий клюв, прочно сидели очки. Он принес резолюцию, принятую накануне в Брюсселе съездом профессиональных организаций.

Галло встал, не забыв взять составленный Пажесом список и сунуть его в одну из папок. Втроем они некоторое время обсуждали резолюцию бельгийского съезда, не обращая внимания на Жака. Затем стали обмениваться впечатлениями о последних новостях.

Сегодня утром, бесспорно, политическая атмосфера казалась менее напряженной. Новости из Центральной Европы давали основание питать кое-какие надежды. Австрийские войска все еще не перешли Дунай. Эта передышка, после того как Австрия так торопилась порвать с Сербией, была, с точки зрения Жореса, показательной. В сербском ответе было проявлено столько самой очевидной доброй воли и негодование держав было столь единодушно, что Вена явно не решалась еще начинать военные действия. С другой стороны, угрозе мобилизации, исходившей накануне от Германии и России и столь взволнованвшей все министерства иностранных дел, казалось, в конечном счете можно было придать более благоприятный смысл: многие полагали, что этот акт есть проявление благоразумной энергии и что он продиктован искренним желанием сохранить мир. И действительно, непосредственные результаты оказались довольно благоприятными: Россия добилась от Сербии обещания отступить, не принимая боя, в случае наступления австрийцев. Это дало бы возможность выиграть время и найти примирительный выход.

Жорес получил разнообразные и довольно утешительные сведения, касающиеся международного отпора войне. В Италии депутаты-социалисты должны были съехаться в Милане, чтобы обсудить положение и подчеркнуть пацифистскую позицию, занятую итальянской социалистической партией. В Германии никакие энергичные меры правительства не смогли заткнуть рот оппозиционным силам: на завтра в Берлине должна была быть назначена большая

антивоенная демонстрация. По всей Франции социалистические и профсоюзные организации были начеку и обсуждали планы забастовки в отдельных районах.

Вскоре Стефани доложили, что его ожидает Жюль Гед. Жак, торопившийся на свое свидание, вышел из комнаты вместе с ним и проводил его до кабинета.

— Планы для отдельных районов? — спросил он. — Чтобы в случае войны принять участие во всеобщей забастовке?

— Разумеется, во всеобщей, — ответил Стефани. Но Жаку показалось, что в тоне его не было достаточной уверенности.

Кафе «Риальто» находилось на улице Бонди. Благодаря тому, что по соседству помещалась Всеобщая конфедерация труда, оно стало постоянным местом сбора для особо активных работников профессиональных союзов. Жак должен был встретиться там с двумя деятелями В.К.Т.; войти с ними в сношения просил его Ричардли. Один был прежде учителем, другой — мастером с металлургического завода.

Беседа длилась уже почти целый час. Жак, очень заинтересованный новыми для него данными о разрабатывавшихся в настоящий момент методах сотрудничества между В.К.Т. и социалистическими партиями в деле их общего сопротивления войне, не собирался прерывать беседу, но неожиданно хозяйка кафе появилась в дверях задней комнаты, предназначенной для подобных совещаний, и громко крикнула:

— Тибо просят к телефону.

Жак колебался — идти ему или нет. Вряд ли кому-либо могло прийти в голову искать его здесь. Наверное, в зале был еще какой-нибудь Тибо?.. Но так как никто не пошевелился, он решил пойти и выяснить, в чем дело.

Это был Пажес. Жак вспомнил, что действительно, выйдя из кабинета Галло, он упомянул о предстоящем свидании на улице Бонди.

— Хорошо, что я тебя поймал! — сказал Пажес. — У меня только что был один швейцарец, которому надо с тобой поговорить... Он со вчерашнего вечера тебя повсюду ищет.

— Что за швейцарец?

— Да такой смешной человечек, карлик с белыми волосами, альбинос.

— А, знаю... Он не швейцарец, а бельгиец. Так он в Париже?..

— Я не хотел говорить ему, где тебя искать. И посоветовал на всякий случай пойти к часу в кафе «Круассан».

«А когда же к Женни?» — подумал Жак.

— Нет, — быстро сказал он. — У меня в час назначено свидание, которое я никак не могу...

— Ладно, твое дело, — отрезал Пажес. — Но, кажется, это срочно. Он хочет тебе что-то передать от Мейнестреля... Словом, я тебя предупредил. До свиданья.

— Благодарю.

«Мейнестрель? Срочное поручение?»

Жак вышел из «Риальто» озабоченный. Он не мог решиться отложить визит на улицу Обсерватории. Все же рассудок пересилил. И прежде чем направиться к нотариусу, он, до крайности раздраженный, зашел в почтовое отделение и нацарапал пневматичку<sup>1</sup> Женни, предупреждая, что не может быть у нее раньше трех.

Нотариальная контора Бейно занимала второй этаж роскошного доходного дома на улице Тронше. При всех иных обстоятельствах важный и толстый мэтр Бейно, весь вид помещения, обстановка, клерки, унылая и насыщенная пылью атмосфера этого бумажного некрополя показались бы Жаку комичными. Его приняли с некоторым почетом. Он был сын и наследник блаженной памяти г-на Тибо и, без сомнения, будущий клиент. Все, от мальчика-рассыльного до самого патрона, питали благоговейное уважение к благоприобретенному состоянию. Его заставили подписать какие-то бумаги. И так как он с явным нетерпением стремился поскорее получить в свое распоряжение этот значительный капитал, были сделаны осторожные попытки разузнать, что он намеревался с ним делать.

— Конечно, — произнес мэтр Бейно, вцепившись пальцами в львиные головы, которыми оканчивались ручки его кресла, — биржа в такой кризисный момент может предоставить случаи совершенно непредвиденные... для того, кто хорошо знает состояние рынка... Но, с другой стороны, риск...

Жак прервал его излияния и распрощался.

В конторе биржевого маклера служащие за решетками своих клеток буквально тряслись в какой-то совершенно необычайной лихорадке. Телефоны трещали. Выкрикивались приказы. Приближался час открытия биржи, и серьезность общеполитического положения заставляла опасаться, что день будет бурный. Когда Жак попросил, чтобы его принял сам г-н де Жонкуа, возникли всякие затруднения. Ему пришлось удовольствоваться разговором с доверенным хозяином. И как только он высказал намерение продать все свои ценные бумаги, ему возразили, что момент неподходящий и что он понесет при этом в общей сложности весьма значительные потери.

— Это неважно, — сказал он.

Вид у него был столь решительный, что биржевик почувствовал к нему уважение. Раз этот странный клиент, замышляя безумие, остается совершенно хладнокровным, значит он располагает секретной информацией и комбинирует какой-нибудь совершенно мастерской трюк. Все же нужно было не менее двух дней, чтобы реализо-

<sup>1</sup> В Париже срочная внутригородская корреспонденция пересыпается по трубам под действием сжатого воздуха.

вать все ценности. Жак встал, заявив, что в среду придет опять и хотел бы тогда же получить в кассе конторы все свое состояние наличными.

Доверенный проводил его до площадки лестницы.

Ванхеде сидел один, словно на насесте, на скамейке у самой двери. Положив локти на стол и зажав подбородок в ладонях, он щурит глаза, разглядывая входящих. На нем был странный колониальный костюм из полотна защитного цвета, такой же вылинявший, как его волосы. И хотя в «Круассане» привыкли ко всяkim одеяниям, он и тут не остался незамеченным.

Завидев Жака, он выпрямился, и его бледное лицо внезапно покрылось краской. Несколько мгновений он не мог произнести ни одного слова.

— Наконец-то! — вздохнул он.

— Так значит, и ты тоже в Париже, мой маленький Ванхеде?

— Наконец! — повторил альбинос дрожащим голосом. — Знаете, Боти, я уже начинал страшно беспокоиться.

— Почему? Что такое случилось?

Приложив ко лбу руку козырьком, Ванхеде осторожно взглянул на соседние столики.

Жак, заинтригованный, сел рядом с ним и приготовился слушать.

— Вы очень нужны, — прошептал альбинос.

Образ Женни мелькнул перед глазами Жака. Он нервным движением откинулся свою прядь и нетвердым голосом спросил:

— В Женеве?

Ванхеде отрицательно покачал растрепанной головой. Он рылся у себя в карманах. Из бумажника он вынул запечатанное письмо без адреса. Пока Жак лихорадочно распечатывал его, Ванхеде шепнул:

— У меня есть для вас еще кое-что. Документы, удостоверяющие личность, на имя Эберле.

В конверте находились два листка почтовой бумаги: на лицевой стороне первой страницы было несколько строк, написанных рукой Ричардли. Вторая страничка казалась совсем чистой.

Жак прочитал:

Пилот на тебя рассчитывает. Подробности письмом. В среду мы встретимся в Брюсселе.

Привет  
Р.

«Подробности письмом...» Жак отлично понимал эту формулу. Чистая страница содержала инструкции, написанные симпатическими чернилами.

— Мне нужно вернуться домой, чтобы расшифровать все это... — Он нетерпеливо вертел письмо между пальцами. — А если бы ты меня не разыскал? — спросил он.

Ванхеде улыбнулся какой-то ангельской улыбкой:

— Со мной Митхерг. В таком случае он сам распечатал бы письмо и выполнил бы все вместо вас... В среду мы должны встретиться со всеми остальными в Брюсселе... Так вы, значит, уже не живете у Льебара, на улице Бернардинцев?

— А где же Митхерг?

— Он тоже разыскивает вас. Я должен встретиться с ним в три часа на бульваре Барбес, у Эрдинга, его соотечественника, где мы остановились.

— Слушай, — сказал Жак, сунув письмо в карман, — я предполагаю не приводить тебя в мою комнату: незачем привлекать внимание привратницы... Но приходи вместе с Митхергом в четверть пятого к трамвайному киоску у Монпарнасского вокзала, знаешь? Я поведу вас на очень интересное собрание на улицу Волонтеров... А вечером, после обеда, мы отправимся все вместе на площадь Республики и примем участие в демонстрации.

Через полчаса, запершись в своей комнате, Жак расшифровал текст сообщения:

Будь в Берлине во вторник 28-го.

Войди в восемнадцать часов в ресторан Ашингера на Потсдамер-плац. Там ты найдешь Тр., который даст тебе точные указания.

Как только вещь будет у тебя в руках, удирай с первым же поездом в Брюссель.

Прими максимальные меры предосторожности. Не бери с собой никаких бумаг, кроме тех, какие тебе передаст В.

Если, паче чаяния, тебя схватят и предъявят обвинение в шпионаже, выбери адвокатом Макса Керфена из Берлина.

Дело подготовлено Тр. и его друзьями. Тр. особенно настаивал на совместной работе с тобой.

— Ну вот, — произнес Жак вполголоса. И тотчас же подумал: — «Принести пользу... Действовать!»

Умывальная чашка распространяла щелочной запах проявителя. Он вытер пальцы и сел на кровать.

«Подумаем, — сказал он про себя, стараясь сохранять спокойствие. — Берлин... завтра вечером... Утренний поезд не доставит меня так рано, чтобы я к шести часам мог быть в назначеннем месте. Я должен отправиться сегодня поездом в двадцать часов... Во всяком случае я успею повидаться с Женни... Хорошо... Но демонстрацию придется пропустить...»

Он размышлял, учащенно дыша. В открытом чемодане, лежавшем на полу, находился железнодорожный указатель. Он взял его и подошел к окну. Жара показалась ему удушающей.

«Почему, на худой конец, не отправиться товаро-пассажирским в двенадцать с четвертью? Ехать придется дольше, но это позволит мне побывать вечером на Бульварах...»

Из соседней квартиры доносился женский голос, звонкий и дрожащий. Женщина, видимо, гладила: стук утюга, который ставили на керосинку, по временам прерывал ее романс.

«Тр. — это Траутенбах... сомнения нет... Что он такое задумал? И почему он захотел, чтобы это был я?»

Он стер пот с лица. Его одновременно обуревали и восторг при мысли о настоящем деле, о таинственном характере данного ему поручения, об опасностях, которым придется подвергнуться, и отчаянье от того, что надо будет расстаться с Женни.

«Раз они назначают мне свидание в среду в Брюсселе, — подумал он, — ничто не помешает мне, если все пройдет благополучно, в четверг вернуться в Париж».

Эта мысль успокоила его. В конце концов, речь идет лишь о трехдневной отлучке.

«Надо сейчас же предупредить Женни... У меня только-только хватит времени, если в четверть пятого я хочу быть у Монпарнасского вокзала...»

Не будучи уверен в том, что ему удастся вернуться к себе до отъезда, он вынул все из бумажника, сделал из своих личных документов и писем пакет, на котором на всякий случай написал адрес Мейнестреля. При нем остались только документы Эберле, привезенные Ванхеде.

Затем он отправился на улицу Обсерватории.

#### XLIV

Женни так быстро открыла на его звонок, словно она со вчерашнего дня ждала его на том месте, где он с нею простился.

— Плохие новости, — пробормотал он, даже не поздоровавшись. — Сегодня вечером я должен ехать за границу.

Она пролепетала:

— Уехать?

Она сильно побледнела и смотрела на него в упор. Он казался таким несчастным оттого, что вынужден был причинить ей это огорчение, и ей хотелось скрыть от него свое собственное отчаяние. Но потерять Жака во второй раз — это было непосильное для нее испытание...

— Я вернусь в четверг, самое позднее — в пятницу, — поспешил добавил он.

Она стояла опустив голову. При этих словах она глубоко вздохнула. На щеках опять появился легкий румянец.

— Три дня! — продолжал он, заставляя себя улыбнуться. — Это недолго, три дня... ведь мы будем счастливы всю жизнь!

Она подняла на него боязливый вопрошающий взгляд.

— Не расспрашивайте меня, — сказал он. — Мне поручено одно дело. Я должен ехать.

При слове «дело» на лице Женни появилось выражение такой тревоги, что Жак, хотя он не знал даже, для чего его посылают в Германию, решил ее успокоить:

— Мне придется только повидаться с некоторыми иностранными политическими деятелями... И так как я бегло говорю на их языке...

Она внимательно смотрела на него. Он резко оборвал на полуслове и, указав на развернутые газеты, лежавшие на столе в передней, спросил:

— Вы видите, что происходит?

— Да, — лаконически ответила она тоном, который достаточно ясно показывал, что теперь она так же хорошо, как и он, сознает всю серьезность происходящих событий.

Он подошел к ней, схватил обе ее руки, сложил их вместе и поцеловал.

— Пойдем к нам, — предложил он, указывая пальцем в сторону комнаты Даниэля. — У меня в распоряжении всего несколько минут. Не надо их портить.

Она, наконец, улыбнулась и пошла впереди него по коридору.

— От вашей матери нет никаких известий?

— Нет, — ответила она, не оборачиваясь. — Мама должна была приехать в Вену сегодня после двенадцати. Я не рассчитываю получить телеграмму раньше завтрашнего дня.

В комнате все было приготовлено для его встречи. Благодаря опущенной шторе освещение казалось особенно уютным. Комната была прибрана, на окне висели свежевыглаженные занавески, часы были заведены. В одном углу письменного стола стоял букет душистого горошка.

Женни остановилась посередине комнаты и смотрела на Жака внимательным, слегка обеспокоенным взором. Он улыбнулся, но ему не удалось вызвать ответную улыбку.

— Что же, — произнесла она нетвердым голосом, — значит, правда? Только несколько минут?

Он устремил на нее нежный, ласковый, немного рассеянный взгляд: это не был отсутствующий взгляд, скорее даже настойчивый и внимательный, но тем не менее вызывавший в Женни легкое чувство неловкости. У нее было ощущение, что с того момента, как он пришел, этот внимательный и пристальный взгляд еще ни разу не проник по-настоящему в глубь ее глаз.

Он увидел, что губы Женни дрожат. Он взял ее за руки и прошептал:

— Не отнимайте у меня мужества...

Она выпрямилась и улыбнулась ему.

— Ну, вот и хорошо, — сказал он, усаживая ее в кресло.

Затем, не объясняя хода своих мыслей, сказал вполголоса:

— Надо верить в себя. Даже больше — надо верить только в себя... Твердую основу в своей внутренней жизни находит только тот, кто ясно осознал, в чем его судьба, и всем пожертвовал этому.

— Да, — прошептала она.

— Осознать свои силы! — продолжал он, словно говоря с самим собою. — И подчиниться им. И тем хуже, если другие считают их злыми силами...

— Да, — повторила она, снова опустив голову.

Уже не раз за последние дни она думала, как сейчас: «Вот он это говорит, и надо все это запомнить... чтобы поразмыслить... чтобы лучше понять...» С минуту она оставалась совершенно неподвижной, опустив ресницы. И в этом склоненном лице было столько сосредоточенной мысли, что Жак смутился и на мгновение замолчал.

Затем сдержанно, но с дрожью в голосе, он прибавил:

— Один из самых решающих дней моей жизни был тот, когда я понял: то, что другие считали во мне заслуживающим осуждения, опасным, есть, наоборот, самая лучшая, самая подлинная часть моего существа!

Она слушала, она понимала, но голова у нее кружилась. За последние два дня один за другим ослабевали, распадались все устои ее внутреннего мира: вокруг нее возникала пустота, и ее еще не могли заполнить те новые ценности, на которых, казалось, зиждались все суждения Жака.

Внезапно она увидела, что лицо Жака просветлело. Он опять улыбался, но по-другому. У него возникла одна идея, и он уже вопросительно смотрел на девушку.

— Слушайте, Женни... Раз вы сегодня вечером одни... Почему бы вам... не пообедать где-нибудь вместе со мной?

Она смотрела на него, озадаченная этим столь простым, но столь необычным для нее предложением.

— Я освобожусь не раньше половины восьмого, — объяснил он. — А в девять мне надо быть на площади Республики. Но хотите, эти полтора часа мы проведем вместе?

— Да.

«У нее какая-то совершенно особая манера непреклонно и в то же время кротко произносить да или нет...» — подумал Жак.

— Благодарю вас! — радостно воскликнул он. — У меня не будет времени зайти за вами. Но если бы вы смогли в половине восьмого быть около Биржи?..

Она утвердительно кивнула головой.

Он встал.

— А теперь я бегу. До скорого свиданья...

Она не пыталась удержать его и молча проводила до лестницы. Когда он уже начал спускаться и обернулся, чтобы попрощаться с нею последней, нежной улыбкой, она перегнулась через перила и, внезапно осмелев, прошептала:

— Я люблю представлять себе вас среди ваших товарищих. В Женеве, например... Только там вы становитесь по-настоящему самим собою.

— Почему вы так говорите?

— Потому что, — тут она замялась и стала подыскивать слова, — всюду, где я вас до этого времени видела, вы словно — как бы это сказать? — чувствуете себя немногого... в чужой стране...

Он остановился на ступеньках и, подняв голову, с серьезным видом смотрел на нее.

— Вы ошибаетесь, — с живостью возразил он, — там я тоже чувствую себя... в чужой стране! Я всюду в чужой стране! Я всегда был в чужой стране! Я и родился таким!.. — Он улыбнулся и добавил: — Только подле вас, Женни, это ощущение отчужденности покидает меня... до некоторой степени...

Улыбка исчезла с его лица. Он, казалось, хотел что-то прибавить, но не решался. Он сделал рукой загадочный жест и удалился.

«Она совершенство, — думал он. — Совершенство, но ее не разгадать до конца!» Это не был упрек: разве влечение, которое он всегда испытывал к Женни, не вызывалось до известной степени этой таинственностью?

Вернувшись к себе, Женни несколько минут стояла у закрытой двери, прислушиваясь к звуку удаляющихся шагов. «Ах, какой он сложный человек!» — внезапно сказала она про себя. Сказала без всякого сожаления: она достаточно сильно любила его всего целиком, чтобы ей было дорого даже это неясное ощущение ужаса, которое он оставлял позади себя, как рябь на воде, как отпечаток ног.

#### XLV

Вожирарское собрание происходило в отдельном кабинете кафе «Гарibalдии» на улице Волонтеров.

Ванхеде и Митхерг, представленные Жаком, были приняты как делегаты швейцарской социалистической партии и усажены в передних рядах.

Жибуэн, председатель, предоставил слово Книппердинку. Труды старого теоретика были написаны по-шведски, но их влияние давно уже перешло за рубежи северных стран. Самые известные из его книг были переведены, и многие из присутствующих их читали. Он хорошо говорил по-французски. Его высокая фигура, увенчанная белоснежными волосами, его лучистый взгляд апостола словно поддерживали престиж его идей. Он был гражданином страны миролюбивой и по сути своей склонной к нейтралитету, где искусственно раздуваемый национализм великих держав континента давно уже вызывал беспокойство и неодобрение. Он с суровой ясностью судил о положении в Европе. Его речь, горячая и уснащенная фактами, постоянно прерывалась овациями.

Жак был рассеян и слушал плохо. Он думал о Женни. Он думал о Берлине. Как только Книппердинк кончил патетическим призывом к сопротивлению, он встал, не дожидаясь обсуждения. Отказавшись от мысли повести Ванхеде и Митхерга в «Libertaire», он назначил им свидание, чтобы вместе отправиться на демонстрацию.

На площади Французской Комедии, взглянув на часы, он несколько изменил свои планы. Монмартр был далеко. Лучше было не идти в «Libertaire», а вернуться в «Humanité» и узнать, какова сейчас политическая температура.

Дойдя до улицы Круассан, он встретил на тротуаре старика Мурлана в рабочей блузке печатника, который вышел из редакции вместе с Милановым. Он прошел с ними несколько шагов.

Жак знал, что Миланов поддерживает отношения с анархистскими кругами, и спросил у него, собирается ли он принять участие в Лондонском съезде в конце этой недели.

— Никакой пользы от этого съезда не будет, — лаконически ответил русский.

— К тому же, — добавил Мурлан, — неизвестно, соберется ли он. Никому не хочется быть сцепанным в такой момент. Все прячутся в нору. В префектуре, в министерстве внутренних дел уже расставляют сети: там уже, говорят, спешно просматривается и дополняется «список Б».

— Какой список? — спросил Миланов.

— Список всех подозрительных. На случай, если дело примет плохой оборот, им надо подготовить мышеловки.

— А что говорят там, наверху? — спросил Жак, указывая на окна «Humanité».

Мурлан пожал плечами. Последние телеграммы совершенно обескураживали.

Из Петербурга, благодаря нескромности одного специального корреспондента «Таймс» — газеты, всегда получавшей хорошую информацию, — были получены сведения, что царь разрешил мобилизовать четырнадцать армейских корпусов, стоящих на австрийской границе: это был ответ на германское предупреждение. Россия не только не дала себя запугать, как можно было одно время надеяться, но она становилась открыто агрессивной: русское правительство угрожало немедленным объявлением всеобщей мобилизации, если только Германия позволит себе начать мобилизацию хотя бы частичную. В то же время берлинские телеграммы сообщали, что правительство кайзера, отбросив всякие предосторожности, действительно готовится к мобилизации. Начальник генерального штаба фон Мольтке<sup>1</sup> спешно вызван из отпуска. Официальная пресса предупреждала германское население о том, что война неминуема. В «Berliner Localanzeiger»<sup>2</sup> появилась большая статья в защиту австрийского ультиматума, призывающего к уничтожению Сербии. Уверяли, что в Берлине с раннего утра охваченные паникой рантые штурмовали банковские кассы.

Во Франции точно так же толпа осаждала кредитные учреждения. В Лионе, в Бордо, в Лилле изъятия вкладов банки пере-

<sup>1</sup> Мольтке (Младший), Гельмут фон (1848—1916) — начальник германского генерального штаба с 1906 по октябрь 1914 г.

<sup>2</sup> «Берлинские известия» (нем.).

живали величайшие затруднения. На парижской бирже сегодня днем произошел настоящий бунт. Одного биржевого зайца, австрийского подданного, обвиняли в том, что он искусственно вызвал понижение процентных бумаг, и толпа набросилась на него с криком: «Смерть шпионам!» Полиция едва успела вмешаться. Префект велел очистить перистиль, и полицейским с трудом удалось помешать толпе растерзать австрийца. Весь инцидент был нелеп, но свидетельствовал о воинственном возбуждении умов.

— А как обстоят дела на Балканах? — спросил Жак. — Австрийские войска все еще не перешли сербской границы?

— Говорят, еще нет.

Но, судя по последним телеграммам, наступление, которое все время откладывалось, должно было начаться сегодня ночью. Галло уверял даже, основываясь на сведениях из надежного источника, что всеобщая мобилизация в Австрии была фактически решена, что завтра она будет объявлена и проведена в течение трех дней.

— У нас, — сказал Мурлан, — офицеры и солдаты, находящиеся в отпуске, железнодорожники и почтовые служащие-отпускники вызваны по телеграфу к месту службы... А сам Пуанкаре подает пример: он возвращается, не останавливаясь в портах, и в среду будет в Дюнкерке.

— Кстати, о вашем Пуанкаре... — сказал Миланов. И он повторил многозначительный анекдот, передававшийся в Вене из уст в уста: 21 июля на приеме дипломатического корпуса в Зимнем дворце президент республики будто бы бросил своим резким голосом австрийскому послу фразу, вызвавшую сенсацию: «Сербия имеет пламенных друзей в лице русского народа, господин посол. А у России есть союзница — Франция!»

— Все та же политика устрашения! — пробормотал Жак, подумав о Штудлере.

Миланов предложил отправиться в «Прогресс» и подождать там начала демонстрации. Но Мурлан отказался.

— Довольно болтовни на сегодня, — буркнул он хмурым тоном.

— У меня есть к вам просьба, — сказал ему Жак, когда Миланов прощался с ними. — Я оставил у себя в комнате, на улице Жур, перевязанный бечевкой пакет с моими личными бумагами. Если на этих днях со мной что-нибудь случится, не возьметесь ли вы перевезти его Мейнестрелю в Женеву?

Он улыбнулся, не давая никаких дальнейших объяснений. Мурлан несколько секунд пристально смотрел на него. Но он не задал ни одного вопроса и только кивнул головой в знак согласия. Когда они расставались, он на миг задержал руку Жака в своей.

— Желаю успеха... — сказал он. (И на этот раз он не прибавил: «мальчуган».)

Жак вернулся в редакцию. До свидания, которое он назначил Женни, оставалось только полчаса.

Из кабинета Жореса выходила группа социалистов, среди которых он узнал Кадьё, Компер-Мореля,<sup>1</sup> Вайяна, Самба.<sup>2</sup> Затем он увидел, как они зашли к Галло. Он повернулся и постучал в дверь Стефани, который был один и стоял, склонясь над столом, заваленным иностранными газетами.

Стефани был худой и высокий, со впалой грудью и острыми плечами. Его длинное лицо, обрамленное черными волосами, все время дергалось, что делало его похожим на бесноватого. Этот человек отличался всепожирающей активностью южанина (он был родом из Авиньона). Окончив университет со званием преподавателя истории, он несколько лет был учителем в провинции, прежде чем посвятил себя политической борьбе; те, кто учился у него, не забыли о нем. Жюль Гед устроил его в «Humanité». Жорес, человек могучего здоровья, недолюбливавший болезненных людей, ценил Стефани, не питая к нему особой симпатии. Все же он предоставил ему в газете первостепенное место и поручал очень трудные дела.

В этот день он выбрал именно его для связи с социалистической фракцией парламента и административной комиссией партии. Жорес старался добиться официального протеста со стороны социалистов — членов парламента против какого бы то ни было вооруженного выступления России. Он все настойчивее добивался на Ке д'Орсе, чтобы Париж отказался от совместного с Петербургом выступления и сохранил полную свободу действий, что дало бы ему возможность сыграть в Европе роль арбитра-миротворца.

Только что Стефани имел длинную беседу с патроном. Он не скрыл от Жака, что тот находился в исключительно нервном состоянии. Жорес решил, что завтра «Humanité» выйдет со следующим угрожающим заголовком: «Сегодня утром начнется война».

Он составил совместно со Стефани проект воззвания, в котором социалистическая партия заявляла всей Европе от имени трудящихся Франции о своей воле к миру. Стефани запомнил из него ценные фразы и цитировал их своим певучим голосом, прохаживаясь большими шагами по комнате. Его маленькие птичьи глазки за стеклами очков шныряли во все стороны, а костлявый и горбатый нос выдавался вперед, точно клюв.

«Социалисты призывают всю страну протестовать против политики насилия...», — декламировал он, подняв руку. Сегодня вечером он чувствовал потребность закалить свою веру, повторяя, словно церковную литанию, бодрящие призывы декларации, — это было заметно и производило трогательное впечатление.

В течение дня в редакции был получен аналогичный текст, исхо-

<sup>1</sup> Компер-Морель, Адеода-Констан-Адольф (род. в 1872 г.) — правый социалист, во время первой мировой войны — социал-шовинист.

<sup>2</sup> Самба, Марсель (1862—1922) — один из реформистских лидеров французской социалистической партии; в годы первой мировой войны занимал шовинистическую позицию.

дивший от германских социалистов. Жорес сам перевел его с помощью Стефани:

На нас надвигается война. Но мы не хотим войны! Да здравствует примирение народов! Сознательный пролетариат Германии выражает во имя человечества и культуры свой самый пламенный протест!.. Он властно предписывает германскому правительству использовать свое влияние на Австрию в интересах мира. Если же ужасная война не может быть предотвращена, он требует, чтобы Германия ни под каким видом не вмешивалась в конфликт!

Жорес желал, чтобы оба манифеста были развезены друг подле друга в виде двух одинаковых плакатов по всему Парижу, по всем большим городам — и как можно скорее. Все принадлежащие социалистам типографии в ту же ночь должны были перейти исключительно на эту работу.

— В Италии тоже работают неплохо, — сказал Стефани. — Группа депутатов-социалистов, съехавшаяся в Милане, приняла резолюцию, требующую немедленного и чрезвычайного созыва итальянской палаты депутатов, чтобы заставить правительство публично заявить о том, что Италия не последует за своими союзниками.

Быстрым движением он схватил один из лежавших на столе листков:

— Вот вам перевод одного социалистического манифеста, опубликованного в «Avanti»: «Италия может занять только одну позицию: нейтралитет! Потерпит ли итальянский пролетариат, чтобы его снова потащили на бойню? Да раздастся единодушный крик: «Долой войну! Ни одного человека! Ни одного гроша!»

Этот перевод должен был появиться на первой странице завтрашнего номера «Humanité».

— В среду, — продолжал он, — в Брюсселе состоится не только пленум Международного бюро, но также, вечером, большой митинг протеста под председательством Жореса, Вандервельде от Бельгии, Гаазе и Молькенбура от Германии,<sup>1</sup> Кир-Харди от Англии, Рубановича от России... Это будет грандиозно... Во всех странах всех свободных в данный момент активистов призывают принять участие в поездке, чтобы этот митинг превратился в мощную всеевропейскую демонстрацию. Надо показать, что пролетариат всего мира восстает против политики правительства!

Он ходил взад и вперед, морща нос, сжимая губы, терзаясь

<sup>1</sup> Вандервельде, Эмиль (1866—1938) — руководитель бельгийской рабочей партии, ревизионист и оппортунист, в годы войны — оборонец; Гаазе, Гуго (1863—1919) — в 1911 г. председатель правления немецкой социал-демократической партии, центрист, занимал примиренческую позицию по отношению к ревизионистам; Молькенбур, Герман (1851—1927) — немецкий право-социалистический лидер, в годы войны — оборонец.

собственным бессилием, но держась стойко и не желая поддаваться унынию.

Открылась дверь, чтобы впустить Марка Левуара. Он был весь красный от волнения. Едва войдя в комнату, он опустился на стул:

— Право, хочется спросить, уж не желают ли ее все они вместе взятые!

— Войны?

Он только что вернулся с Ке д'Орсе и принес необыкновенную новость: г-н фон Шен будто бы являлся в министерство с заявлением, что Германия, желая дать России возможность почетным для нее образом отказаться от своей непримиримой позиции, предлагала добиться от Австрии формального обещания, что целостность сербской территории не будет нарушена. И посол предложил затем французскому правительству сделать в прессе официальную декларацию о том, что Франция и Германия, «полностью солидаризируясь в пламенном желании не нарушать мира», действуют совместно, настоятельно советую Петербургу проявить умеренность в своих требованиях. И вот будто бы французское правительство под влиянием Бертело отвергло это предложение и решительно отказалось афишировать хотя бы малейшую солидарность с Германией из опасения оскорбить чувства своей союзницы — России.

— Как только Германия делает какие бы то ни было предложения, — заключил Левуар, — на Ке д'Орсе заявляют: «Это западня!» И так продолжается уже сорок лет.

Маленькие глазки Стефани уставились на Левуара с выражением сильнейшей тревоги. Его длинное лицо как будто еще больше вытянулось, словно его студенистые щеки оттягивала опущенная челюсть.

— Страшнее всего подумать, — прошептал он, — что в Европе их всего семь или восемь человек, — ну, может быть, десять, — которые и делают историю... Вспоминаешь «Короля Лира»: «Да будет проклято время, когда стадом слепцов предводительствует кучка безумцев...» Пойдем, — внезапно прервал он себя, кладя руку на плечо Левуара. — Надо предупредить патрона.

Оставшись один, Жак встал. Пора было идти разыскивать Женни. «А завтра вечером я буду в Берлине...» Он думал о порученном ему деле только урывками, но всякий раз с дрожью удовольствия, к которому примешивалась некоторая тревога: страх, что он не сможет выполнить наилучшим образом то, чего от него ожидали.

## XLVI

Хотя часы на здании Биржи еще не показывали даже половины восьмого, Женни была уже тут. Жак увидел ее издали и остановился. Стройный неподвижный силуэт вырисовывался на фоне запертой решетки в толчее, которую производили газетчики и кондукторы автобусов. В течение целой минуты он стоял на краю тротуара и любовался ею. Застав ее тут, в одиночестве, он переживал вновь одно

давнее ощущение. Когда-то, в Мезон-Лафите, он часто бродил вокруг сада Фонтаненов, чтобы иметь возможность хотя бы мельком увидеть ее. И сейчас ему вспомнилось: однажды на склоне дня он увидел, как она в белом платье выходит из-под тенистых елей и пересекает полосу, ярко освещенную солнцем, которое едва успело окружить ее лучистым нимбом, словно какое-то видение...

Сегодня вечером она не надела траурной вуали. На ней был черный костюм, от которого она казалась еще стройней. В своей манере одеваться, как и вообще во всем своем поведении, она никогда не уступала желанию нравиться. Ей было важно только свое собственное одобрение (она была слишком горда, чтобы заботиться о мнении других людей, и к тому же слишком скромна, чтобы думать, будто кому-нибудь придет в голову выражать о ней какое-либо мнение). Она любила одежду строгого покроя, отвечающую чисто практическим целям. Правда, она выглядела элегантной, но элегантность ее была немного сухой и суровой, заключаясь главным образом в простоте и врожденной изысканности.

Когда он подошел к ней, она вздрогнула и с улыбкой приблизилась к нему. Теперь она улыбалась без особых усилий, или, говоря точнее, уголки ее рта начинали как-то неуверенно дрожать, а в глубине светлых глаз зажигался слабый огонек, — и Жак умел ловить его на лету, что каждый раз наполняло его сердце блаженством.

Он начал с того, что поддразнил ее:

— Когда вы улыбаетесь, у вас немножко такой вид, словно вы подаете милостыню.

— Разве?

Она не смогла не почувствовать себя слегка уязвленной, но тотчас же сказала себе, что он прав, и даже начала было преувеличивать. «Это верно, у меня какое-то застывшее, жесткое лицо...» Но ей всегда было неприятно говорить о себе.

— Положение все ухудшается, — промолвил он вдруг со вздохом. — Каждое правительство упорствует и угрожает... Все точно стараются проявить как можно больше нетерпимости.

Как только Жак подошел, она сразу же заметила его усталый, озабоченный вид. Она вопросительно взглянула на него, ожидая дальнейших объяснений. Но он упрямо тряхнул головой:

— Нет, нет... Не надо об этом говорить... К чему? Довольно... Наоборот, помогите мне забыть обо всем во время этого часового антракта... Давайте пообедаем где-нибудь поблизости, чтобы не терять времени... Я не завтракал, и мне ужасно хочется есть... Пойдемте, — сказал он, увлекая ее за собой.

Она последовала за ним. «Если бы мама, если бы Даниэль нас видели!» — подумала она.

Эта совместная затея давала их близости, о которой никто еще не знал, некое материальное подтверждение, и оно смущало ее, как провинившуюся девочку.

— Почему бы не здесь? — сказал он, показав ей на углу двух улиц довольно убогого вида ресторанчик: через его широко раскры-

тые двери с тротуара видны были несколько столиков, накрытых белыми скатертями. — Тут нам ничто не помешает. Как вы думаете?

Они перешли улицу и вошли в небольшой зал, чистенький и совершенно пустой. В глубине, через застекленную дверь кухни, виднелись спины двух женщин, сидящих за столом под зажженной висячей лампой. Ни одна из них не обернулась.

Жак усталым жестом бросил шляпу на диванчик и прошел в глубь помещения, чтобы привлечь внимание содержательниц ресторана. С минуту он стоя терпеливо ждал. Женни подняла на него глаза; и внезапно это лицо, словно постаревшее, с чертами, странно искаженными отсветами кухни, показалось ей лицом чужого человека. В ней возникло ощущение кошмара, ужас маленькой девочки, приведенной в какое-то зловещее место похитителем детей... Эта галлюцинация длилась не более секунды: Жак уже возвращался к ней, и изменившаяся игра теней вернула ему его подлинные черты.

— Устраивайтесь поудобнее, — сказал он, помогая ей усесться на диванчик. — Нет, садитесь тут, солнце не будет бить вам в глаза.

Для нее было совсем новым ощущением чувствовать себя окруженной мужским вниманием, и она с наслаждением отдавалась ему.

В кухне тем временем та из женщин, что была помоложе, толстая, рыхлая девица в розовом корсаже, с низким лбом телки, наконец-то поднялась с места и направилась к ним со злым выражением животного, потревоженного во время кормления.

— Можно нам пообедать, мадмуазель? — спросил Жак приветливо.

Официантка оглядела его с головы до ног.

— Смотря чем...

Глаза Жака весело перебегали от нее к Женни и обратно:

— У вас найдутся яйца? Да? Может быть, немного холодного мяса?

Официантка вынула из-за корсажа какую-то бумажку.

— Вот что у нас есть, — молвила она с таким видом, словно хотела сказать: «Хочешь — бери, хочешь — нет».

Но у Жака имелся, казалось, неисчерпаемый запас хорошего настроения.

— Великолепно! — объявил он, вслух прочитав меню и взглядом посоветовавшись с Женни.

Официантка, не говоря ни слова, повернулась и пошла прочь.

— Прелестное создание! — тихо произнес Жак. И, смеясь, уселся напротив Женни, но тотчас же снова вскочил, чтобы помочь ей снять жакетку.

«Что, если и шляпу тоже снять? — подумала она. — Нет, я слишком растрепана...» И сразу же она устыдилась своего кокетства и твердым жестом сняла шляпу, даже не разрешив себе провести рукой по волосам.

Официантка со сварливым выражением лица появилась вновь, неся в руках дымящийся супник.

— Браво, мадмуазель! — воскликнул Жак, принимая от нее миску. — Вы нам ничего не говорили о супе... Как он чудесно пахнет! — И, обратившись к Женни, он спросил: — Можно вам налить?

Веселость его была несколько наигранной. Этим первым обедом с глазу на глаз он был смущен почти так же, как Женни. И, кроме того, ему не удавалось избавиться от мыслей о событиях дня.

Зеленоватое зеркало за спиной у Женни повторяло каждое ее движение и давало Жаку возможность видеть за живою фигуркой, которая была перед ним, изящное отражение плеч и затылка.

Она почувствовала, что он разглядывает ее, и внезапно сказала:

— Жак... Я вот все время думаю... — а хорошо ли вы меня знаете? Я очень боюсь... Уж не строите ли вы себе... разных иллюзий насчет меня?

За улыбкой она старалась скрыть подлинный страх, овладевавший ею каждый раз, когда она задавала себе вопрос: «Удастся ли мне когда-нибудь стать такой, какой он желал бы меня видеть? Не придется ли ему разочароваться во мне?»

Он в свою очередь улыбнулся:

— А если я тоже спросил бы вас: «Хорошо ли вы меня знаете?», что бы вы мне ответили?

Одно мгновение она колебалась:

— Вероятно, ответила бы: нет.

— Но в то же время вы думали бы: «Это не имеет значения...» И вы были бы правы, — все еще с улыбкой продолжал он.

В знак согласия она опустила голову.

«Да, — думала она, — это значения не имеет... Это придет само собою... Это у родителей могут возникать такие мысли, как та, что пришла мне в голову!»

— Мы должны верить в себя, — с силой произнес Жак.

Она не ответила. Он наблюдал за нею с некоторым беспокойством. Но выражение счастья, которое совершенно преобразило ее в этот миг, было самым успокоительным ответом.

Запах кипящего масла распространился в зале.

— А вот и наш дикобраз, — шепнул Жак.

Официантка в розовом корсаже принесла яичницу.

— С салом? — вскричал Жак. — Замечательно!.. Вы сами готовите, мадмуазель?

— Ясное дело!

— Поздравляю вас!

Официантка соизволила улыбнуться и напустила на себя скромный вид.

— О, знаете, здесь обеды простые... Приходить надо с утра. К двенадцати не найдешь ни одного свободного столика... А вечером тихо... Кроме парочек...

Жак весело переглянулся с Женни. Он, видимо, испытывал истинное облегчение оттого, что ему удалось развеселить эту сумрачную физиономию.

— Да, — сказал он, выразительно прищелкнув языком, — вот это яичница!

Официантка, польщенная, на этот раз рассмеялась.

— Я, — прошептала она, наклонившись и словно поверяя какую-то тайну, — работаю, ни с кем не советуюсь. Пускай знатоки скажут свое мнение.

Она засунула кулаки в карманы своего фартука и удалилась, шевеля бедрами.

— Означает ли этот жест приветствие, выраженное в деликатной форме? — смеясь, спросил Жак.

Женни, рассеянно слушая, размышляла. Эта маленькая сценка была сущим пустяком, и все же в ней обнаружились удивительные вещи. Жак, видимо, обладал даром распространять вокруг себя атмосферу какой-то теплоты, создавать одним словом, улыбкой, своим интересом к людям температуру, в которой отлично распускались доверие и симпатия. Женни знала это лучше, чем кто-либо другой: подле него самые неподатливые, самые скрытные натуры в конце концов разрывали наложенное на них заклятие, развертывались, расцветали. Ничто не удивляло ее так, как подобный дар! В противоположность Жаку, в противоположность Даниэлю, она почти совсем не испытывала любопытства к другим людям. Она жила в своем личном, замкнутом мире. Заботясь прежде всего о том, чтобы сохранить в неприкосновенности окружающую ее атмосферу, она даже нарочно старалась соблюдать некоторое расстояние между собою и близкими, чтобы с миром соприкасалась только сглаженная поверхность, которую ничто не могло бы задеть или уязвить. «Но, — сказала себе она, думая о брате, — может быть, это любопытство, влекущее Жака к любому живому существу, имеет и обратную сторону — некоторое неумение точно определить свой выбор!»

— А способны вы кого-нибудь предпочесть? — вдруг спросила она. — Способны вы привязаться к кому-нибудь больше, чем ко всем другим? И навсегда?

Тотчас же она заметила, насколько ее фраза оказалась неловкой, неясной, и покраснела.

Он смотрел на нее с недоумением, пытаясь уловить ход ее мыслей. И повторял про себя заданный ему вопрос, стараясь прежде всего честно дать на него ответ. Ибо ими обоими владело почти суеверное чувство, что обмануть друг друга хоть немножко было бы кощунством по отношению к их взаимной любви.

«Способен привязаться к кому-нибудь! — едва не произнес он вслух. — А моя дружба с Даниэлем?» Но пример был выбран неправильно, ибо эта привязанность не выдержала испытания временем.

— До сих пор, может быть, и не был способен, — признался он с некоторой сухостью. — Но что из того? Разве это основание, чтобы сомневаться?

— Я и не сомневаюсь, — торопливо пролепетала она.

Он был поражен ее взволнованным видом. Слишком поздно понял он, какая осторожность требовалась в обращении с такой чувствительной натурой. Он хотел сказать еще что-то, поколебался и, так как официантка принесла следующее блюдо, удовольствовался тем, что ласково улыбнулся Женни, прося прощения за свою грусть.

Она наблюдала за ним. Быстрота, с которой Жак переходил от одной крайности к другой, пугала ее, словно какая-нибудь опасность, но в то же время приводила в восторг, почему — она сама не знала. Может быть, ей виделся в этом знак его силы, его превосходства? «Мой варвар», — думала она с гордой нежностью. Тень, омрачившая ее черты, исчезла. И снова она почувствовала, что вся пронизана какой-то внутренней уверенностью в счастье, которая уже в течение двух дней повергала в смятение и обновляла все ее существо.

Когда официантка вышла из зала, Жак заметил:

— Как еще непрочно ваше доверие...

В голосе его не было ни малейшего упрека: только сожаление. И еще раскаяние, ибо он не забывал, что его поведение в прошлом могло вызвать величайшее недоверие со стороны Женни.

Она тотчас же угадала, что совесть мучит его, и, желая изгнать горькие воспоминания, быстро сказала:

— Видите ли, я так плохо подготовлена к тому, чтобы доверять... Я не помню, чтобы когда-либо знала... (она стала искать слова, и уста ее произнесли одно из выражений, слышанных от Жака) душевный покой. Даже ребенком... Такой уж я, создана... — Она улыбнулась. — Или во всяком случае такой я была... — Затем вполголоса она прибавила, опустив глаза: — Я еще никому в этом не признавалась! — И, бросив предварительно беглый взгляд в сторону кухонной двери, она непроизвольным жестом протянула Жаку через стол обе руки — свои тонкие, теплые, дрожащие ручки. Она чувствовала, что полностью принадлежит ему. И ей хотелось отиться еще полнее, исчезнуть, раствориться в нем без остатка.

Он прошептал:

— Я был, как вы... одинок, всегда одинок! И никогда не знал покоя!

— Это мне знакомо, — сказала она, ласково отнимая свои руки.

— То мне казалось, что я выше других, — и гордость опьяняла меня; то чувствовал себя глупым, невежественным, уродом, — и меня грызло чувство унижения...

— Совсем как я.

— ... от всего отчужденный...

— Как я.

— ... словно замурованный в своих странностях.

— Я тоже. И без всякой надежды выйти из этого круга, стать похожей на других...

— А если порою я не окончательно отчаялся в самом себе, — продолжал он во внезапном порыве благодарности, — знаете, кому я этим обязан?

Одну секунду она испытывала безумную надежду, что он скажет: «Вам!» Но он сказал:

— Даниэлю!.. Наша дружба была прежде всего обменом признаниями. Меня спасли привязанность и доверие Даниэля.

— Как я, — прошептала она, — совсем как я. У меня не было друзей, кроме Даниэля.

Им не надоедало объяснять себя друг другу и друг через друга и смотреть другу другу в глаза жадным и радостным взором. Каждый из них ждал, как признания, как последнего доказательства их взаимного понимания, чтобы на его улыбку ответила улыбка другого. Какое это было удивительное и сладостное чудо — ощущать, как другой так легко проникает в тебя своей интуицией, и обнаруживать между ним и собою такое сходство! Им казалось, что этот обмен признаниями был неисчерпаем и что в данный момент на свете не было ничего важнее этого взаимного изучения.

— Да, это Даниэлю я обязан тем, что не погиб... А также Антуану, — добавил он, немного подумав.

Лицо девушки невольно приняло немногое холодное выражение, и он тотчас же это заметил.

В некотором замешательстве он вопросительно взглянул на нее.

— А вы хорошо знаете моего брата? — спросил он наконец, готовый с полной убежденностью произнести Антуану целый панегирик.

Она чуть не призналась: «Я его терпеть не могу», но ограничила тем, что сказала:

— Мне не нравятся его глаза.

— Глаза?

Как выразить свою мысль, не обидев Жака? И все же она не хотела скрывать ничего, даже то, что могло быть ему неприятно.

Он, заинтригованный, стал настаивать:

— Почему вам не нравятся его глаза?

Она немного подумала:

— У меня такое впечатление... что они не умеют, что они разучились видеть, что хорошо, а что нехорошо.

Странное суждение, поставившее Жака в тупик. И тут он вспомнил то, что ему как-то сказал об Антуане Даниэль: «Знаешь, что меня привязывает к твоему брату? Его способность свободно судить обо всем». Даниэлю нравилось в Антуане умение самым естественным образом рассматривать любой вопрос, так сказать, в себе, словно анатомический препарат, вне каких-либо моральных соображений. Такая направленность ума была весьма привлекательна для потомка гугенотов.

Взгляд Жака, казалось, требовал разъяснений. Но она противопоставляла этому взгляду такую спокойную, замкнутую маску, что он не осмелился расспрашивать подробнее.

«Непроницаема», — подумал он.

Официантка в розовом корсаже пришла убрать со стола. Она предложила:

— Сыр? Фрукты? Кофе?

— Мне больше ничего, — сказала Женни.

— Чашку кофе, только одну.

Они подождали, пока подадут кофе, и лишь после этого возобновили прерванный разговор. Жак украдкой разглядывал Женни и снова заметил, насколько выражение ее глаз не схоже с выражением лица, насколько глаза «старше», чем прочие черты, такие юные и словно незавершенные.

Он непринужденно наклонился к ней.

— Можно мнé посмотреть вам в глаза? — сказал он, улыбаясь, чтобы как-то извинить это разглядывание. — Я хотел бы изучить их... Оки такого чистого цвета... честно-голубого цвета, холодно-голубого... А зрачок! Он все время меняет форму... Не двигайтесь, это так увлекательно!

Она тоже смотрела на него, но без улыбки, немного устало.

— Ну вот, — продолжал он, — когда вы делаете усилие, чтобы быть внимательной, переливчатая голубизна уменьшается... А зрачок становится все меньше и меньше, пока не превращается в маленькую точку, словно дырочку, пробитую шилом... Как много воли в ваших глазах!

Тут ему пришла в голову мысль, что из Женни вышел бы замечательный товарищ в борьбе. И сразу же на него опять нахлынули все текущие заботы. Он машинально повернул голову, чтобы взглянуть на стенные часы.

Внезапно обеспокоенная тем, что он так помрачнел, Женни прошептала:

— Жак, о чём вы думаете?

Он резким жестом откинул со лба свою прядь.

— Ах, — сказал он, невольно сжимая кулаки, — я думаю, что в Европе есть сейчас несколько сот человек, которые ясно разбираются во всем и надрываются ради спасения всех прочих, не имея возможности заставить высушать себя тех, которых они хотят спасти! Это и трагично и нелепо! Удастся ли нам преодолеть инертность масс? Смогут ли они вовремя...

Он продолжал говорить, и Женни делала вид, что слушает, но она не слышала его слов. Поймав взгляд Жака, устремленный на стенные часы, она уже не могла сосредоточиться и не в силах была справиться со своим сердцебиением. Три дня без него!.. Она боролась с тревогой, которой ни за что не хотела обнаружить, и испытывала мучительную радость оттого, что еще несколько минут он побудет подле нее, живой и близкий, следила за малейшим движением его лица, за тем, как сжимались его челюсти, за тем, как хмурились брови, как блестели его подвижные глаза, — не стараясь вникнуть в то, что он говорил, и теряясь в сумятице слов и мыслей, словно среди вспыхивающих и разлетающихся снопами искр.

Он внезапно умолк.

— Вы меня не слушаете!..

Ее ресницы затрепетали, и она покраснела:

— Нет...

Затем ласковым жестом протянула ему руку, прося прощения. Он взял ее руку, повернул ладонью вверх и прижался к ней губами. Он тотчас же ощутил, как дрогнули все мускулы руки до самого плеча, и заметил с легким смятением, — совсем новым для него, — что эта маленькая ручка не пассивно отдавалась ему, но страстно прижималась к его губам.

Однако время истекало, а ему нужно было сделать ей еще одно признание.

— Женни, еще одну вещь я непременно должен сказать вам сегодня вечером... В прошлом году, когда умер мой отец, я отказался слушать разговоры... о деньгах... Я не хотел брать ни гроша... Вчера я изменил свое решение...

Он сделал паузу. Она опять выпрямилась, в полном недоумении и стараясь не встречаться с ним взглядом, потрясенная против воли смутными и противоречивыми мыслями, проносившимися в ее мозгу.

— Я намерен взять все эти деньги и передать их Интернационалу, чтобы они немедленно же были употреблены на борьбу против войны.

Она глубоко вздохнула. Кровь снова прилила к ее щекам. «Зачем он мне все это говорит?» — подумала она.

— Вы согласны со мной, не правда ли?

Женни инстинктивно опустила голову. С какой задней мыслью подчеркивал он так настойчиво слово «согласны»? Казалось, он предоставлял ей право контроля над его поступками... Она неопределенно кивнула головой и робко подняла глаза. Лицо ее совершенно сознательно приняло вопросительное выражение.

— До сих пор, — продолжал он, — благодаря своим статьям я всегда мог зарабатывать себе на жизнь... на самое необходимое... Неважно, я живу среди людей, не имеющих средств; я таков, как они, и это отлично.

Он глубоко вздохнул и снова заговорил, очень быстро, тоном, который от некоторого смущения казался почти ворчливым:

— Если такая жизнь... скромная... вас не пугает, Женни... то я за нас не боюсь.

Это был первый намек на их будущее, на совместное существование.

Она опять опустила голову. От волнения и надежды у нее перехватило дыхание.

Он подождал, пока она снова выпрямилась, и, увидев ее растерянное от счастья лицо, сказал просто:

— Благодарю.

Официантка принесла счет. Он заплатил и еще раз взглянул на часы.

— Почти без двадцати. Я даже не успею проводить вас до дому. Женни, не ожидая его приглашения, встала.

«Он уедет, — мрачно твердила она про себя. — Где он будет завтра?.. Три дня... Три убийственных дня».

Пока он помогал ей надеть жакетку, она внезапно обернулась и пристально посмотрела на него:

— Жак... А это — не опасно? — Голос ее дрожал.

— Что именно? — спросил он, желая выиграть время.

Записка Ричардли всплыла в его памяти. Он не хотел ни лгать, ни волновать ее. Он сделал над собою усилие и улыбнулся.

— Опасно?.. Не думаю.

Выражение ужаса промелькнуло в зрачках девушки. Но она поспешно опустила веки и почти тотчас же в свою очередь храбро улыбнулась.

«Она — совершенство», — подумал он.

Без слов, прижавшись друг к другу, дошли они до станции метро.

У лестницы Жак остановился. Женни, уже спустившись с первой ступеньки, повернулась к нему. Час разлуки пробил... Он положил обе руки на плечи девушке:

— В четверг... Самое позднее — в пятницу...

Он смотрел на нее как-то странно. Он готов был сказать ей: «Ты моя... Не будем же расставаться, пойдем со мною!» Но, подумав о толпе, о возможных беспорядках, он промолвил быстро и очень тихо:

— Ступайте же... Прощайте...

Его губы дрогнули: это было уже не просто улыбкой и еще не вполне поцелуем. Затем он внезапно вырвал пальцы из ее рук, бросил на нее последний долгий взгляд и убежал.

## XLVII

Было еще почти светло; в теплом воздухе чувствовалось приближение грозы.

Бульвары имели совершенно необычный вид: лавочки спустили железные шторы; большая часть кафе была закрыта; остававшиеся открытыми должны были, по распоряжению полиции, все убрать с террас, чтобы стулья и столы не могли послужить материалом для баррикад и чтобы оставалось больше свободного места на случай, если бы муниципальной гвардии пришлось разгонять демонстрантов. Собирались толпы любопытных. Автомобили попадались все реже и реже. Циркулировало лишь несколько автобусов, непрерывно дававших гудки.

На бульваре Сен-Мартен, на бульваре Маджента и в районе В.К.Т. наблюдалось особенное скопление народа. Огромные толпы мужчин и женщин спускались с высот Бельвиля. Рабочие, старые и молодые, в спецовках, явившиеся со всех концов Парижа и предместий, собирались все более и более густыми группами. В тех местах, где фасады зданий отступали от тротуаров, у недостроенных домов, на углах улиц отряды полицейских черными роями облепляли авто-

бусы префектуры, готовые по первому требованию везти их куда понадобится.

Ванхеде и Митхерг ожидали Жака в одном из погребков предместья Тампль.

На площади Республики, где всякое уличное движение было прервано, стояли, не имея возможности двинуться дальше, огромные волнующиеся массы народа.

Жак и его друзья попытались, работая локтями, проложить себе путь через это море людей, чтобы добраться до редакторов «Нитанитэ», которые — Жак это знал — находились у подножия памятника, стоящего на середине площади. Но было уже невозможно выйти на свободное место, где выстраивались для участия в шествии ряды демонстрантов.

Внезапно, словно трава под ветром, головы собравшихся людей заколыхались, и около пятидесяти знамен, которых до тех пор не было видно, вознеслось над этой волнующейся толпой. Без криков, без песен, тяжелая, прижавшаяся к земле, как пресмыкающееся, процессия дрогнула и двинулась по направлению к воротам Сен-Мартен. Хлынув, подобно потоку лавы, толпа в несколько минут заполнила широкое русло бульвара и, все время разбухая от притоков с боковых улиц, медленно потекла по направлению к западу.

Сжатые со всех сторон, задыхаясь от жары, Жак, Ванхеде и Митхерг шли, тесно прижавшись друг к другу, чтобы их не разлучили. Волна несла их вперед, покрывала с головою своим глухим ропотом, на мгновение неподвижно останавливалась, чтобы затем, снова подняв, бросать то вправо, то влево, к темным фасадам домов, окна которых были усеяны любопытными. Наступила темнота. Электрические шары разливали над этим движущимся хаосом тусклый и какой-то трагический свет.

«Ах! — сказал про себя Жак, опьяненный радостью и гордостью, — какое предупреждение! Это целый народ поднимается против войны! Массы поняли... Массы ответили на призыв!.. Если бы Рюмель мог это видеть!..»

Остановка, более длительная, чем предыдущие, пригвоздила их к перистилю театра Жимназ. Впереди раздавались какие-то крики. Было такое впечатление, будто там, у бульвара Пуассонье, колonna ударила головой о какое-то препятствие.

Прошло пять, десять минут. Жак начал терять терпение.

— Пойдем, — сказал он, взяв за руку маленького Ванхеде.

Вместе с ворчащим Митхергом они скользили, то врезываясь в отдельные группы людей, то обходя слишком неподатливые скопления, делая все время зигзаги и все-таки подвигаясь вперед.

— Контрманифестация! — промолвил кто-то. — Лига патриотов заняла перекресток и преграждает нам путь!

Жак, выпустив руку альбиноса, умудрился взобраться на выступающий карниз какой-то лавки, чтобы посмотреть, в чем дело.

Знамена остановились на углу предместья Пуассонье, подле красного дома редакции «Matin». Первые ряды обеих групп уже столкнулись, крича исыпая друг друга ругательствами. Стычка происходила на небольшом пространстве, но зато была яростная: кругом виднелись только угрожающие лица и протянутые кулаки. Полиция, вкрапленная в толпу небольшими отрядами, суетилась на месте, но, казалось, склонна была предоставить все своему естественному течению. Кто-то помахал белым флагом, словно давая сигнал: патриоты запели «Марсельезу». Тогда, в один голос, который все крепнул и вскоре покрыл все прочие звуки своим мощным ритмом, социалисты ответили на это «Интернационалом». Вдруг словно мертвая зыбь подняла и всколыхнула этот муравейник. Неожиданно появляясь справа и слева из боковых улиц, отряды блюстителей порядка под командой полицейских чинов яростно врезались в толпу, чтобы очистить перекресток. Свалка тотчас же усилилась. Пение прекратилось, затем возобновилось, опять прерываемое воплями: «На Берлин!», «Да здравствует Франция!», «Долой войну!» Полиция, проникнув в самую гущу свалки, атаковала сторонников мира, которые стали обороняться. Раздались свистки. Поднимались руки, палки. «Сволочь! Дермо!» Жак увидел, как два полицейских набросились на одного из демонстрантов; он старался вырваться, но по-полицейским удалось бросить его почти полумертвым в одну из машин, стоявших по углам улиц.

Жак был раздосадован тем, что находится так далеко. Может быть, пробираясь вдоль домов, ему и удалось бы добраться до перекрестка... Но он вовремя вспомнил возложенную на него миссию, поезд... Сегодня он себе не принадлежал и не имел права поддаваться минутным порывам.

Впереди, на Бульварах, раздался какой-то глухой шум. Вдали заблестели каски. Отряд конной муниципальной гвардии рысью приближался к демонстрантам.

— Они собираются атаковать!

— Спасайся, кто может!

Перепуганная толпа вокруг Жака пыталась повернуть назад. Но она была зажата, как в тисках, между приближающимся конным отрядом и гигантским хвостом процессии, который толкал ее в противоположную сторону, закрывая путь к отступлению. Примостившись на своем выступе, как на скале, омываемой волнами бурного моря, Жак уцепился за железный ставень, чтобы его не сбросила вниз эта кипящая у его ног людская волна. Он стал искать глазами своих спутников, но их не было видно. «Они знают, где я, — сказал он себе. — Если им удастся пробраться ко мне, они это сделают... — И тут же с ужасом подумал: — Какое счастье, что я не взял с собой Женни...»

У перекрестка фыркали лошади. На земле лежали сбитые с ног пешеходы. Яростные, обезумевшие лица, исцарапанные лбы появлялись и исчезали в этом водовороте.

Что же, собственно, происходило? Понять было невозможно... Теперь центр перекрестка был очищен от народа. Сторонники мира вынуждены были отступить перед двойным натиском конной и пешей полиции. Посреди улицы, усеянной палками, шляпами, всевозможными обломками, прохаживались полицейские чины с серебряными нашивками и несколько человек в штатском, видимо принадлежащих к полицейскому начальству. Кордон агентов вокруг них продолжал продвигаться вперед, расширяя очищенное пространство, и вскоре полицейский заслон занял всю ширину бульвара.

Тогда, словно стадо, которое собаки кусают за ноги и которое после нескольких минут беспорядочного топтания на месте поворачивает в противоположную сторону, демонстранты сделали полуоборот и устремились, как смерч, к Севастопольскому и Страсбургскому бульварам.

— Сбор на перекрестке Друо!

«Неосторожно будет задерживаться здесь долго», — подумал Жак. (Он вспомнил, что в случае ареста при нем окажется только удостоверение личности на имя Жака-Себастьяна Эберле, женевского студента.)

Ему удалось выбраться по улице Отвиль. Он остановился в раздумье. Куда девались Ванхеде и Митхерг? Что ему делать? Снова вмешаться в свалку? А если он будет арестован? Или хотя бы только захвачен водоворотом, зажат между двумя заслонами, вынужден пропустить поезд?.. Который теперь час? Без пяти одиннадцать... Разум повелевал, чего бы это ни стоило, распрошаться с демонстрацией и идти к Северному вокзалу.

Вскоре он очутился на площади Лафайет, перед церковью Сен-Венсан-де-Поль. Скверик! Женни... Ему захотелось совершить паломничество к их скамейке... Но отряд полиции, стоявший наготове, занимал лестницы.

Жак умирал от жажды. Тогда ему вспомнилось, что совсем близко отсюда, на улице предместья Сен-Дени, есть бар, где обычно собираются социалисты дюнкерской секции. У него еще было время, чтобы провести там полчаса до поезда.

Заднее помещение, где обычно собирались товарищи, пустовало. Но у стойки, вокруг официанта, разливавшего кофе, — старого члена партии, — собралось около полудюжины посетителей, обсуждавших все, что происходило в этом квартале, где имели место несколько серьезных столкновений. В районе Восточного вокзала грубо разогнали антивоенную демонстрацию, которая снова собралась перед зданием В.К.Т.: тут начался настоящий бунт, так что полиции пришлось атаковать демонстрантов; говорили о большом количестве раненых. Ближайшие полицейские комиссариаты были полны арестованных. Ходили слухи, что начальник городской полиции, руководивший восстановлением порядка на Бульварах, получил удар ножом. Один из посетителей ресторана, пришедший из Пасси, рас-

сказывал, что он сам видел, будто на площади Согласия статую города Страсбурга, разукрашенную трехцветными флагами, охраняет группа членов патриотического союза молодежи, которые зажигают бенгальский огонь под охраной полицейских. Другой, старый рабочий с седыми усами, которому хозяйка зашивала куртку, пострадавшую в свалке, уверял, будто группы, отколовшиеся от демонстрации на Бульварах, снова соединились у Биржи и, развернув красное знамя, двинулись к Бурбонскому дворцу с криками: «Долой войну!»

— «Долой войну! — пробурчал официант, разливавший кофе. Он видел 70-й год, был участником Парижской коммуны. Теперь он сердито замотал головой. — Поздно уже кричать: «Долой войну!» Это то же самое, что орать: «Долой дождь!», когда гроза уже разразилась...

Старик, который курил щуря глаза, рассердился:

— Никогда не бывает поздно, Шарль! Видал бы ты, что было на площади Республики между восемью и девятью!.. Люди шли человек к человеку, словно стая анчоусов на мелководье.

— Я там был, — сказал Жак, подходя к ним.

— Ну, так если ты там был, паренек, можешь подтвердить мои слова: никогда ничего подобного не бывало. А ведь я на своем веку навидался демонстраций! Я выходил на улицу, когда мы протестовали против казни Феррера:<sup>1</sup> нас было сто тысяч; выходил, когда мы подняли шум из-за порядков на военной каторге и требовали освобождения Руссе: тогда тоже было не меньше ста тысяч. И уж наверное больше ста тысяч на Пре-Сен-Жерве во время демонстрации против закона о трехгодичной службе... Но сегодня вечером!.. Триста тысяч? Пятьсот тысяч? Миллион? Кто может знать? От Бельвиля до церкви святой Магдалины — один сплошной поток, один общий крик: «Да здравствует мир!» Нет, ребята, такой демонстрации я еще никогда не видел, а я в этом кое-что смыслю. К счастью, полицейские были безоружны, не то при сегодняшних настроениях кровь потекла бы ручьями... Прямо скажу вам: сегодня, будь мы все посмелее, весь их строй полетел бы к черту! Эх, упустили случай... Когда на площади Республики все двинулись со знаменами вперед, эх, Шарль, ей-богу, был бы у нас во главе настоящий человек — знаешь, куда бы все пошли за ним, как один? В Елисейский дворец — делать революцию!

Жак смеялся от радости.

— Ну, это немного откладывается! До завтра, дедушка!

Сияющий, отправился он на вокзал, где без труда получил билет третьего класса до Берлина.

На перроне его ожидал сюрприз: там находились Ванхеде и Митхерг. Зная, в котором часу он едет, они пришли пожать ему руку на прощанье. Ванхеде потерял шляпу; лицо у него было бледное,

<sup>1</sup> Феррер, Гуардия Франсиско (1859—1909) — видный испанский проповедник и педагог, буржуазный республиканец. В 1909 г. расстрелян в Барселоне по приговору военного суда без всяких оснований. Казнь Феррера вызвала мощную волну протesta почти во всех странах мира.

печальное и словно помятое. Наоборот, Митхерг, красный и взбесенный, сжимал в карманах кулаки. Его арестовали, осыпали ударами, повели к полицейским машинам, и лишь в последний момент, благодаря сумятице, ему удалось скрыться. Он рассказывал о своем приключении наполовину по-французски, наполовину по-немецки, отчаянно брызгая слюной и тараща возмущенные глаза за стеклами очков.

— Не оставайтесь тут, — сказал им Жак, — незачем нам троим привлекать к себе внимание.

Ванхеде зажал руку Жака между своими ладонями. На лице его, похожем на лицо слепого, нервно мигали бесцветные ресницы. Он прошептал ласковым и просительным тоном:

— Будьте осторожны, Боти.

Жак рассмеялся, чтобы скрыть волнение:

— В среду в Брюсселе!

В этот же самый час на улице Спонтини в своей маленькой гостиной на втором этаже стояла Анна, совсем одетая, готовая к выходу; взгляд ее был неподвижен; она прижимала к щеке телефонную трубку.

Антуан уже потушил свет и собирался заснуть, прочитав предварительно все газеты. Заглушенный звонок телефона, который Леон каждый вечер ставил ему на ночной столик, заставил его подскочить.

— Ты, Тони? — прошептал издалека нежный голос.

— Ну? Что случилось?

— Ничего...

— Да нет же! Говори! — с беспокойством настаивал он.

— Ничего, уверяю тебя... Решительно ничего... Я только хотела услышать твой голос... Ты уже лег?

— Да!

— Ты спал, дорогой?

— Да... Нет, еще не спал... Почти... Правда, ничего серьезного?

Она засмеялась:

— Да нет же, Тони... Как мило, что ты так забеспокоился!.. Говорю тебе, мне хотелось услышать твой голос... Ты разве не понимаешь, что внезапно может так страшно, страшно захотеться услышать чей-нибудь голос?..

Опершись на локоть, болезненно щурясь от света, он терпеливо ждал, всклокоченный и раздраженный.

— Тони...

— Ну?

— Ничего, ничего... Я люблю тебя, мой Тони. Мне так хотелось бы, чтобы сегодня вечером, сейчас, ты был подле меня...

На несколько секунд, показавшихся ей бесконечными, воцарилось молчание.

— Помилуй, Анна, я же тебе объяснил...

Она тотчас же прервала его:

— Да, да, я знаю, не обращай внимания... Доброй ночи, любовь моя!

— Доброй ночи.

Он первый повесил трубку. Этот звук отозвался во всем ее теле. Она закрыла глаза и еще в течение целой минуты прижимала ухо к трубке, надеясь на чудо.

— Я просто идиотка, — почти громко произнесла она под конец.

Вопреки всякому здравому смыслу, она надеялась, — она была даже уверена, — что он скажет: «Иди скорее к нам... Я сейчас буду тоже».

— Идиотка!.. Идиотка!.. Идиотка!.. — повторяла она, швыряя на столик сумочку, шляпу, перчатки.

И внезапно простая, и тайная, и ужасная правда встала перед нею: она мучительно нуждалась в нем — в нем, которому сама несколько не была нужна!

### XLVIII

Около восьми часов утра Жак, проведя бессонную ночь, вышел из поезда на вокзале в Гамме,<sup>1</sup> чтобы купить кое-какие немецкие газеты.

Пресса единодушно осуждала Австрию за то, что она официально объявила себя «в состоянии войны» с Сербией. Даже пра- вые газеты, пангерманистская «Post» или «Rheinische Zeitung»,<sup>2</sup> орган Круппа, выражали «сожаление» по поводу резко агрессивного характера австрийской политики. Набранные жирным шрифтом заголовки возвещали о срочном возвращении кайзера и кронпринца. Сколько это ни представлялось парадоксальным, но большая часть газет, отметив предварительно, что император, едва вернувшись в Потсдам, имел длительное и важное совещание с канцлером и начальниками генеральных штабов армии и флота, возлагали большие надежды на то, что его влияние будет содействовать сохранению мира.

Когда Жак возвратился в купе, его спутники, запасшиеся, как и он, утренними газетами, обсуждали последние новости. Их было трое: молодой пастор, задумчивый взгляд которого чаще устремлялся к открытому окну, чем на газету, лежавшую у него на коленях, седобородый старик, по всей видимости еврей, и мужчина лет пятидесяти, полный и жизнерадостный, с начисто выбритыми головой и лицом. Он улыбнулся Жаку и, приподняв развернутый «Berliner Tageblatt»,<sup>3</sup> который был у него в руках, спросил по-немецки:

— А вы тоже интересуетесь политикой? Вы, верно, иностранец?

<sup>1</sup> Город в западной Германии (Вестфалия).

<sup>2</sup> «Почта», «Рейнская газета» (нем.).

<sup>3</sup> «Ежедневная берлинская газета» (нем.).

— Швейцарец.

— Из Французской Швейцарии?

— Из Женевы.

— Вы оттуда лучше видите французов, чем мы. Каждый из них в отдельности очарователен, не правда ли? Почему же как народ они так невыносимы?

Жак уклончиво улыбнулся.

Разговорчивый немец поймал на лету взгляд пастора, затем взглядел еврея и продолжал:

— Я очень часто ездил во Францию по торговым делам. У меня там много друзей. Я очень долго верил, что миролюбие Германии преодолеет сопротивление французов и мы в конце концов поймем друг друга. Но с этими горячими головами ничего не поделаешь: в глубине души они думают только о реванше. И это объясняет всю их теперешнюю политику.

— Если Германия так жаждет мира, — осторожно заметил Жак, — почему она не докажет это более убедительным образом, именно сейчас, решительно оказав сдерживающее влияние на свою союзницу Австрию?

— Да она это и делает... Читайте газеты... Но если бы Франция со своей стороны не стремилась к войне, разве она стала бы поддерживать в настоящий момент русскую политику? В этом отношении речи Пуанкаре в Петербурге показательны. Мир и война находятся сейчас в руках Франции. Если бы завтра Россия перестала рассчитывать на французскую армию, этого было бы достаточно, чтобы заставить ее вести переговоры в миролюбивом духе. А тогда сразу отпала бы всякая угроза войны!

Пастор согласился с этим. Старик тоже. Он в течение нескольких лет был профессором права в Страсбурге и терпеть не мог эльзасцев.

Жак любезным жестом отказался от предложенной ему сигары и, решив из осторожности не принимать участия в споре, сделал вид, что целиком углубился в чтение своих газет.

Профессор взял слово. У него оказался весьма поверхностный и пристрастный взгляд на бисмарковскую политику после 70-го года. Он не знал, — или делал вид, что не знает, — о стремлении старого канцлера окончательно доконать Францию, нанеся ей новое военное поражение... И казалось, он желал помнить только о попытках Империи сблизиться с Республикой. Он перевел разговор в плоскость истории. Все трое были в полном согласии друг с другом. Впрочем, мысли, которые они высказывали, разделялись большинством немцев.

Было очевидно, что с их точки зрения Германия вплоть до самого последнего времени только и занималась тем, что делала французскому народу самые великолужные авансы. Даже сам Бисмарк дал доказательство своих миролюбивых намерений, допустив — что было несколько рискованно — быстрое возвышение побежденной нации, которому он мог так легко помешать. Ему достаточно было воспре-

пятствовать лихорадке колониальных завоеваний, охватившей французов на другой же день после нанесенного им разгрома. Тройственный союз? Он никому не угрожал. Сначала это был вовсе не военный союз, а только охранительный договор солидарности, заключенный тремя монархами, которых в равной степени беспокоило назревавшее в Европе революционное брожение. Между 1894 и 1909 годами, в течение пятнадцати лет без перерыва, и даже после заключения франко-русского союза Германия искала сотрудничества с Францией для разрешения политических вопросов, в особенности — вопросов, связанных с Африкой. В 1904 и 1905 годах правительство Вильгельма II неоднократно и в духе полнейшей искренности делало совершенно ясные предложения, которые могли привести к соглашению. Но Франция всегда отталкивала руку, которую протягивал ей кайзер! Она отвечала на самые выгодные предложения только недоверчивым и оскорбительным отказом или угрозами. Если Тройственный союз изменил свой характер, виновата в этом была Франция, которая своим непонятным военным союзом с царизмом и поведением своих министров — прежде всего Делькассе — ясно показала, что ее внешняя политика направлена против Германии, что целью себе она ставила окружение центральных держав. Тройственный союз вынужден был стать оборонительным оружием в борьбе против успехов Тройственного согласия, ибо Тройственное согласие превращалось на глазах всего мира в заговор завоевателей. Да, завоевателей! Это вовсе не было слишком сильным выражением, его оправдывали факты: благодаря Тройственному согласию Франция смогла захватить огромную мароккансскую территорию; благодаря Тройственному согласию Россия смогла организовать Лигу балканских держав, которая давала ей возможность в один прекрасный день без особого риска дойти до ворот Константинополя; благодаря Тройственному согласию Англия смогла сделать несокрушимым свое всемогущество на морях земного шара! Единственным препятствием этой политике бесстыдного империализма был германский блок. Для того чтобы окончательно утвердить свою гегемонию, Тройственному согласию оставалось только расколоть этот блок. Теперь представлялся удобный случай. Франция и Россия тотчас же ухватились за него. Используя возбуждение на Балканах и неосторожную политику Вены, они стремились теперь к тому, чтобы Германия осудила Австрию, в надежде поссорить Берлин с его единственным союзником и, наконец-то, привести к вожделенной цели свои десятилетние старания изолировать Германию среди враждебных ей европейских держав.

Таково было по крайней мере мнение пастора и еврея-профессора. Что касается толстого немца, то он полагал, что цели Тройственного согласия были еще более агрессивны: Петербург стремится уничтожить Германию, Петербург хочет войны.

— Всякий сколько-нибудь мыслящий немец, — говорил он, — вынужден мало-помалу терять всякую надежду на мир. Мы были свидетелями того, как Россия строила в Польше стратегические

железные дороги, как Франция увеличивала численность и вооружение армии, как Англия готовила морское соглашение с Россией. Какой иной смысл придавать всем этим приготовлениям, кроме того, что Тройственное согласие хочет укрепить свое могущество военной победой над Тройственным союзом?.. Нам не избежать войны, к которой они стремятся... Если не теперь, так в тысяча девятьсот шестнадцатом, самое позднее — в тысяча девятьсот семнадцатом году... — Он улыбнулся. — Но Тройственное согласие строит себе опасные иллюзии! Германская армия готова ко всему!.. Нельзя безнаказанно затрагивать военную мощь Германии.

Старый профессор тоже улыбался. Пастор с серьезным и задумчивым видом одобрительно кивнул головой. По этому последнему пункту они находились в полнейшем горделивом согласии между собою.

Жак бывал в Берлине неоднократно.

«Выйду на станции Зоо, — подумал он. — В западной части я меньше всего рискую встретиться со старыми знакомыми».

Ему оставалось провести около двух часов до таинственного свидания на Потсдамерплатц. И он решил искать убежища у Карла Фонлаута, жившего как раз на Уландштрассе. Этот друг Либкнхта, надежный товарищ, на которого можно было вполне положиться, был зубным врачом, и Жак имел все шансы в этот час застать его дома.

Его провели в гостиную, где ожидали два пациента: старая дама и молодой студент. Когда Фонлаут открыл дверь, чтобы пригласить пациентку, он окинул Жака быстрым взглядом, ничем себя не выдав. Прошло двадцать минут. Снова появился Фонлаут и ввел в кабинет студента. Затем он тотчас же появился опять, один.

— Ты?

Хотя он был еще молод, седая, почти совсем белая прядь прорезала его каштановые волосы. Все тот же знакомый Жаку огонь мерцал в его глубоко сидящих глазах с золотыми искорками.

— Поручение, — пробормотал Жак. — Я только что с поезда. Мне нужно ждать не менее часа. Я не должен никого видеть.

— Я предупрежу Марту, — сказал Фонлаут, не проявляя удивления. — Пойдем.

Он провел Жака в комнату, где у окна, против света, сидела и шила женщина лет тридцати. Комната была только что прибрана. В ней находились две одинаковые кровати, стол, заваленный книгами, корзинка, в которой спали сиамский кот и кошка. Жаку внезапно представилась подобная же комната, дышавшая миром и сосредоточенной внутренней жизнью, где он сам и Женни...

Не торопясь, г-жа Фонлаут воткнула иголку в шитье и встала. Ощущение какой-то особенной энергии и спокойствия исходило от ее плоского лица, увенчанного белокурыми волосами. Жак часто встречал ее на собраниях социалистов Берлина, куда она всегда сопровождала своего мужа.

— Оставайся, сколько пожелаешь, — сказал Фонлаут. — Я пойду работать.

— Не выпьете ли чашку кофе? — предложила молодая женщина.

Она принесла поднос и поставила его перед Жаком.

— Наливайте себе без церемоний... Вы из Женевы?

— Из Парижа.

— А! — сказала она, заинтересованная. — Либкнехт считает, что сейчас многое зависит от Франции. Он говорит, что у вас большинство пролетариата решительно против войны. И что, на ваше счастье, у вас в правительстве имеется один социалист.

— Вивиани? Это бывший социалист.

— Если бы Франция захотела, какой великий пример она могла бы показать всей Европе!

Жак описал ей демонстрацию на Бульварах. Он без всяких усилий понимал все, что она ему говорила, но объяснялся по-немецки немножко медленно.

— У нас тоже вчера дрались на улицах, — сказала она. — Около сотни раненых, шестьсот или семьсот арестованных. И нынче вечером опять будет... На сегодня назначено более пятидесяти антивоенных митингов... Во всех кварталах. А в девять часов все соберутся у Бранденбургских ворот.

— Во Франции, — сказал Жак, — нам приходится бороться с невероятной апатией средних классов.

Фонлаут вошел в комнату. Он улыбнулся.

— В Германии тоже... Всюду апатия... Поверишь ли, что, несмотря на неминуемую опасность, никто в рейхстаге еще не потребовал созыва комиссии по иностранным делам?.. Националисты чувствуют, что их поддерживает правительство, и ведут в своей прессе неслыханно яростную кампанию! Каждый день они требуют осадного положения в Берлине, ареста всех вождей оппозиции, запрещения пацифистских митингов!.. Пусть стараются! Сила не на их стороне... Повсюду, во всех городах Германии пролетариат волнуется, протестует, угрожает... Это просто великолепно... Мы вновь переживаем октябрьские дни тысяча девятьсот двенадцатого года, когда вместе с Ледебуром<sup>1</sup> и другими мы поднимали рабочие массы криком: «Война войне!» Тогда правительство поняло, что война между капиталистическими державами немедленно же вызовет революционное движение во всей Европе. Оно испугалось, затормозило свою политику. И на этот раз мы одержим победу!

Жак поднялся с места.

— Ты уже собираешься уходить?

Жак ответил утвердительным кивком головы и попрощался с молодой женщиной.

— Война войне! — сказала она, и глаза ее засияли.

<sup>1</sup> Ледебур, Георг (1850—1947), — немецкий социал-демократ, один из вождей центризма.

— И на этот раз мы добьемся сохранения мира, — заявил Фонлаут, провожая Жака до передней. — Но надолго ли? Я тоже начинаю думать, что всеобщая война неизбежна и что революция не совершился, пока мы не пройдем через это...

Жак не хотел расставаться с Фонлаутом, не спросив его мнения по одному из наиболее занимавших его вопросов.

Он прервал Фонлаута:

— А есть ли у вас какие-нибудь точные данные относительно говора между Веной и Берлином? Какую комедию разыгрывают они перед всей Европой? Что произошло за кулисами? Как по-твоему — было тут сообщничество или нет?

Фонлаут лукаво улыбнулся.

— Ах ты, француз!

— Почему француз?

— Потому что ты говоришь: «Да или нет...», «То или это...» У вас какая-то мания все сводить к ясным формулам! Как будто ясно выраженная мысль обязательно должна быть правильной!..

Жак, смущенный, в свою очередь улыбнулся.

«В какой мере обоснована эта критика? — задал он себе вопрос. — И в какой мере может она относиться ко мне?»

Фонлаут снова принял серьезный вид.

— Сообщничество? Как сказать... Сообщничество открытое, циничное — это не наверное. Я бы сказал: да и нет... Конечно, в том удивлении, которое высказывали наши правители в день ультиматума, была доля притворства. Но только известная доля. Говорят, что австрийский канцлер провел нашего, как провел он все правительства Европы, и что наш Бетман-Гольвег просто-напросто действовал с непростительным легкомыслием. Говорят, что Берхтольд сообщил нашей Вильгельмстрассе только выхолощенное резюме ультиматума, и, чтобы заблаговременно добиться от Германии поддержки австрийской политики перед правительствами других держав, он обещал, что текст будет умеренным. Бетман ему поверил. Германия втянулась в эту историю крайне доверчиво и крайне неосторожно... Когда Бетман, Ягов и кайзер узнали, наконец, точное содержание ультиматума, — я слышал из самых достоверных источников, — они были совершенно сражены.

— А какого числа они это узнали?

— Двадцать второго или двадцать третьего.

— В этом-то все и дело! Если двадцать второго, как меня уверяли в Париже, то Вильгельмстрассе еще успела бы оказать давление на Вену до вручения ультиматума. А она этого не сделала!

— Нет, правда, Тибо, — сказал Фонлаут, — я думаю, что Берлин был захвачен врасплох. Даже двадцать второго вечером было уже слишком поздно, слишком поздно для того, чтобы добиться от Вены изменения текста, слишком поздно для того, чтобы дезавуировать Австрию перед другими правительствами. Тогда у Германии, скомпрометированной против ее воли, оставалось лишь одно средство спасти свой престиж: казаться непримиримой, чтобы устра-

шить Европу и выиграть путем запугивания рискованную дипломатическую игру, в которую она, вольно или невольно, была втянута... Вот по крайней мере что говорят... И уверяют даже, — это тоже из очень осведомленного источника, — будто до вчерашнего дня кайзер думал, что мастерски разыграл партию, ибо он был уверен, что обеспечил нейтралитет России.

— Ну нет! Уж наверное Берлин был отлично осведомлен о воинственных замыслах Петербурга.

— Как утверждают, лишь со вчерашнего дня правительство поняло, что зашло в этот опасный тупик... Поэтому, — добавил он, как-то молодо улыбнувшись, — демонстрации, которые произойдут сегодня, имеют исключительное значение: народное предупреждение может оказать решающее влияние на правительство, которое колеблется!.. Ты придешь на Унтер-ден-Линден?

Жак отрицательно покачал головой и расстался с Фонлаутом без всяких дальнейших объяснений.

«Французская мания?.. — размышлял он, спускаясь по лестнице. — Ясная мысль — верная мысль?.. Нет, не думаю, чтобы в отношении меня это было справедливо... Нет... Для меня идеи — ясные или неясные — это, увы, всегда лишь временные точки опоры... И в этом-то моя основная слабость...»

#### XLIХ

Ровно в шесть часов Жак входил в «Ашингер» на Потсдамер-платц; это было одно из главных учреждений, снабжающих бедное население дешевой похлебкой, и в каждом квартале Берлина имелось его отделение.

Он заметил Траутенбаха, сидевшего в одиночестве за столиком, на котором стояла миска с супом из овощей. Немец был, казалось, погружен в чтение газеты, сложенной вчетверо и в таком виде приставленной к графину. Но его светлые глаза внимательно следили за дверью. Он не выказал ни малейшего удивления. Молодые люди небрежно пожали друг другу руки, словно они расстались только вчера. Затем Жак уселся и заказал порцию супа.

Траутенбах был белокурый еврей, почти рыжий, атлетического сложения. Слегка вьющиеся, коротко подстриженные волосы не скрывали лба, похожего на лоб барашка. Кожа у него была белая, усеянная веснушками, толстые губы — лишь немного розовее лица.

— Я боялся, чтобы мне не прислали кого-нибудь другого, — прошептал он по-немецки. — Для такой работы швейцарцы, по моему, мало пригодны. Ты явился как раз вовремя. Завтра было бы уже слишком поздно. — Он улыбался с деланной небрежностью, играя горничницей, словно говорил о каких-то безразличных вещах. — Это операция деликатная, по крайней мере для нас, — добавил он загадочно. — Тебе ничего не придется делать.

— Ничего? — Жак почувствовал себя задетым.

— Только то, что я тебе скажу.

И тем же приглушенным тоном, с той же легкой улыбкой, прерывая от времени до времени свою речь деланным смешком, чтобы ввести в заблуждение тех, кто, может быть, за ними следил, Траутенбах кратко объяснил ему суть предстоящего дела.

Благодаря своим личным склонностям он специализировался в качестве руководителя того, что являлось чем-то вроде международной революционной разведывательной службы. И вот несколько дней назад он узнал о том, что в Берлин прибыл австрийский офицер, полковник Штольбах, которому, как предполагали, дано было тайное поручение к военному министру. Имелось все основания полагать, что целью этого приезда было в данный момент уточнение сотрудничества между генеральными штабами Австрии и Германии. У Траутенбаха возник смелый проект выкрасть у полковника его бумаги, и, для того чтобы выполнить его, он обеспечил себе помочь двух соучастников-специалистов. «Знатоки дела», — сказал он с многозначительной улыбкой, — и я за них отвечаю, как за себя самого». Последняя деталь нимало не удивила Жака. Он знал, что Траутенбах долго жил среди берлинских подонков и сохранил в этом мире подозрительных людей связи, которые уже не раз использовал в интересах дела.

Сегодня вечером Штольбах должен был в последний раз встретиться с министром. В отеле, где он остановился, он объявил, что сегодня ночью возвращается в Вену. Следовательно, нельзя было терять времени: надо было захватить бумаги в промежуток между моментом, когда Штольбах выйдет из министерства, и моментом, когда он сядет в поезд.

Разумеется, Жак не должен был принимать никакого участия в этой краже. (И он принужден был сознаться, что его это даже обрадовало.) Его роль сводилась к тому, чтобы получить бумаги, немедленно же вывезти их из Германии и передать Майнестрелю, с которым Траутенбах уже в течение нескольких лет поддерживал личную связь. Пилот же либо передаст эти документы руководителям Интернационала, которые соберутся завтра в Брюсселе, либо нет, — в зависимости от их важности. Поэтому Жак должен был заранее запастись билетом в Бельгию и находиться вечером, начиная с десяти часов, на вокзале Фридрихштрассе, в зале для пассажиров третьего класса, и улечься на скамейку, словно в глубоком сне. Пакет, завернутый в газету, будет незаметно положен у его изголовья пассажиром, который тотчас же исчезнет, не сказав ему ни слова. Эти последние указания были повторены дважды.

— Выпьем еще по стакану пива, — сказал затем Траутенбах, — и разойдемся.

Жак слушал молча. Он испытывал некоторое смущение. Это похищение документов — как бы оно ни было полезно — ему совсем не нравилось. Принимая поручение, он не думал, что будет замешан в такого рода предприятие. Сперва он готов был поздравить себя с тем, что от него требовалась только несущественная помощь. Но

в то же время он ощутил некоторое разочарование и даже обиду на то, что вся его деятельность сводится к пассивной роли укрывателя и передатчика.

Прежде чем расстаться с Траутенбахом, он задал ему тот же вопрос, что и Фонлауту: имелся ли, по его мнению, сговор между австрийским и германским правительствами?

— Соглашение между Берхтольдом и Бетманом? Не знаю, право... Но что вполне возможно, так это сговор между австрийским генеральным штабом и нашим. Возможно даже, что нашего канцлера провели одновременно и австрийский министр и наш генеральный штаб.

— Эх, — сказал Жак, — если бы получить доказательства, что немецкая военная партия с самого начала стакнулась с австрийским генеральным штабом... Если бы можно было с полным правом утверждать, что благодаря тайным поискам ваших генералов германская политика приняла свое теперешнее направление, что благодаря им Германия старается уклониться от английских предложений об арбитраже!.. (Чтобы оправдать в собственных глазах свое участие в похищении бумаг, он бессознательно стремился убедить себя в том, что эти документы могут оказать общему делу какую-то исключительную помощь.)

— Я тоже думаю, что это может иметь непредвиденные последствия... Даже самый патриотически настроенный из наших социалистических вождей без колебаний восстал бы против правительства. Вот почему нам важно порыться в бумажонках полковника!.. Сиди, — добавил Траутенбах, вставая. — Я ухожу первый. В половине одиннадцатого на вокзале. А пока будь осторожен, избегай участия в сборищах. Улицы кишат полицейскими...

Угроза демонстраций, предполагавшихся в этот вечер, не помешала военному министру довести до конца длинную, последнюю и решающую беседу, которую он пожелал иметь с официозным посланцем австрийского генерального штаба полковником графом Штольбах фон Блуменфельд.

Аудиенция, протекавшая в исключительно сердечной атмосфере, окончилась около четверти десятого. Его высокопревосходительство был даже настолько любезен, что проводил посетителя до площадки парадной лестницы. Там в присутствии служителей, стоявших на своих постах, и дежурного адъютанта министр протянул руку полковнику, который с низким поклоном пожал ее. Оба были в штатском, с усталыми, озабоченными лицами. Они обменялись взглядом, полным невысказанных намеков. Затем, зажав под мышкой тяжелый желтый портфель, полковник, предшествуемый адъютантом, начал спускаться по широким ступеням, покрытым красным ковром. Дойдя до последней ступеньки, он обернулся. Его высокопревосходительство простер свою любезность до того, что все время следил за ним глазами и под конец дружески кивнул ему на прощание.

Во дворе его ожидала министерская машина. Покуда Штольбах закуривал сигару и устраивался в глубине автомобиля, адъютант, наклонившись к шоферу, объяснял ему, как надо ехать, чтобы избежать встреч с демонстрантами и без всяких инцидентов довезти полковника до отеля на Курфюрстендумм, в котором он остановился.

Ночь была теплая. Прошел дождь, но после короткого и сильного ливня атмосфера не освежилась, а, наоборот, на улицах было парно, как в бане. В предвидении возможных беспорядков свет в магазинах был погашен. И хотя еще не было десяти часов, Берлин уже имел тот торжественный мрачный вид, который он обычно принимал лишь поздно ночью. Взгляд полковника рассеянно блуждал вдоль широких проспектов столицы. Он с удовлетворением думал о практических результатах своей поездки и о докладе, который сделает завтра в Вене генералу фон Гетцендорфу. Садясь в автомобиль, он машинально положил портфель на сиденье подле себя. Теперь он это заметил, опять взял его в руки и положил к себе на колени. Это был отличный новый портфель рыжеватой кожи с никелированной застежкой, портфель обычного типа, но высокого качества и вполне достойный переступить вместе с ним порог министерского кабинета. Приехав в Берлин, он купил его в магазине кожевенных товаров на Курфюрстендумм, имея в виду взятую на себя миссию.

Когда машина остановилась перед отелем, портье выбежал на встречу полковнику и с поклонами провел его к дверям в холл. Штольбах остановился у конторки и велел принести в свой номер легкий ужин, а также приготовить счет, так как он намеревался выехать ночным скорым из Берлина. Затем быстрым, несмотря на свою плотную фигуру, шагом он прошел к лифту и велел поднять себя на второй этаж.

В огромном коридоре, освещенном и пустынном, на скамейке у двери в людскую сидел какой-то служитель. Штольбах его раньше не видел: видимо, он заменил коридорного. Тотчас же человек встал и, опередив полковника, открыл перед ним дверь в номер, повернул выключатель и опустил деревянную штору. Номер представлял собою комнату в два окна с высоким потолком, оклеенную черными с золотом обоями. Она сообщалась с уборной и ванной, выложенной голубыми изразцами.

- Господину полковнику что-нибудь понадобится?
- Нет. Чемодан уже уложен. Я бы хотел только принять ванну.
- Господин полковник уезжает сегодня ночью?
- Да.

Равнодушный взгляд лакея скользнул по портфелю, который полковник, войдя в комнату, положил на стул у двери. Затем, покуда Штольбах, сняв шляпу, вытирая носовым платком пот со своего гладкого затылка, слуга прошел в ванную и открыл краны. Когда он возвратился в комнату, чрезвычайный посланец австрийского генерального штаба стоял в сиреневых шелковых кальсонах и в носках. Лакей поднял запыленные ботинки, валявшиеся на полу.

— Сию минуту я принесу их обратно, — сказал он, выходя из комнаты.

Ванную комнату отделяла от людской только тонкая перегородка. Лакей приложил ухо к стене и прислушивался, протирая ботинки шерстяной тряпкой. Он улыбнулся, услышав, как грунзное тело полковника с громким плеском погрузилось в ванну. Затем он вынул из стенного шкафчика прекрасный новый портфель рыжей кожи с никелированной застежкой, набитый старыми бумагами, и, взяв в одну руку ботинки, подошел к дверям номера и постучал.

— Войдите! — крикнул Штолльбах.

«Сорвалось», — тотчас же сказал себе слуга. Действительно, полковник оставил широкую открытую дверь ванной комнаты, и из номера была хорошо видна часть ванны, из которой торчал розовый лысый череп.

Не пытаясь ничего предпринять, слуга поставил ботинки на пол и вышел со своим пакетом из номера.

Полковник, погруженный до подбородка в теплую воду, с наслаждением плескался в ванне, как вдруг потух свет. И комната и ванная одновременно погрузились во мрак. Несколько минут Штолльбах терпеливо ждал. Видя, что тока не дают, он стал ощупывать стену, нашел звонок и яростно надавил кнопку.

Во мраке комнаты раздался голос лакея:

— Господин полковник изволили звать?

— Что там произошло? В отеле потухло электричество?

— Нет. Людская освещена... Это, верно, в номере перегорела пробка. Сейчас я поправлю... Сию минутку будет свет.

Прошло некоторое время.

— Ну?

— Прошу извинения у господина полковника... Я ищу предохранитель. Я думал, он тут, подле двери.

Полковник высунул голову из воды и таращил глаза в сторону погруженной во мрак комнаты, откуда до него доносилась возня слуги.

— Не нахожу, — снова раздался голос из темноты. — Прошу извинения у господина полковника... Я посмотрю снаружи. Предохранитель, наверно, в коридоре.

Слуга быстро вышел из комнаты, побежал в людскую, спрятал в укромном месте портфель полковника и поспешил дал ток.

Через три четверти часа, когда полковник граф Штолльбах фон Блуменфельд был уже старательно обтерт губкой, надушен, одет, когда он выпил чай, съел ветчину и фрукты, зажег сигару, он взглянул на часы и, хотя было еще рано, — полковник не любил торопиться, — позвонил в контору, чтобы прислали за его чемоданом.

— Нет, это я возьму сам, — сказал он человеку, пришедшему за багажом, который хотел было взять желтый портфель, лежащий на стуле у дверей.

Он взял портфель из рук слуги, проверил беглым взглядом, заперта ли застежка, с важным видом сунул его под мышку и вышел из комнаты, убедившись предварительно, что ничего не забыл: он всегда любил порядок.

Прежде чем спуститься вниз, он стал искать коридорного, чтобы дать ему на чай. Коридор был пуст. Он толкнул дверь людской. Комната была пуста, слуги нигде не было.

— Тем хуже для этого дурака, — пробурчал полковник.

И он поехал на вокзал, чтобы сесть в экспресс на Вену.

Почти в тот же самый час женевский студент Эберле (Жан-Себастьян) садился на вокзале Фридрихштрассе в поезд, отходящий в Брюссель. С ним не было никакого багажа — только пакет, похожий на толстую книгу, завернутую в бумагу. У Траутенбаха хватило времени взломать застежку, завернуть документы в газету, перевязать их бечевкой и уничтожить красивый портфель рыжеватой кожи, который мог послужить уликой.

«Если бы меня захватили на германской территории с этим пакетом под мышкой...» — говорил себе Жак. Но он находил смехотворным, что в этом состоял весь риск его «миссии», и тешась мыслью о нем, закрывая глаза на опасность. «Стоило из-за таких пустяков волноваться Женнен!» — с возмущением думал он.

Все же в дороге он прошел в уборную, вскрыл пакет и рассовал бумаги, как мог, по карманам и за подкладку, чтобы избежать распросов со стороны таможенных чиновников. В порядке дополнительной предосторожности он вышел на одной из последних немецких станций и купил ящик с сигарами, чтобы у него нашлось что предъявить на границе.

Несмотря на это, во время таможенного осмотра он пережил несколько неприятных минут. И только получив полную уверенность в том, что поезд наконец-то мчится по бельгийским рельсам, он заметил, что весь покрыт потом. Он забился в свой угол, скрестил руки на тщательно застегнутом пиджаке и с наслаждением погрузился в сон.

## Л

Все шесть этажей брюссельского Народного дома сверху донизу гудели, как гнездо шершней. С утра Международное бюро Социалистического Интернационала собралось на чрезвычайное заседание. Эта настойчивая попытка дать отпор империалистической политике правительств собрала в бельгийской столице не только всех вождей социалистических партий Европы, но и значительное количество активистов, съехавшихся отовсюду и решивших придать международное значение митингу протеста, который должен был состояться сегодня, в среду вечером, в цирке.

Благодаря деньгам, которые Мейнестрель смог предоставить в распоряжение группы (никто никогда не мог узнать, из каких источников Пилот и Ричардли пополняли секретные фонды «Локаля»), около десятка ее членов прибыло в Брюссель. Местом своих собраний избрали они ресторанчик на улице Рынка, «Таверну Льва», вблизи бульвара Ансбах.

Там Жак встретился со своими друзьями и передал Мейнестрель пакет с документами Штольбаха. (Пилот тотчас же ушел в гостиницу и заперся у себя в номере для предварительного осмотра добычи. Жак должен был зайти к нему немного позже.)

Появление Жака встречено было радостными восклицаниями. Кийёф, первым заметивший его, тотчас же возвысил голос:

— Тибо! Какая приятная встреча!.. Ну, как дела? Становится жарковато?

Здесь были все завсегдатаи «Локаля»: Мейнестрель и Альфреда, Ричардли, Патерсон, Митхерг, Ванхеде, Перине, аптекарь Сафрио, и Сергей Павлович Желяевский, и папаша Буассони со своим брюшком, и Скада, «азиатский философ», даже молоденькая Эмили Картье, розовая и белокурая в своем чепце сестры милосердия; с момента отъезда Кийёф все время пытался заставить ее снять чепец «из-за жары».

Жак улыбался всем протянутым к нему рукам, счастливый,— даже более счастливый, чем думал сам,— что внезапно обрел вновь в этом бельгийском ресторанчике дружественную атмосферу женевских сборищ.

— Ну что? — сказал Кийёф, полагавший, что Жак приехал из Франции. — Вчера они все-таки оправдали твою госпожу Кайо... Что будешь пить? Ты тоже любитель их пива? (Что касается его самого, то он презирал это «пойло для северян» и оставался верен своему сухому вермуту.)

Шумная веселость Кийёфа служила прекрасным выражением того более или менее общего всем оптимизма, который еще царил в течение последних дней в Женеве; дискуссии в «говорильне», где Мейнестрель стал появляться реже, не выходили за рамки интернационалистической мистики. И различные проявления пацифизма по всей Европе отмечались там с энтузиазмом, которого не могли поколебать даже самые неутешительные новости. Приезд группы в Брюссель, первые встречи с другими европейскими делегациями, присутствие официальных вождей — вся эта торжественная коалиция против войны являлась для большинства из них доказательством международной солидарности, активной и увереной в победе. Правда, утренние телеграммы известили их об объявлении Австрией войны Сербии и даже об обстреле Белграда, начатом минувшей ночью. Но они легко дали себя убедить, основываясь на сведениях, содержащихся в одной австрийской ноте, что лишь в белградскую цитадель попало несколько снарядов и что этот обстрел не имел существенного значения: это было лишь нечто вроде предупрежде-

ния, скорее символическая демонстрация, чем прелюдия к настоящим военным действиям.

Перине усадил Жака рядом с собою. Он провел все утро в баре «Атлантик», где собиралась французская делегация, и принес оттуда отголоски последних парижских новостей. Он рассказывал, что накануне социалистическая фракция палаты, во главе с Жоресом и Жюлем Гедом, имела на Ке д'Орсе длительную беседу с заместителем министра. В результате своего визита депутаты-социалисты опубликовали декларацию, в которой они совершенно твердо заявляли, что «только Франция может распоряжаться судьбами Франции» и что ни при каких обстоятельствах страна не может быть «ввернута в чудовищный конфликт благодаря тайным договорам, которые всегда истолковываются более или менее произвольно»; поэтому они требовали «в кратчайший срок созыва палаты, несмотря на парламентские каникулы». Итак, французские социалисты намеревались вести борьбу на парламентской почве. На Перине произвели самое благоприятное впечатление воодушевление, спокойствие и непоколебимая надежда, которыми полны были члены делегации. Жорес даже больше, чем другие, проявлял упорную веру в благополучный исход. С гордостью цитировали его последние словечки. Многие слышали, как он говорил Вандервельде: «Увидите, это будет как во время Агадира. То лучше, то хуже, но все, без малейшего сомнения, уладится». Передавали также, как пикантное доказательство его оптимизма, что патрон, у которого после завтрака выдался свободный часок, спокойно отправился смотреть в музее картины Ван-Эйков.<sup>1</sup>

— Я его видел, — говорил Перине, — и уверяю вас, что он совсем не похож на отчаявшегося человека! Он прошел совсем подле меня со своим тяжелым портфелем, который оттягивал ему плечо, в своей круглой соломенной шляпе, в своем черном пиджаке... У него всегда будет вид преподавателя, идущего в класс... Он шел под руку с каким-то незнакомым мне типом. Потом я узнал, что это немец Гаазе... Так вот, слушайте... Как раз в этот момент, когда они проходили мимо моего столика, немец остановился, и я услышал, как он с сильным акцентом сказал по-французски: «Кайзер не хочет войны. Не хочет. Он слишком страшится возможных последствий!» Тогда Жорес повернул голову и, сверкая глазами, с улыбкой ответил: «Ну что ж, сделайте так, чтобы кайзер оказал энергичное давление на австрийцев. А мы, во Франции, уж наверное сумеем заставить наше правительство воздействовать на русских!» Совсем рядом с моим столиком... Я слышал их обоих так, как вы слышите меня.

— Воздействовать на русских... Это было бы как раз вовремя! — пробормотал Ричардли.

Жак встретился с ним взглядом, и у него появилось ощущение, что Ричардли, — который в данном случае отражал, наверное, образ

<sup>1</sup> Ван Эйк, братья: Губерт (1370—1426) и Ян (1390—1440) — фламандские художники.

мыслей Мейнестреля, — весьма далек от того, чтобы разделять общий оптимизм. Это впечатление было тотчас же подкреплено самим Ричардли, ибо, наклонившись в сторону Жака, си, понизив голос, добавил вопросительным тоном:

— Невольно задаешь себе вопрос: а вдруг Франция, а вдруг те, кто управляет Францией, согласившись на то, чтобы Россия объявила мобилизацию, и на то, чтобы Россия ответила на австрийскую провокацию превокацией и на германский ультиматум пренебрежительным молчанием, тем самым уже дали согласие на войну!

— Да ведь мобилизация в России только частичная, — заметил Жак не слишком уверенным тоном.

— Частичная? А какая разница между такой мобилизацией и всеобщей, но только временно маскируемой?

Внезапно раздался резкий голос Митхерга, сидевшего в глубине рядом с Харьковским и Ричардли:

— Россия? Она проводит настоящую мобилизацию, будьте уверены! Россия находится в полной власти царистского милитаризма! И все правительства Европы точно так же являются сейчас пленниками реакционных сил! Пленниками такого режима, такой системы, которая по природе своей нуждается в войнах. Вот, дорогой камрад! Освобождение славян? Предлог! Царизм только и делал, что угнетал славян. В Польше он их раздавил. В Болгарии он сделал вид, что дал им свободу, для того чтобы ему было легче угнетать их. А правда заключается в том, что здесь возобновляется старая борьба между русским милитаризмом и милитаризмом Австро-Венгрии!

За соседним столиком Буассони, Кийёф, Патерсон и Сафрио вели бесконечный спор о становящихся все более и более непроницаемыми намерениях Берлина. Почему кайзер, не перестающий заявлять о своем миролюбии, упорно отказывается выступить в качестве посредника, в то время как совета, данного с некоторой твердостью, было бы достаточно, чтобы убедить Франца-Иосифа удовольствоваться дипломатическим успехом, и без того уже блестящим? Германия вовсе не была заинтересована в том, чтобы Сербию захватили австрийские войска. Зачем же подвергать Германию и всю Европу такому риску, если, как утверждали социал-демократы, Берлин не желал войны?.. Патерсон заметил, что в поведении Великобритании тоже не так-то легко разобраться.

— Все внимание Европы обратится на Англию, — сентенциозно произнес Буассони. — Благодаря объявлению войны Австрией, которое делает невозможными двусторонние переговоры между Петербургом и Веной, подобные сношения смогут поддерживаться лишь через Лондон. Роль англичан как посредников приобретает, таким образом, особую важность.

Патерсон, который, едва приехав в Брюссель, отправился повидаться со своими соотечественниками-социалистами, утверждал, что среди английской делегации большое беспокойство вызывал один слух, циркулировавший в Foreign office: влиятельные лица из окру-

жения Грея, опасаясь, что постоянные заявления о нейтралитете могут косвенным образом содействовать воинственным планам центральных держав, убеждают будто бы министра принять, наконец, определенное решение или же в крайнем случае предупредить Германию, что если в случае австро-русского конфликта английский нейтралитет сам собою разумеется, то в случае войны франко-германской дело будет обстоять иначе. Английские социалисты, верные идеи нейтралитета, опасались, как бы Грей не уступил этому нажиму, тем более что в настоящий момент подобная декларация не вызывала бы в английском общественном мнении такого отрицательного отношения, как на прошлой неделе. Действительно, неслыханная сурость ультиматума и упорство Австрии в стремлении напасть на Сербию возбудили по ту сторону Ламанша всеобщее негодование против Вены.

Жак, усталый после своей поездки, довольно рассеянно слушал все эти споры. Удовольствие, которое он испытал, увидев снова дружеские лица, рассеивалось скорее, чем он того желал.

Он встал и подошел к столику, где маленький Ванхеде, Желявский и Скада разговаривали между собой вполголоса.

— В настоящее время, — пищал альбинос своим тонким, как флейта, голоском, — люди живут друг подле друга, но каждый для себя, без любви... Вот это-то и нужно изменить, Сергей... И раньше всего — в сердцах людей... Братство — это такая вещь, которую не установишь извне, по закону... — На мгновение он улыбнулся каким-то незримым ангелам, затем продолжал: — Без этого ты, пожалуй, сможешь осуществить какую-то социалистическую систему. Но осуществить социализм — никогда; ты даже не положишь ей начало.

Он не видел, что к ним подошел Жак. Внезапно заметив его, он покраснел и замолчал.

Скада положил подле своей кружки с пивом несколько несброшюрованных книг. (Его карманы всегда бывали набиты журналами и книгами.) Жак рассеянно посмотрел заглавия: Эпиктет... Сочинения Бакунина, том IV... Элизе Реклю<sup>1</sup> «Анархия и церковь»...

Скада наклонился к Желявскому. За стеклами его очков, толщиной в полсантиметра, его ненормально увеличенные, похожие на шарики глаза выдавались, как два яйца, сваренные в мешочек.

— А у меня никакого нетерпения нет, — объяснял он, приятно улыбаясь и расчесывая ногтями с методичностью маньяка свои кудрявые, коротко подстриженные волосы. — Мне революция нужна не для себя. Через двадцать лет, через тридцать, может быть через пятьдесят, но она будет! Я это знаю. И это только и необходимо для меня, чтобы я мог жить, мог действовать...

В глубине зала снова заговорил Ричардли. Жак навострил ухо. В пророческих высказываниях Ричардли он старался распознать мысль Пилота.

<sup>1</sup> Элизе Реклю (1830—1905) — выдающийся французский географ, теоретик анархизма.

— Война заставит государства покрывать пассив своего баланса девальвацией. Она ускорит их банкротство. Она тем самым разорит мелких держателей. Она очень скоро вызовет всеобщую нищету. Она восстановит против капиталистического строя целую кучу новых его жертв, которые придут к нам. Она вытеснит ав-то-ма-тически...

Митхерг перебил его. Буассони, Кийёф, Перине, все остальные заговорили разом.

Жак перестал их слушать. «Я ли изменился, — спросил он себя, — или они? — Он плохо разбирался в причинах своего смущения. — Угроза войны застала нашу группу врасплох... разбила ее на части... Каждый реагировал на все по-своему, сообразно своему темпераменту... У всех появилось стремление к действию, всеобщее, яростное стремление, но никому из нас не удается его удовлетворить... Наша группа оказалась изолированной, удаленной от центра, без точных рамок, без дисциплины... Кто в этом виноват? Может быть, Майнестрель... Майнестрель меня ждет», — сказал он себе, взглянув на часы.

Он подошел к Альфреде, сидевшей рядом с Патерсоном.

— На каком трамвае мне надо ехать в твою гостиницу?

— Пойдем, — сказал, вставая, Патерсон. — Мы с Фредой тебя немного проводим.

У него как раз было назначено свидание с одним английским социалистом, другом Кир-Харди. Он взял Жака под руку — Альфреда шла позади — и увлек его за двери «Таверны». Он казался сильно возбужденным. Друг Кир-Харди, лондонский журналист, говорил ему о материале, который нужно будет собрать в Ирландии для одной из партийных газет. Если дело будет решено, Пат завтра же должен будет отправиться в Англию. Эта перспектива чрезвычайно волновала его: он жил уже пять лет на континенте и за это время ни разу не переезжал через Channel!<sup>1</sup>

Солнце невыносимо пекло. Мостовая была раскаlena. Ни один порыв ветерка не облегчал зноного оцепенения, навалившегося на город. Без пиджака, со своей трубкой, с маленькой кепкой на голове, с расстегнутым воротом рубашки, в старых фланелевых брюках на длинных ногах, Патерсон более чем когда-либо походил на путешествующего оксфордского студента.

Альфреда шла рядом с ними. Ее полинявшее платье из голубой бумажной материи приняло нежный оттенок цветущего льна. Благодаря черной челке, хмурому носику, большим кукольным глазам, выражению лица как у примерного ребенка, болтающимся рукам ее можно было принять за девочку. Она слушала, как обычно, не говоря ни слова. Но под конец все же спросила с легкой дрожью в голосе:

— А если поедешь, когда ты вернешься в Женеву?

Лицо англичанина омрачилось:

— Не знаю.

<sup>1</sup> English Channel (Английский канал) — английское название Ла-Манша.

Она слегка поколебалась, подняла на него глаза и, тотчас же опустив веки быстрым движением, от которого на щеках ее дрогнула тень ресниц, прошептала:

— А ты вернешься, Пат?

— Да, — с живостью ответил он. Выпустив руку Жака, он пошел к молодой женщине и фамильярным жестом положил ей на плечо свою большую руку. — Да, дорогая. Не со-мне-вай-ся!

Некоторое время они шли молча.

Патерсон вынул изо рта трубку и, продолжая идти с немного откинутой назад головой, стал рассматривать Жака пристально, как рассматривают какую-нибудь вещь:

— Я думаю о твоем портрете, Тибо... Еще два сеанса... два крошечных сеанса, и я бы его закончил... Чертовски не везет этому полотну, дорогой мой!

Он разразился юношеским смехом. Затем, так как они в это время переходили через перекресток, он обернулся к Жаку и мальчишеским жестом указал ему на низенький домик на углу переулка.

— Смотри внимательно: вон там живет юный Вильям Стенли Патерсон. У меня большая bedroom.<sup>1</sup> Если хочешь, дорогой мой, за пачку табаку я тебе уступлю половину.

Жак еще не нанял комнаты. Он улыбнулся:

— Согласен.

— Второй этаж, открытое окно... Комната номер два. Запомнишь?

Альфреда, подняв глаза и не двигаясь, смотрела на окно Патерсона.

— Теперь нам надо расстаться, — сказал Жаку англичанин. — Видишь, где вокзал? Улица, на которой живет Пилот, сейчас же за ним.

— Ты ведь меня проводишь? — спросил Жак у молодой женщины, полагая, что она отправится к себе домой вместе с ним.

Она вздрогнула и посмотрела на него. Ее зрачки расширились, полные какой-то взволнованной неуверенности.

На секунду воцарилось молчание.

— Нет. Теперь ты пойдешь один, — небрежно произнес англичанин. — Прощай, дорогой.

## LI

В течение двух последних недель Мейнестрель повторял «Война войне» с тем же пылом, что и другие его товарищи по «Локалю». Но ничто не могло поколебать его уверенность в том, что никакие мероприятия Интернационала против войны не смогут ее предотвратить. «Война нужна для того, чтобы смогла, наконец, возникнуть настоящая революционная ситуация», — говорил он

<sup>1</sup> Спальня (англ.).

Альфреде. — Никто, разумеется, не может сказать, возникнет ли революция в результате этой ситуации, или же в результате следующей войны, или из-за какого-либо иного кризиса. Это зависит от самых разнообразных обстоятельств... Очень зависит и от «первых побед». Кто вначале будет иметь преимущество? Германцы или франко-руssкие войска? Предугадать невозможно... Для нас вопрос заключается не в этом. Для нас тактика настоящего момента состоит в том, чтобы действовать так, как если бы мы были уверены, что вскоре сможем превратить империалистическую войну в пролетарскую революцию... Усиливать всеми средствами предреволюционную обстановку, которую мы сейчас имеем. То есть: объединить усилия всех пацифистски настроенных элементов, откуда бы они ни исходили, и всячески развивать агитационную работу! Вызвать как можно больше волнений! В максимальной степени помешать правительству проводить их планы». В глубине души он при этом думал: «При условии все же, чтобы не бить дальние цели, чтобы избежать слишком успешных действий, которые рисковали бы отсрочить войну...»

Приехав в Брюссель, Мейнестрель нарочно остановился по дальше от «Гаверны». Он поселился за Южным вокзалом в маленьком домике в глубине большого двора.

Проведя у себя в комнате два часа наедине с документами Штольбаха, он уже не сомневался в словоре между обоими генеральными штабами германских держав: доказательства, неопровергимые доказательства находились тут, в его руках!.. Добыча, привезенная Жаком, состояла почти исключительно из заметок, которые Штольбах делал изо дня в день в Берлине во время своих бесед с руководителями генерального штаба и военного министерства: эти заметки, по-видимому, служили ему материалом для тех донесений, которые он посыпал в Вену после каждой беседы. Заметки Штольбаха не только проливали яркий свет на то, в каком состоянии находятся в настоящий момент переговоры между обоими генеральными штабами, но благодаря многочисленным намекам на обстоятельства недавнего прошлого они уточняли также всю историю переговоров между Веной и Берлином на протяжении последних недель. Эти ретроспективные разоблачения представляли значительный интерес: для Мейнестреля они служили подтверждением тех подозрений, которые венский социалист Госмер поручил Бему и Жаку сообщить ему в Женеве 12 июля. Они позволяли ему также восстановить все факты в их последовательности.

Прошло всего несколько дней после сараевского убийства, и Берхтольд с Гетцендорфом стали все свои усилия направлять на то, чтобы убедить старого императора воспользоваться обстоятельствами, немедленно объявить мобилизацию и раздавить Сербию силой оружия. Но Франц-Йосиф оказался неговорчивым: он возражал, что военное выступление Австрии натолкнулось бы на вето со стороны кайзера. («Ага, — сказал себе Мейнестрель, — это доказывает между прочим, что он уж очень ясно представлял себе

русское вмешательство и угрозу всеобщей войны!..») Чтобы преодолеть сопротивление своего государя, Берхтольд возымел смелую мысль отправить в Берлин начальника своей собственной канцелярии, Александра Гойоша, с поручением добиться согласия Германии. Как и следовало ожидать, Гойош сперва натолкнулся на отказ кайзера и канцлера, которые действительно, опасаясь реакции со стороны России, вовсе не желали, чтобы Австрия вовлекла их в европейскую войну. Тогда-то на сцену и выступила прусская военная партия. В ней Гойош обрел вполне готового и очень могущественного союзника. Германский генеральный штаб уже с февраля 1913 года отдавал себе полный отчет в опасности со стороны славянских государств и в махинациях, которые Россия и Сербия затевали против Австрии, а следовательно, и против Германии. Он подозревал даже, что Петербург в сообщничестве с Белградом принял более или менее косвенное участие в сараевском убийстве. Но германские генералы считали аксиомой, что Россия ни в каком случае не согласится на немедленную войну и что она не даст вовлечь себя в какую-нибудь авантюру раньше чем через два года, то есть пока она не завершит программу своих вооружений. Подстрекаемые Гойошем, руководители германской армии в конце концов убедили Вильгельма II и Бетмана, что, принимая во внимание теперешнее положение в Европе, риск вызвать, благодаря непримиримости России, всеобщий конфликт довольно невелик и что тут представляется совершенно неожиданная возможность блестящим образом укрепить германский престиж. Таким образом, Гойош добился того, что у Австрии оказались развязаны руки, и он привез в Вену обещание, что Германия решительно поддержит свою союзницу во всех ее требованиях. Это, наконец, объяснило, почему Австрия вела в течение последних недель столь загадочную политику. Это к тому же доказывало, что с данного момента кайзер и его окружение внутренне более или менее согласились если не с неизбежностью, то во всяком случае с возможностью всеобщей войны.

«Счастье, что я один сунул сюда свой нос, — тотчас же сказал себе Майнестрель. — Подумать только, что я чуть было не позвал на помощь Жака и Ричардли!»

Он стоял, склонившись над кроватью, на которой за неимением места он разложил документы мелкими, наспех подобранными пачками. Он взял заметки, которые положил справа от себя и которые все без исключения относились к событиям начала июля, — их он всунул в конверт и запечатал его, предварительно пометив: «№ 1».

Потом он взял стул и уселся.

«Просмотрим-ка все это еще раз, — решил он, придвигая к себе заметки, сложенные слева от него. — Все это и есть миссия нашего друга Штольбаха... В этом пакете австрийские военные планы: стратегия, технические детали. Не моя область. Положим в конверт номер два... Так.. Но меня интересует остальное... Заметки датированы. Таким образом, легко восстановить последовательность, в какой велись собеседования... Цель его миссии? В общем: ускорить

германскую мобилизацию... Вот первые листки... Как только он приехал в Берлин, встреча с Мольтке... И так далее... Полковник настаивает, чтобы германский генеральный штаб ускорил подготовку к войне... Но ему отвечают: «Невозможно, канцлер против, а его поддерживает кайзер!» Вот как! Что же означает эта оппозиция со стороны Бетмана?.. Он заявляет: «Слишком рано!» Каковы же его доводы? Во-первых, причины внутриполитического порядка: он мечет громы и молнии против народных демонстраций, нападок «Vorwärts» и так далее... Ага! В сущности, он очень встревожен энергичным противодействием социал-демократии!.. Во-вторых, причины внешнеполитические: прежде всего надо обеспечить Германии одобрение нейтральных стран, в первую голову — Англии... Затем подождать, пока угроза со стороны России усилится. Ибо в тот день, когда пред лицом имперского правительства будет «откровенно агрессивная Россия», оно сможет убедить и германских социалистов и Европу, что для Германии речь идет о «законной защите» и что она против воли вынуждена объявить мобилизацию из «простой предосторожности»... Ну, конечно! Неумолимая логика!.. Какую же тактику применяют Штольбах и германские генералы, чтобы принудить милейшего Бетмана согласиться?.. Из всех этих заметок ясно становится, как зародились их комбинации... Надо, значит, без промедления вынудить Россию к какому-нибудь акту, который мог бы рассматриваться как враждебный. «Например, заставить ее объявить мобилизацию», — подсказывает Штольбах 25-го вечером. На что ему отвечают: «Правильно. Но для этого есть лишь одно хорошее средство, единственное, и оно зависит от Австрии: австрийская мобилизация»... Они не такие дураки, какими кажутся, эти генералы! Они очень хорошо поняли, что если бы Франц-Иосиф объявил мобилизацию всей своей армии (что, отмечает Штольбах, «было бы угрозой не только по адресу маленькой Сербии, но и великой России»), царь неизбежно вынужден был бы ответить на это всеобщей мобилизацией. А перед лицом такого факта, как всеобщая русская мобилизация, кайзер уже не сможет не отдать и со своей стороны приказа о мобилизации. И канцлер ничего не сможет возразить, ибо германская мобилизация, являющаяся прямым следствием угрозы русского нашествия, может быть оправдана перед всеми — и за рубежом и внутри страны, перед европейским общественным мнением и перед общественным мнением Германии, уже и без того сильно возбужденным против России: сна может быть оправдана даже перед социал-демократами... Да, и это очень верно. Зюдекум<sup>1</sup> с присными на всех съездах уши нам прожужжали своей русской опасностью! И даже Бебель! Уже в 1900 году он заявлял, что перед лицом угрозы со стороны России он сам возьмется за винтовку... В данном случае

<sup>1</sup> Зюдекум, Альберт (род. в 1871 г.) — один из лидеров правого крыла немецкой социал-демократии, ревизионист и социал-шовинист, предатель рабочего класса.

социалисты оказались бы пойманными на слове. Пойманными в ловушку! Ловушку, ими же самими себе расставленную! Для них будет невозможно — невозможно, как для социал-демократов, — отказаться от сотрудничества со своим правительством, когда оно намеревается защищать германский пролетариат от казацкого империализма!.. Прекрасно разыграно! Значит, вскоре надо ожидать всеобщей мобилизации в Австрии... Так вот почему через день после своего приезда в Берлин наш друг Штольбах отправляет ряд депеш Гетцендорфу, настаивая, чтобы Австрия взяла решительный курс на всеобщую мобилизацию... Браво! Макиавелистическая западня, которую Берлин расставляет России через посредство Австрии! А в это время кайзер и его канцлер безмятежно курят сигары, даже не подозревая о том, какую с ними сыграли штуку!»

Привычным жестом Мейнестрель зажал между большим и указательным пальцами свое лицо на уровне висков, затем пальцы его быстро соскользнули вдоль щек до заостренного кончика бороды.

«Отлично, отлично!.. Прямо туда и катятся! Да на всех парах!»

Он поспешил собрать заметки, разбросанные по одеялу, спрятал их в третий конверт и повторил вполголоса:

— Какое счастье, что только я один сунул сюда свой нос!

Он оперся на спинку стула, скрестил руки и несколько мгновений сидел неподвижно.

Очевидно было, что документы эти представляли собой «новый факт» неизмеримой важности. Германские социал-демократы, за очень немногими исключениями, даже не подозревали о сговоре между Веной и Берлином. Самые отчаянные хулиганисты кайзераского режима отвергали мысль, что он настолько глуп, чтобы рисковать европейским миром и судьбами империи ради защиты австрийского престижа. Поэтому они принимали на веру официальные утверждения: они верили, что Вильгельмштрассе была захвачена врасплох австрийским ультиматумом, что она не знала заранее ни его точного содержания, ни даже его агрессивного характера и что Германия самым искренним образом пытается сыграть роль посредника между Австрией и ее противниками. Наиболее проницательные, правда, чуяли возможность сговора между генеральными штабами Вены и Берлина. (Гаазе, германский делегат на Брюссельской конференции, с которым Мейнестрель виделся утром, рассказал ему, что в воскресенье он сделал демарш перед правительством и торжественно напомнил от имени партии, что германо-австрийский союз — строго оборонительный; он не скрывал, что у него вызвал некоторое беспокойство услышанный им ответ: «Но если Россия первая допустит враждебное выступление против нашей союзницы?» И все-таки даже Гаазе был далек от предположения, что всеобщей мобилизации в Австрии суждено стать хорошо насыженной приманкой, которую германская военная партия намеревалась бросить России.) Неопровергнутое доказательство сообщничества, которое представили заметки Штольбаха, могло бы стать, если бы оно попало в руки вождей социал-демократии, страшным оружием

в их борьбе против войны. И тогда все яростные нападки, которые сини до того времени направляли по адресу венского правительства, обрушатся на голову правительства их страны.

— Это снаряд такой взрывчатой силы, — говорил себе Мейнестрель, — что, черт возьми, если его хорошо использовать, эффект может превзойти все ожидания... Да, можно предположить все, что угодно — даже в конце концов срыв войны!..

В течение нескольких секунд он представлял себе кайзера и канцлера перед лицом угрозы, что это доказательство будет представлено всему свету, или же под огнем яростных нападок прессы, которые рисковали бы восстановить против правительства Германии не только немецкий народ, но и общественное мнение всего мира; он представлял их себе стоящими перед дилеммой: либо отдать приказ об аресте всех социалистических вождей и тем самым открыто объявить войну всему германскому пролетариату, всему европейскому Интернационалу (предположение почти невероятное), либо капитулировать перед угрозой со стороны социалистов и поспешно дать задний ход, отказав Австрии в поддержке, обещанной Гойошу. Что же произошло бы? А то, что, лишенная возможности опереться на Германию, Австрия, без сомнения, не посмела бы упорствовать в своих воинственных планах, и ей пришлось бы удовлетвориться дипломатическим торгом... Таким образом, все расчеты капиталистов на большую войну оказались бы опрокинутыми.

— Это надо хорошенько обдумать! — прошептал он.

Он встал, прошелся по комнате, выпил стакан воды и снова уселся перед разложенными на кровати бумагами.

«А сейчас, Пилот, смотри, берегись сделать тактическую ошибку!.. Два выхода: дать бомбе взорваться или скрыть ее, сохранив для более позднего времени. Гипотеза первая: я передаю эти бумажки кому-нибудь — Либкнехту, например; скандал разразится. Тогда имеются две возможности: скандал не предотвращает войны или же предотвращает ее. Предположим, что он ее не предотвратит, — а это весьма возможно, — что мы выиграем? Разумеется, пролетариат пойдет воевать в полной уверенности, что он обманут... Хорошая пропаганда гражданской войны!.. Да, но ветер дует в противоположную сторону: всюду уже господствует «военный дух». Даже здесь, в Брюсселе, это просто поражает... Вопрос еще, захотят ли соцдемовские вожди, чтобы бомба взорвалась? Я не уверен... Все же допустим, что они опубликуют документы в «Vorwärts»... Газета будет конфискована: правительство станет все нагло отрицать. А общественное мнение в Германии настроено сейчас таким образом, что правительственные опровержения будут иметь в его глазах больше веса, чем наши обвинения... Предположим теперь, что, вопреки всем вероятиям, Либкнехт, играя на народном негодовании и возмущении всего мира, заставит кайзера отступить и тем самым сумеет предотвратить войну. Конечно, благодаря этому мощь Интернационала и революционное сознание масс усилятся... Да, но... Но предотвратить войну?.. Наш лучший козырь...»

Несколько секунд он с застывшим лицом размышлял о тяжкой ответственности, которую готов был на себя взять.

— Только не это! — сказал он вполголоса. — Только не это!.. Пусть будет хоть один шанс из ста на предотвращение войны — рисковать нельзя!

Он упорно размышлял еще несколько секунд: «Нет, нет... Какой стороной ни повернуть проблему... Сейчас выход может быть лишь один: бомбу надо припрятать...»

Он нагнулся и решительным жестом вынул из-под кровати чемоданчик.

«Запрем-ка все это... Никому не скажем ни слова... Дождемся удобного момента!»

Момент, о котором он думал, был тот, когда с неизбежностью рока деморализация проникнет в мобилизованные массы и когда, чтобы ускорить эту деморализацию, чтобы усилить ее, оказалось бы полезным иметь возможность нанести решительный удар, обнародовав это решающее доказательство махинаций буржуазных правительств.

По губам его скользнула мимолетная усмешка — улыбка одержимого: «На чем все держится? Война, революция, может быть, до некоторой степени зависят от содержимого этих трех конвертов!» Он взял их и начал машинально взвешивать в своей руке.

Кто-то постучал в дверь.

— Это ты, Фреда?

— Нет, Тибо.

— А!

Пилот быстро спрятал конверты в чемоданчик и запер его на ключ, прежде чем открыть дверь.

Войдя в комнату, Жак, в поисках документов, прежде всего инстинктивным взглядом окинул весь царивший в ней беспорядок.

— Фреда с тобой не вернулась? — спросил Мейнестрель, поддаваясь внезапному чувству недовольства, почти тревоги, которое он, впрочем, тотчас же подавил. — Я не предлагаю тебе сесть, — продолжал он шутливым тоном, указывая на беспорядочную кучу женских платьев и белья, загромождавшую оба имевшихся в комнате стула. — Впрочем, я как раз собирался идти. Надо бы поглядеть, что делается в Народном доме.

— А... бумаги? — спросил Жак.

Разговаривая, Пилот засунул чемоданчик под кровать.

— Мне кажется, что Траутенбах даром потратил время, — спокойно сказал он. — И ты тоже...

— Да?

Жак был больше поражен, чем огорчен. Мысль, что эти бумаги могли не представлять никакого интереса, даже в голову ему не приходила. Он колебался — расспрашивать подробнее или нет, но под конец все же решился.

— А что вы с ними сделали?

Мейнестрель движением ноги указал на чемоданчик.

— Я думал, что вы намеревались сегодня вечером сообщить обо всем этом на Бюро... Вандервельде, Жоресу?..

Пилот улыбнулся какой-то медленной холодной улыбкой, больше глазами, чем губами. И в этом улыбчивом взгляде, озарившем его мертвенно-бледное лицо, было одновременно столько ясности и так мало человечности, что Жак опустил глаза.

— Жоресу? Вандервельде? — произнес своим фальцетом Мейнестрель. — Да они не найдут там даже материала для одной лишней речи! — Заметив разочарованный вид Жака, он отбросил саркастический тон и добавил: — В Женеве я, разумеется, внимательнее разберусь во всех этих заметках. Но на первый взгляд ничего существенного нет: стратегические детали, данные о количестве вооруженных сил... Ничего такого, что в настоящий момент могло бы пригодиться.

Он снова надел пиджак и взял шляпу.

— Пойдем вместе? Мы будем идти потихоньку и разговаривать... Какая жара! Никогда я не забуду, каков в июле Брюссель... Куда девалась Альфреда? Она сказала, что войдет за мной... Проходи вперед, я иду за тобой.

Пока они шли, он расспрашивал Жака о Париже и ни разу не упомянул о документах.

Он волочил ногу больше обычного и с внезапной резкостью извинился за это перед Жаком. Летом, особенно в результате сильного утомления, мускулы ноги иногда болели у него не меньше, чем на другой день после воздушной аварии.

— Этак я вроде «инвалида войны», — заметил он с коротким смешком. — Через некоторое время такая штука окажется почетной.

У дверей Народного дома, когда Жак собрался уходить, он внезапно дотронулся до его рукава:

— А ты? Что это с тобой, мой мальчик?

— Что со мной?

— Ты как-то изменился. Уж не знаю, как сказать... Но очень изменился.

Он пристально смотрел на него, жестким, темным, проницательным взглядом.

На несколько секунд образ Женни возник перед глазами Жака. Он покраснел. Ему противно было лгать, но и объяснять не хотелось. Он загадочно улыбнулся и отвернулся голову.

— До скорого свиданья, — сказал Пилот, не настаивая. — Перед митингом я пойду пообедать с Фредой в «Таверне». Мы зайдем тебе место подле нас,

### III

Уже с восьми часов заняты были не только пять тысяч сидячих мест Королевского цирка, но даже пролеты и галерея заполнились демонстрантами, а снаружи, на узких улицах кругом цирка, кишила огромная толпа народа, по подсчетам вос-

торженных активистов — уже не менее пяти или шести тысяч человек.

Жаку и его друзьям с большим трудом удалось расчистить себе проход и проникнуть в зал.

«Официальные» лица, задержавшиеся в Народном доме, где продолжало заседать Бюро Интернационала, еще не прибыли. Передавали, что обсуждение проходило довольно бурно и что оно затягивается надолго. Кир-Харди и Вайян изо всех сил старались добиться от собравшихся делегатов принципиального согласия на превентивную всеобщую забастовку и твердого обещания от имени представляемых ими партий, что они будут активно работать у себя на родине над подготовкой к этой стачке, для того чтобы в случае войны Интернационал мог действенным образом воспрепятствовать воинственным планам правительства. Жорес энергично поддержал это предложение, и ожесточенная дискуссия по этому поводу велась с самого утра. Столквались все время одни и те же точки зрения. Одни соглашались в принципе на всеобщую забастовку в случае наступательной войны. Но так как в случае войны оборонительной страны, парализованная стачкой, с неизбежностью подверглась бы нашествию агрессора, они утверждали, что народ, подвергшийся нападению, имеет право и даже обязан защищаться с оружием в руках. Большая часть немцев, очень многие бельгийцы и французы думали именно так и ограничивались тем, что искали ясного и не вызывающего сомнений определения, при каких условиях та или иная держава является нападающей. Другие, опираясь на историю и извлекая убедительные аргументы из статей, появившихся за последние дни во французской, немецкой и русской печати, тенденциозно извращавших факты, утверждали, что войны в целях законной самозащиты — это миф. «Правительство, решившее вовлечь свой народ в войну, — говорили они, — всегда находит какой-нибудь способ либо подвергнуться нападению, либо выдать себя за жертву нападения. И для того, чтобы не допустить такого маневра, необходимо, чтобы принцип превентивной забастовки был провозглашен заранее, так, чтобы ответ на любую угрозу войны оказался автоматическим. Необходимо, чтобы этот принцип был немедленно принят социалистическими вождями всех стран. Принят единогласно, и так, чтобы уклониться от его проведения в жизнь было невозможно. Тогда сопротивление войне — единственно эффективное, сопротивление путем прекращения всякой работы — может быть в роковой час организовано повсюду и одновременно». Результаты этих прений, решавших, быть может, грядущую судьбу Европы, были еще неизвестны.

Жак почувствовал, что кто-то толкает его локтем. То был Сафрио, который заметил его и пробрался к нему.

— Я хотел рассказать тебе о замечательном письме, которое Палаццоло получил от Муссолини, — сказал он, вытаскивая несколько сложенных листков, которые были заботливо спрятаны у него на груди под рубашкой. — Самое лучшее я списал... А Ри-

чардли перевел его очень хорошим стилем для «Fanal». Вот увидишь...

Кругом царил такой шум, что Жаку пришлось приблизить ухо к самому рту Сафрио.

— Слушай... Сперва вот это: «Благодаря войне буржуазия ставит пролетариат перед трагическим выбором: либо восстать, либо принять участие в бойне. Восстание было бы живо потоплено в крови; а бойня маскируется благородными словами, такими, как «долг», «родина...» Ты слушаешь?.. Бенито пишет также: «Война между нациями — это самая кровавая форма сотрудничества между эксплуататорскими классами. Буржуазия довольна, когда она может закладывать пролетариат на алтаре отечества!» «Интернационал — вот к чему неотвратимо приведут грядущие события...» Да, — произнес он звонким голосом. — Бенито хорошо сказал: «Интернационал — вот наша цель!» И ты сам видишь: Интернационал уже достаточно силен, чтобы спасти народы. Ты видишь это здесь, сегодня вечером! Единство пролетариата — залог мира во всем мире!

Он выпрямился. Глаза его блестели. Он продолжал говорить, но все усилившаяся шум не давал Жаку разобрать его слова.

Толпа, сгрудившаяся в этой удушающей атмосфере, начинала проявлять нетерпение. Чтобы занять ее чем-нибудь, бельгийским активистам пришла в голову мысль запеть свою песню «Пролетари, объединяйтесь», которую вскоре подхватили все. Каждый голос, сперва неуверенный, находя поддержку в соседе, становился тверже; и не только каждый голос — каждое сердце. Эта песня создавала некую связь, становилась полновзвучным, конкретным символом солидарности.

Когда, наконец, долгожданные делегаты появились в глубине цирка, весь зал поднялся как один человек, и раздался приветственный крик — радостный, дружеский, полный доверия. И внезапно, без всякой подготовки, без всякого сигнала «Интернационал», вырвавшись из груди всех собравшихся, покрыл собою шум приветственных кликов и рукоплесканий. Затем по знаку Вандервельде, который председательствовал, пение прекратилось, словно нехотя. И пока понемногу устанавливалась тишина, все головы поворачивались к этой фаланге вождей. Их силуэты знакомы были толпе по фотографиям в партийных органах. Одни указывали на них пальцами другим. Шепотом назывались их имена. Все страны присутствовали на перекличке. В этот роковой час жизни европейского континента вся рабочая Европа была здесь, была представлена на этой маленькой эстраде, к которой устремлялись десять тысяч взглядов, исполненных одной и той же упорной и торжественной надежды.

Эта коллективная уверенность, передававшаяся от одного к другому как зараза, еще усилилась, когда из уст Вандервельде собравшиеся узнали, что Бюро постановило собрать в Париже не позднее 9 августа тот знаменитый конгресс социалистического Интернационала, который сперва намечался на 23-е в Вене. От имени

социалистической партии Франции Жорес и Гед взяли на себя всю ответственность за его организацию и, призывая на помощь всех прочих, намеревались придать этому съезду, посвященному вопросу «Пролетариат и война», исключительное значение.

— В момент, когда два великих народа могут быть брошены друг против друга, — воскликнул Вандервельде, — мы являемся свидетелями не совсем обычного зрелища; представители профессиональных союзов и рабочих объединений одной из этих стран, избравшей их более чем четырьмя миллионами голосов, отправляются на территорию нации будто бы враждебной, чтобы побрататься с нею и заявить о своей воле сохранить мир между народами!

Гаазе, социалистический депутат рейхстага, встал среди рукоплесканий. Его мужественная речь, казалось, не оставляла ни малейшего сомнения в искреннем стремлении к сотрудничеству со стороны социал-демократов:

— Австрийский ультиматум явился настоящей провокацией... Австрия желала войны... Она, видимо, рассчитывает на германскую поддержку. Но германские социалисты не считают, что пролетариат связан секретными договорами... Германский пролетариат заявляет, что Германия не должна вмешиваться, даже если в конфликт вступит Россия!

Каждая фраза его прерывалась восторженными кликами. Ясность и четкость этих заявлений у всех вызвали облегчение.

— Пусть противники наши осторегаются, — вскричал он в конце своей речи. — Может случиться, что народы, уставшие от нищеты и угнетения, проснутся, наконец, и объединятся, чтобы установить социалистическое общество.

Итальянец Моргари, англичанин Кир-Харди, русский Рубанович брали слово один вслед за другим. Пролетарская Европа в один голос клеймила преступный империализм своих правительств и требовала взаимных уступок, необходимых для сохранения мира.

Когда Жорес выступил вперед, чтобы взять слово, овации усилились.

Его поступь казалась еще более тяжкой, чем обычно. Этот день утомил его. Он втягивал голову в плечи, растрепавшиеся волосы слиплись от пота на его низком лбу. Когда он медленно взошел по ступенькам и вся его плотная фигура, прочно управлявшаяся ногами в пол, неподвижно стала лицом к публике, он показался каким-то приземистым великаном, который выгнул спину, уперся в землю, вошел в нее корнями, чтобы преградить путь лавинам надвигавшихся катастроф.

Он крикнул:

— Граждане!

Голос его благодаря какому-то чуду, повторявшемуся всякий раз, как он входил на трибуну, сразу же покрыл эти тысячи разнообразных шумов и восклицаний. Наступила благоговейная тишина, тишина леса перед грозой,

Казалось, он на мгновение ушел в себя, сжал кулаки и резким жестом снова положил на грудь свои короткие руки. («У него вид тюленя, произносящего проповедь», — непочтительно говорил Паттерсон.) Не торопясь, не повышая голоса с самого начала, не стараясь создавать впечатление силы, начал он свою речь. Но с первых же слов его голос, загремев как бронзовый колокол, который начинает раскачиваться, зазвадел пространством, и весь зал внезапно приобрел звучность колокольни.

Жак, наклонившись вперед, положив подбородок на сжатый кулак, устремив взгляд на это поднятое кверху лицо, — казалось, сно всегда смотрит куда-то вдаль, за какие-то пределы, — не пропускал ни звука.

Жорес не сообщал ничего нового. Лишний раз он разоблачал всю опасность политики захватов и национального престижа, слабость дипломатии, патриотическое безумие шовинистов, бесплодные ужасы войны. Мысль его была проста, словарь довольно ограничен, ораторские эффекты часто основывались на самых обычных демагогических приемах. И все же эти благородные банальности пронизывали толпу, к которой в этот вечер принадлежал Жак, током высокого напряжения, толкающим ее в ту или иную сторону по воле оратора, заставляющим трепетать от братских чувств или от гнева, от возмущения или надежды, трепетать, как струны эоловой арфы. Откуда проистекало у Жореса это умение очаровывать? От его твердого голоса, который набухал и словно проходил широкими волнами по этим тысячам напряженно внимавших лиц? От его столь очевидной великой любви к людям? От веры его? От преисполнявшего его внутреннего лиризма? От его симфонической души, где каким-то чудом сводилось к единой гармонии все: склонность к словесному теоретизированию и четкое понимание того, какие действия необходимо в данный момент предпринять, ясновидение историка и мечтательность поэта, любовь к порядку и революционная воля? В этот вечер больше чем когда-либо упрямая уверенность, пронизывавшая каждого слушателя до мозга костей, исходила от его слов, от его голоса, от всей его неподвижной фигуры: уверенность в близкой победе, уверенность, что отказ народоз в повиновении уже сейчас заставляет правительства колебаться и что гнусные силы войны не смогут сломить сил миря.

Когда после патетического заключения он, наконец, сошел с трибуны, с искаженным лицом, весь в поту, содрогаясь от священного исступления, зал стоя приветствовал его. Рукоплескания и топот сливались в оглушительный шум, перекатывавшийся из конца в конец цирка, словно эхо громового удара в расщелинах гор. Протянутые руки неистово махали шляпами, носовыми платками, газетами, палками. Словно грозовой ветер пробегал по колосящемуся полю. В моменты подобного пароксизма Жоресу достаточно было бы крикнуть, сделать один жест рукою — и вся эта толпа, опустив головы, фанатично бросилась бы вслед за ним на штурм любой Бастилии.

Как-то незаметно весь этот шум упорядочился, подчиняясь некоему ритму. Чтобы избавиться от тисков, которые их сжимали, эти задыхающиеся груди снова прибегли к музыке, к пению:

Вставай, проклятьем заклейменный...

И снаружи — тысячи демонстрантов, которые не смогли проникнуть в зал и которые, несмотря на полицейские заслоны, заполняли все прилегающие улицы, подхватили припев «Интернационала»:

Вставай, проклятьем заклейменный!..

Это есть наш последний  
И решительный бой!..

### LIII

Зал понемногу пустел. Жак, которого людской поток приподнимал и раскачивал из стороны в сторону, защищал как мог маленького Ванхеде: тот цеплялся за него, словно утопающий. В то же время Жак не терял из виду группы, находившейся на расстоянии нескольких метров от него и состоявшей из Мейнестреля, Митхерга, Ричардли, Сафрио, Желявского, Патерсона и Альфреды. Но как до них добраться? Толкай альбиноса перед собою и пользуясь малейшим движением толпы, которое могло приблизить его к друзьям, он в конце концов сумел мало-помалу пройти небольшое пространство, отделявшее его от них. Только тогда перестал он противиться течению, и оно увлекло его к выходу вместе с другими.

К пению «Интернационала», которое звучало то громко, как фанфара, то приглушенно, примешивались пронзительные восклицания: «Долой войну!», «Да здравствует социальная революция!», «Да здравствует мир!».

— Пойдем, девочка, ты затеряешься в толпе, — сказал Мейнестрель.

Но Альфреда не слышала его. Уцепившись за руку Патерсона, она во что бы то ни стало хотела видеть, что происходит впереди.

— Подожди, дорогая, — прошептал англичанин. Он прочно переплел свои пальцы и, нагнувшись, предложил молодой женщине вступить в это своего рода стремя, куда она и вложила свою ногу.

— Гоп!

Он выпрямился одним резким движением и поднял ее над головами окружающих. Она смеялась. Чтобы сохранить равновесие, она всем телом прижалась к груди Патерсона. Ее большие, широко раскрытые глаза куклы горели в этот вечер каким-то диким огнем.

— Я ничего не вижу, — произнесла она расслабленным, словно пьяным голосом. — Ничего... только целый лес знамен!

Она не торопилась спрыгнуть обратно. Англичанин, которому край ее юбки закрывал глаза, спотыкаясь, продолжал идти вперед.

Сами не зная как, они, наконец, вышли наружу. На улице

давка была еще больше, чем в зале, и шум голосов — такой сильный и непрестанный, что он уже почти не замечался. После нескольких минут топтания на месте эта человеческая масса, казалось, нашла себе определенное направление, дрогнула и, переливаясь через полицейские кордоны, вбирая в себя на ходу любопытных, сбившихся на тротуарах, медленно потекла во мраке ночи.

— Куда они нас ведут? — спросил Жак.

— Zusammen marschieren, Kam'rad!..<sup>1</sup> — крикнул Митхерг; его рыхлое лицо распухло и покраснело, словно он только что вылез из кипящей воды.

— Я думаю, демонстрация движется к министерствам, — объяснил Ричардли.

— Keinen Krieg! Friede! Friede!<sup>2</sup> — вопил Митхерг.

А Желявский взывал певучим гортанным голосом:

— Долой войну! Мир! Мир!<sup>3</sup>

— Где же Фреда? — пробормотал Мейнестрель.

Жак повернулся и стал глазами искать молодую женщину. Затем шел Ричардли, высоко подняв голову, со своей неизменной улыбкой на губах, слишком дерзкой улыбкой. Затем шел Ванхеде, между Митхергом и Желявским: альбинос взял своих товарищей под руки, и они словно несли его. Он не кричал, не пел; он поднял к небу свое прозрачное лицо с полуза�отыми глазами, с выражением страдальческим и восторженным. Еще дальше шли Альфреда и Патерсон. Жак различал только их лица; но они были так близко друг от друга, что тела их казались сплетенными вместе.

— Где же она? — повторил Пилот с тревогой в голосе. Он был как слепой, потерявший собаку-поводыря.

Стояла теплая летняя ночь, глубокая и темная. Свет в витринах магазинов был потущен. Из всех окон, многие из которых были освещены, склонялись вниз темные силуэты. На скрещениях главных улиц целые вереницы трамваев, пустых и неосвещенных, выстраивались на рельсах. Сонмы пешеходов прибывали из боковых улиц и беспрестанно увеличивали движущийся людской поток. Демонстранты состояли по большей части из рабочих города и предместий. И стовсюду — из Антверпена, Гента, Льежа, Намюра, из всех шахтерских центров — прибыли активисты, чтобы присоединиться к брюссельским социалистам и иностранным делегациям, — в этот вечер Брюссель, казалось, стал всеевропейской столицей борцов за мир.

«Значит, дело сделано! — сказал себе Жак. — Мир спасен! Никакая сила в мире не способна прорвать такую плотину! Если эта толпа захочет — войне не бывать!»

Не в силах будучи справиться с положением, полиция удовольствовалась тем, что оцепила королевский дворец, парк и министер-

<sup>1</sup> Идти всем вместе, товарищ! (нем.).

<sup>2</sup> Долой войну! Мир! Мир! (нем.).

<sup>3</sup> Во французском тексте по-русски.

ства четвертым кордоном, мимо которого не останавливаясь прошли головные ряды демонстрантов, чтобы достичь Королевской площади и спуститься к центру города. Перед немыми и величавыми дворцами тысячи ртов в едином порыве проскандировали на ходу: «Да здравствует социальная революция!», «Долой войну!»

Впереди в каком-то религиозном молчании гордо шествовали группы демонстрантов, окружающие свои знамена. Остальные шли без всякого порядка, подобные тягучей и шумной толпе народных празднеств, и женщины цеплялись за руки мужей, а ребятишки, взгромоздившись на плечи отцов, широко раскрывали восхищенные глаза. У всех было сознание, что они представляют собою часть великой армии пролетариата. С напряженными лицами и неподвижным взглядом шли они вперед, почти не переговариваясь друг с другом, а когда приходилось задерживаться, они размёренно отбивали такт ногами, маршируя на месте. Обнаженные лбы блестели при свете электрических фонарей. На всех лицах, опьяненных берой и словно окаменевших в порыве единой воли, можно было прочесть уверенность, что сегодня вечером партия, которую они играли против буржуазных правительств, выиграна. А над всем этим бушующим приливом «Интернационал», который они выкрикивали не умолкая, во весь голос, прокатывался, отчеканиваемый мощными глотками, и, казалось, единым порывом вырывался из всех этих сердец.

Несколько раз у Жака возникало впечатление, что Мейнестрель пытается приблизиться к нему, словно желая сказать что-то. Но каждый раз этому мешала толкотня или внезапно усилившийся шум.

— Вот оно, наконец, *массовое действие!* — крикнул ему Жак. Он с усилием улыбнулся, но взгляд его сверкал тем же лихорадочным восторгом, который вспыхивал в глазах всех окружающих его людей.

Пилот не отвечал. В зрачках его была жестокость, а у рта образовалась горькая складка, которой Жак никак не мог себе объяснить.

Толпа перед ними внезапно дрогнула, и вся процессия качнулась в другую сторону. Головные ряды колонны, видимо, натолкнулись на какое-то препятствие. Когда Жак встал на цыпочки, чтобы попытаться уяснить себе причину беспорядка, он услышал над своим ухом голос Пилота: всего несколько слов, брошенных очень быстро, все тем же фальцетом, который всегда вызывал недоумение:

— Послушай, мальчик, мне кажется, что сегодня ночью Фреда не...

Конец фразы наполовину затерялся в шуме толпы.

Жак, пораженный, обернулся; ему послышалось: «не вернется в гостиницу».

Их взгляды скрестились. Лицо Пилота было в тени. Его черные зрачки, лишенные какого бы то ни было выражения, подобно кошачьим, горели фосфорическим, животным блеском.

В этот момент волна докатилась к ним, колыхнулась и приподняла их.

На перекрестке у Южного бульвара маленькая группа националистов, вскоре собравшаяся вокруг знамени, дерзновенно попыталась преградить путь демонстрации. Короткая стычка, которая не помешала демонстрантам продолжать свой путь. Но этой остановки, этой встряски оказалось достаточно, чтобы разлучить Жака с Мейнестрелем и друзьями.

Отброшенный вправо, он был прижат к домам, а в это время в центре шествия под нажимом задних рядов образовалось сильное течение, которое вынесло всю группу Мейнестреля далеко вперед. И внезапно с того места, где он на мгновение задержался, Жак на расстоянии всего нескольких метров заметил лицо Патерсона. Англичанин все еще был с Альфредой. Они прошли, не взглянув на него. Но у него-то хватило времени разглядеть их. Они не походили на самих себя... В полутиаре, подчеркивающем выступы черепных костей, лицо Патерсона выглядело как-то по-новому. В его глазах, обычно подвижных и смеющихся, был застывший блеск и словно выражение безумия и жестокости. Лицо Альфреды изменилось не меньше. Выражение пылкости, решимости, дерзкой чувственности искажало ее черты и придавало им вульгарность: это было лицо девки, лицо пьяной девки. Ее висок прижимался к плечу Пата. Рот был открыт: она пела «Интернационал» хриплым, сывающимся голосом. У нее был такой вид, словно она празднует свое собственное торжество, свое освобождение, победу своих инстинктов... Жаку пришли на ум слова Мейнестреля: «Мне кажется, что сегодня ночью Фреда не вернется...»

Жак испугался и, не зная хорошенко, что он им скажет, попытался проникнуть в толпу, чтобы добраться до них. Он крикнул: «Пат!» Но Жак был пленником этой стискивающей его толпы. После ряда тщетных усилий он должен был уступить. Некоторое время он еще следил за ними взглядом, затем совершенно потерял из виду и пассивно отдался потоку, который теперь уносил его вперед.

Тогда, оставшись один, он поддался этому наваждению, этой коллективной заразе. Исчезло всякое ощущение пространства и времени: личное сознание стерлось. Это было подобно темному, летаргическому возвращению в некую первозданную среду. Погруженный в эту движущуюся братскую толпу, растворившийся в ней, он чувствовал, что освободился от самого себя. Конечно, в глубине своего существа он хранил, словно горячий источник, который не доходит до поверхности, смутное сознание, что составляет часть какого-то целого — целого, бывшего множеством, истиной, силой. Но он об этом не думал. И продолжал идти вперед с пустой головой, во власти легкого опьянения, умиротворяющего как сон.

Это блаженное состояние продолжалось час, может быть два. Ударившись ногой о край тротуара, он внезапно очнулся от наваждения. И сразу же понял, насколько устал.

Колонна, зажатая между темными фасадами домов, продолжала двигаться вперед медленно, неумолимо. Сзади пение почти совсем смолкло. По временам дикий крик облегчал чью-либо стесненную грудь: «Да здравствует мир!», «Да здравствует Интернационал!» И крик этот, как утренний зов петуха, вызывал там и сям ответные восклицания. Затем снова все успокаивалось. И в течение нескольких минут не было слышно ничего, кроме тяжелого дыхания людей и топота, подобного топоту стада.

Жак стал пробираться к краю, чтобы приблизиться к домам. Он предоставил течению нести его вдоль запертых магазинов, ища случая улизнуть. Перед ним открылся переулок. Он был полон жителей квартала, собравшихся тут, чтобы взглянуть на демонстрацию. Ему удалось нырнуть в эту улочку, добраться до свободного пространства у водоразборной колонки, вделанной в стену. Струя воды, свежей и чистой, текла с каким-то приветливым плеском. Он напился, смочил себе лоб, руки и несколько минут переводил дух. Над ним сверкало звездами летнее небо. Он вспомнил позавчерашние стычки в Париже, вчерашние — в Берлине. Во всех городах Европы народы с одинаковой яростью восставали против бесполезного жертвоприношения. Всюду — в Вене на Рингштрассе, в Лондоне на Трафальгар-сквер, в Петербурге на Невском проспекте, где казаки с шашками наголо бросались на демонстрантов, — всюду раздавался один и тот же возглас: «Peace!<sup>1</sup> Friede! Мир!» Через границы государств руки всех трудящихся тянулись к одному и тому же братскому идеалу. И вся Европа издавала один и тот же крик. Можно ли сомневаться в будущем? Завтра человечество, освобожденное от своей тревоги, сможет снова работать, выковывая себе лучшую долю...

Грядущее!.. Женни...

Образ девушки вновь завладел им, завладел внезапно, все оттесняя назад, подменяя яростное возбуждение этого вечера беззаботной жаждой ласки и нежности.

Он поднялся и снова принял шагать во мраке ночи.

Спать!.. Теперь это было единственное, чего он хотел. Все равно где — хоть на первой попавшейся скамейке... Он пытался найти дорогу в этой части города, которую плохо знал. И внезапно очутился на пустынной площади, которую уже пересекал однажды сегодня днем в сопровождении Патерсона и Альфреды... Мужайся! Гостиница, в которой англичанин снял комнату, была, должно быть, неподалеку...

И действительно, Жак разыскал ее без особого труда. Он только успел снять ботинки, пиджак, воротничок и полуодетый бросился на кровать.

---

<sup>1</sup> Мир! (англ.).

Когда Жак открыл глаза, комната была ярко освещена. Ему пришлось потратить несколько секунд на то, чтобы вернуться к действительности. Он увидел спину какого-то мужчины, стоявшего на коленях в глубине комнаты. Патерсон... Англичанин наскоро укладывал кое-какую одежду в раскрытый на полу чемодан. Он уже уезжал? Который час?

— Это ты, Пат?

Патерсон, не отвечая, запер чемодан, поставил его возле двери и подошел к кровати. Он был бледен и глядел вызывающе.

— Я ее увозжу! — бросил он.

Какая-то угроза дрожала в его голосе.

Жак ошеломленно смотрел на него припухшими, усталыми глазами.

— Тс! Молчи! — заикаясь вымолвил Патерсон, хотя Жак даже не пошевелил губами. — Я знаю!.. Но это так! И тут уж ничего не поделаешь!..

Внезапно Жак все понял. Он смотрел на англичанина в упор с выражением ребенка, разбуженного во время кошмара.

— Она внизу, в такси. Она на все решилась. Я тоже. Она ему ничего не сказала, она его жалеет, она ничего не хочет ему говорить и даже не захотела взять свои вещи. Мы уезжаем, она с ним не увидится. С первым же поездом на Остенде. Завтра вечером будем в Лондоне... Таким образом все само собой кончится. Тут уж никто ничего не поделает!

Жак выпрямился. Он опирался головой о деревянную спинку кровати и не говорил ни слова. «У него лицо убийцы», — подумал он.

— У меня это уже долгие месяцы! — продолжал Патерсон, не подвижно стоя под лампой. — Но я не осмеливался... Только сегодня вечером я узнал, что она тоже... Бедная darling! Ты не знаешь, какую жизнь она вела с этим человеком... Он меньше чем человек: ничто!.. О, он играет самую благородную роль! Он ее предупредил. Она на все согласилась! Она думала, что сможет. Она не знала... Но с тех пор как она полюбила меня, — нет, самопожертвование стало невозможным... Не осуждай ее! — воскликнул он внезапно, словно прочел на ошарашенном лице Жака суровый приговор. — Ты ведь не знаешь, каков он на самом деле, этот человек! Он способен на все. Из отчаяния, что он ни во что не верит, не может во что-либо верить, даже в себя самого, — так как он — ничто!

Жак вытянул руки на постели, слегка запрокинул голову и, ощущая в глазах боль от яркого света, лежал без движения. Окно было открыто. Комары, которых он и не пытался прогнать, журчали ему прямо в уши. Он ощущал тошнотную слабость людей, потерявших много крови.

— Каждый имеет право жить! — с какой-то свирепостью продолжал англичанин. — Можно требовать от кого-нибудь, чтобы он бросился в воду спасать человека, но нельзя требовать, чтобы он не переставая держал голову утопающего над водой, подвергая самого себя смертельной опасности!.. Она хочет жить. Ну, так вот я здесь, и я ее увожу!..

— Я вас не упрекаю, — прошептал Жак, не пошевелив головой. — Но я думаю о нем...

— You don't know him! He is capable of anything!.. That man is a monstre... a perfect monstre!<sup>1</sup>

— Может быть, он умрет от этого, Пат.

Губы Патерсона полуоткрылись, и его мертвенно бледные черты свело судорогой, словно он получил удар в лицо. Жак не мог вынести вида этого лица, которое внезапно показалось ему омерзительным. «Убийца», — снова подумал он. Жак на секунду отвел глаза, затем продолжал глухим голосом:

— Я думаю о партии. Партии сейчас нужны ее вожди. Более чем когда-либо... Это предательство, Пат. Двойное предательство, предательство — во всех смыслах.

Англичанин отступил к самой двери. Надетая набок кепка, мертвенная бледность лица, взгляд загнанного зверя, гримаса, искривившая рот, — все это внезапно придало ему вид бродяги-хулигана. Он быстро нагнулся и схватил чемодан. Теперь он был похож не на убийцу, а на взломщика.

— Good night!<sup>2</sup> — сказал он. Веки его были опущены. Не поднимая их, он поскорее убежал.

Как только дверь за ним закрылась, мысль о Женни с нестерпимой остротой завладела Жаком. Почему о Женни?.. Он услышал, как внизу, на безмолвной улице, от дома отъехала машина. Долгое время лежал он без движения, упираясь головой в деревянную спинку кровати, уставив глаза на закрытую дверь. Перед ним появлялись то красивое лицо Пата, его ясный взгляд, его улыбка белокурого мальчика, то эта мрачная маска прогнанного слуги, вора, пойманного с поличным, постыдная, наглая маска... отвратительно искаженная страстью... Не таков ли был и его облик там, в переходах метро, когда он бежал за Женни? И разве в тот день он не был тоже способен на гнусности, на предательство?

В половине седьмого Жак, который так и не смог заснуть, побежал к Мейнестрелю.

В пансионе все еще спало. Только старуха уборщица мыла вымощенный плитками пол вестибюля. Жак одну минуту колебался: возвратиться или подняться наверх? Если он хотел попасть на

<sup>1</sup> Ты его не знаешь! Он способен на что угодно!.. Этот человек — чудовище... настоящее чудовище! (англ.).

<sup>2</sup> Доброй ночи (англ.).

восьмичасовой поезд, он не мог ни на минуту откладывать свое посещение. А после произошедшей ночью сцены он не мог решиться на то, чтобы уехать из Брюсселя, не повидавшись с другом.

Он постучал один раз в дверь комнаты Пилота. Ответа не последовало. Не ошибся ли он? Нет. Вчера он приходил именно сюда, в номер девятнадцать. Может быть, Мейнестрель, напрасно прождав целую ночь, заснул?.. Жак собирался постучать еще раз, но тут ему показалось, что за дверью он слышит быстрый шорох босых ног, что чьи-то пальцы коснулись замка. Безумная, страшная мысль возникла в его уме. Инстинктивно схватился он за ручку и нажал ее. Дверь открылась, задев Мейнестреля в тот момент, когда тот намеревался повернуть ключ в замке.

Они оглядели друг друга с головы до ног. На ледяном лице Пилота не было никакого определенного выражения: может быть, внезапная досада... В течение секунды он, казалось, колебался. Оттолкнет ли он гостя, запрет ли перед ним дверь? У Жака возникло такое подозрение. Повинуясь той же интуиции, которая заставила его нажать ручку, он плечом толкнул дверь и вошел.

С первого же взгляда он заметил, что комната изменилась, словно увеличилась. Стол, стулья были придвинуты к стенам, и на середине комнаты перед зеркальным шкафом оставалось свободное пространство. Кровать была в беспорядке, но застлана одеялом, прибранная комната словно для чего-то подготовлена. Сам Мейнестрель тоже: на нем была голубоватая пижама, на которой еще виднелась сделанная утюгом складка. На вешалке не висело ничего. На умывальнике не было никаких принадлежностей туалета. Казалось, все уже было уложено для отъезда в два закрытых чемоданчика, стоявших у окна. Но ведь Пилот не мог выйти на улицу в пижаме и босой?

Взгляд Жака снова обратился к Мейнестрелю. Тот не двигался с места. Он смотрел на Жака. Он не шевелился, но, казалось, не слишком твердо стоял на ногах. Он был похож на больного, только что подвергшегося операции и проснувшегося после наркоза, на мертвеца, истогнутого из небытия.

— Что вы собирались делать? — пробормотал Жак.

— Я? — переспросил Мейнестрель. Его веки невольно опустились. Шатаясь, он отступил к стене и прошептал, словно плохо рассыпал заданный ему вопрос: — Что я собираюсь делать?

Затем, сев за стол, он молча сжал голову руками. Даже на столе царил какой-то странный порядок. Два запечатанных письма лежали друг подле друга адресами вниз, а на сложенной газете — разные личные вещи: вечное перо, бумажник, часы, связка ключей, бельгийские деньги.

Жак несколько мгновений стоял в полной растерянности, не решаясь шевельнуться. Затем подошел к Мейнестрелю, который поднял голову и прошептал:

— Тс-с...

Он с усилием поднялся, сделал, прихрамывая, несколько шагов, снова вернулся к Жаку и повторил еще раз, но уже совсем другим тоном:

— Что я собираюсь делать?.. Да ничего, мой мальчик. Я оденусь... а затем уйду отсюда вместе с тобой.

Не глядя на Жака, он раскрыл один из чемоданчиков, извлек оттуда носильные вещи, разложил их на кровати, развернул газету, вынул из нее запыленные ботинки и начал одеваться, словно находился один в комнате. Оdevшись, он подошел к столу и, продолжая не замечать Жака, который молча сел в стороне, взял оба письма, разорвал на мелкие клочки и бросил их в камин.

В этот момент Жак, не спускавший с него глаз, увидел, что камин полон золы от только что сожженной бумаги. «Неужели у него было столько личных бумаг?» — подумал он. И внезапно его обожгла мысль: «Документы Штольбаха!» Он бросил растерянный взгляд на раскрытый чемоданчик: в нем находилось мало вещей, и среди них не было видно пакета с бумагами. «Наверное, он переложил их в другой чемоданчик», — сказал себе Жак, не желая задерживаться на абсурдном подозрении, мелькнувшем у него в уме.

Мейнестрель возвратился к столу. Он собрал деньги, бумажник, ключи и аккуратно разложил все это по карманам.

И только тогда он, казалось, вспомнил о присутствии Жака. Он посмотрел на него, подошел к нему.

— Ты хорошо сделал, что пришел, мой мальчик... Кто знает, может быть ты оказал мне услугу...

Лицо его было спокойно. Он как-то странно улыбался.

— Видишь ли, ничто не стоит того... Ничего на свете не стоит желать, но также и бояться ничего на свете не стоит... Ничего... Ничего...

Неожиданным жестом он протянул Жаку обе руки. И когда Жак с волнением схватил их, Мейнестрель прошептал, не переставая улыбаться:

— So nimm meine Hände und führe mich!<sup>1</sup> Пойдем! — добавил он, высвобождаясь.

Он подошел к чемоданчикам и взял один из них. Жак тотчас же нагнулся, чтобы взять другой.

— Нет, этот не мой... Я его оставлю здесь.

И в его затуманенном взгляде мелькнула улыбка, полная душераздирающей грусти и нежности.

«Он уничтожил документы», — подумал потрясенный Жак. Но он не посмел задать ни одного вопроса. Вместе они вышли из комнаты. Мейнестрель волочил ногу немного больше обычного.

Внизу он прошел мимо дверей конторы, не заходя внутрь. Жак подумал: «Он позаботился даже о том, чтобы заранее расплатиться!»

<sup>1</sup> А теперь возьми мои руки и веди меня! (нем.).

— Женевский экспресс... Семь часов пятьдесят минут, — прорубомотал Мейнестрель, взглянув на расписание поездов, висевшее на стене вестибюля. — А ты? Едешь восьмичасовым парижским? У тебя как раз хватит времени усадить меня в вагон. Видишь, как все хорошо устроилось!..

## LV

Короткий и теплый ливень только что омыл Париж, и полуденное солнце сверкало еще более жгучим блеском, когда Жак сошел с бельгийского поезда.

Он был мрачен. Дурных предзнаменований становилось все больше и больше. Во время своей поездки он сталкивался только с тревожными признаками. Поезд был переполнен. Сильное возбуждение царило среди жителей прифронтовых областей. Солдаты и офицеры, находившиеся в отпуске в департаменте Нор, получили телеграфное распоряжение вернуться в свои полки. Не попав в один вагон с французскими социалистами, выехавшими из Брюсселя тем же поездом, что и он, Жак ехал в купе, набитом северянами. Не будучи знакомы, они все-таки разговаривали, передавали друг другу газеты, делились новостями, обсуждая события с беспокойством, в котором удивление, любопытство, даже недоверие занимали, пожалуй, еще большее место, нежели страх: видимо, большинство из них уже свыклось с мыслью о возможной войне. Меры предосторожности, которые, судя по сообщениям этих людей, принимало французское правительство, говорили о многом. Железнодорожные пути, мосты, акведуки, заводы, имеющие отношение к военной промышленности, уже повсюду охранялись воинскими частями. Батальон кадровой армии занял мельницы в Корбейле:<sup>1</sup> «Action française» обвинила их управляющего в том, что он офицер запаса германской армии. В Париже водопроводы, водохранилища находились под охраной войск. Какой-то господин с орденом рассказывал с точностью инженера о работах, спешно предпринятых на Эйфелевой башне для усовершенствования оборудования станции беспроволочного телеграфа. Один парижанин, конструктор автомобилей, жаловался на то, что несколько сот машин, случайно собранных вместе для пробега, были если не реквизированы, то во всяком случае задержаны на месте впредь до нового распоряжения.

Из «Humanité», которую Жаку удалось раздобыть на вокзале в Сен-Кантене, он с изумлением и гневом узнал, что накануне, в среду, 29-го числа, правительство имело наглость в последнюю минуту запретить митинг, организованный Всеобщей конфедерацией труда в зале Ваграм, куда были созваны для выражения массового протesta все рабочие организаций Парижа и предместий. Те из ма-

<sup>1</sup> Городок на Сене к югу от Парижа.

нифестантов, которые все же пришли в квартал Терн, были отброшены неожиданным написком полиции. Стачки не прекратились даже с наступлением ночи; еще немного, и колонны демонстрантов дошли бы до министерства внутренних дел и до Елисейского дворца. Этот акт националистически настроенного правительства приписывался возвращению Пуанкаре и, по-видимому, говорил о том, что власти намерены остановить проявление все нарастающего недовольства рабочих, не считаясь с правом собраний и попирая самые старинные республиканские свободы.

Поезд опоздал на полчаса. Выходя из буфета, — Жак заходил туда съесть бутерброд, — он столкнулся со старым журналистом, которого несколько раз встречал в кафе «Прогресс», с неким Лувелем, сотрудником *«Guerre sociale»*. Он жил в Крейле и ежедневно приезжал в редакцию, где проводил все вечера. Они вместе вышли из вокзала. Привокзальный двор, дома на площади были еще украшены флагами: возвращение президента республики, состоявшееся накануне, вызвало в Париже взрыв патриотических чувств, свидетелем которого был Лувель и о котором он сейчас рассказывал с неожиданным волнением.

— Знаю, — оборвал его Жак. — Этим полны все газеты. Омерзительно! Полагаю, что вы им не подпеваете в *«Guerre sociale»*?

— В *«Guerre sociale»*? Ты, значит, не читал статей патрона за последние дни?

— Нет. Я только что из Брюсселя.

— Ты отстал, приятель.

— Как! Значит, и Эрве?..<sup>1</sup>

— Эрве не слабоумный мечтатель... Он видит вещи как они есть... Вот уже несколько дней, как он понял, что война неизбежна и что было бы безумно, было бы даже преступно продолжать противодействие... Достань его статью от вторника, и ты увидишь...

— Эрве — социал-патриот?

— Если хочешь, социал-патриот... Попросту реалист. Он честно признает, что нельзя обвинить правительство ни в одном вызывающем жесте. И заключает отсюда, что если Франции придется драться за свою землю, то ничто во французской политике этих последних недель не оправдает отступничества пролетариата.

— Эрве сказал такую вещь?

— Он даже написал, и написал без всяких уверток, что это было бы изменой. Ибо в конце концов земля, которую придется защищать, — это родина Великой революции.

Жак остановился. Он молча смотрел на Лувеля. Однако, немного подумав, перестал особенно удивляться. Он вспомнил, что

<sup>1</sup> Эрве, Гюстав (1871—1944) — французский публицист, накануне первой мировой войны один из лидеров французской социалистической партии. С 1906 г. издавал газету *«Guerre sociale»* (*«Социальная война»*). Во время войны — социал-шовинист и ренегат.

Эрве резко выступил против идеи всеобщей забастовки, вновь поставленной на обсуждение Вайяном и Жоресом две недели назад на конгрессе французских социалистов.

Лувель продолжал:

— Ты отстал, приятель, ты отстал... Иди послушай, что говорят в других местах... Хотя бы в «Petite République»... или в «Centre du Parti républicain»,<sup>1</sup> куда я заходил вчера вечером... Всюду одна и та же песня... У всех открылись глаза... Понял не один Эрве... Братство народов — это звучит очень красиво. Но события пришли, надо смотреть им в лицо. Что ты думаешь делать?

— Все что угодно, только не...

— Гражданская война, чтобы избежать другой? Утопия!.. Сейчас на это не пошел бы никто... Перед угрозой иностранного вторжения всякая попытка восстания потерпела бы неудачу. Даже в промышленных центрах, даже в кругах Интернационала большинство вместе со всей массой населения собирается защищать свою территорию... Всеобщее братство? Да, в принципе — да! Но в эту минуту оно отошло на задний план. Сегодня, приятель, все чувствуют более узкое братство — братство французов... И, потом, черт побери, эти пруссаки надоедают нам уже не первый день! Если им вздумается прийти к нам драться, — что ж...

Площадь оглашалась криками газетчиков, которые мчались, пронзительно визжа:

— «Paris-Midi»!<sup>2</sup>

Лувель перешел улицу, чтобы купить газеты. Жак собирался последовать за ним, как вдруг заметил проезжавшее мимо свободное такси. Он вскочил в него. Прежде всего — к Женни.

«Гюстав Эрве... — думал он с отвращением. — Если уж эти поколебались, то как могут устоять остальные, маленькие люди, маска... те, кто каждое утро читает во всех газетах, что есть войны справедливые и есть войны несправедливые и что война против прусского империализма, война, имеющая целью раз навсегда покончить с пангерманистами, была бы войной справедливой, войной священной, крестовым походом в защиту демократических свобод!..»

Приехав на улицу Обсерватории, он поднял глаза к балкону Фонтаненов. Все окна были открыты.

«Может быть, ее мать вернулась?» — подумал он.

Нет, Женни была одна. Он сразу понял это, увидев, как, бледная, потрясенная радостью, она отворила дверь и отступила в полуторак передней. Она подняла на него взгляд, полный тревоги, но такой нежный, что он подошел к ней и внезапно протянул руки. Она вздрогнула, закрыла глаза и упала ему на грудь. Их первое объятие... Ни он, ни она не ожидали его, оно длилось всего нескольз-

<sup>1</sup> «Малая республика», «Центр республиканской партии» (франц.).

<sup>2</sup> Дневной выпуск газеты «Париж» (франц.).

ко секунд. Вдруг, словно возвращаясь к неумолимой действительности, Женни высвободилась и, показав рукой на стол, где лежала развернутая газета, спросила:

— Это правда?

— Что?

— Мо... мобилизация!

Он схватил листок, на который она указала. Это был тот самый номер «Paris-Midi», который выкрикивали на вокзальной площади, который уже целый час в тысячах экземпляров продавался во всех кварталах Парижа. Перепуганная привратница только что принесла его Женни.

Кровь прилила к лицу Жака.

«Сегодня ночью в Елисейском дворце состоялось заседание военного совета... III армейский корпус спешно выступает к границе. Части VIII корпуса получили походное снаряжение, боевые припасы, продовольствие и ждут приказа о выступлении».

Она смотрела на него; на ее лице застыло выражение мучительной тревоги. И вдруг, преодолев колебание, она прошептала:

— Если будет война, Жак... вы пойдете?

Уже пять дней он ждал этого вопроса. Он поднял глаза и решительно покачал головой: нет.

Она подумала: «Я знала это»; затем, борясь со смущавшим ее предательским сомнением, сейчас же сказала себе: «Нужно большое мужество, чтобы отказаться идти!»

Она первая нарушила молчание:

— Пойдемте.

Взял его за руку, она увлекла его за собой. Дверь в ее комнату оставалась открытой. Она с секунду поколебалась, затем ввела его туда. Он рассеянно последовал за ней.

— Быть может, это неправда, — вздохнул он, — но может стать правдой завтра. Война теснит нас со всех сторон. Круг суживается. Россия упорствует, Германия тоже... В каждой стране правительство упрямо делает те же смехотворные предложения, проявляет ту же непримиримость, так же отказывается прийти к соглашению.

«Нет, — думала она, — это не страх. Он мужествен. Он последователен. Он не должен поступать как другие, не должен поддаваться, не должен идти на войну».

Не сказав ни слова, она подошла к нему и приникла к его груди.

«Он останется мнен!» — внезапно подумала она, и сердце ее забилось сильнее.

Жак обнял ее и стоя, наклонившись к ней, целовал ее полуоткрытый лоб. Она изнемогала от нежности, чувствуя силу обнимавших ее рук. Она старалась сделаться маленькой и легкой, чтобы он мог... она сама не знала что... поднять ее, унести... Она горела желанием расспросить его о поездке, но не решалась. Мягким прикосновением лица он заставил ее приподнять голову, и его губы,

коснувшись щеки, овальной гладкой щеки, дошли до рта, который оставался закрытым, сжатым, но не отворачивался. Она слегка задыхалась под этим настойчивым поцелуем и, чтобы перевести дыхание, отстранилась, просунув руку между его лицом и своим. Ее лицо было поразительно спокойно, серьезно. Никогда еще она не казалась такой рассудительной, исполненной сознания такой ответственности за свои поступки, такой решительной. Осторожным движением он снова страстно привлек ее к себе. Она покорилась без робости, без сопротивления. Она не желала сейчас ничего в мире, кроме вот этого ощущения его объятий. Целомудренно обнявшись, щека к щеке, они уселись на низкой кровати у окна, напоминавшей узкий диван. Несколько минут они сидели неподвижно, молча.

— И все еще нет письма от мамы, — сказала она вполголоса.

— Да, правда... Ваша матушка...

На секунду она рассердилась на него за то, что он так мало разделял снедавшую ее тревогу.

— Никаких известий?

— Открытка из Вены, написанная на вокзале в понедельник: «Доехала благополучно». Это все.

Женни получила эту открытку накануне, в среду утром. И с тех пор, в смертельном беспокойстве, тщетно поджидала почту: ни писем, ни телеграммы. Она терялась в догадках.

Он рассеянным взглядом окидывал эту незнакомую ему комнату, вид которой так сильно взволновал бы его несколькими днями раньше. Это была маленькая комната, светлая и аккуратно прибранная, оклеенная обоями в белую и голубую полоску. Камин служил туалетом; щеточки слоновой кости, подушечка для булавок, несколько фотографий, вткнутых за рамку зеркала. На столе закрытый бювар из белой кожи. Все было на своем месте, если не считать нескольких наспех сложенных газет.

Еле слышно он шепнул ей на ухо:

— Ваша комната... — Затем, видя, что она не отвечает, он неопределенно заметил: — Я, право, не думал, что ваша матушка задержится за границей.

— Вы ее не знаете! Мама никогда не отказывается от того, что решила. И теперь, очутившись там, она захочет выполнить все, что задумала... Но удастся ли ей? Как вы думаете? Не опасно ли сейчас находиться в Австрии? Как по-вашему, что может случиться? И по крайней мере разрешат ли ей вернуться, в случае если она задержится?

— Не знаю, — признался Жак.

— Что можно сделать? У меня нет даже ее адреса... Чем объяснить это молчание? Я думаю, что если бы она выехала обратно, то дала бы мне телеграмму... Значит, она осталась в Вене и, разумеется, пишет мне; очевидно, письма пропадают в пути... — Она с тревогой указала на лежавшие на столе газеты: — Когда читаешь о том, что происходит, поневоле дрожишь от страха...

За этими газетами Женни побежала спозаранку, торопясь вернуться домой, чтобы не пропустить возвращения Жака. И все утро она читала и перечитывала их, одержимая мыслью об опасности, нависшей над всеми дорогими ей существами: Жаком, матерью, Даниэлем.

— Даниэль тоже написал мне, — сказала она, поднимаясь.

Она вынула из бювара конверт и протянула его Жаку. Затем сама, словно преданный зверек, села на прежнее место и снова прижалась к нему.

Даниэль не скрывал беспокойства, которое доставляла ему поездка г-жи де Фонтанен. Он сожалел об участи Женни, одинокой в Париже среди всех этих волнений. Он советовал ей повидаться с Антуаном, с семьей Эке. Он умолял ее не тревожиться: все может еще уладиться. Но в постскриптуме он сообщал, что его часть наготове, что он предполагает выехать из Люневиля этой ночью и что, может быть, ему будет трудно присыпать ей известия о себе в ближайшие дни.

Прислонив голову к груди Жака, подняв глаза, она смотрела, как он читает. Он сложил письмо, отдал ей его. И увидел, что она ждет слова надежды.

— Даниэль прав: все может еще уладиться... Если бы только народы поняли... Если бы они решились действовать... Вот над чем надо работать до последней, до самой последней минуты!..

Увлеченный не покидавшей его мыслью, он кратко рассказал о манифестациях в Париже, в Берлине, в Брюсселе, о восторге, охватившем его при виде единодушного порыва масс, которые вопреки и наперекор всему кричали во всей Европе о своем стремлении к миру. И внезапно он устыдился, что находится здесь. Он подумал о работе своих товарищих, о собраниях, организованных в этот самый день в различных социалистических секциях, о всем том, что должен был проделать он, он сам, — об этих деньгах, которые он должен был получить и как можно скорее передать в распоряжение партии... Он поднял голову и, продолжая гладить волосы девушки, сказал грустно и в то же время сурово:

— Я не могу оставаться с вами, Женни... Слишком многое призывает меня...

Она не шевельнулась, но он почувствовал, что она вся сжалась, и увидел полный отчаяния взгляд, который она бросила на него. Он сильнее прижал ее к груди, покрыл поцелуями побледневшее расстроенное лицо. Ему было жаль ее, и вся тяжесть событий внезапно стала для него еще мучительней от этой немой скорби, помочь которой он был не в силах.

— Не могу же я взять вас с собой... — прошептал он, словно думая вслух.

Она вздрогнула и решилась произнести:

— Почему бы нет?

Не успел он понять, что Женни хочет делать, как она выскользнула из его объятий, открыла шкаф, вынула шляпу, перчатки.

— Женни! Я сказал это, но... Послушайте, это невозможно... Мне надо столько сделать, повидать стольких людей... Я должен зайти в «Нита»... в «Libertaire»... в другие места... вечером в Монруж... Куда вы денетесь, пока я буду там?

— Я останусь внизу, на улице, — ответила она умоляющим тоном, который удивил их обоих. Она отбросила всю свою гордость. Эти три дня разлуки преобразили ее. — Я буду ждать вас столько, сколько понадобится... Я ни в чем не стесню вас... Позвольте мне пойти с вами, Жак, позвольте мне разделить вашу жизнь... Нет, об этом я вас не прошу, я знаю, что это невозможно. Но не оставляйте меня... здесь... с этими газетами!

Никогда еще он не чувствовал ее такой близкой: это была новая Женни — боевой товарищ!

— Я беру вас с собой! — весело вскричал он. — И познакомлю с моими друзьями... Вы увидите... А вечером мы вместе пойдем на митинг в Монруж... Идемте!

— Прежде всего надо покончить с этим делом о наследстве, — решительно заявил он, как только они очутились на улице. — А затем надо будет узнать, насколько верны известия «Paris-Midi».

Голос его звучал весело. Присутствие молодой девушки вернуло ему былое оживление — оживление его лучших дней. Он взял Женни под руку и увлек ее, направляясь быстрыми шагами к Люксембургскому саду.

В конторе маклера (так же как в филиалах банков, в почтовых отделениях, в сберегательных кассах) толпа осаждала окошечки, обменивая бумажные деньги на звонкую монету. На бирже уже два дня была паника. Биржевые маклеры и крупные биржевые зайцы ходатайствовали перед правительством о моратории, который, на всякий случай, позволил бы перенести июльские платежи на конец августа.

— Надо сказать, что вы недурно осведомлены, сударь, — признался уполномоченный, подмигнув ему с почтительным видом. — Через сорок восемь часов мы уже не могли бы исполнить ваше поручение!

— Знаю, — невозмутимо ответил Жак.

Несколькими часами позже половина внушительного состояния, оставленного г-ном Тибо, за вычетом двухсот пятидесяти тысяч франков в южноамериканских процентных бумагах, — реализовать их в столь короткий срок оказалось невозможным, — была стараниями Стефани передана в осторожные и умелые руки, которые взялись менее чем через сутки предоставить этот анонимный дар в распоряжение Бюро Интернационала.

Приблизительно в этот же час Антуан поднимался по лестнице министерства иностранных дел, чтобы сделать Рюмеля его обычное впрыскивание. В последнее время, особенно после возвращения министра, дипломат, не знавший отдыха ни днем, ни ночью, вынужден был отказаться от визитов на Университетскую улицу, а так как его переутомленный организм более чем когда-либо нуждался в этом ежедневном подстегивании, то было условлено, что доктор будет регулярно приходить в министерство. Антуан охотно пошел на это нарушение своего расписания: двадцать минут, проведенных в кабинете Рюмеля, ежедневно вводили его в курс дипломатических ходов, и он считал, что благодаря этой счастливой случайности принадлежит к узкому кругу лиц, наиболее осведомленных во всем Париже.

Несколько человек ожидали приема в зале и в соседней маленькой гостиной. Но привратник знал доктора и провел его служебным ходом.

— Итак, — сказал Антуан, вынимая из кармана номер «Paris-Midi», — события разворачиваются?

— Тс-с!.. — произнес Рюмель, поднимаясь с места и нахмурив брови. — Уничтожьте это, и поскорее... Мы немедленно дали опровержение! Правительство намерено возбудить судебное преследование за эту наглую утку. А пока что полиция уже наложила арест на все, что осталось от тиража.

— Так, значит, это ложь? — спросил Антуан, сразу успокоившись.

— Н... нет.

Антуан, ставивший в это время свой ящик с инструментами на угол письменного стола, поднял голову и молча посмотрел на Рюмеля, который с измученным видом медленно раздевался.

— Сегодня ночью у нас действительно было жарко... — Тембр его голоса, приглушенного усталостью, показался Антуану изменившимся. — В четыре часа утра все мы были еще на ногах, и нам было не слишком весело... Военный министр вместе с морским были срочно вызваны в Елисейский дворец, где уже находился премьер-министр. Там в течение двух часов в самом деле рассматривались... крайние меры.

— И... они не были приняты?

— Окончательно — нет. Пока еще нет... Утром даже получена инструкция объявить, что атмосфера немного разрядилась. Германия взяла на себя труд официально нас предупредить, что она не проводит мобилизации; напротив, она ведет оживленные переговоры с Веной и с Петербургом. Поэтому в данный момент нам трудно взять на себя инициативу, которая повлекла бы за собой риск...

— Но ведь этот германский жест — хороший знак!

Рюмель остановил его взглядом:

— Хитрость, мой друг! Не более как хитрость! Показная сдержанность, чтобы попытаться, если возможно, привлечь Италию на

сторону центральных держав. Жест, который фактически не может иметь никаких последствий: Германия знает не хуже нас, что Австрия больше не может, а Россия больше не хочет отступать.

— То, что вы говорите, просто ошеломляет...

— Ни Австрия, ни Россия... ни остальные, впрочем... Да, дорогой мой, это-то и делает положение дьявольски трудным: почти везде, в каждом правительстве, есть еще стремление к миру, но в то же время сейчас уже повсюду есть стремление к войне... Нет больше ни одного правительства, которое, оказавшись силою вещей поставленным перед этой грозной гипотезой, не сказало бы себе: «В конце концов, это игра... и, быть может, удобный случай, — надо им воспользоваться!» Да, да! Вы отлично знаете, что каждая европейская нация всегда имеет про запас какую-то тайную цель, всегда стремится извлечь какую-то выгоду из той войны, в которую ее могут втянуть.

— Даже мы?

— Самые миролюбивые из наших правителей уже говорят себе: «В конце концов, вот, пожалуй, удобный случай покончить с Германией... и снова завладеть Эльзас-Лотарингией». Германия надеется прорвать окружение, Англия — уничтожить германский флот и отхватить у немцев их торговлю и колонии. Каждый за катастрофой, которой он хотел бы еще избежать, видит уже те барыши, которые, может быть, ему удастся получить в случае, если эта катастрофа разразится.

Рюмель говорил тихим и монотонным голосом. Видимо, он до изнеможения устал говорить и в то же время был не в силах замолчать.

— Так что же? — спросил Антуан. Он испытывал чисто физическое отвращение к неуверенности, к ожиданию и в эту минуту почти предпочел бы узнать, что война объявлена и остается только идти воевать.

— А кроме того... — начал Рюмель, не отвечая ему. Он замолчал, медленно запустил пальцы в свою длинную волнистую шевелюру и стиснул руками лоб.

В течение двух недель подряд с утра и до вечера обсуждая все эти вопросы, слушая все эти споры, он, кажется, перестал уже полностью отдавать себе отчет в важности событий, о которых сообщал. Он стоял, опустив глаза, сжимая руками виски, и улыбался. Полы его рубашки колыхались вокруг ляжек, жирных, белых и покрытых светлым пушком. Его улыбка относилась не к Антуану. Это была неопределенная, кривая, почти бессмысленная улыбка, в которой уж, конечно, не было ничего «левиного». Следы самого явного истощения читались на его одутловатом лице, на морщинистом, землистом лбу с прилипшими к нему от пота седыми завитками. Последние две ночи он провел в министерстве. Он был больше чем измучен: потрясения этой исполненной драматизма недели подорвали, разрушили, исчерпали его силы, и он был словно попавшая на крючок рыба, которую долго водили зигзагами под водой. Благодаря

впрыскиванием (и таблеткам колы, которые он, несмотря на запрещение Антуана, глотал каждые два часа) ему еще удавалось выполнять обычную повседневную работу, но в состоянии, близком к сомнамбулизму. Заведенный механизм еще действовал, но у владельца его было такое ощущение, будто испортилась какая-то существенно важная деталь: машина перестала повиноваться.

Он внушал жалость. Однако Антуан хотел знать наверное; он повторил:

— А кроме того?

Рюмель вздрогнул. Не отнимая рук от лба, он поднял голову. Она казалась ему жужжащей и хрупкой, готовой треснуть от малейшего толчка. Нет, так не могло продолжаться; в конце концов, что-то должно было лопнуть там, внутри... В эту минуту он отдал бы все на свете, пожертвовал бы своей карьерой, своим честолюбием ради двенадцати часов одиночества, полного покоя, — все равно где, пусть даже в тюремной камере...

Тем не менее он продолжал, еще больше понизив голос:

— И кроме того, нам доподлинно известно следующее: Берлин предупредил Петербург, что при малейшем усилении русской мобилизации Германия тоже немедленно объявит мобилизацию... Своего рода ультиматум!

— Но что же мешает России приостановить мобилизацию? — вскричал Антуан. — Ведь только вчера было сообщение о том, что царь предлагает третий суд Гаагского трибунала!

— Совершенно верно, дорогой мой, но факты таковы: в России одновременно с разговорами о третий суде упорно продолжают проводить мобилизацию! — произнес Рюмель с каким-то безразличием. — Мобилизацию, которую начали не только нас не предупредив, но даже тайком от нас... И начали когда? По словам некоторых, двадцать четвертого! За четыре дня до объявления войны Австрией! За пять дней до австрийской мобилизации! Вчера вечером его превосходительство господин Сазонов спределенно заявил нам, что Россия усиливает свои военные приготовления. Господин Вивиани, который, по-моему, искреннее, чем многие другие, желает во что бы то ни стало избежать войны, буквально сражен. Если указ о мобилизации — о всеобщей мобилизации — был бы, наконец, сегодня вечером официально опубликован в Петербурге, это бы никого из нас не удивило!.. Вот что вызвало созыв военного совета сегодня ночью. И действительно, это неизмеримо важнее платонического предложения о третий суде в Гааге! Или даже братских писем, которыми чуть ли не ежечасно обмениваются кайзер и царь, его кузен!.. Чем объясняется это вызывающее упорство России? Может быть, тем, что господин Пуанкаре всегда осторожно повторял, будто французская военная поддержка будет оказана России лишь в случае военного выступления Германии? Вот вопрос, который задают себе все... Можно подумать, что Петербург хочет заставить Берлин сделать агрессивный жест, который принудил бы Францию выполнить свои союзные обязательства.

Он замолчал. Внимательно разглядывая свои колени, он ощупывал ноги. Может быть, он колебался, говорить ли ему дальше? Вряд ли: у Антуана создалось впечатление, что сегодня дипломат был уже не в состоянии взвешивать, о чем он мог говорить и о чем ему следовало бы умолчать.

— Господин Пуанкаре поступил очень ловко, — продолжал Рюмель, не поднимая головы. — Очень ловко... Подумайте: наш посол в Петербурге сегодня ночью получил телеграфный приказ категорически заявить от имени своего правительства, что оно не одобряет русской мобилизации.

— В добрый час! — произнес Антуан. — Я никогда не принадлежал к числу людей, считающих, что Пуанкаре соглашается на войну.

Рюмель ответил не сразу.

— Господин Пуанкаре больше всего заботится о том, чтобы на нас не возложили ответственность, — прошептал он с неожиданным смешком. — Теперь, видите ли, эта телеграмма — запоздала она или нет — находится там, что бы ни случилось потом; она останется в архивах, она засвидетельствует наше желание сохранить мир. Честь Франции спасена... И вовремя... Это очень ловко.

Глох прозвучал звонок, и Рюмель снял телефонную трубку.

— Невозможно... Скажите ему, что я не могу принять ни одного журналиста... Нет, даже его!

Антуан размышлял вслух:

— Но если бы Франция захотела еще и сейчас решительным образом прекратить русскую мобилизацию, разве у нее не нашлось бы более действенного средства, чем официальный протест? Судя по тому, что вы мне рассказывали на днях, наши договоры не обязывают нас оказывать поддержку русским, если Россия объявит мобилизацию раньше Германии. Так вот, разве недостаточно было в соответствующем тоне напомнить об этом вашему Сазонову, чтобы заставить его приостановить свои приготовления?

Рюмель снисходительно пожал плечами, словно слушая болтовню мальчишки.

— Дорогой мой, что же осталось от старых франко-русских договоров? История скажет, ошибаюсь я или нет, но я чувствую, что за последние два года, и особенно за последние недели, благодаря тонкой, извечно двуличной игре славян, а быть может, также благодаря великодушной неосторожности наших правителей, наш союз с Россией был возобновлен без всяких условий... и что Франция заранее обязалась поддержать любое военное выступление своей союзницы... И что это сделано помимо нашего министерства иностранных дел, — добавил он вполголоса.

— Но ведь Вивиани и Пуанкаре сходятся во взглядах...

— Гм! — произнес Рюмель. — Разумеется, сходятся... С той разницей, что господин Вивиани всегда противостоял влиянию военных кругов... Вы знаете, что до того, как Вивиани стал премьер-министром, он принадлежал к числу лиц, голосовавших против трехгодич-

ной военной службы... Еще вчера, сразу после приезда, он, по-видимому, твердо верил, что все должно, что все может уладиться... Интересно, что он думает об этом сейчас? Сегодня ночью, после военного совета, он был неузнаваем, на него жалко было смотреть... В случае, если у нас объявит мобилизацию, я не удивлюсь, узнав, что он подал в отставку...

Не переставая говорить, он, волоча ноги, подошел к кушетке и лег на бок, уткнувшись носом в подушки.

— Мне кажется, дорогой мой, что сегодня у нас правая ляжка? — продолжал он тем же поучительным тоном.

Антуан подошел к нему, чтобы сделать укол.

Наступило длительное молчание.

— Вначале, — невнятно заговорил Рюмель заглушенным подушкой голосом, — той страной, которая систематически саботировала все усилия, предпринимавшиеся для сохранения мира, по-видимому, была Австрия. Теперь это, бесспорно, Россия... — Он встал и начал одеваться. — Таким образом, это она своей непримиримостью подавила новую попытку английского посредничества. Вчера в Лондоне серьезно поработали и кое-что придумали: Англия предложила временно принять оккупацию Белграда как совершившийся факт, просто как залог, взятый Австрией, но потребовать взамен, чтобы Австрия открыто заявила о своих намерениях. Это могло бы все же послужить исходной точкой для начала переговоров. Для этого требовалось только одно — единодушное согласие держав. И вот Россия наотрез отказалась в своем: она поставила непременным условием официальное прекращение военных действий в Сербии и вывод из Белграда австрийских войск, что при настоящем положении вещей значило требовать от Австрии поистине неприемлемого отступления! И снова все разрушено. Нет, нет, дорогой мой, нечего обольщаться. Россия повинуется твердому решению, которое, очевидно, было принято ею не вчера. Она ничего больше не хочет слышать: она не намерена отказываться от этой войны, из которой надеется извлечь выгоду; и она всех нас втянет в эту игру... Нам ее не избежать!

Он надел пиджак и машинально направился к камину, чтобы проверить в зеркале, хорошо ли завязан галстук, но на полдороге обернулся:

— А думаете, хоть кто-нибудь из нас действительно знает правду? Ложных известий гораздо больше, чем истинных... Как в них разобраться? Подумайте, дорогой мой, ведь вот уже две недели, как повсюду, во всех кабинетах министров иностранных дел и начальников генеральных штабов без умолку звонит телефон, требуя немедленных ответов, не оставляя времени измученным носителям власти ни на размышление, ни на изучение вопроса! Подумайте о том, что во всех странах на столах канцлеров, министров, глав государств ежечасно скапливаются груды шифрованных телеграмм, разоблачающих тайные намерения соседних наций! Это неистовый перезвон новостей, противоречивых утверждений, из которых каждое важнее

и неотложнее другого! Как разобраться в этом адском сумбуре? Кое-нибудь ультраконфиденциальное сообщение, полученное нами через наши секретные органы, раскрывает неожиданную, непосредственную опасность, которая может еще быть предотвращена быстрым ответным ударом. Проверить невозможно. Если мы решимся на этот удар, а известие окажется ложным, наша инициатива осложнит положение, быть может вызовет решительный шаг противника, подвергнет опасности идущие к концу переговоры. Но если мы не решимся на него, а опасность окажется реальной? Завтра будет уже поздно действовать... Европа буквально шатается, словно пьяная, под этой лавиной известий, наполовину истинных, наполовину ложных...

Он ходил взад и вперед по комнате, неловко поправляя воротничок, почти шатаясь, — как и Европа, — от сумятицы своих мыслей.

— Бедные министры! — пробурчал он. — Всякий бросает в них камнем... А между тем только они имели возможность спасти дело мира. И быть может, это удалось бы им, если бы они могли посвятить всю свою энергию существу спора. Но главные их силы расходуются на то, чтобы оберегать самолюбие людей и наций! Это очень печально, дорогой мой...

Он остановился возле Антуана, который молча закрывал ящик с инструментами.

— И кроме того, — продолжал Рюмель, как бы невольно думая вслух, — дипломаты, члены правительства сейчас уже не единственные, кто решает... Здесь, на Ке д'Орсе, у всех нас создалось за последние дни впечатление, что время политики и дипломатии прошло... Теперь в каждой стране есть люди, которые взяли слово, — это военные... Сила у них: они говорят о защите национальной безопасности, и все гражданские власти капитулируют перед ними... Да, даже в наименее воинственных странах реальная власть находится уже в руках генеральных штабов... А раз дело дошло до этого, дорогой мой, раз дело дошло до этого... — Он сделал неопределенный жест. Кривая и бессмысленная улыбка опять появилась у него на губах.

Зазвонил телефон.

В течение нескольких секунд Рюмель пристально смотрел на аппарат.

— Дьявольский механизм, — прошептал он, не поднимая глаз. — Механизм, который как бы действует сам собой... Мы катимся в пропасть, словно поезд с неисправными тормозами. Увлеченный собственной тяжестью, он мчится теперь под уклон с быстротой, возрастающей с минуты на минуту... с головокружительной быстротой. Кажется, что события выскользнули из рук... что они движутся, движутся сами собой... и никто ими не управляет, никто их не хочет... Никто... Ни министры, ни короли. Нет ни одного имени, которое бы можно было назвать... У всех нас такое ощущение, словно мы захвачены, обобраны, обезоружены, обмануты — неизвестно кем, неизвестно как. Каждый делает то, что он отказывался делать, то,

чего никоим образом не хотел делать еще накануне. Словно все ответственные лица стали игрушками... игрушками каких-то таинственных сил, которые управляют событиями откуда-то сверху, издалека...

Он положил руку на телефон, продолжая смотреть на него рассиянным взглядом. Наконец он выпрямился. И, прежде чем взять трубку, дружески кивнул Антуану:

— До завтра, мой друг... Извините, я вас не провожаю.

## LVII

Антуан вышел из министерства до того усталый, возбужденный, потрясенный, что решил, хотя день у него был очень загружен, сначала отдохнуть минутку дома, а потом уже продолжать визиты. Он повторял про себя, не вполне еще веря в то, что это возможно: «Может быть, через месяц... меня мобилизуют... Неизвестность...»

Войдя в подъезд, он заметил молодого человека, который выходил из вестибюля. Увидев его, тот остановился.

Это был Симон де Батенкур.

«Муж!» — подумал Антуан, сразу насторожившись.

Он узнал его не сразу, хотя прежде встречался с ним несколько раз — и не дальше, как в прошлом году, когда пришлось положить в гипс девочку Анны.

Симон извинился:

— Я думал, что сегодня ваш приемный день, доктор... На всякий случай я записался на завтра, но мне так хотелось бы сегодня же вечером уехать обратно в Берк... Если это не очень вас затруднит...

«Какого черта ему от меня надо?» — подозрительно спросил себя Антуан. Он решил играть честно и не уклоняться от разговора.

— Десять минут... — произнес он не слишком приветливо. — Прошу извинить, но сегодня я буду занят визитами весь день. Поднимитесь вместе со мной.

Бок о бок с этим человеком в узкой кабинке лифта, где емешивалось их дыхание, Антуан, скованный враждебным чувством, которое еще усугублялось каким-то необъяснимым отвращением, повторял про себя: «Муж Анны... Муж...»

— Как вы думаете, удастся избежать войны? — внезапно спросил Батенкур. Неопределенная, по-детски кроткая улыбка блуждала на его губах.

— Я начинаю в этом сомневаться, — мрачно пробормотал Антуан.

Лицо молодого человека исказилось.

— Послушайте, это невозможно... Не может быть, чтобы дошло до этого...

Антуан молча играл связкой ключей. Он толкнул дверь.

— Входите.

— Я приехал посоветоваться с вами относительно моей маленькой Гюгеты... — начал Симон.

Он с трогательным волнением произносил имя этой девочки, которая была для него чужой, но которую он полюбил как дочь; по-видимому, он целиком отдал себя заботам об ее выздоровлении. Рассказывая подробности жизни маленькой больной, он был неиссякаем. Она с ангельским терпением переносит эту длительную неподвижность в гипсе, уверял он. Она проводит на воздухе по девять-девять часов в день. Он купил ей маленькую белую ослицу, чтобы возить «гроб» по улицам Берка до дюн. Вечером он читает ей вслух, немного занимается с ней французским, историей, географией.

Провожая Батенкура в свой кабинет, Антуан молча слушал его и, вновь обретя профессиональное внимание, пытался, следя за нитью этой болтовни, связать воедино признаки, которые могли бы осветить перед ним физиологическое состояние больной. Он совершенно забыл об Анне. И лишь увидев, как Батенкур садится в то самое кресло, в которое он так часто усаживал свою любовницу, сказал себе со странной настойчивостью: «Человек, который сидит здесь, говорит со мной и улыбается мне; человек, который только что доверил мне свои сокровенные думы, — этого человека я обманываю, обкрадываю, и он об этом не знает...»

Вначале он испытал при этой мысли лишь какое-то неопределенное неприятное ощущение чисто физического порядка, похожее на то, какое вызывает нежелательное или даже слегка противное прикосновение. Но так как Симон внезапно замолчал и казался несколько смущенным, в уме Антуана мелькнуло подозрение: «Быть может, он знает?»

— Однако я приехал сюда не для того, чтобы рассказывать вам, как я ухаживаю за больной, — сказал Батенкур.

Взгляд Антуана, испытующий помимо его воли, побуждал собеседника продолжать.

— Дело в том, что передо мной встают сейчас кое-какие трудные вопросы... В письмах рискуешь быть непонятым... Я предпочел повидаться с вами, чтобы привести все это в ясность...

«А в конце концов, почему бы ему не знать?» — внезапно подумал Антуан.

Несколько секунд оба молчали, причем Антуан находился в это время во власти самых нелепых предположений.

— Вот что, — выговорил, наконец, Симон. — Я не уверен в том, что пребывание в Берке во всех отношениях полезно для Гюгеты. — И он пустился в климатологические рассуждения.

По его мнению, начиная с пасхи, улучшение резко замедлилось. Беркский врач, хотя и заинтересованный в том, чтобы превозносить свой край, тем не менее допускает мысль, что близость моря оказывает на здоровье ребенка неблагоприятное действие. Быть может, нужна горная местность? Мисс Мери, гувернантка Гюгеты, как раз получила через своих знакомых англичан сведения об одном необыкновенном молодом враче в департаменте Восточных Пиренеев, кото-

рый специализировался на подобного рода заболеваниях и достигает поразительных результатов...

Не двигаясь с места, Антуан изучал это тонкое лицо, нос с горбинкой, как у козла, бледную кожу блондина, которую не сумел покрыть загаром даже воздух дюн. Казалось, он внимательно слушает, тщательно взвешивает все доводы Батенкура. В действительности же он почти не слушал его. Он думал о мнении, которое в одну из редких минут откровенности высказала ему Анна о своем муже: человек ничтожный и лицемерный, эгоистичный, тщеславный, скрытный и злой. До сих пор он без всякого недоверия относился к этому портрету, потому что она говорила о Симоне с презрительным равнодушием, которое казалось залогом правдивости, но теперь, когда оригинал был перед ним, множество неясных мыслей зашевелилось в его мозгу.

— Не перевезти ли мне Гюгету в Фон-Роме?<sup>1</sup> — спросил Батенкур.

— Пожалуй, хорошая мысль... Да... — пробормотал Антуан.

— Разумеется, я поселиюсь подле нее. Расстояние, одиночество — все это не играет для меня никакой роли, если только девочке будет там хорошо. Что касается моей жены... — Выражение страдания, быстро подавленное, скользнуло по лицу Симона, когда он упомянул об Анне. — Она не часто приезжает к нам в Берк, — признался он с улыбкой, которая пыталась быть снисходительной. — Париж так близко, вы понимаете... Она постоянно принимает приглашения друзей, невольно отдается светской жизни. Но если бы она навсегда поселилась в Фон-Роме вместе с нами, то, может быть, быстро заменила бы свой Париж...

Мечта о возобновлении близости промелькнула в его взгляде, мечта, в которую он не верил и сам, — это было видно. Без сомнения, он любил эту женщину, любил до боли, как в первый день.

— Быть может, все бы переменилось... — загадочно прошептал он.

Антуан ясно видел, какими внешними чертами могло быть оправдано мнение Анны о Симоне. Тем не менее, — и эта уверенность все более и более укреплялась в нем, — тем не менее человек, сидевший здесь, напротив него, в этом кресле, был совершенно не похож на портрет, нарисованный Анной. Двоедущие, эгоизм, злость — все это были обвинения, которые и пяти минут не устояли бы перед испытующим взором, перед той интуитивной проницательностью, которую пробуждает у наблюдателя, мало-мальски одаренного чутьем, присутствие самого человека, непосредственное соприкосновение с ним. Напротив: прямота, природная скромность, доброта Батенкура проявлялись в каждом его слове, даже в неловкости его манер. «Человек слабовольный? Возможно! — думал Антуан. — Нерешительный, неуравновешенный? Без сомнения. Глупый? Быть может... Но чудовище лицемерия — разумеется, нет!»

<sup>1</sup> Горный курорт в департаменте Восточных Пиренеев.

Симон спокойно продолжал монолог. Глядя на него добрыми глазами, полными признательности и доверия, он пояснил, что, разумеется, никогда и не думал принять столь важное решение, не посоветовавшись с Антуаном. Он всецело полагается на него. Ему известны его познания, его преданность делу. Он даже надеялся, что, может быть, Антуан захочет, решая вопрос, вооружиться всеми необходимыми данными и приедет на несколько часов в Берк, чтобы еще раз посмотреть больную девочку. Хотя, разумеется, при настоящем положении вещей...

Теперь Антуан слушал его внимательно. Он внезапно принял решение навсегда порвать свою связь с Анной.

Действительно ли это было решено сейчас, в эти несколько минут? Или это бесповоротное решение было давно уже принято где-то в тайных глубинах его воли? Да и можно ли было называть решением это немедленное и беспрекословное подчинение необходимости, сделавшейся вдруг неотложной, властной, непобедимой?.. Будь у него время разобраться в самом себе, он, конечно, понял бы, что упорство, с каким он последнее время избегал телефонных звонков Анны, уклонялся от свиданий, которые она без конца назначала ему через Леона, уже выдавало тайное, еще не осознанное желание разрыва. Он даже вынужден был бы признаться самому себе, что хотя политика как будто не играла тут никакой роли, все же трагические события, волновавшие Европу, отчасти способствовали этому отдалению, — словно его связь с этой женщиной была ниже уровня каких-то новых чувств, не подходила к масштабу событий, потрясавших мир.

Как бы то ни было, но ускорило этот разрыв, сделало его, почти без ведома Антуана, чем-то окончательным, — как бы совершившимся фактом, — именно присутствие Симона в его кабинете. Ему было нестерпимо находиться здесь, у себя дома, лицом к лицу с этим обманутым человеком, принимать с видом лицемерного прямодушия его уважение, его доверие и видеть, как этот человек, ничего не знающий о той роли, на которую его обрекли, обращается к нему, словно к надежному другу. Он смутно думал про себя: «Так нельзя... Этого не должно быть... Жизнь не должна быть такой... Прежде всего я; да, это верно: мои удовольствия, мои развлечения... Но позади меня есть люди, связанные со мной, есть судьбы, легкомысленно жертвовать которыми просто чудовищно... Вот из-за таких людей, как я, из-за людей, которые живут как я, из-за таких поступков, как этот, — распущенность, и ложь, и несправедливость, и душевные страдания воцарились в этом мире».

Странная вещь: начиная с момента, когда он не допускающим возражения тоном заявил себе: «Анна и я — это кон-че-но», все, словно по волшебству, показалось ему отодвинувшимся во мрак. Да, в самом деле, как будто бы никогда ничего и не было. Он мог теперь без малейшей неловкости смотреть Батенкуру в глаза, улыбаться ему, говорить слова утешения, давать советы. Когда Симон, застенчивый, как школьник, пробормотал, поднимаясь с места:

«Я, кажется, просидел дольше десяти минут», Антуан, засмеявшись, ласково коснулся его плеча. Он проводил его, болтая, до лестницы. Он даже обещал на следующей неделе приехать в Берк. (На минуту он забыл обо всем, даже о войне...) Внезапно он вспомнил о ней. И ему пришла мысль, что неизбежность катастрофы, угрожавшей ниспровергнуть все существующие ценности, несомненно помогла ему со спокойным сердцем воспринять всю необычность этого свидания с глазу на глаз. «Быть может, через месяц мы оба будем убиты, — подумал он. — Какое значение в сравнении с этим имеет все остальное?..»)

— Поезд, который отходит в восемь тридцать, доставит вас в Ранг в одиннадцать часов, а к завтраку вы будете в Берке, — уже сообщал подробности Симон, очень обрадованный.

— Если не помешает что-либо непредвиденное... — внес поправку Антуан.

Лицо его собеседника побледнело и передернулось. На миг он прижал кулак к губам. Горестное смятение отразилось в его широко раскрытых глазах. Антуан с ясностью увидал, что в эту минуту сын старого гугенота, полковника графа де Батенкура, трепетал при мысли о своем солдатском долге.

— Что будет с Гюгетой, если меня мобилизуют? — сказал Симон, не глядя на Антуана. — У нее останется ее мисс... — В эту секунду оба одновременно и почти одинаково подумали об Анне.

Батенкур молча подошел к двери. На площадке лестницы он обернулся:

— Когда вы должны явиться по мобилизации?

— В первый день... Я врач пехотного батальона... Пятьдесят четвертый полк, в Компьене... А вы?

— В третий... Я сержант. В Вердене, четвертый гусарский.

Они братски пожали друг другу руки. Затем, в последний раз дружески кивнув Симону, Антуан тихо затворил дверь.

С минуту он не двигался с места; глаза его были устремлены на ковер. Перед ним стояло отчетливое видение: Симон де Батенкур в форме гусарского сержанта скакет под огнем во главе своего взвода по равнине Эльзаса...

Резкий телефонный звонок привел его в себя.

«Может быть, это она?» — подумал он. На его лице появилась жесткая улыбка. Ему захотелось броситься к аппарату и покончить с этим сейчас же.

В конце коридора Леон уже снял трубку.

— Да... В пятницу, седьмого августа? Хорошо... В три часа... От профессора Жанте?.. Хорошо, сударь, я запишу...

Перелистывая свою записную книжку, Антуан спускался по лестнице, как вдруг звук знакомых голосов остановил его на площадке второго этажа. Он отворил дверь и направился к комнате, предназначеннй для архива.

Штудлер и Руа спорили, сидя там. На них не было белых халатов. Кругом — на столах, на стульях — валялись сегодняшние газеты.

— Так-то вы работаете, друзья мои?

Штудлер с мрачным видом пожал плечами.

Руа встал, улыбнулся и вопросительно посмотрел на Антуана.

— Видели вы Рюмеля, патрон?

— Да. Известия «Paris-Midi» ложны. Правительство послало опровержение. Но дела идут все хуже и хуже... — После паузы он лаконически добавил: — Мы танцуем на краю пропасти...

— А Германия готовится! — проворчал Штудлер.

— К счастью, и мы тоже, — возразил Руа.

Наступило молчание.

— Последние шансы сохранить мир находятся в руках рабочего класса, — со вздохом сказал Штудлер. — Но он осознаёт это только тогда, когда будет слишком поздно... В народе существует по отношению к войне какой-то чудовищный фатализм... Впрочем, это понятно: детям еще в школе калечат мозги всем тем, что им рассказывают о прежних войнах, о славе, о знамени, об отечестве... тем значением, которое придается военным смотрам, парадам... и, наконец, воинской повинностью... Сегодня мы дорого платим за эти нелепости!

Руа насмешливо слушал его.

Антуан снова вынул записную книжку и внимательно ее изучал.

— До свидания, — внезапно сказал он, надевая шляпу. — Этак я никогда не кончу своих визитов... До вечера!

Штудлер и Руа остались одни. Руа встал перед Халифом.

— Поскольку все равно не сегодня-завтра придется «идти», согласитесь по крайней мере, что начало обещает быть недурным.

— Ах, замолчите, дружище!

— Да нет... Хоть раз подумайте об этом без предвзятого мнения... Если взвесить все, мы находимся в неплохом положении... Франция сильнейшим образом заинтересована в том, чтобы война вспыхнула сперва между Россией и Германией: это обеспечивает нам содействие русских и предоставляет роль помощницы, а она всегда бывает наиболее выгодной... С другой стороны, у нас — хочу на это надеяться — было время потихоньку подготовить нашу мобилизацию, не подвергаясь риску пресловутого внезапного нападения, которого так боялся наш генеральный штаб. Все это увеличивает наши шансы...

Штудлер молча смотрел на него.

— Так вот, — продолжал Руа, — если вы человек добросовестный, то вынуждены будете признать: момент неплохо выбран, чтобы решить старую расплю и восстановить, наконец, национальную честь!

— Национальную честь! — вне себя прогремел Штудлер.

Дверь отворилась, и вошел Жуслен.

— Все еще спорите? — заметил он с усталым видом.

(Этот был в халате. Он создавал себе не больше иллюзий, чем остальные. Он знал, что через двадцать один день его, конечно, не будет уже здесь, чтобы установить результат посева микробов, которому он отдал сегодня все утро, но считал своим долгом работать так, словно ничего не произошло. «Прежде всего это помогает не думать», — сказал он как-то Антуану с грустной улыбкой, спрятанной в глубине его серых глаз.)

— Повсюду один и тот же дурацкий припев! — крикнул ему Штудлер, пожимая плечами. — Здесь — честь Франции! Там — самолюбие Австрии! В России — защита славянского престижа на Балканах!.. Как будто обеспечить мир народов, — даже если признать, что мы зашли слишком далеко, — не в тысячу раз почетнее, нежели вызвать всеобщую войну!

Он приходил в ярость, видя, что националисты всегда присваивают себе монополию на благородство, бескорыстие, героические доблести, ибо, не принадлежа ни к одной партии, он тем не менее отлично знал, что активным борцам — революционерам, которые во всех столицах ведут ожесточенную борьбу с силами войны, более чем кому бы то ни было свойственны величие и самоотречение, готовность превзойти себя ради трудно достижимого идеала, пылкость и сила духа, создающие героеv.

Он не смотрел ни на Жуслена, ни на Руа; его неподвижный прореческий взгляд горел каким-то сосредоточенным блеском.

— Национальная честь! — проворчал он еще раз. — Все высокие слова уже мобилизованы, чтобы усыпить сознание людей!. Надо во что бы то ни стало прикрыть нелепость всего происходящего, помешать всякому проявлению здравого смысла! Честь! Отечество! Право! Цивилизация! А что кроется за этими приманками? Промышленные интересы, конкуренция рынков, мелкие комбинации политиков и дельцов, ненасытная алчность правящих классов всех стран! Нелепость! Защита цивилизации? С помощью актов величайшего варварства! С помощью разнуждывания самых низменных инстинктов!.. Защита права и справедливости? С помощью анонимного убийства! Стреляя по беднягам, которые не хотят нам никакого зла и которых заставят идти против нас с помощью тех же шарлатанских средств! Нелепость! Нелепость!

— Браво, Халиф! — презрительно бросил Руа.

— Ну, ну! — мягко произнес Жуслен, кладя руку ему на плечо.

К юному Манюэлю Руа, их общему любимцу, он питал те же чувства, что и Антуан. Он любил его, сам хорошенко не зная за что. За его спокойное мужество, за его великодушную наивность. В этом воине, исполненном нетерпения и с таким простодушием готовом на жертву, он видел красоту, к которой именно он, человек науки и философских рассуждений, не мог оставаться безразличным. Он уважал в Руа тот идеал чистоты, ту наивную веру в возрождение через войну, за которую юноше, без сомнения, предстояло заплатить кровью.

— Честь... — проговорил он негромко. — По-моему, большая ошибка допускать проникновение моральных критериев туда, где они не имеют смысла: в экономическую борьбу, поселяющую раздор между государствами. Это все извращает, все отравляет. Парализует всякую реальную возможность соглашения. Придает вид сентиментальных, идеологических конфликтов, религиозных войн — тому, что не может не быть и что действительно является всего лишь конкуренцией между коммерческими фирмами!

— Кайо в тысяча девятьсот одиннадцатом году хорошо это понял, — с горячностью вставил Халиф. — Если бы не он...

Руа запальчиво перебил его:

— Вы, конечно, предпочли бы видеть своего Кайо в министерстве иностранных дел, а не на скамье подсудимых?..

— Разумеется. И вы можете мне поверить, дорогой мой, что если бы он остался у власти, мы не пришли бы к тому, к чему пришли!.. Если бы не он, всеобщая война, — это радостное событие, приближение которого, по-видимому, преисполняет восторгом вас и ваших друзей, — произошла бы, на счастье народов, тремя годами раньше!.. Он не говорил о национальной чести, он говорил о делах; он один, вопреки всему и всем, упорно стоял за программу, построенную на реальных фактах, на непосредственной выгоде!.. И благодаря этому ему удалось избежать самого худшего!

Жуслен заметил недобрый огонек, загоревшийся в глазах Руа. Он поспешил вмешаться:

— Я тоже считаю, что эта программа, если бы только упорно за нее держались, не вызвала бы таких противоречий, которых нельзя было бы разрешить путем дипломатических сделок, путем взаимных уступок. Деловые интересы легче примирить, чем чувства!.. Да, я тоже считаю, что такой человек, как Кайо... И если война произойдет, то весьма возможно, что историки, сумевшие найти связь между судьбами народов и носом Клеопатры, сумеют также, освещая сложные причины настоящего конфликта, придать должное значение роковому выстрелу из револьвера в редакции «Figaro»...

Руа самоуверенно рассмеялся.

— Я предпоготаю не отвечать вам, — сказал он весело, — и предоставить эту заботу будущему!

## LVIII

— Давайте пойдем вместе с ними, — предложил Жак Женни.

Их было человек десять, — все они собрались в кафе «Круассан», чтобы вместе идти в Монруж, где должен был выступать Макс Бастьен.

(В этот вечер во всех округах Парижа — в Гренеле, в Вожираре, в Батиньоле, в Лавилет — социалистические секции устраивали небольшие митинги. В Бельвиле собирался выступить Вайян; ждали

столкновений. В Латинском квартале студенты организовали собрание в зале Бюлье.)

Они доехали автобусом до Шатле, трамваем — до Орлеанских ворот; затем, другим трамваем, до площади Эглиз. Здесь пришлось слезть и по многолюдным улицам дойти пешком до использованного не по назначению театра, где происходило собрание.

Вечер был удушливый, воздух предметный — зловонный. После обеда все жители вышли из своих домов и слонялись, охваченные тревогой. Главные улицы оглашались криками газетчиков, продававших в пригородных районах вечерние газеты.

Женни неуверенно ступала по мостовым этих старых улиц. Она устала. От тяжести креповой вуали, которая в эту жару сильно пахла краской, у нее начиналась мигрень. В своем траурном костюме она чувствовала себя чужой среди этих людей, — большинство из них было в рабочей одежде; она инстинктивно сняла перчатки.

Жак, шагавший с ней рядом, ясно видел, что она с трудом поспевает за ним, но не решался взять ее под руку; в присутствии своих друзей он обращался с ней как с товарищем. Время от времени он бросал ей ободряющий взгляд, не прерывая разговора со Стефани о последних известиях, полученных в «Humanité».

Свой оптимизм Стефани основывал на все усилившемся, по его словам, брожении среди рабочих. Число заявлений, выражающих массовый протест, возрастало. Появился манифест социалистической партии, манифест социалистической фракции парламента, манифест Всеобщей конфедерации труда, манифест Федерации Сены, манифест Междепартаментского бюро свободомыслящих.

— Повсюду лихорадочная деятельность, повсюду грозные предупреждения, — утверждал он, и его агатовые глаза сверкали надеждой.

Один ирландский социалист, приехавший сейчас из Вестфалии, рассказал ему, обедая в кафе «Круассан», что сегодня вечером в Эссене, в самом центре немецкой металлургии, в сердце крупнейских военных заводов, должна была состояться внушительная пацифистская манифестация. Ирландец уверял даже, что на закрытых собраниях многие рабочие проповедовали саботаж, чтобы помешать имперскому правительству в осуществлении его упорных воинственных замыслов.

Однако после полудня поднялась серьезная тревога. В залах редакции распространился пугающий слух, исходивший из Германии. Говорили, что кайзер в ультимативном тоне запросил у Сазонова объяснений по поводу русской мобилизации и, получив ответ, что эта мобилизация, хотя и частичная, уже не может быть приостановлена, отдал распоряжение подготовить приказ о мобилизации. В течение двух часов казалось, что все окончательно потеряно. Наконец германское посольство выступило с опровержением, и притом в самых категорических выражениях, которые убедили всех, что известие о германской мобилизации действительно было ложным. Стало известно, что его поместил в Берлине «Lokalanzeiger»: ответ

по ту сторону границы на инцидент с «Paris-Midi». Эта непрерывная смена горячих и холодных душей держала общественное мнение в опасном возбуждении. Жорес опасался вредных последствий этой паники больше всего. Он не переставал повторять, что долг каждой группы, каждого центра — бороться с этими неопределенными страхами, которые отдавали умы во власть неотвязных мыслей о законной самозащите и были на руку врагам мира.

— Ты видел его после того, как он вернулся? — спросил Жак.

— Да, я только что проработал с ним два часа.

Немедленно по приезде из Бельгии, даже не успев сделать сообщение в парламентской социалистической фракции о результатах Брюссельской конференции, патрон собрал своих сотрудников, чтобы совместно с ними приступить к подготовке международного конгресса, который предполагалось созвать в Париже 9 августа. Чтобы обеспечить успех этой важной встречи европейских социалистов, у французской партии было в распоряжении всего десять дней, — нельзя было терять ни одного часа.

Присутствие Жореса в «Humanité» всех воодушевило. Он приехал, сильно ободренный твердой позицией немецких социалистов, полный веры в полученные от них обещания и готовый с новым увлечением отаться борьбе. Возмущенный поведением правительства в истории с залом Ваграм, он тотчас же принял решение дать властям отпор и предложил защитникам мира блестящий реванш, назначив на следующее воскресенье, 2 августа, широкий митинг протesta.

— Ну, вот мы и пришли, — сказал Жак, ободряюще коснувшись руки Женни. — Это здесь.

Она увидела взвод полицейских, стоявших наготове под одним из портиков. Молодежь продавала «Bataille syndicaliste», «Libertaïre».

Они вошли в тупичок, где люди стояли группами и, вместо того чтобы войти в театр, болтали между собой. Между тем собрание началось. Зал был полон.

— Ты пришел послушать Бастьена? — спросил у Жака один из выходивших, какой-то партийный работник. — Кажется, его задержали в Федерации, и он не придет.

Разочарованный, Жак чуть было не повернулся назад, но Женни была не в силах сейчас же двинуться в обратный путь. Не обращая внимания на своих друзей, Жак повел молодую девушку в первые ряды, где он заметил два свободных места.

Секретарь секции, некто Лефор, председательствовал, сидя на сцене за садовым столом.

Муниципальный советник, избраник этого квартала, ораторствовал, стоя перед рампой. Он несколько раз повторил, что война — это «ахронизм».

Люди, сидевшие рядом, болтали друг с другом, по-видимому не слушая его.

— Тише! — время от времени выкрикивал председатель, стуча ладонью по цинковому столу.

— Присмотритесь к лицам, — сказал Жак шепотом. — Революционеров можно, кажется, различить по выражению лиц. У одних революция в подбородке, у других — в глазах...

«А у него?» — подумала Женни. Вместо того чтобы смотреть на лица соседей, она рассматривала лицо Жака, его выдающийся, волевой подбородок, его живой, немного жесткий взгляд, решительный и блестящий.

— Будете вы говорить? — робко прошептала она. Этот вопрос она задавала себе всю дорогу. Ей хотелось, чтобы он выступил, хотелось восхищаться им еще больше, но в то же время она и боялась этого, словно стесняясь чего-то.

— Не думаю, — ответил он, беря девушку под руку. — Я плохой оратор. В тех немногих случаях, когда мне приходилось выступать, меня все время угнетало чувство, что слова увлекают меня, искают оттенки, извращают мою настоящую мысль...

Она больше всего любила, когда он вот так анализировал себя для нее, и вместе с тем ей всегда казалось, что все, что он говорит о себе, уже давно ей известно. Пока он говорил, она ощущала через материю теплоту руки, поддерживавшей ее локоть, и это так ее волновало, что она могла теперь думать только об одном — об этом сладостном, жгучем прикосновении, пронизывавшем ее тело.

— Понимаете, — продолжал он, — у меня всегда бывает такое ощущение, словно я немного лгу, утверждаю больше того, во что верю сам... Невыносимое ощущение...

Это было верно. Но так же верно было и то, что, начиная говорить, он испытывал головокружительное опьянение и что почти всегда ему удавалось создать между собой и слушателями какую-то живую связь, какое-то единодушие.

На трибуне другой оратор, толстяк с апоплексическим затылком, сменил муниципального советника. Его бас с первых же слов завоевал всеобщее внимание. Он бросал слушателям ряд бездоказательных утверждений, причем проследить за нитью его мыслей было невозможно.

— Власть попала в руки эксплуататоров народа!.. Всеобщее избирательное право — это пагубный вздор!.. Рабочий — раб промышленного феодализма!.. Политика капиталистических торговцев оружием нагромоздила под полом Европы бочки с порохом, которые готовы взорваться!.. Народ, неужели ты позволишь продирявить себе шкуру, чтобы обеспечить прибыли заводчикам Крезо?..

Щедрые аплодисменты автоматически отмечали каждое из коротких заявлений, которые он отбарабанивал, задыхаясь, словно наносил удары дубинкой. Он привык к овациям; в конце каждой фразы он умолкал, ожидая их, и с минуту стоял с открытым ртом, словно в глотку к нему залетел майский жук.

Жак наклонился к девушке:

— Это глупо... Им надо говорить вовсе не это... Надо убедить их, что их много, что они сила! Они смутно догадываются об этом, но они этого не чувствуют! Надо, чтобы они убедились на опыте, непосредственном, решительном. Вот для чего особенно важно, чтобы сейчас пролетариат выиграл игру! В тот день, когда он увидит на деле, что может собственными силами поставить непреодолимую преграду политике агрессии и заставить правительства отступить, в этот день он познает свою истинную силу, поймет, что он может все! И тогда...

Между тем публике начали надоедать бессвязные восклицания муниципального советника. В одном из углов театра разгорелся частный спор, который перешел в диспут.

— Тише! — вопил секретарь Лефор. — Инструкция центрального комитета... Партийная дисциплина... Спокойствие, граждане!

Он питал явный ужас перед всяким беспорядком, могущим повлечь за собой вмешательство полиции, и теперь заботился только о том, чтобы собрание закончилось без шума.

Появление перед рампой третьего оратора, последнего из запасавшихся в этот вечер, на короткое время восстановило тишину. Это был Леви Мас, преподаватель истории в лицее Лаканаль, известный своими статьями о социализме и своими недарами с университетом. Его темой была история франко-германских отношений начиная с 70-го года. Он с большой эрудицией приступил к освещению вопроса и через двадцать пять минут после начала своей лекции только-только дошел до сараевского убийства. Горловым голосом, от которого дрожало пенсне на его длинном остром носу, он рассказал о «мужественной маленькой Сербии». Затем он увлекся, проводя параллели между группировками союзников, между австро-германскими и франко-русскими договорами.

Изнемогающая аудитория начала волноваться.

— Хватит! К делу!

— Программу действий!

— Что делать? Как помешать войне?

— Тише! — повторял Лефор с возрастающим беспокойством.

— Возмутительно! — шепнул Жак на ухо Женни. — Все эти люди пришли сюда, чтобы получить лозунг, простой, ясный, практический, а уйдут они с головой, набитой историей дипломатических отношений, с таким ощущением, словно все слишком сложно... что ничего нельзя сделать и надо ждать неизбежного.

Оратора прерывали взглазы:

— Что происходит? Куда нас ведут?

— Мы хотим знать правду!

— Да! Правду!

— Правду, граждане? — вскричал Леви Мас, смело встречая бурю. — Правда в том, что Франция — миролюбивая нация и что в течение последних двух недель она это великолепно доказывает, приводя в смущение все империалистические государства! Наше правительство, которое можно критиковать за его внутреннюю

политику, стоит сейчас перед трудной задачей! Долг социалистической партии — не усложнять этой задачи! Разумеется, мы не согласимся принять весь тот националистический вздор, который буржуазия внесла в свою программу! Но, — и это надо сказать во весь голос, надо крикнуть об этом всему миру, — ни один француз не откажется защищать свою территорию в случае нового вторжения иностранцев!

Жак выходил из себя.

— Слышите? — сказал он, снова наклоняясь к Женни. — Ничто не может лучше подготовить народ к войне! Стоит только внушить ему завтра уверенность в неизбежности германского нападения, и он согласится на все что угодно.

Она подняла на него свои голубые глаза:

— Говорите! Вы!

Не отвечая, он смотрел на оратора. Он чувствовал вокруг себя растущее недовольство. И главное, в нерешительности этой толпы он ощущал тайное всеобщее возбуждение, благоприятное для революционного взрыва, — возбуждение, не воспользоваться которым было бы преступно.

— Хорошо! — сказал он вдруг.

И внезапно поднял руку, требуя слова.

Председатель одно мгновение внимательно разглядывал его, потом решительно отвел глаза.

Жак нацарапал на клочке бумаги свою фамилию, но не было никого, кто мог бы передать его Лефору.

Среди возрастающего шума Леви Мас заканчивал свою речь:

— Разумеется, граждане, положение затруднительное! Но оно не безвыходно, пока правительство имеет поддержку народа, чтобы уверенно защищать находящийся под угрозой мир! Перечитайте статьи нашего великого Жореса! Те, кто дерзко ищет ссоры с нами по ту сторону границы, должны почувствовать, что за нашими государственными деятелями и дипломатами стоит социалистическая Франция, единодушная в деле мирной защиты права!

Он поправил пенсне, обменялся взглядом с председателем и спешил подобру-поздорову убраться за кулисы. Раздалось несколько хлопков личных друзей оратора, прерванных неясными криками протesta, робкими свистками.

Лефор встал. Он размахивал руками, пытаясь водворить спокойствие. Публика решила, что он хочет говорить, и на минуту затихла. Он воспользовался этим, чтобы крикнуть:

— Граждане, собрание закрыто!

— Нет! — гневно выкрикнул Жак со своего места.

Но собравшиеся, повернувшись спиной к сцене, уже бросились к трем дверям, выходившим в тупик. Стук откидных сидений, крики, споры создавали оглушительный шум, который невозможно было перекричать.

Жак был вне себя. Никоим образом нельзя было допустить, чтобы эти люди, преисполненные лучших намерений, ищущие точ-

ных указаний, покинули зал в полной растерянности, так и не узнав, чего ждет от них Интернационал!

С трудом проталкиваясь сквозь толпу, он добрался до ниши оркестра. Сцена, отделенная от зала этой темной дырой, была недосягаема. С пеной у рта он кричал:

— Прошу слова!

Он прошел вдоль помещения оркестра до литерной ложи бенуара, разбежался, прыгнул в ложу, выбежал в коридор, нашел дверь, которая вела за кулисы, растолкал каких-то людей и ворвался, наконец, на уже опустевшие подмостки. Он продолжал кричать:

— Прошу слова!

Но его голос терялся в шуме. Перед ним зияла пыльная, уже на три четверти опустевшая пропасть театра. Он бросился к цинковому столу и начал яростно колотить по нему кулаками, словно бил в гонг.

— Товарищи! Прошу слова!

Немногие еще остававшиеся в зале — человек около пятидесяти — обернулись к сцене.

Раздались голоса:

— Слушайте!.. Тише!.. Слушайте!..

Жак продолжал стучать по столу, словно бил в набат. Он был бледен, растреван. Его взгляд окидывал все концы зала. Он яростно кричал:

— Война! Война!

Воцарилось нечто, похожее на тишину.

— Война! Она над нами! Через двадцать четыре часа она может обрушиться на Европу!.. Вы требуете правды? Вот она! Возможно, что меньше чем через месяц все вы, находящиеся сейчас здесь, будете уничтожены!..

Резким движением он откинул прядь волос, падавшую ему на глаза.

— Война! Вы не хотите ее? Зато они ее хотят, они! И они на-важут ее вам! Вы будете жертвами! Но вы будете также и виновниками! Потому что только от вас зависит помешать этой войне... Вы смотрите на меня. Все вы спрашиваете себя: «Что делать?» Для этого-то вы и пришли сюда сегодня... Хорошо, я скажу вам это! Потому что есть нечто такое, что можно сделать. Есть еще возможность спасения. Единственная! Это — единодушный отпор! Отказ!

Более спокойно, поразительно владея собой, усилив голос и отчеканивая слова, чтобы его слышали все, он продолжал после короткой паузы:

— Вам говорят: «Капитализм, соперничество наций, могущество денег, торговцы оружием — вот что делает возможными войны». И все это верно. Но подумайте. Что такое война? Разве это всего лишь столкновение интересов? К несчастью, нет! Война — это люди и кровь! Война — это мобилизованные народы, которые дерутся друг с другом! Все министры, все банкиры, все хозяева трестов, все в мире торговцы оружием были бы бессильны начать войну, если бы

народы отказались подчиниться мобилизации, если бы народы отказались драться друг с другом! Пушки и ружья не стреляют сами собой! Чтобы воевать, нужны солдаты! И эти солдаты, на которых рассчитывает капитализм для своего дела наживы и смерти, — это мы! Ни одна законная власть, ни один приказ о мобилизации не может что-либо сделать без нас, без нашего согласия, без нашей покорности! Итак, наша участь зависит от нас самих! Мы сами хозяева своей судьбы, потому что нас много, потому что мы — сила!

И вдруг все зашаталось. Внезапное головокружение... Словно вспышка молнии осветила вдруг перед ним ответственность, которую он на себя взял. Имел ли он право выступить? Уверен ли он в том, что знает истину?.. С минуту, снедаемый сомнениями, он был не в силах бороться с полнейшим упадком духа.

В этот момент в глубине театра произошло какое-то движение. Задержавшиеся отказались от мысли об уходе и медленно подвигались ближе к сцене, словно железные опилки, притягиваемые магнитом. В мгновение ока смятение Жака исчезло, испарилось, не оставив никакого следа. И снова все, о чем он думал, что хотел рассказать этим людям, которые словно бросали ему оттуда, из глубины зала, свой немой вопрос, показалось ему ясным, неоспоримым.

Он шагнул вперед и, наклонившись над рампой, крикнул:

— Не верьте газетам! Пресса лжет!

— Браво! — произнес чей-то голос.

— Пресса продалась националистам! Чтобы замаскировать свои аппетиты, все правительства нуждаются в лживой прессе, которая убеждает их народы в том, что, уничтожая друг друга, каждый из них героически жертвует собой ради святого дела, ради торжества права, справедливости, свободы, цивилизации!.. Как будто существуют справедливые войны! Как будто можно быть справедливым, обрекая миллионы невинных людей на муки, на смерть!

— Браво! Браво!

В трех дверях, выходивших в тупик, толпились любопытные. Незаметно подталкиваемые теми, кто был сзади, они в конце концов вошли в зал и заняли места в креслах.

— Тише! Дайте слушать! — шикали кругом.

— Неужели вы допустите, чтобы кучка преступников под напором событий, впрочем ими же самими подготовленных, бросила на поля сражения миллионы мирных жителей Европы?.. Стремление к войнам никогда не исходит от народов! Оно исходит исключительно от правительства! У народов нет других врагов, кроме тех, кто их эксплуатирует! Народы не враждуют друг с другом! Вы не найдете ни одного германского рабочего, который хотел бы покинуть жену, детей, работу, чтобы взять винтовку и пойти стрелять во французских рабочих!

Гул одобрения пробежал по аудитории.

Женни оглянулась. Теперь тут было человек двести или триста, может быть даже больше, и все они слушали с напряженным вниманием.

Жак наклонился к этой живой, безмолвной массе, которая в то же время глухо гудела, словно гнездо ос. От всех этих лиц, из которых он ни одного не различал отчетливо, исходил призыв, сообщавший ему потрясающую, незаслуженную значительность, но в то же время удесятерявший силу его убежденности и его надежд. Он успел подумать: «Женни слушает». И, переведя дух, начал с новым подъемом:

— Станем ли мы, сложа руки, бессмысленно ждать, чтобы нас принесли в жертву? Поверим ли мы миролюбивым заверениям правительства? Кто ввергнул Европу в безвыходный хаос, в котором она бьется сейчас? Неужели мы будем настолько безумны, чтобы надеяться, что те самые государственные деятели, канцлеры, монархи, которые своими тайными комбинациями подвели нас к самому краю пропасти, смогут еще на своих дипломатических конференциях спасти мир, поставленный ими под угрозу с таким цинизмом? Нет! Сегодня мир уже не может быть спасен правительствами! Сегодня мир находится в руках народов! В наших, в собственных наших руках!

Аплодисменты снова прервали его. Он вытер лоб и секунд десять прерывисто дышал, словно запыхавшийся бегун. Он сознавал свою мощь, он чувствовал, как каждая его фраза с силой проникает в умы и, подобно бикфордову шнурку, взрывающему пороховые погреба, каждым словом будоражит целый арсенал мятежных мыслей, которые только и ждали этого толчка, чтобы взорваться.

Нетерпеливым жестом он потребовал тишины.

— Что делать? — спросите вы. — Не поддаваться!..

— Браво!

— В одиночку каждый из нас бессилен. Но все вместе, крепко спаянные, мы всемогущи!.. Поймите же: жизнь страны, равновесие, на котором виждется устойчивость государства, целиком зависит от трудящихся. Народ располагает всесильным оружием! Не-по-бе-димым! И это оружие — забастовка. Всеобщая забастовка!

Чей-то громкий голос крикнул из глубины зала:

— Чтобы пруссаки воспользовались ею и напали на нас!

Жак резко откинулся на стул и нашел глазами прервавшего его человека.

— Напротив! Германский рабочий пойдет с нами! Я это знаю! Я только что из Берлина! Я видел! Я видел манифестации на Унтер-ден-Линден. Я слышал, как требовали мира под окнами кайзера! Германский рабочий так же готов начать всеобщую забастовку, как и вы! Единственное, что еще удерживает его, это страх перед Россией. А кто в этом виноват? Мы, наши правители, наш нелепый союз с царизмом, увеличивший для Германии русскую опасность. Но подумайте: кто мог бы вернее всего обеспечить безопасность германского народа, другими словами — остановить Россию на пути к войне? Вы! Мы, французы, нашим отказом сражаться! Решаясь на забастовку, мы, французы, наносим двойной удар: мы парализуем царизм в его военных устремлениях и уничтожаем все препятствия

к братскому союзу германского рабочего с французским! К братскому союзу на почве всеобщей забастовки, которая разразится одновременно в обеих странах и будет направлена против обоих наших правительств!

Возбужденный зал хотел было аплодировать, но Жак уже продолжал:

— Ибо забастовка — это единственное, что еще может спасти всех нас! Подумайте об этом! По первому сигналу наших вождей, по сигналу, выброшенному в один и тот же день, в один и тот же час, повсюду одновременно, жизнь страны может внезапно остановиться, замереть. Приказ о забастовке — и вот в одно мгновение все заводы, все магазины, все учреждения опустели. На дорогах пикеты забастовщиков препятствуют снабжению городов продовольствием! Хлеб, мясо, молоко — все распределяется стачечным комитетом! Нет воды, нет газа, нет электричества! Нет поездов, нет автобусов, нет такси! Нет писем, нет газет! Нет телефона, нет телеграфа! Внезапная остановка всех колес социальной машины! На улицах бродит толпа, охваченная тревогой. Никаких столкновений, никаких беспорядков: тишина и страх!.. Что могло бы противопоставить этому правительство? Как могло бы оно выдержать такой натиск со своей полицией и с несколькими тысячами добровольцев? Откуда достало бы припасы? Как распределило бы продовольствие среди населения? Не в состоянии прокормить даже своих жандармов и свои полки, подгоняемое паническим ужасом даже тех, кто поддерживал его националистическую политику, — к чему могло бы оно прибегнуть, кроме капитуляции? Сколько дней, — нет, не дней, — сколько часов могло бы оно бороться с этой блокадой, с этой остановкой всякой общественной жизни? И кто из государственных деятелей осмелился бы еще говорить о возможности войны, столкнувшись с подобным проявлением воли масс? Какое правительство рискнуло бы раздать винтовки и патроны восставшему против него народу?

Неистовые аплодисменты гремели теперь после каждой фразы Жака. Он собрал все свои силы, чтобы преодолеть шум. Женни увидела, как лицо его побагровело, челюсть задрожала, мускулы и жилы на шее вздулись от напряжения.

— Момент серьезный, но пока что все зависит от нас! Оружие, которым мы располагаем, настолько грозно, что, я думаю, у нас даже не будет надобности к нему прибегать! Одной только угрозы забастовки — если правительство будет уверено в том, что вся масса трудящихся действительно готова единодушно принять в ней участие, — оказалось бы достаточно, чтобы немедленно изменить ориентацию политики, ведущей нас в пропасть!.. Наш долг, друзья мои? Он прост, он ясен! Одна цель — мир! Единение превыше всех наших партийных разногласий! Единение в противодействии. Единение в отказе! Сплотимся вокруг вождей Интернационала! Потребуем от них, чтобы они сделали все для организации забастовки и подготовки этого могучего натиска сил пролетариата, от которого зависит судьба нашей страны и судьба Европы!

Он замолчал. Внезапно он почувствовал себя совершенно опустошенным.

Женни пожирала его глазами. Она увидела, как он опустил глаза, открыл рот, чтобы что-то сказать, запнулся, поднял руку, потом махнул рукой. Усталая улыбка кривила его губы. Словно пьяный, он неловко повернулся и исчез между декорациями.

Толпа ревела:

— Браво!.. Он прав!.. Долой войну!.. Забастовка!.. Да здравствует мир!..

Овации продолжались несколько минут. Слушатели стояли, хлопая, крича, вызывая оратора.

Наконец, так как оратор не появлялся, они беспорядочно устремились к выходам.

А оратор исчез в полумраке кулис. Рухнув на ящик за грудой старых декораций, потный, возбужденный, совершенно разбитый, он так и сидел там с растрепанными волосами, опершись локтями о колени, прижав кулаки к глазам, испытывая лишь одно желание после этой бури — как можно дольше оставаться в одиночестве, затеряться, укрыться от всех.

Здесь, наконец, и нашла его Женни после нескольких минут поисков; ее привел Стефани.

Жак поднял голову и, внезапно просветлев, улыбнулся девушке. Остановившись перед ним, она пристально смотрела ему в лицо, не произнося ни слова.

— Теперь надо как-нибудь выбраться отсюда, — проворчал Стефани, стоявший сзади.

Жак встал.

Опустевший зал был погружен во мрак, двери заперты снаружи. Но лампочка-ночник, горевшая в одном из углов сцены, указала им направление, и они вышли в коридор, который вывел их к служебному выходу в задней стене театра. Они прошли через наполненный углем подвал и выбрались на маленький дворик, заваленный досками и частями старых декораций. Он выходил в переулок, казавшийся совершенно безлюдным.

Однако не успели они сделать нескольких шагов, как из мрака выступили двое мужчин.

— Полиция! — произнес один из них, жестом фокусника вытащив из кармана карточку и сунув ее под нос Стефани. — Предъявите, пожалуйста, ваши документы!

Стефани протянул инспектору свое корреспондентское удостоверение.

— Журналист!

Полицейский рассеянно взглянул на удостоверение. Его интересовал оратор.

К счастью, во время своих дневных странствований с Женни Жак зашел к Мурлану и забрал свой бумажник. Зато он имел

неосторожность оставить в кармане брюк документы женевского студента, пригодившиеся ему при переходе через германскую границу. «Если они обыщут меня...» — подумал он.

Рвение агента не простерлось так далеко. Он удовольствовался тем, что исследовал при свете фонаря паспорт Жака и взглядом профессионала проверил его сходство с фотографической карточкой. Затем, несколько раз послюнявив карандаш, он что-то нацарапал в своей записной книжке.

— Ваше местожительство?

— Женева.

— Где проживаете в Париже?

Жак на секунду замялся. От Мурлана он узнал, что комната на улице Жур, где он останавливался до своей поездки и где был в полной безопасности, уже занята. Он не принимался еще за поиски нового жилья и думал переночевать сегодня в меблированных комнатах на улице Бернардинцев, на углу набережной Турнель. Этот адрес он и дал полицейскому, а тот записал его в своей книжке.

Затем полицейский повернулся к Женни, стоявшей рядом с Жаком. У нее были при себе только визитные карточки и случайно оказался в сумочке конверт от письма Даниэля. Полицейский не стал придираться и даже не записал фамилии девушки.

— Благодарю вас, — вежливо сказал он.

Он прикоснулся к шляпе и отошел в сопровождении своего помощника.

— Общество обороняется, — насмешливо констатировал Стефани.

Жак улыбался.

— Вот я и на заметке...

Женни уцепилась за его руку. Ее лицо исказилось.

— Что они с вами сделают? — спросила она глухим голосом.

— Разумеется, ничего!

Стефани рассмеялась.

— Что они могут с нами сделать? У нас все в полном порядке.

— Единственное, что меня немного смущает, — признался Жак, — это то, что я дал свой адрес, назвал отель Льебара.

— Ты завтра же переедешь оттуда — и все тут.

Ночь была теплая. В переулке пахло чем-то затхлым. Женни прижалась к Жаку. Ее силы иссякли от пережитого волнения. На неровных камнях мостовой она оступилась, у нее подвернулась нога, и она бы упала, если б он не держал ее под руку. На минуту она остановилась и прислонилась плечом к стене какого-то сарая. Нога у нее болела.

— Ах, Жак, — прошептала она, — я так устала...

— Опирайтесь на меня.

Слабая, утомленная, она вызывала в нем еще большую нежность.

Переулок примыкал к бульвару, где последние шумные группы постепенно расходились.

— Садитесь оба на эту скамью, — властно сказал Стефани. — Я побегу вперед, чтобы не опоздать на последний трамвай. Около Ратуши есть стоянка такси. Я пришлю вам машину.

Когда три минуты спустя машина остановилась у тротуара, Женни стало стыдно за свою слабость.

— Это глупо. Я отлично смогла бы дойти до трамвая...

Она сердилась на себя за то, что служит помехой в жизни Жака; ведь для нее всегда было вопросом чести обходиться без всяких услуг.

Но очутившись в автомобиле, она сейчас же сняла шляпу и вуаль, чтобы удобнее свернуться в клубок и теснее прижаться к нему. Она чувствовала, как вздымается у ее щеки эта мужская грудь, гулкая и горячая. Не поворачивая головы, она подняла руку и ощупью нашла лицо Жака. Он улыбнулся, и она заметила это, коснувшись его рта. Тогда, словно ей только и нужно было убедиться, что он действительно тут, она убрала руку и снова уютно устроилась в его объятиях.

Машина замедлила ход. «Уже?» — подумала она с сожалением. Но она ошиблась — они еще не доехали: она узнала Орлеанские ворота, таможню.

Она прошептала:

— Где вы будете ночевать?

— Да у Льебара. А что?

Она хотела что-то сказать, но промолчала. Он нагнулся к ней. Она закрыла глаза. Губы Жака надолго задержались на ее опущенных веках. В ее ушах звенели невнятные слова: «Моя дорогая... Моя любимая... Любимая...» Она почувствовала, как теплый рот скользнул вдоль ее щеки, слегка коснулся носа, дошел до ее губ, которые инстинктивно сжались. Он не решился настаивать, поднял голову и, еще крепче обняв ее, страстно привлек к себе. Теперь она сама протянула ему губы, но он этого не заметил: он уже выпрямился. Он отстранился и открыл дверцу. Тогда она заметила, что машина остановилась. Давно уже? Она увидела фасад, подъезд своего дома.

Он вышел первый и помог ей. Пока он расплачивался с шофером, она, как лунатик, сделала три шага, отделявшие ее от звонка. Одно безумное искушение мелькнуло у нее. Но, может быть, мать уже приехала... При мысли о г-же де Фонтанен она испытала резкое потрясение, и все ее беспокойство снова вернулось к ней. Дрожащей рукой она нажала кнопку звонка.

Когда Жак подошел к ней, дверь уже полуоткрылась, и перед привратницкой зажегся свет.

— Завтра? — поспешил сказать он.

Она утвердительно кивнула головой. Она не могла выговорить ни слова. Он взял ее руку и сжал в своих.

— Не утром... — продолжал он прерывающимся голосом. — В два часа, хорошо? Я приду?

Она снова кивнула головой в знак согласия, затем отняла у него руку и толкнула створку двери.

Он увидел, как она напряженной походкой прошла освещенную полосу и скрылась во мраке, не обернувшись. Тогда он отпустил дверь.

## LIX

У Льебара Жак совсем почти не спал.

Поворачиваясь с боку на бок на своей узкой железной кровати, он двадцать раз спрашивал себя, не возвещает ли белесое стекло приближения утренней зари, пока не погрузился на два часа в тяжелый сон, после которого очнулся разбитый и мрачный.

На улице, наконец, рассвело.

Он оделся, уложил в саквояж то немногое, что у него было, увязал в пачку бумаги, затем придвинул к окну стул и долго сидел, облокотясь на подоконник, не в состоянии думать о чем-либо определенном. Образ Женни вновь и вновь проходил перед его глазами. Ему бы хотелось, чтобы она была здесь рядом, молчаливая, неподвижная, хотелось бы ощущать прикосновение ее плеча, ее щеки, как вчера в автомобиле. Как только он оказывался вдали от нее, у него находилось столько вещей, о которых надо было ей рассказать. Он смотрел на улицу, на набережную, которые постепенно начинали свою утреннюю жизнь — жизнь подметальщиков и разносчиков молока. Мусорные ящики еще стояли, выстроившись в ряд, вдоль сточных канав. В угловом доме напротив ставни были закрыты везде, кроме нижнего этажа, который занимал торговец фаянсом; сквозь стекла виднелись груды не имеющих названия безделушек, наполовину закрытых соломой, разрозненные сервизы, китайские расписные вазы, бонбоньерки, статуэтки вакханок, бюсты великих людей. Внизу, на ярко-красных ставнях мясника-еврея, висела позолоченная вывеска с еврейской надписью, надолго приковавшая взгляд Жака.

Ровно в семь часов, решив, что можно уже расплатиться за ночлег, он незаметно вышел, купил газеты и, пройдя с ними на набережную, сел на скамейку.

Было почти холодно. Бледный туман плавал вдали, над собором Парижской богоматери.

С отвращением и ненасытной жадностью Жак читал и перечитывал телеграммы и комментарии, которые без конца повторялись в разных газетах, словно отражаясь в бесчисленных зеркалах, поставленных друг против друга.

Вся пресса, на этот раз единодушная, била тревогу. Статья Клемансо в «*Homme libre*» была озаглавлена: «На краю пропасти». «*Matin*» жирным шрифтом признавался на первой странице: «Момент критический».

Большая часть республиканских газет, подпевая правым, порицала французскую социалистическую партию за то, что «при настоящем положении вещей» она согласилась на организацию в Париже международного конгресса в защиту мира.

Жак не решался расстаться со своей скамейкой, начать этот ис-  
кий день — пятницу 31 июля.. Однако газеты постепенно вывели  
его из оцепенения, помогли возобновить связь с окружающим ми-  
ром. С минуту он боролся со смутным желанием бежать сейчас же,  
утром, на улицу Обсерватории. Но он понял, что это искушение  
было вызвано скорее малодушным страхом перед жизнью, чем чув-  
ством к Женни. Он устыдился. Война не была неизбежной, игра не  
была еще проиграна, еще можно было кое-что сделать. Во всех  
кварталах Парижа люди вставали сейчас, чтобы бороться... К тому  
же он ведь предупредил Женни, что придет к ней не раньше двух  
часов.

Было еще слишком рано, чтобы идти в «Humanité», но можно  
было пойти в «Etendard». Он не знал, где бы ему оставить свой  
саквояж. Не отнести ли его к Мурлану?

Мысль о посещении старика типографа подняла его с места.  
Он дойдет пешком до площади Бастилии по набережным. Прогулка  
окончательно вернет ему равновесие.

Двери «Etendard» были заперты.

«Зайду попозже», — подумал Жак. И, чтобы убить время, ре-  
шил заглянуть к Видалю, книготорговцу в предместье Сент-Ан-  
туан; задняя комната в его лавке служила местом собраний для  
группы анархистующих интеллигентов, издававших «Elan  
rouge». <sup>1</sup> Жаку случалось помещать там рецензии о немецких и  
швейцарских книгах.

Видаль был один. Он сидел без пиджака за столом, возле окна,  
и перевязывал бечевкой брошюры.

— Никого еще нет? — спросил Жак.

— Видишь сам.

Неприязненный тон Видаля удивил его.

— Почему? Рано?

Видаль пожал плечами:

— Вчера тоже было не слишком много народа. Само собой,  
никому не хочется, чтобы его сцепали... Читал ты это? — спросил  
он, указывая на книгу, несколько экземпляров которой лежали на  
столе.

— Да.

Это был «Дух возмущения» Кропоткина.

— Замечательно! — сказал Видаль.

— Разве уже были обыски? — спросил Жак.

<sup>1</sup> «Красный натиск» (франц.).

— Кажется... Здесь — нет. Во всяком случае пока еще нет. Но все уже чисто, пускай приходят... Садись.

— Не буду тебе мешать. Я еще зайду.

На улице, когда он собирался перейти дорогу, к нему вежливо подошел полицейский:

— Документы при вас?

Метрах в двадцати трое мужчин, судя по внешности полицейские в штатском, стояли на тротуаре и смотрели. Полицейский молча перелистал паспорт и вернулся с поклоном.

Жак закурил папиросу и отошел, но ему было не по себе. «Два раза за двенадцать часов, — подумал он. — Словно у нас уже осадное положение». Он сделал несколько шагов по авеню Ледрю-Роллен, чтобы проверить, не следят ли за ним. «Они не удостоили меня этой чести...»

Тут ему пришла мысль, раз уж он был в этих краях, зайти в «Модерн-бар» — кафе на улице Траверсьер, бывшее центром социалистической секции III округа, особенно активной. Казначей ее, Бонфис, был другом детства Перине.

— Бонфис? Вот уже два дня, как он и носа сюда не показывал, — сказал сидящий в кафе. — Впрочем, я никого еще не видел сегодня утром.

В эту минуту человек лет тридцати, с пилой, висевшей на ремне у него за плечами, вошел в бар, ведя велосипед.

— Здравствуйте, Эрнест... Бонфис здесь?

— Нет.

— А кто-нибудь из наших?

— Никого.

— Гм... И никаких новостей?

— Никаких.

— Все еще ждут инструкций Центрального комитета?

— Да.

Краснодеревец молча бросал вокруг вопросительные взгляды и, как рыба, шевелил ртом, переворачивая прилипший к губам окурок.

— Досадно, — сказал он наконец. — Надо бы все-таки знать... Я, например, призываюсь в первый день. Если это случится, я не знаю, что делать... Как думаешь ты, Эрнест? Надо идти или нет?

— Нет! — крикнул Жак.

— Ничего не могу сказать тебе, — угрюмо произнес Эрнест. — Это твое дело, приятель.

— Согласиться идти — значит стать сообщником тех, кто хотел войны! — сказал Жак.

— Само собой, это мое дело, — подтвердил столяр, обращаясь к сидящему кафе, словно он и не слышал слов Жака. Тон у него был развязный, но он не мог скрыть растерянности. Он бросил на Жака недовольный взгляд. Казалось, он думал: «Я не спрашиваю ничего мнения. Я хочу знать решение Центрального комитета».

Он выпрямился, повернулся на велосипед, сказал: «Привет» и неторопливо пошел, раскачиваясь на ходу.

— В общем, мне это надоело: все они задают один и тот же вопрос, — проворчал содергатель кафе. — Что я могу тут сделать? Говорят, что в комитете никак не могут прийти к соглашению, выработать директиву. А ведь партии надо бы дать директиву, верно?

Прежде чем вернуться в «Etandard», Жак в раздумье бродил некоторое время по этому кварталу, который с каждой минутой становился все оживленнее. Вереницы заваленных овощами и фруктами тележек, вытянувшихся вдоль канавы, крики уличных торговцев, множество рабочих, хозяек, которые, чтобы укрыться от солнца, толклись на одном остававшемся в тени тротуаре, — все это превращало узкие улицы в рынок под открытым небом.

Жак заметил, что в витринах трикотажных магазинов были выставлены почти исключительно принадлежности мужской одежды, и притом довольно неподходящие для сезона: вязаные жилеты, фланелевые фуфайки, толстые бумазейные рубашки, шерстяные носки. Обувные лавки соорудили из картонных или коленкоровых полос импровизированные вывески, бросавшиеся в глаза. Наиболее рабочие объявляли: «Охотничьи башмаки» или «Башмаки для пешеходов». Те, что посмелее, провозглашали: «Солдатские башмаки» и даже «Форменные ботинки». Многие мужчины останавливались, заинтересованные, но ничего не покупали. Женщины, повесив на руку сетку для провизии, на всякий случай принююхивались к шерстяным изделиям, ощупывали их, взвешивали на руке подбитую гвоздями обувь. Публика еще не покупала, но ее внимание с достаточной ясностью говорило о том, что эти недавно выставленные товары соответствуют общему беспокойству.

Все возрастающий недостаток разменной монеты начинал серьезно затруднять торговлю. Разносчики, превратившись в менял, прохаживались с ящиками на животе. Они спекулировали — давали девяносто пять франков звонкой монетой за стофранковый билет. Полиция, видимо, закрывала на это глаза.

Французский банк выпустил накануне множество купюр по пять и по двадцать франков, и люди с любопытством их рассматривали.

— Значит, все это было готово у них заранее, — говорили в толпе с видом недоверия, неприязни, но и некоторого восхищения.

Жак уселся, наконец, за столиком одного из кафе на площади Бастилии. Он ничего не ел со вчерашнего дня и испытывал жажду и голод.

Поток пригородных жителей разливался широкими волнами, хлынувшими из Лионского вокзала, из трамваев, из метро. Они на минуту останавливались на залитой солнцем площади с газетами в руках, с озабоченными, любопытными лицами, и оглядывали все

кругом, словно желая убедиться, перед тем как приступить к работе, что угроза войны не изменила Париж за эту ночь.

В кафе беспрестанно менялись люди; озабоченные, встревоженные, они громко разговаривали друг с другом. Один из посетителей рассказал, что послал жену в мэрию навести точные справки относительно срока его мобилизационного предписания, и с видимой гордостью сообщил, что ввиду большого притока публики число служащих в справочных бюро при военных канцеляриях увеличили втрое.

Шофер такси со смехом показывал номер иллюстрированного журнала, в котором на одной и той же странице, совсем рядом, были изображены возвращение в Берлин кайзера и возвращение Пуанкаре в Париж: два симметричных символических рисунка, где главы двух государств, ступив на подножку автомобилей, одним и тем же воинственным жестом отвечали на приветственные клики своих исполненных доверия народов.

Муж и жена средних лет вошли и приблизились к оцинкованной стойке. Жена испуганно смотрела на посетителей, ища дружеского взгляда. Они сейчас же заговорили.

Муж сказал:

— Мы из Фонтенбло. Там уже началось. — И он замолчал.

Жена, более словоохотливая, пояснила:

— Вчера вечером к офицеру Седьмого драгунского, который живет на той же площадке, что и мы, пришли сказать, чтобы он живо собирался. А потом, среди ночи, нас разбудил конский топот. Кавалерия получила приказ выступать.

— Куда? — спросила кассирша.

— Неизвестно. Мы вышли на балкон. Весь город был у окон. Не слышно было ни одного крика, ни одного слова. Они убегали как воры... без музыки, в походной форме... Потом потянулись полковые обозы, повозки со снаряжением... Конца им не было. Это продолжалось до утра.

— В мэрии, — подхватил муж, — вывесили приказ о реквизиции лошадей, мулов, повозок, даже фуражки!

— Все это скверно пахнет, — заявила кассирша с заинтересованным и почти довольным видом.

— Запас третьей очереди уже призван, — сказал кто-то.

— Старики? Да что вы!

— Да, да! — подтвердил официант, остановившись с каким-то блудом. — Видно, им надо было собрать людей заранее, чтобы охранять мосты, узловые станции, словом — все, чему грозит опасность... Я хорошо это знаю: у меня родного брата, — а ему уже сорок три года, и живет он около Шалона, — вдруг вызвали на вокзал. Там ему надели на башку старую фуражку, нацепили на куртку подсумки, дали в руки винтовку и — марш! Не угодно ли вам стать часовым у виадука? А тут, знаете ли, шутки плохие: чтобы подойти к мосту, нужен пропуск. Если его нет, приказано стрелять! Видно, кругом уже бродят шпионы.

— Я иду на второй день, — заявил, хотя никто его не спрашивал, малаяр в белой холщовой блузе. Он сказал это, ни на кого не глядя, опустив глаза на рюмку, которую вертел в руке.

— Я тоже, — произнес чей-то голос.

— А я — на третий! — вскричал толстый добродушный водопроводчик. — Но мне в Ангулем! И вы понимаете, что прежде чем пруссаки появятся у берегов Шаранты...

Он лихо подтянул мешок с инструментами, болтавшийся у него за спиной, и, усмехаясь, пошел к двери.

— Впрочем, мне наплевать... Там будет видно... Надо же что-нибудь делать!

— От судьбы не уйдешь, — поучительно произнесла в заключение кассирша.

Жак сжимал кулаки. Молчаливый, напряженный, он с изумлением всматривался в лица: он думал найти на них бурный протест, следы возмущения, Напрасно. Все эти люди были, по-видимому, захвачены событиями так неожиданно, что они ощущали себя выбитыми из колеи, ошеломленными, а быть может, под маской мордочества, и напуганными, но покорившимися или готовыми покориться.

Он встал, взял свой саквояж и поспешно вышел. Он испытывал сейчас особенное желание, даже потребность, повидаться с Мурланом.

Засунув руки в карманы черной блузы, старик типограф расхаживал по трем комнатам своей квартирки в нижнем этаже, все двери которых были открыты. Он был один. Не прерывая своей прогулки, он крикнул: «Войдите!» и обернулся лишь тогда, когда гость закрыл за собой дверь.

— Это ты, мальчик?

— Здравствуйте. Нельзя ли мне оставить у вас это? — сказал Жак, поднимая свой саквояж. — Немного белья без меток. Никаких документов, никаких имен.

Мурлан утвердительно кивнул головой. Его взгляд оставался гневным и жестким.

— Чего ради ты еще торчишь здесь? — спросил он резко.

Жак посмотрел на него, озадаченный.

— Чего ты ждешь, почему не убираешься восвояси? Разве вы не чувствуете, что на этот раз все кончено, дурачье?

— И это говорите вы? Вы, Мурлан?

— Да, я, — ответил он своим замогильным голосом.

Он стряхнул хлебные крошки, застрявшие у него в бороде, снова засунул руки в карманы и опять зашагал в зад и вперед.

Жак никогда еще не видел у него такого расстроенного лица, таких потухших глаз. Надо было подождать, пока вспышка пройдет. Он без приглашения взял стул и сел.

Мурлан два или три раза обежал все комнаты, словно зверь в клетке, потом остановился перед Жаком.

— На что ты рассчитываешь сейчас? — крикнул он. — На твои пресловутые «рабочие массы»? На всеобщую забастовку?

— Да! — твердо произнес Жак.

Старый типограф, так похожий на Христа, судорожно пожал плечами:

— Всеобщая забастовка? Как бы не так! Кто это говорит о ней сегодня? Кто еще смеет о ней думать?

— Я!

— Ты? Так ты не видишь, что это жалкое стадо, которое хотелось бы спасти даже против его воли, в подавляющем большинстве состоит из забияк, задир, головорезов, всегда готовых принять вызовы?.. Из людей, которые первыми схватятся за винтовки, как только их уверят в том, что хоть один немец перешел границу?.. Если взять каждого в отдельности — это обычно славный малый, который говорит, что он никому не хочет зла, и сам в это верит. Но в нем есть еще цепкие залежи хищных, разрушительных инстинктов — инстинктов, которых он стыдится и которые скрывает, но которые, несмотря ни на что, кипят в нем, и он всегда рад их удовлетворить, как только ему предоставляют для этого удобный случай... Человек есть человек, ничего с этим не поделаешь!.. Итак, если нельзя рассчитывать на отдельные личности, на кого же ты рассчитываешь? На вождей? На каких вождей? На вождей европейского пролетариата? Или на наших? На наших милых избранников, на социалистических депутатов? Ты, значит, не видишь, что они делают? Они снова и снова кричат о своем доверии к Пуанкаре! Еще немного — и они заранее подпишутся под объявлением войны, которое будет исходить от него!

Он круто повернулся и еще раз обошел всю комнату.

— Нет, — проговорил Жак. — У нас есть Жоресы... У других — Вандервельде, Гаазе...

— Ах, так ты рассчитываешь на великих вождей? — продолжал Мурлан, остановившись прямо перед Жаком. — Но ведь ты их видел в Брюсселе, и видел близко! Неужели же ты думаешь, что если бы эти ничтожества были людьми — людьми, которые по-настоящему решились защищать мир революционными актами, им не удалось бы договориться между собой и дать европейскому социализму единый лозунг? Нет! Они добились популярности, предавая анафеме правительства! А потом? А потом они побежали в почтовые отделения и стали отправлять умоляющие телеграммы кайзеру, царю, Пуанкаре, президенту Соединенных Штатов, папе! Да, папе, чтобы он пригрозил Францу-Иосифу преисподней!.. А что делает твой Жорес? Он каждое утро, как презренный трус, отправляется к Вивиани и тянет его за рукав, заклиная своего «дорогого министра» кричать погромче, чтобы напугать Россию!.. Нет! Рабочий класс обманут собственными вождями! Вместо того чтобы с решительностью возглавить движение, направленное против угрозы войны, они предоставили полную свободу действия националистам,

они отказались от возможности революционного восстания, они отдали пролетариат во власть торжествующего капитализма!..

Он отошел шага на два, но внезапно круто повернулся назад.

— И к тому же никто не разубедит меня в том, что твой Жорес просто позирует перед зрителями. В глубине души он знает не хуже меня, что партия разыграна! Что все потеряно! Что завтра Россия и Германия кинутся в драку! И что Пуанкаре хладнокровно согласится на войну!.. Во-первых, потому, что он захочет выполнить преступные обязательства, которые взял на себя в Петербурге, а во-вторых... — Он замолчал, подошел к двери, осторожно приоткрыл ее и впустил серую кошку с тремя котятами. — Иди, иди, киска... А во-вторых, потому, что ему до смерти хочется быть тем, кто попытается вернуть Франции Эльзас-Лотарингию!

Он подошел к книжным полкам, занимавшим простенок между окнами и заваленным книгами и брошюрами. Взяв какую-то книгу, он несколько раз похлопал по ней ладонью, словно трепал по шее лошадь.

— Видишь ли, мальчик, — сказал он мягче, ставя книгу на место, — я не хочу изображать из себя провидца, но я отнюдь не ошибся, когда после их Базельского конгресса написал эту книжину, чтобы доказать им, что их Интернационал основан на фальши. Тогда Жорес обругал меня. Меня обругали все. Сейчас факты сами говорят за себя!.. Это было безумием — хотеть «примирить» интернационализм социалистический, наш, настоящий, с националистическими силами, которые везде еще стоят у власти... Желать бороться и надеяться победить, не выходя из рамок законности, довольствуясь «нажимом» на правительства и сводя борьбу к красивым парламентским речам, — было бессмыслицей из бессмыслиц!.. Если ты хочешь знать, девять десятых из наших знаменитых революционных вождей, в сущности говоря, никогда не смогут решиться действовать вне рамок государства! А в таком случае... понятна тебе их логика? Они не сумели, они не захотели вовремя низвергнуть это государство, чтобы поставить на его место социалистическую республику, и теперь им остается только одно: защищать его остирем своих штыков, как только первый прусский улан покажется на границе! К чему они и готовятся втихомолку! И подумать только, что придется увидеть это! — продолжал он с яростью, снова круто повернувшись и быстро зашагав к противоположному концу комнаты. — Это будет всеобщее отступничество — уверяю тебя. Отступничество в стиле Гюстава Эрве! Отступничество всех вождей, от первого до последнего! Ты читал газеты? Отечество в опасности! Готовьтесь! Сабли наголо! Трам-тарарам! Весь этот бум готовит великую резню!.. Не пройдет недели, как во Франции, а может быть, и во всей Европе не найдется и дюжины социалистов чистой воды: повсюду будут одни только социал-патриоты!

Он быстро подошел к Жаку и положил ему на плечо свою жилистую руку:

— Вот почему, мальчик, я и говорю тебе, и ты можешь поверить Мурлану: утекай!.. Не жди! Возвращайся в Швейцарию! Там, может быть, еще есть работа для таких ребят, как ты. Здесь же дело пропавшее, да, пропавшее!

Жак вышел от Мурлана с тягостным чувством, которое не в силах был побороть. Где искать поддержки?

Он побежал в «Humanité».

Но Стефани и Галло были на совещании у патрона. Кадьё, с которым Жак столкнулся в дверях, успел крикнуть ему на бегу, что Жорес только что был на приеме у двух членов правительства — у Мальви и Абеля Ферри — и утверждает, что отчаяваться еще не следует.

Едва успев расстаться с ним, Жак встретил Пажеса, молодого сотрудника Галло; этот был настроен весьма пессимистически. Военные приготовления в России, по-видимому, усилились: со всех сторон приходили данные, подтверждавшие предположение о том, что накануне царь секретно подписал окончательный указ — указ о всеобщей мобилизации.

В кафе «Круассан», куда Жак зашел только на минуту, он не заметил никого из знакомых, кроме тетки Юри, которая сидела в углу зала и, казалось, председательствовала на маленьком женском конгрессе. Взгромоздясь на обитую kleenкой скамью, чересчур высокую для ее коротких ножек, без шляпы, — пряди седых волос словно венцом обрамляли лицо старой фанатички, — она жестикулировала и ораторствовала в центре группы женщин, которых собрала здесь, как видно, затем, чтобы их поучать. Жак притворился, что не заметил ее, и скрылся.

На улице Сантье, в кафе «Прогресс» уже собралось несколько человек. Они сидели за столиками в нас<sup>к</sup>возь прокуренной комнате нижнего этажа и обсуждали новости дня. Это были: Рабб, Жюмлен, Берте и один приезжий, житель Нанси, секретарь федерации Мерты и Мозеля; он прибыл в Париж утром и привез новости из восточных департаментов.

Один германский социалист, с которым он ехал вместе, утверждал, что накануне вечером в Берлине состоялся военный совет. На нем был решен созыв бундесрата.<sup>1</sup> В Германии ожидали «серьезных решений», которые должны были последовать не позже сегодняшнего дня. Мосты через Мозель были заняты германскими войсками. Все висело теперь на волоске. Накануне в окрестностях Люневиля германская легкая кавалерия перешла уже с целью провокации границу и проскаакала несколько сот метров по французской территории.

— В Люневиль? — произнес Жак, внезапно вспомнив о Даниэле, о Женни.

<sup>1</sup> Верхняя палата парламента Второй Германской империи (1871—1918 гг.).

Дальнейшее он слушал уже рассеянно. Житель Нанси рассказывал, что вот уже несколько дней, как по всем железнодорожным линиям восточных департаментов идут бесконечные вереницы порожняка, который стягивают к крупным станциям, а затем оставляют про запас под Парижем.

Жак сидел молча, со стесненным сердцем. Перед его глазами стоял реальный образ: Европа, скользящая по роковому склону. Какое чудо могло еще вызвать спасительную перемену, резкий поворот общественного мнения, внезапный и твердый отпор народов?

И вдруг ему захотелось побывать с братом. Он не видел его всю неделю. Сейчас время завтрака, и он, конечно, застанет Антуана дома. «К тому же, — подумал он, — этот визит поможет мне дождаться минуты, когда можно будет идти к Женни».

## LX

— Известно ли вам, господин Жак, что у нас будет война? — спросил Леон. Что это было — насмешка? Тон был глупо-вопросительный, так же как и взгляд круглых выпущенных глаз, но в выражении отвисшей нижней губы притаилось что-то хитрое. Не ожидая ответа, он добавил: — Мне идти на четвертый день. Но я-то всегда был денщиком...

На лестнице раздалось щелканье решетчатой двери лифта.

— Вот и господин Антуан, — сказал Леон. И пошел открывать.

Антуан подталкивал плечом маленького старичка в очках, седого, в альпаговом сюртучке. Жак узнал бывшего секретаря своего отца.

Увидев его, г-н Шаль отшатнулся. Встречая знакомое лицо, он всегда быстро зажимал рукой рот, словно заглушая удивленный крик:

— Ах, это вы?

Антуан с отсутствующим видом пожал руку брата, по-видимому, не удивляясь тому, что застал его здесь.

— Господин Шаль прогуливался по тротуару, ожидая меня... Я уговорил его подняться и позавтракать с нами.

— Один разок в счет не идет, — скромно пробормотал Шаль. Антуан повернулся к слуге.

— Можете подавать.

Они вошли втроем в кабинет, где уже собрались Штудлер, Жуслен и Руа. Груда развернутых газет лежала на письменном столе.

— Я опоздал потому, что после больницы заезжал на Ке д'Орсе, — объяснил Антуан.

Наступило молчание. Все хмуро смотрели на него.

— Ну? — спросил, наконец, Штудлер.

— Плохо... Очень, очень плохо... — лаконически произнес Антуан. Он с унылым видом покачал головой. Затем сказал громче: — Пойдемте к столу.

Яйца всмятку были съедены с мрачным усердием, причем никто не произнес ни слова.

— Судя по тому, что говорит Рюмель, — внезапно заявил Антуан, не поднимая глаз от тарелки, — у нас есть сейчас серьезные основания надеяться, что Англия пойдет с нами. Во всяком случае — не против нас.

— Если так, — спросил Штудлер, — почему же она не поторопится сказать об этом? Это могло бы еще спасти все!

Жак не удержался:

— Почему? Да потому, что совсем не так уж очевидно, что у Англии есть желание спасти все... Англия — это, несомненно, единственная страна, у которой в лотерее мировой войны есть твердые шансы на выигрыш.

— Ты ошибаешься, — нервно сказал Антуан. — По-видимому, в высших сферах Лондона никто не хочет войны.

Справа от Антуана Шаль слушал, примостившись на краешке стула. Где бы он ни сидел, у него всегда был такой вид, словно он приткнулся на страфонтене. Он поворачивал голову то вправо, то влево и с тревожным вниманием следил за тем, кто говорил в данную минуту; он даже забывал есть. Переполох, происходивший в мире, выходил за пределы его понимания и сопротивляемости его нервной системы. Вот уже третий день, как болезненный страх, все время раздуваемый чтением газет и разговорами, обрушился на беднягу, и единственное, что привело его сюда сегодня утром, — это надежда услышать что-нибудь успокоительное.

Антуан заговорил поучительным тоном, который звучал фальшиво:

— Британский кабинет состоит сейчас из людей, искренне преданных делу мира. К тому же, это, пожалуй, наилучшее по составу правительство во всей Европе. Грей — человек дальновидный; он уже восемь лет управляет министерством иностранных дел. Асквит и Черчилль<sup>1</sup> — люди рассудительные и честные. Холден исключительно деятелен и хорошо знает Европу. Что касается Ллойд-Джорджа, то его пацифизм — общепризнанный факт; он всегда враждебно относился к вооружению.

— Отборные люди, — подтвердил Шаль таким тоном, словно его мнение на этот счет установилось уже давно.

Жак, готовый к спору, молча поглядывал на брата и продолжал есть.

— Руководимая такими людьми, Англия не испытывает никакого желания ввязываться в эту авантюру, — заключил Антуан.

Штудлер снова вмешался.

— Тогда почему же Грей уже целые десять дней выбивается из сил, замазывая истинное положение вещей разными дипломатическими трюками, в то время как единственным верным средством за-

<sup>1</sup> В 1911—1917 гг. Уинстон Черчилль был первым лордом адмиралтейства (морским министром).

ставить центральные державы отступить было бы предупредить их, что в случае войны Англия выступит против них?

— Так вот, кажется, именно это самое и сделал Грей вчера в беседе с германским послом.

— И что это дало?

— Ничего. Пока что ничего... Впрочем, на Ке д'Орсе боятся, что это заявление слишком запоздало, чтобы оказать какое-либо действие.

— Само собой разумеется, — проворчал Штудлер. — К чему было столько ждать?

— Будьте уверены, что это не случайно, — вставил Жак. — Из всех изворотливых политиков, которые делят между собой власть в Европе, Грей, кажется, самый...

— Рюмель говорит совсем другое, — сердито прервал его Антуан. — Рюмель три года был атташе в Лондоне; он часто сталкивался с Греем и, следовательно, говорит теперь о нем, располагая определенными данными. И право же, говорит очень умно.

— В этом вся суть, — прошептал Шаль тихо, как бы про себя.

Антуан замолчал. У него не было никакого желания обсуждать то, что он узнал в министерстве или даже просто рассказывать об этом. Он очень устал. Накануне он провел весь вечер со Штудлером, разбирай папки с историями болезней: на всякий случай он хотел оставить свои архивы в порядке. Затем, после ухода Халифа, он поднялся к себе в кабинет, чтобы сжечь письма и разобрать, привести в порядок личные бумаги. Он спал два часа, на рассвете. Как только он проснулся, чтение газет привело его в состояние лихорадочного беспокойства, которое в течение утра только усилилось под влиянием разговоров, всеобщего пессимизма и растерянности. На приеме у него было сегодня утром особенно много больных; из больницы он вышел совершенно измученный; и, в довершение всего, этот разговор с Рюмелем, отнявший у него последнюю бодрость. На этот раз его душевное равновесие было поколеблено. Буря пошатнула основы, на которых он с такой точностью построил свою жизнь: науку, разум. Внезапно ему открылось бессилие ума и бесполезность, перед лицом этого множества разнозданных инстинктов, того положительного, на что всегда опиралось его существование труженика, — бесполезность чувства меры, рассудительности, мудрости и опыта, стремления к справедливости... Ему хотелось бы побить одному, иметь возможность подумать, начать борьбу с упадком духа, овладеть собой, подготовиться к тому, чтобы stoически встретить неизбежное. Но все смотрели на него и, видимо, ждали его слов. Он нахмурил брови и, собрав всю свою энергию, продолжал:

— Очевидно, этот Грей — тип добросовестного англичанина, чуточку недоверчивого, чуточку боязливого, человека не слишком широкого кругозора, но вполне лояльного и в мыслях и в действиях.

Полная противоположность тому, что думаешь о нем ты, — сказал он, обращаясь к брату.

— Я сужу о нем по его политике, — ответил Жак.

— Рюмель превосходно объясняет его политику! Но это сложно, и, разумеется, я не припомню всего, что он мне говорил!.. — Антуан вздохнул и провел рукой по лбу. — Прежде всего у Грея связаны руки, и он не может громко заявить о прочном союзе с Францией. В кабинете есть люди, склонные ориентироваться на Германию, например Холден. Что же касается английского народа, то он до самых последних дней был больше озабочен ирландскими осложнениями, чем последствиями сараевского убийства; и он категорически отверг бы мысль идти драться на континент для защиты Сербии... Так что, если бы даже у Грея и было пополнение раньше и с большей прямотой втянуть Англию в конфликт, он рисковал бы не встретить поддержки ни у своих коллег, ни у своего парламента, ни у своей страны.

Он налил себе стакан вина, что редко делал за завтраком, и выпил его залпом.

— Это еще не все, — продолжал он. — Вопрос этот, как всегда, относится также и к области психологии. По-видимому, Грей с первого дня отлично сознавал, что мир и война целиком зависят от Англии. Но он отдавал себе отчет также и в том, что оружие, находящееся в его руках, обоюдоостро. Представьте себе, что английское правительство неделю назад громогласно заявило бы Франции и России о том, что окажет им военную поддержку...

— ...Берлин немедленно переменил бы тон, — вмешался Штудлер. — Германия забила бы отбой, заставила бы Австрию втянуть свои когти, и все кончилось бы полюбовным соглашением — после торга между министерствами иностранных дел.

— Это возможно, но это еще не факт. И, по-видимому, у Грея были веские основания опасаться противоположного: если бы Россия получила достоверные сведения о том, что она может рассчитывать не только на французские деньги и армию, но и на флот и деньги англичан, то искушение начать партию с такими козырями, без сомнения, стало бы у нее непреодолимым... Под этим углом зрения, — продолжал Антуан, посматривая на Жака, — поведение Грея выглядит совсем по-иному. Начинаешь понимать, что именно безусловное желание спасти мир и заставило его пойти на такую двойную игру. Он сказал Франции: «Будьте осторожны, воздержитесь на Россию; она может вовлечь вас в конфликт, в котором вы не должны рассчитывать на нас, — помните это». И в то же время он говорил Германии: «Берегитесь. Мы не одобляем вашей непримиримости. Не забывайте, что наш флот в Северном море мобилизован и что мы никому не обещали оставаться нейтральными».

Штудлер пожал плечами.

— При всей своей добросовестности твой Грей, выходит, очень наивный человек. Потому что Россия через свою разведывательную службу не могла не знать об угрозах Лондона Берлину, что есте-

ственным образом побуждало ее надеяться на поддержку Англии. А в это самое время германская разведка информировала Берлин о малоутешительных речах, обращенных Англией к Франции и России... Таким образом, Германия не имела оснований принимать английскую угрозу всерьез... И в конечном итоге эта двойная игра, без сомнения, оказалась на руку войне!

Кстати сказать, почти к тому же выводу пришел и Рюмель, но Антуан не упомянул об этом ни одним словом. Он тщательно отделял известия общего характера, которые считал возможным, не совершая нескромности, передавать своим сотрудникам, от всего того, что в непринужденной беседе дипломата казалось ему личными взглядами и конфиденциальными сообщениями последнего. Присутствие Жака побуждало его к еще большей осмотрительности, чем обычно. Поэтому он не собирался рассказывать о том, что в высших сферах уже зонтируют почву с целью разузнать, не наступил ли подходящий момент спешно обратиться с прямым призывом о помощи к Великобритании, в форме хотя бы личного письма президента Республики к королю Георгу. По этой же причине он поостерегся даже намекнуть о некоем определенном событии, которое, по словам Рюмеля, заставило Грея бросить, наконец, на весы британский меч во время его вчерашней беседы с германским послом. Видимо, позавчера, 29 июля, немцы совершили грубую тактическую ошибку: «Обещайте нам английский нейтралитет, — вот что, в кратких словах, будто бы сказали они в Лондоне, — и мы обяжемся после нашей победы соблюдать территориальную неприкосновенность Франции; мы отберем у нее только колонии». Эти заносчивые слова, еще усугубленные отказом взять на себя обязательство не нарушать, в случае конфликта, бельгийский нейтралитет, вызвали, по словам Рюмеля, негодование Foreign Office, повлекли за собой франкофильский поворот в умах всех членов кабинета и побудили английское правительство более открыто перейти на франко-русскую сторону.

Жак выслушал отчет Антуана, не противореча ему. Но он не сдавался.

— За всем этим, — сказал он, — Рюмель, как видно, забывает о сущности вопроса.

— А именно?

— А именно о том, что десять лет назад Великобритания была еще безраздельной владычицей морей и что если она не найдет средства остановить любой ценой все ускоряющееся развитие германского флота, то Англия скоро станет всего лишь второстепенной морской державой. Вот истины, которые общеизвестны, но которые тем не менее лучше объясняют положение вещей, нежели сомнения и психологические колебания Грея.

— Да, — поддержал его Штудлер. — А какую роль играет в английской политике история с багдадской железной дорогой? С захватом Германией линии, которая соединяет Константинополь

с Персидским заливом, то есть ведет прямо в Индию и угрожает Суэцкому каналу серьезнейшей конкуренцией?

— Что вы хотите доказать всем этим? — небрежно спросил юный Руа.

— Что? — как эхо повторил Шаль.

— Что у Англии есть важные причины желать войны, которая ограничила бы могущество Германии, — ответил Жак. — И это, по моему, целиком освещает вопрос.

— У Англии уже были неприятности с Наполеоном Первым, — лукаво заметил Шаль. И добавил с игривой усмешкой: — Правда, что в военном деле Наполеон Первый был таким стратегом, каких никогда не будет в Германии!

Наступило короткое молчание; во всех взглядах промелькнул насмешливый, быстро погашенный огонек.

— А вы не думаете, что, несмотря на все это, можно верить в пацифизм британских правителей? — спросил Жака Жуслен.

— Нет. Когда кайзер заявил: «Наше будущее на морях», он бросил перчатку Англии. И мне кажется, что в данный момент Англия поднимает эту перчатку. Она питает надежду, которую еще может сейчас питать, — надежду раздавить единственный народ Европы, который ей мешает. Я думаю, что Грей, отлично осведомленный о намерениях России, отнюдь не заблуждался, повторяя свои предложения о посредничестве, относительно их действенности; я думаю, что он не переставал умышленно вводить ее в заблуждение; я думаю, что в действительности английское правительство считает в конце концов удачей все то, что может сделать неизбежной эту войну, которая ему нужна, — которая ему нужна, но инициативу которой оно не решалось и, может быть, никогда не решилось бы взять на себя.

Он взглянул на брата. Антуан чистил яблоко и, казалось, перестал интересоваться спором.

— Еще в тысяча девятьсот одиннадцатом году, — заметил Штудлер, поворачиваясь к Мануэлю Руа, — Англия сделала все возможное, чтобы вероломно обострить франко-германские отношения из-за Марокко. Если бы не Кайо...

Глаза Жака остановились на Руа. Тот сидел в конце длинного стола. При имени Кайо он внезапно поднял голову, и его белые зубы блеснули.

В эту минуту Жуслен, который некоторое время сидел задумавшись и рассеянно чистил кончиком ножа и вилкой свежий миндаль, лежавший перед ним на тарелке, оставил это занятие и обвел весь стол своим ласковым взглядом.

— Знаете, как я себе представляю ту историю, которую создадут будущие историки, рассказывая о переживаемых нами событиях? — спросил он. — Они скажут: «В один летний день, в июне тысяча девятьсот четырнадцатого года, в центре Европы внезапно вспыхнул пожар. Очагом его являлась Австрия. Костер был заботливо подготовлен в Вене...»

— ...Но искра залетела из Сербии! — прервал его Штудлер. — Ее принес резкий, коварный северо-восточный ветер, который дул прямо из Петербурга!

— И русские, — продолжал Жуслен, — начали немедленно раздувать огонь!

— ...с непостижимого согласия Франции... — заметил Жак. — И они стали дружно бросать в костер множество мелких вязанок хвороста, которые давно уже держали наготове.

— А Германия? — спросил Жуслен. И так как никто не ответил, он продолжал: — Германия в это время холодно смотрела, как вздымается пламя и разлетаются искры... Что это было — двуличие?

— Разумеется! — вскричал Штудлер.

— Нет! Быть может, это была глупость, — вмешался Жак. — Глупость и спесь! Потому что она безрассудно чванилась тем, что может в любое время сузить круг огня, расчистить место вокруг пожарища!

— ...и вытащить оттуда каштаны, — сказал Руа.

— Таких вещей не должно было бы быть на свете, — грустно прошептал г-н Шаль.

Жуслен продолжал:

— Остается Англия...

— Англия! — вскричал Жак. — На мой взгляд, это очень просто: она с самого начала располагала значительным запасом воды, вполне достаточным для того, чтобы потушить пожар, и — обстоятельство, отягчающее вину, — она ясно видела, как огонь вспыхнул и как он начал распространяться. Однако она ограничилась тем, что крикнула: «На помощь!» и воздержалась от того, чтобы открыть свои шлюзы... Вот почему, несмотря на роль миротворца, которую она постарается приписать себе в будущем, она все же подвергается большому риску предстать перед судом потомства как тайная сообщница поджигателей!..

Антуан, уткнувшись в тарелку, казалось, не слушал. Халиф взглянул на Жака своими большими влажными глазами.

— Есть пункт, по поводу которого я не могу согласиться с вами, — это позиция Германии! — Голос его вдруг зазвенел, выдавая снедавшее его тайное волнение. — Я считаю, что Германия хочет войны!

— Еще бы! — бросил Руа. — Германия унаследовала мечту Карла Пятого, мечту Наполеона! Война из-за герцогств,<sup>1</sup> Садова,<sup>2</sup> тысяча восемьсот семидесятый год<sup>3</sup> — все это этапы к завоеванию Европы! И от этапа до этапа интенсивное усиление своего военного могущества, чтобы быстрее достигнуть цели — гегемонии Германии.

<sup>1</sup> Война Пруссии и Австрии против Дании в 1864 г., закончившаяся отторжением от последней герцогств Шлезвиг и Гольштейн.

<sup>2</sup> Решающее сражение в австро-прусской войне 1866 г.

<sup>3</sup> Имеется в виду франко-прусская война 1870—1871 гг.

Штудлер, который с опущенной головой ждал конца этой тирады, снова наклонился к Жаку:

— Да, я верю в циничную преднамеренность политики Германии! Это она из-за кулис с самого начала дергает за веревочку и заставляет действовать Австрию!

Жак хотел заговорить, но Штудлер не дал ему. Халиф, повидимому, был охвачен необычным возбуждением. Он почти выкрикнул:

— Послушайте! Да ведь это бросается в глаза! Разве Австрия, вырождающаяся Австрия, когда-нибудь позволила бы себе, будь она в одиночестве, заговорить этим ультимативным тоном? И отказать всем объединенным державам в их просьбе предоставить Сербии хоть какую-нибудь отсрочку для ответа? И отклонить этот ответ, который был таким примирительным, даже не дав себе времени обсудить его? Конечно, нет! И если предположить, что у Германии не было никаких задних мыслей насчет войны, то как объяснить ее систематически неприязненное отношение ко всем предложениюм Англии, быть может неискренним, но во всяком случае дипломатически приемлемым? Или ее отказ перенести спор на рассмотрение Гаагского третейского суда, как это предложил царь?

— Все это в значительной мере может быть оправдано, — отозвался вставший Жак. — Германия были небезызвестны воинственные замыслы русского панславизма. Она всегда держалась того мнения, что вмешательство держав в австро-сербскую скору могло в силу этого повлечь за собой большую опасность, нежели их отказ от вмешательства.

Антуан с живостью возразил брату:

— На Ке д'Орсе никогда не доверяли миролюбивым заверениям Германии. Там давно уже сложилось внутреннее убеждение...

— «Внутреннее убеждение»! — иронически повторил Жак.

— ...что центральные державы заранее решили избегать всего, что могло бы помешать конфликту или хотя бы отсрочить его.

И, чтобы прекратить эту раздражавшую его обывательскую болтовню о политике, Антуан положил салфетку на стол и встал.

Все последовали его примеру.

— Не надо забывать, что Германия сделала несколько попыток к примирению, но ни русское, ни французское правительство не желали принять их во внимание, — сказал Жак Штудлеру, когда они медленно выходили из столовой.

— Притворство! Надо же ей было, несмотря ни на что, немного посчитаться с общественным мнением Европы!

— Однако, — беспристрастно заметил Жуслен, — германский тезис — необходимость карательной экспедиции против Сербии и строгая локализация конфликта — отнюдь не указывал на стремление к европейской войне... И еще меньше — на стремление к войне против нас!

— Не говоря уже о том, — добавил Жак, — что если бы Германия действительно хотела воевать, если у нее было желание раз-

давить Францию, то она не стала бы ждать так долго. Зачем ей было упускать столько случаев, которые представлялись ей в течение пятнадцати лет, — случаев, гораздо более благоприятных, чем нынешний? Почему она не использовала франко-английское столкновение из-за Фашоды<sup>1</sup> в тысяча восемьсот девяносто восьмом году? Русско-японскую войну в тысяча девятьсот пятом году? Боснийский кризис в тысяча девятьсот восьмом? Марокканский — в тысяча девятьсот одиннадцатом?

— Я плюю на все это, — упрямо проворчал Халиф. — Плюю! — повторил он и сунул в карманы сжатые кулаки.

Г-н Шаль, застрявший у дверей, грыз кусок хлеба и все время отходил в сторону, пропуская вперед остальных. Антуан замыкал шествие. Шаль показал ему свой хлеб и подмигнул.

— Мой покойный отец тоже имел эту привычку: во время десерта ему необходима была такая корочка... Так и со мной, господин Антуан. Это мое любимое лакомство. — В его улыбке, как будто извинявшейся за такую снисходительность к собственным слабостям, сквозило тем не менее некоторое тщеславие: он гордился тем, что был обладателем столь необычных вкусов. Г-н Шаль был слишком непосредствен, чтобы быть скромным.

Когда Жак и Жуслен переступили порог кабинета, куда был подан кофе, Штудлер проскользнул между ними, взял их под руки и, наклонившись, продолжал встревоженным, конфиденциальным тоном:

— Я плюю на это, потому что можно доказывать без конца и всему находить причины! Плюю, потому что у всех нас есть потребность считать Германию виновной, считать, что мы одурачены. И каждый день, развертывая газету, я прежде всего ищу в ней — я этого не скрываю — доказательств германского двуличия!

— Но почему же? — спросил Жуслен, остановившись у двери.

Халиф опустил глаза:

— Потому что я хочу иметь силу перенести то, что нам предстоит!.. Потому что, если мы подвернем сомнению виновность Германии, будет слишком трудно выполнять то, что все мы называем «нашим долгом»!

Жак не мог удержаться от горького смеха.

— «Патриотическим» долгом!

— Да! — сказал Штудлер.

— Неужели вы можете еще считаться с этим мнимым долгом, видя то, что нам готовят, прикрываясь этим словом?

<sup>1</sup> В ноябре 1898 г. у селения Фашоды в Египетском Судане столкнулись французский отряд капитана Маршана и авангард англичан, которыми командовал лорд Китченер; столкновение чуть было не привело к войне между Англией и Францией, но французы уступили и ушли из Фашоды.

Халиф передернул плечами, словно стараясь выпутаться из сетей.

— Ах, — продолжал он гневным и в то же время умоляющим тоном, — перестаньте сбивать меня с толку! Ведь все мы знаем, что если, к несчастью, завтра во Франции объявлена будет мобилизация, то, что бы мы об этом ни думали, мы не станем от нее уклоняться.

Жак уже открыл рот, чтобы крикнуть: «А я стану!» — как вдруг заметил, что Антуан, стоя посреди комнаты и обернувшись в его сторону, пристально на него смотрит. Невольно парализованный, Жак уступил неожиданной мольбе, которую прочитал в этом взгляде: он промолчал. Еще раньше, как только Антуан вошел в комнату, Жак был поражен смятением, которое угадал в душе брата, и оно взволновало его до глубины души, — совсем как в ту ночь, когда у изголовья умирающего отца этот старший брат, бывший несокрушимым в глазах младшего, неожиданно разразился рыданиями в его присутствии.

Антуан отвернулся.

— Манюэль, — сказал он, — будьте добры, налейте нам кофе, мой милый.

— И потом, — продолжал Халиф, все более и более воспламеняясь, — я рассуждаю так: «Как знать? Быть может, великая европейская война больше сделает для ускорения победы социализма, чем это могли бы сделать двадцать лет пропаганды в мирное время!»

— Право, не представляю себе, каким это образом, — сказал Жуслен. — Некоторые из ваших доктринеров — я знаю это — проповедуют догму, согласно которой, чтобы начать революцию, нужна война. Но я всегда считал, что это «чисто теоретическое рассуждение», как умилительно выражается папаша Филип. Чтобы рассуждать так, надо не иметь ни малейшего понятия о том, что будет представлять собой современная вооруженная нация, мобилизованный народ! Странная иллюзия — надеяться, что восстание, которое не могли осуществить даже при расхлябанности нашего демократического режима, станет вдруг возможным тогда, когда все революционеры будут загнаны в армию, как в тюрьму, когда они окажутся в полной зависимости от военной диктатуры, имеющей право распорягать жизнью и смертью людей!

Штудлер не слушал. Он пристально смотрел на Жака.

— Война... — произнес он мрачно. — Что ж? Это три или четыре месяца... Но если европейский пролетариат окажется в результате этого испытания более сильным, более закаленным, более спаянным? Если после нее действительно будет покончено с империализмом, с соперничеством вооружений? Если народы создадут, наконец, прочный мир, мир под эгидой Интернационала?

Жак упрямо качал головой.

— Нет! Все это сомнительное прекрасное будущее не нужно мне, если оно придет ценой войны... Все что угодно, только не отречение от разума, от справедливости перед лицом грубой силы

и крови! Все что угодно, только не этот ужас и не эта нелепость!  
Все, все, только не война!

Руа, слушавший его, уронил:

— Все? В таком случае, для нашего спокойствия, давайте сей-час предложим немцам такие департаменты как Мёза, Ардennes, Нор, Па-де-Кале! Почему бы нет! И с удобным выходом к морю!

Жак слегка пожал плечами.

— Это, разумеется, не понравилось бы некоторым промышленникам севера. Но неужели вы действительно думаете, что это внесло бы существенную перемену в нищенское существование большинства рабочих и шахтеров? И неужели вам не ясно, что большинство из них, если бы их спросить, предпочло бы это славной смерти на поле битвы?.. — Его лицо оставалось мужественным и серьезным. — Я знаю, что вы смотрите на войну и на мир как на естественно чередующиеся этапы в жизни народов... Это чудовищно!.. Это жестокое чередование надо прекратить раз и навсегда! Надо, чтобы человечество, освободившись от этого кровавого ритма, могло свободно направлять свою энергию на создание лучшего общества! Война не разрешает ни одной из насущных проблем в жизни человека! Она только ухудшает бедственное положение рабочего! Пущечное мясо во время войны, раб, угнетаемый еще более жестоко после нее, — таков его жребий! — Глухим голосом он добавил: — Для меня это просто: я не вижу ничего — решительно ничего! — что могло бы быть хуже для народа, чем бедствия войны!

— Очень просто! — холодно произнес Руа. — И даже немного... упрощенно, если хотите! Как будто народ ничего не выигрывает на войне, которая заканчивается победой!

— Ничего! Никогда!

Раздался голос Антуана, отчетливый, резкий:

— Это не выдерживает критики!

Жак вздрогнул и повернул голову. До этого Антуан сидел за письменным столом и, опустив глаза, был, казалось, занят тем, что распечатывал письма. В действительности же он не пропустил ни одного слова из того, что говорилось в нескольких метрах от него. Не поднимаясь с места, не глядя на брата, он продолжал:

— Не выдерживает никакой критики с точки зрения истории! Вся история... начиная с Жанны д'Арк...

— Гм! — насмешливо вставил Жуслен. — Кто знает? Может быть, не будь Орлеанской девы, Англия и Франция слились бы в единую нацию... К немалому бесчестию Карла Седьмого, согласен. Но, пожалуй, и к немалой выгоде обеих наций, которые благодаря этому избежали бы многих страданий...

Антуан пожал плечами.

— Будьте серьезны, Жуслен. Не станете же вы утверждать, что Германия, например, ничего не выиграла ни от Садовы, ни от Седана?

— Германия! — немедленно отпарировал Жак. — Немецкая нация! Совокупность!.. Но народ? Но немец, человек из немецкого народа, — что выиграл он?

Руа выпрямился.

— А если к пасхе тысяча девятьсот пятнадцатого года, или даже раньше, победоносная Франция отвоюет Эльзас-Лотарингию, расширит свою территорию до естественной границы — Рейна, присоединит к своим владениям угольные богатства Саара, увеличит свое колониальное могущество за счет германских владений в Африке, если силой своего оружия она превратится в самую могущественную державу континента, — можно ли будет утверждать тогда, что французский народ ничего не выиграл, пожертвовав своими солдатами?

Он добродушно рассмеялся, затем, считая, как видно, что вопрос исчерпан, вынул портсигар, взял стул, перевернул его и уселся верхом.

— Все это не так просто... Не так просто... — задумчиво прошептал возле Жака Жуслен.

— Нет, — сказал Жак вполголоса, обращаясь к нему, — я не могу принять насилие, даже если оно направлено против насилия! Я не хочу, чтобы в моем рассудке осталась хоть одна щель, в которую могло бы проскользнуть пополнение к насилию!.. Я отказываюсь от всякой войны, независимо от того, как она будет окрещена — «справедливой» или «несправедливой»! От всякой войны, откуда бы она ни исходила и чем бы она ни была вызвана!

Его душило волнение. Он замолчал. «Даже от гражданской войны!» — подумал он, вспомнив свои страстные споры с революционерами, готовыми на все, например с Митхергом. («Не разнуданной ненависти и не убийству, — говорил им Жак, — хочу я быть обязанным за торжество идеи братства — идеи, которой я посвятил свою жизнь...»)

## LXI

— Не так просто... — повторил Жуслен, окидывая всех тяжелым взглядом.

Он сделал паузу и заговорил уже другим тоном, словно собирая убегавшие мысли:

— У нас, врачей, есть хотя бы одно преимущество — нас призывают не для того, чтобы заставить играть кровавую роль... Нас мобилизуют не для того, чтобы убивать, а для того, чтобы лечить...

— Да, да... — живо откликнулся Штудлер, и его влажные глаза с благодарностью устремились на Жуслена.

— А если бы вы не были врачами? — с каким-то задорным любопытством спросил Руа, переводя внимательный взгляд с одного на другого. (Все знали, что, имея дело с военными властями, он никогда не пускал в ход своего диплома, что во время пребывания в

армии он, после короткого стажа в лазарете, добился перевода обратно в воинскую часть и теперь числился младшим лейтенантом запаса в пехотном полку.)

— Итак, милый Манюэль, — вскричал Антуан, — вы решительно не хотите дать нам кофе!

Казалось, он искал любого предлога, чтобы прекратить спор и рассеять группу спорщиков.

— Сейчас, сейчас, патрон, — ответил молодой человек. И он вскочил, по-спортивному перекинув ногу через спинку стула.

— Исаак! — позвал Антуан.

Штудлер подошел. Антуан протянул ему конверт.

— Посмотри, филадельфийский институт, наконец, решился ответить... — И по привычке добавил: — Приложить к делу.

Штудлер с удивлением посмотрел на него и не взял письма. Антуан криво усмехнулся и бросил конверт в корзину.

Теперь только Жуслен и Жак продолжали стоять в углу просторной комнаты.

— Врач он или не врач, — сказал Жак, не глядя в сторону брата, но голосом более громким, чем если бы он обращался только к своему собеседнику, — врач он или не врач, но каждый мобилизованный, который является на призывной пункт, поддерживает таким образом националистическую политику и соглашается на войну. По-моему, вопрос остается одинаковым для всех: достаточно ли распоряжения правительства, чтобы ты согласился принять участие в этой войне?.. Если бы даже я и не был... тем, что я есть, — продолжал он, наклоняясь к Жуслену, — если бы даже я был покорным гражданином; довольным установлениями своей страны, я не допустил бы, чтобы какое бы то ни было соображение государственной пользы могло заставить меня нарушить мой моральный долг. Государство, которое присвоило себе право насиливать совесть тех, кем оно управляет, не может рассчитывать на их содействие. И общество, которое не отдает себе отчета в основном — в моральной ценности отдельной личности, — не заслуживает ничего, кроме презрения и протеста!

Жуслен покачал головой.

— Я был яростным дрейфусаром, — сказал он вместо ответа.

Антуан, который, казалось, был чем-то занят за письменным столом, круто повернулся.

— Вопрос поставлен неверно, — произнес он резко. Не переставая говорить, он встал и, глядя на брата, вышел один на середину комнаты. — Демократическое правительство, каким является наше правительство, — пусть даже его политика и оспаривается оппозиционным меньшинством, — стоит у власти только потому, что оно законно представляет волю большинства. Вот этой-то коллективной воле нации и подчиняется мобилизованный, когда он идет на при-

зывной пункт, — независимо от его личных возврений на политику правительства, стоящего у власти!

— Ты ссылаешься на большинство! — сказал Штудлер. — Но ведь большинство граждан, чтобы не сказать — все без исключения, — хочет сейчас, чтобы войны не было.

Жак заговорил снова.

— Во имя чего, — спросил он, неловко избегая прямо обращаться к брату и стараясь все время смотреть на Жуслена, — во имя чего станет это большинство жертвовать продуманными, законными принципами и ставить свою покорность гражданина выше самых священных своих убеждений?

— Во имя чего? — вскричал Руа, внезапно выпрямившись, словно он получил пощечину.

— Чего? — как эхо, отозвался голос г-на Шаля.

— Во имя общественного договора, — твердо произнес Антуан.

Руа посмотрел на Жака, потом на Штудлера, точно вызывая их на спор. Затем он пожал плечами, круто повернулся, быстро подошел к креслу, стоявшему далеко, в амбразуре одного из окон, и уселся спиной к говорившим.

Антуан, опустив глаза, нервно помешивал ложечкой в чашке и, казалось, ушел в себя.

Наступило молчание, которое нарушил Жуслен.

— Я очень хорошо вас понимаю, патрон, — сказал он мягко, — и, пожалуй, в итоге думаю то же, что и вы... Для нас, для нашего поколения, поколения зрелых людей, современное общество, несмотря на его недостатки, это все же реальность. Это готовый и относительно прочный фундамент, построенный предыдущими поколениями и оставленный ими нам, фундамент, на котором и мы в свою очередь нашли свое равновесие... Я тоже отдаю себе в этом отчет, и очень ясный.

— Вот именно, — произнес Антуан. Не поднимая головы, он продолжал вертеть ложку. — Каждый из нас в отдельности — существо слабое, одинокое, беспомощное. Нашей силой — во всяком случае большей частью этой силы, возможностью плодотворно применять эту силу — мы обязаны социальной группировке, которая нас объединяет, которая приводит в систему наши индивидуальные энергии. И при современном состоянии мира это для нас не миф. Это нечто определенное, ограниченное в пространстве. И это называется — Франция...

Он говорил медленно, грустным, но твердым тоном, словно все это было давно продумано им и он рад был слушаю высказаться.

— Все мы — члены одного национального сообщества, и на практике все мы ему подчиняемся. Между нами и этим сообществом, которое позволяет нам быть тем, что мы есть, жить почти в полной безопасности и устраивать в его рамках нашу жизнь — жизнь цивилизованных людей, — между нами и им уже тысячелетия существует общепризнанная связь, договор — договор, кото-

рый обязывает нас всех! Тут не может быть вопроса о выборе, это непреложный факт... До тех пор, пока люди будут жить в обществе, отдельные личности не смогут, мне кажется, по собственной прихоти считать себя свободными от своих обязанностей по отношению к обществу, которое их охраняет и благами которого они пользуются.

— Не все! — отрезал Штудлер.

Антуан окинул его быстрым взглядом:

— Все! Быть может, в неравной степени, но все! И ты и я, и пролетарий и буржуа, и офицант и метрдотель! Поскольку мы родились членами этого сообщества, все мы заняли в нем место, из которого каждый из нас ежедневно извлекает выгоду. Выгоду, требующую взамен соблюдения общественного договора. И одно из первых условий этого договора требует от нас соблюдения законов сообщества и подчинения им даже в том случае, если, в результате наших свободных индивидуальных рассуждений, эти законы порой и кажутся нам несправедливыми. Отбросить эти обязательства — значило бы подорвать фундамент учреждений, которые делают такое национальное сообщество, как Франция, устойчивым, живым организмом. Это значило бы расшатать общественное здание.

— Да! — вполголоса произнес Жак.

— И больше того, — продолжал Антуан гневным тоном, — это значило бы поступать безрассудно: это значило бы действовать против истинных интересов индивидуума, потому что беспорядок, который явился бы следствием этого анархического бунта, имел бы для индивидуума бесконечно более злосчастные последствия, нежели его подчинение законам, — даже если эти законы имеют недостатки.

— Как знать! — с живостью возразил Штудлер.

Антуан снова бросил взгляд на Халифа и на этот раз сделал полшага в его сторону.

— Разве нам, как гражданам, не приходится неоднократно подчиняться законам, которые мы не одобляем, как отдельные личности? Впрочем, общество разрешает нам вступить с ним в борьбу: свобода мысли и печати еще существует во Франции! У нас есть даже легальное оружие для борьбы — избирательный бюллетень.

— Есть о чем говорить! — возразил Штудлер. — Чистейшее надувательство — вот что такое во Франции твое всеобщее избирательное право! На сорок миллионов французов нет и двенадцати миллионов избирателей! Достаточно шести миллионов плюс один голос — половины всех голосующих, чтобы образовать то, что имеют наглость называть большинством! Итак, мы имеем тридцать четыре миллиона дураков, покорных воле шести миллионов лиц, которые чаще всего голосуют ты и сам знаешь как: вслепую, под влиянием рассказней в кабачках! Нет, нет, француз не имеет фактически никакой политической власти. Имеет ли он возможность изменять установленный государственный строй? Отвергать или

хотя бы просто обсуждать новые законы, которые ему навязывают? Его совета не спрашивают даже тогда, когда заключают от его имени союзы, которые могут вовлечь его в столкновения, где он сложит свою голову! Вот что называется во Франции национальным суверенитетом!

— Прошу прощения, — спокойно поправил его Антуан. — Я не чувствую себя таким уж беспомощным, как ты говоришь. Разумеется, у меня не спрашивают совета по поводу каждого события общественной жизни. Однако, если сообщество придерживается политики, которая мне не нравится, никто не запрещает мне подать голос за тех, кто будет бороться против этой политики в парламенте!.. До тех же пор, пока моему голосу не удастся удалить от власти тех, кто представляет там мнение большинства, и посадить на их место людей, которые изменят государственную политику в соответствии с моими взглядами, мой долг прост. И неоспорим. Я связан общественным договором. Я должен покоряться. Я должен повиноваться.

— *Dura lex — все же lex*,<sup>1</sup> — изрек г-н Шаль посреди всеобщего молчания.

Халиф ходил по комнате взад и вперед.

— Остается узнать одно, — проворчал он, — не явится ли в данном случае революционный беспорядок, который могло бы вызвать неподчинение мобилизованных, значительно меньшим злом, чем...

— ...чем самая короткая война! — закончил Жак.

Руа, находившийся в противоположном углу кабинета, сделал какое-то движение, и пружины его кресла заскрипели. Но он промолчал.

— Что касается меня, патрон, — тихо сказал Жуслен, — я рассуждаю так же, как и вы: я подчинюсь... И тем не менее я понимаю, что в столь исключительную минуту, накануне такого потрясения, какое угрожает нам, это подчинение, этот долг может явиться для некоторых... неприемлемым, бесчеловечным...

— Напротив, — возразил Антуан. — Чем острее сознает индивидуум всю серьезность события, тем более неумолимым должен ему казаться его долг!

Он сделал паузу и поставил свою чашку обратно на поднос, так и не выпив кофе. Лицо его исказилось, голос дрожал.

— Вот уже несколько дней, как я спрашиваю себя об этом, — признался он вдруг подавленным тоном, невольно заставившим Жака взглянуть на него. Несколько секунд он прижал к векам указательный и большой пальцы, затем поднял голову и бросил в сторону брата странный, быстрый взгляд. Потом заговорил, взвешивая каждое слово:

— Если бы сегодня вечером правительство, избранное большинством, — пусть даже сам я голосовал против него, — если бы

<sup>1</sup> Жестокий закон — все же закон (лат.).

оно объявило мобилизацию, то, что бы я ни думал о войне, принадлежал бы я к оппозиционному меньшинству или не принадлежал, это все равно не дало бы мне права самовольно нарушить договор и уклониться от обязательств, которые одинаковы для всех, решительно для всех!

Жак, не перебивая, выслушал эти слова, предназначенные для него одного. Его не так уж сильно возмутили положения, выставленные Антуаном; он был гораздо больше и против своей воли взволнован задушевной, доверчивой интонацией его голоса, который дрожал, произнося все эти догматические утверждения. К тому же, как ни противоположны были взгляды Антуана его собственным, он не мог не подумать, что и в данном случае Антуан был, как всегда, логичен и абсолютно верен себе.

Внезапно, словно услышав чье-то резкое возражение, Антуан скрестил руки и крикнул:

— Право же, черт побери, это было бы слишком удобно — иметь возможность оставаться гражданином только до объявления войны!

Наступившее молчание было особенно тягостным.

Жуслен, чутко улавливавший все оттенки, счел уместным перевести разговор на другую тему. Дружелюбным тоном, словно спор был разрешен и все сошлись во взглядах, он провозгласил вместо заключения:

— В сущности, патрон прав. Общественная жизнь — это своего рода игра. Надо выбрать что-нибудь одно: либо подчиниться правилам, либо отказаться от партии...

— Я выбрал, — вполголоса сказал стоявший возле него Жак.

Жуслен повернулся голову и с секунду смотрел на юношу с невольным вниманием и волнением. Ему показалось, что где-то позади этого живого, обыкновенного человека, он увидел вдруг всю его необыкновенную и трагическую судьбу.

Безбородое лицо Леона просунулось в полуоткрытую дверь.

— Господин Антуан! Вас просят к телефону.

Антуан обернулся и, моргая, посмотрел на слугу, словно его неожиданно разбудили. «Опять она!» — подумал он наконец.

— Хорошо. Иду.

Опустив глаза, нахмурившись, он несколько секунд не двигался с места; потом неторопливо вышел из комнаты.

«Что она скажет мне? — думал он, направляясь в свою рабочую комнату. — Ты больше не любишь меня!.. Ты не любишь меня, как прежде!..» Неизбежно приходит час, когда они говорят вам это, — все!.. Они бы очень удивились, узнав, что именно мы «больше не любим». Не их — себя! Мы не любим человека, которым становимся в их присутствии... Вместо того чтобы говорить: «Ты больше не любишь меня», им бы следовало говорить так: «Ты больше

не любишь того человека, в которого превращаешься, когда мы вместе...»

Он остановился перед аппаратом и, не подумав хорошенько, взял трубку.

— Это ты, Тони?

Он вздрогнул; его охватило чувство, похожее на возмущение. Он стоял здесь, перед этим знакомым, слишком хорошо знакомым голосом, певучим и низким, нарочито нежным, и не мог решиться ответить. Холодная ярость... Вот уже два дня, как он чувствовал, что освободился от нее, от ее чар. Не только освободился — очистился... Да, ему казалось, что он смыл с себя какую-то грязь... Он вспомнил о Симоне. Нет, это конечно, конечно! Причальные канаты обрублены. К чему связывать их снова?

Он осторожно положил трубку на стол и отступил на шаг. Он слышал в аппарате какое-то шуршание, какой-то задыхающийся прерывистый звук, похожий на хрип... Это было жестоко... Тем хуже! Все, что угодно, только не восстанавливать связь...

Но, вместо того чтобы вернуться в кабинет, он запер дверь, выходившую в коридор, подошел к дивану, закурил папиросу и, бросив последний взгляд на стол, где неподвижно лежала замолчавшая трубка — изогнутая, блестящая, похожая на какое-то мертвое пресмыкающееся, — тяжело растянулся среди подушек.

В кабинете, у камина, оставшись вдвоем со Штудлером, г-н Шаль, обрадованный возможностью в свою очередь поговорить и быть выслушанным, пытался в нескладных и туманных выражениях дать собеседнику кое-какие сведения о своей деятельности.

— Новые трюки, выдумки, мелкие изобретения... Всегда что-нибудь новое — таков наш девиз... Что? Я пришло вам бюллетень А. И. — Ассоциации изобретателей... Вы увидите. Мы бремемся уже и за побочные мероприятия... Ничего не поделаешь — война... Придется изменить направление... Защита нации... Каждый в своей сфере... Что? (Он все время произносил это «что» с обеспокоенным видом, словно не рассышав вопроса, требовавшего немедленного ответа.) Изобретатели уже приносят нам весьма сенсационные вещички, — сразу же продолжал он. — Мне не хотелось бы разглашать... но вот это, пожалуй, я могу сказать: портативный фильтр для болотной и дождевой воды... Незаменим во время похода... Все вредные миазмы, разрушающие организм солдата... — У него вырвался удовлетворенный смешок. — И нечто еще более сенсационное: автоматический прицел со спусковым механизмом. Для пехотинцев с плохим зрением... или даже артиллеристов.

Руа, который с минуту прислушивался со своего места к этим бессвязным словам, встал.

— Автоматический? Как это?

— Вот именно, — ответил Шаль, польщенный. — В этом вся суть.

— Но как же? Как он действует?  
Шаль сделал решительный жест:  
— Совершенно самостоятельно!

Жак и Жуслен, все еще стоявшие на том же месте, в углу у книжных шкафов, вполголоса беседовали.

— И мучительнее всего, — говорил Жак, яростно хмуря брови, мучительнее всего думать, что придет день, придет неизбежно и, может быть, очень скоро, когда люди даже не будут понимать, как могли все эти разговоры о военной службе, о нациях, марширующих под знаменами, как могли сии иметь характер догмы, характер не подлежащего обсуждению, священного долга! День, когда покажется непостижимым, что общественная власть могла присвоить себе право расстрелять человека за то, что он отказался взять в руки оружие!.. Точно так же, как нам кажется невероятным, что некогда тысячи людей в Европе могли подвергаться суду и пыткам за свои религиозные убеждения...

— Послушайте! — вскричал Руа, рассеянно просматривавший в это время сегодняшнюю газету, которую взял со стола. Громко и отчетливо он прочел насмешливым тоном:

— «Молодая чета с ребенком желает снять на три месяца спокойный домик с садом возле реки, изобилующей рыбой; предпочтительно в Нормандии или в Бургундии. Адрес: 3418, редакция газеты».

Он звонко рассмеялся. Сегодня он был, пожалуй, единственным, кто мог еще смеяться.

— Весел, как школьник перед каникулами, — прошептал Жак.

— Весел, как истинный герой, — поправил его Жуслен. — Где нет веселья, там нет и героизма, — там только храбрость...

Шаль вынул часы и, прежде чем посмотреть на стрелки, как всегда с минуту прислушивался к ходу «маленького зверька», сосредоточенно глядя в одну точку, словно врач, который выслушивает больного. Затем, подняв брови над очками, он объявил:

— Час тридцать семь минут.

Жак вздрогнул.

— Я опаздываю, — сказал он, пожимая руку Жуслена. — Я бегу, не дожидаясь брата.

Антуан, лежавший на диване в своем маленьком кабинете, уловил в передней голос Жака, которого Леон провожал к лестнице.

Он поспешил отворил дверь.

— Жак!.. Послушай...

Жак, удивленный, подошел к двери.

— Ты уходишь?

— Да.

— Зайди на минутку, — глухим голосом сказал Антуан, прикоснувшись к его руке.

Жак пришел на Университетскую улицу именно для того, чтобы поговорить с братом с глазу на глаз. Ему хотелось рассказать Антуану, на что он употребил свои деньги; ему неприятно было скрывать это от него. Он подумал даже: «Может быть, я скажу ему о Женни...» Несмотря на то, что времени у него было мало, он охотно согласился на этот разговор наедине и вошел в маленький кабинет.

Антуан снова затворил дверь.

— Послушай, — сказал он, не садясь. — Поговорим серьезно, милый. Что ты... что ты думаешь делать?

Жак притворился удивленным и не ответил.

— Ты был освобожден от военной службы. Однако в случае мобилизации все освобожденные будут подвергнуты вторичному осмотру, всех пошлют на фронт... Что ты думаешь делать тогда?..

Жак не мог уклониться от ответа.

— Еще не знаю, — сказал он. — Пока что я вырвался из их лап, и притом на законном основании; они ничего не могут со мной сделать. — И, отвечая на настойчивый взгляд Антуана, сухо добавил: — Я могу сказать тебе только одно: что я скорее отрублю себе обе руки, чем стану солдатом.

Антуан на секунду отвел глаза.

— Такое поведение можно назвать самым...

— ...самым трусливым?

— Нет, этого я не думал, — мягко сказал Антуан. — Но, пожалуй, самым эгоистичным... — Видя, что Жак не реагирует, он продолжал: — Ты со мной не согласен? Отказаться идти на войну в такой момент — это значит свои личные интересы поставить выше интересов общественных.

— Национальных интересов! — отпарировал Жак. — Общественные интересы, интересы масс, — это, безусловно, не война, а мир!

Антуан сделал уклончивый жест, которым хотел, казалось, устраниТЬ из их разговора всякие теоретические рассуждения. Но Жак упорствовал.

— Общественным интересам служу именно я — своим отказом! И я чувствую, — у меня нет на этот счет никаких сомнений, — что та часть моего «я», которая отказывается воевать, — это лучшее, что во мне есть.

Антуан сдержал порыв нетерпения.

— Послушай, рассуди хорошенько... Какой практический результат может иметь этот отказ? Никакого. Когда вся страна мобилизуется, когда огромное большинство, — а так оно и будет в данном случае, — считает защиту нации своим долгом, — что может быть бесполезнее, что может быть скорее обречено на неудачу, чем единичный акт неподчинения?

Антуан так старался сдерживать себя, его тон оставался таким сердечным, что Жак был тронут. Он очень спокойно взглянул на брата и даже дружески улыбнулся ему.

— Зачем возвращаться к этому, милый? Ты хорошо знаешь, что я думаю... Я никогда не соглашусь с тем, что правительство может заставить меня принять участие в деле, которое я считаю преступлением, изменой истине, справедливости, общечеловеческой солидарности... В моих глазах героизм не у таких, как Руа: героизм заключается не в том, чтобы схватить винтовку и бежать к границе. Героизм в том, чтобы отказаться воевать и скорее дать себя повесить, нежели стать соучастником!.. Напрасная жертва? Кто знает? Именно нелепая покорность толпы делала и до сих пор делает возможным существование войн... Единичная жертва? Тем хуже... Что я могу сделать, если людей, у которых хватает смелости сказать «нет», так мало? Может быть, это объясняется просто тем, что... — он запнулся, — что известная... сила духа встречается не так уж часто...

Антуан слушал стоя, странно неподвижный. Его брови чуть заметно вздрагивали. Он пристально смотрел на брата и ровно дышал, словно во сне.

— Я не отрицаю, что нужна из ряда вон выходящая нравственная сила, чтобы восстать одному или почти одному против приказа о мобилизации, — сказал он, наконец, мягким тоном. — Но это сила, потеряянная даром... Сила, которая бессмысленно разбьется о стену!.. Убежденный человек, который отказывается воевать и идет ради своих убеждений под расстрел, привлекает все мои симпатии, все мое сочувствие... Но я считаю его бесполезным мечтателем... И заявляю, что он неправ.

Жак ограничился тем, что слегка развел руками, как в тот раз, когда сказал: «Что я могу сделать?»

Антуан с минуту смотрел на него молча. Он еще не отчаялся.

— Факты налицо, и они торопят нас, — продолжал он. — Завтра важность событий — событий, которые ни от кого больше не зависят, — может вынудить государство распорядиться нами. Неужели ты действительно думаешь, что сейчас подходящий момент, чтобы обсуждать, находятся ли требования, которые предъявляет нам наша страна, в соответствии с нашими личными взглядами? Нет! Носители власти решают, носители власти распоряжаются... У себя в клинике, когда я срочно приказываю применить лечение, которое считаю нужным, я не допускаю никаких рассуждений...

Он неловко поднял руку ко лбу и на секунду прижал пальцы к векам; затем продолжал с усилием:

— Подумай, мой дорогой... Ведь речь идет не о том, чтобы одобрить войну, — надеюсь, ты не думаешь, что я ее одобряю, — речь идет о том, чтобы подчиниться ей. С возмущением, если таков наш темперамент, но с возмущением внутренним, которое должно уметь молчать, когда говорит долг. Колебаться, когда в минуту опасности нужна и твоя помощь, это значило бы предать общество... Да, это было бы настоящим предательством, преступлением по отношению к другим, отсутствием солидарности... Я не

утверждаю, что надо отнять у нас право обсуждать решения, которые примет правительство. Но позже. После того как мы подчинимся им.

Жак снова улыбнулся.

— А я, видишь ли, утверждаю, что человек имеет право совершенно не считаться с националистическими притязаниями, во имя которых воюют государства. Я не признаю за государством права насиливать совесть людей по каким бы то ни было соображениям... Мне противно повторять все эти громкие слова. Однако это именно так: моя совесть говорит во мне громче, чем все оппортунистические рассуждения вроде твоих. Она говорит также громче, чем ваши законы... Единственное средство помешать насилию управлять судьбой мира — это прежде всего отказаться самому от всякого насилия! Я считаю, что отказ убивать — это признак нравственного благородства, который заслуживает уважения. Если ваши кодексы и ваши суды не уважают его, тем хуже для них: рано или поздно они ответят за это...

— Хорошо, хорошо... — произнес Антуан, раздосадованный тем, что беседа опять отклонилась в сторону общих рассуждений. И спросил, скрестив руки: — Ну, а практически?..

Он подошел к брату и, охваченный внезапным приливом нежности, такой редкой у них обоих, обнял его за плечи:

— Ответь мне, мой дорогой... Если завтра объявит мобилизацию — что ты будешь делать?

Жак высвободился спокойно, но твердо:

— Я буду продолжать бороться против войны! До конца! Всеми средствами! Всеми!.. Включая, если понадобится, революционный саботаж! — Он невольно понизил голос. У него не хватало дыхания, он замолчал. — Я сказал это... Я и сам не знаю... — продолжал он после короткой паузы. — Но что несомненно, Антуан, совершенно несомненно, — я не буду солдатом. Никогда!

Он сделал усилие, чтобы улыбнуться в последний раз, кивнул головой в знак прощания и пошел к двери. Брат не пытался удержать его.

## LXII

Жак застал Женни одну, одетую, готовую выйти из дома; лицо ее осунулось, она была в состоянии лихорадочного возбуждения. Никаких вестей от матери, ни одного письма от Даниэля. Она терялась в догадках. Газетные новости привели ее в ужас. И главное — Жак опаздывал; преследуемая воспоминанием о полицейских Монруж, она убедила себя, что с ним что-то случилось. Не в силах выговорить ни слова, она бросилась в его объятия.

— Я пытался, — сказал он, — навести справки о положении иностранцев, находящихся в Австрии... Незачем себя обманывать: там осадное положение. Разумеется, германские подданные могут

еще возвращаться к себе. Итальянцы, может быть, тоже, хотя отношения между Италией и Австрией очень натянуты... Но французы, англичане и русские... Если ваша матушка не выехала из Вены несколько дней назад, — а в этом случае она была бы уже здесь, — сейчас уже слишком поздно... По-видимому, ей помешают выехать...

— Помешают? Каким образом? Ее посадят в тюрьму?

— Да нет, что вы! Просто ей будет отказано в разрешении сесть в поезд... В течение недели или, может быть, двух, пока положение не выяснится, пока не будут урегулированы международные отношения.

Женни ничего не ответила. Одним своим присутствием Жак сразу избавил ее от тревог, созданных ее воображением. Она прижалась к нему, бездумно отдаваясь долгому поцелую, повторения которого она ждала со вчерашнего дня. И, наконец, высвободилась из его объятий, но лишь для того, чтобы прошептать:

— Я не хочу больше оставаться одна, Жак... Возьмите меня с собой... Я не хочу больше расставаться с вами.

Они пошли пешком по направлению к Люксембургскому саду.

— Мы сядем в трамвай на площади Медичи, — сказал Жак.

Большой сад был сегодня необычно безлюден. Налетавший ветерок шелестел в вершинах деревьев. Пряный запах индийской гвоздики поднимался от цветочных клумб. Уединившись на скамейке, стоявшей у цветников, мужчина и женщина, — их лиц не было видно, так низко нагнулись они друг к другу, — казалось, заполняли пространство любовным трепетом.

За решетчатой оградой Жака и Женни вновь встретил город, лихорадочно возбужденный город, согнувшийся под угрозой; шум его казался отголоском страшных известий, которыми в этот прекрасный летний день обменивались страны, находившиеся на разных концах Европы. За два дня Париж, уже успевший опустеть, как всегда летом, внезапно снова наполнился людьми. Газетчики перебегали площадь, выкрикивая экстренные выпуски. Пока Жак и Женни ждали трамвая, мимо них проехал вокзальный омнибус, запряженный парой лошадей: внутри теснились родители, дети, няньки; на крыше, в груде багажа, виднелась детская коляска, сетка для ловли креветок, большой зонт от солнца.

— Упрямцы! Они бросают вызов судьбе! — прошептал Жак.

На улице Суфло, на бульваре Сен-Мишель, на улице Медичи ни на секунду не прекращалось движение. Однако это был не обычный трудовой Париж будней и не тот Париж, который слоняется без дела в солнечный воскресный день. Это был потревоженный муравейник. Прохожие шли быстро, но их рассеянный вид, их колебание, куда повернуть — налево или направо, — все это ясно говорило, что большинство из них идет, не имея определенного направления: не в силах оставаться наедине с собой и с миром, они

бросили свои жилища, свою работу с одной лишь целью — убежать и иметь возможность хоть на минуту вверить тяжесть своей души общему потоку человеческой тревоги, наводнившему улицу.

Молчаливая и близкая, как тень, Женни весь день сопровождала Жака: от Латинского квартала до Батиноля, от Гласье до площади Бастилии, от набережной Берси до Шато д'О. Повсюду те же новости, те же рассуждения, то же негодование; и уже повсюду те же согнутые плечи, та же покорность судьбе.

Минутами, когда они снова оказывались одни, Женни самым естественным тоном заговаривала о себе или о погоде: «Я напрасно надела вуаль... Давайте перейдем на ту сторону и посмотрим цветы в окне... Жара спала. Чувствуете? Сейчас можно дышать...» И эти наивные фразы, внезапно ставившие в один ряд витрину цветочного магазина, европейские проблемы и температуру, немного раздражали Жака. Тогда он устремлял на девушку равнодушный, тяжелый взгляд, и мрачный, отчужденный огонь этих глаз внезапно пугал Женни. Иногда же, смягченный, он отворачивался и спрашивал себя: «Имею ли я право впутывать ее во все это?..»

В коридоре Всеобщей конфедерации труда он поймал любопытный, суровый взгляд, который устремил на Женни один из случайно встреченных товарищей. И вдруг он увидел ее такой, какой она была здесь, на этой пыльной площадке, среди рабочих, увидел ее изящный английский костюм, креповую вуаль, а в манере держать себя, во всем ее облике — нечто не поддающееся определению: след, отпечаток иной социальной среды. Ему стало неловко, и он вышел с ней на улицу.

Пробило семь часов. Бульварами они дошли до Биржи.

Женни устала. Могучая жизненная энергия, исходившая от Жака, порабощала ее и истощала все ее силы. Она вспомнила, что когда-то, в Мезон-Лафите, ей приходилось уже испытывать в его присутствии это самое ощущение усталости, изнеможения, — усталости, являвшейся следствием того неослабевающего напряжения, которого он как бы требовал от окружающих, которое он почти предписывал своим голосом, своим властным взглядом, резкими скачками своей мысли.

Когда они подходили к редакции «Humanité», мимо них пробежал Кадьё.

— На этот раз кончено! — крикнул он. — Германия объявила мобилизацию! Россия добилась своего!

Жак ринулся к нему. Но Кадьё был уже далеко.

— Надо разузнать. Подождите меня здесь. (Он не решался ввести девушку в редакцию.)

Она перешла дорогу и стала прохаживаться по противоположному тротуару. Люди, как пчелы в улье, беспрестанно входили в подъезд дома, куда скрылся Жак, и выходили из него.

Через полчаса он вышел. Лицо его было искажено волнением.

— Это официально. Известие получено из Германии. Я видел Грусье, Самбá, Вайяна, Реноделя.<sup>1</sup> Все они там, наверху, и ждут подробностей. Кадьё и Марк Левуар все время бегают из редакции на Ке д'Орсе и обратно... В ответ на усиление военных приготовлений России Германия мобилизуется... Настоящая ли это мобилизация? Жорес утверждает, что нет. Это то, что по-немецки называется *Kriegsgefahrzustand*. Случай, по-видимому, предусмотренный их конституцией. Жорес, со словарем в руках, дает почти буквальный перевод: «Состояние военной опасности... Состояние военной угрозы...» Патрон изумителен: он не желает терять надежды. Он все еще под впечатлением своей поездки в Брюссель, своих бесед с Гаазе и с немецкими социалистами. Он всецело им доверяет; он повторяет: «Пока эти с нами, ничто еще не потерянно!»

Взял Женни под руку, Жак быстро увлекал ее вперед. Они несколько раз обошли квартал.

— Что будет делать Франция? — спросила Женни.

— По-видимому, в четыре часа состоялось экстренное заседание совета министров. В официальном коммюнике прямо говорится, что совет рассмотрел «меры, необходимые для защиты наших границ». Агентство Гавас сообщает в вечерних газетах, что наши войска прикрытия вышли на передовые позиции. Но в то же время говорят, что генеральный штаб решил оставить вдоль всей границы незанятую зону в несколько километров, чтобы у неприятеля не оказалось предлога для конфликта... Как раз сейчас германский посол совещается с Вивиани... Галло, которому хорошо известно положение вещей в Германии, настроен крайне пессимистически. Он говорит, что не следует обольщаться относительно смысла этой формулировки, что *Kriegsgefahrzustand* — это замаскированный способ провести мобилизацию до официального приказа о ней. Так или иначе, но в настоящую минуту в Германии осадное положение, а это означает, что на прессу надет намордник, что сейчас никакие выступления против войны там невозможны... Вот это, на мой взгляд, пожалуй, важнее всего: спасение могло бы прийти только через народное восстание... Однако Стефани, как и Жорес, упорно сохраняет оптимизм. Они говорят, что кайзер, выбрав эту предварительную меру, вместо того чтобы прямо опубликовать приказ о мобилизации, доказал этим свое желание сохранить мир. В конце концов, это вполне правдоподобно. Германия предоставляет, таким образом, правительству Петербурга последнюю возможность сделать шаг к примирению, быть может отменить русскую мобилизацию. Со вчерашнего дня между кайзером и царем происходит, кажется, непрерывный обмен личными телеграммами... Когда я прощался со Стефани, Жореса вызвали к телефону из Брюсселя; все они, видимо, надеялись получить какое-то важное известие... Я не остался, мне хотелось посмотреть, как вы...

<sup>1</sup> Ренодель, Пьер (1871—1935) — правосоциалистический лидер, впоследствии профашист.

— Не беспокойтесь сбо мне, — с живостью сказала Женни. — Сейчас же идите туда. Я подожду вас.

— Здесь? Стоя? На улице? Нет!.. Давайте, я усажу вас хотя бы в кафе «Прогресс».

Они быстро направились к улице Сантье.

— Добрый день! — раздался замогильный голос.

Женни обернулась и увидела позади них старого Христа с расстрапанными волосами, в черной блузке типографского рабочего. Это был Мурлан.

Жак тотчас же сказал ему:

— Германия мобилизуется!

— Да, черт возьми! Знаю... Этого надо было ожидать. — Он плонул. — Ничего не поделаешь... Ничего не поделаешь — как всегда!.. И теперь уже долго нельзя будет что-либо сделать! Все должно быть разрушено. Вся наша цивилизация должна исчезнуть, чтобы можно было построить что-нибудь порядочное!

Наступило молчание.

— Вы идете в «Прогресс»? — спросил Мурлан. — Я тоже.

Они прошли несколько шагов, не обменявшиесь ни словом.

— Ты обдумал то, что я сказал тебе сегодня утром? Ты не удираешь? — продолжал старый типограф.

— Пока нет.

— Дело твое... — Он запнулся. — Я только что из Федерации... — Он окунул молодую девушку испытующим взглядом и пристально посмотрел на Жака. — Мне надо сказать тебе два слова.

— Говорите, — сказал Жак. И, положив руку на плечо Женни, пояснил: — Говорите свободно, здесь все свои.

— Хорошо, — произнес Мурлан. Он ткнул двумя мозолистыми пальцами в плечо Жака и понизил голос: — Получены секретные сведения. Военный министр подписал сегодня приказ об аресте всех подозрительных лиц, занесенных в «список Б».

— Гм! — отозвался Жак.

Старик кивнул головой и прошел сквозь зубы:

— К сведению тех, кого это интересует!

Он заметил, что Женни сильно побледнела и смотрит на него с ужасом. Он улыбнулся ей.

— Успокойтесь, красавица... Это не значит, что всех нас сегодня же вечером поставят к стенке. Приказ выпущен на всякий случай. Они хотят, чтобы в тот день, когда им заблагорассудится убрать всех нас подальше и совершенно безнаказанно организовать резню, — чтобы в этот день им осталось только отдать распоряжение своим бригадам особого назначения... В предместьях уже работают шпики. Говорят, был обыск в «Drap eau rouge» и в «Lutte». <sup>1</sup> Изакович чуть было не попался нынче утром во время уличной облавы в Плюто. Фюзе засадили в тюрьму; его обвиняют в том, что он автор «Окровавленных рук», — знаешь, боззования против гене-

<sup>1</sup> «Красное знамя», «Борьба» (франц.).

рального штаба... Будет жарко, надо быть к этому готовыми, ребятки.

Они вошли в кафе. Жак усадил Женни в нижнем зале, где почти не было публики.

— Закусите с нами, — предложил Жак типографу.

— Нет. — Мурлан поднял руку, указывая на потолок. — Я на минутку загляну туда, узнаю, что слышно... Сколько глупостей, наверно, наговорили там сегодня, начиная с утра... До свиданья. — Он пожал руку Жака и еще раз пробормотал: — Поверь мне, мальчик, утекай отсюда!

Перед тем как уйти, он посмотрел на молодую пару с неожиданно доброй и дружеской улыбкой. Они услышали, как затряслась винтовая лесенка под его гулкими шагами.

— Где вы ночуете сегодня? — с тревогой спросила Женни. — Не в тех меблированных комнатах, адрес которых они вчера записали?

— Ну, — сказал он небрежно, — я не уверен даже, что они оказали мне честь занести мое имя в черные списки... Впрочем, не беспокойтесь, я и сам не намерен появляться у Льебара, — добавил он, видя ее тревожный взгляд. — Мой саквояж я оставил сегодня утром у Мурлана. Что же касается документов, которые могли бы меня скомпрометировать, то они в пачке, оставленной у вас.

— Да, — сказала она, глядя на него. — У нас вы ничем не рискуете.

Он не садился. Он заказал чай, но у него не хватило терпения дождаться, пока его подадут Женни.

— Вам удобно здесь?.. Я иду в «Нита»... Не уходите отсюда.

— Вы вернетесь? — спросила она прерывающимся голосом. Ее вдруг охватил страх. Она опустила глаза, чтобы он не заметил ее смятения. И почувствовала, что рука Жака спустилась на ее руку. Этот немой упрек заставил ее покраснеть. — Я пошучила... Идите! Не беспокойтесь обо мне...

Оставшись одна, она выпила несколько глотков принесенного ей чая — горькой жидкости, пахнувшей ромашкой. Затем, отодвинув чашку, облокотилась на прохладный мрамор.

Через широко распахнутое окно вливался вместе с уличным шумом ослепительный свет, от которого сверкали зеркала, стеклянные этажерки, медные перекладины, красное дерево конторки. Среди всех этих отблесков содержатель кафе прополоскивал графины; вода лилась, напоминая журчанье ручейка. На столах валялись газеты. Женни смотрела по сторонам, не думая ни о чем определенном. Время шло. Навязчивые ребяческие представления, мрачные мысли, внезапные страхи бродили, словно призраки, в ее утомленном мозгу. Она пыталась сосредоточить свое внимание на серой кошке, свернувшейся в клубок на скамеечке рядом с ней. Спала ли эта кошка? Глаза ее были закрыты, но уши двигались. У нее был такой вид, словно она насилием заставляет себя спать. Может быть, и она тоже была подвержена действию этой смутной,

носившейся в воздухе тревоги? Кончики ее изогнутых лапок замерли в сладостной неподвижности, которая, однако, казалась приторной. Спала ли она? Или только делала вид, что спит? Кого она хотела обмануть? Может быть, самое себя?.. Смеркалось. Время от времени мужчины в рабочей одежде входили, обменивались с содержателем кафе взглядами соучастников, проходили через зал и взбирались наверх, на антресоли. Когда они открывали дверь, волна шума, отголосков спора на минуту смешивалась с уличным гулом.

— Вот и я!

Женни вздрогнула: она не заметила, как Жак вошел.

Он сел рядом с ней. Лоб его был покрыт крупными каплями пота. Резко тряхнув головой, он откинул прядь волос и вытер лицо.

— Хорошая, очень хорошая новость во всем этом хаосе! — сказал он вполголоса. — Телефонный звонок оказался сообщением, полученным через Брюссель от германских социал-демократов. Они не отказываются от борьбы, наоборот! Жорес прав: эти люди — наши братья, они не струсят! Они переживают там те же тревоги, что и мы. И они более чем когда-либо хотят сохранить связь, чтобы иметь возможность действовать сообща. Но так как в Германии осадное положение, сношения между ними и нами будут очень затруднены. И вот они посыпают к нам через Бельгию делегата, Германа Мюллера, который должен приехать завтра и, как видно, облеченный широкими полномочиями. Все думают, что он едет договариваться с французскими социалистами относительно немедленного и широкого выступления против сил войны. Понимаете? В «Ните» все надежды сосредоточились сейчас на этом неожиданном посланце, на этой решающей завтрашней встрече Мюллера и Жореса — встрече двух пролетариев... Безусловно, они выработают вместе окончательные решения. По мнению Стефани, речь идет сейчас о том, чтобы организовать, наконец, в обеих странах широкое выступление рабочего класса — не меньше. Давно пора! Но никогда не поздно. Всеобщая забастовка может еще спасти все!

Он говорил быстро, отрывисто, невольно заражая лихорадочностью своего тона.

— Патрон решил опубликовать завтра грозную статью... Нечто вроде «Я обвиняю» Золя...<sup>1</sup>

По неопределенno-вопросительному взгляду Женни он увидел, что это сравнение, — которое, впрочем, принадлежало не ему,

<sup>1</sup> В 1898 г. Эмиль Золя опубликовал свое знаменитое открытое письмо президенту Республики Феликсу Фору, которое начиналось словами: «Я обвиняю...» и разоблачало истинных виновников дела Дрейфуса — националистов, монархистов и милитаристов. Письмо явилось сильным ударом по лагерю реакции и навлекло на Золя не только яростные нападки правой печати, но даже судебные преследования: писатель был приговорен к году тюремного заключения за «оскорбление армии».

а Пажесу, секретарю Галло, — не вызвало в ее уме никакого отчетливого представления, и в течение нескольких секунд он с жестокой ясностью ощущал все, что еще разделяло их.

— Вы только что говорили с Жоресом? — спросила она наивно.

— Нет, сегодня не говорил. Но я стоял на лестнице с Пажесом в тот самый момент, когда Жорес выходил из редакции. Он, как всегда, был окружен группой друзей. Я слышал, как он сказал им: «Все это я вставлю в мою завтрашнюю статью, вот увидите! Я разоблачу всех виновных! На этот раз я хочу сказать все, что знаю!» И, честное слово, мне кажется, он смеялся, этот изумительный человек! Да, он смеялся! У него особенный смех, смех добродушного великана, бодрящий смех... Затем он сказал: «Но прежде всего идемте обедать. В ближайший ресторан, хорошо? К Альберу».

Она молчала, устремив на Жака внимательный взгляд.

— Вам интересно было бы взглянуть на него вблизи? — спросил он. — Пойдемте в «Круассан», закусим. Я покажу вам Жореса... Я голоден. Имеем же право пообедать и мы с вами!

### LXIII

Было около десяти часов. Большинство завсегдатаев уже ушло из ресторана. Жак и Женни заняли столик справа, где было мало народа.

Жорес и его друзья сидели слева от входа, параллельно улице Монмартр, за длинным столом, составленным из нескольких маленьких.

— Вы видите его? — спросил Жак. — На скамейке, вот там, посередине, спиной к окну. Посмотрите, он повернулся и говорит с Альбером, содержателем ресторана.

— У него не такой уж встревоженный вид, — прошептала Женни с удивлением, восхитившим Жака; он взял ее за локоть и ласково сжал его. — А остальных вы тоже знаете?

— Да. Направо от Жореса сидит Филипп Ландриё. Толстяк налево — это Ренодель. Напротив Реноделя — Дюбрейль.<sup>1</sup> Рядом с Дюбрейлем — Жан Лонгэ.<sup>2</sup>

— А женщина?

— Это, кажется, госпожа Пуассон, жена того, который сидит напротив Ландриё. Рядом с ней — Амедей Дюнуа.<sup>3</sup> Напротив — братья Рену. А вон тот, который только что вошел и стоит около

<sup>1</sup> Дюбрейль, Луи (1862—1924) — генеральный секретарь французской социалистической партии, редактор «Petite République»; во время первой империалистической войны — социал-шовинист.

<sup>2</sup> Лонгэ, Жан (1871—1935) — один из реформистских лидеров французской социалистической партии.

<sup>3</sup> Дюнуа, Амедей (род. в 1879 г.) — анархист, с 1912 г. социалист, сторонник Жореса.

стола, — друг Мигеля Альмерейды,<sup>1</sup> сотрудник «Bonnet rouge»... Я забыл, как его...

Короткий треск — словно где-то лопнула шина — прервал его слова; за ним, почти немедленно, вторично раздался тот же звук и звон разбитых стекол. Вдребезги разлетелось зеркало на внутренней стене зала.

Секунда оцепенения, затем оглушительный шум. Весь зал, вскочив с места, сбернулся в сторону разбитого зеркала. «Стреляли в зеркало!» — «Кто?» — «Где?» — «С улицы!» Два официанта бросились к дверям и выбежали на улицу, откуда неслись крики.

Жак инстинктивно встал и, вытянув руку, чтобы защитить Женни, искал глазами Жореса. На секунду он увидел его. Вокруг патрона стояли его друзья; он один, очень спокойный, остался сидеть на месте. Жак увидел, как он медленно нагнулся, словно искал что-то на полу. Потом Жак перестал его видеть.

В эту минуту мимо столика, где сидел Жак, пробежала г-жа Альбер, жена содержателя кафе, с криком:

— Кто-то стрелял в господина Жореса!

— Побудьте здесь, — шепнул Жак, положив руку на плечо Женни и вынуждая ее снова сесть.

Он устремился к столу Жореса, откуда слышались взъявленные голоса: «Доктора, скорее!», «Полицию!» Толпа жестикулировавших людей кольцом оцепила друзей Жореса и не давала подойти ближе. Жак локтями проложил себе путь, обошел вокруг стола и пробрался, наконец, в угол зала. Наполовину скрытое спиной наклонившегося Реноделя, на обитой kleenкой скамье лежало тело. Ренодель выпрямился и бросил на стол красную от крови салфетку. Жак увидел лицо Жореса: лоб, бороду, полуоткрытый рот. Как видно, он потерял сознание. Он был бледен, глаза его были закрыты.

Какой-то человек, один из посетителей ресторана, очевидно врач, прорвал кольцо. Он уверенно сорвал с Жореса галстук, отстегнул воротничок, схватил свесившуюся руку и нашупал пульс.

Несколько голосов покрыли гул: «Тише, тише! Тс-с-с!..» Все взоры были прикованы к незнакомцу, державшему руку Жореса. Он молчал. Он стоял, низко нагнувшись, но его лицо — лицо ясновидящего — было поднято к карнизу; веки дрожали. Не изменив позы, ни на кого не глядя, он медленно покачал головой.

Любопытные потоками вливались с улицы в кафе.

Раздался голос Альбера:

— Заприте двери! Заприте окна! Опустите ставни!

Толпа, отхлынув, оттеснила Жака на середину зала. Друзья Жореса подняли тело и осторожно понесли, чтобы положить на два наспех составленных стола. Жак пытался увидеть его. Но толпа вокруг

<sup>1</sup> Псевдоним Эжена Виго (1883—1917), анархиста, затем левого социалиста, редактора «Bonnet rouge», во время войны занимавшего интернационалистическую позицию, арестованного и 7 августа 1917 г. найденного в камере мертвым. Обстоятельства его смерти так и не были выяснены.

раненого становилась все теснее. Он различал только угол белого мраморного стола и две торчавшие подошвы, запыленные, огромные.

— Пропустите доктора!

Андре Рену привел врача. Двое мужчин вошли в круг, который тут же снова сомкнулся за ними. Раздался шепот: «Доктор... Доктор...» Потянулась бесконечно долгая минута. Воздарилось тревожное молчание. Затем по всем этим склоненным затылкам пробежала дрожь, и Жак увидел, что все те, кто был еще в шляпах, сбняли головы. Два глухо повторяемых слова передавались из уст в уста.

— Он умер... он умер...

С полными слез глазами Жак обернулся, ища взглядом Женни. Она стояла, готовая броситься на его зов, ожидая лишь знака. Она пробралась к нему и безмолвно ухватилась за его руку.

Отряд полицейских ворвался в ресторан и стал очищать зал. Жак и Женни, прижатые друг к другу, оказались захваченными водоворотом, толкавшим и уносившим их к дверям.

В ту минуту, когда они были уже у выхода, какому-то человеку, который вел переговоры с полицейскими, удалось проникнуть в кафе. Жак узнал в нем социалиста, друга Жореса, Анри Фабра. Он был бледен как полотно. Он спросил, запинаясь:

— Где он? Перевезли его в больницу?

Никто не решился ответить.

Чья-то рука ребко указала в глубь зала. Фабр взглянул туда: в центре пустого пространства, ярко освещенная, лежала груда черной одежды, распростертая на мраморе, как труп в морге.

На улице спешно организованная охрана пыталась рассеять толпу, скопившуюся перед домом и затруднившую движение на перекрестке.

Жак увидел Жюмлена и Рабба; они спорили с полицейскими. Вместе с уцепившейся за него Женни, Жак добрался до них. Они шли из редакции и не присутствовали при случившемся; однако именно от них Жак узнал о том, что убийца выстрелил с улицы в упор, через открытое окно, и что после недолгого преследования прохожие задержали его.

— Кто это? Где он?

— В полицейском комиссариате на улице Майль.

— Идемте, — сказал Жак, увлекая Женни.

Перед участком образовалась толпа. Жак тщетно предъявлял свое корреспондентское удостоверение: больше никого не пропускали.

Они уже хотели отойти, как вдруг из комиссариата выбежал Кадье. Он был без шляпы. Жак перехватил его на бегу. Кадье обернулся и, не узнавая Жака (с которым, однако, он только что разговаривал около редакции «Humanité»), с минуту смотрел на него блуждающим взором.

Наконец он пробормотал:

— Это вы, Тибо?.. Вот первая пролитая кровь... первая жертва... Чья очередь теперь?

— Кто убийца? — спросил Жак.

— Неизвестный. Его фамилия — Виллен. Я видел его. Молодой человек лет двадцати пяти или около того.

— Но почему Жореса? Почему?

— Очевидно, какой-нибудь «патриот»! Сумасшедший...

Он высвободил локоть, за который держал его Жак, и убежал.

— Вернемся туда, — сказал Жак.

Повиснув на руке Жака, молчаливая и напряженная, Женни изо всех сил старалась идти с ним в ногу.

Он наклонился к ней:

— Вы устали... Что, если бы я усадил вас где-нибудь в спокойном месте? А потом пришел бы за вами...

Она изнемогала от волнения, от усталости, но мысль, что в такую минуту они могут расстаться... Не отвечая, она еще крепче прижалась к нему. Он не стал настаивать. Это живое тепло рядом с ним помогало ему бороться с отчаянием; он и сам теперь не хотел оставаться один.

Вечер был удушливый. Асфальт распространял зловоние. Все переулки вокруг улицы Монмартр были черны от пешеходов. Движение остановилось. Люди гроздьями висели на окнах. Незнакомые передавали друг другу: «Сейчас убили Жореса!»

Кордон полицейских почти очистил пространство перед кафе «Круассан» и теперь старался удерживать на расстоянии бушующие волны, вливавшиеся с Бульваров, где новость распространилась с быстротой короткого замыкания.

Когда Жак и Женни подошли к перекрестку, отряд конной жандармерии выехал из улицы Сен-Марк. Взвод прежде всего очистил подступы к улице Виктуар и всю улицу вплоть до Биржи. Затем он развернулся в центре площади и несколько минут гарцевал там, чтобы оттеснить любопытных к домам. Воспользовавшись беспорядком, — более робкие убегали в боковые улицы, — Жак и Женни проскользнули в первый ряд. Их взгляды были прикованы к темному фасаду кафе с закрытыми железными ставнями. Когда открывалась охраняемая полицией дверь, в которую то и дело входили агенты, на минуту становился виден ярко освещенный зал.

Два такси и несколько лимузинов с правительственные флагами один за другим прошли сквозь оцепление. Распоряжавшийся охраной лейтенант отдавал честь лицам, выходившим из машин, и они немедленно исчезали в кафе, дверь которого тотчас же снова захлопывалась за ними. Люди осведомленные сообщали: «Префект полиции... Доктор Поль... Префект департамента Сены... Прокурор республики...»

Наконец из улицы Виктуар выехала санитарная карета, запря-

женная маленькой лошадкой, бежавшей мелкой рысцой; колокольчик ее звенел не переставая. Стало немного тише. Полицейские остановили карету у входа в «Круассан». Четыре санитара выпрыгнули оттуда на мостовую и вошли в ресторан, оставив заднюю дверцу широко открытой.

Прошло десять минут. Возбужденная толпа топталаась на месте. «Какого черта они возятся там так долго?» — «Надо же проделать все, что полагается, иначе нельзя!»

Внезапно Жак почувствовал, что пальцы Женни судорожно впились в его рукав. Обе половинки двери ресторана распахнулись. Все затихли. На тротуар вышел Альбер. Все увидели внутренность кафе, освещенную ярко, как часовня, и кишевшую черными фигурами полицейских. Они расступились и выстроились в ряд, пропуская носилки. Носилки были покрыты скатертью. Их несли четверо мужчин с обнаженными головами. Жак узнал знакомые фигуры: Ренодель, Лонге, Компер-Морель, Тео Бретен.

На площади все головы мгновенно обнажились. Робкий возглас: «Смерть убийце!» раздался из окон одного из домов и замер во мраке.

Медленно, среди тишины, в которой отчетливо раздавался стук шагов, белые носилки проплыли через порог, пересекли тротуар, покачались несколько секунд и внезапно исчезли в глубине кареты. Двое мужчин тотчас же последовали за ними. Полицейский сел рядом с кучером. Затем раздался отчетливый стук захлопнувшейся дверцы. И когда лошадь тронулась с места, а карета, окруженная группой полицейских-самокатчиков, позвякивая, направилась в сторону биржи, внезапный глухой взводнованный гул покрыл тонкий звон колокольчика и, поднявшись отовсюду разом, вырвался, наконец, из сотни стесненных сердец: «Да здравствует Жорес!.. Да здравствует Жорес!.. Да здравствует Жорес!..»

— Попытаемся теперь добраться до «Нима», — проговорил Жак.

Но толпа вокруг них словно приросла к месту. Все глаза оставались прикованными к тайне этого темного фасада, охраняемого полицией.

— Жорес умер... — прошептал Жак. И, помолчав, он повторил: — Жорес умер... Я не могу этому поверить... Главное — не могу представить себе, не могу взвесить все последствия...

Постепенно плотные ряды раздвинулись; теперь можно было двинуться в путь.

— Идемте.

Как дойти до улицы Круассан? О том, чтобы пробиться сквозь кордон, охранявший перекресток, или пройти до Больших Бульваров через улицу Монмартр, не могло быть и речи.

— Обойдем кругом, — сказал Жак. — Пройдем улицей Фейдо и переулком Вивье!

Они вышли из переулка и хотели было выбраться из давки бульвара Монмартр, как вдруг непреодолимый напор толпы закружила их, увлек с собой.

Они попали в самую гущу манифестации: колонна молодых патриотов, потрясавших флагами и оравших «Марсельезу», хлынула с бульвара Пуассонье потоком, который заливал улицу во всю ширину и отбрасывал назад все, что находилось на его пути.

— Долой Германию!.. Смерть кайзеру!.. На Берлин!..

Женни, унесенная толпой, почувствовала, что теряет равновесие. Ей показалось, что сейчас ее оторвут от Жака, растопчут. Она вскрикнула от ужаса. Он обнял ее за талию и крепко прижал к себе. Ему удалось внести, втолкнуть ее в нишу каких-то ворот, которые были закрыты. Ослепленная пылью, поднявшейся от топота этого стада, оглушенная пронзительными криками и пением, в ужасе от этих ревущих глоток, от этих безумных глаз, от этих страшных лиц, она вдруг заметила почти рядом с собой медную ручку. Собрав остаток сил, она рванулась, протянула руку и уцепилась за эту ручку, показавшуюся ей спасением. Наконец-то! Еще немного — и она бы лишилась сознания. Она закрыла глаза, но ее пальцы не переставали судорожно сжимать медную ручку. Она слышала у самого уха прерывавшийся голос Жака, повторявший: «Держитесь крепче... Не бойтесь... Я тут...»

Прошло несколько минут. Наконец ей показалось, что шум удаляется. Она открыла глаза и увидела Жака, улыбавшегося ей. Человеческий поток все еще плыл мимо них, но не так быстро, отдельными волнами, без криков: скорее любопытные, чем манифестанты. Женни все еще дрожала всем телом и не могла отдохнуть.

— Успокойтесь, — прошептал Жак. — Видите, это кончилось...

Она провела рукой по лбу, поправила шляпу и заметила, что ее вуаль разорвана. «Что я скажу маме?» — подумала она, словно в каком-то полусне.

— Попробуем выбраться отсюда, — сказал Жак. — Но можете ли вы идти?

Лучше всего для них было бы отаться течению и затем ускользнуть каким-нибудь переулком. Жак отказался от мысли попасть в «Humanité». Правда, не без легкого и невольного раздражения. Но в этот вечер на нем лежала ответственность за судьбу другого человека: хрупкое, бесконечно дорогое существо находилось на его попечении. Он догадывался, что нервное напряжение Женни дошло до предела, и сейчас он думал только о том, как бы довести ее до улицы Обсерватории. Она позволяла поддерживать и вести себя. Она уже не храбрилась, не повторяла больше: «Не беспокойтесь обо мне...» Наоборот, она всей своей тяжестью опиралась на руку Жака, с беспомощностью, которая помимо ее воли говорила о том, как сильно она устала.

Потихоньку они добрались до площади Биржи, не встретив ни одного такси. Тротуары и мостовые были запружены пешеходами. Казалось, весь Париж вышел на улицу. В залах кинематографов

весть о преступлении появилась на экранах во время хода картин, и сеансы везде были прерваны посреди томительной тревоги. Люди, обгонявшие Жака и Женни, говорили громко и только об одном. Жак улавливал на ходу обрывки разговоров: «Северный и Восточный вокзалы заняты войсками...» — «Чего же ждут? Почему не объявляют мобилизацию?» — «Теперь понадобилось бы чудо, чтобы...» — «Я телеграфировал Шарлотте, чтобы она завтра же возвращалась с детьми». — «Я сказала ей: «Знаете что! Если бы у вас был сын двадцати двух лет, вы бы, может быть, говорили иначе!»

Газетчики сновали между прохожими.

— Убийство Жореса!

На стоянке площади Биржи не было ни одной машины.

Жак усадил Женни на выступ решетчатой ограды. Стоя подле нее с опущенной головой, он опять прошептал:

— Жорес умер...

Он думал: «Кто примет завтра германского делегата? И кто теперь защитит нас? Жорес — единственный, кто никогда не потерял бы надежды... Единственный, кому правительство никогда не смогло бы заткнуть рот... Единственный, пожалуй, кто мог бы еще помешать мобилизации...»

Люди торопливо входили в почтовое отделение, освещенные окна которого бросали отблеск на тротуар. Это здесь он отправил телеграмму Даниэлю в вечер самоубийства Фонтанена, в тот вечер, когда снова увидел Женни... Не прошло еще и двух недель...

На видном месте газетного киоска лежали экстренные выпуски газет с угрожающими заголовками: «Вся Европа вооружается...», «Положение осложняется с каждым часом...», «Министры заседают в Елисейском дворце, обсуждая решения, которых требуют вызывающие действия Германии...»

Какой-то пьяный, проходивший, шатаясь, мимо них, крикнул хриплым голосом: «Долой войну!» И Жак заметил, что он в первый раз слышит сегодня этот возглас. Было бы ребячеством делать из этого тот или иной вывод. Тем не менее факт бросался в глаза: ни перед останками Жореса, ни на Бульварах, когда патриоты вошли: «На Берлин!», ни один голос не издал ни звука возмущения, того крика, который позавчера еще беспрерывно оглашал улицы во время каждой манифестации.

На другом конце площади показалось свободное такси. Люди окликали его. Жак побежал, вскочил на подножку, остановил машину перед Женни.

Они бросились в такси и безмолвно прижались друг к другу. Оба были во власти одинаковой тоски и смятения; оба испытывали такое потрясение, словно им только что удалось спастись от смертельной опасности. И эта машина, наконец, укрыла их от враждебного мира. Жак обнял Женни; он с силой прижал ее к себе. Несмотря на усталость, он испытывал какое-то странное возбуждение, какую-то жажду жизни, более острую, чем когда бы то ни было.

— Жак, — шепнула ему на ухо Женни, — где вы ночуете? — И добавила быстро, словно повторяя давно приготовленную фразу: — Идемте к нам. У нас вы ничем не рискуете. Вы ляжете на диване Даниэля.

Он ответил не сразу. Он сжимал в своих пальцах руку девушки, руку, которая была не только покорной и нежной, как обычно, но которая горела, нервно двигалась, жила и, казалось, возвращала ласку.

— Хорошо, — сказал он просто.

Только спустя несколько мгновений, на нижней площадке лестницы, идя позади Женни мимо застекленной двери привратницкой, он вдруг заметил, что инстинктивно заглушает шаги, и осознал положение вещей, оценил, какое доказательство любви и доверия дает ему Женни: она была одна в Париже и без ведома г-жи де Фонтанен, без ведома Даниэля предлагала ему провести ночь у нее в доме... Если он сам почувствовал при этой мысли такую неловкость, то какую мучительную тревогу должна переживать сейчас Женни, думал он. Он ошибался: она действовала обдуманно, сообразуясь с тем, что считала правильным, и не заботилась ни о чем больше. С момента встречи с полицейскими она дрожала за Жака. Надежда, что он согласится укрыться на улице Обсерватории, не покидала ее. И этот план — который показался бы ей совершенно неприемлемым всего неделю назад — так крепко пустил корни в ее уме, что она уже не видела всей его смелости; она испытывала только благодарность к Жаку за то, что он так быстро принял ее предложение.

Едва успев войти в квартиру, она решительно сняла шляпу, жакет и занялась хозяйственными делами. Казалось, она больше не чувствовала усталости. Она хотела приготовить чай, привести в порядок комнату брата, постелить простыни, чтобы преобразить диван в кровать.

Жак протестовал. В конце концов, ему пришлось прибегнуть к силе и схватить Женни за руки, чтобы она перестала суетиться.

— Пожалуйста, бросьте все это, — сказал он, улыбаясь. — Скоро два часа ночи. В шесть я уйду. Я лягу здесь не раздеваясь. К тому же, маловероятно, чтобы я мог уснуть.

— По крайней мере позвольте мне дать вам одеяло... — взмолилась она.

Он помог ей разложить подушки, включить электрическую лампочку у изголовья.

— А теперь вы должны подумать о себе, забыть о том, что я здесь. Спать, спать... Обещаете?

Она с нежностью кивнула головой.

— Завтра утром, — продолжал он, — я выберусь потихоньку, чтобы не разбудить вас. Я хочу, чтобы вы встали как можно позд-

нее, хорошенько отдохнули... Кто знает, что готовит нам завтрашний день... Я приду после завтрака и принесу вам новости.

Она снова покорно кивнула головой.

— Спокойной ночи, — сказал он.

В этой комнате, с которой у него было связано столько светлых воспоминаний, он, стоя, целомудренно обнял ее. Его грудь касалась ее груди. Он сильнее прижал к себе девушку, и она слегка покачнулась; их колени встретились. Однаковое смущение охватило обоих, но он один понял его значение.

— Обнимите меня, — прошептала она, — обнимите меня крепче...

Она обвила руками шею Жака и обнимала его с неожиданной страстью, в каком-то опьянении. В своей невинной смелости она была более неосторожной, чем он. Это она заставила его отступить на шаг, к дивану. Не разжимая объятия, они упали на постель.

— Обнимите меня крепче, — повторяла она, — еще крепче... Еще... — И, не желая, чтобы он видел ее волнение, она протянула руку к столу и погасила свет.

Он пытался овладеть собой, но знал теперь, что Женни не уйдет в свою комнату, что они больше не расстанутся в эту ночь... «И мы... — на секунду вспыхнуло в его сознании, — и мы как все счастливые...» Тень досады, какое-то отчаянье и страх примешивались к его желанию. Задыхаясь, охваченный исступлением, обузданное которое было уже не в его власти, он молча обнимал ее в укрывавшей их темноте.

Внезапная судорога охватила его, он задохнулся, замер... Потом напряжение прошло, он перевел дыхание. С чувством освобождения, смешанным также с каким-то стыдом, с острым ощущением грусти, одиночества, он снова стал самим собой.

Растворившаяся в нежности, ни о чем не думая, Женни продолжала лежать в его объятиях. Она хотела лишь одного — чтобы это чудесное мгновение длилось вечно. Она прижималась щекой к сукну куртки, она прислушивалась, и ей казались чудом удары сердца, бившегося так близко от ее собственного. Проникая через открытое окно, молочный свет — что это было: луна? или уже рассвет? — заливал комнату какой-то призрачной дымкой, в которой стены, мебель, все твердые и плотные предметы неожиданно стали прозрачными. Уснуть... После пережитых вместе трагических часов уснуть в объятиях друг друга — в этом была сладостная награда.

Он первый незаметно нырнул в сонное забытье. Она услышала, как в последнем поцелуе он прошептал какие-то неясные слова. Затем с невыразимым волнением она почувствовала, что он заснул подле нее. Еще с минуту она боролась с усталостью, желая как можно дольше продлить сознание своего счастья, и когда, тесно прижавшись к нему, она тоже погрузилась в сон, у нее было восхитительное ощущение, что еще больше, чем сну, она отдается Жаку.

Он проснулся первый. Медленно возвращаясь к действительности, он несколько минут с восхищением созерцал в утреннем свете это нежное лицо, все такое же юное, несмотря на следы усталости и волнения. Смягчившийся рот, казалось, хотел улыбнуться. На матовой, гладкой, чуть порозовевшей щеке протянулась, словно мазок акварели, прозрачная тень от ресниц. Жак удержался и не коснулся ее губами. Он осторожно скользнул к краю дивана, и ему удалось встать, не потревожив Женни.

Встав, он увидел в зеркале свою измятую одежду, землистое лицо, спутанные волосы. Мысль, что девушка может увидеть его таким, заставила его устремиться к двери. Однако, прежде чем исчезнуть, он выбрал в вазе на камине несколько цветочков душистого горошка и положил их, вместо прощания, на только что покинутое им место. Затем на цыпочках вышел из комнаты.

Был уже восьмой час: суббота, 1 августа. Новый месяц, летний месяц, месяц каникул. Что принесет он с собой? Войну? Революцию?.. Или мир?

День обещал быть прекрасным.

Жак вспомнил, что на бульваре Монпарнас, рядом с кафе «Кловери де Лила», есть бани.

Перед тем как зайти туда, он купил газеты.

Некоторые из них — «*Matin*», «*Journal*» — вышли в уменьшенном объеме, на одном листке. Экономия военного времени? Уже? В них было множество точных указаний, предназначенных для мобилизованных «на тот случай, если...»

Номер «*Humanité*» появился как обычно. Окаймленный широкой черной полосой, он был полон подробностей об убийстве. Жак удивился, прочитав в нем трогательное послание г-на Пуанкаре к вдове Жореса: «В час, когда национальное единение необходимо более чем когда бы то ни было, я считаю своим долгом выразить вам...» Жак знал, что жена Жореса была в отъезде и что друзья решили не делать никаких приготовлений к похоронам до ее возвращения. Письмо, следовательно, было срочно опубликовано в печати самим Пуанкаре. С какой же целью?

Громкое воззвание от имени совета министров, подписанное Вивиани, заботливо разъясняло, что Жорес «в эти трудные дни... поддерживал своим авторитетом патриотическую деятельность правительства». Заключительный параграф звучал скрытой угрозой: «В момент серьезных затруднений, переживаемых родиной, правительство, рассчитывая на патриотизм рабочего класса и всего населения, надеется, что оно сохранит спокойствие и не станет увеличивать общественное возбуждение агитацией, которая могла бы вызвать беспорядки в столице». Как видно, правительство опасалось волнений... Какой-то хроникер рассказывал, что министр внутрен-

них дел Мальви, узнав в совете министров об убийстве, поспешил покинул Елисейский дворец и поехал в свое министерство, чтобы поддерживать связь с полицейской префектурой.

Впрочем, все газеты с единодушием, изобличавшим наличие определенной директивы, настаивали на необходимости объединиться и пользовались убийством, наперебой прославляя «пример», который «великий республиканец» дал перед смертью «своей партии», одобряя правительство за то, что, «предвидя возможность самых страшных событий, оно приняло необходимые меры предосторожности». Читая все эти рассуждения, можно было подумать, что этот только что замолчавший голос никогда не произносил ни единого слова, которое бы не было направлено на поддержку националистической политики Франции.

Маневр был тонкий и коварный. Противника раздавили, и теперь вёрхом ловкости было искусно завладеть трупом, превратить его в символ преданности правительству, использовать как оружие, и именно как оружие против обезглавленного социализма. «Неужели они дойдут до того, что постановят устроить ему торжественные официальные похороны?» — с отвращением спрашивал себя Жак.

Все эти намокшие от пара газеты он скатал в ком и, с яростью отшвырнув его подальше от себя, погрузился в теплую воду ванны.

«Смотреть событиям в лицо!» — решил он.

Армия «социал-патриотов» росла с такой быстротой, что борьба представлялась теперь невозможной. Журналисты, преподаватели, писатели, ученые, интеллигенция — все наперебой отрекались от независимой критики, чтобы проповедовать новый крестовый поход, возбуждать наследственную ненависть к врагу, восхвалять пассивное повиновение, подготавливать бесмысленное жертвоприношение. Даже в новых газетах самый цвет народных вождей, те самые, кто вчера еще с высоты своего авторитета заявлял, что этот чудовищный конфликт европейских государств только перенесет классовую борьбу на международную арену и явится крайним выражением инстинктов собственничества, наживы и конкуренции, — сегодня все они были, видимо, готовы отдать свое влияние на службу правительству. Правда, некоторые из них стыдливо бормотали еще какие-то сожаления: «Увы, наша мечта была слишком прекрасна...» Но все капитулировали, все оправдывали национальную оборону и уже побуждали веривших в них рабочих отбросить колебания и присоединиться к делу смерти. Их коллективная измена внезапно освободила поле действия для распространения лживых патриотических рассказней и грозила окончательно парализовать в неуверенных сердцах народных масс то слабое стремление к бунту, которое до сих пор в глазах Жака было единственной надеждой спасти мир.

«Да, — размышлял Жак с мучительным чувством бессилия, — удар был мастерски подготовлен... Война возможна лишь тогда, когда народ сделался фанатиком. Прежде всего надо мобилизовать

сознание, мобилизовать людей будет после этого нетрудно!» Ему вспомнился один митинг. Кто там говорил? Жорес? Или Вандервельде? Или какой-нибудь другой лидер, которого с жадностью, стремясь поверить ему, слушал народ? Однажды вечером, стоя на трибуне, оратор сравнил действия отдельных революционеров с работой прибрежных жителей, которые из поколения в поколение привозят тачки щебня и вываливают их на морском берегу. «Волны бушуют! — вскричал он. — Валы вздывают кучу пыли. Но каждая из этих тачек оставляет несколько тяжелых камней, которых не унести волне! И постепенно вырастает плотина! И неизбежно придет время, когда слои камней составят прочную дамбу, с которой уже не сможет справиться побежденный вал, — новую почву, по которой торжествующей поступью пройдут грядущие поколения!..» Благородные метафоры, возбудившие в тот день исступленный восторг слушателей! «Но что значат все эти жалкие усилия перед сегодняшим приливом?» — подумал Жак.

Он тотчас устыдился собственного малодушия: «Не поступать как все... Не позволять отчаянию обезоружить себя! Все делается непоправимым лишь тогда, когда лучшие в свою очередь отказываются от борьбы и склоняются перед мифом — перед неизбежностью событий! События — дело наших рук! Надеяться во что бы то ни стало! И действовать! Бороться до конца с тревожными мыслями, с предательской заразой паники! Еще ничего не потеряно!»

Он чувствовал себя до ужаса одиноким. Одиноким — потому, что он остался верен и чист. Одиноким, но как бы защищенным этим трагическим одиночеством. Как ни велико было его смятение, он знал, что он прав, что он защищает истину. Нет, никогда он не согласится на отступничество!

Не заходя к Женни, он побежал в «Humanité». В здании редакции в это утро все говорило о смерти.

Несмотря на ранний час, лестницы, коридоры были уже переполнены социалистами. На их взволнованных лицах лежал отпечаток двух чувств: скорби и уныния. Имя убийцы переходило из уст в уста: Рауль Виллен... Никто не знал его. Был ли это безумный маньяк? Или агент националистов? Кто вложил оружие в его руку? В полицейском комиссариате он не сумел дать никакого объяснения своему поступку. На листе бумаги, найденном у него в кармане, были написаны следующие таинственные строчки: «Отечество в опасности, надо строго карать убийц».

Стефани, как и все сотрудники газеты, провел ночь на ногах. Его лицо посерело. Маленькие черные глазки моргали, воспаленные от слез и бессонницы.

Человек десять социалистов теснились в его кабинете. Происходил горячий спор.

Утверждали, что фон Шен, германский посол, добиваясь от Франции обещания сохранить нейтралитет и отказать России в

войной поддержке, отважился в министерстве иностранных дел на неслыханное предложение: Германия брала на себя обязательство не вступать в войну с Францией в том случае, если французское правительство, в качестве гаранта своего нейтралитета, разрешило бы Германии занять крепости Туль и Верден на все время германской кампании против русских.

Некоторые, как, например, Бюро или Рабб, — таких, впрочем, было немного, — нерешительно намекали на то, что эта торговля в последний час все же являлась средством предохранить Францию от участия в конфликте. Но большинство присутствовавших довольно неожиданно оказалось защитниками франко-русского союза. Юный Жюмлен — его тон напомнил Жаку негодующие взгласы Манюэля Руа — возмущенно вскричал:

— В истории еще не было случая, когда Франция отказалась бы выполнить взятые на себя обязательства!

Бюро вскочил с места.

— Простите, — сказал он, — давайте не будем уклоняться от истины... Присмотритесь внимательнее к последовательности фактов, сравните даты мобилизаций! Я готов даже оставить в стороне то, что нам известно о военных приготовлениях России, которые давно уже начаты и деятельно продолжаются, несмотря на все усилия Франции. Будем сейчас говорить только об официальных приказах о мобилизации. Так вот, указ царя был подписан третьего дня, в четверг после двенадцати часов дня, — и это несмотря на грозное предостережение Германии, которая заранее и совершенно определенно заявила, что русская мобилизация означает войну. Третьего дня, в четверг! Дальше... Франц-Иосиф подписал свой приказ о мобилизации только вчера, в пятницу, незадолго до полуночи. Затем, вчера же, но несколькими часами позже, Германия объявила *Kriegsgefahr*, что все же не равносильно всеобщей мобилизации. Вот точная хронология событий... И это ни для кого не секрет, — добавил он, вынимая из кармана газету. — Даже такой правительственный орган, каким является «*Matin*», признает, что всеобщая русская мобилизация *предшествовала* всеобщей австрийской мобилизации. Факт налицо! И это важный факт! В глазах будущих историков он будет иметь существеннейшее значение. Россия бесспорно должна считаться государством-аггрессором!.. Так вот, — продолжал он после паузы и подчеркивая каждое слово, — я не меньше чем кто бы то ни было забочусь о чести французов. Но я считаю, что эти установленные факты позволили бы сегодня Франции отказать России в своей помощи, нисколько не нарушая взятых на себя обязательств! Больше того: я считаю, что отказ солидаризироваться с государством-аггрессором явился бы для нашего правительства удобным случаем доказать, — доказать блестяще, неопровергимо, — что оно никогда не хотело войны.

Наступило молчание, в котором чувствовался внезапный проблеск надежды,

Даже Жюмлен не находил никаких возражений. Однако он не любил признавать себя неправым и переменил тему разговора:

— Обязательства, взятые на себя Францией... Да известны ли нам эти обязательства? Кто знает в точности, какие новые обязательства от имени Франции подписал Пуанкаре за последние два года под давлением Извольского?

— А что ответил министр? — спросил Жак. — Предложение Шена было, разумеется, принято министерством иностранных дел за «ловушку»? Это постоянный припев французской дипломатии!

— Если не за ловушку, — поправил его Кадье, который кичился своей осведомленностью, — то во всяком случае за скрытую провокацию: за своего рода ультиматум.

— С какой же целью?

— Да чтобы вынудить Францию высказаться немедленно! Всем известно, что план кампании германского генерального штаба состоит в том, чтобы с самого начала одержать на французском фронте решительную победу, которая позволит ему перенести затем усилия на восточный фронт. Поэтому Германии важно напасть на Францию как можно скорее. Отсюда и исходит желание немцев втянуть Францию в войну до того, как начнутся сражения на германо-русском фронте!

Стевани уже несколько минут проявлял нетерпение. Его звучный голос положил конец спору:

— Черт возьми, все вы рассуждаете так, словно война уже объявлена или будет объявлена сию минуту! И это в такой момент, когда союз французских и немецких социалистов готовится стать крепче, чем когда-либо! Когда приезд Мюллера, который сегодня вечером будет среди нас, позволяет, наконец, рассчитывать на общее, немедленное, решительное выступление!

Все замолчали. Тень Жореса с минуту реяла в комнате. Стевани сказал то, что сказал бы патрон. В самом деле, официальная посылка в Париж делегата социал-демократов, чтобы наперекор правительствам скрепить договор о мире между народами, — не было ли это при настоящем положении вещей фактом беспрецедентным, фактом, который действительно давал основания надеяться на все?

— Что за молодцы эти немцы! — вскричал Жюмлен. И его юношеская вера, без всякого перехода сменившая крайний пессимизм, явилась яркой иллюстрацией всеобщей растерянности.

Появление Реноделя изменило направление разговора.

Он был бледен, лицо его опухло, взор блуждал. Он провел ночь, бодрствуя у тела своего друга.

Он пришел на заседание бюро Социалистической федерации Сены, которое было назначено на сегодняшнее утро в «Humanité», чтобы срочно обсудить положение, создавшееся в партии после потери ее вождя, и хотел предварительно побеседовать со Стевани по поводу возвзвания, только что выпущенного Объединением профсоюзов. Он утверждал, что в Лионе, Марселе, Тулузе, Бордо,

Нанте, Руане, Лилле — повсюду организуются новые манифестации. «Нет, нет, — повторял он, сжимая кулаки, — еще рано отчаяваться!»

Их оставили вдвоем. И Жак, после тщетной попытки увидеть Галло — в кабинете его не оказалось — вышел из редакции: ему хотелось, прежде чем пойти к Женни, посмотреть, какова атмосфера в анархистских кругах, и зайти в «*Libertaire*».

Но на площади Данкур он столкнулся с братьями Кошуа, двумя рабочими-каменщиками, завсегдатаями «*Libertaire*», и они убедили его не ходить дальше.

— Мы только что оттуда. Там никого нет. Товарищи настороже. Полиция шныряет. Зачем самому лезть к ней в лапы?

Жак немного проводил их. Они шли сами не зная куда, без цели. Сегодня они бросили свою стройку «из-за всего этого».

— Ну, а ты что скажешь об их войне? — спросил старший — высокий рыжий малый в веснушках. Черты лица были у него довольно грубые, но во взгляде светло-голубых глаз светилась в это утро какая-то необычная мягкость.

— Ему на это наплевать, он швейцарец, — отрезал младший. (Несмотря на то, что они не были близнецами, он был точной копией своего брата, — но так, как законченная статуя напоминает свой первоначальный набросок.)

Жак счел излишним пускаться в объяснения.

— Нет, мне не наплевать, — сказал он мрачно.

Младший охотно согласился:

— Ну, понятно. Но все-таки это другое дело. Вот попади ты в ту же кашу, что и мы...

Старший, который, как видно, немного выпил, чтобы отпраздновать этот неожиданный отдых, оказался более словоохотливым:

— С нами дело обстоит просто. Тот, у кого нет ничего, кроме собственной шкуры, держится за нее!.. Спору нет — при случае и мы могли бы сложить головы за свои убеждения. Но за убеждения социал-патриотов, дудки! Пусть идут те, кому это нравится! Наше отчество там, где можно спокойно работать. Верно, Жюль?

Младший недоверчиво посвистывал.

— Но как же? — спросил Жак. — Если все-таки будет мобилизация, вы... что вы будете делать? (Он думал о себе. Его ответ на вопрос Антуана был совершенно искренен. Он не знал. Он будет отчаянно бороться. Но где? И с кем? И как?.. Впрочем, он не разрешал себе думать об этом: это уже значило бы сомневаться в возможности сохранения мира.)

Младший украдкой взглянул на старшего и, словно опасаясь как бы тот не начал болтать, поспешно ответил:

— Нам идти только на девятый день. Времени много,увидим.

Но старший не заметил предостережения брата. Он нагнулся к Жаку и понизил голос:

— Знаешь ты Сайявара? Нет? Рябого? Сайявар родом из Пор-Бу.<sup>1</sup> Понимаешь? Он знает испанскую границу наизусть, как мы улицы Менильмюша...<sup>2</sup> — Он таинственно подмигнул. — Говорят, Испания, если даже и будет война, все равно останется нейтральной. Там свободно: ничто не помешает тебе по-человечески заработать свой кусок хлеба. А работы мы не боимся. Верно, Жюль?

Младший исподлобья взглянул на Жака. Его голубые глаза сверкнули металлическим блеском. Он проворчал:

— Не вздумай проболтаться об этом!

— Будь покоен, — сказал Жак, пожимая им руки.

Он задумчиво посмотрел им вслед и отрицательно покачал головой.

«Нет, только не это... Это не для меня... Бежать в нейтральную страну — да, иногда это может иметь свое оправдание. Но бежать для того, чтобы «спокойно работать» и «зарабатывать свой кусок хлеба», в то время как другие... Нет! — Он сделал несколько шагов и снова остановился: — Но в таком случае — что же, что?»

## LXV

Анна решительным шагом подошла к телефону. Она хотела уже снять трубку, но вдруг ей пришло в голову: «Это глупо. Двадцать минут двенадцатого; он еще в больнице... Что, если я поймаю его у выхода? Там он не ускользнет от меня».

Она вспомнила, что отпустила шофера на все утро. Чтобы не терять ни минуты, а главное — чтобы не томиться ожиданием, она сразу, как только оделась, вышла из дома и вскочила в такси.

— На улицу Севр! Я скажу, где остановиться.

Привратник больницы не заметил, чтобы доктор Тибо выходил.

Анна бросила взгляд на автомобили, стоявшие вдоль тротуара. Машины Антуана среди них не было. Но он мог поставить ее во дворе, и, кроме того, он не всегда выезжал по утрам на собственной машине.

Она снова села в такси. Прильнув грудью к стеклу, она следила за всеми, кто входил в главный подъезд и выходил из него. Без пяти двенадцать... Двенадцать... На башенных часах пробило двенадцать ударов, и в ответ на это почти сейчас же зазвонил колокол ближайшей церкви. Поток служащих, санитарок хлынул на тротуар.

<sup>1</sup> Испанский городок, пограничная станция на железнодорожной линии Перпиньян — Барселона.

<sup>2</sup> Фамильярное наименование Менильмонтана, одного из рабочих предместий Парижа.

Вдруг ее лоб стал влажным от пота. Она вспомнила, что существует другой выход — в переулок. Она торопливо вышла из такси и пошла пешком, предупредив привратника, чтобы он задержал доктора, если тот выйдет.

Тротуар был узкий, запруженный спешившими людьми. По мостовой ехали автомобили, грузовики... Адский шум многолюдных улиц... У нее закружилась голова, и она остановилась. В висках у нее стучало. Она закрыла глаза и хладнокровно спросила себя, не лучше ли было бы умереть? Но сейчас же взяла себя в руки, как лунатик двинулась вперед, дошла до подъезда, до привратницкой.

— Доктор Тибо? Да, да, он уже ушел из больницы, только что...

Она ничего не ответила, не поблагодарила и, как фурия, выскочила из подъезда. Что делать? Еще раз позвонить на Университетскую улицу? (Она несколько раз звонила в течение вчерашнего дня. Она позвонила и сегодня, сразу после ухода Антуана. По крайней мере так сказал ей Леон. «Так рано?» — спросила она. Но говорил ли он правду? В четверть восьмого?..)

Она снова вошла в привратницкую.

— Нельзя ли позвонить по телефону? У меня срочное дело.

Линия была перегружена. Пришлось ждать. Наконец она добилась, чтобы ее соединили.

— Господина Антуана нет дома. Он предупредил, что не вернется к завтраку.

У Леона был самый безразличный тон. Теперь Анна ненавидела его. Она не могла больше выносить этот вежливый, тягучий голос, постоянно встававший между Антуаном и ею, ставивший препятство этому непосредственному, живому, почти физическому соприкосновению, которое она вымаливала на другом конце провода.

Не сказав ни слова, она повесила трубку и снова очутилась на тротуаре. «Ладно, все равно! Я поеду туда.. Я увижу, лгут они мне или нет!»

Прежде всего надо было вернуться в свое такси. Она побежала, пробираясь сквозь толпу, в бешенстве, что уступает этой подхлестывавшей ее страсти, но не в силах противостоять ей.

— Университетская улица, четыре-а.

Еще издали заметив свежевыкрашенный фасад, шторы, ворота, она вдруг почувствовала себя скованной страхом. Она представила себе, как Антуан, потревоженный во время завтрака, выходит из глубины прихожей с салфеткой в руке, высокоомерно глядя на нее. Что она скажет ему? «Тони, я люблю тебя»? Ее внезапно охватил ужас перед ним, перед его нахмуренными бровями, решительным подбородком, перед раздраженным и жестким взглядом, который так живо рисовался ей.

Может быть, написать ему?

— Остановите... На углу, вот там... У почтового отделения. Она попросила бланк пневматички и наскоро написала:

Я должна тебя видеть, Тони, всего на одну минуту. Когда угодно, где угодно. Позвони мне. Я жду. Я должна тебя видеть, мой Тони.

Эту фразу она повторяла себе не переставая: «Я должна его видеть». Она была уверена, что если увидится с ним, хотя бы на одну минуту, то найдет слова, чтобы удержать его, чтобы снова завладеть им.

Она опустила письмо в ящик и убежала, стыдясь самой себя.

Когда письмо прибыло на Университетскую улицу, Антуан еще сидел за столом.

— Да нет, я верю вам, дорогой мой, — сказал он Руа, когда юноша с разгоревшимся лицом рассказал ему о шовинистических манифестациях, в которых он принимал участие накануне вечером. — У меня слишком много оснований вам верить! Мы наблюдаем сейчас бурную вспышку патриотизма... Только знаете, что мне напоминают эти славные юнцы, которые разгуливают по бульварам, желая доказать, что они одобряют войну?..

Леон вручил ему письмо. Антуан узнал почерк. Взгляд его омрачился.

— Они напоминают мне рекламу, которую я видел на стенах парижских домов, когда был еще мальчишкой... — Продолжая говорить, он, не глядя, надорвал письмо. Наконец он взглянул на бумагу, тотчас разорвал ее на мелкие клочки и закончил фразу: — На картинке было изображено стадо гусей... Они криками приветствовали повара, вооруженного длинным острым ножом... И надпись: «Да здравствует страсбургский пирог!» — Он бросил в тарелку обрывки письма и замолчал.

Между ним и Анной не произошло никакого объяснения. Просто со времени своей встречи с Симоном Антуан упорно избегал всякого посещения, всякого свидания, всякого телефонного разговора. Эта уклончивость, совсем ему не свойственная, не была преднамеренной, он сам страдал от нее, так как во всем любил ясность. Он намеревался решительно поговорить с Анной. Он даже думал об этом разговоре по несколько раз в день — каждый раз, когда Леон, опустив глаза, встречал его неизменной формулой: «Вам звонили по телефону». Но часы следовали один за другим, изнуряющие часы, и в те редкие минуты, когда Антуан убегал от своих профессиональных занятий, он с тревогой углублялся в чтение газет или же с болезненной готовностью позволял завладевать собой всем тем, кого он встречал и кто, как и он, не мог больше ни говорить, ни думать ни о чем, кроме войны. По временам он удивлялся, что испытывает теперь только враждебное равнодушие к женщине, которую ему не в чем было упрекнуть и которая, как бы то ни было, еще неделю назад занимала такое большое место в его жизни.

Он считал свой случай из ряда вои выходящим. Он не подозревал, что подчиняется общему закону. Дрожь, сотрясавшая Европу, пошатнула все личное; искусственные узы, соединявшие людей, ослабевали, рвались сами собой; ветер, предвестник грозы, проносиившийся над миром, срывал с веток подточенные червем плоды.

## LXVI

Еще не было двенадцати, когда Жак вернулся на улицу Обсерватории.

Женни не ждала его так рано. Она смущенно призналась, что проспала до девяти часов. Все утро она жадно читала газеты, отыскивая хоть какие-нибудь известия об Австрии. Голос ее начинал дрожать, как только она заговаривала о судьбе матери, задержанной в Вене. Она встала и прошлась по комнате, закрыв лицо руками.

Он не знал, что сказать, чтобы, не солгав, успокоить ее. Тяжесть событий увеличивалась для него этим беспомощным, таким близким ему отчаянием; и ко всем прочим основаниям бороться за находившийся под угрозой мир у него прибавилось сейчас ребяческое желание избавить Женни от ее тревоги.

— Сядьте, — сказал он. — Не стойте так, с таким несчастным лицом... Я не могу этого видеть, дорогая... Ничего еще не потерино!...

Верить ему — большего она не желала. Чтобы успокоить ее, он улыбнулся. Он с жаром заговорил о полномочиях Мюллера, об упорных надеждах Стефани. Он начал и сам увлекаться своей игрой. Он даже сказал ей с почти искренним воодушевлением:

— Может быть, это даже хорошо, что опасность стала теперь такой очевидной, такой всеобщей. Ведь все зависит сейчас от решительного поворота общественного мнения, который необходимо вызвать!

— Да, — произнесла она с неподвижным взглядом.

Она нервно поднялась с места и подошла поправить штору; движения ее были так порывисты, что шнур остался у нее в руках.

Он подошел к ней, обнял за плечи, прижал к себе.

— Послушайте, успокойтесь, взгляните на меня... Мне здесь так хорошо. Я прихожу сюда немного передохнуть, набраться сил. Вы нужны мне. Мне нужно, чтобы вы верили!

Выражение ее лица сейчас же изменилось, и она храбро улыбнулась.

— Ну вот и отлично! Теперь наденьте шляпу, я поведу вас завтракать.

— Давайте позавтракаем здесь! — предложила она с удивившим его непривычным оживлением. — Это было бы так приятно. У меня есть яйца, немного персиков, чай.

Он согласился.

Обрадованная, она побежала зажигать газовую плиту. Жак пошел на кухню вслед за ней. На минуту отвлекшись от своей навязчивой идеи, он смотрел, как она расстилает на столе скатерку, симметрично расставляет приборы, кладет в масленку масло розочками, суетится с той серьезностью, какую хорошие хозяйки вносят в самые мелкие домашние дела. Как гибки и естественны были все ее движения! Любовь победила ее напряженность, выпустила на волю ту женственную прелесть, которая до сих пор сковывалась в ней каким-то тайным принуждением.

— Наш первый завтрак, — проговорила она почти торжественно, ставя на стол яичницу.

Они уселись друг против друга, как старые товарищи. Она была весела; он старался быть таким же, но лоб его продолжал хмуриться. Она украдкой наблюдала за ним. Он заметил это и улыбнулся:

— Здесь хорошо.

— Да, — сказала она убежденно. — Нам так необходимо теперь быть вместе!

Он опустил глаза. Внезапно он подумал о будущем, и его охватил ужас.

Завтрак продолжался в молчании, и им никак не удавалось его нарушить. По временам Жак окидывал девушку долгим, нежным взглядом и, не находя слов, чтобы выразить то, что он чувствовал, протягивал руку и клал ее на несколько секунд на руку Женни.

Она страдала, видя его таким молчаливым. За последние дни в ней произошла резкая перемена: впервые в жизни, вопреки своей натуре, вопреки длительной привычке прятаться в свою раковину, ей захотелось иметь возможность говорить о себе. Часы, когда она оставалась одна, были нескончаемым монологом, обращенным к Жаку, монологом, в котором она тщательно анализировала себя перед ним, без снисхождения открывала ему все недостатки своего характера, все свои возможности и их пределы. Ибо ее преследовал страх, что он идеализирует ее и может горько разочароваться, когда узнает ближе.

После того как в вазе больше не осталось персиков, она заставила Жака сложить свою салфетку и дала ему кольцо Даниэля. Затем взяла его за руку, как, бывало, брала брата, и повела в свою комнату.

Проходя мимо гостиной, дверь в которую была приоткрыта, он заметил рояль, освещенный в этот момент солнечными лучами... Он остановился и сказал, уступая внезапному побуждению:

— Женни, сыграйте мне... знаете... ту вещь... Ту вещь, которую вы играли... когда-то.

— Какую?

Она отлично понимала, какую. Но ее охватила дрожь при этом мучительном напоминании об их лете в Мезон-Лафите.

— О, Жак!.. Только не сегодня...

— Сегодня!

Она отворила дверь, подошла к роялю и покорно начала *Третий этюд Шопена*, напоминавший ему один из самых смятенных, самых безнадежных вечеров его жизни.

Скрестив руки, он стоял в тени позади нее, чтобы она не могла его видеть. Время от времени он смыкал веки, стараясь сдержать слезы, и с изнемогающим от нежности сердцем слушал, как дрожит в тишине эта песнь тоскующего блаженства. После заключительных нот она поднялась с места, выпрямилась, отступила на шаг и, остановившись возле Жака, прижалась к нему.

— Простите меня, — шепнул он ей на ухо незнакомым ей тихим и страдальческим тоном.

— За что? — спросила она с испугом.

— Мы могли быть так счастливы, и так давно уже...

Она вздрогнула и быстро зажала ему рот рукой.

Стеклянная дверь была открыта. Женни мягко увлекла его на балкон. Вершины деревьев бульвара образовывали под ними плотный зеленый ковер, откуда время от времени доносились, словно чириканье стаи воробьев, крики невидимых детей. Вдали виднелась зелень Люксембургского сада, покрытая уже тем бронзовым налетом, который предвещает близость осенней ржавчины.

Жак безучастно смотрел на сияющую панораму, раскинувшуюся перед ними. «Мюллер, должно быть, уже выехал из Брюсселя», — подумал он. Он не мог думать ни о чем другом.

Женни, стоявшая подле него, мечтательно прошептала:

— Я знаю каждое дерево... А под этими деревьями знаю каждую скамью, цоколь каждой статуи... В этом саду все мое детство... — Помолчав, она добавила: — Я люблю вспоминать... А вы?

— Нет, — ответил он резко.

Она быстро повернула голову, бросила на него опечаленный взгляд и заметила осуждающим тоном:

— Даниэль тоже.

Он почувствовал, что должен объяснить ей; он сделал над собой усилие.

— Для меня прошлое есть прошлое. Каждый прожитый день падает в черную яму. Мои глаза всегда были устремлены в будущее.

Его слова задели ее больнее, чем она решилась бы себе в этом признаться: настояще для нее значило мало, а будущее не значило ничего; вся ее внутренняя жизнь почти исключительно питалась воспоминаниями.

— Этого не может быть. Вы говорите так, чтобы показаться оригинальным!

— Показаться оригинальным?

— Нет, — сказала она, краснея. — Я не то хотела сказать. — Она на минуту задумалась. — Не испытываете ли вы по временам потребности... обманывать ожидания людей? Разумеется, не для

собственного удовольствия. Но, может быть, для того... чтобы легче ускользнуть от них... Нет?

— Как это — ускользнуть? — Он подумал и признался: — Да, пожалуй... Вы правы, для меня невыносимо чувствовать, что у людей есть обо мне сложившееся мнение. Они словно пытаются ограничить мои возможности, наложить запрет на мою мысль. И тогда, да, может быть, мне и случается умышленно сбивать их с толку: просто для того, чтобы избавиться от этого насилия.

Он заметил, что Женни заставила его оглянуться на себя, чего он, конечно, не сделал бы сам, и был ей благодарен за это. Он упрекнул себя за то, что оскорбил ее чувство, рисуясь своим глупым пренебрежением к сентиментальным воспоминаниям. Он крепче прижал ее к себе.

— Я огорчил вас. Как это глупо!.. Но нервы сейчас так напряжены... — Вдруг он улыбнулся. — А кроме того, чтобы уменьшить мою вину, давайте скажем, что Женни... чрезмерно чувствительная девочка!

— Да, это правда, — сейчас же согласилась она, — чрезмерно чувствительная! — С минуту она сосредоточенно думала. — Я чувствительна, но тем не менее я вовсе не добрая.

Он улыбнулся.

— Нет, нет... Я хорошо знаю себя! Я часто поступаю так, что может показаться, будто я добрая, но в действительности это не так: я просто подчиняюсь рассудку, силе воли, чувству долга... Я совершенно лишена настоящей доброты — природной, стихийной, бессознательной... Доброты, какая есть, например, у мамы... — Она чуть не добавила: «У вас». Но не сказала этого.

Он бросил на нее удивленный взгляд. Что-то в ней как будто внезапно отгородилось от него каменной стеной. Никогда Женни не бывала в его глазах более таинственной, чем в те минуты, когда она вслух анализировала себя. Тогда лицо ее застывало, взгляд делался жестким, и Жаку казалось, что он теряет связь с ней, что перед ним какое-то окаменевшее, сопротивляющееся, замкнутое существо — загадка, секрет которой задевал его мужское самолюбие.

Он проговорил серьезно:

— Женни, вы словно остров... Радостный остров, залитый солнцем... но недосягаемый!..

Она вздрогнула.

— Зачем вы говорите это? Вы несправедливы!

Какое-то мрачное дуновение прошло между ними, и она почувствовала леденящий холод. Несколько мгновений оба молчали, стоя рядом, наклонившись над перилами балкона, отдаваясь каждый своим непроницаемым мыслям, своим тревогам.

Два удара, медленные, отдаленные, раздались на башенных часах сената. Он посмотрел на свои и выпрямился.

— Два часа! — И, повинуясь своей навязчивой идеи, добавил: — Мюллер уже в пути.

Они вернулись в комнату. Он не предложил ей идти с ним, и она не заговаривала об этом. Тем не менее это настолько подразумевалось само собою, что он не удивился, когда, убегая в свою комнату, Женни сказала:

— Одну минутку... Я сейчас буду готова.

В «Humanité», куда Жак решился зайти вместе с Женни, он прежде всего осведомился у Рабба, которого они встретили на лестнице, что было сделано в связи с предстоящим приездом германского делегата. Мюллера ждали с бельгийским поездом, который прибывал в Париж в начале шестого. Чтобы принять его, в одном из залов Бурбонского дворца было назначено на шесть часов вечера совещание социалистической фракции. Предполагали, что это совещание, ввиду его особой важности, затягивается до поздней ночи.

— Мы все пойдем встречать его на Северный вокзал, — добавил старый революционер.

— И мы тоже, — сказал Жак, наклоняясь к Женни.

Северный вокзал! В одну секунду в ее воображении ожили все подробности первой встречи с Жаком, преследование в переходах метро, скамейку в сквере Сен-Венсан-де-Поль... Она взглянула на него в наивной уверенности, что он тоже думает об этом. Но он стоял, повернувшись к Раббу. Он спрашивал у него, какие решения были приняты утром, на заседании социалистической Федерации.

— Никаких, — буркнул старик. — Члены бюро разошлись, ничего не решив. У партии больше нет вождя!

В различных отделах редакции было полно народу. Пажес, Кадье и еще несколько человек спорили в кабинете у Галло.

Распространился слух, что со времени объявления Kriegsgefahrzustand французский генеральный штаб осаждает правительство, добиваясь немедленного приказа о мобилизации. Говорили, что он должен был появиться не позднее чем через час. Пажес уверял даже, что приказ был подписан Пуанкаре еще в полдень, — так сказал один военный писарь, служивший в канцелярии генерала Жоффра.<sup>1</sup> Но Кадье, который только что пришел с Ке д'Орсе, утверждал, что это известие ложно.

— Я знал бы об этом, — уверенно заявил он.

Основным предметом беспокойства в министерстве иностранных дел была сейчас, по его словам, позиция английского правительства. Некоторые политики вроде Кайо, видимо, хотели добиться от лидеров Французской социалистической партии обращения к Кир-Харди, которое побудило бы Английскую социалистическую партию отказаться от проповеди нейтралитета Англии. С другой стороны, Пуанкаре, будто бы по собственной инициативе, написал личное письмо Георгу V, убеждая Англию объявить себя сторонницей

<sup>1</sup> Жоффр, Жозеф (1852—1931) — с 1911 г. вице-председатель военного совета, в 1914—1916 гг. главнокомандующий французской армией.

Франции, ибо английское вмешательство было последним шансом сохранить мир.

— Когда написано это письмо? — спросил Жак.

— Вчера.

— Понятно! Когда Пуанкаре уже знал, что Россия официально объявила мобилизацию и что война неизбежна!

Никто не подхватил этой темы.

Утренняя телеграмма, видимо официальная, заявляла, что французский и английский штабы поддерживают между собой непрерывный контакт и что у них есть «согласованный план действий». Имелись ли в виду военные действия? Из официозных источников было известно, что Англия отдала приказ своему флоту следить за проливом; что торговым судам был запрещен вход в военные порты; что английская артиллерия уже занимала крепости, находившиеся в этих портах, и что все маяки побережья получили распоряжение не зажигать сегодня вечером огней.

Вошел Марк Левуар.

Он передал содержание новой беседы Вивиани с фон Шеном. Председатель совета министров будто бы сказал так: «Германия мобилизуется. Мы это знаем». И так как посол молчал, Вивиани будто бы добавил: «Поведение Германии диктует нам наше поведение... Во всяком случае, чтобы доказать до конца и перед лицом всех наше неуклонное желание сохранить мир, генерал Жоффр отдал всем нашим войскам приказ отойти от границы не менее чем на десять километров. Если при этих условиях все же произойдет какой-нибудь инцидент, это будет значить, что вы сами хотели его вызвать!»

Пажес, имевший связи в военном министерстве, тотчас же все разъяснил. По его словам, это мероприятие Франции не имело существенного значения. Оно ничем не могло повредить плану кампании, разработанному французским генеральным штабом, и являлось лишь чисто внешней жертвой, якобы принесенной для сохранения мира. В кругах, близких к министру Мессими,<sup>1</sup> говорил он, не скрывают, что это кратковременное отступление — всего лишь ловкий дипломатический ход, способ поразить общественное мнение Европы и в особенности Англии.

— Я готов поверить, — сказал Жак, — что их целью является также добиться присоединения Англии... Но основная цель состоит, по-моему, в том, чтобы поймать в свои сети нас — нас, пацифистов! Это способ обмануть нас, завоевать наши симпатии, добиться от нас оправдания! Это благовидный предлог, который они подсовывают нам, чтобы мы могли с чистой совестью признать военную власть, чей первый шаг так мало агрессивен. Я уже предвижу, что мы прочтем завтра в оппозиционных газетах!

Галло, продолжавший, несмотря на шум разговора, разбирать бумаги, внезапно высунул заросшее колючей щетиной лицо из-за кучи папок.

<sup>1</sup> Военный министр накануне и в начале первой империалистической войны.

— И доказательство — та торопливость, настойчивость, с какими правительство официозным путем сообщило об этом мероприятии лидерам партии еще до того, как его принял!

Его злобный тон, так хорошо гармонировавший с его внешностью, с его худощавой фигуркой и обликом зябкого чинуши, часто заставлял думать, что он ошибается даже и в тех случаях, когда он бывал прав. Но на этот раз Жак заметил, что гневу не удалось изгнать из глаз Галло выражение глубокой грусти, которое делало его трогательным, несмотря на безобразие.

Группа молодых социалистов ворвалась в кабинет. До них дошел слух, будто процессия Лиги патриотов направилась к площади Согласия, чтобы пройти перед статуей Страсбурга.

— Пойдем? — предложил Пажес.

Все вскочили. (В действительности они, по-видимому, не столько горели желанием вызвать столкновение и отомстить за смерть Жореса, сколько рады были возможности ухватиться за этот случай и, наконец, сделать «что-то».) Женни угадала, что, несмотря на желание примкнуть к ним, Жак колеблется из-за нее.

— Пойдемте, — сказала она решительно.

## LXVII

Слегка закрытое туманом, но жгучее солнце давило на череп и делало воздух в центре Парижа невыносимо душным. Горожане, с каждым днем все более взбудораженные и раздраженные, как мухи, этой грозовой температурой, не покидали улиц. У дверей банков, сберегательных касс, полицейских комиссариатов, муниципальных учреждений стояли взволнованные группы, и полицейские тщетно пытались рассеять их мирным путем. Выкрики газетчиков, покрывая глухое гудение толпы, окончательно расшатывали нервы.

Подножие памятника Жанне д'Арк на площади Пирамид было разукрашено цветами, точно катафалк. Под аркадами улицы Риволи вереницы пешеходов спешили в обоих направлениях. Почти во всех магазинах витрины были закрыты. На мостовой было не меньше экипажей и машин, чем в самые оживленные дни зимнего сезона. Зато Тюильрийский сад был пуст, если не считать взводов конной жандармерии, которые стояли там в резерве, — в тени деревьев, где блестели движущиеся крупы лошадей, вспыхивали отблески касок.

Сообщение о манифестации было, как видно, ошибочно: площадь Согласия выглядела как обычно. Там даже не было прервано движение. Правда, небольшой отряд полицейских на всякий случай преграждал доступ к статуе Страсбурга, цоколь которой тоже исчезал под венками, украшенными лентами национальных цветов.

Обманутая в своих ожиданиях, маленькая когорта, пришедшая из «Humanité», рассыпалась. Жак и Женни влились в толпу улицы Ройяль,

— Половина пятого, — сказал Жак. — Идемте встречать Мюллера. Вы не устали? Мы могли бы дойти до Северного вокзала пешком, бульварами.

Вдруг, как раз в тот момент, когда они выходили на площадь церкви св. Магдалины, оглушительный шум заполнил пространство: большой церковный колокол отбивал, все время на одной ноте, громкие удары, отчетливые, гулкие, торжественные.

Люди, застыв на месте, некоторое время с изумлением смотрели друг на друга. Затем все побежали в разные стороны.

Жак схватил Женни за руку.

— Что это? Что это такое? — пробормотала она.

— Началось, — проговорил кто-то возле них.

Вдали дрогнули другие колокола: в церкви св. Августина, Успения, св. Людовика Антенского, св. Роха. И в одну минуту грозовое небо стало похоже на бронзовый купол, в который со всех сторон били однообразные, упорные удары, зловещие, как похоронный звон.

Женни не понимала в чем дело. Она повторяла:

— Что это? Куда все бегут?

Ничего не отвечая, Жак увлек ее на мостовую, которую сотни людей переходили во всех направлениях, не обращая внимания на экипажи и машины.

Перед почтовым отделением на площади св. Магдалины образовалась толпа, которая росла на глазах. К стеклу только что приклеили изнутри лист белой бумаги. Но Жак и Женни, стоявшие слишком далеко, не могли разобрать, что было на ней написано. Люди бормотали: «Началось... Началось...» Стоявшие в первых рядах застывали на месте, ошеломленные, подняв голову к объявлению, и читали его, как бы с трудом разбирая слова, напрягая все свое внимание. Затем они оборачивались с потухшим взглядом, со вспотевшими, расстроенным лицами; одни молча, опустив голову, ни на кого не глядя, пробивали себе дорогу и исчезали; другие, напротив, с влажными глазами качали головой и уходили с каким-то сожалением, ловя дружеский взгляд и приглушенным голосом бормоча какие-то слова, ни у кого не находившие отклика.

Наконец Жак и Женни тоже смогли приблизиться к окну. На маленьком квадратном листке, приkleенном к стеклу четырьмя розоватыми облатками, чей-то безличный почерк, старательный, женский, вывел три строчки, тщательно подчеркнутые по линейке:

#### ВСЕОБЩАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ

Первый день мобилизации — воскресенье 2 августа

Женни прижала к груди руку Жака, просунутую под ее локоть. А он стоял неподвижно. Как и все кругом, он думал: «Началось!» Мысли быстро чередовались в его голове. Он был удивлен, что в конце концов не так уж сильно страдает. Не будь набата, который каждую секунду, словно ударами молота, отдавался в его мозгу, он, может быть, даже почувствовал бы какую-то нервную разрядку,

нечто вроде физического облегчения, которое сейчас, в конце этого грозового дня, наверное пришло бы к нему с первой же каплей дождя... Ложное успокоение, длившееся всего лишь миг. Словно у раненого, который сначала не почувствовал удара, но чья рана вдруг открылась и начала кровоточить... Острая боль внезапно пронзила его, и Женни услышала, как хриплый вздох вырвался из его стиснутых зубов.

— Жак...

Ему не хотелось говорить. Он дал ей вывести себя из толпы. На краю тротуара стояла свободная скамейка. Они молча сели. Поверх голов теснившихся людей, этой волны, все приливавшей и приливавшей, они видели на стекле белое объявление и не могли оторвать от него глаз.

Итак, в течение всех этих недель он жил, ни минуты не сомневаясь в торжестве справедливости, человеческой правды, любви, — не как мечтатель, жаждущий чуда, а как физик, ожидающий результатов безошибочного опыта, — и все рухнуло... Позор! Холодная и презрительная ярость душила его. Никогда еще он не чувствовал себя таким униженным. Не столько возмущенным или удрученным, сколько пристыженным и оскорбленным: оскорбленным осуждением воли народа, неизлечимой посредственностью человека, бессилием разума!.. «А я? — подумал он. — Что делать теперь?» Внезапная вспышка озарила его сознание, и он углубился в тайники своего одинокого «я». Он искал там ответа, лозунга, путеводной нити. И не мог не поддаться чувству какого-то панического страха перед собственной неуверенностью.

Женни не прерывала его молчания. Она смотрела на все окружающее с любопытством и ужасом. Она довольно смутно представляла себе, что такое мобилизация, что такое война. Она сейчас же подумала о матери, о Даниэле, а главное — о Жаке. Но, за недостатком воображения, опасности, которым подвергались все эти дорогие для нее существа, казались ей неопределенными и неясными.

Словно вторя тревожным мыслям Жака, она вполголоса спросила его:

— Что вы собираетесь делать?

Ее голос звучал спокойно и твердо. Жак успел подумать: «Как хорошо она держится...»

Но у него не хватило мужества ответить. Он отвел глаза и вытер лоб.

— Пойдемте все-таки на вокзал, — сказал он, поднимаясь с места.

Весь день, сидя в глубоком кресле у телефона, Анна тщетно ждала звонка Антуана. Она двадцать раз готова была снять трубку. Нервы ее были напряжены до предела, но она решила ждать, не звонить первой. Развернутая газета валялась у ее ног. Она пробежала ее с раздражением. Что значил для нее весь этот вздор — Австрия, Россия, Германия?.. Сосредоточив все мысли

на себе, она, словно одержимая, беспрерывно воображала сцену, которая произойдет у нее с Антуаном у них, в их комнате на Ваграмской улице, без конца добавляя новые подробности, новые возражения, новые упреки, все более и более оскорбительные и на минуту смягчавшие ее горькую обиду. Потом она внезапно забывала свой гнев, просила у него прощения, обнимала его, увлекала к постели...

Вдруг она услышала в нижнем этаже хлопанье дверей, беготню. Она машинально посмотрела на часы: без двадцати пять. Дверь стремительно распахнулась, и появилась горничная.

— Сударыня! Джо видел приказ о мобилизации! Его только что вывесили на почте! Война!

— И что же? — спросила Анна ледяным тоном.

Она мысленно повторяла про себя: «Война...», не отдавая себе ясного отчета. Прежде всего она подумала с досадой: «Симон вернется». Затем ей пришла мысль: «Пусть идет воевать, дурак». И вдруг мучительная тревога пронзила все ее существо: «Боже, если будет война, Тони уедет... Они убьют его!..» Она вскочила.

— Шляпу, перчатки... Скорее!.. Велите подать машину.

Она увидела в каминном зеркале свое постаревшее лицо, заострившийся нос. «Нет... Я слишком некрасива сегодня», — подумала она с отчаянием.

Когда горничная вернулась, Анна снова сидела в своем кресле, наклонившись вперед, сложив руки и скав их между коленями... Не изменения позы, она мягко сказала:

— Нет, Жюстина... Благодарю. Скажите Джо, что я не поеду. Пожалуйста, приготовьте мне ванну. Очень горячую... И постелите мне. Я хочу попытаться заснуть.

Через несколько минут она лежала в полу暗раке своей спальни. Шторы были опущены. Телефон стоял у кровати: если он позвонит, ей стоит только протянуть руку...

Здесь, в этих прохладных простынях, она будет, пожалуй, меньше страдать. Разумеется, улучшение придет не сразу. Надо потерпеть с полчаса, и тогда удары сердца станут реже, волнение крови уляжется, возбуждение утихнет. Но это требует поистине неимоверного усилия — лежать здесь, вытянувшись, смежив веки, без движения, без единого взмаха ресниц... Тони... Война... Тони... Ах, только бы увидеть его... Завладеть им снова...

Она вдруг вскочила и, шатаясь, сжимая лицо руками, побежала босиком в маленькую гостиную. Даже не придвигая стула, она опустилась на колени перед письменным столом, на ковер, схватила лист бумаги, карандаш и набросала:

Я слишком страдаю, Тони. Это не может больше продолжаться. Я больше не могу, я больше не могу. Ты, может быть, уедешь? Когда? Я теперь ничего о тебе не знаю. Что я тебе сделала? За что? Я должна тебя видеть, Тони. Сегодня вечером. У нас. Я буду ждать тебя. Сейчас пять часов. Я иду туда. Я буду

ждать тебя там весь вечер, всю ночь. Приходи, когда сможешь. Но только приходи. Я должна тебя видеть. Обещай мне, что ты придешь. Мой Тони! Приходи.

Она позвонила.

— Скажите Джо, чтобы он отнес это сейчас же.. Пусть поднимется в квартиру.

Она подумала, что Симон, если он выехал утренним поездом, может явиться с минуты на минуту... Тогда она торопливо оделась и убежала из дома.

Чтобы обуздить нервы, она заставила себя идти пешком и, несмотря на нетерпение, дошла до самой Ваграмской улицы.

На этот раз, сама не зная почему, она была уверена, совершенно уверена, что Антуан придет.

Она проникла в их квартирку особым ходом, из тупика. И, поворачивая ключ в замке, она почувствовала, что он здесь. Ее уверенность была так велика, что она суеверно улыбнулась. Бесшумно закрыв дверь, она на цыпочках побежала по комнатам, двери которых были раскрыты, вполголоса окликая: «Тони... Тони...» Спальня была пуста. Он услышал, как она вошла... он спрятался... Она побежала в ванную. В кухню. Обессиленная, она вернулась в спальню и села на кровать.

Антуана не было, но он сейчас придет...

Она начала медленно раздеваться. Сначала сняла ботинки, потом размашистым и резким движением сняла чулки и обнажила ноги, словно сняла кожицу с плода. Ей послышались шаги, и она обернулась. Нет, это еще не он... Ее глаза, блуждавшие по комнате, остановились на кровати. Она любила просыпаться первая, заставлять своего любовника спящим, спокойно изучать его гладкий лоб и уснувший, безвольный рот — совсем другой с этими смягчившимися, полуоткрытыми детскими губами. Только в эти минуты она чувствовала, что действительно обладает им. «Мой Тони...» Он сейчас придет. Она была уверена в этом. Сегодня вечером он придет.

Она не ошиблась.

## LXVIII

Северный вокзал был занят войсками. Во дворе, в главном зале — всюду красные штаны, винтовки, составленные в козлы, отрыгистая команда, стук прикладов. Однако штатских пропускали свободно, и Жак без труда прошел вместе с Женни на платформу.

Человек шестьдесят социалистов пришли встречать поезд. «Началось!» — повторяли они, подходя друг к другу. Они гневно трясли головой, сжимая кулаки, и на минуту в их взглядах загоралось возмущение. Но сквозь это слишком легко сдерживаемое недовольство уже просвечивала пассивность, покорность судьбе. Все, казалось, думали: «Это было неизбежно».

— Что сказал бы, что сделал бы патрон? — произнес старик Рабб, пожимая руку Жака.

— Теперь одна надежда — на это совещание с Мюллером, — сказал Жак. В его голосе прозвучало упрямство; он упорствовал в своей вере, словно стремясь сдержать клятву.

Впереди, в конце платформы, делегация социалистических депутатов стояла маленькой отдельной группой.

Жак в сопровождении Женни и Рабба проходил между группами, не присоединяясь ни к одной из них. Глаза его были устремлены вдаль, он говорил словно во сне:

— Этот человек прибывает к нам из Германии в самую трагическую минуту; быть может, на него возложены ответственнейшие поручения... Этот человек проехал через Бельгию; он третьего дня покинул Берлин, еще ничего не зная... Постепенно он получал удар за ударом, узнавая о русской мобилизации и о мобилизации австро-германской, затем о Kriegsgefahrzustand, а сегодня утром — об убийстве Жореса... И сейчас, едва он сойдет с поезда, ему сообщат, что Франция объявила мобилизацию... А в довершение всего, сегодня вечером он, несомненно, узнает, что всеобщая мобилизация объявлена также и в его стране... Как это трагично!

Когда паровоз вынырнул, наконец, из тумана, выбрасывая облака пара, по платформе пробежала дрожь, и все в одном порыве устремились вперед. Но вокальные служащие были начеку. Толпа наткнулась на неожиданную преграду. Подойти к составу было разрешено только членам делегации.

Жак увидел, как они обступили вагон, на подножке которого стояли два пассажира. Он тотчас узнал Германа Мюллера. Второй, которого он не знал, был еще молодой человек крепкого сложения, с энергичным лицом, выражавшим прямоту и силу.

— Кто это с Мюллером? — спросил Жак у Рабба.

— Анри де Ман, бельгиец. Настоящий, чистый... Человек, который размышляет, который ищет... Ты, наверно, видел его в Брюсселе в среду?.. Он так же хорошо говорит по-немецки, как и по-французски; должно быть, он приехал в качестве переводчика.

Женни коснулась руки Жака.

— Посмотрите... Сейчас уже пропускают.

Они бросились вперед, чтобы присоединиться к группе делегатов, но вереница вышедших из поезда пассажиров загораживала путь.

Когда им удалось, наконец, пробиться к вагону, официальные представители, которым было поручено доставить германского делегата прямо на закрытое совещание в Бурбонский дворец, уже исчезли.

В зале перед только что вывешенным объявлением толпилось множество людей. Жак и Женни подошли ближе. Заголовок, напечатанный крупным шрифтом, гласил:

## РАСПОРЯЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ИНОСТРАНЦЕВ

Чей-то голос насмешливо произнес сзади:

— Эти ребята не теряют времени даром! Надо думать, что все это было напечатано заранее!

Женни обернулась. Говорил молодой рабочий в синей блузке, с окурком в зубах; пара новеньких солдатских ботинок из толстой кожи висела у него через плечо.

— И ты тоже, — заметил его сосед, указывая на подбитые гвоздями ботинки, — ты тоже не терял времени даром.

— Это чтобы дать пинка в зад Вильгельму! — бросил рабочий, удаляясь. Кругом засмеялись.

Жак не шевелился. Его глаза не отрывались от объявления. Пальцы судорожно сжимали локоть Женни. Свободной рукой он указал ей на параграф, напечатанный жирным шрифтом:

Иностранные без различия национальности могут выехать из Парижского укрепленного района ДО КОНЦА ПЕРВОГО ДНЯ МОБИЛИЗАЦИИ. Перед отъездом они должны удостоверить свою личность в вокзальном полицейском комиссариате.

Мысли вихрем проносились в мозгу Жака. «*Иностранные!..*» В пачке, оставленной им у Женни, еще лежали фальшивые документы, которыми его снабдили для берлинского задания... Француз Жак Тибо, даже и предъявив удостоверение о негодности к военной службе, несомненно встретит некоторые затруднения, если захочет выехать в Швейцарию, но кто может помешать женевскому студенту Эберле вернуться домой в разрешенный законом срок?.. «*До конца первого дня мобилизации...*» В воскресенье. Завтра...

«Уехать завтра до вечера, — сказал он себе внезапно. — Но как же она?»

Он обнял девушку за плечи и, подталкивая, вывел ее из толпы.

— Послушайте, — сказал он прерывающимся голосом. — Я неизменно должен зайти к брату.

Женни добросовестно прочла напечатанный жирным шрифтом параграф: «*Иностранные!..*» и т. д. Почему у Жака сделался вдруг такой взволнованный вид? Почему он уводит ее так быстро? Зачем ему вздумалось идти к Антуану?

Он и сам не мог бы сказать, зачем. Именно об Антуане была его первая мысль, когда он услышал набат на площади св. Магдалины. И теперь, в том смятении, какое вызвал в нем этот приказ, ему инстинктивно захотелось увидеть брата.

Женни не решалась спросить его о чем-либо. Этот вокзальный двор, этот квартал, куда она попадала так редко, был связан для нее с воспоминанием о ее бегстве от Жака в вечер отъезда Даниэля, и это ожившее воспоминание угнетало ее.

За один час внешний облик города успел измениться. На улицах столько же пешеходов, если не больше, но ни одного гуляющего.

Все спешили, думая теперь только о своих делах. Каждому из этих прохожих вдруг понадобилось, должно быть, устраниТЬ какие-то затруднения, о чем-то распорядиться, кому-то передать свои обязанности; каждому надо было повидаться с родными, друзьями, надо было спешно с кем-то помириться или довести до конца какой-то разрыв. Устремив глаза в землю, стиснув зубы, все с озабоченными лицами бежали, захватывая и мостовую, где машины были сейчас редки и можно было идти быстрее. Очень мало такси: чтобы быть свободными, почти все шоферы поставили свои машины в гараж. Ни одного автобуса: с сегодняшнего вечера был реквизирован весь городской транспорт.

Женни с трудом поспевала за Жаком и изо всех сил старалась скрыть это от него. Похожий на всех других, он шел с напряженным лицом, выставив вперед подбородок, словно убегая от преследования. Она не могла угадать его мысли, но чувствовала, что он во власти какой-то внутренней борьбы.

В самом деле, чтение приказа внезапно придало отчетливую форму бродившим в нем неясным порывам, до этой минуты бессознательным и смутным. Фигура Мейнестреля встала перед его глазами. Он снова увидел комнату в Брюсселе, Пилота в синей пижаме, с блуждающим взглядом... каминный очаг, полный золы... Жак не имел известий с четверга. Он много раз спрашивал себя: «Что делает там Пилот?» Разумеется, он в самом центре революционной борьбы... «Иностранцы могут выехать из Парижа!» В Женеве, возле Пилота, он вновь обретет деятельную среду, оставшуюся незапятнанной, независимой! Он вспомнил о Ричардли, о Митхерге, об этой нетронутой фаланге, уединившейся там, в центре вооруженной Европы. Бежать в Швейцарию?.. Искушение было велико. И все же он колебался. Из-за Женни? Да... Но не Женни была истинной причиной его нерешительности. Так, может быть, он испытывал угрызения совести, считая побег дезертирством? Ничуть! Напротив: первейшим его долгом было отказаться идти защищать в качестве солдата все то, что он никогда не переставал осуждать, против чего боролся... Нет, мысль уехать и оказаться в безопасности — вот что было ему нестерпимо. Оказаться в безопасности, в то время как другие... Нет! Он будет жить в мире с самим собой только в том случае, если его отказ будет сопряжен с риском, с личной опасностью, равной тем опасностям, какие ждут его мобилизованных братьев... Что делать? Отказаться от убежища в нейтральной стране, остаться во Франции? Бороться против войны, против армии в стране, находящейся на осадном положении? Где всякая пацифистская пропаганда натолкнется на беспощадные репрессии? Где его будут подозревать, где за ним будут следить, а может быть, сразу засадят в тюрьму? Это было бы нелепо... Что же делать? Бежать в Швейцарию!.. Но с какой целью?

— Существовать — это ничто, — отчеканил он с какой-то яростью. И прибавил, отвечая на изумленный взгляд Женни: — Суще-

сствовать, думать, верить — все это ничто! Все это ничто, если нельзя претворить свою жизнь, свою мысль, свои убеждения в действие!

— В действие?

Ей показалось, что она плохо рассыпалась его. Да и как могла бы она понять, что он хотел сказать этим?

— Видите ли, — продолжал он все с той же резкостью, с тем же сознанием одиночества, — я уверен, что эта война надолго затормозит осуществление идеала интернационализма! Очень надолго... Может быть, на целые поколения... Так вот, если бы можно было совершить действие, которое спасло бы этот идеал от временного банкротства, я совершил бы его! Даже в том случае, если бы это действие было актом отчаяния!.. Но что это за действие? — добавил он вполголоса.

Женни внезапно остановилась.

— Жак! Вы думаете уехать!

Он смотрел на нее. Она уточнила:

— В Женеву?

Он сделал полуутвердительный жест.

Два противоречивых чувства — радость и отчаяние — раздирали ее. «Если он доберется до Швейцарии, он спасен!.. Но что будет со мной без него?»

— Если бы я решился уехать, — пояснил он, — да, я уехал бы именно в Женеву. Прежде всего потому, что только там можно еще попытаться что-то сделать... И еще потому, что у меня есть подложные документы, которые позволили бы мне с легкостью вернуться в Швейцарию. Вы видели объявление....

Она прервала его во внезапном порыве:

— Уезжайте! Уезжайте завтра!

Твердость ее голоса поразила его.

— Завтра?

У нее невольно мелькнул проблеск надежды, потому что его тон, казалось, говорил: «Нет. Может быть, скоро... Но не завтра».

Он зашагал дальше. Она уцепилась за него; от волнения у нее подкашивались ноги.

— Я уехал бы завтра, — проговорил он наконец, — если бы... если бы вы поехали со мной.

Она затрепетала от счастья. Все ее страхи исчезли, словно по волшебству. Он уедет, он спасен! И уедет с ней, они не расстанутся!

Жак подумал, что она колеблется.

— Разве вы не свободны? — сказал он. — Ведь ваша мать задержалась в Вене.

Вместо ответа она крепче прижалась к нему. Удары ее сердца отдавались в висках, оглушали ее. Она принадлежит ему телом и душой. Они никогда больше не разлучатся. Она его защитит. Она не даст опасности настигнуть его...

Теперь они говорили об этом отъезде как о давно задуманном деле. Жак забыл точное время отхода швейцарского ночного поезда, но он найдет расписание у Антуана. Кроме того, надо было узнать, может ли Женни ехать без паспорта; для женщин все эти формальности были, вероятно, не такими строгими. Деньги на билеты? Суммы, которую они получат, соединив свои средства, хватит с избытком. В Женеве Жак как-нибудь устроится... Однако все зависит еще от исхода переговоров с германским делегатом: Кто знает? Вдруг будет еще принято решение попытаться поднять восстание в обеих странах?..

Не замечая дороги, они дошли до садов, окружавших Тюильри. Женни была вся в поту, силы ее внезапно иссякли. Она робко указала Жаку на скамейку, стоявшую в отдалении среди цветов. Они сели. Они были одни. Гроза, с самого полудня висевшая над городом, казалось, прижимала к самой земле аромат, исходивший от цветочных клумб.

«Из Швейцарии, — думала Женни, — я смогу переписываться с мамой... Она сможет приехать к нам, в нейтральную страну!..» Она уже воображал свою жизнь в Женеве вместе с матерью, обретенной вновь, и с Жаком, укрытым от опасности.

Жак, одержимый одной мыслью, повторял про себя: «Уехать, да... Но для чего?» Тщетно старался он возложить все свои надежды на Мейнестреля и убедить себя, что Женева — последний оставшийся нетронутым революционный очаг; он вспоминал «говорильню» и не мог побороть своих сомнений относительно эффективности революционной работы, которая ждала его там.

Он встал. Он не мог больше сидеть на месте.

— Идемте. Вы отдохнете на Университетской улице.

Она вздрогнула.

Он улыбался:

— Да, да! Идемте.

— Я? К вашему брату? С вами?

— Какое значение может это иметь для нас сейчас? Пусть лучше Антуан знает.

Он казался таким уверенным в себе, исполненным такой решимости, что она отреклась от собственной воли и послушно пошла с ним.

## LXIX

В прихожей стоял офицерский сундучок, совсем новенький, на котором еще висел ярлык магазина.

— Господин Антуан здесь, — сказал Леон, отворяя перед Жаком и Женни дверь в кабинет врача.

Женни решительно вошла.

В комнате было тихо. Жак увидел брата, стоявшего перед письменным столом. Он подумал было, что Антуан один, и был разоча-

рован, увидев Штудлера, а затем Руа, вынырнувших из глубоких кресел, где они сидели на большом расстоянии друг от друга: Руа — у окна, Штудлер — в углу, у книжных шкафов. Антуан разбирал бумаги; корзинка под письменным столом была полна, и разорванные листки устилали ковер.

Антуан пошел навстречу Женни и отечески пожал ей руку. Ка-залось, он не был особенно удивлен; сегодня был такой день, когда никто ничему не удивлялся. К тому же он вспомнил, что в записочке, которую прислала ему г-жа де Фонтанен после похорон, благодаря за визиты в клинику, она сообщала о своем предстоящем отъезде. У него мелькнула смутная мысль, что Женни, оставшись в Париже одна, пришла посоветоваться с ним и, как видно, столкнулась на лестнице с Жаком.

Взгляды братьев встретились. Братское чувство одновременно вызвало на их губах дружескую улыбку, за которой пряталось много невысказанных мыслей. Несмотря на все, что их разделяло, никогда еще они не чувствовали себя такими близкими; никогда, даже у смертного ложа отца, они не чувствовали себя до такой степени связанными тайными узами крови. Они пожали друг другу руку, не обменявшиясь ни словом.

Антуан усадил Женни и начал было расспрашивать ее о поездке г-жи де Фонтанен, как вдруг дверь отворилась, и появился доктор Теривье в сопровождении Жуслена.

Он подошел прямо к Антуану:

— Началось... И ничего нельзя сделать...

Антуан ответил не сразу. Его взгляд был серьезен, почти спокоен.

— Да, ничего нельзя сделать, — сказал он наконец. Затем улыбнулся, потому что это было именно то, что думал он сам, и эта мысль придавала ему силу.

(Когда юный Манюэль Руа пришел сообщить Антуану о мобилизации, тот находился в лаборатории Жуслена. Антуан не двинулся с места. Медленно, привычным жестом он взял папиросу и закурил. Вот уже три дня, как он чувствовал себя порабощенным, осужденным на бездеятельность, захваченным мировыми событиями, спаянным со своей родиной, со своим классом, — беспомощным как булыжник, увлекаемый в общей скользящей массе сваливаемых с телеги камней. Его будущее, его планы, устройство его жизни, над которыми он думал так долго, — все рухнуло. Перед ним была неизвестность. Неизвестность, но также и действие. Эта мысль, таившая в себе столько возможностей, сейчас же подняла его дух. Он обладал даром не бунтовать долго против совершившегося, против неизбежного. Препятствие — это новая величина. Всякое препятствие ставит новую проблему. Нет такого препятствия, которое не могло бы при желании стать трамплином, удобным случаем для нового прыжка...)

— Когда ты едешь? — спросил Теривье.

— Завтра утром. В Компьень... А ты?

— Послезавтра, в понедельник. В Шалон... — Он обратился к Штудлеру, который подходил к ним: — А вы?

Теривье так привык быть в хорошем настроении, что даже сегодня его голос оставался веселым, а бородатое пухлое лицо с розовыми щеками сохраняло жизнерадостное выражение. Но эта веселость настолько не вязалась с тревожным взглядом, что на него тягостно было смотреть.

— Я? — произнес Халиф, моргая. Казалось, вопрос врача разбудил его. Он повернулся к Жаку, как будто должен был дать объяснение именно ему. — Я тоже еду! — бросил он задорным тоном. — Но только через неделю. В Эvre.<sup>1</sup>

Жак не ответил на его взгляд. Он не осуждал Халифа. Он знал, что его жизнь была непрерывной цепью самоотверженных поступков и что, соглашаясь вопреки своим убеждениям служить «оборонительной» войне, этот честный человек лишний раз подчинялся тому, что считал своим долгом.

Он взглянул на Женни. Она стояла у камина, немного в стороне от остальных. Вид у нее был не смущенный, а скорее отсутствующий. Он увидел, как она выпрямилась, поисками взглядом кресло, сделала несколько шагов и села. «Какая она гибкая», — подумал он. Ему показалось, что он еще держит ее в своих объятиях. Он вспомнил, как бурно и в то же время сдержанно она затрепетала от его первого поцелуя. Его охватило восхитительное волнение, и он не стал сопротивляться ей. Их взгляды встретились; он улыбнулся и почувствовал, что краснеет.

Антуан подошел к Женни и спросил ее о Даниэле, но Теривье перебил их:

— А как у вас в больнице? Что собираются предпринять?

— Обратились к старикам с просьбой вернуться на работу. Адриен, Дома, даже папаша Делери согласились... Вот что, — сказал он вдруг, указывая пальцем на Теривье, — ты до сих пор не вернул нам папку, которую как-то дал тебе Жуслен! «Патологическое разрастание тканей и глоссоптосиэм».

Теривье, улыбаясь, обратился к Женни:

— Он неисправим!.. Хорошо, хорошо, я пришлю Штудлеру твою папку... Можете ехать спокойно, господин военный врач!

Через широко открытое окно уже с минуту доносился какой-то шум: пение, конский топот. Все устремились к окну посмотреть в чем дело. Жак хотел было воспользоваться этим и направился к брату, который оставался один посреди комнаты, но как раз в этот момент Антуан присоединился к остальным, и Жак вслед за ним подошел к окну.

Артиллерийский обоз, ехавший с площади Инвалидов, встретился с колонной итальянских манифестантов, которая шла по улице св. Отцов с четырьмя барабанщиками и знаменосцем впереди. Итальянцы, остановившись, запели «Марсельезу» и возгла-

<sup>1</sup> Город в департаменте Эры, в 106 км к северо-западу от Парижа.

сами приветствовали войсковую часть. Барабаны грохотали. Шум сделался оглушительным.

Антуан закрыл окно и с минуту стоял задумавшись, прижавшись лбом к стеклу. Жак остался рядом с ним. Остальные отошли в глубь комнаты.

— Я получил сегодня письмо из Англии, — сказал Антуан, не меняя позы.

— Из Англии?

— От Жиз.

— А-а... — произнес Жак. И мельком взглянул на Женни.

— Письмо написано в среду. Она спрашивает меня, что ей делать в случае войны. Я отвечу, чтобы она оставалась там, в своем монастыре. Это лучшее, что она может сделать, правда?

Жак согласился, уклончиво кивнув головой. Он оглянулся, желая удостовериться, что они одни, в стороне от остальных. Ему хотелось поговорить о Женни. Но как начать это разговор?

В эту минуту Антуан резко повернулся к нему. Его лицо выражало тревогу. Он спросил очень тихо:

— Ты по-прежнему ду... ду... думаешь...

— Да.

Тон был твердый, без высокомерия.

Антуан стоял опустив голову, избегая взгляда брата. Его пальцы машинально выбивали на стекле дробь, вторя отдаленному рокоту барабанов. Он заметил, что начал заняться: это случалось с ним редко и всегда служило признаком глубокого потрясения.

Леон возвестил из передней:

— Доктор Филип.

Антуан выпрямился. Волнение иного рода осветило его лицо.

Развинченная фигура Филипа показалась в рамке двери. Его моргающие глаза обвели кабинет и остановились на Антуане. Он грустно покачал головой. Из развеивающихся фалд визитки он вынул платок и отер им лоб.

Антуан подошел к нему.

— Ну вот, патрон, началось...

Филип молча коснулся его руки, затем, не сделав ни шагу дальше, словно картонный паяц, которого перестали держать за ниточку, рухнул на краешек закрытого белым чехлом кресла, стоявшего перед ним.

— Когда вы едете? — спросил он своим отрывистым, свистящим голосом.

— Завтра утром, патрон.

Филип хлюпал губами, словно сосал леденец.

— Я только что из больницы, — продолжал Антуан, чтобы что-нибудь сказать. — Все уже устроено. Я передал дела Брюэлю.

Филип, устремив глаза в пол, как-то странно покачивал головой.

— Знаете, голубчик, — сказал он наконец, — это может протянуться долго... очень долго.

— Многие специалисты утверждают противное, — отважился возразить Антуан без особой уверенности.

— Ба! — отрезал Филип, словно ему давно уже было известно, что собой представляют специалисты и их прогнозы. — Все рассуждают, исходя из нормальных условий снабжения, кредита. Но если правительства оказались достаточно безумными, чтобы поставить на карту все и рискнуть полным разорением, только бы не пойти на уступки... После того что мы видели за эту неделю, возможно все... Нет, я думаю, что война будет очень длительной и все народы в ней исчерпают свои силы одновременно, причем ни один из них не захочет или не сможет остановиться на наклонной плоскости.

После короткой паузы он добавил:

— Я беспрерывно думаю обо всем этом... Война... Кто поверил бы, что она возможна?.. Достаточно было прессе проявить настойчивость и смешать карты — и вот в несколько дней представление об агрессоре для всех стало неясным, и каждый народ вообразил, что его «честь» находится под угрозой... Одна неделя бессмысленных страхов, преувеличений, фанфаронства — и вот все народы Европы с криками ненависти бросаются, словно бесноватые, друг на друга... Я беспрерывно думаю обо всем этом... Это настоящая трагедия Эдипа... Эдип тоже был предупрежден, но в роковой день он не распознал в событиях тех ужасов, которые ему возвещали...<sup>1</sup> То же произошло и с нами... Наши пророки всё предсказали; мы ждали опасности, и ждали именно оттуда, откуда она пришла, — с Балкан, из Австрии, от царизма, от пангерманизма... Мы были предупреждены... Мы бодрствовали... Многие мудрые люди сделали все, чтобы воспрепятствовать катастрофе... И тем не менее она разразилась: мы не могли ее избежать. Почему?.. Я рассматриваю вопрос со всех сторон... Почему? Может быть, просто потому, что во все эти заведомо страшные, давно ожидаемые события проскользнуло что-то непредвиденное, какой-нибудь пустячок, достаточный для того, чтобы слегка изменить их облик и внезапно сделать их неузнаваемыми... достаточный, чтобы, несмотря на бдительность людей, кайкан судьбы смог захлопнуться!.. И мы попались в него...

В другом конце комнаты, где Жуслен, Теривье, Жак и Женни окружили Манюэля Руа, раздался взрыв молодого смеха.

— Так что же? — говорил Руа, обращаясь к Теривье. — Не плакать же мне в самом деле! Это немного проветрит нас, вытащит из наших лабораторий. Увлекательное приключение, которое нам предстоит пережить!

— Пережить?<sup>2</sup> — пробормотал Жуслен.

Женни, смотревшая на Руа, внезапно отверла глаза: ей стало больно видеть восторженное лицо молодого человека.

<sup>1</sup> Герою древнегреческого мифа Эдипу было предсказано, что он убьет своего отца и женится на матери. Он пытался уйти от судьбы, но силой обстоятельств был вынужден, сам того не зная, совершив это двойное преступление.

Филип издали слушал их. Он повернулся к Антуану:

— Молодежь не может представить себе, что это такое... Это многое объясняет... А я видел семидесятый год... Молодежь не знает!

Он снова вынул платок, вытер лицо, губы, бородку и долго вытирая ладони.

— Все вы едете, — продолжал он вполголоса, с грустью. — И, должно быть, думаете, что старикам везет: они остаются. Это неверно. Наша участь еще хуже вашей — потому что наша жизнь кончена.

— Кончена?

— Да, голубчик. Кончена, и притом навсегда... Июль тысяча девятьсот четырнадцатого: подходит к концу нечто, частью чего мы были, и начинается что-то новое, что уже не касается нас, стариков.

Антуан дружески смотрел на него, не находя ответа.

Филип умолк. И вдруг гнусаво хихикнул, видимо под влиянием какой-то щекотавшей его мозг забавной мысли.

— В моей жизни будут три мрачные даты, — начал он таким тоном, словно читал лекцию (тоном, о котором студенты говорили: «Фи-фи сам себя слушает»). — Первая перевернула мою юность; вторая потрясла мои зрелые годы; третья, без сомнения, отправит мою старость...

Антуан не отрываясь смотрел на него, как бы побуждая его продолжать.

— Первая — когда провинциальный и религиозный подросток, каким я был в то время, открыл однажды ночью, читая подряд четыре евангелия, что это — клубок противоречий... Вторая — когда я убедился в том, что некий неприятный господин по имени Эстергази<sup>1</sup> сделал гадость, носившую название «хищение документов», и что, вместо того чтобы осудить его, все стали усиленно мучить не его, а другого господина, который ничего не сделал, но был евреем...

— А третья, — перебил его Антуан с грустной улыбкой, — это сегодня...

— Нет... Третья — неделю тому назад, когда газеты привели текст ультиматума, когда я увидел пред собой бильярдную партию... Когда я понял, что расплачиваться за этот карамбль придется народам...

— Карамболь?

Глаза Филипа под густыми бровями блеснули лукаво, почти жестоко.

— Да, Тибо, и зловещий карамболь! Красный шар — это Сербия; его толкает белый шар — Австрия; белый шар толкает другой белый — Германия... Но кто держит в руках кий? Кто? Россия? Или же Англия?.. — Он рассмеялся злобным смехом, похожим

<sup>1</sup> Французский офицер, аристократ-космополит, истинный виновник хищения секретных документов, за которое Дрейфус был ложно обвинен в государственной измене,

на рожанье. — Мне не хотелось бы умереть, прежде чем я этого не узнаю.

К Антуану и Филипу, сидевшим в углу, подошел Жак.

— Патрон, — сказал Антуан, — я, кажется, уже представлял вам своего брата?

Старый врач направил на Жака свой колючий взгляд.

Молодой человек поклонился. Затем спросил у Антуана:

— Нет ли у тебя расписания поездов?

— Есть... — Их взгляды встретились. Антуан чуть не спросил: «Зачем тебе?», но ограничился тем, что сказал: — Там... под телефонным справочником.

— А вы, сударь, когда едете? — спросил Филип.

Жак застыл на месте и нерешительно взглянул на Антуана, который поспешил пробормотать:

— Мой брат... он... это дру... другое дело...

Наступило короткое молчание.

Понял ли Филип? Вспомнил ли разговор, который имел с Жаком когда-то? Он смотрел на молодого человека с величайшим вниманием и, когда Жак отошел, проводил его долгим взглядом.

Как только они снова остались одни, Антуан нагнулся к Филипу:

— Он из принципа отказывается быть солдатом...

Филип помолчал с полминуты.

— Всякая мистика законна, — проговорил он усталым голосом.

— Нет, — возразил Антуан. — В переживаемое нами время долг очень прост, очень ясен. Мы не имеем права от него уклоняться.

Филип как будто не слышал его.

— ...законна и, быть может, необходима, — продолжал он, произнося слова в нос. — Разве прогресс человечества был бы возможен без мистики? Перечитайте историю, Тибо... В основе всех великих социальных перемен всегда бывало заложено какое-нибудь религиозное устремление к абсурду. Размышление ведет к бездействию. Только вера придает человеку вдохновение, побуждающее его действовать, и упорство, необходимое для того, чтобы отстаивать свои убеждения.

Антуан молчал. В присутствии своего учителя он непроизвольно превращался в несовершеннолетнего юнца, состоящего под опекой.

Он заметил возле камина Женни, нагнувшуюся над расписанием рядом с Жаком, и на секунду удивился. Как видно, девушка хотела узнать время прибытия поездов, которые могли еще привезти из Австрии ее мать.

Филип продолжал думать вслух:

— Кто знает, Тибо? Быть может, те, кто думает так, как ваш брат, это предтечи? Быть может, эта роковая война, расшатывая до основания наш старый материк, готовит расцвет новых лжеистин, о которых мы и не подозреваем?.. Было бы почти приятно

иметь возможность верить в это... Почему бы нет? Всем странам Европы придется бросить в этот пылающий костер всю совокупность своих сил, как духовных, так и материальных. Это явление, не имеющее precedента. Предвидеть последствия невозможно... Кто знает? Быть может, все элементы культуры окажутся переплавленными в этом костре!.. Людям предстоит еще проделать столько болезненных опытов, прежде чем настанет день мудрости... день, когда для устройства своей жизни на этой планете они удовольствуются тем, что смиренно используют данные, которые им откроет наука...

В полуоткрытую дверь просунулась приурковатая физиономия Леона.

— Спрашивают господина Антуана.

Антуан нахмурил брови, но встал.

— Вы позвольте, патрон?

Леон ждал в передней. Он бесстрастно протянул поднос для писем, на котором выделялся голубой конверт.

Антуан схватил его и, не распечатывая, сунул в карман.

— Спрашиваю, будет ли ответ, — проговорил слуга, опустив глаза.

— Кто это «спрашивает»?

— Шофер.

— Нет, — сказал Антуан. И он круто повернулся, так как услышал, что дверь сзади него отворилась.

Женни в сопровождении Жака появилась в передней.

— Вы уходите?

— Да! — ответил Жак тем же сухим, не допускающим возражений тоном, каким Антуан только что ответил «нет» своему слуге. Он пристально смотрел на брата, и этот загадочный, полный упрека взгляд в действительности означал: «Мы пришли в такой день, как сегодня, чтобы видеть тебя одного, а ты не нашел для нас ни минуты!»

Антуан пробормотал:

— Уже?.. И вы тоже, мадмуазель?

«Если ей нужен был какой-нибудь совет или услуга, — подумал он внезапно, — то почему же она уходит, ничего не сказав? И вместе с ним?»

Он рискнул спросить:

— Не могу ли я быть чем-нибудь полезен вам до моего отъезда?

Она поблагодарила его неопределенной улыбкой и легким кивком головы. Он не знал, что думать.

— А ты? — сказал он, обращаясь к Жаку, который решительно направился к лестнице. — Я больше не увижу тебя?

Его голос вдруг прозвучал так сердечно, что Женни подняла глаза, а Жак обернулся. Лицо Антуана выражало такое волнение, что горечь Жака испарилась.

— Ты едешь завтра? — спросил он.

— Да.

— В котором часу?

— Очень рано. Я выйду из дома около семи.

Жак посмотрел на Женни и, наконец, сказал чуть хриплым голосом:

— Хочешь, я зайду за тобой?

Лицо Антуана просияло.

— Да, да! Приходи... Ты проводишь меня на вокзал?

— Конечно.

— Благодарю, мой милый. — Антуан с нежностью смотрел на младшего брата. Он повторил: — Благодарю.

Все трое были уже у входной двери.

Жак открыл ее, пропустил Женни вперед и в свою очередь переступил порог, избегая взгляда брата. На площадке он проговорил:

— Так, значит, до завтра.

И закрыл за собой дверь.

Но в тот же момент передумал.

— Спуститесь без меня, — сказал он Женни. — Я догоню вас. — И он поспешно постучал кулаком в дверь.

Антуан был еще в передней. Он отворил. Жак вошел один и закрыл за собой дверь.

— Мне хотелось бы сказать тебе кое-что, — сказал он. Глаза его были опущены.

Антуан почувствовал, что речь шла о чем-то серьезном.

— Иди сюда.

Жак молча последовал за ним в маленький кабинет. Там он остановился, прислонившись к закрытой двери, и взглянул на брата.

— Ты должен знать, Антуан... Мы пришли оба поговорить с тобой. Женни и я...

— Женни и ты? — повторил Антуан с волнением.

— Да, — ответил Жак отчетливо. На его губах блуждала странная улыбка.

— Женни и ты? — еще раз спросил Антуан, ошеломленный от изумления. — Что ты хочешь этим сказать?

— Это старая история, — пояснил Жак отрывисто, невольно краснея. — И теперь — вот. Все решилось. В одну неделю.

— Решилось? Что решилось?..

Он отступил к дивану и сел.

— Послушай, — пробормотал он, — ты шутишь... Женни?.. Ты и Женни?

— Ну да!

— Но вы почти не знаете друг друга... И потом, в такой момент! Помолвка накануне... Стало быть, что же? Ты отказался от мысли уехать из Франции?

— Нет. Я еду завтра вечером. В Швейцарию. — Он помолчал и добавил: — С ней.

— С ней? Послушай, Жак, ты что, сошел с ума? Окончательно сошел с ума?

Жак продолжал улыбаться.

— Да нет же, старина... Все очень просто: мы любим друг друга.

— Ах, не говори глупостей! — оборвал его Антуан резко.

Жак злобно рассмеялся. Поведение брата оскорбляло его.

— Возможно, что это такие чувства, которые тебя удивляют... которых ты не одобряешь... Тем хуже... Тем хуже для тебя... Я хотел, чтобы ты был в курсе. Это сделано. Теперь до свиданья.

— Подожди! — вскричал Антуан. — Это глупо! Я не могу позволить тебе уехать с подобной чепухой в голове!

— До свиданья.

— Нет! Мне надо с тобой поговорить!

— К чему? Я начинаю думать, что мы не можем понять друг друга...

Он повернулся было, чтобы уйти, но остался. Наступило молчание.

Антуан постарался овладеть собой.

— Послушай, Жак... Давай рассуждать... — Жак иронически улыбнулся. — Надо принять во внимание две вещи... С одной стороны — твой характер, а с другой — момент, который ты выбрал для... Так вот, прежде всего поговорим о твоем характере, о том, что ты за человек... Позволь мне сказать тебе правду: ты совершенно не способен составить счастье другого существа... Совершенно! Следовательно, даже при других обстоятельствах ты никогда не смог бы сделать Женни счастливой. И тебе ни в коем случае не следовало...

Жак пожал плечами.

— Дай мне договорить. Ни в коем случае! А сейчас меньше чем когда бы то ни было!.. Война... И с твоими взглядами!.. Что ты будешь делать, что с тобой будет? Неизвестно. И это страшная неизвестность!.. Себя ты можешь подвергать риску. Но связывать со своей участью другое существо — и в такой момент? Это просто чудовищно! Ты совсем потерял голову! Ты поддался ребяческому увлечению, которое не выдерживает никакой критики!

Жак разразился смехом — уверенным, дерзким, почти злым смехом, немного безумным смехом, который внезапно оборвался. Он резко откинулся со лба прядь волос и гневно скрестил руки.

— Так вот как! Я прихожу к тебе, прихожу поделиться с тобой нашим счастьем, — и это все, что ты находишь нужным мне сказать? — Он еще раз пожал плечами, схватился за ручку двери и, обернувшись, бросил через плечо: — Я думал, что знаю тебя. Я узнал тебя только теперь, за эти пять минут! Я знаю теперь, чего ты стоишь! У тебя черствое сердце! Ты никогда не любил! Ты никогда не полюбишь! Черствое, неизлечимо черствое

сердце! — Он смотрел на брата свысока — с высоты своей недосягаемой любви. Кривая усмешка показалась на его губах, и он прозрительно бросил: — Знаешь, кто ты такой? Со всеми твоими дипломами, со всем твоим самомнением? Ты жалкий человек, Антуан! Всего только жалкий, жалкий человек!

У него вырвался короткий сдавленный смешок, и он исчез, хлопнув дверью.

Антуан с минуту сидел неподвижно, опустив голову, устремив взгляд на ковер.

— «Черствое сердце!» — произнес он вполголоса.

Он прерывисто дышал. Волнение крови причинило ему физическую боль, недомогание, подобное тому, какое бывает у людей на очень большой высоте. Он вытянул руку, стараясь держать ее в горизонтальном положении; ее сотрясалась дрожь, побороть которую он был не в силах. «Должно быть, пульс у меня сейчас около ста двадцати...» — подумал он.

Он медленно выпрямился, встал, подошел к окну и толкнул ставни.

На дворе было тихо. В отдалении, между двумя гранями стен, желтым пятном выделялась чахлая листва каштана. Но он не видел ничего, ничего, кроме дерзкого лица Жака, его самонадеянной улыбки, его хмельного, упрямого взгляда.

— «Ты никогда не любил!» — прошептал он, сжимая кулаки на железном подоконнике. — Глупец! Если это и есть любовь, то, согласен, я никогда не любил! И горжусь этим!

В окне соседнего дома показалась девочка и взглянула на него. Может быть, он говорил вслух? Он отошел от окна и вернулся на середину комнаты.

— Любовь! В деревне они по крайней мере не боятся называть это своим именем; они говорят, что «самцу нужна самка...» Но для нас это было бы слишком просто, это было бы унижительно! И надо это облагородить! Надо кричать, закатывая глаза: «Мы любим друг друга!.. Я люблю ее!.. Люблю-о-овь!!!» Сердце — это, как известно, ваша монополия, монополия влюбленных! У меня «черствое сердце!» Пусть так!.. И, разумеется: «Ты не можешь понять!» Постоянный припев! Тщеславная потребность быть непонятым! Это возвышает их в собственных глазах! Точно помешанные! Совершенно как помешанные: нет ни одного сумасшедшего, который бы не кичился тем, что его не понимают!

Антуан увидел себя в зеркале жестикулирующим, с разъяренным взглядом. Он сунул руки в карманы и начал искать более благородный предлог для своего гнева.

— Абсурдность этого — вот что приводит меня в исступление. Да, это здравый смысл, возмущаясь, причиняет мне такую острую боль... Впрочем, я уже не в первый раз констатирую подобный

факт: от раны, нанесенной здравому смыслу, можно страдать как от ногтоеды, как от зубной боли!

Мысль о Филипе, ожидающем его в кабинете, помогла ему прийти в себя. Он пожал плечами.

— Что ж...

Его пальцы машинально нащупали в кармане какую-то бумагу. Письмо Анны... Он вынул конверт, разорвал его пополам и бросил обрывки в корзину. Его взгляд упал на военный билет, приготовленный на письменном столе. И вдруг он почувствовал, что слабеет. Завтра война, опасности,увечье, может быть смерть? «Ты никогда не любил!» Завтра молодость неожиданно оборвется, и, быть может, пора любви минет навсегда...

Внезапно он чагнулся над корзиной, нашел половину конверта, вынул из него обрывок записки, развернул его. Это был крик, страстный и нежный, как ласка:

...сегодня вечером. У нас. Я буду ждать тебя... Я должна тебя видеть. Обещай мне, что ты придешь. Мой Тони! Приходи.

Он упал в кресло. Провести последнюю ночь с ней... Еще раз отдаваться ее ласкам. Еще раз уснуть и забыть обо всем в ее объятиях... Внезапная тоска, волна отчаяния, могучая как девятый вал, нахлынула на него. Он облокотился на стол и, стиснув голову руками, в течение нескольких минут рыдал, как ребенок.

## LXX

Париж был спокоен, но трагичен. Тучи, скапливавшиеся с самого полудня, образовали темный свод, погружавший город в сумеречный полуумрак. Кафе, магазины, освещенные раньше, чем обычно, отбрасывали бледные полосы на черные улицы, где толпа, лишенная обычных средств передвижения, торопливо бежала куда-то, охваченная тревогой. Пасти метро выталкивали обратно на тротуар потоки пассажиров, вынужденных, несмотря на свое нетерпение, по полчаса топтаться на ступеньках, прежде чем проникнуть внутрь.

Жак и Женни не захотели ждать и дошли до правого берега пешком.

Газетчики стояли на каждом углу. Люди вырывали друг у друга экстренные выпуски и на минуту останавливались, чтобы пробежать их жадными глазами. Каждый, не отдавая себе отчета, упорно искал там великую новость: что все улажено; что правительства Европы внезапно опомнились; что они пришли к полюбовному соглашению; что нелепый кошмар, наконец, рассеялся; что все отделались от него только страхом...

В «Humanité» после объявления мобилизации сделалось так же пусто, как и всюду; каждый, видимо, был захвачен своей личной

жизнью. Вестибюль, лестница были безлюдны. Единственный служитель, расхаживавший по коридору, предупредил Жака, что Стефани в кабинете нет. Регулярность выхода газеты обеспечивал Галло; он работал сейчас над завтрашним номером, и вход к нему был воспрещен. Жак, за которым, как тень, следовала изнемогавшая от усталости Женни, не стал пытаться нарушить запрет.

— Идемте в «Прогресс», — сказал он.

В кафе, в нижнем зале, — никого. Даже сам хозяин отсутствовал. За кассой сидела только его жена; лицо у нее было заплаканное, и она не двинулась с места.

Жак и Женни поднялись на антресоли.

Занят был только один столик: несколько социалистов, совсем молодых, незнакомых Жаку. Появление вновь прибывших заставило их на минуту умолкнуть, но они быстро возобновили свой спор.

Жаку хотелось пить. Он усадил Женни у входа и спустился вниз за бутылкой пива.

— А что же еще можешь ты сделать, болван? Дожидаться жандармов? Идти под расстрел, как дурак?

Говорил краснощекий малый лет двадцати пяти, в сдвинутой на затылок фуражке. Голос его звучал резко. Он поочередно устремлял на товарищей суровый взгляд своих черных глаз.

— И потом вот что, — продолжал он с горячностью. — Для нас, для людей вроде нас, внимательно следивших за всем этим, ясно только одно, и это одно важнее всего: мы — граждане страны, которая не хотела войны и которой не в чем себя упрекнуть!

— Точно то же самое говорят и все остальные, — вмешался самый старший из всей компании, человек лет сорока, в форме служащего метро.

— Немцы не могут этого сказать! Мир зависел от них! За последние две недели у них были десятки случаев предупредить войну.

— У нас тоже! Мы могли прямо сказать России: «К черту!»

— Это ничем бы не помогло! Теперь мы ясно видим, что немцы гнуснейшим образом подстроили всю эту историю! Что ж! Тем хуже для них! Мы за мир, но в конце концов нельзя же быть размазней! На Францию нападают — Франция должна защищаться! А Франция — это ты, я, все мы!

За исключением служащего метро, все, видимо, были с ним согласны. Жак с отчаянием взглянул на Женни. Он вспомнил Штудлера, взвывавшего: «Мне необходимо, необходимо верить в виновность Германии!»

Не прикоснувшись к налитому пиву, Жак знаком предложил Женни встать и встал сам. Но, прежде чем уйти, он подошел к группе говоривших.

— «Оборонительная война!.. «Законная война!.. «Справедливая война!.. Неужели вы не видите, что это извечный обман?

Вы, значит, тоже попались на эту удочку? Не прошло и трех часов после приказа о мобилизации, и вот до чего вы уже дошли! Вы безоружны против всех этих злобных страстей, которые прессы стараются разжечь в течение последней недели... Тех страстей, которым военные власти сумеют найти слишком хорошее применение!.. Кто же устоит против этого безумия, если не можете устоять вы, социалисты?

Он не обращался ни к кому в отдельности, но поочередно смотрел на каждого, и губы его дрожали.

Самый молодой из всех, штукатур, — лицо его было еще обсыпано белой пылью и напоминало маску Пьера, — повернулся к Жаку:

— Я думаю то же, что Шатенье, — сказал он твердым и звучным голосом. — Мне призываются в первый день — завтра!.. Я ненавижу войну. Но я француз. На мою страну нападают. Я нужен, и я пойду! Мне на белый свет тошно глядеть, но я пойду!

— Я согласен с ними, — заявил его сосед. — Только я еду во вторник, на третий день... Я из Бар-ле-Дюка; там живут мои старики... Мне ничуть не улыбается, чтобы мои родные края стали германской территорией!

«Девять десятых французов думают точно так же! — сказал себе Жак. — Жадно стремятся обелить свою страну и поверить в гнусную преднамеренность противника, чтобы иметь возможность оправдать разгул своих оборонительных инстинктов... И, может быть, даже, — подумал он, — все эти молодые существа испытывают какое-то смутное удовлетворение, внезапно сделавшись частичкой оскорблённого целого, дыша этой опьяняющей атмосферой коллективной злобы... Ничто не изменилось с тех времен, когда кардинал де Рей<sup>1</sup> осмелился написать: «Самое важное — это убедить народы, что они защищаются, даже тогда, когда в действительности они нападают».

— Подумайте хорошенъко! — снова начал Жак глухим голосом. — Если вы откажетесь от сопротивления, то завтра будет уже поздно!.. Поразмыслите вот о чем: ведь по ту сторону границ происходит то же самое — та же вспышка гнева, ложных обвинений, упрямой вражды! Все народы уподобились передравшимся мальчишкам, которые с горящими глазами бросаются друг на друга, точно маленькие хищные зверьки: «Он начал первый!..» Разве это не бессмыслица?

— Так что же? — вскричал штукатур. — Что же, по-твоему, делать нам, мобилизованным, черт побери?

— Если вы считаете, что насилие не может быть справедливым, если вы считаете, что человеческая жизнь священна, если вы считаете, что не может быть двух моралей: одной, которая осуж-

<sup>1</sup> Поль де Гонди, кардинал де Рей (1614—1679) — французский политический деятель, оставил интересные «Мемуары», которые хорошо характеризуют политическую практику эпохи.

дает убийство в мирное время, и другой, которая предписывает его во время войны, — откажитесь подчиниться мобилизации! Откажитесь от войны! Останьтесь верны самим себе! Останьтесь верны Интернационалу!

Женни, ожидавшая Жака у выхода, внезапно подошла к нему и стала рядом.

Штукатур вскочил. Он яростно скрестил руки.

— Чтобы нас поставили к стенке? Как бы не так! Ври больше!.. Там по крайней мере каждому свое; можно еще вывернуться, если хоть на грош повезет!

— Но ведь вы чувствуете, — вскричал Жак, — что это трусость — отрекаться от своей воли, от своей личной ответственности под напором тех, кто сильнее! Вы говорите себе: «Я осуждаю войну, но ничего не могу сделать...» Это дается вам нелегко, но вы быстро успокаиваете свою совесть, убеждая себя, что хотя такое подчинение тягостно, — оно достойно уважения... Неужели вы не видите, что вы жертвы обмана, что вас втянули в преступную игру? Неужели вы забыли, что власть дана правительством не для того, чтобы порабощать народы и посыпать их на убой, а для того, чтобы служить им, защищать их, делать счастливыми?

Смуглый малый лет тридцати, до сих пор молчавший, стукнул кулаком по столу:

— Нет и нет! Ты неправ. Сегодня ты неправ!.. Богу известно, что я никогда не шагал в ногу с правительством. Я такой же социалист, как и ты! У меня пять лет партийного стажа! И вот я, социалист, готов стрелять, защищая правительство так же, как и все остальные! — Жак хотел прервать его, но он повысил голос. — И убеждения тут ни при чем! Националисты, капиталисты, все толстопузые, — мы разыщем их после! И когда придет их черед, мы сведем с ними счеты, — можешь на меня положиться! Но сейчас не время разводить теории! Прежде всего надо рассчитаться с пруссаками! Этим подлецам захотелось войны! Они получат ее! И уверяю тебя: им будет жарко! За нами дело не станет.

Жак медленно покал плечами. Ничего нельзя было сделать. Схватив Женни за руку, он увлек ее к лестнице.

— И все-таки да здравствует социальная революция! — крикнул сзади чей-то голос.

На улице они несколько минут шли молча. Глухие раскаты грома предвещали грозу. Небо было чернильного цвета.

— Знаете, — сказал Жак, — я думал, я двадцать раз повторял, что войны не являются делом чувства, что это неизбежное следствие экономической конкуренции. Но сегодня, видя националистическое исступление, так естественно вспыхивающее во всех без различия классах общества, я почти готов спросить себя, не являются ли... не являются ли войны скорее результатом столкновения темных, необузданых страсти, для которых борьба материальных

интересов — лишь удобный случай, лишь предлог!.. — Он снова замолчал. Затем продолжал, следуя течению своих мыслей: — И нелепее всего старания людей не только оправдать себя, но и доказать всем, что их согласие обдуманно, что оно добровольно!.. Да, добровольно!.. Все эти несчастные, которые еще вчера дружно осуждали эту войну, а сегодня оказались втянутыми в нее насилино, с пеной у рта стараются показать, будто они действуют по собственному побуждению!.. И вообще, — снова заговорил он после короткой паузы, — это трагично; трагично, что столько опытных, осторожных людей стали вдруг такими легковерными, стоило только задеть патриотическую струнку.. Трагично и почти непостижимо... Быть может, причина попросту в том, что средний человек наивно отождествляет себя со своей родиной, своей нацией, своим государством.. Привычка повторять: «Мы, французы... Мы, немцы...» И так как каждый отдельный человек искренне хочет мира, он не может себе представить, что это государство — его государство — может желать войны. И, пожалуй, можно сказать еще вот что: чем более горячим приверженцем мира является человек, тем сильнее он стремится оправдать свою страну, людей своего клана, и тем легче убедить его в том, что угроза войны исходит от чужой страны, что его правительство не виновато, что сам он является частью общества-жертвы и что он должен защищать себя, защищая его.

Крупные капли дождя прервали слова Жака. В эту минуту они переходили площадь Биржи.

— Побежим, — сказал Жак, — вы промокнете...

Они едва успели укрыться под аркадами улицы Колонн. Гроза, весь день висевшая над городом, наконец разразилась с внезапной и какой-то театральной яростью. Вспышки молний непрерывно сменяли одна другую, ударяя по нервам, а беспрестанные раскаты грома отдавались между домами с грохотом, напоминавшим горные грозы. Полк муниципальной гвардии рысью проехал по улице Четвертого сентября. Всадники, согнувшись под порывами ветра, наклонились к шеям дымящихся лошадей, чьи копыта вздымали снопы брызг; и, как на хорошей картине художника-баталиста, каски сверкали под свинцовыми небом.

— Зайдем сюда, — предложил Жак, указывая на плохо освещенный и уже переполненный рестораник под аркадами. — Переядем грозу и закусим.

Они с трудом нашли два места рядом за мраморным столиком, где уже сидело много посетителей.

Как только Женни села, она сразу же почувствовала полный упадок сил. У нее дрожали колени; плечи, затылок болели; голова была невыносимо тяжелой. Ей показалось, что она вот-вот потеряет сознание. Если бы можно было хоть на несколько минут закрыть глаза, вытянуться, уснуть!.. Уснуть рядом с ним... Вспоми-

нание о минувшей ночи сейчас же завладело ею и, словно удар хлыста, вернуло ей силы. Жак, сидевший рядом с ней, ничего не заметил. Она видела его профиль: влажный висок, темную, с рыжим отливом, прядь волос. Она чуть не схватила его за руку, чуть не сказала ему: «Идемте домой! Что нам за дело до всего остального?.. Прижмите меня к себе... Обнимите меня крепче!»

Разговор вокруг них был общий. Глаза блестели. Передавая друг другу соль, горчицу, люди обменивались дружескими взглядами. Самые нелепые, самые противоречивые новости объявлялись с непоколебимой уверенностью и моментально принимались на веру.

— Как бы такая гроза не задержала нашего наступления, — простонала дама неопределенного возраста с покрытым красными пятнами лицом, выражавшим платонический, но задорный героизм.

— В тысяча восемьсот семидесятом году, — сообщил толстый господин с орденской ленточкой в петлице, сидевший напротив Женни, — военные действия начались только спустя много времени после объявления войны: не ранее, чем через две недели.

— Говорят, что не будет сахару, — сказал кто-то.

— И соли, — добавила героическая дама. Она конфиденциально наклонилась к Женни: — Я-то успела принять кое-какие меры.

Господин с орденом, обращаясь к соседям по столу, растроганным голосом, который дрожал от восхищения и, казалось, обладал свойством заражать им других, рассказал следующую историю: какой-то полковник одного из восточных гарнизонов, получив приказ отвести своих солдат на десять километров от границы, решил, что Франция уже покорилась врагу; не в силах пережить этот позор, он вынул револьвер и пустил себе пулю в лоб на глазах у всего полка.

В конце стола молча ел какой-то рабочий. Его недоверчивый взгляд встретился со взглядом Жака. Он тотчас вмешался в разговор.

— Вам-то хорошо рассуждать, — сказал он со злобой. — А вот мы не смогли нынче добиться в мастерской платы за проработанную неделю!

— Почему? — благосклонно осведомился господин.

— Хозяин уверяет, будто у него деньги в банке, а банк закрыл лавочку... Мы там как следует пошумели, сами понимаете! Но так ничего и не добились. «Приходите в понедельник», — сказал он нам...

— Ну, конечно, в понедельник всем вам заплатят, — заявила героическая дама.

— В понедельник? Да ведь многие едут завтра. Понимаете? Уехать и оставить жену с детишками без гроша!

— Не беспокойтесь, — уверенно заявил господин с орденом. — Правительство предусмотрело это, как и все остальное. В мэриях будет выдаваться пособие. Поезжайте спокойно! Ваши семьи находятся под покровительством государства: они ни в чем не будут нуждаться.

— Вы думаете? — пробормотал рабочий нерешительно. — По-чему же тогда об этом не скажут?

Сосед Жака, которому посчастливилось купить экстренный выпуск вечерней газеты, заговорил о возвзвании Пуанкаре «К французской нации».

Все руки протянулись к нему:

— Покажите! Покажите!

Но он не хотел расставаться со своей газетой.

— Читайте вслух! — распорядился господин с орденом.

Обладатель газеты, маленький старишок с хитрой физиономией, поправил очки.

— Это подписано всеми министрами! — с пафосом заявил он. Затем начал фальцетом: — «Правительство, сознавая свою ответственность и чувствуя, что оно нарушило бы священный долг, если бы предоставило события их ходу, вынесло постановление, необходимость которого продиктована нынешней ситуацией». — Старик сделал паузу. — «Мобилизация — это еще не война...»

— Вы слышите, Жак? — шепнула Женни, и в ее голосе прозвучала надежда.

Жак пожал плечами.

— Надо заманить крыс в крысоловку... А когда они попадутся, их уж сумеют там удержать!

— «При настоящем положении вещей», — продолжал человек в очках, — мобилизация, напротив, является наилучшим средством обеспечить почетный мир».

Даже за соседними столиками воцарилась тишина.

— Громче! — крикнул кто-то из глубины зала. Чтец продолжал стоя. Голос его иногда прерывался: вне всякого сомнения, бедному старику казалось в эту минуту, что это он говорит с народом. Он торжественно повторил:

— «...обеспечить почетный мир. Правительство рассчитывает на спокойствие нашей благородной нации и уверено, что она не позволит себе поддаться необоснованным волнениям».

— Браво! — крикнула дама с лицом в красных пятнах.

— «Необоснованным»! — прошептал Жак.

— «Оно полагается на патриотизм всех французов и уверено, что среди них не найдется ни одного, который бы не был готов исполнить свой долг. В этот час нет больше партий. Есть бессмертная Франция Права и Справедливости, единодушная в спокойствии, бдительности и достоинстве».

За чтением последовало долгое молчание. Затем все снова заговорили на эту волнующую тему. Героизм дамы был не единичным явлением. Лицо господина с орденом стало краснее ленточки в его петлице. У рабочего, сидевшего в конце стола, того самого, который не получил заработной платы, глаза наполнились слезами. Каждый с каким-то восторгом поддавался коллективному опьянению; каждый чувствовал себя внезапно приподнятым, воз-

несенным за пределы своего «я», упоенным возвышенностью момента, готовым на самоотречение, на жертву.

Жак молчал. Он думал о таких же воззваниях, которые там, за рубежом, были, должно быть, подписаны в тот же самый час другими носителями власти — кайзером, царем; об этих магических формулировках, повсюду исполненных того же могущества и, без сомнения, повсюду разнозывающих такое же нелепое исступление.

Он увидел, что Женни отставила стоявшую перед ней тарелку с супом почти нетронутой. Тогда он кивнул ей и поднялся.

Дождь перестал. С балконов капало. Широкие мутные ручьи с шумом вливались в сточные канавы; блестящие мокрые тротуары снова заполнились бегущими куда-то людьми.

— Теперь — в палату депутатов, — сказал Жак, лихорадочно увлекая за собой Женни. — Интересно знать, что они придумали там с Мюллером.

Это могло показаться бессмысленным, но он все еще не мог быть с твердостью заявить, что отказался от всякой надежды.

## LXXI

Бурбонский дворец незаметно охранялся полицией. Тем не менее за решеткой ограды стояли во дворе группы людей, к которым и направился Жак, по-прежнему в сопровождении Женни.

При свете круглых электрических фонарей он узнал в одной из групп высокий силуэт Рабба.

— Беседа еще не кончилась, — пояснил Жаку старый социалист. — Они только что вышли. Поехали обедать. Обсуждение должно сейчас возобновиться. Но не здесь, — в редакции «Нита».

— Ну, как? Каковы первые впечатления?

— Не блестящие... Впрочем, трудно сказать. Все они вышли багровые, полумертвые от жажды и немые, как рыбы... Единственный, от кого мне удалось кое-что вытянуть, — это Сибло... И он не скрыл от нас своего разочарования. Правда? — добавил он, обращаясь к подходившему Жюмлену.

Женни молча разглядывала обоих мужчин. Жюмлен не особенно нравился ей. Его длинное, узкое лицо, потное и бледное, бритый, чрезмерно выдающийся подбородок, сухая манера говорить — цедя сквозь зубы, обрубая фразы, — квадратные плечи, жесткий блеск слишком маленьких и слишком черных зрачков — все это вызывало в молодой девушке неприятное чувство. Напротив, старик Рабб, с его выпуклым лбом, с ясными и печальными глазами, взгляд которых часто с отеческой нежностью останавливался на Жаке, внушал ей доверие и симпатию.

— По-видимому, у этого Мюллера нет никаких определенных полномочий, — сказал Жюмлен. — Он не привез никакого конкретного предложения.

— Тогда зачем же он приехал?

— Исключительно с целью получить информацию.

— Информацию? — вскричал Жак. — В такой момент, когда, по всей вероятности, уже поздно даже и действовать!

Жюмлен пожал плечами.

— Действовать... Чудак!.. Неужели ты думаешь, что можно еще принимать какие-то решения, когда обстановка меняется с каждым часом? Известно тебе, что Германия тоже объявила всеобщую мобилизацию? Это произошло в пять часов, вскоре после нас. И говорят, что сегодня вечером она официально объявит войну России.

— Я хочу знать одно, — нетерпеливо сказал Жак. — Для чего приехал этот Мюллер — для того, чтобы объединить французский пролетариат с германским? Чтобы организовать, наконец, забастовку в обеих странах? Да или нет?

— Забастовку? Разумеется, нет, — ответил Жюмлен. — По-моему, он приехал просто для того, чтобы узнать, будет или не будет французская партия голосовать за военные кредиты, которых правительство, вероятно, потребует от палат в понедельник. И это все.

— И это было бы уже кое-что, — сказал Рабб, — если бы хоть в этом определенном пункте социалистические депутаты Франции и Германии решили придерживаться одинаковой политики.

— Ну, это еще неизвестно, — загадочно уронил Жюмлен.

Жак переступал с ноги на ногу.

— Единственное, что можно сказать, — продолжал Жюмлен убежденным тоном, — и что, кажется, на все лады повторяли Мюллера лидеры нашей партии, это — что Франция сделала все возможное, чтобы избежать войны... До последней минуты! Вплоть до согласия оттянуть свои войска прикрытия!.. По крайней мере у нас, французских социалистов, совесть чиста! И мы имеем полное право считать Германию нападающей стороной!

Жак смотрел на него, ошеломленный.

— Другими словами, — отрезал он, — французские социалистические депутаты собираются голосовать за кредиты?

— Во всяком случае они не могут голосовать против них.

— Что значит — не могут?

— Самое вероятное — что они воздержатся при голосовании, — сказал Рабб.

— Ах! — вскричал Жак. — Если бы Жорес был с нами!

— Ба!.. Я думаю, что при настоящем положении вещей сам патрон не решился бы голосовать против.

— Но ведь Жорес сотни раз доказывал, насколько нелепо это разделение стран на страну нападающую и страну, подвергшуюся нападению! — вскричал Жак в бешенстве. — Это только предлог для бесконечных препирательств! Вы все, кажется, забыли об истинных причинах той переделки, в которую мы попали, —

о капитализме, об империалистической политике правительства! В какие бы формы ни облекались первые проявления вражды, международный социализм должен восстать против войны, против всякой войны! Если же нет...

Рабб яко согласился с ним:

— В принципе, конечно... И, кажется, Мюллер действительно сказал что-то в этом духе...

— И что же?

Рабб устало махнул рукой.

— Этим дело и кончилось. И, взявшись под ручку, они пошли обедать.

— Нет, — возразил Жюмлен. — Ты забыл сказать, что Мюллер выразил желание позвонить по телефону в Берлин, чтобы посоветоваться с лидерами своей партии.

— Ах, так? — произнес Жак, хотелый только одного — снова обрести надежду.

Он яростно повернулся, сделал несколько шагов, но возвратился и опять остановился перед Жюмленом и Раббом.

— Знаете, что думаю об этом я? Этот Мюллер приехал по-просту для того, чтобы прощупать подлинный уровень интернационализма и пацифизма французской партии. И если бы перед ним оказались настоящие борцы, готовые на все, готовые объявить всеобщую забастовку, чтобы провалить националистическую политику правительства, то — я это утверждаю — можно было бы еще спасти мир! Да! Даже сегодня, даже после объявления мобилизации, можно было бы еще спасти мир! Грозным союзом французского и германского пролетариата! Что же он нашел вместо этого? Говорунов, спорщиков, умеренных, всегда готовых осудить войну и национализм на словах, а на деле собирающихся уже голосовать за военные кредиты и предоставить полную свободу действий генеральному штабу! Мы до последней минуты будем свидетелями все того же нелепого и преступного противоречия: того же двусмысленного столкновения между идеалом интернационализма, который исповедуют теоретически, и всеми теми националистическими интересами, которыми на практике не хочет пожертвовать никто — даже сами лидеры социалистов!

Пока он говорил, изнемогавшая от усталости Женни не отрывала от него глаз. Голос Жака сбивал ее, словно знакомая и ласкающая музыка. Казалось, что она внимательно следит за его словами, но в действительности она была слишком утомлена, чтобы слушать. Она жадно рассматривала лицо Жака, рот на этом лице, и ее взгляд, устремленный на эти изогнутые губы, линия которых то выпрямлялась, то сокращалась, словно какое-то изумительное, живое существо, доставляя ей физическое ощущение близости. Вспоминая ночь, проведенную в его объятиях, она замирала от ожидания. «Уйдем, — думала она. — Чего он ждет? Скорее... Пойдем домой... Какое нам дело до всего остального?»

Кадьё, перебегавший от группы к группе и распространявший новости, подошел к ним.

— Мы только что обратились в министерство внутренних дел с просьбой дать Мюллеру возможность переговорить по телефону с Берлином. Безуспешно: сообщение прервано. Слишком поздно! И тут и там осадное положение...

— Это было, пожалуй, последним шансом, — прошептал Жак, наклоняясь к Женни.

Кадьё услышал его и насмешливо спросил:

— Шансом на что?

— На выступление пролетариата! Международное выступление!

Кадьё странно улыбнулся.

— Международное, — повторил он. — Но, дорогой мой, будем реалистами: начиная с сегодняшнего дня, международна не борьба за мир, международна — война!

Что это было — выпад отчаяния? Он пожал плечами и скрылся во мраке.

— Он прав, — проворчал Жюмлен. — До ужаса прав. Война налицо. Сегодня вечером — добровольно или нет — мы, социалисты, так же как все французы, находимся в состоянии войны... Наша международная деятельность... да, мы еще вернемся к ней, мы возобновим ее, но потом. На сегодняшний день пора пацифизма миновала.

— И это говоришь ты, Жюмлен? — вскричал Жак.

— Да! Появился новый фактор: война налицо. Для меня этот фактор изменил все. И наша роль — роль социалистов — представляется мне вполне ясной: мы не должны тормозить деятельность правительства!

Жак посмотрел на него в оцепенении.

— Значит, ты согласишься быть солдатом?

— Разумеется. Заявляю тебе, что во вторник гражданин Жюмлен станет самым обыкновенным рядовым второго разряда двести тридцать девятого запасного полка в Руане!

Жак опустил глаза и ничего не ответил.

Рабб положил руку ему на плечо.

— Не строй из себя большого упрямца, чем ты есть на деле... Если сегодня ты еще не думаешь так же, как он, то ты придешь к этому завтра... Это бесспорно. Дело Франции есть дело демократии. И мы, социалисты, обязаны первыми защищать демократию от вторжения соседей-империалистов!

— Значит, и ты тоже?

— Я? Не будь я так стар, я пошел бы добровольцем... Впрочем, я попытаюсь. Может быть, моя старая шкура еще на что-нибудь пригодится... Что ты так смотришь на меня? Я не переменил своих убеждений. Я твердо надеюсь дожить до такого дня, когда можно будет возобновить борьбу с милитаризмом. Я остаюсь его заклятым врагом! Но в настоящий момент — без глупостей: милитаризм уже не то, чем он был вчера. Милитаризм сегодняшнего дня — это

спасение Франции, и даже больше: спасение демократии, которой грозит опасность. Вот почему я прячу свои когти. И готов сделать то же, что товарищи: взять винтовку и защищать страну. А дальше будет видно!

Он смело выдерживал взгляд Жака. Неопределенная улыбка, смушенная и в то же время горделивая, блуждала на его губах и еще больше оттеняла прятавшуюся в глазах грусть.

— Даже Раббл! — прошептал Жак, отворачиваясь.

Он задыхался.

Он схватил Женни за руку и ушел с ней, не попрощавшись.

У ограды группа оживленно разговаривавших людей загораживала выход.

В центре, жестикулируя, говорил что-то Пажес, секретарь Галло. Среди окружавших его молодых социалистов Жак увидел знакомые лица; это были Бувье, Эраг, Фужероль, профсоюзный работник Латур, Одель и Шардан — сотрудники «Нита».

Пажес заметил Жака и кивнул ему.

— Знаешь новость? Телеграмма из Петербурга: сегодня вечером Германия объявила войну России.

Бувье, митинговый оратор, человек лет сорока, тщедушный, с землистым лицом, повернулся к Жаку:

— Нет худа без добра! Там, на фронте, для нас найдется работа! Как только они дадут нам винтовки и патроны...

Жак не ответил. Он не доверял Бувье и не любил его бегающих глазок. (Мурлан сказал ему как-то, выходя с митинга, где Бувье произнес горячую речь: «Этот малый у меня на примете. Слишком уж он пылок, на мой взгляд... Когда происходят аресты, его каждый раз берут первым, но он всегда ухитряется каким-то образом доказать свою непричастность к делу и освободиться...»)

— Забавнее всего, — продолжал Бувье с приглашенным смешком, — их уверенность в том, что они втянули нас в националистическую войну! Они и не подозревают, что через месяц эта война станет гражданской войной!

— А через два месяца — революцией! — вскричал Латур.

Жак холодно спросил:

— Так, значит, все вы тоже подчинились мобилизации?

— Черт возьми! Случай слишком хорош, чтобы его упускать!

— А ты? — спросил Жак, обращаясь к Пажесу.

— Разумеется!

На лице Пажеса было необычное выражение. Его голос звенел. Можно было подумать, что он немного пьян.

— Не наша вина, — продолжал он, — если мы не смогли помешать этой войне! Но мы не смогли, и война — совершившийся факт. Так пусть же по крайней мере она будет концом этого умирающего общества, которое не замечает, что идет на самоубийство! Капита-

лизм не переживет катастрофы, которую он сам вызвал, и его гибель будет зависеть от нас одних! Так пусть же по крайней мере эта война послужит на пользу социальному прогрессу! Пусть она послужит на пользу человечеству! Пусть она будет последней войной! Пусть она будет войной освободительной!

— Война войне! — прогремел чей-то голос.

— Мы будем драться, — вскричал Одель, — но будем драться, как солдаты революции, за окончательное разоружение и раскрепощение народов!

Эрап, почтовый служащий, всегда привлекавший внимание своим исключительным сходством с Брианом<sup>1</sup> (вплоть до голоса, вибрирующего, с теплыми глухими нотами), медленно произнес:

— Да... Тысячи и тысячи невинных будут принесены в жертву! Это чудовищно. Но единственное, что могло бы примирить с этим ужасом, — это мысль, что мы платим за будущее! Те, которые выйдут из этого кровавого крещения, возродятся духовно... Перед ними не останется ничего, кроме развалин. И на этих развалинах они смогут, наконец, построить новое общество!

Женни, стоявшая позади Жака, увидела, как вздрогнули его плечи. Она подумала, что сейчас он вмешается в спор. Но он повернулся к ней, не сказав ни слова. Его изменившееся лицо поразило ее. Он снова взял ее под руку и, прижимая к себе, отошел от группы. Он был счастлив, что она с ним: ощущение одиночества казалось ему не таким горьким. «Нет, — говорил он себе, — нет!.. Лучше умереть, чем принять то, что я осуждаю всем сердцем! Лучше смерть, чем это отступничество!»

— Вы слышали? — сказал он после короткого молчания. — Я не узнаю их больше.

В эту минуту Фужероль, который во время разговора у ограды не проронил ни слова, нагнал их.

— Ты прав, — сказал он без всякого предисловия, вынуждая молодых людей остановиться и выслушать его. — Я даже хотел было дезертировать, чтобы остаться верным самому себе. Понимаешь?.. Но если бы я это сделал, то впоследствии никогда не был бы уверен в том, что сделал это по убеждению, а не из трусости. Потому что, сказать правду, я отчаянно боюсь... И вот, это нелепо, но я сделаю то же, что они: я пойду...

Он не стал дожидаться ответа Жака и удалился решительным шагом.

— Может быть, есть много таких, как он... — задумчиво прошептал Жак.

Они пошли по Бургундской улице вдоль Бурбонского дворца, направляясь к Сене.

<sup>1</sup> Бриан, Аристид (1862—1932) — французский политический деятель, ренегат социалистического движения. Однаждать раз был премьер-министром. В кабинете Вивиани занимал пост министра юстиции,

— Знаете, что меня поражает? — продолжал Жак после новой паузы. — Их взгляды, их голос, какая-то непроизвольная веселость, которая сквозит в их движениях... До такой степени, что невольно спрашиваешь себя: «А что, если бы они сейчас узнали, что все уладилось, что мобилизация отменена, — не охватило бы их прежде всего чувство разочарования?..» И больнее всего, — добавил он, — видеть энергию, которую они отдают на службу войне, их мужество, их презрение к смерти! Вот эту *впустую растряченную душевную силу* — силу, с которой хватило бы на то, чтобы помешать войне, если бы только они вовремя и единодушно употребили ее на служение миру!..

На мосту Согласия они встретили Стефани; он шел один, опустив голову; огромные очки красовались на его хрящеватом носу. Он тоже торопился узнать результат переговоров.

Жак сообщил ему, что беседа прервана и через некоторое время должна возобновиться, но уже в «*Humanité*».

— В таком случае я возвращаюсь в редакцию, — сказал Стефани, поворачивая обратно.

Жак был по-прежнему мрачен. Он прошел несколько шагов молча; затем, вспомнив о пророчестве Мурлана, дотронулся до локтя Стефани.

— Кончено, нет больше социалистов: есть только социал-патриоты.

— Почему ты говоришь это?

— Я вижу, что все они согласны идти воевать. Им кажется, что, принося революционный идеал в жертву новому мифу — «Отечеству в опасности», они повинуются своей совести. Самые яростные противники войны сильнее всего рвутся в бой!.. Жюмлен... Пажес... Все!.. Даже старик Рабб готов пойти добровольцем, если только согласятся его взять!

— Рабб? — повторил Стефани вопросительным тоном. Однако он заявил: — Это меня не удивляет... Кадьё тоже идет. И Берте и Журден. Все они со вчерашнего дня носят в кармане боевые билеты. Даже Галло, несмотря на свою близорукость, попросил Геда, чтобы тот похлопотал за него в министерстве и помог ему освободиться от должности чиновника провиантского управления!..

— Партия обезглавлена, — мрачно заключил Жак.

— Партия? Может быть, и нет. Но что действительно обезглавлено — это противодействие силам войны.

Жак подошел к нему ближе, охваченный братским порывом.

— Ты тоже думаешь, что если бы Жорес был жив...

— Разумеется, он был бы с нами! Или, вернее, вся партия осталась бы с ним!.. Дионуа нашел правильную формулировку: «Социалистическая совесть не раскололась бы».

Они молча перешли через площадь Согласия, свободную от экипажей и потому казавшуюся более широкой и светлой, чем обычно. Желчное лицо Стефани судорожно подергивалось: у него был тик.

Внезапно он остановился. Свет уличного фонаря отбрасывал на его продолговатое лицо причудливые блики, и минутами его очки вспыхивали над глазными впадинами, полными мрака.

— Жорес? — повторил он. (Произнося это имя, его певучий голос, голос южанина, зазвучал такими нежными, такими скорбными нотками, что у Жака подступил комок к горлу.) — Знаешь, что он сказал при мне в прошлый четверг, перед самым отъездом из Брюсселя? Гюисманс<sup>1</sup> собирался вернуться в Амстердам и прощался с ним. Патрон неожиданно посмотрел ему в глаза и сказал: «Слушайте меня внимательно, Гюисманс. Если разразится война, поддерживайте *Интернационал!* Если друзья будут умолять вас принять участие в столкновении, не делайте этого, поддерживайте *Интернационал!* И если я, Жорес, приду к вам и потребую, чтобы вы примкнули к какой-либо из воюющих сторон, не слушайте меня, Гюисманс! Чего бы это ни стоило, поддерживайте *Интернационал!*»

Потрясенный, Жак вскричал:

— Да! Даже если нас останется только десять! Даже если нас останется только двое! Чего бы это ни стоило, мы должны поддерживать *Интернационал!* — Его голос дрожал. Трепеща от волнения, Женни подошла ближе и прижалась к нему, но он, видимо, этого не заметил. Он повторил еще раз, словно клятву: — Поддерживать *Интернационал!*

«Но как?» — думал он. И ему казалось, что он, совсем один, погружается во мрак.

Было за полночь, когда Жак и Женни вышли из редакции *«Humanité»*, куда многие социалисты приходили в этот вечер за новостями. Несмотря на полное крушение надежд, Жак все же не хотел уходить, не узнав исхода переговоров с германским делегатом. С беспокойством глядя на измученное лицо Женни, он неоднократно умолял ее вернуться домой и отдохнуть, обещая прийти к ней, как только сможет, но она каждый раз отвечала отказом. Наконец в кабинет Стефани, где кроме них нашли приют еще человек двадцать социалистов, пришел Галло и заявил, что заседание кончилось. Мюллер и де Ман очень торопились: они хотели поймать последний поезд для штатских, направлявшийся в Бельгию, и у них едва оставалось время, чтобы добраться до Северного вокзала. Жак и Женни увидели, как они поспешно прошли по

<sup>1</sup> Гюисманс, Камилл (род. в 1871 г.) — лидер правого крыла бельгийской социалистической партии. В 1904—1919 гг. секретарь Международного бюро II Интернационала.

коридору. Кашену,<sup>1</sup> вооруженному депутатской перевязью, было поручено облегчить им отъезд и усадить в поезд. И все-таки нельзя было поручиться, что Мюллеру удастся проехать через бельгийскую границу.

Галло, на которого все накинулись с расспросами, яростно тряс всклокченной головой. Наконец удалось вырвать у него подробности. В конечном итоге эта последняя встреча социалистических партий Франции и Германии ни к чему не привела. После шести часов добросовестного обсуждения пришлось ограничиться робким пожеланием, чтобы социалисты палаты и рейхстага, не препятствуя предоставлению военных кредитов, хотя бы воздержались от голосования за них. Присутствующие разошлись, прия к следующему смехотворному заключению: «Неустойчивость ситуации не позволяет взять на себя более определенные обязательства».

Это было окончательное банкротство. Догмат международной солидарности оказался иллюзией.

Жак взглянул на Женни, словно надеясь найти у нее последнюю поддержку в своем отчаянии. Она сидела на табурете, немного в стороне от остальных, опустив руки на колени, прислонившись спиной к книжным полкам. Свет плафона косо падал на ее профиль, сгущая тени под глазами, под скулами. Зрачки ее расширялись от усилия, которое она делала над собой, чтобы держать глаза открытыми. Заключить ее в объятия, укачать, убаюкать... Все сострадание, какое Жак питал в этот вечер к миру, внезапно удесятерило его жалость к этому хрупкому и усталому существу, единственному теперь, которое должно было иметь для него значение.

Он подошел к ней, помог подняться, молча вывел из комнаты.

Наконец! Она первая бросилась к лестнице. Она больше не чувствовала усталости. И когда они оказались на тротуаре, когда горячая рука Жака обвилась вокруг ее талии, — помимо радости, помимо того непреодолимого чувства, которое приковывало ее к нему, она испытала вдруг какое-то неясное, пугающее, совершенно новое ощущение, настолько сильное, что волна крови бурно прилила к ее вискам, и, пошатнувшись, она поднесла руку ко лбу.

— Вы совсем измучены, — прошептал Жак, удрученный. — Что же делать? Сегодня нет никакой надежды на машину...

Прижавшись друг к другу, измученные, лихорадочно возбужденные, они двинулись вперед, в ночь.

На улицах было еще много народа. Небольшие группы полицейских и солдат муниципальной гвардии дежурили на всех перекрестках.

<sup>1</sup> Кашен, Марсель (род. в 1869 г.) — выдающийся деятель международного рабочего движения, один из основателей и руководителей Коммунистической партии Франции, до создания которой принадлежал к левому крылу социалистической партии. С 1912 г. — один из редакторов «Humanité», с 1914 г. — бессменный член французского парламента.

Жак и Женни очень удивились, увидев широко раскрытые двери церкви на площади Нотр-Дам де Виктуар. Они подошли. Неф зиял, словно волшебный гrot, мрачный, хотя и освещенный бесчисленными трехсвечниками, преображавшими алтарь в неопалимую купину. Хоры, несмотря на ночное время, были полны безмолвными молящимися тенями; вокруг исповедален, ожидая очереди, стояли коленопреклоненные молодые люди. Заинтересованный и невольно растроганный смятением, которое изобличал в столь поздний час этот порыв народного благочестия, Жак охотно зашел бы сюда на минутку, но Женни с негодованием удержала его: три века протестантизма бессознательно восставали в ней против пышности католических обрядов, против этого идолопоклонства...

Не обменявшихся впечатлениями, они продолжали путь.

Женни, теперь совсем уже изнемогавшая от усталости, шла, повиснув на руке Жака. Вдруг, неожиданно для самой себя, она схватали эту руку и прижалась к ней щекой. Он остановился, потрясенный. Оглядевшись по сторонам, он втолкнул девушку в какой-то подъезд и обнял ее. «Наконец!» — подумала она. Ее губы раскрылись. Она больше не старалась спрятать от него свой рот. Долгие часы ждала она этой ласки. Она закрыла глаза и, трепеща, отдалась поцелую.

Они миновали Центральный рынок и пошли по бульвару Сен-Мишель. Часы на дворце показывали четверть второго. Пешеходов стало меньше, но по мостовой главных улиц тянулись по направлению к городским заставам вереницы обозов: реквизированные подводы, лошади, которых вели под уздцы, автомобили, управляемые солдатами, безмолвные полки, двигавшиеся куда-то по секретным предписаниям. В эту ночь во всей Европе не было покоя.

Они шли медленно. Женни прихрамывала. Она вынуждена была признаться, что ботинок натер ей ногу. Жак потребовал, чтобы она сильнее оперлась на него; он поддерживал ее, почти нес. Это задевало самолюбие Женни, но и умиляло ее. По мере того как они приближались к дому, какое-то неясное беспокойство начинало премышляться к их нетерпению. Нравственные и физические силы обоих были на исходе, но, несмотря ни на что, упорное пламя радости пробивалось сквозь эту усталость и эту тревогу.

Едва Женни успела включить электричество в передней, она прежде всего — таково было первое ее движение всякий раз, как она возвращалась домой, — взглянула, не подсунула ли привратница под дверь телеграмму из Вены. Ничего. Сердце ее сжалось. Теперь нечего было и думать о том, чтобы получить известие от матери до их отъезда.

— Только бы сохранилось нормальное сообщение между Швейцарией и Австрией, — прошептала она. Это было теперь единственной ее надеждой.

— Сразу же по приезде в Женеву мы пойдем в консульство, — обещал Жак.

Они все еще стояли в передней, преследуемые воспоминанием о прошлой ночи, чувствуя внезапную неловкость оттого, что вдруг оказались одни при этом ярком свете, с этими изможденными лицами; глаза их избегали друг друга: одно и то же воспоминание смущало обоих.

— Что ж... — сказал Жак.

Он не двигался. Машинисто нагнувшись, он поднял лежавшую на полу газету, медленно сложил ее и бросил на круглый столик.

— Я умираю от жажды, — сказал он, наконец, с несколько делянной непринужденностью. — А вы?

— Я тоже.

В кухне еще стояли на столе остатки еды.

— Наш завтрак, — сказал Жак.

Он отвернул кран и не закрывал его до тех пор, пока вода не стала прохладной; потом протянул стакан Женни, спустившейся на ближайший стул. Она отпила несколько глотков и вернула ему стакан, отведя при этом глаза: она была уверена, что он коснется губами того места, к которому только что прикасалась ее губы... Он жадно выпил один за другим два стакана, удовлетворенно вздохнул и подошел к ней. Взяв ее лицо обеими руками, он наклонился. Но ограничился тем, что долго смотрел на нее, совсем близко. Потом с нежностью сказал:

— Моя дорогая, моя бедная девочка... Уже поздно... Вы измучились... А завтра ночью этот долгий путь... Вы должны хорошенъко выспаться... На своей кровати, — добавил он.

Она съежилась, не отвечая. Он заставил ее подняться и довел до дверей ее комнаты; она еле держалась на ногах.

В комнате было темно; только слабый свет летней ночи проникал через открытое окно.

— А теперь вы должны спать, спать, — повторил он ей на ухо.

Она не двинулась с места. Прижалась к нему, она продолжала стоять на пороге. Еле слышно она прошептала:

— Там...

«Там» — это значило: на диване, в комнате Даниэля... Он глубоко вздохнул и не ответил. Когда Женни согласилась ехать с ним в Швейцарию, он подумал: «Она станет моей женой в Женеве». Но после потрясений этого трагического дня... Равновесие мира было нарушено; кругом царило непредвиденное; исключительное стало законом; все обязательства теряли силу...

Еще несколько секунд, совершенно сознательно, он боролся с собой. Отстранившись, он посмотрел ей в лицо.

Она подняла к нему свои прозрачные глаза. Одинаковое волнение, одинаковая радость, торжественная и чистая, заливали обоих.

— Да, — сказал он наконец.

Симплонский экспресс,<sup>1</sup> который по расписанию должен был прибыть в Париж в семнадцать часов, только в двадцать три часа с минутами добрался до станции Ларош,<sup>2</sup> где был немедленно поставлен на запасный путь, чтобы освободить главную магистраль для составов с продовольствием для армии. Экспресс состоял почти исключительно из старых вагонов третьего класса и был переполнен: в десятиместные купе набилось по тринадцать — четырнадцать человек. В час ночи, после бесконечных маневров, поезд снова с трудом двинулся к столице. В три часа он со скоростью пехотинца прошел мимо станции Мелён<sup>3</sup> и почти сейчас же остановился на мосту через Сену. Начинавшее белеть небо освещало изгиб реки; город угадывался по нескольким рядам мигавших в тумане огней. Постепенно за холмами начало светать, и внизу, на дороге, идущей вдоль реки, стал виден марширующий полк, за которым тянулась длинная вереница обозных повозок.

Наконец в половине пятого, после бесчисленных остановок, минимых отправлений, ожиданий в туннелях, поезд, свистя и тормозя у каждого семафора, медленно миновал парижское предместье и остановился на пути без платформы, в трехстах метрах от вокзала Париж — Лион — Средиземное море.

Г-жа де Фонтанен пошла вслед за пассажирами, которых служащие высаживали прямо на железнодорожную насыпь и направляли по полотну к зданию вокзала. Тяжелый чемодан бил ее по ногам, и она шаталась при каждом шаге.

Она оставила Вену в разгаре предвоенной суматохи, выехав одним из последних поездов, предназначенных для иностранцев, которые направлялись в Италию. Она ехала трое суток; у нее было семь пересадок, и она не спала три ночи. Зато она добилась того, что иск против ее мужа был прекращен и имя де Фонтанена не фигурировало больше в следственных материалах.

Вокзал, переполненный солдатами в красных штанах, напоминал лагерь. Ей пришлось пробираться между винтовками, составленными в козлы, натыкаться на барьера, охраняемые дневальными, десятки раз поворачивать обратно, пока не удалось, наконец, выбраться из вокзала. Не покидавшая ее мысль о сыне с новой силой овладела ею среди этих солдат. Она ничего не знала о нем. Дома сна найдет его письма. Даниэль! Какая судьба ждет его? Она увидала его в красивом мундире, в сверкающей каске, верхом на коне у пограничного столба... Готовый к отпору защитник родины,

<sup>1</sup> Симплон — название знаменитого туннеля, находящегося на железнодорожном пути из Франции в Швейцарию.

<sup>2</sup> Городок в департаменте Верхней Савойи, первая крупная станция на железнодорожной линии Женева — Лион.

<sup>3</sup> Городок на Сене, в департаменте Сены и Марны, в 45 км к юго-востоку от Парижа.

находящейся под угрозой... Бог сохранит его! Бояться за него — значило бы недостаточно верить.

На улице ни одного такси, ни одного автобуса. Дойти до дому пешком было не так уж трудно: радость, что она, наконец, у цели, мешала ей чувствовать по-настоящему усталость. Но что делать с вещами? У камеры хранения стояли в очереди более ста человек. Кое-как волоча свой чемодан, г-жа де Фонтанен перешла через площадь и заметила открытый ресторанчик. Беспорядок на столиках, заспанные лица официантов, несколько ламп, продолжавших гореть, хотя уже совсем рассвело, — все говорило о том, что кафе, вопреки правилам, не закрывалось всю ночь. Молодая женщина за кассой, покоренная располагающей улыбкой путешественницы, согласилась подержать у себя чемодан, и г-жа де Фонтанен, освободившись от ноши, направилась к улице Обсерватории. Конец ее мучений был близок: через полчаса она будет с Женни, у себя, перед своим чайным прибором. Ее усталость почти исчезла.

Этот утренний Париж, Париж 2 августа, был уже так оживлен, что, подойдя к своему дому, она удивилась, что подъезд закрыт. Ее часы остановились. Проходя мимо привратницкой, на застекленной двери которой еще не были подняты занавески, она решила, что, как видно, сейчас не больше половины шестого. «Женни спит и, наверное, наложила цепочку, — подумала она, поднимаясь по лестнице. — Услышит ли она звонок в передней?»

На всякий случай, прежде чем позвонить, она попыталась открыть дверь своим ключом. Дверь отворилась: замок был заперт только на один поворот ключа.

Ее взгляд прежде всего натолкнулся в передней на мужскую шляпу, черную фетровую шляпу. Даниэль? Нет... Ее охватил страх. Все двери были открыты настежь. Она сделала два шага и вышла в коридор. Там, в глубине, горел огонь в кухне... Что это — бред? Она ничего не понимала. На секунду она прислонилась плечом к стене. Ни малейшего шума. Квартира казалась пустой. Однако эта шляпа, эта горящая лампочка... Мысль о налете грабителей промелькнула у нее в голове. Она машинально пошла по коридору, направляясь к кухне, но вдруг остановилась перед комнатой Даниэля, дверь в которую была открыта, и застыла на месте, устремив глаза в одну точку: на диване среди разбросанных в беспорядке подушек — два обнажившихся тела...

На мгновение мысль о краже сменилась мыслью об убийстве. Но только на одно мгновение, потому что она сейчас же узнала оба запрокинутых лица — Женни спала в объятиях спящего Жака!

Она поспешило отступила в темноту коридора. Она прижимала руку к груди, словно биение сердца могло выдать ее присутствие. Единственной ее мыслью было бежать. Бежать, чтобы забыть о виденном! Бежать, чтобы оградить от жестокого унижения их... себя...

Быстро, крадучись, она вернулась в переднюю. Здесь ей пришлось остановиться: она была близка к обмороку. Пожалуй, она

уже готова была спросить себя, не галлюцинация ли все это, как вдруг ей снова бросилась в глаза фетровая шляпа Жака, дерзко кинутая на середину стола. Тогда она собралась с силами, осторожно отворила дверь на площадку, бесшумно заперла ее за собой и, цепляясь за перила, тяжело переступая со ступеньки на ступеньку, спустилась вниз.

А теперь? Неужели ей придется стучать, чтобы открыли подъезд, разговаривать с привратницей, рассказывать ей о своем возвращении и объяснять внезапный уход?.. К счастью, привратница, которую она, как видно, разбудила своим приходом, уже встала и одевалась; за занавесками виднелся свет, и подъезд был открыт. Бедная женщина смогла выйти на улицу незамеченной.

Куда идти? Где искать убежища?

Она перешла на другую сторону и вошла в сквер. Он был безлюден. Она добралась до ближайшей скамьи и упала на нее.

Вокруг тишина, свежесть. Вдали — глухой, непрерывный шум: грохот подвод и грузовых автомобилей, без конца проезжавших по бульвару Сен-Мишель.

Г-жа де Фонтанен не пыталась понять. Она даже не спрашивала себя о том, что могло произойти в ее отсутствие, каким образом дошло до этого. Ей не удалось заставить себя рассуждать. Но она продолжала видеть. Картина, стоявшая перед ее глазами, обладала неоспоримой реальностью действительности: диван в беспорядке, обнаженная вытянутая нога Женни, облитая светом из окна; руки Жака, обвивающие грудь девушки, их поза, говорящая о самозабвении, и на их сблизившихся во сне губах выражение сладостного, мучительного восторга... «Как они были прекрасны», — подумала г-жа де Фонтанен, несмотря на стыд, несмотря на ужас. К ее негодованию, к ее инстинктивному возмущению уже примешивалось другое чувство, укоренившееся в ней так глубоко: уважение к другому человеку, уважение к судьбе, к ответственности другого человека.

Почувствовал ли Жак сквозь сон, что в квартире было какое-то движение? Его веки дрогнули: он открыл глаза. В одну секунду он осознал все. Его взгляд, прежде чем остановиться на уснувшем лице, скользнул по обнаженной ноге, по округлости груди, по изгибу плеча. Сколько грусти в складке этого рта! Какое застывшее выражение страдания на этом неподвижном лице! Страдания — и в то же время покоя... Маска мертвый девочки, чья агония была ужасна...

Он удерживал дыхание и не мог оторвать глаз от этих стиснутых губ. Жалость, раскаяние, страх были сильнее его нежности. Какой-то рок тяготел над ними. Рок? Нет. Все это произошло потому, что он того хотел. И только по его воле. Он всегда кидался на Женни, словно зверь на свою добычу. Это он сам навязал ей свое присутствие в Мезон-Лафите, заставил полюбить себя, чтобы

сейчас же исчезнуть, оставив ее во власти отчаяния. И вот этим летом он снова обрушился на нее — на нее, уже начинавшую приходить в себя, забывать... Непоправимое свершилось. Неделю назад она могла еще жить без него. Сегодня — нет. Она принадлежит ему. Он втянул ее в свою орбиту. Что будет дальше? Грозная неизвестность... Теперь без него вкус к жизни был бы утерян для нее навсегда. А будет ли она счастлива с ним? Нет. Он знал это. Антуан был прав! Он не из тех, кто приносит другим счастье.

Антуан... Инстинктивно он поискал глазами часы. Он обещал проводить брата на вокзал сегодня утром. Без двадцати шесть. Через пять минут надо вставать.

В открытое окно вливался глухой, прерывистый шум. Жак поднял голову. Полки, обозы, орудия проезжали по городу. Война была рядом, она подстерегала их пробуждение. «Первый день мобилизации — воскресенье 2 августа...» В это утро война начиналась для всех.

Он продолжал лежать, приподнявшись на локте, напряженно вслушиваясь; взгляд его был неподвижен, лоб влажен. Иногда шум затихал на минуту-другую. Волнующая тишина сменяла тогда лязг железа, тишина, нарушаемая щебетанием птиц или же слабым, как вздох, шелестом деревьев, колеблемых ветерком. Потом в отдалении снова зарождался зловещий гул. Новые отряды проходили по бульвару: их мерный шаг приближался, становился громче, заглушая тишину, покрывая чириканье воробьев, подавляя своим грохотом все вокруг.

Рискуя разбудить Женни, он осторожно приподнял ее и обнял. Соприкосновение их тел заставило ее внезапно сжаться во сне. Она прошептала: «Нет... нет...» Потом ее веки поднялись, и она улыбнулась ему — нежной и робкой улыбкой, меж тем как в глубине ее затуманенных глаз медленно угасал огонек испуга. С минуту они лежали не шевелясь, тесно прижавшись друг к другу. В жгучей неподвижности этого объятия тела их трепетали от воспоминаний ночи. Но эти воспоминания были неодинаковы у обоих... И когда Жак еще крепче прижал ее к себе, Женни, чья нежность была парализована страхом перед новым страданием, инстинктивно попыталась уклониться. Побежденная, наконец, своей слабостью, своей любовью, жертвенным восторгом еще больше, чем собственным желанием, она уступила... Полное решимости самозабвение, в котором была как раз та доля страсти и даже радости, какая была нужна, чтобы Жак смог обмануться и не заподозрил, сколько страха, самоотверженности, воли скрывалось за этим согласием.

Откинувшись на спинку скамьи, сложив руки на коленях, г-жа де Фонтанен смотрела прямо перед собой, не в силах ни о чем думать.

Время шло. Сад, залитый утренним солнцем, пение птиц, зелень, цветы, белые статуи, отбрасывавшие на газоны длинные

тени, — все это окутывало ее одиночеством. Мужчины, женщины, которые быстрыми шагами наискось пересекали улицу, проходили далеко от нее, не глядя на эту женщину в трауре, в изнеможении сидящую на скамейке. Деревья закрывали от нее окна ее квартиры, но сквозь кусты она видела подъезд своего дома.

Вдруг она нагнула голову и опустила вуаль: Жак, а потом Женни показались на пороге... Они не могли увидеть, узнать ее на таком расстоянии. Но вдруг они пойдут в ее сторону?.. Когда она решилась, наконец, поднять глаза, они быстро удалялись в направлении Люксембургского сада.

Она глубоко вздохнула. Кровь стучала у нее в висках. Она растерянно провожала глазами молодую пару, пока та не скрылась из виду. Еще несколько минут она сидела, не имея мужества встать. Затем поднялась и почти твердым шагом — несмотря ни на что, это бесконечное ожидание дало ей некоторый отдых — направилась к дому.

### LXXIII

— Полежи, — сказал Жак Женни. — Я провожу Антуана на вокзал. Потом зайду попрощаться с Мурланом; пройду в В.К.Т., в «Нима». А потом уже, около полудня, вернусь сюда за тобой.

Но Женни думала иначе. Она твердо решила, что в это утро не останется одна в квартире.

— А когда же ты будешь укладывать вещи? Или устраивать дела, о которых ты говорила вчера? Тебе ни за что не успеть собраться к вечеру, — сказал он, поддразнивая ее.

Она улыбнулась совсем новой, застенчивой и страстной улыбкой, затуманившей ее взгляд.

— У меня другой план... Я пойду посмотрю еще раз наш скверик на улице Лафайет. Вы... ты зайдешь за мной туда, когда будешь возвращаться с Северного вокзала, — хорошо? Или позже.

Они решили, что она проводит его до Университетской улицы через Люксембургский сад, пешком; а потом будет терпеливо ждать его у церкви Сен-Вансан-де-Поль. И она побежала одеваться.

Антуан расстался с Анной в три часа утра.

Накануне он не устоял против непреодолимой потребности снова увидеть ее: последняя и горькая радость, которую он позволил себе, не обольщаясь, как даруют последнюю милость приговоренному к смерти. Но жестокое отчаяние Анны в минуту прощания и раскаяния, которое он испытал, уступив искушению, оставили в нем чувство растерянности и уныния. Вернувшись домой, он провел остаток ночи на ногах. Разобрал содержимое ящиков, сжег бумаги, вложил в конверты небольшие суммы денег, предназначенные разным лицам: г-ну Шалю, служанкам, мадмуазель де Вез

и даже двум мальчикам-сиротам с улицы Вернейль — смешливому маленькому конторщику Роберу Боннару и его брату. (Он продолжал время от времени помогать им, и ему не хотелось оставить их без поддержки в эти первые недели всеобщей суматы.) Затем он написал довольно длинное письмо Жиз, советую ей не уезжать из Англии, и другое письмо — Жаку, адресованное в Женеву: он был уверен, что брат не придет проститься с ним после вчерашней сцены. В нескольких дружеских словах он просил прощения за то, что обидел его, и умолял писать о себе.

После этого он прошел в туалетную комнату и надел военную форму. И сразу его охватило спокойствие, словно решительный шаг был уже сделан.

Застегивая края, он произвел мысленный смотр всему, что намеревался сделать до отъезда. Ничто не было забыто. Эта уверенность скончательно его успокоила. Вдруг он подумал, что ему будет многое недоставать для настоящей, продуктивной работы военного врача. Без колебаний он быстро опорожнил сундучок, уложенный им с такой тщательностью, и добрую половину белья, туалетных принадлежностей, даже книг, которые имел слабость положить туда, заменил всем тем, что только смог найти в своих шкафах: бинтами, компрессами, хирургическими щипцами, шприцами, анестезирующими и дезинфицирующими средствами.

Обе служанки давно встали и бродили по коридорам. (Леон уже уехал из Парижа: ему захотелось, прежде чем явиться в свой полк, съездить на родину и повидать «стариков».)

Адриенна пришла сказать, что завтрак подан в столовой. Глаза у нее были красные. Она упросила Антуана сунуть куда-нибудь жареного цыпленка, которого принесла уже завернутым в бумагу.

Антуан вставал из-за стола, когда раздался звонок.

Он слегка побледнел; лицо его осветилось нежной улыбкой. Жак?..

Это в самом деле был он. Он остановился в дверях. Антуан неловко двинулся ему навстречу. От волнения у обоих перехватило дыхание. Они молча пожали друг другу руки, словно накануне ничего не произошло.

— Я боялся, что опоздаю, — пробормотал, наконец, Жак. — Все готово? Ты уже отправляешься?

— Да... семь часов... Пожалуй, пора.

Антуан с усилием говорить твердым голосом. Нарочито развязным движением он схватил кепи и надел его. Неужели его голова увеличилась со времени последнего лагерного сбора? Или он отпускал теперь более длинные волосы? Кепи смешно торчало у него на макушке. В передней он увидел себя в зеркале и нахмурился. Пока он неумело застегивал портупею, его взгляд блуждал по сторонам. Казалось, он прощается с домом, со штатской жизнью, с

самим собой; однако глаза его беспрерывно возвращались к малоприятному изображению, которое смотрело на него из зеркала.

В эту минуту обе служанки, стоявшие друг подле друга с опущенными руками, вдруг зарыдали. Антуан рассердился, но все же улыбнулся и подошел пожать им руку.

— Ну, ну, хватит...

Его воинственный тон звучал немного фальшиво. Он сам заметил это и, желая ускрить отъезд, повернулся к Жаку:

— Помоги мне, пожалуйста, снести это вниз.

Каждый из них ухватился за ручку сундука, и они вышли на площадку лестницы. Когда сундучок выносили через дверь, его угол задел за створку, и на свежем лаке появилась длинная царина. Антуан посмотрел на повреждение, невольно поморщился, но тут же равнодушно махнул рукой; пожалуй, именно в эту секунду он острее всего ощутил разрыв между своим прошлым и будущим.

Они спускались по лестнице, не обмениваясь ни словом. Антуан тяжело ступал в своих подбитых гвоздями башмаках; нагло застегнутый мундир, жесткий воротник душили его. Внизу он пробормотал, задыхаясь:

— Как это глупо! Я забыл, что есть лифт.

Он предвидел, что не найдет такси, и решил, несмотря на то, что его шофер Виктор был с сегодняшнего утра мобилизован на реквизицию тяжелых грузов в Плюто, взять свою машину, захватив с собой из соседнего гаража старика механика, который должен был потом отвести автомобиль обратно.

В воротах, под тенью арки, привратница в белой кофте подстегала отъезд Антуана. Со слезами в голосе она вскричала:

— Господин Антуан!

Он бодро крикнул ей:

— До скорого свиданья!

Затем пропустил механика на заднее сиденье, усадил Жака рядом с собой и взялся за руль.

Улицы уже начали заполняться людьми. Уличное хозяйство разладилось, и ящики, полные мусора, стояли у каждой двери.

На набережной машину пришлось надолго остановить, чтобы пропустить вереницу пустых грузовиков и автобусов, которыми правили солдаты. На Королевском мосту — новая остановка: посреди мостовой толпа пешеходов, глядя вверх, весело размахивала шляпами. Жак выглянул: в прозрачном небе шесть аэропланов, летевших низко, треугольником, направлялись к северо-востоку. На нижних плоскостях ясно видны были трехцветные опознавательные знаки.

На улице Риволи, между двумя рядами любопытных, без музыки, в волнующем молчании, мерным шагом проходил полк колониальной пехоты в походной форме. Когда проезжали верхом командиры батальонов, все головы обнажались.

На авеню Оперы балконы были украшены флагами. Автомобиль обогнал колонну машин Красного Креста; затем — отряд солдат в рабочих блузах, с лопатами и кирками.

На площади Оперы снова пришлось остановиться. Артиллерийский обоз, за которым следовало с десяток бронеавтомобилей, ехал по направлению к площади Бастилии. На крыше Оперы бригады рабочих устанавливали прожекторы для охраны Парижа оточных визитов «таубе».<sup>1</sup>

На Бульварах, невзирая на старания полиции поддержать порядок, любопытные стояли толпами перед германскими и австрийскими магазинами, которые были разгромлены этой ночью. Вокруг «Богемского хрустала» земля была усыпана черепками и мелкими осколками стекла. «Венская пивная» выдержала, должно быть, целую осаду: через взломанную витрину виднелись разбитые зеркала, сломанные столы и скамейки.

Жак безмолвно отмечал эти первые проявления патриотического фанатизма. Он жадно гляделся в улицу, в лица прохожих. Он охотно нарушил бы молчание, но ему нечего было сказать брату. К тому же присутствие механика, сидевшего сзади, могло послужить оправданием. В голове его с лихорадочной стремительностью проносилось множество различных образов: Женни, минувшая ночь, их близкий отъезд в Женеву... А потом? Тут его мысль всякий раз наталкивалась на препядчу... Мейнестрель, «говорильня»... Нет, он ни в коем случае не согласится снова начать эту жизнь, полную бесконечного ожидания, ненужных словопрений, игры в конспирацию... Тогда что же? Бороться, действовать, рисковать, — будет ли он иметь там эту возможность?..

Вдруг он вздрогнул. Антуан, который вел машину медленно, — приходилось все время давать сигналы, так как на мостовой было не меньше пешеходов, чем на тротуарах, — пользуясь короткой остановкой, отнял руку от руля и, не говоря ни слова, даже не поворачивая головы, мягко положил эту руку на колено Жака. Но, прежде чем тот смог ответить на его дружеский жест, Антуан уже снова взялся за руль, и машина двинулась дальше.

Улица Мобеж была черна от мобилизованных, которых сопровождали жены, родные... Они тесными рядами направлялись к вокзалу.

— Как они торопятся! — прошептал Жак, пораженный.

— И очень возможно, — с натянутым смехом отозвался Антуан, — что всем этим беднягам придется прождать полдня или больше, скучившись где-нибудь на платформе, прежде чем они смогут сесть в поезд!

<sup>1</sup> Аэропланы, состоявшие на вооружении германской армии в первую мировую войну.

«Они хотят явиться вовремя, — думал Жак. — Им не терпится проявить дисциплинированность с самого начала войны! Почему они не сознают, что их много? Что они могли бы стать господами положения, стоило им только захотеть?..»

Деревянный забор, выросший за эту ночь, окружал вокзал высокой стеной, охраняемой солдатами. Здесь было такое скопление народа, что нечего было и думать подъехать на автомобиле. Антуан затормозил. Жак помог ему перенести сундучок через дорогу. Узкий проход охранялся взводом пехотинцев с примкнутыми штыками. Доступ за ограду имели только мобилизованные.

Фельдфебель проверял военные билеты. Он взглянул на погоны Антуана, отдал честь и сейчас же приказал солдату отнести багаж «господина врача».

Антуан повернулся к брату. Каждый прочел во взгляде другого тот же вопрос: «Увидимся ли мы снова?» На глаза у них одновременно навернулись слезы. Все их прошлое, вся история их семьи, незначительная и неповторимая, история, которой они обладали сообща и которой обладали они одни во всем мире, в ряде образов пронеслась перед ними. Однаковым жестом они расставили руки и неловко обняли друг друга. Фетровая шляпа Жака толкнула козырек Антуана. Годы, долгие годы прошли с тех пор, как они в последний раз поцеловались: это было в раннем детстве, которое оба только что пережили вновь в одно короткое мгновение.

Но солдат завладел сундучком и уже уносил его на плече. Антуан поспешил высвободиться. У него была теперь лишь одна мысль: идти вслед за солдатом, не потерять из виду свой багаж — единственное в этом новом мире, что еще принадлежало ему. Он больше не смотрел на брата. Наугад он протянул руку, схватил руку Жака, до боли сжал ее; затем, слегка пошатываясь, шагнул вперед и пропал в толпе.

Со слезами, застилавшими ему глаза, Жак, которого то и дело толкали прибывающие, отошел в сторону и прислонился к забору.

Один за другим, не останавливаясь, мобилизованные входили в огороженное пространство. Все они были похожи друг на друга. Все были молоды. На всех была надета старая одежда, с которой не жалко расстаться, грубая обувь, фуражки. У всех висели через плечо одинаковые туго набитые сумки, одинаковые новенькие мешки для провианта, откуда выглядывала краюха хлеба, горлышко бутылки. И почти у всех было на лице одинаково сосредоточенное и покорное выражение, нечто вроде подавленного отчаяния и страха. Жак смотрел, как они наискось переходили дорогу, держа в руке боенный билет, уже одни. На полпути некоторые оборачивались и взглядывали на тротуар, с которого только что сошли. Прощальный жест, порой быстрая деланная улыбка, предназначенная тому или

той, чей растерянный взгляд они чувствовали на себе, — и, стиснув зубы, они, каждый в свою очередь, бросались в мышеловку.

— Не стойте здесь! Проходите!

Часовой, коренастый детина в походной форме, с винтовкой на плече, ходил вдоль ограды, гордо выпячивая грудь; его короткая рука сжимала ружейный приклад; у него едва пробивались усы, детские глаза бегали по сторонам, на застывшем лице было написано сознание важности выполняемого приказа.

Жак подчинился и пошел по мостовой.

Мимо него проехал нарядный лимузин; к переднему стеклу была прикреплена коленкоровая лента с надписью: «Бесплатный транспорт для мобилизованных». Шофер был в ливрее. Внутри набилось около полдюжины молодых людей с мешками для провианта; они орали во все горло, словно рекрутые: «Вернем Эльзас и Лотарингию! Вернем Эльзас!»

На тротуаре, куда перешел Жак, расставалась супружеская пара. Муж и жена в последний раз смотрели друг на друга. Возле матери играл ребенок, четырехлетний малыш; уцепившись за ее юбку, он прыгал на одной ноге и напевал песенку. Мужчина нагнулся, схватил мальчугана, поднял его и поцеловал так торопливо, что ребенок стал яростно отбиваться. Мужчина поставил мальчика на землю. Женщина не двигалась с места, не произносила ни слова: в кухонном переднике, с растрепанными волосами, с мокрым от слез лицом, она безумными глазами смотрела на мужа. Тогда, словно испугавшись, что она бросится на него и ему не удастся вырваться из ее объятий, он, не сводя с нее глаз, отступил назад и, вместо того чтобы обнять ее, неожиданно отвернулся и кинулся к вокзалу. А она, вместо того чтобы окликнуть мужа, вместо того чтобы проводить его взглядом, круто повернулась и побежала. Мальчик, которого она тащила с собой, упирался, почти падал; в конце концов она схватила его и посадила на плечо, не останавливаясь, стараясь бежать еще быстрее, — наверное, для того, чтобы как можно скорее попасть в свое опустевшее жилище, где можно будет в одиночестве, при закрытых дверях, выплакать все свое горе.

Жак отвернулся, сердце у него сжалось. Он побредел по улицам — бесцельно, то удаляясь от площади, то опять приближаясь к ней. Помимо воли он снова и снова возвращался к этому трагическому месту, к роковому месту свидания, куда в это утро стекалось столько обреченных, чтобы разорвать цепи, связывавшие их с жизнью. В этих скорбных и мужественных взорах он искал взгляда, который ответил бы на его взгляд, — хотя бы одного взгляда, где он смог бы прочитать под смятением отблеск той глухой ярости, которая заставляла его самого сжимать кулаки в карманах и дрожать от бессильного гнева! Но нет! Везде, на всех этих по-разному искашенных лицах одно и то же уныние, одно и то же бесплодное страдание! На некоторых — проблеск слепого героизма; но на всех — та же покорная готовность к жертве, то же предательство, бессо-

знательное или трусливое, то же отступничество! И ему показалось, что в эту минуту все, что осталось в мире от свободы, нашло убежище в нем одном.

Эта мысль вдруг наполнила его гордостью и силой. Его вера оставалась нетронутой; она поднимала его над стадом. Пусть никто не понимает его, пусть он покинут всеми, — в своем одиночестве, в своем бунте он чувствует себя сильнее всех этих людей, зараженных ложью, покорившихся судьбе! С ним правда и справедливость. За него разум, за него еще неизвестные силы будущего. Временное поражение идеалов пацифизма не может поколебать их величия, не может помешать их торжеству. Никакая сила в мире не может помешать заблуждению сегодняшнего дня быть заблуждением, чудовищным заблуждением — даже если оно благородно, если оно стоически поддержано миллионами жертв! «Никакая сила в мире не может помешать справедливой идее быть справедливой! — мысленно повторял он, опьянев от отчаяния и веры. — Придет день, когда наперекор препятствиям, наперекор отступлениям истина восторжествует!»

Но как служить этой истине, когда налетел шквал? Он хочет стать свободным, он убежит; но что он сделает со своей свободой?

Охлаждение его революционного пыла в течение этих последних дней показалось ему малодушием. И ему захотелось переложить ответственность за это на свою любовь. Он внезапно подумал о Жени и удивился, что так легко забыл о ней, что ни разу, ни одного разу не вспомнил о ней в продолжение целого часа. Он почти рассердился на нее за то, что она существует, ждет его, вырывается из этого пьянящего одиночества. «Что, если бы она вдруг умерла...» — подумал он. И на секунду отдавшись дикой игре воображения, он наслаждался горькой смесью скорби и радостного ощущения вновь завоеванной независимости.

Однако он торопливо шагал к скверу Сен-Венсан-де-Поль. И уже улыбался от любовного нетерпения, придавая так мало значения своему нелепому минутному отступничеству, что оно даже не вызвало в нем угрызений совести.

Не успел автомобиль Антуана выехать с Университетской улицы, как старомодный крытый фиакр, облезлый и пыльный, словно музейный портшез, остановился у ворот его дома.

Девушка, вышедшая из фиакра, бросила неуверенный взгляд на ограду, на заново выкрашенный фасад, затем расплатилась со стариком кучером, взяла в руки два чемодана, стоявшие на козлах, и быстро вошла в подъезд.

Привратница в кофте появилась на пороге швейцарской.

— О господи! Мадмуазель Жиз!

По ее растерянному лицу Жиз поняла, что ее ждет какое-то несчастье.

— Бедняжечка моя, да ведь в доме никого больше нет! Господин Антуан только-только уехал!

— Уехал?

— В свой полк!

Жиз ничего не ответила. Ее ласковый, как у преданной собаки, взгляд омрачился. Она выпустила из рук чемодан. Оцепенение сковало это мгновенно посеревшее лицо метиски и сжалось с ним так естественно, точно нашло для себя уже готовую форму. (На морском побережье в Англии, где Жиз проводила каникулы вместе с остальными пансионерками своего монастыря, она весьма поверхностно следила за событиями, происходившими в Европе. И только накануне, когда газеты сообщили о неизбежности французской мобилизации, она вдруг испугалась и, не слушая ничьих советов, даже не заезжая в Лондон, добралась до Дувра и бросилась на первый отплывавший пароход.)

— Все мужчины мобилизованы, все как есть, — пояснила привратница. — Леон уехал вчера вечером. Виктор тоже. Наверху у меня никого сейчас нет, кроме Адриенны и Клотильды.

Лицо Жиз прояснилось. Адриенна и Клотильда!.. Слава богу! Не все еще потеряно. Эти две служанки, воспитавшие ее, были, в сущности, ее семьей — всем, что еще оставалось у нее от семьи... Она храбро выпрямилась и, предшествуемая привратницей, завладевшей ее чемоданами, направилась к лифту.

— Оказывается, все переменили! — прошептала она.

Эта белая лестница, эти перила... Образы, воспоминания мелькали в ее мозгу, затуманенном бессонной ночью; и в этой преобразившейся обстановке, где она тщетно искала следы прошлого, она чувствовала себя более чужой, чем в совершенно незнакомом доме.

Спустя полчаса, в цветном кретоновом халатике, в мягких туфлях, она сидела с обеими служанками в просторной столовой Антуана перед дымящимся шоколадом и поджареными в масле гренками — любимым лакомством ее детства. Облокотясь на стол, она помешивала ложечкой в чашке и по-детски отдавалась радости и комфорту настоящей минуты. Ум ее никогда не отличался особой живостью, а пребывание в Англии, в пансионе при монастыре, где всякое проявление характера ограничивали рамки установленных правил, не развило в ней любви к самостоятельности.

Когда она лениво сидела так, согнувшись, с тяжелой грудью, сонным лицом, все очарование ее юности вдруг пропадало. Это была уже не «Негритяночка», не дикарка, а какая-то цветная невольница с грузным телом, с толстыми губами, с широко открытыми бездумными глазами, покорно склонившаяся под гнетом фатализма, присущего людям порабощенных рас.

Приезд Жиз явился для растерянных сестер даром пророчества. Усадив девушку между собой, они наперебой болтали, то смеясь,

то плача. Они сообщили ей подробные сведения о мадмуазель де Вез, ее тетке, которой они продолжали для очистки совести носить в «Убежище для престарелых» бананы и леденцы раз в две недели, по воскресеньям. Клотильда не стала скрывать, что старая дева немного заговаривается, что она ничем больше не интересуется, разве только мелкими происшествиями в богадельне, что порой она принимает обеих посетительниц недружелюбно, словно незнакомых и навязчивых женщин, приходящих с какой-то подозрительной целью, и что обычно она выпроваживает их задолго до закрытия приемной, чтобы не пропустить партии в бэзик.

Жиз слушала их с глазами, полными слез.

Она проговорила со вздохом:

— Я навещу ее перед отъездом.

— Перед отъездом?

Обе служанки запротестовали. Они твердо решили отговорить Жиз возвращаться в Англию. Г-н Антуан оставил им денег на несколько месяцев. Адриенна уже представляла себе и с удовольствием описывала, как они заживут здесь втроем. Она оглушила девушку своими проектами. Она показала ей вырезанный из утренней газеты «Призыв к французским женщинам, желающим содействовать защите отечества». В возможности проявить свою преданность родине, принести пользу недостатка не было! Детские сады для детей мобилизованных, пункты раздачи молока для грудных младенцев, изготовление перевязочных материалов, работа в военных пошивочных мастерских и т. д. Каждый обязан принять участие в защите родины! Надо только выбрать.

Жиз улыбалась, поддаваясь искушению. Ничто не заставляло ее торопиться обратно. Во Франции она и в самом деле могла оказаться полезной.

Ни привратница, ни служанки не догадались произнести имя Жака. Жиз думала, что он в Швейцарии, и ей в голову не пришло спросить о нем. Только на третий день она случайно узнала из болтовни Клотильды, что в день ее приезда он был в Париже. Но разыскала ли бы она его, даже и зная об этом раньше? Никому не был известен его адрес. Да и стала ли бы она пытаться его увидеть?

#### LXXIV

На лестнице редакции «Etandard», еще не поднявшись на площадку, Жак, заметив на соломенном половичке перед дверью Мурлана бидон для молока, с досадой вскричал:

— Его нет дома!

В самом деле, никто не ответил на звонок. На всякий случай Жак размежено постучал три раза.

— Кто там?

— Тибо.

Дверь отворилась. — Мурлан стоял, голый по пояс, с намыленными волосами и бородой.

— Прошу прощения! — сказал он, увидев Женни. — Мальчик должен был предупредить, что с ним дама. — Он толкнул ногой дверь. — Входите... Садитесь.

У двери стоял сломанный стул, на который Женни опустилась, едва успев войти.

Окна были закрыты. В комнате пахло картоном, kleem, селитрой, пылью. Перевязанные пачки газет лежали повсюду — на столе, на садовой скамейке, в сломанной лохани. На полу, рядом с плошкой опилок, валялся в углу старый газовый счетчик с разобранной на части и сплюснутой трубкой, которая выдавалась вперед, словно обрубленный сук.

Мурлан снова пошел на кухню.

— Я только что вернулся. Я был похож на жулика... — крикнул он издали, фыркая под краном. Вскоре он появился в чистой рубашке, размашистыми движениями вытирая голову полотенцем. — Провел всю ночь на улице, как дурак... Как трус... Ты понимаешь, мобилизация означала для меня обыски, аресты... Обыск — ладно! Пусть приходят!.. Здесь ничего больше нет, я приготовился, но арест — черт побери!.. Я решил немного подождать... О, не потому, чтобы я так уж боялся попасть в укромное местечко, — пояснил он,бросив насмешливый взгляд на Женни. — Я никогда не жил так спокойно, как в те месяцы, которые провел за решеткой. Пожалуй, если бы не тюрьма, у меня никогда не нашлось бы времени, чтобы обдумать мои книги и написать их... Но мне вовсе не хотелось попасть в первую же партию!.. Вчера шпики везде рыскали понемногу: у Пюльте, у Гельпá... Даже в «Eglantine». <sup>1</sup> У них неплохая полиция. Только они ничего не нашли. Кроме возврата Пьера Мартена — «Призыв к здравому смыслу» — знаешь? Они сцепали его в тот самый момент, когда товарищи выносили всю пачку из типографии. Что касается Клесса, Робера Клесса из «Vie ouvrière», <sup>2</sup> молодого человека, который был освобожден от военной службы и никогда не был солдатом, то, как видно, на него донесли: кажется, его обвиняют в том, что он написал анти милитаристскую листовку, и теперь он сидит под замком, ожидая ближайшего заседания призывающей комиссии, которая пошлет его на передовую... Я узнал об этом вчера вечером. Предостережение любителям!.. Короче говоря, я сказал себе, что было бы глупо попасть к ним в лапы, — и улизнул...

— И что же?

— Я думал, что найду приют у товарищей. Как бы не так! У Сирона было бы не лучше, чем здесь. Поэтому я пошел к Гюю, — никого. К Котье, — никого. К Лассеню, к Молини,

<sup>1</sup> «Шиповник» (франц.).

<sup>2</sup> «Рабочая жизнь» (франц.).

к Валлону, — никого. Все они, голубчики, дали тягу, как и я! Вот я и пробродил всю ночь где попало, один. Утром, в Венсене, я купил газеты и понял, что был попросту старым дураком. И пришел домой. Вот и все! — Он взглянул на Жака из-под мохнатых бровей: — Читал ты газеты, мальчик?

— Нет.

— Нет?

Взгляд Мурлана скользнул по Женни и снова устремился на молодого человека. Казалось, он устанавливал какую-то связь между присутствием Женни и тем фактом, что на следующий день после мобилизации, в десять часов утра, Жак еще не знал последних новостей. Из кармана черной блузы, висевшей на гвозде, он достал сверток газет; затем кончиками пальцев, словно прикасаясь к чему-то нечистому, вынул из кипы одну газету, а остальные бросил на выложенный плитками пол.

— На, голубчик, позабавься, если у тебя есть настроение смеяться. Я выносил, но это показалось мне чем-то вроде удара в живот! «Bonnet rouge» — газета Мерля и Альмерейды! За одну ночь она превратилась в рупор правительства Пуанкаре! Кто бы мог подумать! Посмотри.

Пока Мурлан снимал с гвоздя свою блузу и яростно натягивал ее на себя, Жак вполголоса прочитал:

«Мы уполномочены категорически заявить, что правительство не воспользуется списком Б... Правительство доверяет французскому народу и, в частности, рабочему классу. Всем известно, что оно пыталось — и еще пытается — сделать все возможное, чтобы сохранить мир. Вполне определенные заявления наиболее решительных революционеров...»

— «Наиболее решительных революционеров!.. Сволочи! — проворчал Мурлан.

— «...таковы, что они полностью успокаивают правительство... Все французы сумеют исполнить свой долг... Это-то и хотело подчеркнуть правительство, отказываясь использовать список Б».

— Ну? Что ты об этом думаешь, мальчик? Я прочел два раза, прежде чем хорошенько понял, что это означает. Ничего не поделаешь — факт очевиден... Это означает следующее: французский пролетариат так весело соглашается на их войну и сопротивление рабочего класса столь мало опасно, что правительство отказывается от профилактических арестов... Понимаешь? Оно как бы обращается ко всем революционерам и ласково треплет их за ушко: «Ах вы, забияки, мы прощаем вам вашу строптивость! Идите и выполняйте свой солдатский долг!» Добренькое правительство, весело смеясь, рвет черные списки и оставляет неблагонадежных на воле... Потому что на сегодняшний день неблагонадежные — не в счет. Понимаешь?

Он смеялся, и в этом необычном, громком, режущем смехе, искажавшем его лицо — лицо старого Христа, — было что-то пугающее.

— Неблагонадежных нет! Их больше нет! Понимаешь, что это значит? И представляешь себе, какие категорические заверения должны были дать министерству лидеры революционных партий, чтобы правительство обрело такую уверенность в себе! Чтобы оно могло без всякого риска позволить себе подобный жест велиокудущия в первый же день войны! Они попросту выдали нас правительству, эти негодяи!.. Да! Теперь конец. Безусловно, конец! Теперь командаует генеральный штаб. Слово принадлежит теперь не тем кто идет воевать, а тем, кто делает войну!

Он отошел на несколько шагов, заложив руки за спину под разевающейся блузой.

— И все же, черт побери, — вскричал он вдруг, круто повернувшись, — и все же я не могу этому поверить! Я не могу поверить, что это действительно конец!

Жак вздрогнул.

— И я тоже, — глухо проговорил он. — Я не могу поверить, что ничего нельзя больше сделать! Даже сейчас!

— Даже сейчас! — как эхо отозвался Мурлан. — И тем более через несколько дней, через несколько недель, когда все это жалкое стадо понюхает пороху! Ах, если бы Кропоткин был здесь!.. Или кто-нибудь другой, все равно кто, кто-нибудь, кто сказал бы то, что надо сказать, и сумел бы заставить себя слушать! Наши товарищи подчинились этой войне, потому что им налгали, потому что лишний раз злоупотребили их доверием. Но, быть может, достаточно было бы какого-нибудь пустяка, внезапного пробуждения сознания, чтобы все сразу переменилось!

Жак вскочил, точно его хлестнули кнутом.

— Что? Пустяка? Какого пустяка? — Он шагнул к Мурлану. — Что, по-вашему, можно сделать? Скажите!

Его голос прозвучал так странно, что Женни повернула к нему голову и на секунду замерла с полуоткрытым ртом, охваченная страхом.

Мурлан с озадаченным видом смотрел на Жака; тот пробормотал еще раз:

— Что вы думаете? Скажите!

Мурлан несколько смущенно пожал плечами.

— Что я думаю, мальчик? Разумеется, это глупости... Я говорю... Я высказываю то, что приходит мне в голову. Ведь все это так нелепо! Я не могу запретить себе надеяться, несмотря ни на что, надеяться даже сейчас, надеяться вопреки всему!.. Народы — и наш не меньше, чем тот, соседний, — обмануты так явно! Кто знает? Достаточно было бы...

Жак в упор смотрел на старика.

— Достаточно чего?

— Достаточно было бы... Я не знаю и сам... Но если бы вдруг внезапная вспышка сознания разорвала эту толщу лжи, разделяющую две армии! Если бы вдруг все эти несчастные, внезапно

прозрев, поняли, по ту и другую сторону линии огня, что их одинаково втравили в это грязное дело, то не кажется ли тебе, что все они поднялись бы в едином порыве негодования, возмущения и все вместе обратили свои штыки против тех, кто привел их туда?..

Веки Жака задрожали, словно он вдруг увидел перед собой ослепительно яркий свет. Потом он опустил глаза, подошел к Женни, не видя ее, и сел.

Наступила минута неловкого молчания. У всех троих было смутное ощущение, что произошло что-то важное, что-то такое, в чем они не отдавали себе ясного отчета.

— А это единодушие во всей стране! — продолжал Мурлан после паузы. — В провинции все социалистические муниципальные советы голосовали за резолюции, поддерживающие лозунг «отечество в опасности», призывающие к национальной обороне, требующие исключения Германии из числа цивилизованных наций! Да вот полюбуйся, — сказал он, подымая с пола брошенную им связку газет. — Вот манифест Всеобщей конфедерации труда: «Пролетариям Франции». Знаешь, что она сочла нужным заявить, эта Всеобщая конфедерация труда? «События оказались сильнее нас... Пролетариат недостаточно единодушно понял, какие упорные усилия требовались, чтобы предохранить человечество от ужасов войны...» Другими словами: «Ничего не поделаешь, друзья; покоритесь и идите ломать себе шею...» А вот текст воззвания, которое профсоюз железнодорожников — железнодорожников, слышишь, мальчик? наших железнодорожников! подумай! — расклеивает сегодня на всех стенах Парижа: «Товарищи! Перед лицом всеобщей опасности стираются старые разногласия. Социалисты, синдикалисты, революционеры, вы опрокинете низкие расчеты Вильгельма и первыми ответите на призыв, когда прозвучит голос Республики!..» Погоди, погоди... Это не все, ты еще не видел самого замечательного. Отведай-ка вот этого: «Открытое письмо господину военному министру!... Кем оно подписано? Угадай! Гюставом Эрве!.. Слушай: «Так как Франция сделала, на мой взгляд, все возможное, чтобы избежать катастрофы, я прошу, в виде особой милости, зачислить меня в первый же пехотный полк, который будет отправлен на границу!» Вот! Да, голубчик! Вот как меняют кожу! Наш Гюстав Эрве, главный редактор «Guerre sociale»! Наш Гюстав Эрве, провозглашавший, что ни одно отечество никогда не стоило того, чтобы за него была пролита хотя бы капля рабочей крови... Теперь ты видишь, что правительство вполне может успокоиться и убрать в ящик свой список Б. Оно завербует их всех, одного за другим, наших «великих» пастырей революции!

Кто-то несколько раз стукнул в дверь.

— Кто там? — спросил Мурлан, прежде чем открыть.

— Сирон.

Новый посетитель был человек лет пятидесяти: плоское лицо, перерезанное седыми усами, лысый лоб, очень широкий нос с при-

плюснутыми ноздрями, широко расставленные глаза с ироническим взглядом. Выражение спокойной энергии с легким оттенком высокомерия.

Жак немного знал его. Он был единственный, кого можно было часто встретить в обществе Мурлана.

Старый профсоюзный работник, несколько раз сидевший в тюрьме за революционную деятельность, Сирон в последние годы оставался в стороне от движения. Он был квалифицированным рабочим, а в часы досуга писал брошюры и сотрудничал в «Eten-dard». Как и Мурлан, он принадлежал к числу революционеров-партизан, с всегда бодрствующим умом, с непоколебимой верой, самолюбивых, в достаточной мере свободных от иллюзий, беспощадных к глупости, преданных делу больше, чем товарищам, всеми уважаемых, но порицаемых за свою сдержанность и внушающих некоторую зависть своими личными достоинствами.

— Садись, — сказал Мурлан, хотя на единственном свободном стуле сидела Женни. — Читал ты их газеты?

Сирон пожал плечами; этот жест, по-видимому, должен был выразить его презрение к прессе и в то же время дать понять, что он пришел не для того, чтобы обсуждать события.

— Сегодня вечером состоится собрание в «Жан Барт», — сказал он, глядя на типографа. — Я сказал, что сообщу тебе. Ты должен быть.

— Не имею ни малейшего желания, — проворчал Мурлан. — Заранее известно все, что...

— Дело не в этом, — оборвал его Сирон. — Я буду там; я хочу сказать им кое-какие вещи. И мне нужно, чтобы нас было двое.

— Это другое дело, — согласился Мурлан. — А какие вещи?

Сирон ответил не сразу. Он посмотрел на Жака, потом на Женни, подошел к окну, приоткрыл его и вновь подошел к Мурлану.

— Разные вещи. Вещи, которые надо делать и о которых, по-видимому, никто не думает. Мы попали в дьявольскую переделку, тут нет сомнения. Однако это не значит, что надо сложить руки и предоставить им полную свободу действий!

— Так что же?

— Так вот, если социалистическим и профсоюзовым лидерам угодно объединяться и сотрудничать с правительством, то в обмен за это сотрудничество они должны были бы по крайней мере потребовать гарантий для тех, чьими представителями они являются. Ты согласен? Фактически война создает революционную ситуацию. Надо ее использовать! Жорес не упустил бы такого случая! Он сумел бы вырвать у государства уступки пролетариату... Это все-таки лучше, чем ничего. Война всех заставит пойти на ограничения, на жертвы. Самое меньшее, что можно сделать, — это потребовать для рабочих участия в контроле над мероприятиями, которые будут иметь место! Еще не поздно ставить условия. Сейчас правительство нуждается в нас. Так вот — услуга за услугу... Ты согласен?

— Условия? Например?

— Например? Надо заставить их реквизировать все военные заводы, чтобы помешать хозяевам загребать огромные барыши за счет народа, который они посылают на убой. И управление этими заводами надо поручить профсоюзам...

— Неглупо, — пробурчал Мурлан.

— Следовало бы также воспрепятствовать повышению цен. Это уже начинается повсюду. Я лично вижу лишь одно средство: заставить правительство наложить руку на все предметы первой необходимости; создать государственные склады, устранив посредников, спекулянтов; организовать разверстку...

— Но ведь это чертовски грандиозное предприятие. Пришлось бы все перевернуть вверх дном...

— Кадры, персонал налицо: надо только использовать потребительские кооперативы, которые уже функционируют... Ты согласен? Все это надо еще обсудить. Но раз во всей Франции и даже в Алжире объявлено осадное положение, надо этим воспользоваться хотя бы для того, чтобы защитить бедняков от ненасытных хищников!

Он ходил взад и вперед по комнате, заполняющей ее своим уверененным голосом. Обращался он к одному Мурлану, время от времени рассеянно взглядывая на молодую пару. Крупные капли пота блестели на его красивом гладком лбу.

Жак молчал. Лицо его выражало чрезвычайное внимание, глаза сверкали, но он не слушал. Углубившись в дебри собственных мыслей, он был за сто миль от Сирона, от реквизиций заводов, от осадного положения, от государственных складов... «Если бы вдруг внезапная вспышка сознания разорвала эту толщу лжи, разделяющую две армии...» — сказал Мурлан...

Воспользовавшись моментом, когда старый типограф перебил Сирона, Жак кивнул Женни и встал.

— Вы уходите? — сказал Мурлан. — Ты тоже придешь вечером в «Жан Барт»?

Жак словно проснулся.

— Я? — переспросил он. — Нет. Сегодня вечером последний срок выезда для иностранцев, которые думают удирать. Мы оба бежим в Швейцарию... Я пришел попрощаться с вами.

Мурлан взглянул на Женни, потом на Жака.

— Ах, так? Ты решился?.. В Швейцарию? Да... Ты прав... — На лице его отразилось сильное волнение, хотя он и был убежден, что никто этого не замечает. — Ну что ж, — продолжал он сердитым тоном, — поезжайте! И постарайтесь как следует поработать там для нас! Желаю удачи, ребятки!

Жак был так возбужден, в душе у него было такое смятение, что он испытывал непреодолимую потребность хоть немного побывать одному.

— Теперь, Женни, ты должна быть благоразумной и послушаться меня, — проговорил он, как только они оказались на улице. Он взял Женни под руку и, наклонившись к ней, сказал мягко, но настойчиво: — Тебе предстоит еще до вечера проделать тысячу утомительных вещей. Ты устала. Ты должна вернуться домой. Не отказывайся. Ты должна отдохнуть... Четверть одиннадцатого. Я провожу тебя... В «Нима» я пойду один. И потом мне еще надо узнать, каких формальностей потребует твой отъезд. За два часа все будет сделано. Хорошо?

— Хорошо, — сказала она.

Она действительно была в плачевном состоянии: измученная, лихорадочно возбужденная, совершенно разбитая физически. Утром она долго прождала Жака, сидя в маленьком сквере на том самом месте, где он сказал ей: «Никогда еще никого не любили так, как я люблю вас!» От сидения на жесткой скамье у нее болела поясница. Погрузившись в какое-то болезненное оцепенение, она припоминала все подробности этого вечера, такого близкого и уже такого далекого, припоминала все дни, последовавшие за ним, — вплоть до жестокого чуда этой ночи... И когда, после двух часов ожидания, она, наконец, увидела Жака на ступеньках лестницы, увидела его взволнованное, дышащее жаждой борьбы лицо, его отсутствующий взгляд, она поняла, что их мысли и чувства не совпадают, и это открытие причинило ей острое страдание. Не решившись поделиться с ним своими долгими думами, она молча выслушала его рассказ об отъезде Антуана и покорно пошла с ним пешком к Мурлану. Но силы ее иссякли. У нее не хватило бы мужества сопровождать его дальше... Она мечтала вернуться домой, растянуться среди подушек, дать отдых сюему измученному телу.

Трамваи ходили с большими промежутками, но, к счастью, движение еще не прекратилось. Им удалось доехать от площади Бастилии до начала бульвара Сен-Мишель. Поддерживая Женни, Жак довел ее до улицы Обсерватории.

— Я пойду, — сказал он ей у подъезда ее дома. — И вернусь между часом и двумя. — Он улыбнулся. — Мы в последний раз пообедаем в Париже...

Но он не сделал и двадцати шагов, как услышал позади себя глухой, неузнаваемый голос:

— Жак!

Он тотчас бросился к Женни.

— Мама здесь!

Она смотрела на него растерянным взглядом.

— Меня остановила привратница... Мама приехала сегодня утром...

Они смотрели друг на друга, внезапно лишившись всякой способности рассуждать. Первая мысль Женни была о беспорядке, в котором они оставили квартиру: неприбранная постель Даниэля, туалетные принадлежности Жака в ванной...

Затем, в мгновение ока, ее решение вылилось в определенную форму. Она схватила Жака за руку:

— Идем!

Ее лицо было замкнуто, непроницаемо. Она повторила, словно самую простую вещь:

— Идем. Поднимись вместе со мной.

— Женни!

— Идем! — повторила она почти сурово.

Она казалась такой уверенной, а он чувствовал себя в эту минуту таким нерешительным, таким безвольным, что, не сопротивляясь больше, он последовал за ней.

Она первая взбежала по лестнице; она забыла о своей усталости; казалось, она горела нетерпением покончить с этим.

Но на площадке, перед тем как вложить ключ в замочную скважину, она остановилась, шатаясь. Они услышали в тишине свое учащенное дыхание. Она не произнесла ни слова. Она вся напряглась, отворила дверь, схватила Жака за руку, сильно сжала ее и увлекла его за собой в квартиру.

## LXXXV

Г-жа де Фонтанен провела утро дома в состоянии такой душевной тревоги, какой ей не довелось испытать даже в худшие часы ее супружеской жизни.

Дверь в комнату Даниэля, к счастью, оказалась закрытой, и бедной женщине удалось бы убедить себя в том, что она стала жертвой кошмара, если бы желание выпить чашку чая не привело ее в кухню: увидев два прибора, она инстинктивно закрыла глаза, повернула обратно и снова укрылась в своей спальне.

Минуты уныния сменялись мгновениями лихорадочного возбуждения. Сняв дорожный костюм, надев старое домашнее платье, убрав комнату, тщательно проделав целый ряд ненужных вещей, она решила принудить себя не двигаться и уселись в свое глубокое кресло у окна с залитыми солнцем жалюзи. Необходимо было во что бы то ни стало овладеть собой. Для этого ей недоставало маленькой библии, оставшейся в чемодане. Она взяла с этажерки старинную библию своего отца — тяжелую, толстую, черную книгу, поля которой были испещрены пометками и замечаниями пастора де Фонтанена. Открыв ее наудачу, она попыталась читать. Но ум ее упорно убегал от текста, поглощенный бессвязной вереницей образов и представлений, в которых мысль о Даниэле сплеталась с воспоминанием о поверенных в Вене, об огорчениях, связанных с ее поездкой, о вокзалах, забитых войсками. Смутные видения, над которыми царила все та же картина — постель, где Жак и Женни спали, обнявшись. Грохот обозов, проезжавших по соседним бульварам, сотрясал стены, отдавался у нее в голове, сопровождал зловещим аккомпанементом ее думы. Впервые в жизни ощущение

страха, паники тяготело над ней так сильно, что она не могла преодолеть его, — ощущение, что она захвачена, увлечена водоворотом, что ужасающие бедствия опустошают Европу, ее собственный очаг, что дух зла торжествует над миром.

Вдруг она услышала какой-то шорох в передней, и сейчас же вслед за этим раздались шаги в коридоре. Ее лицо застыло. У нее не было сил встать; она лишь выпрямилась. Дверь отворилась, и вошла Женни, с искаженным от волнения лицом, с остановившимся взглядом, очень бледная под своей траурной вуалью.

Поза матери, так спокойно сидевшей на своем обычном месте, в своем платье с разводами, с библией на коленях, поразила девушку и потрясла ее: все ее прошлое неожиданно предстало перед ней, словно после долгих лет отсутствия. Не рассуждая, забыв о Жаке, который стоял сзади, в коридоре, не решаясь войти вслед за ней, она побежала к матери, обвила ее руками и, чтобы оказаться ближе к ней, опустилась на ковер и прижалась лбом к ее платью.

— Мама...

Нежность, сострадание мгновенно избавили г-жу Фонтанен от тревоги. Сердце ее преисполнилось снисходительности, и тайна, случайно обнаруженная ею, внезапно предстала перед ней в ином свете: не как позор, а как слабость. Она уже наклонялась к вновь обретенной дочери, она хотела заключить ее в объятия, выслушать ее признания, обсудить вместе с ней ужас случившегося, понять ее, помочь ей, направить ее, — но вдруг ее дыхание остановилось: на стене коридора колыхнулась чья-то тень... Женни была не одна! Жак здесь! Сейчас он войдет!.. Ее рука, лежавшая на голове Женни, судорожно сжалась. Она не могла оторвать глаз от этой отворенной двери. Прошло несколько секунд. Креповая вуаль распространяла сильный терпкий запах... Наконец силуэт Жака вырос в дверях. И перед глазами г-жи де Фонтанен снова заколебалось видение: постель, два лица в блаженном забытьи...

Сдавленным голосом, полным упрека и ужаса, она пробормотала:

— Дети... Бедные мои дети...

Жак переступил порог. Он стоял перед ней; он смотрел на нее с застенчивым и в то же время хмурым видом. Тогда она отчетливо выговорила:

— Здравствуйте, Жак.

Женни быстро подняла голову. Конечно, она не смеялась, но усмешка, искажавшая ее лицо, отбрасывала на него отблеск какой-то дьявольской радости; и совершенно новый, бесстыдный огонь, вызывавший представление об обнаженном инстинкте, сверкал в ее голубых глазах. Она протянула руку, схватила Жака за кисть, резко привлекла его к себе и, повернувшись к матери, сказала тоном, который ей хотелось сделать ласковым, но в котором прозвучало торжество и оттенок вызова, почти угрозы:

— Я еще раз нашла его, мама! И навсегда!

Г-жа де Фонтанен секунду смотрела на нее, потом на него. Она попыталась было улыбнуться, но не смогла. Слабый вздох вырвался из ее груди.

Женни наблюдала за ней. В этом вздохе, на этом материнском лице, дрожащем, не только от тревоги, но и от нежности, лице, где она могла бы уже прочитать залог примирения, — ее болезненная подозрительность не захотела увидеть ничего, кроме осуждающей грусти. Это оскорбило ее, глубоко ранило самую сущность ее дочерней любви. Она отстранилась от матери и, порывисто встав, одним движением оказалась возле Жака. Ее воинственная поза, огонь ее взгляда выражали безграничную, слепую, дерзкую, вызывающую гордость.

Жак, напротив, смотрел на г-жу де Фонтанен с ласковой настойчивостью, и если бы он заговорил, то, вероятно, сказал бы: «Я понимаю вас... Но надо понять и нас тоже...»

Г-жа де Фонтанен смущенно взглянула на молодую пару и опустила глаза: видение постели снова встало перед нею...

Наступило молчание.

Затем, повинувшись привычке, она вежливо обратилась к Жаку:

— Что же вы стоите, дети?.. Садитесь...

Жак пододвинул стул Женни и по знаку г-жи де Фонтанен сел слева от ее кресла.

Эти немногие простые слова, казалось, несколько разрядили атмосферу. Как только все уселись в кружок, словно во время визита, температура как будто понизилась, стала ближе к нормальной. Жак почти естественным тоном прервал молчание, обратившись к г-же де Фонтанен с вопросом о подробностях ее обратной поездки.

— Ты, значит, не получила моего последнего письма? — спросила она у Женни.

— Ничего. Ни одного письма. Я ничего не получила от тебя. Кроме открытки. Первой. Той, которую ты написала на вокзале в Вене, в понедельник. — Она говорила отрывисто, почти не разжимая губ.

— В понедельник? — переспросила г-жа де Фонтанен. Ее веки задрожали от усилия, которое ей понадобилось, чтобы восстановить в памяти последовательность дней. — Но ведь я каждый вечер писала по два письма: одно — тебе, другое — Даниэлю.

При мысли о сыне сердце ее снова сжалось.

— До меня не дошло ни одно, — резко заявила Женни.

— А Даниэль разве не писал тебе?

— Писал... Один раз.

— Где он?

— Он уехал из Люневиля. С тех пор — ничего.

Наступило молчание, которое снова нарушил Жак, испытывавший неловкое чувство:

— А... когда вы выехали из Вены?

Г-же де Фонтанен оказалось нелегко вспомнить это.

— В четверг, — ответила она наконец. — Да, в четверг утром... Но в Удине<sup>1</sup> мы прибыли только ночью. И только в полдень выехали в Милан.

— А что, в четверг утром в Австрии уже было сообщение об обстреле и оккупации Белграда?

Г-жа де Фонтанен смущенно взглянула на молодого человека.

— Не знаю, — призналась она. Находясь в Вене, она была занята исключительно защитой памяти своего мужа и совсем не следила за событиями.

«Женни даже не спросила, удалось ли мне уладить наши дела», — подумала она. И, глядя на дочь, вдруг задала себе мучительный вопрос: «Может быть, она немного разочарована тем, что мне удалось вернуться?»

Чтобы сказать что-нибудь, Жак снова начал расспрашивать о настроениях в Вене, о манифестациях, и г-жа де Фонтанен добросовестно старалась подробно отвечать ему, цепляясь, как и он, за эти общие темы, отдалявшие опасное объяснение, ибо в эту минуту все трое думали еще, что «объяснение» неминуемо, неизбежно.

Жак то и дело оборачивался к Женни, как бы приглашая ее принять участие в разговоре. Напрасно. Теперь она даже не делала виду, что слушает. Посадка головы, суровое выражение похудевшего лица, ускользающий и жесткий взгляд, как-то по-особому поднятый подбородок и сжатые губы — все выдавало в ней не только желание остаться в стороне, но даже тайную отчужденность, напряженную, враждебную. Она сидела на краешке стула, не прислоняясь к спинке, все ее тело ныло, нервы были словно обнажены, и она обводила комнату равнодушным взглядом, который время от времени останавливался на матери, словно на какой-то статистке, расположившейся среди почти нереальных декораций. Г-жа де Фонтанен, с ее библией, в этом старом зеленом бархатном кресле, которое всегда ставили боком, чтобы на него лучше падал свет из окна, казалась ей сидящей здесь с незапамятных времен: воспоминание о минувшем, символ (быть может, трогательный, но еще более раздражающий) далекого прошлого, которое с каждой минутой тихо отрывалось от нее, прошлого, которое как будто уходило от нее в туман, подобно тому как удаляется от отъезжающего путника группа родных, пришедших проститься с ним. Женни плыла уже к другим берегам; и с сильно бьющимся сердцем, похожая на снимающийся с якоря корабль, чувствовала в себе трепет, вибрацию новой жизни. Если бы Жак в эту минуту схватил ее за руку и сказал: «Идемте, бросьте все это навсегда», — она бы ушла, даже не оглянувшись назад.

Маленькие часы, стоявшие на ночном столике рядом с фотографиями Жерома и Даниэля, начали медленно бить в наступившей тишине.

<sup>1</sup> Город в Италии.

Жак взглянул на них и, почувствовав внезапное искушение сблизить, наклонился к Женни.

— Одиннадцать часов... Мне надо идти.

Они обменялись быстрым взглядом. Женни утвердительно кивнула головой и сейчас же, не ожидая его, встала.

Г-жа де Фонтанен наблюдала за ними. Ей было особенно тяжело думать, что ее Женни, такая прямая, такая правдивая... Она не узнавала ее! У Женни был уклончивый взгляд, взгляд человека с «нечистой совестью»... Да, несмотря на их уверенный вид, в эту минуту г-жа де Фонтанен подметила у них — у них обоих — что-то неискреннее. Они с тщеславной, немного смешной торжественностью смотрели друг на друга, словно два авгура, два посвященных. «Словно два сообщника», — подумала г-жа де Фонтанен. И это было верно: их соединяло упоительное сообщничество их любви, той любви, которую они считали безграничной, таинственной, беспримерной, единственной, главное — единственной, такой, что никто, кроме них, не мог проникнуть в ее необыкновенную сущность!

Ободренный согласием Женни, Жак подошел к г-же де Фонтанен проститься.

Она совсем растерялась от этого слишком поспешного прощания. Неужели они так и оставят ее одну, ничего больше не сказав? Неужели она не заслужила большего доверия?.. Она пыталась убедить себя, пыталась примириться еще и с этим оскорбительным недостатком уважения. Может быть, ей самой следовало вызвать их на откровенность? Теперь было слишком поздно. У нее не хватало мужества. И потом, она чувствовала себя возбужденной от усталости, от пережитого ею морального потрясения, способной на вспышку раздражения, на несправедливость. Пожалуй, будет даже лучше, если эта первая встреча закончится без объяснения... И тем не менее она не могла уговорить себя не сердиться на Женни, хотя в эту минуту ее меньше возмущала греховная страсть дочери, чем это вызывающее поведение, непонятное, неоправданное, недопустимое. Жака она ни в чем не винила. Напротив, во время этого визита он понравился ей: под его застенчивой почтительностью она почувствовала молчаливое понимание, угадала в нем чистую совесть, внутреннее благородство. И потом, это был друг Даниэля. Она уже готова была, если такова воля божия, полюбить его как сына.

Она так мало сердилась на него, что, собираясь пожать ему руку, едва не привлекла его к себе, как делала это с Даниэлем, едва не сказала ему: «Нет, дитя мое, дайте мне поцеловать вас». К несчастью, в эту минуту она подняла глаза на Женни. Молодая девушка стояла, повернувшись к ним, и ее пронизывающий, полный враждебности взгляд, устремленный на мать, казалось, говорил: «Да, я наблюдаю за тобой, я хочу знать, что ты сейчас сделаешь, хочу посмотреть, найдешь ли ты, наконец, в себе то материнское чувство, которого я жду от тебя с той самой минуты, как ввела

сюда Жака!» Тут раздражение, назревавшее в сердце г-жи де Фонтанен, одержало верх: в ней проснулась гордость. Нет, немая угроза не заставит ее сделать то, что она готова была сделать по собственному побуждению!

Отказавшись от намерения обнять Жака, она ограничилась тем, что протянула молодому человеку руку, и он один заметил дрожь этой руки, волнение, скрытую готовность уступить, нежность — все, что бедная женщина вложила в это банальное пожатие.

Эта сцена длилась не дольше секунды. Но когда Жак в сопровождении Женни выходил из комнаты, г-жа де Фонтанен испытала вдруг жестокое предчувствие, что в эту секунду подвергается опасности, что поставлено на карту все будущее счастье ее отношений с Женни и что какая-то нить навсегда оборвалась между дочерью и ею. Она испугалась.

— Женни... Ты тоже уходишь?

— Нет, — бросила молодая девушка, не оборачиваясь.

В коридоре Женни схватила Жака за руку и стремительно, безмолвно увлекла его в переднюю.

Тут они отодвинулись друг от друга. И одинаковая растерянность отразилась в их скрестившихся взглядах.

— Ты все-таки едешь со мной? — проговорил Жак.

Она вздрогнула.

— Неужели ты?.. — Она казалась оскорблённой, словно этим вопросом он показал, что усомнился в ней.

— Как ты ей скажешь?.. — спросил он после короткой паузы.

Она стояла перед ним, подняв руку, держась за косяк дубового шкафа.

— Ах, — сказала она, нетерпеливо тряхнув головой, — сейчас все это мне безразлично.

Он посмотрел на нее с удивлением. Его взгляд скользнул по этой руке, судорожно сжимающей темное дерево, такой маленькой и белой; он прижался к ней губами.

Вдруг она сказала:

— Ты бы взял ее с собой?

— Кого? Твою мать? — Он колебался с четверть секунды. — Да, если ты считаешь... Конечно... А почему ты?.. Ты думаешь, она захочет поехать с нами?

— Не знаю... — ответила Женни поспешно. — Скорее, нет... Но в конце концов надо все предусмотреть... — Она замолчала и слабо улыбнулась. — Спасибо! — сказала она. — Где мы встретимся?

— Так ты не хочешь, чтобы я зашел за тобой сюда?

— Нет.

— А твой багаж?

— Он будет невелик.

— Ты сможешь донести его одна до трамвая?

— Да.

— А мои документы? Пакет, который я оставил тогда в твоей комнате...

— Я положу его в мои вещи.

— Хорошо, тогда приезжай прямо на Лионский вокзал... В котором часу?

Она подумала.

— В два часа; самое позднее — в половине третьего.

— Я буду ждать тебя в буфете, хорошо? Мы сможем до отхода поезда оставить там твой чемодан.

Она подошла к нему, сжала его лицо ладонями. «Любимый!» — подумала она. Она медленно погрузила свой страстный взгляд в глаза Жака и смотрела так, пока губы их не слились.

Она высвободилась первая.

— Иди, — сказала она. Ее голос, лицо выдавали крайнее первое напряжение и усталость. — А я пойду к маме. Я поговорю с ней, скажу ей все.

## LXXVI

Едва успев выбежать из квартиры, Жак, вновь охваченный тем самым волнением, которое после посещения редакции «Etandard» вызвало в нем столь сильное желание побывать одному, на секунду задумался: какую же это вещь — неотложную вещь — ему предстояло сделать? И вдруг слова Мурлана снова прозвучали в его ушах: «Быть может, достаточно было бы какого-нибудь пустяка... Если бы вдруг внезапная вспышка сознания разорвала эту толщу лжи, разделяющую две армии...»

Ослепительный свет вдруг засиял перед ним: «Разделяющую две армии...» Эта мысль встала перед ним с такой силой, с такой отчетливостью, что у него закружилась голова, и он остановился посреди лестницы, опервшись рукой о перила; сердце его учащенно забилось от прилива отваги и надежды... Замысел, уже несколько часов бродивший в его мозгу неосознанным, вдруг озарился ярким светом и завладел всем его существом. То была не смутная фантазия, не искушение пустого мечтателя, нет: то, что внезапно приняло в нем определенную форму, было точным планом, планом определенного индивидуального действия, одною из тех навязчивых идей, какие втайне возникают иногда в уме анархистов. Теперь он знал, зачем едет в Швейцарию и что подготовит там! Он знал, каким реальным актом, решительным и ни с кем не разделенным актом, сможет, наконец, после стольких дней бездействия и бесплодной тоски, начать борьбу за то, во что он верил, и воспрепятствовать войне! Актом, для свершения которого, без сомнения, придется отдать жизнь. Это он понял в первую же минуту и принял без рисковки, даже не сознавая своего мужества, движимый только мистической верой в то, что это действие, ради которого он готов был

отдать свою жизнь, является сейчас единственным и последним средством пробудить сознание масс, резко изменить ход событий и нанести поражение силам, объединившимся против народов, против Братства и Справедливости.

Он совершенно забыл о возвращении г-жи де Фонтанен, о своем странном визите к ней; забыл даже о Женни.

Она — наоборот... Прежде чем вернуться в комнату матери, она проскользнула на балкон, чтобы посмотреть на Жака, когда он выйдет из дома, и уже беспокоилась, что его так долго нет. Наконец она увидела, как он вышел из ворот и, не обращая внимания на прохожих, на обозы, загромождавшие мостовую, бросился, словно одержимый, в сторону бульвара Сен-Мишель. Она следила за ним взглядом до тех пор, пока он не исчез. Но он не обернулся.

Оставшись одна, г-жа де Фонтанен прислонилась головой к спинке кресла и несколько минут сидела в каком-то оцепенении. Мысли ее были неопределены и смутны, но все ее впечатления сводились к следующей туманной фразе, которую сна удрученено повторяла про себя: «Из этого не может выйти ничего хорошего...» Она продолжала видеть перед собой Жака и Женни, стоящих рядом, похожих на два ствола, выросших из одного корня. Затем по невольной ассоциации она вдруг увидела перед собой строгую гостьину своего отца и в амбразуре окна стройного, молодого Жерома в отделанной черным шнуром светлой визитке — своего жениха Жерома, который улыбался с победоносным видом. С какой уверенностью они устремлялись тогда к будущему, — они тоже! Как упорно противостояли они оба семье! Какой непобедимой чувствовала она себя рядом с ним!.. Она вдруг вспомнила свою прежнюю экзальтацию, свои иллюзии, свою уверенность в том, что ее ждет счастье, в том, что они первые познали такие восторги. И вместо того чтобы при этом насмешливом, всплывшем в ее душе воспоминании испытать ощущение горечи или хотя бы грусти, она вся просветлела, словно жизнь сдержала свое обещание счастья.

Услышав шаги дочери, она вздрогнула. Решительная походка Женни, движение, которым она затворила за собой дверь, ее напряженное лицо и отсутствующий горящий, фанатический взгляд — все это испугало г-жу де Фонтанен.

Решив, что только ласка может помочь изгнанию вселившегося в Женни беса, г-жа де Фонтанен боязливо прошептала:

— Поцелуй меня, дорогая...

Женни слегка покраснела: она еще ощущала на губах губы Жака. Делая вид, будто не слышит, она сняла шляпу, вуаль и отнесла их на кровать. Потом, не в силах бороться с усталостью, подошла к кушетке, стоявшей в глубине комнаты, и вытянулась на ней.

И тогда, с несколькою неловкой торопливостью, она воскликнула:  
— Я так счастлива, мама!

Г-жа де Фонтанен бросила на дочь быстрый взгляд. Ее материнскому сердцу показалось, что в этом утверждении, прозвучавшем легким вызовом, был оттенок отчаянья. Этого оказалось достаточно, чтобы убедить ее, что перед ней долг, высший долг, который необходимо исполнить, каков бы ни был связанный с этим риск. Повинуясь внутреннему чувству, которое она принимала за веление духа, г-жа де Фонтанен вдруг выпрямилась с неожиданной властностью.

— Женни, — сказала она, — молилась ли ты? Молилась ли ты по-настоящему?.. И можешь ли ты сказать: «Предвечный со мною»?

С первых же слов Женни неприязненно насторожилась. Вопросы религии всегда отделяли ее от матери пропастью, которая была мучительной для обеих, но всю глубину которой сознавала она одна.

— Женни... Дитя мое... — продолжала г-жа де Фонтанен, — отрещись от своей гордости... Давай помолимся вместе, призовем на помощь того, кто знает все... Загляни вместе с ним в тайники своего сердца... Женни! Разве ты не чувствуешь, что в глубине твоей души что-то... сопротивляется? — Ее голос задрожал. — Что-то... Кто-то... предупреждает тебя, что, быть может, ты обманываешься, что, быть может, ты лжешь сама себе?

Женни молчала, и ее мать решила, что она ушла в себя, готовясь к молитве. Но после длительной паузы девушка произнесла со вздохом:

— Ты не можешь понять!

Тон был резкий, безнадежный, враждебный.

— Могу, дорогая... Я могу понять тебя!

— Нет! — проговорила Женни, упрямо глядя в одну точку, и в ее взгляде выразились нетерпение и упорство. Мысль, что ее не понимают, что ее мучат, доставляла ей болезненное наслаждение. Она чуть было не сказала: «Ты не имеешь ни малейшего представления о такой любви, как наша!» Но не смогла произнести вслух это слово: «любовь». Она криво усмехнулась. — Я окончательно убедилась сейчас, что ты не понимаешь... Совершенно не понимаешь!

— Что ты хочешь этим сказать, Женни? Ты находишь, что я плохо приняла вас?

— Да.

— Да?

— Да! — отрезала Женни, глядя в потолок. И глухим, полным обиды голосом пояснила, приподнимаясь: — Если б ты поняла нас, ты нашла бы хоть одно слово, чтобы сказать об этом! Одно слово, которое показало бы нам, что ты разделяешь наше счастье!

Г-жа де Фонтанен отвела глаза. Наконец она ответила:

— Ты несправедлива, Женни... В чем ты можешь упрекнуть меня? Я приезжаю сюда утром, не имея ни о чем понятия... Ты не была со мной откровенна, ты все от меня скрыла...

Женни прервала ее, пожав плечами не свойственным ей жестом — жестом, которого ее мать, пожалуй, никогда не видела у нее прежде, — жестом Жака. С упрямым, загадочным, удовлетворенным видом она сказала:

— Я ничего от тебя не скрыла!.. Вот видишь, ты уже осуждаешь, ничего не зная. Две недели назад я и сама была далека от мысли, что...

— Но ведь с тех пор как мы расстались, еще не прошло двух недель: сегодня всего неделя... Стало быть, когда я уезжала, ты еще не?..

— Нет!

(Она лгала, так как г-жа де Фонтанен была еще в Париже в тот вечер, когда они встретились с Жаком на Северном вокзале. Она откинула голову и скрыла лицо, но голос выдал ее с такой очевидностью, что они обе покраснели.)

— Если бы две недели назад, — продолжала Женни, и ее смущение прорвалось в натянутом смешке, — если бы ты тогда заговорила со мной о Жаке, я ответила бы тебе, что ненавижу его! Что никогда не соглашусь увидеться с ним снова!

Опершись на ручки кресла, г-жа де Фонтанен с живостью наклонилась к ней.

— Так, значит, это в несколько дней?.. Не успев хорошенько подумать... — Она чуть было не сказала: «Поговорить со мной...» Но добавила только: — Посоветоваться с Даниэлем?..

— С Даниэлем? — повторила Женни, притворяясь удивленной. — Почему с Даниэлем? — Подталкиваемая раздражением, причины которого она не понимала и сама (в котором, быть может без ее ведома, прорвался протест против долгих лет ласкового принуждения — осадок старых затаенных обид), она снова разразилась вызывающим смехом. Затем, поддаваясь непостижимому соблазну ранить мать в самое уязвимое место, добавила: — Как будто Даниэль может знать, может понять! Что он мог бы сказать мне, твой Даниэль? Глупости, которые может сказать каждый! Разные «благородные» слова!

— Женни!.. — простонала г-жа де Фонтанен.

Но Женни уже не могла остановиться.

— Слова, которые сейчас, конечно, и у тебя на языке. Выскажи же их наконец! Что ты хочешь сказать? Что сейчас война?.. Или что мы с Жаком недостаточно хорошо знаем друг друга? Что я не буду счастлива?

— Женни! — повторила г-жа де Фонтанен.

Она смотрела на дочь, оцепенев от изумления. Эта Женни, с нахмуренными бровями, с напряженным лицом, с пронзительным голосом, не походила ни на одну из тех Женни, каких ей приходилось видеть возле себя за двенадцать лет; эта новая Женни была во

власти только что проснувшихся, сорвавшихся с цепи инстинктов... «Невменяема», — подумала г-жа де Фонтанен с чувством отчаяния, но и снисходительности, почти облегчения.

Осуждение и даже страдание матери не только не трогали Женни, а напротив — еще подстрекали ее.

— А если я согласна быть несчастной, но с ним? Это не касается Даниэля! Это касается меня одной! Я не прошу ничьих советов! Какое мне дело, что думают другие! Я не собираюсь больше советоваться ни с кем теперь, когда у меня есть он, он!

Приняв этот новый удар, г-жа де Фонтанен побледнела. Больше всего ее терзало сознание того, что оскорбление было продуманным, преднамеренным. Дух зла, дух тьмы вдоворился в сердце ее ребенка! Она с отчаянием взывала к богу. Она теряла способность противостоять воздействию этой отравленной атмосферы, подавлять овладевавший ею гнев. Однако ей удалось еще на минуту сохранить твердый и сдержанный тон:

— Ты всегда пользовалась полной моральной независимостью, Женни. Ты отлично знаешь: с тех пор, как ты достигла такого возраста, когда могла уже руководствоваться голосом совести, я не называла тебе ни своих желаний, ни даже своих советов. И сегодня ты тоже вольна поступать, как знаешь, не спрашивая моего мнения. Но мой долг...

— Прошу тебя, мама!

— ...мой долг поговорить с тобой, пусть даже это окажется напрасным... предостеречь тебя от тебя самой. Женни... Дитя мое... Я взываю к лучшему, что в тебе есть... Возможно ли, чтобы ты потеряла всякое представление о добре и зле? Открой глаза, опомнись! Ты — жертва непостижимого безумия... Ты дошла до того, что без сопротивления отдаешься своей страсти, не только не испытывая угрызений совести, но как будто даже видя в этом доказательство силы... мужества... благородства... — Она задыхалась. У нее было мучительное ощущение, что она не справляется со своей задачей, что она слишком устала... что вступила на ложный путь и говорит не то, что нужно, и не так, как нужно. Быть может, она бы остановилась, но в эту минуту вид Женни, растянувшейся на кушетке, снова вызвал передней видение юной пары, лежащей в объятиях друг друга на диване Даниэля. — Тебе бы следовало стыдиться! — пробормотала она.

— Прошу тебя, мама! — повторила Женни суровым тоном, произвучавшим угрозой.

— Стыдиться! — продолжала бедная женщина, на этот раз потеряв всякую власть над собой. — Ты! Женни! Моя дочурка, мое дитя! Ты воспользовалась тем, что осталась одна, и поддалась своим порывам!.. — Она вдруг пожалела о пути, на который ее увлекло негодование, и бросилась в другую сторону: — Разве такое важное, чреватое последствиями решение принимается в несколько дней? Решение, от которого зависит вся жизнь?

И не только твоя жизнь, но и наша... Жизнь твоего брата, моя... Потому что сейчас поставлено на карту все наше будущее — будущее всех нас! Подумала ли ты об этом? Нет! Ты была... Ты...

— Довольно, мама! Довольно! Довольно!

— Ты потеряла голову! Ты действовала как ребенок! — бросила г-жа де Фонтанен под конец. И фраза, которую она все время повторяла про себя, наконец слетела с ее губ: — Из этого не может выйти ничего хорошего!

Женни почувствовала, как волна холодного бешенства внезапно поднялась в ней; она вскочила. О, как осуждала она сегодня свою мать! Непонимание, черствость, эгоизм!

— Сказать тебе правду? — отчеканила она, подходя к г-же де Фонтанен. — Если кто-нибудь из нас плохо разбирается в себе, так это ты! Да! Ты думаешь о своем будущем, а вовсе не о моем! Я сделала сейчас одно открытие: оказывается, ты всегда любила меня только для себя, для себя одной! Это ревность восстановила тебя против нас! Ты ревнуешь! Ревнуешь! Ты думаешь только об одном: о том, чтобы эгоистически удержать меня возле себя!.. Так вот, не рассчитывай на это! Поздно! Мне жаль, что приходится доставить тебе это огорчение. Но лучше будет, если ты узнаешь как можно скорее. Сегодня вечером Жак уезжает в Швейцарию. И я... я еду с ним!

— Сегодня вечером! В Швейцарию! — чуть слышно прошептала г-жа де Фонтанен.

— Это не необдуманный шаг: мы решились на него еще до твоего возвращения. Сегодня отходит последний поезд, с которым...

— Ты! Сегодня вечером!

— Да, сейчас!

— Нет! Ты этого не сделаешь, Женни! Этого не будет!

— Что бы ты ни говорила, что бы ты ни делала, мама, это не поможет, — возразила Женни оскорбительно резким голосом. — Теперь никто не заставит нас переменить решение!

— Я не соглашусь на это! Слышишь?

Вместо всякого ответа Женни пожала плечами.

— Ты слышишь меня, Женни? Я запрещаю тебе ехать!

— Бесполезно настаивать, мама. Повторяю тебе... Впрочем, вместо того чтобы осуждать меня, тебе бы следовало... если бы только у тебя было сердце...

— Если бы у меня было сердце?.. — пробормотала г-жа де Фонтанен. Она забыла все остальное — ей запомнились только эти ужасные слова...

— Да, если бы ты по-настоящему заботилась о моем счастье, — крикнула Женни, совершенно потеряв самообладание, — если бы ты любила меня ради меня самой, то сегодня ты бы...

На этот раз г-жа де Фонтанен не выдержала. Она скжала руками лоб и заткнула уши, чтобы избавиться от этого голоса, который пронизывал ее насквозь. «Решает Предвечный, а не создание

его, — подумала она, закрывая глаза. — Господи, да будет воля твоя!»

Она услышала глухой шум и боязливо подняла голову. Женни уже вышла из комнаты, хлопнув дверью. Ее шляпы и вуали больше не было на кровати.

«Надо молиться... молиться», — повторяла себе г-жа де Фонтанен.

Она не могла отогнать от себя образ Женни, той Женни, которую она видела сейчас здесь — исступленной, дерзко стоящей перед ней...

— Господи, — взывала она, — помоги мне, дай мне силу!.. Нет ничего непоправимого... Мы никогда не должны отчаиваться в твоих созданиях... — Медленно, два раза подряд, она повторила про себя слова священного писания: «*Не взирай на видимое; на невидимое устремляй взор твой. Ибо видимое преходяще, а невидимое вечно.*»

Наконец первая минута отупения миновала, и ум ее заработал с неожиданной энергией. Совершенно разбитая, согнувшись, сложив руки, г-жа де Фонтанен продолжала неподвижно сидеть в своем глубоком кресле. Но в голове у нее прояснилось. Она терпеливо старалась разобраться в себе. Как всегда в дни испытаний, она силилась проанализировать свою скорбь, с точностью очертить ее границы, превратить ее, если можно так выразиться, в нечто определенное, в нечто такое, что можно было бы извлечь из души и принести в дар богу. «*Все, что не принесено в дар Богу, потерянно...*»

Нельзя сказать, чтобы отъезд Женни в Швейцарию больше всего волновал г-жу де Фонтанен в данную минуту. К тому же, она не могла заставить себя по-настоящему поверить в этот отъезд. Нет, права она была или неправа, но больше всего она страдала от того, что ее обманули. Оскорблениe, истинное, глубокое оскорблениe заключалось именно в этом. Она наивно думала, что ее полная понимания нежность, свобода, которую она предоставляла Женни даже тогда, когда та была еще ребенком, создали и у нее и у дочери прочную привычку к обоюдному доверию, что Женни не может принять какое-либо важное решение, не предупредив ее, не получив ее согласия. И вот в самую критическую минуту своей жизни Женни утаила от нее все и даже, воспользовавшись ее отсутствием, поступила так, проявила такое притворство, какого можно было бы ожидать только от девушки, которая воспитывалась в обстановке самой суровой зависимости и теперь, во внезапном порыве возмущения, освобождается от давящей, неоправданной, невыносимой опеки. Разумеется, несмотря на тяжелую сцену, только что имевшую место, г-жа де Фонтанен не сомневалась в привязанности дочери, — так же как и сама она не чувствовала, что ее материнская любовь ослабела. Нет, сейчас было задето ее доверие.

Доверие — такое, какое она питала к Женни, — останется искаленным навсегда, после того как его обманули так грубо. Такая же любовь, как прежде, — да. Такое же доверие? Нет, оно уже не вернется.

Эта мысль привела ее в отчаяние. Она опять взяла свою библию и открыла ее наудачу. Ей удалось без особого труда сосредоточить внимание на тексте. Мало-помалу к ней возвращалось спокойствие — странное, неожиданное, почти пугающее спокойствие. И вдруг, еще более внимательно глядываясь в себя, она открыла страшный секрет этого спокойствия: какое-то чувство только что, без ее ведома, родилось в ее душе и легко, но вместе с тем уверенно уже разрасталось в ней... Чувство, которое уже было знакомо ей, которое она испытала однажды, в самый горький период ее жизни, когда, не в силах переносить дальше бесплодные страдания, она решилась отделить свою жизнь от жизни Жерома. Чувство? Скорее инстинктивная реакция. Нечто вроде естественной самозащиты. «Лекарство, — подумала она, которое мудрая природа находит в нас самих, чтобы дать нам силы перенести иные страдания...» Она положила книгу и стала пытаться уточнить, дать название тому, что чувствовала... Покорность судьбе? Отрешенность?.. Да существует ли термин для обозначения этой смеси двух столь противоречивых чувств: нежности и равнодушия? *Равнодушие!* Это грубое слово заставило ее содрогнуться. Мысль, что материнская любовь, подобная той, какая долгие годы наполняла ее сердце, способна вдруг остыть под напором событий, под влиянием равнодушия, — эта мысль, в настоящий момент не лишенная известной сладости, могла оказаться в будущем новым испытанием. Г-жа де Фонтанен закрыла глаза. Она решила не заглядывать вперед. «Да будет воля твоя», — еще раз прошептала она.

Но горе сломило ее. Она снова уронила голову на руки и заплакала.

## LXXVII

Женни с отчаянной твердостью решила бежать; инстинкт предупреждал ее, что если она хочет выдержать характер и привести в исполнение это намерение, от которого зависит все ее будущее, то ни в коем случае не надо больше видеться с матерью... И даже не надо позволять себе думать!

Она помчалась в свою комнату, с лихорадочной поспешностью побросала в чемодан белье, несколько черных платьев; затем, стиснув зубы, с горящими щеками, снова надела шляпу, вуаль и, даже не взглянув в зеркало, выбежала из дома, как будто за нею кто-то гнался.

«Теперь я одна и свободна, — с упоением и ужасом думала она, быстро спускаясь по лестнице. — Теперь у меня действительно никого нет, кроме него!»

На улице у нее на мгновенье закружилась голова. Куда идти? Жак будет ждать ее в буфете не раньше двух часов, а сейчас не больше двенадцати. Все равно: проще всего, раз она уже с багажом, сейчас же сесть в трамвай, который идет по бульвару Сен-Мишель, затем пересесть в другой, тот, что идет по бульвару Сен-Жермен, и доехать до Лионского вокзала.

Ей посчастливилось сразу попасть в трамвай и найти место на площадке.

«Не думать, — говорила она себе. — Не думать».

Это удалось ей без особого труда, потому что вагон был переполнен и разговор в нем шел общий и шумный, словно после несчастного случая: «А браки, сударыня, браки! Сегодня утром, в мэриях, у окошечек в отделе актов гражданского состояния, служащие просто голову потеряли: столько мобилизованных женятся перед отъездом!» — «Как так? А формальности?..» — «Все это упростили. На войне, как на войне — сейчас вполне уместно будет это сказать... Если у вас есть при себе два метрических свидетельства и боенный билет, вы можете в пять минут узаконить какую угодно старую связь...» — «Знаете, я это одобряю: нравственность, и вообще...» — «О, что касается нравственности, этого нам не занимать. Во Франции все на высоте, когда нужно». — «Я живу у фортов. И знаете, призывные комиссии в нашем районе осаждаются с раннего утра! Масса добровольцев!» — «Нет, — поправил военный врач в мундире, — прием добровольцев еще не открыт. Люди приходят навести справки, может быть записаться...»

Трамвай, который шел с площади Бастилии, тоже был переполнен: пассажиры теснились в проходах между скамейками. Тем не менее Женни удалось сесть благодаря любезности какой-то пожилой дамы, которая, видя, что ее стесняет багаж, уступила ей место своей маленькой дочки.

Укачиваемая шумом трамвая и гулом голосов, Женни, чтобы убежать от собственных мыслей, охотно прислушивалась к фразам, которыми обменивались над ее головой.

Перед улицей Сен-Жак трамвай вынужден был остановиться, чтобы пропустить полк легкой артиллерии, направлявшийся к Сорbonне.

«Как видно, весь гарнизон уже потихоньку покинул Париж...» — «Чувствуется, что есть руководство. Все идет... по-военному». — «Да! Судя по началу, это протянется недолго!» — «Я был во время отпуска в Вогезах, в Рибовиллере... И знаете, что я вам скажу: когда видишь наших храбрых солдат, особенно наших славных пехотинцев, — на душе становится спокойно!» — «А все-таки мы струсили — отступили на десять километров...» — «Бросьте! Когда у них будет двадцать миллионов русских штыков сзади да мы спереди...» — «Хозяин гостиницы, где я живу, рассказывал, что один приезжий из Люксембурга видел, как французский летчик налетел прямо на цепеллин и проткнул его, словно мыльный пузырь!..» —

«Надо остерегаться ложных известий, — сказал кондуктор, — а то один пассажир только что рассказал, будто сегодня ночью в Эльзасе была одержана решительная победа». — «Ну, это уж он, конечно, хватил!.. Но вот мне говорили, что около Нанси видели патрули бошней...» — «Около Нанси! Что за ерунда!» — «А кто-нибудь слышал о том, что взорвали мосты в Суассоне?» — «Кто — мы или они?» — «Разумеется, мы. В Суассоне!» — «Это мог сделать шпион...» — «Надо смотреть в оба. Шпионов теперь полно... Одной милиции тут не управиться. Надо, чтобы каждый зорко следил в своем квартале, в своем доме». — «Мой брат служит на Орлеанском вокзале. И вот его жена рассказывала, что видела, как их сосед прятал у себя под кроватью германское знамя». — «Что касается меня, — сентенциозно заявил какой-то господин в пенсне, — я считаю, что немец имеет право крикнуть: «Да здравствует Германия!» Разумеется, при условии, что это не будет носить вызывающий характер... Что делать? Они там все такие, это не их вина...»

На площади Мобер — новая остановка. Мостовую загораживала целая толпа. Женни заметила в начале улицы Монж разъяренную банду, которая, вооружившись толстым бревном, с грохотом вышибала витрину магазина под вывеской «Молочная Maggi».<sup>1</sup>

У пассажиров в вагоне разгорелись страсти.

«Молодцы ребята!» — «Магги — это пруссак... — сказал господин в пенсне, — и даже уланский полковник!.. «Action française» давно уже разоблачила его! Он только и ждал мобилизации, чтобы сделать свое дело!» — «Говорят, сегодня утром в одном Бельвиле он отравил своим молоком больше сотни наших ребят!»

Женни видела движение тарана; она слышала, как он глухо ударялся о железный ставень. Наконец железо подалось. Внутри вдребезги разлетелись стекла. Толпа, скопившаяся перед лавкой, ликовала: «Долой Германию! Смерть предателям!» На краю площади расположился взвод полицейских-самокатчиков, которые сошли со своих велосипедов. Они издали наблюдали сцену, не вмешиваясь: в конце концов, на Францию напали, народ сам творил правосудие — оставалось только предоставить ему свободу действий.

Наконец трамвай доехал до Лионского вокзала.

Во дворе было полно народа. Женни, таща свой чемодан, пробилась через толпу, добралась до буфета и заняла там место.

Через широко распахнутые двери резкий дневной свет волнами вливался в зал. Забившись в дальний угол, Женни сжимала влажные руки. Несмотря на то, что было еще слишком рано, чтобы

<sup>1</sup> «Магги» — фирма по изготовлению и продаже пищевых концентратов, основанная швейцарцем Юлиусом Магги (1848—1912).

надеяться увидать Жака, она не отрывала глаз от входа. Стояла удушливая жара. От неудобной, обитой кожей скамейки, от только что перенесенных толчков трамвая у Женни болело все тело. Яркий свет слепил глаза. Люди беспрестанно входили и выходили, отчетливо выделяясь на светлом фоне; некоторые торопливо шагали по тротуару, подталкивая тележки с багажом. Женни вдруг схватила свой чемоданчик, стоявший с ней рядом, и засунула под стол; затем опять поставила его на скамью и снова устремила взгляд на дверь. Ее суетливые жесты выдавали лихорадочное возбуждение. В трамвае ей удалось рассеяться; сейчас она была беззащитна перед самой собой, и мысль о том, что, быть может, ей придется просидеть здесь одной, во власти этой жгучей тревоги, еще целый час, наполняла ее невыносимой тоской. Она всячески старалась заставить себя думать о пустяках, занимала свой ум множеством безобидных мелочей, но чувствовала, как над ее мозгом реет, словно хищная птица, круги которой все сужаются, ужасная мысль, которую до сих пор ей удавалось держать на расстоянии... Чтобы защитить себя от нее, она с минуту пыталась разглядывать окружавшие ее предметы, сосчитала подковки в хлебнице, кусочки сахара на блюдечке. Затем снова устремила взгляд на дверь и начала следить за входившими и выходившими людьми. Какая-то женщина, с непокрытой головой, с седеющими волосами, переступила порог; она села за ближайший свободный столик у входа и тяжело облокотилась на него, закрыв лицо руками. И воспоминание, которое Женни отгоняла от себя, которое только и ждало возможности обрушиться на нее, сейчас же завладело ею... Она увидела перед собой мать в той позе, в какой она оставила ее, — сидящей в глубоком кресле, сжимающей виски руками. Что она делает теперь? Подумает ли о завтраке? Женни представила ее себе в неприбранной кухне, перед грязной посудой, перед двумя приборами... И на этот раз уже она, закрыв глаза, склонила голову и стиснула лоб руками.

Несколько минут она просидела так, не шевелясь. «Ты ревнешь!.. Если бы только у тебя было сердце...» Она повторяла про себя собственные слова и не понимала теперь, как могла их произнести, не понимала, как могла уйти после того, как произнесла их!

Когда, наконец, она подняла голову, ее лицо было спокойно, сурово, и на щеках виднелись следы пальцев. «К чему думать? — сказала она себе. — Я должна сделать это, и только это». Еще с минуту она сидела неподвижно, с застывшим взглядом, раздавленная тяжестью своего решения. Она колебалась теперь только в одном пункте: этот шаг, этот неумолимый долг, — будет ли она ждать Жака, чтобы исполнить его? Зачем? Чтобы посоветоваться с ним? Так, значит, в ней еще таится постыдная надежда, что он разубедит ее? Нет, ее решение непреклонно. В таком случае, надо как можно скорее прекратить муки матери.

Она выпрямилась и подозвала официанта.

— Откуда можно послать пневматичку?

— Почта? Она, должно быть, открыта в такой день, как сегодня! Да вот она, ее видно отсюда: голубой фонарь...

— Посмотрите за моим багажом. Я сейчас вернусь.  
Она убежала.

Почта действительно оказалась открытой; штатские, военные осаждали окошечки. Она попросила голубой бланк и быстро написала:

Дорогая мама, я была безумна, я никогда не прощу себе горя, которое причинила тебе. Но я умоляю тебя понять, забыть. Я остаюсь. Я не уеду сегодня с Жаком в Швейцарию. Я не хочу оставлять тебя одну. У него же последний срок, он должен ехать непременно. Я приеду к нему позже. Надеюсь, что вместе с тобой. Да? Ты не откажешься поехать со мной, чтобы я могла снова встретиться с ним?

Мне бы следовало вернуться домой сейчас же, прибежать поделовать тебя. Но было бы слишком тяжело не пробыти с ним все эти последние часы перед его отъездом. Вечером я вернусь к тебе и объясню все, дорогая мама, чтобы ты могла простить меня.

Ж.

Она запечатала письмо, не перечитывая. Ее руки и все тело дрожали; от холодного пота белье прилипало к коже. Перед тем как бросить письмо в ящик, она удостоверилась, что оно будет доставлено через час. Потом медленно перешла через площадь и снова уселась в углу буфета.

Успокоило ли ее хоть немного то, что она сделала? Она задала себе этот вопрос, но не смогла на него ответить. Она была обессиlena своей жертвой, обессиlena, как после потери крови. Полна такого стояния, что даже страшилась теперь прихода Жака: боялась от него она чувствовала в себе больше силы, чтобы сдержать свое обещание. Она сделала попытку образумить себя: «Через несколько дней... Через неделю... Самое большее — через две...» Две недели без него! Ее ужас перед этой разлукой мог сравниться разве только со страхом смерти.

Когда, наконец, в рамке двери появился силуэт Жака, Женни поднялась и, прямая, бледная, ослабевшая, продолжала стоять на месте, глядя на него. Он увидел ее и с первого взгляда понял, что произошло что-то серьезное.

Трагическим жестом она отклонила все вопросы:

— Не здесь... Выйдем.

Он взял у нее из рук чемодан и вслед за ней вышел из зала.

Она сделала несколько шагов по тротуару, в толпе, потом внезапно остановилась и, подняв на него полный отчаянья взгляд, сказала очень тихо, очень быстро:

— Я не могу ехать с тобой сегодня...

Губы Жака приоткрылись, но он ничего не ответил: Он нагнулся, чтобы поставить чемодан на землю и, перед тем как выпрямиться, успел, почти не сознавая того сам, придать своему лицу нужное выражение. Это выражение, испуганное, недоверчивое, совершенно не отражало первой молниеносной мысли, которая мелькнула у него помимо воли: «Моя миссия... Теперь я свободен!..»

Пассажиры, солдаты толкали их. Он увлек Женни к углублению в стене между двумя столбами.

Прерывающимся голосом она продолжала:

— Я не могу ехать... Не могу оставить маму. Сегодня — не могу... Если бы ты знал... Я была с ней ужасна...

Она смотрела в землю, не решаясь встретиться с ним взглядом. Он же внимательно всматривался в нее; губы его дрожали, глаза были мрачны, и он наклонялся к ней, словно желая помочь ей говорить.

— Понимаешь? — прошептала она. — Я не могу уехать после того, что было...

— Понимаю, понимаю... — отрывисто произнес он.

— Я должна остаться с ней... Хотя бы на несколько дней... Я приеду к тебе... скоро... Как только смогу.

— Да, — сказал он с силой. — Как только сможешь! — Но про себя подумал: «Нет. Никогда... Это конец».

Несколько секунд они стояли, не глядя друг на друга, оцепневшие, безмолвные. Сначала она собиралась поделиться с ним тем, что произошло между нею и матерью. Но она даже не помнила сейчас всех подробностей, не помнила связи между ними. Да и к чему? Она чувствовала себя бесконечно одинокой в центре этой личной непередаваемой драмы, в которой Жак совершенно не участвовал и которой он навсегда останется чужд.

И он тоже в эту минуту чувствовал себя бесконечно далеким от Женни, далеким от всех: героизм, которым он упивался в течение последних двух часов, изолировал его от окружающего, делал непроницаемым для всякого обыкновенного человеческого переживания. Словно часы, остановившиеся от сотрясения, его ум застыл на первых — несших с собой освобождение — словах, произнесенных Женни: «Я не могу ехать с тобой». Страдание, разочарование, о котором говорила его поза, не были притворны, но они были поверхностны. Последние пути рвались. Сейчас он уедет, и уедет один! Все упрощалось...

Она вглядывалась в него, думая, что завтра уже не увидит его, пораженная силой, которую излучало это лицо, но слишком потрясенная, чтобы различить, какого рода перемена только что произошла в нем, какое новое, дышащее свободой выражение появилось на нем благодаря ее решению. Полным нежности взглядом она

ласкала этот большой выразительный рот, этот подбородок, эти плаечи... эту гулкую и твердую грудь, на которой она спала прошлой ночью... И боль, охватившая ее при мысли, что она не сможет провести сегодняшнюю ночь рядом с ним, ощущая его теплоту, сделалась такой мучительной, такой острой, что она забыла все остальное.

— Любимый...

Огонь, вспыхнувший в глазах Жака, показал ей, как неосторожно она поступила, проявив свою нежность... Воспоминание, которое пробудил в ней этот огонь, заставило ее вздрогнуть от испуга. Она хотела бы заснуть в его объятиях, но ничего больше...

Он погрузил свой затуманенный взгляд в глаза Женни. Почти не двигая губами, он прошептал:

— Перед тем как я уеду... Наш последний день... Хорошо?

Она не решилась отказать ему в этой последней радости. И, покраснев, отвернулась от него с мягкой и жалкой улыбкой.

Глаза Жака, оторвавшись от ее лица, блуждали несколько секунд по залитой солнцем площади, по фасадам домов напротив, где сверкали золотые буквы вывесок: «Гостиница для путешественников»... «Центральная гостиница»... «Гостиница для отезжающих»...

— Идем, — сказал он, схватив ее за руку.

## LXXVIII

Сафрио нахмурился.

— Кто тебе сказал?

— Привратник на улице Каруж, — ответил Жак. — Я только что с поезда: никого еще не видал.

— Si, si... С тех пор, как мы вернулись из Брюсселя, он живет у меня, — подтвердил итальянец. — Он прячется... Я видел: ему тяжело возвращаться домой без Альфреды. Я сказал ему: «Переселяйся ко мне, Пилот». Он пришел. Он наверху. Живет как в тюрьме. Целый день лежит с газетами на кровати. Жалуется на ревматизм... Но это только pretesto,<sup>1</sup> — добавил Сафрио, подмигнув. — Чтобы не выходить, не разговаривать... Он никого не захотел видеть, даже Ричардли! До чего он изменился! Эта девчонка искалечила его! Никогда бы не поверил... — Он с отчаянием махнул рукой. — Это конченый человек.

Жак не ответил. Слова Сафрио доходили до него точно сквозь туман: он все еще не мог выйти из оцепенения, в котором находился во время этого бесконечного восемнадцатичасового путешествия от Парижа до Женевы. Вдобавок его мучило воспаление десен, которое уже не раз лишило его сна за последние несколько недель, а в эту ночь еще усилилось от сквозняка в вагоне,

<sup>1</sup> Предлог (итал.).

— Ты ел? Пил? — продолжал Сафрио. — Тебе ничего не нужно? Сверни папиросу: это хороший табак, он привезен из Аосты!<sup>1</sup>

— Я хотел бы увидеться с ним.

— Подожди немного... Я поднимусь наверх, скажу ему, что ты вернулся. Может быть, он захочет, может быть, нет... А ты тоже изменился, — заметил он, устремив на Жака свой ласковый взгляд. — Si, si! Ты не слушаешь, ты думаешь о войне... Все изменились... Расскажи, что ты видел там. Они позволили тебе уехать?... Знаешь, самое страшное — это безумие, которое охватило всех, ставших солдатами!.. Их песни, их furia!.. Поезда с мобилизованными. У всех горят глаза, все кричат: «На Берлин!» А другие: «Nach Paris!»<sup>2</sup>

— Те, кого видел я, не пели, — мрачно сказал Жак. И продолжал возбужденно, словно внезапно проснувшись: — Страшно не это, Сафрио... Страшно то, что Интернационал... Он ничего не сделал. Он предал... После смерти Жореса отступили все! Все, даже лучшие! Ренодель, друг Жореса! Гед! Самбá! Вайян! Да, Вайян, а ведь это — человек! Единственный, кто в свое время осмелился заявить в палате: «Лучше восстание, чем война!» Все! Даже руководители Всеобщей конфедерации труда! И это непонятнее всего! Ведь они-то уж не были заражены парламентаризмом! И ведь решения конгрессов конфедерации были вполне определены: «В случае объявления войны — немедленная всеобщая забастовка!..» Накануне мобилизации пролетариат еще колебался. Еще была возможность! Но они не сделали даже попытки! «Священная земля! Отечество! Национальное единение!.. Защита социализма от прусского милитаризма!» Вот и все слова, которые они нашли! А тем, кто спрашивал: «Что делать?», они смогли ответить только одно: «Подчиняйтесь приказу о мобилизации!»

Сафрио слушал с полными слез глазами.

— Даже и здесь все перевернулось, — сказал он после паузы. — Теперь товарищи говорят шепотом. Ты увидишь! Все переменились... Боятся... На сегодняшний день федеральное правительство нейтрально; нас не трогают. Но завтра? И тогда, если придется уезжать, куда держать путь?.. Все боятся. Полиция следит за всем... В «Локале» теперь никого... Ричардли устраивает по ночам собрания у себя или у Буассони... Приносят газеты... Кто умеет, переводит их остальным. Потом все спорят, раздражаются... Из-за чего? Что можно сделать?.. Один только Ричардли еще работает. Он верит. Он говорит, что Интернационал не может умереть, что он воскреснет еще более сильным! Он говорит, что сейчас должна заговорить Италия. Он хочет добиться объединения швейцарских социалистов с итальянскими, чтобы начать восстанавливать честь... Потому что в Италии, — продолжал Сафрио,

<sup>1</sup> Город на северо-западе Италии, недалеко от швейцарской границы.

<sup>2</sup> На Париж! (нем.).

гордо приподняв голову, — в Италии, знаешь ли, весь пролетариат остался верен! Италия — это истинная родина революции! Все лидеры групп — и Малатеста, и Борги, и Муссолини, — все они борются энергичнее, чем когда бы то ни было! Не только для того, чтобы воспрепятствовать правительству в свою очередь вступить в эту войну, — нет, чтобы как можно скорее добиться мира путем объединения со всеми социалистами Европы: с социалистами Германии, с социалистами России!

«Да, — подумал про себя Жак. — Они не догадались, что существуют более быстрые способы добиться мира!..»

— Во Франции вы тоже могли бы найти кое-какие островки, которые еще держатся, — проговорил он равнодушным тоном, словно эти вопросы уже не затрагивали его. — Вам бы следовало, например, сохранить связь с Федерацией металлистов. Там есть люди. Ты слышал о Мергейме?..<sup>1</sup> Есть еще Монат и группа из «Vie ouvrière». Эти не струсили... Есть еще и другие: Мартов...<sup>2</sup> Мурлан с сотрудниками редакции «Etandard».

— В Германии — Либкнехт... Ричардли уже наладил с ним связь.

— В Вене тоже... Госмер... Через Митхерга вы могли бы...

— Через Митхерга? — перебил его итальянец. Он встал. Губы его дрожали. — Через Митхерга? Так ты не знаешь?.. Он уехал! — Уехал?

— В АвстроиЮ!

— Митхерг?

Сафрио опустил глаза. На его прекрасном римском лице было написано обнаженное, физическое страдание.

— В тот день, когда Митхерг вернулся из Брюсселя, он сказал: «Я еду туда». Мы все сказали ему: «Послушай, ты сошел с ума! Ты и без того уже осужден, как дезертир!» Но он сказал: «Вот именно. Но дезертир еще не значит — трус. Когда объявлена война, дезертир возвращается к себе. Я должен ехать!» Тогда я спросил: «Для чего, Митхерг? Не для того же, чтобы стать солдатом?» Я не понимал... И он сказал: «Нет, не для того, чтобы стать солдатом. Чтобы показать пример. Чтобы они расстреляли меня на глазах у всех!..» И вот в тот же вечер он уехал...

Конец фразы заглушили рыдания.

— Митхерг! — пробормотал Жак с остановившимся взглядом. После долгой паузы он повернулся к итальянцу: — А теперь, прошу тебя, пойди и скажи ему, что я здесь.

<sup>1</sup> Мергейм, Альфонс (1881—1925) — деятель французского профдвижения, один из руководителей В.К.Т., с 1905 по 1923 г. член секретариата Федерации металлистов, во время первой империалистической войны — интернационалист-пацифист.

<sup>2</sup> Мартов Л. (Ю. О. Цедербаум) (1873—1923) — лидер русских меньшевиков, занимавший во время первой империалистической войны центристскую позицию.

Оставшись один, он вполголоса повторил: «Митхерг!» Митхерг кое-что сделал; Митхерг сделал все, что мог... Все, что мог, чтобы доказать самому себе, что он остался верен своим убеждениям!.. И он выбрал поступок, могущий служить примером, решившись пожертвовать ради этого жизнью...

Спустившись вниз, Сафрио был поражен, подметив на лице Жака как бы отблеск не успевшей исчезнуть улыбки.

— Тебе повезло, Тибо! Он согласился... Поднимись наверх!

Жак пошел вслед за итальянцем по винтовой лесенке, которая вела из аптекарского магазина. Взобравшись на последний этаж, Сафрио посторонился и указал Жаку на маленькую каморку в глубине, отделенную от чердака дощатой перегородкой.

— Он здесь... Иди один, так лучше.

Мейнестрель повернул голову к отворявшийся двери. Он лежал на кровати, лицо его лоснилось; черные волосы слиплись от пота, и череп казался от этого меньше, лоб выпуклее. В свесившейся руке он держал газету. Над ним сквозь открытое слуховое окно виднелся квадрат раскаленного неба. Было невыносимо жарко. Развернутые газеты валялись на плиточном полу, усеянном недокуренными папиросами.

Мейнестрель не ответил на улыбку порывисто бросившегося к нему Жака, и тот внезапно остановился, не дойдя до кровати. Однако быстрым движением, не свойственным ревматику («это только pretesto», — подумал Жак), Пилот встал. На нем был выцветший синий полотняный комбинезон летчика, надетый на голое тело; расстегнутый ворот обнажал волосатую похудевшую грудь. У него был неряшливый, почти грязный вид: отросшие волосы закручивались кверху, образуя на затылке перистый завиток, похожий на утиную гузку.

— Зачем ты приехал?

— А что я мог делать там?

Мейнестрель прислонился к комоду; скрестив руки, он смотрел на Жака, время от времени подергивая бороду. Его левый глаз то и дело подмигивал от недавно появившегося тика.

Совершенно сбитый с толку этим приемом, Жак неуверенно продолжал:

— Вы не можете себе представить, Пилот, что там делается... Все собрания запрещены — митингов больше нет... Цензура! Ни одной газеты, которая захотела бы, которая смогла бы напечатать оппозиционную статью... Я сам видел, как на террасе одного кафе изувечили человека за то, что он недостаточно быстро снял шляпу при виде знамени... Что делать? Распространять листовки в казармах? Чтобы очутиться за решеткой в первый же день? Что же, что? Террористические акты? Вы знаете, это не в моем духе... Да и стоит ли взрывать склад снарядов или поезд с боеп

выми припасами, когда существуют сотни складов и тысячи поездов?.. Нет, сейчас там нечего делать! Нечего!

Мейнестрель пожал плечами. Безжизненная улыбка показалась на его губах.

— Здесь тоже!

— Это еще вопрос, — возразил Жак, отводя глаза.

Мейнестрель как будто не рассыпал. Он повернулся к комоду, опустил руку в таз и смочил себе лоб. Потом, увидев, что Жак, не находя свободного стула, продолжает стоять, снял со скамееки кучу бумаг. Его затуманенный, блуждавший по сторонам взгляд был взглядом маньяка. Он снова подошел к кровати, сел, опустив руки, на край матраца и вздохнул.

И вдруг сказал:

— Мне недостает ее, знаешь...

Отчетливая, почти равнодушная интонация не выражала ничего, она только констатировала факт.

— Они не должны были так поступать, — прошептал Жак после минутного колебания.

И на этот раз Мейнестрель как будто не рассыпал. Но он встал, отшвырнул ногой газету, дошел до двери и в течение нескольких минут, волоча ногу словно раненое насекомое, шагал по комнате; смесь возбуждения и безразличия чувствовалась в его походке.

«Неужели он так изменился?» — думал Жак. Он еще не верил. Ему тем удобнее было наблюдать за Мейнестрелем, что тот, казалось, забыл о его присутствии. Похудевшее лицо утратило свойственное ему выражение сосредоточенной силы, постоянно бодрствующей и ясной мысли. Глаза были по-прежнему живые, но без блеска, и взгляд их странно смягчился — до такой степени, что временам в них отражались спокойствие, безмятежность. «Нет, — сказал же сказал себе Жак, — не спокойствие — усталость... То отрицательное спокойствие, которое приносит с собой усталость».

— Не должны были? — повторил, наконец, Мейнестрель неопределенно-вопросительным тоном. Не переставая ходить по комнате, он слегка пожал плечами и вдруг остановился перед Жаком: — Если сейчас, после всего этого, я утратил некоторые представления, то в числе их прежде всего — представление об ответственности!

«Всего этого...» Жаку показалось, что Мейнестрель имел в виду не только то, что случилось с ним, не только Альфреду, Патерсона, но и Европу с ее правителями, с ее дипломатами, с руководителями партии, а может быть, и самого себя, свой покинутый пост.

Пилот еще раз прошелся от стены к стене, снова подошел к кровати, лег на нее и пробормотал:

— В сущности говоря, кто отвечает? За свои поступки, за самого себя? Знаешь ли ты кого-нибудь, кто отвечал бы? Я никогда еще не встречал такого человека.

Последовало долгое молчание — тяжелое, гнетущее молчание, словно составлявшее одно целое с духотой, с беспощадным светом.

Мейнестрель лежал неподвижно, с закрытыми глазами. Лежа, он казался очень длинным. Его рука с пожелтевшими от табака ногтями, с согнутыми пальцами, которые, казалось, держали невидимый меч, покоялась на краю матраца ладонью вверху. Из-под короткого рукава виднелось запястье. Жак пристально рассматривал эту руку, похожую на птичью лапу, это запястье, которое никогда не казалось ему таким хрупким, таким женственным. «Девчонка искалечила его...» Нет, Сафрио не преувеличивал!.. Но констатировать факт — это еще не значит объяснить его. Жак лишний раз сталкивался с тем загадочным, что скрывалось в Пилоте. Отказаться от борьбы в такой момент, когда все позволяло надеяться, что его час уже близок? Человеку такого закала...

«Такого закала?» — спросил себя Жак.

Вдруг, не пошевельнувшись, Мейнестрель отчетливо выговорил:

— Вот Митхерг — тот пошел навстречу смерти.

Жак вздрогнул.

«Каждый делает это по-своему», — подумал он.

Прошло несколько секунд. Он прошептал:

— Это, должно быть, не так уж трудно, когда можно сделать из своей смерти акт... Сознательный акт. Последний. Полезный акт.

Рука Мейнестреля чуть дрогнула; его костлявое лицо с опущенными глазами казалось окаменевшим.

Жак выпрямился. Нетерпеливым жестом он откинул прядь волос, падавшую ему на лоб.

— Вот чего хочу я, — сказал он.

В его голосе зазвучали вдруг такие ноты, что Мейнестрель открыл глаза и повернул голову. Взгляд Жака был устремлен на окно; его мужественное, ярко освещенное лицо выражало твердую решимость.

— В тылу борьба невозможна! По крайней мере в настоящий момент. Против правительства, против осадного положения и цензуры, против прессы, против шовинистического бреда мы безоружны, совершенно безоружны!.. Но на фронте — другое дело! На человека, которого гонят под пули, на такого человека можно воздействовать! Вот до него-то и надо добраться! — Мейнестрель сделал движение, которое, как показалось Жаку, выражало сомнение, но в действительности было просто нервным тиком. — Дайте мне сказать!.. О, я знаю. Сегодня цветы на винтовках, «Марсельеза», «Wacht am Rhein»... Да. Но завтра?.. Завтра этот самый солдат, который с песнями отправился на фронт, станет всего только жалким человеком с натертymi до крови ступнями, выбившимся из сил, напуганным первой атакой, первым обстрелом, первыми ранеными, первыми убитыми... Вот с ним-то и можно говорить! Ему надо

крикнуть: «Глупец! Тебя опять эксплуатируют! Эксплуатируют твой патриотизм, твое великодушие, твое мужество! Тебя обманули все! Даже те, кому ты верил, даже те, кого ты избрал своими защитниками. Но теперь ты должен, наконец, понять, чего от тебя хотят! Восстань! Откажись отдавать им свою шкуру. Откажись убивать! Протяни руку своим братьям, стоящим напротив, тем, кого обманывают, кого эксплуатируют так же, как и тебя! Бросьте ваши винтовки! Восстаньте! — Волнение душило Жака. Он немного передохнул и продолжал: — Все дело в том, чтобы суметь добраться до этого человека!.. Вы спросите у меня: «Как?»

Мейнестрель приподнялся на локте. Он внимательно смотрел на Жака, и легкой иронии, сквозившей в его взгляде, не удавалось замаскировать это внимание. Казалось, он действительно спрашивал: «Да, как?»

— На аэроплане! — крикнул Жак, не ожидая вопроса. И продолжал медленнее, тише: — До него можно добраться на аэроплане! Надо подняться над передовыми позициями. Надо пролететь над французскими и германскими войсками... Надо сбросить им тысячи и тысячи воззваний... воззваний, написанных на двух языках!.. Французское и германское командование могут воспрепятствовать ввозу листовок в расположение войск. Но они беспомощны, — совершенно беспомощны против тучи тончайших бумажек, которые падают с неба на протяжении многих километров фронта и разлетаются по деревням, по бивуакам — повсюду, где сконцентрированы солдаты!.. Эта туча проникнет всюду! Эти бумажки будут прочитаны во Франции, в Германии!.. Они будут поняты!.. Они будут переходить из рук в руки и дойдут до запасных частей, до гражданского населения!.. Они напомнят каждому рабочему, каждому крестьянину, французскому и германскому, что он собой представляет, каков его долг перед самим собой! И что представляет собой мобилизованный по ту сторону границы! Они напомнят им, какое это бессмысленное и чудовищное преступление — заставлять их истреблять друг друга!

Мейнестрель открыл рот, собираясь заговорить. Но промолчал и снова улегся, устремив глаза в потолок.

— Ах, Пилот, вообразите действие этих листовок! Какой призыв к восстанию... Действие? Да, оно может быть сокрушительным! Пусть только хоть в одной точке фронта произойдет братание двух враждебных армий, и зараза моментально распространится дальше, словно огонь по запальному шнурку! Отказ повиноваться... Деморализация военного начальства... В день моего полета и французское и германское командование будут моментально парализованы... На том участке фронта, над которым я пролечу, всякие военные действия станут невозможны... А какой пример! Какая сила пропаганды! Этот волшебный аэроплан... Этот вестник мира... Победа, которой не сумел добиться Интернационал до мобилизации, еще возможна сейчас, сегодня! Нам не удалось объ-

единение пролетариата, не удалась всеобщая забастовка, но нам может удастся братание бойцов!

На губах Пилота промелькнула кривая усмешка. Жак сделал шаг по направлению к кровати. Он улыбался, он тоже улыбался со спокойствием непоколебимой уверенности. Не теряя этого спокойствия, не возвышая голоса, он продолжал:

— Во всем этом нет решительно ничего неосуществимого. Но мне нужна помощь. Мне нужны вы, Пилот. Только вы, благодаря вашим старым связям, можете достать аэроплан. И вы можете за несколько дней научить меня управлять машиной настолько, чтобы я смог пролететь несколько часов в определенном направлении. Поля сражений находятся в пределах досягаемости аэроплана. С севера Швейцарии ничего не стоит добраться до Французских и германских войск, сосредоточенных в Эльзасе... Нет, нет, я взвесил все. И трудности и опасности... Трудности, если вы захотите, если вы поможете мне, могут быть преодолены. Что касается опасности, — потому что тут может быть только одна опасность, — то это мое дело! — Он вдруг покраснел и умолк.

Мейнестрель взглянул на Жака и убедился, что тот высказал все, что хотел. Затем он медленно поднялся и сел на край кровати. Он больше не смотрел на Жака. Несколько секунд он сидел, наклонившись, свесив ноги, тихо потирая ладонями колени. Потом, не меняя позы, сказал:

— Итак, ты, французский дезертир, считаешь возможным учиться летать здесь, в Швейцарии, не вызывая подозрений? И ты думаешь, что за несколько дней научишься самостоятельно отрываться от земли, и читать карту, и определять местонахождение аэроплана, и часами держаться в воздухе? — Он говорил ровным, немного насмешливым голосом, лицо его было непроницаемо. Он поднял руку и, держа ее на уровне подбородка, с минуту рассеянно рассматривал один за другим свои грязные ногти.

— А теперь, — сказал он почти сухо, — будь так добр и уходи...

Жак в замешательстве продолжал стоять посреди мансарды. Прежде чем повиноваться, он пытался встретить взгляд Пилота, спрашивая себя, правильно ли он понял, действительно ли ему надо уйти — уйти без единого слова одобрения, без совета, без ободряющей улыбки.

— До свиданья, — раздельно выговорил Мейнестрель, не поднимая глаз.

— До свиданья, — пробормотал Жак, направляясь к двери.

Но, собираясь переступить порог, он вдруг взбунтовался и резко обернулся. Глаза Пилота были устремлены на него; они горели сейчас былым огнем; взгляд был пристальный, словно удивленный, но по-прежнему загадочный.

— Приходи ко мне завтра, — сказал тогда Мейнестрель очень быстро. (Голос тоже обрел свой прежний тембр, свою твердость, свою звучность.) — Завтра около полудня. В одиннадцать...

И скройся. Понимаешь? Не показывайся. Никому! Пусть никто здесь не знает, что ты приехал. — Его лицо вдруг осветилось самой неожиданной, самой нежной улыбкой. — До завтра, малыш.

«Да, — сказал он себе, как только закрылась дверь за Жаком. — В конце концов, почему бы и нет?..»

Не то чтобы он верил в возможность успеха этого сумасбродного проекта. Братание неприятельских армий! Может быть, позже, после долгих месяцев страданий, резни!.. Но хорошо все, что может деморализовать, бросить семена возмущения...

«И я прекрасно понимаю этого мальчика: он тоже хочет получить свою долю, умереть героем...»

Он встал, запер дверь на задвижку и сделал несколько шагов по комнате.

«Подходящий случай... — подумал он, снова ложась на кровать. — Быть может, возможность, которая представляется, чтобы... Выход!..»

## LXXIX

Жак прислоняется головой к деревянной перегородке. Грохот поезда проникает в его тело, разливается в нем, возбуждает. В этом купе третьего класса он один. Несмотря на открытые окна — температура раскаленной печи. Весь мокрый от пота, он выбрал скамейку на теневой стороне. Теперь уже не шум поезда отдается в его ушах, а гудение мотора... Высоко в небе — аэроплан... Сотни, тысячи белых листочек разлетаются в пространстве...

Струя воздуха, овевающая его лоб, горяча, но колыхание шторы создает иллюзию прохлады. Напротив него подскакивает при каждом толчке его саквойж: желтый парусиновый саквойж, выцветший, туго набитый, словно котомка пилигрима, — старый товарищ, который не изменил и в последнем путешествии... Жак наспех засунул в него кое-какие бумаги, немного белья, что попало, без разбора, с полнейшим равнодушием. Он и так едва успел на экспресс. Подчиняясь инструкциям Мейнестреля, он выехал из Женевы, собравшись в один час, никому не оставив адреса, ни с кем не повидавшись. Он ничего не ел с самого утра, не успел даже купить папирос на вокзале. Ничего. Зато он уехал. И на этот раз это действительно отъезд: одинокий, безымянный, — без возврата. Не будь этой жары, этих раздражающих мух, этого грохота, бьющего по чепру, словно молот по наковальне, он чувствовал бы себя спокойным. Спокойным и сильным. Тревога, отчаяние, пережитые за последние дни, остались позади.

Он на секунду закрывает глаза. Но тут же открывает их снова. Чтобы вновь пережить свою мечту, ему незачем углубляться в себя...

Он проносится над самыми гребнями холмов, спускается к си-  
ним долинам, пролетает над лугами, лесами, над городами... Он  
сидит в кабине позади Мейнестреля. У его ног — груда возвзва-  
ний. Мейнестрель подает знак. Аэроплан приблизился к земле.  
Внизу — синие шинели, красные штаны, мундиры feldgrau.<sup>1</sup> Жак  
нагибается, хватает охапку листовок, бросает ее. Мотор гудит.  
Аэроплан летит в лучах солнца. Жак нагибается, выпрямляется,  
безостановочно сбрасывает тучу белых бабочек. Мейнестрель  
смотрит на него через плечо. Он смеется!

Мейнестрель... Мейнестрель — это стержень, вокруг которого  
вращается мысль Жака о его миссии.

Жак только что от него. Как не похож был сегодняшний Мей-  
нестрель на вчерашнего! Прежний вождь! Разогнувшаяся спина,  
точные, быстрые движения. Аккуратно одет, обут: он только что  
выходил куда-то. И в первую же минуту эта торжествующая  
улыбка! «Дело идет на лад! Нам повезло. Все обойдется легче, чем  
я предполагал. Мы сможем вылететь через три дня». Мы? Жак,  
еще не решаясь понять, пробормотал несколько невнятных слов:  
«...есть люди, чья жизнь слишком драгоценна... они являются ду-  
шой организации... рисковать ими было бы преступно...» Но Пи-  
лот взглядом оборвал его; движение плеч, сопровождавшее этот  
жесткий взгляд и смягчившее его, казалось, говорило: «Я никуда  
больше не гожусь и никому не нужен...» Затем он выпрямился и  
быстро заговорил: «Без фраз, мой милый... Ты должен немед-  
ленно ехать в Базель. По многим причинам. Поднявшись над гра-  
ницией, наш аэроплан сейчас же окажется в Эльзасе. Каждому  
своя задача: я готовлю птицу, ты — листовки. Прежде всего надо  
составить текст. Трудно — но, очевидно, ты уже думал над этим.  
Затем отпечатать его. Для этого — Платнер. Ты незнаком с ним?  
Вот записка. Он владелец книжного магазина на Грейфенгассе.  
У него есть типография, надежные люди. Там все говорят по-нем-  
ецки не хуже, чем по-французски. Они переведут твое возвзвание.  
За несколько ночей они отпечатают тебе миллион экземпляров на  
двух языках. На всякий случай пусть все будет готово к субботе.  
Полных три дня. Успеть можно... Не пиши писем. Ни мне и никому  
другому: за корреспонденцией следят. Если что-нибудь случится,  
я дам тебе знать через кого-либо из знакомых. Адрес здесь, в  
этом конверте. Вместе с другими точными инструкциями. И не-  
сколько карт... Нет, оставь! Ты рассмотришь это в дороге... Итак,  
встретимся на границе. Пункт, день и час будут назначены мной....  
Согласен?» Только теперь его лицо смягчилось, и голос слегка  
дрогнул: «Так вот, есть подходящий поезд на Базель в полу-  
вине первого». Он подошел ближе и положил обе руки на плечи  
Жака: «Благодарю... Ты оказываешь мне большую услугу...» Его  
взгляд затуманился. Секунду Жаку казалось, что сейчас Мейне-

<sup>1</sup> Защитного цвета (нем.).

стрель обнимет его. Но Пилот, напротив, резким движением отдернул руки. «Я неизбежно кончил бы идиотским поступком. А этот может, по крайней мере, оказаться полезным». И, прихрамывая, он подтолкнул Жака к двери: «Ты опоздаешь на поезд. До скорого свиданья!»

Жак встает и подходит к окну, чтобы немного подышать воздухом. Он выглядывает наружу: знакомый пейзаж озера и Альп, освещенный августовским солнцем, в последний раз сияет перед его глазами, но он не видит его.

Женни... Еще вчера, сидя на скамье другого поезда, увозившего его из Парижа, он невыносимо страдал, у него перехватывало дыхание, как только воспоминание о Женни овладевало им. Еще раз взять в руки эту головку, заглянуть в эти голубые глаза, погрузить пальцы в эти волосы, увидеть совсем близко от себя этот затуманенный взгляд и полураскрытые губы! Еще раз, один только раз почувствовать рядом с собой это юное тело, такое гибкое, такое горячее!.. В такие минуты он вскакивал с места, выбегал в коридор, стискивал руками оконную раму и, закрыв глаза, стоял там, трепеща, извиваясь от боли, подставляя лицо укусам ветра, дыма, осколков угля... Сейчас он может думать о ней, не испытывая таких страданий. Она поконится в его воспоминании, как страстью любимая усопшая. Непоправимое несет в себе умиротворение. С тех пор как цель так близка, все его вчерашнее существование, Париж, потрясения последней недели — все ушло вдруг так далеко! Он думает о своей любви как о детстве, как о далеком прошлом, которое уже ничто не может в окресить. А от будущего ему остается только грозовое завтра...

Он опускает поднятую машинально штору. Сует руки в карманы и сейчас же вынимает их — они влажны. Эта жара доводит его до исступления — эта пыль, этот шум, эти мухи! Он снова садится, срывает с себя воротничок и, забиввшись в угол, высунув руку из окна, сilitся думать.

Осталось сделать главное: написать это воззвание, от которого зависят все. Оно должно быть как вспышка молнии среди ночи, молнии, которая ударит в сердца людей, готовых убивать друг друга, пронзит их с очевидностью истины, заставит всех подняться в едином порыве!

Бессвязные слова уже сталкиваются в его голове. Намечаются даже фразы, звучные фразы митинговых выступлений.

«Неприятельские армии... Почему неприятельские? Французы, немцы... Случайность рождения. Люди одни и те же! В большинстве — рабочие, крестьяне. Труженики! Да, труженики! Почему же враги? Разные национальности? Но ведь интересы одинаковы! Все соединяет их! Все делает из них естественных союзников!..»

Он вынимает из кармана записную книжку, огрызок карандаша. «Не записать ли на всякий случай то, что приходит мне в голову?»

«Французы, немцы! Братья! Вы равны! И равно принесены в жертву! Вы жертвы навязанной вам лжи! Среди вас нет ни одного, кто добровольно оставил бы жену, детей, дом, завод, магазин, поле, чтобы служить мишенью для других тружеников, подобных вам! Тот же страх смерти. То же отвращение к убийству. То же убеждение, что всякая жизнь священна. То же сознание, что война нелепа. То же стремление избавиться от этого кошмара и как можно скорее обрести вновь жену, детей, труд, свободу, мир! И тем не менее вы стоите сегодня лицом к лицу, с заряженными винтовками, готовые по первому сигналу бессмысленно убивать друг друга, хотя вы не знаете друг друга, хотя у вас нет ни малейшего повода к ненависти, хотя вы даже не знаете, почему вас делают убийцами!»

Поезд замедляет ход и останавливается.

«Лозанна!»

Тысяча воспоминаний... Его комната с полом из светлой ели в пансионе Каммерцинна... София...

Боясь, что его узнают, он не поддается искущению выйти из вагона. Он слегка отодвигает занавеску. Вокзал, платформы, газетный киоск... На третьей платформе, вон там, он прогуливался с Антуаном в один зимний вечер, перед тем как уехать в Париж к умирающему отцу... Ему кажется, что эта поездка с братом была десять лет назад!

Люди ходят взад и вперед по коридору с чемоданами, с детьми. Проходят два жандарма, осматривая поезд. Пожилая супружеская пара входит в его купе и располагается в нем. Муж, старый рабочий с огрубевшими от работы руками, нарядившийся ради поездки по-праздничному, снимает куртку, галстук, вытирает лоб и закуривает сигару. Жена берет куртку, аккуратно складывает ее и кладет к себе на колени.

Жак, забившись в свой угол, снова берется за записную книжку. Он лихорадочно набрасывает:

«Меньше чем в две недели — массовое, неистовое безумие. Вся Европа! Пресса, ложные известия. Все народы опьянены одинаковой ложью! То, что вчера еще казалось невозможным, ненавистным, стало неизбежным, необходимым, законным!.. Повсюду те же толпы, искусственно взвинченные, разъяренные, готовые ринуться друг на друга, не зная за что! Умирать и убивать стало синонимом героизма, высшего благородства!.. Для чего все это? Для кого? Где люди, несущие ответственность?»

Ответственность... Он вынимает из бумажника сложенный листок. Это фраза, которую Ванхеде выписал для него из книги

о Вильгельме II, фраза из речи, произнесенной кайзером: «Я убежден, что большая часть столкновений между нациями является результатом ухищрений и честолюбивых устремлений некоторых министров, пользующихся этими преступными средствами с единственной целью сохранить власть и увеличить свою популярность».

«Надо бы найти немецкий текст, — думает Жак, — чтобы иметь возможность сказать им: «Видите! Даже ваш кайзер...» Найти текст. Где? Как?.. Через Ванхеде? Писать нельзя. Мейнестрель запретил... Найти текст!.. В Базельской библиотеке? Но название книги? И где взять время для поисков?.. Нет... А все-таки!.. Найти текст!..» Кровь приливает к его лицу, вызывает головокружение. «Ответственность... Кто несет ответственность...» Он мечется, меняет позу. Старуха с удивлением следит за ним взглядом. Она сидит напротив на слишком высокой для нее скамье; на ней черные башмаки и белые чулки; ее короткие ноги болтаются от толчков. «Ответственность... Найти текст!..» Если старуха не перестанет смотреть на него, он... Она вынимает из ручной корзинки ломоть хлеба и горсть вишен; она медленно жует, а косточки выплевывает в руку, на которой блестит обручальное кольцо. По лбу у нее разгуливает муха, но она, видимо, не чувствует этого, словно покойник... Невыносимо!

Он встает.

Как найти этот текст?.. В Базеле? Нет, нет, напрасный труд... Слишком поздно... Он знает, что не найдет его!

Жаждя прохлады гонит его в коридор; он обеими руками хватается за окно. Темные тучи шапкой покрывают сейчас горную цепь Альп. «Будет гроза. Вот почему так душно...»

Озеро кажется сверху густым, как ртуть; у него такой же мертвенный блеск. Опрысканные купоросом виноградники, спускающиеся к берегу, — какого-то ядовитого синего цвета.

«Ответственность... Когда ищут поджигателя, прежде всего спрашивают себя, кому выгоден пожар». Он отирает лоб, снова берет карандаш и, стоя, прислонясь к оконному наличнику, стараясь быть равнодушным ко всему — к старухе, к этой предгрозовой духоте, к мухам, к шуму, к толчкам, к пейзажу, ко всей враждебной вселенной, — лихорадочно записывает:

«Таинственная сила — государство — распорядилась вами, как фермер распоряжается своим скотом!.. Государство! Что такое государство? Разве французское государство, разве германское государство являются подлинными, полномочными представителями народа? Защитниками интересов большинства? Нет! Государство как во Франции, так и в Германии, — это представитель меньшинства, это поверенный по делам объединения спекулянтов, все могущество которых в деньгах и которые являются ныне хозяевами банков, крупных трестов, транспорта, газет, военных заводов, хозяевами всего! Бесконтрольными хозяевами покоящейся на раб-

стве социальной системы, которая служит выгодам немногих в ущерб интересам большинства! Мы видели эту систему в действии в последние несколько недель. Мы видели, как ее сложный механизм раздавил, одну за другой, все попытки сопротивления сторонников мира. И это она бросает вас сегодня с примкнутыми штыками на границу для защиты интересов, которые чужды, которые даже враждебны почти всем вам! Люди, идущие на смерть, имеют право спросить себя, кому выгодна их жертва! Право знать, отдавая свою жизнь, кому, за что они ее отдают!..

Так вот, в первую очередь ответственность за это несет кучка эксплуататоров — крупные финансисты, крупные промышленники, ожесточенно конкурирующие между собой во всех странах и сейчас готовые без колебания заклать стадо, чтобы упрочить свои привилегии, чтобы еще увеличить свое благосостояние! Благосостояние, которое, вместо того чтобы обогатить массы и облегчить их участь, послужит лишь тому, чтобы еще больше поработить тех из вас, кому удастся уцелеть в этой войне!..

Но ответственность падает не только на этих эксплуататоров. В правительстве каждой страны они обеспечили себе поддержку и помощь... Существует еще одна категория государственных деятелей, которая должна нести ответственность, существует горсточка людей, одержимых манией величия, людей, изобличенных даже самим кайзером...»

«Найти текст, — думает он. — Найти текст...»

«...горсточка шарлатанов, министров, посланников, честолюбивых генералов, которые в тиши дипломатических канцелярий и генеральных штабов своими интригами, своими политическими маневрами холодно поставили на карту вашу жизнь, даже не посоветовавшись с вами, даже не предупредив вас, французский и германский народы, явившиеся ставкой в их темной игре... Ибо дело обстоит именно так: в нашей демократизированной Европе XX века нет ни одного народа, который сумел бы сохранить за собой руководство внешней политикой своей страны; и ни один из тех парламентов, которые вы избрали, которые должны были бы являться вашими представителями, ни один из них никогда ничего не знает о тех секретных обязательствах, которые могут в любой день погнать вас — всех вас — на резню!

И, наконец, за этими главными виновниками стоят как во Франции, так и в Германии все те, кто более или менее сознательно сделали войну возможной, либо покровительствуя спекуляциям банков, либо оказывая свою корыстную поддержку честолюбивым устремлениям государственных деятелей. Это — консервативные партии, организации предпринимателей, националистическая пресса! Это также церковь, духовенство, которое фактически почти везде образует своего рода духовную жандармерию,

состоящую на службе у имущих классов; церковь, которая, изменив своему высшему долгу, повсюду сделалась союзницей и заложницей богачей».

Жак останавливается и тщетно пытается прочесть то, что написал. Огрызок карандаша, судорожно зажатый в пальцах, лихорадочное возбуждение, неудобная поза, толчки поезда — все это делает его почерк почти неразборчивым.

«Выкинуть лишнее, — думает он. — Плохо... Много повторений... Слишком длинно... Чтобы убедить, надо написать насыщенно и скжато. Но в то же время, чтобы они могли обдумать, опомниться, надо дать им все основные данные!.. Трудно!»

Он больше не может стоять. Сесть. Быть одному... Он проходит по коридору в поисках пустого купе. Все занято, везде шумно. Волей-неволей он должен вернуться на свое место.

Солнце, близкое к закату, наполняет вагон ослепительным красным золотом. Отупев от жары, мужчина хранил, опершись на локоть, с погасшей сигарой в зубах. Старуха, все еще держа куртку, на сдвинутых коленях, обмахивается газетой; дуновение воздуха шевелит завитки ее седых волос. Она избегает взгляда Жака, но он то и дело ловит на себе ее беглый, тупой и суровый взгляд.

Тогда он скрещивает на груди руки, закрывает глаза, считает до ста, чтобы заставить себя успокоиться. И вдруг, побежденный усталостью, засыпает.

Внезапно он просыпается, пораженный тем, что мог уснуть. Который час? Поезд замедлил ход. Что это за станция? Его соседи по купе уже встали. Мужчина снова надел куртку, разжег свой окурок; женщина запирает корзину висячим замком. Жак в каком-то оцепенении; он пытается узнать вокзал. Берн? Уже?

— Grüetzi,<sup>1</sup> — говорит ему мужчина, проходя мимо.

На платформе много народа. Поезд берут приступом. Купе заполнило словоохотливое семейство, говорящее по-немецки: мать, бабушка, две девочки, няня. Багажные сетки гнутся под множеством корзин с провизией, детских игрушек. У женщин усталые, испуганные лица. Девочки, измученные духотой, ссорятся из-за места в углу. Ясно, что война застигла этих людей во время каникул, и они возвращаются на родину; отец, как видно, в один из первых же дней мобилизации уехал в свой полк.

Поезд трогается.

Жак выбегает в коридор, битком набитый стоящими пассажирами; по большей части это мужчины.

Слева трое молодых швейцарцев громко разговаривают по-французски.

«Вивиани остается премьер-министром, но без портфеля...» —

<sup>1</sup> Сокр. «Gott grüsse Sie» («Да хранит вас бог!» — нем.).

«А кто такой этот Думерг,<sup>1</sup> будущий министр иностранных дел?»

Справа два пассажира — юный студент с портфелем под мышкой и пожилой человек в пенсне, как видно профессор, — просматривают газеты.

— Видали? — насмешливо говорит студент, передавая своему спутнику «Journal de Genève».<sup>2</sup> — Папа выкинул ловкую штуку. Он опубликовал «Призыв к католикам всего мира!»

— Понятно! — отвечает его собеседник. — Что ни говори, а на земле существуют еще миллионы католиков. Папская анафема? Да, может быть, если бы она была категорической, громкой... И если бы она была пущена в ход до того, как это началось...

— Да вы прочтите, — продолжает студент. — Вы, должно быть, думаете, что он торжественно осуждает войну? Что он обвиняет правительства? Что он с треском отлучает от церкви все без различия воюющие государства? Как бы не так! А традиционная осторожность Ватикана? Знаете, что он нашел нужным сказать этим миллионам католиков, которых завтра вооружат и пошлют убивать и которые, конечно, в тревоге ждут его повелений, чтобы успокоить свою совесть? Так вот — он отнюдь не сказал им: «Откажись! Не убий!», — что, может быть, действительно сделало бы войну невозможной... Нет! Он ласково говорит: «Идите на фронт, дети мои!.. Идите, но не забудьте вознести ваши души ко Христу!»

Жак рассеянно слушает. Ему вдруг приходит на память один мобилизованный священник, которого он где-то видел. Где же? На Северном вокзале, когда он провожал Антуана... Молодой, похожий на спортсмена священник с блестящими глазами (тип аббата — сотрудника «светских католических обществ», «вожака молодежи»), с двумя походными сумками поверх рясы, подобранный над новенькими башмаками альпиниста, и в маленькой шапочке сержанта, кокетливо сдвинутой набекренъ... Северный вокзал, Антуан... Антуан, Даниэль, Женни... Все те, кого он невольно вспоминает, и все эти мужчины и женщины, окружающие его, составляют часть мира, к которому он больше не принадлежит: мира живых, для которых существует будущее и которые без него продолжат свой путь...

Слева трое молодых швейцарцев с негодованием обсуждают ultimatum, предъявленный Германией Бельгии.

Жак делает шаг в их сторону и прислушивается:

— Было объявлено: сегодня ночью корпус германской армии перешел бельгийскую границу и движется на Льеж.

Из соседнего купе выходит средних лет мужчина и присоединяется к группе разговаривающих. Он бельгиец. Он спешно возвращается в Намюр, чтобы записаться добровольцем.

<sup>1</sup> Думерг, Гастон (1863—1937) — французский реакционный политический деятель, в кабинете Вивиани — министр колоний.

<sup>2</sup> «Женевская газета» (франц.).

— Я социалист, — заявляет он сейчас же, — но именно поэтому я и не могу допустить, чтобы Сила раздавила Право!

Он очень красноречив. Повышает тон. Клеймит презрением тевтонское варварство; превозносит западную культуру.

Подходят другие пассажиры. Все в равной степени возмущаются цинизмом германского правительства.

— Сегодня утром собралась бельгийская палата депутатов, — говорит человек лет пятидесяти; в его французском языке чувствуется сильный немецкий акцент. — Как вы думаете, будут социалисты голосовать за кредиты на национальную оборону?

— Все, как один! — восклицает бельгиец, сокрушая своего беседника пламенным, вызывающим взглядом.

Жак молчит. Он знает, что бельгиец говорит правду. Но он с яростью вспоминает выступления бельгийских социалистов в Брюсселе, их проповедь безоговорочного пацифизма... Вандервельде... В прошлый четверг... Не прошло и шести дней!..

— В Париже тоже сегодня собирается палата, — говорит один из швейцарцев, — стоит вопрос о военных кредитах.

— То же самое будет и в Париже! — пылко заявляет бельгиец. — Социалисты во всех союзных странах будут голосовать за кредиты — это не подлежит сомнению! За нас Справедливость! Эта война навязана нам. Каждый истинный социалист должен быть в первых рядах борьбы против прусского империализма! — Говоря это, он не перестает демонстративно смотреть на человека с германским выговором; тот молчит.

На помощь «отечеству в опасности»! Долой германский империализм! Таков был общий припев. Во всех левых французских газетах, которые Жак прочел вчера, был единый лозунг: социалисты повсюду отказывались от сопротивления. Вчера кое-где в предметах были еще объявлены собрания секций, но они созывались только для «обсуждения способов помощи семьям мобилизованных!» Война стала совершившимся фактом; фактом, принятым без сопротивления. Особенно показателен был номер «Guerre sociale». Гюстав Эрве имел наглость написать в передовой: «Жорес, вы счастливы, что не присутствуете при крушении нашей прекрасной мечты... Но мне жаль вас, ибо вы ушли, не увидев, как наша пылкая, восторженная, полная идеализма нация приняла необходимость идти исполнять свой горестный долг! Вы бы были бы горды нашими рабочими-социалистами!..» И еще более показательным было «Воззвание к железнодорожникам», опубликованное тем самым профсоюзом железнодорожников, который еще так недавно и с таким жаром утверждал свой антинационализм: «Перед лицом всеобщей опасности стираются старые разногласия! Социалисты, синдикалисты и революционеры, вы опрокинете низкие расчеты Вильгельма и первыми ответите на призыв, когда прозвучит голос Республики!» «Какая насмешка!.. — думал Жак. — Вот и осуществилось в каждой стране то самое единодушие народных партий, которое казалось невозможным! И осуществилось именно благодаря войне!

Тогда как, будь оно направлено против нее... Какая насмешка! Приверженцы Интернационала, единодушно принимающие сегодня войну во имя нации! Тогда как две недели назад они могли бы воспрепятствовать ей, стоило им проявить единодушие в вопросе о превентивной забастовке! Единственный и последний отголосок независимости Жак нашел в одной английской газете — в «Daily News»:<sup>1</sup> это была статья, которая звучала так, как звучали воззвания, написанные до предъявления Бельгии ультиматума. В ней разоблачалось зарождение в английском общественном мнении первых агрессивных течений и провозглашалась необходимость для Англии защитить себя от заразы, сохранить свою свободу, свой нейтралитет арбитра и не вмешиваться ни в коем случае, даже если бы одна из враждующих армий рискнула нарушить бельгийскую границу. Да... Но уже сегодня правительство Англии заявило, что оно тоже великодушно соглашается принять участие в пляске смерти!

Звучный голос бельгийского социалиста раздается в коридоре:

— Сам Жорес первый подал бы пример! Да, да, Жорес. Он сам побежал бы записываться добровольцем!

«Жорес... — думает Жак. — Помешал ли бы он отступничеству? Удержанлся ли бы до конца?» Он вдруг снова видит себя вместе с Женни перед кафе на улице Монмартр... безмолвную толпу, собравшуюся в темноте... санитарную карету... «По-настоящему, они хоронят его только сегодня, — думает он. — Цветы, речи, трехцветные знамена, военные оркестры! Они завладели трупом великого человека и спекулируют его именем во славу отечества... Да, если уж гроб Жореса движется по мобилизованному Парижу, не вызывая бунта, значит все кончено, значит рабочий Интернационал действительно умер и его хоронят вместе с Жоресом...»

Да, сейчас все кончено там, в загипнотизированных городах; да, в тылу лопнули сейчас все пружины. Но несчастные, уже соприкоснувшиеся с войной на линии огня, ждут лишь призыва, чтобы стряхнуть дьявольские чары, — он в этом уверен. Одна искра — и освободительный мятеж, наконец, разразится!..

Бессвязные фразы снова начинают возникать в голове Жака: «Вы молоды, полны сил... Вас посыпают на смерть... У вас насилино отнимают вашу жизнь! Для чего? Чтобы превратить ее в новый капитал в сундуках банкиров!..» Он ощупывает в кармане записную книжку. Но как писать в этой суете, в этом шуме? Впрочем, меньше чем через двадцать минут он будет в Базеле. Надо будет разыскать Платнера, постараться найти комнату, убежище, где бы можно было работать...

Вдруг он принимает другое решение. Хорошо, что он послал. Он чувствует себя бодрым, энергичным. Платнер может подождать. Было бы глупо дать остыть охватившему его возбуждению. Еместо того чтобы бегать по городу, он укроется где-нибудь

<sup>1</sup> «Ежедневные новости» (англ.).

в уголке, в зале ожидания, и эти фразы, которые кипят и теснятся в его мозгу, лягут на бумагу, еще совсем горячие... В зале ожидания или же в буфете — потому что он умирает от голода.

## LXXX

Нежданное убежище! Буфет Dritterklasse<sup>1</sup> так просторен, что посетители, хотя и многочисленные, занимают лишь центр зала; в глубине совершенно пусто.

Жак выбрал у стены большой стол посреди других свободных больших столов.

Он снял пиджак, расстегнул ворот рубашки. Жадно проглотил порцию телятины, щедро политую жиром и поджаренную ломтиками на сковородке, с гарниром из моркови. Выпил целый графин воды со льдом.

Под потолком жужжат вентиляторы. Служанка поставила перед Жаком, рядом с чашкой ароматного кофе, принадлежности для письма.

У стойки прохаживается официант с подносом: «Zigarren! Zigaretten!»<sup>2</sup> Да, да, Zigaretten!.. После двенадцатичасового воздержания первая затяжка восхитительна! Пьянящее блаженство, новый поток жизненной энергии пробегают по его жилам, вызывают дрожь в руках. Нагнувшись над столом, нахмурив брови, глядя прищуренными глазами сквозь табачный дым, он не ждет, не старается привести в порядок мысли, теснящиеся в мозгу. Выборку можно будет сделать потом, на свежую голову...

Его перо уже бегает по бумаге в жадном нетерпении:

«Французы и немцы, вы жертвы обмана!

В обоих лагерях вам изобразили эту войну не только как войну оборонительную, но как борьбу за Право народов, за Справедливость, за Свободу. Почему? Потому что прекрасно знали, что ни один рабочий и крестьянин Германии, ни один рабочий и крестьянин Франции не отдал бы свою кровь за войну наступательную, за завоевание территорий и рынков!

Всех вас уверили, что вы идете драться, чтобы раздавить военный империализм соседа. Как будто милитаризм всех стран не стоит один другого! Как будто воинственный национализм не имел за эти последние годы столько же сторонников во Франции, сколько и в Германии! Как будто уже долгие годы империализм обоих ваших правительств не подготовлял втайне возможности войны!.. Вы жертвы обмана! Всех вас уверили, что вы идете защищать свою родину от преступного вторжения зачинщиков

<sup>1</sup> Третьего класса (нем.).

<sup>2</sup> Сигары! Папиросы! (нем.).

войны, в то время как каждый из ваших генеральных штабов, — французский так же, как и германский, — уже долгие годы с одинаковым бесстыдством изучал способы, как бы первому начать сокрушительное наступление, в то время как в обеих ваших армиях ваши начальники пытались обеспечить себе преимущества той самой «агрессии», которую сейчас они пытаются приписать противнику, чтобы оправдать в ваших глазах подготовленную ими войну!

Вы — жертвы обмана! Лучшие из вас искренне верят, что жертвуют собой ради Права Народов. Но ведь с Народами и с Правом считались лишь в официальных речах! Но ведь ни одна из ввергнутых в войну наций не была опрошена путем плебисцита! Но ведь всех вас послали на смерть в силу секретных, давних, произвольных соглашений, содержание которых вам неизвестно и которые никогда не подписал бы ни один из вас! Все вы — жертвы обмана! Вы, обманутые французы, поверили, что надо преградить путь германскому вторжению, защитить цивилизацию от угрожающих ей варваров. Вы, обманутые немцы, поверили, что ваша Германия окружена, что судьбе страны грозит опасность, что надо спасать ваше национальное благосостояние от иностранных вожделений. И все вы, немцы и французы, обманутые в одинаковой мере, вы искренне поверили, что эта война является священной войной только для вашего народа и что надо, без колебаний, из патриотизма, пожертвовать, ради «чести нации», ради «торжества Справедливости», вашим счастьем, свободой, жизнью!.. Вы обмануты! Охваченные тем искусственным возбуждением, которым бесстыдная пропаганда в конце концов заразила вас, всех вас, ее будущих жертв, в последние несколько дней, — вы героически выступили друг против друга по первому призыву родины, той родины, которой никогда не угрожала никакая реальная опасность! Не понимая, что по обе стороны фронта вы стали игрушкой ваших правящих классов! Не понимая, что вы являетесь ставкой в их игре, разменной монетой, которой они сорят, чтобы удовлетворить свою потребность в господстве и наживе!

Ибо совершенно одинаковой ложью исподтишка одурачили вас законные власти Франции и Германии! Никогда еще правительства Европы не проявляли подобного цинизма, не располагали таким арсеналом ухищрений, помогавших им множить клевету, подсказывать неверное толкование событий, распространять ложные известия, всеми средствами сеять ту панику и ту злобу, которые были им необходимы, чтобы сделать вас своими сообщниками!.. В несколько дней, даже не успев оценить огромность требуемой от вас жертвы, вы оказались запертыми в казармы, вооруженными, посланными на убийство и смерть. Все свободы уничтожены сразу, одним ударом. В обоих лагерях, в один и тот же день, осадное положение! В обоих лагерях беспощадная военная диктатура! Горе тому, кто хочет рассуждать, требовать отчета, кто хочет опомниться! Да и кто из вас смог бы это сделать? Вы не знаете прав-

ды! Ваш единственный источник информации — официальная пресса, националистическая ложь! Всемогущая в уже закрытых границах своей страны, эта пресса говорит сейчас не своим голосом: она говорит голосом тех, кто распоряжается вами и кому ваше легковерное неведение, ваша покорность необходимы для осуществления их целей!

Ваша вина в том, что вы не предупредили пожара, когда еще было время. Вы могли помешать войне! Вы — мирные люди — представляете собой подавляющее большинство, но вы не сумели ни сгруппировать это большинство, ни организовать его, ни заставить вовремя вмешаться в события решительно и дружно, чтобы направить против поджигателей возмущение всех классов, всех стран и заставить правительства Европы подчиниться вашей воле к миру.

Сейчас беспощадная дисциплина повсюду надела намордник на сознание отдельного человека. Вы повсюду приведены к слепому повиновению — повиновению животного, которому завязали глаза... Никогда еще человечество не знало подобного принижения, подобного ущемления разума! Никогда правительства, пользуясь своим могуществом, не предписывали умам такого полного отречения, никогда не подавляли устремлений масс так жестоко!»

Жак гасит о блюдечко окурок папиросы, обжегший ему губы. Сердитым жестом он отбрасывает прядь волос со лба и вытирает пот, который течет у него по щекам. «*Никогда не подавляли устремлений масс так жестоко!*» Эти звучные слова так громко отзываются в его ушах, словно он сам выкрикнул их на фронте, перед этими двумя армиями, которые он видит с отчетливостью галлюцинации. Он испытывает такой же подъем, такую же бурю в крови, такой же необычайный прилив сил, какие наэлектризовывали его в былые дни, когда внезапный порыв веры, гнева и любви, властная потребность убедить и увлечь толкали его на трибуну какого-нибудь митинга и сразу поднимали над толпой и над самим собой в опьянении импровизации.

Не зажигая вынутой из кармана папиросы, он снова дает волю своему перу:

«Теперь вы отведали их войны!.. Вы услышали свист пуль, стоны раненых, умирающих! Теперь вы можете представить себе ужас бойни, которую они вам готовят!.. Большинство из вас уже отрезвело, и вы чувствуете, как в глубине вашего сознания дрожит стыд — стыд за то, что вы поддались обману так покорно! Воспоминание о дорогих вам людях, покинутых так поспешно, неотступно преследует вас. Под давлением действительности ум ваш просыпается, у вас открываются глаза, — наконец-то! Что же будет с вами, когда вы поймете, ради каких низких побуждений, ради каких надежд на завоевание и гегемонию, ради каких материальных выгод — выгод, которые вам чужды и которыми ни

один из вас никогда не воспользуется, — денежные феодалы, хозяева этой войны, заставили вас пойти на такую чудовищную жертву?

Что сделали с вашей свободой? С вашей совестью? С вашим человеческим достоинством? Что сделали со счастьем вашего семейного очага? Что сделали с единственным сокровищем, которым обладает человек из народа, — с жизнью? Разве французское государство, разве германское государство имеют право отрывать вас от вашей семьи, от вашей работы, и распоряжаться вашей жизнью, не считаясь с самыми очевидными вашими интересами, не считаясь с вашей волей, не считаясь с самыми гуманными, с самыми чистыми, с самыми законными вашими инстинктами? Что же дало им эту чудовищную власть над вашей жизнью и смертью? Ваше неведение! Ваша пассивность!

Молния мысли, вспышка возмущения — и вы сможете еще освободиться!

Неужели вы не способны на это? Неужели вы будете под снарядами, испытывая жесточайшие физические и нравственные страдания, ждать этого далекого мира — мира, которого никогда не увидите вы, первые жертвы этой войны; мира, которого, должно быть, не увидят даже и ваши младшие братья, те, кто будет призван, чтобы заменить вас на линии огня, и кто обречен на «славную» смерть, подобно вам?

Не говорите, что уже поздно, что вам остается только одно — безропотно принять рабство и смерть. Это было бы малодушным!

И это было бы ошибкой!

Наоборот, наступила минута сбросить с себя ярмо! Свобода, безопасность, радость жизни, — все это похищенное у вас счастье можно завоевать вновь, и это зависит только от вас!

Опомнитесь, пока еще не поздно!

У вас есть средство, верное средство поставить генеральные штабы перед невозможностью продлить эту братоубийственную войну хотя бы на один день. Это средство — отказ драться! Это средство — коллективное возмущение, которое сразу уничтожит их власть.

Вы можете это сделать!

Вы можете это сделать завтра же!

Вы можете это сделать, не рискуя подвернуться никаким репрессиям!

Но для этого необходимы три условия, три непременных условия: ваше восстание должно быть внезапным, всеобщим и одновременным.

Внезапным — потому что надо не дать времени вашему начальству принять против вас предупредительные меры. Всеобщим и одновременным — потому что успех зависит от массового выступления, начавшегося в одно и то же время по обе стороны границы! Если откажутся принести себя в жертву только пятьдесят человек,

то они будут расстреляны без всякой щады. Но если вас будет пятьсот, тысяча, десять тысяч, если вы восстанете все как один в обоих лагерях сразу, если ваш крик возмущения будет передаваться от полка к полку в обеих ваших армиях, если вы проявите, наконец, свою силу — неуязвимую силу миллионов, — никакие репрессии не смогут иметь места! И начальники, которые командуют вами, и правительства, давшие вам этих начальников, — все они окажутся в несколько часов парализованными навсегда в самом центре своего преступного могущества!

Поймите всю торжественность этой решительной минуты! Чтобы одним ударом вернуть свою независимость, нужны только три условия, и все три зависят только от вас одних: ваше восстание должно быть *внезапным*, оно должно быть *единодушным и одновременным!*»

У него напряженное лицо, прерывистое, свистящее дыхание. На секунду он перестает писать и поднимает невидящий взгляд к стеклянной крыше. Реальный мир исчез: он ничего не видит, ничего не слышит; перед ним нет ничего, кроме этих тысяч обреченных, кроме этих обращенных к нему лиц, искаженных мучительным страхом.

«Французы и немцы! Вы — люди, вы — братья! Во имя ваших матерей, ваших жен, ваших детей, во имя самого благородного, что есть в ваших сердцах, во имя творческого вдохновения, пришедшего к вам из глубины веков и стремящегося сделать из человека справедливое и разумное существо, воспользуйтесь этой последней возможностью! Спасение близко! Восстаньте! Восстаньте все, пока еще не поздно!

Это взвывание, во многих тысячах экземпляров,брошено сегодня одновременно во Франции и в Германии, по всей линии фронта. В эту самую минуту в обоих ваших лагерях тысячи французских и германских сердец трепещут той же надеждой, что и ваши, тысячи кулаков сжимаются, тысячи умов голосуют за восстание, торжество жизни над ложью и смертью.

Смелее! Без колебаний! Малейшее промедление может погубить вас! Ваше восстание должно вспыхнуть *завтра!*

*Завтра*, в один и тот же час, с восходом солнца, вы, французы и немцы, все вместе, в едином порыве героизма и братской любви, бросьте оружие, откажитесь воевать, издайте один и тот же крик освобождения!

*Восстаньте все, откажитесь от войны! Заставьте государства немедленно восстановить мир!*

*Завтра, с первыми лучами солнца, восстаньте все!»*

Он осторожно кладет перо на чернильницу.

Его грудь медленно распрямляется и слегка отдаляется от стола. Глаза опущены. Движения мягки, заглушенны, бесшумны,

словно он боится спугнуть птицу. Напряжение совершенно исчезло с его лица. Кажется, он чего-то ждет: завершения внутреннего процесса, немого болезненного. Он ждет, чтобы сердце успокоилось, чтобы кровь в висках перестала стучать так сильно, чтобы медленное возвращение к действительности произошло без чрезмерных страданий...

Машинально он собирает листки, исписанные лихорадочным почерком, без помарок. Он складывает их, ощупывает и вдруг с силой прижимает к груди. Голова его на секунду склоняется, и, не шевеля губами, он шепчет, как молитву: «Возвратить людям мир...»

## LXXXI

Платнер поместил Жака у старухи, матери одного социалиста, по фамилии Штумпф, которого партия недавно послала куда-то с поручением. Считается, что Жак поселился в Базеле для того, чтобы работать в книжном магазине. Платнер вручил ему оформленный по всем правилам договор. В случае если полиция, ставшая после объявления войны особенно ретивой, заинтересуется его присутствием, он сможет доказать, что имеет службу и определенное место жительства.

Дом старой г-жи Штумпф, находящийся в Малом Базеле, в нищем квартале Эрленштрассе (недалеко от Грейфенгассе, где держит свой магазинчик Платнер), — это расшатанная лачуга, обреченная на слом. Комната, снятая Жаком, похожа на узкий коридор, прорезанный двумя низкими окошками — по одному на каждом конце. Одно, без стекол, выходит во двор; со двора поднимается вонь от крольчатника и прокисших отбросов. Другое выходит на улицу, за которой виднеются угольные склады пограничной баденской станции, иными словами — почти на германскую территорию. На потолке — так низко, что можно достать их рукой — тянутся ряды кровельных черепиц, нагретых солнцем и создающих днем и ночью температуру раскаленной печи.

Здесь, в этой парильне, запирается Жак, чтобы отшлифовывать свое воззвание, поддерживая силы кружкой кофе и бутербродом с гусиным жиром, которые по утрам ставит у его двери мамаша Штумпф. Иногда около полудня температура становится до того невыносимой, что он делает попытку сбежать. Но, выйдя на улицу, сейчас же с сожалением вспоминает о своей конуре и спешил вернуться в нее. Он снова ложится на кровать и здесь, обливаясь потом, с закрытыми глазами, снова нетерпеливо разматывает клубок своей мечты... Аэроплан высоко в небе... Сидя позади Майнестреля, он нагибается, хватает охапки листовок, бросает их в пространство... Гудение мотора сливаются с пульсацией его крови. Птица с огромными крыльями — это он сам; из собственного

сердца вырывает он эти послания, чтобы рассеять их над миром... «Завтра, с восходом солнца, восстаньте все!» Отдельные части возвзания располагаются в стройном порядке. Фразы понемногу отливаются в определенную форму. Он знает их наизусть. Лежа, устремив взгляд в потолок, он без конца повторяет их. Иногда он вдруг вскакивает, бежит к столу, чтобы изменить какой-нибудь абзац, переставить слово. Потом снова бросается на кровать. Он почти не замечает окружающей его жалкой обстановки. Он живет среди своих грез... Он видит, как мятеж распространяется... На командных пунктах совещаются офицеры, мечутся испуганные писаря; сообщение со ставкой главнокомандующего прервано... Какие бы то ни было репрессии невозможны. Если правительства хотят еще хоть для вида сохранить престиж, им остается одно: спешно заключить перемирие...

Эта навязчивая идея гложет его, но и поддерживает — как кофе. Он не может больше обходиться ни без того, ни без другого. Как только какая-нибудь настоятельная необходимость — короткое посещение книжного магазина — или просто встреча на лестнице с г-жой Штумпф на мгновение отрывают Жака от его мечты, он испытывает такое болезненное чувство, что спешит вернуться в свое уединение, как наркоман к своему наркотику. И тотчас же находит облегчение. Не только спокойствие, но вместе с ним какое-то радостное, полное энергии возбуждение... По временам, когда дрожь в руке вынуждает его перестать писать или когда он видит в осколке зеркала на стене свое лоснящееся от пота лицо, свои впалые щеки, свой взгляд — взгляд маниака, ему впервые в жизни приходит мысль, что он болен. И эта мысль вызывает у него улыбку. Какое значение имеет это теперь?.. Удешливой ночью, когда ему не удается сомкнуть глаза, когда он каждые десять минут встает, чтобы смочить в кувшине полотенце и обтереть им пылающее тело, он на минуту останавливается перед окошком. Оно выходит в ад: в грохоте пакгаузов копошится, при свете дуговых ламп, целая армия железнодорожников; дальше, в темноте депо, с шумом катятся тележки, сталкиваются вагонетки, во всех направлениях разбегаются огоньки; а еще дальше, на блестящих рельсах, свистят и маневрируют бесконечные составы, которые сейчас, один за другим, провалятся во мрак воюющей Германии. Тогда он улыбается. Он один знает. Он один знает, что вся эта суэта напрасна... Избавление близится. Листовка написана. Каппель сделает немецкий перевод. Платнер напечатает миллион двести тысяч экземпляров... В Цюрихе Мейнстрель готовит аэроплан... Еще несколько дней! «Завтра, с первым лучом солнца, восстаньте все!»

После двух суток лихорадочной работы он решается, наконец, отдать свою рукопись. «Быть готовым к субботе», — сказал Мейнстрель...

Платнер стоит в задней комнате своей книжной лавки среди кип бумаги, за двойной, обитой kleenкой дверью; несмотря на утренний час, все ставни закрыты. Это человек лет сорока, маленького роста, некрасивый, тщедушный; у него больной желудок и дурно пахнет изо рта. Его грудная клетка выступает вперед, как грудная кость птицы; лысый череп, худая шея, выдающийся вперед горбатый нос делают его похожим на ястреба. Этот торчащий нос как будто увлекает все тело вперед и перемещает центр тяжести, отчего Платнеру постоянно кажется, что его равновесие нарушено: неприятное ощущение, передающееся и собеседнику. Надо привыкнуть к его неблагодарной внешности, чтобы заметить простодушный взгляд, добрую улыбку, ласковый, немного тягучий голос, который часто дрожит от волнения и в котором каждую минуту словно сквозит готовность отдать свою дружбу. Но Жаку не нужен новый друг. Ему никто больше не нужен.

Платнер ошеломлен. Слух о том, что парламентская фракция социал-демократов голосовала в рейхстаге за военные кредиты, подтвердился.

— Голосование французских социалистов в палате — это уже страшный удар, — признается он дрожащим от негодования голосом. — Хотя после убийства Жореса этого до некоторой степени можно было ожидать... Но немцы! Наша социал-демократия, великая пролетарская сила Европы!.. Это самый жестокий удар за всю мою жизнь социалиста. Я отказывался верить официальной прессе. Я готов был дать руку на отсечение, что социал-демократы, все как один, сочтут необходимым публично заклеймить имперское правительство. Прочитав сообщение агентства, я рассмеялся! От него пахло ложью, ловкой плутней! Я говорил себе: «Завтра мы прочтем опровержение!» И вот... Сегодня надо признать факт очевидным. Все верно, до ужаса верно!.. Я еще хорошенько не знаю, как все это происходило за кулисами. Может быть, мы никогда не узнаем правды... Райер уверяет, что двадцать девятого Бетман-Гольвег пригласил Зюдекума, чтобы добиться от него прекращения оппозиции социал-демократов...

— Двадцать девятого? — переспрашивает Жак. — Но ведь двадцать девятого в Брюсселе — речь Гаазе!.. Я был там! Я слышал ее!

— Возможно. Однако Райер утверждает, что когда германская делегация вернулась в Берлин, состоялось заседание центрального комитета и было вынесено решение подчиниться: кайзер знал, что может издать приказ о мобилизации, что восстания, что всеобщей забастовки не будет!.. Должно быть, до голосования в рейхстаге, центральный комитет устроил закрытое заседание, которое, вероятно, прошло не так уж гладко. Я еще отказываюсь сомневаться в таких людях, как Либкнехт, как Ледебур, как Меринг, как Клара Цеткин, как Роза Люксембург, но, по-видимому, они оказались в меньшинстве и им пришлось уступить предателям... Факт

налио: они голосовали *за!* Тридцать лет усилий, тридцать лет борьбы, медленных и трудных завоеваний сведены на нет одним голосованием! За один день социал-демократическая партия навсегда потеряла уважение пролетариата... Русские социалисты не склонились перед царизмом в думе! Они все голосовали против войны! И в Сербии тоже! Я видел копию письма Душана Поповича. Сербская социалистическая оппозиция остается несокрушимой! А между тем это единственная страна, где патриотизм национальной обороны мог бы еще иметь некоторое оправдание!.. Даже в Англии сопротивление упорно продолжается: Кир-Харди не складывает оружия. Я читал последний номер «Independent Labour Party».<sup>1</sup> Это все-таки утешительно, не правда ли? Не надо отчаяваться. Понемногу мы заставим прислушаться к нам. Не всем же нам заткнут рот... Держаться крепко вопреки и наперекор всему! Интернационал возродится! И в день своего возрождения он потребует отчета у тех, кто пользовался его доверием и кого так легко приручила диктатура империализма!

Жак не прерывает его. Он делает вид, что соглашается. После того, что он видел в Париже, никакое отступничество уже не может больше его удивить.

Он берет со стола несколько газет и рассеянно пробегает заголовки: «Сто тысяч немцев идут на Льеж... Англия мобилизует флот и армию... Великий князь Николай назначен главнокомандующим всеми русскими военными силами... Нейтралитет Италии объявлен официально... Победоносное наступление французов в Эльзасе».

В Эльзасе... Жак бросает газеты. Наступление в Эльзасе... «Теперь вы отведали их войны! Вы услышали свист пуль...» Все, что отвлекает его от одинокой экзальтации, стало для него невыносимым. Ему не терпится уйти из магазина, оказаться на улице.

Как только Платнер берется за рукопись, чтобы начать подготовку к набору, Жак убегает, несмотря на просьбы остаться.

Базель раскрывается перед ним. Базель и его величественный Рейн, его сады, его скверы; Базель с его контрастами тени и света, зноя и прохлады; Базель и его фонтаны, в которых Жак освежает потные руки... Августовское солнце пылает в раскаленном небе. От асфальта поднимается терпкий запах. Каким-то переулком Жак поднимается к собору. Соборная площадь безлюдна: ни одного экипажа, ни одного прохожего... Базельский конгресс 1912 года!.. Церковь, видимо, закрыта. Ее красный песчаник напоминает по цвету старинную глиняную посуду: древняя рака из обожженной глины, одиноко стоящая на солнце, монументальная и никому не нужная.

<sup>1</sup> «Независимая рабочая партия» (англ.).

На площадке, возвышающейся над Рейном, под каштанами, где тень церковного свода и течение реки создают прохладу, нет никого, кроме Жака. Снизу, из школы плавания, скрытой в зелени, доносятся время от времени веселые крики. Жак один с дикими голубями. С минуту он следит взглядом за их полетом. Нет, никогда еще до приезда в Базель он, отшельник, не чувствовал себя до такой степени одиноким. И он с восторгом упивается величием, мощью этого полного, этого безусловного одиночества. Он не хочет нарушать его до тех пор, пока все не будет совершено... Вдруг, без всякого повода, ему приходит в голову: «Я поступаю так только от отчаяния. Я поступаю так только для того, чтобы убежать от себя... Я не остановлю войну... Я никого не спасу, никого, кроме самого себя... Но себя я спасу, отдав свою жизнь!» Он встает, чтобы отогнать ужасную мысль. Он сжимает кулаки: «Быть правым наперекор всем! И найти спасение в смерти...»

За красноватым парапетом, за изгибом, который делает река между мостами, за колокольнями, за трубами заводов Малого Базеля виднеется на горизонте плодоносный и лесистый край, окруженный теплой дымкой испарений: это Германия — Германия сегодняшнего дня, мобилизованная Германия, которую грохот оружия уже потряс до самых недр. Жака охватывает желание пойти на запад, дойти до той точки, где линия границы идет по Рейну; там с крутого швейцарского берега он увидит перед собой, так близко, что можно добросить камень, германский берег, поля и села, принадлежащие Германии.

Кварталом Санкт-Альбан Жак доходит до предместья. Солнце медленно поднимается в неумолимом небе. Нарядные виллы среди подстриженных живых изгородей, их зеленые беседки, качели, клумбы, орошаемые струйками воды, белые столики, накрытые цветными скатертями, — все свидетельствует о том, что ничто еще не нарушило спокойствия этого уголка, укрывшегося в центре охваченной пожаром Европы, что зараза еще не проникла сюда. Однако в Бирсфельдене Жак встретил батальон швейцарских солдат в походной форме, который с песнями спускался с Гарда.

Лес растянулся справа, по склону холма. Длинная аллея, идущая параллельно реке, прорезает рощицу молодых деревьев. На досечке надпись: Waldhaus.<sup>1</sup> Слева, между стволами, виднеется зеленая, залитая солнцем равнина, посреди которой течет извилистый Рейн; справа, наоборот, — густая чаща, лесистый и крутой склон горы. Жак медленно подвигается вперед, не думая ни о чем. После этих дней затворничества, после ходьбы на солнцепеке между домами тень деревьев дает ему успокоение. На вершине холмика, прислонившись к лесу, стоит среди зелени белое строе-

<sup>1</sup> Лесная сторожка (нем.).

ние. «Это, должно быть, и есть их «Waldhaus», — думает Жак. Тропинка наискось спускается к берегу. Близость воды делает мелкую поросль в лесу еще более свежей. И вдруг Жак оказывается на берегу Рейна.

Германия — там. Она отделена от него только этой сверкающей струей.

Германия безлюдна. На противоположном берегу нет больше ни одного рыбака. Ни одного земледельца на обсаженных яблонями лугах, расстилающихся между рекой и рядом маленьких домиков с красными крышами, скучившимися вокруг колокольни у подножия холмов, загораживающих горизонт. Но у самой воды, прячущейся за густыми зарослями откоса, Жак различает конек полосатой трехцветной будки. Вышка часового? Пост пограничников? Таможенных досмотрщиков?..

Он не может оторвать взгляд от этого пейзажа, полного таинственных примет. Засунув руки в карманы, неподвижно стоя на сырой земле, он не спеша разглядывает Германию и Европу. Никогда еще он не был так спокоен, не мыслил так проникновенно, не отдавал себе такого ясного отчета в своих поступках, как в эту минуту, когда, один на берегу исторической реки, он широко раскрытыми глазами смотрит на мир и на свою судьбу. Наступит день, наступит день!.. Сердца забываются в унисон, равенство людей осуществляется, неся с собой достоинство и справедливость... Может быть, так надо, чтобы человечество прошло еще и через этот этап ненависти и насилия, прежде чем оно достигнет эры братства... Что касается его, Жака, то он не станет ждать. В его жизни наступил такой час, когда он не может больше откладывать этот безраздельный дар. Отдавался ли он когда-нибудь по-настоящему, целиком?.. Мысли, другу, женщине? Нет... Пожалуй, нет — даже идею революции. Нет — даже и Женни! Отдавая себя, он всякий раз утавил значительную часть своего «я». Он прошел через жизнь, как беспокойный дилетант, скрупулезно отбирающий те частицы самого себя, которые он уступает. Только теперь он познал дар, который поглощает всего человека. Сознание приносимой им жертвы сжигает его, как пламя. Прошло время, когда отчаяние задевало его своим крылом так часто, когда он ежедневно боролся со своими бессильными порывами к самоотречению! Добровольная смерть не есть самоотречение: это расцвет человеческой судьбы.

Шорох шагов раздается в лесной чащебе; он оборачивается. Это чета дровосеков, одетых в черное; у мужчины торчит за поясом кривой нож; женщина несет по корзине в каждой руке. У них суровые лица швейцарских крестьян: озабоченный взгляд, плотно сжатые губы, как бы говорящие о том, что жизнь не прогулка. Оба подозрительно рассматривают незнакомца, которого они застали здесь наполовину скрытого кустами, пожирающего глазами то, что происходит там.

Напрасно он рискнул подойти так близко к границе. На берегу реки, конечно, можно встретить дозоры таможенных досмотрщиков, патрули солдат... Он спешно поворачивает назад и идет напрямик через лесную поросль, чтобы выбраться на большую дорогу.

В этот же день, под вечер, Жак является на свидание, которое ему назначил Каппель.

— Подожди меня на улице, — говорит ему студент. — Сейчас время обхода больных, а профессора нет. Я выйду к тебе через десять минут.

Детская больница находится в Малом Базеле, на набережной. Маленький садик, обнесенный живой изгородью из плюща, окружает трехэтажное здание с множеством террас, как в санатории, где стоят на солнце кроватки больных детей. В тени густых деревьев поставлены белые кресла. Жак садится. Покой, тишина... Тишина, нарушаемая лишь щебетанием птиц и более отдаленным щебетанием маленьких больных, которых Жак видит сквозь ветви: время от времени, когда подходит сиделка, худенькое тельце приподнимается над подушкой.

Быстрые шаги на песчаной дорожке. Это Каппель. Без халата и без очков, тонкий, гибкий, в широкой рубашке и полотняных брюках, он похож на подростка. Очень светлые волосы, немного впалые щеки, нежная, гладкая кожа. Но лоб вызывает чувство удивления: изборожденный морщинами, он кажется лбом старика. И взгляд голубых с металлическим блеском глаз, опущенных светлыми ресницами, поражает неожиданной зрелостью.

Каппель — германский подданный. Он продолжает изучать в Базеле медицину. Он и не подумал вернуться в Германию. Днем он работает с профессором Веббом в Kinderspital;<sup>1</sup> вечером, ночью он сражается за революцию. Он завсегдатай книжного магазина, и это ему Платнер поручил сделать в течение одного дня немецкий перевод. Впрочем, Каппель ничего не знает о планах Жака; он не задал ему ни одного вопроса.

Он вынимает из кармана четыре страницы, исписанные готическими буквами, тонкими и заостренными. Жак берет листки, рассматривает их, ощупывает. Его пальцы дрожат. Заговорит ли он, поделится ли с немцем надеждой, от которой у него захватывает дыхание?.. Нет. Теперь не время для излияний, для обмена мыслей. Остающиеся ему несколько дней он проведет в одиночестве — одиночестве сильных. Он складывает листки и говорит только:

— Благодарю.

Из деликатности Каппель спешит заговорить о другом. Он вынимает из кармана газету.

<sup>1</sup> Детская больница (нем.).

— Послушай! «Анри Бергсон, президент Академии моральных наук, взял слово, чтобы приветствовать присутствовавших на заседании бельгийских членов-корреспондентов. Борьба, начатая против Германии, — заявил он, — есть не что иное, как борьба Цивилизации против Варварства...» Бергсон!..

Вдруг Каппель умолкает, словно прислушиваясь к отдаленному шуму.

— Это глупо... Скажи, с тобой этого не бывает? Двадцать раз на день, — особенно вечером, ночью, — мне кажется, что я слышу глухие удары... гул канонады в Эльзасе...

Жак отводит глаза. В Эльзасе... Да, там бойня уже началась... Ему приходит в голову новая мысль. В час, когда столько невинных обречены на жертву, самую бесславную, самую пассивную, он испытывает гордость оттого, что остался властелином своей судьбы, что сам избрал свою смерть: смерть, которая явится одновременно и актом веры и последним криком возмущения, последним бунтом против нелепости, царящей в мире, — обдуманным поступком, отмеченным печатью его личности, поступком, который будет насыщен тем самым смыслом, какой он захочет ему придать...

Каппель, помолчав, возобновляет разговор:

— Когда я был ребенком, мы жили в Лейпциге, возле тюрьмы. Как-то раз, зимним вечером, — шел снег, — в нашем квартале распространился слух, что в город приехал палач и на рассвете должны кого-то казнить. Помню, я никому ничего не сказал и ушел... в темноту. Было поздно. Падал густой снег. На улице — никого. На площади — жуткая тишина. Я несколько раз обошел вокруг тюрьмы совершенно один. Я не мог вернуться домой. Не мог прогнать мысль: там, по ту сторону этой стены, находится человек, которого люди приговорили к смерти и который это знает, который ждет...

Несколько часами позже, сидя в углу Kaffeehalle,<sup>1</sup> в дыму скверных сигар, прислонившись к прохладным изразцам печки, Жак макает хлеб в кружку кофе и грезит. Лампочка без абажура, которая свисает с потолка, словно паук на кончике паутины, ослепляет его, гипнотизирует, отделяет от остального мира.

Платнер уговаривал его оставаться поужинать, но Жак, торопливо исправив гранки возвзвания, сбежал, сославшись на усталость. Он симпатизирует владельцу книжного магазина и упрекает себя за то, что недостаточно проявляет свою симпатию. Но эта болтовня о революции, полная общих мест и повторений, эти назойливые взгляды, эта когтистая рука, которую Платнер то и дело кладет на плечо собеседника, эта манера внезапно опускать длинный

<sup>1</sup> Кофейная (нем.).

нос к изуродованной груди и заканчивать фразу шепотом, подобно конспиратору, открывающему тайну, — все это безумно раздражает Жака, его нервы не выдерживают.

Здесь ему хорошо. Kaffeehalle — плохо освещенное, бедное кафе с большими столами без скатерей; своей окраской и шероховатостью их старое облезлое дерево напоминает мякиш ржаного хлеба. Здесь можно получить по дешевке порцию сосисок с капустой, тарелку супа, толстые ломти белого хлеба во всю ковригу. Жак нашел здесь если не одиночество, то хотя бы уединение; уединение в непосредственной близости с безыменным стадом.

Ибо в Kaffeehalle все время полно народу. Странная публика: здесь сталкиваются все категории отшельников, холостяков, бродяг. Тут студенты, развязные и шумливые, которые называют служанок по имени, обсуждают вечерние телеграммы, спорят поочередно о Канте, о войне, о бактериологии, о машинизации, о проституции. Тут приказчики, конторщики, прилично одетые, молчаливые, отделенные друг от друга полубуржуазной осмотрительностью, которая тягостна им самим, но которую они не умеют преодолеть. Тут хилые существа, чье общественное положение трудно определить: безработные, выздоравливающие, только что вышедшие из больницы, — вокруг них еще плавает тяжелый запах иодоформа; калеки, вроде того слепого, что устроился у дверей и держит на сдинутых коленях набор инструментов для настройки роялей. Тут перед стойкой — круглый стол, за которым обедают три женщины из Армии спасения;<sup>1</sup> они едят только овощи и, укрытые своими огромными чепцами, шепотом сообщают друг другу назидательные секреты. Тут есть также целая пловучая армия обломков крушения, бедняков, выброшенных сюда волнами нищеты, преступления или неудачи; счастливые тем, что попали сюда, они сидят, не решаясь поднять глаза, согнувшись под тяжестью прошлого, как видно нелегкого, и долго крошат в суп свой хлеб, прежде чем опустить в него ложку. Один из них только что занял место напротив Жака. На секунду глаза их встретились. И во взгляде этого человека Жак поймал мимолетный беглый огонек, шифрованный язык тех, кто поставлен вне закона: задушевный, таинственный обмен мыслей, пробегающих в зрачках, быстрый, как молния, вопрос, всегда один и тот же: «А ты? Тоже неприспособившийся, непскорый, гонимый?»

Молодая женщина появляется в дверях и делает несколько шагов по залу. Изящный силуэт, легкая походка. На ней черный английский костюм. Ее глаза ищут кого-то, но не находят.

Жак опустил голову. Он чувствует внезапную боль в сердце. И вдруг встает с места, чтобы бежать отсюда.

Женни... Где она сейчас? Чтосталось с ней без него, без всяких вестей, кроме лаконичной открытки, посланной им с француз-

<sup>1</sup> Реакционная международная филантропическая организация, основанная в Лондоне в 1865 г. методистским священником Бутсом.

ской границы? Он часто вспоминает о ней так — во внезапном и коротком порыве, страстном, тоскливом; и каждую ночь, во время бессонницы, судорожно сжимает ее в своих объятиях... Мысль о том, как он нужен ей, мысль о неверном будущем, на которое он ее обрекает, невыносима, когда он думает об этом. Но он думает об этом редко. Искушение сохранить свою жизнь ради Женни ни разу не коснулось его души. Отказ от любви не кажется ему изменой; напротив: верность самому себе — тому, кого полюбила Женни, — кажется ему лучшим доказательством верности его любви к ней.

За стенами кафе — ночь, улица, одиночество. Он почти бежит, сам не зная куда. Глухая мужественная песнь сопутствует его шагам. Он ускользнул от Женни. Он вне пределов досягаемости. В нем нет больше ничего, кроме жгучего, очищающего восторга — восторга героев.

## LXXXII

Ежедневно он прежде всего выполняет одну из инструкций Майнестреля: «Каждое утро, между восемью и девятью, проходить мимо дома номер три по Юнгштрассе. В тот день, когда увидишь в окне красную материю, спроси г-жу Хюльтьц и скажи ей: «Я пришел снять комнату».

В воскресенье 9 августа, около половины девятого, проходя перекресток Эльзессерштрассе и Юнгштрассе, Жак вдруг чувствует, что сердце его на секунду перестает биться: на балконе дома № 3 сушится белье, и среди скатерей, салфеток на видном месте висит кусок красной бумажной ткани!

Улица в этом месте состоит из невысоких домов, отделенных от мостовой палисадниками. Когда Жак поднимается на крыльцо дома № 3, дверь открывается. В полу暗кое прихожей он различает силуэт белокурой женщины с обнаженными руками, в светлом корсаже.

— Госпожа Хюльтьц?

Вместо ответа она закрывает за ним входную дверь. Коридор образует маленькую прихожую, довольно темную; все двери закрыты.

— Я пришел снять комнату...

Двумя пальцами она быстро достает что-то из-за корсажа и протягивает ему: это скатанный в крохотную трубочку листок тончайшей бумаги, какую пересыпают с почтовыми голубями. Засовывая записку в карман, Жак успевает почувствовать теплоту тела, которую еще хранит бумага.

— Очень жаль, но тут какое-то недоразумение, — громко говорит молодая женщина.

И сразу же открывает дверь на крыльцо. Жак старается встретиться с ней взглядом, но она уже опустила глаза. Он кланяется и уходит. Дверь сейчас же закрывается снова.

Спустя несколько минут, наклонившись вместе с Платнером над фотографической ванночкой, он расшифровывает текст письма:

Сведения о военных действиях в Эльзасе побуждают действовать немедленно. Назначил наш полет на понедельник, 10-го. Вылет в четыре часа утра. В ночь с воскресенья на понедельник перевавьте листовки на холмы к северо-востоку от Диттингена. Смотреть карту границы, изданную французским генеральным штабом. Провести прямую линию между «Г» в слове Бург и «Д» в слове Диттинген. Место встречи находится на равном расстоянии от «Г» и от «Д» на открытом плато, господствующем над проселочной дорогой. Поджидать аэроплан начиная с рассвета. Если возможно, расстелить на участке белые простыни для облегчения посадки. Привезите пятьдесят литров бензина.

— Сегодня ночью... — шепчет Жак, оборачиваясь к Платнеру; его лицо выражает только удивление.

Платнер — прирожденный конспиратор. Этот калека, прежде временно состарившийся в книжном магазине, обладает богатым воображением, способностью быстро принимать решения, как какой-нибудь предводитель шайки. Природная склонность к опасностям и приключениям всегда занимала в его преданности революционной партии не меньшее место, чем убеждения.

— Мы достаточно думали над этим в течение двух дней, — говорит он сейчас же. — Надо придерживаться того, что решено. Остается выполнение. Предоставь действовать мне. Лучше, если ты будешь показываться как можно меньше.

— А грузовичок? Достанешь ли ты его до вечера? И шофер?.. Кто даст знать Каппелю? Ведь, чтобы быстро доставить листовки к месту посадки аэроплана, понадобится несколько человек...

— Предоставь действовать мне, — повторяет Платнер. — Все будет готово в срок.

Разумеется, будь Жак предоставлен только собственным силам, си не хуже Платнера сумел бы принять все необходимые меры. Но после этих нескольких дней одиночества, бездействия, при той физической слабости, какую он чувствует сейчас, для него просто облегчение покориться деспотизму книготорговца.

Последний уже предусмотрел все до мелочей. Среди социалистов его секции есть содергатель гаража, поляк по происхождению, на которого можно положиться. Платнер садится на велосипед и едет к нему, оставив Жака одного в задней комнате магазина, перед ванночкой, где еще плавает письмо Мейнестреля.

В течение часа Жак ждет там, не делая ни одного движения. Он развернул на коленях взятую у Платнера карту генерального штаба, нашел Бург и Диттинген; потом все поплыло перед его

глазами. Бремя мыслей давит его с такой силой, что он почти не в состоянии думать. Всю неделю он жил своей мечтой, он был всецело захвачен стоящей перед ним целью. О себе, о своей участии он думал лишь мимоходом. И вот внезапно он оказался лицом к лицу с действием, с поступком, который он совершил через несколько часов и который будет для него последним. Он повторяет про себя, как автомат: «Сегодня ночью... Завтра... завтра на расвете... аэроплан». Но он думает другое: «Завтра все будет кончено». Он знает, что не вернется. Он знает, что Мейнестрель полетит как можно дальше, будет лететь до тех пор, пока не иссякнет весь запас бензина. Потом... Что будет потом? Аэроплан падает на позиции? Аэроплан захвачен? Военно-полевой суд? Все равно какой — французский или германский... Так или иначе, он будет задержан на месте преступления. Смертная казнь без суда... Охваченный ужасом, рассуждая с жестокой ясностью, Жак с минуту сжимает голову руками: «Жизнь — единственное благо. Жертвовать ею — безумие. Жертвовать ею — преступление, преступление против природы! Всякий акт героизма бессмыслен и преступен!..»

И вдруг его охватывает странное спокойствие. Волна отчаянного страха прошла... Она как бы перенесла его через мыс: он близок к другому берегу, он созерцает другие горизонты... Война, быть может, будет задушена... Революция, братание, перемирие!.. «И даже если это не удастся, какой пример! Что бы ни случилось, моя смерть — это акт... Восстановить честь... Быть верным... Верным и полезным... Полезным, наконец-то! Искупить мою жизнь, никчемность моей жизни... И обрести великий покой!..»

Это разрядка. Теперь все его тело отдыхает; он испытывает чувство покоя, почти отрады — какое-то грустное удовлетворение... Наконец-то он сможет сбросить свой груз... Покончить с этим требовательным, обманчивым миром; с требовательным, обманчивым существом, каким был он сам... Он думает о жизни без сожалений, — о жизни, о смерти... Без сожалений, но в тупом, животном оцеплении, таком глубоком, что он не может сосредоточить мысль ни на чем другом... Жизнь, смерть...

Платнер находит его на том же месте: он сидит, опершись локтями на колени, охватив голову руками. Машинистично он встает и говорит вполголоса:

— Ах, если бы социалисты не предали!..

Платнер привел с собой содержателя гаража. Это человек с проседью; у него спокойное и решительное лицо.

— Вот Андреев. Его грузовик готов. Он сам и отвезет нас. Листовки, бензин мы положим в кузов... Каппель изведен. Он скоро придет... Выедем, как только стемнеет..

Но Жак, которого приход мужчин вывел из оцепенения, требует, чтобы для большей уверенности дорога была обследована, пока светло. Андреев соглашается с ним.

— Хочешь, я отвезу тебя туда? — предлагает он Жаку. — Я возьму маленькую открытую машину: у нас будет такой вид, словно мы просто катаемся.

— А как с упаковкой листовок? — спрашивает Жак книготорговца.

— Почти закончена... Еще час работы... К твоему возвращению все будет готово.

Жак берет карту и уходит с Андреевым.

Ожидая их возвращения, Платнер и Каппель заканчивают в подвале упаковку груза.

Воззвание отпечатано на четырех страницах — две на французском языке, две на немецком — и издано на особой бумаге, легкой и прочной. Жак попросил разделить эти миллион двести тысяч листовок на стопы по две тысячи экземпляров и каждую стопу перехватить тонкой полоской бумаги, которую можно было бы разорвать ногтем. Все вместе весит немного больше двухсот килограммов. Сообразуясь с указаниями Жака, Платнер с помощью Каппеля складывает эти стопы в пачки по десять штук в каждой: шестьдесят пакетов, каждый перевязан бечевкой, причем узелок легко развязать одной рукой. А чтобы сделать переноску этих шестидесяти пакетов более удобной, Жак раздобыл большие холщовые мешки, вроде тех, какими пользуются почтальоны. Весь груз состоит из шести мешков по сорока килограммов в каждом.

В пять часов автомобиль поляка возвращается. Жак встревожен, взвужден.

— Дело плохо... На Метцерленском шоссе охрана... Проехать невозможно: таможенные досмотрщики, сторожевые посты... Другое — через Лауфен — свободно до Решенца. Но там придется свернуть на проселочную дорогу, совершенно непригодную для езды... Машина не проедет... Придется от нее отказаться... Надо найти телегу... Крестьянскую телегу, запряженную одной лошадью... Такая проедет где угодно и не привлечет внимания.

— Телегу? — говорит Платнер. — Можно... — Он вынимает из кармана записную книжку и перелистывает странички. — Пойдем со мной, — говорит он Андрееву. — А вы оба оставайтесь здесь и кончайте упаковку в мешки.

У него такой уверенный тон, что Жак соглашается остаться.

— С последними кипами я управлюсь сам, — говорит немец Жаку, как только они остаются одни. — Отдохни, постарайся немного поспать... Нет? — Он подходит к Жаку и берет его за руку. — У тебя лихорадка, — заявляет он через минуту. —

Дать тебе хины? — Жак пожимает плечами. — Ну, тогда не сиди в этой душной конуре, здесь воняет kleem... Пойди прогуляйся немногоЛ

На Грейфенгассе гуляет множество семей, разряженных по праздникному. Жак вливается в людской поток, доходит до моста. Тут он с минуту колеблется, затем поворачивает налево и спускается на набережную. «Мне повезло... Хороший вечер...» Он выпрямляется, и ему удается улыбнуться. «Не думать, быть твердым... Только бы они нашли телегу. Только бы все сошло удачно...»

Тротуар, идущий вдоль реки, почти безлюден; он возвышается над движущейся водной пеленой, которую закат превращает в алую расплывченную массу. Под откосом, у самой реки, купальщики пользуются последними лучами солнца. Жак на минуту останавливается! Воздух так нежен, что причиняет боль; обнаженные тела в траве отливают таким мягким блеском... На глаза у него навертываются слезы. Он идет дальше. Мезон-Лафит, берега Сены, купанье, лето с Даниэлем...

Какими путями, какими извилистыми тропинками судьба привела к этому последнему вечеру тогдашнего мальчугана? Цепь случайностей? Нет. Конечно, нет!.. Все его поступки вытекают один из другого. Он чувствует, он всегда смутно чувствовал это. Все его существование было длительным и судорожным подчинением таинственному закону, роковой связи событий. И вот теперь финал, апофеоз. Его смерть сверкает перед ним, похожая на этот великолепный закат. Он преодолел страх. Он повинуется призыву без ложного удальства, с полной решимости, опьяняющей, бодрящей грустью. Эта продуманная смерть — подлинное завершение его жизни. Она — непременное условие этого последнего акта верности самому себе... верности инстинкту возмущения... С самого детства он говорит: нет! Он никогда не умел иначе утверждать свою личность. Он говорит «нет» — не жизни... не миру!.. Его последнее отрицание, его последнее «нет» — тому, во что люди превратили жизнь...

Не замечая дороги, он забрел под мост Ветштейн. Наверху проходят экипажи, трамваи, — живые люди. Дальше, внизу, виднеется сквер — приюттишины, зелени, прохлады. Он садится на скамью. Узенькие аллеи огибают лужайки и рощицы букса. Голуби воркуют на низких ветвях кедра. Женщина в розовато-лиловом переднике, еще молодая, сидит на другом конце аллеи; у нее фигура девочки, но уже увядшее лицо. Перед ней в детской коляске спит новорожденный: недоносок с редкими волосами, с восковым лициком. Женщина жадно ест ломоть хлеба; она смотрит вдаль, в сторону реки; свободной рукой, хрупкой, как у ребенка, она рассеянно качает скрипучую, расшатанную коляскую. Розовато-лиловый

передник полинял, но опрятен; хлеб намазан маслом; у женщины спокойное, почти довольное лицо; ничто не изображает крайней нужды, но вся нестерпимая нищета века написана здесь так ясно, что Жак встает с места и убегает.

Платнер только что вернулся в свой магазин.

Глаза у него блестят, он выпячивает грудь.

— Я нашел то, что нужно. Повозка, крытая брезентом. Груз будет в ней совершенно не виден. Здоровенная ломовая лошадь. Править будет Андреев: он был в Польше батраком на ферме... Это займет больше времени, зато уж наверняка всюду проедем.

### LXXXIII

На колокольне церкви св. Духа бьет полночь. Телега зеленщика шагом едет по пустынным улицам южного предместья и выезжает на Эшское шоссе.

Под толстым брезентом, пристегнутым со всех сторон, полная темнота. Платнер и Каппель, сидя сзади, тихо разговаривают, прикрывая рот рукой. Каппель курит; иногда видно, как перемещается огонек его папиросы.

Жак забился в самую глубь повозки. Примостившись между двумя кипами листовок, согнувшись, стиснув руками колени и сцепив пальцы, сосредоточенно думая о своем в этом мраке, он старается, чтобы побороть свое возбуждение, сидеть неподвижно, с закрытыми глазами.

До него доносится заглушенный голос Платнера:

— Теперь, дружище Каппель, подумаем о себе. Аэроплан в такой час... Сможем ли мы втроем спокойно уехать обратно в нашей повозке? Не потревожат ли нас, не спросят ли, что мы тут делаем... Как по-твоему? — добавляет он, наклоняясь в глубь повозки.

Жак не отвечает. Он думает о посадке... Что ему до того, что случится потом, на земле, с людьми, которые переживут его...

— Тем более, — продолжает словоохотливый Платнер, — что даже в том случае, если мы спрячем телегу в кустах... Надо будет отослать Андреева с повозкой еще до появления аэроплана, сразу после того как мы выгрузим листовки, чтобы он успел выехать на шоссе до рассвета.

Жак уже видит себя на аэроплане... Он высовывается из кабинки... Белые листки кружатся в пространстве. Луга, леса, стянутые войска... Листовки тысячами разлетаются над полями сражений. Трещат выстрелы. Майнестрель оборачивается к нему. Жак видит его окровавленное лицо. Улыбка Пилота как бы говорит: «Ты видишь, мы несем им мир, а они стреляют в нас!..» Аэроплан

с пробитым крылом спускается, планируя... Заговорят ли об этом газеты? Нет, на прессу надет намордник. Антуан не узнает. Антуан никогда не узнает.

— А мы? — спрашивает Каппель.

— Мы? Как только аэроплан будет нагружен, мы уберемся вовсю, каждый в свою сторону, кто куда.

— All right, — произносит Каппель.

Повозка, как видно, едет сейчас по ровной дороге, потому что лошадь побежала мелкой рысью. Высокий, легко нагруженный кузов покачивается на рессорах, и от этого мерного покачивания в темноте хочется молчать, хочется спать. Каппель гасит папиросу и вытягивает ноги на тюках.

— Спокойной ночи.

Через минуту Платнер ворчит:

— Андреев — идиот. При такой езде мы явимся слишком рано, правда ведь?

Каппель не отвечает. Платнер оборачивается к Жаку:

— Чем раньше мы приедем, тем больше риска, что нас заметят. Как по-твоему? Ты спиши?

Жак не слышит. Он стоит посреди зала. На нем та холщовая блуза, которую он носил в исправительной колонии. Перед ним полукругом сидят офицеры — члены военно-полевого суда. Высоко подняв голову, он говорит, отчеканивая каждый слог: «Я знаю, что меня ждет. Но я пользуюсь последним остающимся у меня правом: вы не казните меня, прежде чем не выслушаете!» Это большой средневековый зал какого-то здания суда с нарядным потолком, состоящим из отдельных маленьких клеток, украшенных резьбой и позолотой. Председательствует генерал: он сидит на высоком кресле посреди судилища. Это г-н Фэм, директор исправительной колонии в Круи. Доброволец, конечно, и генерал... Такой же, как прежде, молодой, светловолосый, с круглыми щеками, чисто выбритыми и напудренными, в блестящих очках, скрывающих взгляд. На нем нарядный черный мундир с галунами, отделанный каракулем. Ниже, за маленьким столиком, сидят рядом два старика инвалида; грудь у них увешана медалями. Они безостановочно пишут. Их деревянки вытянуты под столом. «Я не хочу оправдываться! Тот, кто поступает согласно своим убеждениям, не нуждается в этом. Но пусть все, присутствующие здесь, услышат истину из уст человека, который идет на смерть...» Его рука сжимает стоящую перед ним полукруглую балюстраду. Все, присутствующие здесь... Он чувствует позади себя бесконечное множество поднимающихся амфитеатром скамей, переполненных зрителями, как на велодроме. Женни тут. Она сидит одна, на краю скамьи, бледная, рассеянная, в розовато-лиловом переднике и с детской колясочкой. Но он старается не оборачиваться. Он говорит не для нее. Он говорит и не для той странно молчаливой массы, внимание которой давит его, словно тяжелая ноша. Он говорит даже не для этих офицеров, которые не сводят

с него глаз. Он говорит исключительно для г-на Фэма, так часто унижавшего его в былые времена. Он пламенным взглядом впивается в бесстрастное лицо, но не может ни на секунду уловить ответный взгляд. Да и открыты ли у него глаза? Блеск очков, тень ст кепи мешают удостовериться в этом. Жак так хорошо помнит злой блеск в глубине этих маленьких серых глазок! Нет — судя по застывшим чертам лица, веки упрямо опущены. Каким одиноким чувствует себя Жак в присутствии директора! Он один во всем мире со своей собакой, с хромым пуделем, которого он подобрал в гамбургских доках... Вот если бы Антуан пришел, уж он-то заставил бы г-на Фэма открыть глаза! Каким одиноким чувствует себя Жак! Он один против всех. Генерал, офицеры, инвалиды, эта безымянная толпа, даже Женни, — все видят в нем обвиняемого, который должен дать отчет в своих действиях. Какая насмешка! Он выше, чище каждого из тех, кто присвоил себе право судить его! Он противостоит всему обществу в целом... «Есть закон, который стоит выше вашего закона: закон совести. Моя совесть говорит громче, чем все ваши кодексы... У меня был выбор между бессмысленной жертвой на ваших полях битвы и жертвой во имя протеста, во имя освобождения тех, кого вы обманули. Я выбрал! Я согласился умереть, но не для того, чтобы служить вам! Я умираю потому, что вы не оставили мне иного средства борьбы — борьбы до конца — за то единственное, что, вопреки разжигаемой вами ненависти, еще продолжает иметь для меня значение: за братство людей!» В конце каждой фразы маленькая, вделанная в пол загородка сотрясается под ударом его сжатого кулака. «Я выбрал! Я знаю, что меня ждет!» Взвод целящихся в него солдат внезапно возникает в его воображении и вызывает дрожь. В первом ряду он узнал Пажеса и Жюмлена. Он поднимает голову и снова оказывается в зале. Этот взвод почудился ему так ясно, что лицо его еще искажено волнением, но ему удается превратить эту гримасу в презрительную усмешку. Он по очереди оглядывает офицеров. Он смотрит на Фэма; он смотрит на него пристально, как смотрел бывало, когда с тоской и вызовом старался разгадать, что скрывается за постоянным молчанием директора. Громко, язвительно, он бросает: «Я знаю, что меня ждет! Ну, а вы-то знаете, что ожидает вас? Вы считаете, что у вас сила? Да, сегодня это так! С помощью нескольких пуль, выпущенных по вашей команде, вы можете заставить меня замолчать, — гордитесь этим. Но уничтожив меня, вы ничего не остановите! Мое воззвание переживет меня! Завтра оно принесет такие плоды, о которых вы и не подозреваете! И даже если мой призыв не найдет отклика, все равно народы, которые вы утопили в крови, скоро поймут и опомнятся! После меня против вас восстанут тысячи людей, подобных мне, сильных сознанием своей сплоченности! Рядом с вами и вашими преступными установлениями поднимаются человеческая солидарность и духовные силы, перед которыми беспомощны самые жестокие ваши репрессии! Прогресс, будущее мира

неуклонно работают против вас! Международный социализм движется вперед. Быть может, на этот раз он споткнулся. И вы варварски воспользовались его ошибкой. Да, вам удалось провести вашу мобилизацию! Но не обольщайтесь этой жалкой победой! Вы не повернете ход истории в свою пользу. Интернационализм неизбежно восторжествует над вами! Восторжествует на всей земле! И не моим трутом удастся вам загородить ему дорогу!» Глаза Жака испытующе смотрят на лицо г-на Фэма. Слепая маска, восковая маска. Неопределенная улыбка Будды, равнодушная, не-проницаемая. Жак дрожит от гнева. Во что бы то ни стало прийти в соприкосновение с этим человеком, с врагом! Хоть раз заставить его взглянуть! Он резко кричит: «Господин директор, посмотрите на меня!»

— Что такое? Что ты говоришь? Ты меня звал? — спрашивает Платнер.

Веки генерала поднимаются. Бездушный взгляд! Умирающий в больнице встречает такой взгляд в глазах санитара-профессионала, для которого человек в агонии уже только труп, нуждающийся в погребении. И вдруг ужасная мысль пронизывает мозг Жака: «Он велит убить и мою собаку. Велит Артуру, надзорителю, раз он взял его в ординарцы!..»

— Что ты говоришь? — повторяет Платнер.

Видя, что Жак не отвечает, он вытягивает в темноте руку и касается его ноги. Жак открывает глаза. Но в первую минуту он видит перед собой не купол брезента, а потолок здания суда с его позолоченными клетками. Наконец он приходит в себя: Платнер, кипы листовок, повозка...

— Ты звал меня? — повторяет Платнер.

— Нет.

— Как видно, мы уже недалеко от Лауфена, — замечает книготорговец после паузы. Потом, не пытаясь больше побороть упорную немоту Жака, умолкает.

Каппель, лежа на дне телеги, спит сном младенца.

Время от времени Платнер встает и делает попытку посмотреть наружу через щель в брезенте. Вскоре он вполголоса объявляет:

— Лауфен!

Повозка шагом проезжает по пустынному городу. Два часа ночи.

Проходит еще минут двадцать. Затем кобыла останавливается.

Каппель вскакивает.

— Что такое? Что случилось?

— Тише!

Повозка только что проехала Решенц. Теперь надо расстаться с долиной: по выезде из деревни шоссе переходит в кручу преселочную дорогу со множеством пересохших рыхтвин. Андреев слез

с телеги. Он гасит фонари и берет кобылу под уздцы. Повозка трогается.

Телега тряется на ухабах; рессоры скрипят. Жак, Платнер и Каппель придерживают груз, чтобы он не перекатывался в узком кузове со стороны на сторону. Эти толчки, эти звуки пробуждают в памяти Жака какой-то ритм, какую-то музыкальную фразу, нежную и печальную; он узнал ее не сразу... Этюд Шопена! Женни... Сад в Мезон-Лафите... Гостиная на улице Обсерватории... Вечер, такой близкий, такой далекий, когда Женни по его просьбе села за рояль.

Проходят добрые полчаса, и, наконец, новая остановка. Андреев отстегивает ремни брезента:

— Приехали.

Трое мужчин молча соскакивают с телеги.

Только три часа. Ночь звездная, но еще совсем темно. Однако небо на востоке уже начинает бледнеть.

Андреев привязывает кобылу к стволу низенького дерева. Теперь Платнер молчит. У него уже не такой уверенный вид, как в лавке. Он силенится пробуравить взглядом окружающий мрак. И бормочет:

— Где же оно, ваше плато?

— Пошли, — говорит Андреев.

Все четверо взбираются на поросший кустарником откос. Андреев идет впереди. На вершине склона, у края плато, он останавливается. С минуту он тяжело дышит, потом, положив руку на плечо Платнера, протягивает другую в темноту и поясняет:

— Начиная оттуда, — сейчас увидишь, — больше нет деревьев. Это и есть плато. Тот, кто выбрал его, знает свое дело.

— Теперь, — советует Каппель, — надо быстро разгрузить телегу, чтобы Андреев мог уехать!

— Идем! — громко говорит Жак и сам удивляется твердости своего голоса.

Они спускаются вчетвером с откоса. Несмотря на крутой склон, отделяющий плато от дороги, переноска мешков и бидонов совершается в несколько минут.

— Как только станет немного светлее, — говорит Жак, опуская на землю сверток белой материи, — мы расстелем простыни в трехчетырех местах, подальше от центра, — для посадки.

— Ну, а теперь удирай со своей колымагой! — ворчит Платнер, обращаясь к поляку.

Андреев, обернувшись ко всем троим, несколько секунд не трогается с места. Затем он делает шаг к Жаку. Выражения его лица не видно. Жак протягивает ему руки во внезапном порыве. Он слишком взволнован, чтобы говорить; он испытывает вдруг к этому человеку, с которым не увидится больше, прилив такой нежности... но тот никогда о ней не узнает. Поляк хватает протянутые

руки и, наклонившись, целует Жака в плечо, не произнося при этом ни слова.

Его шаги гулко отдаются на склоне. Мяукание осей: телега поворачивает. Затем — тишина... Очевидно, Андреев, прежде чем снова взобраться на свое место, пристегивает покрышку, проверяет упряжь. Наконец повозка трогается, и скрипенье колес, стон рессор, глухой стук копыт по песчаной почве — все эти звуки, сначала отчетливые, постепенно замирают во мраке. Платнер, Каппель и Жак молча стоят рядом на краю откоса и ждут, устремив взгляд в темноту, в ту сторону, откуда доносится постепенно удаляющийся шум. Когда ничего больше не слышно, кроме тишины, Каппель первый поворачивается к плато и беспечно растягивается на земле. Платнер садится рядом с ним.

Жак продолжает стоять. Пока что больше нечего делать. Ждать рассвета, аэроплана... Вынужденное бездействие снова отдает его во власть тоски. О, как бы ему хотелось прожить в одиночестве эти последние мгновения... Чтобы уйти от своих спутников, он делает наугад несколько шагов. «Пока все идет хорошо... Терпеть Майнестрель... Мы услышим его издали...» Мрак полон шелестов и шорохов — это насекомые. Снедаемый лихорадкой, шатаясь от усталости, подставляя ночной прохладе потное лицо, Жак, спотыкаясь о неровности почвы, кружит по плато, стараясь не слишком удаляться от Платнера и Каппеля, чей шепот время от времени доносится до него. Наконец от этого слепого блуждания у него подкашиваются ноги; он опускается на землю и закрывает глаза.

Он различил сквозь толщу стен звук этих шагов, скользящих по каменным плитам. Он знал, что Женни найдет способ проникнуть в тюрьму, еще раз пробить себе путь к нему. Он ждал ее, он надеялся, и все же он не хочет... Он противится... Пусть запрут двери! Пусть оставят его одного!.. Слишком поздно. Сейчас она придет. Он видит ее сквозь прутья решетки. Она идет к нему из глубины этого длинного белого больничного коридора; она скользит к нему, полускрытая креповой вуалью, которую не имеет права поднять в его присутствии. Они запретили ей это... Жак смотрит на нее, не двигаясь с места... Он не пытается подойти к ней, он не ищет больше соприкосновения с кем бы то ни было: он по ту сторону решетки... И вдруг — он сам не знает, как это случилось, — он держит в руках окутанную крепом круглую дрожащую головку. Он различает под вуалью искаженные черты. Она спрашивает его очень тихо: «Ты боишься?» — «Да... — Его зубы стучат так сильно, что он с трудом выговаривает слова. — Да, но этого не узнает никто, кроме тебя». Удивленным, спокойным, певучим голосом, который так не похож на ее голос, она шепчет: «Но ведь это конец... забвение всего, успокоение». — «Да, но ты не знаешь, что это такое... Ты не можешь понять...» Кто-то вошел в камеру за его спиной. Он не решается повернуть голову, он съеживается... Все исчезает. Ему надели на глаза повязку. Чьи-то

кулаки подталкивают его. Он идет. Свежий ветерок охлаждает его потную шею. Его ноги топчут траву. Повязка закрывает ему глаза, но он ясно видит, что переходит площадь Пленпале, оцепленную войсками. Что ему до солдат! Он не думает больше ни о чем и ни о ком. Единственное, что он замечает, — это овеивающий его легкий ветерок, это ласку кончающейся ночи и зарождающегося дня. Слезы струятся по его щекам. Он высоко держит голову с завязанными глазами и идет. Он идет твердым, но неровным шагом, словно разинченный паяц, потому что не владеет больше ногами, и почва кажется ему изрытой ямами, куда он то и дело проваливается. Ничего. Все-таки он идет вперед. Неясные шумы вокруг создают непрерывный и приятный гул, песнь ветра. Каждый шаг приближает его к цели. И он обеими руками поднимает и несет перед собой, словно дар, что-то хрупкое, что надо донести до конца, не оступившись... Кто-то посмеивается за его спиной... Мейнестрель?

Он медленно открывает глаза. Над ним свод небес, и созвездия на нем уже гаснут. Ночь кончается; небо светлеет и окрашивается там, на востоке, за гребнями гор, линия которых вырисовывается на молодом, осыпанном золотыми блестками небе.

У Жака нет ощущения, что он только что проснулся: он совершенно забыл свой кошмар. Кровь с силой пульсирует в его артериях. Ум ясен, чист, как природа после дождя. Время действовать близко: сейчас Мейнестрель будет здесь. Все готово... В гулкой голове, где развертывается цепь отчетливых мыслей, снова всплывает мелодия Шопена, словно приглушенный аккомпанемент, сладостный до боли. Жак вынимает из кармана записную книжку, вырывает страничку, которую отдаст Платнеру. Не видя, что у него получается, он набрасывает:

«Женни, единственная любовь моей жизни. Моя последняя мысль о тебе. Я мог бы дать тебе годы нежности. Я причинил тебе только боль. Мне так хочется, чтобы ты помнила меня таким...»

Слабый толчок, за ним второй, сотрясают землю, на которой лежит Жак. В нерешимости он перестает писать. Это ряд отдаленных взрывов: он слышит их, он ощущает их всем своим телом, прижатым к земле. Вдруг его осеняет: артиллерия... Он сует записную книжку в карман и вскакивает. На краю плато, у откоса, уже стоят Платнер и Каппель. Жак подбегает к ним:

— Артиллерия! Артиллерия в Эльзасе...

Придвинувшись друг к другу, они замирают на месте, вытянув шею, широко раскрыв глаза, глядя в одну точку. Да, там — война, ждавшая только рассвета, чтобы возобновиться... В Базеле они еще не слыхали ее...

И вдруг, в то время как они стоят так, затаив дыхание, с другой стороны раздается иной шум. Все трое оборачиваются одно-

временно. Вопросительно смотрят друг на друга. Ни один не решается еще назвать своим именем это едва уловимое гудение, которое, однако, усиливается с каждой секундой. Там, вдали, с правильными интервалами продолжается канонада, но они уже не слышат ее. Повернувшись к югу, они пожирают глазами бледное небо, заполненное теперь жужжанием невидимого насекомого...

Вдруг их руки поднимаются все разом: черная точка появилась над гребнями Гогервальда. Мейнестрель!

Жак кричит:

— Ориентиры!

Каждый хватает по простыне и бросается к одному из краев плато.

Самое большое расстояние приходится преодолеть Жаку. Спотыкаясь о комья земли, прижимая к себе сложенную простыню, он мчится вперед. Сейчас у него одна мысль, одно желание — во время добежать до крайней точки плато. Он не смеет потерять хоть секунду на то, чтобы поднять голову и взглянуть на полет аэроплана, который, оглушая его своим гудением, описывает, словно хищная птица, большие круги и, кажется, сейчас обрушится на него, схватит и унесет с собой.

#### LXXXIV

Несмотря на ледяной ветер, который хлещет его по лицу, забивается в ноздри, в рот, наполняет таким ощущением, словно он тонет, Жак не чувствует, что движется вперед. Его качает, его толкает, словно он стоит на тряской площадке тамбура между двумя вагонами. Оглушенный грохотом, который, несмотря на наушники шлема, терзает его барабанные перепонки, он даже не заметил, как аэроплан после ряда толчков по плато внезапно оторвался от земли. Пространство вокруг него — это густая хлопьевидная масса, от которой несет бензином. Глаза у него открыты, но взгляд, мысльвязли в этой вате. Способность дышать нормально он обрел довольно быстро. Больше времени ему нужно на то, чтобы приучить свои нервы к этому грому, который долбит и парализует мозг и то и дело пронзает электрическим током кончики пальцев. Малопомалу ум начинает все же связывать воедино образы, представления. Нет, теперь это уже не сон!.. Он привязан к спинке сиденья; колени упираются в пачки листовок, нагроможденные вокруг. Он приподнимается. Впереди, в окружающем его белесом тумане, под широкими черными лопастями крыльев, виднеется силуэт — плечи, шлем, — очерченный резко, словно китайские тени. Пилот! Ликующее исступление охватывает Жака. Аэроплан поднялся! Аэроплан — в стремительном полете! Жак испускает громкий крик — крик животного, долгий торжествующий вой, который

теряется в реве бури; однако спина Мейнестреля остается неподвижной.

Жак высовыvается наружу. Ветер стегает его, свистит в ушах пронзительно, как нож на точильном камне. Насколько видит глаз, под ним огромная и бесформенная сероватая фреска, положенная плашмя и находящаяся очень низко, очень далеко; выцветшая, потрескавшаяся гипсовая фреска с островками потускневших красок. Нет, не фреска, а страница из космографического атласа, немая карта незнакомой земли с обширными неисследованными пространствами. И тут Жак вспоминает об одной удивительной вещи: о том, что Платнер, что Каппель продолжают внизу, под ним, свое жалкое существование бескрылых насекомых... Внезапное головокружение... Его взгляд затуманивается. Оглушенный, он опускается на свое сиденье и закрывает глаза... Вдруг он видит себя ребенком... Отец... Антуан и Жиз... Даниэль... Потом туманное видение: Женни, в теннисном костюме, парк Мезон-Лафита... Потом все исчезает. Он снова открывает глаза. Перед ним по-прежнему сидит Мейнестрель: вот его плотная спина, круглый шлем. Нет, это не галлюцинация. Мечта, наконец, осуществилась! Как это произошло? Он не помнит. Начиная с того мгновения, когда он пытался разложить простыню на плато, когда, повинувшись какому-то инстинктивному побуждению, он распластался на земле, ощущая над собой чудовище, и вплоть до чудесной минуты, которую он переживает сейчас, он потерял всякий контроль над своими действиями. Его память механически отметила несколько смутных образов — призрачные фигуры, движущиеся в неясном утреннем свете, — и только... Он старается вспомнить. Он вдруг видит снова демоническое появление Мейнестреля, видит, как, внезапно наделив голосом и душой этот упавший с неба болид, Пилот высунул из кабинки плечи и лицо в кожаной оправе: «Быстрее, листовки!» Он снова видит людей, во мраке бегущих по плато, мешки, перебрасываемые из рук в руки. Он припоминает также, что в тот момент, когда он взобрался к Мейнестрелю с бидоном бензина, Пилот, стоя на коленях в освещенной машине, где он закреплял длинным ключом какой-то болт, повернулся голову: «Плохой контакт! Где механик?» — «Он уже уехал. Повез обратно телегу». Тогда, ничего не ответив, Мейнестрель снова безмолвно нырнул в глубину своей кабины. Но каким образом он, Жак, оказался здесь? Откуда этот шлем? Кто застегнул на нем эти ремни?

Подвигается ли аэроплан вперед? Затерявшись в пространстве, заполняя его своим упорным гудением, он кажется чем-то неподвижным, повисшим в солнечных лучах.

Жак оборачивается. Солнце — сзади. Восходящее солнце. Значит, они летят на северо-запад? Очевидно, на Альткирх-Тани...<sup>1</sup> Он снова приподнимается, чтобы выглянуть наружу. Да это просто чудо! Туман сделался прозрачным. Сейчас карта генерального

<sup>1</sup> Ныне — города в департаменте Верхний Рейн (Эльзас).

штаба, над которой он портил глаза целых четыре дня, расстилается под аэропланом, необозримая, залитая солнцем, красочная, живая!

В страстном любопытстве, опустив подбородок на металлический борт, Жак завладевает этим неведомым миром. Широкий белесоватый поток расплавленной массы, который как бы вычерчивает свой путь спиралью, делит пейзаж на две части. Долина? Долина Илля?<sup>1</sup> В центре этого Млечного Пути извивается пресмыкающееся, местами скрытое серебристым туманом: река. А что это за бледная черта, идущая вдоль реки, справа? Дорога? Альткирхское шоссе? А эта запутанная сеть жил и прожилок, которые скрещиваются и светлым пятном выделяются на подернутой туманной дымкой зелени равнины, что это — другие дороги? А вот эта чернильная, почти прямая черта, которую он сначала не заметил? Железнодорожное полотно?.. Вся внутренняя жизнь Жака сосредоточилась сейчас в этом устремленном вниз взгляде. Он различает теперь очертания холмов, окружающих долину. То тут, то там порывы ветра растягивают, разрывают пелену дремлющего тумана и обнажают новые обширные пространства. Вот темно-зеленое пятно лесистой вершины. А что появилось вдруг там, справа, в разрыве ваты? Город? Да, город, расположенный амфитеатром на склоне холма, целый миниатюрный городок, розовый в лучах солнца, городок, кишащий множеством невидимых жизней.

Аэроплан слегка накренился назад. Жак чувствует, что машина поднимается, поднимается в непрерывном, бодром и уверенном полете. Теперь он так привык к рычанию мотора, что оно необходимо ему, что он не мог бы без него обойтись, что он отдается ему и упивается им. Оно стало как бы музыкальным отражением его восторга, симфоническим оркестром, могучие волны которого переводят на язык звуков чудо этой минуты, волшебство этого полета, уносящего его к цели. Ему незачем больше бороться, выбирать; он избавлен от необходимости хотеть. Освобождение! Встречный ветер, воздух высот, упрямая уверенность в успехе — все это подхлестывает его кровь, и она струится быстрее, сильнее. Он ощущает в глубине своей груди быстрое ритмическое биение сердца: это как бы человеческий аккомпанемент, глубокое, интимное участие его существа в том сказочном, торжествующем гимне, которым звучит все пространство вокруг...

Мейнестрель суетится.

Он уже зачем-то нагибался минуту назад. Чтобы взглянуть на карту? Или просто чтобы сильнее нажать на рычаги управления?.. Жак весело следит взглядом за манипуляциями своего спутника. Он кричит: «Алло!» Но расстояние и адский грохот исключают всякую возможность общения между ними.

Мейнестрель выпрямился. Потом он снова ныряет и несколько минут сидит наклонившись. Жак с любопытством наблюдает за

<sup>1</sup> Река в Эльзасе, левый приток Рейна.

ним. Он не видит, что именно делает Пилот, но по резким движениям плеч угадывает напряжение, физическую работу, может быть возвину с тем длинным ключом, который он, помнится, уже видел в руках Мейнестреля еще на плато.

Беспокоиться нечего: Пилот знает свое дело...

Вдруг в воздухе происходит какое-то сотрясение, какой-то толчок. Что такое? Жак с удивлением оглядывает окружающее пространство. Проходит несколько секунд, прежде чем ему удается понять, в чем дело: этот толчок, эта внезапная пустота — попросту неожиданное вторжение тишины, полной, благоговейной, межпланетной тишины, которая вдруг сменила жужжанье мотора... Зачем было выключать газ?

Мейнестрель приподнялся. Пожалуй, он даже стоит: его фигура закрывает переднюю часть машины.

Жак, насторожившись, не спускает глаз с этой неподвижной спины. Досадно, что нельзя разговаривать друг с другом...

Аэроплан, словно сам удивленный своим молчанием, делает несколько очень мягких волнообразных движений; затем несется вниз, разрезая воздух с шелковистым свистом стрелы. Планирующий спуск? Штопор? Для чего эти маневры? Не боится ли Мейнестрель, что аэроплан будет обнаружен по звуку? Может быть, он хочет спуститься? Разве передовые позиции уже близко? И, значит, скоро надо будет сбросить первую партию возвзваний? Да, как видно, это так: потому что Мейнестрель, не оборачиваясь, сделал едва уловимый, быстрый жест левой рукой... Жак, трепеща, протягивает руку, чтобы схватить пачку листовок. Но, невольно соскочив со своего сиденья, теряет равновесие. Ремни врезаются ему в бока. Что же происходит? Аэроплан потерял горизонтальное положение и пикирует. Почему? Преднамеренно ли это? Сомнение закрадывается в душу Жака. Догадка о возможной опасности борется с чувством полного доверия, которое внушает ему Мейнестрель... Жак цепляется за борт кабины, пытается привстать, чтобы выглянуть наружу. Ужас! Пейзаж опрокидывается. Поля, луга, леса, минуту назад расстилавшиеся как ковер, теперь шатаются, кривятся, коробятся, словно охваченная пламенем акварель, и, вызывая головокружение, поднимаются, поднимаются к нему в грохоте урагана с быстрой надвигающейся катастрофой!

Усилием бедер Жаку удается разорвать ремень, откинуться назад.

Падение! Гибель...

Нет. Каким-то чудом машина выпрямляется, почти что восстанавливает положение, нужное для полета... Мейнестрель еще управляет... Надежда!

С минуту аэроплан растерянно парит в воздухе. Затем бурные волны подхватывают его, подкидывают, встряхивают, рвут на части. Фюзеляж трещит. Аэроплан наклоняется влево. Вираж на крыло? Посадка? Съежившись, Жак цепляется обеими руками

за железо, но его ногти скользят — им не за что ухватиться. Отчетливое видение запечатлевается на сетчатой оболочке его глаз: несколько елочек, залитых солнцем, лужайка... Он инстинктивно опускает веки. Бесконечно долгая секунда. Опустошенный мозг, сердце в тисках... Мяуканье рога раздирает его барабанные перепонки. Огоньки фейерверка обвивают его, переворачивают, уносят в своем кружашемся танце. Колокола, колокола звонят не переставая... Он хочет крикнуть: «Мейнест...» Сотрясение неслыханной силы раздробляет ему челюсть... Его тело летит в пространство, и ему кажется, что он расплющивается о стену, словно известковый раствор, сброшенный с лопаты.

Немыслимая жара... Языки пламени, треск, смрад пожара... Острые иглы, лезвия терзают его ноги. Он задыхается, борется. Он делает нечеловеческое усилие, чтобы отодвинуться, чтобы выплыть из пылающего костра. Невозможно. Его ноги припаяны к огню.

Два стальных когтя схватили его сзади за плечи, волочат его куда-то. Растиранный, четвертованный, он вопит... Его тащат по гвоздям, его тело превратилось в лохмотья...

И вдруг весь этот ужас тонет в сладостном покое. Мрак. Небытие...

## LXXXV

Голоса... Слова... Далекие, отгороженные густой войлочной завесой. Однако они упорно проникают в него... Кто-то говорит с ним. Мейнестрель?.. Мейнестрель зовет его... Он борется с собой, он делает мучительные усилия, чтобы вырваться из этого столбняка.

— Кто вы? Француз? Швейцарец?

Невыносимая боль разрывает ему поясницу, ляжки, колени. Он прибит к земле железными гвоздями. Его рот — сплошная рана; распухший язык душит его. Не открывая глаз, он запрокидывает голову, чуть поворачивает ее вправо и влево, напрягает плечи, чтобы приподняться: невозможно. С подавленным стоном он снова падает на эти гвозди, буравящие ему спину. Отвратительный запах бензина, горелого сукна заполняет ноздри, горло. Из рта течет слюна; и краешком губ, которые ему почти не удается открыть, он выбрасывает сгусток крови, плотный, как мякоть плода.

— Какой национальности? Вам было дано задание?

Голос журчит в его ушах и насиливо выводит из оцепенения. Его блуждающий взгляд выступает из темных глубин, скользит между веками, на мгновение вырывается на свет. Он видит вершину дерева, небо. Краги, белые от пыли... Красные штаны... Армия... Несколько французских пехотинцев наклонились над ним. Они убили его, сейчас он умрет...

А листовки? Аэроплан?

Он слегка приподнимает голову. Через отверстие, образуемое расставленными ногами солдат, метрах в тридцати он видит аэроплан... Бесформенная груда обломков дымится на солнце, словно погасший костер: куча железного лома, откуда свешивается несколько обуглившихся тряпок. В стороне, глубоко вонзившись в землю, стоит в траве искромсанное крыло, одинокое, как огородное пугало... Листовки! Он умирает, не сбросив ни одной из них! Все пачки там, уничтоженные огнем, навеки погребенные под пеплом! И никто никогда, никогда больше... Он запрокидывает голову; его взгляд теряется в ясном небе. Мучительно жаль этих бумажек... Но он слишком страдает, все остальное неважно... Эти ожоги, которые прогрызают ему ноги до мозга костей.. Да, умереть! Скорей, скорей...

— Ну? Отвечайте! Вы француз? Что вы, черт побери, делали на этом аэроплане?

Голос совсем близко, запыхавшийся, громкий, но не грубый.

Жак снова открывает глаза. Еще молодое лицо, распухшее от усталости: два голубых глаза за стеклами пенсне, под козырьком кепи в голубом чехле. Другие голоса раздаются вокруг, сталкиваются, снова затихают. «Говорю вам, он уже не в себе!» — «Дал ты знать капитану?» — «Господин лейтенант, может, при нем есть документы. Надо обыскать его...» — «Может похвастаться, что дешево отдался!» — «Сейчас придет врач: за ним побежал Паслен...»

Человек в пенсне опустился на одно колено. Его плохо выбритый подбородок и шея выступают из расстегнутого мундира; на груди перекрещаются ремни, портупея.

— Ты не говоришь по-французски? Bist du Deutsch? Verstehst du?<sup>1</sup>

Жесткие пальцы опускаются на разбитое плечо Жака. Он издает глухой стон. Лейтенант сейчас же отнимает руку.

— Вам больно? Хотите пить?

Жак опускает ресницы в знак подтверждения.

— Во всяком случае он понимает по-французски, — бормочет офицер, поднимаясь с земли.

— Господин лейтенант, я уверен, что это шпион...

Жак силится повернуть голову к этому крикливому голосу. В эту минуту несколько солдат меняют положение, и на земле, метрах в трех, становится видна какая-то темная масса, нечто без названия, обуглившееся, не имеющее ничего человеческого, кроме руки, скрючившейся на траве: вся рука, от плеча до кисти, а вместо кисти — черная птичья лапа, от которой Жак не может оторвать глаз. Тонкие нервные пальцы, растопыренные, наполовину скрюченные. Шум голосов вокруг Жака как будто затихает...

<sup>1</sup> Ты немец? Понимаешь? (нем.).

— Посмотрите, господин лейтенант, вот идет Паскен с врачом. Паскен видел все; он нес кофе охранению... он говорит, что аэроплан...

Голос отдаляется, отдаляется, поглощенный войлочной завесой. Вершина дерева на фоне неба задернулась туманом. И боль тоже отдаляется, медленно отдаляется, растворяясь в слабости, в тошноте... Листовки... Мейнестрель... Тоже умереть...

По велению чьей таинственной, деспотической власти остается он на дне этой лодки, раздавленный, раскачиваемый, бессильный? Мейнестрель — тот давно уже бросился в воду, потому что эта буря на озере слишком уж сильно качала их лодку... Солнце жжет, как растопленный свинец. Жак тщетно старается спрятаться от его укусов. Он делает усилие, чтобы переменить положение, и это заставляет его приоткрыть веки, но тут же снова закрывает их, пронзенный до глубины зрачков золотой стрелой. Ему больно. Острые булыжники на дне лодки терзают его тело. Ему хотелось бы позвать Мейнестреля, но во рту у него раскаленный уголь, который прогрызает ему язык... Толчок. Он болезненно ощущает его каждым кончиком нервов. Как видно, лодка, подброшенная внезапно нахлынувшей волной, стукнулась о пристань. Он снова открывает глаза... «Эй, Стеклянный, хочешь пить?» Кепи... Это обратился к нему жандарм... Незнакомое лицо, плохо выбритое лицо деревенского кюре. Кругом грубые громкие голоса, перебивающие друг друга. Ему больно. Он ранен. Очевидно, он жертва какого-то несчастного случая. Пить... Он чувствует у своих пылающих губ край жестянной кружки. «Нет, дружище, их винтовки — это пустяки. Зато пулеметы!.. И они наставили их повсюду, эти скоты!» — «А у нас разве нет пулеметов? Вот погоди, увидишь, что будет, когда мы выставим наши!..»

Пить... Несмотря на то, что он на солнце и весь в поту, у него озноб. Его зубы стучат о жесть. Рот — сплошная рана... Он жадно отпивает глоток и давится. Струйка воды стекает по подбородку. Он хочет поднять руку — руки в кандалах и привязаны ремнями к носилкам. Ему хотелось бы попить еще. Но рука, державшая кружку, отстринилась... Вдруг он вспоминает. Все! Листовки... Обуглившаяся кисть Мейнестреля, аэроплан, пылающий костер... Он закрывает глаза; их жжет солнце, пыль, пот, жгут слезы... Пить... Ему больно. Он равнодушен ко всему, кроме своей боли... Но гул голосов, раздающихся вокруг, заставляет его открыть глаза.

Его окружают пехотинцы; у всех расстегнутый ворот, голая шея, волосы слиплись от пота. Они ходят взад и вперед, разговаривают, окликают друг друга, кричат. Жак лежит у самой земли на носилках, поставленных в траву на краю дороги, где полно солдат. Скрипучие фуры, запряженные мулами, медленно проезжают мимо него, не останавливаясь, поднимая густую пыль. В двух метрах, на

обочине, жандармы, стоя, пьют по очереди, не прикладываясь губами, высоко поднимая блестящую солдатскую манерку. Винтовки, составленные в козлы, сложенные штабелями ранцы бесконечной линией вытянуты вдоль дороги. Солдаты, группами расположившись на откосе, беседуют, жестикулируют, курят. Самые измученные спят на солнцепеке, растянувшись на спине, заслонив рукой лицо. В канаве, совсем близко от Жака, сложив руки крестом, лежит молоденький солдатик; широко раскрытыми глазами он смотрит в небо и жует травинку. Пить, пить... Ему больно. У него болит все: рот, ноги, спина... Лихорадочная дрожь пробегает по его телу и каждый разistorгает у Жака глухой стон. Однако это не та острая боль, которая раздирила его сразу после падения, после пожара. Очевидно, о нем позаботились, перевязали его раны. И вдруг одна мысль пронизывает его дремлющий мозг! Ему ампутировали ноги... Какое значение имеет это теперь?.. И все-таки мысль об ампутации не покидает его. Его ноги... Он больше не чувствует их... Ему хотелось бы знать... Затянутые ремни приковывают его к носилкам. Однако ему удается приподнять затылок; он успевает увидеть свои окровавленные руки и обе ноги, выступающие из обрезанных до половины штанин. Его ноги! Они целы... Но что с ними? Они забинтованы и вложены от колен до лодыжек в лубки: это дощечки, как видно оторванные от какого-нибудь старого ящика, потому что на одной из фанерок еще видны черные буквы: «*Осторожно! Стекло*». Обессилен, он опускает голову.

Вокруг голоса, голоса... Люди, солдаты... Война... Солдаты разговаривают между собой: «Один драгун сказал, что полк стягивается туда...» — «Надо идти за колонной, и все тут. Разберешься на привале». — «А вы откуда идете?» — «Почем мы знаем названия мест? Оттуда... А вы?» — «Мы тоже. Мы, знаешь ли, всего на видались с пятницы!» — «Ого! А мы-то!» — «У нас, приятель, дело обстоит просто: после начала наступления — с пятницы, седьмого, это ведь той дня, так? — мы не спали и шести часов. Верно я говорю, Майяр? И нечего жрать. В субботу вечером нас немного покормили, ну, а с тех пор, как отступаем в этой неразберихе, ничего, никаких припасов! Не случись нам поживиться у земляков...» Дальше другие, сердитые голоса: «Говорю тебе, что это еще не конец!» — «А я тебе говорю, что наше дело пропавшее! Верно, Шабо? Пропавшее! И если мы вздумаем снова наступать, то нам крышка...»

Пожалуй, самое болезненное — это рана во рту; она не дает глотать слюну, говорить, пить, почти не дает дышать. Жак пробует осторожно пошевелить языкком. В глубине горла у него упорно держится вкус бензина, горелого лака...

«И потом, знаешь ли, все ночи в поле, начеку... А когда батальон подошел к Каршаху...»

Да, у него ранен язык: он распух, разорван, с него содрана кожа... По-видимому, ему попал в лицо какой-нибудь обломок или он разбил подбородок при падении. Впрочем, нет. Ведь болит у него

внутренность рта. Его ум работает. «Я поранил язык зубами», — говорит он себе наконец. Но это напряжение внимания обессиливает его, у него кружится голова. Он снова опускает веки. Перед закрытыми глазами пляшут огни. В ногах не прекращается острыя, колющая боль. Он слабо стонет и вдруг снова отдается ощущению покоя... забытью...

— Повсюду ожоги... ноги вдребезги... шпион.

Он открывает глаза. По-прежнему ботинки, краги.

Жандармы подошли ближе к носилкам. Вокруг них образовалась толпа. «Должно быть, аэроплан...» — «А, таубе? Брикар видел его...» — «Брика?» — «Нет! Брикар, долговязый унтер из пятого». — «Ничего от него не осталось, от их таубе». — «Одним меньше!» — «Этому Стеклянному еще повезло... Может, выкарабкается, несмотря на свои ноги...» Голос знаком Жаку. Он поворачивает голову. Это говорит и смотрит на него пожилой жандарм, похожий на деревенского кюре, с тусклыми глазами, с облысевшим лбом, тот самый, который давал ему пить. «Еще чего!» — бросает другой жандарм, маленький, плотный, черноволосый; он похож на корсиканца; глаза у него словно раскаленные угли. «Слышите, начальник? Маржула сказал, что Стеклянный выкарабкается! Ненадолго!» Жандармский бригадир хохочет: «Ненадолго! Это верно... Паоли прав. Ненадолго!» Это высокий детина с новенькими нашивками на рукавах. У него черная, очень густая борода, из-за которой видны только две щеки цвета сырого мяса. «Если так, почему же с ним не разделись на месте?» — спрашивает кто-то из солдат. Бригадир не отвечает. «И далеко вы его потащите?» — «Надо доставить его в штаб корпуса», — поясняет корсиканец. Бригадир отворачивается, недовольный. Он брюзжит поучительным тоном: «Мы ожидаем приказа». Какой-то сержант пехоты разражается мальчишеским смехом: «В точности как мы! Вот уже два дня, как мы его ждем, этого самого приказа!» — «А вместе с ним и похлебки!» — «Ну и неразбериха!» — «Кажется, больше нет даже связистов... Полковник...» Их прерывает свисток. «Разбирай винтовки! Колонна выступает!» — «Надеть ранцы! Вставайте, вы там! Надеть ранцы!»

Шум и суматоха царят сейчас вокруг Жака. Колонна трогается в путь. Он проваливается в темную яму. Вода булькает вокруг его лодки; одна более сильная волна приподнимает ее, укачивает, относит в сторону...

«Держи правее!» — «Что случилось?» — «Правее!..» Толчки. Жак открывает глаза. Перед ним спина жандарма, который несет передок носилок.

Колонна извивается, людской поток огибает мертвого мула: забытый на дороге, он лежит, раздувшийся, ногами вверху, распостраняя зловоние. Солдаты отплевываются и с минуту отмахиваются от мух, облепляющих лица. Затем, ковыляя, выравнивают ряды, и подбитые гвоздями подошвы снова возобновляют свой скрежет по каменистой почве.

Который час? Лучи солнца падают отвесно и жгут лицо. Ему больно. Десять, одиннадцать часов? Куда его несут?.. Пыль такая, что ничего не видно на расстоянии нескольких метров. Слева полковые повозки продолжают ехать шагом в едком, удушливом облаке. Дорога курится, дорога воняет лошадиным навозом, мокрой шерстью, кожей, человеческим потом. Ему больно. Главное — у него нет сил. Нет сил думать, нет сил выйти из своего оцепенения. Горло его раздражено от пыли, язык окровавлен, десны пересохли от лихорадки, от жажды, он затерян в топоте этих бесчисленных ног, в этом шуме марширующей армии, затерян, и одинок, и отрезан от всего — от жизни, от смерти... В редкие минуты просветления, чередующегося с долгими промежутками бессознательного состояния или кошмара, он непрерывно повторяет себе: «Мужайся... Мужайся...» Иногда солдаты шагают так близко от носилок, что он не видит уже ничего, кроме этих покачивающихся тел, кроме стволов винтовок и воздуха, дрожащего между ним и небом; он как бы в центре волнующегося леса, который движется вперед, и его тупой взгляд упорно устремляется то на туго набитую раскачивающуюся сумку, то на блестящую кружку, привязанную к покрытой синим чехлом машинке. Многие солдаты отпустили ремни и сдвинули ранцы на поясницу; плечи у них согнуты, лица грязны от пыли и пота. Во взглядах, которые Жак подчас ловит на себе, такое странное выражение, — внимательное и рассеянное одновременно, — смущающее и до того непонятное выражение, что у него начинает кружиться голова... Они идут, идут прямо вперед, плечо к плечу, ничего не видя, не разговаривая, шатаясь, но упорно продолжая это спасительное отступление, и силы их изнашиваются на дороге, словно стираясь на точильном бруске. Справа высокий, тощий солдат, с правильным, словно вычеканенным профилем, с повязкой санитара на рукаве, торжественно выступает, подняв голову, серьезный, сосредоточенный, точно на молитве. Слева от носилок осторожно шагает маленький хромой солдатик. Отупевший взгляд Жака устремляется на эту прихрамывающую ногу, которая запаздывает при каждом шаге и при каждом усилии немного сгибается в колене. По временам, когда какой-нибудь беспорядок расстраивает ряды, Жак видит также деревья, изгороди, луга, деревенский пейзаж, залитый солнцем... Возможно ли? Только что у края дороги перед ним промелькнул двор фермы: гумно, крытое глиной, смешанной с соломой, серый дом с закрытыми ставнями, куча навоза, где клюют куры. До него донесся терпкий запах навозной жижи... В оцепенении он покачивается на носилках; глаза его почти все время закрыты. Его ноги... Рот... Если бы только жандарму пришло в голову еще раз дать ему напиться... Движение то и дело прерывается; то и дело внезапные остановки, после которых солдаты, задыхаясь, вынуждены бежать, чтобы, заполнив интервал, не дать повозкам воспользоваться свободным промежутком и вклинившись в колонну. «Просто смотреть тошно! Почему это мы всё идем по одной дороге!» — «Везде то же самое, приятель! Все дороги запружены обозами! Подумай

только — ведь отступает целая дивизия!» — «Дивизия? Говорят, весь Седьмой корпус!»

«Эй, ты! Куда бежишь?» — «Ты что, с ума сошел?» — «Эй, старина!»

Какой-то пехотинец наискось перебежал дорогу, наперерез колонне, направляясь назад, на восток — к противнику.. Не обращая внимания на оклики, он пробирается между повозками, между солдатами. Он уже немолод. У него седая борода, и она поседела не только от пыли. Он без оружия, без ранца; выцветшая солдатская шинель надета поверх крестьянских штанов из коричневого плиса. Болтающиеся от бега предметы бьют его по бедрам: подсумки, манерка, сумка. «Эй, папаша, куда бежишь?» Он увертывается от протянутых рук. У него растерянное лицо, упрямый, дикий взгляд. Губы его шевелятся: кажется, что он тихо беседует с привидением. «Ты что, домой идешь, старина?» — «Счастливо!» — «Пиши чаще!» Не поворачивая головы, не говоря ни слова, солдат устремляется вперед, перелезает через кучу камней, перепрыгивает канаву, раздвигает кусты, окаймляющие пастище, и исчезает.

«Смотри-ка! Лодки!» — «На дороге?» — «Как так?» — «Это удирает рота понтонеров!» — «Они перерезали колонну». — «Где?» — «И верно! Погляди! Лодки на колесах! Чего только тут не увидишь!» — «Ну что, Жозеф, пожалуй, на этот раз мы раздумали переходить Рейн?» — «Быстрее!» — «Марш!» Колонна вздрогивает и трогается в путь.

Через сто метров новая остановка. «Что там еще?» На этот раз стоянка затягивается. Дорогу пересекает железнодорожное полотно, по которому тянутся бесчисленные составы пустых вагонов; их волочит пыхтящий, добела раскаленный паровоз. Жандармы опускают носилки в пыль. «Кажется, дело плохо, начальник: они стводят подвижной состав в тыл!» — посмеиваясь, говорит Маржула. Бригадир смотрит на поезд и, не отвечая, отирает пот с лица. «Гм, — зубоскалит маленький корсиканец, — Маржула сильно повеселел с тех пор, как мы даем стрекача! Верно, начальник?» — «Да... — говорит третий жандарм, атлет с бычьей шеей, который, сидя на куче камней, жует кусок хлеба, — третьего дня, когда мы заметили улан, ему стало сильно не по себе...» Маржула краснеет. У него большой нос, большие серые глаза, грустный, уклончивый, но не безвольный взгляд, упрямый лоб, лицо расчетливого крестьянина. Он обращается к бригадиру, который молча смотрит на него: «Что греха таить, начальник: война — это не по мне. Я не корсиканец, я никогда не любил драться».

Бригадир не слушает. Он отвернулся и смотрит вправо. Глухой, как барабанный бой, топот примешивается к шуму поезда. Вдоль железнодорожного пути рысью несется группа всадников. «Разъезд?» — «Нет, это из штаба». — «Может, приказ?» — «Посторонитесь, черт побери!» Кавалерийский отряд состоит из капитана кирасир, сопровождаемого двумя унтер-офицерами и несколькими солдатами. Лошади пробираются между повозками и пехотинцами,

огибают носилки, пересекают дорогу, собираются вместе по ту сторону ее и мчатся напрямик, через поля, на запад. «Этим везет!» — «Как бы не так! Говорят, что кавалерийская дивизия получила приказ зайти нам в тыл, чтобы помешать им неожиданно напасть на нас сзади!»

Вокруг носилок спорят солдаты. Между отворотами рассстегнутых шинелей, на потной груди у каждого висит на черном шнурке медальон, личный знак, который в случае смертельного ранения должен будет удостоверить личность каждого трупа. Сколько им лет? У всех помятые, грязные лица, одинаково старые. «Осталось у тебя немного воды?» — «Нет, ни капли!» — «Говорю тебе, что ночью, седьмого, мы видели цеппелин. Он летел над лесом...» — «Так мы не отступаем? Нет? Тогда чего тебе еще надо?» — «Связист из бригады слышал, как офицер из штаба объяснял это Старику. Мы не отступаем!» — «Слышите, вы? Он говорит, что мы не отступаем!» — «Нет! Это называется: стратегический отход. Чтобы лучше подготовить контрнаступление... Ловкая штука... Мы возьмем их в «клещи». — «Во что?» — «В «клещи». Спроси у фельдфебеля. Знаешь, что это за клещи? Мы заманим их в западню, понимаешь? А потом — трах! Клещи сжимаются, и их песенка спета!» — «Таубе!» — «Где?» — «Там!» — «Где?» — «Прямо над скирдой!» — «Таубе!» — «Марш!» — «Таубе, господин фельдфебель!» — «Вперед! Вот и багажный вагон. Это хвост состава». — «Почему ты думаешь, что это таубе?» — «Ясно. Его обстреливают. Смотри!» Вокруг крошечной блестящей точки в небе появляются маленькие облачка дыма, которые в первую минуту принимают шарообразную форму, а потом рассеиваются от ветра. «Стройся! Марш!» Последние вагоны медленно скользят по рельсам. Переезд свободен.

Давка... «О, эти толчки!.. Мужайся... Мужайся...» В минутном проблеске сознания Жак слышит над собой тяжелое дыхание жандарма, несущего изголовье носилок. Потом все опрокидывается: головокружение, тошнота, смертельная слабость. «Мужайся...» Пестрые ряды солдат проходят, кружась словно деревянные дощадки на каруселях, синие и красные. Жак стонет. Тонкая рука, нервная рука Мейнестреля чернеет, скрючивается на глазах, превращается в обуглившуюся куриную лапу... Листовки! Все сгорели, погибли... Умереть... Умереть...

Гудок автомобиля. Жак поднимает веки. Колонна остановилась у въезда в городок. Автомобиль гудит; он идет из тыла. Чтобы пропустить его, солдаты скучиваются на краю дороги. При крике «смирно» жандармский бригадир отдает честь. Это открытая машина с флагжком, переполненная офицерами. В глубине поблескивающее золотом кепи генерала. Жак закрывает глаза. Картина военного суда проносится перед его глазами. Он стоит в центре судилища, перед этим генералом в кепи с золотым позументом...

Г-н Фэм... Гудок безостановочно гудит. Все смешалось... Когда Жак снова открывает глаза, он видит ровно подстриженную живую изгородь, лужайки, герань, виллу с полосатыми шторами... Мезон-Лафит... Над оградой развевается белый флаг с красным крестом. У подъезда пустой, изрешеченный пулями санитарный автомобиль; все стекла разбиты. Колонна проходит мимо. Она шагает несколько минут, затем останавливается. Носилки резко ударяются о землю. Теперь на каждой, даже самой короткой стоянке большинство солдат, вместо того чтобы ждать стоя, валятся на дорогу в том самом месте, где остановились, не снимая ни мешка, ни винтовки, словно хотят исчезнуть здесь с лица земли.

Колонна находится в двухстах метрах от деревни. «Похоже на то, что мы сделаем привал у земляков», — говорит бригадир.

Суматоха. «Марш!» Колонна движется дальше, проходит пятьдесят метров и снова останавливается.

Толчок. Что такое? Солнце еще высоко и жжет. Сколько часов, сколько дней длится этот переход? Ему больно. Кровь, скопившаяся во рту, придает слюне отвратительный вкус. Слепни, мухи, которыми покрыты мулы, впиваются ему в подбородок, жалят руки.

Деревенский мальчишка с горящими глазами рассказывает, смеясь, окружившим его солдатам: «В подвале мэрии... Прямо напротив отдушины... Тroe! Тroe пленных улан... Им недолго осталось! Ну точь-в-точь куницы... Говорят, они хватают всех детей и отрубают им руки... Одного из них двое часовых водили мочиться. Так бы и распорол ему живот!» Бригадир подзывает мальчугана. «Что, есть еще у вас тут вино?» — «Как не быть!» — «Вот тебе двадцать су, пойди купи лitr». — «Нипочем не вернется, начальник», — неодобрительным тоном предсказывает Маржула. «Вперед! Марш!» Новая перебежка на пятьдесят метров до перекрестка, где расположился привалом взвод кавалеристов. Справа, на большом участке, обнесенном белой оградой, — как видно, это базарная площадь, — унтер-офицеры выстроили остатки пехотной роты. В центре капитан говорит что-то солдатам. Потом ряды расстраиваются. Возле скирды походная кухня, — здесь раздают похлебку. Звяканье котелков, крики, споры, гуденье пчелиного роя. Мальчишка появляется снова, запыхавшись, размахивая бутылкой. Он смеется: «Вот ваше вино, получайте. Взяли четырнадцать су, — ну и мародеры!»

Жак открывает глаза. Запотевшая бутылка кажется ледяной. Жак смотрит на нее, и его веки вздрагивают: один только вид этой бутылки... Пить... Пить... Жандармы обступили бригадира, который держит бутылку в ладонях, словно желая насладиться сперва ее прохладой. Он не торопится. Расставив ноги, он принимает удобное положение, поднимает лitr против солнца и, прежде чем приложитьсь к горлышку, откашливается и харкает, чтобы во рту было чисто. Напившись, он улыбается и протягивает бутылку Маржула, как самому старшему. Вспомнит ли Маржула о нем, Жаке? Нет.

Он пьет и передает литр своему соседу Паоли, у которого ноздри раздуваются, как у лошади. Жак тихонько опускает веки — чтобы не видеть...

Вокруг него — голоса. Он то открывает глаза, то закрывает. Драгунские унтер-офицеры — те, чей взвод дожидается на проселочной дороге, — пользуются остановкой колонны, чтобы подойти поболтать с пехотинцами: «Мы из бригады легкой кавалерии. Седьмого нас ввели в бой, вместе с Седьмым корпусом... Нам велено было дойти до Танна, повернуть фронт и, изменив направление, пройти вдоль Рейна, чтобы отрезать мосты. Но мы поторопились. Плохо начали, понимаешь? Хотели идти слишком быстро. Кони упирались, пехота выбилась из сил... Пришлось отступать». — «Ну и неразбериха!» — «Здесь-то еще ничего! Мы идем оттуда, с севера. Там такие дела!.. На дорогах там не только войска, но и все гражданское население тех краев: у всех у них душа ушла в пятки — удирают!» — «А мы были в авангарде, — говорит сержант пехоты низким звучным голосом. — К вечеру дошли до самого Альткирха». — «Восьмого?» — «Да, восьмого, в субботу. Третьего дня, что ли?...» — «Мы тоже были там. Пехота не подкачала, ничего не скажешь. В Альткирхе было полно пруссаков. Пехотинцы живо выгнали их оттуда и — в штыки! А потом, ночью, мы гнали их до Вальгейма». — «Это что! Мы дошли до самого Тагольсгейма». — «И вдруг, на следующий день, перед нами никого... Ни души. До самого Мюлуза. Мы уж решили, что дойдем так до Берлина! Но нет, они, сволочи, хорошо знали, что делали, когда давали нам продвинуться вперед. Со вчерашнего дня они перешли в контрнаступление. Кажется, там сейчас жарко». — «Наше счастье, что получен приказ удирать, а то от всех нас сейчас ничего бы уже не осталось». Пехотный фельдфебель и несколько сержантов из колонны подходят послушать. У фельдфебеля воспаленные глаза, красные пятна на щеках, прерывистый голос: «Мы дрались тринадцать часов, тринадцать часов подряд! Верно, Роже? Тринадцать часов!.. Уланы засели впереди, в ельнике. Умирать буду — не забуду. Выбить их оттуда было просто невозможно. И вот нашу роту послали влево, в обход рощи. Я — кто? Счетовод у Зиммера, в Плюто, — так что, сами понимаете... Больше километра проползли на брюхе. Прошло два часа, три часа, — мы уж думали, что никогда не доберемся до фермы. Однако добрались. Хозяева сидели в подвале; женщины, детишки плакали — жалко было на них смотреть... Посадили их под замок. Эльзасцы, конечно, но все-таки... В стенах пробили бойницы... Поднялись на второй этаж, окна заделали матрацами. Пулемет у нас был только один, но патронов — без счета. И вот мы продержались там целый день! Говорят, полковник сказал, что нам оттуда не выйти. И все-таки мы вернулись! Просто поверить трудно, что иной раз случается проделать!.. Но уж когда был получен приказ уходить, мы не заставили повторять его дважды, — могу вам поклясться! Когда мы выходили из лесу, нас еще было двести.

А когда уходили с фермы, осталось только шестьдесят человек, да еще из этих шестидесяти не меньше двух десятков раненых... И знаешь что — ты, может быть, мне не поверишь, но, в общем, это не так страшно, как кажется... Не так страшно потому, что в это время и сам не знаешь, что делаешь. Ни солдаты, ни офицеры — никто. Ничего не видишь. Ничего не понимаешь. Прячешься за прикрытие и даже не видишь, как падают товарищи. Со мной было такое... Рядом стоял один, который меня всего обрызгал своей кровью. Он сказал мне: «Ну, я готов». Как сейчас слышу его слова, слышу голос, а вот кто это был — не знаю. Мне, наверно, некогда было обернуться, чтобы взглянуть. Бой идет, ты кричишь, стреляешь, — и сам не знаешь, что с тобой творится. Верно, Роже?» — «Прежде всего, — говорит Роже, сердито оглядывая своих собеседников, — прежде всего надо хорошенко запомнить: пруссаки по сравнению с нами — ничто». — «Начальник! — кричит один из жандармов. — Колонна выступает!» — «Ну? Тогда — марш!» Унтер-офицеры бегут на свои места. «Равняйся! Эй там, равняйся!» — «До свиданья, счастливый путь!» — кричит бригадир, проходя мимо драгун.

Колонна двинулась дальше. Уже без остановок она доходит до городка, заполнив всю улицу своими тесными рядами, своим топотом, похожим на топот стада. Темп ходьбы замедлился. Качание носилок не так болезненно. Жак смотрит. Дома... Может быть, это конец его пытки?

Жители кучками стоят на порогах своих домов: пожилые мужчины, женщины с детьми на руках, ребятишки, цепляющиеся за юбки матерей. Вот уже долгие часы, быть может с самого рассвета, они стоят так, прислонясь к стене, вытянув шею, с тревогой в глазах, ослепленные пылью и солнцем, — стоят и смотрят, как течет, занимая всю ширину мостовой, этот бесконечный поток полковых фур, военных обозов, санитарных отрядов, артиллерийских парков, измученных полков — вся эта великолепная «армия прикрытия», на которую они взирали с надеждой несколько дней назад, когда она направлялась к границе, и которая теперь отступает в беспорядке, бросая их на произвол судьбы, на милость победителя... Город, задыхаясь от пыли, курится на солнце, словно разрушаемая постройка. Жужжание потревоженного улья наполняет улицы, переулки, дворы. Лавки наводнены солдатами, которые хватают остатки хлеба, колбасных изделий, вина. На церковной площади полно солдат, остановившихся повозок. Драгуны, держа лошадей под уздцы, столпились справа, где есть немного тени. Батальонный командир, красный, разъяренный, пригнувшись к лошадиной шее, бранит за что-то старого полевого сторожа в опереточном мундире. Обе створки главного входа в церковь широко раскрыты. Внутри, на соломенной подстилке, в полумраке лежат раненые; возле них суетятся женщины, санитары, врачи в белых фартуках. Снаружи, стоя на фуре, на самом солнцепеке, сержант-каптенармус истощенным голосом орет, стараясь перекричать шум: «Пятая рота! Подходи за пай-

ком!..» Колонна движется все медленнее. За церковью улица суживается и превращается в настоящую кишку. Ряды смешиваются, солдаты с руганью топчутся на месте. Старик в кресле с подушками сидит на крыльце своего дома, положив руки на колени, словно в театре. Он спрашивает у бригадира, когда тот проходит мимо: «И далеко еще вы будете отступать?» — «Не знаю. Ждем приказа». Старик обводит носилки, жандармов прозрачными, как вода, глазами и неодобрительно покачивает головой: «Я уже видел все это в тысяча восемьсот семидесятом... Но мы держались дольше...»

Жак встречает сострадательный взгляд старика. Отрада...

Колонна продолжает двигаться вперед. Теперь она уже миновала середину городка. «Похоже на то, что мы сделаем привал вон там, за последними домами», — говорит бригадир, который только что наводил справки у жандармского лейтенанта. «Тем лучше, — отзыается Маржула, — мы будем первыми, когда пойдем дальше». Мостовая кончилась. Улица переходит в широкую, без тротуаров, дорогу, окаймленную низкими домами и садиками. «Стой! Пропустить повозки!» Полковые обозы продолжают двигаться вперед. «Вот что, — говорит бригадир, — пойдите поглядите, не идет ли случаем за нами кухня... Хотется есть... Я с Паоли осталась здесь — из-за Стеклянного...»

Носилки поставлены у обочины дороги, рядом с колодцем, к которому солдаты всех родов оружия подходят, чтобы наполнить свои манерки. Взбаламученная вода переливается за каменную закраину и струйками стекает по желобкам... Жак не в силах оторвать взгляд от этих струек. Во рту у него ужасный вкус железа. Слюна — словно влажная вата... «Не хочешь ли попить, сынок?» Чудо! Белая чашка блестит в руках старухи крестьянки. Вокруг скопился народ. Солдаты, местные жители, старики с обветренной кожей, мальчишки, женщины. Чашка приближается к губам Жака. Он дрожит... Он благодарит взглядом — взглядом собаки. Молоко!.. Он пьет с болью, глоток за глотком. Уголком передника старуха то и дело вытирает ему подбородок.

Мимо проходит врач с тремя галунами. Он подходит ближе. «Раненый?» — «Так точно, господин доктор. Не стоящий внимания... Шпинс... Бош...» Старуха выпрямляется, словно подброшенная пружиной. Резким движением она выплескивает в пыль остатки молока. «Шпион... бош...» Эти слова переходят из уст в уста. Кольцо вокруг Жака суживается, враждебное, угрожающее. Он один, связанный, беззащитный. Он отводит глаза. И вдруг вздрагивает от ожога... Щека! Кругом смеются. Над ним нагибается подмастерье в синей блузке. Мальчишка злобно смеется. Он еще держит в пальцах горящий окурок. «Оставь его в покое», — ворчит бригадир. «Так ведь это же шпион!» — возражает подросток. «Шпион! Поглядите-ка, шпион!..» Люди выходят из соседних домов, образуя полную ненависти группу, которую жандармы с трудом удержива-

вают на расстоянии. «Что он сделал?» — «Где его забрали?» — «Почему его не прикончили на месте?» Какой-то парнишка поднимает горсть камешков и швыряет в Жака. Другие делают то же. «Хватит! Оставьте нас в покое, черт побери!» — кричит бригадир сердито. И обращается к Паоли: «Давай перенесем его во двор. И закрой ворота».

Жак чувствует, что его подняли, несут. Он закрывает глаза. Ругательства, насмешки удаляются.

Тишина... Где он? Он решается взглянуть. Его положили в укромном месте, во дворе какой-то фермы, под навесом сарая, где пахнет теплым сеном. Возле него старая коляска вздымает к небу два обрубка оглобель, на которых спят куры. Упоительная тень!.. Никого... Умереть тут...

Внезапно жандармы врываются во двор, и Жак сразу просыпается. Хлопая крыльями, куры с испуганным кудахтаньем рассыпаются в разные стороны.

Что происходит? Со всех сторон — громкие возгласы, конский топот, суматоха. Бригадир поспешил напяливать мундир, надевает амуницию. «Ну, берите Стеклянного... И побыстрее!..» Другой стороной двор выходит в переулок, по которому рысью проезжает ве-ренница санитарных повозок. «Начальник, они увозят даже полевой госпиталь». — «Вижу сам. Где Маржула? Живее, Паоли!.. А это что? Теперь и саперы?» Во двор въезжают два полугрузовика, за которыми шагает отряд солдат. Солдаты поспешили выгружать колья, мотки колючей проволоки. «Рогатки — в тот угол... Остальное — сюда... Живо!» Встревоженный бригадир спрашивает у сержанта, наблюдающего за работой: «Стало быть, дело уж совсем плохо?» — «Еще бы! А мы только что укрепили позицию... Кажется, они уже занимают Вогезы... спускаются к Бельфору... Поговаривают о том, чтобы капитулировать — во избежание оккупации...» — «Кроме шуток? Значит, нам конец?» — «А пока что советую вам поскорее сниматься с якоря... Жителям приказано удирать. Через час деревня должна быть очищена...» Бригадир поворачивается к жандармам: «Ну, как со Стеклянным? Чей черед? Маржула, сейчас не время копаться! Живо!» Гудение моторов заполняет двор. Порожние грузовики разворачиваются. Голос капитана покрывает шум: «Соберите все плуги, все бороны, какие найдете... даже сено-косилки... Скажите лейтенанту, чтобы он запретил населению увозить тележки. Они понадобятся нам, чтобы баррикадировать дороги». — «Ну что же ты, Маржула?» — кричит бригадир. «Я готов, начальник».

Четыре руки берутся за носилки. Жак стонет. Жандармы быстро выходят на дорогу, где колонна уже построилась и тронулась в путь. Ряды теперь сдвинуты так тесно, что нелегко проникнуть с носилками в эту толчью. «Жми! Нам надо во что бы то ни стало

занять там место». — «Баста! — ворчит Паоли. — Не можем же мы, в самом деле, вечно таскать с собой эту падаль!»

Толчки... толчки... Все мучения возобновились.

В деревне — полная растерянность. Во дворах, в домах — возгласы, крики, причитания. Крестьяне наспех запрягают лошадей в свои двуколки. Женщины беспорядочно суют туда узлы, чемоданы, люльки, корзины с провизией. Многие семьи убегают пешком, смешившись с солдатами, толкая перед собой тачки, детские коляски, набитые самыми неожиданными вещами. По левой стороне дороги с адским грохотом катятся обозы с боеприпасами, тяжелые подводы, запряженные могучими першеронами. Из всех переулков стекаются телеги, запряженные ослами, лошадьми. Старухи с малыми ребятами сидят на них, примостившись на груде мебели, ящиков, матрацев. Крестьянские упряжки вклинились в вереницу полковых обозов, которые едут шагом и заполняют середину шоссе. Пехотинцы, отодвинутые вправо, шагают где придется — по обочине, по канаве. Солнце печет. Сгорбившись, сдвинув кепи на затылок, прикрыв шею платком, нагруженные как вьючные животные (некоторые даже ташат на плечах вязанки хвороста), они идут тяжелым, но торопливым шагом, в полном молчании. Они отбились от своих полков. Они не знают, откуда и куда они идут. Им все равно: одну неделю длится война, а они давно уже перестали что-либо понимать! Они знают только, что «надо удирать», и идут вслед за другими... Усталость, страх, стыд и радость, вызванные бегством, придают всем лицам одно и то же ожесточенное выражение. Они не знают друг друга, не разговаривают друг с другом. Сталкиваясь, они обмениваются ругательствами или злобными насмешками.

Как то открывает, то закрывает глаза, в зависимости от толчков. Боль в ногах, пожалуй, немного затихла во время этой короткой передышки в тени навеса, но воспаленный рот непрерывно, мутильно болит... Вокруг маячат какие-то фигуры, винтовки. Пыль, испарения этого человеческого стада душат его; зыбь этих беспорядочно колышащихся тел вызывает в его пустом желудке тошноту, как при морской болезни. Он не пытается размышлять. Он — вещь, покинутая всеми и им самим...

Движение вперед продолжается. Дорога суживается меж двух откосов. Каждую минуту — затор, остановка; и каждый раз носилки, поставленные на землю, резко ударяются о нее; и каждый раз Жак открывает глаза и стоны. «Баста! — ворчит маленький корсиканец. — Если так пойдем, начальник, пруссакам нетрудно будет нас...» — «Марш! — с раздражением кричит бригадир. — Разве не видите, что все уже двинулись?» Колонна опять трогается, проходит кое-как метров пятьдесят и опять застrevает. Жандармы вынуждены остановиться на перекрестке проселочной дороги, где стоит в ожидании пехотная рота, сгрудившись, с винтовками на ремень. Офицеры, собравшись на откосе вокруг капитана, совещаются и рассматривают карты. Бригадир обращается к Фельдфебелю, который из любопытства подошел к носилкам:

«А вы куда идете?» — «Не знаю... Ротный ждет приказа». — «Видно, дело плохо». — «Да, видно, что так... Говорят, на севере видели улан...» Один из офицеров выходит на край откоса. Он кричит: «На плечо! В колонну по четыре, за мной!» И, оставив за громожденную дорогу слева, уводит своих людей напрямик через луга, параллельно дороге. «Вот этот не дурак — верно, начальник? Уж он наверняка дойдет до привала раньше нас!» Бригадир жует ус и не отвечает.

Остановка затягивается. Очевидно, пробка основательная. Даже артиллерийские обозы на левой стороне шоссе стоят неподвижно. Отряд самокатчиков, ведя свои машины, делает попытку пробраться между повозок, но и он увязает в этой гуще.

Проходит двадцать минут. Колонна не продвинулась и на десять метров. Направо пехотные части отступают к западу, прямо по полям. Бригадир нервничает. Он знаком подзывает жандармов. Их головы сближаются над носилками для конфиденциального разговора. «Черт побери, не можем же мы, на самом деле, торчать здесь весь день и разыгрывать храбрецов... Если начальству угодно, чтобы мы шли за колонной, пусть заставит ее двигаться вперед... У меня особое задание — так ведь? К вечеру я должен доставить эту падаль в жандармерию корпуса. Ответственность я беру на себя. Живо! За мной!» Не теряя ни секунды, жандармы выполняют приказ: расталкивая окружающих, они хватают носилки, перепрыгивают через ров, взвижаются на откос и устремляются напрямик через поля, покинув шоссе и парализованные обозы.

Прыжок через ров, подъем на откос исторгают у Жака долгий хриплый стон. Он поворачивает шею, пытается приоткрыть распухшие губы... Новый толчок... Еще один... Небо, деревья — все качается... Аэроплан горит: ступни Жака — два факела; смерть, жестокая смерть хватает его за ноги, за бедра, доходит до сердца... Он теряет сознание.

Резкий удар приводит его в чувство. Где он? Носилки опущены на траву. Сколько времени тому назад? Ему кажется, что это бегство длится уже много дней... Освещение изменилось, солнце стоит ниже, день кончается... Умереть... Чрезмерность боли притупляет его ощущения, словно наркотик. Ему кажется, что он погребен под землей, на такой глубине, куда толчки, звуки, голоса доходят лишь заглушенные, далекие. Кажется, он спал, видел сон... У него осталась в памяти роща акаций, где щипала траву белая коза, болотистый луг, где увязали сапоги жандармов, забрызгивая его грязью... Он широко открывает глаза, пытаясь хоть что-нибудь увидеть. Маржула, Паоли, бригадир стоят, опустившись на одно колено. Впереди, в нескольких метрах, какая-то большая шевелящаяся куча: это залегла пехотная рота. Ранцы, приставленные один к другому, образуют панцирь гигантской черепахи, которая вздрагивает в траве.

Капитан, стоя позади солдат, рассматривает местность в бинокль. Слева косогор; на его отлогом склоне луг; сине-красный

батальон расположился здесь веером и лежит, похожий на карты, разбросанные по зеленому сукну...

«Чего же мы ждем, начальник?» — «Приказа». — «А если придется бежать бегом, — говорит Маржула, — как мы со Стеклянным поспеем за другими?»

Капитан подходит к бригадиру и дает ему посмотреть в бинокль. Вдруг справа несутся галопом кони: кавалерийский взвод с драгунским унтер-офицером во главе. Всадники привстали на стременах, конские гривы развеваются на ветру. Унтер-офицер останавливается возле капитана. У него детское лицо с оживленным, радостным выражением. Левой, затянутой в перчатку рукой он показывает вправо: «Они там... За этим холмом... В трех километрах... Прикрытие, должно быть, уже вступило в бой!»

Он сказал это громко. Жак заметил его. Образ Даниэля в каске пробивается сквозь его оцепенение.

Металлический лязг оглашает воздух: не дожидаясь команды, солдаты последнего ряда, услышавшие эти слова, примкнули штыки. Их движение постепенно повторяется всеми — от одного к другому, и вдруг из земли вырастает целое поле блестящих стеблей. Все головы поднимаются, все взгляды обращены к зловещему холму, над которым позолоченное солнцем, мирное, чистое небо... Унтер-офицер делает знак кавалеристам, чьи лошади топчут сочную траву, и взвод рысью мчится дальше. Капитан кричит ему вслед: «Передайте, чтобы нам прислали распоряжения!» Он обращается к бригадиру: «Ну, видели вы что-нибудь подобное? Слева — связи нет! Справа — тоже! Какого дьявола можно сделать в этой неразберихе?» Он отходит к своим солдатам. «Послушайте, начальник, уйдем отсюда...» — бормочет Маржула. «Глядите-ка, там зашевелились!» — говорит Паоли. В самом деле, ряд за рядом, батальон, лежавший в траве, перебежками взбирается на гребень косогора и, опять-таки ряд за рядом, исчезает на противоположной стороне. «Вперед!» — кричит капитан. «И мы тоже — вперед!» — говорит бригадир.

Носилки поднимают, трясут. Жак стонет. Никто не слушает его, никто не слышит. О, пусть его оставят... пусть дадут ему умереть здесь... Он закрывает глаза. О, эти толчки... Через каждые пятьдесят метров носилки резко падают в траву; жандармы, опустившись на колени, с минуту переводят дух и снова трогаются в путь. Справа, слева солдаты перебежками взбираются по очереди на косогор. Наконец и жандармы добираются почти до самого гребня — им осталось несколько метров. Капитан здесь. Он объясняет: «По ту сторону, на дне оврага, должны быть лес и дорога... Думаю, что лесом мы пройдем к юго-западу. Но надо будет поторопиться... После гребня мы окажемся на виду...» Наступила очередь последнего пехотного взвода. «Вперед!» — «За ними!» — кричит бригадир. Носилки еще раз отрываются от земли и достигают гребня. Перерезанный кустарником луг спускается к лесистому ущелью, за которым начинается лес, загораживающий горизонт. «Надо куба-

рем скатиться вниз, напрямик, самым коротким путем, и все тут! Вперед!» И вдруг долгий свист раздирает воздух; скрежещущий, сверлящий звук, все громче, громче... Носилки еще раз тяжело падают в траву. Жандармы распластались на земле, среди солдат. У каждого одна мысль: сделаться как можно более плоским, вдавиться, уйти в землю, подобно тому как уходят в песок подошвы ног после отлива. Глухой мощный взрыв раздается впереди, по ту сторону оврага, в лесу. На всех лицах выражение панического страха. «Нас нащупали!» — «Живо вперед!» — «В лесу-то нас и перебьют!» — «В овраг!» Солдаты вскакивают и большими прыжками сбегают по склону, пользуясь малейшим кустиком, малейшей неровностью почвы, чтобы сплющиться на земле перед новой перебежкой. Жандармы бегут за ними, раскачивая, расшатывая носилки. Они достигают, наконец, опушки леса. Жак теперь — лишь неподвижная груда окровавленного мяса. Во время спуска вся тяжесть тела давила на его сломанные ноги. Ремни вились ему в руки, в ляжки. Он уже ничего не сознает. В ту секунду, когда носилки, словно снаряд, пробиваются сквозь ели опушки, он на миг приоткрывает глаза; его хлещут ветки, колют иглы, сдирая кожу с лица, с рук. И вдруг — успокоение. Ему кажется, что жизнь уходит от него так, как вытекает кровь, — теплой, вызывающей тошноту струей... Головокружение... Падение в пустоту... Аэроплан, листовки...

Свист гранаты раздается в воздухе, приближается, проносится мимо... Жак открывает и закрывает глаза... Гул голосов... Тень, неподвижность...

Носилки лежат под деревьями на земле, усыпанной хвоей. Вокруг какое-то неопределенное движение. Тесно прижатые друг к другу, словно слитые в одну сплошную массу, пехотинцы, сутулясь в своей неудобной одежде, связанные винтовками и ранцами, цепляющимися за ветки, топчутся на месте, не в силах ни двинуться вперед, ни повернуть назад. «Не напирайте!» — «Чего мы ждем?» — «Выслали дозор». — «Надо проверить, безопасно ли в лесу». Офицеры и унтер-офицеры выходят из себя, но никак не могут перегруппировать своих солдат. «Тише!» — «Шестая, ко мне!» — «Вторая!..» Недалеко от носилок какой-то солдат прислонился к елке, и сон вдруг сморил его, мертвый сон. Он молод; у него ввалившиеся щеки, серое лицо, одеревеневшая рука бессознательно прижимает винтовку к бедру: он как будто взял на караул. «Говорят, третий батальон отправлен в боковое охранение, чтобы прикрыть...» — «Сюда, ребятки, сюда!» Это кричит капрал, коренастый крестьянин, который входит в лес, ведя за собой свое звено, словно курица цыплят.

Через носилки перешагивает лейтенант. У него тот заносчивый и испуганный вид, какой бывает у начальника, когда он растерян и готов на все, лишь бы сохранить свой престиж. «Унтер-офицеры, велите всем замолчать! Будете вы повиноваться, черт вас возьми!

Первый взвод, стройся!» Солдаты с хмурым видом пытаются сдвинуться с места; они и сами хотят найти свое начальство, своих товарищев и снова почувствовать себя рядовыми нормальной воинской части. Некоторые смеются, наивно успокоенные тем, что деревья замыкают горизонт: словно война осталась там, по другую сторону опушки, в открытом поле. Время от времени связной, весь потный, запыхавшийся, злой, вечно не находя того, кого он ищет, с руганью пробивает себе дорогу и скрывается за кустами и людьми, сердито бросив на ходу номер полка или имя полковника. Новый свист, более глухой, более короткий, раздается над деревьями. Все затихают, плечи съеживаются, затылки приникают к ранцам. На этот раз взрыв происходит справа... «Это семидесятипяти-миллиметровый!» — «Нет! Это семидесяти семи!» Жандармы, сбступившие носилки, словно они-то и придают смысл их существованию, образуют неподвижный островок, о который разбивается людская волна.

Внезапно на опушке раздается голос: «Прицел тысяча восемьсот метров!.. Линия гребня... Черная рощица... Стрелять по команде! Огонь!» Густой залп потрясает воздух. Под деревьями воцаряется тишина. Раздается новый залп. Затем слышатся разрозненные выстрелы, все более и более многочисленные. Все, кто находится близ опушки, обернулись в сторону луга и, не ожидая команды, счастливые, что могут что-то сделать, вскидывают винтовки и стреляют наудачу сквозь листву. Молодой солдатик, только что спавший у дерева, теперь стоит на коленях в ногах носилок и непрерывно, усердно стреляет, пристроив винтовку в развилке двух веток. Каждый выстрел хлещет Жака, словно удар кнута, но он уже не в силах открыть глаза.

Справа вдруг раздается конский топот... Группа офицеров верхом, два майора, полковник, врываются в лес, с треском ломая кустарник. Визгливый голос покрывает трескотню выстрелов: «Кто стдал команду? Вы что — с ума сошли? Что это за стрельба? Хотите, чтобы нашупали всю бригаду?» Унтер-офицеры кричат со всех сторон: «Прекратить огонь! Стройся!» Шум сразу прекращается. Повинуясь общему порыву, все эти сбившиеся в кучу люди, казалось застрявшие здесь навсегда, находят в себе силу высвободиться и повернуться в одну сторону. Они толкаются, налетают друг на друга, молча награждают друг друга пинками и вскоре, словно стая перелетных птиц, медленно трогаются к югу, вслед за группой старших офицеров. Позвякивание кружек, котелков, манерок, сопровождаемое глухим топотом солдатских башмаков по мягкой, точно устланной войлоком почве, наполняет лес неясным гулом стада. Смолистая пыль рыжим облаком поднимается меж елей.

«А мы, начальник?» Бригадир уже принял решение: «Мы пойдем за ними!» — «Со Стеклянным?» — «А как же иначе? Ну.. За мной, марш!» И, не дожидаясь, словно идя в атаку, он вливается в поток, а за ним и два свободных жандарма. Двое других поспешно поднимают Жака. «Готово, Маржула?» — шепчет Паоли. Он пы-

тается проскользнуть в ряды, но людской поток все еще так плотен, что при каждой попытке носилки безжалостно отталкивают назад. «Надо подождать, пока немного поредеет», — советует Маржула. «Баста! — говорит корсиканец, резко бросая свой конец носилок. — Пойду догоню начальника и скажу, чтобы он подождал...» — «Эй, Паоли, не бросай меня здесь!» — кричит старый жандарм, тоже бросая носилки. Но Паоли уже не слышит: быстрый как угорь, он пробрался в толпу, и его синее кепи, короткая загорелая шея моментально исчезли. «Вот так штука!» — восклицает Маржула. Он наклоняется к Жаку как тогда, когда давал ему пить. Огонек ярости загорается в его глазах. «Все из-за тебя, сволочь!» Но Жак не слышит его. Он потерял сознание.

Жандарм раздвигает ветки и делает попытку схватить за плечо какого-то пехотинца: «Помоги мне нести это!» — «Я не санитар», — отвечает солдат, резко отталкивая его руку. Жандарм видит светловолосого толстяка, добродушного на вид. «Подсоби немного, старина!» — «Еще чего!..» — «Что же мне делать с этой падалью?» — бормочет Маржула. Он вынимает платок и машинально вытирает лицо.

Вскоре поток редеет. Если бы Паоли вернулся, они бы смогли теперь двинуться вперед, это бесспорно! «Господин капитан!» — робко окликает Маржула. Ведя лошадь под уздцы, мимо проходит офицер; он смотрит прямо перед собой и даже не поворачивает головы... Те, которые проходят теперь, это отставшие. Они идут вразброс, опустив голову, измученные, волоча ноги, обеспокоенные тем, что находятся в хвосте, стараясь из последних сил двигаться быстрее. Нечего и пытаться: никто из них не согласится обременить себя носилками...

Вдруг на лугу, по другую сторону опушки, раздаются голоса, быстрые шаги... Маржула оборачивается, весь позеленев; его пальцы инстинктивно расстегивают кобуру, хватаются за револьвер. **Нет!** Это французская речь: «Сюда! Сюда!..» Между елками появляется раненый. Он бежит как лунатик, у него повязка на лбу, иссиня-бледное лицо. За ним врываются в лесок человек десять пехотинцев без ранцев, без винтовок: это тоже легкораненые — у кого рука на перевязи, у кого забинтовано колено. «Скажи, старина, нам сюда? Здесь можно пройти?.. Они ведь недалеко, знаешь?» — «Не... недалеко?» — заикаясь, бормочет Маржула.

Ветки снова раздвигаются. Появляется военный врач; он пытается задом, прокладывая дорогу двум санитарам, которые на переплетенных руках, как в кресле, несут толстого человека с обнаженной головой, с мертвенно-бледным лицом, с закрытыми глазами. Его офицерский мундир расстегнут; четыре галуна; живот выпирает из-под испачканной кровью рубашки. «Осторожней... осторожней...» Врач замечает жандарма и Жака у его ног. Он быстро оборачивается: «Носилки! Кто это? Штатский? Раненый?» Маржула, стоя навытяжку, бормочет: «Шпион, господин военный

врач...» — «Шпион? Этого только недоставало! Носилки нужны для майора. Живо! Шевелись!»

Жандарм начинает послушно расстегивать ремни, развязывать веревки. Жак вздрагивает, шевелит рукой, открывает глаза... Кепи полкового врача? Антуан?.. Он делает нечеловеческое усилие, чтобы понять, чтобы вспомнить. Сейчас его освободят, дадут ему пить... Но что с ним делают? Носилки поднимаются. Ой!.. Тише! Ноги!.. Ужасная боль: несмотря на лубки, раздробленные берцовые кости впиваются ему в тело, раскаленные иглы пронизывают мозг... Никто не видит его губ, искривленных от боли, его глаз, расширившихся от ужаса... Сваленный с носилок, точно мусор из спорожняемой тачки, он с хриплым стоном падает на бок. Внезапный холод, холод, идущий от ног, со смертельной медлительностью поднимается к сердцу...

Жандарм не протестует. Он с ужасом озирается по сторонам. Врач рассматривает карту, а санитары торопливо укладывают на носилки майора, — глаза у него закрыты, а рубашка сделалась красной. Маржула бормочет: «Так они недалеко, господин врач?» Вдруг резкий, протяжный вой раздирает воздух, а вслед за ним, совсем близко, раздается взрыв, от которого, кажется, сотрясается мозг в черепной коробке. И почти сейчас же со стороны луга доносится трескотня ружейных залпов.

— Вперед! — кричит врач. — Мы попадем между двух огней..., Если мы останемся здесь — нам крышка!

В момент взрыва Маржула распластался на земле, как и остальные. Он с трудом поднимается на ноги. Он видит, как уносят носилки, как группа раненых углубляется в лес. И голосом, осипшим от страха, он вопит: «Как же так? А я? А Стеклянный?» Старый унтер с перевязанной рукой, замыкающий шествие, не останавливаясь, оборачивается к нему. «А я? — умоляюще повторяет Маржула. — Не уходи... Что я буду делать с этой падалью?» Унтер-сверхсрочник, бывалый солдат колониальных войск, с обветренным лицом, складывает рупором здоровую руку: «Да кому он нужен, твой шпион? Прикончи его, дурак! И удирай, если не хочешь, чтобы тебя поймали, как крысу!»

— Дьявол, дьявол, дьявол! — вопит жандарм.

Теперь он один — один с этим полуторупом, лежащим на боку, с закрытыми глазами. Кругом торжественная, неестественная тишина... «Они недалеко... Прикончи его...» Трусливо озираясь, он сует руку в кобуру. Он моргает. Страх попасть к немцам борется в нем со страхом перед убийством. Он никогда еще никого не убивал, даже животных... Возможно, что если бы в эту минуту глаза раненого еще раз приоткрылись, если бы Маржула пришлось выдержать живой взгляд... Но это мертвенно-бледное лицо, из которого как будто уже ушла жизнь, этот профиль, этот висок, как будто подставленный под... Маржула не смотрит. Он зажмуривается, сжимает челюсти и вытягивает руку. Дуло прикасается

к чему-то... К волосам? К уху?.. Чтобы подбодрить себя, чтобы оправдаться перед самим собой, он, стиснув зубы, кричит:

— Дерьмо!

Крик и выстрел раздаются одновременно.

Свободен! Жандарм выпрямляется и, не оглядываясь, бросается в глубь леса. Ветки хлещут его по лицу, хворост трещит под ногами. Отступление оставило за собой в чащбе длинный след, проложило путь. Товарищи близко... Спасен!.. Он бежит. Бежит от опасности, от одиночества, от совершенного убийства... Он задерживает дыхание, стараясь мчаться еще быстрее, и, чтобы дать выход своей злобе и своему страху, при каждом новом шаге он кричит, не разжимая зубов:

— Дерьмо!.. Дерьмо!.. Дерьмо!..

---

Эпилог



# I

— Пьер! Телефон! Не слышишь?

Пьер, вестовой при канцелярии клиники, пользуясь свободными часами, когда врачи и больные, занятые процедурами, не заходят в нижний этаж, стоял, опервшись о перила террасы, и вдыхал утренний, пахнувший жасмином воздух. Он бросил сигарету и подбежал к телефону.

— Алло!

— Алло! Говорит грасский телеграф. Примите телеграмму.

— Минуточку, — сказал вестовой. Он взял блокнот и карандаш. — Слушаю.

Телефонистка начала диктовать:

— «Париж — 3 мая 1918 года — 7 часов 15 минут — Доктору Тибо — Клиника для отравленных газами — Мускье под Грассом — Приморские Альпы». Записали?

— При-мор-ские, — повторил вестовой.

— Продолжаю: «Тетя Вез.. Виктор-е-з... тетя Вез скончалась — Похороны приюте воскресенье 10 часов — Целую. Подпись: Жиз». Все. Повторяю...

Отойдя от телефона, вестовой направился к выходу. В дверях канцелярии показался старик санитар в белом фартуке, с подносом в руках.

— Ты идешь наверх, Людовик? Занеси-ка телеграмму в пятьдесят третью палату.

В пятьдесят третьей никого не было, постель застелена, комната убрана. Людовик подошел к открытому окну и выглянул в сад: военного врача Тибо нигде не было видно. Несколько ходячих больных в голубых пижамах иочных туфлях, в солдатских и офицерских кепи, оживленно разговаривая, прогуливались взад и вперед на солнышке; другие, растянувшись в шезлонгах под кипарисами, читали газеты.

Санитар взял поднос, на котором остывал стакан с отваром, и вошел в номер пятьдесят семь. Уже больше двух недель пятьдесят седьмой не вставал с постели. Полусидя в подушках, потный, измученный, небритый, он дышал трудно, и хрип его был слышен

в коридоре. Людовик налил две ложки лекарства, поддержал больному голову, чтобы было удобнее пить; вылил содержимое плевательницы в таз; потом, сказав несколько ободряющих слов, отправился на розыски доктора Тибо. Для очистки совести, прежде чем спуститься вниз, он заглянул в палату номер сорок девять. Полковник, откинувшись на спинку плетеного шезлонга, поставил плевательницу рядом с собой, играл с тремя офицерами в бридж. Доктора Тибо не было и здесь.

— Он, должно быть, на ингаляции, — сказал доктор Бардо, встретившийся Людовику внизу у лестницы. — Давайте, я передам.

Больные, закрыв головы полотенцами, сидели перед ингаляторами. Густо пахнущий мятоей и эвкалиптом пар наполнял маленькую, сильно нагретую комнату, где царили молчание и полумрак.

— Антуан, тебе телеграмма.

Антуан высунул из-под полотенца побагровевшее лицо, по которому капельками бежал пот. Он отер глаза, удивленно взял из рук Бардо телеграмму, прочел ее.

— Что-нибудь важное?

Антуан отрицательно покачал головой. Глухим, сдавленным, беззвучным голосом он с трудом произнес:

— Родственница... старуха... умерла!

И, засунув телеграмму в карман пижамы, снова скрылся под покрывалом.

Бардо тронул его за плечо.

— У меня готов твой анализ. Приходи, когда кончишь.

Доктор Бардо принадлежал к тому же поколению, что и Антуан. Они были знакомы давно, по Парижу, с тех пор, как поступили на медицинский факультет. Потом Бардо был вынужден прервать учение и уехал на два года лечиться в горы. Он поправился, но, опасаясь за свое здоровье и не доверяя парижской зиме, защищал диплом в Монпелье, потом специализировался на легочных заболеваниях. В момент объявления войны он работал директором санатория в Ландах. В 1916 году Сегр, профессор медицинского факультета в Монпелье, учитель доктора Бардо, пригласил его в клинику для отравленных газами, которую Сегру поручено было организовать на юге, и они вместе создавали в Мускье под Грасом эту клинику, в которой сейчас находилось на излечении шестьдесят — семьдесят солдат и около двадцати человек командного состава.

Сюда-то и попал в начале зимы Антуан, отравленный ипритом в ноябре 1917 года во время инспекционной поездки по фронту в Шампань. Он выбрал Мускье, перепробовав без всякого результата чуть ли не десяток тыловых госпиталей.

Среди лечившихся в клинике для отравленных газами Антуан был единственным военным врачом. Общие юношеские воспоминания, естественно, сблизили Бардо и Антуана, вопреки различию их

темпераментов: Бардо был скорее мечтатель — трудолюбивый, не-практический, слабовольный; но, так же как и Антуан, он был страстно предан медицине и потому чрезвычайно строг к себе. Они поняли, что их многое сближает, и вскоре стали друзьями. Бардо, на которого профессор Сегр взвалил всю работу по госпиталю, не очень-то благоволил к своему ассистенту, доктору Мазе, бывшему врачу колониальных войск, прикомандированному к клинике в Мускье после тяжелого ранения. Поэтому он особенно охотно поверял Антуану свои мысли, свои сомнения, советовался с ним, посвящал в свои работы в совершенно новой области терапии, где было еще так много неясного. Конечно, и речи не могло быть о том, чтобы Антуан помогал Бардо в его работах; слишком он был серьезно болен, слишком занят самим собою, слишком его беспокоили рецидивы болезни, а главное — он был угнетен бесконечными заботами, неизбежными при его состоянии; но это не мешало Антуану интересоваться «случаями» других, и как только к нему возвращались силы, как только он мог хоть немного сосредоточиться, передохнуть, он присутствовал на приемах у Бардо, делал вместе с ним опыты, иной раз даже участвовал в совещаниях, ежедневно происходивших в кабинете профессора Сегра при участии Бардо и Мазе. Благодаря тому, что он находился здесь не только на положении больного, но отчасти на положении врача, специфическая атмосфера клиники тяготила его меньше, чем прочих пациентов, он не был полностью лишен того, что в продолжение пятнадцати лет, в мирное время и во время войны, составляло подлинный и единственный смысл его существования.

Закончив ингаляцию, Антуан укутал шею шарфом, чтобы предохранить себя от слишком резкой перемены температуры, и отправился разыскивать доктора Бардо, который каждое утро в специальном зале лично руководил упражнениями дыхательной гимнастики, назначаемой некоторым больным.

Бардо с благожелательным вниманием дирижировал целой какофонией хрипов; он был на голову выше самых высоких своих пациентов. Преждевременная лысина увеличивала лоб. Ширина плеч была под стать росту. Этот человек, когда-то перенесший туберкулез, выглядел колоссом. Могучая, почти квадратная фигура ясно обозначалась под халатом.

— Я очень доволен, — сказал он, уводя Антуана в раздевалку, где никого не было. — Я боялся, что... Да нет, реакция на белок отрицательная, это хороший признак.

Из-за обшлага он вытащил бумажку. Антуан взял ее, пробежал глазами.

— Я отдам ее тебе вечером, только спишу для себя. — С первого дня болезни Антуан вел в специальной тетради очень подробную клиническую историю своей болезни.

— Ты слишком долго сидишь на ингаляции, — проворчал Бардо. — Смотри не уставай!

— Нет, нет, — ответил Антуан, — я верю в ингаляцию. — Говорил он слабым, прерывающимся голосом, но отчетливо. — Утром, когда я просыпаюсь, — полная афония: глотка густо покрыта мокротой; а сейчас она хорошо прочищена паром, и голос, как видишь, заметно чище.

Но Бардо настаивал на своем:

— А все-таки не надо злоупотреблять... Афония, как бы ни была она неприятна сама по себе, это все-таки меньшее зло. Продолжительные ингаляции в иных случаях могут слишком резко прекратить кашель. — Как многие южане, он слегка растягивал слова, и от этого выражение его глаз казалось еще мягкче, серьезнее.

Бардо сел и усадил Антуана. Он старался создать у больных впечатление, что нисколько не торопится, что готов слушать их без конца, что ничто не интересует его так, как чужие недуги.

— Я советовал бы тебе начать принимать отхаркивающее, — сказал он, расспросив Антуана о том, как он провел вчерашний день и ночь. — Попробуй терпин. Да, да, народное средство... обильно пропотеть перед сном, — только, конечно, смотри не простудись, — ничего не может быть лучше! — Манера оттенять некоторые гласные и дифтонги, певуче растягивать окончания слов напоминала тягучее движение смычка на басовых струнах виолончели.

Он мог без конца давать советы, свято верил в действие своих лекарств и никогда не унывал от неудач. Особенно ему нравилось наставлять Антуана, превосходство которого Бардо признавал охотно, без мелочной зависти.

— И потом, — продолжал он, не отводя глаз от своего пациента, — чтобы уменьшитьочные выделения, почему бы не попробовать несколько дней сернисто-мышьяковое лечение? Как вы думаете? — прибавил он, обращаясь к доктору Мазе, входившему в комнату.

Мазе ничего не ответил. Он открыл шкаф, стоявший у задней стены, снял с себя китель цвета хаки, разлезавшийся по швам и побелевший от стирок, но весь разукрашенный орденскими ленточками, и надел белый халат. В комнате сильно запахло потом.

— В случае, если афония усилится, мы можем снова прибегнуть к стрижину, — продолжал Бардо. — Зимой я добился неплохих результатов, когда лечил Шапюи.

Мазе обернулся и насмешливо взглянул на говорившего:

— Ну, знаешь, если это у тебя самый удачный случай...

У Мазе был квадратный череп, низкий лоб, пересеченный глубоким рубцом; седеющие, очень густые волосы росли низко и были подстрижены ежиком. Глаза при малейшем возбуждении наливались кровью; черная полоска усов резко выделялась на загорелом лице старого колониального солдата.

Антуан вопросительно взглянул на Бардо.

— К счастью, случай Тибо ничем не похож на случай Шапюи, — живо возразил Бардо. Он был недоволен и не скрывал этого. — Шапюи в неважном состоянии, — добавил он, обращаясь к Антуану. — Ночь провел плохо. Меня два раза к нему вызывали. Интоксикация сердца быстро прогрессирует. Общая экстрасистолическая аритмия. Сейчас я жду профессора, хочу показать ему пятьдесят седьмого.

Мазе приблизился к ним, застегивая на ходу халат. Разговор перешел на сердечно-сосудистые расстройства у отправленных ипритом. «Столь различные, — вставил Бардо, — в зависимости от возраста больного». (Шапюи, артиллерийский полковник, находился на излечении уже восемь месяцев. Ему было больше пятидесяти лет.)

— ...и в зависимости от предшествующих заболеваний, — добавил Антуан.

Несколько раз Антуан сам осматривал Шапюи и пришел к выводу, что полковник еще до отравления страдал скрытым сужением митральных клапанов, чего ни Сегр, ни Бардо, ни Мазе, по-видимому, не заметили. Сейчас он чуть было не сказал об этом. Он испытывал недобroe чувство удовлетворения, почти торжества, которое возникало всякий раз, когда ему удавалось поймать кого-нибудь на ошибке и заставить признать ее — будь то даже самый лучший друг; теперь это был как бы реванш за то состояние неполнознанности, на какое обрекала его болезнь. Но каждое слово стоило ему труда. И он решил промолчать.

— Вы не просматривали сегодняшние газеты? — спросил Мазе.

Антуан отрицательно покачал головой.

— Наступление бошей во Фландрии, кажется, действительно приостановлено, — сказал Бардо.

— Да, похоже на то, — подтвердил Мазе. — На Ипре держались стойко. Англичане официально подтвердили, что удерживают фронт на Изере.

— Это, должно быть, недешево обходится, — заметил Антуан.

Мазе покал плечами, что в равной мере могло означать и «очень дорого» и «невелика беда». Он подошел к шкафу, пошарил в карманах своего кителя и сказал Антуану:

— Вот как раз швейцарская газета, мне ее принес Гуаран... Увидите сами: по официальным сводкам Центральных держав, за один только апрель англичане потеряли больше двухсот тысяч человек, и только на одной Изере.

— Если бы эти цифры дошли до общественного мнения союзных стран... — начал было Бардо.

Антуан покачал головой, а Мазе громко расхохотался. Он был уже у дверей. Обернувшись, он бросил:

— Но ведь ни одно достоверное сведение никогда до нас не доходит. На то и война!

Эту фразу он произнес с обычным своим видом, явно говорившим, что доктор Мазе считает дураками всех, кроме себя одного.

— Знаешь, о чём я думал сегодня утром? — начал Бардо, когда Мазе вышел. — О том, что сейчас ни одно правительство уже не представляет национальных чаяний своей страны. Никто, ни на той, ни на другой стороне, не знает, что думают в действительности массы: голос правителей заглушил голоса управляемых. Взгляни на Францию! Неужели ты думаешь, что из двадцати французских солдат найдется хоть один, который согласился бы на то, чтобы ради возвращения Эльзас-Лотарингии война затянулась еще на месяц?

— Даже одного на пятьдесят не найдется.

— И все-таки весь мир убежден, что Клемансо и Пуанкаре — подлинные выразители общественного мнения Франции... Война породила атмосферу небывало наглой официальной лжи. Во всем мире! Хотелось бы мне знать, услышим ли мы когда-нибудь истинный голос народов и удастся ли когда-нибудь европейской прессе...

Их прервало появление профессора.

Сегр по-военному ответил на приветствие обоих врачей. Но руку подал одному только Бардо. Его подбородок сапожком, горбатый нос, золотые очки, хохолок белых, легких, как пух, волос, вся щупленькая фигурка напоминали карикатуры на г-на Тьера. Он тщательно следил за своей внешностью, всегда был чисто выбрит, говорил кратко, без тени фамильярности даже по отношению к со-служивцам. Профессор вел уединенную жизнь, почти не выходил из кабинета и нередко даже обедал там. Целые дни он проводил за письменным столом, писал для медицинских журналов статьи о методах лечения отравленных газами, на основании клинических наблюдений Бардо и Мазе.

Сам он редко осматривал больных: только по их прибытии в клинику и в случае внезапного ухудшения.

Бардо хотел рассказать ему о состоянии пятьдесят седьмого. Но с первых слов профессор прервал его речь и направился к дверям:

— Пойдемте.

Антуан проводил их взглядом. «Славный малый этот Бардо, — подумал он. — Мне повезло, что он здесь...»

В это время он обычно уходил к себе в комнату, где заканчивал процедуры и отдыхал до обеда. Он так уставал от утренних часов лечения, что засыпал, сидя в кресле, и вскакивал только когда его будил гонг, сзывающий к столу.

Он шел по лестнице на некотором расстоянии за Сегром и Бардо. «И все-таки, — вдруг подумалось ему, — если мне суждено умереть здесь, никакая дружба с Бардо не поможет...»

Шел он медленно, чтобы не вызывать одышки. Стоило ему подняться на второй этаж, не соблюдая необходимой осторожности, и сейчас же начиналась колющая боль в боку, не очень, правда, мучительная, но утихавшая только через несколько часов.

Жозеф опять забыл опустить штору. Мухи летали над полочкой, где были выстроены в ряд пузырьки с лекарствами. Хлопушка

для мух висела на гвоздике; но Антуан слишком устал, чтобы начать охоту — свое обычное утреннее занятие. Даже не взглянув на чудесный вид, открывавшийся из окна, он опустил штору, сел в кресло и на минуту закрыл глаза. Потом достал из кармана телеграмму, машинально перечел ее...

Она прожила свое. Что оставалось ей, как не исчезнуть? Однако она вовсе не такая уж старая... «Пойми, Антуан, — говорила тетя, тряся головой, — я никому не хочу быть в тягость на старости лет». Эту фразу она повторяла особенно часто с тех пор, как ей пришла в голову мысль окончить свои дни в «Убежище для престарелых». Было это вскоре после смерти г-на Тибо. В декабре 1913 года, может быть в январе 1914... А сейчас май 1918; значит, уже больше четырех лет. Сколько ей — семьдесят лет, меньше? Он вспомнил: маленький желтый лоб под седыми буклями, освещенный висячей лампой, трясущиеся ручки цвета слоновой кости, расправляющие скатерть, глаза испуганной ламы... Всего она боялась: и мышей, и раскатов далекого грома, и чумы, обнаруженнной в Марселе, и подземных толчков, отмеченных в Сицилии. Она вздрогивала от каждого стука двери, от резкого звонка: «Господи помилуй», — и боязливо сжимала свои крошечные ручки под черной шелковой пелеринкой. А как она смеялась... Смеялась часто, из-за любого пустяка, девичьим смехом, жемчужным, наивным... Наверно, в дни юности она была просто очаровательна. Так и видишь ее: вот она во дворе пансиона играет в серсо, на шее у нее черная бархотка, косы уложены под сетку!.. Как провела она свою молодость? Никогда она об этом не говорила. Никто ее об этом не спрашивал. Да и знал ли кто-нибудь ее имя? Уже давно ее не называли по имени. Не называли даже по фамилии. Говорили просто «Мадмуазель», по занимаемому ею положению, как говорят «привратница», как говорят «лифтёр»... Двадцать лет подряд она прожила в благоговейном трепете, под игом г-на Тибо. Двадцать лет подряд, незаметная, молчаливая, неутомимая, она была главной пружиной в доме, и никто никогда не был ей благодарен за ее аккуратность, за ее предупредительность. Сама преданность, сама жертвенность, забвение себя, скромность,держанная, пугливая нежность, но никогда никто не отвечал ей тем же. И так всю жизнь.

«Должно быть, Жиз в отчаянии», — подумал Антуан. Он не знал, так ли это, но ему хотелось, чтобы это было так, ему требовалось горе Жиз во искупление долгих лет несправедливости. «Надо будет написать», — подумал он и поморщился. (С тех пор как его мобилизовали, он писал только в случае крайней необходимости, а с тех пор как заболел, мало-помалу и совсем бросил писать: только изредка несколько слов Жиз, Филипу, Штудлеру, Жуслену.) «Поплюю длинную соболезнующую телеграмму, — решил он. — Таким образом выиграю несколько дней, письмо можно будет написать потом... Зачем она сообщает мне час похорон? Неужели она думает, что я приеду?»

С начала войны Антуан ни разу не был в Париже. Что ему там делать? Те, кого приятно было бы встретить, мобилизованы, так же как и он. Зайти в дом, увидеть безлюдную квартиру, пустынную лабораторию? Чего ради? Свои отпуска с фронта он всегда уступал товарищам. На позициях по крайней мере можно было уйти во Фронтовую деятельность, в размеренный ее уклад, и это помогало ни о чем не думать. Единственный раз Антуан поехал в отпуск из Абвиля,<sup>1</sup> перед наступлением на Сомме;<sup>2</sup> решил провести конец зимы в полном одиночестве в Дьеппе. Но уже через двое суток после приезда сел в поезд и вернулся в свою часть, так ему наскучило безделье в этом пропахшем рыбой городе, который день и ночь хлестали влажные ветры. К тому же Дьепп наводнили раненые англичане... Он не видел Жиз со времени мобилизации (ни Филипа, ни Женни, ни одной близкой души). Даже запретил Жиз навестить его в Сен-Дизье,<sup>3</sup> где он лечился после своего первого ранения. Ласковых и кратких писем, которые ему писала Жиз раз в два или три месяца, было достаточно, чтобы поддерживать тончайшую связь с миром тыла и миром прошлого.

Из писем он узнал о беременности Женни; из писем же — когда пришло окончательное подтверждение — о смерти Жака. Зимой 1915 года Женни, с которой он уже успел обменяться двумя-тремя вполне дружескими письмами, сообщила, что намеревается уехать в Женеву. Она предпринимала поездку с двоякой целью: хотела родить в Женеве, одна, вдали от своих, и рассчитывала воспользоваться своим пребыванием в Швейцарии, чтобы разузнать подробнее о смерти Жака — об обстоятельствах его смерти, достаточно загадочных. В революционных кругах, с которыми Женни поддерживала связь, ходили слухи, что Жак исчез в первых числах августа, выполняя опасное задание. Антуану пришла мысль направить Женни к Рюмелью: дипломат был мобилизован в Париже и оставлен на своем посту на Ке д'Орсе. Он без труда достал Женни нужные для поездки визы. В Швейцарии Женни нашла Ванхеде. Тот помог ей в розысках, съездил вместе с ней в Базель, познакомил с книготорговцем Платнером. У Платнера она получила, наконец, точные сведения о последних днях Жака, включая составление воззвания, ожидание аэроплана Майнестреля, полет на фронт в Эльзас утром 10 августа. Больше ничего Платнер не знал. Но Антуан, извещенный Женни, пустил по следу Рюмеля. И после бесплодных розысков фамилии Жака в длинных списках попавших в плен Рюмель, наконец, обнаружил в архивах военного министерства, в Париже, рапорт штаба пехотной дивизии, помеченный именно 10 августа. В документе, касавшемся отступления французских войск в Эльзасе, сообщалось, что объятый пламенем аэроплан упал в рас-

<sup>1</sup> Город в департаменте Соммы.

<sup>2</sup> Одно из крупнейших сражений первой мировой войны, предпринятое Антантою для того, чтобы сорвать немецкое наступление на Верден, и длившееся с июня по ноябрь 1916 г.

<sup>3</sup> Город в департаменте Верхней Марны (Шампань).

положении французских войск. По обуглившимся останкам не представлялось возможным опознать личность пилота; но, судя по остову разбившейся машины, можно было заключить, что это гражданский аэроплан, швейцарского происхождения; далее говорилось, что среди груды сгоревших бумаг удалось найти и разобрать клочки листовки откровенно антимилитаристского характера. Сомнений не оставалось: эти останки были останками Жака и летевшего с ним пилота... Нелепый конец! Антуан никогда не мог решить, как сам он относится к обстоятельствам бессмысленной смерти Жака. Даже сейчас, через четыре года, гибель брата вызывала в нем скорее раздражение, чем горечь.

Он поднялся с кресла, снял со стены хлопушку и в ярости перебил с дюжину мух; собрался было прогнать остальных полотенцем, но сильный приступ кашля приковал его к месту, согнулся пополам, вынудил ухватиться обеими руками за спинку кресла. Наконец он смог выпрямиться, намочил скитидаром марлю и положил на грудь компресс. Потом, почувствовав минутное облегчение, снял с постели обе подушки, подложил их под спину, уселся в кресло и, сидя прямо, чтобы не повторился кашель, осторожно начал дыхательные упражнения — сжимал большим и указательным пальцами горло и, с каждым разом дыша все глубже, старался произносить отчетливо звуки: «А... Э... И... О... У...

Взгляд его бесцельно блуждал по комнате. Она была тесна и удручающе неуютна. Морской ветерок раздувал штору, и тени пробегали по стенам, розово-кирпичным блестящим стенам, сплошь голым, если не считать гирлянды коричневых барвинков, которая извивалась где-то под самым потолком. Над зеркалом шеренга американских girls в матросках — иллюстрация из какого-то журнала — подымала ноги с вытянутыми по-балетному носками: последний след украшений, оставленных прежним обитателем, украшений, которые удалось постепенно вытравить, за исключением вот этих шести неистовых girls, висевших так высоко, что Антуан счел неблагоразумным тратить силы на то, чтобы добраться до них. Ему не раз хотелось поручить эту операцию Жозефу, коридорному; но Жозеф был маленького роста, а табуретка стояла внизу в передней, и Антуан решил, что лучше о girls просто не думать. На узеньком сосновом столике стояла большая фарфоровая плевательница, грудами лежали, среди пузырьков и коробочек с лекарствами, старые газеты, журналы, военные карты, граммофонные пластинки — так что на краешке едва умещалась тетрадь, куда он каждый вечер заносил врачебные наблюдения за день. Стеклянная полочка над умывальником была заставлена пузырьками с лекарствами. Между столом и белым шкафом (в котором лежали его белье и вещи) стоял поставленный ребром пустой офицерский сундучок, на котором можно было еще разобрать полуустертую надпись: «Доктор Тибо, военный врач 2-го батальона». Сундучок служил подставкой для граммофона, давно уже бездействовавшего.

Вот уже почти пять месяцев Антуан, замурованный в этой розовой келье, следил за изменчивым ходом своей болезни и напрасно ждал признаков улучшения. Почти пять месяцев... Здесь он страдал, считал минуты, ел, пил, кашлял, начинал и не кончал читать книги, мечтал о прошлом, о будущем, принимал гостей, шутил, до одышки спорил о войне и о мире... Ему опротивела эта постель, кресло, плевательница, безмолвные свидетели бессонницы, удущий, лихорадки. По счастью, его состояние позволяло ему довольно часто сходить вниз, вырываться на волю. В такие дни Антуан, взяв книгу, не для чтения, а для того, чтобы хоть немного скрасить одиночество, скрывался в кипарисовых аллеях или под тенью оливковых деревьев, иной раз уходил в самый дальний угол огорода и устраивался около ручья, журчание которого, казалось, распространяло вокруг свежесть. Иногда же, когда силы позволяли оставаться на ногах, Антуан спускался вместе с Бардо и Мазе в лабораторию, — еле живой, но счастливый, как в самые счастливые свои дни.

Если б только он мог извлечь пользу для будущего из этого вынужденного заточения, если бы не пропадали зря эти недели, эти месяцы ожидания! Он пытался начать какую-нибудь работу для себя, но каждый раз наступало ухудшение и приходилось бросать задуманное в самом начале, так ничего и не добившись. Особенно его привлекал один замысел: подытожить в пространном труде наблюдения — накопленные еще перед войной — над заболеваниями дыхательных органов у детей, в связи с общим развитием интеллекта и внимания у ребенка. Его записи давали уже сейчас достаточно богатый материал, из которого могла составиться обширная журнальная статья или даже небольшая книжка. Он торопился, желая ограничить себя определенным сроком, ибо тема, как говорится, носилась в воздухе и можно было ждать, что его опередит какой-нибудь специалист по детским болезням. Но если бы даже здоровье и не препятствовало, Антуан все равно не спрavился бы с работой, за неимением под рукой выписок и результатов анкет, которые остались в Париже. И не было никакой возможности их получить: его секретарь, юный Манюэль Руа, пропал без вести, вместе со всем взводом, во время наступления под Аррасом, на второй месяц войны; Жуслен вот уже два года был в лагере военнопленных в Силезии; а Халиф, раненный под Верденом в 1916 году и потерявший слух, специализировался на рентгенологии и был прикомандирован к санитарной службе Восточной армии.<sup>1</sup>

Первый удар гонга, возвещавший приближение обеденного часа, поднял Антуана с кресла. Он зажег лампочку над умывальником и посмотрел себе горло. Прежде чем садиться за стол, он из предосторожности делал смазывание, чтобы умерить боль при глотании — боль, которая в иные дни бывала столь мучительна, что

<sup>1</sup> Французский экспедиционный корпус на Салоникском фронте.

Антуан волей-неволей прибегал к помощи Бардо и его гальвано-каутеров.

В ожидании второго сигнала он придвинул кресло к окну и поднял штору. Перед ним расстипался покатый склон, дальше уступами шли возделанные поля, а выше виднелись гребни скал; направо волнистой линией до самого горизонта, сливающегося с лазурью моря, тянулись в дрожащем солнечном свете знакомые глазу холмы. Прямо под окном — сад, откуда доносились запахи цветов и голоса. Он выглянул в окно и несколько минут следил глазами за сбычной прогулкой больных, расхаживавших взад и вперед по широкой аллее, которая тянулась меж двух рядов кипарисов. Он знал их всех: вот Гуаран и его дружок Вуазне (только у них двоих не были затронуты голосовые связки, и они болтали с утра до вечера); Дарро — с вечной книжкой в руках; Экман, которого прозвали «кентгуру», и майор Ремон, который каждое утро, собрав кучку юных офицеров, раскладывал карту и комментировал сводку. Хотя Антуан видел только их жесты, движения, ему казалось, что он слышит их разговоры; и он почувствовал себя почти таким же усталым, как если бы сам участвовал в этой прогулке.

Гонг прозвучал вторично, и весь сад ожила, как потревоженный муравейник.

Вздохнув, Антуан отошел от окна. «Трудно придумать что-нибудь более унылое, чем этот зловещий звон, — подумал Антуан. — Почему бы не завести просто колокол, как повсюду?»

Ему совсем не хотелось есть. Да и не хватало мужества еще раз спускаться, пройти два этажа, снова вдыхать запах еды, выносить фамильярность, неизбежную за общим столом, суetu прислуги, с любезной улыбкой выслушивать ежедневные споры о замыслах Германии, пророчества о сроках войны, толкования скрытого смысла сводок.. И ко всему еще полагались шуточки, воспоминания о фронте, скабрезные анекдоты и, наконец, — что было совсем уж плохо, — интимные признания насчет характера слизи или обилия ночных мокрот.

Сменив пижаму на старый полотняный белый китель с тремя галунами, Антуан вытащил из кармана телеграмму Жиз и вдруг остановился:

«А что, если поехать?»

Он невольно улыбнулся. Он знал, что ни за что не поедет, был внутренне уверен в этом, и все же дал волю воображению и на минуту увлекся своим проектом. Сам по себе проект был вовсе не так уж нереален. Приняв известные меры предосторожности, не прерывая лечения, взяв с собой ингалятор и все лекарства, можно было не бояться ухудшения. «Похороны воскресенье 10 часов...» Нужно только завтра, в субботу, сесть на скорый, отходящий после полудня, и в воскресенье утром он будет в Париже... Конечно, Сегр не откажет, в отпуске: отпустил же он Досса, невзирая на состояние его здоровья!.. В некотором смысле случай был соблазнительный... Даже заманчивый, в силу своей неожиданности.

Вдруг он увидел себя, как в довоенные времена — во времена легкой жизни и здоровья — в вагоне-ресторане, одного, без собеседников, перед красиво сервированным столиком...

В Париже он мог посоветоваться со своим старым учителем, профессором Филиппом... А главное — взял бы выписки, карточки, привез бы сюда с собой целый чемодан заметок, книг; тогда будет над чем работать, будет на что употребить эти бесконечные месяцы выздоровления...

Париж! Три дня вольной жизни! Три дня без общего стола!  
Почему бы и не поехать, в конце концов?

## II

В тишине щелкнул замок, и окошко сестры-привратницы приоткрылось. Антуан успел разглядеть синий суконный обшлаг и желтую, как пергамент, руку, на которой сверкнуло обручальное кольцо.

— Прямо по коридору, во дворе, — пробормотал невидимый голос. Вестибюль переходил в выложенный плитками коридор, — пустынный, блестевший чистотой, он вел в безмолвные недра «Убежища». Налево Антуан увидел живописную группу: две старушки в черных вязаных косынках примостились на нижней ступеньке лестницы и, наклонившись друг к другу, тараторили вполголоса.

Во дворе, пересеченном солнечными лучами, было пусто. Часовня стояла в самой глубине. Одна из дверных створок была открыта, на освещенной стене вырисовывался черный прямоугольник; оттуда доносились звуки органа. Служба уже началась. Антуан вошел. Его взгляд различил в полутьме часовни зубчатый строй огоньков. Пол часовни был ниже уровня двора; пришлось спуститься вниз на две ступеньки. Антуан проскользнул мимо факельщиков, толпившихся в проходе. Небольшой придел был набит людьми. Здесь чувствовалась прохлада склепа. Опираясь рукой о кропильницу, Антуан с трудом поднялся на цыпочки. Перед алтарем покоился гроб, наполовину прикрытый черным покровом, с четырьмя свечами по углам. В ногах гроба, скрестив руки на груди, стоял седовласый карлик с очками на носу, а рядом коленопреклоненная девушка в форме сестры милосердия; лицо ее закрывала синяя вуаль; она повернула голову, и Антуан узнал профиль Жиз. «Ни родных, ни друзей... Никого, кроме этого идиота Шаля, — подумал он. — Хорошо, что я приехал... Женни нет... Ни госпожи де Фонтанен, ни Даниэля... Тем лучше. Скажу Жиз, чтобы она никому не говорила, что я в Париже; тогда я могу не ездить к ним в Мезон-Лафит». Оглядел еще раз ряды скамей, где кучкой сидели старушки в косынках и монахини в огромных чепцах, он убедился, что из знакомых никого нет. «Мне ни за что не выстоять всю службу... Сил не хватит, да и холодно здесь...» Он собрался было выйти вон, но вдруг скамьи заскрипели: присутствующие встали с мест и опустились на колени. Священник, отправлявший богослужение, воздев руки,

повернулся к молящимся. Антуан узнал высокую фигуру и лысеющий лоб аббата Векара.

Он поднялся по ступеням, вышел во двор, уселся на скамейку, залитую солнечным светом. Между лопатками мучительно ныло. И все же это длинное путешествие по железной дороге не так уж утомило его; ночью ему удалось полежать несколько часов. Но переезд с Лионского вокзала в стареньком такси по неровной бульварной мостовой буквально доконал его.

«Прямо детский гробик, — думал он. — Какая она маленькая!» Он вспомнил, как Мадмуазель семенила по их квартире на Университетской улице, ее фигурку, скромно примостившуюся на самом кончике стула перед инкрустированным секретером. «Моя фамильная мебель», — шутя называла она это единственное имущество, привезенное ею в дом г-на Тибо. Здесь, в потайном ящике, она держала деньги, которые ежемесячно выдавал ей г-н Тибо на хозяйство, хранила все свои реликвии, свои сбережения. Сюда же она прятала сушеные ягоды и счета, бумагу для писем и палочки ванили, огрызки карандашей, выброшенные г-ном Тибо, проспекты и рецепты, иголки, пуговицы, крысиный яд, саше, пропахшие ирисом, бутылочки арники, ключи от всего дома, и молитвенники, и фотографии, и огуречную помаду для смягчения кожи рук; когда она стирала секретер, приторный запах помады, смешанный с запахами ириса и ванили, слышался даже в передней. В глазах мальчиков, Антуана и Жака, этот письменный стол обладал всеми чарами сказочного сокровища. Позже Жак и Жиз окрестили стол мадмуазель де Вез «мыльно-гвоздильным», потому что он был как те деревенские лавки, где можно найти все, что душе угодно...

Шум шагов заставил его поднять голову. Люди в черном распахнули вторую створку двери и стали раскладывать венки прямо на земле, во дворе. Антуан поднялся.

Служба кончилась. Две монахини в тиковых передниках, волоча за собой большую корзину на колесиках, груженную овощами, прошли мимо, потупив глаза, и скрылись в одном из строений в глубине дворика. Во втором этаже распахнулись занавески, и немощные старушки в ночных кофтах появились у окон. Другие, пободнее, выходили из часовни и, ковыляя, выстраивались по обе стороны паперти. Орган умолк. Серебряный крест, белый стихарь выплыли из полутьмы. Показался гроб, его несли двое. Сзади шли певчие, за ними старенький священик, за ним аббат Векар.

Жиз тоже поднялась по ступенькам и показалась в дверях, освещенная солнцем. За ней шагал г-н Шаль. Процессия остановилась, и факельщики, выступив вперед, стали убирать крышку гроба венками. Жиз смотрела на гроб глазами, полными слез. В выражении ее серьезного, повзрослевшего лица было что-то новое, незнакомое Антуану. Антуан удивился: в мыслях Жиз всегда представлялась ему пятнадцатилетним подростком. «Она меня не видит. Она и не подозревает, что я здесь», — думал он и испытывал какую-то неловкость оттого, что может разглядывать ее, а она даже

не догадывается о его присутствии. Он забыл, что у нее такой смуглый цвет лица. «Это, должно быть, от белой косынки на лбу...»

На г-не Шале были черные перчатки, в руках он держал какую-то допотопную шляпу; он вытягивал шею и вортел во все стороны своей маленькой, птичей головкой. Вдруг он увидел Антуана и быстро поднес руку ко рту, как бы желая заглушить крик. Жиз отвела глаза от гроба и заметила Антуана. Она смотрела на него секунды две, будто не узнавая, потом бросилась к нему и зарыдала. Он неловко поцеловал ее. Но похоронная процессия снова двинулась в путь, и Антуан осторожно высвободился из объятий Жиз.

— Пойдем вместе, — шепнула она. — Не оставляй меня одну.

Она вернулась на прежнее место. Антуан последовал за ней. Шаль глядел на них с остолбенелым видом.

— Ах, это вы? — пробормотал он как бы сквозь сон, когда Антуан протянул ему руку.

— Кладбище далеко? — спросил Антуан у Жиз.

— Наш склеп в Левалуа... Есть кареты, — ответила она тихо. Кортеж медленно пересек двор.

Катафалк, запряженный парой лошадей, ждал на улице. Местные жители, взрослые, дети, выстроились у края тротуара. К старым извозчичим дорогам были приложены три сиденья, высоко, как паланкин на спине слона. Лезть туда пришлось по ступенькам. Места предназначались для Жиз, для г-на Шаля и распорядителя похорон; но распорядитель уступил свое место Антуану, а сам вскарабкался на сиденье рядом с кучером в треуголке. Экипаж тряхнуло, и он покатился, подпрыгивая по неровной мостовой. Оба священника ехали следом в траурной карете.

Антуан с трудом взобрался на сиденье и сразу почувствовал боль в легких. Начался жестокий приступ кашля, и с минуту он сидел, зажав рот платком, низко наклонив голову.

Жиз поместилась между Антуаном и г-ном Шалем. Она переждала приступ и тронула Антуана за руку.

— Как хорошо, что ты приехал... Я тебя не ждала!

— Ах, друзья мои, в нынешние времена нужно ждать всего, — рассудительно вздохнул Шаль. Он приподнялся ближе и с любопытством посмотрел поверх очков на кашлявшего Антуана. Затем покачал головой: — Простите. Я не сразу вас узнал. Вы так изменились... Не правда ли, мадмуазель Жиз?

Антуан не мог подавить неприязненное чувство. Тем не менее он постарался ответить как можно любезнее:

— Да... Я изрядно похудел. Иприт!

Жиз повернулась к нему, вдруг испугавшись его замогильного голоса. В первые мгновения, там, во дворе, ее тоже поразил вид Антуана, но тогда она не успела его как следует разглядеть. Впрочем, ничего не было удивительного в том, что он изменился за пять лет разлуки; притом же он в военной форме. Мысль, что его болезнь, может быть, гораздо серьезнее, чем она думала, внезапно пришла

ей в голову. Она знала, что Антуан отравлен ипритом, и только. Знала, что лечится он на юге. «Я на пути к выздоровлению», — гласили его письма...

— Иприт? — самодовольно, с видом знатока повторил Шаль. — Чудесно. Газ, который был впервые применен под Ипром. Его называют также «горчичным»... Последнее слово техники. — Он по-прежнему с любопытством разглядывал Антуана. — Вас, должно быть, здорово пробрал этот газ... Но зато вы получили военный крест. Это большая честь.

Жиз взглянула на китель Антуана. В своих письмах он и словом не обмолвился о награждении.

— А врачи? — решилась она спросить. — Что они говорят? Долго тебе еще оставаться в клинике?

— Выздоровление, видишь ли, идет медленно, — признался Антуан. Он попытался улыбнуться. Хотел что-то добавить, глубоко вздохнул и замолчал: лошади трусили по мостовой, и от толчков у него захватывало дух.

— В нашем магазине изобретений мы продаем все необходимое для военных, и противогазовые маски тоже, — выпалил одним дыхом Шаль, любезно осклабясь.

Жиз, желая доставить ему удовольствие, спросила:

— А как идет ваша торговля, господин Шаль? Хорошо?

— Да кое-как, кое-как... Как и все в нынешние времена, мадмуазель Жиз! Приходится приспосабливаться. У нас забрали на фронт всех изобретателей; а на фронте, черт побери, сми ничего путного не изобретают... Иногда, конечно, кому-нибудь приходит в голову интересная мысль. Например, наше «Лото Антанты». На днях выйдет... Портативное... Картинки на мотив военных операций: Марна,<sup>1</sup> Эпарж, Дуомон...<sup>2</sup> Большой успех у фронтовиков... Приходится приспосабливаться, мадмуазель Жиз...

«Ты-то николько не переменился», — подумал Антуан.

Из Пуэн-дю-Жур в Левалуа катафалк ехал внешними бульварами. Радостный и сияющий вставал воскресный день. Пригревало солнце. У фортоек разгуливали солдаты. Парижанки в светлых платьях направлялись мимо ворот Дофина в Булонский лес, с детьми, с собачками; вдоль тротуаров стояли тележки, полные цветов. Как когда-то...

— А от...чего она... умерла? — спросил Антуан. Голос его прерывался от толчков.

Жиз повернулась к нему:

— Отчего? Бедная тетя... Она вся изболелась. Желудок, почки, сердце. Целыми неделями у нее не работал желудок. В последнюю ночь сердце внезапно сдало. — Она помолчала несколько секунд. —

<sup>1</sup> Имеется в виду так называемая битва на Марне (30 августа — 9 сентября 1914 г.), окончившаяся поражением немцев и провалом их наступления на Париж.

<sup>2</sup> Места наиболее кровопролитных боев во время немецкого наступления на Верден (21 февраля — 1 июля 1916 г.): Э парж — деревня к юго-востоку от Вердена, Д у о м о н — форт, прикрывающий город с северо-востока.

Ты представить себе не можешь, как изменился ее характер за последнее время, с тех пор как она переехала в «Убежище»... Она ни-чем, кроме себя, не интересовалась... Ее режим, ее здоровье, ее сберегательная книжка. Тиранила сиделок, монахинь. Да, да! Жаловалась на всех: ей казалось, что ее преследуют. Даже обвинила свою соседку, что та ее обокрала. Вышла целая история... Тетя по суткам не пила: думала, что сестры милосердия хотят ее отравить.

Жиз замолчала; никто не произнес ни слова. Она истолковала в дурную сторону молчание Антуана — приняла его за упрек. Поэтому что в последние дни ее мучила совесть: она спрашивала себя, все ли сделала для своей тетки. «Ведь она воспитала меня, а я ушла от нее при первой возможности; и в «Убежище» я ее почти не на-вещала».

— В Мезон, — снова заговорила она, повысив немного голос, как будто желая оправдаться, — мы так поглощены уходом за ранеными... Пойми, мне нелегко было выбраться. Последние месяцы особенно; я ее почти не видела. А потом настоятельница мне написала, и я тут же приехала. Никогда не забуду... Бедная тетя... Сидела в самом углу комнаты, где висели ее платья, — на чемодане, в рубашке и в юбке, чепец сбился на сторону. Одна нога в чулке, другая голая. Она высохла вся, как скелет. Лоб торчит, щеки ввалились, шея тощая... Но удивительно — нога у нее была совсем молодая, даже юная: нога как у девушки... Она ничего не спросила — ни про меня, ни про кого. Начала тут же жаловаться на своих соседок, на монахинь. А потом открыла свой секретер, помнишь его? Ей захотелось показать ящичек, где она хранила свои сбережения, «чтобы оплатить все расходы». И тут она начала говорить о своем погребении: «Ты меня больше не увидишь. Я скоро умру!» А потом сказала: «Но ты не бойся: я скажу настоятельнице, чтобы она все-таки высыпала тебе деньги на рождество». Я попробовала было пошутить: «Тетя, ты уже лет десять твердишь, что скоро умрешь». Она рассердилась на меня: «Я хочу умереть! Я устала жить!» И потом взглянула на свою ногу: «Посмотри, какая у меня крошечная ножка. А у тебя всегда были лапищи, как у мальчишки». Прощаюсь, я хотела ее поцеловать, но она меня оттолкнула: «Не целуй меня. От меня плохо пахнет, я пахну старостью...» И тут заговорила о тебе. Я была уже у дверей; она меня позвала: «Знаешь, у меня выпало шесть зубов. Прямо рву их, как редиску!» И так весело рассмеялась, своим смешком, помнишь? «Шесть зубов. Скажи об этом Антуану... Если он хочет меня увидеть, пусть поторопится».

Антуан слушал. Слушал с волнением: с недавних пор его стали интересовать рассказы о болезнях, о смерти.

Кроме того, болтовня Жиз позволяла ему молчать.

— Это было твое последнее посещение?

— Нет. Я приезжала еще через две недели. Она написала мне, что соборовалась. В комнате было темно. Тетя не могла выносить дневного света... Сестра Марта подвела меня к постели. Тетя лежала, скорчившись под пуховиком, такая крошечная... Сестра попы-

талаась было ее развлечь: «Это ваша любимица Жиз!» Пуховик зашевелился. Не знаю, поняла ли она, узнала ли меня. Вдруг она сказала очень четко: «Как это долго!», а через минуту: «Что слышно о войне?» Я стала ей рассказывать, но она не ответила, очевидно не понимала. Несколько раз перебивала меня: «Ну? Что же нового?» А когда я хотела поцеловать ее в лоб, она меня оттолкнула: «Ты меня растреплешь!» Бедная тетя... «Ты меня растреплешь» — последние ее слова.

Шаль утер глаза платочком. Потом аккуратно сложил платочек и неодобрительно пробормотал сквозь зубы:

— И не нужно было... Не нужно было трепать ее волосы.

Жиз быстро опустила голову, и невольная улыбка, юная и лукавая, прошла, как отблеск, по ее лицу. Антуана удивила эта улыбка, и Жиз вдруг стала очень близкой: захотелось назвать ее Негритянкой и поддразнить, как в былые времена.

Карета подъехала к воротам Шамперре и остановилась для совершения необходимых формальностей. На площади стояли замаскированные зенитные пушки, пулеметы и прожекторы, возле которых расхаживали часовые.

Когда карета снова двинулся вперед и выехал на шумные улицы Левалуа, Шаль вздохнул:

— Ах! А все-таки она была счастлива в «Убежище», наша славная Мадмуазель! Того же и себе желаю, господин Антуан: мужскую богадельню, но, конечно, благоустроенную... Там будет спокойно... Не придется ни о чем больше думать... — Он снял очки, вытер их. Без очков он щурился, и взгляд у него оказался кроткий и восторженный. — Я оставлю им ренту, которую получил от вашего отца, — продолжал он, — у меня будет кров над головой до конца дней моих... Смогу понежиться в постели, смогу подумать о своих делах... Я побывал тут в одной богадельне, в Ланьи. Но по нынешним временам этот район небезопасен... Кто может поручиться за бошей? Да и бомбоубежища там нет... Значит, это вообще не настоящее убежище. А по нынешним временам нужны настоящие убежища.

Он произносил «по нынешним временам» жалобным голосом, заслоняя лицо руками в черных перчатках, как будто оборонялся от слишком зловещих предзнаменований. Перчатки были не по руке, и ссохшиеся кончики потертых пальцев противно закручивались, как завитки раковины.

Антуан и Жиз молчали. Им уже не хотелось улыбаться.

— Ни в чем нельзя быть уверенным, нигде нет покоя, — продолжал Шаль жалобным голоском. — Только во время ночной тревоги... когда есть надежное убежище. Тогда спокойно... В доме номер девятнадцать, напротив меня, есть хорошее бомбоубежище. — Он помолчал с минуту, потому что Антуан закашлялся. Потом добавил: — Так-то, господин Антуан. Ночи в убежище — по нынешним временам это лучшее, что может быть.

Карета ехала вдоль длинной стены.

— Должно быть, здесь, — сказала Жиз.

— А отсюда ты куда? — спросил Антуан.

Он крепко налегал на спинку тяжелой колымаги, чтобы не так чувствовать толчки.

— К тебе, на Университетскую улицу, конечно... Я у тебя уже с позавчерашнего дня. Карета довезет нас до дома. Деньги уже заплачены.

— Лучше нанять хорошее такси, — сказал Антуан, улыбаясь. С той минуты, как он взгромоздился на паланкин, он боялся вылезти из него, боялся и оставаться в нем. Поэтому он твердо решил добраться до дома каким-нибудь другим способом.

Жиз удивленно взглянула на Антуана. Но ничего не спросила.

Карета уже въехала в ограду кладбища.

### III

— Ну, теперь все держатся. Можешь посидеть так десять минут?

— Даже двадцать, если тебе угодно.

Антуан сидел верхом на стуле перед маленьким письменным столом в своей комнате на Университетской улице; на спине у него было восемь банок.

— Смотри, — сказала Жиз, — не простудись.

Она взяла накидку, которую при входе бросила на стул, и прикрыла ему плечи.

«Какая она добрая, милая», — подумалось ему. Он не без волнения почувствовал, что где-то в глубине таится прежняя нежность к ней, согревавшая сердце. «Почему я чуждался ее последние годы? Почему не писал ей?» Он вспомнил вдруг свою розовую комнату в Мускье, где шесть girls задирали над зеркалом ноги, вспомнил общий стол, заботливые, но грубые руки Жозефа. «Хорошо было бы остаться здесь, а Жиз ухаживала бы за мной».

— Я не закрою двери, — сказала Жиз. — Если я тебе понадоблюсь, кликни меня. Пойду приготовлю «кормежку».

— Нет, нет, только не кормежку, — резко ответил он, — нет, нет, хватит кормежек за эти четыре года.

Жиз улыбнулась и вышла из комнаты, он остался один. Один, — ощущая прелесть вновь обретенного очага, убаюканный мечтой о нежной ласке женщины, о милом лице, склонившемся над изголовьем.

И наедине с запахами, — они охватили его сразу, как только он вошел в переднюю и машинально повесил кепи на тот самый крюк, на который вешал некогда шляпу; и потом, жадно раздув ноздри, он с ненасытным любопытством стал принюхиваться к запахам своего дома, которые, казалось, совсем забыл и, однако, узнавал сразу, вспоминал вновь. Они были еле уловимы, неясны, почти не

поддавались определению и как будто исходили разом от стен, ковров, занавесей, от кресел и книг, чуть ощутимо наполняя этаж смесью всех оттенков — затхлости, чистого белья, мастики, табака, кожи, лекарств...

Возвращение с кладбища, откуда он по дороге заехал на Лионский вокзал за чемоданом, показалось ему нескончаемо долгим. Боль в боку стала нестерпимой, одышка усилилась; и, вылезая из такси, больной и ослабевший, он горько упрекал себя за то, что предпринял эту поездку. К счастью, он захватил с собою необходимые лекарства, и после укола одышка прошла. Потом, под его наблюдением, Жиз поставила восемь банок; они уже начали действовать: бронхи прочистились, дышать стало легче.

Сложив худые руки на спинке стула, он сидел неподвижно, накнув голову, напрягая торс; внезапно смягчившимся, почти нежным взором он оглядывал знакомые вещи. Он не мог и предполагать, что так взволнуется при виде своей квартиры, своего небольшого письменного стола. Ничто не переменилось здесь. В одну минуту Жиз сняла чехлы с мебели, расставила кресла по местам, открыла ставни, до половины опустила шторы. Ничто не переменилось, и, однако, все поражало своей неожиданностью: эта комната, где некогда он проводил все свое время, показалась ему одновременно и близкой и чужой, как воспоминание детства, возникающее с ясностью галлюцинации, вдруг, после долгих лет полного забвения. Взгляд его с любовью скользил по прекрасной бежевой дорожке, по кожаным креслам, дивану, подушкам, по камину, где стояли часы, по книжным полкам. «Неужели было время, когда меблировка квартиры казалась мне жизненно важным делом?» — думал он. Он знал наперед название каждой книги, будто только накануне переставлял их, — хотя за четыре года ни разу не вспомнил о своих книжных полках. Каждая вещь, каждый предмет — круглый столик, черепаховый разрезательный нож, бронзовая пепельница с драконом, ящичек для папирос — напоминали ему какой-нибудь момент его жизни; он знал, где и когда их купил, мог назвать имя благодарного пациента, оправившегося после долгой болезни, развитие которой Антуан и сейчас описал бы; предметы напоминали разное: жест Анны, какое-нибудь замечание Халифа, слова отца. Ибо этот кабинет служил когда-то спальней г-ну Тибо. Антуану стоило только закрыть глаза, и снова он видел перед собой громоздкий умывальник красного дерева, зеркальный шкаф, медный таз, вешалку в углу... Если бы эта комната оказалась такой, какой Антуан знал ее в годы детства, он, должно быть, удивился бы меньше ее внешнему виду, чем теперь, хотя перестановку произвели по его собственному желанию.

«Странно, — подумалось ему. — Вот даже сейчас, когда я входил в подъезд, мне казалось, что я иду не к себе домой, а к отцу».

Он снова открыл глаза и увидел на низеньком столике возле дивана телефон. И внезапно молодой человек, который столько раз

брал в руки эту трубку, представился ему: цветущий, гордый своей силой, властный, вечно в движении, неугомонно счастливый от того, что он живет и действует. Между ним и этим молодым человеком лежали четыре года войны и раздумий; он пережил долгие месяцы непрерывных страданий, внезапную потерю здоровья, преждевременную старость, которая каждую минуту напоминала о себе. Вдруг почувствовав, что теряет силы, он прислонился лбом к спинке стула. Настоящее отступило перед прошлым. Отец, Жак, Мадмуазель — их нет больше. Прежняя жизнь семьи предстала перед ним такой, какой он ее видел, когда был молод и здоров. Чего бы он не дал, чтобы вернуть те времена! Печаль о том, что ушло, слилась с его теперешней тоской. Он чуть было не позвал Жиз, лишь бы не оставаться одному. Но у него хватило сил спрашивать с собой. Посмотреть правде в глаза. Все дело в здоровье. Прежде всего — выздороветь. Он решил, не откладывая, серьезно поговорить со своим учителем, доктором Филиппом; они вместе придумают лечение — более эффективное и радикальное. Те методы, которые применяются в Мускье, окончательно его обесселят. Разве не странно, что он стал таким немощным? Филипп... Жиз... Мысли его смешались. Увезти Жиз в Мускье. Выздороветь... Он забылся.

Когда через несколько минут он проснулся, Жиз сидела на ручке кресла и глядела на него. Она хмурила брови — сосредоточенно, даже с тревогой. Он увидел ее простое, ничего не умевшее скрывать лицо и понял.

- Я стал совсем уродом, правда?
- Нет, просто похудел.
- Я потерял девять кило с осени.
- А сейчас тебе лучше?
- Значительно.
- У тебя голос немного... глухой.

Из всех произошедших с ним перемен Жиз больше всего поражал этот слабый, простуженный голос.

— Сейчас еще ничего. А иногда, особенно по утрам, я совсем теряю голос.

Оба помолчали, потом она вскочила с кресла.

— Снимать?

— Ну, снимай!

Жиз пододвинула стул, села рядом с Антуаном, просунула руку под накидку, чтобы не простудить его, и осторожно стала снимать банки. Она клала их одну за другой себе на колени, потом, взявшись за кончики передника, встала и унесла, чтобы ополоснуть.

Он поднялся; дышать стало гораздо легче; он осмотрел в зеркало свою костлявую спину, покрытую лиловыми кругами, и стал одеваться.

Когда Антуан вышел в столовую, Жиз уже накрывала на стол.

Он оглядел просторную комнату, два десятка стульев, стоявших в ряд у стены, буфет с мраморной доской, за которым в былье времена царил Леон, и сказал:

— Знаешь, как только война кончится, я продам дом.

Жиз удивленно обернулась и, продолжая вытирая тарелку, пристально поглядела на Антуана.

— Продашь дом?

— Я ничего не хочу оставлять из этих вещей. Ничего. Сниму маленькую квартирку, простую, недорогую. Я...

Он улыбнулся. Он сам еще не знал хорошенко, что он делает, но в одном был уверен: вопреки всему, что казалось таким реальным еще нынче утром, он никогда не вернется к прежнему образу жизни.

— Эскалоп, лапша с маслом, клубника. Угодила? — промолвила Жиз. Она не понимала отвращения Антуана к этой жизни: ведь он сам устроил ее, устроил по своему вкусу. Она не умела загадывать и никогда не интересовалась планами на будущее.

— Ты совсем захлопоталась, милая хозяйшка, — сказал он, оглядывая накрытый стол.

— Через десять минут все будет готово. Вот только найду салфетки.

— Я сам поищу.

Всю бельевую занимала складная кровать, — ее так и не сложили, не прибрали. На кровати, в складках матраса, Антуан увидел четки. На стульях в беспорядке лежала одежда.

«Почему она не ночует в угловой комнате?» — подумал он.

Антуан открыл дверцы одного шкафа, затем второго, третьего. Все три шкафа были набиты новым бельем. Тут были простыни, наволочки, купальные халаты, какие-то тряпки, докторские фартуки. Стопки белья — не распакованные еще и перевязанные красной тесемкой. Он пожал плечами. «Какая нелепость. Оставить только самое необходимое. Все прочее на продажу!» Однако он придвинул к себе стопку салфеток и вытащил две.

«Знаю почему! Она просто не хотела ночевать в этой комнате, потому что здесь жил раньше Жак...»

Он шел по коридору медленным шагом, рассеянно ощупывая стены, выкрашенные масляной краской, приоткрывая двери и с любопытством заглядывая в комнаты, будто осматривал чью-то незнакомую квартиру.

В передней он остановился перед двухстворчатой дверью, которая вела в его приемную. Он колебался. Наконец повернул ручку двери.

Ставни были закрыты. Мебель, покрытую чехлами, сдвинули к книжным шкафам. Комната казалась поэтому еще больше. Солнце пробивалось между щелями ставен, и в неясном, рассеянном

свете кабинет был похож на огромную провинциальную гостиную, куда хозяева заходят только по случаю приезда гостей.

Ему вспомнились последние дни июля 1914 года, газеты, которые приносил Штудлер, споры, тревоги... И посещения Жака. Кажется, Жак приходил к нему вместе с Женни? Не в самый ли день мобилизации?

Прислонившись к дверям, он потихоньку внюхивался в здешний запах — это был все тот же запах дома, но более стойкий, более крепкий, чем в других комнатах, и какой-то другой, душистый... Посредине стоял большой, министерский письменный стол, накрытый простыней и оттого похожий на детский катафалк.

— Что они здесь нагромоздили?

На конец он решился войти и приподнял простыню. Весь письменный стол был завален пачками газет и брошюрами. С первых дней войны привратница сносила сюда кипы брошюр, множество каталогов, газет, журналов, а также проспектов, которые присыпали ему лаборатории.

— Чем же здесь все-таки пахнет? — повторял он. К привычному запаху примешивался какой-то другой, тяжелый, немного напоминавший аромат бальзама.

Антуан машинально разорвал бандероль с каким-то медицинским журналом, перелистал его. И вдруг он подумал о Рашили. Почему о ней, а не об Анне? Почему? Ведь он не вспоминал о ней уже многие месяцы. «Что с ней стало? Где она теперь? Должно быть, в тропиках со своим Гиршем, далеко от Европы, далеко от войны». Он отложил на камин несколько брошюр, чтобы взять их с собой в Москву. Сейчас в этих журналах сидят сплошь старые врачи, не подлежащие мобилизации. Пользуются случаем и печатают всякую завалы! Ну что ж, их счастье! Он пробегал глазами оглавления. Изредка попадалась статья, присланная из фронтового госпиталя: какой-нибудь молодой врач, урвав свободный час, описывал интересный случай из своей практики. Чаще всего хирург... Хоть в чем-то война пошла на пользу: все-таки хирургия двинулась вперед. Он копался в этой куче, вытаскивал наудачу какую-нибудь брошюру и бросал на камин. «Если бы только я мог дописать статью насчет заболеваний дыхательных органов у детей, Себийон конечно бы ее напечатал».

Пакет, оклеенный разноцветными марками, не похожий на другие, привлек его внимание. Антуан взял его в руки и приблизил к лицу; снова он почувствовал тот странный аромат, и мучительно старался вспомнить, как вдруг прочел на конверте имя отправителя: «Мадмуазель Бонне. Госпиталь в Конакри. Французская Гвинея». Марки были проштампованы мартом 1915 года. Три года тому назад. Он в недоумении вертел пакет в руках. Лекарство? Духи? Он разорвал бечевку и высвободил из бумаги яичек прямоугольной формы из какого-то коричнево-красного дерева, плотно забитый гвоздями. «Как же он открывается?» Антуан поиском глазами какой-нибудь инструмент. Хотел было уже отло-

жить ящичек в сторону, но вспомнил, что в кармане у него нож. Лезвие со скрипом скользило по краю ящичка; легкий нажим — и крышка подалась. Крепкий запах коснулся его ноздрей, запах восточного курения, ладана, мирры, запах знакомый, но которого он, однако, не мог узнать. Осторожно, кончиками пальцев он раздвинул слой опилок: показались маленькие желтоватые шарики, блестящие, но запыленные. И вдруг прошлое ударило ему прямо в лицо: эти желтые зерна — ожерелье из пахучего янтаря! Ожерелье Рашили!

Он держал ожерелье между пальцами и бережно перетирал зерна. Взгляд его стал нежным. Рашель... Ее белоснежная шея, завитки на затылке... Гавр, ее отъезд на «Романи» ранним утром... Но откуда это ожерелье? Кто такая мадмуазель Бонне из Конакри? Март 1915 года... Что все это означает?

Услыхав шаги в коридоре, он быстро спрятал ожерелье в карман. Жиз искала его, чтобы позвать завтракать. Она остановилась на пороге, втянула воздух.

— Как странно пахнет!

Антуан накинул простыню на груду брошюр и лекарств.

— Они ведь сюда свалили все лекарства.

— Ты идешь? Все готово.

Он пошел за ней. Рука чувствовала, как теплеют в кармане холодные зерна. Он думал о золотисто-белой плоти Рашили.

#### IV

Когда они уселись рядом в конце длинного стола, Жиз набралась храбрости:

— Теперь поговорим серьезно о твоем здоровье.

Антуан поморщился. Он вообще сам охотно говорил о себе, о своей болезни, о своем лечении, но ему было приятно, чтобы его просили рассказывать, и он не спешил отвечать на ее вопросы. Он сразу заметил, что вопросы были неглупые. Оказывается, эта маленькая Жиз, к которой он всегда относился как к ребенку, за три года работы в госпитале набралась кое-каких знаний. С ней можно было поговорить о медицине. И это также сближало их. Видя, как внимательно она слушает, Антуан подробно описал свой «случай», все фазы, через которые прошла его болезнь за последние месяцы. Если бы Жиз отнеслась к его рассказу легкомысленно или наговорила ему ободряющих слов, он, возможно, преувеличил бы свои опасения. Но она слушала с таким напряженным вниманием, смотрела таким озабоченным, испытующим взглядом, что он перешел на самый успокоительный тон и заключил:

— В конечном счете я выкарабкаюсь. (Он и в самом деле в глубине души думал так.) Как скоро, правда, неизвестно, — добавил он, улыбаясь. — Выкарабкаться-то я выкарабкаюсь... Только вот — поправлюсь ли совсем? Вообрази, что я останусь калекой,

с большой гортанью или с поврежденными голосовыми связками. Смогу ли я работать, как прежде? Пойми, мне мало одного сознания, что я останусь жить. Меня нисколько не прельщает перспектива вести существование получеловека. Я должен быть уверен в том, что буду так же крепок, как прежде! Но это как раз менее вероятно!

Жиз перестала есть, чтобы лучше слушать, лучше понимать. Она смотрела на него круглыми, удивленными глазами, детскими и преданными, как у первобытных людей. Ее нежность, внимательность, которых он был лишен в течение последних лет, казались сейчас особенно сладостными. Он засмеялся тихо, с надеждой:

— Менее вероятно, но не невозможно. При упорстве нет ничего невозможного. До сих пор я добивался всего, чего сильно желал. Почему же мне не удастся на сей раз?.. Я хочу выздороветь. И выздоровею.

При последних словах он повысил голос, закашлялся и вынужден был остановиться. Приступ был очень сильный и длился несколько минут. Тем временем Жиз, склонившись над тарелкой, украдкой наблюдала за ним. Она пыталась успокоить себя: «Он добьется того, чего захочет. Он будет лечиться. Он выздоровеет».

Когда Антуан перестал кашлять, она повернулась к нему. Он знаком показал, что хочет помолчать.

— Выпей воды, — сказала Жиз, наливая воду в свой стакан. И, не в силах удержаться от вопроса, который уже давно готов был сорваться с ее губ, она спросила: — А сколько дней ты пробудешь с нами?

Он ничего не ответил. Именно этого вопроса хотелось ему избежать. На самом деле его отпустили на четыре дня. Но он решил сократить отпуск. Ему вовсе не улыбалась перспектива провести в Париже четыре дня, довольствоваться случайным уходом, без конца уставать.

— Сколько же? — повторила она, обратив к нему вопросительный взгляд. — Неделю? Шесть дней? Пять?

Он отрицательно покачал головой, глубоко вздохнул, улыбнулся и только тогда ответил:

— Я уезжаю завтра.

— Завтра! — Голос ее задрожал от огорчения. — Значит, ты не поедешь со мной в Мезон-Лафит?

— Это невозможно, Жиз, милая... На этот раз невозможно... Как-нибудь потом... Летом, быть может...

— Но я тебя совсем не видела! После стольких лет!.. Завтра!.. И я не могу даже остаться с тобой в Париже: я должна ехать сегодня вечером! Завтра утром начинается мое дежурство, меня там ждут. Подумай только! Я уже три дня здесь; а накануне моего отъезда привезли шесть новых раненых.

— Зато мы проведем сегодня вместе целый день, — сказал он примирительным тоном.

— Нет, это тоже невозможно! — вскричала она с отчаянием в голосе. — Я должна сейчас же ехать в «Убежище». Нужно все устроить с тетиной мебелью, все ее дела, освободить комнату....

На глазах Жиз навернулись слезы. Он вспомнил ее детские горести. И снова ему пришла мысль: «Как было бы хорошо чувствовать ее заботу, жить в этой атмосфере нежности».

Он не знал, что сказать. Он и сам был расстроен оттого, что их встреча вышла такой короткой.

— Может быть, я смогу продлить отпуск, — начал он лицемерно. — Не знаю, право, но попытаюсь.

Глаза Жиз вспыхнули радостью, засмеялись. Омытые слезами, они стали еще прекраснее. (И это тоже напомнило Антуану бывшие годы.)

— Вот это хорошо, — сказала она, хлопая в ладоши. — И ты пробудешь у нас в Мезон несколько дней.

«Какое она еще дитя! — подумал он. — И как очарователен этот контраст чего-то совсем детского с цветущей женственностью».

Желая переменить разговор, он с серьезным видом спросил:

— А теперь объясни мне вот что. Как могло получиться, что никто не приехал с тобой в Париж? Это ведь не так далеко! Оставить тебя одну как раз во время похорон...

Жиз запротестовала:

— Но мы там очень заняты, ты и представить себе не можешь! Никак нельзя было... Ведь раз я уехала, остальным стало втрое больше дела!

Он невольно улыбнулся ее негодованию. Тогда, чтобы окончательно убедить его, Жиз пустилась в пространные объяснения, рассказывала о работе в госпитале, об условиях жизни в Мезон и так далее...

(С половины сентября 1914 года, после Марны, г-жа де Фонтанен, которую снедала жажда деятельности на пользу отечества, задумала основать госпиталь в Мезон-Лафите. У нее было там владение, доставшееся от отца, на опушке Сен-Жерменского леса; наниматели-англичане покинули Францию сразу же после объявления войны; старинный дом оказался свободным. Но помимо того что дом был невелик, он находился далеко от вокзала и магазинов. Тогда-то г-жа де Фонтанен и обратилась к Антуану, с просьбой предоставить ей виллу г-на Тибо, которая была значительно просторнее ее дачи и расположена поблизости от «всего». Антуан, разумеется, согласился; он тут же написал Жиз в Париж, чтобы она вместе с прислугой и г-жой де Фонтанен переоборудовала виллу. Со своей стороны, г-жа де Фонтанен заручилась сотрудничеством своей племянницы Николь Эке, жены хирурга, окончившей еще до замужества курсы сестер милосердия. Тут же был создан специальный комитет под контролем Общества

помощи раненым воинам. И полтора месяца спустя наскоро оборудованная вилла Тибо уже значилась в списках Санитарной службы под названием «Госпиталь № 7» и была готова к приему первой партии выздоравливающих. С тех пор госпиталь № 7, которым управляли г-жа де Фонтанен и Николь, не пустовал ни одного дня.)

Антуан знал обо всем этом из писем. Он был счастлив, что имение отца на что-то пригодилось, и особенно радовался за Жиз: ее праздная жизнь в Париже тревожила Антуана, и теперь он был доволен, что Жиз нашла теплый прием в семье Фонтаненов. Но, по правде говоря, он не проявлял большого интереса ни к вновь основанному госпиталю № 7, ни к даче Фонтаненов, которая под управлением неутомимой Клотильды, бывшей кухарки г-на Тибо, превратилась в своеобразный фаланстер — там жили Николь и Жиз, там поправлялся после ампутации ноги Даниэль, там поселилась, по возвращении из Швейцарии, Женни с ребенком. Поэтому он сейчас с интересом слушал болтовню Жиз; существование маленькой группки людей, о которой он думал не так уж часто, вдруг обрело в его глазах реальность.

— Из нас всех самая занятая Женни, — поясняла Жиз, увлеченная разговором. — Она не только возится с Жан-Полем, но и заведует бельевой; а ты представить себе не можешь, что это такое: стирать, гладить, штопать, каждый день вести отчетность, распределять белье в госпитале на тридцать пять коек, а иногда на сорок или даже на сорок пять. К вечеру она просто валится с ног. Всю вторую половину дня она проводит в госпитале, но по утрам остается на даче, из-за малыша... Госпожа де Фонтанен, так та, можно сказать, днют и ночуют в госпитале: она взяла себе комнату над конюшней, помнишь?

Антуану казалось странным, что Жиз (племянница целомудренной Мадмуазель) говорит о Женни и ее материнстве как о самой обыкновенной вещи. «Правда, — думал он, — это было три года тому назад... И потом, то, что прежде показалось бы скандалом, сейчас, когда происходит всеобщая переоценка ценностей, принимается много проще».

— И ты думал побывать в Париже и не посмотреть нашего малыша? — с упреком вздохнула Жиз. — Женни была бы в отчаянии.

— А ты никому ничего не говори, глупышка.

— Нет, — сказала она вдруг неожиданно серьезным тоном. — От Женни я никогда ничего не скрываю, ничего.

Антуан удивленно взглянул на нее и промолчал.

— Ты думаешь, тебе продлят отпуск? — спросила она.

— Попытаюсь.

— А как?

Он продолжал сочинять:

— Попрошу Рюмеля позвонить в военное учреждение, от которого это зависит.

— Рюмель... — повторила задумчиво Жиз.

— Все равно я хотел заехать к нему сегодня. Я ни разу не видел его с тех пор, как.... Хочу поблагодарить его за хлопоты по нашему делу.

Первый раз в течение дня разговор коснулся смерти Жака. Лицо Жиз вдруг передернулось, на смуглой коже выступили пятна.

(Осенью 1914 года она долго не хотела верить, что Жак умер. Упорное молчание Жака, сообщение его женевских друзей об его исчезновении, пессимизм Женни, Антуана — ничто не могло ее переубедить. «Он просто воспользовался случаем и снова убежал, — упрямо думала она. — Он опять вернется к нам». И, молясь за упокой его души, продолжала ждать живого Жака. В это-то время она и привязалась к Женни, привязалась не без расчета: «Когда Жак вернется, он увидит, что мы дружим; я останусь при них третьей. И, может быть, он будет мне благодарен за то, что я была с Женни во время его отсутствия...» Когда от Рюмеля стало известно о сгоревшем аэроплане, когда она своими глазами прочла копию официального донесения, ей пришлось признать очевидность случившегося. Но в глубине сердца неясное предчувствие говорило, что это еще не вся правда. Даже теперь бывали мгновения, когда она думала: «А вдруг?»)

Жиз низко наклонила голову, чтобы не встречаться взглядом с Антуаном; она сидела несколько мгновений молча, с трудом удерживая слезы, будто что-то внезапно оборвалось в ней. Наконец, чтобы не разрыдаться, она стремительно поднялась с места и пошла в буфетную.

«Как она раздалась, — подумал Антуан, следя за ней глазами и досадуя, что невольно огорчил ее. — Бедная Грудь! По фигуре ей можно дать на десять лет больше, лет тридцать по крайней мере!»

Он вытащил из кармана ожерелье. Маленькие пахнущие мускусом зернышки серо-свинцового оттенка, величиной с вишневую косточку, чередовались с шариками старого янтаря, которые и формой и цветом напоминали мирабель. Такая же темноватая желтизна, чуть прозрачная, чуть тусклая — желтизна перезревшей мирабели. Машинальным движением он вертел ожерелье между пальцами, янтарь теплел, и Антуану казалось, что он только что снял ожерелье с шеи Рашили.

Когда вошла Жиз с блюдом клубники, вся горечь печали еще так ясно читалась на ее лице, что Антуан почувствовал волнение. Пока она ставила блюдо на стол, он молча погладил ее смуглую руку, перехваченную у запястья серебряным браслетом. Жиз вздрогнула; ресницы ее затрепетали... Избегая его взгляда, она села на место, и две крупные слезы выступили на ее глазах. Потом, не скрывая больше своего горя, она повернулась к Антуану со смущенной улыбкой и несколько мгновений молчала.

— Какая я глупая, — вздохнула она наконец. И стала чинно посыпать клубнику сахаром. Но тут же поставила сахарницу на

стол и резко выпрямилась. — Знаешь, отчего я больше всего стра-  
даю, Антуан? Никто вокруг меня не произносит его имени... Женни не перестает думать о нем, я это знаю, чувствуя; она и ма-  
леньского так горячо любит потому, что он сын Жака... И Жак  
всегда с нами: любовь, которую я питаю к Женни, рождена па-  
мятью о Жаке. А разве она относилась бы ко мне так нежно, разве  
она стала бы обращаться со мной как с сестрой, не будь этого?  
Но никогда, никогда Женни не говорит со мной о нем! Это ка-  
кая-то тайна, которая владеет нами обеими, которая связывает  
нас навсегда и о которой мы никогда не напоминаем и словом. Но  
меня это гнетет, Антуан... Я сейчас тебе скажу, — продолжала  
она, почти задыхаясь. — Она гордая, Женни, и необщительная.  
Она... Я ее хорошо теперь знаю!.. Я ее люблю, я жизнь бы отдала  
за нее и за малыша! Но я страдаю. Страдаю оттого, что она такая  
вот замкнутая, такая... не знаю, как и сказать... Видишь ли, я ду-  
маю, что она мучается мыслью, что Жака никто не знал по-на-  
стоящему, кроме нее. Воображает, что только она одна могла его  
понять! Она во что бы то ни стало, всеми силами души хочет  
доказать, что она была единственной. Вот почему она не желает  
ни с кем о нем говорить. Особенно со мной!

Крупные слезы катились по щекам Жиз, хотя лицо ее, ви-  
запно постаревшее, уже не выражало печали, а только страсть,  
гнев; и в чертах ее пропустило что-то дикарское, чего Антуан не  
мог постичь. Он был удивлен: он никак не предполагал, что  
Женни и Жиз могут сойтись так близко.

— Не знаю, известно ли ей... о моих чувствах к Жаку, — про-  
должала Жиз совсем тихо, но голос ее по-прежнему прерывался. —  
А мне так хотелось бы поговорить с ней от чистого сердца! Мне  
нечего скрывать... Мне так хотелось бы, чтобы она знала все!  
Даже о том знала, как я ее тогда ненавидела — да, страстно не-  
навидела! А сейчас — все перевернулось; с тех пор как Жак умер,  
все мое чувство к нему (глаза ее засияли) я перенесла на нее,  
на их ребенка!

Антуан уже почти не слушал Жиз и видел только ее вздрагива-  
ющие темные веки, длинные ресницы, которые медленно поды-  
мались и опускались, то открывая, то приглушая сверкание зрач-  
ков, подобно мигающему свету маяка. Он подпер щеку рукой и с  
наслаждением вдыхал аромат, который шел от его пальцев, все еще  
пропитанных благовонием мускуса.

— Теперь они двое — вся моя семья, — снова заговорила Жиз,  
делая над собой усилие, чтобы казаться спокойной. — Женни обе-  
щала мне, что не оставит меня никогда...

«Если бы я предложил, согласилась бы она поселиться со  
мной?» — думал Антуан.

— Да, обещала. И, что бы ни случилось в дальнейшем, это об-  
легчает мне жизнь, понимаешь? Для меня на свете не существует  
теперь никого, кроме нее и нашего маленького!

«Нет, не согласится», — решил он. Однако он с удивлением различал в звуках ее дрожащего голоса какие-то диссонирующие ноты, которые говорили о многом... «Как много странного, — думалось ему, — в этой близости двух женских сердец, двух *вдовьих* сердец! Нежность, конечно. Но и наверняка ревность... И не без ядовитой примеси ненависти. И все это образует ту буйную мешанину, которая *дьявольски* похожа на любовь».

Жиз продолжала говорить; одинокая жалоба, которую она не могла удержать, облегчала ей сердце.

— Какое удивительное существо Женни... Благородная, деятельная — чудесная! Но как она сурова со всеми. Сурова, даже несправедлива к Даниэлю... И ко мне тоже, я это чувствую... О, она имеет на это право, я ведь ничто по сравнению с ней! Но не всегда она права. Она в ослеплении, она верит только себе, не допускает и мысли, что кто-нибудь может думать по-иному, чем она... А ведь я ничего не требую особенного! Если она не хочет, чтобы Жан-Поль рос в вере своего отца, пусть так, я не в силах ее переубедить... Но пусть она хотя бы окрестит его у пастора! — Взгляд Жиз стал суровым; и так же, как некогда Мадмуазель, она упрямо покачала головой, наморщив выпуклый лоб и непримиримо стиснув губы. — А ты как считаешь? — воскликнула она, вдруг повернувшись к Антуану. — Пусть делает из него протестанта, если хочет! Но пусть не воспитывает сына Жака как какую-нибудь собачонку!

Антуан сделал уклончивый жест.

— Ты не знаешь нашего малыша, — продолжала Жиз. — Это натура страстная, ему будет нужна религия!.. — Она вздохнула и вдруг добавила другим тоном: — Совсем как Жак! Ничего не случилось бы, если бы Жак не утратил веры! — И снова лицо ее в мгновение ока изменилось, нежная и восхищенная улыбка осветила его. — Он так похож на Жака, наш мальчик! Такой же темно-рыжий, как и Жак! Его глаза, его руки! И в три года — такой своеобразный! Такой норовистый, а иногда хитрый. — В голосе ее не осталось и следа прежней злобы. Она рассмеялась от всего сердца. — Он зовет меня «тетя Жи».

— Ты говоришь — своеобразный?

— Совсем как Жак. Те же вспышки гнева, помнишь? Глухого гнева... И тогда он убегает в самый дальний конец сада и что-то там обдумывает свое.

— Умный?

— Очень. Он понимает, угадывает все. И какая чуткость! От него всего можно добиться лаской. Но если ему, противоречить, если что-нибудь запретить, он хмурит брови, сжимает кулаки, себя не помнит. Настоящий Жак. — Она помолчала, задумалась о чем-то. — Даниэль удачно снял его. Кажется, Женни послала тебе карточку?

— Нет. Женни никогда не посыпала мне ни одной фотографии своего сына.

Жиз удивленно подняла на Антуана глаза, как бы спрашивая о чем-то, хотела что-то сказать, но удержалась.

— У меня в сумочке есть его карточка... Хочешь посмотреть?

— Да.

Жиз побежала за своей сумочкой и вытащила оттуда две маленькие любительские фотографии.

На одной, очевидно прошлого года, Жан-Поль был снят со своей матерью: это была прежняя, но немного пополневшая Женни, лицо стало круглой, черты спокойные и даже суровые. «Она будет похожа на госпожу де Фонтанен», — подумал Антуан. Женни была в черном платье; она сидела на ступеньке террасы, прижав к себе сына.

На другой, очевидно более поздней карточке, Жан-Поль был снят один: на нем было полосатое джерсе, которое плотно облегало его маленькое, на редкость крепкое тельце; он стоял весь напрягшись, с сердитым видом нагнув головенку.

Антуан долго смотрел на обе карточки. Вторая особенно напомнила ему Жака: та же форма головы, тот же проницательный взгляд исподлобья, тот же рот, челюсть, крупная челюсть, как у всех Тибо.

— Видишь, — поясняла Жиз; она стояла, наклонившись, за плечом Антуана, — он тут играл песком. Видишь, вот его лопатка; он бросил ее, рассердился, потому что прервали его игру, и отошел к стене...

Антуан поднял голову и улыбнулся.

— Ты любишь малыша, да?

Жиз ничего не ответила, но улыбнулась, и ничто не могло быть красноречивее этой открытой улыбки, полной восхищения и нежности.

И вдруг — Антуан ничего не заметил — она смущилась, как смущалась каждый раз, когда вспоминала тот бессмысленный поступок... (Случилось это два года тому назад, нет, даже больше: Жан-Поль был совсем крошка, его еще не отняли от груди... Жиз очень любила держать его на руках, баюкать, смотреть, как он засыпает у нее на коленях; и когда она видела, как Женни кормит ребенка, яростное чувство отчаяния, зависти овладевало ею. Однажды вечером Женни оставила ребенка под ее присмотром, в воздухе висела предгрозовая гнетущая духота; Жиз, повинувшись безотчетному искушению, унесла малыша к себе в комнату и дала ему грудь. Он жадно припал к ней крошечным ротиком; он сосал ее грудь, кусал, тискал... Жиз страдала несколько дней: больше от синяков, чем от угрязений совести. Был ли это грех? Она немножко успокоилась лишь после того, как полунаемками призналась в своем поступке на исповеди и сама наложила на себя покаяние. И никогда не повторяла этого больше...)

— А часто у него так бывает? Вот, что он не хочет слушаться? — спросил Антуан.

— О да, очень часто! Но Даниэль справляется с ним. Он больше всех слушается Даниэля. Должно быть, потому, что Даниэль — мужчина. Он обожает мать; и меня тоже любит. Но мы женщины. Как бы тебе объяснить? Он уже сейчас ясно сознает свое мужское превосходство. Не смейся. Уверяю тебя. Это чувствуется в тысяче мелочей.

— Думаю, ваш авторитет слабее в его глазах потому, что вы всегда с ним; а с дядей он бывает реже...

— Как реже? Но ведь он чаще бывает с дядей, чем с нами, потому что мы в госпитале. Даниэль, наоборот, сидит с ним почти целый день.

— Даниэль?

Жиз сняла руку с плеча Антуана, слегка отодвинулась и села.

— Ну да. Почему это тебя удивляет?

— Я что-то плохо представляю себе Даниэля в роли няньки...

Жиз не поняла его слов; она узнала Даниэля уже после ампутации.

— Наоборот. Малыш составляет ему компанию. Дни у нас в Мезон длинные.

— Но теперь, когда Даниэля признали не годным, он ведь может начать работать?

— В госпитале?

— Нет, рисовать, как прежде.

— Рисовать? Я никогда не видела, чтобы он рисовал...

— А часто он ездит в Париж?

— Никогда не ездит. Он все время или на даче, или в саду.

— Ему трудно ходить?

— О нет, вовсе не потому. Сразу даже не заметишь, что он хромает, особенно теперь, с новым протезом... Ему просто никуда не хочется выезжать. Он читает газеты. Присматривает за Жан-Полем, играет с ним, гуляет с ним около дома. Иногда помогает Клотильде почистить горошек или ягоды для варенья. Иногда разравнивает граблями песок перед террасой. Но редко... Мне кажется, что он просто такой человек — спокойный, безразличный, немного сонный...

— Даниэль?

— Ну да.

— Никогда он не был таким, как ты говоришь... Он, должно быть, очень несчастлив.

— Да что ты! Он даже никогда не скучает. Во всяком случае никогда не жалуется. Если он и бывает иной раз угрюмым, — только не со мной, а с другими, — так это потому, что к нему не умеют подойти. Николь его дразнит, подзадоривает; Женни тоже не умеет с ним обращаться: она раздражает его своим молчанием,

суроностью: Женни добрая, очень добрая, но она неспособна это показать; ни разу она никого не приласкала словом, жестом...

Антуан уже смирился и молчал. Но вид у него был такой ошеломленный, что Жиз рассмеялась:

— Ты, должно быть, просто не знаешь Даниэля. Он всегда был немного избалован... И ужасно ленивый!

Они давно кончили завтрак. Жиз взглянула на часы и быстро поднялась:

— Сейчас уберу со стола, а потом поеду.

Она стояла перед ним, во взоре ее были нежность, внимание. Ей было тяжело оставлять Антуана в пустой квартире одного. Она хотела сказать ему что-то, но никак не решалась. Застенчивая, робкая улыбка мелькнула в ее взгляде, потом и губы улыбнулись:

— А если я к концу дня заеду за тобой? И если ты проведешь вечер с нами в Мезон? Это ведь лучше, чем оставаться здесь одному!

Он отрицательно покачал головой:

— Во всяком случае не сегодня. Сегодня я должен повидаться с Рюмелем. А завтра я у Филипа. И потом, здесь у меня разные дела, надо найти выписки...

Он размышлял. Вполне можно возвратиться в Мускье в пятницу вечером. Следовательно, ему ничто не мешает провести два дня в Мезон-Лафите.

— А где же я там буду жить?

Прежде чем ответить, Жиз быстро наклонилась к нему и нежно поцеловала.

— Где? Ну, конечно, на даче! Там есть две свободные комнаты.

Он держал в руке фотографию Жан-Поля и время от времени бросал на нее взгляд.

— Ладно, постараюсь продлить отпуск... И завтра к концу дня... — Он протянул руку, в которой была карточка Жан-Поля.

— Можно взять себе?

## V

Хотя было воскресенье, Рюмель сидел в своем кабинете на Ке д'Орсе. Сюда и позвонил ему Антуан, оставшись один после ухода Жиз. Дипломат выразил сожаление, что не располагает сейчас свободным временем, и пригласил Антуана пообедать с ним.

В восемь часов Антуан подъехал к зданию министерства. Рюмель поджидал его внизу у лестницы, где горела синяя лампочка. В полуморке, предусмотренном строгими правилами военного времени, бесшумно сновали запоздалые посетители и чиновники, расходившиеся по домам; вестибюль казался полным страшных, таинственных теней.

— Поедем к «Максиму», вам нужно немного встряхнуться после лазаретной жизни, — предложил Рюмель с любезной и покровительственной улыбкой, подводя Антуана к автомобилю с флагштоком на радиаторе.

— Вряд ли я сумею составить вам компанию, — признался Антуан, — вечером я пью только молоко.

— У них замечательное молоко — ледяное! — сказал Рюмель, решивший во что бы то ни стало пообедать у «Максима».

Антуан согласился. Он был без сил после целого дня, проведенного за разборкой книг, и не без трепета ждал бесконечного разговора за столом ресторана. Поэтому он поспешил предупредить Рюмеля, что говорить ему трудно и что он вынужден щадить свои голосовые связки.

— Вот удача для такого болтуна, как я! — воскликнул дипломат. Он с умыслом взял этот шутливый тон, желая скрыть тяжелое впечатление, которое произвели на него заострившиеся черты Антуана, его глухой и сдавленный голос.

В освещенном зале ресторана худоба Антуана поразила его еще больше. Но он поостерегся расспрашивать Тибо о здоровье и после нескольких вопросов, заданных небрежным тоном, быстро переменил тему разговора.

— Никаких супов. Устриц, пожалуй. Хотя сезон кончается, они недурны... Я здесь часто обедаю.

— Я тоже часто бывал здесь, — пробормотал Антуан. Он медленно обвел глазами зал и задержал взгляд на старом метрдотеле, который стоял рядом в ожидании заказа. — Вы не узнаете меня, Жан?

— О, конечно, узнаю, сударь, — ответил тот, склонившись с привычной улыбкой.

«Лжет, — подумал Антуан, — раньше он меня всегда называл «господин доктор».

— Отсюда рукой подать до моей службы, — продолжал Рюмель. — Очень удобно, особенно в те вечера, когда объявляют тревогу: стоит только перейти улицу — и попадаешь в прекрасное убежище морского министерства.

Пока Рюмель рассматривал меню, Антуан молча наблюдал за ним.

И Рюмель сильно изменился. Его львиная физиономия обрюзгла, грива волос поседела; бесчисленные морщины вокруг глаз бороздили кожу того особого оттенка, который встречается только у стареющих блондинов. Глаза были по-прежнему ярко-голубые, живые, но под глазами набрякли лиловатые мешки, а скулы покрылись красными пятнами.

— А что на десерт, решим потом, — закончил Рюмель с усталым видом и передал карточку метрдотелю. Откинув назад голову, он закрыл лицо обеими руками и, прижимая пальцами горевшие от усталости веки, глубоко вздохнул. — Я, мой милый, так и не отдохнул ни минуты с самого начала войны. Я без сил.

Это было заметно. Как у многих нервных людей, многолетняя усталость сказывалась у него в каком-то лихорадочном состоянии. Антуан помнил Рюмеля 1914 года — самоуверенного, безукоризненно владевшего собой человека, немножко фата, который мог болтать о чем угодно, но всегда с привычной профессиональной сдержанностью. А теперь, после четырех лет изнурительной работы, он стал другим: смеялся резким, отрывистым смехом, часто моргал, нервно жестикулировал, беспорядочно менял предмет разговора, а иногда это болезненное оживление сменялось самым мрачным унынием. Все же он старался держаться молодцом, как в прежние времена. Минутная слабость, невольные проявления усталости каждый раз уступали место кратковременному подъему. Он откидывал голову, широким жестом приглаживал свою шевелюру и вновь расцветал улыбкой, в которой сияла былая жизнерадостность.

Антуан начал было благодарить его за розыски Жака и за ту помощь, которую он окказал Женни, когда та решила уехать в Швейцарию. Рюмель решительно остановил его:

— Да бросьте, Тибо!.. Не стоит говорить об этом... — И он легкомысленно воскликнул: — Очаровательная женщина, ну просто очаровательная!..

«Должно быть, светский человек не может не быть глуповатым», — подумал Антуан.

Теперь Рюмель говорил один. Он пустился подробно рассказывать Антуану, как будто тот был совершенно посторонний человек, о всех демаршах, предпринятых для розысков Жака. Все сохранилось в его памяти с поразительной точностью: не задумываясь ни на минуту, он перечислял имена должностных лиц, даты.

— Печальный конец, — вздохнул он в заключение. — Почему вы не пьете молоко? Пейте, пока оно холодное. — Рюмель бросил на Антуана нерешительный взгляд, прихлебнул из стакана, отер свои торчащие, как у кота, усы и снова вздохнул: — Да, печальный конец... Поверьте, я много думал о вас... Но, принимая в расчет все обстоятельства, ваши убеждения... почтенное имя... позволительно спросить — не явилась ли для его близких эта смерть, в конечном счете, наиболее счастливой развязкой?

Антуан нахмурился, но ничего не ответил. Слова Рюмеля задели его за живое. Однако нельзя было не признать, что когда стала известна правда о последних днях Жака, ему и самому не раз приходило в голову подобное соображение. Да, приходило; но только прежде — не сейчас; и при мысли, что он мог так думать, Антуан почувствовал мучительный стыд. Годы войны, долгие бессонные ночи раздумий в госпитале внесли страшную сумятицу в прежние его суждения.

Ему совсем не хотелось говорить с Рюмелем о своих личных делах, и особенно здесь, в ресторане. С тех пор как они вошли в этот зал, где он так часто обедал с Анной, чувство неловкости не проходило. Антуан наивно удивился, увидев, что этот роскошный ресторан так переполнен сейчас, на сорок четвертом месяце войны.

Все столики заняты, как в былые времена, в дни особенного наплыва. Разве что было меньше женщин и одеты они не так элегантно. Многие сохраняли и здесь чопорный вид, как полагается сестрам милосердия.

Большинство мужчин — военные; в хорошо пригнанных, начищенных до блеска портупеях, они явно рисовались, выставляя напоказ свои разукрашенные разноцветными ленточками мундиры. Десяток фронтовых офицеров, проводивших отпуск в Париже; но больше всего — из парижского гарнизона и из генерального штаба. Много авиаторов, привлекавших всеобщее восторженное внимание, шумных, с грустными и немного сумасшедшими глазами; казалось, они опьяняли, еще не начав пить. Пестрая коллекция итальянских, бельгийских, румынских, японских мундиров. Несколько морских офицеров. Но особенно много англичан во френчах защитного цвета с отложными воротничками и в белоснежном белье, — эти пришли сюда поужинать с шампанским.

— Обязательно напишите мне, когда совсем поправитесь, — любезно заметил Рюмель. — Вам незачем возвращаться на фронт. Вы свое отстрадали.

Антуан хотел было объяснить: еще зимой 1917 года, когда он был признан оправившимся после первого ранения, его прикомандировали к тыловому госпиталю... Но Рюмель продолжал разглагольствовать:

— Про себя я почти наверняка могу сказать, что теперь уже до конца войны останусь в министерстве. Когда премьером стал господин Клемансо,<sup>1</sup> меня чуть было не послали в Лондон; если бы не президент Пуанкаре — а он всегда прекрасно ко мне относился — и, особенно, если бы не вмешательство господина Бертело, которого я знаю как самого себя, знаю все его причуды и котому я нужен, — мне пришлось бы уехать в Лондон. Конечно, жить там сейчас интересно. Но я не был бы, как теперь, в центре событий. А это все-таки ни с чем не сравнимое чувство!

— Охотно верю... Вы принадлежите к числу тех немногих избранныков, которые хоть что-то понимают в происходящем. И, пожалуй, даже могут предвидеть будущее.

— О, — прервал его Рюмель, — понимают лишь самую малость, а предвидят еще того меньше... Можно, милый мой, знать оборотную сторону медали и все-таки не понимать ничего из того, что происходит; дай бог хоть задним числом понять что-нибудь... Не воображайте, что сейчас есть хоть один государственный деятель, — будь то даже такая цельная и деспотическая фигура, как Клемансо, — который непосредственно воздействовал бы на ход событий. События влекут его за собой на буксире. Управлять государством во время войны — это все равно, что вести судно, которое дало течь в нескольких местах разом. Остается только изобретать ежечасно новые трюки ради своего спасения и заделы-

<sup>1</sup> Клемансо был премьер-министром с ноября 1917 по январь 1920 г.

вать наиболее опасные пробоины; мы живем как на корабле, терпящем бедствие; едва успеваешь сделать запись в судовом журнале, взглянуть на карту, взять наудачу курс... Господин Клемансо поступает как и все прочие: он покорно переносит давление событий и, когда может, использует их. По своему служебному положению я имею возможность наблюдать его довольно часто. Станный тип... — Рюмель напустил на себя задумчивый вид и, притворяясь, что с трудом подбирает нужные слова, продолжал: — Господин Клемансо, видите ли, представляет собой парадоксальную смесь природного скепсиса... головного пессимизма и непоколебимого оптимизма; но, скажем прямо, — дозировано все это пре-восходно! — Тонкая улыбка приподняла уголки его век. Казалось, он сам наслаждается своей импровизацией, смакует прелест осенивших его формул. На самом же деле это был штамп, которым Рюмель пользовался в течение многих месяцев, как только ему попадался новый собеседник. — И потом, — продолжал он, — сей великий скептик движим слепой верой: он тверд, как гранит, в своем убеждении, что родина господина Клемансо не может быть разбита. А это, друг мой, величайшая сила! Даже сейчас, когда (говорю вам это по секрету) поколеблена вера самых крайних оптимистов, для нашего старого энтузиаста победа — дело решенное. Да, да, дело Франции не может не восторжествовать, по высшему велению, во всем своем блеске!

Антуан тихонько покашлял (за соседним столиком английский офицер закурил сигару); он напрасно пытался вставить слово. Он прикрыл рот салфеткой; голос его, и без того слабый, был еле слышен, так что можно было разобрать только:

— ...американская помощь... Вильсон...<sup>1</sup>

Рюмель счел нужным сделать вид, что он все прекрасно рас-слышал. Он даже притворился крайне заинтересованным.

— Знаете ли, — сказал он, задумчиво глядя себя по щеке, — для нас, людей осведомленных, президент Вильсон... Нам здесь, во Франции, да и в Англии тоже, приходится делать вид, что мы почтительно прислушиваемся ко всем благоглупостям этого американского профессора; но мы знаем ему цену. Ограниченный ум, лишенный всякого ощущения относительности. И это государственный деятель!.. Он пребывает в нереальном мире, который способно создать только воображение фанатика... Не дай бог дожить до того дня, когда этот пуританин, этот вульгарный моралист вздумает ковыряться в крупной машине наших старых европейских дел.

Антуан хотел было возразить. Но голос по-прежнему не повиновался ему. Вильсон, как казалось Антуану, был единственным

<sup>1</sup> Вильсон, Вудро (1856—1924) — президент США в 1913—1920 гг.; профессор истории и политической экономии. В своих речах и посланиях пытался изобразить первую империалистическую войну как «последнюю войну» и «войну за демократию», хотя в своей политической практике был таким же циничным буржуазным дельцом, как и остальные руководители Антанты.

среди великих мира сего, кто мог видеть дальние войны, единственным, кто мог представить себе будущее человеческого рода. Он сделал протестующий жест.

Рюмель самодовольно усмехнулся:

— Нет, вы серьезно, мой милый? Но не верите же вы на самом деле всем этим бредням президента Вильсона? Их могут принимать всерьез только по ту сторону Атлантического океана, в их ребяческой, полудикарской стране. Но здесь, в нашей старой и мудрой Европе... Подите вы! Пересадить на нашу почву эти утопии — значит подготовить такой кавардак, от которого нам всем не поздоровится! Ничто не может принести больше зла, чем иные громкие слова, которые принято писать с большой буквы: «Право», «Справедливость», «Свобода» и так далее... Во Франции, знавшей Наполеона Третьего, пора бы уже понимать, к каким печальным последствиям приводит «великодушная» политика.

Он положил на скатерть мясистую, покрытую веснушками руку и нагнулся к Антуану:

— Впрочем, осведомленные люди утверждают, будто президент Вильсон вовсе уж не так прост, как хочет казаться, и что он сам не верит в свои «послания»... Этот бард «мира без победы», по всей видимости, питает вполне земной замысел — воспользоваться создавшимся положением, чтобы взять Старый свет под опеку Америки и помешать союзникам занять, по праву победителей, господствующее положение в международных делах. Это, заметим в скобках, свидетельствует о большой его наивности! Ибо нужно действительно быть крайне наивным, чтобы думать, что Франция и Англия станут тратить свои силы в многолетней изнурительной борьбе, не имея в виду извлечь из нее серьезные материальные выгоды!

«Но, — думал Антуан, — разве установление настоящего мира, прочного мира не было бы для европейских народов самой материальной из всех выгод войны?» Но он промолчал. Ему становилось все хуже — от жары, от шума, запаха пищи, к которому примешивался запах табака. Его подавленное состояние обострилось до крайности. «Зачем я здесь? — думал он, злясь на самого себя. — Хорошенькая предстоит мне ночь!»

Рюмель ничего не замечал. Казалось, ему доставляло какое-то особенное удовольствие поносить Вильсона. В кулуарах на Ке д'Орсе в течение последних месяцев Вильсон был оселком, на котором господа дипломаты оттачивали свое свирепое остроумие. Рюмель кончал каждую фразу гортанным, мстительным смешком и так вертелся на стуле, будто сидел на раскаленных углях.

— К счастью, президент Пуанкарэ и господин Клемансо, как настоящие, реальные политики и настоящие латиняне,<sup>1</sup> раскусили

<sup>1</sup> То есть столь же трезвые и хитрые государственные деятели, как и древние латиняне, иначе — римляне, основоположники французской культуры.

не только тщету этих химер, но также и скрытую манию величия, владеющую президентом Вильсоном... манию, которой можно воспользоваться... и не без выгоды! В настоящий момент важно выкачать из Америки как можно больше горючего, оружия, аэро-планов и солдат. А ради этого можно и не противоречить всесильному поставщику. Наоборот, в случае надобности надо потакать его слабостям, — ну, как потакают буйно помешанному! И, поверьте, плоды этой тактики уже вполне ощутимы! — Он нагнулся к Антуану и шепнул ему прямо в ухо: — Знаете ли вы, что именно благодаря двум миллионам тонн горючего, которые он отпустил нам в течение нескольких недель, и благодаря тремстам тысячам солдат, которых он посыпает нам ежемесячно, мы надеялись поддержаться в нынешнем году после разгрома англичан в Пикардии. Значит, надо продолжать в том же духе. Потакать маниям и химерам этого Лоэнгрина<sup>1</sup> в пенсне... Вот когда на нашей французской земле соберется на смену французам достаточно солидная американская армия, тогда мы сможем передохнуть и полюбемся со стороны, как американцы будут таскать для нас каштаны из огня!

Антуан задумчиво глядел, как расправляетесь Рюмель с бифштексом, — он заказал себе недожаренный, с кровью. Антуан поднял руку, будто хотел попросить слова.

— Значит, вы полагаете... война — еще на многие годы?

Рюмель отбросил салфетку, слегка откинулся на спинку стула.

— На многие годы? Нет, по правде сказать, я так не думаю. Больше того: я даже думаю, что возможны всякие счастливые неожиданности. — Он молча взглянул на свои ногти. — Послушайте, Тибо, — начал он снова, понижая голос, чтобы его не услышали за соседними столиками. — Я вспоминаю один разговор. Было это в феврале тысяча девятьсот пятнадцатого года. Как-то вечером господин Дешанель<sup>2</sup> заявил мне: «Сроки и ход этой войны неисповедимы. Я лично считаю, что у нас вновь началась полоса войны Революции и Империи. Возможны передышки; но окончательный мир еще далеко!...» Тогда я счел, что это сказано было ради красного словца. А сейчас... Сейчас я склонен считать это своего рода пророчеством. — Он замолчал, поиграл солонкой и добавил: — Настолько даже, что если завтра, после какой-нибудь потрясающей победы союзников, Центральные державы согласятся сложить оружие, я повторю слова господина Дешанеля: «Наступила передышка, но окончательный мир еще далеко».

Он вздохнул и, не меняя заученного тона, который ужасно злил Антуана, разразился пышной тирадой о различных фазах

<sup>1</sup> Герой одноименной оперы Рихарда Вагнера, рыцарь, бескорыстно служащий идеалу.

<sup>2</sup> Дешанель, Поль (1855—1922) — французский политический деятель, президент Республики с февраля по сентябрь 1920 г.; с 1912 по 1920 г. председатель палаты депутатов.

войны, начиная с момента вторжения в Бельгию. Отцеженные, сведенные к четким схемам события следовали одно за другим с удивительной логичностью. Казалось, речь идет о шахматной партии. Война, которую Антуан прошел сам, день за днем, отступила в прошлое и предстала перед ним в своем историческом аспекте. В умелом изложении дипломата Марна, Сомма, Верден — все эти слова, которые раньше вызывали в Антуане свои, живые, личные трагические воспоминания, — вдруг лишились реальности, становились параграфами какого-то специального отчета, названиями глав какого-то учебного пособия, предназначенного для будущих поколений.

— Так мы подошли к нынешнему, тысяча девятьсот восемнадцатому году, — заключил Рюмель. — Вступление в войну Соединенных Штатов сжимает кольцо блокады, деморализует Центральные державы. Логически — это их неизбежное поражение. Перед лицом этого нового факта им оставалось только два выхода: выторговать какой ни на есть мир, пока еще не ушло время, или очертить голову снова ринуться в наступление, чтобы добиться победы до прибытия основной массы американских войск. Они выбрали наступление. Отсюда сокрушительный мартовский удар в Пикардии. И опять они чуть было не разгромили нас. Естественно, что они готовы повторить эту попытку. Вот каково положение. Удастся ли им этот ход? Возможно; никто не может поручиться, что мы не будем вынуждены просить мира еще до лета. Но если они провалятся, — будет бита их последняя карта. Тогда они проиграют войну, все равно, станем ли мы, не предпринимая ничего, ожидать подмоги американцев, или — таков, кажется, проект генерала Фоша<sup>1</sup> — бросим в бой по всей линии фронта наши последние людские резервы и добьемся серьезных успехов еще до того, как в игру вступят американцы. Поэтому-то я и говорю: настоящий мир, мир окончательный, еще далеко; но передышка, по всей видимости, довольно близка.

Ему пришлось прервать свою речь: у Антуана начался такой сильный приступ кашля, что Рюмелю на сей раз не удалось сделать вид, что он ничего не замечает.

— Простите меня, мой милый. Я вас замучил своей болтовней... Едем.

Он подозвал метрдотеля, вытащил из кармана брюк — на манер американских солдат — пригоршню смятых кредиток и небрежно проверил счет.

На улице Руайяль было темно. Автомобиль с потушенными фарами ждал их у входа в ресторан.

Рюмель задрал голову:

<sup>1</sup> Фош, Фердинанд (1851—1929) — маршал Франции, в 1918 г. главнокомандующий войсками Антанты.

— Небо чистое, они, пожалуй, могут нагрянуть ночью... Я поеду обратно в министерство, узнаю, что там нового. Но сначала отвезу вас.

Прежде чем усесться в машину, где уже сидел Антуан, Рюмель купил у газетчицы несколько вечерних выпусков.

— Обрабатываем общественное мнение... — пробормотал Антуан.

Рюмель ответил не сразу. Он тщательно задернул шторкой стекло, отделявшее их от шофера.

— Конечно, обрабатываем, — ответил он почти вызывающе, поворачиваясь к Антуану. — Как вы не хотите понять, что регулярное снабжение граждан успокоительными известиями так же необходимо стране, как подвоз продовольствия?

— Да, я и забыл, ведь вы отвечаете за души, — иронически заметил Антуан.

Рюмель фамильярным жестом потрепал его по коленке.

— Ладно, ладно, Тибо, всё это мы знаем. Но подумайте сами — что может сделать правительство, когда идет война? Направлять события? Вы отлично знаете, что не может. Направлять общественное мнение? Да, это, пожалуй, единственное, что оно может!.. Ну вот, мы это и делаем. Наша главная работа — это (как бы получше выразиться?) соответствующее преподнесение фактов... Надо беспрестанно поддерживать веру в окончательную победу... Надо каждодневно поддерживать то доверие, которое нация питает — справедливо, нет ли — к своим руководителям, военным и гражданским.

— И для этого все средства хороши?

— Конечно!

— Организованная ложь?

— Ну, скажите-ка по совести: считаете ли вы возможным объявить во всеуслышание хотя бы такой факт, что в результате нашей воздушной бомбардировки Штутгарта и Карлсруэ число «невинных жертв» среди гражданского населения несоизмеримо выше числа погибших от снарядов, которые «Берта»<sup>1</sup> может обрушить на Париж? Или что подводная война бошей, которую мы изобразили как неслыханное преступление против человечества, была на самом деле для Центральных держав необходимой операцией, единственным шансом сломить наше сопротивление после неудачи в тысяча девятьсот шестнадцатом году?.. Или пресловутое потопление «Лузитании»?<sup>2</sup> Это был, по правде говоря, акт вполне

<sup>1</sup> Имеются в виду немецкие сверх дальнобойные орудия, которые в 1918 г. обстреливали Париж и которые были названы «Бертами» в честь Берты Крупп, жены владельца крупнейших немецких военных заводов.

<sup>2</sup> 7 мая 1915 г. в Атлантическом океане английский пакетбот «Лузитания» был без предупреждения торпедирован немецкой подводной лодкой и сгорел. Во время катастрофы погибло 1198 человек, из них 124 американских подданных. Инцидент был использован американским правительством для подготовки вступления США в войну против Германии.

обоснованной репрессии, довольно безобидный, по сути дела, ответ на беспощадную блокаду, которая успела убить в Германии и Австрии в десять или в двадцать тысяч раз больше женщин и детей, чем их находилось на борту «Лузитании»... Нет, нет, правда хороша только в очень редких случаях! Враг должен быть всегда неправ, а дело союзников должно быть единствено правым делом! Необходимо...

— Лгать...

— Да. Хотя бы для того, чтобы скрыть от тех, кто дерется на передовых позициях, то, что творится в тылу! Скрыть от тех, кто в тылу, те ужасы, которые происходят на фронте!.. Необходимо еще скрывать и от тех и от других то, что происходит за кулисами канцелярий, — у противника, в нейтральных странах! Да, да, друг мой! Таким образом, самая основная наша обязанность — я говорю об обязанности гражданских властей — это... не только лгать, как вы говорите, но и хорошо лгать! А это не всегда легко, поверьте мне. Тут требуется большой опыт, и остроумие, и настоящая изобретательность. Нужна своего рода гениальность... И я утверждаю — будущее воздаст нам по заслугам. По части спасительной лжи мы во Франции за эти четыре года творили подлинные чудеса.

Автомобиль, медленно проехав по слабо освещенному Сен-Жерменскому бульвару и по Университетской улице, остановился перед домом Антуана. Они вышли.

— Да, вот еще, — продолжал Рюмель, — я вспомнил наступление Нивеля<sup>1</sup> в апреле тысяча девятьсот семнадцатого года... — Голос его снова нервно задрожал. Он схватил Антуана за руку и отвел на несколько шагов в сторону, подальше от шофера. — Вы не можете себе представить, что это означало для нас, знавших все, что происходило, час за часом... для нас, которые были свидетелями этого чудовищного нагромождения ошибок... и которые могли каждый вечер вести счет потерям. Тридцать четыре тысячи убитых, больше восьмидесяти тысяч раненых за три-четыре дня!.. А восстания в разгромленных частях!.. Однако же и речи не могло быть ни о правде, ни о справедливости. Надо было любой ценой беспощадно подавлять солдатские мятежи, прежде чем они не охватили всю армию! Вопрос жизни для всей страны... Надо было любой ценой поддерживать командование, скрывать его ошибки, оберегать его престиж... Хуже того: надо было сознательно продолжать ошибочные действия, возобновить наступление и бросать в самое пекло все новые и новые дивизии, пожертвовав еще

<sup>1</sup> Нивель, Робер-Жорж (1856—1924), — главнокомандующий французской армией в 1916—1917 гг. В апреле 1917 г. начал наступление на реке Эн между Реймсом и Суассоном. Особенно упорные бои шли на идущей параллельно реке дороге Шмен-де-Дам, которая начинается в местечке Лафо. Наступление провалилось. Лишь ценой огромных потерь французы добились незначительного успеха, оттесив 16 апреля немцев за Шмен-де-Дам, а в начале мая заняв городок Краон.

двадцатью — двадцатью пятью тысячами солдат на Шмен-де-Дам, у Лафо.

— Но зачем?

— Чтобы добиться хоть самого маленьского успеха, на котором мы могли бы строить нашу ложь во спасение... И восстановить доверие, которое трещало по всем швам!.. Наконец нам повезло в Краоне. Мы сумели выдать это за блестящую победу. И были спасены!.. А десятью днями позже правительство сняло прежнее командование и назначило генерала Петена.<sup>1</sup>

Антуан не в состоянии был больше держаться на ногах и прислонился к стене. Рюмель под руку довел его до самой двери.

— Да, — продолжал он, — мы были спасены; но, верьте мне, я охотнее отдал бы год жизни, чем согласился бы пережить вторично эти недели!.. — Голос его звучал искренно. — Ну, я иду. Очень рад был увидеть вас. — И он крикнул вслед Антуану, уже входившему в дом: — Займитесь собою, мой друг! Все врачи на один лад: когда дело идет об их собственном здоровье, самые добросовестные становятся непростительно небрежными.

Жиз приготовила ему комнату. Ставни были закрыты, шторы спущены. С мебели сняты чехлы. Постель постлана, стакан и графин, наполненный холодной водой, стояли на столике у самого изголовья. Эта забота Жиз, проглядывавшая во всех мелочах, тронула Антуана, и он подумал: «Однако я не ожидал, что так устану».

Он быстро сделал себе укол.

После этого он упал в кресло и сидел минут десять неподвижно, выпрямившись, опираясь затылком о спинку.

Вдруг Антуан вспомнил о Рюмеле с неожиданной и, должно быть, несправедливой враждебностью, которая удивила его самого: «Те, кто там, и те, кто здесь... Между нами и ими примирение невозможно».

Дышать стало легче. Он встал, взял термометр... 38,1... Неудивительно — после такого дня. Прежде чем лечь в постель, он успел еще сделать ингаляцию.

«Нет, — думал он с каким-то ожесточением, глубже зарываясь в подушки, — мы не сумеем с ними договориться! Когда наступит день демобилизации, тем, которые здесь, придется спрятаться, исчезнуть. Франция, вся Европа завтрашнего дня будут по праву принадлежать участникам войны. Никто из тех, кто был там, ни за что на свете не согласится сотрудничать с теми, кто был здесь!»

Темнота угнетала его, но он не хотел зажигать свет. Раньше это была спальня г-на Тибо, та самая спальня, где старик так долго

<sup>1</sup> П е т е н, Анри-Филипп (1856—1951) — маршал Франции, национальный предатель, глава вишистского правительства во время оккупации Франции немцами в годы второй мировой войны. В 1916 г. руководил обороной Вердена, в 1917—1918 гг. — главнокомандующий французской армией.

боролся за свою жизнь, так долго страдал. Антуан помнил все в мельчайших подробностях... Жака, избавительный укол, помнил каждую минуту агонии. И, глядя в темноту широко открытыми глазами, он, казалось, видел прежнюю спальню отца, широкую кровать красного дерева, молитвенную скамеечку, обитую ковровой тканью, и комод, заставленный лекарствами.

## VI

Ночь прошла неплохо благодаря уколу, но сна почти не было. Наконец, уже на заре, Антуан забылся ненадолго и за это время успел промучиться в кошмаре, после которого проснулся весь в поту. Пришлось даже сменить белье. Он снова лег и, в полной уверенности, что не заснет, стал припоминать во всех подробностях свой диковинный сон.

«Как же это начиналось? Там было три самостоятельных эпизода... Три сцены, но все три происходили в одном месте — в передней моей квартиры.

Сначала я был один с Леоном. В мучительной тревоге, потому что с минуты на минуту должен был прийти отец. Случилось нечто страшное. Я воспользовался отсутствием отца и завладел всем его имуществом, чтобы перевернуть дом вверх ногами. И отец должен был вернуться и застал бы меня на месте преступления. Это было ужасно. Я шагал по передней, не зная, что сделать, чтобы предотвратить катастрофу. И я не мог убежать. Почему? Потому что скоро должна была прийти Жиз. Леон, в ужасе, как и я, стоял на страже, прижавшись ухом к входной двери. Как сейчас вижу его глаза, вытаращенные от страха. Вдруг он повернул голову и говорит: «А не предупредить ли мадам?»

Это была первая сцена. Потом отец вдруг оказался здесь, передо мной: он стоит посреди передней, в сюртуке, на шляпе у него креп (как у Шаля), потому что были похороны. Чьи похороны? Рядом с ним на полу новый чемодан (вроде того, который я привез с собой позавчера). Леон исчез. Отец роется в карманах с важным и озабоченным видом. Он заметил меня и говорит: «Мой милый, я посетил страны весьма живописные!» — тем назидательным и торжественным тоном, каким он говорил в подобных случаях. У меня пересохло во рту, я не мог выговорить ни слова. Я чувствовал себя маленьким мальчиком, я дрожал, ожидая заслуженного наказания. И в то же время я раздумывал в каком-то остошенении: «Как же он не заметил, поднимаясь по лестнице, что тут теперь все по-другому? Что нет витражей? Что новый ковер?» И потом с ужасом подумал: «Как бы сделать так, чтобы он не вошел в нашу спальню, не увидел бы кровать?» И потом не помню: должно быть, был какой-то провал.

Во всяком случае тут начинается третья сцена: я снова вижу отца, он стоит на том же месте, но вочных туфлях и в старой

ломашней куртке. У него недовольный вид, который мы все так хорошо знали. Он задирает кверху бородку и дергает подбородком, защемленным уголками воротничка. И тут он говорит мне с обычным холодным смешком: «Скажи-ка, мой милый, куда ты к черту задевал мое пенсне?» А это пенсне — то самое черепаховое, которое, помнится, я нашел на письменном столе и отдал вместе со всеми его платьями и вещами в приют для бедных. И вдруг он вспыхивает. Наступает на меня с криком: «А мои акции? Что ты сделал с моими акциями?» А я бормочу: «Какие акции, отец?» Я покрываюсь крупными каплями пота, я вытираю лоб рукой и, помнится, все время прислушиваюсь: я жду с минуты на минуту, что щелкнет дверца лифта и войдет Жиз (в форме сестры милосердия, потому что она в это время возвращается из клиники). И в этот момент я проснулся и на самом деле был весь в поту».

Он улыбнулся своему страху. Но и сейчас еще чувствовал себя разбитым. «У меня, должно быть, температура», — подумал он. Так оно и было: 37,8. Немного меньше, чем вчера вечером, но немного больше, чем следовало бы быть утром.

Часа через два, покончив с туалетом и с процедурами, он снова вспомнил о своем сне. «Странно, — подумалось ему. — Сон, в сущности, был очень короткий. Всего три быстрых картины: испуг и ожидание вместе с Леоном; потом появление отца с чемоданом; потом эта история с пенсне и акциями... Да, но сколько всего было вокруг этого! Все мое прошлое, в очень характерном, очень полном виде, и из него-то вырос этот сон».

Так как он долгоостоял перед умывальником, то почувствовал слабость и присел на край ванны.

«Прошлое, в которое как бы погружены сны, — это, понятно, уже известное и, должно быть, изученное явление... Я об этом никогда не думал... Но в моем сегодняшнем сне явление выражено особенно отчетливо... До того, что, если бы хватило сил, стоило бы записать сон. Иначе через два дня я все позабуду».

Он взглянул на часы. Торопиться было некуда. Он взял записную книжку, куда каждый вечер заносил наблюдения над своей болезнью, и вырвал несколько чистых страниц.

Укутавшись в купальный халат, который Жиз не забыла повесить на вешалку в ванной («Милая Жиз, она позаботилась обо всем», — подумал он, улыбаясь), Антуан снова лег в постель.

Он с увлечением писал около часа, до тех пор пока не позвонили.

Это была пневматичка от патрона. В очень сердечных выражениях Филип извинялся, что не может принять Антуана раньше послезавтрашнего вечера: он уезжает на два дня из Парижа во главе комиссии, которой поручено проинспектировать несколько госпиталей на севере.

Антуан огорчился, потом решил, что не следует терять надежды, так как Филип еще успеет вернуться до его отъезда. В среду вечером он пообещает с Филиппом, а в четверг уедет в Грасс.

Листки были разбросаны по постели. Их было пять, они были покрыты его странным, иероглифическим почерком, где каждая буква стояла отдельно от другой — привычка, приобретенная еще в детстве на уроках греческой грамматики. Антуан собрал листки и перечел их. Две первые странички были посвящены детальному разбору сна, с теми характерными подробностями, которые ему запомнились. Три другие содержали довольно сбивчивый комментарий.

— Ничего удивительного, — вздохнул он. Прежде Антуан в совершенстве владел искусством составлять конспекты: он мыслил всегда очень ясно и умел в нескольких строчках выразить основной смысл целого рассуждения. «Нужно снова поупражняться, — подумал он, — особенно если я в самом деле буду работать для журналов».

Вот что он написал:

В каждом сне есть два момента, которые следует четко различать:

1. Сон как таковой, эпизод (видящий сон всегда принимает в нем то или иное участие). Действие вообще короткое, отрывочное, быстрое, подобное сцене, разыгрываемой актерами.

2. Вокруг этого краткого драматического момента — определенная ситуация, которая управляет этим моментом и придает ему правдоподобие. Ситуация остается вне, за пределами действия. Но спящий прекрасно ее осознает. Ситуация, в которой, вне зависимости от содержания самого сна, спящий пребывает уже давно. Подобно тому, как представляется каждому из нас в состоянии бодрствования наше прошлое.

В примере с моим сном, вокруг трех эпизодов, составляющих действие, имеется сцепление обстоятельств, которые, не будучи составными частями сна, присутствуют в нем в скрытом состоянии. Если хорошенько приглядеться, эти обстоятельства — двух видов и образуют как бы две различные зоны. Есть обстоятельства непосредственные, в которые как бы облекается сон. Затем — вторая зона, более отдаленная во времени: совокупность более давних обстоятельств, образующих воображаемое прошлое; без него сон не был бы возможен. Это прошлое, которое я, спящий, все время непрерывно осознаю, не играет в самом сне никакой роли: оно только предсуществует, как прошлое персонажей пьесы предсуществует по отношению к действию, случайно объединившему их на сцене.

Уточним. То, что я подразумеваю под обстоятельствами первой зоны, — это, например, то, что я знал час, когда все происходило, хотя в самом сне о времени не было речи. Знал, что было несколько минут первого и что я ждал Жиз к завтраку, как и всегда. Знал, что в это самое утро, в ее отсутствие и не имея возможности предупредить ее, я получил телеграмму от отца, извещающую об его приезде по поводу похорон. (Здесь неясный момент: чьих похорон? Это не похороны Мадмуазель. Но это похороны какого-то близкого нам человека, ибо потеря касалась нас всех.) Знал, что отец роется в карманах потому, что ищет мелочь, желая уплатить за проезд, так как я знал, что такси, где лежал багаж отца, только что подвезло его к дому. (Думаю даже, что я видел, как такси остановилось у дверей нашего дома в тот самый момент, когда я заметил отца в передней.) И т. д...

Обстоятельства второй зоны. Под ними я подразумеваю ряд событий довольно давних, которые спящий Антуан считает совершившимися. Вряд ли я думал об этих событиях во сне; но воспоминание о них существовало во мне, подобно воспоминаниям о нашей реальной жизни. Так, например, я знал (точнее: мне было дано знание того), что отец уже давно уехал из Франции, его послали куда-то очень далеко ознакомиться с какими-то благотворительными учреждениями (инспектировать заграничные исправительные заведения или что-то в этом роде). Путешествие столь долгое, что будто он никогда к нам не вернется. Я знал также, как мы отнеслись к его отъезду: сочли его нежданной удачей. Я знал, что, освободившись от опеки отца, я женился на Жиз. Что мы взяли себе квартиру, устроили ее по-другому, продали мебель, отдали в приют все личные вещи отца, снесли перегородки, чтобы окончательно преобразить дом. (И вот что странно: изменения эти во сне были совсем не те, которые я сделал в действительности. Так, например, передняя во сне была окрашена светлой охрой, но там лежал красный ковер, а не бежевый; и на месте консоли стояли старые дубовые часы из отцовской передней.) Это еще не все. Можно без конца перечислять то, что я знал. Например, я знал очень точно, что наша с Жиз спальня (которая, однако, во сне не фигурировала) — это бывшая отцовская спальня и что она была похожа на спальню Анны на Ваграмской улице. Больше того: я знал, что этим утром Леон не успел прибрать ее и наша большая постель была не застелена, и я боялся, что отец вот-вот отворит дверь в спальню. И я знал еще тысячи других подробностей нашей жизни и нашего окружения. Например, — это мне кажется весьма любопытным, потому что брат мой совершенно не участвовал в сне, — я знал, что Жак, в порыве отчаянной ревности, после моей женитьбы на Жиз эмигрировал в Швейцарию, что он...

Гут записи обрывались. Антуан не испытывал ни малейшего желания продолжать. Он взял карандаш и написал на полях:

Прочесть мнение по этому вопросу специалистов по сновидениям.

Затем он сложил листки и поставил греться воду для ингаляции. Через несколько минут, накинув на голову полотенца, с блестящим от пота лицом, с закрытыми глазами, он глубоко вдыхал благотворный пар и не переставал думать о своем сне. Ему вдруг пришло в голову, что сам сюжет сна свидетельствует в известной мере о нечистой совести, об известном чувстве ответственности, даже виновности, которое он в состоянии бодрствования из гордости держал где-то под спудом. «А в самом деле, — подумалось ему, — мне не так уж пристало гордиться тем, что произошло после смерти отца». (Он подразумевал под этим не только свою роскошную квартиру, но и связь с Анной, выезды в свет — все, что неотвратимо толкало его к легкой жизни.) «Не говоря уже, — продолжал он про себя, — о потере большей части состояния, доставшегося от отца...» (Расходы по перестройке дома поглотили больше половины средств; остальные деньги — презрев верные доходы от вложений г-на Тибо — он поместил в русские бумаги, сейчас обесцененные.) «Ладно, — подумал он, — поменьше бесплодных сожалений...» Так он обычно смирял голос совести. Однако — и сон был верным тому доказательством — в глубине его души жило буржуазное представление о «семейном добре», о деньгах, сберегаемых для потомства, и, хотя Антуан не был обязан ни перед кем отчитываться, ему стало стыдно, что меньше чем за год он растратил добро, собранное мудрым попечением многих Тибо.

Он высунул на минутку голову, подышал свежим воздухом, протер налившиеся кровью глаза и снова нырнул под влажные горячие полотенца.

Все то, что он передумал сегодня о зиме 1914 года, усугубляло раздражение, которое он испытал вчера после отъезда Жиз, заглянув в прекрасные заброшенные лаборатории, в комнату, торжественно именуемую «архивом», где хранились карточки, где лежали в строгом порядке новенькие папки, перенумерованные, но пустые. То же чувство вызвала прекрасно оборудованная перевязочная, в которой никого ни разу не перевязывали. И здесь, вспомнив свое прежнее скромное помещение в первом этаже, ту деятельную полезную жизнь, которую он вел, будучи молодым врачом, Антуан понял, что после смерти отца он вступил на ложный путь.

Из остывшего ингалятора шел теперь лишь слабый пар. Отбросив влажные полотенца, он вытер лицо и вернулся в спальню.

— А... Э... А... О... — произнес он, стоя перед зеркалом, чтобы попробовать голос. Голос был по-прежнему хриплый, но все-таки афония исчезла, и стало легче дышать.

«Двадцать минут дыхательной гимнастики... Потом отдохну минут десять. Потом оденусь, заберу чемодан и, раз уж я не могу увидеться сегодня с Филипом, поеду первым поездом в Мезон».

По дороге на вокзал он глядел из такси на цветники Тюильри, освещенные лучами майского солнца, на белые статуи посреди лужаек, на контуры Триумфальной арки на площади Карру塞尔, подернутые розоватой дымкой, и вспомнил вдруг весеннее утро — они с Анной условились тогда встретиться во дворе Лувра; и вдруг в голову ему пришла неожиданная мысль.

— Сvezите меня в Булонский лес, — сказал он шоферу. — И поезжайте по улице Спонтини.

Когда такси поравнялось с особняком Батенкуров, он велел ехать тише и выглянул в окно. Ставни были закрыты, калитка на запоре. На дверях привратницкой виднелось объявление:

ПРОДАЕТСЯ ПРЕКРАСНЫЙ ОСОБНЯК

Большой двор. Гараж. Сад  
(Общая площадь 625 кв. м.)

Над словом «продается» кто-то приписал карандашом от руки: «или сдается».

Такси медленно двинулось вдоль садовой решетки. Антуан не чувствовал ничего. Ровно ничего: ни волнения, ни печали. И он подумал: чего ради он затеял это паломничество на улицу Спонтини?

— Обратно!.. На Сен-Лазарский вокзал, — сказал он шоферу.

«Да, — снова подумал он, как будто не прерывало его утренних мыслей, — я обманывал самого себя, внушал себе, что мне необходимо как можно роскошнее обставить мои врачебные занятия. А все эти материальные блага не только не помогали в работе, но парализовали ее! Этот красивый механизм действовал вхолостую. Все было готово для осуществления каких-то больших замыслов. А на самом деле я ни черта не делал». Вдруг он вспомнил, как отнесся брат к отцовскому наследству, вспомнил отвращение Жака к этим деньгам, которое казалось Антуану тогда таким глупым. «А оказывается, именно Жак был прав. Насколько лучше мы поняли бы друг друга сейчас!.. Деньги — это яд. И особенно деньги, достающиеся по наследству. Деньги, которые заработал не сам... Не будь войны, я пропал бы, я никогда не очистился бы от этой скверны. Я уже начинал верить, будто все на свете можно купить. Я даже присвоил себе — как естественную привилегию богатого человека — право мало работать и заставлять работать на себя других. И без зазрения совести присвоил бы себе первое же открытие, сделанное Жусленом или Штудлером в моих лабораториях... Предпринимателем — вот кем я готовился стать!..

Я познал радость властвовать с помощью денег... Познал радость почета, оказываемого ради денег... И уже почти готов был считать этот почет законным, готов был думать, что деньги дают мне пре- восходство над всеми... Скверно!.. И эти ложные, двусмысленные отношения, которые деньги устанавливают между богатым человеком и прочими людьми! Вот где скрытое зло денег! Я начинал чувствовать недоверие ко всему и ко всем. И уже думал о лучших моих друзьях: «Ради чего он мне это рассказывает? Ради моей чековой книжки?..» Скверно, скверно!..»

Копаясь в этой тине, он почувствовал такую горечь, что обрадовался, как избавлению, вокзальной суматохе. И вмешался в толпу, забыв о своей одышке, счастливый уже тем, что может отвлечься и уйти от самого себя.

— Билет вто... нет, третьего класса, воинский, до Мезон-Лafита... Когда поезд?

Он не часто ездил в третьем классе. Сегодня это доставляло ему горькое удовлетворение.

## VII

Клотильда постучала в дверь. Держа поднос на весу, она немного подождала, потом постучала снова. Молчание. Огорчившись, что Антуан ушел не позавтракав, она отворила двери.

В комнате царила полутьма. Антуан еще лежал в постели. Он слышал, как стучала Клотильда; но по утрам, до ингаляции, афо-ния так усиливалась, что он даже не пытался заговорить. Это-то он и старался объяснить Клотильде жестами.

Хотя объяснение сопровождалось успокаивающей улыбкой, Клотильда продолжала в оцепенении стоять на пороге, высоко подняв брови от неожиданности и испуга; видя, что Антуан не может говорить, — а ведь накануне вечером он заходил поболтать к ней на кухню, — она решила, что у него удар и он лишился языка. Антуан разгадал ее мысли, улыбнулся еще раз, сделал знак, чтобы она подошла к постели, и, взяв блокнот со столика у изголовья, написал карандашом:

«Прекрасно провел ночь. Но по утрам не могу говорить».

Клотильда медленно прочла записку, с минуту в оцепенении глядела на Антуана, потом заявила без обиняков:

— Боже ты мой! Никто и не думал, что господин Антуан в таком состоянии... Здорово же они вас отделали!

Она подняла шторы. Утреннее солнце залило комнату. Небо было синее; через окно, обрамленное диким виноградом, который свешивался с балкона, виднелись сосны, росшие поблизости, а там, дальше, на фоне Сен-Жерменского леса нежно-зеленые верхушки деревьев вздрагивали от дыхания ветерка.

— А кушать господин Антуан может? — спросила Клотильда, подходя к постели. Она налила в чашку теплого молока, отошла

к дверям и, сложив под передником руки, внимательно смотрела, как Антуан макает в молоко маленькие кусочки хлеба. Он глотал с таким трудом, что она не удержалась:

— Никто этого не ждал, нет, никто! Мы знали, что господин Антуан отравлен газами. Но у нас говорили: «Газы лучше, чем рана». А выходит, что нет!.. Правда, я в болезнях ничего не понимаю. Когда господин Антуан нам написал, — мне и Адриенне, — чтобы мы ехали вместе с мадмуазель Жиз к госпоже Фонтанен, сестра сразу же говорит: «Я буду ухаживать за ранеными». А я сказала: «Все что угодно: кухня, хозяйство, — никогда я от работы не бегала. Только не за ранеными ходить, это не по мне». Потому наши хозяйки и взяли Адриенну в госпиталь, а я осталась на даче. Я не жалуюсь, хотя работы хоть отбавляй. Господин Антуан сам понимает: чтобы все здесь было в порядке, одному человеку нужно двадцать пять часов в сутки иметь. Но это все же лучше, чем раны промывать.

Антуан, улыбаясь, слушал ее речи. Раз уж не выходит с Жиз, было бы неплохо, если бы за ним ухаживала Клотильда; ведь она такая преданная. Жаль только, что работа сиделки ей не по вкусу.

Чтобы показать Клотильде, что он понимает, как тяжело бремя ее обязанностей, Антуан с серьезным видом сжал губы и покачал головой.

— Я не жалуюсь, — повторила она в порыве раскаяния. — Если хорошенько разобраться, то не так уж это страшно. Обе хозяйки почти все время в госпитале. Я их вижу только к обеду. А к завтраку у меня господин Даниэль и госпожа Женни с маленьким. — Клотильда говорила непривычно фамильярным тоном, как будто годы войны уничтожили прежнее расстояние между нею и хозяевами. Она без стеснения судила обо всех членах семьи. — Мадмуазель Жиз всегда такая любезная с нами. Госпожа Фонтанен на самом деле не гордая, но с ней стесняешься, не знаешь никогода, как к ней подступиться. Госпожа Николь хоть и рассеянная, а с ней держи ухо востро! Госпожа Женни даром слов не тратит, работает за двоих, а уж умница-то какая... — И все время она поминала «маленького» с восхищением и нежностью: — Маленький себя еще покажет! И он будет командовать не хуже покойного господина Тибо. («А ведь правда, он внук отца», — подумал Антуан.) Он и сейчас бы всех оседлал, дай ему волю... Господин Антуан и представить себе не может: ну, просто ртуть! Никого на свете не слушает... Счастье еще, что господин Даниэль смотрит за ним: я ведь работаю — не могу. С него ни на минуту глаз нельзя спустить... А господина Даниэля это занимает: целый день он один, только и делает, что жует да жует свою резинку, вот и забавляется с ребенком... — Она покачала головой и с многоизначительным видом добавила: — Что там ни толкуй, по нынешним временам многие ничего не имеют против, чтобы остаться без ноги...

Антуан взял блокнот и написал: «А Леон?»

— Ах, бедный Леон!.. — Она ничего не знала о бывшем слуге Антуана. (Леона взяли в плен под Шарлеруа,<sup>1</sup> на следующий же день, как он прибыл на фронт; узнав номер его лагеря, Антуан поручил Клотильде посыпать ему каждый месяц продуктовую посылку. Каждые три месяца Леон регулярно присыпал благодарственную открытку, но не сообщал ничего о своем житье.) — Известно ли господину Антуану, что он просил присыпать ему флейту? Мадмуазель Жиз купила ему флейту в Париже.

Антуан уже давно допил молоко.

— Надо пойти помочь госпоже Женни, — сказала Клотильда, собрав посуду на поднос. — Сегодня вторник, она стирает, а со стиркой трудно управиться — на малыша не напасешься!..

Она пошла было к дверям, но обернулась и в последний раз взглянула на Антуана. Лицо ее вдруг приняло задумчивое выражение.

— Господин Антуан, а ведь до чего мы дожили! Сколько раз я говорила Адриенне: «Если бы покойный господин Тибо вернулся! Если бы он мог видеть все, что произошло с тех пор, как его здесь нет!»

Оставшись один, Антуан начал не спеша одеваться: ему некуда было торопиться. И хотелось как можно тщательнее проделать все процедуры.

«Если бы покойный господин Тибо вернулся...» Слова Клотильды напомнили ему вчерашний сон. «Какую власть отец еще имеет над всеми нами», — подумалось ему.

Было уже около двенадцати, когда Антуан отворил окно, которое закрывал, проделывая голосовые упражнения.

Из сада донесся мужской голос: «Жан-Поль! Слезай оттуда! Иди сюда, ко мне!» И, как удаленное эхо, женский спокойный, свежий голос: «Жан-Поль! Будешь ты слушаться дядю Дана?»

Антуан вышел на балкон. Не раздвигая завесы дикого винограда, он осмотрелся вокруг. Внизу расстилалась небольшая поляна, отделенная от леса рвом. В тени двух платанов (где когда-то любила сидеть г-жа де Фонтанен) в плетеном кресле полулежал Даниэль с книгой в руках. В нескольких шагах от него малыш в светло-голубом джемпере, приставив к стене перевернутое ведерко, с усилием взобраться на перила террасы. По другую сторону лужайки, в бывшем домике садовника, дверь стояла открытой, и в солнечном свете Женни, с засученными рукавами, слегка нагнувшись над баком, намыливала белье.

— Иди ко мне, Жан-Поль, — повторил Даниэль.

В ярком луче на мгновение вспыхнули рыжие кудри ребенка. Мальчик решил вернуться к дяде Дану. Но чтобы не вышло так,

<sup>1</sup> Город в Бельгии.

будто он послушался, мальчик важно уселся на землю, взял лопатку и стал насыпать в ведерко песок.

Когда Антуан через несколько минут сошел с лестницы, Жан-Поль все еще не вставал с земли.

— Пойди поздоровайся с дядей Антуаном, — сказал Даниэль.

Малыш, сидя на корточках, работал лопаточкой и, казалось, не слышал обращенных к нему слов. Заметив, что незнакомец направился к нему, он бросил лопаточку и еще ниже нагнулся голову. Когда Антуан схватил его за руки и поднял, он задрыгал было ногами, но потом, решив, что с ним играют, звонко захохотал. Антуан поцеловал его в волосы и спросил на ушко:

— А как по-твоему, дядя Антуан злой?

— Да! — закричал мальчик.

Антуану стало трудно дышать. Он опустил мальчика на землю и подошел к Даниэлю. Но едва только он уселся, как Жан-Поль подбежал, вскарабкался к нему на колени и, прижавшись к его мундиру, сделал вид, что спит.

Даниэль не вставал с шезлонга. Он был без галстука, в поношенных темных брюках и в старой фланелевой, в полоску, теннисной куртке. Искусственная нога была обута в черный ботинок; другая — в ночной туфле, без носка. За эти годы он обрюзг. Черты были по-прежнему правильные, тонкие, но все лицо тяжелое, гипсовое. Давно не стриженые волосы, синеватый небритый подбородок делали его похожим на провинциального трагика: дома он уже не следит за собой, но при огнях рампы — еще весьма импозантен в ролях римских императоров.

Антуан, который с самого утра не переставая занимался своими бронхами и гортанью, сразу заметил, хотя, впрочем, не придал этому особого значения, что Даниэль, поздоровавшись с ним, даже не спросил о том, как он себя чувствует. (Правда, накануне вечером они поговорили о своих болезнях и поведали друг другу свои горести.) Из вежливости Антуан с заинтересованным видом наклонился и заглянул в книгу, которую Даниэль положил рядом с собой прямо на песок.

— Это «Le Tour de Monde»,<sup>1</sup> — сказал Даниэль. — Старый журнал... за тысяча восемьсот семьдесят седьмой год. — Он взял книгу и небрежно полистал. — Много иллюстраций... У нас есть полный комплект.

Антуан рассеянно гладил волосы мальчика, который, казалось, погрузился в глубокую задумчивость и сидел, прижавшись головкой к груди нового дяди, широко открыв глаза.

— Что нового? Вы читали уже газеты?

— Нет, — ответил Даниэль.

— Говорят, что международный совет решил на днях распространить полномочия Фоша также и на итальянский фронт.

<sup>1</sup> «Вокруг света» (франц.).

— А-а!

— Это, должно быть, уже официально объявлено.

Как будто внезапно заскучав, Жан-Поль соскочил на землю.

— Ты куда? — в один голос спросили дядя Дан и дядя Антуан.

— К маме.

Подпрыгнув сначала на одной ножке, потом на другой, мальчик весело побежал к домику.

Антуан и Даниэль переглянулись.

Даниэль вытащил из кармана пачку жевательной резины и предложил таблетку Антуану.

— Нет, спасибо.

— Все-таки развлечение, — объяснил Даниэль. — Я бросил курить.

Он взял таблетку, положил всю целиком в рот и начал медленно жевать.

Антуан, улыбаясь, глядел на него.

— Вы напомнили мне один случай на фронте... В Виллер-Бретонне...<sup>1</sup> Мы разместили наш госпиталь на ферме, которую перед тем занимал американский санитарный отряд. Наши санитары весь день буквально отбивали молотками целые наслоения этой самой жвачки, которую грязнули американцы поприклеивали повсюду — к плинтусам, к столам, к скамейкам... И она твердеет, как цемент, эта пакость... Если англосаксонская оккупация продлится еще несколько лет, все здания в Артуа и Пикардии потеряют свои первоначальные очертания и превратятся в бесформенные нагромождения жевательной резины... — Приступ кашля прервал его слова. — Подобно тому, как некоторые скалы на Тихом океане превратились в горы гуано!

Даниэль улыбнулся, и Антуан, который так же, как и Жак, всегда поддавался прелести этой улыбки, с радостью заметил, что она не утеряла своего обаяния: несмотря на расплывшиеся черты лица, верхняя губа, когда Даниэль улыбался, медленно и лукаво вздергивалась влево, а в полузакрытых глазах вспыхивал насмешливый огонек.

Антуан все еще кашлял. Потеряв надежду отдохнуть, он нетерпеливо махнул рукой.

— Вы сами видите, каким старым кашлюном я стал, — с трудом вымолвил он. Потом, передохнув немножко: — Они здорово нас отделали, как говорит Клотильда. Но мы еще находимся в числе привилегированных!

С минуту оба помолчали. Молчание на этот раз прервал Даниэль:

— Вот вы меня спросили, читаю ли я газеты. Очень редко. Я слишком много думаю о войне. И так уж я не могу думать ни о чем другом... Читать сводки, когда знаешь так, как это знаем мы, что должно означать: «Некоторое оживление на таком-то фронте...» или

<sup>1</sup> Городок в департаменте Соммы, недалеко от Амьена.

«Удачная атака на участке...» Нет! — Он откинул голову на спинку шезлонга и, закрыв глаза, продолжал вполголоса: — Надо самому пережить атаку, и пережить ее в пехоте, чтобы понимать... Пока я был в кавалерии, я не знал, что такое война. А ведь я ходил тогда в атаку раза три... И об этом тоже не расскажешь... Но все это ничего по сравнению с пехотой, когда она выскакивает из окопов и идет в штыки.

Он вздрогнул, открыл глаза и пристально посмотрел перед собой, яростно жуя свою резинку.

— В сущности, сколько нас таких в тылу, которые знают, что такое война? Те, что вернулись, — сколько их? Да и не станут сини рассказывать. К чему? Они не могут, не хотят ничего говорить. Они знают, что их не поймут.

Даниэль замолчал, и некоторое время оба сидели не говоря ни слова, даже не глядя друг на друга. Потом заговорил Антуан, слабым голосом, прерываемым приступами кашля:

— Бывают минуты, когда я стараюсь убедить себя, что это действительно последняя, что после такой войны новые войны невозможны, да, невозможны. Временами я в этом уверен... Но в иные моменты я начинаю сомневаться... Перестаю понимать...

Даниэль все жевал, не отвечая ни слова, рассеянно глядя по сторонам. О чём он думал?

Антуан замолчал. Несколько минут разговора утомили его. Но он возвращался мыслью все к тому же, в сотый, в тысячный раз.

«Ужас охватывает, когда хладнокровно взвешиваешь все, что препятствует установлению мира между людьми. Сколько веков пройдет еще, прежде чем моральная эволюция — если только она, эта моральная эволюция, вообще существует — вылечит человечество от врожденного преклонения перед грубой силой, от того фанатического наслаждения, которое испытывает человек, — человек как разновидность животного мира, — когда он может восторжествовать с помощью насилия, может с помощью насилия навязать свое миросощущение, свое представление о жизни другим, более слабым, тем, которые чувствуют иначе, живут иначе, чем он!.. И потом, есть еще политика, правительства... Для правителей, которые развязывают стихию войны, которые объявляют ее и делают ее руками других, война останется всегда легким, даже соблазнительным выходом в минуты любого краха. И можно ли надеяться, что правительства никогда не прибегнут к этому? Ну что ж! Значит, надо добиваться, чтобы это стало невозможным; надо, чтобы пацифизм так глубоко укоренился в общественном мнении, так широко распространился бы, чтобы стал непреодолимым препятствием для воинственной политики правителей. Но это — химера. Да и будет ли торжество пацифизма прочной гарантией мира? Если даже предположить, что в наших странах пацифистская партия придет к власти, кто поручится, что в один прекрасный день она не поддастся соблазну начать войну ради того, чтобы распространить путем насилия пацифистскую идеологию во всем мире?»

— Жан-Поль! — весело закричала с террасы Клотильда.

Она несла на подносе миску с овсяной кашей, компот, чашку молока и поставила завтрак на столик в саду.

— Жан-Поль! — позвал Даниэль.

Мальчик со всех ног бежал через площадку, залитую солнцем. Голубой джемпер, побелевший от стирки, был такого же цвета, как его глаза. Его сходство с Жаком в детстве снова поразило Антуана. Он глядел, как Клотильда сильными руками подняла мальчика и усадила его на стул.

«Такой же лоб, — думал он. — Такой же рыжеватый оттенок волос... Такой же смуглый цвет лица, такие же веснушки вокруг сморщенного носика...» Он улыбнулся мальчику, но тот, решив, что дядя смеется над ним, отвернулся и, нахмурив брови, сердито посмотрел на него исподлобья. Трудно было определить выражение его глаз, похожих на глаза Жака, так оно было изменчиво: то они смеялись и смотрели лукаво, то, как сейчас, становились дикими, холодными, словно сталь. Но как ни менялось выражение, взор его поражал остротой, наблюдательностью.

Через освещенную солнцем площадку прошла Женни. Рукава у нее были засушенны, пальцы слегка вспухли от воды, передник намок. Она улыбнулась Антуану еле заметной, но нежной улыбкой:

— Как вы провели ночь? Нет, у меня руки мокрые... Хорошо спали?

— Гораздо лучше, чем обычно, благодаря вас.

Глядя на расцветшую в материнстве, пополневшую Женни, так просто занимавшуюся домашней работой, Антуан вспомнил вдруг скрытную,держанную девушку в строгом английском костюме и в перчатках, какой Жак привел ее к нему на Университетскую улицу в день мобилизации.

Она повернулась к Даниэлю:

— Будь добр, покорми его, Даниэль. Я пойду повешу белье, — она подошла к сыну, подвязала ему салфетку и поцеловала в тоненькую птичью шейку.

— Жан-Поль будет умником, дядя Дан покормит его. Я сейчас приду, — добавила она, уходя.

— Хорошо, мама. (Он произносил «ма-ма», отчетливо разделяя слоги, как делали Женни и Даниэль.)

Даниэль поднялся с шезлонга и сел рядом с мальчиком. Он, повидимому, мысленно продолжал беседу, потому что, как только Женни отошла, сказал, будто их и не прерывали:

— И еще есть одно, о чем невозможно говорить, чего никогда не постигнут здесь, в тылу: о том чуде, которое совершается, как только человек попадает на линию огня. Прежде всего — чувство высшего освобождения; ведь мы безраздельно подчинены случаю, не можем выбирать, лишены всякой личной воли; и потом, — продолжал он дрогнувшим голосом, который выдавал волнение, — чувство товарищества, братства, которое устанавливается в грозный час.

Достаточно было нам отойти в тыл на какие-нибудь четыре километра, чтобы снова стать обычными людьми.

Антуан молча кивнул. О войне он вынес воспоминание прежде всего как о грязи и крови. Но он понимал, что хотел сказать Даниэль. Он тоже наблюдал это «чудо», это необъяснимое рождение общины воинов на линии огня, это просветление личности, стремительное формирование коллективной и братской души под воздействием одинаковой участии.

Жан-Поль, притихший в присутствии Антуана, молча глотал кашу, которой его кормил дядя; видно было, что Даниэлю не вновь обязанности няньки. Не прерывая разговора, он подносил к широко открытому рту ребенка полную ложку.

«Вот этого-то, — подумал вдруг Антуан, — никак нельзя было предугадать. Даниэль — калека. Даниэль опустившийся, небритый, превращенный в няньку!.. А этот мальчик и есть сын Женни и Жака!.. И однако, это так. И даже нисколько меня не удивляет. Так убедительна реальность. Так велика власть реальности над нами... Когда что-нибудь совершилось, мы и не представляем, что оно могло бы не произойти совсем!.. Или произойти иначе». На мгновение он почувствовал, что увяз в этих неясных мыслях. «Если бы тут был Гуаран, мне бы не отделяться от рассуждений о свободе воли», — подумал он.

— Ешь скорее, — строго сказал дядя Дан.

Когда кашу сменил компот из чернослива, Жан-Поль стал жевать ленивее. Он рассеянно следил глазами за Женни, которая, переходя от одного конца лужайки к другому, развешивала белье на решетке курятника; и Даниэлю приходилось ожидать, держа ложку наготове, пока Жан-Поль соблаговолит открыть ротик. Но Даниэль не терял терпения.

Женни торопилась окончить работу, чтобы сменить брата. Антуан снова взглянул на нее, когда она вновь проходила через залитую солнцем площадку; на ней уже не было фартука, и она на ходу опускала рукава. Женни хотела было освободить Даниэля, но тот запротестовал:

— Не надо. Мы кончили.

— А молочко? — спросила она весело. — Живо, живо! Что скажет дядя Антуан, если Жан-Поль не будет пить молоко?

Жан-Поль решил оттолкнуть чашку, но передумал и бросил на Антуана упрямый, недоверчивый взгляд. Он ждал какого-то подвоха. Видя, что Антуан сообщнически улыбнулся ему и незаметно для всех подмигнул, мальчик на минуту задумался; затем мордочка его засияла лукавством, и, не спуская глаз с Антуана, как бы призывая его в свидетели своего послушания, он одним духом осушил чашку.

— А теперь Жан-Поль пойдет поспит, а мама с дядей Антуаном и дядей Даном будут завтракать, — сказала Женни, развязывая салфетку и помогая малышу слезть с высокого стульчика.

**Даниэль и Антуан остались вдвоем.**

Даниэль сделал несколько шагов по террасе, отодрал от ствола платана маленький кусочек коры, рассеянно оглядел его со всех сторон и растер между пальцами. Он вытащил из кармана таблетку жевательной резины и положил в рот. Затем подошел к шезлонгу и удобно растянулся на нем.

Антуан молчал. Он думал о Даниэле, о войне, об атаках; думал о таинственном братстве фронтовиков. В Мускье молодой Любен, который чем-то напоминал Антуану его бывшего сотрудника, юного Манюэля Руа, взволнованно заявил как-то за обедом, прерывающимся голосом и глядя на всех печальными глазами: «Говорите что хотите, но в войне есть своя красота». Еще бы! Двадцатилетний юнец попал в казармы прямо с университетской скамьи; с футбольной площадки — в окопы; пришел на фронт, не приступив к штатской жизни, не оставив ничего позади себя. Он был по-мальчишески упоен этим опасным спортом. «Красота войны, — думал Антуан. — Где она? Стоит ли говорить о ней, если существуют те ужасы, которые я видел?»

И вдруг он вспомнил. Сентябрьской ночью — было это в 1914 году, во время длительных боев, которые Антуан все еще называл «Прозенское наступление»<sup>1</sup> и которые были известны под именем битвы на Марне, — ему пришлось быстро сворачивать свой пункт под ураганным огнем. Когда раненые были эвакуированы в тыл, он вместе со своими санитарами ползком пробрался через окопы, вышел из-под обстрела и вдруг увидел какой-то домишко; крыши не было, но крепкие стены и погреб могли служить защитой. Но тут неприятельские пушки вдруг изменили прицел. Снаряды стали разрываться ближе. Антуан заставил своих людей спуститься в погреб, поджиная конца обстрела. И тут-то и случилось «этого». Страшный взрыв раздался внезапно в тридцати — сорока метрах, клубы известковой пыли заставили Антуана отступить; и неожиданно он натолкнулся на своих людей, молча стоявших в полумраке. Зачем они пришли сюда? Видя, что их врач не пожелал спрятаться вместе с ними, они открыли дверь, один за другим поднялись по лестнице и молча выстроились позади своего начальника.

«Все же момент был довольно скверный, — подумал Антуан. — Но это проявление солидарности, преданности доставило мне радость, я не позабуду ее никогда... И если бы в эту ночь какой-нибудь Любен заявил, что «в войне есть своя красота», я, быть может, сказал бы: «Да».

И тут же спохватился: «Нет, не сказал бы!»

Даниэль удивленно повернул голову: Антуан, сам того не замечая, говорил почти вслух.

Он улыбнулся.

— Я хотел сказать... — начал он.

<sup>1</sup> Прозен — город в департаменте Сены и Марны, к юго-востоку от Парижа.

Улыбка у него вышла виноватая. Он почувствовал, что Даниэль не поймет его, и замолчал. Было слышно, как в доме плачет Жан-Поль; он раскалпизничался и не хотел ложиться спать.

### VIII

Женни уложила сына в кроватку и, как всегда, покуда он засыпал, начала бесшумно переодеваться, чтобы сразу же после завтрака идти в госпиталь, в бельевую. Проходя мимо окна, она сквозь тюлевую занавеску заметила фигуры Антуана и Даниэля, беседовавших под платаном. Слабый голос Антуана не долетал до нее; и хотя она слышала монотонную речь Даниэля, временами произносившего громко какую-нибудь отдельную фразу, она не могла различить ни слова.

С внезапной болью она вспомнила их обоих молодыми, здоровыми, беспечными, полными дерзких замыслов. А теперь — что сделала из них война! Но все-таки они уцелели, они здесь! Оба они живы! Они поправятся: к Антуану вернется голос, Даниэль свыкнется со своей хромотой; скоро они начнут жить прежней жизнью! А Жак! Ведь и он мог бы видеть — пусть не здесь — это смеющееся майское утро... Она бросила бы все, лишь бы быть вместе с ним... Они вдвоем воспитывали бы сына... И все кончено, навсегда!

Голос Даниэля замолк. Женни подошла к окну и увидела, что Антуан идет к дому. Со вчерашнего дня она ждала случая поговорить с ним наедине. Бросив беглый взгляд на Жан-Поля и убедившись, что мальчик спит, она застегнула платье, быстро навела в комнате порядок и, открыв дверь, вышла на площадку.

Держась за перила, Антуан медленно подымался по лестнице. Он вскинул голову и заметил Женни, — она улыбнулась, приложила палец к губам и пошла ему навстречу.

— Хотите посмотреть, как он спит?

Антуан так запыхался, подымаясь по лестнице, что ничего не ответил и на цыпочках пошел за ней.

Оклеенная светлыми обоями комната была вытянута в длину. В глубине стояли две одинаковые кровати, между ними — детская кроватка. «Должно быть, бывшая спальня супругов Фонтанен», — подумал Антуан, стараясь понять, зачем здесь две кровати; он удивился, заметив, что обе постланы и рядом с каждой стоит ночной столик, на котором разложены туалетные принадлежности. Между кроватями висел на стене портрет Жака в натуральную величину, писанный маслом в современной манере. Антуан видел его впервые.

Жан-Поль спал, свернувшись клубочком, зарывшись в подушки; волосы его рассыпались, губы были слегка приоткрыты и влажны; одна рука лежала поверх одеяла, но кулачок был сжат, как будто мальчик собирался вступить в драку.

Антуан вопросительно показал на портрет.

— Я привезла его из Швейцарии, — шепнула Женни. Она посмотрела на портрет, потом перевела взор на ребенка: — Как они похожи!

— Особенно, когда вспоминаешь Жака в этом возрасте!

«Но это еще не значит, — подумал он, — что Жан-Поль будет походить на него характером. Кто знает, сколько чужого, не похожего на Жака таится в этом малыше!» Вслух он продолжил:

— Странно, не правда ли, представить себе длинный ряд предков, близких и отдаленных, по материнской и по отцовской линии, которым обязан своим существованием мальчик. Какое из этих влияний окажется сильнее? Никто не знает. Рождение человека всякий раз чудо, в каждом существе есть свойства его предков, но всегда в новом сочетании.

Мальчик во сне, не разжимая кулаков, вдруг прикрыл лицо рукой, как будто хотел защититься от их взглядов. Антуан и Женни улыбнулись.

«Да, странно, — думал Антуан, молча отходя от кроватки, — странно, что из всех возможных существований, которые носил в себе Жак, только вот это, только сочетание Жан-Поль, и никакое иное, нашло себе воплощение, увидело жизнь...»

— О чём это Даниэль говорил с вами с таким жаром? — спросила Женни, понижая голос.

— О войне. Мы, как одержимые, всегда возвращаемся к этой теме.

Лицо Женни вдруг стало суровым.

— С ним я не говорю на эту тему.

— Почему?

— Он иногда высказывает такие мысли, что становится просто стыдно за него. Вычитывает всякие гадости из националистических газет. При Жаке он не посмел бы!

«Любопытно, какие газеты читает она сама? — подумал Антуан. — «Humanité», в память Жака?..»

Женни быстро подошла к нему.

— Знаете, в тот вечер, когда была объявлена мобилизация (помните как сейчас — мы стояли перед зданием парламента, у будки часового), Жак сказал, взяв меня за руку: «Поймите, Женни, отныне будут судить о людях в зависимости от того, принимают они или отвергают идею войны!»

С минуту она помолчала: слова Жака звучали еще в ее ушах. Потом, подавив вздох, она уселась перед открытым секретером красного дерева и жестом пригласила Антуана присесть.

Но он как бы не заметил и глядел не отрываясь на портрет брата. Жак был изображен вполоборота, с гордо закинутой головой, упервшись рукой в бедро, но поза, хотя в ней чувствовался вызов, казалась естественной: Жак действительно любил сидеть так. Прядь темно-рыжих волос пересекала лоб. («С годами у малыша волосы тоже потемнеют», — подумал Антуан.) Сосредоточенный взгляд,

крупный рот с горькой складкой, крепко сжатые челюсти придавали лицу Жака неспокойное, даже свирепое выражение. Фон был не дописан.

— Июнь четырнадцатого года, — пояснила Женни. — Это работа одного англичанина, Патерсона; сейчас, говорят, он сражается в рядах большевиков... Ванхеде сохранил портрет и передал его мне в Женеве. Вы знали Ванхеде? Альбинос, друг Жака. Я, кажется, писала вам о нем.

Продолжая вспоминать, Женни начала рассказывать о своем пребывании в Швейцарии. Видно было, как она счастлива, что может говорить с Антуаном обо всем, может рассказать ему то, что тайла от других. Ванхеде сводил ее в отель «Глобус», показал комнату Жака («манкарда, выходит прямо на лестницу, без окон...»), посетил с ней кафе «Ландольт», «Локаль», познакомил с семьями оставшихся в живых участников сборищ в «говорильне»... Таким образом она встретилась со Стефани, бывшим сотрудником Жореса по «Humanité» (с которым Жак познакомил ее еще в Париже). Стефани удалось перебраться в Швейцарию, где он издавал газету «Leur Grande Guerre».<sup>1</sup> Он был одним из наиболее активных членов группы непримиримых социалистов-интернационалистов...

— Ванхеде возил меня также в Базель, — прибавила она задумчиво.

Женни отперла ключом ящик секретера и осторожно, как драгоценную реликвию, вынула пачку исписанных карандашом листков. Прежде чем передать их Антуану, она подержала их в руке.

Антуан, заинтересованный, взял рукопись, перелистал ее. Печерк Жака...

«И тем не менее вы стоите сегодня лицом к лицу, с заряженными винтовками, готовые по первому сигналу бессмысленно убивать друг друга!»

И вдруг он понял. Это те самые страницы, которые Жак написал накануне смерти. Листки были смяты, испещрены поправками, затянуты типографской краской. Печерк Жака, но неузнаваемый, измененный спешкой и лихорадочным волнением, то размашистый и твердый, то дрожащий, точно буквы были выведены рукой ребенка...

«Разве французское государство, разве германское государство имеют право отрывать вас от ваших семей, от вашей работы и распоряжаться вашей жизнью, не считаясь с самыми очевидными вашими интересами, не считаясь с вашей волей, не считаясь с самыми гуманными, с самыми чистыми, с самыми законными вашими инстинктами? Что дало им эту чудовищную власть распоряжаться вашей жизнью и смертью? Ваше неведение! Ваша пассивность!..»

Антуан вопросительно взглянул на Женни.

— Черновик *воззвания*, — взволнованно шепнула Женни. — Платнер передал мне его в Базеле. Платнер — книготорговец, кото-

<sup>1</sup> «Их великая война» (франц.).

рому было поручено отпечатать листовку... Они сохранили рукопись, они мне...

— Кто они?

— Платнер и один молодой немец, по имени Каппель, он тоже знал Жака... Врач... Он помог мне при родах... Они показали лачугу, где жил тогда Жак, где он писал это... Возили меня на плато, откуда он улетел на аэроплане...

Женни вновь переживала эти дни, проведенные в пограничном городе, запруженном социалистами, иностранцами, шпионами... Вновь ей представились берега Рейна, и она пыталась описать их Антуану, описать мосты, охраняемые часовыми, старый дом г-жи Штумпф, где Жак снимал комнату, узенькое окошко, откуда виднелись заваленные углем депо... Поездку на плато вместе с Ванхеде, Платнером и Каппелем на хлипкой повозке Андреева — той самой, которая везла Жака на встречу с Майнестрелем... В ушах ее еще раздавался гортанный голос Платнера, дающего неторопливые объяснения: «Здесь мы взбрались на откос... было темно... Здесь мы легли, ожидая, когда рассветет... Здесь, вот в этой расщелине, показался аэроплан... Здесь он опустился... Тибо открыл дверцу...»

— Что он делал, о чем он думал во время этого ожидания на плато? — вздохнула Женни. — Они говорили, что Жак отошел в сторону... Лег на землю, поодаль от других, один... О чём он думал в эти последние мгновения? Я этого никогда не узнаю.

Антуан, не отрывая глаз от портрета, прислушивался к словам Женни и тоже думал об этом ожидании на плато, о прибытии рокового аэроплана — об этой нелепой жертве! Думал о трагической ненужности этого героического поступка и скольких еще... О ненужности почти всякого героизма. Десятки случаев героизма на фронте, столь же высокого, сколь и напрасного, подсказывала ему память. «Почти всегда, — думал он, — в основе этой безрассудной храбрости лежит неправильное суждение: иллюзорная вера в некие ценности, которые, быть может, при ближайшем рассмотрении не заслуживают высшего самоотречения». Он сам, почти как в фетиш, верил в человеческую волю и энергию; но, по его природе, ему претил героизм; и четыре года войны только укрепили это чувство. Он отнюдь не хотел принизить значение поступка брата. Жак умер, защищая свои убеждения; он был последователен по отношению к самому себе. Он не остановился даже перед жертвой. Такой конец мог внушать только уважение. Но когда Антуан думал об идеях Жака, он всякий раз наталкивался на непреодолимое противоречие: как мог его брат, который всеми силами души и рассудка ненавидел насилие (и разве не доказал он эту глубокую ненависть, когда, не колеблясь, поставил на карту свою жизнь ради и во имя борьбы с насилием, во имя братства, во имя того, чтобы в зародыше убить войну), — как мог он в течение многих лет бороться за социальную революцию, то есть поддерживать худшее из насилий, насилие принципиальное, сознательное, неумолимое насилие доктринеров? «Вряд ли Жак был столь наивен, — думал он, — вряд ли мог он строить себе иллюзии относи-

тельно человеческой натуры и верить, что всеобщая революция, которой он так жаждал, совершился без кровавой несправедливости, без неисчислимых искупительных жертв».

Он отвел вопросающий взгляд от загадочного лица на портрете и посмотрел на Женни. Она продолжала рассказывать, и чудесное внутреннее волнение преобразило ее.

«Впрочем, — думал он, — я сам не совершил ничего, что давало бы мне право судить тех, кто сжег свою жизнь ради своей веры... Тех, кто мужественно пытался совершить невозможное».

Больше всего меня мучит мысль, — продолжала Женни, помолчав немного, — что он не знал, что у нас будет ребенок. — Не переставая говорить, она собрала листки, спрятала их в ящик. Потом снова помолчала. И, как бы продолжая думать вслух (Антуан был ей бесконечно благодарен за эту простоту и доверие): — Знаете, я счастлива, что маленький родился в Базеле, там, где прожил последние дни его отец, там, где он, без сомнения, пережил самые полные часы своей жизни...

Всякий раз, когда она вспоминала Жака, синева ее глаз делалась глубже, бледные щеки слегка розовели и на лице появлялось какое-то непередаваемое выражение, пламенное и как бы ненасытное, которое тут же потухало.

«Любовь отметила ее навеки», — подумал Антуан. Его это раздражало, и он сам удивлялся своему раздражению. «Нелепая любовь, — не мог не думать он. — Между двумя натурами, столь явно неподходящими друг к другу, любовь могла быть только следствием недоразумения... Недоразумения, которое, вероятно, длилось бы недолго, но которое живет и сейчас в ее воспоминаниях о Жаке, в каждом ее слове о нем!» (Антуан вообще придерживался теории, согласно которой в основе всякой страстной любви неизбежно лежит недоразумение, некая великолушная иллюзия, ошибка, ложное представление, которое составляют себе любящие друг о друге и без которого любить слепо невозможно.)

— На мне лежит трудная обязанность, — продолжала Женни, — воспитать Жан-Поля таким, каким Жак хотел бы видеть своего сына. Временами это меня просто пугает... — Она подняла голову, глаза ее загорелись гордым блеском. Казалось, она хотела сказать: «Я верю в себя». Но сказала: — Я верю в малыша!

Антуан был восхищен стойкостью, мужеством, с каким она глядела в будущее. По тону некоторых ее писем он представлял Женни другой, менее решительной, менее неуязвимой, не так хорошо подготовленной к своей роли. И с радостью убедился, что ей удалось уйти из-под коварной власти отчаяния, хотя обычно большинство женщин, перенесших тяжелое испытание, охотно отдают себя целиком на съедение своему горю, дабы возвеличить в собственных глазах и в глазах людей свою разбитую любовь. Женни избежала этого. Да, она нашла спасительный исход, сумела справиться с собой и сама направляла свою жизнь. Антуану хотелось дать ей понять, как глубоко он уважает ее за это:

— Да, вы доказали, что воля у вас сильная.

Она молча выслушала его. Потом совсем просто произнесла:

— Здесь нет моей заслуги... Больше всего мне помогло, как мне кажется, то, что мы с Жаком жили врозь. Его смерть не изменила ни хода моей повседневной жизни, ни моих привычек... По крайней мере сначала мне это помогало... А потом появился маленький. Еще задолго до его рождения то, что он существует, стало мне огромной поддержкой. Моя жизнь была на что-то нужна: воспитать ребенка, которого Жак мне оставил. — Она снова помолчала. Затем заговорила: — Трудная задача... Этим маленьким существом так непросто руководить! Иногда он меня просто пугает. — Женни взглянула на Антуана испытующе, почти подозрительно. — Даниэль, конечно, говорил вам о нем?

— О Жан-Поле? Да ничего особенного.

Он сразу же почувствовал, что брат и сестра расходятся в оценке характера ребенка и это вызывает между ними рознь.

— Даниэль уверяет, что Жан-Полю доставляет удовольствие не слушаться. Это несправедливо. И к тому же, неверно. Во всяком случае, все куда более сложно... Я долго над этим думала. Правда, мальчик как-то инстинктивно всему противопоставляет слово «нет». Но тут не злая воля — тут необходимость противопоставить себя. Как будто ему нужно доказать самому себе, что он существует... И это проявление внутренней несокрушимой силы столь очевидно, что нельзя даже сердиться... Это инстинкт, как, например, инстинкт самосохранения!.. Я по большей части даже не решаюсь его наказывать.

Антуан слушал ее с живым интересом и жестом попросил продолжать.

— Вы меня понимаете? — сказала Женни, спокойно и доверчиво улыбаясь. — Вы привыкли к детям, и вас это, должно быть, не удивляет... Я же часто становлюсь в тупик перед его строптивым нравом. Да, когда он меня не слушается, я смотрю на него даже в каком-то сцеплении, с каким-то робким изумлением, почти с восторгом — так же, как я наблюдаю за ним, как он ходит, растет, начинает понимать. Если он в саду один и упадет, — он заплачет; если ушибется при нас, — заплачет только в крайности... Без всякой видимой причины он отказывается от конфеты, которую я ему предлагаю; но проберется потихоньку в комнату и утащит всю коробку; не из желания полакомиться: он даже не пытается ее открыть, — или засунет под валик кресла, или зароет в куче песку. Зачем? Просто, я думаю, из желания проявить свою независимость... Если я его браню, он молчит; все его маленькое тельце напрягается от возмущения; цвет глаз меняется, и он смотрит на меня так сурово, что я не смею продолжать. Непоколебимым взглядом... Но одновременно чистым, не-причастным ни к чему. Взглядом, который мне импонирует!.. Так смотрел, без сомнения, Жак, когда был ребенком...

Антуан улыбнулся:

— А быть может, и вы, Женни?

Она жестом отвергла эту мысль и продолжала:

— Должна сказать, что если он и противится всякому принуждению, зато повинуется малейшей ласке... И если дается, стоит мне взять его на руки, и все проходит! Он прячет лицо у меня на плече, целует, смеется: как будто что-то жесткое, что есть у него в душе, размягчилось и растаяло... Как будто он вдруг избавился от своего «демона»!

— А Жиз он, должно быть, совсем не слушается?

— Ну, там совсем другое дело, — произнесла Женни с внезапной холодностью. — Тетя Жи — это его страсть: когда она с ним, ничего больше не существует.

— И она умеет обуздывать его?

— Еще меньше, чем я или Даниэль. Он часу без нее не может обойтись, но с Жиз у него особая тактика: подчинять ее своим капризам! И услуг он требует от нее таких, каких ни за что, из одной только гордости, не потребует ни у кого другого: например, расстегнуть штанишки или достать какую-нибудь вещь, до которой он сам не может дотянуться. И если меня нет при этом, ни за что не скажет ей спасибо. Надо только посмотреть, с каким видом он приказывает! Будто... — Она замолкла, потом продолжала: — Может, то, что я говорю, некорошо по отношению к Жиз, но мне кажется, я права: Жан-Поль чувствует в ней прирожденную рабыню.

Удивленный этими словами, Антуан вопросительно взглянул на Женни. Но она избегала его взгляда; и так как в эту минуту зазвучал колокольчик к завтраку, оба поднялись.

Они подошли к дверям. Казалось, Женни хочет еще что-то сказать Антуану. Она взялась было за ручку двери, потом отпустила ее.

— Я так благодарна вам, — прошептала она. — С самого возвращения из Швейцарии я ни разу ни с кем не могла поговорить о Жаке...

— Почему же вы не поговорили с Жиз? — решился спросить Антуан, вспоминая признания и жалобы девушки.

Женни стояла, опустив глаза, прислонившись к косяку двери, и, казалось, не слыхала его вопроса.

— С Жиз? — повторила она, наконец, будто звуки его голоса дошли до нее не сразу.

— Жиз единственная, кто мог бы вас понять. Она любила Жака. Она очень страдает.

Не поднимая глаз, Женни отрицательно покачала головой. Видимо, ей хотелось избежать объяснений. Потом она взглянула прямо в лицо Антуану и заявила с неожиданной резкостью:

— Жиз? Девушка с четками! Четки помогают не думать! — Она снова нагнула голову. Потом, помолчав, прибавила: — Иногда я ей завидую. — Но тон ее голоса и короткий горловой смешок, который она тут же подавила, прямо противоречили ее словам. Казалось, это признание далось ей нелегко.

— Вы знаете, Антуан, Жиз мой настоящий друг, — пробормотала она. Голос ее стал мягче, звучал искренне. — Когда я думаю о нашей будущей семье, я отвожу в ней Жиз огромное место. Так хорошо знать, что она навсегда останется с нами...

Антуан ждал «но», которое и последовало после короткого колебания:

— Но Жиз такова, какова она есть, правда? У каждого свой характер. У Жиз бездна достоинств, но у Жиз есть также свои недостатки. — После нового колебания Женни добавила: — Она, например, не очень искренна.

— Жиз? Это с ее-то честными глазами?

Первым побуждением Антуана было протестовать. Но, подумав, он понял, что подразумевала под этим Женни. Жиз никто бы не назвал фальшивой, но она хранила про себя иные тайные мысли; она избегала высказывать вслух свои предпочтения и свои антипатии; боялась всяких объяснений; умела скрывать свою неприязнь; умела быть услужливой, приветливой с теми, кого не любила. Робость? Скромность? Скрытность? Или, быть может, врожденная двуличность? «Прирожденная рабыня».

Он почти тотчас же согласился:

— Это верно, я понимаю вас.

— И вы понимаете теперь, почему, несмотря на мою большую к ней любовь, несмотря на нашу постоянную близость, одним словом — несмотря на все, есть вещи, о которых я не могу говорить с ней... — Она выпрямилась. — Не могу.

И быстрым движением, как будто желая кончить разговор, распахнула двери:

— Пойдемте завтракать.

## IX

Стол был накрыт на дворе, под навесом возле кухни. Завтрак кончился быстро. Женни ела мало. Антуан, который не успел сделать ингаляцию перед завтраком, с трудом глотал пищу. Один лишь Даниэль оказал честь Клотильдиной стряпне: телячьей грудинке с зеленым горошком. Ел он молча, с безразличным, рассеянным видом. Когда завтрак подходил к концу, он, в ответ на какое-то замечание Антуана о Рюмеле и «героях тыла», нарушил свое молчание и разразился ядовитой апологией «дельцов». (Лишь они одни сумели использовать события «на благо человеку»...) И, в качестве примера, с насмешливым восторгом рассказал о чудесном возвышении своего бывшего патрона, «этого гениального бандита Людвигсона». С начала военных действий Людвигсон переселился в Лондон и, по словам людей сведущих, во много раз умножил свое состояние, основав притайной поддержке банкиров Сити и кое-кого из английских политических деятелей Акционерное общество по снабжению горючим, пресловутое А. О. Г.

«Через несколько лет она будет страшно похожа на свою мать», — думал Антуан, не переставая дивиться тому, как изменилась за эти четыре года Женни. После родов, кормления ребенка она раздалась в бедрах, в груди, шея ее утратила прежнюю хрупкость. Но полнота не портила ее: даже смягчала протестантскую чопорность осанки, немного суховатую тонкость лица, движений. Только глаза остались прежними: они смотрели с тем же выражением одиночества, спокойного мужества, печали, которое так поразило Антуана, когда он увидел ее в первый раз еще ребенком, в момент бегства Даниэля и Жака... «Но что бы ни было, — подумал Антуан, — сейчас она держится гораздо свободнее. Трудно понять, чем она так очаровала Жака... В ней было тогда что-то очень противное! Какая-то замкнутость! Неприятная смесь застенчивости и гордости! Теперь по крайней мере не кажется, что малейшее движение, открывающее чувства, стоит ей величайших усилий. Сегодня утром она говорила со мной с полным доверием... Она была чудесна сегодня утром... Но, увы, у нее никогда не будет той прелести, той мягкости, как у ее матери... Никогда... У нее есть своя благородная манера обращения, будто она хочет сказать: «Я не стараюсь ничем казаться. Мне все равно, нравлюсь я или нет. Достаточно, что я нравлюсь себе...» Многих это должно привлекать. Но это не в моем духе... И все-таки она переменилась к лучшему».

Было решено, что Антуан сразу же после завтрака проводит Женни в госпиталь и увидится с г-жой де Фонтанен.

Пока Даниэль, снова растянувшись на шезлонге, пил кофе, а Женни пошла будить Жан-Поля, Антуан поднялся в свою комнату и наспех сделал ингаляцию: он боялся устать за день.

Обычно Женни ездила в госпиталь на велосипеде. Она и сейчас взяла его с собой для обратного пути и вместе с Антуаном пешком направилась через парк к дому, где помещался госпиталь.

— Даниэль, по-моему, очень переменился, — начал Антуан, когда они вышли на дорогу. — Что он, действительно не работает?

— Ничего не делает!

В словах Женни прозвучал упрек. И утром и потом за завтраком Антуан заметил, что между братом и сестрой не все ладно. Это его удивило: он помнил, как предупредительно и нежно Даниэль раньше относился к Женни.

И он подумал, что, быть может, в этом новом отношении к сестре виден новый Даниэль, равнодушный и опустившийся.

Несколько минут они шли молча. Нежная молодая листва лип бросала на землю неровную тень, испещренную золотистыми пятнами. Под старыми деревьями стоял тяжелый влажный воздух, как перед дождем, хотя небо было совершенно чистое.

— Слышите? — сказал Антуан, подымая голову. За забором благоухала цветущая сирень.

— Он мог, если бы захотел, работать в госпитале, — сказала Женни, не обращая внимания на сирень. — Мама просила его много раз. И каждый раз он отвечает: «С моей деревяшкой я не способен ни на что!» Но это отговорка. — Она взялась за руль велосипеда левой рукой, чтобы идти рядом с Антуаном. — Просто он никогда не был способен что-либо делать для других. А сейчас и того меньше.

«Она несправедлива к Даниэлю, — подумал Антуан. — Она должна бы быть ему благодарна за то, что он возится с ее ребенком».

Женни помолчала. Потом сухо заметила:

— Даниэль лишен всякого социального чувства.

Это слово прозвучало неожиданно... «Она все меряет по Жаку, — с раздражением подумал Антуан. — И о Даниэле судит с точки зрения Жака».

— Знаете, неполноценный человек достоин всяческого сожаления, — сказал Антуан грустно.

Но Женни думала только о Даниэле и довольно резко возразила:

— Могло быть хуже, он мог бы быть убит! За что же его жалеть? Он ведь остался жив!

И продолжала, не отдавая себе отчета в жестокости своих слов:

— Нога? Он и хромает-то чуть-чуть. Разве так уж трудно помогать маме вести отчетность по госпиталю? Просто он не испытывает желания быть полезным коллективу...

«Опять словечко Жака», — подумал Антуан.

— Что ему мешает вернуться к живописи?.. Нет, это совсем не то... Это не от болезни, а от характера! — Взвинченная своими словами, Женни незаметно для себя ускорила шаги. Антуан задыхался. Она заметила это и пошла медленнее. — Даниэль всегда жил слишком легкой жизнью... Все ему должно доставаться даром! А теперь страдает его тщеславие. Он не выходит за калитку, не ездит в Париж. Почему? Да потому, что ему стыдно показываться на людях. Он никак не может примириться с тем, что приходится отказаться от былых успехов! От прежней жизни! От жизни шикарного молодого человека! От беспутной жизни! От той/безнравственной жизни, которую он вел перед войной!

— Вы жестоки, Женни!

Она посмотрела на улыбавшегося Антуана и, подождав, пока улыбка не исчезла с его лица, решительно заявила:

— Я боюсь за мальчика!

— За Жан-Поля?

— Да! Жак открыл мне глаза на многое. Я задыхаюсь теперь в этой среде... которая стала мне чуждой! И не могу примириться с мыслью, что именно в этой атмосфере должен расти Жан-Поль.

Антуан вопросительно взглянул на Женни, будто не совсем понял ее слова.

— Я говорю вам все это потому, что доверяю вам, — добавила Женни. — Потому, что мне понадобятся ваши советы... Я глубоко

привязана к маме. Восхищаюсь ее мужеством, благородством, всей ее жизнью. И никогда не забуду, как она была добра по отношению ко мне. Но что поделаешь? Мы не сходимся ни в чем!.. Конечно, я уже не та, что была в четырнадцатом году. Но мама тоже очень переменилась. Вот уже четыре года, как она возглавляет госпиталь; четыре года она что-то там устраивает, что-то решает, четыре года без конца распоряжается, требует к себе уважения, повиновения. Она полюбила власть... она... Короче, она стала совсем другая, уверяю вас!

Антуан сделал уклончивый жест.

— Прежде мама была само всепрощение, — продолжала Женни. — И хотя она была очень верующая, она никогда не навязывала другим своих убеждений! А теперь!.. Если бы вы слышали, как она наставляет своих больных!.. И, конечно, самые послушные и смиренные остаются на излечении дольше других...

— Вы жестоки, — повторил Антуан. — Во всяком случае несправедливы.

— Может быть... Да... может быть, я напрасно рассказала вам это. Не знаю, как бы объяснить так, чтобы вы меня поняли... Ну, например, мама говорит: «наши солдатики»... Говорит: «боши»...

— Но мы тоже говорим.

— Нет. Совсем по-другому... Мама оправдывает все преступления этих четырех лет, которые прикрывались именем патриотизма! Мама их признает! Мама убеждена, что дело союзников — единственно правое, единственно справедливое дело! И что война должна длиться до тех пор, пока Германия не будет стерта с лица земли! Те, кто не согласен с ней, — те плохие французы... А те, кто доискивается истинных причин бедствия и кто возлагает всю ответственность за него на капитализм, те для нее...

Антуан слушал с удивлением. То, что открывалось ему в этих признаниях, — настроение Женни, ее взгляды, эта переоценка ценностей, словом — перемена, происшедшая под влиянием, посмертным влиянием Жака, — заинтересовало Антуана куда больше, чем изменения в характере г-жи де Фонтанен. Он чуть было не сказал ей в тон: «Я тоже боюсь за мальчика». Ибо он с тревогой спрашивал себя, не создаст ли происшедший в Женни переворот (который, впрочем, по его мнению, был, и не мог не быть, несколько искусственным, несколько поверхностным) опасной атмосферы вокруг Жан-Поля; во всяком случае более опасной для развития маленького существа, чем праздность дяди Дана или тупой шовинизм бабушки.

Они вышли на залитую солнцем полянку, откуда была видна вилла Тибо. Рассеянным взглядом озирал Антуан знакомые места, и ему казалось, что он видел их в отдаленном прошлом, в какой-то прежней своей жизни.

Однако все оставалось совершенно таким же, как было: широкая аллея и, в перспективе, величественная громада замка; небольшая площадка перед домом, с круглым фонтаном, который пускали по воскресеньям; цветочные клумбы, живые изгороди, белые перила, и

далше, под низко нависшими ветвями старых деревьев отцовского сада, калиточка, где Жиз, когда они были детьми, поджидала его возвращения. Казалось, война здесь ничего не коснулась...

Женни остановилась.

— Мама целых три года ежедневно соприкасается со страданиями, порождаемыми войной... И, знаете, ее как будто уже ничто не способно тронуть, так она очерствела, занимаясь этим возмутительным ремеслом.

— Возмутительным?

— Да, — сурово ответила Женни. — Это ремесло заключается в том, чтобы лечить и ставить на ноги молодых людей с единственной целью — снова послать их на убой! Подобно тому как зашивают распоротое брюхо лошади пикадора, чтобы снова вывести ее на арену! — Она нагнула голову, но вдруг, как будто спохватившись, смущенно повернулась к Антуану:

— Я вас шокирую?

— Нет!

Это «нет» вырвалось так непроизвольно, что Антуан сам удивился; удивился тому, что сейчас ему бесконечно более чужд патриотизм г-жи де Фонтанен, чем это негодование и суровые обличения Женни. И, вспомнив о Жаке, он повторил в тысячный раз: «Насколько ближе он был бы мне сейчас, чем прежде!»

Они вошли в парк.

Женни вздохнула; ей было жаль расставаться с Антуаном. Она нежно улыбнулась ему:

— Как я вам благодарна... Как хорошо поговорить от всей души...

## X

Чугунная с резьбой калитка виллы (с вычурной монограммой О. Т., еще сохранившей свою позолоту) была открыта. Колеса санитарных карет проложили в аллеях глубокие колеи, и нигде не осталось и следа тонкого гравия, который каждое утро по распоряжению г-на Тибо разравнивали граблями. Сквозь ветви был виден освещенный солнцем фасад дома, в открытых окнах весело, как флаги, бились новые занавески в красную полоску.

— Вот оно, мое царство, — бельевая, — сказала Женни, показывая на старый каретный сарай. — Я ухожу... Пройдите через веранду и поверните направо, в кортюру. Мама там.

Антуан остановился, чтобы передохнуть. Каждый куст, каждый изгиб аллеи снова становился родным. Звуки пианино, которые временами доносились до него, напомнили ему вдруг далекое детство: Жиз на высоком табурете, с толстой косой за плечами, неверными пальчиками разыгрывает гаммы, повинувшись бдительному взору старой Мадмуазель и властному ритму метронома.

Через густую листву он увидел оживленную картину: молодые люди в бескозырках и в серых фланелевых пижамах, рассевшись на ступеньках террасы, болтали, грязь на солнце. Другие играли в карты на садовых столах или читали газеты. Двое солдат в синих форменных штанах и обмотках, в одних рубашках, подрезали на лужайке газон, и Антуан узнал раздражающее щелканье катка. Немного подальше, под старым буком, несколько выездоравливающих солдат плескались у фонтана, и слышно было, как подставленные под струю котелки стукаются о брюхо бронзовой лягушки.

При виде незнакомого военного врача солдаты, сидевшие на ступеньках, встали, отдавая честь. Антуан поднялся по лестнице. Веранду застеклили и превратили в зимний сад. Здесь было тепло и душно, как в оранжерее. Тут лежали больные, которые не могли выходить. Налево стоял рояль — тот самый старенький рояль из светлого ореха, на котором в детстве упражнялась Жиз. Солдат, сидя на табуретке, тыкал непослушным пальцем в клавиши, стараясь подобрать мотив «Мадлон». Рояль замолчал, игравший поднес руку к бескозырке — отдать честь военному врачу. Антуан прошел в гостиную, пока еще безлюдную и тихую. Она стала похожа на вестибюль гостиницы. Кресла и стулья стояли вокруг четырех игральных столов.

Дверь в кабинет г-на Тибо была закрыта. На пришпиленной кнопками картонке Антуан прочитал «Канцелярия». Он вошел. И сначала никого не увидел. В комнате все осталось по-прежнему: большой дубовый стол, кресло, книжные шкафы торжественно стояли на своих привычных местах. Но кабинет был перегорожен ширмами. Когда хлопнула дверь, стучавшая пишущая машинка замолкла, и голова юноши выглянула из-за ширмы. Разглядев вошедшего, юноша радостно воскликнул:

— Господин доктор!

Антуан недоуменно улыбнулся. Говоря по правде, он не сразу узнал юношу, который бросился к нему навстречу; но сообразил, что это, должно быть, Лулу, младший из двух сирот с улицы Вернейль, мальчик, которому он когда-то, очень давно, вскрыл нарыв на руке. (Уезжая в начале войны из Парижа, Антуан поручил обоих братьев Клотильде и Адриенне. Он смутно припоминал, что г-жа де Фонтанен, как сообщили ему в письме, устроила мальчика в госпитале.)

— Как ты вырос! — сказал Антуан. — Сколько же тебе лет?

— Призыва двадцатого года, господин доктор.

— А что ты здесь делаешь?

— Сначала работал письмоносцем, а теперь веду переписку.

— А брат?

— В Шампани... Был ранен, — вам писали, да? В руку. В апреле семнадцатого года под Фимом.<sup>1</sup> Знаете? Он был призван в шест-

<sup>1</sup> Городок в департаменте Марны, недалеко от Реймса.

надцатом году... Ему оторвало два пальца... К счастью, на левой руке...

— И он вернулся на фронт?

— О, он умеет выкручиваться! Устроился на метеорологической службе. И теперь может быть спокоен.— Лулу посмотрел на Антуана с любопытством и жалостью и пробормотал: — А вы... Это газ, да?

— Да, — ответил Антуан.

Он устало опустился в низенькое кресло с золочеными гвоздиками, обитое гранатовым плюшем, которое напомнило ему детство.

— Такая пакость эти газы, — заявил Лулу серьезно, как взрослый. — По-моему, это просто нехорошо... не по правилам...

— Госпожа де Фонтанен у себя? — перебил его Антуан.

— Она наверху... Я ей сейчас скажу... Мы ждем новую партию раненых; приходится ставить койки всюду.

Антуан остался один. Один на один со своим отцом. Властный дух г-на Тибо обитал еще в этой комнате. Он исходил от каждой вещи, даже от самого расположения вещей, раз и навсегда установленного: от чернильницы с серебряной крышечкой, от лампы на письменном столе, от вытиралки для перьев, от барометра на стене. Дух столь неистребимый, что перестановка мебели или новые ширмы, поставленные поперек комнаты, не могли вытравить его: он упрямо витал здесь, в этом доме, который в течение полувека наполнял своим всеподавляющим господством старый Тибо. Стоило Антуану взглянуть на дверь, выкрашенную под дуб, и сразу же он вспоминал, как под рукой отца она хлопала с каким-то особенным, незабываемым звуком: яростно и вместе с тем сдержанно и осторожно. Стоило ему взглянуть на вытертую дорожку, и сразу же вспоминался отец в визитке с развевающимися фалдами: вот он грузно шагает от книжных шкафов к камину и обратно, заложив большие, узловатые руки за спину и полузакрыв глаза. И достаточно было взглянуть на копию с картины Бонна<sup>1</sup> «Христос» и на кресло под ней, теперь никем не занятное, с вытисненными на коже инициалами, как он сразу ощущал присутствие г-на Тибо: вот г-н Тибо тяжело уселся в любимое кресло, ссугуился и, задрав кверху бородку, обращается к важному посетителю; вот он, прежде чем заговорить, снимает пенсне и кладет его в жилетный карман четким и сосредоточенным жестом, напоминающим крестное знамение.

Антуан услышал скрип открывающейся двери и поднялся с места. В комнату вошла г-жа де Фонтанен.

На ней был больничный халат, но волосы, совсем седые, она не повязала косынкой. Лицо поражало бледностью и худобой. «Как у сердечников... — машинально подумал Антуан. — Ей недолго жить».

Г-жа де Фонтанен протянула гостю обе руки, усадила его и усилась сама по другую сторону стола, на кресле с вензелями. Очевидно,

<sup>1</sup> Бонна, Жозеф-Леон (1833—1922) — французский художник.

это было излюбленное место «гугенотки». («Если бы покойный господин Тибо вернулся...»)

Она сразу же заговорила о здоровье Антуана. За несколько минут ожидания он немного отдохнул; и улыбнулся ей в ответ:

— Как видите, уцелел. Организм у меня крепкий.

В свою очередь он спросил ее о госпитале, о ее теперешней жизни. Она сразу же воодушевилась:

— Здесь нет никакой моей заслуги. У меня превосходный персонал. И всем распоряжается Николь. Она ведь получила диплом, вы знаете?.. Это огромная для меня помощь... Да, чудеснейший персонал! И весь исключительно состоит из молодых женщин и девушки, которые живут в Мезон, так что все мои комнаты отданы в распоряжение моих больных. И все мои сестры милосердия работают у меня бесплатно, благодаря этому я могу сводить концы с концами, хотя субсидия весьма скромна. Мне, впрочем, так много помогают! Мне помогают с первого же дня! Мезон-Лафит выказал себя таким великодушным! Подумать только, — все, что здесь есть, кровати, тазы, посуда, белье... Словом, всем этим меня снабдили соседи. Сейчас мы ждем новую партию больных... Николь и Жизель поехали собирать белье. Не сомневаюсь, что они привезут все, что мне нужно. — Подняв глаза к небу, торжествующе улыбаясь, вся исходя благодарностью, она, казалось, возносила хвалу всевышнему за то, что он населил мир, и особенно Мезон-Лафит, услужливыми созданиями и сердобольными душами.

Г-жа де Фонтанен подробно описала все усовершенствования, внесенные ею в устройство виллы Тибо, и поделилась своими планами на будущее. Мысль о том, что война и жизнь при госпитале могут когда-нибудь кончиться, и в голову ей не приходила.

— Пойдемте, я покажу вам госпиталь, — бодро сказала она.

И действительно, вилла стала неузнаваемой. Бильярдную отдали под процедурную; буфетную превратили в приемную врача, в ванной устроили перевязочную. В огромной теплой оранжереи стояли в ряд двенадцать коек.

— А теперь поднимемся на второй этаж.

Жилые комнаты были превращены в палаты, пустынные в этот час. В первом этаже помещалось пятнадцать больных, десять во втором, и в самом верхнем этаже стояло шесть дополнительных коек для экстренных случаев.

Антуану очень хотелось взглянуть на свою комнату, но она была заперта на ключ. Ждали дезинфекции после паратифозного больного, которого сегодня утром перевезли в Сен-Жерменский госпиталь.

Переходя из комнаты в комнату, г-жа де Фонтанен властно, как глава учреждения, открывала двери, бросала кругом проницательные взгляды, проверяла на ходу чистоту умывальников, температуру радиаторов, все, вплоть до названий книг и газет на столах. Время от времени она жестом, видимо вошедшем у нее в привычку, подымала руку и смотрела на часы.

Антуан шел следом; он слегка запыхался. Слова Клотильды: «Если бы покойный господин Тибо...» не выходили у него из головы.

На втором этаже г-жа де Фонтанен ввела его в комнату, оклеенную пестрыми обоями, в окна которой заглядывали верхушки каштанов. Антуан остановился на пороге, охваченный воспоминаниями:

— Комната Жака!

Она удивленно взглянула на него, и вдруг глаза ее наполнились слезами. Желая скрыть их, она подошла к окну и стала закрывать ставни. Потом, как будто это имя, произнесенное Антуаном, пробудило в ней желание поговорить с ним более откровенно, она сказала:

— А сейчас я вас поведу на конный двор. Там теперь моя штаб-квартира. Нам там будет удобнее поговорить.

Они молча спустились по лестнице. Чтобы миновать веранду, они вышли в сад черным ходом. В тени деревьев четыре солдата красили в белый цвет железные кровати. Г-жа де Фонтанен подошла к ним:

— Торопитесь, дети мои... до завтра кровати должны высокнуть... А вы, Робле, спускайтесь-ка вниз!

Робле, взобравшись на навес перед кухонной дверью, подвязывал стебли ломоноса.

— Позавчера еще лежал в постели, а сегодня по лестницам лазает!

Бородатый мужчина, по всей очевидности запасной третьей очереди, улыбаясь полез вниз. Когда он подошел к г-же де Фонтанен, она расстегнула ему куртку и пощупала повязку.

— Так и есть! Бинт сполз. Идите сейчас же в перевязочную. — И, как бы призывая Антуана в свидетели, добавила: — Нет, вы подумайте только! Его оперировали всего двадцать дней тому назад!

Чтобы добраться до бывшей конюшни, нужно было обогнуть лужайку. Больные, которые попадались им на пути, приветливо здоровались с г-жой де Фонтанен, приподымая над головой бескозырки на штатский манер.

— Здесь мое жилище, — сказала она, открывая дверь в павильон.

В нижнем этаже в стойлах стояли верстаки; пол был усыпан стружками.

— Тут помещается наша, как мы ее называем, универсальная мастерская, — объясняла она, подымаясь по узенькой деревянной лестнице, которая вела в бывшую мансарду кучера. — Я ни одной работы не отдаю на сторону. Наши ребята сами всё делают: паяют, столярничают, проводят электричество.

Г-жа де Фонтанен ввела гостя в первую мансарду, где она устроила для себя кабинет. Вся обстановка комнаты состояла из двух плетеных кресел и большого стола, заваленного папками и бухгалтерскими книгами; на каменном полу лежал потертый половицок. Еще с порога Антуан узнал свою лампу — большую керосиновую лампу под зеленым картонным абажуром; при свете ее он жаркими

ионьскими ночами, наполненными жужжанием насекомых, столько раз готовился к экзаменам, а весь дом безмолвствовал, погруженный в глубокий сон. Стены были выбелены известкой. Над столом приколото несколько фотографий: Жером в молодости, изящно опирающийся на спинку обитого шелком кресла; Даниэль в шотландском костюмчике, с голыми коленками; Женни, ребенком, с распущенными волосами и с ручным голубем на вытянутой ладони; и еще другая фотография Женни — в трауре, с сыном на коленях.

Приступ кашля вынудил Антуана сесть, не дожидаясь приглашения. Когда он поднял голову, то заметил, что г-жа де Фонтанен внимательно на него смотрит; однако она ни словом не обмолвилась о его здоровье.

— Я воспользуюсь вашим посещением и займусь починкой, — сказала она, кокетливо засмеявшись. — Прямо иголку в руки некогда взять. — Отодвинув библию в черном переплете, она поставила перед собой рабочую корзинку и еще раз взглянула на ручные часики.

— Даниэль вам говорил о чем-нибудь? Дал он вам осмотреть свою ногу? — спросила она, подавляя вздох. (Даниэль ни разу не показывал ей свою ногу после ампутации.)

— Нет. Но он поведал мне все свои горести... Я порекомендовал ему делать кое-какие восстановительные упражнения. При некотором терпении можно добиться удивительных результатов... Впрочем, он сказал, что ему совсем не трудно ходить, особенно с новым протезом.

Она, казалось, не слушала Антуана. Сложив руки на коленях, слегка приподняв голову, она задумчиво смотрела на зеленевшие верхушки деревьев.

Вдруг она обернулась к Антуану.

— А вам рассказывали, что произошло здесь в тот день, когда его ранили.

— Здесь? Нет.

— Всемилосердный бог подал мне знак, — таинственно начала г-жа де Фонтанен. — В тот момент, когда Даниэль был ранен, мне было предзнаменование Духа. — Она замолчала, взволнованная нахлынувшими воспоминаниями. Потом начала не без торжественности, но подчеркнуто просто, как будто читала вслух главу из священного писания или, исполняя некий высший долг, свидетельствовала перед людьми о случившемся чуде: — Было это в четверг. Я встала чуть свет. Я ощущала присутствие всевышнего и начала молиться. Но вдруг я почувствовала страшную слабость... Первый раз со дня основания госпиталя мне стало так худо, да и после этого случая я тоже ни разу не болела... Я хотела открыть окно и позвать сиделку... Но я не могла держаться на ногах. К счастью, одна сиделка, заметив, что я не вышла в госпиталь в обычный час, прибежала посмотреть, что со мною. Я без сил лежала на постели. Когда же я попыталась подняться, то снова упала, такое у меня началось головокружение. Я так обессиленела, будто вся моя кровь ушла через

какую-то невидимую рану. Я не переставая думала о Даниэле. Я молилась, но мне становилось все хуже и хуже. Женни несколько раз приводила ко мне врача. Он дал мне эфирно-валерьяновые капли. Я почти не могла говорить. И вот в половине двенадцатого, только что прозвонил колокол к первому завтраку, я вдруг, неизвестно почему, закричала и лишилась чувств. Когда я пришла в себя, мне стало легче. Настолько легче, что к концу дня я могла уже подняться с постели, пошла в канцелярию, подписала счета и письма. И все кончилось. — Она говорила намеренно сдержаным голосом. Прежде чем продолжить рассказ, она выдержала паузу. — И вот, мой друг, как раз в этот четверг на рассвете полк Даниэля получил приказ выступать. Все утро он сражался как герой, дорогой мой сын; пули шадили его, но после половины двенадцатого ему раздробило осколком снаряда бедро. Немного позже, около двенадцати часов... его отнесли в госпиталь и там через несколько часов ампутировали ногу... И он был спасен. — Она покачала головой, пристально глядя на Антуана. — Обо всем этом я, конечно, узнала только позже, через десять дней.

Антуан молчал. Что он мог сказать? Слушая г-жу де Фонтанен, он вспомнил, как Женни болела в детстве менингитом и как пастор Грегори «чудом спас ее». И еще он вспомнил шутку доктора Филипа: «С людьми обычно случаются именно такие чудеса, которых они заслуживают».

Г-жа де Фонтанен некоторое время сидела молча. Затем взялась за шитье. Но прежде чем сделать первый стежок, взглянула через очки — она вынула их из письменного стола — на фотографию Женни с Жан-Полем.

— Вы еще ничего мне не сказали о нашем мальчике. Какой он, по-вашему?

— Чудесный.

— Правда? — подхватила она торжествующим тоном. — Даниэль приводит его ко мне по воскресеньям. И каждый раз я удивляюсь, как он вырос, возмужал. Даниэль жалуется, что это трудный ребенок, непослушный. Но что удивительного, если у маленького есть характер? И потом, мальчик должен быть энергичным, волевым... Я вижу, вы со мной согласны! — лукаво добавила она. — К сожалению, мы с ним встречаемся редко. Но ведь малыш меньше нуждается во мне, чем мои больные... — И как поток, на минуту уклонившийся от своего пути, возвращается в прежнее русло, так и она снова заговорила о своем госпитале.

Антуан молча слушал, ему не хотелось отвечать; он боялся приступа кашля. В очках она выглядела совсем старухой. «Цвет лица как у сердечницы», — снова подумалось ему.

Держалась она очень прямо, не опираясь о спинку кресла, и неторопливо шила. С величественным и непринужденным видом рассказывала Антуану о госпитале и о многочисленных трудах, которые выпали ей на долю.

«Нет худа без добра, — думал Антуан. — Таким вот женщинам, в таком возрасте, война дала неожиданное счастье — возможность деятельности на благо обществу, возможность отдаваться чему-то целиком, радость властвовать в атмосфере всеобщей признательности».

И, как будто угадав его мысль, г-жа де Фонтанен произнесла:

— О, я не жалуюсь! Как ни тяжело подчас мое бремя, оно мне стало необходимо. Я не представляю себе, как я смогу жить той жизнью, которую вела когда-то. Я чувствую потребность быть полезной. — Она улыбнулась. — Знаете что? Давайте откроем — потом, конечно, — клинику для ваших больных, и я буду ею руководить! — И тут же поспешно добавила: — Вместе с Николь, вместе с Жизелью... И с Женни, быть может. Я думаю, это вполне возможно... Правда?

Антуан любезно откликнулся:

— Конечно, вполне возможно...

Помолчав немного, она продолжала:

— Женни тоже должна иметь в жизни какое-то занятие. — Она вздохнула и, даже не пытаясь объяснить тайный ход своих мыслей, добавила: — Бедный Жак... Никогда не забуду нашу последнюю встречу...

Она снова замолчала. Ей вспомнилось возвращение из Вены после мобилизации. Но она умела отгонять прочь тяжелые воспоминания. Она поднесла руку ко лбу, чтобы убрать мешавшую прядь седых волос. Каковы бы ни были ее чувства в эту минуту, она решила поговорить с Антуаном о том, что лежало у нее на сердце.

— Мы должны верить в высший промысл, — заговорила она снова (поучительным и любезным тоном, который, казалось, означал: «Только не перебивайте меня, пожалуйста»). — Мы должны принимать то, чего возжелал господь. И смерть вашего брата также свершилась по воле господней. — Она задумалась и лишь потом высказала затаенную мысль: — Эта любовь была обречена на горшие страдания. И для него и для нее. Простите, что я так говорю.

— Я с вами совершенно согласен, — живо отозвался Антуан. — Если бы Жак остался жив, их совместная жизнь превратилась бы в ад.

Г-жа де Фонтанен посмотрела на него довольным взглядом, одобрительно кивнула и взялась за шитье.

Потом заговорила снова:

— Признаюсь, все это причиняло мне огромные страдания... В тот день, когда я узнала, что у Женни будет ребенок...

Антуан часто думал как раз об этом. И когда г-жа де Фонтанен взглянула на него, он, в знак внимания, тихо опустил веки.

— О, не из-за того, — произнесла она быстро, боясь, что ее слова могут быть ложно истолкованы, — что он рожден вне брака... Нет... Не столько из-за этого. Особенно меня угнетала мысль, что этот ужасный случай оставит след в нашей жизни, оставит вечное о себе напоминание... Я ведь могу говорить с вами откровенно. Я часто думала: «Жизнь Женни испорчена безвозвратно... Это возмездие...» Но, друг мой, я ошибалась. От недостатка веры. Промысл

господень никому не ведом. Пути его неисповедимы, доброта его бесконечна. То, что я считала карой, испытанием, посланным нам, стало божественной благодатью... знаком прощения. Источником радости... И в самом деле, за что было господа их карать? Разве не знал он лучше, чем мы, что не было зла в их близости? И что сердца этих двух детей пребывали чистыми и целомудренными даже в грехе?

«Как странно, — думал Антуан. — Казалось бы, она должна раздражать меня сверх всякой меры. А в ней есть что-то вызывающее к ней уважение. Даже больше, чем уважение, — симпатию. Может быть, доброта? Потому что, в сущности, доброта — такая редкая вещь: настоящая, врожденная доброта...»

— Судьба Женни прекрасна, — продолжала г-жа де Фонтанен своим певучим и твердым голосом, не переставая шить. — Она владеет в сердце своем сокровищем, которое облагородило всю ее жизнь, — воспоминанием о том, как она принесла себя в дар, о чудесных минутах, за которыми — редкий случай — не последовали уничижительные будни...

«Есть люди, — думал Антуан, — которые создают себе раз на всегда свое собственное умиротворяющее восприятие жизни. И отсюда — все качества... Их существование подобно прогулке на воде при тихой погоде. Они вверяются течению, и оно само несет их к пристани».

— И на ее долю выпала благороднейшая задача — растить ребенка, который...

— Женни стала совсем другая, совсем не такая, как прежде, — решительно прервал ее Антуан. — Очень повзрослевшая... Нет, не повзрослевшая... А очень...

Г-жа де Фонтанен положила работу на колени и сняла очки.

— Я хочу поведать вам, друг мой, одну вещь: я считаю, что Женни счастлива. Да... Счастлива так, как никогда не была счастлива, как только может быть счастлив такой человек, как она. Женни рождена не для счастья. Еще ребенком она была глубоко несчастна, и никто не мог ей в этом помочь: страдание было заложено в ее натуре, и не только страдание — ненависть к самой себе: она не умела любить себя, любить в себе создание божие. Душа ее, увы, никогда не знала веры: душа ее всегда была храмом оставленным. Но господь каждодневно творит чудеса в нас самих и вокруг нас. Всякое страдание вознаграждается; всякое неустройство идет на благо высшей гармонии. Сейчас на нее низошла благодать. Сейчас, — и мое чувство, верьте, не обманывает меня, — сейчас бедное мое дитя обрело в роли вдовы и матери высшее человеческое счастье, тот душевный покой и удовлетворение, которые ей дано знать, и я чувствую, что она теперь...

— Тетя! — раздался голос из сада.

Г-жа де Фонтанен поднялась с кресла:

— Николь вернулась.

— Здесь господин мэр, тетя, — повторил голос. — Он хочет с вами поговорить.

Г-жа де Фонтанен подошла к дверям. Антуан услышал ее веселое восклицание:

— Подымись ко мне, дорогая. У меня здесь... кто-то... кого ты хорошо знаешь.

Николь распахнула дверь и как вкопанная остановилась на пороге, пристально глядя на Антуана, как бы не узнавая его.

Сердце его болезненно сжалось, и он пробормотал:

— Я очень страшный стал, да?

Николь покраснела и, желая скрыть свое смущение, громко расхохоталась:

— Вовсе нет... Просто я не ожидала встретить вас здесь.

Они еще не виделись: накануне она не пришла на дачу обедать, так как осталась ухаживать за больным, которого не хотела доверить сиделке.

За эти годы Николь как-то помолодела. Бессонная ночь не оставила никакого следа на ее молочно-белой коже, глаза по-прежнему поражали удивительной прозрачностью.

Антуан спросил, какие у нее вести от мужа, с которым он дважды встречался на фронте.

— Сейчас его санитарный отряд в Шампани, — сказала она, оглядываясь вокруг блестящим взглядом, в котором была не то наивность подростка, не то лукавство опытной кокетки. — Много работает, еле успевает писать свои статьи... На той неделе прислал мне статью для перепечатки на машинке.

Луч солнца касался ее плеча, плотно обтянутого тканью блузки, при каждом движении играл в складках косынки, золотил руки, покрытые легким пушком, и когда она улыбалась, зубы ее блестели. «Какое, должно быть, искушение для всех этих переживших бойню людей!» — подумал Антуан.

— Я так жалела, что не могла вчера попасть на дачу, — сказала она. — Как вы провели вечер? Даниэль был с вами любезен? Удалось вам хоть немножко его приручить?

— Конечно! А разве это так трудно?

— Он такой угрюмый, мрачный, унылый...

Антуан сделал соболезнующий жест:

— Он достоин всяческого сожаления.

— Надо бы его расшевелить, — продолжала Николь, — заставить рисовать. — Она говорила серьезным тоном, как будто дело шло о чем-то очень важном и как будто она только и ждала Антуана, чтобы решить этот вопрос. — Нельзя дольше так жить, как он живет. Он опустился. Он в конце концов станет...

Антуан улыбнулся.

— Я ничего такого не заметил.

— Да, да. Спросите хотя бы у Женни... Он просто стал невыносим. Когда мы бываем на даче, он или уходит в свою комнату, —

что он, дичится, дуется? Неизвестно... Или — если уж он сидит с нами — рта не откроет, и, кажется, все вокруг наполняется холодом. Его присутствие всех стесняет... Уверяю вас, вы окажете ему огромнейшую услугу, если убедите его работать, вернуться в Париж, бывать на людях, снова начать жить!

Антуан покачал головой и невнятно повторил:

— Он достоин сожаления.

Почти инстинктивно он держался настороже. Неизвестно почему, у него создалось впечатление, что Николь говорит так, повинуясь каким-то скрытым соображениям, которые предпочитает держать про себя.

(И это было, пожалуй, верно. Николь составила себе окончательное мнение о Даниэле еще с прошлой зимы. Однажды — было уже поздно — Женни и Жиз ушли спать, а Николь задержали дела внизу, и она осталась с Даниэлем вдвоем в гостиной перед догорающим камином. Вдруг Даниэль сказал: «Подожди-ка, Нико, не шевелись». И на обложке журнала, который он перелистывал, начал быстро набрасывать карандашом ее профиль. Она охотно подчинилась этому неожиданному капризу. Но через некоторое время, движимая каким-то неясным чувством, быстро повернула голову — Даниэль не рисовал: не отрываясь, он смотрел на нее нечистым взглядом, полным скрытого желания, мрачной ярости, стыда, а возможно, и ненависти. Нагнув голову, он злобно скомкал в руке журнал и бросил его в камин. Потом, не сказав ни слова, вышел из комнаты. «Так вот оно в чем дело! — оцепенев, подумала Николь. — Он все еще меня любит». Она хорошо помнила те далекие времена, когда жила у тетки в Париже и Даниэль, тогда еще юноша, подстерегал ее, как одержимый, во всех углах. Эта любовь, безумная и безнадежная, — которая, как думала Николь, давно уже прошла, — вновь воскресла сейчас, когда они очутились под одной крышей... И с этого дня у Николь открылись глаза; любовь Даниэля объясняла все: его замкнутость, беспокойство, капризы, его упорное желание оставаться в Мезон и вести здесь уединенную, праздную и целомудренную жизнь, столь противоречащую его привычкам и темпераменту.)

— Хотите знать мое мнение? — продолжала Николь, не подозревая, что ее настойчивость кажется Антуану крайне подозрительной. — Даниэль достоин сожаления, вы правы. Но он страдает не только оттого, что он калека. Нет... Женщины, видите ли, многое улавливают инстинктивно... Он страдает не только поэтому. Его мучит что-то очень личное... Может быть, несчастная любовь... безнадежная страсть.

Вдруг она испугалась, что выдала себя, и слегка покраснела. Но Антуан и не глядел на нее. Ему вдруг представился Даниэль в тени платанов, его блуждающий взгляд, закинутые за голову руки, вечная жвачка во рту.

— Возможно, — сказал он простодушно.

Успокоенная тем, что Антуан ничего не понял, Николь с облегчением рассмеялась:

— Ведь мы с вами помним, какую жизнь вел Даниэль в Париже перед войной.

Она замолчала; на лестнице послышались шаги тетки.

Г-жа де Фонтанен держала в руках пачку писем.

— Простите, но я должна снова уйти, — она показала на пачку писем и бандеролей, только что полученных с почты. — От нас ежедневно требуют кучу отчетов, и мы обязаны представлять их в нескольких экземплярах. Каждый день я часа два трачу на ответы.

— Мне пора, — сказал Антуан, поднимаясь.

— Мы должны еще повидаться с вами. Сколько времени вы пребудете здесь?

— Завтра уезжаю.

— Завтра... — повторила Николь.

— Я должен быть в Мускье в пятницу.

Они спустились по шаткой лестнице.

Г-жа де Фонтанен взглянула на свои часики:

— Я провожу вас до калитки.

— А я ухожу, — заявила Николь. — До вечера!

Когда Николь скрылась, г-жа де Фонтанен, не убавляя шага, взволнованно спросила Антуана:

— Николь говорила с вами о Даниэле? Бедный мальчик.. Я не перестаю думать о нем. Я молюсь за него. Тяжелый крест достался ему на долю.

— Что бы ни было, он все-таки жив и будет жив! Вы можете быть за него спокойны. В теперешнее время это спокойствие тоже чего-нибудь да стоит.

Но она, казалось, не пожелала вдуматься в его слова. Она воспринимала вещи совсем по-иному.

Несколько шагов они прошли молча.

— Целыми днями все один да один, — продолжала она. — Один со своим увечьем, один со своим горем, которое он не поверяет никому, даже мне.

Антуан остановился и взглянул на г-жу де Фонтанен с нескрываемым любопытством.

— Я так хорошо понимаю, что мучит моего дорогого мальчика, — продолжала г-жа де Фонтанен тем же скорбным, но твердым голосом. — Чувствовать, что ты еще полон сил, мужества. Видеть свою родину в руках врага, знать, что ей грозит опасность... и не иметь возможности помочь.

— Вы думаете, это оттого? — осмелился спросить Антуан. Такое объяснение было столь неожиданным, что он не смог скрыть своего удивления.

Она выпрямилась, и понимающая, чуть горделивая улыбка тронула ее губы:

— Даниэль? Да это же очевидно! Но, увы, тут ничего не поделаешь... Даниэль безутешен оттого, что не может выполнить свой

долг. — И, заметив, что Антуана эти слова не убедили, она прибавила с упрямым и суровым выражением лица: — Даниэль не работает в госпитале именно из-за этого, а вовсе не потому, что он устал, как он говорит. Нет, просто ему невыносимо быть среди людей одного с ним возраста, которые тоже были ранены, но которые не сегодня-завтра смогут снова сражаться за родину.

Антуан ничего не ответил. Они молча дошли до калитки. Г-жа де Фонтанен остановилась.

— Бог знает, когда мы снова увидимся, — сказала она, взволнивенно глядя на него. Антуан протянул ей руку, она задержала ее в своих руках. — Желаю вам всего хорошего, друг мой.

## XI

«Они все говорят о Даниэле как о загадке, — думал Антуан, идя через луг. — И каждый толкует ее по-своему... А на самом деле никакой загадки, должно быть, и нет».

Он немного устал, впрочем меньше, чем можно было ожидать, и это его радовало. Не торопясь он шел к даче Фонтаненов. Приятно было побывать одному. Широкая липовая аллея уходила вдали, сливааясь с лесом. Лучи солнца, уже клонившегося к горизонту, пробивались сквозь стволы и клали на землю длинные огненные полосы. Антуану приходили на память пыльные южные дороги, и он с наслаждением вдыхал этот легкий, чуть даже кисловатый воздух, напоенный весенними запахами.

Но мысли его были печальны: пребывание в Мезон пробудило в нем слишком много воспоминаний. Да и на вилле Тибо воскресло слишком много призраков былого. Они шли вместе с ним, и он был бессилен против них. Его молодость, здоровье. За эти сутки Жак вдруг стал ему бесконечно близок. Никогда он не ощущал так явственно, что смерть Жака лишила его существа, действительно незаменимого: того единственного, кто был ему братьем... Нет, никогда он так ясно не ощущал непоправимость этой потери. Он упрекал себя в том, что только сейчас почувствовал подлинное отчаяние, неприкрытое отчаяние. Как могло это случиться? Работа... Война... Он вспомнил совершенно отчетливо тот момент, когда получил письмо от Рюмеля — письмо, которое убивало всякую надежду. Письмо передали ему вечером, во дворе госпиталя под Верденом, за несколько часов до выступления его дивизии на Эпарж. Он ждал этого известия; но в ночной суматохе ему некогда было предаваться горю. А также и в последующие две недели: постоянные переезды с места на место, по грязи, под дождем, хлопоты по устройству госпиталя в разрушенных деревушках Бевры,<sup>1</sup> изнурительная работа не оставляли времени для личных переживаний. Позже, когда на досуге он перечел письмо Рюмеля и написал ответ, он почувствовал, что уже примирился со смертью Жака, так и не осмыслив

<sup>1</sup> Плато в окрестностях Вердена.

ее до конца. Но сейчас, когда он вновь оказался в атмосфере семьи, его запоздалая печаль овладела им: невозвратимость утраты сжимала его сердце небывалою болью. Здесь, в этом саду, каждый уголок аллеи напоминал их детские игры, совместную жизнь. Мальчики, хотя Антуан был много старше, любили прыгать через этот белый забор, вместе валялись такими же ясными майскими днями в высокой, некошеной траве; вместе переворачивали прутиком жучков, которые ютились среди мшистых корней лип и которых они называли в детстве «солдатиками», потому что у них были плоские ярко-красные спинки со смешными черными точечками. Вместе под вечер, в такие же дни, как сегодня, они бегали вдоль этих заборов и живых изгородей, срывая на бегу гроздья ракитника или сирени, ездили по этим дорожкам на велосипеде, привязав к рулю купальные костюмы или теннисные ракетки. А глядя на эти акации, сторожившие вход в сад, он вспоминал, как занимался летом со своим репетитором, учителем, проводившим каникулы в Мезон. Часто осенью в сентябрьские сумерки Мадмуазель и Жак выходили навстречу, чтобы ему не идти одному через парк. И он живо представил себе Жака, трехлетнего малыша, который, завидев брата, вырывался из рук Мадмуазель, бежал к нему, забирался на руки и рассказывал, карталя и захлебываясь, все, что он делал сегодня...

Антуан, погруженный в воспоминания, дошел до дома. Когда он отворил калитку, когда увидел, входя в сад, как Жан-Поль, бросив руку дяди Дана, бежит к нему навстречу, он не мог отделаться от мысли, что это бежит к нему Жак, рыжеволосый, быстрый и точный в движениях. Скрывая свое волнение, он схватил мальчика на руки, как некогда брал Жака, и поцеловал. Но Жан-Поль, который не переносил никакого принуждения, даже в ласках, начал так яростно отбиваться и болтать ногами, что Антуан, запыхавшийся и смеющийся, вынужден был опустить его на землю.

Даниэль, заложив руки в карманы, молча наблюдал эту сцену.

— Крепкий мальчик, — сказал Антуан с чувством почти отцовской гордости. — Как он здорово вырывается! Будто рыба!

Даниэль улыбнулся, и в этой улыбке чувствовалась та же гордость, что и у Антуана.

Он показал на сияющее майское небо.

— Прекрасный денек, правда? Вот и еще одно лето...

Антуан, слегка уставший после борьбы с Жан-Полем, присел на траву у края аллеи.

— Вы не побудете здесь немного? — спросил Даниэль. — А то я уже давно стою, мне хочется пойти полежать, пусть нога отдохнет... Хотите, я оставлю вам малыша?

— Конечно...

Даниэль повернулся к ребенку:

— Ты придешь попозже вместе с дядей Антуаном. Ты будешь умником?

Жан-Поль, не отвечая, нагнул голову. Он взглянул исподлобья на Антуана, проводил задумчивым взглядом Даниэля и, казалось,

хотел было побежать за ним, но внимание его привлек майский жук, и он, забыв о дяде Дане, присел возле упавшего на спинку жука и стал следить, как тот старается перевернуться.

«Лучший способ приручить его, это сделать вид, что не обращаешь на него никакого внимания», — подумал Антуан.

Вспомнив одну из любимых игр Жака, он поднял кусок сосновой коры, вытащил из кармана нож и, не говоря ни слова, начал вырезать лодочку.

Жан-Поль, исподтишка следивший за его движениями, пододвинулся поближе:

— А чей это нож?

— Мой... Дядя Антуан солдат, ему нужен нож: резать хлеб, резать мясо...

Но это не интересовало Жан-Поля:

— А что ты делаешь?

— Посмотри сам... Разве не видишь? Делаю лодочку. Делаю тебе лодочку. Когда мама будет тебя купать, ты пустишь эту лодочку в ванну, и она будет плавать и не потонет.

Жан-Поль молча слушал, нахмурив брови. Он раздумывал над чем-то. Ему, должно быть, был неприятен слабый, охрипший голос Антуана.

Он как будто ничего не понял из объяснений дяди. Может быть, он никогда не видел лодки?.. Он громко вздохнул и, откликаясь только на одну из фраз Антуана, потому что эта фраза возмутила его своей вопиющей неточностью, поправил:

— А меня не мама купает, а дядя Дан!

Потом, нисколько не пленившись искусством работы Антуана, вернулся к своему жуку.

Не желая настаивать, Антуан бросил лодочку и положил возле себя нож.

Через минуту Жан-Поль опять подошел к нему. Антуан попытался снова установить дружеские отношения:

— А что ты делал сегодня? Гулял в саду с дядей Даном?

Жан-Поль подумал немного, как бы припоминая, так ли это было на самом деле, и утвердительно кивнул головой.

— А ты себя хорошо вел?

Жан-Поль снова утвердительно кивнул головой. Но тут же подошел к Антуану и серьезно объявил:

— Я не совсем уве-рен!

Антуан невольно улыбнулся:

— Как! Значит, ты не знаешь, хорошо ли ты себя вел?

— Нет, хорошо! — закричал гневно Жан-Поль. Потом, как бы вновь подчиняясь голосу совести, смешно наморщил носик и повторил, выделяя каждый слог: — Но я не совсем уверен!

Он засел за спину Антуана, делая вид, что уходит прочь, и вдруг, быстро нагнувшись, хотел потихоньку схватить лежащий на земле нож.

— Нет! Нельзя! — сказал Антуан, прикрывая нож рукой.  
Жан-Поль не отступил и бросил на Антуана гневный взгляд.

— С этим не играют! Ты обрежешься, — добавил Антуан. Он сложил нож и сунул его в карман. Мальчик продолжал стоять возле Антуана; вид у него был самый вызывающий. Желая положить конец ссоре, Антуан миролюбиво протянул ему руку. Синие глаза мальчика загорелись внезапным блеском, и, схватив протянутую руку, как будто желая ее поцеловать, он вцепился в нее зубенками.

— Ай! — вскрикнул Антуан. Он был так удивлен, так растерян, что даже не подумал рассердиться.

— Жан-Поль нехороший, — сказал он, рассматривая укушенный палец. — Жан-Поль сделал дяде Антуану больно.

Мальчик взглянул на него с любопытством.

— Очень больно? — спросил он.

— Очень больно!

— Очень больно! — повторил Жан-Поль с явным удовольствием. И, круто повернувшись на пятках, вприпрыжку бросился прочь.

Этот случай поставил Антуана в тупик. «Потребность отомстить? Нет... Что ж тогда? В таком поступке может быть все что угодно... Возможно, видя мой отпор, видя, что ему со мной не справиться, он почувствовал так остро свою беспомощность и не смог сдержаться... Быть может, он укусил меня не для того, чтобы причинить мне боль, а чтобы меня наказать. Быть может, он повиновался просто непреодолимой физической потребности разрядить свое первое напряжение... Впрочем, чтобы судить о подобных реакциях, пришлось бы прежде всего измерить степень желания. Желание схватить нож могло быть настолько повелительным, что взрослому этого даже не понять!..»

Он украдкой взглянул на Жан-Поля, чтобы убедиться, что он здесь. Отойдя метров на десять, мальчик пытался вскарабкаться на холмик, не обращая никакого внимания на Антуана.

«Конечно, и Жак тоже был способен на такие порывы злобы, — подумал Антуан. — Но стал ли бы он кусаться?»

Ему хотелось разобраться в этом вопросе. Он обратился к воспоминаниям. Он не мог не отождествлять настоящее с прошлым, сына с отцом. Не мог не видеть в глазах Жан-Поля зарождение тех чувств, которые десятки раз подмечал в глазах Жака: возмущение, обиду, вызов, одинокую и сосредоточенную гордость. Аналогия показалась ему столь разительной, что он попробовал углубить ее, даже решил, что в ребячьем бунте оказались подавляемые хорошие свойства — цельность, чистота, неразделенная нежность — все то, что у Жака до конца жизни скрывалось за необуздаными порывами.

Боясь простудиться, он хотел встать, но вдруг внимание его привлекли странные акробатические упражнения мальчика: Жан-Поль пробовал взять штурмом холмик примерно двух метров высоты; слева и справа холмик спускался к земле пологими скатами, возвращаться по которым не представляло особого труда; посередине он подымался круто, но именно по этому склону и пытался влезть Жан-

Поль. Несколько раз он с разбегу добирался до половины холма, но соскальзывал и скатывался вниз. Сильно ушибиться он не мог, — склон был покрыт мягким слоем сосновых игл. Малыш был поглощен своим занятием: на всем свете существовали только он и этот холм, на который он решил взобраться. С каждым разом он взбирался все выше и с каждым разом скатывался все быстрее. Он тер ушибленные колени и лез снова.

«Энергия у него наша: настоящий Тибо, — подумал удовлетворенно Антуан. — У нашего отца власть, желание господствовать... У Жака непокорность, мятежный дух... У меня упорство. А здесь? Во что выльется та сила, которую носит в своей крови этот ребенок?»

Жан-Поль снова бросился на штурм холма с такой яростной отвагой, что почти добрался до вершины. Однако песок осыпался у него под ногами, и казалось, он опять скатится вниз... Но нет! Ухватившись за кустик травы, он каким-то чудом удержался, подтянулся на руках и взобрался на верхушку холма.

«Держу пари, что он сейчас оглянется, посмотрит, слежу ли я».

Антуан ошибся. Мальчик повернулся к нему спиной и, очевидно, не интересовался им. С минуту он постоял на верхушке холма, крепко упираясь в землю маленькими ножками. Потом счел, по-видимому, себя удовлетворенным и спокойно спустился вниз по отлогой стороне, даже не оглянувшись на завоеванный холм, прислонился к дереву, снял сандалию, вытряхнул из нее камешки, а потом снова аккуратно обулся. Но он знал, что не сможет сам застегнуть пряжку, поэтому подошел к Антуану и молча протянул ногу. Антуан улыбнулся и покорно застегнул сандалию.

— А сейчас мы с тобой пойдем домой. Ладно?

— Нет!

«Он как-то особенно, по-своему говорит «нет», — подумал Антуан. — Женни права. Это, пожалуй, действительно не простое нежелание выполнить то или другое требование взрослых, а отказ вообще, преднамеренный... Нежелание поступиться хотя бы крупинкой своей независимости во имя чего бы то ни было!»

Антуан поднялся.

— Пойдем, Жан-Поль, будь умницей. Дядя Дан нас ждет. Идем!

— Нет!

— Ты же должен показать мне дорогу, — продолжал Антуан, надеясь уладить конфликт (он чувствовал себя довольно нелепо в роли гувернера). — А по какой аллее нам идти? По этой? Или по этой? — Он хотел было взять мальчика за руку. Но Жан-Поль уперся ногами в землю, а руки заложил за спину.

— Я сказал — не пойду!

— Хорошо, — ответил Антуан. — Ты хочешь остаться здесь один? Оставайся! — И с безразличным видом направился к дому, который виднелся сквозь освещенные закатными лучами стволы.

Не успел он сделать и тридцати шагов, как услышал за собой топот. Жан-Поль догонял его. Антуан решил заговорить с ним как

можно приветливее, как будто между ними ничего не произошло. Но мальчик обогнал его и, не останавливаясь, дерзко крикнул ему на ходу:

— А я домой! Потому что я сам хочу!

## XII

Обеды на даче проходили оживленно благодаря присутствию Жиз и Николь, — обе весело болтали за столом. Довольные, что здесь они были далеко от заботливого, но слишком бдительного ока г-жи де Фонтанен, они все время вспоминали дневные происшествия, делились впечатлениями о вновь прибывших больных, с пылом юных пансионерок в мельчайших подробностях рассказывали о своих занятиях.

Хотя Антуан устал к вечеру, он с удовольствием слушал, как они с серьезным видом обсуждали различные методы лечения, одобряли или порицали врачей, старательно употребляя специальные медицинские термины. Несколько раз они обращались к его авторитету, и он, улыбаясь, высказывал свое мнение.

Женни почти не вмешивалась в разговор: она возилась с Жан-Полем, который обедал за общим столом. Даниэль, по обыкновению, был молчалив (особенно в присутствии Женни и Николь) и только раза два заговаривал с Антуаном.

Николь принесла с собой вечернюю газету. Там сообщалось о непрекращавшихся обстрелах Парижа. Пострадало много зданий в Шестом и Седьмом округах. Насчитывалось пять убитых, в том числе три женщины и грудной ребенок. Гибель этого младенца вызвала в союзной прессе единодушный взрыв негодования против тевтонского варварства.

Николь с возмущением спрашивала, как мыслима подобная жестокость.

— Эти боши! — вскричала она. — Они воюют как дикари! Мало им огнеметов и удущливых газов! Подводных лодок! Но убивать ни в чем не повинное гражданское население! Это уж выше человеческого понимания! Это чудовищно! Для этого нужно окончательно потерять всякое нравственное чувство, всякую человечность!

— Убийство ни в чем не повинного гражданского населения кажется вам, очевидно, значительно более бесчеловечным, более аморальным, более чудовищным, чем уничтожение тысяч и тысяч молодых людей, которых посыпают на передовую? — язвительно спросил Антуан.

Николь и Жиз изумленно переглянулись.

Даниэль отложил в сторону вилку. Он молчал, опустив глаза.

— Будем последовательны, — продолжал Антуан. — Упорядочивать войну, пытаться ее ограничить, организовать («гуманизировать», как теперь говорят), безапелляционно заявлять: «То-то и то-то — варварство! А то-то и то-то — аморально!» — значит пред-

полагать, что существует какой-то иной способ ведения войны... Какой-то вполне цивилизованный способ. Вполне моральный!

Он замолк и взглянул на Женни, желая проверить, какое впечатление произвели на нее его слова. Но она стояла, склонившись над Жан-Полем, и поила его молоком.

— Тот или иной способ убивать может быть более или менее жестоким, — продолжал он, — может применяться чаще одной стороны, чем другой, но разве в этом чудовищность войны?

Женни поставила на стол чашку таким резким движением, что чуть не опрокинула ее.

— Чудовищно другое, — сказал она, стискивая зубы. — Чудовищна пассивность народов! Ведь их миллионы! Они — сила! Всякая война зависит только от их согласия или от их отказа! Чего же они ждут? Им достаточно было бы сказать «нет!» — и мир, которого они требуют, тотчас же стал бы реальностью.

Даниэль медленно поднял веки и кинул на Женни короткий, загадочный взгляд.

Воцарилось молчание.

Антуан, не спеша, закончил свою мысль:

— Чудовищно не то или другое, чудовищна сама война!

Несколько минут никто не решался заговорить.

«Люди требуют мира, — повторял про себя Антуан слова Женни. — Так ли это?.. Они требуют его, когда он уже нарушен. Но когда войны нет, их нетерпимость, их воинственные инстинкты делают мир непрочным... Возлагать ответственность за войну на правительства и на политиков — это, конечно, разумно. Но не надо забывать, говоря об ответственности, и человеческую природу... В основе всякого пацифизма лежит следующий постулат: вера в моральный прогресс человека. Я лично верю в это, или, иными словами, чувством мне необходимо верить в это; я не могу принять мысль, будто человеческое сознание неспособно совершенствоваться, и совершенствоваться бесконечно. Я должен верить, что человечество сумеет когда-нибудь утвердить порядок и братство во всем мире... Но для того, чтобы произвести эту революцию, недостаточно доброй воли или мученичества отдельных мудрецов. Нужны века, быть может тысячелетия эволюции... (Чего подлинно великого можно ожидать от человека двадцатого столетия?) И вот, сколько бы я ни был себя в грудь, это прекрасное будущее не может утешить меня в том, что мне приходится жить среди хищников современного мира».

Антуан заметил вдруг, что все за столом молчат. Атмосфера стала напряженной, предгрозовой. Он пожалел, что вызвал эту внезапную бурю, и решил переменить разговор.

Он повернулся к Даниэлю:

— А как ваш друг, помните, такой странный тип... Кажется, пастор, да вы знаете... Что с ним?

— Пастор Грегори?

При этом имени глаза всех присутствующих загорелись лукавым огоньком.

Николь сказала нарочито грустным голоском, который никак не вязался с веселым выражением ее лица:

— Тетя Тереза так беспокоится о нем: с самой пасхи он в санатории в Аркашоне...<sup>1</sup>

— Судя по последним письмам, он плох, даже, кажется, не встает с постели, — добавил Даниэль.

Женни заметила, что пастор находился на фронте с первого дня войны.

Потом разговор снова оборвался.

Чтобы прервать молчание, Антуан спросил:

— Он пошел добровольцем?

— Во всяком случае, — уточнил Даниэль, — он рвался туда всеми силами. Но не подходил ни по возрасту, ни по состоянию здоровья. Тогда он вступил в американский санитарный отряд. Он прошел на английском фронте самое ужасное время, зиму семнадцатого года... Переносил раненых... Не вылезал из бронхитов. Начал харкать кровью. Пришлось его эвакуировать чуть ли не силой. Но было слишком поздно.

— Последний раз мы видели его в шестнадцатом году, он приезжал к нам во время отпуска, — сказала Женни.

— Уже тогда он был неузнаваем, — вставила Николь. — Прямо привидение. Длинная борода, как у Толстого... Или как у волшебника из сказки!

— И он по-прежнему отказывался применять лекарства? И пользовал больных только заклинаниями? — насмешливо спросил Антуан.

Николь расхохоталась:

— Да, да... Держал по этому поводу безумные речи. Он целых два года перевозил умирающих на маленькой санитарной машине, что не мешало ему преспокойно твердить: смерти не существует.

— Николь! — окликнула ее Жиз. Она страдала оттого, что Николь высмеивала пастора в присутствии Антуана.

— Впрочем, он и слово «смерть» никогда не произносит, — продолжала Николь. — Он говорит: «иллюзия смерти»...

— А в последнем письме к маме, — подхватил, улыбаясь, Даниэль, — он написал удивительную фразу: «Скоро мое существование будет продолжаться в полях невидимых».

Жиз с упреком взглянула на Антуана:

— Не смейся, Антуан... Пусть он смешной, все-таки это святой человек...

— Ну что ж, может быть он и святой, — согласился Антуан. — Но каково было несчастным томми,<sup>2</sup> которые попадали в его святые лапы. Никому не пожелаю такого санитара!

Обед пришел к концу.

<sup>1</sup> Курорт на побережье Бискайского залива, к юго-западу от Бордо.

<sup>2</sup> Прозвище английских солдат.

Женни сняла Жан-Поля со стульчика и встала сама. Остальные последовали ее примеру и перешли в гостиную. Но Женни не осталась с ними: было уже поздно, и она торопилась уложить сына.

Жиз устроилась в глубине комнаты на низеньком стульчике и начала молча вязать; отбывавшим из госпиталя на фронт солдатам сна вручала, как талисман, пару носков собственной вязки. Даниэль взял с рояля комплект «Le Tour du Monde» и уселся на диване, за круглый стол, на котором горела керосиновая лампа, единственная в комнате.

«Что это он, нарочно? — думал Антуан, глядя, как Даниэль, склонившись над книгой, прилежно, словно пай-мальчик, переворачивает страницы. — Или в самом деле увлекается картинками?»

Стоя на коленях перед камином, Николь разжигала огонь. Антуан подошел к ней.

— Давно я не видел, как горят дрова...

— Вечерами еще свежо, а потом, так веселее! — Она поднялась. — Помните, здесь в Мезон мы с вами встретились в первый раз. Я вспоминаю так ясно... А вы?

— И я тоже.

Он и вправду помнил далекий летний вечер, когда, уступив настояниям Жака и тайком от г-на Тибо, согласился пойти с братом к «гугенотам». Вспомнил, как удивился, встретив там Феликса Эке, хирурга, который был старше его курсом; вспомнил Женни и Николь в аллее роз; Жака, только что поступившего в Нормальную школу; сам он был тогда молодым врачом, и одна только г-жа де Фонтанен церемонно называла его «доктор»... Какие все они были молодые! Полные веры в свою молодость и в жизнь, не ведающие, что готовит им судьба, ни на минуту не подозревавшие о близкой катастрофе, которую подготовляли государственные деятели Европы и которая одним махом смела их маленькие личные планы, оборвала жизнь одних, перевернула, разрушила жизнь других, внесла в существование каждого горе, траур, взбаламутила мир на долгие, долгие годы.

— Тогда Феликс начал ухаживать за мной, — мечтательно продолжала Николь. В этих словах прозвучала неподдельная грусть. — Он отвез меня на своем автомобиле... На обратном пути мотор сломался, и мы всю ночь просидели в Сартрувиле...<sup>1</sup>

Даниэль медленно подняла глаза и, не поворачивая головы, бросил на Николь исподтишка беглый взгляд, который, однако, не укрылся от Антуана. Слышал ли он их разговор? Может быть, образ прошлого взволновал его, огорчил? Или, возможно, эта болтовня просто надоела ему? Даниэль снова взялась за свой журнал. Но через минуту зевнул, закрыл книгу и не спеша попрощался со всеми.

Жиз отложила в сторону вязанье:

— Вы идете к себе, Даниэль?

<sup>1</sup> Городок на дороге из Мезон-Лафита в Париж.

В полумраке ее волосы казались еще пущистее, лицо смуглее, белки глаз блестели ярче. Скорчившаяся на низеньком стульчике, освещенная пламенем очага, Жиз вызывала в памяти образ далекой страны ее предков — Африки. Силюэт туземной женщины, сидящей на карточках перед костром в пустыне.

Она встала:

— Ваша лампа в коридоре. Пойдемте, я зажгу!..

Они вместе вышли из гостиной. Антуан машинально проводил их взглядом, потом обернулся к Николь, которая, стоя у камина, пристально глядела на него. Они были одни. Николь улыбнулась странной улыбкой.

— Даниэлю следовало бы жениться на ней, — произнесла она вполголоса.

— Что?

— Ну да! Это будет чудесно, разве нет?

Такая мысль была столь неожиданна для Антуана, что некоторое время он молчал, нахмурив брови, уставившись в угол. Николь расхохоталась звонким, воркующим смешком:

— Вот уж не думала, что это вас так поразит! — Она пододвинула кресло к огню и уселась, положив ногу на ногу в небрежной, даже слегка вызывающей позе. И стала молча разглядывать Антуана.

Антуан сел рядом.

— Вам кажется, что между ними что-то есть?

— Я этого не говорю, — живо произнесла она. — Во всяком случае сам Даниэль об этом никогда не думал.

— А Жиз и того меньше, — вырвалось у него.

— Жиз и того меньше, вы правы. Но она явно интересуется им. Она выполняет все его поручения в городе, покупает ему газеты, жевательную резину. Окружает его тысячью забот, которые он принимает, впрочем, с явным удовольствием... Вы, должно быть, заметили, что на нее однажды его дурное настроение не распространяется?

Антуан молчал. Мысль о возможном замужестве Жиз сначала неприятно поразила его: он еще не забыл прошлое, — то место, которое она, правда недолго, занимала в его жизни.

Но, поразмыслив немного, решил, что ничего нелепого в этом браке нет.

Николь потихоньку смеялась, и на щеках у нее образовались две ямочки. Однако в веселости ее чувствовалось что-то нарочитое, неестественное. «Уж не влюблена ли она сама в своего кузена?» — подумал Антуан.

— Ну согласитесь же, доктор, что моя мысль вовсе не так нелепа, — продолжала настаивать Николь. — Жиз посвятит ему всю свою жизнь; преданность именно такой девушки, как она, может скрасить существование... А Даниэль... — Николь медленно откинула голову назад, золотистые пряди ее волос коснулись спинки кресла, и между влажными губами мелькнула полоска белых зубов. Она посмотрела на Антуана сощуренными хитрыми глазами. —

А Даниэль принадлежит к тем мужчинам, которые охотно позволяют себя любить... — У нее вырвался едва уловимый жест досады. За перегородкой заскрипели ступеньки старой, рассохшейся лестницы. — Вроде моего тифозного, около которого я дежурила прошлой ночью! — воскликнула она, меняя тему разговора с явно неестественной быстротой и лукавством. — Уже пожилой человек, призыва девяносто второго года. — В комнату вошли Женни и Жиз, и Николь затараторила еще быстрее: — Когда он бредит, слов понять нельзя. Должно быть потому, что он из Савойи...<sup>1</sup> Каждую минуту он зовет: «Мама!», каким-то детским голоском. Прямо ужасно!

— Да, — сказал Антуан и почувствовал глупую гордость оттого, что сумел так ловко попасть в тон. — У меня тоже бывали такие случаи. Но вы ошибаетесь: это просто бессознательная жалоба, инстинктивно возникающая из прошлого... Многие умирающие кричат «мама!», но мало кто из них действительно думает в это время о своей матери.

У Женни в руках был моток коричневой шерсти.

— Кто мне будет помогать сегодня? Ты, Николь?

— Я просто засыпаю, — призналась Николь, лениво улыбаясь. Она взглянула на часы. — Уже двадцать минут двенадцатого.

— Давай я, — предложила Жиз.

Женни отрицательно покачала головой:

— Нет, дорогая, ты тоже устала. Иди ложись.

Поцеловав Женни, Николь подошла к Антуану:

— Извините меня: мы уходим в госпиталь в семь часов, а я всю ночь не спала.

Жиз тоже подошла прощаться. У нее щемило сердце при мысли, что Антуан уезжает завтра, и что они до отъезда так и не успеют побывать наедине, и не будет больше той близости, которая установилась между ними в Париже. Но, боясь расплакаться, она ничего не сказала о своих чувствах и молча подставила для поцелуя лоб.

— Прощай, Негритяночка, — прошептал он нежно.

Жиз поняла, что Антуан угадал ее мысли, что он тоже мучительно переживает их разлуку; и от этого разлука показалась ей вдруг не такой ужасной.

Стараясь не глядеть на Антуана, она вышла из комнаты вместе с Николь.

«Странно, что она не попрощалась с Женни», — подумал Антуан. Но не успел он решить, что же произошло между ними, как Женни быстро подбежала к дверям, остановила на пороге Жиз, положив ей руку на плечо:

— Боюсь, что я не так укрыла маленького. Закутай ему чем-нибудь ножки, хорошо?

— Розовым одеялом?

— Нет, белым, оно теплее.

И они расстались, опять не попрощавшись.

<sup>1</sup> Жители Савойи говорят на диалекте, содержащем большое количество итальянismов.

Антуан стоял посреди комнаты.

— А вы, Женни, разве не идете спать? Не оставайтесь ради меня, пожалуйста!

— Мне не хочется спать, — заявила она, опускаясь в кресло.

— Тогда будем работать. Я постараюсь заменить Жиз. Давайте моток.

— Ни за что на свете!

— Почему же? Разве это так трудно?

Он взял шерсть и сел возле нее на низеньком стульчике. Женни с улыбкой повиновалась...

— Вот видите, — сказал он, сделав несколько неверных движений, — теперь у нас дело пошло на лад.

Женни была удивлена и восхищена тем, что Антуан оказался таким простым, таким сердечным. И ей было стыдно, что она, знавшая его так давно, раньше не замечала этих черт. Разве сейчас он не единственная верная ее опора? Антуан так сильно закашлялся, что отложил в сторону моток. «Только бы он выздравел, — подумала она, — только бы он был здоров, как прежде!» Для ее сына нужно было, чтобы Антуан выздравел.

Когда приступ кашля прошел, он, снова берясь за работу, сказал без предисловий:

— Знаете что, Женни? Мне страшно приятно видеть вас такой... Я хочу сказать... такой стойкой... такой спокойной...

Не подымая глаз от клубка, она задумчиво повторила:

— Спокойной...

И все же это была правда. Женни сама иной раз удивлялась, какой умиротворенностью было проникнуто ее горе. Обдумывая слова Антуана, она сравнивала теперешнее свое состояние с той полосой смятения, жестокой пустоты, через которую прошла три с половиной года тому назад. Вспомнила, как в начале войны, не получая никаких известий о Жаке и предчувствуя самое страшное, она то бурно предавалась отчаянию, то смирялась, страдая от бесконечного одиночества, но еще больше от присутствия людей, убегала от матери из дома, будто в поисках чего-то жизненно ей необходимого, что ускользало от нее, хотя, казалось, стоило протянуть руку — и оно уже здесь; иногда целыми вечерами она бродила по улицам преображенного войной Парижа и с упорством пилигрима вновь и вновьозвращалась в те места, по которым водил ее Жак: к Западному вокзалу, к скверу Сен-Венсан-де-Поль, на улицу Круассан, в кафе возле Биржи, где она так часто поджидала его, на узкие улички в Монруже, заглядывала там в зал для собраний, где однажды Жак поднял против войны негодящую толпу. Наконец усталость, ночь приводили ее, обессиленную, домой. Не сдерживая стона, она бросалась на ту самую кровать, где Жак держал ее в объятиях, засыпала на несколько часов и, просыпаясь, встречала новый день, еще один день печали... Конечно, по сравнению с тем временем теперешняя ее жизнь была бесконечно «спокойна». За эти три года все изменилось вокруг нее, в ней самой. Все — и даже образ Жака, который она хра-

нила в своем сердце... Удивительно, до чего самая пылкая любовь бессильна против работы времени! Когда Женни думала о Жаке, она никогда не представляла его таким, каким бы мог он стать теперь; ни даже таким, каким он был в июле четырнадцатого года. В ее сознании возникал не прежний Жак, юный, горячий, вечно меняющийся... Нет, она видела образ другого Жака, застывшего, недвижимого. Того Жака, который сидит, чуть повернувшись к ней, упершись рукой в бедро, а яркий отблеск света, падающего через широкие окна мастерской, лежит у него на лбу. Того, что изображен на портрете, денно и нощно бывшем у нее перед глазами.

И вдруг она поняла и ужаснулась. Она представила себе, что Жак неожиданно возвращается; и странно — почувствовала не только радость, но и смятение. Не стоило лгать себе. Если бы Жак четырнадцатого года был вдруг внезапно возвращен ей, явился каким-то чудом перед сегодняшней Женни, то, пожалуй, место, которое она свято хранила для него в душе, — верила, что хранит, — она не смогла бы вернуть ему неприкосновенным...

Женни подняла на Антуана взгляд, полный отчаяния. Но он ничего не заметил. Широко расставив руки, скав кулаки, он старался натянуть моток как можно туже. Следя за сматываемой нитькой, он мерно подавался то вправо, то влево, глядел как очарованный на клубок шерсти. Он чувствовал себя немного смешным. Плечи сводило. Он упрекал себя за то, что необдуманно предложил свои услуги; а теперь, от долгого сидения с поднятыми руками на низеньком стульчике, с минуты на минуту усиливалась одышка; он знал, что ему вредно быть так близко от огня и что, раздеваясь у себя в холодной комнате, он обязательно простудится...

Женни хотелось снова поговорить с ним о себе, о Жаке, о мальчике, — как нынче утром. Эти минуты необычной для нее откровенности были так сладостны, что она не переставала ощущать их целый день. Но вот опять она чувствовала себя скованной. В этом-то и заключалась ее внутренняя драма — в этой неспособности к общению, в том, что она была обречена на вечную отчужденность. Самому Жаку не смогла бы она открыться вся, без недомолвок. Сколько раз упрекал он ее за то, что она «непроницаема». Эти воспоминания жгли ее, владели ею с прежней силой. Сумеет ли она подойти к своему сыну, когда он вырастет? Не оттолкнет ли его от себя, сама того не желая, своей сдержанностью, своей кажущейся холодностью?

Бой часов заставил их обоих одновременно поднять голову, и вдруг они поняли, что молчат уже несколько минут.

Женни улыбнулась:

— Знаете, остальные мотки придется оставить на завтра. Кончим только этот. Надо идти. — И, быстрым движением сматывая начатый клубок, она объяснила: — А то Жиз заснет, и я ее разбуджу... А она так нуждается в отдыхе...

Антуан вспомнил две одинаковые постели и понял, почему Жиз не попрощалась с Женни на ночь. Они жили в одной комнате. Обе они

спали под портретом Жака, рядом с детской кроваткой. И, представив мрачное детство, какое провела Жиз в доме г-на Тибс, он почувствовал радость: «Бедняжка Жиз нашла себе, наконец, семью». Слова Николь пришли ему на память. Выйдет ли она за Даниэля? Он почему-то не верил в это. Впрочем, она может быть счастлива и без замужества. Может найти смысл жизни и радость жизни в близости Женни и Жан-Поля. Этим двум существам, в которых для нее оживал Жак, она отдаст всю свою нерастраченную нежность, свою собачью преданность. А в старости еще больше станет походить на мулатку, темнокожую, с седыми волосами, станет нежной и доброй «тетей Жи»...

Закончив мотать клубок, Женни поднялась, уложила шерсть в ящик, засыпала тлеющие поленья золой и взяла со стола большую керосиновую лампу.

— Дайте я снесу, — сказал Антуан не особенно уверенным тоном.

Он так хохло и прерывисто дышал, что Женни решила избавить его от хлопот.

— Нет, благодарю. Я ведь привыкла. Я всегда ложусь по-следней.

У дверей она остановилась и, высоко подняв лампу, оглядела комнату, желая удостовериться, все ли в порядке. Медленно скользнув взглядом по старой гостиной, она повернулась к Антуану.

— Нет, я не хочу его воспитывать среди этой обстановки, — сказала она решительно. — Как только кончится война, я переменою жизнь. Уеду отсюда.

— Уедете?

— Я хочу покинуть все это, — повторила она твердо и убежденно. — Хочу уехать отсюда.

— Но куда? — Вдруг ему показалось, что он догадался. — В Швейцарию?

Женни ответила не сразу.

— Нет, — произнесла она наконец. — Об этом, конечно, я думала. Но после Октябрьской революции все лучшие друзья Жака уехали оттуда в Россию... Одно время я сама подумывала об этом... Но я решила, что Жан-Поль должен воспитываться во Франции. Я останусь во Франции, но я уеду от мамы, уеду от Даниэля. Устрою жизнь по-своему. Быть может, где-нибудь в провинции. Все равно где, мы поселимся вместе с Жиз. Будем работать. И воспитаем маленького таким, каким он должен быть, каким хотел бы видеть его Жак.

— Женни, — взволнованно сказал Антуан, — надеюсь, что к тому времени я снова смогу работать, и моим долгом будет...

Она отрицательно покачала головой:

— Спасибо. От вас, в случае необходимости, я не колеблясь приняла бы помочь. Но я хочу сама зарабатывать. Я хочу, чтобы мать Жан-Поля была независимой женщиной, женщиной, которая своим собственным трудом завоюет себе право самостоятельно мыс-

лить и действовать так, как она считает нужным... Вы порицаете меня?

— Нет, нисколько.

Женни поблагодарила его взглядом. Она, видимо, сказала все, что было у нее на душе, отворила дверь и первая пошла вперед по лестнице.

Она вошла вместе с Антуаном в отведенную ему комнату. Поставила на стол лампу, посмотрела, все ли приготовлено на ночь. Потом протянула ему руку.

— Я хочу признаться вам в одной вещи, Антуан.

— Слушаю, — сказал он дружески.

— Ну, вот... Я не всегда относилась к вам так, как отношусь сейчас.

— И я тоже, — ответил он, улыбаясь.

Увидев эту улыбку, она нерешительно замолчала. Ее рука лежала в руке Антуана. Взгляд стал серьезным. Наконец она решилась:

— Но сейчас, когда я думаю о будущем мальчика... Вы понимаете... я чувствую себя увереннее, когда думаю, что вы будете с нами, что ребенок Жака вам не чужой. Я нуждаюсь в советах, Антуан... Я хочу, чтобы Жан-Поль унаследовал все качества своего отца, не будучи... — Она не посмела кончить фразу. Но тотчас же гордо выпрямилась. (Антуан почувствовал, как дрогнули в его руке тонкие пальцы Женни.) И, подобно всаднику, властно посылающему на препятствие непокорного коня, она заставила себя продолжить: — Не думайте, Антуан, я не закрываю глаза на недостатки Жака. — Она снова замолчала, потом, как будто против своей воли, добавила, отводя глаза в сторону: — Но я забывала о них, когда он был со мной.

Ее ресницы затрепетали. Она не могла найти нужных слов. И только спросила:

— Вы утром позавтракаете с нами? Значит... — Она попыталась улыбнуться. — Значит мы еще увидимся утром... — Высвободив свои пальцы из руки Антуана, она прошептала: — Спокойной ночи, — и ушла, не оборачиваясь.

### XIII

— Доктор Тибо! — радостно доложил старый слуга.

Филип, в ожидании Антуана, что-то писал. Он легко поднялся с места и своей подпрыгивающей, развинченной походкой пошел навстречу Тибо, остановившемуся у порога. Прежде чем протянуть Антуану руку, он бросил на него быстрый внимательный взгляд, по привычке часто моргая живыми блестящими глазками. Голова его еле приметно тряслась. Он приветствовал гостя насмешливой улыбкой, за которой обычно скрывал свои истинные чувства:

— Вы просто великолепны, мой друг, в небесно-голубом. Ну, что слышно?

«Как он постарел!» — подумал Антуан.

Филип сгорбился, и ноги, казалось, с трудом носили его длинное тощее тело. Лохматые брови, козлиная бородка окончательно побелели. Но в движениях, взгляде, в улыбке чувствовалась юношеская живость, даже какое-то шаловливое лукавство, пожалуй слишком уж шаловливое для человека его лет. Филип носил старые, военного образца брюки, красные с черными лампасами, и куртку, сильно выцветшую на отворотах; и этот странный костюм достаточно точно символизировал его полугражданское, полувоенное положение. В конце 1914 года его назначили председателем комиссии по упорядочению санитарной службы армии, и с тех пор он неустанно боролся против недостатков системы, порочность которой не могла не бросаться в глаза. Положение в медицинском мире обеспечивало ему полную независимость. Он восстал против официальных установленных порядков, разоблачал злоупотребления, тормошил администрацию; и большинство разумных, хотя, к сожалению, запоздалых реформ, проведенных за эти три года в санитарной службе, во многом были результатом его мужественной и упорной борьбы.

Не выпуская из рук руки Антуана. Филип ласково тряс ее и, слегка причмокивая, бормотал:

— Ну, как?.. Ну, что?.. Сколько лет!.. Как дела? — потом подтолкнул Антуана к письменному столу. — О стольком нужно поговорить, что прямо и не знаешь, с чего начать...

Он усадил Антуана в кресло, которое предназначалось для пациентов, но сам не занял, как обычно, своего места за письменным столом, а взял стул, сел на него верхом и, придвинувшись к Антуану, начал пристально его разглядывать.

— Ну, друг мой! Поговорим о вас. В каком вы состоянии после отравления?

Антуан был взволнован. Десятки раз ему приходилось видеть на лице доктора Филипа это напряженное внимание, эту профессиональную серьезность, но никогда еще они не были направлены на самого Антуана.

— Здорово меня потрепало, как на ваш взгляд?

— Немножко есть! Но ничего страшного!

Филип снял пенсне, протер его, снова надел аккуратным движением, посмотрел на Антуана и сказал, улыбаясь:

— Ну, рассказывайте!

— Итак, патрон, я принадлежу к тем, кого у нас почтительно называют тяжелоотравленными, а это не очень-то приятно.

Филип нетерпеливо шевельнулся на стуле.

— Ну, ну, ну... Начинать полагается с начала. Ваше первое ранение? Каковы его последствия?

— Последствия были бы ничтожны, если бы война для меня окончилась прошлым летом, до того, как я имел удовольствие познакомиться с ипритом... В конце концов, я и наглотался-то его не так уж много. И, по сути дела, вовсе не обязательно быть в том состоя-

нии, в котором я нахожусь сейчас. Но слишком очевидно, что действие газа обострилось вследствие состояния правого легкого, которое после ранения потеряло свою нормальную эластичность.

Филип досадливо поморщился.

— Да, — задумчиво продолжал Антуан, — я серьезно пострадал, не следует строить иллюзий. Разумеется, я выкручусь, но для этого потребуется время и время. И... — Приступ кашля прервал его на несколько секунд. — И очень возможно, что я на всю жизнь выбыл из строя.

— Вы обедаете у меня? — вдруг спросил Филип.

— Да, патрон, но, вы знаете, я на диете.

— Я уже распорядился, Дени подаст вам молоко... Итак, раз мы обедаем вместе, спешить некуда. Начинать полагается с начала. Как все это произошло? Я думал, что вы на тихом участке.

Антуан досадливо пожал плечами.

— Это-то и нелепо. В конце октября я мирно работал в Эперне,<sup>1</sup> где мне поручили организовать — перст судьбы! — госпиталь для отравленных газами. Меня поразило, что в ходе последних операций на участке Шмен-де-Дам — мы тогда только что заняли Мальмезон, Парный — среди отравленных газами было большое количество санитаров и носильщиков. Это казалось странным. Я решил проверить, принимаются ли достаточные меры предосторожности против газов в санитарных пунктах и выполняет ли обслуживающий персонал наши указания. Я не поленился и проявил усердие. Корпусной врач был мне немного знаком. Я добился разрешения провести обследование на месте. И, возвращаясь из инспекционной поездки, я и попался... как дурак. Боши устроили сильную газовую атаку как раз в тот момент, когда я ехал обратно с передовых позиций, — первая неудача. Вторая неудача — погода была сырья и теплая, несмотря на то, что дело происходило в октябре. А вы знаете, что сырья погода усиливает действие иприта вследствие образования кислоты.

— Дальше, — сказал Филип. Он уперся локтями в колени, положил подбородок на руки и продолжал внимательно присматриваться к Антуану.

— Я торопился возвратиться на командный пункт дивизии, где оставил свой автомобиль. Мне не хотелось идти ходами сообщения, которые были забиты подразделениями, только что прибывшими на смену, и я решил сократить путь. Было абсолютно темно. Минут двадцать я бродил по окопам, куда уже проник газ. Подробности опускаю...

— Что, у вас маски не было?

— Конечно, была. Но маска чужая, должно быть я ее неправильно надел. Или слишком поздно надел... У меня была только одна мысль — найти свой автомобиль... Когда же, наконец, я добрался до К.П., я немедленно выехал... Гораздо разумнее было бы зайти в дивизионный госпиталь и прополоскать горло содой.

<sup>1</sup> Город в департаменте Марны, к юго-западу от Реймса.

— Конечно, без всякого сомнения.

— Но я и не подозревал, что отравлен. Только через час я почувствовал покалывание в горле и под мышками. Мы вернулись в Эперне среди ночи. Я тотчас же сделал себе смазывание коллагеном и лег спать. Я все думал, что это пустяки. Но оказалось, что бронхиальный ствол задет сильнее, чем я предполагал... Смотрите, как все это нелепо получилось! Я предпринял поездку, чтобы проверить, принимаются ли необходимые меры предосторожности, а сам даже не потрудился соблюсти элементарные правила.

— Н-да, — заметил Филип. И так как ему очень хотелось показать, что он тоже в курсе дела, сказал: — А наутро явления со стороны глаз, пищеварительного аппарата и так далее?

— Ни то, ни другое. Наутро почти ничего. Только легкая эритема под мышками. Накожные явления в довольно доброкачественной форме. Никаких пузырей. Но в бронхах оказались коварные поражения, что открылось только через несколько дней. Остальное вам понятно. Ларинготрахеит усиливается с каждым днем... Острый бронхит с образованием налетов — классические последствия заболевания. И так в течение полутора.

— А голосовые связки?

— В самом плачевном состоянии. Вы же слышите мой голос. А ведь сегодня я еще могу говорить, потому что целый день возился с горлом. Обычно же — полная афония.

— Воспалительное поражение голосовых связок?

— Нет.

— Нервное поражение?

— Тоже нет. Афония вызывается утолщением голосовых связок.

— Очевидно, оно и мешает вибрации. А вы принимали стрихнин?

— До шести и семи миллиграммов в день. Без всякой, впрочем, пользы. Но зато заработал отчаянную бессонницу.

— А вы с какого времени на юге?

— С начала года. Из Эперне меня послали сначала в госпиталь в Монморийон,<sup>1</sup> потом в клинику Мускье около Грасса. Это было в конце декабря. Легкие, казалось, начали зарубцовываться. Но в Мускье у меня обнаружили склероз легких. Одышка очень быстро приняла мучительный характер. Без всякой видимой причины температура вдруг поднималась до тридцати девяти и пяти, до сорока, потом вдруг падала до тридцати семи и пяти. В феврале у меня был сухой плеврит с кровянистой мокротой.

— И температура перестала колебаться?

— Нет, не перестала.

— Чему вы это приписываете?

— Инфекции.

— Скрытой?

<sup>1</sup> Город на западе Франции (департамент Вьенны).

— Или хронической, кто знает.

Их взгляды встретились, в глазах Антуана читался мучительный вопрос. Филип положил руку ему на плечо.

— Нет, нет, Тибо. Если вы думаете, что у вас «то», вы ошибаетесь. Легочный туберкулез, насколько я знаю, никогда в таких случаях не развивается. Вы должны знать это не хуже, чем я. Отравленный ипритом заболевает туберкулезом только в том случае, если у него раньше, до отравления газом, наблюдались симптомы этой болезни. А у вас, к счастью, — добавил он, подымаясь с места, — не было никаких патологических изменений со стороны дыхательного аппарата.

Он успокоительно улыбнулся. Антуан молча наблюдал за ним. Вдруг он поднял на своего учителя взор взволнованный, полный горячей признательности взгляд и тоже улыбнулся.

— Да, я знаю, — сказал он, — и это мое счастье.

— С другой стороны, — продолжал Филип; он как бы думал вслух, — отек легких, который часто бывает у отравленных удушливыми газами, чрезвычайно редко встречается у отравленных ипритом. Это тоже счастье... И, кроме того, легочные последствия, вызванные ипритом, встречаются реже и, по-видимому, менее серьезны, чем у отравленных другими газами. Не так ли? Я читал недавно интересную статью по этому вопросу.

— Ашара? — спросил Антуан и с сомнением покачал головой. — Обычно считается, что иприт, в отличие от удушливых газов, поражает мелкие бронхи чаще, чем альвеолы, и менее резко нарушает газообмен. Но личный мой опыт и мои наблюдения над другими говорят, что это не совсем так. Дело, увы, в том, что легкие, отравленные ипритом, дают всевозможные вторичные заболевания, преимущественно весьма бурные и имеющие тенденцию превращаться в хронические. И я даже довольно часто наблюдал случаи, когда у отравленных ипритом внутриальвеолярный и в то же время пристеночный склероз приводил к блокаде легких.

Оба помолчали.

— А сердце? — спросил Филип.

— Пока еще спокойно. Но надолго ли? Было бы нелепо думать, что сердце может не сдать, если ему в течение долгих месяцев приходится быть центром сопротивления отравленного газами и истощенного организма. Я не уверен даже, что отравление не распространяется на сердечную мышцу и нервные узлы. Последние недели я заметил признаки сердечно-сосудистого расстройства...

— Заметили? Какие же?

— Я не успел еще сделать просвечивание; а аускультация не показывает ничего, по крайней мере так говорят врачи. Но верно ли это?.. Есть и другой способ исследования: пульс и кровяное давление. Когда температура у меня не поднимается выше тридцати восьми и пяти или тридцати девяти, я наблюдал еще на прошлой неделе необычное ускорение пульса, так, примерно,

от ста двадцати до ста тридцати пяти. И я не удивился бы, если бы оказалось, что эта тахикардия есть начало отека легких... А вы?

Филип избежал прямого ответа.

— А почему вы не облегчаете работу сердца повторными кро-  
вососными банками? Или, в случае надобности, не прибегнете к  
небольшим кровопусканиям?

Казалось, Антуан не слыхал этого вопроса. Он внимательно глядел на своего старого учителя. Филип улыбнулся и вытащил из жилетного кармана массивные золотые часы с двойной крышкой, так хорошо знакомые Антуану; подавшись вперед (как будто он просто уступал почти маниакальной привычке, а не настоящему интересу к больному), он нащупал пальцами пульс Антуана.

Прошла томительная минута. Филип сидел молча, не отрывая глаз от стрелки. И вдруг Антуан почувствовал удар в сердце: со-средоточенное, замкнутое лицо Филипа вызвало в нем внезапное воспоминание, очень яркое, но уже давно забытое. Как-то в клинике — это было в самом начале его работы с Филиппом — после консилиума, на котором Филипу пришлось поставить диагноз по поводу одного запутанного случая, он схватил Антуана за руки и в припадке мальчишеской откровенности заявил: «Видите ли, друг мой, врач прежде всего обязан во всех критических случаях уединиться, пораздумать. И для этого существует незаменимое средство — хронометр. Врач должен носить в жилетном кармане красивый и солидный хронометр, величиной по меньшей мере с чайное блюдечко. И тогда он спасен. Пусть его осаждают взволнованные родственники, пусть ему придется оказывать первую помощь пострадавшему на улице, посреди толпы, забрасывающей его вопросами, — если он хочет сосредоточиться, если он хочет, чтобы его оставили в покое, достаточно сделать этот магический жест: демонстративно вытащить из кармана свою луковицу и начать щупать пульс. И сразу же полнейшая тишина, врач один, без посторонних, хотя и окружен людьми. А пока он стоит так, уткнувшись нос в циферблatt, можно спокойно взвесить за и против. Поставить диагноз так же хладнокровно, как у себя в кабинете, когда он, охватив голову руками, уходит в свои мысли. Верьте моему опыту, друг мой: не теряйте времени и купите себе хронометр внушительных размеров!»

Филип не заметил смятения Антуана. Он отнял руку, неторопливо выпрямился.

— Пульс ускоренный, несколько неровный. Несомненно. Несколько... Но хорошего наполнения.

— Да, а в иные дни, особенно к вечеру, наоборот, — слабый, трудно ощущимый. Вот подите-ка! А потом, когда усиливаются легочные явления, опять ускорение. Обычно с перебоями.

— А вы проверяли давление на глаз?

— Это не приводит к заметному замедлению пульса.

Они снова помолчали.

— Сейчас я уже легочный больной, — сказал Антуан с принужденной улыбкой. — А в один прекрасный день стану еще и сердечником...

Филип жестом прервал его.

— Ну, повышенное кровяное давление и тахикардия часто являются самозащитой организма, Тибо. Мне вас нечего учить. В случаях минимальной эмболии мозга — вы это знаете так же хорошо, как и я, — только с помощью повышенного давления и тахикардии сердце успешно борется против закупорки легочных альвеол. Роже это доказал. И после него многие другие.

Антуан ничего не ответил. Жестокий кашель согнул его пополам.

— А какое применялось лечение? — спросил Филип, казалось сам не придавая значения своему вопросу.

Откашлявшись, Антуан устало пожал плечами.

— Всё! Мы перепробовали всё, кроме препаратов опия, конечно. Серу... И потом мышьяк... И опять серу и опять мышьяк...

Голос его звучал слабо, хрипло, прерывисто. Он замолчал. Он обессилел от долгого разговора. Откинувшись всем телом назад и прижавшись затылком к спинке стула, он несколько секунд просидел так, не двигаясь, прикрыв глаза. Когда он поднял веки, то увидел, что Филип смотрит на него пристальным, полным нежности взглядом. Это выражение доброты потрясло Антуана больше, чем если бы он заметил в глазах Филипа тревогу. Антуан пробормотал:

— Вы не ожидали увидеть меня таким вот...

— Совсем напротив, — прервал его Филип и засмеялся. — Я никак не думал, судя по вашему последнему письму, что вы такой молодец. — И вдруг, без всякого перехода, он добавил: — А сейчас послушаем, что у вас там внутри.

Антуан с трудом поднялся. Он снял с себя мундир.

— Сделаем все по форме, — весело сказал Филип. — Ложитесь-ка сюда.

Он показал кушетку, покрытую белой простыней, где обычно выслушивал больных. Антуан послушно лег. Филип опустился на колени возле кушетки и, не говоря ни слова, стал тщательно исследовать Антуана. Потом резким движением поднялся.

— Гм, — сказал он, делая вид, что не замечает тревожного взгляда Антуана. — Ясно... рассеянные свистящие хрипы. Возможен инфильтрат... некоторое полнокровие всей верхушки правого легкого. — Наконец он решился взглянуть на Антуана. — Я не сказал вам ничего нового, не так ли?

— Да, — ответил Антуан. И медленно встал с кушетки.

— Черт возьми! — проговорил Филип, подходя своей развинченной походкой к письменному столу. Он уселся, машинальным жестом вытащил из кармана вечное перо, как будто собирался выписать рецепт. — Эмфизема легких, это бесспорно. Чтобы быть совершенно откровенным, скажу вам, что повышенная чувстви-

тельность слизистых оболочек может сохраниться долго. — Он поиграл венным пером и, приподняв брови, рассеянно огляделся вокруг. — Ну, вот и все, — добавил он, резким движением захлопывая лежавший перед ним телефонный справочник.

Антуан подошел к нему и уперся о край стола. Филип завинтил вечную ручку, спрятал ее в карман, поднял голову и сказал раздельно, выделяя каждое слово:

— Это неприятно, голубчик! Но не более того!

Антуан молча выпрямился и, подойдя к камину, стал надевать перед зеркалом воротничок.

В дверь тихонько постучали два раза.

— Вот и обед готов, — заявил повеселевшим голосом Филип.

Но он продолжал неподвижно сидеть за письменным столом. Антуан опять подошел к нему и оперся руками о стол.

— Я делал все, что только можно было делать, патрон, — проговорил он устало. — Все! Я упорно пробовал все известные мне средства. Я регулярно веду клинические наблюдения над самим собой, как над любым своим пациентом. Я с первого дня систематически все записываю. У меня кучи анализов, рентгеновских снимков. Я целиком поглощен самим собою, избегаю малейшей неосторожности, стараюсь не упустить ни одного шанса. — Он вздохнул. — И все-таки в иные дни трудно сохранить мужество.

— Неправильно! Ведь вы замечаете улучшение?

— В том-то и дело, что я не уверен, что замечаю улучшение! — произнес Антуан.

Эти слова вырвались у него непроизвольно, бессознательно. Он почти выкрикнул их, сам того не замечая. И тут он вдруг почувствовал тревогу, как будто эти слова выдали тайную мысль, которой он никогда не позволял выходить наружу. Капельки пота простирали у него над верхней губой.

Заметил ли Филип это смятение? Понял ли он, как оно tragично? Не потому ли, что он мастерски умел владеть собой, лицо его осталось и в эту минуту таким спокойным, открытым? Нет, трудно было заподозрить патрона в столь утонченном притворстве, — так весело он передергивал плечами, с такой живостью и иронией звучал его фальцет:

— Хотите, я вам открою все без утайки, друг мой? Ну, вот вам: я счастлив, что ваше выздоровление идет столь медленно! — С минуту он упивался удивлением Антуана. — Послушайте-ка. Из шести прежних моих ассистентов, которых я почитал за своих родных детей, трое убиты, двое остались калеками на всю жизнь. Признаюсь, — пусть это эгоистично, — я ничего не имею против того, что мой шестой пока в безопасности, что долгие месяцы ему суждено еще жить под ласковым солнцем юга, в полутора тысячах километрах от фронта! Думайте обо мне все что хотите, — мне вовсе не улыбается мысль, что вы можете выздороветь, пока еще длится этот кошмар. Если бы вы в октябре прошлого года не были отрав-

лены газом, кто знает, смогли ли бы мы сегодня обедать вместе. — Он легко поднялся со стула. — Ну, довольно, пойдемте обедать.

«Он прав, — подумал Антуан, невольно поддаваясь уверенному тону Филипа. — Что бы ни было, организм у меня крепкий...»

На обеденном столе дымилась полная тарелка супа. (Много лет Филип питался только супом и компотом.)

Возле прибора Антуана стоял графин с молоком и чашка, специально для него приготовленные.

— Дени не подогревал молока, но если хотите...

— Нет, благодарю, я пью только холодное, так приятней.

— Без сахара?

Приступ кашля помешал Антуану ответить. Он отрицательно махнул рукой. Филип старался не глядеть в его сторону, решив раз навсегда не замечать этого кашля, говорить с ним о чем угодно, только не о болезни. Задумчиво водя ложкой по тарелке, он ожидал конца приступа. Потом, желая прервать молчание, ставшее тягостным, он начал совершенно естественным тоном:

— А я опять целый день сражался с нашей санитарной комиссией. Трудно представить себе что-нибудь более дикое, чем наши официальные инструкции касательно противотифозных прививок.

Антуан улыбнулся и отхлебнул молока, чтобы прочистить горло.

— Но все-таки вы многое добились, патрон, за эти три года!

— Не без труда, мой друг, уверяю вас.

Он хотел было заговорить на другую тему, но не нашелся и повторил:

— Не без труда! Когда в пятнадцатом году я начал заниматься организацией санитарной службы, вы представить себе не можете, что там делалось!

«Я-то представляю», — подумал Антуан. Но ему не хотелось говорить, и он понимающе улыбнулся.

— Было это как раз в то самое время, — продолжал Филип, — когда раненых эвакуировали еще в обычных поездах, в каких взят войска или снаряжение... а то и просто в вагонах для скота! Я собственными глазами видел несчастных, которые по целым суткам ждали отправления в нетопленых вагонах, потому что их еще не набралось требуемое инструкцией количество. Очень часто их кормили местные жители... и перевязывали их, худо ли, хорошо ли, сердобольные дамы или старые местные аптекари! А когда, наконец, их отправляли, приходилось трястись еще двое-трое суток на соломе. Неудивительно, что в каждом составе мы имели огромный процент больных столбняком. Их распихивали по госпиталям, которые и так были битком набиты, где не хватало буквально всего. Ни антисептических средств, ни бинтов; о резиновых перчатках я уж не говорю!

— Я видел в пяти-шести километрах от передовых позиций, — произнес Антуан с усилием, — хирургические амбулатории, где кипятили инструменты... в старых кастрюлях... в обычновенных печках...

— Это еще, на худой конец, можно объяснить... Трудно было справиться с наплывом. — Филип насмешливо хихикнул. — Спрос превышал предложение... Война не останавливается перед расходами. Она не считается с официальными наметками! Но вот что непростительно, друг мой, — продолжал он уже серьезным тоном, — мобилизация медицинского персонала была организована и проведена преступно. В распоряжении командования с первого дня имелись превосходнейшие кадры резервистов. И что же? Когда меня послали в первый раз в инспекционную поездку, я установил, что такие крупнейшие специалисты, как Дейтч, Алуэн, работали простыми санитарами в госпиталях, которыми руководили врачи двадцати восьми, тридцати лет от роду! Во главе крупнейших хирургических госпиталей стояли невежды, которые в лучшем случае могли вскрыть простой нарыв и которые решали вопросы о серьезнейших хирургических вмешательствах, ампутировали направо и налево; и все это только потому, что у них были четыре галуна на рукаве и они не желали считаться с мнением мобилизованных врачей, работавших под их началом, — будь то крупнейшие хирурги!.. Нам пришлось потратить месяцы и месяцы — моим коллегам и мне, — чтобы добиваться самых неотложных мероприятий. Пришлось буквально все поставить вверх дном, чтобы пересмотреть инструкции и поручить распределение раненых врачам-профессионалам... Чтобы отказались, например, от нелепого порядка загружать сначала наиболее отдаленные госпитали, не считаясь ни с серьезностью ранения, ни с тем, как срочно нужна помощь. Очень часто отправляли в Бордо или Перпиньян раненых в голову, которые, естественно, не доезжали до места назначения, потому что умирали по дороге от гангрины или столбняка! А ведь в девяноста девяти случаях из ста этих несчастных можно было спасти, если бы необходимая операция была произведена на месте!

Вдруг негодование его улеглось, и он улыбнулся:

— А знаете, кто мне много помог в начале моей работы? Вы будете удивлены! Одна из ваших пациенток, друг мой! Да вы ее знаете: мать той девочки, которую мы с вами уложили в гипс и отправили в Берк.

— Госпожа де Батенкур? — смутившись, пробормотал Антуан.

— Ну да! Вы писали мне о ней, помните, в четырнадцатом году?

В самом деле, в первые месяцы войны, когда Антуан получил открытку от Симона, в которой тот извещал, что мисс Мери уехала в Англию, оставив больную девочку одну в Берке, он попросил Филипа заняться Гюгетой. Филип съездил в Берк и решил, что девочке можно без особого риска разрешить вставать с постели.

— Я часто встречался в то время с госпожой де Батенкур. Эта дама знала буквально весь Париж! В двадцать четыре часа она устроила мне аудиенцию, которой я безуспешно добивался в течение полутора месяцев; благодаря ей я смог лично увидеться с министром, поговорить с ним на свободе, выложить ему все мои дела и все, что наболело у меня на сердце... Визит длился почти два часа, мой милый. И это решило все.

Антуан молчал. Он внимательно рассматривал пустую чашку, хотя рассматривать было нечего. Спохватившись, он для виду налил себе немного молока.

— А ваша маленькая протеже стала славной девочкой, — сказал Филип, удивляясь, что Антуан не расспрашивает его о Гюгете. — Я не теряю ее из виду... Она приходит показаться раз в три-четыре месяца...

«Знал ли он о моей связи с Анной?» — подумал Антуан. И заставил себя спросить:

— Она живет в Турени?

— Нет, в Версале, вместе со своим отчимом. Батенкур поселился в Версале, чтобы остаться вблизи Парижа. Его лечит Шатено. Ну и невезучий этот Батенкур!

«Нет, — подумал Антуан. — Если бы он знал, он не сказал бы «невезучий».

— А вы знаете, как он был ранен?

— Да, смутно... Кажется, во время отпуска?

— Он два года провел на фронте, и хоть бы царапина! И потом ночью в Сен-Жюст-ан-Шоссе<sup>1</sup> — он ехал в отпуск — их поезд задержался на запасных путях. И как раз в это время немецкие аэропланы бомбардировали вокзал! Когда его нашли, лицо у него было разбито вдребезги, один глаз потерян, другой под угрозой... Шатено систематически следит за его состоянием. Вы знаете, он почти ослеп...

Антуан вспомнил ясные, честные глаза Симона в тот вечер, когда Батенкур пришел к нему на Университетскую улицу незадолго до мобилизации, после чего Антуан решил порвать с Анной.

— А что... — начал он. Голос его был так слаб, что Филип нагнулся к нему. — А госпожа де Батенкур с ним?

— Да ведь она в Америке!

— Ах, так! — Сам не зная почему, Антуан вдруг почувствовал облегчение.

Филип молча, улыбаясь, пережидал, пока Дени поставит миску с вишневым компотом.

— Да... Эта госпожа де Батенкур... — начал Филип, медленно накладывая себе компот на тарелку и провожая взглядом Дени, выходившего из комнаты, — странное существо! — Он помолчал, держа ложку у рта. — А вы как думаете?

«Знает или нет?» — снова подумал Антуан.

<sup>1</sup> Городок в департаменте Уазы, к северо-западу от Компьена.

Он неопределенно улыбнулся. (В присутствии патрона Тибо терял весь свой апломб и снова становился молодым врачом, застенчивым учеником доктора Филипа.)

— Да, в Америке!.. Последний раз, когда я видел девочку, она мне сказала: «Мама, конечно, поселится в Нью-Йорке; там у нее много друзей». Говорят, что ее послал туда с каким-то поручением один из бесчисленных комитетов французской пропаганды... И что ее поездка совпала с возвращением в Соединенные Штаты некоего американского капитана, который состоял одно время в Париже при посольстве...

«Нет, — решил Антуан. — Не знает».

Филип выплюнул на тарелку косточки, обтер бородку и продолжал:

— По крайней мере так говорит Лебель; он управляет сейчас госпиталем, основанным госпожой де Батенкур в ее имении возле Тура. Говорят, она до сих пор субсидирует госпиталь по-царски... Но Лебелю верить не приходится: утверждают, что и сам он, несмотря на свои седины, был... слишком интимным ее сотрудником... Тогда понятно, почему он бросил все и провел безвыездно в Турине все первую зиму войны... А почему вы больше не пьете?

— Я с трудом выпиваю две чашки, — пробормотал, улыбаясь, Антуан. — Не выношу молока!

Филип не настаивал, сложил салфетку, поднялся с места.

— Пойдемте в кабинет! — Он дружески взял Антуана под руку и, продолжая разговаривать, направился к дверям. — А вы читали, какие условия мира предложили Центральные державы Румынии? Симптоматично, не правда ли? Вот теперь они и с гроюющим. Да, им повезло! Что может принудить их теперь заключить мир?

— Прибытие американских войск!

— Ну, знаете... Если немцы этим летом не одержат решительной победы, — а это маловероятно, хотя и говорят, что они вновь намереваются наступать на Париж, — то в следующем году сумеют противопоставить американским материальным ресурсам и американским солдатам русские материальные ресурсы и русских солдат... Еще один резервуар, фактически неисчерпаемый... К чему, по-вашему, может привести борьба двух противников, примерно равных по силе, если ни тот, ни другой не хотят идти ни на какие компромиссы, и если ни одна сторона не располагает превосходством сил, обеспечивающим победу? Они неизбежно будут противостоять друг другу до полного исчерпывания.

— Значит, вы не надеетесь, что здравый смысл Вильсона может сыграть свою роль?

— Вильсон витает в облаках... И потом, в данный момент я убежден, что ни во Франции, ни в Англии не хотят мира. Я говорю о правителях. В Париже, так же как и в Лондоне, упрямо жаждут победы; всякое пополнение к миру рассматривается чуть ли не как измена. Люди, подобные Бриану, вызывают подозре-

ние. Вильсона ждет та же участь, если только он уже ее не дождался.

— Но ведь к миру можно принудить, — сказал Антуан, вспомнив свой разговор с Рюмелем.

— Я не верю, чтобы Германия была когда-нибудь в состоянии принудить нас к этому. Нет, повторяю вам: я верю в относительное равенство наличных сил. И не вижу никакого иного исхода, кроме всеобщего истощения этих сил.

Филип сел на свое обычное место — за письменный стол, и Антуан, чувствуя страшную усталость, не заставил себя просить и по первому жесту Филипа растянулся на кушетке.

— Мы, может быть, доживем и увидим конец войны... Но чего мы не увидим никогда — это мира. Я подразумеваю: равновесия Европы, мирной Европы. — Он слегка смущился и быстро добавил: — Я говорю «мы», хотя вы многое можете меня, ибо, на мой взгляд, чтобы восстановить это равновесие, нужны поколения и поколения! — Он снова замолчал, украдкой взглянул на Антуана, почесал бородку и, пожав плечами, начал с грустью: — Но возможно ли равновесие, мирное равновесие в современных условиях? Демократический идеал потускнел. Самба прав: демократии не созданы для войны; они тают от нее, как воск от огня. Чем дольше будет длиться война, тем меньше у Европы шансов быть демократической. Кто поручится, что она не подпадет под тираническую власть какого-нибудь Клеманса или Ллойд-Джорджа.<sup>1</sup> И народы позволят это: они уже привыкли к режиму осадного положения. Они отрекутся мало-помалу от всего, вплоть до республиканского стремления к народоправству. Посмотрите сами, что происходит сейчас во Франции: контроль над распределением продовольствия, ограничение потребления, вмешательство государства во все области жизни, в индустрию и торговлю, в частные сделки — вспомните мораторий, в духовную жизнь — вспомните цензуру! Мы приемлем все это в качестве чрезвычайных мер. Стаемся убедить себя, что такие меры необходимы при существующем положении вещей. На самом же деле это предвестники всеобщего порабощения. Попробуйте сбросить ярмо, когда оно сидит на вас как влитое!

— Вы помните Штудлера? Халифа?.. Моего сотрудника?

— Еврей с ассирийской бородой и глазами гипнотизера?

— Да... Он был ранен и теперь на Салоникском фронте... Он шлет мне время от времени свои пророчества. Это в его духе... И вот Штудлер утверждает, что война неизбежно приведет к революции. Сначала у побежденных, потом у победителей. Революционные взрывы или медленные революции, но революция повсюду...

— Ну-да, — уклончиво протянул Филип.

<sup>1</sup> Ллойд Джордж, Дэвид (1863—1945) — премьер-министр Великобритании в 1916—1922 гг.

— Он предрекает крах современного общества, падение капитализма! Он также считает, что война будет длиться до полного исчезновения Европы. Но когда все исчезнет, когда все будет сровнено с землей, по его словам, зародится новый мир. На руинах нашей цивилизации, говорит он, возникнет некая всемирная ассоциация народов, разовьется в масштабе всей планеты великий коллективный строй на совершенно новых основах.

Антуан с трудом закончил фразу, напрягая голосовые связки. И замолк, согнувшись в приступе кашля.

Филип следил за ним краешком глаза. Казалось, он не замечает ничего.

— Все может быть, — ответил он, и глаза у него повеселели. Он любил дать волю воображению. — Почему бы и нет?.. Вполне возможно, что вера людей восемьдесят девятого года,<sup>1</sup> в силу коей мы, вопреки данным биологии, утверждали, что все люди равны между собой от природы и должны быть равны перед законом, — вполне возможно, что эта вера, под властью которой мы прожили столетие, утратит свою силу и уступит место какой-нибудь другой прекрасной чепухе несколько в ином роде. Будет время, и новая идеология, мать новых мыслей, чувств и поступков, вскоре смит человечество, даст ему на некоторое время опьянение... До новой перемены...

Филип помолчал, пережидая, когда кончится приступ кашля.

— Да, может быть, — продолжал он насмешливо, — но пусть этими видениями тешится ваш мессия Штудлер... Будущее, которое представляется мне, не за горами, и оно совсем иное. Я думаю, что государства не собираются отказываться от той абсолютной власти, которая была им дана войной. И боюсь поэтому, что эра демократических свобод отцвела надолго. Это, конечно, огорчительно для людей моего поколения. Мы свято верили, что эти свободы завоеваны прочно; что никогда больше они не подвергнутся пересмотру. Но, оказалось, все всегда можно пересмотреть... И кто знает, — возможно, это были просто мечты. Мечты, которые в конце девятнадцатого века считались нерушимой реальностью по той простой причине, что людям тогдашнего поколения посчастливилось жить в исключительно спокойные, исключительно счастливые времена...

Голос у Филипа был резкий, гнусавый, и говорил он так, будто был один в комнате; он сидел, положив локти на ручки кресла.

— Мы тогда верили, что человечество созрело, что оно идет к новой эпохе, где мудрость, чувство меры, терпимость будут, наконец, править миром... Где разум и дух наконец-то станут маяками человеческого общества. Кто знает, не покажемся ли мы будущим историкам просто наивными людьми, невеждами, которые строили трогательные иллюзии насчет человека и его способности восприни-

<sup>1</sup> То есть тех, кто осуществил французскую буржуазную революцию 1789—1794 гг.

мать цивилизацию? Быть может, мы проглядели какие-то основные свойства человека? Быть может, к примеру, инстинкт разрушения, потребность время от времени стирать с лица земли все то, что мы сами с таким мучительным трудом возвели, — быть может, это и есть один из важнейших законов, который ограничивает созидаательные возможности человеческой природы? Один из тех таинственных и обманчивых законов, которые мудрец должен понять и принять?.. Видите, как далеко отошли мы от предсказаний вашего Халифа!.. — закончил он, насмешливо улыбаясь. И так как Антуан снова закашлялся, спросил: — Может быть, вы выпьете что-нибудь? Глоток воды? Кодеину? Нет?

Антуан отрицательно махнул рукой. Минуты через две-три (Филип в это время молча шагал по комнате) он почувствовал себя лучше. Он выпрямился, отер слезы, катившиеся по щекам, и попытался улыбнуться. Лицо его искалось, побагровело, на лбу проступил пот.

— Мне пора... патрон, — пробормотал он; горло у него горело огнем. — Простите, — он снова улыбнулся, с усилием выпрямился и встал. — Все-таки я в скверном состоянии, вы теперь сами видите!

Филип, казалось, не рассыпал его слов.

— Много говорят, — произнес он, — много пророчествуют... Я вот смеюсь над вашим Халифом, а сам поступаю точно так же! Все это нелепо. Все, что мы видели за эти четыре года, — все нелепо. И все, о чем мы пророчествуем, исходя из этих нелепостей, — тоже нелепо. Можно критиковать, да. Можно даже осуждать то, что происходит; это еще не так нелепо. Но предсказывать то, что произойдет!.. Видите ли, голубчик, всегда возвращаешься к исходной позиции: единственно правильной, я сказал бы, научной позиции... Впрочем, будем скромнее: единственная разумная позиция, единственная, которая не подведет, это поиски ошибок, а не поиски истины... Распознать то, что должно, хоть и трудно, но мысленно иной раз. Вот и все, буквально все, что мы можем делать!.. А остальное — чисто теоретические рассуждения!

Филип заметил, что Антуан поднялся и слушает его рассеянно. Он тоже встал.

— Когда мы увидимся с вами? Когда вы уезжаете?

— Завтра, в восемь утра.

Филип неприметно вздрогнул. Он подождал немного, боясь, что голос выдаст его.

— А-а!

И пошел за Антуаном в переднюю.

Он смотрел на согнутую спину Антуана, на его худую, с выступающими жилами шею, которую слишком свободно облегал воротник мундира. Он боялся, что выдаст себя, боялся своего молчания, боялся своих мыслей. И быстро заговорил:

— По крайней мере вы хоть довольны этой клиникой? Хорошие ли там врачи? Может быть, вам лучше переменить клинику?

— Зимой там великолепно, — ответил Антуан, направляясь к дверям. — Но вот тамошнего лета я боюсь. Даже хочу поехать куда-нибудь еще... Хорошо бы в деревню... Подышать чистым воздухом; только не в сырое место. Может быть, сосновый лес... Аркашон? Нет, слишком жарко. Тогда куда же? На курорт в Пиренеи? В Котре? Люшон?<sup>1</sup>

Он вошел в переднюю и поднял уже руку, чтобы взять с вешалки свое кепи, но прежде чем спросить: «А как ваше мнение, патрон?», он обернулся. И вот, на этом лице, на котором за десять лет совместной работы он научился подмечать каждое выражение, в маленьких серых глазах, мигающих за стеклами пенсне, он прочел невольное признание: бесконечную жалость. Это был приговор. «К чему? — говорило это лицо, этот взгляд. — При чем здесь лето? Тут ли, там ли... Тебе ничто не поможет, ты погиб!»

«Господи, — подумал Антуан, сраженный внезапностью удара. — Ведь я, я тоже это знал. Погиб».

— Да, Котре, — быстро пробормотал Филип. Он овладел собой. — А почему бы не Турень, друг мой? Турень... или Анжу...<sup>2</sup>

Антуан упорно глядел на паркет. Он не смел поднять глаза... Как фальшиво звучал голос патрона... И как это было больно!..

Дрожащей рукой Антуан надел кепи и пошел к входным дверям, не подымая головы. Ему хотелось одного — прервать тягостную сцену, оставаться наедине со своим ужасом.

— Турень... или Анжу... — повторял бессмысленно Филип. — Я наведу справки... Я вам напишу.

Не подымая глаз, низко надвинув на лоб козырек кепи, который скрывал исказившиеся черты его лица, Антуан машинальным жестом протянул Филипу руку. Филип схватил ее обеими руками, губы его произвели какой-то чмокающий звук. Антуан вырвал руку, открыл дверь и выбежал на лестницу.

— Да... А почему бы не Анжу? — бормотал Филип, перегибаясь через перила.

#### XIV

Над городом нависал мрак. Только кое-где замаскированные фонари отбрасывали на тротуар голубоватые круги света. Мало прохожих. Редкие автомобили осторожно скользили по улицам, предупреждая о своем приближении настойчивыми гудками.

Спотыкаясь, сам не зная, куда идет, Антуан пересек бульвар Мальзэрб и вышел на улицу Буасси д'Англа. Он шагал, равнодушный ко всему на свете, затылок давила страшная тяжесть, дыхание

<sup>1</sup> Сокращенное Баньер-де-Люшон — горный курорт в Пиренеях (департамент Верхней Гаронны).

<sup>2</sup> Область дореволюционной Франции, имевшая центром город Анже (нынешний департамент Мена и Луары).

прерывалось, в голове была странная, гулкая пустота; он шел так близко к домам, что иногда задевал локтем стену. Он не думал ни о чем. Не страдал больше.

Он очутился под деревьями Елисейских полей. Сквозь листву раскрывалась еле освещенная, но отчетливо видная вочных отблесках прекрасного весеннего неба площадь Согласия; ее бесшумно бороздили автомобили, похожие на зверей с фосфоресцирующими глазами; они возникали из темноты, и снова их поглощал мрак. Он заметил скамейку. Но сел не сразу, а по привычке подумал: «Не простудиться бы!»

И вдруг мелькнула другая мысль: «Теперь уж все равно!» Уничтожающий приговор, который он прочел в глазах Филипа, жил в его сознании, и не только в сознании, но и во всем теле, подобный огромному паразитическому новообразованию, страшной опухоли, которая разрослась и грозит поглотить человека.

Скорчившись на жесткой скамейке, крепко сжав на груди руки, чтобы задушить то чужое, что уже вторглось в него, уже сидело во всех побрах и подступало к горлу, — он мысленно вновь переживал весь сегодняшний вечер. Он видел Филипа — вот он сидит верхом на стуле: «Начинать полагается с начала... Ваше первое ранение? Последствия его?» И он вспоминал слово за словом свои ответы. Но сейчас, когда эти слова вновь зазвучали в его ушах, они постепенно утрачивали сходство с тем, что он говорил Филипу. Впервые с такой непогрешимой точностью и ясностью анализировал он свой случай в его истинном свете. Он углубился в описание неумолимо ясной картины своего недуга: припадки, следующие один за другим; моменты улучшения, все более и более краткие, все более сильные с каждым разом возвраты болезни. Ему стало ясным, очевидным постепенное ухудшение, беспрерывное, непоправимое. И теперь, когда он вспоминал расстроенное лицо Филипа, ему казалось, что на этом таком знакомом и близком лице читалась тревога, которая нарастала с каждой секундой и от которой ничто не могло укрыться, по мере того как созревал роковой диагноз. Тяжело дыша, чувствуя боль в легких, Антуан вытащил из кармана носовой платок и вытер проступивший на лице пот.

Какой-то протяжный звук, раздавшийся вдалеке, какое-то глухое мычание, которому он сначала не придал значения, нарушило безмолвие ночи.

Он вспомнил, как поднялся после осмотра с кушетки, как с трудом выпрямился и, пожав плечами, произнес с деланной покорностью: «Вы сами видите, патрон, нет ни малейшей надежды!» И Филип, не отвечая, опустил голову.

Он порывисто вскочил со скамейки, чтобы разом освободиться от душившей его тоски. И пока он стоял неподвижно, в оцепенении, успокаительная мысль — будто из бездны повеяло свежее дыхание — вдруг пришла ему в голову: «Мы, врачи, всегда можем прибегнуть к последнему средству, можем не дожидаться... не страдать...»

Ему было трудно держаться на ногах. Он снова сел.

Две тени, две женские фигуры, согнувшись, выбежали из-под деревьев. И почти тотчас же завыли все до единой сирены. Редкие светящиеся точки, слабо трепетавшие в углах широкой площади, вдруг разом потухли.

«Только этого недоставало», — подумал Антуан, прислушиваясь. Отдаленное громыхание потрясло землю.

Позади него в аллеях слышался торопливый топот ног, из ночной тьмы смутно доносились встревоженные голоса, люди мчались кучками и пропадали в тени. По авеню Габриэль, тревожно гудя, проносились автомобили с приглушенными фарами. Отряд полицейских пробежал мимо. Антуан остался сидеть, ссутулясь, глядя перед собой ничего не видящим взором, далекий от всех человеческих дел.

Много времени прошло, прежде чем он овладел собой. Взрывы, приглушенные расстоянием, пушечные выстрелы вывели его из оцепенения.

«Откуда стреляют? С Мон Валерьен?»<sup>1</sup> — подумалось ему.

Он вспомнил вдруг слова Рюмеля: бомбоубежище в морском министерстве.

Вдали глухо лаяли пушки. Он поднялся и, подойдя к краю тротуара, решил перейти площадь. Над Парижем вдруг ожило великолепное небо. Вспыхнувшие во всех точках горизонта пучки света ползли по ночному своду, молочно-белые полосы то расцеплялись, то скрещивались, ощупывая, как глазами, густую россыпь звезд; грозные, быстрые, они вдруг останавливались, как бы в нерешительности, выслеживая подозрительную точку, потом скользили снова, возобновляя свои розыски.

Он не решался ступить на мостовую. Он неподвижно стоял на краю тротуара и глядел, задрав голову, в небо, пока не заломило шею. «Лечь, — думал он, — закрыть глаза... Принять снотворное... Уснуть...» Но он не двигался, парализованный непонятной усталостью. «Лучше вернуться, — подумал он. — Попробовать найти такси!» Но площадь была пустынна, темна, огромна. Она вырисовывалась только мгновениями. Только по временам, под ломающимся светом прожекторов, она выступала из полумрака, и тогда были видны балюстрады, бледные статуи, обелиск, фонтаны и мрачные фонарные столбы — вся площадь целиком, как во сне: окаменевший, заколдованный город, обломок исчезнувшей цивилизации, мертвый город, долгие годы погребенный под песками.

Антуан усилием воли поборол оцепенение и пошел как лунатик через этот город мертвых. Он шел прямо на обелиск, чтобы сократить путь и выйти к Тюильри и набережным. Переход по этому лунному полю под опрокинутым небом показался ему нескончаемым. Мимо него беспорядочно пронеслась группа бельгийских сол-

<sup>1</sup> Холм на северо-западной окраине Парижа, на котором расположен один из прикрывающих город фортов.

дат. Потом его обогнала чета старииков. Они бежали, неловко поддерживая друг друга, их несло, как щепки в водовороте. Старик крикнул: «Прячьтесь в метро!» И только когда они уже исчезли в темноте, Антуан ответил что-то.

Воздух гудел сотнями невидимых моторов, шум которых сливался в единую долгую металлическую дрожь. На востоке, на севере стрельба стала яростной; кольцо противовоздушной обороны не переставая выплевывало снаряды; и каждую минуту новая батарея вступала в действие, все ближе и ближе. Скользящий свет прожекторов мешал разглядеть, где происходят взрывы. В промежутках между выстрелами слышалась трескотня пулеметов.

«Возле Королевского моста», — подумал он машинально.

Антуан пошел по набережной, вдоль парапета. Ни автомобилей. Ни фонарей. Ни одного человеческого существа. Под этим обезумевшим небом — необитаемая земля. Он был наедине с этой рекой, которая текла, поблескивая, широкая и спокойная, как самая обыкновенная деревенская речка в лунную ночь.

Он остановился на минуту и подумал: «Я ждал этого, я отлично знал, что безнадежен...» И машинально пошел дальше.

Гул нарастал столь стремительно, что было немыслимо определить характер звуков. Но вдруг глухой взрыв вырвался из общего грохота. А за ним еще и еще. «Бомбы, — подумал Антуан. — Они прорвались». Где-то очень далеко фабричные трубы вдруг четко обозначились на розовом небе, словно освещенном бенгальским огнем. Он повернулся. Новые вспышки пожаров, то тут, то там — в Левалуа, кажется, в Пюто. «Повсюду горит». Он забыл о своей болезни. Перед лицом этой невидимой, неясной угрозы, которая нависала надо всем, как слепой приговор разгневанного божества, неестественное возбуждение подстегивало его, гневное опьянение придавало ему силы. Он ускорил шаги, дошел до моста, пересек Сену и погрузился во тьму улицы Бак. Не заметив мусорного ящика, он споткнулся и, чтобы не упасть, сделал резкое движение, которое отозвалось в бронхах мучительной болью. Затем пошел по мостовой, определяя направление по светящейся просеке, проложенной в небе прожекторами. Позади послышался какой-то гул. Антуан едва успел взойти на тротуар. Две странные машины с приглушенными фарами, сплошь металлические, блестящим вихрем промчались мимо, непрестанно гудя; сзади следовал автомобиль с флагжком на радиаторе.

— Пожарные, — произнес кто-то возле Антуана.

Какой-то прохожий стоял, прижавшись к входной двери дома. Через каждые пять секунд он вытягивал шею и высовывал голову, словно человек, который пережидает ливень.

Не ответив ни слова, Антуан пошел дальше. Он снова почувствовал усталость. Шел он тяжело, таща за собой страшную, неотвязную мысль, как тащит бечевщик тяжело груженную баржу. «Я это знал... Я это знал уже давно». В его отчаянии не было ничего неожиданного: он не был сражен внезапным ударом, он просто

согнулся под бременем узанного. Жестокое открытие нашло в нем уже заранее приготовленное место. То, что он прочел во взгляде Филипа, лишь сняло запрет, лишь высвобождало совершенно ясную мысль, давно и глубоко похороненную в сумерках подсознательного.

На углу Университетской улицы, в нескольких шагах от дома, его охватил страх — панический страх перед одиночеством, которое ждет его там, наверху, в пустых комнатах. Он остановился, готовый броситься обратно. Машинально подняв глаза к небу, по которому ползли полосы света, он старался вспомнить хоть одного человека, близле которого можно было бы отдохнуть, прочесть сочувствие в его взгляде.

— Никого, — пробормотал он.

И, прижавшись к стене, оглушенный заградительным огнем, гудением аэропланов, разрывами, которые глухо отдавались в голове, Антуан думал об этой непонятной вещи: нет друга! Он был всегда очень общителен, любезен; к нему были привязаны все его больные, к нему прислушивались все его товарищи, его уважали учителя, он был страстно любим два-три раза в жизни, — но у него не было ни одного друга! У него никогда не было друга!.. Даже Жак... «Жак умер прежде, чем я успел стать его другом...»

И вдруг он подумал о Рашили. Как было бы хорошо этим вечером укрыться в ее объятиях, услышать вновь ее ласкающий голос, теплый шепот: «Мой мальчик...» Рашиль! Где она? Что с ней стало? Ее ожерелье там, наверху... Ему захотелось взять в руки этот обломок своего прошлого, медленно пропускать между пальцами зерна янтаря, которые теплели быстро, как живая плоть, вновь услышать запах, возвращавший ему близость Рашили.

Он с трудом отошел от стены и, слегка шатаясь, сделал несколько шагов, которые отделяли его от дверей дома.

## XV

Мезон, 16 мая 1918 года

Снаряд, который раздробил мне бедро, сделал меня бесполым. Я никогда не решился бы вам сказать это в личной беседе. Хотя вы, может быть, догадались, ведь вы врач. Когда мы говорили о Жаке и когда я вам сказал, что завидую его судьбе, вы как-то странно посмотрели на меня.

Разорвите это письмо, я не хочу, чтобы об этом кто-нибудь знал, не хочу, чтобы меня жалели. Я уцелел, государство дает мне возможность не зависеть ни от кого материально, многие мне завидуют, и, вероятно, они правы. Ну что ж, пока жива моя мать — не стану; но если в один прекрасный день я предпочту исчезнуть с лица земли, вы один будете знать причину этого.

Д. Ф.

Мезон-Лафит, 23 мая

Дорогой Антуан!

Это не упрек, но мы все-таки немножко беспокоимся, — ведь вы обещали нам писать, а прошла целая неделя, и от вас ни слова; может быть долгая поездка утомила вас сильнее, чем мы предполагали?

Мне хочется вам сказать, какой радостью было для меня ваше посещение, но я не умею говорить о таких вещах: никто не догадывается, что я чувствую, но мне кажется, что после вашего отъезда я стала еще более одинокой.

Ваша Женни

Мезон-Лафит, 8 июня 1918 года

Дорогой Антуан!

Время идет, вот уже три недели, как вы уехали из Мезон, и по-прежнему от вас ничего, ни строчки. Я начинаю серьезно беспокоиться, я не могу объяснить ваше молчание иначе, как состоянием вашего здоровья. Умоляю вас, скажите мне всю правду.

У малыша была несколько дней высокая температура из-за железок, теперь ему лучше, но я еще не выпускаю его из комнаты, что несколько осложняет нашу жизнь. Представьте себе, нам всем кажется, что он вырос за ту неделю, что был в постели, хотя, конечно, это невозможно, правда? Мне также кажется, что он сильно развелся за время недолгой болезни. Он без конца сочиняет всякие истории к картинкам в книгах и к рисункам, которые делает для него Даниэль. Не смейтесь надо мной: я считаю, что он необыкновенно наблюдателен для своих лет, и думаю — он будет очень умным.

Больше у нас нет никаких новостей. В госпитале получен приказ эвакуировать всех, кого только можно, из выздоравливающих, чтобы освободить место, и сейчас приходится выписывать несчастных, которые рассчитывали побывать здесь еще десять — пятнадцать дней. Каждый день к нам прибывают новые больные, и мама сняла у соседей — англичан — небольшую виллу, всю обвитую глициниями. Сейчас она пустует, но там можно поставить еще коек двадцать, если не больше. Николь получила длинное письмо от своего мужа, его автоотряд переведен из Шампани и направляется теперь в Бельфор. Он пишет, что в Шампани ужасные потери. Доколе же? Доколе же будет длиться этот кошмар? Наши мезонцы, которые каждый день ездят в Париж, говорят, что бомбардировки уже вызвали деморализацию населения.

Дорогой Антуан, если даже ваше состояние ухудшилось, скажите мне всю правду, не оставляйте нас надолго в неизвестности.

Ваша Женни

Грасс, 11.VI.18.

Здоровье посредственно, особого ухудшения нет. Напишу через несколько дней. Привет.

Тибо

Мускье, 18 июня 1918 г.

Наконец я решился вам написать, дорогая Женни. Вы были совершенно правы, — это долгая поездка утомила меня. После моего приезда было довольно серьезное обострение, с резкими колебаниями температуры, и пришлось слечь в постель. Новый способ лечения, энергичный уход, кажется, еще раз приостановили развитие болезни. Вот уже шесть дней, как я встал с постели и понемножку начинаю вести прежний образ жизни.

Однако не это было причиной моего молчания. Вы просите, чтобы я сказал вам правду. Вот она. Со мной случилась ужасная вещь: я узнал, я понял, что обречен. Бесповоротно. Это продлится, быть может, еще несколько месяцев. Но что бы то ни было — я не выздоровею.

Только тот, кто сам прошел через это, может понять. Перед лицом такого открытия рушатся все точки опоры.

Простите, что я говорю вам это без обиняков. Тому, кто знает, что он скоро умрет, все становится таким безразличным, таким далеким. Напишу вам еще раз. А сегодня больше не могу.

Привет.

Антуан

Прошу вас никому не говорить о том, что я вам сообщил.

Мускье, 22 июня 1918 г.

Нет, дорогая Женни, не против ложных страхов, как вы думаете (или делаете вид, что думаете), я борюсь. У меня, должно быть, не хватило мужества, и я не написал вам всего. Сегодня попробую написать по возможности подробно.

Передо мной определенная реальность. Уверенность. Она обрушилась на меня в тот день, который я провел в Париже, во время разговора с моим старым учителем, доктором Филиппом. В первый раз в жизни, очевидно благодаря присутствию Филиппа, я сумел оторваться от себя самого и смог вынести объективное, ясное суждение о своей болезни, поставить диагноз, как подобает врачу. Правда предстала передо мной внезапно, молниеносно.

Во время поездки у меня было достаточно времени подумать об этом. У меня под рукой мои каждодневные записи, которые я веду с первой недели болезни. Поэтому я могу проследить день за днем, от припадка к припадку, непрерывное и неуклонное ухудшение. Со мной также все бумаги, я всю зиму собирал французскую и

английскую медицинскую литературу, клинические отчеты, рефераты, напечатанные в специальных журналах, о лечении отравленных газами. Все это, известное мне уже давно, предстало теперь предо мной в новом свете. И все подтверждает мою уверенность. Возвратившись сюда, я обсудил мой случай с лечащими меня врачами. Уж не как больной, который надеется на выздоровление и без разбора принимает на веру все, что подкрепляет его надежды, но как опытный врач, которого больше не обманет никакая ложь во спасение. Я припер своих коллег к стене, и их уклончивые жесты, многозначительные умолчания, полупризнания сказали мне все.

Нынешняя уверенность поконится на неоспоримой основе. В течение десяти месяцев непрерывно шел процесс интоксикации, разрушения, и у меня нет никакой надежды, в буквальном смысле слова — никакой, выздороветь, ни даже — жить в хроническом, стабильном состоянии, в состоянии калеки. Да, я, как камень, пущенный с горы, осужден непрерывно катиться вниз, и с каждой минутой все быстрее и быстрее. Как мог я обманываться так долго? Врач — и так заблуждаться? Просто смешно! Не знаю сроков, это зависит от будущих неизбежных припадков, от их силы и от продолжительности периодов улучшения. Случайные рецидивы, временные успехи лечения решат, прятану ли я два месяца или — крайний срок — год. Но гибель неизбежна, и она близка. В иных случаях бывает то, что вы называете «чудесами». Но в моем — нет. Современное состояние науки не оставляет мне никаких надежд. Верьте, я пишу вам это не как больной, который твердит о неизбежности худшего исхода, а сам с надеждой ловит любой жест возражения, но как врач, во всеоружии клинических данных, перед лицом смертельного недуга, окончательно установленного. И если я так спокойно пишу вам об этом, то...

23 июня. Вновь берусь за письмо. Вчера начал его и не окончил. Пока я еще недостаточно владею собой, чтобы выдержать такое долгое напряжение. И сейчас вот не могу вспомнить, что хотел сказать вам. Я написал: «спокойно»... К этому относительному спокойствию перед неизбежным — спокойствию, увы, очень непрочному — я пришел через страшную внутреннюю революцию.

Долгими утрами, нескончаемыми бессонными ночами я пребывал на дне бездны. Адские пытки. До сих пор не могу еще думать о них без леденящего холода в сердце, без внутренней дрожи. Трудно вообразить себе это. Как только удается устоять человеческому разуму? И какими путями переходишь от этого пароксизма отчаяния к своего рода приятию? Не берусь объяснить. Должно быть, очевидность факта имеет над рационалистически настроенным умом неограниченную власть. Должно быть также, человеческая природа наделена необычайной способностью к приспособлению, раз мы можем приучить себя даже к мысли, что жизнь будет отнята раньше, чем успел ее прожить, что приходится исчезнуть, не успев претворить в реальность те огромные возможности, кото-

рые, казалось, были заложены в тебе. Впрочем, мне трудно сейчас восстановить этапы этого превращения. Оно длилось долгое время. Приступы острого отчаяния, естественно, сменялись моментами прострации, иначе их просто нельзя было бы вынести; в течение многих недель физическая боль и мучительное лечение были единственной сменой тому, другому, настоящему мучению. Мало-помалу тиски разжались. Ни стоицизма, ни героизма, ничего похожего на покорность судьбе. Скорее какое-то притупление чувствительности, приводящее к состоянию наименьшего сопротивления, и начинающееся равнодушие, вернее — оцепенение. Разум здесь ни при чем. Воля — тоже. Волю я стал упражнять только несколько дней тому назад, пытаясь продлить состояние апатии. Стараюсь постепенно возвратиться к жизни. Восстанавливаю связь с окружающим меня миром. Я теперь почти не лежу, чтобы поменьше видеть свою постель. Сегодня я смотрел, как играли в бридж, и сегодня вам пишу без особого напряжения. Даже с каким-то новым для меня странным удовольствием. Дописываю это письмо в саду, в тени кипарисовой аллеи; санитары по случаю воскресенья играют в кегли. Я думал сначала, что их общество, их споры, смех будут меня раздражать. Но я захотел остаться и остался. Вы видите, что в какой-то мере спокойствие духа восстанавливается.

Все-таки устал от всего этого. Напишу вам снова. В той мере, в какой мой разум способен еще интересоваться другими, я не думаю ни о ком, кроме вас и вашего ребенка.

Антуан

Мускье, 28 июня

Несколько раз перечел сегодня утром ваше письмо, дорогая Женни. Оно не только просто и прекрасно. Оно именно такое, которого я мог желать. Такое, которого я хотел от вас, такое, которое, я знал, вы напишете мне. Я дождался ночи, полной тишины, и пишу вам; дождался часа, когда лечебные процедуры закончены, когда дежурный санитар, обходящий палаты, ушел, когда в перспективе только бессонница и призраки... Благодаря вам я чувствую в себе... чуть было не написал: «больше мужества». Но дело не в мужестве, и не мужество мне нужно; возможно, мне просто нужно чье-нибудь присутствие, чтобы чувствовать себя менее одиноким, менее с глазу на глаз с тем, что может продлиться еще месяцы и месяцы. И, верите ли, я не хочу, чтобы эти месяцы прошли скорее, чем им положено. Отсрочка, от которой я не желаю отказываться! Я сам удивляюсь себе. Вы же знаете, что в моей власти положить конец. Но это средство я берегу напоследок. Сейчас еще — нет. Я принимаю отсрочку, я цепляюсь за нее. Странно, не правда ли? Когда человек так страстно влюблен в жизнь, должно быть не так-то уж легко от нее оторваться; и особенно когда чувствуешь, что она уходит от тебя. В деревне, сраженном молнией,

еще многие весны продолжают подыматься соки, и корни никак не хотят умереть.

Однако, Женни, в вашем прекрасном письме не хватает одного: вы ничего не пишете о мальчике. Только раз вы написали о нем — в предыдущем вашем письме. Когда я его получил, я был еще в таком состоянии отрешенности, отхода от всего, что целый день, а может быть и больше, не распечатывал конверта. В конце концов, я взял его в руки, прочел строки, в которых вы пишете о Жан-Поле, и впервые на какое-то мгновение высвободился из-под власти навязчивой мысли, вышел из заколдованных кругов, перенес свои интересы на кого-то другого, снова стал воспринимать окружающий мир. И с тех пор я часто возвращаюсь мыслью к мальчику. В Мезон я видел его, прикасался к нему, слышал его смех, до сих пор я чувствую под пальцами, сейчас еще, как напрягалось его маленькое тельце; и когда я начинаю думать о нем, он сразу же встает передо мной. А вокруг него сразу же кристаллизуются мысли о будущем. Даже осужденный, даже тот, кого у порога ждет смерть, и тот жадно строит планы на будущее, надеется! Я начинаю думать: вот этот мальчик живет, входит в жизнь, целая жизнь перед ним; и передо мной открываются просветы, которые вообще-то мне отныне заказаны. Мечты больного, быть может. Что же! Теперь меньше, чем прежде, я боюсь растрогаться. (Эта душевная слабость, конечно, тоже следствие болезни!) Я так мало сплю. И не хочу пока еще притрагиваться к снотворному. Очень скоро мне придется слишком часто прибегать к нему.

Я методически продолжаю свои попытки снова войти в жизнь. Упражнения воли, которые благотворны уже сами по себе. Я снова начал читать газеты. Война, речь фон Кюльмана<sup>1</sup> в рейхстаге. Он очень справедливо сказал, что никогда мир не установится, пока всякое предложение будет заранее считаться маневром, попыткой разложить противника. Союзная пресса снова пытается ввести в обман общественное мнение. Но эта речь вовсе не «агрессивна», нисколько, скорее даже умиротворяющая и многозначительная.

(Написал это не без некоторого кокетства. Я по-прежнему одержим войной, это чувство не угасло во мне, и я думаю, что оно будет жить во мне до конца дней моих. Но сейчас, тем не менее, я несколько насилию себя.)

Кончая. От этой болтовни мне легче, скоро я снова напишу вам. Мы раньше плохо знали друг друга, Женни, но ваше письмо дало мне огромную теплоту, и я понял, что во всем мире у меня нет ни одного друга, кроме вас.

Антуан

<sup>1</sup> 24 июня 1918 г. Рихард Кюльман (1873—1948), министр иностранных дел Германии, заявил о том, что война не может быть выиграна с помощью одних военных средств. По требованию генералитета, за это заявление он должен был уйти в отставку.

Мускье, 30 июня

Вы удивитесь сейчас, дорогая Женни. Знаете, чем я занимался вчера весь вечер? Подводил счета, разбирал бумаги, писал деловые письма. Уже несколько дней я собирался это сделать. Мне не терпелось уладить свои денежные дела. Сознавать, что после меня все останется в порядке. Скоро я уже не смогу сделать нужного усилия. Итак, воспользоваться моментом, когда эти вопросы еще представляют для меня интерес...

Простите за тон письма. Я должен ввести опекуншу Жан-Поля в курс моих дел, поскольку к нему перейдет все, что я имею.

Это, конечно, не бог весть что. От ценных бумаг, доставшихся мне после отца, останется очень немного! Я здорово порастяг капитал, когда оборудовал себе в Париже дом. И я неосмотрительно поместил остальное в русские бумаги, которые, очевидно, пропали безвозвратно. Дом на Университетской улице и вилла в Мезон-Лафите, к счастью, уцелели.

Дом можно сдать или продать. Та сумма, которая будет получена, позволит вам кое-как перебиться и дать нашему маленькому приличное воспитание. Он не будет знать роскоши, и тем лучше. Но ему не придется испытать нужду и лишения, которые выхолащивают душу.

Что касается виллы в Мезон, советую вам, когда кончится война, продать ее. Может быть, ею соблазнится какой-нибудь нувориши. Лучшего она и не заслуживает. Судя по тому, что мне говорил Даниэль, дача вашей матушки заложена и перезаложена. У меня сложилось впечатление, что госпожа де Фонтанен, да и вы сами, очень привязаны к ней. Не будет ли целесообразнее употребить сумму, вырученную от продажи виллы Тибо, на окончательный выкуп дачи? Имение ваших родителей, таким образом, перейдет к Жан-Полю. Я посоветуюсь с нотариусом, как это лучше сделать.

Когда у меня будет примерный подсчет оставшихся средств, я выделю небольшой капитал Жиз: мне хочется ее обеспечить. Вам, дорогой друг, придется вести все дела до совершеннолетия вашего сына. Мой нотариус, г-н Бейно, вполне добросовестный малый, правда немного формалист, зато надежный и, главное, хороший советчик.

Вот все, что я хотел вам сказать. Теперь я могу спокойно вздохнуть. Больше я с вами на эту тему говорить не буду до тех пор, пока не придет время дать вам последние указания. Эти несколько дней меня не оставляет еще один замысел, который связан лично с вами. Вопрос очень деликатный, но все же я вынужден буду его коснуться. Сегодня у меня не хватает смелости.

Провел два часа в тени олив. Читал газеты. Что означает полное затишье с немецкой стороны? Наше сопротивление между Мондидье и Уазой,<sup>1</sup> кажется, остановило их. Кроме того, поражение

<sup>1</sup> Имеется в виду неудачное наступление немцев на Шмен-де-Дам в мае 1918 г.

австрийцев,<sup>1</sup> должно быть, очень чувствительно. Если усилия Центральных держав в течение летних месяцев, до прибытия американцев, не приведут к решительным успехам, ситуация может в корне измениться. Буду ли я свидетелем этого? Ужасающая медлительность, с какой в глазах отдельной личности происходят события, из которых делается история, — вот что не раз мучило меня за эти четыре года. Что же тогда говорить тому, кому недолго осталось жить?

Должен сказать вам, однако, что сейчас у меня начинается довольно хороший период. Может быть, это действие новой сыворотки? Приступы удушья менее мучительны. Приступы лихорадки реже.

Таково мое физическое состояние. Что же касается моего «морального состояния» — обычный термин, которым наше командование определяет степень пассивности солдат, посылаемых на убой, — оно тоже лучше. Может быть, вы почувствуете это из моего письма? Размеры его во всяком случае доказывают, какое удовольствие доставляет мне болтать с вами. *Единственное удовольствие.* Но кончай, пора идти на процедуры.

Ваш друг A.

Этот новый способ лечения я применяю так же добросовестно, как и прежние. Смешно, не правда ли? Обращение врача со мной странно изменилось. Так, хотя он замечает, что мне лучше, он не смеет сказать мне об этом, избавляет меня от обычных «вы сами видите...» и т. д. Но зато чаще навещает меня, приносит газеты, пластинки, всячески выказывает мне свое расположение. Вот ответ на ваш вопрос. Нигде мне не было бы удобнее ждать конца, чем здесь.

Госпиталь № 23 в Руайяне,  
Нижняя Шаранта.

29 июня 1918 года

Господин доктор!

Уехав из Гвинеи осенью 1916 года, я имела честь получить ваше письмо от мая месяца сего года только сейчас, в Руайяне, где я работаю сестрой в хирургическом отделении. Я действительно вспоминаю о посылке, о которой вы говорите в вашем письме, но не так все ясно помню, чтобы ответить на ваши вопросы. Я совсем не знала ту особу, которая дала мне это поручение, и в нашу больницу ее приняли в очень тяжелом состоянии — в желтой лихорадке, от которой она умерла через несколько дней, несмотря на

<sup>1</sup> Имеется в виду неудача австрийского наступления в июне 1918 г. на реке Пьява (к северо-востоку от Венеции), за которым последовал полный развал австровенгерской армии.

все старания доктора Лансело. Было это, думаю, весной 1915 года. Помню также, что ее высадили из-за болезни с пакетбота, который остановился у нас в Конакри. Когда я была на ночном дежурстве, больная пришла в себя на короткое время — а то она не переставая бредила — и дала мне эту вещь и ваш адрес. Могу заверить, что она мне не поручала вам писать. Должно быть, она прибыла на пароходе совсем одна, потому что ее никто не навещал за эти двадцать три дня, пока длилась агония. Думаю, что она погребена в общей могиле на европейском кладбище. Директор госпиталя, г-н Фабри, если он только еще там, мог бы разыскать записи в книгах и сообщить вам имя этой дамы и дату ее кончины. Очень жаль, что я лично не могу сообщить вам ничего больше.

Примите, господин доктор, и т. д.

Люси Бонне

Распечатала письмо, чтобы сообщить вам еще следующее. Я вспомнила, у этой дамы был большой черный бульдог, которого она называла не то Гирт, не то Гирш и которого она звала все время, когда приходила в себя, но его нельзя было держать в больнице, потому что это запрещено правилами. Собака была очень злая. Одна моя приятельница-сиделка взяла ее себе, но пес доставил много хлопот, с ним никак нельзя было справиться, и в конце концов пришлось его отравить.

## XVI ИЮЛЬ

Мускье, 2 июля 1918 г.

Забывшись на минуту перед самым утром, видел во сне Жака. Не могу восстановить все звенья. Действие происходило на Университетской улице, в прежние времена, на первом этаже. И тут я вспомнил то время, когда мы жили вместе, были так близки. Среди прочих воспоминаний: день, когда Жак вышел из исправительного заведения, и я поселил его у себя. Я сам взял его к себе, чтобы освободить от опеки отца. И все же я не мог подавить какое-то очень гадкое, враждебное чувство, вроде эгоистического раскаяния. Помню очень хорошо, что я подумал тогда: «Пожалуй, пусть живет у меня, но лишь бы это не нарушило моих привычек, не помешало работе, моему успеху». Успех! На протяжении всей моей жизни, эта песенка «успех» — мой девиз преуспеть, добиться — моя единственная цель, пятнадцать лет трудов, и сейчас это слово добиться, на этой постели, какая ирония!

Моя тетрадка. Вчера по моей просьбе наш эконом купил мне тетрадку в писчебумажном магазине в Грассе. Ребячество большого? Все может быть. Увидим. Мои письма к Женни показывают,

какое облегчение я испытываю, записывая свои мысли. Никогда, даже в шестнадцать лет, я не вел дневника, как Фред, Жербон и многие другие. Немного поздновато. Не настоящий дневник, а просто так: отмечать, если придет охота, мысли, которые меня мучают. Из гигиенических соображений, конечно. В больном мозгу, измученном бессонницей, любая мысль становится навязчивой. Писание облегчает. И потом все-таки развлечение, убиваешь время. Убивать время — мне, который никогда считал, что его так мало! Даже на фронте, даже этой зимой в клинике я жил со страшным напряжением сил и всю жизнь не упускал ни часу, теряя представление о беге времени, не сознавая настоящего. А с того момента, как мои дни сочтены, часы стали нескончаемо долгими.

Ночь провел спокойно. Утром 37,7.

### Вечер

Усилилась одышка. Температура 38,8. Межреберные боли. Нет ли поражения со стороны плевры?

Изгнать призраки, пригвоздить их к бумаге.

Целый день думал над вопросом о наследстве. Организовать свою смерть. (Какая упорная забота об организации! Но сейчас ведь дело не во мне, а в них, в мальчике.) Десятки раз считал и пересчитывал — продажа виллы в Мезон, сдача виаэма дома на Университетской улице, продажа лабораторного оборудования. Может быть, сдать дом какому-нибудь химическому предприятию? Штудлер мог бы этим заняться. Или, на худой конец, мог бы организовать разборку аппаратуры и найти покупателя.

Не забыть о Штудлере, который после войны очутится без работы и средств.

Оставить записку ему и Жуслену относительно документов, записей.

### 3 июля

Люка сообщил мне результаты анализа крови. Явно плохие. Бардо своим тягучим голосом вынужден был подтвердить: «Не блестящее». Где моя чудесная кровь, прежняя кровь! Когда я выздоравливал в Сен-Дизье после первого ранения, как я верил в то, что сколочен крепко! Как я гордился составом своей крови, быстрым зарубцеванием! И у Жака такая же кровь — кровь Тибо.

Спросил Бардо о возможности осложнения на плевре: «Недостает только, чтобы у меня началось нагноение...» Наш добродушный великан пожал плечами, внимательно осмотрел меня. Говорит, что бояться нечего.

Кровь Тибо. Кровь Жан-Поля! Моя прекрасная кровь прежних времен, наша кровь теперь бьется в артериях этого малыша.

Во время войны я ни разу не принимал мысли о смерти. Ни разу, даже на секунду, не хотел пожертвовать своей шкурой.

И даже сейчас: я отказываюсь принести себя в жертву. Я больше не могу строить иллюзий, я обязан отдать себе отчет, ждать неминуемого. Но я не могу ни принять его, ни стать, примирившись, его соучастником.

Вечером

Я отлично знаю, в чем могли проявиться разум, мудрость, достоинство: в том, чтобы снова осознать мир и его непрерывное становление как таковое. Не сквозь мою личность и мою близкую смерть. Запомнить твердо, что я — лишь незначительная частица вселенной. Испорченная частица. Ну что ж. Ничего не поделаешь! Что это по сравнению со всем тем, что будет продолжать свое существование после меня?

Незначительная — да, но я-то придавал ей такое огромное значение!

Однако попытаемся.

Не позволять индивидуальному ослеплять себя.

4 июля

Сегодня славное письмо от Женни. Много очаровательных подробностей о Жан-Поле. Не мог удержаться и прочел эти строчки Гуарану, который помешан на своих двух малышах. Надо, чтобы Женни сфотографировала его.

Надо также решиться написать то письмо. Трудно. Должен сделать это в первую же ночь, как отдышиусь.

Какое чудо, именно чудо, — появление этого ребенка как раз в тот момент, когда обе линии — отцовская и материнская, Тибо и Фонтанены — уже почти угасли, не произведя ничего стоящего! Какие черты он унаследовал от матери? Лучшие, надеюсь. Но одно я знаю наверное, в одном не сомневаюсь — в ребенке течет наша кровь. Решительный, волевой, умный. Сын Жака, настоящий Тибо.

Весь день думал о нем. Этот неожиданный прилив живительных соков, который выгоняет в назначенный час новую ветвь из нашего ствола... Быть может, безумие воображать, что это какое-то предначертание судеб? Какой-то высший промысел? Фамильная гордость, очевидно. Но почему бы в этом ребенке не видеть предназначения? Завершения непонятных стремлений целого рода, направленных на создание высшей разновидности семейства Тибо? Гений, которого природа должна неминуемо создать после того, как она создала лишь несовершенные прообразы его: моего отца, моего брата и меня? Эти неукротимые порывы ярости, эта власть, которые жили в нас, прежде чем перейти в него, почему на сей раз не распуститься им, не стать подлинно творческой силой?

### Бессонница. Бороться с «призраками».

Вот уже полтора месяца, семь недель, как я узнал, что безнадежен. Эти слова: узнать, что безнадежен, эти слова, которые я только что написал, так похожи на все остальные, и все думают, что понимают их, и, однако, никто, кроме осужденных на смерть, не может до конца проникнуть в их смысл... Молниеносный переворот, взрыв, который сразу опустошает всего человека.

И все же казалось бы, что врач, который живет в постоянном общении со смертью, должен бы... Со смертью? С чужой смертью. Пытался не раз найти причины этой физической невозможности приятия смерти (что, быть может, обусловлено моей жизнеспособностью, ее особыми свойствами. Мысль, которая пришла мне сегодня вечером).

Эту мою былую жизнеспособность, эту активность, которую я старался поддерживать, эту не изменяющую никогда сопротивляемость — все это я объясняю в значительной степени свойственной мне потребностью продолжить себя через созидание: «пережить себя». Инстинктивный страх исчезнуть бесследно (присущий всем, конечно, но в весьма различных степенях) у меня — наследственный. Много думал об отце. Его навязчивое желание всему присвоить свое имя: своим исправительным заведениям, премиям за примерное поведение, площади в Круи, желание, впрочем осуществившееся, видеть свое имя — «Основано Оскаром Тибо» — на фронтоне исправительных заведений, желание, чтобы имя Оскар (единственное, что в его документах принадлежало только ему, а не всей семье) носило все его потомство, и т. д. Мания нацеплять свои вензеля буквально повсюду: на ворота сада, на сервисы, на корешки книг, даже на спинки кресел!.. Это не просто инстинкт собственника (или, как я тогда думал, признак тщеславия). Изумительная потребность бороться против исчезновения, оставить след по себе. (Загробная жизнь, потусторонняя жизнь, по-видимому, не устраивала.) Потребность, которую унаследовал и я. Я тоже таил надежду связать свое имя с каким-нибудь своим творением, которое пережило бы меня, с открытием и т. д.

Нет, очевидно, не глубока пропасть, которая отделяет сына от отца!

Семь недель, пятьдесят дней и ночей лицом к лицу с уверенностью! Без минуты колебаний, сомнений, иллюзий. Однако — это-то мне и хочется отметить — в подобном состоянии одержимости есть свои просветы, короткие интервалы, минуты не то чтобы полного забвения, нет, но ослабления навязчивой мысли... У меня бывают, и все чаще и чаще, мгновения, — две-три минуты, максимум — пятнадцать — двадцать, — в течение которых уверенность, что я умру, отступает на задний план, чуть-чуть тлеет. Тогда я снова могу жить, внимательно читать, писать, слушать, спорить, одним

словом — интересоваться чем-то вне моего состояния, как будто я освобождаюсь от некоего гнета, владеющего мной; но одержимость остается, я не перестаю все время ощущать ее на заднем плане, в каком-то уголке. (Ощущение, что она здесь, не покидает меня даже во сне.)

6 июля, утро

Начиная с четверга — улучшение. Когда я перестаю страдать, все мне кажется хорошим, почти прекрасным. В утренних газетах статья об успехах итальянцев в дельте Пьявы, пожалуй, доставила мне давно не испытанное удовольствие. Хороший признак.

Ничего не писал вчера. Когда я вышел в сад, спохватился, что оставил тетрадь в комнате. Лень было подыматься, но весь вечер мне чего-то недоставало. Начинаю входить во вкус этого временного проповедования.

Некогда писать сегодня. Многое нужно занести в черную тетрадку. Заметил, что стал понемногу забрасывать тетрадь, с тех пор как веду дневник. Довольствуюсь только коротенькими записями. Между тем, важна именно черная тетрадка, она должна быть на первом месте. Поделить все на две части: дневник — для «призраков», и черная тетрадка — для наблюдений над собой, записей температуры, процедур, результатов лечения, вторичных реакций, процесса интоксикации, разговоров с Бардо и с Мазе и т. д.

Я не преувеличиваю значения этих заметок, но все же считаю, что ежедневные записи с первого дня болезни, которые ведет больной, отравленный газами, больной и врач одновременно, могут, при современном состоянии науки, составить сводку клинических наблюдений, польза которых бесспорна. Особенно если довести их до самого конца. Бардо обещал опубликовать их в «Бюллете».

Вчера уехал наш толстяк Делаэ. Выписан как выздоравливающий. Верит, что поправился совсем. Быть может, и так, кто знает? Зашел ко мне попрощаться. Держался неловко, делал вид, что опаздывает и торопится. Не сказал мне на прощание: «Еще увидимся» или что-нибудь в этом роде. Жозеф, который убирал мою комнату, должно быть заметил это, потому что, как только за Делаэ закрылась дверь, сразу же сказал: «Вот видите, господин доктор, выкарабкаться не так уж трудно».

Я чуть было не написал сейчас: «Если я еще живу, то только благодаря моим врачебным записям». Уяснить себе вопрос о самоубийстве. Пора, наконец, сознаться, что черная тетрадка — только предлог. Комедия, которую разыгрываешь перед самим собой! Странно. Мне неприятно признаваться, что я никогда не испытывал по-настоящему желания покончить с собой. Никогда, даже в самые худшие минуты! Если нужно было решиться на такой шаг, так это в Париже, в то самое утро, когда я купил ампулы,

которые... И я об этом думал, садясь в поезд... И с того утра я начал комедию с записями. Как будто существует некий последний долг, который нужно выполнить, прежде чем исчезнуть. Как будто я обязан был закончить капитальный труд, труд целой жизни, как будто я в самом деле верю, что эти врачебные записи могут преодолеть, отстранить соблазн. Недостаток мужества? Нет, и еще раз нет! Если бы искушение было подлинным, страх меня не удержал бы. Нет. Не мужества мне не хватало, а желания. Истина в том, что искушение всякий раз было слишком мимолетным. И я без труда отгонял его от себя (симулируя силу духа и ухватившись за предлог: надо, мол, вести записи).

И, однако, если только смерть не наступит внезапно, — что, увы, маловероятно, — я знаю, что не буду ждать естественного конца, я это знаю. Здесь я искренен и полностью отдаю себе отчет. Мой час наступает, я уверен в этом. Нужно только дождаться его. Ампулы здесь, у меня под рукой. Одно движение руки. (Вопреки всему, эта мысль умиротворяет.)

#### Вечер

Перед завтраком Гуаран принес нам на веранду швейцарскую газету, где полностью помещена последняя речь Вильсона. Он прочел ее вслух. Взволновался, и мы тоже. Каждое послание Вильсона — как поток свежего воздуха, проносящийся над Европой. Невольно приходит на мысль обрушившаяся шахта, куда накачивают кислород, чтобы заживо погребенные не задохлись, могли бы дождаться, пока не подоспеет помощь.

7 июля, 5 часов утра

Навязчивая мысль. Стена, я наталкиваюсь на стену. Подымаюсь, бросаюсь снова, снова стена, я снова падаю и снова начинаю все с начала. Стена. В какие-то мгновения — сам тому не веря — я стараюсь внушить себе, что, может быть, это неправда, что, может быть, я не обречен. Только для того, чтобы снова стоическим усилием воли построить всю цепь рассуждений, которые каждый раз неизбежно снова бросают меня на эту стену.

#### После обеда, в саду

Перечел послание Вильсона. Гораздо более ясное, чем предыдущее. Уточняет свою концепцию мира, перечисляет условия, необходимые для того, чтобы урегулирование было «окончательным». Проект, волнующий своим размахом: 1) упразднение во всем мире политических систем, способных привести к новым войнам; 2) никаких изменений границ или переделов территорий без предварительного совещания заинтересованных держав; 3) принятие всеми государствами кодекса международного права, который

они все обяжутся соблюдать; 4) создание международной организации с функциями арбитража, в которой будут представлены, без всяких различий, все нации цивилизованного мира.

(Я с каким-то детским удовольствием переписываю эти слова, заношу их в свой дневник. Такое впечатление, что как-то сам к этому причастен, что в этом соучаствуешь.)

Эта тема у всех на устах. Пламя надежды озаряет все лица. И так приятна мысль, что точно так же чувствуют себя повсюду, во всех городах Европы, Америки! Отзвуки этой речи в каждой части, отведенной на отдых, в каждом уголке окопа! Все ведь так устали убивать друг друга в течение четырех лет! (Убивать друг друга в течение веков по приказу хозяев...) Этого призыва к разуму ждали. Будет ли он услышан властью имущими? Только бы хоть на сей раз взошли семена, и взошли повсюду! Цель так ясна, так разумна, так отвечает самому предназначению человека, нашим сокровеннейшим инстинктам! Осуществление этого замысла породит тысячи проблем, потребует длительных усилий; но кто может сомневаться в том, что именно на этот и только на этот путь должно любой ценой стать человечество? Четыре года войны, и единственный результат ее — истребление людей, груды развалин. Самые наглые паладины завоеваний вынуждены признать, что война стала для человека, для государства катастрофой, которую ничто не может окупить!

Итак, раз вся нелепость войны доказана на опыте, раз к этой мысли приводят соображения политиков, вычисления экономистов, инстинктивное возмущение масс, — что сможет помешать установлению прочного мира?

После завтрака — приступ удушья. Укол. Потом отдых в шезлонге, в тени олив. Слишком устал, чтобы взяться за письмо к Женни, хотя очень хочется ей написать.

Спор между Гуараном, Бардо и Мазе. Основная идея Вильсона: система международного арбитража. На этом никто не теряет, а выгоды для каждого государства неисчислимые. И еще одно, о чем редко думают: деятельность этого высшего трибунала оградит больные самолюбия, чувствительность наций, что столько раз приводило к войне. Гордость и престиж народов, правительств или отдельных правителей — как бы мнительны они ни были — будут меньше страдать, подчиняясь решениям международного суда, вершащего дела во имя общих интересов всех государств, чем сейчас, когда приходится капитулировать перед угрозой соседа или под давлением враждебной коалиции. Этот трибунал (говорил Гуаран) должен быть учрежден, как только кончатся военные действия, и во всяком случае до сведения счетов. И тогда условия мира будут устанавливаться не сварливой распреей противников, а спокойным и мирным обсуждением, международной Лигой наций; она будет судить с недосягаемой высоты, определит ответственность каждого и обеспечит беспристрастность приговоров.

*Лига наций.* Единственное средство, и средство безошибочное, чтобы сделать в будущем невозможными войны: ибо, когда государству будет угрожать другое государство или нападет на него, все государства автоматически объединятся против агрессора и силой парализуют его действия, принудив его подчиниться арбитражу.

Надо смотреть еще дальше. Эта Лига наций должна быть застrelщиком подлинно международной политики и экономики, должна привести к всеобщему организованному сотрудничеству, которое будет, наконец, осуществлено в масштабе всей планеты. Новый этап, этап решающий для судей нашей цивилизации.

Гуаран высказал по этому поводу много весьма разумных мыслей. Я вспоминаю, что нередко бывал несправедлив по отношению к Гуарану. Меня раздражали его манеры типичного питомца Нормальной школы, который корчит из себя всезнайку. Да и тон его также: как будто он все еще вещает со своей кафедры в лицее Генриха IV... Но он, и правда, много знает. Следит за ходом событий, ежедневно читает девять-десять наших газет, получает каждую неделю кучу швейцарских газет, журналов. Короче говоря, ум вполне уравновешенный. (Я всегда питал слабость к уравновешенным.) Старается разобраться в современных событиях, отступив от них на какое-то расстояние, как истый историк, и это меня пленяет.

Вуазне также принял участие в споре. («Гуаран и Вуазне, — говорит Бардо, — единственные в клинике, у которых не затронуты голосовые связки... Вот они и пользуются».)

Сегодня чувствовал себя неплохо. Больше, чем уколам, я обязан этим, пожалуй, Вильсону!

Прибавлю от себя: Лига наций поможет создать на руинах этой войны нечто абсолютно новое — мировую совесть. И человечество сделает решительный шаг к справедливости и свободе.

#### 11 часов вечера

Просматривал газеты. Болтовня, мерзкое скудоумие. Кажется, Вильсон сейчас действительно единственный государственный деятель, которому дано широко смотреть на вещи. Демократический идеал, в самом благородном понимании этого слова. По сравнению с ним наши французские (или английские) демагоги кажутся мелкими аферистами. Все они, в той или иной степени, орудие тех самых империалистических традиций, которые они притворно осуждают, когда речь идет об их противниках.

Говорил об Америке с Вуазне и Гуараном. Вуазне прожил несколько лет в Нью-Йорке. Благополучие Соединенных Штатов, безопасность. Гуаран, увлекшись, предсказывает в припадке ясногидения, что в XXI веке страны Европы будут покорены желтой расой, а сфера действия белой расы ограничится американским континентом.

Бессонница. Забылся на минуту, видел во сне Штудлера. Париж, лаборатория. Халиф в халате, с кепи на голове, бородка коротко подстрижена. Я с жаром рассказываю ему что-то, что — уж не помню точно. Может быть, о Вильсоне или о Лиге наций... Он оглядывается и косится на меня через плечо большим влажным глазом: «Черта ли тебе в этом, раз ты все равно подохнешь?»

По-прежнему думаю о Вильсоне. (Да не осудит меня Халиф.)

Вильсон, кажется мне, предназначен к той роли, которую он взял на себя. Чтобы конец этой войны стал концом всех войн вообще, мир должен быть заключен новым человеком, человеком со стороны, не чувствующим ни ненависти, ни злобы; человеком, который бы ничем не был похож на наших европейских заправил, вот уже четыре года извивающихся в конвульсиях войны. Вильсон, человек из-за моря. Представитель страны, которая является воплощением союза — мирного и свободного. И за ним стоит четверть обитателей земного шара! Каждый здравомыслящий американец не может не думать: «Если мы сумели построить наше государство и сохранить в течение столетия прочный и конструктивный мир, почему же невозможно создание Соединенных Штатов Европы?» Вильсон продолжает линию Вашингтона и т. д. (Он сознает это. Намекает на это в своей речи.) Того Вашингтона, который ненавидел войну и который тем не менее воевал, дабы избавить от войны свою страну. Про себя он думает (по словам Гуарана), что таким путем освободит весь мир; что если ему удастся создать из этих маленьких враждующих государств огромную мирную конфедерацию, пример будет неотразимым для старого континента (которому понадобилось бы сто лет, чтобы это понять).

Я пишу, а стрелки бегут по циферблату... Вильсон помогает мне держать «призраки» на почтительном расстоянии!

Волнующие проблемы, даже для «мертвеца в отпуске». В первый раз по возвращении из Парижа я почувствовал интерес к будущему, которое решится с окончанием войны. Всякая вера будет утрачена на долгие годы, если мир не переплавит, не перестроит, другими словами — не сплотит истекающую кровью Европу. Да, если вооруженные силы останутся по-прежнему основным орудием политики государств; если каждая нация, скрывшись за своими пограничными столбами, будет по-прежнему единственным судьей своих поступков и не захочет обуздывать свои аппетиты; если федерация европейских государств не приведет к установлению экономического мира, как того хочет Вильсон, со свободной торговлей, с упразднением таможенных барьеров и т. д.; если эра международной анархии не отойдет окончательно в прошлое; если народы не принудят свои правительства установить, наконец, режим всеобщего порядка, основанного

на праве, — тогда все придется начинать заново, тогда, значит, вся пролитая сейчас кровь была пролита понапрасну.

Но могут исполниться и самые смелые надежды. (Пишу это, словно и я тут буду «при чем-то»...)

8 июля

Тридцать восьмой год жизни. Последний год.

Жду колокола к обеду. Прачка со своей дочерью прошла через террасу, несут туки белья. Вспоминаю, какое волнение охватило меня недавно, когда я понял — по необычайному выгибу поясницы, по стесненным движениям бедер, — что она беременна. Почти незаметно, месяца три, самое большое — четыре. Острое чувство страха, жалости, зависти, отчаяния! Человек, у которого нет будущего. Тайна этого будущего здесь рядом, почти осозаемая! Этот зародыш, который еще так далек от жизни и которому предстоит прожить целую неведомую жизнь! Рождение новой жизни, которому не может помешать моя смерть!..

В саду

Вильсон по-прежнему занимает все умы. Бридж забыт. Даже в «клубе» нашего фельдфебеля вот уже два часа они спорят, не притрагиваясь к картам.

Газеты полны комментариев. Бардо сказал сегодня: знаменательно, что цензура не препятствует умам волноваться миражами будущего мира. Хорошая статья в «Journal de Lausanne». <sup>1</sup> Цитирует речь Вильсона от января 1917 года: «мир без победы» и «последовательное ограничение национальных вооружений, вплоть до всеобщего разоружения». (Январь 1917 года. Вспоминаю знакомые места, развалины позади высоты 304. <sup>2</sup> Сводчатый потолок погреба, где помещалась столовая. Споры о разоружении с Пайеном и беднягой Зейфертом.)

Не мог дописать. Вошел Мазе с анализом. Уменьшение хлористых соединений, и особенно фосфатов.

Погода грозовая, томящая. Едва дотащился до фонтана, чтобы послушать, как журчит вода. Все труднее и труднее становится читать, следить, не отвлекаясь, за развитием чужой мысли; за своей — еще куда ни шло. Этот дневник для меня — отдушина. Но ненадолго. Покуда возможно, пользуюсь отсрочкой.

Речь Вильсона от января 17 года. *Разоружение*. Главная цель. Разговоры за столом, по утрам. Все единодушны, за исключением Ремона. Говорились вещи, которые говорятся сегодня повсюду, но которых не посмели бы сказать, даже подумать не посмели бы, два

<sup>1</sup> «Лозаннская газета» (франц.).

<sup>2</sup> Позиция под Верденом, место ожесточенных боев в 1916 г.

года тому назад: армия — пиявка, сосущая кровь нации. (Образ, потрясающий сознание, образ *ad usum populi*:<sup>1</sup> каждый рабочий, занятый вытаскиванием снарядов, выбывает из рядов полезных тружеников и тем самым становится паразитом, существующим за счет коллектива.) Государство, где треть бюджета пожирается расходами на вооружение, не может жить: всеобщее разорение или война — иного исхода нет. Нынешняя катастрофа возникла как роковое следствие роста вооружений, не прекращавшегося в течение сорока лет. Прочный мир немыслим без всеобщего разоружения. Истина, которую твердили сотни раз. Твердили понапрасну: ибо в эпоху вооруженного мира наивно думать, что правительства, исповедующие примат силы над правом, готовые в любую минуту броситься друг на друга, бесповоротно захваченные гонкой вооружений, — наивно думать, что такие правительства решатся по взаимному согласию дать задний ход и откажутся от своей безумной тактики. Но все это может перемениться завтра, в час установления мира. Все страны Европы должны будут начать жизнь с начала. На пустом месте. Война доведет их до полного истощения, запасы оружия иссякнут, придется всё делать съезнова, на новых основаниях. Приближается час небывалых событий, никогда не виданных прежде, — час, когда всеобщее разоружение станет реально возможным. Вильсон понял это. Идея разоружения, провозглашенная им, не может не быть восторженно принята общественным мнением любой страны. Эти четыре года подготовили, усилили во всем мире инстинкт сопротивления войне, желание видеть, как на смену военным поединкам придет международная мораль, в качестве единственного средства решения конфликтов между народами.

Надо, чтобы все это огромное большинство людей, которые хотят мира, противопоставило ничтожному меньшинству, которое заинтересовано в поджигании войны, свою мощную организацию, способную отстаивать мир. Это будет некая высокоавторитетная *Liga наций*, располагающая международной полицией и могущая запретить навсегда применение силы. Пусть правительства устроят плебисцит по этому вопросу: в исходе не приходится сомневаться!

Сегодня утром, за столом, майор Ремон негодовал против Вильсона и называл его «фанатичным пуритаником, совершенно не разбирающимся в европейской действительности». Точь-в-точь Рюмель, тогда, у «Максима». Гуаран дал ему отпор: «Если мир не будет действительным миром, если мы не проникнемся заботой о справедливости, о создании единой Европы, — то мир этот, за который миллионы несчастных парней заплатили так дорого, окажется просто очередным говором, пародией на мир и будет неизбежно сметен стремлением к реваншу со стороны побежденных!» — «Знаем мы, чего стоят и как долго существуют Священ-

<sup>1</sup> Для народа (лат.).

ные союзы»,<sup>1</sup> — сказал Ремон. Тут я тоже вмешался в спор, и Ремон ответил мне довольно остроумно (даже очень неглупо, если хорошенько вдуматься, и менее парадоксально, чем кажется на первый взгляд): «Вы, Тибо, всегда были чересчур реалистом и потому так легко поддается обаянию утопий!» (Разобраться в этом.)

Первые две капли дождя. Хоть бы гроза принесла нам прохладную ночь!

9 июля, на рассвете

Плохая ночь. Удушье. Не спал и двух часов и просыпался десятки раз.

Думал о Ращели. Этими жаркими ночами запах ее ожерелья непереносим. И она тоже нелепо погибла на больничной койке. Одна. Все мы, когда наступает конец, одиноки.

Внезапно пришла мысль, что сегодня утром, как и каждое утро, в этот самый час, где-то в окопах тысячи несчастных ждут сигнала идти в атаку. Я цинично силился найти в этом утешение. И не мог. Скорее завидовал им (ведь они здоровы и могут на что-то надеяться), чем жалел их за то, что им придется выйти из окопа в открытое поле.

У Киплинга, которого я пытаюсь читать, мне попалось слово «юношеский». Я думаю о Жаке... «Юношеский». Это определение так подходит к нему! Он навсегда остался подростком. (Посмотреть в энциклопедии, что составляет характерные черты подростка. У Жака были они все: и порывы, и крайности, и чистота; отвага и застенчивость, и вкус к абстракциям, и отвращение к полумерам, и прелест молодости, которой неведом скептицизм...)

Останься он жив, он и в зрелые годы был бы, наверно, только состарившимся юношей.

Перечел сегодня ночью мои записки.

Слова Ремона: утопия... Нет. Я всегда остерегался — может быть, даже слишком, — пустых увлечений, иллюзий. Всю жизнь я придерживался правила, не помню чьего: «Глубоко заблуждается тот, кому единственным основанием веры служит желание!» Нет и нет. Когда Вильсон заявляет: «Мы хотим только одного — чтобы общество очистилось и чтобы в нем стало возможно жить», против этого мой скептицизм восстает. У меня нет тех иллюзий, той безрассудной веры в совершенство человека, которая рождает надежду, что общество, устроенное руками человека, может когда-либо «очиститься». Но когда тот же Вильсон добавляет: «И чтобы это общество обеспечивало мирное существование всех наций, любящих мир», я согласен с ним. Это не химера. Ведь добилось же

<sup>1</sup> Священный союз — реакционный союз Австрии, Пруссии, России, Франции и некоторых других европейских государств, заключенный в 1815 году с целью поддержания установленных Венским конгрессом границ и борьбы с революционным движением. Распался уже в 1833 г.

общество от индивидуумов отказа самовольно вершить свои дела и подчинения своих споров воле суда. Почему же нельзя помешать правительствам натравливать народы друг на друга, когда возникают какие-нибудь раздоры? Война, по-вашему, закон природы? Но ведь и чума тоже. Вся история человечества есть победоносная борьба против злых сил природы. Сумели же главные нации Европы шаг за шагом выковать свое национальное единство; почему же этому движению, разрастаясь, не привести к всеевропейскому единству? Новый этап, новый уровень социального инстинкта. «А патриотические чувства?» — спросит меня майор Ремон. Но ведь к войне толкает не чувство патриотизма, чувство вполне естественное, а чувство националистическое, чувство благоприобретенное и искусственное. Привязанность к своей земле, любовь к своему языку, традициям не предполагает еще свирепой враждебности к своему соседу. Пример: Пикардия и Прованс, Бретань и Савойя. В объединенной Европе патриотические чувства будут лишь выражением привязанности к своей родной земле, к своему родному углу.

«Химеры». Криком о химерах они, должно быть, и пробуют заглушить предложения Вильсона. Неприятно, читая газеты, убеждаться, что самые благосклонные к американским проектам журналисты называют Вильсона «великим визионером», «пророком будущих времен» и т. д. Вот уж нисколько! Меня как раз поражает в нем здравый смысл. Идеи его простые, новые и в то же время старые: они вытекают из многих уже делавшихся в истории попыток. Не сегодня-завтра Европа очутится на великом распутье: либо реорганизация по федеративному принципу, либо возврат к режиму непрерывных войн, до полного истощения. Если, вопреки всему, Европа отвергнет разумный мир, предложенный Вильсоном, — в то же время являющийся единственным подлинным, единствено прочным миром, миром окончательного разоружения, — она убедится вскоре (и кто знает, какой ценой!), что снова зашла в тупик и снова обречена на резню. К счастью, это маловероятно.

Вечер

Ужасный день. Опять отчаяние. Кажется, будто проваливаешься в открытый люк... Я заслуживал лучшей судьбы. Я заслуживал (самонадеянность?) того «прекрасного будущего», которое мне сулили мои учителя, мои товарищи. И вдруг, на повороте окопа, струя газа... Западня, капкан, поставленный судьбой!..

Три часа. Сильное удушье, не могу спать. Дышу только в сидячем положении; подложил под спину три подушки. Зажег свет, решил принять капли. И пишу.

У меня никогда не было ни времени, ни вкуса (романтического) вести дневник. Жалею об этом. Если бы мог сейчас, сегодня взвесить на ладони, ясно видеть все мое прошлое, начиная с пятна-

дцатилетнего возраста, я сильнее ощутил бы, что оно действительно существовало; моя жизнь обрела бы плоть, имена, живую тяжесть, четкий облик, весомость истории; она не была бы чем-то текучим, бесформенным, как полузабытый сон, неуловимый сон. (Точно так же увековечивается ход болезни, отмечаемый кривой температуры.)

Я начал этот дневник, чтобы изгнать «призраки». Так я по крайней мере думал. В основе лежали десятки неясных мотивов: желание отвлечься, повозиться с самим собой, а также спасти хоть какую-то частицу этой жизни, этой индивидуальности, которой скоро не будет и которой я некогда так гордился. Спасти? Для кого? Для чего? Нелепость, ибо у меня не останется времени, досуга, чтобы перечитать эти страницы. Для кого же? Для Жан-Поля! Да, мне пришло это в голову только сейчас, в часы бессонницы.

Он прекрасен, этот малыш, он крепок, он тянется, как молодой дубок; все будущее, мое будущее, будущее всего мира в нем! С тех пор как я его увидел, я не переставая думаю о нем, и мысль, что он не будет думать обо мне, мучает меня. Он не увидит меня; ничего обо мне не узнает, я не оставлю ему ничего, кроме нескольких фотографий, денег и имени «дядя Антуан». Ничего. Мысль, временами просто нестерпимая. Если бы у меня хватило терпения в течение этих месяцев вести изо дня в день дневник... Быть может, когда-нибудь, маленький Жан-Поль, тебе захочется сыскать мой след, отпечаток меня, последний отпечаток, след шагов человека, уходящего навсегда. Тогда «дядя Антуан» станет для тебя не просто именем, карточкой в альбоме. Конечно, этот образ не может быть схож: нет сходства между тем человеком, которым я был некогда, и этим больным, которого сгладил недуг. Однако это будет нечто; все-таки лучше, чем ничего! Цепляюсь за эту надежду.

Устал. Лихорадит. Дежурный санитар заметил, что у меня горит свет. Я попросил у него еще одну подушку. Капли совсем не действуют. Попрошу у Бардо чего-нибудь другого.

В темноте голубоватое пятно окна. Луна? Или уже рассвет?.. (Сколько раз, после тревожного короткого забытья, — трудно сказать, сколько оно длилось, — я включал свет, чтобы взглянуть на часы, и с отчаянием видел на нудном циферблате: 11 ч. 10 м. ... 1 ч. 20 м.!)

Четыре часа тридцать пять минут. Это не луна. Это перед зарей бледнеет небо! Наконец-то!

11 июля

Горькая, раздражающая краткость этих дней, заполненных неуловимой болью...

Завтрак окончен. (Эти бесконечные завтраки, обеды, ужины за маленьким столиком, придвинутым вплотную к постели, томительные паузы, которые выводят из себя, отбиваются последний аппетит.)

тит. Ждешь не дождешься, покуда появится Жозеф с подносом — суп, блюдечко компота...) А потом, от двенадцати до трех, пустые и спокойные часы, похожие своим безмолвием на ночь, прерываемые кашлем в других палатах; и я сразу узнаю, кто кашляет, даже не вслушиваясь, — как знакомый голос.

В три часа — термометр, Жозеф, шаги в коридоре, голоса в саду, жизнь...

12 июля

Два грустных дня. Вчера просвечивание. Бронхиальные ганглии еще увеличились. Я это чувствовал давно.

Кюльману, произнесшему в рейхстаге столь умеренную речь, пришлось выйти в отставку. Как показатель настроения в Германии — это плохо. Зато подтвердились слухи о наступлении итальянцев в дельте Пьявы.

Вечер

Не вставал с постели. Хотя день прошел менее мучительно, чем я опасался. Заходили Дарро, Гуаран. Утром была длительная консультация с Сегром; за ним посыпал Бардо. Не нашли ничего особо тревожного, серьезного ухудшения нет. А вокруг меня все предаются самым радостным надеждам. И хотя я не перестаю себе твердить, что не следует принимать желания за действительность, чувствуя, что меня самого захватывает волна веры. Теперь уже ясно видно, что мы продвигаемся: Виллер-Котре, Лонгпон... IV армия... (Если славный Теривье все еще там, ему, должно быть, здорово пришлось поработать!) Разгром австрийцев, и разгром окончательный. И новый фронт на востоке — с Японией.<sup>1</sup> Но Гуаран, вообще хорошо осведомленный, утверждает, что с того момента, как стали бомбардировать Париж, моральное состояние заметно пошатнулось; даже на фронте, где люди не представляют себе, что их жены, их дети подвергаются такой же опасности, как и они сами. Гуаран получает много писем. Больше нет сил выносить войну. И нет желания. Только бы она кончилась, любой ценой!.. Быть может, скоро кончится благодаря американцам. Я лично даже рад: если наши правители предоставят Америке возможность закончить войну, они вынуждены будут предоставить ей и заключение мира — американского мира, мира Вильсона, а не наших генералов.

Если завтра состояние не ухудшится, напишу, наконец, Женни.

16 июля

Сильно страдал все эти два дня. Нет сил, нет вкуса ни к чему. Дневник лежит рядом, но нет охоты открыть его. Едва хватает

<sup>1</sup> Имеется в виду японская интервенция в июле 1918 г. на советском Дальнем Востоке.

духу вести каждый вечер записи о состоянии здоровья в черной тетрадке.

С сегодняшнего утра как будто чувствую себя лучше. Приступы удушья реже и короче, кашель не такой глубокий, все-таки можно с грехом пополам дышать. Может быть, это результат лечения мышьяком, начатого еще в воскресенье? Еще одна отсрочка?

Бедняга Шемри совсем плох! Явления септицемии. Рассеянные очаги гангренозной бронхопневмонии. Безнадежен.

У Дюпле — гнойный флегит вены на правой ноге! И Берт и Ковен!

Все, что дремлет в тайниках! (Например, все те неведомые мне самому семена, которые проросли во мне под влиянием войны... Даже семена ненависти и ярости, даже жестокости. И презрение к слабым... И страх и т. д... Да, война разбудила во мне самые гадкие инстинкты, подонки чувств. Отныне я буду способен понять все слабости, все преступления, ибо подметил их в самом себе — в зародыше.)

Пятница 17 июля, вечер

Явное улучшение. Надолго ли?

Воспользоваться этим, чтобы написать, наконец, то письмо. Писал после обеда. Изорвал несколько черновиков. Трудно взять настоящий тон. Сначала думал подготовить почву, подойти издалека. Но потом решил написать всего одно письмо, длинное и исчерпывающее. Будем надеяться. Если Женни такова, какой она мне кажется, то лучше говорить с ней напрямик. Постарался представить это дело как простую формальность, необходимую в интересах мальчика.

Вечерний обход закончен. Впереди целая ночь. Успею перечитать письмо и решу, стоит ли его отсылать.

Наступление немцев в Шампань. <sup>1</sup> Рошá, должно быть, в сфере военных действий. Что это? Начало их пресловутого плана: достичь Марны, дойти до Сен-Миеля, <sup>2</sup> взять в кольцо Верден и повернуть на запад в направлении Марны и Сены? Они уже значительно продвинулись на север и юг от Марны. Дорман <sup>3</sup> в опасности. (Как сейчас вижу этот городок: мост, соборную площадь, госпиталь напротив собора.) Как далеко еще до развязки! Никакой надежды увидеть даже первые признаки ее приближения. Возьмем даже лучший вариант: 1919 год, вступление американских войск, год, так сказать, ученичества; 1920 год, год упорной, решительной борьбы; 1921 год, год капитуляции Центральных держав, Вильсонова мира, демобилизации...

<sup>1</sup> Имеется в виду неудачное наступление немцев, начатое 15 июля 1918 г. в районе Реймса, и последующее контрнаступление французов в районе Виллер-Котре (департамент Эн, к западу от Реймса) на реке Урк.

<sup>2</sup> Город в департаменте Мезы к югу от Вердена.

<sup>3</sup> Город в департаменте Марны к юго-западу от Реймса.

В последний раз перечел письмо. Тон верный, без недомолвок, и аргументы весьма убедительны. Женни их поймет и согласится с ними.

18; утро

Сейчас видел Сегра в одном нижнем белье. В таком виде он ничуть не похож на г-на Тьера!

После обеда, в саду

Записать то, что произошло сегодня утром.

Встал пораньше, чтобы успеть отправить письмо с машиной эконома.

Подняв штору, я заметил в полуоткрытом окне павильона номер два г-на Сегра, профессора Сегра, совершающего свой утренний туалет. Полуголый, в трикотажных кальсонах (худой зад, как у старого верблюда), волосы мокрые, гладкие, прилипли к черепу... Он усердно чистил зубы. Я так привык видеть Сегра этаким Тьером; того Сегра, каким он показывается нам: торжественный, церемонный, затянутый в мундир, с хохолком на голове, подбородок кверху, чтобы казаться выше хотя бы на полвершка, — поэтому я не сразу узнал его. Я смотрел, как он выплевывал воду, потом нагнулся к зеркалу, засунул пальцы в рот, вытащил вставную челюсть, озабоченно, с любопытством осмотрел и обнюхал ее, как нюхают животные. Тут я отпрянул от окна, отошел на середину комнаты, смущенный непонятно чем и *взволнованный*: я испытал вдруг к этому чванливому сухарю, странно сказать, даже какое-то братское чувство...

Такие вещи случаются со мной уже не в первый раз. Если не по отношению к Сегру, то по отношению к другим. Уже несколько месяцев я живу здесь в непрерывном общении, в непосредственной близости с врачами, санитарами, больными. Я прекрасно изучил их внешность, их жесты, склонности — настолько, что безошибочно узнаю любого по затылку, подойдя сзади к креслу, или по руке, вытряхивающей пепел за окно, или по звукам голоса, доносящегося из сада. Но мое товарищеское к ним отношение всегда было ограничено рамками самой банальной сдержанности. Даже тогда, когда я был как и все, беззаботным, общительным, я постоянно чувствовал себя отделенным от них какой-то непроницаемой перегородкой, чужим среди чужих. Как могло быть, что это чувство обособленности вдруг бесследно таяло, уступая место братскому порыву, даже нежности, стоило мне только застигнуть кого-нибудь в глубинах его одиночества? Сотни раз, когда нечаянно (случайное отражение в зеркале, случайно приоткрылась дверь) я подмечал какой-нибудь жест соседа по коридору, самый обыкновенный жест, но такой, который человек делает только тогда, когда уверен, что его никто не видит (смотрит на фотографическую карточку, которую потихоньку вытащил из кармана, или крестится на ночь, или, того обычнее,

улыбается своим тайным мыслям с рассеянным и мечтательным видом), он сразу становился человеком близким, во всем подобным мне, и в эту минуту я хочу стать его другом!

Однако полная неспособность дружить. У меня нет друга. И никогда не было. (Предмет моей всегдашней зависти к Жаку — его друзья.)

Снова пишу с удовольствием. Значительно лучше эти дни.

Вечер

Сегодня утром делились воспоминаниями о фронтовой жизни. (Когда будет заключен мир, фронтовые рассказы заменят охотничьи.) Дарро рассказал, как он был в разведке в Эльзасе в самом начале войны. Как-то вечером он вошел с несколькими своими людьми в брошенную деревню, молчаливую и мирно спавшую в свете луны. Три немецких пехотинца крепко спали прямо на земле, слегка похрапывая; винтовки они положили рядом с собой. «Так вот, — рассказывал Дарро, — вблизи это уже были не бои, это были просто товарищи, свои парни, просто бесконечно усталые люди. Я остановился, не зная, что делать. Потом решил идти дальше, будто ничего не заметил. И восемь солдат, которые были со мной, поступили так же. Мы прошли на расстоянии десяти метров от спящих, не глядя на них, не повернув головы в их сторону. И никогда ни один из нас ни намеком не напомнил о том, как мы поступили в тот раз по общему молчаливому согласию».

20 июля

Вчера какая-то «комиссия» обследовала клинику. В комиссии — все местное начальство. Сегр, Бардо и Мазе готовились уже с вечера... В тылу война не изменила ничего. Тот же зловещий казарменный дух.

Многое можно сказать о нашей «дисциплине, этой силе армии»... Дело темное! Вспоминаю Брена и многих других военных врачей. Их уровень знаний куда ниже по сравнению с врачами запаса. Продолжительное подчинение казенной иерархии не проходит даром. Привычка повиноваться: соизмерять смелость своих диагнозов и чувство своей ответственности с количеством галунов.

Военная дисциплина. Вспоминаю грубияна Паоли, фельдшера в учебном полку в Компьене. Морда как у сутенера, глаза вечно налиты кровью. Впрочем, что-то человеческое в нем все же было: каждый вечер он ходил к реке, в поле, собирать конопляное семя для своего скворца... Паоли принадлежал к гнусной и отверженной почве сверхсрочников мирного времени. (Почему он был сверхсрочником? Без сомнения, потому, что видел в этом ремесле единственную возможность господствовать над своими близкими при помощи устрашения.) Военный врач поручил ему записывать новобранцев, которые являлись на прием. Из моей канцелярии было слышно, как

больные стучались в дверь. И каждый раз ревущий голос задавал один и тот же вопрос: «Эй ты, дьявол! Ты больной или симулянт собачий?» Воображаю испуганную физиономию новичка... «Если симулянт, катись!» Желторотый новичок поворачивался кругом, не дожидаясь продолжения. А врач считал, что Паоли — превосходный служака. «Ему ни один черт очков не ворет!»

«Армия — великая школа наций», любил повторять отец. И сдавал в рекрутцы своих питомцев из колонии в Круи.

### 21, воскресенье

Анализы в течение недели показывают прогрессивную дефосфатацию и деминерализацию, вопреки всем усилиям врачей.

Сводка. Хорошие новости. Наступление к югу от Урка. Наступление на Шато-Тьерри. Оживление по всей линии от Эн до Марны. Говорят, что Фош давно поджидал удобного момента для перехода от обороны к наступлению. Может быть, это и есть удобный момент?

Майор целые дни переставляет флаги на карте — это главное его развлечение. Злобные разговоры об «измене» Мальви и о военном суде.<sup>1</sup> Как только сводки стали получше, политика снова берет свои права.

### 22, вечер

Керазеля вчера навестил его зять, депутат от Ньевра. Завтракал с нами. Кажется, радикал-социалист. А впрочем, не все ли равно: сейчас все партии усвоили оппортунизм военного времени и пробавляются одними и теми же общими местами.. Удручающие плоские разговоры. Кое-что все же интересно. Предложение Австрией мира, переданное французскому правительству Сикстом Бурбонским весной прошлого года.<sup>2</sup> Нуаран возмущен отказом Франции. Говорят, что самым непримиримым оказался старик Рибо,<sup>3</sup> он-то и сумел повлиять на Пуанкаре и Ллойд-Джорджа. И одним из аргументов, популярных во французских политических кругах, был якобы следующий: «Республика не может обсуждать условия мира, передаваемые через одного из членов дома Бурбонов. Это было бы на руку монархической пропаганде. Поставило бы под угрозу будущее Республики. Особенно сейчас, когда власть находится в руках военщины!»

Просто невероятно!

<sup>1</sup> В августе 1918 г. Клемансо и шовинистические круги начали процесс против министра внутренних дел Луи-Жана Мальви, обвиняя его в выдаче государственных тайн и в потворстве антимилитаристической пропаганде. Мальви был приговорен к пяти годам изгнания, но в 1924 г. реабилитирован.

<sup>2</sup> В начале 1917 г. Австрия через посредство брата императрицы, принца Сикста Бурбонского, обратилась к Антанте с мирными предложениями, которые были отвергнуты.

<sup>3</sup> Рибо, Александр-Феликс-Жозеф (1842—1923) — премьер-министр Франции с весны по осень 1917 г.

23 июля

Вчераший депутат. Блестящий образчик современного государственного деятеля — беспокойный, суетливый. Приехал из Парижа ночным экспрессом, лишь бы выгадать несколько часов. Все время тревожно поглядывает на часы. Все время находится будто в состоянии легкого опьянения: когда наливают воду из графина, руки трясутся. Когда рассуждает, путаются мысли...

Считает свои метания активностью и свою беспорядочную активность работой. Считает свое краснобайство разумной аргументацией. А решительный тон — признаком авторитетности, знания дела. В разговоре принимает какую-нибудь анекдотическую деталь за самое главное. В политике считает отсутствие великодушия разумным реализмом. Выдает свое прекрасное здоровье за твердость духа, удовлетворение своих аппетитов за жизненную философию и т. д.

Быть может, он и мое молчание принял за восторженное согласие?..

23 июля, вечер

Почта. Письмо от Женни.

Жалею, что я не обратился сначала к ее матери, как и намеревался. Женни отказалась. Письмо вежливое, но тон непреклонный. Она с большим достоинством подчеркивает свою полную ответственность за все свои поступки. Она ведь отдалась свободно, следя голосу чувства. Сын Жака не должен иметь никакого другого отца — даже перед лицом закона. Жена Жака не должна выходить вторично замуж. Ей нечего бояться, как взглянет на это ее сын, и т. д.

Совершенно очевидно, что мои практические соображения ее не только не поколебали, но показались никчемными, мелочными. Прямо об этом не пишет, но употребляет несколько раз такие выражения, как «условности», «старые предрассудки» и т. д., и все это в явно пренебрежительном тоне.

Разумеется, я не сложу оружия. Нужно будет взяться за дело по-другому. Раз эти «условности» не имеют никакой цены, так зачем же восставать против них? Не значит ли это придавать им тот вес, которого они не имеют? Не забыть подчеркнуть, что это делается не ради нее, а ради Жан-Поля. Предубеждение, которое существует против незаконнорожденных, нелепо, согласен. Но оно существует. Если сумею убедить ее, она должна согласиться принять мое имя и позволить мне усыновить ребенка. Ведь обстоятельства исключительные: все упрощается моим скорым исчезновением!

Постараюсь ответить ей сегодня же.

Напрасно я не уточнил, как все это должно произойти. Она, вероятно, вообразила, что неизбежны разные неловкие положения. Поставить точки над «i». Просто сказать: «Вам нужно только как-нибудь вечером сесть на скорый поезд. Я буду ждать вас в Грассе. В мэрии все будет уже готово. И через два часа после вашего приезда вы снова сядете в парижский поезд. Но с нужными документами».

Доволен своим вчерашним письмом. Хорошо сделал, что не отложил его на сегодня. Плохой день. Очень устал от новой процедуры.

Как это глупо: ведь достаточно простой формальности, чтобы избавить раз навсегда этого ребенка от трудностей, которые, возможно, ждут его в дальнейшем. Невероятно, чтоб я не сумел убедить Женни.

25 июля

Газеты. Мы заняли Шато-Тьеири. Поражение немцев или стратегический маневр? Швейцарская печать утверждает, что наступление Фоша еще не началось. Сейчас речь будто бы идет о том, чтобы помешать отступлению немцев. Затишье на английском фронте делает эту гипотезу вероятной.

Все время приступы удушья, страха. Температура колеблется. Подавленность.

Суббота, 27

Плохая ночь. Плохие вести. Женни упрямится.

После обеда

Укол. Два часа передышки.

Письмо Женни. Она не хочет понять. Упорствует. Простая запись в нотариальной книге ее женскому уму кажется чуть ли не отречением. («Если бы я могла спросить Жака, он, конечно, отсоветовал бы мне сдавать позиции в угоду самым низким предрассудкам... Я считала бы, что изменила ему, если бы...» и т. д.).

Досадно, что столько времени потеряно в спорах. Чем позже она согласится, тем меньше я буду в состоянии принять все необходимые меры (получить бумаги, добиться, чтобы заключение брака происходило здесь, сделать оглашение и т. д.).

Слишком слаб, чтобы писать ей сегодня. Решил, что лучше перевести вопрос в область чувств. Прежде всего подчеркнуть, какую радость даст мне сознание, что я облегчил мальчику жизнь. Даже преувеличить беспокойство. Умолять Женни не отказывать мне в этой последней радости и т. д...

28-е

Письмо написано и отправлено. Оно стоило мне мучительных усилий.

29 июля

Газеты. Тесним немцев на всем фронте от Эн до Веля. Марна очищена от неприятеля. Френ, лес Фер, Вильнев, и Роншер, и Роминьи, и Виль-ан-Тарденуа.

Как хорошо я помню все эти места!

Вот какой вид открывается передо мною: кругом сады, такие же, как наш; плоды на апельсиновых деревьях, лимонные деревья, сливы; дальше — ободранные стволы эвкалиптов, растрепанные тамариски и еще какие-то растения с длинными листьями, вроде ревеня, и глиняные вазы, из которых каскадами спадают розы и герань. Буйство красок: все оттенки радуги. Дома блестят на солнце за кипарисовыми оградами, и каждый дом другого цвета: белые, розовые, оранжевые, лиловые. Киноварь черепиц спорит с синевой неба. Деревянные веранды — коричневые, пурпурные, темно-зеленые! Справа ближайший к нам дом выкрашен охрой, а ставни — светло-голубые. А другой — ярко-белый дом, с ядовито-зелеными жалюзи и фиолетовым навесом!

Как хорошо было бы построить здесь дом, найти здесь счастье, прожить здесь всю жизнь!..

В темной кипарисовой аллее солнечный луч вдруг зажигает непреносимым для глаз блеском фарфоровые чашки изоляторов на телеграфных столбах.

30, вечер

Сегодня спускался вниз, первый раз за два дня.

Обессилен, отупел. Гляжу кругом, на жизнь, на людей, на мир, и все мне кажется удивительным, непонятным, с тех пор как мне отказано в будущем.

Наступление, кажется, уже приостановилось.

Распространяют слухи, будто русские (Ленин) объявили войну союзникам.

Вечер

Вспоминаю: после смерти отца я взял себе его бумагу для писем; месяца через три я писал записку патрону, перевернул листок, и вдруг — строчка, начатая отцом: «Понедельник. Милостивый государь! Только сегодня я получил...» Страшная встреча, как будто смерть была рядом, осязаемо близко... Отцовский мелкий, аккуратный почерк, несколько живых еще слов, след движения, оборвавшегося навсегда!

## А В Г У С Т

1 августа, 18

Наступление в Тарденуа<sup>1</sup> продолжается. Добываются ли они успеха? И какой ценой? Заметное продвижение на участке между Суассоном и Реймсом. Бардо получил с Соммы письмо; ему пишут,

<sup>1</sup> Область дореволюционной Франции, входящая теперь в департамент Эн.

что еще одно наступление, англо-французское, готовится на восток от Амьена. (Амьен в августе 1914 года... Неописуемая сумятица! Но мне она пошла на пользу. Страшно сказать, сколько я нахватали морфия и кокаина, при содействии Рюо, в госпитальной аптеке, но все-таки обеспечил свой пункт! И как мне пригодились наркотики через две недели, во время Марны!)

Палата вотировала призыв 20 года. Значит, попадает наш Лулу. Бедный малый, не раз еще он вспомнит госпиталь г-жи де Фонтанен.

2 августа

Нет никакой надежды сломить упорство Женни. Окончательный отказ. Письмо короткое, нежное, но непоколебимое. Ничего не поделаешь... (Прошли те времена, когда я не переносил ни малейшей неудачи. Сдаюсь.) Свой отказ она уже возводит в принцип, и — вот не ожидал! — в принцип революционный... Она не побоялась написать: «Жан-Поль незаконнорожденный, и пусть он остается незаконнорожденным. Если это ненормальное положение когда-либо — пусть даже в раннем детстве — поставит Жан-Поля перед необходимостью борьбы против общества, тем лучше: Жак не мог бы пожелать прекрасней участи для своего сына!» (Может быть, и так... Пусть будет так! И пусть торжествует, даже после смерти Жака, дух возмущения, который он носил в себе!)

3. Ночь

Больше всего я люблю писать в эти часы. Мысли яснее, чем днем, ничто не нарушает моего одиночества.

Женни. Не касаясь содержания ее писем, должен признать, что они необыкновенно последовательны и цельны. Чувствуется сила, благородство. Вызывает уважение.

### Жан-Полю:

Когда ты вырастешь, ты будешь восхищаться материнскими письмами, мой мальчик, если тебе придет когда-нибудь охота заглянуть в бумаги дяди Антуана. Я знаю, что в нашем споре ты не колеблясь станешь на сторону матери. Так и должно быть. Мужество, величие сердца на ее, а не на моей стороне. Я прошу только одного: чтобы ты понял меня, чтобы ты видел в моей настойчивости не просто оппортунистическую и ретроградную уступку буржуазным предрассудкам. Боюсь, что тому поколению, которое идет нам на смену и к которому принадлежишь ты, придется во всех областях столкнуться с почти неодолимыми трудностями. Что по сравнению с ними те трудности, с которыми сталкивались мы — твой отец и я! Эта мысль, мой мальчик, терзает меня. Меня не будет здесь, и я не смогу помочь тебе в этой борьбе. Мне было бы радостно думать, что я хоть что-то для тебя сделал. Думать, что, обеспечив твоё положение в обществе, дав тебе законное имя, имя твоего отца,

я устранил с твоего пути одно из ожидающих тебя препятствий, единственное, которое было мне под силу; впрочем, может быть, твоя мама права, и я действительно все немного преувеличила.

4 августа

Газеты. Суассон снова в наших руках. Он был у немцев с конца марта. Наши войска сейчас на Эн и на Вёле перед Фимом. (Фим — еще одно воспоминание! Здесь я встретил брата Сандерса, который направлялся на передовые позиции и больше не вернулся.)

Мудрая речь старика Ленсдауна.<sup>1</sup> Послушают ли ее? Если не произойдет ничего непредвиденного, — таково также и мнение Гуарана, — попытка переговоров будет сделана еще до зимы. Но Клемансо останется глухим к этим призывам, пока не козырнет своей последней картой — американцами.

Россия... Там тоже происходят большие события. Десант союзников в Архангельске, десант японцев во Владивостоке. Но при нынешних условиях, когда оттуда почти не пропускают информацию, так трудно разобраться в русском хаосе!

Вечер

Сегр вернулся из Марселя. В генеральном штабе говорят, что первый этап контрнаступления союзников, начатого 18 июля, приходит к концу. Поставленные командованием цели, как говорят, достигнуты: фронт выпрямлен от Уазы до Мааса; устранен клин, который создавал угрозу неожиданного удара. Означает ли это, что мы останемся на новых позициях в течение всей зимы?

5 августа

Я, как ни странно, почти рад действию нового успокаивающего средства, прописанного Мазе. Бессонница прежняя, но пульс ровный, нервы спокойнее, чувствительность не так обострена. Голова ясная, мысль работает непрерывно, с удовлетворенной силой. (Так по крайней мере мне кажется.) Сна нет, зато ночи приятные, особенно по сравнению с прежними.

Мой дневник от этого выигрывает.

Жозеф уехал в отпуск. Заменяет его старый Людовик. От его болтовни буквально лопается череп. Когда он приходит убирать комнату, я скрываюсь. Сегодня утром не успел вовремя встать из-за прижиганий и попал в его лапы. Был особенно утомителен, речь все время прерывалась икотой, каким-то лаем, и т. д. и т. д., потому что ему взбрело в голову натирать у меня паркет. Плясал передо мной на двух щетках что-то вроде жиги и болтал, болтал без умолку...

<sup>1</sup> Ленсдаун, Генри Чарльз, маркиз (1845—1927) — английский буржуазный политический деятель. В 1915—1916 гг. министр без портфеля; в 1918 г. сторецник переговоров и примирения с Германией.

Рассказывал мне о своем детстве в Савойе. И вечный припев: «Хорошее было время, господин доктор». (Верно, Людовик, я тоже теперь каждый раз, когда в памяти воскресает какая-нибудь минута прошлого, даже самая неприятная, твержу: «Хорошее было время».)

Как и Клотильда, он то и дело употребляет сочные выражения, но не такие жаргонные. Например, сказал мне, что его отец был подгонщиком. Это тот, кто в портновской мастерской подгоняет, сшиивает куски, на которые разрезал ткань закройщик. Удачное словцо! Сколько людей (Жак...) нуждаются в таком подгонщике, чтобы привести в систему то, что ими познано!

В одном из последних писем Женни говорит о Жаке, об его «доктрине». На редкость неподходящее слово. Воздерживаюсь начинать с ней полемику по этому поводу. Но мне кажется вредным, что воспитательница Жан-Поля решается, не колеблясь, называть «доктриной» Жака несколько случайных мыслей, которыми он поделился с ней и которые она более или менее точно затвердила.

Если ты прочтешь когда-нибудь, Жан-Поль, эти слова, не выводи поспешного заключения, не думай, что мысли твоего отца казались несообразными дяде Антуану. Я хочу только сказать, что взгляды Жака, который был слишком впечатительным человеком, могли иной раз показаться нетвердыми, даже противоречивыми; он рассуждал иной раз так, будто и сам не умел свести концы с концами. Не умел во всяком случае составить себе четкое, устойчивое, ясное представление о вещах, выработать определенное мнение. И в нем самом сочетались самые разнородные, непримиримые, хотя в равной мере властные элементы; в этом-то и заключалось его духовное богатство, но вместе с тем ему было трудно сделать выбор, преодолеть разброд. Отсюда его вечное беспокойство и та болезненная страсть, которая никогда его не покидала.

Впрочем, все мы, быть может, в той или иной степени схожи с ним в этом отношении. Мы — это те, которым никогда не удавалось примкнуть к какой-нибудь заранее данной, готовой системе; те, которые не сумели в определенный момент своего развития принять определенное мировоззрение, убеждение, веру. Словом, не сумели выбрать для себя какую-нибудь устойчивую позицию, неприкоснувшую и не подлежащую дискуссии. Так вот, эти люди обречены вечно пересматривать уже найденные точки опоры и заново искать равновесия, любого равновесия, и так без конца...

6 августа, семь часов вечера

Опять Людовик. Теми же самыми руками, которыми онставил термометр в номере сорок девятым, мыл плевательницы в номере пятьдесят пятом и пятьдесят седьмом, лезет сейчас в сахарницу, чтобы подсластить мой липовый чай. И я говорю: «Благодарю, Людовик...»

День провел средне. Но я уже не вправе быть требовательным. Вечером укол. Легче.

Не очень страдаю, но по-прежнему бессонница. То, что я написал вчера для Жан-Поля, довольно-таки неточно в той части, где речь идет обо мне. Не подумай, Жан-Поль, что я всю жизнь только и делал, что искал равновесия. Нет. Благодаря своему ремеслу я всегда чувствовал прочную почву под ногами. Не поддавался тревоге.

О самом себе.

Уже давно (еще в первый год моих занятий медициной) я, не придерживаясь никаких, ни философских, ни религиозных догм, довольно удачно примирил все мои склонности, создал себе прочную основу жизни, мысли, своего рода мораль. Рамки ограниченные, но я не страдал от этой ограниченности. Даже находил в ней некоторое успокоение. Удовлетворяться жизнью в тех рамках, которые я сам себе поставил, стало для меня условием благополучия, необходимым для моей работы. Таким образом, я уже тогда удобно обосновался в кругу десятка принципов (я пишу «принципов» за неимением лучшего слова; принцип — выражение претенциозное и вымученное) — тех принципов, которые отвечали требованиям моей натуры и моего существования в качестве врача. (Грубо говоря: элементарная философия человека действия, основанная на культе энергии, упражнения воли и т. д.).

Это особенно верно для довоенного периода. Верно даже для периода войны, по крайней мере до моего первого ранения. Тогда (находясь на излечении в госпитале в Сен-Дизье) я начал пересматривать свои убеждения и жизненные методы, которые до сего времени обеспечивали мне известное равновесие, удобнейшую гармонию и позволяли с успехом использовать свои способности.

Устал. Вряд ли следует продолжать подобный анализ. Нет нужного подъема. Начинаю путаться. И чем дальше я углубляюсь, тем больше. Все это уже кажется мне спорным.

Пример. Я думаю о некоторых наиболее важных своих поступках. И убеждаюсь, что те, которые я совершил с полной свободой, как раз и были в кричащем противоречии с моими пресловутыми принципами. В решительную минуту я всегда приходил к выводам, которые моя «этика» не оправдывала. К выводам, которые подсказывала мне какая-то внутренняя сила, более властная, чем все мои привычки, все рассуждения, вследствие чего я вообще стал сомневаться в этой «этике» и в самом себе и не без тревоги думал: «Да и впрямь ли я тот человек, каким себя считаю?» (Тревога, впрочем, быстро проходила, и я вновь обретал обычное равновесие в обычных положениях.)

Здесь же, сегодня вечером (уединение, давность событий), я понял довольно ясно, что благодаря этим жизненным правилам, благодаря привычкам, которые вырабатывались в силу подчинения правилам, я искусственно, сам того не замечая, искажил свой первоначальный облик и создал себе некую личину. И личина мало-помalu изменила мой врожденный характер. Постепенно (да и не было

досуга мудрить над собой) я без труда приспособился к этому выработанному мной самим характеру. Но не сомневаюсь, что в иные серьезные минуты те решения, которые я принимал свободно, действительно были выражением моего подлинного характера, внезапно обнажали реальную сущность моей натуры.

(Рад, что разобрался в этих вопросах.)

Подозреваю, впрочем, что тут я не одинок. По-видимому, для того чтобы обнаружить истинную природу человека, надо искать не в обычном его поведении, а в тех непредвиденных поступках, которые он совершает неожиданно для самого себя; как бы ни были они необъяснимы, а иной раз даже неблаговидны, — именно в них открывается подлинное.

Склонен думать, что Жак в этом отношении был не таков. Именно его сокровенная природа (*подлинное*) почти всегда определяла его жизненное поведение. Отсюда для тех, кто знал его при жизни, впечатление быстрой смены настроений, неожиданные реакции и внешняя непоследовательность.

Первый проблеск дня за окном. Еще одна ночь — еще одной ночью меньше... Попробую забыться (на этот раз не слишком жалею о том, что не спал).

8 августа, в саду

28° в тени. Жара сильная, но легкая, живительная. Чудесный климат. (Непонятно, почему огромная часть человечества соглашается жить на неласковом севере!)

Сегодня за столом я слушал, как они разговаривали о будущем. Все они верят, — или притворяются, — что отравленный газами все-таки не выбывает навсегда из игры. Верят также, что смогут начать свою прежнюю жизнь, и чуть ли не с того самого момента, на котором оборвала ее мобилизация. Как будто мир только того и ждет, чтобы после окончания бойни снова вернуться к прежней жизни. Боюсь, что действительность грубо разрушит их иллюзии.

Но больше всего меня удивляет тон, которым они говорят о своей гражданской деятельности. Не как о любимом, сознательно выбранном, самом близком деле. А так, как мальчишки говорят о школьных уроках или — еще хуже — как каторжник о своей тачке. Жалости достойно! Нет ничего более страшного, чем войти в жизнь, не чувствуя ни к чему сильного призыва. Разве только одно хуже: войти в жизнь с ложно понятым призванием.

*Жан-Полю:*

Мой мальчик, боясь ложного призыва. Чаще всего именно оно — причина неудавшейся жизни, горестной старости.

Я вижу тебя юношей шестнадцати — семнадцати лет. Возраст великого смятения. Возраст, когда разум начинает впервые осознавать себя, преувеличивать свою силу. Возраст, когда, быть может, громко заговорит сердце и когда трудно станет умерять его порывы. Воз-

раст, когда разум, оглушенный, опьяненный внезапно открывшимися перед ним горизонтами, остановится в нерешительности на распутье многих дорог. Возраст, когда человек еще слаб, но, считая себя сильным, уже испытывает потребность найти прочную основу, точку опоры и готов в своей жадности принять первые попавшиеся жизненные принципы, первую попавшуюся систему взглядов. Тогда берегись! Ибо, кроме того, именно в этом возрасте — как ты и сам убедишься — твое воображение вступит в неистовую борьбу с реальностью, захочет подмять ее под себя и даже прямо подменить истинное ложным. Ты будешь говорить: «Я знаю...», «Я чувствую...», «Я уверен...» Так помни же! Мальчик в семнадцать лет обычно подобен мореходу, который доверился взбесившейся компасной стрелке. Ибо он свято верит, что его юношеские вкусы врождены ему, что он должен руководствоваться ими, что они укажут точное направление, какому надо следовать. И он даже не подозревает, что его тащат за собой, как на буксире, ложные, недолговечные склонности, прихоть. Он и не подозревает, что эти склонности, которые он считает подлинно своими, глубоко чужды ему: он подобрал их случайно, взял как платье с чужого плеча, усвоил под влиянием какой-нибудь встречи с героями книг или с самой жизнью.

Как убережешься ты от этих опасностей? Услыхишь ли ты мои советы? Я боюсь за тебя.

Прежде всего, мне хотелось бы, чтобы ты не отверг слишком рано и слишком нетерпеливо советы твоей семьи, твоих учителей, твоих близких, которые, как ты решишь, неспособны понять тебя, но которые, может быть, знают тебя гораздо лучше, чем ты сам себя знаешь. Тебя раздражают их поучения? Но не потому ли, что ты сам смутно чувствуешь: они правы.

Особенно мне бы хотелось защитить тебя от тебя же самого. Бойся больше всего на свете обмануться в самом себе. Поверить внешнему. Будь искренним любой ценой, и тогда искренность станет твоим внутренним оком, пойдет тебе на благо. Пойми, попытайся понять следующее: для мальчика твоей среды — я хочу сказать: развитого, много читающего, живущего в непрерывном общении с людьми, которые свободны в своих суждениях и руководствуются преимущественно интеллектом, — представления о некоторых вещах, о некоторых чувствах обгоняют опыт. Вы постигаете умом, воображением тысячи чувств, не испытав их на практике, непосредственно. Вы сами не подозреваете об этом. Вы не отличаете «знать» от «испытать». Вы полагаете, что испытываете такое-то чувство или потребность; на самом же деле вы только знаете, что такие-то чувства и потребности испытываются людьми.

Поговорим об этом... Призвание! Возьмем пример. В десять — двенадцать лет ты, конечно, был уверен, что станешь моряком, открывателем новых земель, потому что ты страстно любил рассказы о приключениях. Теперь ты научился шевелить мозгами и улыбаешься, вспоминая эти детские желания. Знай же, что в шестнадцать, в семнадцать лет тебя подстерегают совершенно такие же

заблуждения. Будь бдительным, не доверяй своим склонностям. Не воображай слишком скоропалительно, что ты художник, или человек действия, или что ты жертва большой любви, только потому, что ты не раз *восхищался* в книгах и в жизни поэтами, великими сози-  
дателями и влюбленными. Терпеливо отыщи в себе то, что состав-  
ляет сущность твоего «я». Попытайся постепенно раскрыть свою  
подлинную личность. Это нелегко. И многим удается слишком поздно. Но время у тебя есть, не торопись. Ты долго будешь иди-  
ощупью, прежде чем узнаешь, кто ты. Но когда ты найдешь самого  
себя, тогда быстро сбрось чужие одеяния. Прими себя целиком, за-  
меть, где предел твоих возможностей и чего тебе недостает. И тогда  
приложи все усилия, чтобы развитие шло в соответствии с твоим  
назначением, шло нормально, без плутней с самим собой. Ибо по-  
знать себя и принять — это вовсе не значит обречь себя на пассив-  
ность, отказаться от самосовершенствования. Совсем напротив! Это  
значит не упускать ни одного шанса достичь своего «максимума»,  
ибо отныне ты устремишься по верному пути, по тому пути, где пло-  
дотворны все усилия. Расширяй границы своего «я» как только  
можешь. Но только лишь границы естественные; пойми, каковы они,  
и только тогда расширяй их. Неудача постигает чаще всего тех, кто  
с первого шага не понял себя, обманулся и кинулся по чужому следу;  
или тех, кто, избрав правильный путь, не сумел или не отважился  
держаться в рамках возможного.

9 августа

Газеты. Оптимистическая речь Ллойд-Джорджа. Оптимизм без-  
условно преувеличенный, но продиктованный интересами дела. Во-  
преки всему, события последних трех недель на французском фронте  
превзошли все ожидания. (Разговор с Рюмелем в Париже.) Вчера,  
по-видимому, началось наступление в Пикардии, и американцы уже  
где-то на горизонте. План Першинга,<sup>1</sup> говорят, заключается в том,  
чтобы предоставить Фошу выпрямить линию фронта и расчистить  
на большом пространстве подступы к Парижу; потом, пока фран-  
цузы и англичане будут удерживать свои прежние позиции, — мас-  
совый бросок американцев на Эльзас, с целью перейти границу и  
вторгнуться в Германию. Говорят, что война будет выиграна бла-  
годаря изобретению какого-то нового газа, который можно применять  
только на вражеской территории, потому что он разрушает все, уби-  
вает на несколько лет всякую растительность и т. д. (За столом все-  
общее ликование. Эти несчастные, отравленные газом люди, из кото-  
рых большинство никогда уже не сможет выздороветь, радуются при  
мысли, что изобретен новый газ!)

Дарро прочел нам письмо от своего брата, переводчика при аме-  
риканских частях. Пишет, что его бесит ребяческая вера американ-

<sup>1</sup> Перши ng, Джон (1860—1929) — американский генерал, в 1918 г.  
главнокомандующий американскими войсками во Франции.

цев. Офицеры и солдаты убеждены, что достаточно им пойти в атаку, чтобы незамедлительно и окончательно победить. Рассказывают также, что американцы решили не возиться с пленными и цинично заявляют, что каждая партия пленных, до пятисот человек, будет расстреливаться из пулеметов (что не мешает, однако, этим проповедникам со свирепой улыбкой и ясными глазами твердить при всяком удобном и неудобном случае, что они сражаются за Справедливость и Право).

10 августа

Снова стал читать. Удастся сосредоточиться без большого напряжения. Особенно ночью. Дочитываю превосходную работу некоего Доусона («Мед. бюлл.», Лондон) о последствиях отравления ипритом, сравнительно с другими отравляющими веществами. Его наблюдения во многом совпадают с моими. Вторичная инфекция, имеющая тенденцию переходить в хроническую, и т. д. Хочется написать ему, послать копию некоторых записей из черной тетрадки. Но я боюсь начинать переписку. Не уверен, что смогу довести ее до конца. Хотя, вот уже десять дней, чувствую себя крепче. Конечно, не коренное улучшение, но боли слабее. Период временного улучшения. По сравнению с предыдущими неделями, эта — почти сносная. Не будь каждое утро утомительных процедур Бардо, и приступов удушья (особенно по вечерам, при заходе солнца), и этой бессонницы... Но бессонница менее мучительна, когда я могу читать, как, например, сегодня ночью. А также — благодаря черной тетрадке.

Перед завтраком, у окна

Величие пейзажа, этих уходящих к самому горизонту холмов. Сотни узких возделанных полосок уступами стремительно взбираются к верхушке холмов. Зеленеющий склон, ровно изрезанный ярко-белыми линиями низеньких каменных заборчиков. И выше — ожерелье голых, серых, как пемза, скал, местами такого нежного сиренево-желтого оттенка. А ниже, вдалеке, как раз там, где скалы переходят в возделанные поля, маленькая деревушка на склоне горы: горстка гравия, сверкающего под солнцем между домами и полями. Пока я смотрю, тень пробегающих по небу облаков кладет на эти ярко-зеленые равнины темные, широкие, тихо скользящие полосы.

Долго ли я еще буду видеть все это?

11-е

Мазе принадлежит к тому же типу врачей, что и Дезавель, главный врач в Сен-Дизье, который наотрез отказывается возиться с больными, когда он «чувствует», что они обречены. Обычно он говорил: «Хороший тубер должен иметь нюх, уловить тот момент, когда больной перестает быть интересным».

Представляю ли я еще интерес в глазах Мазе? И надолго ли? С тех пор как у Ланглуа абсцессы, Мазе бросил заходить к нему.

Наступление на Сомме, кажется, развертывается успешно. Англичане не захотели остаться в долгу. Плато Сантер снова в наших руках. Магистраль Париж — Амьен очищена. Битва при Мондидье. (Все эти названия — Мондидье, Лассини, Рессон-сюр-Мац, — сколько тут воспоминаний 16-го года!..)

Гуарен настроен крайне оптимистически. Утверждает, что сейчас все надежды законны. Согласен с ним. (Думаю, что многие сейчас удивлены. И в первую очередь — все наши великие правители, военные и гражданские, которые считали весной, что все погибло! Теперь, должно быть, подымут голову. Только бы не подняли слишком высоко.)

12 августа, вечер

Весь вечер переписывал выдержки из черной тетрадки для письма к Доусону.

Газеты. Англичане под Перонном.<sup>1</sup> Бедный Перонн! Что-то от него останется? (Я так живо помню эвакуацию 14-го года. Город во тьме, факелы мечутся в ночи, отступающие кавалерийские части, измученные люди, хромые одры... И весь нижний этаж в мэрии и даже тротуары возле мэрии — все сплошь заставлено носилками.)

13, вечер

Дыхание сегодня затруднено. Однако удалось кончить выписки, которые я посыпало Доусону.

Перечел записи, они кажутся мне цennыми. Даже очень цennыми. Развитие болезни видно наглядно, как на графике. Все это составляет крайне важную документацию. Быть может, единственную в своем роде. Быть может, она призвана стать руководящей, стать надолго основой научных исследований в этом направлении. Я должен побороть искушение и не бросать этой работы. Должен вести ее до последней возможности, должен проанализировать случай до конца. Оставить после себя полное описание случая, почти еще не изученного.

В иные минуты эта мысль меня поддерживает. Иногда же я самым жалким образом взвинчиваю себя, лишь бы только найти в этих записях каплю утешения...

1 час ночи

Воспоминание. (Любопытно бывает прервать ход своих рассуждений, чтобы затем восстановить всю цепь ассоциаций, идя в обратном направлении по пути, проделанному мыслью, до отправной точки.)

---

<sup>1</sup> Город в департаменте Соммы, к востоку от Амьена.

Сегодня вечером, когда Людовик входил ко мне с подносом, крышечка солонки, очевидно слабо завинченная, упала, со звоном ударившись о тарелку.

Я тогда это едва заметил. Но весь вечер, и во время процедур, и умываясь на ночь, и переписывая выдержки, я думал об отце. Длинная цепь воспоминаний, — наши семейные молчаливые обеды на Университетской улице, мадмуазель де Вез, ее крохотные ручки на краю стола, наши воскресные завтраки в Мезон-Лафите, широко открытое окно, залитый солнцем сад и т. д. Вспомнил все.

Почему? Сейчас я понял — почему. Потому что звон фарфоровой крышечки напомнил мне (механически), как отец, садясь за стол, тяжело опускался в кресло, а его пенсне, висящее на шнурке, стукалось о край тарелки с таким же характерным звяканьем.

Должен написать несколько слов об отце для Жан-Поля. Никто никогда не расскажет ему об его деде с отцовской стороны.

Его никто не любил... Даже сыновья. Его трудно было любить. Я сам осуждал его очень сурово. Но был ли я прав? Теперь мне кажется, что те черты, которые мешали его любить, были лишь оборотной стороной, или, вернее, преувеличением, каких-то положительных свойств, каких-то суровых добродетелей. Я не могу сказать, что его жизнь вызывала уважение; и однако, если посмотреть под известным углом, вся она была посвящена добру, добру в его понимании этого слова. Его странности отвращали людей, а его добродетели не привлекали к нему ничьих симпатий. Его добродетелей чурались даже больше, чем самых ужасных пороков, и тут он сам был виноват... Думаю, что он сознавал это и жестоко страдал от своего одиночества.

Как-нибудь, Жан-Поль, я наберусь сил и объясню тебе, что за человек был твой дед Тибо.

14 августа, утром

Снова старый болтун Людовик. Он сказал, прикрывая огромной руцищей свою усатую физиономию: «Уж верьте мне, господин доктор, лейтенант Дарро настоящий симулянт».

Я, конечно, не согласился. Людовик убежденно: «Что есть, то есть». И пояснил, что когда Дарро жил во флигеле, он, Людовик, замечал, что Дарро, измеряя температуру, всегда «жутил»: прежде чем поставить градусник, он минут пятнадцать делал резкие движения, а когда записывал температуру, прибавлял себе на листке несколько десятых и т. д.

Я не согласен. Но... Я сам заметил кое-какие неблаговидные вещи. Например, в зале для ингаляции. Небрежность Дарро во время процедур. Никогда не досиживает до конца, особенно если Бардо или Мазе чем-нибудь заняты. И вообще увиливает от всех процедур, которые ему прописывают, и т. д. Небрежность тем более странная, что Дарро очень беспокоится о себе, часто советуется

со мной, говорит о своем «безнадежно погибшем здоровье» и пр. (У Дарро нет серьезных нарушений, но у него скверно с бронхами, и улучшения пока не заметно.)

*Перед вечером, в огороде*

Я люблю посидеть здесь на скамейке. Тенистая кипарисовая аллея. Камышовые плетения. Длинные узкие грядки. Журчание фонтана. И суетня Пьера и Венсана с лейками в руках.

Упорно думаю о словах Людовика. Если верно, что Дарро симулянт, — дурно это или нет?

Не так-то просто ответить. Как для кого! Для Людовика, у которого оба сына убиты на войне, это дурно, это даже преступление, вроде дезертирства. Он считает, что Дарро надо предать суду. Для отца Дарро — это, конечно, тоже преступление. (Я его немного знаю. Он несколько раз приезжал к сыну. Пастор из Авиньона. Старый пуританин, патриот. Уговорил младшего сына идти добровольцем.) Да, без сомнения, для отца Дарро это дурно. Ну, а для других? Ну, скажем, для Бардо? Он лечит Дарро в течение четырех месяцев, привязался к нему. Допустим, он заметит, как тот изош्�ряется, — захочет ли он наказать обман? Или посмотрит сквозь пальцы? Ну, а сам Дарро, если он действительно повинен в «жульничестве», — чувствует ли он, что это дурно?

Ну, а для меня? Не знаю. Дурно ли это? Конечно, я не могу сказать, что это хорошо. Инстинктивное отвращение к окопавшимся в госпиталях, к таким, которые ухитряются не выздоравливать. Но я не решусь категорически утверждать: да, это дурно.

Странная вещь. Интересно было бы разобраться — хорошо или дурно?

Прежде всего надо установить: считаю ли я или не считаю Дарро способным играть такую игру? Он мне симпатичен. Добрый, вдумчивый, неглупый мальчик и, несомненно, честный. Я отношусь к нему с уважением, будь он даже «симулянт». Он не раз откровенно беседовал со мной. О своем отце, о юношеских годах, о страшном протестантском воспитании, калечашем сексуальную жизнь подростка. О своей женитьбе. Однажды он рассказал мне, как в вечер мобилизации он проезжал через Лион вместе с женой. (Они ехали из Авиньона, где отдыхали. На следующий день на заре Дарро должен был явиться в свой полк. С трудом они нашли комнату в каком-то подозрительном отеле. Город глухо шумел, наполнялся военной суетой. Помню, как он мне рассказывал: «Тереза дрожала от страха, она крепко сжала зубы, чтобы не разреветься. Всю ночь я пролежал в ее объятиях; и рыдал, как мальчишка. Никогда не забуду этого. Она не могла говорить и только тихонько гладила мои волосы. А по мостовой всю ночь тянулась без конца артиллерия, все кругом грохотало, как в аду».)

Может быть, и симулянт — сейчас. Но не трус. Три с половиной года в пехотных частях, два ранения, три упоминания в приказе по

армии и, наконец, отравление газом на О-де-Мез.<sup>1</sup> Женился за полгода до войны. Ребенок. У жены хрупкое здоровье. Состояния никакого. Скверная службишка по министерству просвещения в Марселе. В феврале он был отравлен газами, легко. Сначала лечился в Труа, и его жена (деталь, по-моему, немаловажная) поселилась там же; они снова были вместе, целый долгий месяц. Потом его послали сюда, за тысячу километров от войны. Ему вернули голубое небо, солнце, беспечную жизнь... Я так ясно представляю себе, что должно происходить в нем!.. Если он даже решил прибегнуть к любым мерам, лишь бы затянуть выздоровление, продлить свою болезнь как можно дольше, — а ведь мир, быть может, уже не за горами, — ему, выросшему в набожной протестантской семье, это, должно быть, далось не легко, не без внутренней борьбы. И если он все же решил спастись любой ценой, рискуя даже ухудшить свое здоровье, пренебрегая лечением, — хорошо ли это? Или дурно?

Кто может ответить?

Если он и решился на это, я не хочу лишать его своего уважения.

#### Полночь

Бессонница, бессонница. В эти черные часы мысли цепляются одна за другую, и так до бесконечности. Какой-то инстинкт самосохранения помогает мне всякий раз, при малейшей возможности, отвлекать мысль от себя самого, от «призраков».

Вся эта история с Дарро все же довольно важна. Я подразумеваю — важна для меня, важна потому, что она поднимает множество «моих» проблем.

Замечу попутно: я не верю больше в ответственность.

Верил ли я в нее когда-нибудь? Да, конечно, в той мере, в какой может верить врач. (Для нас, врачей, границы ответственности никогда не совпадают с теми, которые устанавливает господствующее мнение. Мне вспоминается мой спор в Вернейле<sup>2</sup> с судебным врачом, помощником полкового врача в стрелковом батальоне. Мы, врачи, слишком хорошо знаем, что наши поступки определяются тем, каковы мы сами и каково наше окружение. Ответственны за что? За то, что унаследовали от родителей? За то, что дано воспитанием? За примеры, бывшие перед глазами? За случайно сложившиеся обстоятельства? Конечно — нет. Это яснее ясного.)

Но я всегда жил так, как будто верил в мою личную полную ответственность. И во мне всегда было сильно чувство — очевидно, сказывалось христианское воспитание — добрых и злых поступков. (Впрочем, не без послаблений: стремление снять с себя, в известной степени, ответственность за совершенные мною ошибки и, с другой стороны, непременно поставить себе в заслугу хорошие поступки.)

Все это довольно противоречиво.

<sup>1</sup> Цепь холмов, тянувшаяся с севера на юг к востоку от Вердена.

<sup>2</sup> Город в департаменте Эры (Нормандия), к юго-западу от Руана.

## Жан-Полю:

Не особенно терзайся противоречиями. Они хоть и неудобны, но полезны. Именно в те минуты, когда мой разум находился в тисках неустранимых противоречий, именно тогда я чувствовал себя ближе, чем когда-либо, к той Истине с большой буквы, которая вечно ускользает от нас.

И если бы мне было суждено «вернуться к жизни», я хотел бы, чтобы это совершилось под знаком сомнения.

Биологическая точка зрения. Первые годы войны я не мог не поддаться искушению, — бесился, но поддавался, — искущению рассматривать нравственные и социальные проблемы с вульгарной биологической точки зрения. Например, рассуждал так: «Человек — кровожадное животное и т. д. Нейтрализовать возможный от него вред с помощью неумолимой социальной организации. Не ждать от него ничего лучшего». Даже таскал с собой в походной сумке томик старика Фабра,<sup>1</sup> который раскопал где-то в Компьене. Мне нравилось считать всех людей и самого себя какими-то большими насекомыми, созданными для войн, нападения и защиты, завоеваний, взаимопожирания и т. д... Я злобно твердил: «Пусть хоть эта война откроет тебе глаза, дуралей. Видеть мир таким, каков он есть. Вселенная: взаимодействие слепых сил, регулируемое гибелю мене стойких. Природа: кровавое поле, где взаимно пожирают друг друга отдельные особи, целые расы, инстинктивно враждующие. Ни зла, ни добра. И по отношению к человеку это не менее верно, чем по отношению к какой-нибудь кунице или ястребу, и т. д.». И кто решился бы, сидя в подземном перевязочном пункте, забитом ранеными, отрицать то, что сила торжествует над правом? (Десятки примеров. Вечер в Като.<sup>2</sup> Или атака в Перонне. Невысокая ограда. Или пункт первой помощи в Нантэйль-ле-Годуэн.<sup>3</sup> Или агония двух солдат стрелкового полка в амбаре, по дороге между Верденом и Каллонн.) Помню, что в иные минуты я бывал как пьяный, приходил в отчаяние от звериного облика мира.

Близорукость! Следовало понять, что этот мертвящий пессимизм, в который я постепенно погружался, мог завести меня в удушающую, смрадную яму.

Ложусь, может быть удастся заснуть.

Час ночи.

Нечего и думать о сне.

Этот злосчастный Дарро (а он-то ничего и не подозревает, бедняга!) виной тому, что я вот уже почти сутки как погряз в «моральных проблемах». Погряз так, как никогда за всю свою жизнь.

Как таковые, эти вопросы никогда не существовали для меня. Добро, зло. Общепринятые формулы, очень удобные, которыми я пользовался, как и все прочие, не придавая им никакого значения.

<sup>1</sup> Фабр, Жан-Анри (1823—1915) — французский энтомолог.

<sup>2</sup> Город в департаменте Нор, недалеко от франко-бельгийской границы.

<sup>3</sup> Городок в департаменте Уазы к югу от Компьена.

Понятия, никогда не заключавшие в себе никакого императива. Правила традиционной морали я принимал, но для других. Я принимал их в том смысле, что если бы, предположим, какая-нибудь революционная власть, одержав победу, объявила бы эти правила отжившими и если бы оказала мне честь и спросила моего совета, то, очень возможно, я посоветовал бы не разрушать без оглядки эту мораль, как социально необходимую. Я полагал эти правила абсолютно произвольными, но имеющими бесспорную практическую ценность для других и для общения людей между собой. А для себя — не брал их в расчет никогда. (Впрочем, трудно сказать, во что бы могла вылиться моя собственная жизненная мораль, если бы, скажем, понадобилось дать ей четкое выражение, — на что у меня не хватало ни времени, ни фантазии. Думаю, что я ограничился бы какой-нибудь растяжимой формулой, вроде следующей: «Все, что способствует моему жизненному росту, и все, что благоприятствует моему развитию, есть добро; все, что стесняет выявление моего «я», есть зло». Несколько только, что, собственно, подразумевал я под словами «жизнь» и «выявить свое «я»... Не берусь это выяснить и сейчас.)

По правде говоря, те, кто наблюдал мою жизнь, — Жак, например, или Филип, — не имели случая заметить, чтобы я разрешал себе полную свободу. Ибо, поступая так или иначе, я, как правило, всегда следовал, даже не отдавая себе отчета, тому, что принято называть «моралью порядочных людей». Однако несколько раз, впрочем не будем преувеличивать, всего, быть может, раза три-четыре за пятнадцать лет, — в иные решающие часы своего существования, личного или профессионального, — я вдруг осознавал, что моя свобода существует не только в теории. Три-четыре раза в моей жизни я оказывался внезапно перенесенным в ту сферу, где правила, которые я обычно принимал, не имели хождения, куда не было доступа разуму, где царили интуиция, импульс. Безмятежно привольная область, область высшего беспорядка; где я чувствовал себя чудесно одиноким, сильным, уверенным. Да, уверенным. Ибо я всеми силами своего существа ощущал, что становлюсь вдруг бесконечно близок к... (нелегко закончить эту мысль...) ну, хотя бы к тому, что в глазах, скажем, бога могло быть Истиной в чистом виде (и с большой буквы). Да, по крайней мере раза три на моей памяти я умышленно и решительно нарушал законы, которые одобрены носителями морали. И никогда не чувствовал угрызений совести. И теперь также думаю об этом с полным равнодушием, без малейшего огорчения. (Впрочем, должен сказать, что я крайне малоопытен в проблеме угрызений совести. Врожденная склонность: принимать свои мысли и свои поступки такими, какие они есть, как нечто вполне естественное. И законное.)

Этой ночью пишу особенно охотно. И чувствую, что мысли ясны. Если придется расплачиваться за это дурным днем, что ж, пускай.

Перечитал написанное. Долго думал об этом и о многом другом. Я ставлю перед собой и такой вопрос: если взять большинство

людей (чья жизнь в основном протекает без явного нарушения правил общепринятой морали), что сдерживает их, ставит перед ними преграду? Ибо нет среди нас никого, кто хоть раз не почувствовал бы искушения совершить поступок, называемый в общежитии «аморальным». Я исключаю, конечно, людей убежденных, верующих, то есть тех, кому твердые религиозные или философские убеждения помогают восторжествовать над кознями лукавого. Но вот прочие, что останавливает прочих? Робость? Уважение к человеку? Боязнь, что скажет сосед? Боязнь судебных преследований? Боязнь невзгод, которые они могут навлечь на себя в частной или общественной жизни своим поступком? Не отрицаю, все это, конечно, действует. Преграды эти сильны и, возможно, даже непреодолимы в глазах огромного большинства тех, кто «подвергается соблазну». Но это препятствия чисто материального порядка. И если бы не существовало других — порядка духовного, можно было бы с уверенностью сказать: коль скоро человек свободен от цепей религии, он держится положенных рамок только из страха перед жандармом или, по меньшей мере, из страха скандала. И можно, таким образом, сделать вывод, что любой неверующий, при условии, если он поставлен лицом к лицу с искушением и если обстоятельства дают ему полную уверенность в безнаказанности, непременно уступит голосу порока и совершил «зло», даже с превеликим удовлетворением. Иными словами, это значит, что соображений морали не существует и что для тех, кто не признает никакого закона божеского или человеческого, никакого религиозного или философского идеала, для тех не существует и действенного морального запрета.

Nota bene: казалось бы, в таком случае правы те, кто видит в моральном самосознании современного человека (и в нашей способности отличать то, что следует делать, от того, что не следует делать, то, что есть добро, от того, что есть зло) пережиток некоей религиозной по своей природе покорности, каковую в течение веков воспитывали в себе предшествующие поколения, пока она не стала врожденной. Допустим. Но мне кажется, что рассуждать так — значит забывать, что бог — только гипотеза, принятая человеком. Ибо человеческий разум постигает понятие добра и зла не через бога, который есть изобретение самого человека. Ибо не кто иной, как человек, приписал этот принцип богу, и человек же провозгласил его божественным предназначением. Итак, считать, что это различие — религиозного происхождения, значит тем самым признавать, что сам человек в один прекрасный день приписал его богу. А значит — оно идет от самого человека, но столь глубоко укоренилось в нем, что он почувствовал потребность возвести это различие в высший, навеки нерушимый закон.

В чем же решение?

4 часа

Писал свои nota bene, пока не сморила усталость. Проспал подряд около двух часов. Таково действие дневника и моих философских потуг.

Не помню уже, к чему я вел... Да, в чем решение? Мне казалось, что я уже пришел к какому-то ясному выводу. Но сумею ли я сейчас восстановить всю цепь своих рассуждений?

Проблема морального самосознания, его природа. Не вернее ли сказать: пережиток социальных установлений. (Быть может, это мое открытие — архивизвестно? Пусть. Для меня оно ново.)

Насколько мне кажется неверной мысль, что моральное самосознание имеет своим источником божественный закон, настолько же мне кажется правильным искать этот источник в прошлом человечества, в установлениях, которые пережили породившие их условия и поддерживаются ныне и семейной и общественной традицией одновременно. В сущности, это следы старинных исканий, попыток прежних человеческих общин организовать свою коллективную жизнь и установить социальные взаимоотношения. Остаток правил, добровольно принятых для охраны общественного порядка. Пожалуй, довольно соблазнительна и даже лестна для самолюбия мысль, что это моральное самосознание (эта способность различать добро и зло, эта способность предсуществует в каждом из нас и подчас диктует нам нелепые законы, но тем не менее принуждает нас неуклонно ей повиноваться, а иной раз управляет нашими поступками в те самые минуты, когда разум колеблется и уклоняется от решения; более того, она внушает даже самым мудрым душевые движения, которые разум отверг бы в состоянии бодрствования) — что это моральное самосознание есть пережиток какого-то исконного инстинкта человека, человека как общественного животного. Инстинкт, который увековечен в нас тысячелетиями и тысячелетиями и благодаря которому человеческое общество может совершенствоваться беспредельно.

15 августа, в саду

Лучезарный день. Звонят к вечерне. В воздухе разлит праздник. Дерзкая синева неба, дерзкий аромат цветов, дерзость горизонта, который словно дрожит в сияющем венце летнего дня. Хочется восстать против красоты мироздания, разрушать, вызывать к катастрофе! Но нет, хочется бежать, скрыться, хочется еще больше уйти в себя, страдать...

В Спа<sup>1</sup> высший военный совет: кайзер, руководители армии. Три строчки в швейцарской газете. Во французских газетах полное молчание. А ведь это, может быть, историческая дата, школьники будут ее заучивать; дата, которая может изменить весь ход войны...

Гуаран утверждает, что среди господ дипломатов многие предсказывают, что война кончится еще этой зимой.

В сводке ничего существенного. Ожидание, которое томит всех, как предгрозовая духота.

<sup>1</sup> Курорт в Бельгии, где в 1918 г. находилась ставка германского верховного командования.

Только что перечел свои вчерашние бредни, удивлен и недоволен тем, что столько писал и все впустую. В чем-то здесь сказалась ограниченность моего горизонта. И наш жалкий человеческий словарь, который, как ни вертись, всегда идет от чувств, а не от логики!

### Жан-Полю:

Не суди, мой мальчик, по этому несвязному бреду о дяде Антуане. Дяде Антуану всегда было не по себе, когда он забирался в дебри философии: он терял нить с первых же шагов... Когда я готовился в лицее Луи-ле-Гран к экзамену по философии (единственный экзамен, на котором я провалился), я пережил немало мучительных часов... и чувствовал себя как медведь, которому вздумалось jongлировать мячами!.. Вижу, что я остался таким и перед лицом смерти. И уйду я из этого мира, так и не преодолев свою органическую неспособность к абстрактным умопостроениям!..

### Около двенадцати

«Дневник» Винни я читаю без скуки, и все-таки каждую минуту внимание рассеивается, и книга выпадает у меня из рук. Издергался, бессонница. Мысли всё те же, всё в том же круге: смерть, то малое, что есть человек, то малое, что есть жизнь; загадка, над которой бьется человеческий разум, в которой он безнадежно вязнет, не в силах ее постичь. И вечно это неразрешимое «во имя чего»?

Когда я вспоминаю, чем был каждый день моей жизни, вспоминаю, чем я жертвовал ради своих больных, какую страсть вносил в исполнение своего долга, я стараюсь понять: во имя чего человек, подобный мне, свободный от всякой моральной дисциплины, вел существование, которое я вправе назвать *примерным*?

(Я твердо обещал себе, что не стану касаться проблем, которые мне не по плечу. Впрочем, не было ли тут просто желания наипростейшим способом отдельться от них?)

Во имя чего совершаются бескорыстные поступки, во имя чего — преданность, профессиональная честность и т. д.?

А во имя чего раненая львица скорее позволит добить себя, не жели бросит своих детенышей? Во имя чего свертывает свои лепестки мимоза? Во имя чего амебовидные движения лейкоцитов?.. Во имя чего окисляются металлы? Для чего?

Ни для чего, вот и все, что можно сказать. Ставить такой вопрос — значит склоняться к версии, что существует «нечто», значит попасться в ловушку метафизики... Нет! Следует признать, что познание имеет свои границы. (Ле-Дантек<sup>1</sup> и т. д.) Мудрец отказывается от «почему», ему достаточно «как». («Как» — это уже очень много!) И прежде всего, отказаться от наивного желания все сделать объяснимым, логичным. Иными словами, отказаться от желания понять

<sup>1</sup> Ле-Дантек, Феликс (1869—1917) — французский биолог-идеалист.

себя. Как будто мое «я» представляет собой некое гармоническое целое!.. (Долгое время Антуану его «я» таким и представлялось. Гордыня, свойственная всем Тибо? Вернее, самонадеянность, свойственная Антуану...) Все же в числе возможных решений существует следующее: принять моральные условия, не обманываясь насчет их истинной цены. Можно любить порядок, желать его, но не стремиться видеть в нем принцип морали и не забывать, что порядок есть не что иное, как практически необходимое условие коллективной жизни, предпосылка реального общественного благополучия. (Я говорю: порядок, чтобы не сказать: добро.)

Чувствовать, что этот порядок распоряжается тобой; и не стремиться к познанию законов, которым ты чувствуешь себя подчиненным, ибо тут бездна поводов для раздражения и гнева! Я долго верил, что настанет день, когда я разгадаю загадку. Но вот я обречен умереть, так и не поняв многоного в себе самом и в окружающем меня мире.

Верующий сказал бы: «Но это так просто!..» Не для меня!

Смертельная усталость, но сна нет. Мука бессонницы именно в этом: истерзанное тело требует отдыха любой ценой, сознание же беспорядочно работает и отгоняет сон.

Вот уже целый час как я ворочаюсь с боку на бок. С одной-единственной мыслью: «Я жил оптимистом. Я не смею умереть в сомнении и отрицании».

Мой оптимизм. Я жил оптимистом. Быть может, инстинктивно, но сегодня я сознаю это. Состояние радостного предвосхищения жизни, активного к ней доверия, — вот что поддерживало меня, окрыляло, и я думаю, что всем этим я обязан общению с наукой — источником и питательной средой моего оптимизма.

Наука. Она больше, чем просто познание. Она гармонирует с окружающим миром, с тем миром, законы коего предчувствует. (И те, кто идет по этому пути, приходят к чуду, перед которым ничто все чудеса, все экстазы религиозной веры.) Наука дает чувство глубочайшей связи, согласия с природой и тайнами природы.

Это тоже религиозное чувство? Неприятный термин, но если вдуматься...

Милосердие, надежда, вера. Аббат Векар однажды сказал мне, что я, в сущности, не отрицаю теологических добродетелей. Я возражал ему. Насчет милосердия и надежды я еще согласен, но не насчет веры. И все же... Если бы я хотел сейчас найти смысл того порыва, который нес меня непрерывно в течение пятнадцати лет, если бы я искал разгадку неистребимого доверия к жизни, быть может понятие веры не было бы таким уж далеким. Веры во что? Ну, хотя бы в возможность неограниченного, именно неограниченного роста живых форм. Веры в непрерывное движение всего сущего к высшему состоянию. Значит ли это быть стихийным «детерминистом»? Хотя бы и так. Во всяком случае я принимаю только такой «детерминизм».

16 августа

Высокая температура. Дыхание затрудненное, со свистом. Несколько раз пришлось прибегнуть к кислороду. Встал с постели, но не выходил из комнаты.

Зашел Гуаран с газетами. По-прежнему верит, что мир будет заключен еще этой зимой. Защищает свою точку зрения с большой убежденностью и умно. Странный тип! Странно слышать успокоительные речи из уст человека, который обычно кажется безнадежно озабоченным, — может быть, потому, что у него такие маленькие, вечно моргающие глазки, длинный нос и все лицо вытянуто, как морда у борзой. Кашляет и отхаркивается каждую минуту. Говорил со мной о своей работе, но холодно, как ремесленник. Удивительно! Преподаватель истории в лицее Генриха IV — казалось бы, довольно благородное занятие, могущее дать радость. Рассказывал также о своих студенческих годах в Нормальной школе. Насмешливый ум. Слишком наслаждается критикой и потому вряд ли может быть справедливым. Иногда он кажется мне неискренним. Он умен, даже слишком умен, но ум у него чересчур довольный самим собой, равнодушный к людям, черствый. При всем том он нередко бывает остроумен.

Остроумен? Есть два вида остроумных людей: одни вкладывают остроумие в смысл своих слов (Филип), у других остроумна сама манера. Гуаран принадлежит к тем, кто кажется остроумным даже когда не говорит ничего остроумного. Все дело у него в известной интонации, в манере упирать на концы слов, в забавной мимике, в недоговоренностях, в туманных намеках и, наконец, в лукавом выражении глаз, которое делает двусмысленным каждое произнесенное им слово. Можно повторить остроту Филипа, она останется ядовитой, тонкой, разящей и в устах другого человека. Не то с Гуараном. Попробуйте повторить его слова — от остроты почти ничего не остается.

17 августа

Дышать все труднее. Просвечивание. Снимок показывает, что экскурсии диафрагмы ничтожны при глубоком дыхании. Бардо на три дня ушел в отпуск. Чувствую себя больным, не могу думать ни о чем другом, кроме болезни.

19 августа

Тяжелые дни и еще более тяжелые ночи. Мазе проделал новую процедуру в отсутствие Бардо.

20 августа

Совсем разбит после процедуры.

21 августа

Нынче утром непонятное облегчение. После укола ночью спал почти пять часов подряд! Бронхи заметно очистились. Просматривал газеты.

С самого обеда — полудремота. Приступ как будто прошел. Мазе доволен.

Преследует воспоминание о Ращели. Этот прилив воспоминаний, быть может, просто свидетельствует о страшной пассивности организма?.. Раньше, когда я жил, я не вспоминал. Прошлое было для меня ничто.

### *Жан-Полю:*

Нравственность. Нравственная жизнь. Каждому следует понять, в чем его долг, понять сущность своего долга, его границы. Избрать себе путь в жизни, следя личному суждению, постоянным указаниям опыта, непрерывнымисканиям. Терпеливая самодисциплина. Идти, держа направление между относительным и абсолютным, возможным и желательным, не теряя из виду реальности, прислушиваясь к голосу глубокой мудрости, которая живет в нас.

Охранять свое «я». Не бояться впасть в ошибку. Не бояться пересматривать свой путь еще и еще. Уметь понять свои ошибки так, чтобы все ярче становился свет самопознания, все глубже — сознание своего долга.

(В сущности, нет другого долга, кроме как в отношении самого себя.)

Газеты. Англичане топчутся на месте. Мы тоже, хотя кое-где наблюдается незначительное продвижение. (Слова «незначительное продвижение» я переписал из сводки. Но слишком ясно вижу, что это означает для тех, кто «продвигается»: похожие на кратер воронки, забитые ползущими людьми ходы сообщения; некуда девать раненых...) Пришлось встать из-за процедуры. Попробую выйти к столу.

### *Ночью, при свете ночника*

Думал, что удастся уснуть. (Вчера вечером температура почти нормальная: 37,8.) Вместо этого бессонница всю ночь, ни на минуту не забылся. И вот уже — восход.

А ночь все-таки была очень хорошая.

### *Утро 22-го*

Вчера вечером испортилось электричество, писать не мог. Хочу, чтобы в моих записях осталась эта чудесная ночь, ночь падающих звезд.

Воздух был такой теплый, что около часу, поднявшись с постели, я отдернул занавески. Потом снова лег и отсюда, с подушек, глядел в прекрасное летнее небо. Ночное, бездонное. Как будто по нему вспыхивали разрывы шрапнели, потом огненный дождь, струящиеся из края в край неба звезды. Вспоминается наступление на Сомме,

траншеи в Мареокур, мои ночные бдения в августе шестнадцатого года: английские ракеты взлетали в небо наперевес падающим звездам, смешивались с ними в фантастическом фейерверке.

Вдруг я подумал (и считаю эту догадку правильной), что астроному, привыкшему жить мыслями в межпланетных пространствах, должно быть, легче умирать.

Замечтался, долго-долго раздумывал обо всем этом. Не отрывал глаз от неба. Оно необъятно, оно уходит от нас все дальше, какие бы совершенные телескопы ни изобретали ученые. Поистине умиротворяющая сила в этих мыслях! Бесконечные пространства, где медленно движутся по своим орбитам множества светил, подобных нашему солнцу, и где солнце, — которое нам кажется громадным и которое, если не ошибаюсь, в миллион раз больше земли, — есть ничто, есть всего-навсего одно из мириадов небесных тел...

Млечный Путь, звездная пыль, легионы солнц, к которым тяготеют миллиарды планет, отделенных друг от друга сотнями миллионов километров! И туманности, откуда возникнут в будущем новые и новые вереницы светил. И все-таки все эти кишащие рои миров ничто, ибо и они, как показывают расчеты астрономов, занимают бесконечно малое место в бесконечном пространстве, в том эфире, о котором мы можем только догадываться, что он весь изображен, весь кишит радиациями, пронизан действием сил притяжения, полностью нам неизвестных.

Пишу это, и воображение отказывается служить. Дух захватывает. Этой ночью в первый раз, в последний, быть может, раз, я мог думать о смерти с каким-то спокойствием, с каким-то трансцендентным равнодушием. Освободился от страхов, был почти чужд своей тленной плоти. Я — бесконечно малая и ничем не примечательная частица материи.

Дал себе слово каждую ночь смотреть на небо ради этого безмятежно спокойного состояния.

А теперь наступил день. Новый день.

#### *Днем, в саду*

С благодарностью открываю свой дневник.

Он прекрасно выполняет свое назначение: изгоняет призраки.

Все еще живу как заколдованный после той ночи и созерцания ночного неба.

Свойство взаимопроницаемости чуждо человеческим организмам. И мы так же движемся каждый по своей орбите, не сталкиваясь, не сливаюсь. Каждый — своей дорогой. Каждый — в непроницаемом одиночестве, отдельный мешок мяса и костей. Чтобы пройти свою жизнь и исчезнуть. Рождения сменяются смертями, следя железному ритму. По одному рождению в секунду — шестьдесят рождений в минуту. Свыше трех тысяч новорожденных в час и столько же смертей: каждый год три миллиона живых существ уступают место

трем миллионам новых жизней. Если действительно понять это, осознать, «освоить», можно ли беспокоиться о своей судьбе? Беспокойство эгоцентризма!

6 часов

Чувствую себя как на крыльях. Восхитительная легкость.

Частица живой материи, «парцелла», но только такая, которой дано сознавать свою «парцелярность».

Вспомнил наши бесконечные споры в Париже, когда Целлингер являлся по вечерам со своим другом, Жаном Ростаном. Бытие человека в этой огромной вселенной — одно из самых удивительных явлений. Сейчас я вижу его суть так же ясно, как в те дни, когда Ростан объяснял нам это своим резким голосом, осторожно и точно, как ученый, но и как поэт, поражая нас лирическим волнением и свежестью образов. Должно быть потому, что близка смерть, — мысли эти полны особой прелести. Внушают мне благование. Может быть, они исцелят меня от отчаяния?

Всем своим существом отвергаю метафизический обман. Небытие кажется мне наглядным, досягаемым. Я приближаюсь к нему в ужасе, все во мне противится, но ни малейшего поползновения отрицать небытие, искать спасения в нелепых надеждах.

Так ясно, как никогда прежде, сознаю свою малость. Но не чудесно ли! Я наблюдаю, как бы со стороны, это удивительное соединение молекул, которое и есть я, пока еще — есть. Я как будто вижу там, в глубине, непостижимый процесс обмена, который вот уже тридцать лет совершается в миллиардах клеточек, составляющих мое существо. Непостижимые химические реакции, превращения энергии следуют непрерывно и неведомо для меня самого в клетках мозговой коры. Им я сейчас обязан способностью мыслить, писать, всем своим существованием, как животный организм. Обязан мыслью, волей и т. д.

Все формы духовной деятельности, которыми я так гордился, не что иное, как система рефлексов, не зависящих от меня, не что иное, как естественный феномен, феномен преходящий, — чтобы прекратить навсегда его жизнь, достаточно нескольких минут клеточной асфиксии.

Вечер

Снова в постели. Спокойствие. Ясность сознания, слегка опьяненного напряженной работой.

Продолжаю размышлять о Человеке, о Жизни: испытываю восторг и удивление при мысли о том длинном органическом ряде, высшим звеном которого являюсь я. Я вижу, отступая на миллиарды веков, все ступени этой живой лестницы. Начиная с первой, с того необъяснимого и, быть может, случайного химического сочетания, которое совершилось в какое-то мгновение где-нибудь на дне теплых

морей или под обугленной корой земли. Начиная от первых проявлений жизни в первичной протоплазме и до нынешнего странного и сложного животного организма, одаренного сознанием, способного строить представления о порядке, осознавать законы разума, справедливости... вплоть до Декарта, до Вильсона.

И, наконец, эта потрясающая сознание и между тем вполне законная мысль: мысль о том, что другие биологические формы, призванные дать жизнь существам, бесконечно более совершенным, чем человек, могли погибнуть в зародыше, вследствие тех или иных космических катаклизмов. Но разве не чудо, что эта цепь организмов, высшим звеном которой является современный человек, могла развертываться на протяжении веков и до наших дней? Что она могла уцелеть, перенести тысячи геологических потрясений? Ухитрилась не стать жертвой слепого расточительства природы?

Но как долго продлится это чудо? К какому концу (неизбежному концу) движется наш род? Исчезнет ли и он в свою очередь, как исчезли трилобиты,<sup>1</sup> гигантские скорпионы и все те виды пресмыкающихся и земноводных, о существовании которых нам известно? Или же человечеству посчастливится, и оно выживет, наперекор хаосу, удержится на поверхности планеты и долго еще будет развиваться? До каких пор? До тех пор, пока солнце, остыв и остановясь, лишит его тепла, возможности дышать и жить? И каких новых успехов достигнет человечество, прежде чем исчезнуть? Ослепительная перспектива...

#### Каких успехов?

Я не могу верить в существование некоего космического плана, в котором животному, носящему название человек, отводилось бы особое место. Слишком часто я наталкивался на бессмыслицы, на противоречия природы, чтобы поверить в вечную гармонию. Никакой бог не откликался никогда на зов человечества, на его вопрошающие голоса. То, что могло казаться ответом, было лишь эхом наших призывов. Человеческий мир замкнут в себе, ограничен собой. Человеческому могуществу позволено только совершенствовать, сообразно с его замыслами и нуждами, ту ограниченную сферу, которая кажется ему громадной сравнительно с его собственной малостью, но которая ничтожна перед лицом вселенной. Поймет ли он, наконец, с помощью науки, что нужно довольствоваться этой сферой? Сумеет ли найти счастье, покой в самом сознании своей малости? Возможно. Наука способна еще на многое. Она может научить людей принять положенный им от природы удел, принять случайности, которые дали им жизнь, примириться с тем малым, что есть человек. Наука может прочно завоевать человечеству тот покой, каким наслаждаюсь я сегодня. Дать ему почти безмятежное созерцание небытия, всепоглощающего небытия, для меня уже близкого.

---

<sup>1</sup> Ископаемые ракообразные.

Пробуждение. Сон, немного более продолжительный, более глубокий, чем обычно. Утомления нет. Хорошее самочувствие, почти хорошее, если бы не выделения мокроты, которая меня буквально душит, и не свистящее дыхание...

Заснул в каком-то опьянении. Мрачном опьянении, и все же сладостном. Все, что сейчас гнетет меня снова, ночью казалось мне невесомым, неважным; небытие, близкая смерть представляли передо мной как нечто бесспорное, что исключало всякий протест. Не фатализм, нет: я чувствовал, что даже болезнь и смерть лишь приобщают меня к судьбе вселенной.

Как хорошо было бы вернуть вчерашнее спокойствие!

В саду, перед террасой, ждем завтрака. Разговоры. Граммофон. Газеты.

Боевые действия у Нуайона<sup>1</sup> и на всем фронте между Уазой и Эн. За сутки продвинулись на четыре километра. Заняли Лассиньи. Англичане отбили Альбер, Бре-сюр-Сомм.<sup>2</sup> (Как раз в Бре за домом священника погиб Делакур; нелепая смерть: шальная пуля настигла его в отхожем месте.)

#### Вечером

Добиться вчерашнего спокойствия. Нынче, в обеденное время, приступ удышья, очень сильный, очень продолжительный. После него — полный упадок сил.

#### 26-е

Со вчерашнего дня ретростернальные боли почти не утихают. Ночью — просто нестерпимые. При этом тошнота.

#### 27-е

Семь часов вечера. Выпил немного молока. Сейчас придет Жозеф и потом исчезнет до утра. Жду его, прислушиваюсь к шагам. Он столько должен сделать: взбить подушки, приладить занесу от мух, приготовить лекарство, подать судно, опустить шторы, вымыть плевательницу, поставить рядом стакан с водой, капли, грушу электрического звонка и освещения. «Добрый вечер, господин доктор». — «Добрый вечер, Жозеф».

Теперь надо дожидаться целых полтора часа, прежде чем появится старик Гектор, ночной дежурный. Он не разговаривает. Приоткрывает дверь и просовывает голову, что должно означать: «Я здесь. Я на страже. Будьте спокойны».

И потом — одиночество, ночь, которой не видно конца.

<sup>1</sup> Город в департаменте Уазы, к северо-востоку от Компьеня.

<sup>2</sup> Города в департаменте Соммы, к северо-востоку от Амьена.

Теряю мужество. Все во мне рушится.

Все свожу к мыслям о себе, то есть о своем конце. Если и вспомню о ком-либо, то сейчас же мысль: «А он ведь не знает, что мне крышка». Или иначе: «Что-то он скажет, когда услышит о моей смерти?»

28-е

Боли как будто утихают. Может быть, они исчезнут так же незаметно, как и начались?

Рентген неутешительный. Разрастание фиброзной ткани значительно ускорилось со времени последнего просвечивания. Особенно в правом легком.

29 августа

Страдания немного утихли. Очень изнурили эти четыре тяжелых дня.

Сводка: вновь предпринятые атаки (между Скарпой и Вель) развиваются. Англичане наступают на Нуайон. Бапом<sup>1</sup> наш.

*Жан-Полю:*

Да, ты будешь гордецом. Мы все гордецы. Не насилий себя. Будь гордецом — самим собой. Смирение: паразитическая, умоляющая человека добродетель. (Впрочем, нередко она есть внутреннее сознание какой-нибудь слабости, бессилия.) Не надо ни тщеславия, ни скромности. Сознавать себя сильным, чтобы быть сильным.

Столь же паразитарны: склонность к самоотречению, желание подчиняться, жажда приказов, гордость послушания и т. п. Факторы слабости и бездействия. Страх свободы. Нужно выбирать такие добродетели, которые возвышают. Высшая добродетель: энергия. Именно энергия создает величие.

Расплата: одиночество.

30-е

Наши части прошли Нуайон. Но какой ценой?

Непонятно, зачем позволяют прессе твердить, что конец войны близок. Америка не для того вступила в войну, чтобы удовлетвориться чисто военной победой и таким же миром. Вильсон хочет политически обезглавить Германию и Австрию. Вырвать у них из-под опеки Россию. События, — так, как они шли до сих пор, — вряд ли дают надежду на то, что все решится в какие-нибудь полгода: рух-

---

<sup>1</sup> Город в департаменте Па-де-Кале, к юго-востоку от Арраса.

нут обе империи и устанавливаются в Берлине, Вене, Петербурге устойчивые республиканские порядки, что позволит успешно вести переговоры.

Вид из моего окна. С полдюжины проводов, туго натянутых, пересекают четырехугольник неба, как полосы на фотопластинке. В грозу блестящие дождевые капли скользят вдоль проводов, через каждые три-четыре сантиметра, стекают часами все в одном направлении, но не настигают друг друга. И тогда я не могу ничего делать, не могу смотреть ни на что, кроме этого движения капель.

## СЕНТЯБРЬ

1 сентября, 18

Новый месяц. Увижу ли я его конец?

Снова стал спускаться вниз. Завтракал со всеми.

С тех пор как я перестал бриться (июль), мне уже не приходится смотреться в зеркало, которое висит над умывальником. Сегодня в канцелярии я вдруг увидел себя в зеркале. Секунду я колебался, прежде чем признать себя в этом бородатом мертвяце. «Да, астения есть», — согласился Бардо. Сказал бы лучше «кахексия».

Нет, это не может продлиться долго...

Англичане взяли обратно холм Кеммель.<sup>1</sup> Мы наступаем на Северном канале.<sup>2</sup> Неприятель отступает по направлению к Лис.<sup>3</sup>

Ночь, 1 сентября

Рашель. Почему Рашель?

Ее рыжие ресницы. От этого золоченого сбодка лучился ее взгляд. Какой всезнающий взгляд! Ее рука. Она прижимала руку к моим глазам, чтобы я не оказался свидетелем ее наслаждения. Сведенная судорогой тяжелая рука вдруг расслаблялась в тот же самый миг, что и рот, в тот же самый миг, что и все мускулы ее тела...

2 сентября

Немного ветreno. Устроился на террасе. В саду Гуаран, Вуазне и фельдфебель вспоминают свою студенческую жизнь (Латинский квартал, студенческие кабачки, танцульки, женщины и т. д.). При-

<sup>1</sup> Высота в северо-западной части Бельгии.

<sup>2</sup> Канал, соединяющий Уазу с бассейном реки Лис.

<sup>3</sup> Река на северо-востоке Франции, приток Шельды.

слушивался несколько минут и ушел в дом, раздраженный, злобный. Но и взволнованный также.

Жан-Поль, не слишком бойся терять время.

Нет, не это должен бы я сказать тебе. Более верно другое. Помни, что человеческая жизнь невообразимо коротка и что тебе отпущено слишком мало времени на то, чтобы проявить себя до конца.

Но все же не слишком бойся расточать свои молодые силы, мой мальчик. Дядя Антуан, чей конец уже близок, до сих пор жалеет, что ему никогда не удавалось растратить бесцельно хоть самую малость из отпущенного ему природой...

3 сентября

Первые проблески дня.

Видел тебя во сне, Жан-Поль.. Мы оба были в здешнем саду. Я прижимал к сердцу маленького, крепенького Жан-Поля, гибкого, как молодой дубок, который так и тянется вверх.

Ты был и тем трехлетним мальчиком, которого я так недавно сажал к себе на колени, и Антуаном — мною, каким я был в юности, мною, каким я стал, сделавшись доктором Тибо. Проснувшись, я подумал, впервые с тех пор как узнал тебя: «Быть может, из него выйдет врач?»

И мечтами долго бродил в этом будущем. А теперь я мечтаю о том, как оставлю тебе в наследство свои архивы, записи, многолетние наблюдения, искания, незавершенные замыслы. Когда тебе исполнится двадцать лет, возьми их себе или отдай за ненадобность какому-нибудь начинающему врачу.

Но мне трудно сразу расстаться со своей мечтой. Этот начинающий врач, мой наследник и продолжатель, — это ты, я хочу, чтобы это был ты...

Полдень

Кажется, я напрасно отказался от тренировки гортани и сократил дыхательную гимнастику. За последние две недели — ухудшение, так что нынче пришлось даже прибегнуть к прижиганию электричеством.

Все утро пролежал в постели.

Газеты. Читал и перечитывал несколько раз послание, напечатанное в «Labour Day». <sup>1</sup> Просто, благородно, здравые мысли. Вильсон повторяет, что настоящий мир — это нечто совсем иное и более значительное, чем просто новый вариант европейского равновесия. У него сказано ясно: «Это освободительная война» (подобная американской). <sup>2</sup> Избежать старых ошибок, раз и навсегда

<sup>1</sup> «День рабочего» (англ.).

<sup>2</sup> Война США за независимость против Англии (1774—1783).

избавиться от парадоксов довоенной Европы, чтобы мирные, трудолюбивые народы не жили как прежде, бросая все силы на вооружение, не выпуская из рук винтовки. Мир наций, заключивших между собой дружбу. Мир прочный, могущий, наконец, дать Европе то ощущение безопасности, которым сильны Соединенные Штаты. Мир без победителей, не унизительный ни для кого, мир без всяких «хвостов», без очагов будущего реванша, без всего того, что может в один прекрасный день воскресить дух войны.

Вильсон правильно подчеркивает, что первым условием такого мира должно быть свержение автократических правительств. Важнейшая цель. Европа не будет чувствовать себя в безопасности, пока не вырван с корнем германский империализм, покуда австро-германский блок не проделает эволюции в сторону демократии. Покуда не будет уничтожен этот рассадник ложных идей (ложных — потому что они противоречат общим интересам всего человечества), рассадник мечты о мировой империи, цинического преклонения перед силой, веры в превосходство германца над всеми прочими народами и его право подчинить их себе. (Мессианистские бредни кайзера, согласно которым всякий германец — крестоносец, носитель идеи германского владычества над миром.)

#### Вечер

Рад был посещению Гуарана и Вуазне, они зашли после обеда. Говорили о Германии. Гуаран утверждает, что зловещая религия силы является не столько плодом монархического режима, сколько выражением особых этнических свойств: инстинкт, не просто учение. Заспорили! Пруссия — еще не вся Германия, и т. д... Гуаран сам признает, что у Германии есть все необходимые данные для того, чтобы стать мирной и пользующейся свободами нацией. Пусть даже в германском мессианизме проявляет себя инстинкт расы... Совершенно ясно, что автократический режим растравляет его, усиливает, использует в своих целях! От нас, если мы победим, от характера мирных договоров, от нашего отношения к побежденным будет зависеть — останется или исчезнет это зло. Демократическое воспитание Германии, проектируемое Вильсоном, выведет этот мессианизм из употребления и тем самым лишит его жала или же направит его по иному пути, но лишь при одном условии: если мирный договор не даст немецкому народу никаких поводов желать реванша. На все это потребовалось бы лет пятнадцать. Я не теряю надежды. Я склонен верить, что Германия 30-х годов — республиканская, патриархальная, трудолюбивая и мирная — станет одной из самых верных гарантii европейского союза.

Вуазне напомнил ноябрь 1911 года. Он прав. Почему франко-германское соглашение Кайо только отдалило войну? Потому что оно не меняло — не могло изменить — политического режима Германии. Потому что политика Германии, Австрии, России по-прежнему оставалась политикой самодержавной власти, политикой

имперских министров, имперских генералов. Вильсон это понял. Ни-  
что не изменится, если будет побежден только кайзер, но останется  
неприкосновенным прусский, тевтонский дух императорской власти,  
его стремление к гегемонии, его пангерманализм. УстраниТЬ перво-  
причины, чтобы не дать возродиться духу авторитарии. И тогда  
прочный мир будет обеспечен.

Не надо забывать, что именно кайзеровское правительство, одно, против желания всей остальной Европы, сорвало Гаагскую конференцию.<sup>1</sup> (Записываю подробности со слов Гуарана: было достигнуто полное согласие по вопросу об ограничении вооружений, было заключено соглашение, которое могло пойти очень далеко; и вот, накануне подписания, представитель Германии получил от своего правительства приказ не брать на себя никаких обязательств.) Иными словами, Империя сбросила маску. Если бы принцип арбитража был принят, если бы Германия, подобно другим государствам, согласилась на ограничение вооружений, положение Европы в 1914 году было бы совсем иным, чем оказалось в действительности, и мы, возможно, избегли бы войны. Помнить об этом. До тех пор пока в самом сердце Европы сохраняется режим пангерманской экспансии, режим, самодержавно распоряжающийся судьбами семидесяти миллионов подданных, разжигающий каждодневно националистическую гордыню, — мир в Европе невозможен.

4 сентября

Сегодня с утра боли в боку, мобильные, перемежающиеся, очень острые. (Помимо всего прочего.)

В сводке сообщается о взятии обратно Перонна. До сих пор, если не ошибаюсь, командование ни разу не проговаривалось, что Перонн в августе перешел в руки противника.

Коротенькое письмо от Филипа. В Париже говорят, что Фош проектирует наступление в трех направлениях одновременно. Одно на Сен-Кантен. Другое на реке Эн. Третье, совместно с американцами, на Мёз. Или, как выражается Филип, «в перспективе еще один мордобой...» Неужели нужны еще и еще трупы, прежде чем будут приняты вильсоновские предложения?

Вечер

Вечером заходил Гуаран. Возмущен. Оказывается, за обедом обсуждалось новое послание Вильсона. Почти все сошлись на том, что роль Лиги наций прежде всего в том, чтобы и после войны

<sup>1</sup> Имеется в виду международная Гаагская конференция 1899 г., обсуждавшая вопрос о разоружении. Усилия всех держав-участниц были направлены в основном на то, чтобы замаскировать свое нежелание разоружиться. Особенно преуспела в этом германская делегация, что и послужило основой для легенды, будто лишь Германия своим сопротивлением сорвала разоружение.

сохранять с помощью постоянного института коалицию цивилизованного мира против Германии и Австрии. Гуаран утверждает, что эта идея прочно засела в мозги официальной Франции (начиная с Пуанкаре и Клемансо). Ее можно сформулировать так: «*Sine qua non*» мирного устройства Европы состоит в исключении бошей из европейского концерта. Как проклятой богом расы. Как ферmenta будущих войн. Мир невозможен, покуда они существуют в Европе. Германия — живучая страна. Следовательно, нужно учредить над ней опеку, чтобы обезвредить».

Чудовищно. Если Гуаран передает точно, то это полная измена вильсоновским замыслам. Оставить за пределами всеобщего союза одну треть Европы под предлогом ответственности за войну, привозгласить Германию на все времена страной, не заслуживающей доверия — это означает убить в зародыше правовую организацию Европы, удовлетвориться карикатурой на Лигу наций, открыто признать, что у нас мечтают подчинить Европу англо-французской гегемонии, беспрепятственно выращивать семена новых кровавых конфликтов. Вильсон слишком разумен, слишком опытен, чтобы попасться в эту империалистическую ловушку.

#### 5-е, четверг

Сегодня еле держусь на ногах. Похож на случайно ожившего удавленника. Чтобы спуститься по лестнице, потребовалось целых пять минут.

Медленно, неотвратимо приближаюсь к своему концу. Этой ночью снова вспомнил, как умирал отец. Во время агонии он все напевал песенку, которую любил еще в юные годы: «Скачи на randevu!»

Решил, не откладывая, записать свои мысли об отце для Жан-Поля.

Как часто там, на фронте, в дни, когда нас отводили в тыл, на отдых, где была тишина, где всякий мог снова испытать величайшее счастье — растянуться на настоящей кровати, — я проводил целые часы в наивных мечтаниях о будущем, о том, что я непременно начну вести другую, лучшую жизнь, жизнь, полную труда и действительно полезную людям... Все впереди казалось таким прекрасным!

Мертв, я буду мертв. Неотвязная мысль. Она вошла в меня непрошенная. Чужая. Как язва. Как паразит.

Все было бы по-иному, если бы смирился. Но для этого пришлось бы искать опоры в метафизике. А я... Странно, что наше возвращение в небытие способно вызвать такое сопротивление. Что чувствовал бы я, если бы верил в существование ада, знал, что мне суждены вечные муки? Думаю, что страшнее все равно не было бы.

5 сентября, вечер

Майор прислал мне через Жозефа журнал, в котором лежала закладка. Я открыл отмеченную страницу и прочел:

«Войны ведутся под всевозможными предлогами, но истинная причина у них всегда одна — армия. Не будет армий, не будет войн. Но как упразднить армию? Путь к этому один: свержение деспотизма». Это цитата из речи Виктора Гюго, а Ремон написал на полях: «Конгресс мира 1869»<sup>1</sup> и поставил восклицательный знак.

Пусть издевается, если ему угодно. Если пятьдесят лет тому назад уже проповедовалось уничтожение деспотизма и ограничение вооружений, это вовсе не значит, что ныне нужно терять веру в то, что человечество выйдет, наконец, из тупика.

Мокрота в эти дни обильнее, чем когда бы то ни было. Увеличилось количество расплавленной ткани (пленки слизистой и ложные пленки).

6 сентября

Получил сегодня утром письмо от г-жи Руа. Пишет мне каждый год в день смерти своего сына.

(Любен иногда чем-то напоминает мне Руа.)

Как думал бы он теперь? Такой же худой (как Любен), но по-прежнему отчаянный, он не мог бы дождаться выздоровления, чтобы поскорее вернуться на фронт.

Жан-Поль, что будешь думать ты о войне в 1940 году, когда тебе исполнится двадцать пять лет? Ты, конечно, будешь жить в перестроенной заново, умиротворенной Европе. Ты, должно быть, и представить себе не сможешь, что это такое было — «национализм». Что такое было героическая вера тех, которым в августе 1914 года тоже исполнилось двадцать пять лет и перед кем открывалось все будущее: героизм юношей, уходивших на фронт горделиво, как мой милый мальчик Манюэль Руа! Не суди их слишком строго, попытайся понять. Не истолкуй ложно благородство этих мальчиков, которым не хотелось умирать и которые, как подобает мужам, поставили на карту всю свою жизнь, когда их родине угрожала опасность. Они вовсе не были сумасбродами. Многие, подобно Манюэлю Руа, шли на эту жертву, веря, что она послужит счастью будущего поколения, к которому принадлежишь и ты. Да, таких было много. Я сам их знал. Дядя Антуан ручается тебе за них.

Газеты. Мы перешли Сомму, достигли Гискара.<sup>2</sup> Продвинулись также на севере от Суассона, отбили Куси. Удастся ли помешать немцам укрепиться за линией Шельды и канала Сен-Кантен?

<sup>1</sup> Конгресс пацифистских организаций, состоявшийся в 1869 г. в Лозанне под председательством Виктора Гюго.

<sup>2</sup> Город в департаменте Соммы, к северо-востоку от Нуайона.

### Жан-Поль:

Я думаю о будущем. О твоем будущем. О том «прекрасном будущем», о котором мечтали Манюэль Руа и подобные ему. Прекрасное? Надеюсь, что именно такое будущее ждет тебя. Но мы оставляем вам в наследство мир, погруженный в хаос. Боюсь, что тебе придется войти в жизнь в смутные, тревожные времена. Противоречия, неуверенность, столкновение старых и новых сил. Потребуются крепкие легкие, чтобы не задохнуться в этом зараженном воздухе. Помни же — не всякому дано будет узнать радость жизни.

Я воздерживаюсь от всяких пророчеств. Но не так уж трудно представить себе Европу завтрашнего дня. Экономически — всеобщее обнищание, расстройство социальной системы. Морально — резкий разрыв с прошлым, ниспровержение прежних ценностей и т. д. И, как следствие всего этого, грандиозное смятение. Период линьки. Болезни роста, сопровождаемые приступами лихорадки, судорогами, то взлетами, то упадком сил. В итоге — равновесие, в итоге, но не сразу. Роды, которые будут протекать мучительно.

А как поведешь себя тогда ты, Жан-Поль? Ведь трудно разобраться во всем этом. Каждый будет считать себя обладателем истины, и у каждого, как всегда, найдется своя панацея. Быть может, это будет эпоха анархии? Так думает Гуаран. Я — нет. Если анархия, то анархия только внешняя, времененная. Ибо не анархия — будущее человечества, не может она быть его будущим, нельзя даже допускать такую мысль. Свидетельством тому — история. Единственное возможное будущее человечества — разумная организация, каковы бы ни были неизбежные отклонения. (Очень возможно, что эта война — решительный шаг если не к братству, то во всяком случае к взаимному пониманию. Приняв вильсоновский мир, Европа расширит свои горизонты; идеи общественной солидарности, коллективной цивилизации заменят идею национализма и т. д.)

Во всяком случае ты будешь свидетелем грандиозных изменений, коренной переделки. И вот что я хочу тебе сказать. Мне кажется, что в ту пору общественное мнение, идеи, силы, которые направляют его, будут иметь решающее, невиданно возросшее влияние. Будущий мир, очевидно, предоставит вам необычайно пластичный материал для перестройки. Значение личности возрастет. Настоящий человек сможет, как никогда раньше, громко сказать свое слово о нашем мире, и оно будет услышано; сможет участвовать в перестройке мира.

Стать настоящим человеком. Развивать в себе дееспособную личность. Остерегаться ходячих теорий. Так соблазнительно освободиться от слишком тяжкого бремени собственной личности! Так соблазнительно дать себя увлечь широкому движению коллективного энтузиазма! Соблазнительно, ибо удобно, в высшей степени комфортабельно! Сможешь ли ты противостоять искушению?.. Это будет не так-то легко. Чем менее ясным кажется путь человеку, тем

более склонен он любой ценой выбраться из лабиринта, цепляясь за любую уже готовую теорию, лишь бы она успокаивала, указывала выход. Всякий мало-мальский убедительный ответ на те вопросы, которые мы ставим перед собой и которые не можем решить по своему разумению, кажется нам надежным выходом, в особенности, если мы полагаем, что ему обеспечено одобрение большинства. Вот она, опасность! Крепись, отвергай лозунги! *Не позволяй завербовать себя!* Пусть лучше терзания неуверенности, чем ленивое моральное благополучие, которое предлагают доктринеры каждому, кто согласен пойти за ними! Нащупывать пути самому, в потемках, не очень весело; но это меньшее зло. Худшее — покорно идти за тусклым светильником, который твой сосед выдает за светоч. Остерегайся! Память об отце будет тебе примером! Пусть его однокая жизнь, его беспокойная мысль, вечно ищущая мысль, будет для тебя образцом честности по отношению к самому себе, примером правдивости, внутренней силы и достоинства.

Рассвет. Бессонница, бессонница...

Я, кажется, впадаю в проповеднический тон, как только заговариваю с Жан-Полем. Не употреблять всяких «остерегайся», «так знай же» и прочего.

Стать настоящим человеком... Одно забыл объяснить ему — как это достигается!

Как это достигается?

В самом деле, я не знал настоящих людей, кроме своих собратьев по профессии. Впрочем, я склонен думать, что поведение настоящего человека перед лицом событий, перед лицом реальности и случайностей социальной жизни не должно отличаться от поведения врача у постели больного. Важно одно: известная ясность суждения. В медицине годы учения, знания, почерпнутые из книг, очень могут пригодиться для решения новых проблем, перед которыми оказывается врач в каждом данном случае. Всякая болезнь, а равно также и всякий социальный кризис, всегда предстает как первый случай, не имеющий precedентов; как случай исключительный, для которого всякий раз нужно изобретать какие-то новые способы врачевания. Чтобы быть настоящим человеком, нужно обладать богатым воображением.

Воскресенье, 8 сентября 18 г.

Сегодня утром, проснувшись, отхаркнул сгусток слизи около девяти сантиметров. Велел передать его Бардо для анализа.

Перечел то, что написал сегодня ночью. Удивительно, что могу еще временами испытывать интерес к будущему, к людям, которые будут жить после меня. Неужели это только ради Жан-Поля?

Подумав, я пришел к убеждению, что интерес этот возникает бессознательно и довольно стоек. И напротив, мое удивление по

этому поводу возникло как результат длительной работы сознания, постоянного изучения самого себя за последнее время. В самом деле, я не могу не думать о будущем. Это для меня, как и прежде, необходимая функция духа, совершенно естественная функция... Странно.

Перед завтраком

Вспоминаю газетную заметку, которая когда-то поразила Филипа. (Один из наших первых внепрофессиональных разговоров. Я только что начинал работать с ним.) В этой заметке речь шла о преступнике, приговоренном к гильотине, который, когда его привезли на место казни, стал вырываться из рук палача и крикнул прокурору: «Не забудьте о моем письме!» (Сидя в тюрьме, он узнал, что его любовница была ему неверна, и в утре своей казни написал судьям письмо, где признавался еще в одном своем преступлении, не раскрытом властями, в котором была замешана также и эта женщина.)

Мы никак не могли понять. До последней секунды так страстно интересоваться земными делами! Филип объяснял это почти полной невозможностью для большинства людей «представить себе реально» небытие.

Сейчас эта история не так уж меня удивляет.

9 сентября

Скверный вкус во рту; к чему еще и эта мука? Никогда я не верил в креозот, он напоминает кабинет зубного врача, от него только лишаешься последнего аппетита.

После обеда, в саду

Написал сегодня утром число, 9 сентября, и вдруг вспомнил: сегодня вторая годовщина Ревиля.

Вечер

Прожил весь день в мыслях о Ревиле.

Наш приезд на закате. Устройство санитарного пункта в часовне. Развалины деревни. Накануне немцы выпустили двести снарядов. Чепроглядная тьма, и в ней взлетают к небу осветительные ракеты. Командный пункт; полковник, исполняющий обязанности командира бригады, устроил свой К.П. в доме, от которого остались три полуразрушенных стены. Грохот семидесятипяти миллиметровок, установленных в лесу. Обломки крыши, лужа. Красная разорванная перина на земле, как раз в том месте, где меня ранило на следующий день. Обломки, высохшая грязь, земля, изрытая колесами обозов. И пригород за деревней, пригород, который был

виден сквозь разбитые цветные стекла часовни, пригород, откуда спускались к нам раненые, белые от пыли и, как всегда, тихие, с отсутствующим взглядом. Мне хорошо запомнился этот пригород, черный на горящем, как будто в отблесках пожара, небе, истыканный колючими с колючей проволокой, которые склонялись к земле, словно сбитые порывом циклона. И слева старая мельница, рухнувшая на крылья, похожая на сломанную игрушку. (Почему-то приятно описывать все это. Спасти от забвения? Для чего? Для того, чтобы Жан-Поль знал, что однажды утром в Ревиле дядя Антуан...) В часовню к ночи набилось уйма народу. Стоны, ругань. Груда соломы в глубине, там, где складывали мертвых вперемежку с полумертвыми, которых нельзя было эвакуировать. Фонарь на алтаре. Свечи в бутылке. Причудливый хоровод теней на стенах высокого свода. Вижу стол, доски, положенные на два бочонка, простины, вижу так ясно, как будто я мог тогда наблюдать и запоминать. Вспоминаю себя за работой! Чудесное полуопьянение, наслаждение своим искусством, радость труженика. Действовать быстро. Владеть собой совершенно. Зрение, осязание, все чувства в удивительной готовности к действию; всем телом, до кончиков пальцев, управляет напрягшаяся воля. Притом какая-то печаль и вместе — нечувствительность, как у автомата. Помнить цель — в этом источник силы. Ничего не слушать, ничего не видеть, уйти в работу. И работать точно, споро, не торопясь и не теряя ни секунды, рассчитывая все движения, необходимые для того, чтобы вот эта рана была обезврежена, вот эта артерия зажата вовремя, вот этот перелом иммобилизирован. Следующего!

Уже менее отчетливо помню навесы, сараи по другую сторону улочки, где носилки с ранеными ставили просто на землю. Но самую улочку помню очень хорошо, помню, как мы прижимались к стене, спасаясь от пуль. И до сих пор в ушах стоит тоненький свист и сухое щелканье пуль о глиняные стены! И безумные глаза маленького небритого майора с рукой на перевязи; здоровой рукой он все время водил у виска, будто отгонял рой насекомых: «Здесь много мух. Так много мух!» (И вдруг я вспомнил старого бородача-добровольца, полуседого, который работал с нами в госпитале в Лонпре-ле-Кор-Сен, его унылую физиономию; достаточно было послушать, как он говорил раненому, снимая его с носилок: «А ну-ка, парень, очищай место!», чтобы угадать в нем парижского рабочего.)

Работали всю ночь, даже не подозревая об обходном движении неприятеля. А на заре: прибытие связиста; неприятель, охвативший деревню с фланга, выводные окопы, ставшие вдруг такими опасными, как и всякие другие окопы, площадь, которую надо было пересекать под пулеметным огнем, чтобы добраться до единственного неугрожаемого хода сообщения. Ни на секунду не было мысли, что я рисую собой. И потом я падаю, мелькает красная перина, и такая четкая мысль: «Пробито легкое... В сердце не попало... Выкручуясь...»

(Вот от чего зависишь... Если бы тем утром я был ранен в ногу или в руку, я не был бы таким, каким стал сейчас. Та капля иприта, которую я глотнул два года спустя, не причинила бы столь сильных разрушений, будь у меня целы оба легких.)

10 сентября

Со вчерашнего дня весь поглощен воспоминаниями о войне.

Хочу записать для Жан-Поля историю с тифозными, из-за них-то, в сущности, я вынужден был оставаться на фронте гораздо дольше, чем большинство моих коллег по санитарной службе. Зима 1915 года. Я все еще служил в моем компьенском полку, который стоял в то время на передовых позициях на севере. Но мы, батальонные врачи, установили очередь, и примерно раз в две недели каждый из нас отправлялся в тыл, километров за шесть, где в маленьком сарае был устроен госпиталь на двадцать коек. Прибываю я туда как-то вечером. Восемнадцать больных в полуподвальном этаже под сводчатым потолком. Все с температурой; у некоторых 40!. Я осмотрел их при тусклом свете ламп. Сомнений быть не могло: все восемнадцать в тифу. Но на фронте было запрещено иметь тифозных. Фактически приказано было никогда не ставить подобного диагноза. Я позвонил начальнику в тот же вечер. Заявил, что у меня находятся восемнадцать парней, которые, по моему мнению, «страдают тяжелыми желудочно-кишечными расстройствами, очень сходными по своим явлениям с паратифом» (я благородно избегал слова «тиф»), и что я принужден отказаться от управления госпиталем, так как считаю, что несчастные перемрут в этом погребе, если их не эвакуировать немедленно. На другой день, на рассвете, за мной прислали автомобиль. Мне велено было явиться в дивизию. Я твердо выдержал натиск начальства, не сдался. Больше того: добился немедленной эвакуации больных. Но с этого дня в моем послужном списке появилась «некая» отметка, которой я обязан тем, что до дня моего ранения мне были закрыты всякие пути продвижения по службе!

#### Вечер

Думаю о своих отношениях со здешними обитателями. Близость между людьми здесь должна бы быть кровной, как на фронте. Но нет! Ничего общего. Здесь просто товарищеские отношения, и только. А на фронте последний кашевар тебе брат.

Думаю о тех, кого я там знал. Печальный смотр: кто признан негодным, кто искалечен, кто пропал без вести... Карлье, Бро, Ламбер, и славный Дален, и Гюар, и Лене, и Мюлатон, где-то они все? А Соне? А маленький Нопс? И сколько еще их? Кто из них уцелеет в этой войне?

Сегодня я думаю о войне иначе, чем всегда. Вспоминаю слова Даниэля в Мезон: «Война дает тысячи и тысячи поводов к редчайшей человеческой дружбе...» (Жестокие поводы и скоропреходящая

дружба.) И все-таки он прав: там была какая-то жалость и велико-душие, какая-то взаимная нежность. Когда проклятие обрушивается на всех, остаются лишь самые простые реакции, и они одинаковы для всех. Есть ли у нас нашивки, нет ли — все мы равны: нас объединяют те же страдания, то же рабство, та же тоска, те же страхи, те же надежды, та же окопная грязь и та же похлебка, те же газеты. Меньше маленькой лжи, меньше маленьких подлостей, меньше злобы, чем в мирной жизни. Там так нуждаются друг в друге. Там любишь и помогаешь, чтобы тебя любили и тебе помогали. Меньше личных антипатий, нет зависти (на фронте). Нет ненависти. (Нет даже ненависти к бошу, жертве тех же нелепостей.)

И потом еще одно: силою вещей войны — время *раздумий*. И для ученых и для неученых. Раздумий простых, глубоких. И, за немногими исключениями, у всех об одном и том же. Может быть, непрерывное общение со смертью заставляет размышлять даже самых, казалось бы, не склонных к этому людей. (Пример — мой дневник...) Буквально у каждого своего товарища по батальону я подмечал минуты такого *раздумья*. Раздумья одинокого, которое становится потребностью, без которого не можешь обойтись, которое скрываешь, уходя в себя. В тот единственный угол души, который оставляешь для себя. В этой вынужденной обезличенности размышлении — последнее убежище личности.

Что останется от этого раздумья у тех, которые уцелеют? Немного, может быть. Яростная жажда жизни во всяком случае, ужас перед ненужными жертвами, перед громкими словами, перед героизмом. Или, наоборот, тоска по фронтовым «добротелям»?

11-е

Наличие расплавленной ткани в мокроте было установлено гистологически. Никаких ложных пленок, а кусочки слизистой.

Вечер

По правде говоря, я почти так же часто думаю о своей жизни, как и о смерти. Беспрерывно возвращаюсь к своему прошлому. Роюсь в нем, как мусорщик в отбросах. Концом крюка подцепляю какой-нибудь обломок, рассматриваю его, изучаю, думаю о нем без устали.

Жизнь — это такая малость... (И я думаю так вовсе не потому, что мои дни сочтены. Это относится ко всякой жизни.) Архивизбито: короткая вспышка во тьме нескончаемой ночи и т. д... Те, кто повторяет это в качестве общего места, как мало они понимают смысл своих слов. Как мало чувствуют весь их пафос!

Праздный вопрос, но отделаться от него до конца невозможно: «В чем смысл жизни?» И, пережевывая, как жвачку, мое прошлое, я ловлю себя нередко на мысли: «А какой во всем этом толк?»

Никакого; абсолютно никакого. При этой мысли испытываешь какую-то неловкость, ибо в тебя въелись девятнадцать веков христианства. Но чем больше думаешь, чем больше глядишь вокруг себя, в самого себя, тем больше постигаешь эту бесспорную истину: «Никакого толку в этом нет». Миллионы существ возникают на земной поверхности, возятся на ней какое-то мгновение, потом распадаются и исчезают, а на их месте появляются новые миллионы, которые завтра так же рассыпаются в прах. В их кратком появлении никакого толку нет. Жизнь не имеет смысла. И ничто не имеет значения, разве только стараться быть как можно менее несчастным во время этой мимолетной побывки...

Впрочем, этот вывод не так уж безнадежен, не так уж мрачен, как может показаться на первый взгляд. Чувствовать себя омытым, начисто освобожденным от всех иллюзий, которыми убаюкивают себя люди, желающие во что бы то ни стало видеть в жизни какой-то смысл; чувствовать так — значит достичь чудеснейшего состояния просветленности, могущества, свободы. Больше того: эта идея обладает, если уметь только ею воспользоваться, даже каким-то тонизирующим действием.

Я вспомнил вдруг корпус Б, зал в нижнем этаже, через который проходил каждое утро, закончив работу в больнице. Как сейчас вижу: зал полон ребятишек, они сидят на полу, играют в кубики. Там были хроники, калеки, больные, выздоравливающие. Были там умственно отсталые дети, полуидиоты и другие, очень развитые. В общем, полное подобие микрокосма... Человечество, если на него посмотреть через перевернутый бинокль... Многие ребята просто переставляли кубики как попадется, переносили их с места на место, переворачивали их то одной, то другой стороной. Другие — более развитые — подбирали кубики по цветам, выстраивали их по прямой линии, складывали из них геометрические фигуры. Некоторые строители дерзали возводить маленькие, шаткие домики. Иной раз какой-нибудь упорный, изобретательный и самолюбивый архитектор задавался трудной целью и после десятка попыток воздвигал мост,obelisk, высоченную пирамиду... Когда кончалась перемена, все это рушилось. На линолеуме оставалась груда разбросанных кубиков в ожидании следующей перемены.

В конечном счете, довольно схоже с тем, что представляет собой жизнь. Каждый человек, повинуясь естественной потребности в игре (какие бы высокие предлоги он ни измышлял), строит жизнь — сообразно со своими прихотями и способностями, из тех самых элементов, которые доставляет ему действительность, из тех разноцветных кубиков, которые попадаются ему под руку, — и так с первого дня, дня рождения. Те, кто одарен, стараются сделать из своей жизни сложную конструкцию, подлинное произведение искусства. Нужно следовать их примеру, чтобы как можно лучше, веселей провести «перемену»...

Каждый — сообразно со своими возможностями. Каждый — из тех элементов, которые дает ему случай. И так ли уж важно в самом деле — хуже или лучше получится какой-нибудь обелиск или пирамида.

Той же ночью

Мой маленький, я раскаиваюсь в том, что написал вчера вечером. Если тебе попадутся эти страницы, ты, должно быть, вознегодуешь. «Так мог думать только старик, — скажешь ты, — или умирающий». Ты прав, конечно. Я и сам уж не знаю, в чем правда. Существует другой ответ, не просто негативный, на тот вопрос, который ты, несомненно, ставишь перед собой: «Во имя чего жить, работать, какова цель, которой стоит отдать себя всего?»

Во имя чего? Во имя прошлого и будущего. Во имя твоего отца и твоих детей, во имя того, что сам ты — звено этой цепи. Развитие не должно прерываться... Передать другим то, что тебе досталось, но обогатив, возвысив.

Не ради ли этого мы живем?

12 сентября, утро

Был средним человеком, не выше того. Средние способности, как раз в соответствии с тем, чего требовала от меня жизнь. Средний ум, и память, и дар ассоциации. Средняя личность. Все прошее — маскировка.

После обеда

Здоровье, счастье — только шоры. В болезни черпаешь, наконец, явное видение мира. (Идеальным условием для того, чтобы понять себя и понять людей, было бы переболеть и затем восстановить здоровье. Я готов даже сказать, что «человек, неизменно пользующийся хорошим здоровьем, обязательно дурак».)

Был средним человеком — не выше того. Без настоящей культуры. Культура у меня была профессиональная, ограниченная моим ремеслом. Великие люди, настоящие великие люди, не ограничены своей областью. Великие врачи, философы, великие математики, великие политики никогда не бывают только врачами, философами и т. д... Их мысль свободно движется в других сферах, бежит за пределы частных знаний.

Вечер

О себе самом.

Я просто-напросто всегда был удачлив. Карьеру выбрал такую, в которой легче всего было преуспеть. (Что уже само по себе показатель практического ума.) Но ума среднего, достаточно трезвого, чтобы использовать благоприятные обстоятельства.

Прожил в ослеплении гордыней.

Я воображал, что всем обязан своему уму и своей энергии. Воображал, что сам выковал свою судьбу и что мои успехи заслужены мною. Считал себя незаурядным малым только потому, что сумел убедить в этом людей менее способных. Маскировка. Ухитрялся вводить в заблуждение даже Филипа.

Обман, иллюзии, которые жизнь не замедлила бы разрушить. Меня, конечно, ожидали жестокие разочарования. Я, должно быть, просто был хорошим врачом, таким, как сотни других.

13 сентября

Нынче утром розоватая мокрота. 11 часов. Лежу, дожидаюсь Жозефа, банок.

Моя комната. Ненавистный маленький мирок, знакомый мне до последнего гвоздика, до тошноты. Нет такой щелочки, царапинки на этой розовой стене, следа от рамки, на которых тысячи раз не останавливался бы мой взор. И неизменные girls над зеркалом!

(Которых мне, может быть, недоставало бы, если бы меня послушались и убрали их.)

Часы, долгие часы, дни, ночи на этой постели, и это я, когда-то такой деятельный!

Деятельность, активность. Я был не просто активным. У меня был культ активности, фанатический и наивный.

(Не хочу быть слишком суровым к своей прежней активности. Всему, что я знаю, научило меня именно действие. Столкновение лицом к лицу с реальностями. Действие воспитало меня. Даже этот кромешный ад войны я выносил так твердо лишь потому, что он вынуждал меня непрестанно к действию.)

Днем

В сущности, мне следовало бы избрать хирургию. Я вкладывал в свою работу темперамент хирурга. Чтобы стать хорошим врачом, нужно быть и мыслителем.

Вечер

Все время вспоминаю о прежней чудесной, деятельной жизни. Не без суворости. Я замечаю в ней сейчас долю — некую долю — притворства, игры. (Перед самим собой не меньше, во всяком случае — столько же, сколько и перед другими.)

Моя слабость: вечная потребность в одобрении. (Нелегко признаться в этом, Жан-Поль!)

Сотни раз убеждался, что мог проявить себя во всем блеске только в присутствии других. Когда я чувствовал, что на меня смотрят, говорят обо мне, восторгаются, я расцветал, росла моя

смелость, решимость, сознание силы; воля устремлялась в бой (приимеры: бомбардировка Перонна, скорая помощь в Монмирайле,<sup>1</sup> удачная операция в Буа-Брюле и т. д. Другой пример — в военное время: я всегда был в сто раз проницательнее в диагнозах, предпримчивее в терапевтике, когда действовал на глазах у моих сотрудников, в больнице; другое дело — дома, у себя в кабинете, наедине с пациентом.)

Я понял теперь, что истинная энергия — в ином; она обходится без зрителей. Моя энергия всегда нуждалась в присутствии других, чтобы дать максимум того, что я мог дать. Будь я один на острове Робинзона, возможно — я покончил бы с собой. Но появление Пятницы побудило бы меня к свершению подвигов.

Вечер

Упражняй волю, Жан-Поль. Если ты способен желать, ты сможешь достигнуть всего.

14-е

Рецидив. Ретростернальные боли, помимо всего прочего. И спазмы непонятного происхождения. Беспрерывная рвота. Не смог встать с постели.

Гуаган принес мне газеты. В Швейцарии говорят о мирных предложениях Австро-Венгрии (?), а также о глухом революционном брожении в Германии (?)... Значит ли это, что в Германию, благодаря посланиям Вильсона, проникли демократические идеи? Менее достоверно известие о продвижении американцев в направлении Сен-Миеля. А ведь Сен-Миель — это дорога на Брие, на Мец. Мы подвигаемся к линии Гинденбурга,<sup>2</sup> которую считают непрступной.

16-е

Немного легче. Приступы рвоты прекратились. Эти дни очень ослаб от диеты.

Ответ Клеманса на мирные предложения Австрии. В высшей степени неприятный ответ. Стиль кавалерийского офицера. Хуже того: пангерманский стиль. Плоды военных успехов уже дают себя знать: как только один из противников убеждается в своем превосходстве, он раскрывает свои тайные замыслы, которые всегда оказываются империалистическими замыслами. Вильсону придется выдержать не один бой с государственными деятелями Антанты, если только победа союзников не будет исключительно делом рук американских солдат. У Антанты был прекрасный случай сказать

<sup>1</sup> Городок в департаменте Марны.

<sup>2</sup> Основная оборонительная линия немцев на оккупированной французской территории в годы первой мировой войны.

открыто и честно, каковы ее цели. Но Антанта предпочла блеф, Антанта делает вид, что ее требования будут максимальными, и это из страха, что иначе, в момент подведения счетов, ей не удастся вытянуть из побежденных все, что только можно вытянуть. Гуаран говорит: Антанта пьянеет от любого успеха.

17-е

Они могут говорить все, что угодно, но это распространение очагов бронхопневмонии следует рассматривать как форму обострения инфекции легких.

18-е

Бардо долго меня осматривал и выслушивал, потом совещался с Сегром.

Я ждал этого уже давно. Странная песня: «Поражены легкие — лечи сердце».

Санитары: они ухитряются быть вне пределов досягаемости, когда спешно нужны больному, и вечно торчат в палате как раз тогда, когда их присутствие кажется нестерпимым, предельно ненужным.

Ночь с 19-го на 20-е

Жизнь, смерть, непрерывное произрастание и т. д.

После обеда мы с Вуазне рассматривали карту фронта Шампани. Внезапно вспомнил белесую равнину (кажется, где-то к северо-востоку от Шалона), где мы остановились на привал, чтобы перекусить; меня тогда прикомандировали к другому полку. Земля была так глубоко взрыта еще с первых дней войны, что на ней не произрастало больше ничего, даже пырея. Но наступила весна, и здесь, вдалеке от фронта, все пространство вокруг было вновь возделано. И неподалеку от того места, где мы расположились, среди мертвый меловой пустыни, вырисовывался маленький островок. Я направился к нему. Это было немецкое кладбище. Могилы, сровненные с землей, укрытые в высокой траве, а над этим скопищем трупов, только начавших свое могильное существование, — изобилие злаков, полевых цветов, бабочек.

Банально сверх всякой меры. Но сегодня это воспоминание волнует меня, как никогда. Весь вечер раздумывал над слепыми силами природы и т. д. Но так и не сумел додумать эту мысль.

20 сентября

Успешные бои на фронте у Сен-Миель. Успех на линии Гинденбурга. Успехи в Италии, успехи в Македонии, успехи повсюду. Но... ценой каких жертв?

И это еще цветочки. Нельзя без тревоги наблюдать, как изменился тон союзной прессы, с тех пор как мы почувствовали себя сильнее, чем противник. С какой непримиримостью Бальфур,<sup>1</sup> Клемансо и Лансинг<sup>2</sup> оттолкнули предложения Австрии! И это они, конечно, заставили Бельгию отвергнуть предложения Германии!

Заходил Гуаран. Нет, не думаю, чтобы конец войны был близок. Создать германскую республику — на это потребуются долгие месяцы, а может быть, и годы. И чем больше у нас будет побед, тем меньше мы будем склонны к искреннему примирению, без которого невозможен прочный мир.

Гуаран. Бесполезный и досадный спор о прогрессе. Он сказал: «Итак, значит вы не верите в прогресс?»

Верю, верю, как же! Но что в том? Тысячелетия пройдут прежде, чем исполнятся надежды, которые мы возлагаем на человека.

21-е

Завтракал со всеми внизу.

Любен, Фабель, Ремон — при всем различии взглядов, все в равной мере узкие сектанты. (Вуазне сказал про майора: «Ни за что не поверю, что у него есть мозг. Разве только спинной».)

Жан-Полю:

Нет истины, кроме преходящей.

(Помню еще те времена, когда все верили, что антисептика важнее всего, — «убить микроба». А потом поняли, что вместе с микробом часто убивают и живые клетки.)

Иди осторожно, ощупью, не доверять первому впечатлению. Ничего не утверждать окончательно. В конце всякого пути, если стать на него без оглядки, — тупик. (Примеров сколько угодно, хотя бы из области медицины. Я сам видел, как выдающиеся учёные, равные по силе, одинаковой прозорливости, страстные искатели истины, приходили в результате изучения одних и тех же явлений, делая совершенно те же клинические наблюдения, к совершенно различным, даже диаметрально противоположным выводам.)

С молодых лет освободиться от склонности к безоговорочным суждениям.

22-е

Такие мучительные боли в боку, что, когда я примошусь хоть как-нибудь, боюсь шелохнуться. Бардо уверял, что мазь из этилового парааминоベンзола делает чудеса. Никак не действует.

<sup>1</sup> Бальфур, Артур Джеймс (1848—1930) — министр иностранных дел Англии в 1916—1919 гг.

<sup>2</sup> Лансинг, Роберт (1864—1928) — государственный секретарь США в 1915—1920 гг.

Они сами уже не знают, где мне делать теперь прижигания. Живого места не осталось.

Со вчерашнего дня снова скакет температура.

Все-таки пытался сойти вниз. Но не смог, пришлось вернуться к себе и лечь, — так задохнулся на лестнице.

Эта комната, эти розовые стены... Закрываю глаза, чтобы больше ничего не видеть.

Думаю о предвоенном времени, о моей тогдашней жизни, о моей юности. Истинным источником моей силы было потаенное, ненасытное доверие к будущему. Больше, чем доверие, — твердая уверенность. А сейчас там, откуда шел ко мне свет, беспроблемный мрак. Это пытка, не прекращающаяся ни на минуту.

Тошнота. Бардо задержался внизу, принимал новых больных. Ко мне сегодня после обеда дважды заходил Мазе. Не могу выносить его угрюмого вида, его физиономии старого колониального вояки. Провонял по обыкновению всю комнату потом. Чуть меня не вырвало.

Четверг, 26 сентября

Плохая ночь. Аускультация показала новые очаги субкрепитирующих хрипов.

Вечер

После укола несколько легче. Надолго ли?

Заходил на минутку Гуаран, утомил меня. Франко-американское наступление. Наступление англо-бельгийское. Немцы отступают по всему фронту. Успехи союзников на балканском фронте. Болгария просит перемирия. Гуаран говорит: «Мир с Болгарией — это начало конца: это как у беременной женщины перед родами отходят воды!..»

В Германии начинает пахнуть порохом. Социалисты выставили ряд условий, на которых они согласны войти в правительство. В стране всеобщее недовольство, оно сквозит даже в намеках канцлера, смотри его последнюю речь.

Боюсь верить. Слишком хорошо. Но события разворачиваются так стремительно, что становится просто страшно. Турция раздавлена. Болгария и Австрия накануне капитуляции. Повсюду победа. Какие бездны сулит нам заключение мира? Успех вскружил им головы. Созрела ли наша Европа для настоящего мира?

В Гранд-отеле в Грассе один американец побился об заклад на тысячу долларов против одного луидора, что война будет закончена к рождеству.

Счастливы те, кто будет праздновать это рождество.

Слабость увеличивается. Удушье. С понедельника полная афо-  
ния. Бардо приводил ко мне Сегра. Осматривали меня целый час.  
Сегр приветливее, чем обычно. Встревожен.

Вечер

Анализ мокроты: пневмококки, но преимущественно стрепто-  
кокки, с каждым разом их все больше и больше, несмотря на спе-  
цифическую сыворотку. Характерная токсикоинфекция.

Завтра рентген.

28-е

Явные симптомы общего заражения. Бардо и Мазе заходят по  
несколько раз в день. Бардо решил после просвечивания сделать  
пробную пункцию.

Что он предполагает? Абсцесс в паренхиме?

## ОКТЯБРЬ

6 октября

Целых восемь дней.

Еще слишком слаб, чтобы писать. Клонит ко сну. Снова днев-  
ник — все-таки какая-то радость. И комната радость. И girls тоже.  
Значит, и на этот раз выкрутился?

7 октября

Всю неделю не прикасался к дневнику. Силы мало-помалу вос-  
станавливаются. Температура окончательно упала. По утрам нормаль-  
ная, вечерами 37,9—38.

Все уже думали, что мне крышка. А оказалось — нет.

В понедельник 30-го меня перевезли в клинику в Грасс. Вечером  
меня оперировал Микаль. Сегр и Бардо ассистировали. Большой  
абсцесс в правом легком. К счастью, хорошо ограниченный. На  
пятый день уже смог вернуться обратно в Мускье.

Почему я не покончил с собой 29-го, после пункции? Просто  
в голову не пришло. (Именно так!)

Вторник, 8 октября

Слабость меньше. Удивительно, я нисколько не сожалею, что  
меня спасли, нисколько: я малодушно обрадовался новой пере-  
дышике.

Так как я несколько дней не читал газет, мне трудно сейчас  
разобраться в происходящем. Я ничего не знал об отставке немец-

кого кабинета. Там, очевидно, произошли довольно важные события. Швейцарская пресса утверждает, что назначение принца Макса Баденского<sup>1</sup> канцлером объясняется желанием немцев начать мирные переговоры.

9 октября

Не могу похвастаться излишней храбростью. Ни на минуту не соблазнила мысль о самоубийстве. Только возвратившись в свою комнату, вспомнил, что существует этот выход. В промежуток времени между диагнозом и операцией думал только об одном: «Скорей бы операция. Скорей бы спасли».

Еще унизительнее другое: все время, пока я был в Грассе, я не переставал жалеть, что забыл в Мускье ожерелье Рашили. Я решил было даже, как только вернусь в Мускье, передать его Бардо, взяв с него обещание положить ожерелье со мной в гроб!

Но не уверен, что сделаю так. Причуды умирающего. Если я поддамся искущению, не суди меня слишком строго, мой мальчик, не презирай дядю Антуана. Это ожерелье дорого мне, как память об одной ничем не примечательной истории, но эта история, вопреки всему, — самая счастливая в моей ничем не примечательной жизни.

10-е

Был хирург Микаль.

11 октября, пятница

Вчера Микаль меня осматривал. Утомил бесконечно. Сообщил мне все подробности. Большой абсцесс, хорошо локализованный, осумкованный очень устойчивой фиброзной тканью. Гной густой, вязкий. Признался, что легкое находится в состоянии сильнейшего отечного полнокровия. Бактериологический анализ: культура стрептококков.

Микаль заинтересовался моим случаем. Относительно редкий: в течение года из семидесяти девяти отправленных ипритом, бывших здесь на излечении, только у семи простые абсцессы, как у меня. Четырех оперировал успешно. Трое других...

Множественные абсцессы, к счастью, встречаются реже. Не операбельны. Из семидесяти девяти отправленных газами только три случая, и все три — смертельные.

Мне повезло. (Это написалось как-то само собой. Конечно, я бы этого не написал, если бы хоть немного подумал. Но раз уже написалось, не хочу вычеркивать. Должно быть, я еще слишком привязан к жизни, раз называю «удачей» продление пытки...)

<sup>1</sup> Макс, принц Баденский (1867—1929) — германский канцлер с 3/X по 9/XI 1918 г. Вынудил Вильгельма II подписать отречение от престола.

12 октября

Попробовал немножко походить после сбeda. Страшно исхудал. С 20 сентября потерял 2 кило 400.

Сердце сдает. Дигиталин дважды в день. Страшная потливость. Боли, слабость, сухой кашель, удушье — все удовольствия разом. А когда меня спрашивают, как я себя чувствую, отвечаю с полным убеждением: «Неплохо»...

13-е

Швейцарские газеты сообщают, якобы из достоверного источника, что немецкий кабинет обратился окольным путем к Вильсону с предложением начать переговоры. Прямое предложение немедленного перемирия. Правдоподобно, ибо последняя речь канцлера в рейхстаге была откровенным предложением мира от имени Германии. Германии, вчера еще столь дерзкой!

Только бы союзники не вздумали злоупотреблять своей силой! Только бы удержались от искушения использовать во зло свою победу... В каждом их слове — наглость выигравшего скачку жокея! Уверен, что сам Рюмель позабыл свои мрачные весенние предсказания: должно быть, из всех сегодняшних триумфаторов Рюмель — самый непримиримый.

Слово «радость», которым пестрят страницы французских газет, звучит просто склеротично. «Облегчение» — да, но только не «радость»! Нет, нельзя забыть ту лавину горя, которая нависла над Европой! Ничто, даже прекращение кровопролития не уверит нас, что пришла радость; над всей нашей жизнью царит и длится горе.

14 октября, ночь

Снова бессонница. Уж лучше та отупляющая сонливость, которая была у меня в период инфекции. Голова пустая, полное безразличие. «Призраки». Сознания хватает только на то, чтобы как следует прочувствовать страдание.

Мне хотелось запечатлеть в этом дневнике свое «я». Для Жан-Поля. Но когда я начал писать, я был уже неспособен сосредоточиться, мыслить последовательно, работать. Еще одна неосуществленная мечта.

Пускай так. Полнейшее равнодушие, как масляное пятно, расплзается и закрывает все.

15-е

Генеральное наступление. Повсюду успех. Все фронты зашевелились разом. С тех пор как заговорили о мире, союзное командование пустилось во все тяжкие, словно хочет отыграться напоследок. Так к концу охоты лихо травят зверя.

Сегодня немного получше. Пишу с удовольствием.

Заходил Вуазне. Напоминает Будду. Лицо плоское, широко расположенные глаза, веки тяжелые, выпуклые, резко очерченные, похожие на мясистые лепестки цветов (магнолии, камелии), большой рот, толстые губы, еле шевелят ими при разговоре. Лицо мудреца. Когда глядишь на него, становится спокойно-спокойно. Какая-то фаталистическая безмятежность, что-то азиатское.

Ему известны настроения, царящие в последнее время в генеральном штабе. Не предвещают ничего хорошего. Потери считаются ни во что с тех пор, как решили все надежды возложить на американскую подмогу, которую полагают неисчерпаемой. И глухое противление миру. Отвергнуть любые условия перемирия, занять Германию, подписать мир в Берлине и т. д. Вуазне говорит: «Они думают о победе, вместо того чтобы думать об окончании войны». И все более открыто враждебны Вильсону. Уже твердят, что «четырнадцать пунктов»<sup>1</sup> выражают только личные взгляды Вильсона; что Антанта никогда не солидаризировалась с ними официально и т. д. Вуазне напомнил мне, что с июля, со времени первых военных успехов, прессы (подцензурная) еще изредка говорит о «Лиге наций», но уже никогда о «Соединенных Штатах Европы».

#### Вечер

Вуазне оставил мне несколько номеров «Humanité».<sup>2</sup> Какое жалкое зрелище являются собой наши социалисты в глазах каждого, кто помнит американские послания. Тон узкобых сектантов. Ничего великого не может породить эта среда, эти люди. Социалистических политиков Европы следует отнести ко всем прочим обломкам старого мира. И выбросить на свалку вместе со всей остальной дрянью.

Социализм. Демократия. Думаю, что Филип, пожалуй, был прав: правительства победивших стран вряд ли откажутся от диктаторских замашек, приобретенных ими за эти четыре года. Империализм (империализм республиканский), представленный Клемансо, пожалуй, не так-то легко сдаст позиции! Быть может, подлинный социализм возникнет для начала в победенной Германии, именно вследствие того, что она победжена.

16-е

Немного полегче последнюю неделю.

Гуаран разыскал для меня текст послания от 27 сентября. Ничего нового по сравнению с прежними, но более четко определены

<sup>1</sup> Программа мирных условий, изложенная в 14 пунктах послания Вильсона конгрессу от 8 января 1918 г. Отличалась сравнительно умеренным тоном и открыто аннексионистских требований не содержала.

<sup>2</sup> После убийства Жореса «Humanité» завладели шовинистические круги французской социалистической партии во главе с Реноделем. До 1920 г., когда газета перешла в руки коммунистов, она служила орудием защиты интересов французской буржуазии. «Humanité» этого периода Ленин называл «предательской газетой» (Сочинения, т. 30, стр. 330).

цели мира. «За этой войной должен последовать новый порядок и т. д.» Всеобщий союз народов — единственная гарантия коллективной безопасности». Если эти слова производят такое действие на меня, «мертвеца в отпуске», что же должны испытывать миллионы солдат, жены, матери! Нельзя впустую будить такие надежды. Искренне или неискренне — теперь это уже неважно — правительства союзных стран присоединятся к принципам Вильсона: единодушное давление народов на правительства будет столь мощным, что в назначенный час ни один политический деятель Европы не сможет уклониться от заключения мира, которого ждут десятки миллионов людей.

Думаю о Жан-Поле. О тебе, мой мальчик. И это такая радость. Родится новый мир. Ты будешь свидетелем его роста. Одним из его созидателей. Будь сильным, чтобы стать достойным его созидателем.

Четверг, 17

Драконовские требования Вильсона в ответ на зондаж Германии. Требует без всяких оговорок, чтобы началу переговоров предшествовало свержение императорской власти, изгнание военной касты, демократизация режима. Требует, даже идя на явный риск отсрочки мира. Эта непримиримость, конечно, диктуется обстоятельствами. Не забывать об основных целях. Нужен не мертворожденный мир и даже не капитуляция кайзера. Нужно всеобщее разоружение и создание европейской федерации. Это неосуществимо без уничтожения императорской Германии и императорской Австрии.

Гуаран крайне разочарован. Я защищал Вильсона против него и всех остальных. Вильсон — искушенный практик, который знает, где очаг заразы; он до конца вскрывает нарыв и только затем перевязывает рану.

Кстати о нарывах. Наш добрый Бардо объяснил мне весьма подробно, что иприт является лишь побочной причиной возникновения нарыва. Что нарыв на самом деле следствие побочной инфекции...

18 октября

Ужасно трудно сегодня побороть усталость. Ничего не читаю, кроме газет.

Каким тоном союзная пресса говорит о наших «победах»! Прямо наполеоновская эпопея в изображении Гюго. Нынешняя война ничего общего не имеет с героической эпопеей. Эта эпопея дикарей не открывает никаких горизонтов. Она кончается, как кончаются кошмары, — в холодном поту и тоске. Те героические акты, которые она породила, тонут в ужасе. Они свершаются во мраке окопов, в крови и грязи. С мужеством отчаяния. С отвращением к тому мерзкому делу, которое приходится доводить до конца. Война оставит после себя невыразимо гнусные воспоминания. Ни звуки труб, ни развевающиеся знамена не в силах этого изменить.

Два скверных дня. Вчера вечером внутритрахеальная инъекция гоменолового масла. Но инфильтрат и повышенная чувствительность гортани затруднили процедуру. Они возились со мной втроем. Бедняжка Бардо совсем упарился. Я проспал целых три часа. Сегодня немножко полегче.

Среда, 23 октября

Новая доза дигиталина, кажется, немного более эффективна. Заметил, что когда я не полностью теряю голос, я сильно заикаюсь. Прежде это бывало редко и означало у меня глубочайшее смятение духа. А сейчас это просто признак упадка физических сил.

Газеты. Бельгийцы в Остенде, в Брюгге. Англичане в Лилле, в Дуэ, в Рубе, в Туркуэне. Неудержимое наступление. И зловещая медлительность обмена нотами между Германией и Америкой. Однако говорят, что Вильсон добился, как предварительного условия, реформы имперской конституции и введения всеобщего голосования. Это было бы неплохо. Добиться затем отречения кайзера. Завтра или через полгода? Пресса не перестает твердить, что внутри страны волнения. Не надо обманываться: немецкая революция может ускорить события, но и усложнить их. Ибо Вильсон, кажется, твердо решил вести переговоры только с устойчивым правительством.

24 октября

Нет, я не завидую неведению больных, их наивным иллюзиям. Сколько глупостей наговорено об отсутствии иллюзий у врача перед лицом смерти. Думаю, напротив, что это отсутствие иллюзий поможет мне держаться. И, быть может, до самого конца. Знание — не проклятие, а сила. Я знаю. Я знаю, что происходит во мне. Я вижу разрушительное действие болезни. И оно мне интересно. Я слежу за стараниями Бардо. Любопытство это и поддерживает меня.

Хотелось бы получше разобраться во всем этом. И написать Филипу.

Ночь с 24-го на 25-е

День провел спокойно. (Я уже не вправе быть слишком требовательным.)

Дневник — оружие против «призраков».

Три часа ночи. Бесконечная бессонница, и над всем властвует мысль о том, что исчезает вместе с человеком в небытии. Сначала я уходил в эти мысли с каким-то отчаянием, верил им. Напрасно. Смерть уносит в небытие лишь очень немногое, самую малость.

Я старательно, терпеливо выуживаю из прошлого свои воспоминания. Ошибки, оставшиеся тайной, личные переживания, мел-

кие постыдные поступки и т. д... И каждый раз я спрашиваю себя: «И это тоже полностью исчезнет вместе со мной? Разве это и в самом деле не оставило никакого следа нигде, кроме как во мне самом?» Целый час я бился, стараясь отыскать в моем прошлом нечто содеянное мною, какой-нибудь выделяющий меня среди других поступок, такой поступок, о котором я мог бы с уверенностью сказать, что он остался только в моем сознании и что он не оставит нигде, нигде никаких корней, никаких материальных или моральных последствий. Но не оказалось даже малейшего зародыша мысли, который после моей смерти не мог бы дать всходов в памяти другого человека. И для каждого из моих воспоминаний я в конце концов находил свидетеля, кого-нибудь, кто знал или мог догадаться, кто жив еще, должно быть, и сейчас и кто после моей смерти может случайно вспомнить о том, что... Я вороочался в постели, мучимый необъяснимым чувством досады, даже испытывал унижение при мысли, что если я ничего не найду, не вспомню, моя смерть будет просто насмешкой, и я не смогу похвальиться даже тем, что унес в небытие нечто, принадлежавшее исключительно мне, и никому больше.

И вдруг я вспомнил! Больница Лэнека,<sup>1</sup> моя алжирочка!

Так вот оно, это воспоминание, единственным обладателем которого являюсь я сам! И которое исчезнет, исчезнет без следа в ту минуту, когда я перестану существовать!

Рассвет. Обессилен от бессонницы и не могу уснуть. Засыпаю на несколько минут и просыпаюсь тут же, от приступа кашля.

Всю ночь боролся с воспоминанием-призраком... Разрывался между желанием написать свою исповедь, чтобы вырвать у небытия эту печальную повесть, и между ревнивым желанием сохранить ее для себя одного; иметь тайну, которая уйдет со мной в могилу.

Нет, не напишу ничего.

25 октября, полдень

Слабость? Наваждение? Бред? С той ночи я представляю себе смерть только в связи с моей тайной, и я думаю уже не о своем исчезновении, а о том, что исчезнет воспоминание о случае в больнице Лэнека. (Жозеф пришел ко мне поговорить о мире: «Скоро нас всех демобилизуют, господин доктор». Я ответил: «Скоро, Жозеф, я умру». Но про себя подумал: «Скоро не останется ничего от истории с маленькой алжиркой».)

И с этой минуты я как будто стал хозяином своей судьбы. Ибо разве я не властвую над смертью, если только от меня, от одной моей записи, от одного моего признания зависит, станет или нет моя тайна достоянием небытия.

<sup>1</sup> Лэнек, Рене (1781—1826) — выдающийся французский врач, именем которого названа одна из парижских больниц.

Не мог удержаться и заговорил об этом с Гуараном. Конечно, ничего определенного не сказал. Даже не намекнул на маленькую алжирку, даже не назвал больницу Лаэнека. Как ребенок, которому невтерпеж скрывать какой-нибудь секрет и который кричит всем и каждому: «А я знаю, знаю и не скажу». Я заметил, что ему стало неловко, даже страшно. Решил, очевидно, что я сошел с ума. И я насладился, должно быть в последний раз, тщеславным сознанием победы.

Вечер

Пытался рассеяться — просматривал газеты. И в Германии тоже военная каста старается сорвать мирные переговоры. Говорят, что Людендорф<sup>1</sup> возглавляет оппозиционную партию против канцлера, которого он публично обвинил в измене, в намерении тайно договориться с Америкой. Но общее стремление к миру восторжествовало. И Людендорфу пришлось уйти в отставку. Хороший знак.

Заходил Гуаран. Зловещая речь Бальфура. У англичан разыгрался аппетит: они говорят теперь о захвате немецких колоний! Гуаран напомнил мне, что год назад в Палате общин лорд Роберт Сесиль<sup>2</sup> заявил: «Мы вступили в эту войну, не преследуя никаких империалистических завоевательных целей». (Вступить-то они вступили так, а выходят по-другому.)

К счастью, есть Вильсон. Право народов располагать своей судьбой. Не позволит же он, надеюсь, победителям поделить между собой чернокожих, как бессловесный скот!

Гуаран о колониальной проблеме. Очень умно разъяснил, какую непростительную ошибку совершают союзники, если поддадутся соблазну поделить между собой немецкие колониальные владения. Неповторимый случай пересмотреть во всей широте колониальную проблему. Создать под эгидой Лиги наций широкую систему совместного использования мировых богатств. Верная гарантия против войны!

26-е

Внезапное ухудшение. Весь день удушье.

27-е

Теперь одышка приняла другой характер — спазмы. Жестокие боли. Гортань сжимается, как будто ее сдавливает железная рука. Сжимание сопровождается удушьем.

Около часа провозился с черной тетрадкой — записывал ход болезни. (Не уверен, что смогу еще долго вести записи.)

<sup>1</sup> Людендорф, Эрих (1865—1937) — германский генерал; в 1916—1918 гг. — обер-квартирмейстер ставки, фактический главнокомандующий германской армией.

<sup>2</sup> Английский министр блокады в 1916—1918 гг.

Сегодня газеты принес мне Мариус. Я смотрел на него с ужасом. (Свежее лицо, чистые глаза, молодость...) И это чудесное безразличие к своему здоровью! Мне хотелось бы видеть только старииков, только больных. Понимаю теперь, почему приговоренный к смерти бросается на своего тюремщика и душит его: ему непереносим вид свободного, здорового человека...

Механизм приходит в расстройство все больше и больше. Нужели и мысль также?.. Если да, то я, пожалуй, сам этого не замечу, так мало уже от меня осталось.

Быть может, я не так сожалел бы об уходящей жизни, если бы в этом бесконечном пребывании наедине с самим собой было воспоминание о том, что в книгах зовется «большой» любовью.

Я опять вспоминаю о Рашели. И даже часто. Но как-то эгоистически, болезненно. Думаю: вот хорошо было бы, если б она находилась здесь, если бы можно было умереть у нее на руках.

В Париже, когда я увидел ее ожерелье, какое меня охватило тогда волнение! Как меня потянуло к ней! Больше это не повторится. Кончено.

Любил ли я ее? Во всяком случае только ее. Никого больше нее, никого кроме нее. Но было ли это то, что они все называют «Любовь»?

Вот уже два дня дигиталин совершенно не действует. Сейчас придет Бардо, он хочет попробовать впрыскивание эфиро-камфарного масла.

День посещений.

Как они все оживлены! А ведь неизвестно, что готовят им жизнь. Может быть, самый счастливый из них я.

Устал. Устал от самого себя! Устал до того, что хочется, чтобы поскорее все кончилось!

Замечаю, что они стали бояться меня.

В эти последние дни я, конечно, сильно изменился. Дело идет к концу. У меня, должно быть, лицо человека, которого душат: застывшая маска отчаяния... Да, я знаю, это страшно.

Здешний священник захотел меня повидать. Он заходил уже раз в субботу, но мне было слишком худо. Согласился принять его сегодня. Утомил меня. Пытался сначала разглагольствовать насчет

моего «христианского воспитания» и т. д. Я ему сказал: «Не моя вина, что я от рождения наделен способностью понимать и неспособен верить». Он предложил принести мне душеспасительные книги. Я ответил ему: «Почему молчит церковь, почему она не разоблачает войну? Наши французские и их германские папы благословляют знамена и поют «Te Deum», возносят хвалу господу богу за убийство ближних» и т. д. Услышал ошеломляющий (ортодоксальный) ответ: «Справедливая война снимает с христиан запрет человекаубийства».

Он старался быть приветливым. Не знал, как ко мне подступиться. Уходя, сказал: «Поразмыслите хорошенько. Столь достойный человек не должен умереть как собака». На что я ответил: «А если я неверующий как собака?» Уже в дверях он оглянулся на меня с любопытством (тут было многое: удивление, грусть, суровость и, как мне показалось, нежность...): «Зачем вы клевещете на себя, сын мой?»

Думаю, что больше он ко мне не придет.

*Вечер*

Я, быть может, и согласился бы, если бы это было очень нужно кому-нибудь. Но ради кого мне разыгрывать комедию христианской кончины?

Австрия просит перемирия у Италии. Только что заходил Гуаран. Венгрия провозгласила себя независимой и республиканской. Может быть, это, наконец, мир?

## НОЯБРЬ

*1 ноября 18 г., утро*

Месяц моей смерти.

Быть лишенным надежды. Это страшнее мук жажды.

И, вопреки всему, во мне еще бьется жизнь. Неодолимо. Бывают минуты, когда я забываю. На мгновение я становлюсь прежним, таким, как другие, даже строю какие-то планы... И вдруг — леденящее дыхание: я снова знаю.

Плохой признак. Мазе стал заходить реже. А когда приходит, говорит обо всем, только не обо мне.

Будет ли мне жалко расставаться с Мазе, не видеть его большой квадратной головы, его физиономии тюремного надзирателя?

*Вечер*

И подумать только, что за порогом этой комнаты продолжается жизнь... В какую бездну одиночества я уже погружен! Живые не могут понять этого.

2 ноября

Уже не поднимаюсь с постели. Три дня. Не могу пройти те 2 м 50 см, которые отделяют мою постель от кресла.

Никогда. Никогда больше я не буду сидеть у окна? Ни у какого окна? Грустные кипарисы на фоне вечернего неба... Никогда не увижу сада? Никакого сада?

Написал: *никогда больше*. Но только короткими вспышками сознания познаю весь смысл этих слов, страшных, как преисподня.

Ночь

Как подкрадется смерть? Этот вопрос я задаю себе десятки раз в ночь, десятки ночей подряд. Так по-разному она приходит...

Резкий спазм горлани, как у Нейдара? Или постепенно развивающийся спазм, как у Зильбера? Или, быть может, сердечная слабость и шок, как у Монвьеля, как у Пуаре?

3. утро

Так как же? Какая смерть? Хуже всего — от асфиксии, как у несчастного Труа.

Этой — боюсь.

Эту ждать не стану.

Вечер

Так худо сегодня вечером, что два раза вызывал Бардо. Придет еще раз, около двенадцати. Оставил у меня на столе свой ящик для трахеотомии.

Говорят обычно: «Смерть не страшна, страшны мученья». А почему же я, хоть и могу избавиться от них, продолжаю страдать? Ждать? — И жду.

4 ноября

Италия подписала перемирие с Австрией и Венгрией.

Священник хотел было снова прийти. (Отказал ему, сославшись на усталость.) Это предостережение. Близок день, когда мне надо будет решиться.

5-е

Все, во что мы верим, все, чего мы желаем, все, что нам не удалось сделать, ты должен воплотить в жизнь, мой мальчик!

6 ноября

Заходил Гуаран. Ждут перемирия. На всех фронтах идут бои. К чему?

Полная афония. Не могу вымолвить ни слова.

с пра  
Пс  
лена?  
пришел  
(Н  
«Час бл

Бардо :  
зованных хт

Просвечива-  
без резких гр.  
прозрачности,

---

<sup>1</sup> В ночь на 1

*15-е*

ашно,  
ражал  
рукой.

*16-е*

ли они?

учился.  
дзать: «сего-

*17-е*

все больше и  
их, но я их не

Выделение мокроты стало почти невозможным.

Как подкрадется смерть? Так хотелось бы сохранить ясность сознания, писать вплоть до самого укола.

Приятие? Нет, безразличие. Бессилие убивает всякий протест. Примириение с неизбежным. Власть физического страдания,

Мир...

Кончить.

18-e

Отек ног. Пора, а то уже не смогу. Всё — здесь, стойт только прстянуть руку, решиться.

Боролся всю ночь.

Пора.

Понедельник, 18 ноября 1918

37 лет, 4 месяца, 9 дней.

Гораздо проще, чем думают.

Жан-Поль.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

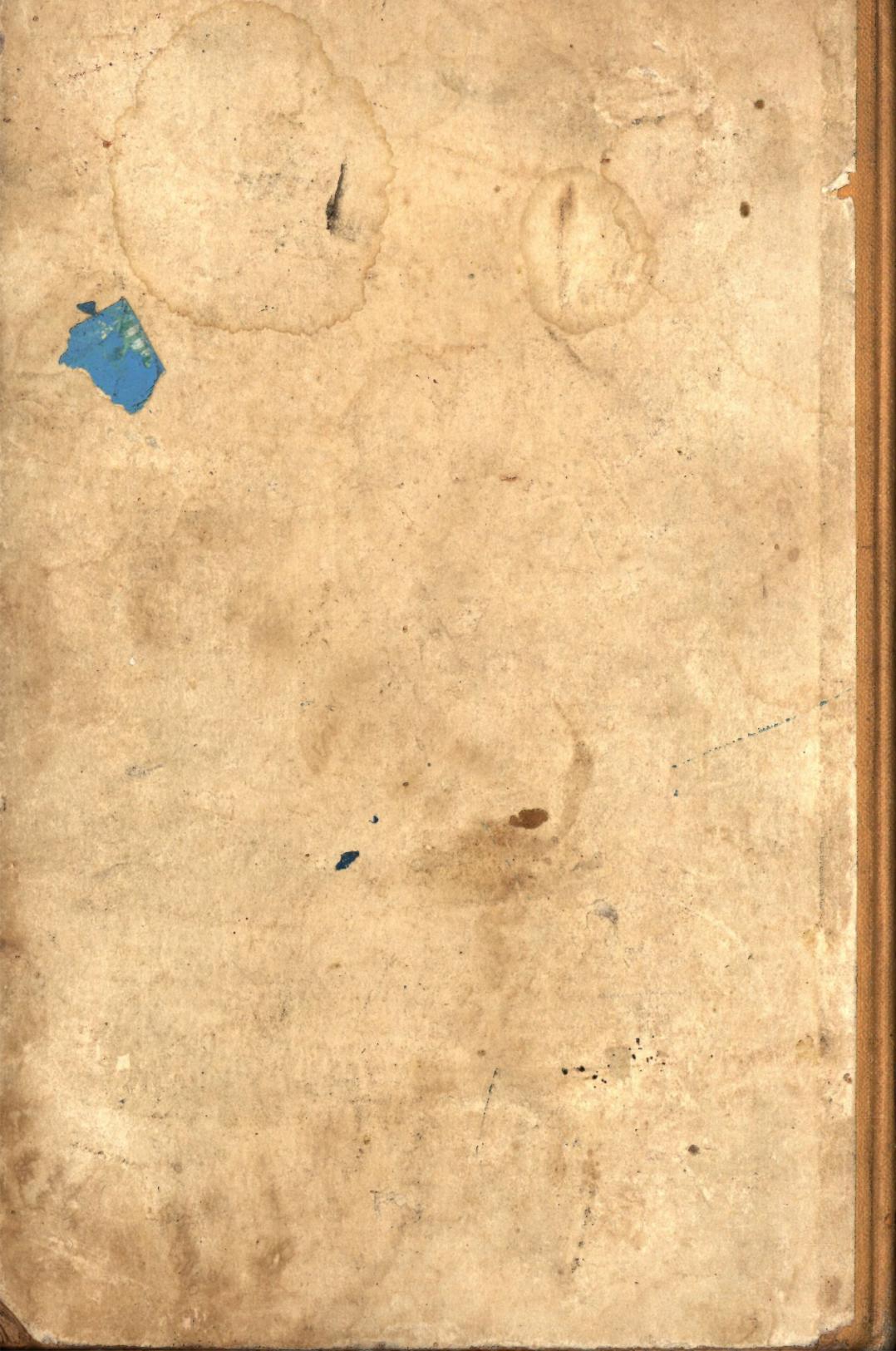
## Часть седьмая

ЛЕТО 1914 ГОДА

Перевод Ипп. Окссона (чл. I—XXIV), Н. Рыковой (чл. XXV—LIV), Д. Лившиц  
(чл. LV—LXXXV)

I. Воскресенье 23 июня 1914 г.—Женева. Жак позирует в ателье Патерсона . . . . .	5
II. Воскресенье 23 июня.—Жак и Ванхеде в отеле «Глобус» . . . . .	10
III. Воскресенье 23 июня.—Жак у Мейнестреля . . . . .	11
IV. Воскресенье 23 июня.—Космополитический кружок революционеров, к которому примыкает Жак . . . . .	23
V. Воскресенье 23 июня.—Собрание в «Локале» . . . . .	26
VI. Продолжение . . . . .	35
VII. Продолжение . . . . .	43
VIII. Воскресенье 28 июня.—Прогулка Жака, Мейнестреля и Митхерга. Спор о революционном насилии . . . . .	51
IX. Продолжение.—Сообщение о террористическом акте в Сараево . . . . .	61
X. Воскресенье 12 июля.—Собрание на квартире Мейнестреля. Австриец Бем и приехавший из Вены Жак дают характеристику политического положения в Европе . . . . .	65
XI. Продолжение . . . . .	75
XII. Воскресенье 12 июля.—Реакция Мейнестреля и Альфреды на весть об угрозе войны . . . . .	81
XIII. Воскресенье 19 июля.—День Анны де Батенкур . . . . .	82
XIV. Воскресенье 19 июля.—Жак приходит к брату; Антуан показывает ему свой перестроенный дом . . . . .	90
XV. Воскресенье 19 июля.—Разговор братьев о внешней политике . . . . .	103
XVI. Воскресенье 19 июля.—Жак обедает у брата; семейная беседа за столом . . . . .	117
XVII. Воскресенье 19 июля.—Различные позиции Жака и Антуана в социальном вопросе. Неожиданное появление Женни де Фонтанен . . . . .	121

1-60.



Роже  
Мартен  
дю Лар

Семья  
Тибо

2